Анатолий Львович Марков
Записки о прошлом 1893-1920

А.Л. Марков
ЗАПИСКИ О ПРОШЛОМ
1893-1920

Эти воспоминания о прошлом я посвящаю с любовью и уважением другу и жене моей, верному спутнику на жизненном пути – Евгении Константиновне Марковой.
Автор
18 ноября 1940 года, Египет

Анатолий Львович Марков в 1914 году

ПРЕДИСЛОВИЕ

В моей памяти ещё так ясно звучит голос моего отца, читающего нам по вечерам

отрывки из своего дневника. Вижу его ещё такое молодое лицо, оживлённое и взволнованное, когда он описывает жизнь в далёкой любимой родине. На диване сестра Женя и я сидим, прижавшись к маме. Золотой свет лампы освещает только папино лицо и его манускрипт. Тёплый египетский вечер смотрит в окно, и вечерние мотыльки вьются вокруг света. В этом уютном полумраке можно было утаить наши слёзы о том невозвратном прошлом, о котором так тосковали мои родители.

Божий свет отцу суждено было увидеть в ночь с 28 на 29 декабря 1893 года в деревне Озерне Щигровского уезда Курской губернии. Дед его по отцу, Евгений Львович, − один из образованнейших людей своего времени, окончивший русский и германский университеты, известный русский писатель, имя которого в советской России несправедливо умалчивалось. Прекрасное образование получил и мой отец. Выпускник Воронежского кадетского корпуса и Николаевского кавалерийского училища (Славной школы), он двадцатилетним юношей оказался в самом пекле сражений «Великой войны» − I Мировой войны, а позже гражданской как участник Белого движения.

Моя мать, Евгения Константиновна фон Эггерт, после окончания гимназии во Владивостоке училась на медицинском факультете в Санкт-Петербурге и была отправлена врачом на фронт. Мама была награждена Георгиевским крестом за спасение раненых с поля боя. Родители встретились во время «Великой войны» в 1916 году, вместе прошли гражданскую в рядах Добровольческой армии, и никогда не расставались до конца своих дней.

В эмиграции судьба забросила моих родителей и мою сестру, девяти месяцев от роду, в Египет, где в Александрии родилась я, и где мы прожили до 1958 года, находясь под «покровительством» египетского короля Фуада, поддерживавшего белых русских эмигрантов. Поскольку мы были «белыми» русскими, у нас не было официальных документов. Тем не менее, отец, как профессиональный военный, был принят на службу в англо-египетскую полицию. Я бережно храню, и хотела бы видеть изданными в России папины рукописные и опубликованные материалы об этом полном трагизма периоде жизни русской эмиграции

Отец как служащий полиции пользовался большим уважением со стороны египетских властей. Благодаря своим человеческим качествам и занимаемой должности он защищал эмигрантов российской общины в Александрии, насколько позволяли обстоятельства.

В эту пору родители были очень молоды, но, несмотря на трудности жизни вне родины, несмотря на нашу бедность, дом наш был полон человеческим теплом, любовью и заботой о детях. В детстве мы с сестрой даже не понимали, как мы бедны, потому что в семье всегда главенствовал «дух над материей».

С первых лет жизни в Египте отец сотрудничал в изданиях «Новое время» (Белград), «Русское время», «Возрождение» (Париж), «Общее дело», «Россия» (Нью-Йорк), «Русская мысль», «Наш путь» (Шанхай), «Военная быль», «Новое русское слово», «Наши вести», «Часовой». Его статьи регулярно появлялись во французской прессе, издаваемой в Египте – «La Reforme» и «La Bourse Egyptienne». Во всех своих статьях главной темой была его непримиримая вражда к коммунизму, который заполонил и осквернил нашу святую Русь. Поначалу он писал в основном о политической ситуации в России, но постепенно тематика его статей стала касаться вопросов русской истории.

После переворота Насера мы вынуждены были покинуть Египет, и последние три года жизни Анатолий Львович провёл в США, где его окружали бывшие товарищи по кадетскому корпусу и Николаевской кавалерийской школе. Они чтили его и как выпускника, и как писателя. Незадолго до смерти в августе 1961 года отец закончил свою книгу «Кадеты и юнкера», которая, увы, уже после его смерти была издана стараниями его однокашников-кадет.

После смерти папы мы с сестрой смогли издать в Мюнхене его книгу «Родные гнёзда», где описаны давняя русская быль, помещичья жизнь, крестьянский быт, традиции кадетских корпусов и Николаевского училища (Славной школы), служба в Добровольческой армии,

жизнь в эмиграции в Египте. Русский отдел Гуверской библиотеки в Стэнфордском университете США в 1960 году приобрёл его работу о Белом движении «В борьбе с красным дьяволом». В этой рукописи собраны биографии участников Белого движения, проанализированы причины неудач Добровольческой армии, описана деятельность советских агентов в Египте.

Поскольку в Калифорнии не было и нет русского издательства, мы, к сожалению, не имели возможности издать многочисленные папины рукописи в России. Мы с нетерпением ждём издания в России папиного дневника «Записки о прошлом» (1893-1920).

Мой отец, Анатолий Львович Марков, был русским патриотом. В эпилоге его «Записок о прошлом» он даёт честный исторический анализ Белого движения и причин поражения Добровольческой армии. Здесь читатель найдёт слова, которые, как мне кажется, очень своевременны для сегодняшней нашей родины: «Пути Господни неисповедимы, и быть может, Россия должна возродиться именно после того, как русский народ на своём собственном опыте и ошибках научится находить правильный путь к своему национальному счастью... Лично я никогда не перестану верить, что русскому народу предстоит великое будущее и что однажды настанет для него счастливый день, когда миллионы русских людей почувствуют, наконец, час своего освобождения, и в Москве снова, как и много лет тому назад, раздадутся слова: «Осени себя крестным знаменьем, русский народ, и призови Божье благословение на свой свободный труд…»

10 августа 1961 года умолк навсегда папин голос, и через три месяца мама последовала за своим другом. Они сегодня покоятся в одной могиле на Сербском кладбище в Сан-Франциско. Мне с сестрой отец оставил самое дорогое наследство – это любовь к России и ко всему русскому. Живя более тридцати лет в Египте и почти пятьдесят лет в США, мы с сестрой остались русскими сердцем и душой.

В июне 2005 года я, наконец, смогла приехать на родину и навестить родные места в Курской области. Нет слов, чтобы описать тёплый приём курян и чувства, которые меня охватили, когда я увидела те места, которые дали моему отцу его неизгладимую любовь к родине.

Виктория Анатольевна Маркова-Суровцева (Санта-Роза, США)

ГЛАВА ПЕРВАЯ. ДЕТСТВО. 1893 - 1904 ГОДЫ

Те дни, когда мне были новы
Все впечатленья бытия...

А.С. Пушкин

Ты помнишь ли, Мария, один старинный дом
И липы вековые над дремлющим прудом...

А.К. Толстой

Рождение. Родители и родственники. Жизнь родителей в Туркестане. Первые впечатления. Нянька Марья. Лес. Наша жизнь в Калуге и Туле. Переезд в Покровское. Родные места. Старое помещичье гнездо, его нравы и обычаи. Соседи. Рождение брата Жени. Гувернантки и репетиторы. Мария Васильевна. Первый экзамен. Михайловы. Псовая охота и псовые охотники. Мой кум Алексей Шаланков. Деревенский друг. Шиловы. Кузены и

кузины. Родные усадьбы. Деревенские барчуки.

Божий свет мне суждено было увидать в рождественскую метель 1893 года в ночь с 28 на 29 декабря. Незаметное событие это имело место в деревне Озерне Щигровского уезда Курской губернии в имении отца моей матери Вячеслава Ильича Рышкова. В своё время семья деда была богатая дворянская фамилия наших мест, давшая имя станции Рышково в 10 верстах от Курска, где было их главное имение.

Отец мой, Лев Евгеньевич Марков, сын известного писателя и общественного деятеля прошлого века, окончил Орловскую военную гимназию, Инженерное училище и Академию в 1888 году. В тот же год он женился на матери моей, уже за три года до этого объявленной его невестой. Знакомство их началось ещё в детстве − Марковы и Рышковы были соседями по имениям, − продолжалось и в школьные годы, так как мать моя окончила в Орле Институт благородных девиц. Встречались они на каникулах и дома. Озерна находилась всего в 12 верстах от Александровки, поместья Марковых, что по помещичьим понятиям того времени считалось самым близким соседством.

Дед по отцу, Евгений Львович, − один из образованнейших людей своего времени, окончивший русский и германский университеты, − дал прекрасное образование трём сыновьям. Однако он держался того мнения, что в жизни дети сами должны суметь пробить себе дорогу, и на этом основании не только не отделил их при жизни, хотя и владел хорошим состоянием, но и завещал всё своё имение своей жене Анне Ивановне, мачехе моего отца. Родная его мать, первая жена деда, Надежда Алексеевна, урожденная Детлова, умерла молодой ещё в 1874 году.

Род Детловых, дворян Калужской губернии, ныне угас, так как оба брата бабушки были убиты в один день в турецкую кампанию, при защите Одессы, на знаменитой Щёголевской батарее. Все Детловы похоронены в родовом склепе при церкви села Сухолом Мещёрского уезда Калужской губернии, где было их имение.

Кроме трёх сыновей – Льва, Николая и Александра, – дедушка Евгений Львович от первой жены имел дочерей − Екатерину, вышедшую замуж за внучатого племянника писателя Н.В. Гоголя − Георгия Ивановича Гоголь-Яновского, умершего в 1932 году профессором Петровско-Разумовской академии, и Елисавету, вышедшую замуж за инженера путей сообщения Димитрия Димитриевича Гатцука. Обе сестры окончили в Москве Екатерининский институт с шифром. Как эти две тётки, так и все мои бабушки, мать, а впоследствии все кузины и сестра из поколения в поколение были всегда институтками, и вплоть до моего поступления в среднюю школу, живя в родственном кругу, я даже не представлял себе, чтобы барышня-дворянка могла учиться и воспитываться в каком-либо другом учебном заведении.

Надо сказать, что институты старого доброго времени, хотя и выпускали, действительно, прелестных барышень, из которых затем выходили светские женщины, однако не давали им твёрдого понятия о чисто материальной стороне жизни. Впрочем, женщинам старого помещичьего круга и не полагалось думать об этом, как о деле чисто мужском и не подлежащем дамской компетенции. С годами эта узковатость воспитания при постепенном обеднении дворянства давала всё больше и больше чувствовать его недостатки, что и испытала на себе одной из первых в нашей семье моя мать по выходе замуж.

Дед не счёл нужным дать состояния сыну, предоставив его собственным силам и способностям. Отец матери в свою очередь при замужестве дал ей лишь необходимое по понятиям того времени приданое в виде туалетов, серебра и тому подобного домашнего обзаведения, но имения также не выделил, завещав его пожизненно своей жене. По этим причинам отец мой, окончив академию и потому обязанный продолжать военную службу, принуждён был принять очень далёкое по тогдашнему бездорожью назначение в Туркестан на постройку железной дороги из Ташкента в Оренбург.

Первый десяток лет тогда едва минул после покорения Средней Азии, которой в это время почти самодержавно управлял знаменитый генерал-губернатор и герой русско-турецкой войны Черняев. Огромный край был ещё в средневековом состоянии, без

путей сообщения и без всякого представления о культурных условиях жизни. Кроме военных, живших по крепостям и на постах в пустыне, в Туркестане не было русского населения. Нетрудно себе представить, в какое положение попала моя мать, молодая, неопытная и совершенно не знающая жизни женщина, едва окончившая институт и всю свою недолгую жизнь бывшая на попечении нянек и классных дам, не позволявших ей самостоятельно сделать и двух шагов. В Туркестане в то время, помимо полного отсутствия жизненных удобств самого примитивного свойства, совершенно не было женской прислуги, и молодой хозяйке пришлось туго. Вернувшись со службы в первый день, отец застал жену в слезах рядом с ревущим в голос денщиком. Причина заключалась в том, что ни барыня, ни солдат не имели никакого представления, как готовить обед. Не знаю, как был улажен этот вопрос впоследствии, но смею полагать, что весьма неудовлетворительно, судя по тому, что через три года отец с матерью вернулись в Россию, а мать до конца дней своих так и не научилась быть хозяйкой и искренне всегда ненавидела хозяйственные и кухонные заботы.

Суровые условия в отсутствие необходимых жизненных удобств во время жизни родителей в Туркестане усугубились ещё тем, что родившийся у них сын Женя умер через несколько месяцев, и мать о нём сильно тосковала. Всё это вместе взятое заставило отца оставить навсегда военную службу, чтобы избавиться от возможности новой командировки на окраины, где тогда велись военно-инженерные работы. Насколько оригинальна и обособлена была жизнь на этих окраинах, можно судить по двум запомнившимся мне рассказам отца о туркестанском быте того времени.

Однажды всемогущий начальник края − не то Черняев, не то кто-то другой − рассердился на пограничные китайские власти из-за какого-то инцидента на границе и решил за это объявить войну Китаю. Для войны, прежде всего, нужны деньги, и потому адъютант начальника края в тот же день и предстал перед директором государственного банка в Ташкенте с приказом немедленно выдать на нужды экспедиции потребную сумму. На протест управляющего о незаконности подобной выдачи генерал-губернатор заявил, что если к назначенному им часу деньги не будут выданы, то он повесит директора банка на воротах. Ввиду столь энергичных действий карательная экспедиция против Срединной Империи выступила на другой же день и целую неделю шла по китайской территории, не встречая врага, так как в те времена на границах Китая и России были никому не ведомые пустыни без всякого населения. Благодаря этому последнему обстоятельству в Петербурге успели узнать о походе туркестанцев и отменить войну раньше, чем в Пекине о ней узнали.

Другой анекдот касается жизни горемычного туркестанского офицерства, заброшенного в дикие пески, где оно неминуемо спивалось. В то время ещё не зародилось новое поколение туркестанского офицерства, применившегося к условиям жизни и сумевшего создать свой собственный тип боевого и бравого туркестанца, дошедшего в своей лихости до того, что туркестанские полковые дамы даже рожать умудрялись между двумя мазурками в офицерском собрании.

Так вот, в те времена, когда русские люди ещё не применились к местности, жил-был некий инженерный поручик, по условиям службы долгие месяцы живший в одиночестве в землянке на инженерно-строительной дистанции в глухих песках. Долго не получавшее от поручика вестей начальство однажды было ошеломлено его официальным рапортом, в котором он по всей форме сообщал, что пара туземных туркменских чертей каждый день издевается над его мундиром и званием, почему поручик просит дать ему официально распоряжение по этому вопросу, дабы не допустить дальнейшего поругания русского мундира. Властям, конечно, ничего не оставалось другого, как принять просимые меры и отправить допившегося до белой горячки поручика в военный госпиталь.

Возвращение родителей в Россию и выход отца в запас армии совпали с периодом железнодорожного строительства. В связи с этим он скоро был назначен начальником дистанции на строившуюся в то время Московско-Киево-Воронежскую железную дорогу, проходившую как раз по нашим родным местам в Курской губернии. На новой службе отец попал под начальство своего родного дяди − Николая Львовича Маркова, впоследствии

председателя правления Юго-Восточных железных дорог и члена Государственной думы от Тамбовской губернии. Одновременно с отцом на постройке той же железной дороги работали и другие его родственники-инженеры, а именно: младший его брат Николай, впоследствии член Государственной думы Марков 2-й, зять Димитрий Гатцук, строитель большого железнодорожного моста через реку Сейм под Курском, и свояк Николай Владимирович Бобровский − муж сестры моей мамы, впоследствии председатель Земской управы в Щиграх, который также был помещиком нашего уезда.

Отец, как и все инженеры его времени, работал не только в качестве строителя на линии, но одновременно как местный человек занимался поставкой строительных материалов, что приносило ему большие деньги. В зависимости от передвижения отца по службе мать с нами, детьми, переезжала время от времени вдоль строящейся линии, меняя место жительства. Жили мы последовательно по этим причинам в сёлах Охочевке, Озерне, городах Льгове, Брянске, Калуге и Туле. В связи с подобным кочевым образом жизни мы с сестрой и двумя братьями все родились в разных местах. Старший мой брат Николай увидел свет в 1892 году в помещичьем имении на станции Охочевка, я − в Озерне, там же в 1895 году родилась сестра Соня и, наконец, младший Евгений, отставший от нас на много лет, уже в имении отца − Покровском. Поэтому первые воспоминания моего раннего детства относятся именно к периоду службы отца на постройке железной дороги, и я ясно помню некоторые эпизоды далёкого ныне времени.

Наиболее ранним воспоминанием этого порядка было событие, по-видимому, имевшее место в 1895-96 годах и заключавшееся в том, что нянька моя Марья несла меня на руках по каким-то путям. В памяти крепко засели, несмотря на прошедшие сорок лет с того времени, блестящие под светом фонарей то сходящиеся, то расходящиеся бесконечные рельсы. Помню также роскошный «служебный» вагон, в котором мы часто путешествовали с мамой и няньками, и то шумное удовольствие, которое мы выражали на каждой станции, когда начальники станций и служащие отдавали честь нашему вагону, что мы, конечно, принимали на свой счёт.

Уже более ясные воспоминания относятся к оседлому периоду жизни нашей семьи в Калуге, где мы жили довольно долго, судя по тому, что мы дважды ездили на дачу в окрестностях города. Помню белый двухэтажный дом, находившийся на тихой улице, как и все тогда улицы старой Калуги, против женского монастыря. Улица эта круто спускалась к Оке, по которой мимо нас шли приводившие меня в восторг белые пароходы, тащившие за собой длинный хвост тяжёлых барж. Направо через Оку под обрывом нашего сада шёл большой деревянный мост, стоявший на барках. За рекой синели леса и был виден знаменитый своими грибами сосновый бор. Обрыв над Окой отделялся от нашего сада лишь лёгкой деревянной решёткой и был вечным пугалом для наших нянек и таинственной, притягательной силой для нас с братом.

Жизнь в белом доме шла широкая и, по-видимому, богатая. Вспоминаю шумные, весёлые и многолюдные обеды и ужины в огромной столовой, звон бокалов, весёлый молодой смех и красавицу-маму на председательском месте, к которой при весёлых приветствиях гостей няньки подводили нас «пожелать спокойной ночи».

У брата Коли и у меня было по собственной няньке, которые яростно соперничали друг с другом в своём значении и старшинстве. У брата нянькой оставалась его кормилица Авдотья Воронова, родом из Озерны, имения Рышковых, из семьи их старых крепостных крестьян, что давало ей известное преимущество. При Авдотье состояла её дочь подросток Вера, служившая у матери горничной, и сын Роман − кухонный мальчишка. Моя няня Марья Манякина была «курской породы, льговского заводу», т.е. не наша по происхождению. Зато её преимущества перед Дуняшей заключались в том, что она была не молодая баба, а пожилая и опытная нянька, служившая до нас во многих барских домах, про которые вела в нашем присутствии степенные рассказы, отчасти занимая ими нас, детей, отчасти в пику и поучение Авдотье. Чаще всего она рассказывала о каких-то господах Стремоуховых, которых, впрочем, отнюдь не одобряла за то, что «ихняя барыня допустила себя до того, что

померла на простыне». Что именно значило это выражение я, несмотря на жгучее любопытство, так и не узнал. На все расспросы по этому поводу Марья неизменно отвечала: «Молод ещё, батюшка, всё знать». Посему история барыни Стремоуховой, которая «померла на простыне» так и осталась нераскрытой тайной моего детства, хотя и произвела на меня такое впечатление, что я помню об этом всю жизнь.

Стремоуховы жили в Льговском уезде, где моя нянька провела свою молодость. Её рассказы о Льгове, весь уезд которого в её времена был покрыт дремучими лесами, были очень интересны и положили начало моей любви к лесу, которой я остался верен на всю жизнь. Была моя няня, кроме того, женщиной глубоко спортивной, если только это слово было применимо к тем патриархальным временам. Была она неутомимым ходоком, хорошо плавала, была искусница по грибной части и большой знаток леса и его жизни, крепкая и на редкость сильная баба. Её сын Алексей, служивший у отца кузнецом, унаследовал от матери не только железное здоровье, но и прославился своей медвежьей силой даже среди многотысячной массы железнодорожных служащих и рабочих. О нём говорили, что Алексей Манякин «поднимает вагонетку», т.е. два чугунных вагонных колеса со стальной осью. Впоследствии его, как и детей няньки Авдотьи, отец мой вывел на прочную дорогу в жизни, а именно, взял к себе на завод старшим кузнечным мастером. Дуняшиному потомству более посчастливилось. Веру выдали замуж за конторщика, который одновременно с тем получил место начальника станции, как и сын Авдотьи Роман.

Дачу, на которую мы ездили два лета подряд, я хорошо помню. Принадлежала она известному калужскому богачу Теренину и находилась в окрестностях Калуги, на опушке огромного, почти девственного в то время леса. В эти годы большая часть Калужской губернии и смежные с ней орловские уезды представляли собой сплошные леса, сильно редевшие по мере постройки железной дороги. Деревянная дача с мезонином, в которой жил у нас брат отца Александр Евгеньевич, только что окончивший Путейский институт, задним фасадом примыкала к густому мачтовому лесу, изобиловавшему семьями весёлых белок, очень забавлявших нас, детей. Лес был так велик и дремуч, что даже с опытной нашей Марьей мы никогда далеко в него не заходили, боясь заблудиться. Об опасностях потеряться в лесах красноречиво повествовала нам нянька Марья, вспоминая происшествия своей далёкой молодости, причём в её рассказах неизменно фигурировали разбойники, болота, засасывающие в свою топь неосторожных путников, медведи, волки и в особенности лешие. Об этих последних нянька рассказывала особенно охотно и с большим знанием дела. Все их обычаи, повадки и даже частную жизнь она знала в совершенстве, так как неоднократно имела лично дело с лешими. Так, например, в один знойный летний полдень она однажды в лесной чаще набрела на «самое ихнее гнездо» и была свидетельницей того, как лешие, не подозревая постороннего присутствия, «друг у дружки в шерсти лесных клопов искали». За этим буколическим занятием лешие няньку мою прозевали, и она благополучно выбралась из лесу, ими не замеченная. В другой раз, когда дело случилось под вечер, она оказалась менее счастливой, и лешие, застукав няньку за подсматриванием лесных тайн, начали её гонять «как крысу по овину», так что она «зачумела и запарилась». Гоняли её при этом, по собственному признанию, «берёзовым прутом по сахарнице», до того, что она только к вечеру «на колокольный звон» на карачках продралась. Да и то только потому, что верное средство знала, а именно: «через левое плечико чёрным словом навыворот заругалась».

Знала нянька Марья, кроме того, великое множество других заговоров и верных примет, подчас самых неожиданных и оригинальных, на все случаи и надобности лесной и деревенской жизни. Родителям нашим, скептически относящимся к области таинственного, Марья говорить об этом не любила, но прислуге и нам, детям, много открывала из области народного знахарства и даже колдовства. Была у неё на этот предмет в коробочках и тряпочках целая серия своеобразных лекарств, которыми она по секрету помогала желающим, сопровождая лечение обязательным «заговором». Из нянькиных таинственных специй помню только наводившие на меня ужас «лягушачьи кости» и «мозоль утопшего пьяницы». По молодости лет я почти ничего не запомнил из тех советов и заговоров,

которыми она пользовала страждущих и болящих, и в памяти у меня застрял лишь единственный её медицинский совет жене нашего кучера Ивана, горевавшей об утонувшем ребёнке. Нянька рекомендовала ей придавить нос свадебным сундуком, отчего у кучерихи неминуемо должна была пропасть тоска и родиться новый ребёнок.

В сотне шагов от дачи находилось небольшое озеро, скрытое чащей леса, в котором всё население дома часто купалось, несмотря на обилие в нём чёрных и жирных пиявок, наводивших на меня ужас. Лес мы с братом полюбили сразу и всей душой, и нянькам стоило больших усилий вытащить нас из него на обед и завтрак. Надо сказать, что этот лес был действительно чудесным и имел такой первобытный и дремучий вид, что много лет спустя, когда мне пришлось впервые увидеть в Третьяковской галерее известную картину Шишкина «Утро в сосновом лесу», я сразу вспомнил калужские леса. Сходство было тем разительнее, что медвежья семья на картине в моей детской памяти была неразрывно связана с понятием о лесной жизни моего детства, так как в рассказах няни и окружающих медведь всегда фигурировал как обязательный элемент. Медведи в этих местах тогда водились в изобилии, а в соседних брянских лесах сохранились и до самой революции.

Очарованию, которое производил лес на нас, детей, способствовало ещё и то обстоятельство, что он изобиловал грибами самого различного вида и очень мною любимыми ягодами брусникой, черникой и ежевикой, которыми мы объедались до расстройства желудка. Грибное царство на даче Теренина было представлено в таком разнообразии, что нянька Марья безжалостно выбрасывала большинство нашей ежедневной добычи, оставляя только наиболее вкусные сорта грибов, например, боровики, пренебрегая всеми остальными. Впоследствии, когда я попал на родину свою в Курскую губернию, то очень скучал без грибов, которые совершенно не водятся в наших степных местах.

К началу текущего века по окончании постройки дороги отец стал уже обладателем хорошего состояния, которое при наличии двух наследственных имений, хотя временно и находившихся в руках бабушек, позволило ему оставить службу и начать с семьёй оседлую жизнь. К концу девяностых годов отец в компании со своим дядей Николаем Львовичем и братом Николаем Евгеньевичем купили в Туле большой чугунолитейный завод, после чего мы переехали в этот город, если не ошибаюсь, в 1899 году. На Стародворянской улице отцом был выстроен для семьи одноэтажный барский особняк с садом и электрическим освещением, что в те времена в провинции считалось большой роскошью. Лично для меня в это время наступил более сознательный период жизни, так что я вспоминаю нашу жизнь с этого года без значительных пропусков и провалов в памяти.

Стародворянская улица, на которой мы жили, вполне оправдывала тогда своё название, так как сплошь состояла из барских особняков с садами, принадлежащих дворянским семьям Тульской губернии. Ближайшими нашими соседями оказались графы Толстые − одна из многочисленных линий этой многолюдной фамилии. Впоследствии в одной только Туле я знал три семьи Толстых, не имевших даже дальнего родства друг с другом, хотя и происходивших, несомненно, от одного семейного корня.

Семья Толстых состояла из отца, нигде не служившего помещика и страстного охотника, графини, образ которой совершенно испарился из моей памяти, и детей: двух сыновей, бывших на два-три года старше нас с братом, и дочери, тогда ещё ребенка. Мы почти ежедневно бывали друг у друга и по очереди, то у них, то у нас, брали совместно уроки танцев, которые нам преподавал офицер местного гарнизона поляк Якубовский. Помню шумные ёлки, детские балы и совместное гуляние в сопровождении нянек в небольшой сквер недалеко от дома, носивший пышное название «Пушкинского сада», в честь довольно жалкого памятника поэту, там стоявшего.

У Толстых в доме неприкосновенным для детей считался кабинет графа отца, весь в диванах и коврах, увешанный оружием, главным украшением которого было чучело огромного медведя. Этот медведь, по нашим детским легендам, ночью оживал и бродил по кабинету. Не подлежит сомненью, что «мораль» на медведя была пущена нашей догадливой нянькой Марьей, во избежание нарушений нами неприкосновенности графского кабинета,

куда нас с братом тянуло жгучее любопытство, как ко всякому запретному плоду, тем более что священное табу толстовского дома на нас, как на иноплеменников, впечатления не производило.

По соседству с нами на горе, откуда спускалась к кремлю главная улица Тулы Киевская, находилось большое белое здание тульского Дворянского собрания. Там бывали праздники и детские балы, на которые нас вместе с молодыми Толстыми часто возили.

Кроме Толстых, у нас бывали две девочки, дочери местного полкового командира, полк которого стоял в городе. Семья эта жила у нас в доме при заводе на Миллионной улице. Мы у них никогда не бывали, и нянька Марья на моё недоумение по этому поводу всегда отвечала, что «ихние папаша с мамашей господа не настоящие», что во мне всегда возбуждало досаду, так как эти девочки нам с братом очень нравились.

Детским мученьем этого времени для меня было то, что родители нас с братом одевали по зимам в штанишки и курточки на лёгком меху, которые при приходе в гости приходилось снимать в присутствии хозяев, что меня страшно смущало. Маленькие хозяйки это, конечно, заметили и нарочно этим дразнили. Брат Коля к раздеванию относился равнодушно, так что всю порцию двойного позора принимал на себя я один.

Старыми нашими друзьями детства ещё по Калуге были дети товарища отца по постройке дороги, орловского помещика Н.С. Стольникова. С его сыновьями Митей и Стёпой и дочкой Лёлей мы и в Туле продолжали детскую дружбу. Впоследствии, когда семья наша поселилась окончательно в деревне, а Стольниковы в Москве, я надолго потерял их из виду, и только много лет спустя Лёля Стольникова оказалась подругой сестры по институту. Затем уже в 1920 году за границей мы с отцом получили известие, что сестра Соня вышла замуж за Степана Стольникова. Он при большевиках как инженер путей сообщения служил начальником той же дороги, которой когда-то управлял его отец. Эта служба, однако, не спасла его и сестру от большевистских терний и скорпионов, так как он периодически сиживал в тюрьме, не столько за собственные провинности перед рабоче-крестьянской властью, сколько за слишком уж непролетарское происхождение и родство. Дело в том, что Степан не только имел неосторожность родиться дворянином и помещиком и жениться на представительнице контрреволюционной фамилии, но был виноват ещё и в том, что его брат был женат на дочери министра юстиции Щегловитова, а сестра вышла замуж за сына московского губернского предводителя дворянства Базилевского. В своё время великосветская свадьба Елены Стольниковой, знаменитой московской красавицы, была событием в обществе и описывалась на страницах журнала «Столица и усадьба».

Почти одновременно с покупкой завода в Туле отец приобрёл у своей тётки Варвары Львовны Шишкиной её имение – сельцо Знаменское, как оно называлось в официальных актах. Усадьба находилась в нашем родном Щигровском уезде всего в 35 верстах от родовых поместий Марковых – Александровки и Теребужа.

Варвара Львовна была старшей из многочисленных тёток отца и была дважды замужем. Второй её муж, гусарский ротмистр Николай Михайлович Шишкин, как и подобает лихому кавалеристу старого времени, порядком расстроил состояние, вследствие чего его вдова после смерти мужа, чтобы избавить родовое гнездо от продажи с молотка в чужие руки, уступила его с лежащим на имении долгом своему племяннику.

Первый наш приезд в Знаменское и Покровское имел место ранней весной 1899 года. Помню долгую и грязную дорогу по раскисшему чернозёму со станции в усадьбу в кромешной темноте апрельской ночи, которую безуспешно пытался разогнать ехавший впереди нашего экипажа верховой с дымящимся и жестоко вонявшим факелом. Ехали мы в старинной, пахнувшей нафталином, карете, причём я сидел на коленях попеременно то у няньки, то у горничной Веры. Из-за ранней весны и скверной погоды мы жестоко мёрзли первое время в деревянном покровском доме, по старинке не имевшем печей, а только огромные, не держащие тепла камины. На дворе две недели без перерыва шёл дождь, и мы, сгрудившись вокруг кресла матери, сидевшей у камина, слушали неистощимые рассказы

няньки Марьи, у которой всегда были в запасе истории на все случаи жизни.

Имение, как и следовало ожидать, оказалось сильно запущенным, и в нём, несмотря на изобилие дворни, не было налицо самого необходимого даже для продовольствия барской семьи. Ещё более мрачными показались нам первые дни пребывания в Покровском, потому что многодневный дождь совершенно раскrвасил знаменитый курский чернозём, до того жирный, что пахота из-под тяжелого плуга выходила такая, что о ней говорили «выросло бы дитё, когда бы посадили».

Отца в первые деревенские дни в Покровском я не помню, а мать даже и не пыталась привести в порядок расстроенную хозяйственную машину, так как при всём своём добром желании она ничего в этом не понимала, будучи всю жизнь женщиной своего круга, со всеми достоинствами и недостатками институтки старого закала. Привыкшая к обеспеченной светской жизни, красивая и молодая, она жила, смолоду пользуясь всеми благами жизни, предоставив нас, пока мы были маленькими, заботам и попеченью мамок и нянек. Впоследствии, о чём скажу в своём месте, она совсем оставила светскую жизнь, посвятив всё своё время нашему воспитанию, чему способствовали и тогдашние обстоятельства её семейной жизни. Сделавшись в 30 лет хозяйкой и помещицей, она сумела, однако, не опуститься в деревне, как это почти всегда случалось с дамами, долго живущими по усадьбам, а сохранила вид и манеры светской женщины до конца своей недолгой жизни.

Покровская усадьба, в которой мне было суждено провести детство и юношество, была расположена в 7 верстах от небольшой железнодорожной станции Липовская, впоследствии переименованной в Черемисиново, на пути между Курском и Воронежем, в 25 верстах от уездного города Щигров.

Этот мой родной городок, один из ничтожнейших и беднейших уездных городов России, был создан указом Великой Екатерины из чисто административных видов. Стоял он на возвышенности между речками Щигрой и Лесной Платой, и даже через 100 лет после наименования его городом едва насчитывал всего две тысячи жителей. До 1779 года он был однодворческим селом и назывался Троицким на Щиграх. Зато уезд Щигровский был на редкость многолюден, обширен и замечательно плодороден.

По уставу станичной и сторожевой службы, составленному в 1571 году героем Казани князем Воротынским, при царе Иване Грозном отряды детей боярских и других служивых людей должны были выжигать Дикое поле - совершенно незаселённую степь по рекам Тиму, Тускари и Кшени, т.е. именно район Щигровского и соседнего с ним Тимского уездов. «А жечи поле в осенях, в октябре или ноябре по заморозам, и как гораздо на поле трава посохнет, а снегов не дожидаясь, а дождався ведреныя и сухия погоды, чтобы ветер был от государевых украиных городов на польскую степную сторону…».

Курская губерния – житница России, Щигровский уезд – самый плодородный в губернии. Его земли в моё время оценивались даже банками на 20% выше земель других уездов Курской губернии.

Щигровский и Тимский уезды составляют наиболее возвышенную часть Курщины и служат водоразделом речных бассейнов трёх различных морей: Чёрного, Азовского и Каспийского. В них впадают реки Сейм, Сосна и Ока. Естественно, что наши места, служа истоками многих рек, были богаты в старину лесами, озёрами и болотами. Это доказывает то, что множество селений нашей местности носит название «колодезей»: Толстый Колодезь, Гремячий, Добрый, Ольховатый, несколько Белых и т.д. Другие селения заимствуют свои названия прямо от лесов: Ясенки, Берёзовое, Липовское, Ольховатка, Дубовое, Вязовое, Удерев и прочее. Такие имена селений, как Охочевка, Соколья Плата, Княжое Поле, Орлово Гнездо, несомненно, указывают на существование в старину больших лесов. А между тем Щигровский уезд моего времени был чистой степью.

Заезжему наблюдателю, незнакомому с прошлым наших мест, покажется, что он въехал в обнажённые малороссийские степи. Помещичьи имения благодаря этому обстоятельству виднеются издали на равнине, как зелёные оазисы пустыни. В особенности помещичья усадьба была очевидна, если среди куп зелени виднелась аллея пирамидальных

тополей − традиционная принадлежность господского дома в деревне.

А между тем спросите стариков, каков был наш уезд 70-100 лет тому назад. По реке Рати, на которой теперь нет ни одного леска, тянулся сплошной древний лес до самых берегов Тускари. В этот лес люди боялись ходить и ездить. «Выйдешь, бывало, на зорьке, − рассказывала мне 90-летняя дьячиха из Куначей, − послушаешь на ту сторону, аж жутко делается от вою и крику звериного…».

Странник Афанасий Чикин, уроженец Покровского, рассказывал, что зверья в лесах было в его молодости такое множество, что на волков уже не охотились, а просто выращивали их на шубы, как домашнюю скотину. Разыщут мальчишки волчье гнездо, подрежут волчонкам поджилки на ногах, да и дожидаются, когда они вырастут большие. Далеко всё равно не могли уйти с искалеченными ногами. Старики не старше 70 лет говорили мне в Мансурове, что ещё на их памяти по реке Кшени и Теребуже водились дикие лошадки, маленькие, головатые, мышиного цвета. Диких козлов стреляли ещё позже.

Память о татарских набегах, против которых приказывал когда-то Воротынский «жечь поле в осенях», ещё крепко жила в памяти наших мест, бывших всего два века назад передовым заслоном Москвы против степных наездников. В шести верстах от нашей усадьбы у села Красная Поляна, на полпути от него к Муромскому шляху, на красивом возвышенном месте стоял исторический памятник «голубец» − дубовый столб в 5 аршин высотою с обшитой железом верхушкой. К нему ежегодно 8 мая приносились крестьянские иконы и служилась панихида по умершим здесь много лет назад воинам. Место вокруг голубца называется «побоищем» − оно являлось в старину ареной исторического события. Здесь в 17 веке произошла битва русской рати с татарами, окончившаяся победой курского воеводы и отнятия «полона», забранного татарами под Ливнами и Ельцом. Здесь постоянно во время моего детства находили старинные копья и оружие, а в 1909 году рабочие, копавшие яму для землемерных работ, наткнулись на массу человеческих черепов и костей красноватого цвета, на некоторых были замечены порубы и проломы от мечей. Величина черепов была такова, что на них едва влезала шапка взрослого человека. Ночью голубец считался местом нечистым, и о происхождении его существует следующее предание.

После сечи, бывшей на этом месте, черепа убитых воинов валялись непогребёнными, без могил и какого-либо памятника. Результатом этого явились частые появления мёртвых голов окрестным жителям. В особенности они тревожили пастухов в поле по ночам, разгоняя их скот во все стороны. Напуганные крестьяне обратились к местному священнику с просьбой похоронить кости и отслужить панихиду, что и было исполнено. На могиле после этого был поставлен голубец. С тех пор видения исчезли и более не появлялись до момента, когда время и дожди заставили подгнивший столб упасть, о чём немедленно узнали все окрестные деревни и ночующий по полям народ, которому опять начали показываться видения. С этого времени в Красной поляне повёлся обычай – всякий раз, когда голубец подгнивал и приходил в ветхость, его заменяли новым. Весной 1901 года старый столб, поставленный в 1873 году, упал в последний раз, сваленный бурей, и крестьяне, снова взволнованные загробными тенями, сообща сделали новый и при большом стечении народа торжественно его поставили 7 мая.

При подъезде к покровской усадьбе со стороны железной дороги, т.е. с севера, перед глазами путешественника открывается уже описанная выше картина степного имения, и ему в голову даже не могло прийти, что барский дом стоит не на равнине, а над крутым обрывом реки. Усадьба стояла на берегу степной реки Тима, один из берегов которой был высоким, а другой луговым. Впечатление поэтому безмятежной и сливающейся с горизонтом равнины сохранялось у зрителя не только при въезде в усадьбу, но даже и при входе в самый дом. Только при выходе на другой его стороне на большую веранду, завитую сплошь диким виноградом, открывалась перед глазами широкая панорама пруда, мельницы, садов и заречных лугов, среди которых причудливо извивалась река. Река Тим являлась границей владения отца, так как луга за нею уже принадлежали большому и богатому селу Покровскому, делившемуся всё той же рекой на две части: собственно село Покровское и

Заречье. В первом находилась волость и так называемая «старая церковь» во имя Покрова, в отличие от «новой», выстроенной в Заречье отцом, к приходу которой принадлежала вся наша семья.

Скаты горы, спускавшиеся к пруду, были искусственно сглажены и засажены кустами сирени и цветочными клумбами. По берегам пруда и реки тянулись сады, в общей сложности занимавшие десятин двенадцать и носившие различные местные названия: большой, мельничный, грушевый, молодой и «островок». Большим садом именовался старый парк, начинавшийся от дома и шедший вниз по реке, которая, делая причудливый изгиб в полуверсте от дома, делила парк пополам. Во всю длину его тянулась длинная берёзовая аллея, всегда содержавшаяся в большом порядке и посыпанная жёлтым песком. Это последнее обстоятельство являлось необходимостью наших мест по той причине, что земля по своему исключительному плодородию выгоняла в сыром саду без песка немедленно травяные заросли. Конечно, дорожки в саду пололись, но не посыпанные песком представляли бы собой траурно-чёрные ленты чернозёма, придававшие саду самый похоронный вид.

Берёзовая аллея упиралась в изгиб реки, через которую был перекинут, не без поэзии, лёгкий деревянный мостик, устроенный на стволе огромного дерева, много лет назад сваленного бурей. Мостик вёл на так называемый островок, со всех сторон омываемый рукавами реки, десятины в три, весь засаженный правильными рядами фруктовых деревьев и окружённый по берегу густыми старыми вербами. Параллельно берёзовой аллее парка и под прямым углом к ней шли другие аллеи, обсаженные различными породами деревьев. Из них наше детское внимание особенно привлекала ёлочная аллея, представляющая собой естественный коридор из огромных стройных елей, которые посередине образовывали круглую площадку. Последняя служила не раз для торжественных праздников, причём ёлки при этой оказии иллюминировались разноцветными бумажными фонарями.

Была в саду, кроме того, и липовая аллея, самая старая, обсаженная могучими столетними липами, верхушки которых, уходя под самое небо, образовывали даже в самый солнечный день сырой и таинственный мрак в этом месте. Толстенные, в четыре человеческих обхвата стволы лип на высоте человеческого роста были сплошь изрезаны и исписаны вензелями и именами, насчитывавшими по два и по три поколения. По традиции каждый родственник, приезжающий в Покровское, должен был собственноручно вырезать своё имя на одной из лип. Из этих надписей помню особенно две: наполовину заросшие в коре от времени две буквы Ю. и Б., которые когда-то вырезал молодой правовед, жених одной из наших бабушек, умерший где-то в Сибири древним губернатором. Вторая надпись, уже едва заметная, лёгким женским почерком «Екатерина Евгеньевна Маркова» принадлежала когда-то чёрненькой тоненькой, как тросточка, юной институтке, которую я не помнил иначе, как смуглой пятидесятилетней дамой, дочери её, мои кузины, в моё время сами кончали институт.

По другую сторону дома вверх по течению реки береговой обрыв становился круче, и над ним был расположен грушевый сад, в котором, впрочем, помимо груш было множество яблок и вишен. Сад этот кончался оврагом, шедшим под прямым углом к реке и являвшимся границей усадьбы. За ним уже тянулся луг, или по-местному выгон, и начинались первые хаты деревни Удеревки, составлявшей окраину села Покровского. К грушевому саду со стороны поля примыкал молодой сад, насаженный на моей памяти отцом на четырёх десятинах. Он отделялся от большой дороги рвом, обсаженным живой изгородью жёлтой акации, густой и колючей. Ров этот окружал все границы усадьбы, около которой пролегали дороги между сёлами Покровским, Липовским, Толстым Колодезем и деревней Шепотьевкой.

Во фруктовых садах покровской усадьбы, как и вообще в садах наших мест, культивировались, главным образом, яблоки, преимущественно «антоновка» и «добрый крестьянин», которые вместе с соловьями составляют гордость Курской губернии.

Несколько странное название «доброго крестьянина» имеет чисто историческое

прошлое. По проезде императрицы Екатерины с Потёмкиным в Новороссию через Курск один пригородный крестьянин поднёс царице корзину яблок собственного сада огромной величины. На вопрос удивлённой императрицы, каким образом ему удалось вырастить такие яблоки, мужик ответил, что этого он достиг путём прививки к «антоновке» других сортов, почему ему и удалось создать новую породу яблок. Царица наградила его и назвала добрым крестьянином. Городские и губернские власти, представлявшие царице крестьянина с яблоками, не поняв как следует её слов, отнесли выражение «добрый крестьянин» не к мужику, а к яблокам, которые с этого дня так и стали называться.

С проездом Екатерины через курский край связан и другой исторический факт, а именно то, почему бывшая Белгородская провинция была переименована в Курскую губернию. Царский поезд ожидался в главном городе воеводства Белгороде целых три дня, отчего местные власти выбились из сил и момент его появления проспали. Екатерина, которую по всей России встречали с большой помпой, сочла это за невнимание к своей особе, но промолчала. В Курске, куда она приехала после Белгорода, наоборот, она была встречена с необыкновенным торжеством, чем осталась очень довольна. Когда в том же году производилось новое административное деление России на губернии и уезды вместо воеводств, она вспомнила своё путешествие и главным городом новой губернии определила быть Курску вместо Белгорода.

Возвращаясь к курским соловьям и прочим достопримечательностям родных мест, должен сказать, что водились соловьи у нас в усадьбе в изобилии. Причины этого, я полагаю, крылись в том, что они находили себе широкое приволье и безопасное житьё в обширных и тенистых садах, и в особенности в зарослях сирени. Густые заросли этих милых цветов тесно обложили наш старый дом, охватывая широким полукругом весь берег пруда. Густота этих зарослей была такова, что пробраться через неё птичьим врагам было весьма затруднительно. Цветение сирени в мае как раз совпадало с высиживанием птенцов, а стало быть, и с сезоном соловьиных концертов. Тогда в лунные ночи и без того красивая картина помещичьего дома над прудом, утопающего в цветах и зелени, приобретала волшебный вид. Вообще надо отметить, что усадьба наша считалась по своему местоположению красивейшей в уезде.

Соловьёв у нас не только любили, но понимали и берегли. С детства впитавший в себя все вкусы и традиции родины, я мальчишкой безжалостно стрелял из малопульной винтовки соловьиных врагов - копчиков, сов, сычей и в особенности кошек и котов, плодившихся в астрономических цифрах по кухням и сараям широко раскинувшейся усадьбы.

Большой неуклюжий дом наш имел разновременные пристройки, которые указывали на то, что он раздвигался по мере того, как нарождались новые поколения с новыми требованиями к жизни. Дом был живым свидетелем истории нескольких поколений, длинной биографией членов одной и той же семьи. Строения его были причудливы. С фасада был заметен только верхний этаж, нижний был виден только с пруда, куда выходили его окна. Справа и слева к главному зданию примыкали два крыла и под углом - третье, занятое кухнями и кладовыми.

Со стороны дороги в усадьбу вела широкая аллея, обсаженная акациями, перед домом же был широкий двор с крытым колодцем и длинным корытом для скота. Деревянная решётка и полукруг высоких деревьев-карагачей отделяли усадебный двор от круглой обсаженной цветами площадки – подъезда к господскому дому. Середину площадки, по традициям всех усадеб России, занимала огромная цветочная клумба. Парадное крыльцо представляло собой возвышающийся на несколько ступеней над землёй балкон с традиционными белыми колоннами и массивной дубовой дверью.

В главном здании покровского господского дома были расположены только «парадные комнаты», т.е. двойная зала, гостиная, столовая и кабинет отца. Все остальные жилые помещения находились в обоих крыльях дома, где имелось до дюжины маленьких тёплых комнат и всяческих боковушек. В нижнем полуподвальном этаже под парадными

комнатами было три больших мрачных комнаты, в которых только летом клали на ночь гостей, так как в них было сыро и холодно. Нижний этаж пользовался среди дворни Покровского худой славой. По местному преданию, в одной из комнат нижнего этажа умер «старый барин» Шишкин, которого, по твёрдому убеждению дворни и крестьян, «удавил чёрт» за беззаконное сожительство с собственной сестрой. Двухэтажная терраса, увитая плющом, выходила на пруд одновременно из верхних парадных комнат и нижнего этажа. Вдоль нижнего этажа во всю длину дома тянулась дорожка-терраса, приблизительно на половине горы спускавшаяся к пруду. С неё к самой воде спускалась каменная лестница, по обеим сторонам которой на каменных цоколях стояли огромные чугунные вазы с розовыми кустами. Под лестницей уже на самом берегу реки новая засаженная кругом сиренью и цветами площадка, в центре которой стоял столб для гигантских шагов. Вся гора вокруг дома и цветники вокруг изобиловали розами всевозможных сортов − это были любимые цветы мамы.

У самых окон нижнего этажа росли кусты любимого у нас в семье жасмина. Покойная мама была не только любительницей цветов, но и большим их знатоком, почему в садах и цветниках Покровского росли цветы редких сортов и самых разнообразных окрасок, запахов и видов. Каждую весну выписывались при жизни матери новые сорта из знаменитых тогда цветочных питомников графини Уваровой. Около дома в отдельно огороженном месте помещались парники и оранжереи для выращивания весенних цветов к столу и шампиньонов, не растущих в наших местах на воле. Ведали садами и парниками специалисты садовники, окончившие школу садоводства, существовавшую для надобности помещичьих имений в одной из губерний чернозёмной области.

Отцу не только пришлось постепенно перестроить дом и все службы усадьбы, которые ко времени вдовства Варвары Львовны сильно пострадали от времени и бесхозяйственности, но и вообще перестроить наново всё хозяйство. Инженеру по образованию, отцу не представляло больших затруднений хозяйственным способом привести все постройки в порядок. Имея среди дворни и в соседнем селе каменщиков, столяров, плотников и кровельщиков, не приходилось ему никого из специалистов выписывать из города, покупать и привозить со стороны строительные материалы. Лес был свой, кирпич для построек и кладок делался в самом имении, где был собственный кирпичный завод, по мере надобности периодически возобновлявший свою деятельность. Года через три-четыре после перехода Покровского в руки отца всё было приведено им в порядок; службы, дом, конюшни и скотные дворы были заново ремонтированы или построены новые. Одновременно было реорганизовано и полевое хозяйство, до того находившееся при старухе помещице в первобытном состоянии. Для него были выписаны всевозможные сельскохозяйственные машины: сноповязки, сеялки и косилки, конные грабли и т.д. В 1902 году был закончен постройкой и пущен в ход винокуренный завод, гнавший спирт из картофеля и свёклы. В удачные годы он давал один отцу до 12 тысяч в год дохода. С его открытием в мрачных комнатах нижнего этажа поселился винокур хохол-самостийник Шелест, человек маленького роста, но зато огромной амбиции, певший под аккомпанемент гитары тенором заунывные украинские песни. Много лет спустя, во время гражданской войны, на Украине он стал правой рукой батьки Петлюры, и надо полагать, хоть на короткий срок получил удовлетворение своему непомерному самолюбию.

Одновременно с Шелестом в покровской усадьбе постоянными посетителями стали акцизные чиновники, народ весьма компанейский и большие специалисты по преферансу и зелёному полю. Из отведённых им комнат всю ночь напролёт неслись картёжные споры и вырывались клубы табачного дыма, который терпеть не могли в нашей из поколения в поколение некурящей семье.

Одновременно с перестройкой усадьбы отец занялся и улучшением породы скота, в особенности же совсем запущенного после смерти Шишкина его вдовой конного завода. К началу войны отцу удалось этот завод поставить на твёрдую ногу, и весь его состав, за исключением рабочих лошадей, уже являлся чистопородными орловскими рысаками,

сплошь вороными и не меньше двух аршин росту. Каждую весну на конские ярмарки в Тим, Щигры и Курск, а также на знаменитую Коренную кучера и конюхи Покровского выводили от пяти до десяти молодых лошадей на продажу. Мама положила начало, а мачеха, обнаружившая большие хозяйственные способности, затем развила в усадьбе крупное молочное хозяйство, ставшее перед войной лучшим во всей губернии. По вечерам, когда пригонялось с поля коровье стадо из 60 чудесных розово-белых симменталей во главе с могучим красавцем быком, начинали свою песню на всю усадьбу полдюжины молочных сепараторов, в унисон тянувших свою однообразную симфонию.

Для надобностей конского завода и улучшения крестьянских лошадей отец ежегодно держал у себя в усадьбе двух жеребцов-производителей из курского отделения Императорской государственной конюшни. Жеребцы эти были всегда: один – чистый орловец, другой – огромный першерон или клейдесдаль. Скрещивание последнего с рысистыми кобылами давало сильную и достаточно быструю в езде породу рабочей лошади. Обязательным атрибутом при казённом жеребце были сопровождающий его из Курска солдат-конюх, попона и ведро, украшенные государственным орлом.

По уставу государственного конезаводства жеребцов предоставляло правительство на частные конские заводы даром, за стол и квартиру, но кроме обслуживания жеребцом завода на его обязанности лежало также и улучшение породы лошадей округа. Для регистрации этих обязательных мезальянсов при жеребцах прилагалась особая тетрадь на гербовой бумаге, каждая страница которой представляла собой свидетельство о рождении будущего жеребёнка, а корешок являлся квитанцией уплаты за лошадиный брак. Цена случки колебалась в зависимости от качества жеребца от 5 до 25 рублей.

В результате этих разумных мер правительства порода крестьянских и помещичьих лошадей нашей местности в какой-нибудь десяток лет изменилась на моих глазах до неузнаваемости. Редкий мужик-середняк, имевший 2-3 лошади на дворе, не имел полукровного, а то и чистого жеребёнка орловских кровей, уже не говоря о богатых крестьянских дворах, где праздничный выезд на деревенское гулянье на рысаке считался своего рода вопросом самолюбия.

Бегами отец не интересовался и к увлечению ими относился отрицательно, справедливо считая, что они являются одной из причин разорения поместного дворянства. К моменту революции рысистый завод отца достиг более сотни лошадей различного назначения, как-то: заводских кобыл, жеребцов, ездовых, рабочих и молодняка, ещё ходившего в табуне.

Кроме лошадей и коров, в покровской усадьбе издавна разводились свиньи йоркширы и полукровки, число которых, насколько я помню, достигало до нескольких сот всяких размеров и калибров. Свинота эта занимала особые помещения, по туземному именовавшиеся свинятниками. Они составляли большую часть скотных дворов усадьбы. Длинные одноэтажные здания, построенные четырёхугольником вокруг «свинячьего двора», они до половины своих стен были завалены для теплоты соломой и навозом, политым извёсткой. Это обстоятельство в совокупности с постоянно лежавшим в корытах «месивом» для откармливания так называемых «кормных» свиней, служило тому, что в свинятниках водились сотни крыс, представлявших для меня в детстве предмет охоты. Охотничьи воспоминания в свинятниках были первыми в моей охотничьей карьере. Для соединения приятного с полезным отец подарил нам с братом малопульную винтовку монтекристо для избиения крыс и в виде поощрения платил нам по копейке за каждую убитую крысу. В дни удачи эта охота приносила нам до рубля в день, но зато требовала время от времени перерыва, так как крысы скоро нас узнавали и становились слишком осторожными.

Ежегодно за откормленными до неприличия свиньями в усадьбу являлись специальные скупщики. Неистово оравших толстух рабочие валили на телеги, по одной на каждую, привязывали верёвками, и затем длинная процессия вытягивалась по направлению к станции под непрерывный аккомпанемент хриплого свинячьего крика. Надо сказать, что свиньи, как это ни странно, скотина чрезвычайно нервная и в буквальном смысле

слабосердечная, что, вероятно, объясняется их излишним ожирением. Иногда при слишком грубом обращении во время погрузки, в особенности в жаркие дни, свиньи помирали от разрыва сердца и волнения. Помню однажды и такой случай, когда виновником свиной смерти был я сам. Стреляя в крысу, сидевшую в корыте, я промахнулся и попал в зад сладко спавшей рядом огромной свиньи. Крохотная пулька, вернее, дробинка моей винтовки, не проникнув в мясо, застряла в слое сала. Из ранки даже не показалось крови, что, однако, не помешало тому, что здоровенная скотина, дико рявкнув спросонок, захрипела и тут же сдохла на моих глазах, надо полагать, от чистого перепуга. Пользуясь тем, что вся эта свинячья драма произошла без свидетелей, я спасся бегством, так как моя роль во всём этом могла привести к прекращению охоты и потере мною верного дохода с крыс.

Крупное скотоводство и полевое хозяйство, которые велись в Покровском, само собой разумеется, требовали и многочисленного обслуживавшего всё это персонала в лице кучеров, конюхов, скотников, свинарей, пастухов и просто рабочих, которых у нас в усадьбе поэтому и насчитывалось до сотни человек. При этом по обычаю дворовые и служащие делились по своему значению на четыре категории и соответственно с этим ориентировались на четыре различные кухни, где они столовались. Таким образом, эти кухни являлись как бы признаком социального деления персонала нашей обширной усадьбы.

Во главе, конечно, стояла барская кухня, именовавшаяся «поварской», хотя повара Андрея я помню только в раннем детстве. Впоследствии же поварской ведали просто кухарки, и слово это потеряло своё значение. Кроме нашей семьи, гувернанток, репетиторов и винокура, здесь получала пищу прислуга барского дома.

За «поварской» в порядке социальной лестницы шёл так называемый «склад», где принимала пищу высшая усадебная аристократия в лице садовника, мельника, механика, главного кучера, двух стражников и старших заводских специалистов. «Складом» называлось обширное помещение коровников и жилого помещения при них, которые в какие-то полулегендарные времена служили складами бывшего пивного завода, затеянного покойным Шишкиным из барской блажи.

Следующей ступенью была «людская», которая давала хлеб насущный всем постоянным рабочим, конюхам, скотникам и свинарям усадьбы. Наконец, последней категорией числилась кухня на мельнице, где столовался низший персонал мельницы и так называемые «сороковые девки». Под этим сборным наименованием значились от 30 до 50 крестьянских девиц, по обычаю наших мест нанимавшихся в помещичьи имения для полевых работ на определённый срок с «весеннего Николая до Покрова», т.е. с 9 мая до 1 октября. Девы эти из года в год были всегда из большого села Крутого, рядом с которым находилось наше родовое имение Александровка. Село это отстояло от нас по деревенским понятиям довольно далеко, и хотя к нему гораздо ближе находилось много других помещичьих имений, где также существовал институт «сороковых девок», крутовские красавицы предпочитали служить у нас.

По-видимому, тут опять действовали старые навыки и традиции, так как из поколения в поколение их матери, тётки и бабушки до замужества нанимались на срок в усадьбу моих дедов в Александровке. Когда же овдовевшая после смерти деда бабушка Анна Ивановна перестала заниматься хозяйством и сдала свою землю в аренду, то право на труд крутовских девиц по наследству перешло к моему отцу.

Помещались эти девицы в обширном бревенчатом амбаре при мельнице, летом пустующем, кстати сказать, очень уютном и имевшем вид подгородной дачи. Он был разделён на отдельные помещения, одно из которых часто занимали на ночь гости-мужчины и мы с братом и репетитором. По этой последней причине я был хорошо знаком с жизнью и обычаями соседней с нами девичьей республики. Нравы в ней, надо правду сказать, господствовали отнюдь не пуританские, и редко кто из холостых служащих усадьбы не имели любовниц из крутовских красавиц. По местным взглядам общественное мнение относилось строго только к поведению замужних женщин, девицы же считались вольными и отчётом ни перед кем не обязанными, конечно, если они пользовались своею молодостью

степенно и без доказательств.

В отдельном доме, кроме перечисленных общежитий и кухонь, жили два приказчика с семьями, гордо именовавшие себя «управляющими». Один из них приходился тестем другому, так что семья, в сущности, у них была общая. Домик, где они жили, почему-то, вероятно, в воспоминание крепостных времён, назывался «конторой». Старший приказчик носил имя Дементьича, его зять отзывался на Ивана Фёдоровича.

Надо сказать, что в наследство от тётки Шишкиной к отцу перешли вместе с имением и её старые служащие, из которых несколько человек стариков ещё помнили крепостное право и поэтому считали себя как бы принадлежащими к живому инвентарю усадьбы. Во главе их стоял Дементьич, затем старик конюх Ильич и его старуха, имевшие в усадьбе многочисленное потомство, также занимавшее различные должности. Как помнившие времена не только старой барыни, но и крепостные времена её молодости, старики эти являлись патриархами и блюстителями традиций среди дворни.

Дементьич, большую часть обязанностей которого уже принял на себя его зять, наблюдал исключительно за полевым хозяйством, целые дни разъезжая по полям и лугам верхом на старой вороной кобыле Птичке, посёдланной порыжелым и видавшим виды казачьим седлом. В прежние времена старик был лихим наездником и ведал у Шишкина охотой. Его помощник и зять был крикливый и нагловатый молодой человек, обязанный своим «возвышением» своевременной женитьбе, которая «покрыла грех» старого барина. Вышел он из мальчишек-блюдолизов при барском дворе, так как мать его в своё время, а впоследствии жена и сестра были барскими горничными. Вообще, семья Зубковых, как звали приказчиков, много поколений подряд принадлежала к помещичьей дворне, неся обязанности старост, приказчиков и других ближних людей при господских особах. В моё время две сестры Ивана Фёдоровича – Саша и Серафима – служили у матери горничными.

Продав имение отцу и переселившись доживать свой век в Щигры, бабушка Варвара Львовна до конца жизни не оставила привычек старой крепостной барыни, чему способствовало то обстоятельство, что она была независима в средствах, уважаема и жизнь её, тихо протекавшая в уездном особняке, мало чем отличалась от прежнего времени. При доме её, всегда изобиловавшем женской прислугой, жило постоянно с десяток девчонок, изучавших под руководством старых горничных тонкости службы в хороших барских домах, чтобы в последствии, войдя в года, поступить по рекомендации бабушки на самостоятельную службу в одно из помещичьих имений родственников или знакомых Шишкиных. Девчонки эти вербовались отнюдь не с улицы, а строго придерживаясь традиции, из семей прежних горничных или их родственников, т.е. опять-таки из деревень, когда-то принадлежавших Шишкиным, Марковым, Бобровским или Рышковым. Такой многолетний подбор создавал естественно крепкую связь между господами и их, так сказать, потомственной прислугой, сживавшихся друг с другом с младых ногтей и знавших все предания и обычаи дома.

Здесь, мне кажется, уместно остановиться на правах и взаимоотношениях дворни и окрестного крестьянства к помещикам-господам во времена моего детства и юности. Со времён крепостного права тогда минуло едва три десятка лет, и старые отношения и обычаи далеко ещё не выветрились из обихода наших мест. Народ ещё делал большую разницу между «своими» и «чужими» господами, т.е. между теми, которым их отцы принадлежали на правах собственности, и помещиками новыми и пришлыми.

Я хорошо помню, как крестьяне соседней с нашей усадьбой деревни Шепотьевки однажды упрекали отца за то, что он какую-то работу отдал не шепотьевцам, а крестьянам села Покровского, бывшего к нам гораздо ближе. «Обидел ты нас, барин, ваше превосходительство! Вот как обидел! Чужим отдал, а своих, прямо сказать, обидел!» «Своими» они были потому, что Шепотьевка представляла собой потомков освобождённых от крепостной зависимости крестьян, принадлежащих когда-то бабушке и потому искренне считавших себя более близкими отцу, чем мужики других деревень.

Наша нянька и кормилица брата, Дуняша, всегда с гордостью подчеркивала перед

остальной прислугой, что она «барынина», т.е. происходит из бывших крепостных семьи моей матери. Отношение всей дворни, как старых, так и малых, к нашей семье было как к людям очень близким, но в то же время принадлежащим к высшей породе. Это было настолько естественно и привычно, что этот факт и в их, и в наших глазах даже не подлежал сомнению, как нечто установленное самой природой.

Проведя детство и юность в деревне, мы все три брата имели довольно демократические вкусы, и с дворовыми и деревенскими мальчишками, а впоследствии и взрослыми парнями, были в чисто товарищеских отношениях, что, однако, в их глазах никогда не стирало чувства нашего социального превосходства. В детстве это «высокопоставленное» положение в отношении деревенских приятелей мне было очень неприятно, и я его всеми силами старался сгладить, но совершенно безуспешно. Так, например, был у меня любимый друг детства и юности Алёша Самойлов из крестьян села Покровского, который, несмотря на все мои просьбы и настояния, категорически отказывался перейти со мной на «ты», относясь к этому как к явной блажи с моей стороны и с большим осуждением. Несмотря на нашу многолетнюю искреннюю дружбу, он всегда держал себя в отношении меня как подчинённый, что меня очень обижало и злило. А между тем он принадлежал к однодворческой семье, совершенно независимой от усадьбы ни прежде, ни потом, так как его деды были вольными людьми, и в память одного из них, служившего юнкером на Кавказе, вся семья Самойловых именовалась по-уличному «юнкарями».

Подобное отношение к себе как к представителю особой породы я видел не только в соседних с нами деревнях, но и в других дальних местах нашей губернии, куда мне приходилось попадать по охотничьим делам впоследствии. Никто и никогда из крестьян и дворовых во времена нашего детства не называл нас по имени, а всегда мы были для них с братом «барчуками». Играя с дворовыми и крестьянскими ребятишками в лапту или в лодыжки, подражая им во всём, даже в костюме и поведении, мы, тем не менее, всё же оставались среди них особыми существами. Когда они ели, проголодавшись, чёрный хлеб с луком, а мы просили того же, родители их каждый раз пытались всучить нам вместо чёрного хлеба булку с прибавлением злившего меня изречения, что «не полагается господам есть мужицкое». При подобных случаях в ребячьи годы было мне стыдно и досадно на это вечное неравенство, которое неодолимой стеной отделяло нас от привычной и близкой среды деревенских приятелей.

Ни уже упомянутый Алёшка Юнкер, ни кто-либо другой из приятелей-крестьян нашего детства и юности не чувствовал себя в своей тарелке, если его удавалось изредка затащить к нам в дом. Никакой приятельской беседы в этом случае не выходило, так как гость смущённо молчал, с опаской оглядываясь по сторонам, и лишь изредка решался произнести несколько слов шёпотом. Он явно при этом тяготился своим положением и ожидал как избавления момента, когда он, наконец, мог уйти. Часто подобный гость, несмотря на все протесты смущённых хозяев, вдруг принимался за какую-нибудь добровольную работу в виде чистки ружей или охотничьих принадлежностей, а то и просто… сапог.

Свободнее чувствовали себя наши деревенские приятели в «поварской» среди горничных и кухарок, т.е. хотя и в барском доме, но, так сказать, уже в разряженном воздухе. Но даже и там, едва только немного «разгулявшийся» приятель начинал находить самого себя, как вдруг раздавался грозный окрик поварихи Авдотьи Ивановны, строгой блюстительницы этикета: «Ты что это расселся с барчуком рядом? Ай, он тебе ровня?» И вся с таким трудом налаженная интимность опять летела прахом.

Даже горничные недовольно поводили носом, обнаружив в наших комнатах деревенского гостя, и по уходе его неизменно фыркали: «И охота вам, барчук, сиволапого мужика к себе водить! Тоже гость! Сопли в руку сморкает и дух от него чижолый».

Впоследствии, когда я стал молодым человеком, подобный порядок вещей менее резал глаза, да, вероятно, и времена уже переменились и были уже не те, но в детстве при

обострённой детской деликатности я чувствовал подсознательный протест против этого неравенства. По-видимому, эти чувства разделял и брат Коля, с которым мы росли вместе и были, по выражению нянек, «погодками», т.е. он был старше меня ровно на год. Сестра Соня как барышня и институтка соприкасалась меньше нас с народом, младший же брат Женя был нас много моложе, и его детство протекало в период, когда смута 1905 года нарушила и сломала старые отношения, и, конечно, отразилась и на наших, до того нетронутых временем местах. Отец и мать, выросшие в условиях ещё полукрепостных отношений, вероятно, и не представляли себе в то время другого порядка вещей, чем тот, в котором они жили. Кроме того, отец, бывший требовательным и грозным барином, являлся истинным представителем своей среды поместного дворянства прошлого века, полагавшего, что народ до тех пор хорош, пока его не «разбаловали».

После событий 1905 года даже для моего детского тогда понимания было ясно, что прежние отношения в деревне между господами и крестьянами стали далеко не те, что прежде. Эти два класса, столь близко стоявшие много веков друг к другу, с этого времени разделились резкой чертой взаимного недоверия, и эта черта не изгладилась уже вплоть до русской катастрофы.

Наше с братом детство, жизнь и быт всей нашей семьи также резко разделился этим роковым годом на две различные эпохи. До него жизнь в покровской усадьбе катилась безоблачно и широко. Шумные съезды соседей, званые обеды и праздники чередовались один за другими, мать и отец отдавали дань своей молодости и с увлечением участвовали в охотах, катаньях и пикниках. Средства, которыми располагал в это время отец, позволяли родителям вести подобную жизнь, не многим уступавшую помещичьей жизни прежних времён. Знакомых, родных и приятелей был весь уезд, и компаний было не занимать.

Ближайшими нашими соседями и приятельницами матери в то время были две дамы помещицы − Полякова и Ломонович. Первая жила с мужем врозь, вторая была вдовой известного земского деятеля. Их имения были расположены почти рядом, верстах в трёх от нашей усадьбы. Сообщение с этими соседками было не только по суше, но и на лодках по реке Тиму, хотя в этом случае приходилось в одном месте перетаскивать лодку через мельничную плотину.

У Поляковой был мальчик-сын, наш ровесник, у Ломонович − уже взрослый сын. Наши три семьи жили дружно и весело, почти ежедневно бывая друг у друга. Мальчиком я очень увлекался водным спортом всех видов, поощряемый в этом отцом, который хотел отдать меня в морской корпус. В качестве «специалиста» я дважды участвовал в лодочных гонках вместе со взрослыми. Гонки эти имели место у нас на пруду, и в них участвовали до десятка гребцов. Первым пришёл отец, у которого я был рулевым, и поэтому приз – золотой кораблик-брелок – по общему решению отдали мне, что долго служило предметом моей гордости перед братом и приятелями.

Земский врач больницы в селе Покровском Владимир Андреевич Фавр являлся непременным членом всех окрестных помещичьих развлечений. По крови француз, по рождению, вкусам и привычкам чисто русский человек, он был интересный и на редкость хороший человек. Не дурак выпить и поддержать компанию, страстный охотник, он был большой и искренний демократ. С одинаковым удовольствием он водил компанию и с крестьянами, и с помещиками и был любим и теми, и другими. Как большинство охотников из русского народа, он был честный и хороший человек. Из других лиц, которых я вспоминаю в этот беззаботный период своей жизни, была подруга моей матери по институту, известная переводчица с иностранных языков Зинаида Николаевна Журавская. Она гостила у нас одно лето, живя в отдельном флигеле, стоявшем в саду, со своим сыном Володей, нашим ровесником.

Родители наши и все знакомые окружали Журавскую атмосферой внимания и уважения как умную женщину, жившую совершенно самостоятельно, − явление в то время не слишком частое в нашем кругу. Литературный труд, который Зинаида Николаевна не оставляла и у нас в деревне, не мешал ей быть очень красивой и весёлой женщиной, за

которой безуспешно ухаживало много мужчин, и в их числе мой отец. Это последнее Журавской как женщине глубоко порядочной показалось совершенно неуместным, и дело кончилось тем, что она, рассказав матери о поведении нашего родителя, и несмотря на все уговоры, покинула Покровское, что называется, подальше от греха. В её опустевшем флигеле вскоре поселился я с матерью по причине какой-то детской болезни, у матери, впрочем, были для этого и другие резоны, о которых будет сказано ниже.

Такому перемещению я был очень рад, как и всякий ребенок. Мне нравилось жить в маленьких уютных комнатах флигеля вместо большого дома. Однажды ночью я проснулся от какого-то шума и беготни через комнаты нянек и горничных. Наутро одевавшая меня нянька Марья неожиданно поздравила меня с новым братцем. Очень заинтересованный этой новостью, я бросился в комнату матери и не успокоился до тех пор, пока улыбающаяся мама не позволила мне потрогать маленький красный комочек, который тихо посапывал и был, несомненно, живой. Весьма разочарованный видом нового брата, я вышел в сад после чая и, качаясь на качелях, совершенно об этом происшествии забыл.

Из глубины сада, между тем, подошли ко мне приехавшие на лодке подруги матери Полякова и Ломонович и, улыбаясь, спросили у меня, не случилось ли чего-нибудь у нас этой ночью? С чистой совестью я ответил им на это отрицательно.

– А мама здорова?

– Здорова.

– Где же она?

– Лежит ещё в кровати, не вставала.

– Да что ты, Толечка, ведь сейчас половина двенадцатого. У неё, наверное, ребёночек родился?

– Ах, да, да…– вспомнил я, – родился… Мама сказала мне, что его Женей зовут, а ещё…

Но тут смеющиеся дамы, подобрав юбки и не слушая меня, бросились бегом к флигелю, обозвав меня на ходу дурашкой.

На крестины брата приехал к нам в Покровское из Воронежа дед Евгений Львович, сделавшийся у купели крёстным отцом своего последнего внука, тёзки по имени, отчеству и фамилии. По старому обычаю на «зубок» дедушка подарил крестнику участок земли на берегу Чёрного моря. Участок этот он получил от правительства за бесценок в конце прошлого века, когда казна в интересах заселения кавказского побережья, одичавшего после выселения черкесов в Турцию, раздавала землю видным лицам на льготных условиях с обязательством её культурной обработки в определённый срок.

Деду − известному общественному деятелю, служившему в эти времена на Кавказе и в Крыму, − неоднократно предлагали землю, но он, никогда не болевший лихорадкой стяжания, будучи человеком обеспеченным, неизменно отклонял эти предложения. В бытность его в семидесятых годах директором народных училищ Крыма ему представлялась возможность получить земли в Алупке, впоследствии стоившие 10 миллионов рублей. Последнее предложение этого рода дед получил как раз перед рождением Жени, и поэтому передал своё право на землю моему отцу, который в тот же год получил участок у села Геленджик Черноморской области на берегу моря. В пять лет отец привёл его в культурное состояние, разбил 8 десятин виноградника и выстроил двухэтажный каменный дом оригинальной архитектуры, рассчитанный на сопротивление не только свирепому ветру норд-осту, дующему здесь зимой, но и способный выдержать целое землетрясение.

Приезд деда на крестины в Покровское − последнее посещение им нашей семьи. Через год он заболел раком печени и умер в Воронеже 1903 году, где занимал до самой смерти должность управляющего воронежским отделением Дворянского банка. В городе он был очень популярен и играл видную роль в местном обществе. Его похороны имели самый импозантный характер, и все тогдашние газеты и журналы России поместили его обширные некрологи. Покойный прекрасно рисовал карандашом и красками, как и многие члены нашей семьи, − это было в роду как бы наследственный талант. Трое из Марковых в своё время

окончили Академию художеств, хотя впоследствии и не работали как художники. Помню, что в этот свой последний приезд к нам дед по просьбе внуков рисовал в наши альбомы сцены из охотничьей жизни и исполнил цветными карандашами мой портрет во весь рост. При этой оказии я фигурировал одетый в первый раз в жизни в голубой бешмет и белую черкеску и папаху, этот костюм дед мне привёз в подарок. Надо сказать, что по нашим мальчишеским взглядам того времени я принёс большую жертву, согласившись надеть столь непривычную одежду. По неписаным законам нашей деревенской республики, среди нас, мальчишек, считалось чрезвычайно стыдным, позорным и непростительным слабодушием надеть что-либо, отступающее от обычной одежды, которую мы носили в деревне, т.е. русской рубашонки, шаровар и высоких сапог. Ни за какие блага в мире мы с братом не соглашались надеть матроски или какой-либо другой детский костюм городского ребёнка. Помню, раз в Озерне мать и две тётки добрых два часа уговаривали меня надеть на себя матроску, которая, по их мнению, мне очень шла. Все их усилия не только словесные, но даже физические, пропали даром. Я ревел, как телёнок, отбиваясь от них руками и ногами, и кончил тем, что разорвал, наконец, надвое ненавистный костюмчик. Мать рассердилась за это и пребольно нашлёпала меня, что, впрочем, я принял с большим облегчением, как долгожданный конец мучения. К сожалению, детский мой портрет, нарисованный дедом почти накануне смерти, у меня не сохранился, как и многие другие вещи и документы, о которых я теперь горько сожалею.

К этому времени, т.е. к 1902-03 годам, относится появление в нашем доме гувернантки Марии Васильевны, которая впоследствии сыграла крупную роль в нашей жизни, став второй женой нашего отца и мачехой для нас. Гувернанток вообще, француженок и русских, я помню у нас довольно много. Была некая старая французская дама, затем её дочь, совсем молоденькая барышня, только что приехавшая из Парижа и ни слова по-русски не понимавшая. Затем две или три безымянные «мадмуазели», весёлая и красивая Диси. Затем вечно плакавшая о былой весёлой жизни русская барышня фон Мантейфель, дочь умершего калужского полицмейстера, и, наконец, некая серьёзная и постоянно обижавшаяся на всех и на всё Вера Васильевна Милютина, готовившая брата Колю в кадетский корпус и влюбившаяся в него, в мальчишку, как безумная. Несмотря на присутствие всего этого учащего персонала, в качестве нашей постоянной русской воспитательницы при детях неизменно состояла уже упомянутая Мария Васильевна. Родом она была тоже курянка из разорившихся дворян Тимского уезда Клевцовых. После смерти отца, разорения и продажи с молотка их родового имения Каменки Клевцовы переселились в Курск. Семья их в это время состояла из старухи матери, многочисленных сестёр курсисток и брата офицера Козловского пехотного полка, убитого впоследствии в русско-японской войне.

Помню, что однажды нянька Марья, подняв меня утром с постели, во время одевания и умывания сообщила с нескрываемым неудовольствием, что к нам приехала новая «губернантка». Няньки и остальная прислуга приняли её с неприязнью, как всякий новый элемент в доме, нарушающий привычный им уклад. Недовольство няньки, которую я очень любил, немедленно передалось и мне, я раскапризничался и отказался выйти «повидаться» с новым моим начальством. Няньке пришлось вынести меня на руках в столовую, где я увидел тоненькую, стройную и молодую блондинку, очень ласково меня приветствовавшую.

Поселилась Мария Васильевна в комнате нижнего этажа, куда мы с братом каждое утро спускались на занятие русским языком и арифметикой. С первых лет появления Марии Васильевны в нашем доме она сделалась не столько нашей гувернанткой, сколько нашей пестуньей, заменившей нам с Колей нянек и кормилиц, с рук которых мы ещё неохотно слезали в те времена. Моя Марья, так и не примирившаяся с новой гувернанткой, через два года заболела и умерла в курской больнице, куда её поместила мать, а Колина – Дуняша, вовремя обнаружившая кухонные таланты, стала сначала помощницей повара Андрея, а затем и самостоятельной поварихой. Постепенно Мария Васильевна вошла в семью как равноправный её член и стала принимать участие не только во всех её радостях и горестях,

но и взяла на себя всё домашнее хозяйство дома, до которого мама была не охотница. Помню, что мать, очень полюбившая Марию Васильевну и проводившая в её компании всё своё время, по случаю разных семейных праздников всегда требовала, чтобы отец покупал, наряду с другими членами семьи, подарок и Марии Васильевне.

Братишка Женя, родившийся в 1902 году, перешёл к ней на руки с самого рождения. Как только он начал лепетать первые слова, стал называть Марию Васильевну «мамой белой», в отличие от «мамы чёрной», своей родной матери, которая действительно была жгучая брюнетка и волосами, и цветом кожи, унаследовав это от своей матери, родом черногорки.

На всех пикниках, поездках в гости, катаньях и приёмах рядом с мамой находилась всегда Мария Васильевна. Для верховой езды, которую очень любили все дамы нашей семьи, отец подарил маме и Марии Васильевне одновременно два дамских замшевых, шитых шёлком седла, на которых они в сопровождении меня в качестве обязательного кавалера ежедневно катались по окрестностям. Молодая, стройная и прекрасно сложенная Мария Васильевна благодаря всем этим обстоятельствам с первых лет своей жизни в Покровском стала ближе к отцу, чем бы это следовало. Мать, слишком доверявшая ей и мужу, сделала также большую ошибку, допустив эту излишнюю близость, которая приняла через несколько лет размеры, приведшие к большой семейной драме.

С началом 1903 года брату исполнилось 10 лет, а мне 9, и учебные занятия наши приняли более серьёзный характер, так как весной 1904 года мы одновременно должны были поступить в кадетский корпус. Брат, выдержав благополучно вступительный экзамен, поступил в Воронежский корпус через год, меня же было решено отдать в реальное училище в Туле, так как маме было тяжело расстаться одновременно с двумя сыновьями. Эта излишняя любовь к детям сыграла в семье плохую роль и печально отразилась впоследствии на всей жизни моего старшего брата. Первый же его учебный блин, что называется, вышел из-за этого комом. Проучился он в Воронежском корпусе всего несколько месяцев, после чего тосковавшая по нему мать взяла его обратно, решила больше не расставаться ни с одним из нас. В качестве репетитора для подготовки нас в гражданское учебное заведение зимой 1903 года был приглашён студент-юрист Иван Григорьевич, который должен был подготовить нас обоих во второй класс реального училища. Зима 1903-04 года не сохранилась в памяти, и только с весны 1904 года начинаются мои связные воспоминания.

В мае этого года мать повезла нас с Колей в Тулу для вступительного экзамена. Николай в своей жизни уже держал экзамены, я же переживал это детское испытание впервые. Экзамены нам пришлось держать сравнительно небольшой группой мальчиков, так как главная масса поступала, конечно, в первый класс. В группе этой особенное внимание всех нас обращал на себя высокий и тощий еврейчик Ицкович, откуда-то уже знавший всех учителей, их характеры, повадки и обычаи, как и все входы и выходы совершенно незнакомой для нас училищной жизни. Явная компетентность в этом деле сразу создала ему в нашей стайке известный вес и авторитет. Этому способствовало ещё и то обстоятельство, что Ицкович был старше нас всех годами, больше всех ростом и как истинный представитель своей расы был наделён большой дозой предприимчивости и нахальства. Нечего и говорить, что экзамены он выдержал блестяще, хотя и не совсем честно, так как весь был начинён писанными шпаргалками. Для нас с братом испытания сошли также более или менее благополучно, за исключением последнего – рисования, на котором оба мы оскандалились.

Иван Григорьевич в этом вопросе, как говорится, дал маху, добросовестно подготовив нас по всем другим предметам. Полагаясь не столько на программу, сколько на логику, он рассудил, что рисование, хотя бы и в реальном училище, по программе первого класса вещь настолько несерьёзная, что мы должны были с ним справиться и безо всякого обучения, одними природными способностями. На поверку это, однако, оказалось далеко не так. Попав в «рисовальный класс» и увидев перед собой на предмет изображения какой-то сложный гипсовый орнамент, я сначала растерялся, а затем, как барское самолюбивое дитя, обозлился тем глупым положением, в которое попал, и молча, не отвечая на недоумевающие

вопросы учителя, ушёл из класса. Увидев в вестибюле училища мать, я с громким рёвом и слезами объяснил ей печальное происшествие.

Нечего и говорить, что за экзамен рисования мне закатили единицу, и не столько за неумение, сколько за дикое поведение на экзамене. Эта единица имела печальные последствия, так как педагогический совет вынес постановление дать мне переэкзаменовку не только по рисованию, но и по всем другим предметам, по которым я получил тройки. Все понесённые зимой труды, таким образом, пошли прахом, да ещё впереди предстояло целое лето учёбы, ввиду предстоящей осенью переэкзаменовки.

Брат, имевший более спокойный характер, за свою мазню, во внимание к успешно выдержанным остальным экзаменам, получил тройку и, таким образом, выдержал благополучно все испытания во второй класс реального училища.

По возвращении после экзаменационных тревог в Покровское, где нам предстояло провести последнее лето наших дошкольных лет, потекла прежняя привольная жизнь, которой в те времена жили только дети состоятельных помещичьих семей. Никогда и ни в каком другом кругу старой России молодёжь и детвора не пользовались такой полной свободой на лоне природы, как мальчишки и подростки поместного дворянства.

Высший придворный слой дореволюционной России по службе их отцов вынужден был жить вблизи столицы, обычно проводя летние каникулы где-нибудь на дачах в окрестностях Петербурга, где молодёжь жила, стеснённая этикетом этих тонных высокочиновных мест.

Молодое поколение низших классов – купечества и крестьянства, уже не говоря о городских жителях, с ранних лет несло известного рода обязанности, помогая, так или иначе, родителям в их ремесле. И только мы, беззаботные усадебные «барчуки» и «панычи» Великороссии и Украины, были в буквальном смысле вольным и счастливым племенем. Среди приволья дворянских поместий на обильном и жирном столе гувернёры и гувернантки, наставники и воспитатели всякого рода, призванные обучать и блюсти «господских деток», быстро толстели, обленивались. Вместо бесполезной гоньбы за своими легконогими питомцами они предпочитали сладко дремать в укромных уголках тенистых парков или же заниматься устройством своих сердечных дел, которые, как нельзя более, процветали в поэтических аллеях тургеневских усадеб.

Летом того же 1904 года отец завёл в Покровском борзую охоту, во времена его отцов являвшуюся почти обязательной для помещичьей жизни средней России. Охотой этой в старину с большим изъяном для собственного кармана увлекались его деды и прадеды. Для начала отцом были заведены три своры собак, т.е. штук двенадцать псов, купленных в знаменитом Першине – имении великого князя Николая Николаевича, бывшего почётным председателем Императорского общества псовой охоты и в качестве такового имевшего в своём главном имении завод борзых и гончих собак и охотничьих лошадей. От великокняжеских собак, имевших, как настоящие аристократы, дипломы на гербовой бумаге о своём высоком происхождении, повелась у нас прекрасная порода густопсовых и псовых борзых, получившая широкую и почётную известность среди охотников наших мест.

Нечего и говорить, что помещики-борзятники моего времени далеко отставали от своих предков в масштабе охоты, и в сущности, на охотничьем языке старого времени, были всего только «мелкотравчатыми», как назывались в старину владельцы нескольких свор, в отличие от хозяев больших охот, насчитывавших по нескольку сот собак и до сотни псарей и доезжачих. Сократившиеся после отмены крепостного права размахи помещичьей жизни заставили сократиться и масштаб псовых охот, однако ещё широко процветавших на просторе родных полей во времена моей юности. Недаром Некрасов, сам помещик и страстный охотник, обронил прекрасную строфу о псовой охоте: «Забудутся все помещики, но ты, исконно русская охота, не забудешься».

Огромные лохматые и костлявые псы с узкими точёными мордами с этого времени стали постоянными ассистентами наших деревенских обедов и ужинов, происходивших летом обычно на открытом воздухе на большой веранде или на круглой площадке-цветнике

перед домом в тени развесистых лип. Здесь с этой целью стоял дубовый стол солидных размеров, врытый в землю, и такие же длинные скамьи. Вокруг стола позади обедающих обычно густой цепью располагались собаки всех видов и калибров: гончие, борзые, легавые и даже семейство фоксов − неизменных спутников наших детских лет. Хвосты всех цветов и размеров лежали и виляли по всем направлениям, и их частый переплёт подчас сильно затруднял движение прислуги, чему доказательством служили частые собачьи взвизги по случаю отдавленной лапы или хвоста. Всё это многочисленное собачье племя время от времени рычало друг на друга при получении подачек со стола, когда на каждый брошенный кусок претендовало сразу несколько аппетитов.

Отец первые годы сильно увлекался борзыми, как это было всегда с его новыми увлечениями, но впоследствии, отяжелев, постепенно совсем охладел к псовой охоте, которая всецело перешла в наши с братом руки.

На почве увлечения охотой в Покровском появились летом 1904 года новые знакомые в лице братьев помещиков Михайловых, страстных охотников-борзятников. Михайловы по помещичьим понятиям были нашими соседями, т.е. их усадьба была в 8-10 верстах от Покровского. Расположена она была вдали от всякого жилья, в начале глубокого оврага, покрытого остатками когда-то знаменитого в местных летописях дремучего леса, с которым соединялись старые предания о разбоях. Мне лично это место в детстве казалось, несмотря на его дикую мрачность, как нельзя более привлекательным, быть может, именно по этой причине. Семья Михайловых состояла из старика отца, когда-то грозного и самовластного помещика, перед которым до самой смерти трепетали богатыри-сыновья. Были они один красивее другого и славились в округе как силачи и наездники. Двое старших служили где-то в столицах и занимали во времена моего детства уже крупные служебные посты, редко появляясь в родных местах, трое же младших были чуть не ежедневными гостями Покровского.

Старший из них, Пётр Никитич, необыкновенно румяный офицер, все свои весьма частые отпуска из полка проводил дома. Два младших, Николай и Анатолий, постоянно жили с отцом в Михайловском. Были они ещё очень молоды, едва ли окончили среднее образование, и с детства жили в деревне, почему были несколько диковаты и застенчивы. Мама моя с приятельницами взялись шутливо и весело дать им светский лоск и воспитание. Кончилось это, конечно, тем, что оба молодые Михайловы влюбились в мою весёлую красавицу маму, чего по неопытности и молодости скрыть не могли, и это обстоятельство стало темой шуток и подтруниваний над ними многочисленного общества, постоянно собиравшегося у нас в Покровском. Оба Михайлова умели краснеть, как девицы, и при этом, и без того румяные, становились ярко пунцовыми, и со слезами на глазах иногда срывались с места и бешеным галопом уносили домой свой мнимый позор, чтобы наутро опять появиться с виноватым видом в маминой гостиной.

Этот период нашей жизни связан у меня с воспоминаниями о многолюдных весёлых охотах, ночных катаниях, пикниках, поездках при луне на лодках, весёлых обедах и ужинах до глубокой ночи, в которых мы с Колей ещё не принимали участия. Часто в большом саду Покровского устраивались ночные праздники, во время которых тёмный сад расцветал многочисленными огнями цветных фонарей, а на площадке среди ёлок ставился громадный круглый стол для ужина. Далеко за полночь слышали мы в своих детских кроватках доносившиеся из сада весёлые голоса, музыку и звон посуды.

Строго до самой революции соблюдался у нас полуязыческий праздник Ивана Купалы, падающий на 23 июня, когда, по древнему народному обычаю, бравшему своё начало с древлянских времён, все обливали друг друга водой, а вечером прыгали через костры. В этот день ни одного человека в усадьбе, начиная с самого барина и кончая последним пастушонком, не было сухого. Набеги мокрых орав совершались и на соседние усадьбы. С вёдрами и кастрюлями мы подбирались бесшумно через сады и огороды к соседям и в несколько минут обращали хозяев в мокрые, захлёбывающиеся фигуры, совершенно не считаясь с тем, где их застали в эту минуту, в гостиной, в спальне или в

столовой. Обижаться и протестовать против обычая было в этот день совершенно бесполезно. Крестьянская молодёжь целыми толпами, парни и девицы вперемежку, наскучив кустарным способом обливания ближних, совершенно одетые целый день возились в реке, бесчисленное число раз «окуная» друг друга в честь весёлого праздника.

Помню, что, стоя на страже традиций, я однажды десять раз подряд облил в этот день сестру Соню, которая, набравшись в Институте вольнодумства, упорно желала в день Ивана Купалы остаться сухой. Сдалась она отечественным традициям, только опустошив весь свой гардероб.

По малолетству мы с братом в этом году ещё не принимали полного участия в развлечениях взрослых, зато на охоте с борзыми я участвовал уже на равных правах. У нас с братом с детства были собственные верховые лошади, а именно: Буланок у меня и Черкес у Николая. Буланок была простая буланая лошадка, которую отец купил для нас на ярмарке, прельстясь его маленьким ростом. Черкес был кабардинский конь хороших кровей, купленный в Курске для псовой охоты у казачьего офицера. Верхом мы, как и все помещичьи ребята, начали ездить от младых ногтей, а лошадниками и собачниками являлись по атавизму.

К этому времени отец уже имел порядочный конский завод и, согласно моде того времени, имел два троечных парадных выезда. Этими тройками тогда помещики щеголяли друг перед другом, состязаясь в резвости, красоте и оригинальности своих запряжек. В последнем отношении отец, кажется, перешиб всех конкурентов, так как подобрал себе пегую тройку. Разыскать трёх одинаковых ростом гнедо-пегих лошадей, конечно, было нелегко, даже в наших, богатых конскими заводами и ярмарками местах, и отцу пришлось немало поездить, прежде чем составить свою необыкновенную запряжку. Эта тройка была единственная в губернии и, натурально, пользовалась самой широкой известностью. В общежитии наименовались эти кони «пегарьками», и мы, дети, их различали в качестве «коренного», «толстого» и «маленького». Два из них не представляли ничего особенного, но «толстый» был до самой своей смерти моим личным врагом.

Война между нами началась с того, что однажды я поехал на нём верхом, сопровождая по обычаю маму и Марию Васильевну в их верховой прогулке. Возвращаясь уже под вечер домой, мы ехали усталые, для сокращения пути напрямик, по уже жёлтой пшенице. Я распустил поводья и устало покачивался на сытой спине Толстого, как вдруг он ни с того ни с сего, без всяких резонов, дал задом свечку, и я уткнулся носом в густую пшеницу раньше, чем успел что-либо сообразить. Не столько ушибленный, как раздосадованный и обозлённый, я поднялся на ноги и, к своему изумлению, увидел пегого с налившимися кровью глазами и оскаленного, бьющего задом и передом с самым свирепым видом. Дамы мои, безуспешно попробовавшие взять его за уздечку, скоро были принуждены сами спасаться вскачь от рассвирепевшей скотины, которая начала их преследовать, лягаясь и кусая со свирепым ржанием.

Брошенный среди поля своими спутницами, совершенно сбитый таким ни с чем не сообразным происшествием, я принуждён был вернуться домой пешком. С этого дня Толстый совершенно переменился. Из толстой доброй коняки он превратился в ехидную животину самого подлого характера, питавшую в отношении меня самые ехидные намерения. Стоило мне на него сесть верхом или запрячь в экипаж, как он обязательно устраивал мне бенефис. Улучив момент рассеянности, он сбивал меня на землю неожиданным козлом или свечкой, или пытался разбить экипаж, выворотив его в какой-нибудь ров. С годами его характер совершенно изгадился, и он стал опасен не только в запряжке, но даже в табуне, где кусался, гонялся и бил задом и передом всякого, кто к нему приближался, будь то лошадь или человек.

Много лет спустя, изучая в Кавалерийском училище иппологию, я понял, что пегий был просто психически больной лошадью. Кони, как и люди, подвержены душевным заболеваниям и помешательства у них, как и у людей, случаются тихие и буйные. При тихом помешательстве лошадь бессмысленно ходит по прямому направлению, не обращая

внимания ни на препятствия, ни на дорогу, у неё всегда печальный, ко всему равнодушный вид и полная безразличность к окружающему. Состояние это называется «аглумом». При буйном помешательстве, или «колере», у лошади периодически случаются припадки беспричинной ярости, когда она становится опасной для людей и других лошадей. Первым припадком этой болезни у пегого и объясняется мой неожиданный полёт носом в пшеницу, что я понял много лет спустя, когда уже самого Толстого давно не было на свете.

Возвращаясь к воспоминаниям о псовой охоте, должен сказать, что борзятниками мы с братом стали раньше, чем сделаться ружейными охотниками. Это объяснялось не только мальчишеской психологией, склонной всегда к более сильным впечатлениям, но и тем, что отец разрешил нам взять ружьё в руки много позднее, резонно считая, что сломать себе шею мы имеем право гораздо более, чем рисковать жизнью ближних. Эта предосторожность была как нельзя более основательна, так как в первые годы нашей ружейной охоты только счастливые стечения обстоятельств да Божья воля помешали нам с братом перестрелять друг друга или подстрелить кого-нибудь.

Псовая охота подчинена более, чем какая бы то ни было другая, строгим правилам и традициям не только в области чистой охоты, но и в области организационной. Прежде всего, она требует огромной арены действий, которая могла существовать только в России старого времени, а именно, не менее 50 квадратных вёрст в окружности. Кроме этого, охота с борзыми нуждается в ровной и малопересечённой местности, т.е. степи и полях, по возможности, без лесов или оврагов, в которых собаки легко могут покалечиться и убиться.

Назначение борзой собаки догнать и поймать зверя: волка, лисицу или зайца - и задушить его, не повредив при этом шкуры. Борзая не должна ни рвать, ни тем более есть пойманного зверя. Огромная скорость, которую развивает преследующая собака, сопряжена для неё с опасностью убиться о любое препятствие на пути. Поэтому в лесу или даже в кустарнике борзые собаки совершенно беспомощны, и искусство охотника в псовой охоте в том и заключается, чтобы выгнать зверя из укрытия на ровное место и не дать ему снова укрыться в лесу.

Для розыска зверя в лесу и выгоне его в поле при псовой охоте существуют гончие собаки. Запустив этих последних в лес или кусты, охотники, имея при себе борзых на «сворах», т.е. на привязи, ожидают зверя на опушке. Естественно, все охотники с борзыми должны быть конными. Погоня за зверем происходит на полном карьере с частыми и неожиданными препятствиями, почему все охотники должны уметь крепко держаться в седле и хорошо управлять конём. Необходима для настоящего борзятника поэтому известная находчивость и ловкость. Если добавить к этому, что охота с борзыми происходит поздней осенью после снятия хлебов, т.е. в сезон, обильный в России дождями, не прекращающимися по неделям, и верховая езда и скачка происходят по мокрым и скользким полям, то станет понятным, что подобная охота сопряжена не только с опасностями сломать себе шею, но и с большими неудобствами, которые приходится переносить иногда по целым дням. Псовым охотником поэтому может быть только человек, охотничья страсть которого преодолевает всё, заставляя забывать все неудобства и опасности, которая гонит его в сырой и дождливый осенний день из тёплой комнаты и домашнего уюта усадьбы в неприветливые мокрые поля под дождь и холод. Грязные, мокрые, простуженные и усталые возвращаются через сутки или двое охотники, чтобы, выспавшись и отдохнув, снова выехать на охоту, ценя каждый день короткого осеннего сезона.

Период охоты с борзыми невелик − с момента снятия хлебов, который начинается в средней России в середине августа, до первых морозов, сковывающих землю, т.е. до ноября, когда собаки не могут, без риска вывернуть когти, гнать зверя по твёрдой, как чугун, земле. К этому присоединяется и другая опасность вроде пахоты, закаменевшей от мороза крупными глыбами, в которых борзые легко могут поломать ноги. В такое время заяц имеет перед борзой большое преимущество, так как лапы у него не голые, а покрыты мягкой шерстью. На короткое время первых мягких порош, на неделю-другую, охота возобновляется до выпада глубоких декабрьских снегов, когда борзая, что называется, тонет

в них.

В области организации охоты борзятники должны «беречь дичь», т.е. строго следить за тем, чтобы щенята от борзых сук не попадали на сторону, а именно к не охотничьему населению, и в частности, в крестьянские сёла и деревни. Борзые собаки поэтому в моё время имелись только в крупных помещичьих имениях, не более, чем в двух-трёх на уезд. Владельцами их, конечно, являлись страстные охотники, для которых на первом месте стоял сам процесс и обстановка охоты, а не количество добытого зверя.

Другая картина была бы, если бы собаки попали в руки крестьян-охотников в тех же районах. Крестьянин, если он охотник, исключительно или, прежде всего, промышленник, цель которого − добыть как можно больше зверя для продажи. При таком положении вещей, если бы владельцы псовых охот позволили себе продажу или раздачу щенят кому попало, это привело бы через два-три года к самому беспощадному и хищническому истреблению всех зайцев в окрестностях, уже не говоря о более ценных волках и лисицах. По этим причинам в замкнутой и тесной среде псовых охотников строго соблюдался обычай уничтожать всех лишних борзых щенят, появляющихся на свет. Обмен и подарки щенятами могли иметь место только в своей, строго ограниченной среде. Тщательно также следили за тем, чтобы не было скрещения между борзыми и другими породами собак, что иногда, хотя и редко, случалось. Чистая борзая никогда сама без охотника не выйдет в поле, но зато продукт скрещения борзой – «ублюдок», поголовно страстные и самостоятельные охотники, совершенно не нуждающиеся и тяготящиеся руководством человека. Они способны целыми днями гоняться за зайцами, хотя по большей части и безрезультатно. Обыкновенно зверь, особенно зайцы, немедленно уходит из тех беспокойных мест, где заведётся на общее несчастье такой пёс.

За всё существование у нас псовой охоты я не помню случая, чтобы у нас или у Михайловых была упущена на сторону хоть одна собака. Немедленное изгнание грозило бы любому дворовому человеку, который посмел бы нарушить этот незыблемый закон и унести хоть одного щенка. Зато между Покровским и Михайловкой ежегодно происходил для освежения крови взаимный обмен собаками и щенятами. Он содействовал улучшению породы и собачьим бракам. Как у Михайловых, так и у нас в дворне выдвинулись страстью к охоте и смекалкой в охотничьих делах особые люди.

У нас в усадьбе роль специалиста по псовой охоте занял молодой кучер, впоследствии ставший старшим, Алексей Шаланков. Он был родом потомок наших старых крепостных, из которых сплошь состояла соседняя деревня Шепотьево. Семья Шаланковых выделялась рослостью и красотой из всех крестьян в окрестностях, были они, кроме того, замечательные знатоки хозяйства и прекрасные работники. Служили Шаланковы у нас в усадьбе «спокон веков», и потомственную верность своим господам кучер Алексей доказал моему отцу и мачехе в дни революции.

Высокого роста и атлетического сложения Алексей обладал профилем римского патриция, что являлось большой редкостью в наших курносых местах. За свою красоту он был широко известен в округе не только как всем знакомый кучер предводителя, но и сам по себе, нося среди дам кличку le beau Alexis. Поступил он в усадьбу к нам ещё мальчишкой-конюшонком, ставшим впоследствии великим знатоком конного дела и доверенным отца по конскому заводу. Отличаясь аккуратностью и честностью, он ежегодно водил на конные ярмарки в Курск, Харьков и Коренную для продажи молодых лошадей. Женился он у нас же в усадьбе на горничной мамы – Лукерье, красивой девушке из «сороковых». От неё он имел двух детей, моих крестников, младенцев редкой красоты того великорусского типа, который рисовала покойная Бем.

Кум Алексей, как я его всегда называл, был человек чрезвычайно выдержанный, вежливый и соблюдавший собственное достоинство. На охоте он, однако, полностью перерождался и становился совсем другим человеком. Как это часто бывает со страстными охотниками, в известные моменты он совершенно терял голову и в этом состоянии был способен «обложить» самыми нецензурными словами кого угодно за малейшую охотничью

оплошность. Все мы понимали это состояние, так как в большинстве сами ему были подвержены и никогда за это на Алексея не обижались.

Граф Лев Толстой, в молодости сам заядлый охотник, в одной из сцен «Войны и мира» мастерски описал подобный случай «охотничьего припадка», бывшего с доезжачим Ростовых, который в момент азарта изругал своего барина, полновластного распорядителя его жизни и смерти.

Кум Алексей – представитель крестьянской среды, почитающей охоту пустым «баловством», даже как будто стеснялся своей охотничьей страсти и никогда не говорил о ней с не охотником. Зато со мной он выливал в сердечных беседах всю свою душу, и я проводил у него на конюшне долгие часы, слушая неспешные и полные глубокого знания природы рассказы и суждения Алексея об охоте, лошадях и собаках. В старое помещичье время из него, несомненно, бы выработался знаменитый доезжачий, вдохновитель и знаток псовой охоты, не признающий никакого другого дела и им только живущий. А что такое был доезжачий или ловчий в прежней помещичьей жизни, чтобы рассказать, надо сделать отступление.

Русская революция стёрла с лица земли старую жизнь и прежний быт и, вероятно, навсегда покончила с псовой охотой в России и всем тем, что с нею было связано. Какой бы ни стала будущая родина, прежнее никогда не вернётся. Не может поэтому возродиться в новых условиях жизни и борзая охота, тесно связанная с исчезнувшим прошлым. Для неё нужны навсегда исчезнувшие масштабы привольной помещичьей жизни, она могла существовать лишь в условиях поместного дворянского быта, навсегда теперь сошедшего со сцены жизни. Мне кажется, поэтому уместно будет на страницах этих воспоминаний, посвящённых картинам прошлого, упомянуть обо всём том, что должно умереть вместе с моим поколением, последним, видевшим эту жизнь и ею жившим.

Доезжачий – это человек, добровольно обрекший себя на труд, на риск, на испытания и даже на истязания. По натуре своей он был не ровня другим людям: особенный человек, двужильный и железный. Для отчётливого исполнения своей обязанности доезжачему было необходимо, прежде всего, условие: иметь несокрушимое здоровье и с ним вместе страсть к своему делу. С ними не страшны для него ни бессонные ночи, ни труды, о которых говорить не станем, потому что увидим их со временем в изложении ниже. С этими качествами он должен был совмещать в себе искусство в езде, т.е. смелость, сметливость, проворство, находчивость, уменье беречь собак и понимать их, неусыпно наблюдать за ними и заботиться об их здоровье.

Перейдём теперь к годичной деятельности настоящего доезжачего прежнего времени, который в моё время сохранился как большая редкость в двух-трёх крупных охотах средней России и которого мне удалось видеть и оценить на охоте.

Зима на дворе, окончилась охота по порошам, затвердел снег, запер ловчий гончих и борзых на псарню, и для него наступили каникулы, единственные в году, пока не сошли вешние воды, не заиграл лист на молодых берёзах. Тогда пришла, значит, ловчему пора оседлать коня. За неделю до этого он осмотрел гончих и дал молодым и старым обсидеться вместе. Из всех собак, которые по своей породе и свойствам принадлежат к различным родам охоты, едва ли отыщется хоть одна, которой суждено было бы терпеть такую скорбную участь, какой обречена наша русская, так называемая «паратая гончая собака». В России гончие делились на две группы – ружейных и паратых. Первая употреблялась только для ружейных охот, а вторая, гонявшая зверя «на всех духах», для охоты с борзыми. Для последней охоты употреблялись обыкновенно так называемые костромские гончие. По самой уже природе своей гончая собака назначена к постоянно-тщательному разыскиванию чего-то, вечно убегающего от неё, о близости которого доносит ей тонкое чутьё. Она тянется из всех жил, работает до истощения сил, носится, ищет, хлопочет и всё это для доставления потехи другим, сама же не смеет и не может дотронуться до предмета своего вечного вожделения. И чуть она увлеклась дальше своего предела, как уже крик охотника и грозная рука с арапником встречает и провожает её к новым поискам, гоньбе и тревоге. И за всю эту

усердную службу в награду – всегдашний кнут и вечное заточение в тесном закуте среди неуживчивых и задорных товарищей, грызни, блох, под тяжким гнётом неволи.

За что же эта необходимая и самая ценная на охоте собака-труженица, доставляющая своим действительно музыкальным «гоном» истинное наслаждение даже не охотникам, держится в таком чёрном теле и не выходит никогда из-под тирании своих дрессировщиков и стражей, в то время как глупая борзая или вислоухая легавая пользуются почётом и лаской хозяина, едят с ним чуть не из одной тарелки, спят на мягких диванах и коврах и пользуются всеми благами довольства и свободы?!

За то, что ни одна из охотничьих собак не обладает таким количеством звериных инстинктов, сколькими наделена умная гончая: её жадность, азарт и злоба без постоянного внимания и строгого надзора хозяина ведут её прямо к звериной одичалости, наглости и делают из неё настоящий бич для всякого охотничьего хозяйства и охоты вообще. Из необходимого и ценного зверогона гончая в этом случае делается звероловом на свой собственный счёт и страх, сама ходит на охоту, сама ловит дичь, а ещё больше её распугивает. На охоту такую разбалованную собаку брать невозможно больше. При первых же сборах на охоту такая гончая удирает в поле раньше всех, бежит на версту впереди и разгоняет всю дичь во все стороны задолго до того, как к этому месту явится сам охотник. Цель набалованной гончей, напавшей на след зверя, нагнать его и съесть раньше, чем это увидит охотник или её товарки по охоте – борзые. Такую собаку остаётся только уничтожить как можно скорее – это единственный выход, − так как исправить её уже невозможно.

В мои мальчишеские годы завёлся у нас в усадьбе подобный испорченный гончий пёс Громило, повадившийся сам ходить на охоту. В конце лета хитрая собака заметила, что я хожу ежедневно в луга пострелять куликов и бекасов, и с этого дня испортила мне всё удовольствие. При первом выстреле на лугах из усадьбы появлялся Громило, который в десять минут разгонял из лугов и болота всё, что там было живого. Промучившись с ним месяц, я не убил ни одного кулика за всё лето. С наступлением осени то же самое началось и во время псовой охоты. Громок, завидя, что мы садимся на коней и берём на своры борзых, немедленно исчезал со двора и начинал носиться по полям и весям, разгоняя всё на своём пути. Выведенный, наконец, из терпения и понимая, что собака уже неисправима, отец приказал повесить Громка.

Поэтому для того, чтобы иметь полезных гончих, необходимо, чтобы над ними был постоянный и строгий надзор опытного охотника, без которого собаки и думать не могут отлучиться из своего помещения. Послушание ему должно быть безусловное, всегда и везде.

Зато трудно себе представить то удовольствие, которое получают охотники от хорошей и дисциплинированной стаи гончих, ведущих под присмотром своего выжлятника правильный «гон». Какие необыкновенные, ни с чем несравненные звуки даёт лесной гон стаи гончих − это трудно передать. Гон по зверю не имеет ничего общего с лаем обыкновенных собак, это даже не лай, а страстный рёв многих голосов по своим различным тонам, создающий целую гамму звуков, начиная от высоких дискантов «молодёжи», до низких басовых нот старых кобелей. Я понимаю поэтому вполне Алексея, когда он после одной охоты, на которой мы с ним слышали гон знаменитой тогда в России стаи глебовских гончих, делясь со мной своими впечатлениями, сказал: «Эх, куманёк! Вот это музыка. Слыхал я позапрошлый год в Харькове певицу, господа говорят, по всему свету знаменитую. Ну, где же ей до этой стаи? Звенит, правда, колокольчиком, а за душу не берёт, внутри равновесие остаётся. А тут ведь плакать хочется!»

Трудна работа выжлятника или ловчего, чтобы выдрессировать и сделать послушной подобную стаю. Надо не только сделать послушными собак, но привить им такую дисциплину, чтобы среди леса вдали от его глаз собака даже в присутствии гонимого зверя, предмета её вожделений, при первом зове доезжачего должна бросить всё, подавить сразу все свои инстинкты и покорно явиться к его ногам.

Для того чтобы достигнуть высшей дрессировки гончих не в комнате и в обстановке человеческого жилья, а среди леса и природы, где к собаке возвращаются многие

её природные, заглушённые совместной жизнью с человеком инстинкты, ловчий каждую весну выводит в лес старую и умелую стаю, придав к ней «молодёжь». Изо дня в день утреннюю и вечернюю зорю трубит, кричит и скачет ловчий по лесу, пока, наконец, молодые начинают «узнавать след», идут на «добор», не гонят по «зрячему», а по следу, с него не сбиваются, затвердив голос ловчего и его позыв. И сам ловчий уже изучил характер гоньбы каждой собаки.

Глаза у ловчего после подобной работы гноятся, лицо раздуто от комариных укусов, борода отросла на два вершка, голос сорван. Но отдыхать ему некогда, надо осмотреть и подготовить к осенней охоте места, т.е. иметь представление о выводках заячьих и лисичьих, подвыть молодых волков, спросить обо всём этом пастухов и крестьян. Мокнет он под осенним дождём и в болотах, мёрзнет осенней зарёй от морозов, палит его летняя жара, разбивает лошадь, и редкий год он не калечится при падении в овраг или промоину. Каких только сортов и видов ревматизмов не запасёт себе на старость этот бездельный, с крестьянской точки зрения, человек! В которой из костей его не окажется зуда и ломоты тогда, когда, покончив с делом, слепой и оглохший, забытый и брошенный, пойдёт он переползать с лавки на печку!

Таким помню я старика Дементьевича, старого шишкинского доезжачего, ставшего у нас приказчиком под конец жизни. Таким же типом прежнего ловчего являлся и кум мой Алексей, которого только переменившиеся времена избавили от участи стать ловчим - мучеником своей страсти. Недаром же говорит русский народ, что «охота пуще неволи».

Кроме охотничьей и конской специальностей, Алексей был большим искусником в молодости играть на гармошке-итальянке, и по этой причине часто приглашался в господский дом в качестве музыканта, чего он, впрочем, терпеть не мог, ощущая себя в центре господского внимания. В этих случаях он чувствовал себя неловко, не на месте, что, видимо, его не только смущало, но и оскорбляло. Сильный и солидный мужик, всеми уважаемый Алексей сохранял всегда и при всех обстоятельствах жизни солидный и независимый вид, не исключая разговоров с отцом, который внушал трепет и страх даже нам, его собственным детям, уже не говоря о дворовых и крестьянах, которые перед ним буквально трепетали. Мне всегда казалось, что Алексей терпеть не может господ, и только обстоятельства и его положение мешают ему это высказать, однако впоследствии оказалось, что он единственный из всех дворовых выказал преданность отцу, которого ни дворовым, ни крестьянам любить было, конечно, не за что.

Как ни странно, но это очень характерная черта русского народа, которую я понял много позднее. После революции, когда пали все сдерживающие начала и притворяться уже не было надобности, все люди из народа, бывшие раньше барскими подхалимами и угодниками, оказались самыми большими мерзавцами в отношении тех, перед кем они раньше добровольно унижались. И наоборот, люди, которые умели поддержать своё человеческое достоинство и уважение к себе и в подчинённом положении, никогда не позволяли себе, и выйдя из него, ослиного лягания.

Возвращаясь к псовой охоте, докончу о братьях Михайловых. У них охотничья страсть доходила прямо до психоза. Помню, ещё мальчишкой меня изумляло поведение на охоте Николая Никитича, который на моих глазах однажды три раза подряд всей своей тяжестью громадного и тучного человека шлёпался в размытый осенними дождями чернозём прямо в кучу собак на всём скаку. От азарта у него не хватало терпенья остановиться и сойти с лошади. Едва переводя дух, отшибленный при падении, он весь трясся и, тяжело хрипя, «отбивал зверя» от собак, хотя в этом не было никакой надобности, так как собаки, завалив зверя, покорно ждали охотника. Глядя на Михайлова в такой момент, красного, тяжело дышащего и всего налитого кровью, мне каждый раз казалось, что вот-вот он упадёт и умрёт от волнения, что, конечно, было более чем возможным.

Другой его брат, младший из всех, красивый застенчивый блондин, с обожанием относился к моей матери и постоянно терялся в её присутствии. От избытка смущения он

однажды во время катания на масленице, управляя лошадьми и имея в числе седоков маму и её двух приятельниц, вывалил всю компанию на полном ходу, причем мать вывихнула себе ногу. За это отец, отличавшийся горячим характером, едва не побил бедного парня, который пытался после повеситься от стыда и смущения.

Впоследствии по примеру своих старших братьев и оба младшие Михайловы стали солидными людьми, приняв деятельное участие в земской жизни. На этой почве они скоро разошлись с моим батюшкой, так как примкнули к местной левой общественности, бывшей в оппозиции к партии губернских и уездных консерваторов, во главе которых стояли мой отец и дядя. Николай Никитич года за три до войны женился на богатой барышне помещице, которая, кроме капитала, никаких других достоинств не имела. Призванный на военную службу по мобилизации, он оказался храбрым офицером и получил Георгиевский крест.

К охотничьим истокам того времени относится и начало моей дружбы с Алёшкой Самойловым, редкостным любителем и знатоком природы с детских лет. Знакомством нашим мы оба обязаны уже упомянутому выше земскому врачу доктору Фавру. Бывая часто у нас, он заметил мою страсть ко всякого рода зверюшкам и птицам и в разговоре с мамой рассказал, что его поразил в Покровском один крестьянский мальчик, мой ровесник, своими познаниями природы. Как охотник Фавр заинтересовался им и выяснил, что Алёшка самородок-естествоиспытатель. Нечего и говорить, что я, сам обожатель природы, немедленно заинтересовался этим интересным для меня компаньоном, разыскал его, свёл приятельство, и между нами на почве общих интересов и охотничьей страсти возникла тесная дружба, которая продолжалась вплоть до того времени, когда мне пришлось покинуть Россию.

Алексей принадлежал к семье крестьян-середняков из прежних однодворцев. Их семья, по обычаю наших мест, кроме официальной фамилии Самойловых, носила уличное прозвище «юнкарей» в память деда, бывшего на Кавказе юнкером в николаевские времена. Мой приятель был младшим из трёх братьев, и впоследствии, войдя в года, с крестьянской точки зрения, так настоящим «хозяином» и не стал, оставаясь поэтом в душе, охотником и любителем природы, которой он посвящал всё своё свободное время.

Знания его природы были настолько любопытны и обширны, что с первых же дней нашего знакомства он буквально меня зачаровал, хотя я в этой области и сам кое-что смыслил. Однако мои познания были больше теоретического свойства, из книг, тогда как Алёшка свои получил из практики, почему в интересовавшем обоих нас деле разбирался куда лучше меня. Знал он детально все обычаи и повадки птиц, водившихся в наших местах, уловки зайцев, хорьков, лисиц, способы их ловли и приручения. В клетках и на воле у него всегда жил целый зверинец, за содержание которого он постоянно воевал со своей семьей. Был он, кроме того, рыболов и охотник изумительный, но добывал и рыбу, и дичь своими особенными способами. Деревенские мальчишки за эти познания Алёшки из области животного царства дали ему меткое прозвище «календаря», который в те времена для деревни являлся чем-то вроде настольной энциклопедии.

Когда-то Тургенев, хорошо знавший русский народ, заметил, что наиболее талантливые из простонародья идут в охотники. На Алексее Самойлове это меткое наблюдение как нельзя более ярко оправдалось, он, несомненно, на целую голову стоял выше своей среды, и его интересы далеко выходили за уровень крестьянской жизни.

В первые годы нашего приятельства ружей у нас ещё не было и в предвкушении того дня, когда мы выйдем с Алёшкой на настоящую охоту, мы изобрели с ним её суррогаты. Лучшим нашим удовольствием поэтому было в то время сопровождать на охоту взрослых, при которых оба мы изображали роль добровольных и сверхштатных собак. Доставать из воды, болота и камышей убитую дичь, носить её, вдыхать запах пороха, красться часами между кочками к стае уток, чтобы выпугнуть её на охотника, отдыхать и ночевать у костра, вдыхая запах полей и леса, − словом, переживать с наслаждением тысячи вещей, которые никогда не поймёт не охотник, мы были готовы всегда и в любую погоду.

Впоследствии, живя по зимам в Туле, а затем в Воронеже, я тосковал и страстно

мечтал в городской обстановке о деревенской жизни, с понятием о которой неизменно и неразрывно связывался Алёшка и охота. По вёснам в кадетском корпусе, когда над Воронежем начинался птичий перелёт и в синем апрельском небе тянулись треугольники журавлей, а ночью в открытое окно дортуара неслось курлыканье, кряканье и крики пернатых путников, летящих к Дону, я делался невменяемым, почти душевно больным и несколько раз собирался бежать на волю. Мечтой моей жизни, так никогда и не осуществившейся, было сделаться лесничим, жить в лесу, - конечно, с Алёшкой, – для которого это было также сладкой мечтой юности.

По странному совпадению обстоятельств, все земские доктора, заведовавшие в Покровском приёмным покоем, сколько я их ни помню, были все охотниками и знаменитыми в окрестностях стрелками. Однако лучшим из них всё же был богатырь, пьяница и общий друг Владимир Фавр, бивший пулей влёт коршунов и копчиков. Впоследствии, когда из-за своих крайних убеждений ему пришлось покинуть земскую службу, он служил врачом где-то на шахтах Донецкого бассейна. Имя Фавров было хорошо известно в Харькове, где отец их был профессор, а три сына врачами.

К этому же времени относится наше кратковременное знакомство и приятельство с семьёй соседних помещиков Шиловых. Старик Шилов был из купцов и владел в 10 верстах от нас большим имением в селе Мансурове на реке Кшени. Был он, как это водилось тогда среди купечества, человеком «с фантазией», щеголял левыми убеждениями и ходил всегда одетым под Сусанина из оперы «Жизнь за царя», т.е. в шёлковой рубашке, поддёвке и лаковых сапогах.

Усадьба его стояла на берегу обширного пруда, изобиловавшего всевозможной водоплавающей тварью, и пруд этот считался лучшим охотничьим угодьем наших мест. Между ним и домом был расположен большой сад или вернее парк, занимавший добрые двадцать десятин. Шилов сам построил в имении большой дом, носивший на себе следы его купеческой фантазии. Жилище это было с роскошной отделкой и большими претензиями, но на редкость неудобное для жизни. С домом соперничали, не уступая ему в роскоши, огромные конюшни для беговых лошадей, представлявшие собой целый корпус. Бега были страстью Шилова и причиной его быстрого разорения.

Семья эта включала, кроме уже описанного главы, четырёх детей и хозяйку дома − красивую даму, приходившуюся сестрой настоящей мадам Шиловой, неизвестно где находившейся, которую эта милая дама заменяла во всех семейных, супружеских и светских функциях. Неистощимая отцовская фантазия в связи с купеческим размахом дала детям диковинные и редкостные имена Доната, Германа, Валерии и Милицы. Старший учился в то время уже в средних классах харьковской гимназии и по возрасту к нам с братом не подходил и мало соприкасался, второй же, Герман, был ровесником Коли, а потому составлял нам компанию. Две девицы приятельствовали кратковременно с сестрёнкой, и младшую из них мне пришлось встретить на жизненном пути много лет спустя при довольно исключительных обстоятельствах.

Герман был странный и, несомненно, не совсем нормальный мальчик. С детства он много читал и лет 10 от роду заболел воспалением мозга, последствия чего, видимо, и отразились на его психологии. Он постоянно увлекался всякими необыкновенными приключениями, бегал дважды в Америку и рассказывал нам с братом самые фантастические происшествия, которые будто бы имели место с ним в Мансурове. В его фантазиях всегда фигурировали разбойники, убийства, утопленники, покойники и прочие атрибуты всяких страшных рассказов. Сам он был и атаманом разбойников, и знаменитым стрелком, и многим другим. Сам Герман, по-видимому, наполовину верил в ту чепуху, которую нам рассказывал, и очень сердился моим частым сомнениям по поводу реальности всех этих происшествий.

Однажды после того, как он нам добрый час повествовал о таинственных подземельях, которые он открыл у нас в усадьбе, где он скрывал свою шайку разбойников, я напрямик ему заявил, что он врёт, и потребовал показать, если это правда, если не

подземелья, то хоть вход в них. Прижатый к стене Герман, во избежание потери к нему всякого доверия и кредита, согласился на это и повёл нас с Колей в сад, где после долгих путешествий по кустам и крапиве показал небольшую яму, покрытую доской, из которой, по его словам, и шёл подземный ход. Я, помнится, жестоко его осрамил за враньё, после чего наши отношения были навеки испорчены, и мы стали сторониться друг друга. Впоследствии эта взаимная неприязнь друг к другу с годами получила более основательную базу. Через несколько лет Герман Шилов из страсти к приключениям, которая его никогда не оставляла, принял участие в революционном движении. Несмотря на свои ещё юные годы, он стал членом боевой организации и участвовал в вооружённом нападении на завод Вернера в Харькове, за что был арестован и сидел в тюрьме.

Знакомство наше с Шиловыми продолжалось несколько лет. Помню какой-то праздник в их доме-дворце португальского стиля, детский спектакль, в котором брат Коля изображал Орлика из пушкинской «Полтавы», а Герман − Кочубея. Несколько раз приезжали Шиловы к нам, причём за красавицей Шиловой ухаживала целая толпа мужчин. Её портрет сохранился у нас в одном из альбомов до самой революции.

С наступлением смутных дней 1905 года отношения наших семей сразу оборвались. Из случайных слов старших я смутно понял, что Шилов принимал какое-то участие в революционном движении, у него были неприятности с властями и даже обыск. Отец, выбранный в 1907 году предводителем дворянства и имевший правые убеждения, после этого счёл невозможным поддерживать с Шиловыми какие бы то ни было отношения, и наше знакомство с ними прекратилось, хотя Шиловы продолжали жить в Мансурове до 1912 года, когда продали имение.

Бывая в Мансурове каждый год на охоте, мне иногда приходилось видеть молодых Шиловых, так как дорога к пруду проходила рядом с их усадьбой, но ни я им, ни они мне уже не кланялись. Я был в те времена кадетом, а они врагами моего Царя, которому я собирался служить. В 1912 году Шиловы поселились в Харькове, где после смерти мужа мадам Шилова открыла частную гимназию. Перед войной я слышал, что Герман умер, но где и при каких обстоятельствах, не знаю.

Помимо всех этих описанных знакомств, с детства мы с братом тесно были связаны со своими кузенами и кузинами Гатцуками, Гоголь-Яновскими, Бобровскими и Марковыми.

Гатцуков было три брата погодков и сестра, почти одних лет с нами, они были детьми сестры отца – Елисаветы, умершей в 1899 году от чахотки. После смерти матери дети Гатцуки долгие годы жили со своим отцом в городе Ашхабаде Закаспийской области, где учились в гимназии. Каждый год они приезжали на лето или к нам в Покровское, или в Александровку к общей нашей бабушке Анне Ивановне Марковой. Всеволод, Борис и Евгений, как звали этих кузенов, были мальчиками жизни отчаянной и потому пришлись нам с братом как нельзя более кстати. Старший Сева, очень способный, шедший всегда первым в классе, служил всей нашей мальчишеской республике своего рода справочником, так как был на редкость начитан и знал буквально всё, что могло только интересовать нас в эти годы. В 1915 году студентом Горного института он уехал в Америку и ныне работает на видном инженерном посту в Соединенных Штатах как специалист по металлургии, автор многих научных трудов.

Борис второй, впоследствии кавалерийский офицер и мой однополчанин, участвовал в Великой и гражданской войне, эмигрировал в Мексику, где ныне и живёт. Евгений стал артиллерийским офицером и единственный из всех моих многочисленных родичей служит в Красной Армии. Их сестра Людмила, окончив в Советской России медицинский факультет молодым врачом психиатром и получив командировку в Германию, больше не вернулась в СССР, выйдя замуж за молодого немецкого профессора Вольфганга фон Стумпфль.

Гоголь-Яновские Андрей, Вера и Александра были детьми другой сестры отца − Екатерины Евгеньевны, бывшей замужем за Гоголь-Яновским. Как мать, так и дети все были жгучими брюнетами, а мальчик Андрей прямо смахивал лицом на араба. Жили они тогда в

Тифлисе, где их отец был управляющим удельным имением, будучи учёным виноделом.

У брата отца, члена Государственной Думы Маркова 2-го, было пять дочерей, живших в те времена у себя в имении Охочевке в 25 верстах от нашего Покровского.

Со стороны матери у нас были кузены Бобровские: Юрий и Нина − дети сестры матери, бывшей замужем за помещиком и председателем земской управы Щигровского уезда. Их имения Озерна и Моховое были также недалеко от нас, верстах в 20. В Озерне же было и имение отца матери, умершего в 1907 году, в нём жила на моей памяти мачеха мамы Софья Карловна, милая приветливая и важная барыня. У неё в усадьбе имелся большой лес, едва ли не единственный в уезде, и потому служивший для нас, детей, особенной приманкой. Дедушка Вячеслав Ильич, насколько я его помню, был степенный белобородый старик барин, любитель метеорологии, сотрудник по этому вопросу многих учёных журналов.

Во всех перечисленных родственных имениях периодически летом происходили съезды родных, которые жили по этому случаю друг у друга по нескольку дней. Повсюду были громадные старые сады, в которых всегда царил густой и зелёный сумрак от развесистых лип и клёнов. Сады эти служили главным центром объединения многочисленной родственной молодёжи − кузенов и кузин. Особенно было весело в эти годы в имении у Бобровских, где тётушка Софья Вячеславовна, молодая и красивая светская дама, собирала всё дворянское общество наших мест. После революции и смерти мужа бедной тёте с сыном пришлось спешно бежать из родных мест в далекий Туркестан, где она пыталась замести следы своего блестящего прошлого.

Была и ещё одна родственная усадьба наших мест, где мне приходилось бывать в детстве и юности – это знаменитая Букреевка. Имение это принадлежало двум тёткам моей мамы – старухам Рышковым. Оно насчитывало более двух тысяч десятин и находилось в 10 верстах от Курска около полустанка Рышково Курско-Харьковской железной дороги. В Букреевке был большой двухэтажный белый дом, огромный тенистый парк и знаменитое в своё время молочное хозяйство. Известна, кроме того, далеко кругом была Букреевка и своими собаками − огромными лохматыми псами редкой лютости и злобы. В доброте душевной старушки хозяйки раз и навсегда отдали приказ не уничтожать новорождённых щенят, сколько бы их ни было. В результате этой филантропической меры собачни с течением времени развелось такое ужасающее количество, что к усадьбе окружающее население опасалось даже и подходить, а въехать в неё можно было только с провожатым. Ко времени революции собаки, всё увеличиваясь в росте и числе, достигли количества более двухсот штук и стали уже составлять для окружающих серьёзное бедствие.

У букреевских бабушек со времён их молодости служил старый лакей, носивший редко встречаемое среди простонародья имя Анатолий. А так как меня тоже звали Анатолием, то братья и кузены изводили меня этим, уверяя, что Анатолий имя чисто лакейское. Страшно застенчивый, конфузливый и самолюбивый в дни моего младенчества, я изводился этим пасквилем. За обедом или чаем во время посещения Букреевки, когда под надзором гувернанток мы должны были чинно сидеть и соблюдать все приличия, детвора, фыркая в салфетки, указывала мне глазами на подающего блюда Анатолия. Я же, красный, как рак, должен был сидеть смирно и не имел никакой возможности не только отомстить за обиды, но даже показать вид, что я этим задет.

Родственные визиты и чинные обеды в присутствии бабушек и тёток являлись для нашей мальчишеской республики потерянным временем. Настоящим родом занятий для себя мы почитали только охоту, рыбную ловлю и развлечения того же рода, требующие состязания в силе, ловкости и удали. Самыми обидными и позорными кличками считались среди нас «больнушечка» и «сопливая девчонка», которыми награждался всякий, оробевший при каком-нибудь испытании или не смогший сделать того, что делали другие.

Жизнь, протекавшая для нас на реке, в степи, полях и садах, была полна опасностей и весьма героическая. Перерыв в этих свободных и по большей части нелегальных занятиях на обед и ужин являлся досадной помехой, от которой, к сожалению, отделаться было нельзя, так как отец строго следил за тем, чтобы все члены семьи присутствовали в столовой.

В Покровском для сбора в обед многочисленного населения барского дома к столу существовал специальный медный колокол внушительных размеров и с таким пронзительным звоном, что был слышен не только во всех углах усадьбы, но и далеко вокруг по полям и окрестным деревням. А потому были немыслимы какие бы то ни было оправданья в том духе, что я, мол, «не слышал».

Все мы плавали с детства, как лягушата, и были во всех областях мальчишеских увлечений чемпионами по сравнению с дворовыми или деревенским ребятами. В этой среде доморощенных спартанцев поневоле требовалось быть и выносливым, и смелым, скрывая насколько возможно все свои детские слабости во избежание насмешек и товарищеского презрения.

На почве постоянного соперничества за предводительство ребятами между братом Колей и мною происходила постоянная хроническая война и почти ежедневная драка. Брат был старше меня на год, выше ростом и сильнее, это, по его мнению, давало ему право быть предводителем и шефом всяких антреприз, с чем я никак не хотел и не мог примириться. Поэтому в решительные моменты столкновения, не надеясь на одни свои силы в драке с ним, мне приходилось прибегать к техническим усовершенствованиям борьбы, а именно к палке, камню или чаще всего к тяжёлой кадетской бляхе на поясе. Упорство моего характера и неразборчивость в средствах обороны сдерживали брата от слишком частой со мной расправы, что до известной степени уравновешивало наши шансы. На стене нашей классной комнаты в Туле долго красовалась огромная чернильная клякса – вещественное воспоминание о том, как однажды я большой чернильницей разбил брату голову в ответ на его приставания. Мать из педагогических соображений долго не позволяла забелить эту кляксу, считая, что при всяком взгляде на неё я должен был мучиться раскаянием о пролитой братской крови. Мучился, однако, глядя на неё, не я, а Николай, видя в этом чёрном пятне постоянное позорное напоминание для его самолюбия о поражении от слабейшего. Я же, наоборот, кляксой чрезвычайно гордился как свидетелем своей победы. Пострадала многострадальная Колина голова однажды и от сапога, не считая многочисленных синяков на остальных частях тела от медной пряжки пояса. Впрочем, все эти счёты были чисто семейного характера, так как в случаях нападения на кого-либо из нас посторонних сил, мы с Николаем действовали всегда сомкнутым фронтом и друг друга очень любили, хотя никогда этого и не показывали.

Водный спорт во всех его видах была единственная область, в которой я преобладал над Колей, так как во всех других областях мальчишеских увлечений он был, конечно, сильнее, а в особенности в конском деле, к которому имел особое пристрастие и способности. Лодка и все рыболовные принадлежности находились в моём неоспоримом заведывании. Ловля удочкой, впрочем, среди нас процветала мало: это занятие соответствует более зрелому возрасту, так как требует терпения и выдержки, по штату не полагающихся непоседливой мальчишеской натуре. Буйное покровское рыцарство предпочитало более быстрые, а главное, более героические способы рыбной ловли. Добывали мы её кубарями, вентерями, бреднем и даже просто руками.

Кубарь − конусообразная, плетёная из ивы, корзина с узким входом в неё, устроенным так, что раз попав в кубарь, рыба выйти назад уже не могла. Такой снаряд, прикреплённый к длинному шесту, ставился на дно реки обязательно на самой «стрёме», т.е. на середине реки против течения на самом глубоком месте, и так, чтобы нижний заострённый конец шеста был воткнут в дно, а верхний не был виден из воды, иначе и рыба, и кубарь обязательно были бы украдены любым проходившим мимо мальчишкой. При постановке кубаря требовалось хорошо плавать, не бояться омутов и глубоких мест и иметь достаточно силёнки, чтобы тащить вплавь за собой тяжёлый снаряд, и, борясь с течением, воткнуть в дно реки кол. При вытаскивании обыкновенно на другой день кубаря нужно было совершить опять ряд рискованных физических упражнений, ныряя в воду и отыскивая невидимый шест, если, конечно, его вместе с кубарём не уносило течением. Приблизительно так же ловилась рыба и вентерями, отличавшимися от кубарей лишь тем, что они делались

не из ивы, а плелись из сетки.

По негласному уставу наших мест, воровать рыбу из чужих снастей и сами снасти в мальчишеской среде считалось не за преступление, а за удаль, и подобные преступления в случае поимки виновника наказывались не законом, а кулаком или хворостиной со стороны владельца, в зависимости от возраста и сложения вора. Экспедиции подобного рода и сражения с чужими мальчишескими партиями, промышлявшими тем же, было одним из главных и тайных наслаждений нашей компании. Надо сказать, что в случае увечий, разбитых носов и прочих повреждений никто из старших о происхождении поранений не узнавал правды, и это правило свято соблюдалось. Все деревенские мальчишки по окрестным деревням поголовно знали, что драка с барчуками есть их законное право и социальная разница здесь роли не играла. В какую бы переделку от рук деревенского пролетариата марковские сыновья и племянники не попадали, «дворянский производитель», как звали отца крестьяне, об этом не узнавал. Да и держал нас отец настолько строго, что мы могли всегда ожидать от него жестокой порки в любой момент и за любую вину, в которой он нас мог, конечно, уличить довольно часто. Народ мы были лишённый особых сантиментов и потому порки этой частенько заслуживали, почему ни я, ни брат на отца за это очень и не обижались.

Был, помимо вентерей и кубарей, в Покровском и другой способ ловли рыбы, совсем оригинальный, а именно, голыми руками. По берегам обширного и неглубокого пруда нашего и образующей его речки, протекающей среди садов на добрую версту, стояла сплошная стена зарослей ивы и сирени, ветви которых спускались не только к самой воде, но и мокли в самой реке. Эти подводные кусты, корни ракит и засевший между ними ил и всевозможный мусор создавали для рыбы, в особенности крупной, удобные и тенистые в жаркие дни убежища. В этих местах рыба обыкновенно держалась около полудня, пока не спадала жара. При известном навыке, оцепив кусты неводом, рыбу можно было брать прямо руками, хватая её под жабры. Ловля эта требует сноровки, так как нередко крупный карп с такой силой вырывается из рук, что сбивает с ног ловца и прорывает сеть.

Отец наш, также большой любитель рыбной ловли, купив Покровское, вырыл рядом с прудом небольшую сажалку, сообщавшуюся проточной водой с рекой. Сюда были пущены выписанные откуда-то жёлтые и плоские, как тарелка, караси, расплодившиеся с годами в большом количестве. Однако ловить рыбу в этой сажалке, закрытой со всех сторон, где караси возились в мелкой воде и кишели, как каша, никого из нас, мальчишек, не прельщало – это было удовольствие только для отцовских гостей, которые ни на какую удаль способны не были.

Раз в три года большой покровский пруд спускался для ремонта плотины на мельнице. Для этого в плотине открывались все заставки, и вода, постепенно уходя в нижнюю часть реки, вскоре оставляла среди обнажённого и илистого дна лишь небольшой проток, по которому плескалась и билась о берега рыба. Когда вода окончательно уходила из пруда, и посередине его оставался лишь жалкий ручеёк, не покрывающий уже спин крупной рыбы, на глазах у всех начинала, почти на суше, биться рыба. Отец в этих случаях строго следил за дворней, чтобы при этом не произошло зверское истребление рыбы, которой буквально некуда было деваться. Без этого надзора, принимая во внимание мужицкую жадность на всякую даровщину, произошло бы просто истребление всей рыбы в реке. Дворовые, и в особенности крестьяне соседней деревни, при этой оказии обнаруживали каждый раз отвратительную и бессмысленную жадность, которую подчас мог сдержать только длинный арапник в руках отца и вид стражников, охранявших границы пруда. Не всегда даже эти меры могли сдержать скотские инстинкты толпы, собирающейся обыкновенно к моменту спуска пруда. В те последние минуты, когда начинало обнажаться дно и оно сплошь покрывалось трепетавшей в иле и грязи рыбой, со стороны деревни вслед за уходящей водой начинала надвигаться к усадьбе толпа полураздетых баб и совсем голых ребятишек всех калибров, следивших горящими глазами за рыбой. Моментами толпа эта не выдерживала напряжения и, как стая голодных зверей, бросалась к пруду. Стражники тогда

начинали действовать и руками, и ногами, тяжело шлёпая по грязи и воде, отцовский арапник свистел в воздухе, оставляя полосы на голых задах, но ничего не помогало. Дрожащими от жадности руками мужичьё хватало и тискало рыбу, вырывая её друг у друга.

Надо сказать, что подобная жадность никак не могла быть объяснена крестьянской бедностью и голодом, мужики в Покровском были поголовно зажиточными, а рыбы в наших местах было сколько угодно. Просто в этом случае начинали действовать обычно сдерживаемые скверные черты мужицкого характера: скаредность и всегдашняя тягота к даровщинке, которая так ярко и полно выразилась с началом революции при грабежах и диком уничтожении огромных ценностей в помещичьих имениях, погибших бессмысленно и без всякой пользы для самих крестьян. Эти черты крестьянства впоследствии были признаны даже самими большевиками и обличались в советской литературе в рассказах из жизни деревни Пантелеймона Романова.

Помимо охоты и рыбной ловли, в эти годы мы с братом увлекались собиранием коллекции птичьих яиц. Для их сохранения из яиц через маленькие дырочки в скорлупе выдувалось содержимое. Птичьи гнёзда при этом мы отнюдь не разоряли, а брали из них только по одному яичку в большом секрете как от хозяев гнезда, так и от деревенских приятелей, не страдавших в отношении птиц излишними сантиментами. Это занятие дало нам обширные сведения из области птичьего царства, так как мы на практике изучили не только все породы птиц, но и характер их гнездовки, повадки и обычаи. Когда впоследствии мы учились в реальном училище, то буквально поражали учителя естественной истории своими познаниями в этой области. В усадьбе и деревне мы с братом были всегда защитниками и покровителями птичьего царства и пережили немало битв по его защите. Природу помещичья молодёжь моего времени не только знала, но и любила, являясь её защитником против крестьянской дикости и хищничества.

Наши предшкольные 1900-1905 годы были последними годами моей свободной жизни в садах и полях родного Покровского. Наступившее вслед за этим время невольно перенесло центр наших интересов в другие области. Беззаботное детство кончилось, начинался долгий и трудный период учёбы, связанный со многими и многими днями эпохи первой революции и тёмными тучами, поднимавшимися над нашей семейной жизнью…

ГЛАВА ВТОРАЯ. УЧЕБНЫЕ ГОДЫ. 1904 - 1914 ГОДЫ

Дела давно минувших дней,
Преданья старины глубокой…

А.С. Пушкин

Чугунолитейный завод инженеров Марковых. Его жизнь и население. Реальное училище. Революция 1905 г. в Туле. Яков Сергеевич. Друзья и товарищи, забавы и развлечения. Семейная драма. Увлечения. Путешествие в Москву и по Волге. Дворянская гимназия в Туле. Политика и политическая борьба. Смерть матери. Новая хозяйка. Годы в деревне. Деревня и усадьба. Старый дом и его прошлое. Кадетский корпус. Славная школа. Производство в офицеры.

РЕАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ

Осенью 1905 года мама привезла меня в Тулу на переэкзаменовку. Полагая, что подготовка мне была нужна только по рисованию, раз я уже выдержал другие предметы, меня не обременяли летом науками. Я полностью забыл всё, что знал, и потому с треском срезался на первом же экзамене по арифметике. Так как мне в это время было всего только

десять лет, то мать решила отдать меня вместо второго класса в первый, куда меня приняли уже без всякого экзамена.

По приезде в Тулу мы с мамой временно поселились на Миллионной улице в большом доме, составлявшем один из корпусов большого чугунолитейного завода, принадлежавшего отцу. Кто знает Тулу дореволюционного периода, должен хорошо помнить сейчас же начинавшийся за чугунным мостом через реку Упу длинный и высокий деревянный забор, тянувшийся чуть не на полверсты к предместью Чулкову. На заборе этом во всю его длину большими чёрными буквами стояла надпись «Чугунолитейный завод инженеров Марковых». Завод этот был одним из крупнейших в городе, на нём работало до 350 человек, рабочих разных специальностей. Фабричные здания были разбросаны довольно широко, и на территории завода, являвшегося целым городком, было несколько дворов, сад и даже небольшое озеро. Здания мастерских в зависимости от специальности той работы, которую в них производили, носили названия литейных, кузнечных, механических, модельных и слесарных.

Новый мир и новая жизнь в этих огромных зданиях, весь день наполненных гулом и звоном, вертящимися колёсами, запахом масла и машин, открылись для меня. В первые же дни знакомства я обнаружил, что на заводе имеется целое мальчишеское население, ничуть не меньшее, чем в покровской усадьбе, с которым нужно было познакомиться в первую очередь. Во главе наших новых сверстников стояли два брата Куликова – сыновья директора завода.

Жила эта семья в отдельном доме на заводе и состояла из отца Олимпа Олимпиевича, огромного сильного и бородатого человека, всегда озабоченного, матери, носатой и приветливой дамы, и двух мальчиков Лимы и Володи. Оба они учились в Тульской классической гимназии. Младший Володя, мой ровесник, стал моим приятелем. Деревянный домик Куликовых мы с братом скоро полюбили: в нём было всегда тепло и уютно, и гостеприимные хозяева нас всегда ласково принимали.

Володя в качестве местного старожила скоро познакомил меня с заводской жизнью, её радостями, опасностями и тревогами. В будние дни во время работы нас в мастерские не пускали, да нам и самим было жутко входить в эти огромные корпуса, гудящие и грохочущие металлом. Здесь по всем направлениям вертелись страшные колёса, тянулись приводные ремни, шумела многоголосая рабочая жизнь. Мне лично эта чужая среда, такая далёкая от всего привычного, всегда казалась неприятной, и, изредка проходя узкими проходами мастерских под взглядами рабочих, чёрных и замасленных людей, я чувствовал себя всегда очень неловко.

Зато по праздникам, когда над заводом стояла непривычная для него тишина и мастерские стояли полутёмными, молчаливыми громадами, наступало наше детское царство. Особенно наше внимание всегда привлекала литейная, где вместо пола, как в других мастерских, были груды мягкой перемешанной с углём земли, из которой делались формы для чугунной отливки. Все части, которые предстояло отлить из чугуна, предварительно по точным расчётам делались из дерева в модельной мастерской, а затем их оттиски в земле наполняли расплавленным чугуном. Как деревянные модели, так и их земляные оттиски казались нам чудом искусства. Первое время эти земляные формы даже вводили нас в заблуждение чистотой отделки и своим железным оттенком. Нередко наступив, как мне казалось, на какую-нибудь железную решётку, я с замиранием сердца чувствовал, как нога уходила во что-то мягкое и моя детская ступня резко отпечатывалась на модели. На другой день управляющий Куликов неизменно докладывал матери о наших воскресных шалостях в мастерских, доказательством чего являлся отпечаток моей ноги, от которого никак нельзя было отказаться. Вероятно, такие путешествия по литейной стоили и денег, так как одним неосторожным шагом портилась вся сложная работа формовщика и запаздывала срочная отливка.

Земляные формы, которые я так неосторожно давил своими деревенскими ногами, помещались в железных рамах, носивших почему-то наводящее на меня жуть название

«опоки». Из угла ворот я с ужасом наблюдал, как дважды в неделю эти «опоки» наполнялись расплавленным чугуном. В эти дни литейня напоминала истинный ад. Полуголый чёрный человек, освещённый каким-то дьявольским красным светом, длинной железной палкой протыкал жерло огромной доменной печи, или «вагранки», и жидкий огонь расплавленного чугуна, освещая вдруг ярким светом всю мастерскую, лился в огромные чёрные вёдра, которые бегом разносили рабочие во все стороны. Белый жидкий огонь, разбрасывая во все стороны тысячи огненных мух, бежал струйками по земле, наполняя собой формы. Из превращённой в преисподнюю литейной в довершение впечатления клубами вырывался жёлтый дым с серным запахом, заставлявший замерших в ужасе деревенских барчуков неистово чихать и кашлять. Я всегда с непроходящим ужасом и удивлением смотрел на мечущихся в этом жутком месте рабочих, одетых в кожаные рукавицы и фартуки и вопреки очевидности как будто не чувствующих ожогов от жгучего дождя пляшущих по воздуху искр чугуна.

Володя Куликов, знаток всех этих непонятных и жутковатых вещей, рассказывал нам много страшных историй из жизни литейщиков, перед которыми он благоговел и сам. Была неприятна и страшна для нас и механическая, где среди широких хлещущих воздух ремней и веющих ветром колёс и маховиков была смертельная опасность не для одних детей.

Было, впрочем, среди заводских неприятных и неопрятных заведений одно место, которое не только не пугало детского воображения, но и влекло к себе. Это была модельная мастерская, где виртуозы модельщики точили из дерева настоящие чудеса в решете. Сотни любопытных и дьявольски занимательных вещей было в этой мастерской. Множество всевозможных стамесок, напильников и долот самой неожиданной формы лежало на длинных верстаках и столах. Здесь пахло не отвратительным запахом серы и машинного масла, как на всём остальном заводе, а знакомым и родным смолистым запахом леса. Рабочие здесь были совсем другие, так не похожие на освещённых красным огнём дьяволов литейной или промасленных насквозь грязных металлистов. Здесь все были одеты в длинные белые балахоны, с чистыми лицами и руками, и сидели в светлой и просторной мастерской. По компетентному разъяснению Володи, все работавшие в модельной были знаменитые мастера, высокооплачиваемые специалисты, ценимые и уважаемые дирекцией завода. И действительно, во времена моего детства и юности модельщики представляли собой своего рода рабочую аристократию, резко отличавшуюся от остальной рабочей массы. В них чувствовалось много собственного достоинства и самовлюбленность артиста.

В самом дальнем углу заводской территории находились конюшни, сад и таинственное озеро. Летом оно было наполнено водой красноватого цвета от множества ржавых опилок металла, покрывавших его дно, зимой покрывалось прекрасным гладким льдом, служившим нам чудесным катком. Купаться в этом озере при всём нашем мальчишеском геройстве мы не решались не по причине его глубины или какой-либо другой опасности, а исключительно из чувства брезгливости: вода в нём была всегда покрыта пятнами машинного масла и имела самый гнусный колер. Однажды только на пари брат Коля поздней осенью к восторгу и удивлению всех местных смельчаков переплыл эту лужу с перекосившейся от отвращения рожицей.

Заводской сад отделялся забором от огородов Чулкова − предместья Тулы, знаменитого ещё с петровских времен отчаянной и разбойной мастеровщиной. По улице этого любопытного предместья в те времена вечером прохода не было для посторонних, и городские жители показывались в Чулкове после захода солнца только по самым неотложным причинам.

На заводской конюшне под верховным надзором кучера Саввы жило пять огромных и злых жеребцов, на одном из которых Савва стал возить нас на учёбу. С первых дней жизни на заводе этот Савва как человек, больше принадлежащий к деревне, чем к городу, стал мне из всех заводских обывателей ближе всех. По инстинкту детской души я чувствовал в нём деревенского, а не городского человека, и не ошибался. Савва действительно недавно пришёл из деревни в город и, живя лишь несколько месяцев в Туле,

ещё не успел потерять своего деревенского запаха и вида.

В первое время приезда нашего с мамой в Тулу нам пришлось жить в нижнем этаже дома, так как два верхних были заняты семьёй командира пехотного полка, который снимал там квартиру. Это была семья того самого полковника, с дочерьми которого мы когда-то дружили в раннем детстве и про которых нянька Марья выражалась, что «они господа ненастоящие». Полковник должен был покинуть дом к нашему приезду, но почему-то задержался, и мы с мамой недели две принуждены были жить в необитаемых комнатах нижнего этажа, примыкающих к заводской конторе. Мне подобная походная жизнь, как и всякому ребёнку, очень нравилась, но мать, привыкшая к удобствам, ею изводилась.

Контора завода, оказавшаяся с нами по соседству, сильно меня занимала как явление новое и совершенно незнакомое. Состояла она из пяти комнат, где сидело около дюжины конторщиков под управлением Олимпа Олимпиевича. Главной приманкой этого учреждения для меня стали две пишущие машинки, которые я видел впервые, и неограниченное количество чистой бумаги, к которой я как художник и графоман питал большую склонность. Из разговоров, которые вели между собой конторщики, мне впервые пришлось услышать политические споры. В этих спорах, доходивших иногда до форменной драки, как я стал понимать, одни были «за царя», а другие «за революцию». Первые почему-то как на подбор были крепкие и здоровые люди, революционеры же, наоборот, тощие, болезненные и озлобленные, а один был даже горбатый. Это детское впечатление было настолько сильно, что на долгие годы потом у меня создалось представление, что все левые должны были быть тощие и озлобленные.

Первые впечатления, вынесенные мною из школьной жизни, оказались весьма неприятными. Реальное училище, которое я с осени 1905 года стал посещать, находилось на другом конце города, очень далеко от нашей Миллионной. Его двухэтажное здание казённо-безотрадного типа помещалось на узкой улочке против Коммерческого училища.

Директором был уже знакомый нам с матерью по экзаменам большой и толстый господин Карякин. Следующим за ним начальством являлся инспектор Рихтер – сухой чиновник из немцев, наш сосед по Миллионной, с которым по этой причине мне приходилось встречаться без всякого удовольствия, так сказать, приватным образом. Следующей властью и властью, ближе всех к нам стоявшей, оказался помощник классного надзирателя Семён Петрович – гоголевский замызганный чиновник, крикливый и придирчивый в младших классах и очень робкий перед старшими. Был он одет всегда в грязный и донельзя засаленный вицмундир с оборванными пуговицами и сам весь был точно поеденный молью.

Учителя делились на старых и молодых по возрасту и по системе преподавания. К старым принадлежали окаменелости и древности, прослужившие по 40 и больше лет, с допотопными методами преподавания «отселева и доселева». Эта категория педагогов относилась к попавшим в их лапы детям не как к младенцам, которых они должны были образовать и воспитать, а как к враждебному и опасному лагерю, с которым надо было вести постоянную, напряжённую и полную всяких военных хитростей войну. Старики эти все были поголовно сторонниками и защитниками всего прежнего не потому, что оно было лучше нового, а потому, что они к нему привыкли. На педагогических советах они вели открытую войну с молодыми учителями не только на профессиональной платформе, но и на политической. Молодые преподаватели составляли в училище партию «красных» как по своим убеждениям, так и в вопросах педагогики. Своих революционных настроений учительская молодёжь не скрывала и, как было принято в то время, всюду и везде подчеркивала, так как по тогдашним нелепым временам интеллигентный человек обязан был быть красным. Группа эта была хотя и малочисленна по составу, но зато очень задорна и напориста. Не довольствуясь защитой своих «принципов» в частной жизни и обществе, эти молодые учителя не стеснялись развивать свои взгляды и в классах, нисколько не смущаясь тем, что имеют дело с детьми, которых непедагогично и преступно было втягивать в борьбу

между собой их наставников и в политику вообще.

Наиболее типичными представителями двух лагерей являлись двое: старый учитель русского языка Муратов и преподаватель естественной истории Николай Иванович. Последний был красивый, задорный, но недалёкий человек лет 30, ненавидевший всё старое.

Муратов считался грозой реального училища, но был очень неплохим преподавателем. Требовал он от нас, малышей первых трёх классов, отнюдь не зубрёжки, а сознательной учёбы, для чего всячески поощрял охоту к чтению. Каждый из его учеников обязан был иметь тетрадь для записи прочитанных книг. Этой тетрадкой он руководствовался при выставлении отметок по русскому языку и часто читал сам в классе. Своих политических взглядов он нам, ребятам, никогда не высказывал, но относился с нескрываемой неприязнью к евреям, которых в каждом классе училища было по нескольку человек. Это обстоятельство навлекло на Муратова особенную ненависть революционных кругов и либералов, в те времена смотревших на еврейскую национальность как на руководителей и специалистов «освободительной борьбы».

Правовые ограничения евреев со стороны правительства с избытком вознаграждались отношением к еврейству интеллигенции, которая буквально не знала, куда жида посадить и чем ему угодить. Немудрено, что на седую голову Муратова, мужественно и твёрдо ведущего антисемитскую линию, либеральный лагерь изливал свой яд и негодование. Старика, впрочем, всё это нисколько не пугало, и поведения своего он не изменял. На его уроках царил строгий порядок и мёртвая тишина. Зато совершенно обратное происходило на уроках естественной истории, которую, как я упоминал, преподавал представитель крайне левой учительской группы Николай Иванович. Нам, мальчишкам первого класса, он не задавал уроков, а «читал лекции», которых, благодаря полному отсутствию на его уроках порядка, никто не слушал. Класс естественной истории каждый раз собой напоминал какой-то восточный базар, во время которого каждый предавался собственному занятию, не стесняясь учителя. Играли в пёрышки, читали романы Майн-Рида, спали, завтракали и даже … играли в карты. Предметом своим он занимался мало, больше ведя беседы с нами на общественные и политические темы, одновременно с тем расспрашивая мальчиков о том, что делали и что говорили на своих уроках старые учителя, его соперники. Этот материал, собранный по классам, ему, очевидно, был нужен для каких-то выступлений против врагов на заседаниях педагогического совета.

Мы с братом во время нашего пребывания в реальном училище мало поддавались его влиянию и атмосфере, всецело живя интересами нашего дома и не выходя из-под влияния матери. Среда, которую мы встретили в училище, казалась нам чужой, а начальство не производило никакого впечатления и влияния. Причины этого крылись в том, что наши взгляды с братом на некоторые вещи очень отличались от взглядов на те же предметы наших товарищей. Главным страхом, а подчас и ужасом, наших одноклассников были учителя и администрация реального − существа в глазах малышей могущественные, которым во власть и полное распоряжение были отданы маленькие существа, бесправные и беззащитные.

Не только для малышей, моих одноклассников, но и для их родителей, в огромном своём большинстве состоящих из городских мещан и чиновничьей мелкоты, учительский персонал, уж не говоря об инспекторе и директоре, по своей службе и социальному положению являлся большими людьми. Совсем по-другому смотрели на училищные власти мои родители и люди их круга. Для них учителя и сам директор были всего только небольшие чиновники, на которых независимая и обеспеченная среда поместного дворянства смотрела снисходительно и свысока. От детского пытливого наблюдения это отношение, конечно, скрыться не могло, а потому никакого трепета к замызганным и засаленным фигурам своего начальства мы с братом не испытывали. Что могли сделать и чем испугать вольного покровского барчука эти люди? Самая большая кара, которая могла пасть на наши головы с их стороны, было исключение из училища, но подобная крайняя мера, приводившая в зелёный ужас моих товарищей и их родителей, очень мало бы обеспокоила мою семью. Уволят из реального, мама отдаст нас в гимназию или кадетский корпус, не здесь, так в

другом городе.

Сознание своей до некоторой степени неуязвимости, конечно, очень вредно отражалось на нас с братом в школьные годы, делая из нас весьма смелых шалунов, держащихся свободно с начальством. Это вызывало неприязненное, а подчас даже просто злобное отношение надзирателей, привыкших видеть малышей, лежащих перед ними в прахе и трепете, и не переносящих поэтому в маленьком реалисте чувство собственного достоинства.

Между тем шла осень приснопамятного 1905 года, и приближались дни первой русской революции. Мне, десятилетнему ребенку, выросшему на деревенских просторах и ещё никогда не слышавшему политических разговоров, многое тогда происходившее было непонятно. Лихорадочное настроение, царившее в городе, было для нас с братом совершенно незаметно. Первое столкновение с новым миром у меня произошло в сентябре этого года и прошло без особенного впечатления. Один из наших одноклассников, розовый бутуз, как-то на большой перемене, когда мы играли в зале, подлетел ко мне и весь запыхавшийся радостно прошептал: «Иди скорей! Сейчас будем драться стена на стену. Ты кто, красный или чёрный?». По детской наивности, предполагая, что предстоит нечто вроде игры в краски, я ответил, что я голубой – это был мой любимый цвет. Юный политический борец, видимо, тоже не очень опытный в вопросах политической окраски, на мой ответ изумлённо заморгал глазами и молча отошёл.

Скоро здесь же я понял, что предстоит не игра в краски, а интересная драка, причём одна сторона, называвшая себя чёрной, защищала царя, а другая – красная – билась за революцию. Первыми предводительствовал толстенький и крепко стоявший на ногах Новиков, живший пансионером у классного надзирателя Семёна Петровича. Руководителем вторых оказался мой сосед по парте – носатый еврейчик Шапиро Хаим Вульф. Этот последний, впрочем, в драку лично не вступал, а, забравшись на верхнюю ступеньку гимнастической лестницы, «руководил» оттуда своей партией. Новиков, бившийся в первых рядах «чёрных», напрасно кричал ему: «Иди сюда, жидовская морда, я тебе покажу революцию!» Шапиро с лестницы не спускался и впоследствии обиженно разъяснил нам причины этого. Оказалось, что если бы он спустился с лестницы и принял, как все, участие в борьбе, то это была бы просто драка, а не игра в революцию, так как он изображал «исполнительный комитет», который находится всегда за границей и сам в борьбе не участвует, а только ею руководит. Этот еврейчик, руководивший из безопасного места игрой в революцию в далёкие дни моего детства, был истинным прообразом будущего, которое пришлось через двадцать лет пережить всем русским людям, как красным, так и белым.

Тогда же в белой зале реального училища в Туле мы, детвора, впервые играли в революцию уже с соблюдением всех приличествующих сему *аппарансов* . Чёрные пели «Боже, Царя храни», красные − «Марсельезу».

Через несколько дней я получил и второй урок политической грамоты, на этот раз по линии классовой борьбы. Подавляющая масса учащихся в реальном состояла из среды городской – мещан и ремесленников. Все мои товарищи у себя дома в эти дни постоянно слышали разговоры о несправедливости деления на богатых и бедных, на господ и мужиков, о необходимости изменить этот порядок вещей и ввести социальный строй, который сравняет всех и вся. Наслушавшись всего этого, детвора стала относиться с неприязнью ко всему тому, что так или иначе выдавалось из их среды и поднималось над уровнем их серенького, мещанского быта.

В Туле в 1904-05 годы городская мелкота вследствие революционной пропаганды вдруг почувствовала себя хозяевами жизни и приняла весьма агрессивный тон и поведение. Всё это, как в зеркале, в миниатюре отразилось и на малышах нашего училища.

Однажды Семён Петрович раздал всем нам так называемые «классные дневники», в которые мы должны были записывать заданные на дом уроки. В конце этих дневников была отрывная страничка, которую надо было заполнить, ответив на целый ряд напечатанных там вопросов, и сдать листок надзирателю. В числе вопросов был и вопрос о

сословии, к которому принадлежал ученик. На другой день я возвратил листок, заполненный рукой матери, Семёну Петровичу.

На пустом уроке в тот же день Семён Петрович, сидя на кафедре в классе и просматривая, возвращённые классом листки, вдруг с усмешкой громко спросил меня:

– Так ты, Марков, дворянин? Да ещё потомственный?!

– Да, – отвечал я спокойно.

– Ишь ты!.. Значит ты белая кость, не такой, как мы все, хамы? – обратился он уже к классу, по которому пошло волной услужливое хихиканье.

Эта выходка надзирателя, выходка глупая и при других условиях и в другое время бессмысленная, обошлась мне тогда очень дорого.

Не успела после звонка замызганная фигура Семёна Петровича скрыться за дверью, как меня с криком и гвалтом обступила целая толпа под предводительством двух второгодников, игравших роль классных лидеров, Морозова и Пирогова.

– Ты, белая кость и голубая кровь, как среди нас затесался? – начал издевательским тоном Морозов.

– Только теперь другие времена настали, – поддержал его Пирогов. – Это раньше мы их крепостными были, они нас пороли, а теперь мы сами ему морду набьём. Ишь дворянинский сын, дворняшка!

– Дворняшка! Дворняшка! – закричали и запрыгали со всех сторон другие.

Эта кличка «дворняшка» с того времени стала меня повсюду преследовать, и никакое отругивание и драка не изменяли положения вещей. Драться со всеми было невозможно, да и в классе было много таких, которые были сильнее меня, так что пришлось с этой, казавшейся мне очень обидной кличкой скоро примириться, тем более, что меня перестали дразнить ею, как только переменились времена, что случилось очень скоро.

Хуже всего было то, что молодые учителя-либералы во главе с Николаем Ивановичем, у нас в доме бывавшем и лично ко мне благоволившем за любовь к его предмету, словно поощряли это «классовое» преследование, о котором на первых же их уроках поспешил сообщить мой враг Морозов. Вероятно, они находили, что это есть законное, в духе времени явление. Даже Семён Петрович, слыша мальчишек, дразнивших меня «дворняшкой», довольно ощеривался редкозубой улыбкой, покровительственно поглядывая на моих преследователей. Он, как и многие маленькие люди того времени, был вынужден играть сразу на две карты, стараясь угодить и начальству, и революции, которой всё больше пахло в воздухе.

Сам я, поначалу этой кличкой изводившийся и лезший за неё в драку чуть не со всем классом, перестал на неё обращать внимание после одного случая. Как-то я поссорился со своим соседом еврейчиком Шапиро, который после этого пересел от меня на заднюю парту к своему единоверцу. При всяком удобном случае этот чёрный, как жучок, курчавый, как баран, еврейчик шептал у меня за спиной картавым шёпотом: «Двогняшка, двогняшка, чегносотенник!»

Выведенный однажды из терпенья этим шёпотом во время урока, я, как только раздался звонок и учитель вышел из класса, дал звучную плюху Шапиро и, вцепившись в курчавые пейсы, стал колотить его носом об стол. Тщедушному жидку я, крепкий деревенский житель, оказался неравным противником и скоро разбитый нос лишил его остатков мужества. Победа моя была полная и очевидная. Несмотря на крики Шапиро «товарищи, помогите!», окружавшая нас толпа одноклассников не тронулась с места, следя с восторгом и наслаждением за дракой. Наоборот, покамест мы с Шапиро возились, я слышал поощрительные крики кругом: «Бей его, Марков! Молодец дворняжка…покажи жидовской морде, как трогать русских!!!»

Класс оказался единогласно на моей стороне, всё революционно-классовое настроение, искусственно привитое духом времени, как по волшебству, слетело с мальчишек, вытесненное национальными мотивами. После драки меня перестали дразнить и называли «дворняжкой» только по-приятельски и ласково.

Между тем начавшийся в августе 1905-06 учебный год шёл весьма неладно. В воздухе всё больше пахло бурей, и политический барометр стремительно падал. Учителя всё чаще отсутствовали на уроках. В эти «пустые часы» Семён Петрович, заседавший для порядка на кафедре, имел взъерошенный и озабоченный вид. Он не обращал на нас внимания, поминутно шмыгая из класса в коридор и к чему-то тревожно прислушиваясь. Новиков, живший у начальства и потому всё и вся знавший, рассказывал нам таинственным шёпотом, что в эти дни бунтовали старшие классы и шли бурные заседания педагогического совета.

Однажды перед окончанием большой перемены оба надзирателя младших классов, расположенных в нижнем этаже училища, загнали нас раньше времени по классам и, заперев двери на ключ, оставили впервые без всякого надзора. Это было до того необыкновенно и настолько выходило из рамок привычного, что мы все сидели, присмирев, почему-то переговариваясь вполголоса вместо обычного крика.

Вдруг над нашими головами в верхнем этаже, где расположены были старшие классы, послышался гул, глухие крики и топот сотен ног. Классные двери с треском распахнулись и вбежавшие второгодники, где-то до этого таинственно отсутствовавшие, объявили взволнованными голосами, что в реальном началась «забастовка».

Шум и грохот наверху между тем усиливались, и скоро к этому присоединился звон какой-то разбивавшейся посуды. У нас в классе испуганные и ничего не понимавшие младенцы кое-где уже начали хныкать и «проситься к маме». В момент, когда нервное настроение детей достигло своего апогея, дверь снова раскрылась и перед замершим в ужасе классом предстал бледный как смерть Семён Петрович, который полузадушенным и каким-то картонным голосом крикнул: «Домой!.. Идите скорее домой, занятий больше не будет!» Вид и голос его был настолько необычен, что вся толпа малышей, взревев от страха, стадом бросилась к дверям, чуть не сбив с ног надзирателя.

Я, собирая разбросанные на парте книги, задержался в классе и отстал от одноклассников, толпой бросившихся в «шинельную» одеваться. Громкий шум и топот в коридоре заставил меня оставить книги и броситься к дверям класса. Глазам моим представилась необычайная картина. По коридору, обгоняя друг друга, с топотом и криками неслась густая толпа великовозрастных реалистов, казавшихся мне, малышу, громадными. Над их головами взлетали и с треском хлопали об ставни какие-то склянки и пузырьки, оставляя на потолках и стенах коридора пятна какой-то жидкости, распространявшей невероятную вонь тухлыми яйцами. Это были модные в то время «обструкции», т.е. пузырьки, наполненные вонючей химической смесью, посредством чего в 1905 году революционеры срывали занятия в учебных заведениях и снимали с работы фабрики, выгоняя учащихся и рабочих этой вонью на улицу. Рядом со мной, прижавшийся в ужасе в угол между стеной и шкафом, испуганными глазами смотрел на бегущих забастовщиков Семён Петрович. Одна из склянок со свистом пролетела над его лысой головой и звучно хлопнула об стену, обдав её вонючим потоком.

Радостно взволнованный необычайными событиями, которых мне пришлось быть свидетелем, я бежал распираемый впечатлениями, спеша рассказать о них домашним. В своём возбуждении я не обратил внимания на необыкновенную пустынность улиц в этот час и странную тишину, висевшую над городом. Не успел я, захлёбываясь волнением, поделиться новостями дома, как из города приехал отец, сообщивший, что в городе начинается восстание. Началась всеобщая забастовка, стали заводы и фабрики и занятия прекращены во всех учебных заведениях.

Ни в этот день, ни наутро нас, детей, не выпускали на улицу, отдав под неусыпный надзор бонны и двух горничных, которые во избежание ответственности заперли все выходные двери на ключ. Из разговоров отца с матерью и рассказов горничной Серафимы, поминутно выскакивавшей из парадной двери на улицу, я понял, что в городе происходит что-то необычайное. Наш репетитор Иван Сергеевич, высокий, тощий, как спаржа, студент, принимавший горячее участие в «революции», несколько раз в день прибегал из города,

информируя маму о происходящих событиях. На кухне кухарка Дуняша, Серафима, её сестра Мотя и кучер Савва шептались зловещим шёпотом о стрельбе на улицах, убитых и раненых. Особенно на меня произвел впечатление рассказ Саввы о демонстрации, которую он видел в кремле под предводительством студента Дрейера, и о столкновении этой последней с членами «Союза русского народа» под начальством известного в Туле мукомола купца Пармёнова. По словам Саввы, при столкновении этих двух враждебных сил Дрейера – сына местного врача-еврея – толпа разорвала в свалке на куски.

На другой день около полудня мать, знавшая от Ивана Сергеевича заранее о всех предстоящих демонстрациях, решила ехать с Марьей Васильевной смотреть на демонстрацию студентов. Томившийся взаперти и горевший желаньем принять участие в событиях, я упросил их взять меня с собою. Трудно теперь сорок лет спустя вспомнить дату этого памятного для меня дня, но думаю, что это было в последних числах ноября 1905 года.

Выехали мы, как всегда, в лёгких городских санках, в которых было для седоков только два места, почему дамы и посадили меня к себе на колени. В этом положении я почти упёрся носом в спину кучера Саввы, полустоявшего на крохотных козлах санок. Проехав по городу, мы то там, то здесь видели группы людей, над которыми не то на тумбах, не то на бочках виднелись ораторы, говорившие речи. На Посольской улице густая толпа окружала военный оркестр, игравший почему-то национальный гимн. При нашем приближении толпа закричала на Савву и меня, чтобы мы сняли шапки. Поэтому мне пришлось держать и свою фуражку, и шапку Савки, руки у которого были заняты вожжами. Поднявшись на гору по главной улице Тулы Киевской, мы поравнялись с полицейским участком, где пришлось остановиться, так как нам навстречу из бокового переулка стала выходить густыми рядами толпа молодёжи, в большинстве своём студентов и гимназистов старших классов. Перед толпою, пятясь задом, шёл худой человек с жидкой бородкой и усами, одетый в чёрное штатское пальто. Он держал в руках палку и дирижировал ею в такт словам песни, которую пела толпа. Это была «Марсельеза», которую я уже не раз слыхал в реальном училище.

Первые ряды демонстрантов шли почему-то с поднятыми вверх руками, в которых блестели металлическим блеском революльверы. Мама объяснила Марии Васильевне, что это и есть та самая демонстрация студентов, о которой ей говорил Иван Сергеевич. Среди толпы благодаря длинному росту я рассмотрел и самого Ивана Сергеевича, почему-то одетого не в форму, как всегда, а в штатское пальто и шапку. В восторге я было заорал на всю улицу: «Иван Сергеевич, мы здесь!» Но мать и Мария Васильевна схватили меня за руки и свирепым шёпотом потребовали, чтобы я замолчал, если не хочу, чтобы меня отправили, как маленького, домой.

Демонстрация, между тем, продолжая петь революционные песни, спускалась вниз по Киевской. Она удалялась от нас, заняв во всю ширину улицу, которая была видна во всю длину до белых кремлёвских стен, в которые упиралась. Вокруг наших саней постепенно собралась группа прохожих и вышедшие из участка полицейские и пожарные. Все они молча и напряжённо смотрели вслед демонстрантам, точно чего-то ожидая. Было около трёх часов дня, но короткий зимний день уже кончался, и в воздухе начинало темнеть.

Неожиданно от стены кремля, уже тонувшего в вечернем сумраке, отделилась густая чёрная масса, быстро подвигавшаяся навстречу демонстрантам, уже достигшим середины Киевской. Обе толпы, издали казавшиеся двумя чёрными пятнами, быстро сближались. По кучке людей, сгрудившихся возле наших саней, пронеслось какое-то движение. Одновременно с тем снизу с Киевской послышались негромкие хлопки револьверных выстрелов и засверкали огоньки. «О, господи, свои в своих!..» – вздохнул кто-то рядом с нами. Тут только я понял, что внизу на Киевской произошло столкновение между демонстрантами и их противниками из «Союза русского народа».

Среди всё больше сгущающегося мрака там продолжали вспыхивать огоньки выстрелов, и горохом перекатывалась стрельба. В воздухе над нами вдруг зароились какие-то неведомые для меня звуки, точно запели невидимые струны. С глухим топотом и криками толпа отхлынула от саней и бросилась врассыпную к заборам. «Погоняй, Савва!

Погоняй скорей! – заторопила Марья Васильевна кучера. – Разве ты не слышишь, сюда стреляют!..»

Савва, однако, как окаменелый, сидел на козлах и не двигался. Ничего не понимая, я, заряженный общей тревогой, взглянул на его лицо и, забыв всякий стыд, заревел во весь голос на всю Киевскую. Огромный бородатый мужик, сидя на козлах, плакал, как младенец, и крупные слёзы текли по его лицу и бороде, в то время как вожжи плясали в его руках, одетых в рукавицы. Плачущий Савва представлял собой такое неожиданное и странное для меня зрелище, что из всего виденного в этот день мне это показалось самым страшным. С рёвом я забился в ноги матери, не желая ничего больше видеть и слышать после таких ужасов.

Между тем вдали под горой толпа демонстрантов разбегалась и таяла, разбиваясь на отдельные группы. В тумане морозного вечера и дыма выстрелов на мостовой виднелись фигуры убитых и раненых. Нарвавшись со своим дамским любопытством на эту неожиданную картину, спутницы мои безостановочно погоняли и без того летящего бешеным ходом Савву, спасавшего себя и своих седоков от воображаемой опасности. Окольными улицами и переулками мы, наконец, добрались домой на тихую Миллионную, где закатили встревоженному отцу коллективную истерику.

В тот же вечер Иван Сергеевич, легко раненный в ногу, таинственно появился на несколько минут у нас в передней, перекинулся с матерью несколькими словами и умчался заметать следы своей недолгой, но полной событиями революционной деятельности. Больше у нас в доме он не появлялся. Мать на все мои настоятельные вопросы об Иване Сергеевиче только многозначительно переглядывалась с Марией Васильевной и уклончиво отвечала, что его в Туле нет.

Неожиданное приключение на Киевской улице, которому я стал невольным свидетелем, произвело на мою детскую психику очень глубокое впечатление, которого я многие годы не мог забыть. К сожалению, это происшествие только положило начало ряду трагических событий, среди которых прошли мои школьные годы в Туле.

Около двух недель мы просидели с Колей дома, не посещая реальное училище, не выпускали нас и в город. Тоскливо слонялись мы по мёртвой, молчавшей пустыне завода, который не работал и бастовал, как и все фабрики города. Все попытки наши выйти за железные ворота завода каждый раз оканчивались неудачей, так как они охранялись, кроме сторожа Дорофея, ещё и нарядом из двух городовых.

Был самый острый момент революции, шла всероссийская забастовка, остановившая весь нормальный ход огромной страны. В Туле шли беспорядки и манифестации, не выходили газеты. Это последнее обстоятельство создавало особенно тревожную обстановку, так как никто толком не знал, что делается в России, все события доходили только по слухам, как всегда, преувеличенным. В Москве в эти дни шло вооружённое восстание и бои на баррикадах. Были баррикады и в Туле, почему город был объявлен на военном положении.

Через неделю, когда правительству удалось справиться с революцией, жизнь начала постепенно опять входить в колею. Возобновились занятия и у нас в училище, но атмосфера, царившая в городе, слишком ещё была насыщена электричеством, чтобы занятия могли вестись нормально. Присмиревшие надзиратели старались казаться незаметными и шмыгали, как мыши, вдоль стен. Начальнический козлиный тенорок Семёна Петровича был больше не слышен в коридорах. Верхний этаж зато чувствовал себя чуть ли независимой от начальства республикой. Потолок над нашими головами весь день гудел криками и грохотал топотом. Там шли беспрерывные митинги и выносились резолюции и требования, которые в те суматошные дни все учебные заведения считали своим долгом предъявлять своему растерянному и сбитому с толку начальству. В этих всегда «ультимативных требованиях» было всё, что только могла придумать богатая мальчишеская фантазия. Нечего и говорить, что немедленное свержение самодержавия везде стояло первым пунктом. Классы и коридоры были завалены революционной литературой и прокламациями самого

зажигательного характера.

Однажды, когда мы на перемене глазели в окна на какой-то беспорядок, происходящий напротив в Коммерческом училище, с верхнего этажа на мостовую посыпались белые листки, усеявшие тротуар. Выбежав по этому случаю среди других малышей на улицу, я увидел, что в открытых окнах верхнего этажа на подоконниках целой кучей лежали семиклассники, сбрасывая на землю какие-то брошюры и прокламации. В этот момент обеденного перерыва мимо училища в одиночку и группами шли рабочие соседнего самоварного завода Баташева. «Слушай! Как тебя? Марков! – закричал мне кто-то сверху. – Дай эти листки рабочим!» Я поднял голову и среди семиклассников увидел кричавшего мне толстого Когена с крючковатым, как у попугая, огромным носом. Он был известен всему реальному как крайний революционер и руководитель всех забастовок.

Вероятно, из-за грубого тона, которым он ко мне обратился, я заупрямился и ни за что не хотел исполнить того, что он мне сказал. «Ах ты, чертёнок, – злился Коген, – ведь вот буржуйское отродье!» Оскорблённый таким обидным по тем понятиям словом, я, красный, как рак, и обозлённый до слёз, подбежал тогда к куче лежавших на тротуаре листовок и упрямо боднул их ногою, после чего бросился бежать к дверям училища. Это случилось как нельзя более вовремя, так как едва я взялся за ручку тяжёлой двери, как она открылась и мне навстречу плавно проскользнула фигура инспектора. Увидев начальство, Коген и его компания немедленно скрылись, меня же всё время не проронивший ни одного слова инспектор молча взял за руку, отвёл в шинельную и там позорно поставил носом в угол.

Революционное настроение в училище продолжалось ещё с месяц, после чего учение вошло в нормальные рамки, а виновников беспорядков потянули на цугундер. Исчезли из училища Коген, а с ним и целый ряд других реалистов старших классов, исключённых за беспорядки. Громко «хлопнув дверью», как потом стало принято говорить, исчез с нашего горизонта и ещё один старый знакомый, Ицкович, бывший в это время в третьем классе, но обнаруживший «сознательность» не по летам. Вдохновлённый нездоровой атмосферой, он не то по собственной инициативе, не то по поручению «партии» решил стать мстителем за иудейство старику Муратову. У входа в училище он ударил его по лицу. Это происшествие произвело громкий скандал в Туле, в особенности потому, что после своего подвига Ицкович скрылся и с этого дня, как говорили, «перешёл на нелегальное положение», т.е. с тринадцати лет стал профессиональным революционером.

Надо правду сказать, что революционная одурь 1905 года захватила собой большую часть тогдашней интеллигенции. Но и тогда революция встретила в обществе и даже среди учащейся молодежи отдельных людей, не побоявшихся пойти против течения и сумевших дать общему психозу резкий отпор.

У нас в реальном училище противником всех политических выступлений был семиклассник Николай Утехин. С первых дней беспорядков он открыто заявил, что революции не сочувствует и с небольшой группой единомышленников начал борьбу с беспорядками. Училищные революционеры во главе с Когеном хотя Утехина и ненавидели и желали ему всякого зла, но сделать с ним ничего не могли, так как он был первым силачом училища. Трогать его поэтому было небезопасно, и представители революции это хорошо знали. Впоследствии, окончив реальное училище, Утехин и его брат Володя, живший одно время у нашего управляющего Куликова, – оба поступили в Константиновское артиллерийское училище и стали прекрасными офицерами, хотя ни по рождению, ни по воспитанию не принадлежали к военной среде, а происходили из крестьян Тульской губернии. На военную службу они увлекли и старшего сына Куликова Олимпа, который к началу войны уже был поручиком.

Революционное движение 1905 года вышло, что называется, боком и нам с братом, хотя и с совершенно неожиданной стороны. Было после революции в уставе средних учебных заведений введено положение о так называемых родительских комитетах, которые, согласно духу этого нововведения, должны были принимать участие в педагогических советах. Это была, конечно, теория, на практике же роль комитетов свелась к борьбе с

училищной администрацией, действовавшей на педагогических советах самодержавно и по собственному усмотрению. В Тульском реальном училище большинство родителей принадлежало к серой публике, робевшей перед директором и инспектором и уж, конечно, никак не согласных им противоречить. Благодаря этому обстоятельству при выборах в комитет на собрании родителей в члены комитета согласились пойти только несколько купцов и интеллигентов. Председателем был избран единогласно мой отец, который, как инженер и предводитель дворянства, не мог им не импонировать.

Скоро оппозиция, которую повел родительский комитет, защищая учащихся от произвола училищного начальства, привела к очень обострённым отношениям его с директором. Чтобы отучить родителей мешаться не в свои дела, администрация начала нажимать на детей, ей подчинённых, и в это число в первую голову попали мы с братом и реалист старшего класса Воронцов-Вельяминов, отец которого был товарищем председателя родительского комитета. Директор, инспектор, классные надзиратели и старые учителя – все один за другим стали метать молнии на наши неповинные головы, изобретая для этого всё новые скорпионы.

Словно по волшебству, из хорошего по учению и поведению мальчика я обратился в первого шалуна и последнего ученика. С Колей, который учился плохо и поведения был неважного, было ещё хуже. Маму стали еженедельно вызывать к директору Карякину по поводу постоянных записей нас в журнал за деяния, о которых мы с братом часто не имели ни малейшего понятия. В этой области училищная администрация имела самый широкий произвол, так как контроль здесь, конечно, за ней был совершенно невозможен. Ведь нельзя же было, в самом деле, при разборке записи в штрафном журнале дать веру десятилетнему мальчику, а не старому и почтенному надзирателю или учителю. То же самое, что и с нами, происходило и с Воронцовым, и с двумя или тремя другими детьми членов комитета.

Цель всей этой кампании по избиению младенцев была ясна – выжить нас из училища и обезглавить тем родительский комитет. После такого примера, оставшись без вожаков, одни мещане и мелкие торговцы никогда не посмеют идти против воли начальства, опасаясь за судьбу своих детей. К весне 1906 года кампания эта дала блестящий результат: брат Коля и Вельяминов были оставлены в классе на второй год, той же участи должен был неминуемо подвергнуться и я, имевший некоторые затруднения по русской грамматике, если бы дела не испортил учитель русского языка Эльманович. Он был очень строгий и придирчивый преподаватель, и слабые по его предмету реалисты имели надежду на успех лишь в том случае, если брали у Эльмановича «частные уроки». К этому единственному средству прибегли и мои родители, благодаря чему я благополучно перешёл во второй класс, к явному неудовольствию начальства, поставившему мне за поведение всё же неудовлетворительный балл.

Уезжая на лето в Покровское, мать пригласила к нам репетитором реалиста выпускного класса Якова Сергеевича Стечкина, родом из разорившихся тульских дворян. Его отец, либеральный профессор, бросил семью и жил в Москве, мать же, прекрасная и энергичная женщина, после семейного раскола не упала духом, а, окончив фельдшерские курсы, заняла место фельдшерицы в земской больнице села Суходола Алексинского уезда. На своё небольшое жалованье она умудрилась не только содержать старуху мать, себя и семью, но и подняла на ноги двух сыновей, из которых один был наш Яша, а другой – Борис − кончал Орловский кадетский корпус.

Яков Сергеевич, или Яша, как я скоро стал его называть, несмотря на свою молодость, был самым чистым и хорошим человеком, которого я когда-либо встречал в жизни. Суровое детство и необходимость с ранних лет зарабатывать хлеб развили у него сильный и независимый характер. Несмотря на свои 19 лет, Яков Сергеевич имел непоколебимые принципы, от которых не отступал никогда и ни при каких обстоятельствах. Был он по наследству и в духе тогдашнего времени преисполнен самыми крайними революционными убеждениями, состоял в тульском комитете социалистов-революционеров и свои политические взгляды проводил везде и всюду, совершенно не считаясь ни с людьми,

ни с обстановкой, с прямолинейностью молодости.

Именно из таких людей состояла идейная часть руководителей первых времен революции в России, пока это дело не попало в жидовские руки и не стало коммерческим предприятием еврейских банков. Такие люди, как мой Яша, не только боролись, но и бестрепетно умирали за свои убеждения и, конечно, были настоящими героями, хотя и гибли по наивности чёрт знает за что.

Нам с братом Яков Сергеевич своих взглядов, надо ему отдать справедливость, не прививал, считая вполне основательно, что не дело детей заниматься политикой. Себя в свои 19 лет он считал опытным и много пережившим человеком, давно созревшим и готовым для «службы народу». Живя со мной бок о бок днём и ночью, он скоро стал для меня не только учителем, но и старшим другом, которого я любил и уважал как никого больше в жизни. От него, несмотря на всю его «красноту», я заимствовал только хорошее и честное. Был он, само собой, поборником справедливости и выступал на защиту её бесстрашно везде и повсюду, совершенно не заботясь о том, чем лично для него это выступление может кончиться. С отцом моим, человеком характера самовластного и не терпящего в своём окружении противоречий, он скоро стал в самые острые отношения и как с человеком, очень мало думающем о «мировой справедливости», и как с «реакционером и черносотенцем». Только постоянное и энергичное вмешательство матери, дорожившей Яшей как прекрасным репетитором, дало ему возможность прожить у нас три года, без чего отец не только бы выгнал его через неделю, но и наверняка поколотил бы за дерзости.

Яша был охотник, что ещё больше меня с ним сблизило. Всё лето мы провели с ним в лугах и степи, причём я исполнял очень добросовестно роль охотничьей собаки, выслеживая дичь и доставая её из воды. Для этого я бестрепетно лез в воду в любом месте, чем приводил в изумление деревенских приятелей, ни за что не соглашавшихся даже купаться «в незнакомом месте».

Учебный 1906-07 год начался для меня очень благоприятно, так как я не только попал в один класс с оставшимся на второй год братом, но и перешёл в другое отделение, расставшись со своими старыми неприятелями, вроде Морозова и Петухова. Новые товарищи были много симпатичнее и принадлежали не к такой серой среде, как прежние. Второгодники второго класса, его лидеры, оказались настолько великовозрастными парнями, что солидность не позволяла им приставать к мелкоте. Среди них выделялись двое – Морозов и Басов. Первый был румяный и здоровенный купеческий сын, оказавшийся наидобрейшим существом на свете. Он стал скоро моим большим приятелем и часто у нас бывал. Второй − сын политического ссыльного, сам вкусивший с детских лет политической отравы. Он постоянно носился со всякой нелегальщиной и вёл таинственные знакомства в городе и в старших классах, не находя общих интересов с малышами-одноклассниками. Скоро у нас с братом образовался свой кружок ребят, которые ходили к нам в гости, что очень поощрялось мамой, с интересом и заботой следившей за нашими с братом жизнью и интересами.

В этом году я впервые стал увлекаться фотографией и на этой почве сошёлся с одним из одноклассников – Фёдоровым, сыном местного прокурора. Однажды случайно я зашёл к нему в гости с двумя товарищами, возвращаясь из училища. Нас снисходительно любезно встретила его мамаша, не слишком одобрявшая школьные знакомства сына, так как, несомненно, была осведомлена о социальном составе учащихся в реальном училище, находя, что дети городских мещан «не пара» для её сына.

Золочёная мебель казённой прокурорской квартиры, произвела ошеломляющее впечатление на моих двух коллег, но инстинктивно не понравилась мне, с детства привыкшему к настоящей барской обстановке. Наш маленький хозяин, заметив растерянность моих спутников и поняв её причину, вдруг стал важным и, развалившись на диване, стал нас занимать пустопорожним разговором. Я по молодости лет тогда не обратил на это внимания, но мама, всегда интересовавшаяся, куда и к кому из товарищей я хожу, подробно расспросив меня о посещении Фёдоровых, вдруг заявила, чтобы я туда больше не

ходил, пока молодой Фёдоров не отдаст мне визита. Это желание матери показалось мне тогда простой придиркой, но я о нём всё же сообщил Фёдорову, когда он меня опять позвал к себе.

Вероятно, мой приятель имел по этому поводу соответствующий разговор с родителями, и обо мне были собраны соответствующие справки, потому что однажды раздался звонок, и из передней появилась закутанная в башлык тщедушная фигурка Фёдорова в сопровождении важного усатого вахтёра, исполнявшего обязанности прокурорского курьера. Пока гость мой раздевался с помощью усача, горничная Серафима, успевшая слетать к матери (она никогда не ходила просто, а летала) крикнула курьеру, что «барыня требуют вас к себе». Когда гости, пройдя целую анфиладу огромных комнат, вошли в салон матери, оба они успели принять совсем скромный вид, а видавший виды курьер настолько стушевался, что у него даже обвисли усы.

Фёдоров оставался у нас до самого вечера, а его страж кротко ждал на кухне в обществе очень ядовитой Симы, её помощницы и кухарки. Брат Коля за это время, несмотря на мою защиту, дважды успел побить прокурорского сына. Когда в следующий раз я попал в дом Фёдоровых, тон приятеля был уже совсем другой, родители его любезно усадили меня с ними за чайный стол и весь вечер расспрашивали меня об отце и матери и нашей жизни. Приятель мой при этом несколько раз, вероятно, желая мне доставить удовольствие, принимался рассказывать родителям о высоте наших комнат, об их убранстве и количестве. Инстинкт часто заменяет детям опыт и понимание вещей взрослых людей, почему мне вся эта комедия очень не понравилась и наша дружба с маленьким Фёдоровым после этого завяла, не успев расцвести. Больше я у него никогда не бывал, мать это молча одобрила.

В то же время у меня появились связи в среде хотя и очень демократической, но зато на редкость симпатичной. На почве увлечения голубями, спорта, во все времена процветавшего в славном городе Туле, я сошёлся с одним из своих одноклассников Бажановым, маленьким белобрысым, но очень энергичным и оборотистым младенцем. Эта дружба дала мне полное нравственное удовлетворение и неисчерпаемый источник удовольствий. Бажанов и его среда в отличие от болезненного и тщедушного Фёдорова, содержавшегося родителями как тепличное растение, были народ крепкий, отчаянный и вели жизнь, преисполненную приключений и риска, что мне, выросшему на лоне природы, было как нельзя более «созвучно».

По началу знакомства Бажанов вёл со мной приятельство, так сказать, на нейтральной почве, ни я к нему, ни он ко мне не ходили, и встречи наши происходили в городском саду, на птичьем базаре или на пыльном пустыре, где кончалась наша Миллионная и начинались загородные слободки. Впервые попал я к нему в дом случайно и против воли хозяина. Случилось это так.

Однажды мы играли в лапту, как вдруг всем сразу, как это бывает в дружных мальчишеских компаниях, захотелось пить. Оказалось, что ближе всех жил Бажанов, к которому вся стайка и направилась на водопой. Смущённый нашим неожиданным визитом молодой хозяин покраснел, как рак, и не знал, куда ему девать руки и ноги. Причины этого крылись в том, что, как это ни скрывал сын, мать его была сапожницей, шившей сапоги всей слободке и тем кормившей себя и сына. Старуха приняла нас очень ласково и совершенно не обратила внимания на неуместное смущение сына. Уже достаточно просвещённый Яшей по вопросу об уважении, которое заслуживает труд вообще, а пролетарский в частности, я почувствовал с этой минуты, что белобрысый мой друг стал мне ещё милей и симпатичней.

Быть может потому, что ранние впечатления детства особенно врезываются в память человека, мне кажется теперь, что никогда я не встречал более приятного и симпатичного для меня дома, чем эта уютная, покосившаяся на бок и вся заросшая по деревянной крыше зелёным мхом хибарка вдовы сапожницы Бажановой. Вокруг этой хатки, стоявшей на самой окраине Тулы и соприкасавшейся с огородами, которыми всегда бывает окружён всякий уважающий себя провинциальный город, мы жили с маленьким Бажановым интересной и полнокровной жизнью. Вооружённые кинжалами и револьверами

«монтекристо», мы пережили с ним все приключения Шерлока Холмса и Ната Пинкертона, владевшими после угара 1905 года умами учащейся мелкоты. Зайцами, т.е. пассажирами без билетов, мы путешествовали с ним по железной дороге до первой остановки за Тулой – станции Козлова Засека, где было имение Льва Толстого – Ясная Поляна. Там весь день, бродя по густому лесу, мы переживали то, что никогда и не снилось даже взрослым людям, вооружённым холодным и критическим умом и лишённым фантазии и воображенья. Эти поездки привлекали лично меня именно своей незаконностью, иллюзией какой-то борьбы с контролёрами и кондукторами, которые нас ловили или, вернее, делали вид, что ловят. В Засеку я когда угодно мог поехать с матерью и всем семейством, но, конечно, с негодованием отказался бы от такого банального путешествия в обществе «баб» на мягких подушках первого класса. Разве это могло идти в сравнение с прелестью дрожи на холодной вагонной площадке или в товарном вагоне в постоянно жутком и захватывающем ожидании контроля?! Конечно, в действительности никакой опасности мы со стороны кондукторской бригады не подвергались, в крайнем случае, нас могли бы высадить на первой станции, куда мы и без того ехали, но воображение дополняло действительность.

Делали мы и лесные экспедиции в огромный загородный Петровский парк, где в 1905 году скрывалось много нелегальных и постоянно проводили лето босяки и всякие уголовные элементы. Но любимым и самым лучшим удовольствием было для нашей небольшой, но дружной компании «исследование» древнего тульского кремля.

Старые крепостные стены Тулы в своё время видели татар и поляков, в них во дни лихолетья отсиживались самозванцы и казаки. В башнях и стенах кремля было много тайников и подземных ходов, в которых, как мы были уверены, много не раскрытых тайн в лице скрытых в застенках скелетов, старого оружия, привидений и прочих жутких, но захватывающих воображение вещей. Пробраться легально на стены кремля было нам нельзя. Все железные двери, имевшиеся в башнях и ведущие на стены, были наглухо закрыты и на них висели огромные ржавые замки. В эти, недоступные для взрослых людей места, были тайные мышиные тропы, по которым предприимчивая мелкота могла проникать повсюду. Нам было известно, что через разломанную стену одной башни в кремлёвском саду со стороны реки Упы можно было незаметно пробраться на стену, по которой мы обходили затем уже все закоулки древней крепости. В те времена в тульском кремле было много интересного не только для мальчишеского любопытства, но и для серьёзного исследования археолога. Больше всего привлекал нас к себе подземный ход, начинавшийся в стене одной из башен и, по преданию, под дном реки выходивший за город. Вход в него по распоряжению властей был заложен каменной кладкой, но в него, тем не менее, можно было проникнуть маленькому человечку через небольшое каменное окно изнутри башни. К счастью, мы никогда не решались ходить далеко по этому ходу; впрочем отнюдь не из-за недостатка мужества, а по той причине, что мои спутники, всё народ малоимущий, опасались выпачкать свою одежду, так как по ходу этому нужно было ползти на четвереньках по жидкой грязи, да и с потолка в нём постоянно капало.

Лично меня древние казематы, уютные каменные ниши, башни, зубцы, узкие внутристенные лестницы влекли к себе всегда, как магнит, и каменную старину древней крепостной и замковой постройки я продолжаю любить до сих пор, оставаясь верным своей детской страсти. Мне всегда казалось, что нет ничего привлекательнее, чем жить в древнем замке или доме со старинным расположением комнат, с ощущением атмосферы древности, в которой, несомненно, продолжают жить флюиды давно прошедших времён и событий.

Нечего говорить, что все наши мальчишеские похождения этого времени были далеко небезопасны для нашего здоровья и даже жизни, и часто только счастливый случай и Божья воля спасали то одного, то другого из нас от, казалось бы, неминуемой перспективы сорваться с какого-нибудь обледенелого карниза и разбиться о камни. Отражались все эти приключения и на наших успехах в школе, так как помимо небрежного приготовления уроков мы частенько прогуливали классы, о чём, конечно, родители наши не подозревали. Впрочем, близкого надзора за своими отпрысками родители моих приятелей вести и не

могли, так как с утра и до ночи были заняты борьбой за кусок хлеба. Что же касается меня с братом, то в тот год у нас в семье происходили такие события, из-за которых отца никогда не было дома, а мать была в такой душевной депрессии, что относилась ко всему, в том числе и к нашему времяпрепровождению, почти безучастно.

Дело заключалось в том, что осенью тысяча девятьсот шестого года мать наша узнала, что гувернантка Мария Васильевна, которую мама считала не служащей, а своим другом, уже в течение нескольких лет была любовницей отца. Как я узнал впоследствии, мать и раньше предупреждали об этом разные лица, но она с негодованием всякий раз гнала от себя таких «доброжелателей», считая их слова за грязную сплетню и желание повредить Марии Васильевне, которую в нашей семье давно привыкли считать членом её. Так было два года перед этим с гувернанткой-француженкой, жившей у нас в Покровском одно лето, которая из вражды к Марии Васильевне попробовала однажды «открыть глаза» матери. Рассерженная такой «подлостью» мама на другой же день отказала француженке от места, не изменив ни на йоту своего доверия к Марии Васильевне.

Как убедилась мать в измене мужа, которого она горячо любила, не знаю, но, по-видимому, доказательства измены были таковы, что не могли вызвать у мамы ни малейшего сомнения. Мама, к нашему удивлению и огорчению, заперлась у себя в кабинете и превратилась из весёлой и общительной в печальную, постоянно плачущую женщину, никого не желающую видеть. Началось всё с того, что однажды, придя утром в столовую пить чай, я стал неожиданным для себя свидетелем бурной сцены между отцом, мамой и Марией Васильевной. Видимо, душевное состояние матери было таково, что она, всегда воспитанная и сдержанная, не позволявшая сказать при детях ничего лишнего, на этот раз не обратила на моё присутствие никакого внимания, высказав мужу и гувернантке всё, что у неё было на душе. В ужасе, совершенно раздавленный тем, что услышал, я присутствовал при первой в моей жизни ссоре между родителями − ссоре, положившей начало тяжёлой атмосфере в семье на долгие годы, вплоть до смерти мамы.

Семейная драма между родителями воспринимается детскими душами гораздо глубже и тяжелее, чем думают об этом взрослые люди. Я никогда не забуду той тяжести, которая каменной плитой лежала у меня на сердце в последние годы жизни матери и которую я впервые почувствовал в этот памятный день…

Совершенно растерянный и сбитый с толку, я поднялся с этой тяжестью на душе в детскую, где жил вместе с братом, и стал собирать книги, не упомянув ни одним словом о виденном и слышанном в столовой. Поднявшаяся вслед за мной горничная Серафима, выросшая у нас в доме, поспешила, захлёбываясь от радостного волнения, объяснить нам всё то, что мне, ребёнку, было ещё непонятным. Разрумянившаяся от необычных событий, блестя чёрными глазами, она всячески поносила Марью Васильевну, которую почему-то терпеть не могла вся прислуга. По понятиям, оставшимся ещё от крепостных времён, дворня считала, что нормальными элементами в господском доме являются господа и их родовые слуги, что же касается всяких учителей и гувернёров, то они, будучи не господами и не мужиками, представляют собой чуждый и потому нежелательный придаток, что прислуга при всяком удобном случае и старается им показать. «Её, стерву, давно надо было за хвост и на ветер, – с довольным видом повествовала нам с братом Серафима, – да барыня всё слушать не хотела, доверялась ей, подлюге…»

Печальный и тяжёлый был для всех этот день. Мать и отец сидели у себя в комнатах и к столу не выходили. Мы, дети, обедали одни в обществе заплаканной Марии Васильевны, старавшейся вопреки всему показать нам, что ничего не случилось. Однако из соблюдения ею *конвенансов* в этот день ничего не вышло. Воспользовавшись тем, что Мария Васильевна вышла куда-то на минуту из-за стола, брат Коля, любимец матери, считавший себя обязанным стать на её защиту, первым подбежал к прибору гувернантки и плюнул в её тарелку. Горничная Сима, в этот момент вошедшая в столовую с блюдом, одобрительно на это хихикнула. Едва Мария Васильевна вернулась в столовую и уселась на свое место, как маленький трёхлетний Женя громким голосом на всю столовую объявил:

«Мама белая, а Коля плюнул к тебе в тарелку». «Ничего, милый… я всё равно есть не хочу…» – залилась румянцем Мария Васильевна, закусила губу и опустила глаза.

На другой день она исчезла из нашего дома, но атмосфера в нём от этого не стала легче. Ни отца, ни матери мы почти не видали. Через несколько дней вечером, когда я сидел за столом в классной комнате и готовил уроки, а братишка Женя возился рядом в детской, я услышал шаги матери, вошедшей в детскую, и тоненький ребячий голосок, который её спрашивал: «Куда ты уезжаешь, мама?» − «Никуда, детка…» − «А почему же ты меня крестишь?» − «Так… Разве я не могу тебя перекрестить?»

Почему-то от этого разговора у меня тоскливо сжалось сердце, и впервые в жизни у меня возникло предчувствие надвигающегося несчастья − тяжёлая и редкая привилегия почти ясновидения, которой я обладал во время своей юности и молодости. Мать, между тем, выйдя ко мне из детской, прижала к себе и крепко поцеловала. «Куда ты идёшь, мама?» – спросил я её невольно дрогнувшим голосом. «В город, милый… по делам».

Прошло около часу времени, как мать ушла, мы напились чаю, как привыкли за последнее время, в обществе Серафимы, и сидели у неё в комнате. Отец с сестрой Соней ходил по полуосвещённому залу, откуда мы слышали его мерные шаги и детский голос сестры. Вдруг из другого конца дома, где за рядом больших тёмных комнат была выходная лестница и передняя, что-то оглушительно грохнуло. Вслед за этим раздался испуганный визг сестрёнки и встревоженный голос отца, который кричал: «Серафима… сюда скорее – лампа лопнула».

Тогда у нас в доме только что были куплены спиртовые керосинокалильные лампы с колпачками накаливания, и с ними часто случались всякого рода происшествия, поэтому отец, услышав выстрел, прежде всего подумал, что лопнула на выходной лестнице такая лампа. Несмотря на слова отца, услышав грохот, я сразу понял, что он имеет какое-то отношение к маме и замер от ужаса на месте. Вдали из-за анфилады комнат доносились заглушённые расстоянием голоса отца и Сони, прерываемые деревенским криком-причитанием Серафимы. Из столовой ко мне навстречу вылетела с меловым лицом Соня и, крикнув «мама застрелилась», забилась с плачем головой в подушки дивана.

Как потом оказалось, мать, перецеловав нас, отправилась на конке в город, где в оружейном магазине купила револьвер, и долго потом бродила пешком по городу. Вернувшись наконец домой, она бывшим с ней ключом открыла входную дверь, прошла холодный коридор и войдя на площадку широкой мраморной лестницы, выстрелила себе в грудь. Звук выстрела, усиленный акустикой лестничных пролётов и примыкающих к ней огромных комнат, был так силён, что походил действительно на взрыв. Револьверная пуля, пройдя выше сердца, застряла в мускулах спины. Подбежавшей к ней Серафиме мама, прежде чем потерять сознанье, успела сказать: «Сима, я застрелилась».

Отец и горничная перенесли мать на кровать, случайно стоявшую в одной из комнат нижнего этажа, в это время пустовавших, где мы с мамой жили в первый наш приезд в Тулу. Вызванный доктор, осмотрев мать, заявил, что опасности большой нет и больная, если ничего особенного не случится, должна поправиться. Вызвали по телефону сиделок и, чтобы не беспокоить раненую, ей устроили здесь же временную спальню.

Вечером, укладывая нас спать и передавая подробности происшествия, Серафима попеременно то плача, то смеясь, что её барыня осталась жива, с обычной своей экспансивностью показала нам револьвер, из которого стрелялась мать, а затем, разохотясь, предложила принести нам окровавленное платье матери. Я в ужасе от этого отказался, а Коля пришёл в такое возмущение, что запустил в Серафиму сапогом, к её полному недоумению и негодованию.

Через два дня из своей озерненской усадьбы приехала вызванная телеграммой отца бабушка Софья Карловна Рышкова, которая сразу взяла в свои опытные и твёрдые руки всё управление нашей расстроенной жизнью. Под её нежной и родственной опекой мы постепенно оправились от всего пережитого и пришли в себя.

Здоровый организм матери, никогда в жизни не болевшей, скоро справился с

ранением, и через две недели она уже встала на ноги, раскаиваясь в своём поступке. Однажды вечером, когда мы все четверо окружили её, мама, прижав к себе и целуя детские головки, со слезами на глазах прошептала как бы про себя: «Боже мой, какая я нехорошая! Как я могла решиться уйти от вас?»

Отец, притихший и виноватый наружно, при бабушке как будто помирился с женой, но чувствовалось, что крепкая семейная связь между ними нарушена и связать её уже нельзя. Он стал часто уезжать из Тулы к Марии Васильевне, которую поселил в Курске у её родных. С этого времени и до самой смерти мамы мы его видели очень мало и даже в те немногие дни, когда он жил с нами, чувствовалось, что в доме он не член семьи, а как будто временный постоялец. Даже спал он во время своих наездов в Тулу в большой нежилой комнате наверху, в которой, кроме кровати, стола и двух стульев, ничего не было.

Мать, с трудом пережившая свою сердечную драму, в эти годы очень сблизилась с нами, посвящая всё своё время нашему воспитанию и образованию. Одновременно, с тем чтобы забыться, она приняла энергичное участие в общественной жизни города, став скоро одной из виднейших дам-патронесс. На этой почве у неё возникло приятельство с мадам Жасмин, начальницей гимназии того же имени, в которую с этого года поступила сестра Соня. Они вместе хлопотали и устраивали вечера, балы и всяческие забавы для учащейся молодёжи Тулы. Ещё молодая и красивая, мать в это время была по своему положению и состоянию весьма видным лицом, хотя Тула, в которой жило много дворянских семей, отнюдь не отличалась бедностью общества.

Первый год после разрыва с мужем мама, печальная и постаревшая, почти не выходила из своего кабинета, отделённого от наших классных и детских комнат рядом холодных и пустых зал, в которые мы, дети, по вечерам боялись ходить. Тяжёлая и печальная атмосфера, царствовавшая в это время в доме, тяготила нас с братом. Мы, как и все дети, нуждались в развлечении и, пользуясь апатией мамы, искали всякого удобного случая, чтобы удрать из нашего огромного и унылого дома. К этому-то периоду нашей жизни в Туле и относятся мои приключения и похождения с Баженовым и его компанией и вольная жизнь среди слободских ребят.

Продолжалось это недолго, к весне 1907 года мама справилась со своей душевной драмой и стала оживать, найдя утешение в нас, детях. Она оценила и поняла натуру Якова Сергеевича, который был бесценным ей помощником и руководителем меня и брата, несмотря на свою молодость. Все мы зажили дружной и большой семьей, в которую, кроме Серафимы и Яши, на равных правах входила также и бонна-немка, взятая в этом году к подрастающему Жене − тихое и доброе существо.

С течением времени Яков Сергеевич всё больше приобретал во мне своим честным и хорошим отношением к жизни и людям фанатического поклонника и последователя. Медленно, но верно он внедрял в меня, типичного до этого барчука по рождению и вкусам, принципы истинного демократизма и справедливости. От него я узнал, что все люди равны, что богатство и высокое происхождение не всегда достаются достойным, что в жизни много неправды, основанной не на праве, а на силе и захвате. Всё это были, конечно, истины простые и всем известные, но я-то их слышал впервые. Теперь, через много лет, я понял, что всем тем, что есть у меня в натуре и характере хорошего, я исключительно обязан этому человеку. Незабвенный мой друг и учитель Яша был один из тех немногих прекрасных людей, которые в то время бескорыстно и бесстрашно боролись за идеалы правды и справедливости, ожидая осуществления их в грядущей революции и не подозревая, что в действительности за ней кроется только кровавая грязь и безмерная человеческая подлость. До революции 1917 года, к счастью, Яков Сергеевич не дожил, и ему не пришлось жестоко разочароваться в своих идеалах. Молодым врачом он был убит во время войны где-то на фронте.

Незаметными для нас стараниями мамы у нас в доме скоро образовался кружок молодёжи наших с братом одноклассников и подруг Сони. Мама была душой компании, принимая деятельное участие в устройстве наших пикников, детских спектаклей и просто

весёлых обедов и ужинов. Целью этого было отвлечь нас от нездоровых для юношества интересов, которыми в то время жила учащаяся молодёжь, в том числе, конечно, и от политики. Этой последней, впрочем, никто из кружка не интересовался, кроме нашего одноклассника Басова, также ходившего к нам в дом. Он один из всего класса водил знакомства со старшими реалистами и принимал участие в тайном журнале, издававшемся у нас в реальном училище в 1905-07 годах.

Любопытный это был журнальчик, в великой тайне печатавшийся на гектографе, очень характерный для того времени. В заглавии значилось, что журнал «беспартийный и ученический», но содержание его совершенно не соответствовало этому скромному определению. Он являлся более революционным, чем любая нелегальщина, печатавшаяся террористами. Все статьи в нём и даже стихи согласно духу времени воспевали на все лады рабочий класс вообще и рабочего, как такового, в частности. Неизвестно за какие заслуги этот анонимный рабочий был воздвигнут на высокий пьедестал, и ему полагалось тогда поклоняться всякому, кто хотел, чтобы его считали за передового человека. Как бы то ни было, но в статьях «ученического журнала» в подробностях описывалось в самом восторженном духе, как этот рабочий с большой буквы работал, пил, ел и даже спал. Яша Стечкин являлся одним из инициаторов этого замечательного издания, но никогда «из конспирации» в этом не признавался.

Журнал, носивший имя «Пробуждение», весьма преследовался начальством, против которого в нём также имелись обличительные статьи, но безуспешно, так как произведения были без подписей, а молодёжь того времени была «предана идее» и товарищей не выдавала.

Басову, конечно, из-за политики учиться было некогда, и своё образование он окончил не то в третьем, не то в четвёртом классе, после чего по примеру отца «пострадал за убеждения», т.е. был арестован. Впоследствии в газетах я встречал имя писателя-революционера Басова-Верхоянца и думаю по некоторым данным, что это и есть мой старый товарищ по тульскому реальному училищу.

После увлечения фотографией, к чему мать предоставила мне все условия, отдав в моё полное распоряжение целую кучу всяческих принадлежностей, ей лично принадлежавших, я заинтересовался пиротехникой. В результате этого нового увлечения я полгода ходил с опалёнными бровями и чёрными от кислот и разных составов пальцами. Коля в это время в свою очередь увлекался голубями-турманами, и мать безотказно покупала ему дорогих голубей, которых он выменивал на плохих, или их раскрадывали приятели из местных слобожан-чулковцев.

Из Сониных подруг чаще других бывала у нас хорошенькая евреечка Паня Талант, подруга по гимназии. К ней по инструкциям мамы и Якова Сергеевича мы должны были относиться с особенной предупредительностью и деликатностью, так как она была не только дочь бедного часовщика, но и принадлежала к «гонимому племени». В ответ на это Паня никогда не упускала случая высказать нам свои взгляды на «бар» и «буржуев, пьющих народную кровь». Это также тогда было принято и законно, и вполне в духе гонимого племени.

Почти постоянное отсутствие отца в Туле не могло не отражаться на делах завода, почему мать, несмотря на отсутствие всякой подготовки к такому сложному делу, взяла на себя, помимо всего другого, и надзор в этой области, проводя в отцовском кабинете долгие часы с управляющим Куликовым. По её инициативе на заводе был открыт новый цех по изготовлению художественных решёток, памятников и каминов. Мама, будучи сама талантливой рисовальщицей и писавшая масляными красками, сумела поставить это на большую высоту.

В отсутствие мамы, которая каждый вечер занималась в конторе завода, мы, остальные обитатели большого дома, составляли добрую и дружную компанию вечером, засиживаясь до полуночи. Компания была тесная без различия служебных и социальных перегородок, как это бывало в старину в помещичьих семьях. Яша играл доминирующую

роль, затем шла наша кормилица Дуняша, жившая в Туле у нас на ролях «чистой кухарки», Серафима и её два помощника-подростка, Оля и Давыдка. Последний был круглым сиротой, однажды пришедшим к нам в усадьбу со своим братом-нищим. Мать приютила обоих сирот, старшего Егорку отправила в школу садовников, а младшего на зиму взяла с нами в Тулу помогать по дому Серафиме. Оля была дочерью одного из дворовых, жившего у нас уже в третьем поколении.

Собиралась компания обыкновенно на большой и чистой кухне у Дуняши. Кроме, так сказать, постоянного состава, иногда к нам присоединялись Женина бонна-немка и бывший повар Андрей, отец Дуняшиного незаконного сына Яшки, родившегося в один день и час с братом Женей и бывший его другом всю жизнь. Андрей в это время заведовал на заводе фабричной лавкой, обожал мою мать и был, по его собственному выражению, «спокон веков ейный верный раб».

По старым усадебным традициям, вся прислуга и дворня была на дружеской ноге с господскими детьми, и мы с братом были всегда в курсе жизни всех их, никогда не выдавая родителям ничьих тайн и проступков. Заседания клуба начинались с того, что Ольку или Давыдку посылали за горячей колбасой разных сортов, до которой все были охотники. Затем шло угощение и чай, и вечер коротался в разговорах и рассказах кого-либо из старших об историях, случившихся в Туле и деревне, касающихся по большей части происшествий в лесу и поле, о привидениях.

На рождество 1907 года мы с братом Колей и Яковом Сергеевичем поехали в Суходол к его родным, где провели несколько дней в милой и интеллигентной семье его матери. Они жили в чистеньком бревенчатом домике, что особенно было уютно изнутри, так как стены не были оштукатурены. В том же доме находился и приёмный покой. Кроме матери Яши, нестарой ещё женщины типа «старой курсистки», в самом хорошем смысле этого слова, семья состояла из бабушки, уже впавшей в детство, на редкость красивой старухи, и брата Яши – Бориса, в этом году окончившего корпус и поступившего в университет. Несмотря на корпусное воспитание, он имел самые левые взгляды, хотя был очень милый и славный парень. За границей в 1938 году мне пришлось прочесть в газетах, что Борис Сергеевич Стечкин, уже будучи профессором какого-то университета, был привлечён в качестве обвиняемого Государственным политическим управлением по какому-то «вредительскому» процессу. Это было естественно: братья Стечкины были не такие люди, чтобы ужиться с неправдой, будь она хотя бы и «рабоче-крестьянская».

В то же самое Рождество 1907 года отец подарил мне, наконец, предмет давнишних моих вожделений – охотничье ружьё со всеми к нему принадлежностями. С этого дня жизнь для меня в городе стала пыткой в ожидании переезда в деревню и охоты. Пока что приходилось удовлетворяться суррогатом охоты во дворе завода, на чердаке и даже в классной комнате. У нас с братом имелась малопульная винтовочка «монтекристо», из которой мы летом стреляли крыс и воробьёв, а зимой голубей, в изобилии водившихся на обширном чердаке над домом и под стеклянными крышами заводских мастерских. В этом последнем случае сильно страдали не голуби, а стеклянные крыши, откуда после каждого выстрела летели битые стекла. Разумеется, все эти преступления совершались только по праздникам, когда в мастерских никого не было и они стояли тихие и безлюдные.

Всем этим мальчишеским занятиям и увлечениям мать не мешала, так как всё это свойственно было нашему возрасту, и потому она считала это нормальным, отвлекающим нас от нездоровых течений, развивавшихся среди учащейся молодёжи после революционных событий 1905 года. Одним из них являлось стихийное увлечение детективной литературой, которое тогда захватило на два года все классы общества. За границей это нелепое явление наблюдается и теперь. Маленькие книжечки с лубочно выполненными на обложке рисунками в три краски, описывавшие невероятные приключения сыщиков Шерлока Холмса, Ната Пинкертона, Ника Картера и Путилова, выходили ежедневно, и их в эти годы можно было найти буквально везде, начиная от великокняжеских дворцов до последней хибарки. Педагогические круги, воспитатели и родители, несмотря на всю их борьбу против

подобной литературы, ничего поделать не могли. В учащейся среде, в особенности среди мелкоты, приключениями всех этих «пинкертонов» прямо бредили, и каждый малыш вытягивался в струну, чтобы раздобыть себе некоторое подобие револьвера и карманный фонарик, без которых игра в сыщиков считалась немыслимой. У нас с братом на зависть товарищам были настоящие маленькие револьверы, стрелявшие дробинкой, а не имитация из жести или дерева. В дождливые вечера, как это полагается всем знаменитым сыщикам, вооружённые револьверами и фонарями, мы бродили где-нибудь по задворкам, переживая тысячи жутких приключений, о которых сообщалось в последнем выпуске этой литературы.

Трудно сказать, откуда и почему определённые увлечения вдруг захватывают стихийно мальчиков целой страны, словно эпидемия, но несомненно, что эти эпидемии через известный срок исчезают так же необъяснимо, не оставив никаких следов.

Помню, когда мне было лет 10-12, все мальчишки до самозабвенья увлекались оловянными солдатиками, которых в то время фабрики не успевали выделывать. В Туле в дни получения магазинами с фабрики этих солдатиков стояли детские очереди и через час-другой все они уже раскупались. Владельцы солдатиков в этот период считали их не десятками и коробками, а целыми сотнями, и даже детские издательства, отвечая на требования читателей, выпускали специальные книги и рассказы, в которых фигурировали оловянные солдатики. Через два или три года это увлечение без видимой причины стало замирать и, наконец, совершенно исчезло среди малышей. То же самое случилось и с литературой о «пинкертонах». Во время разгара этой эпидемии ничто не могло ей противостоять, ни наказания, ни увещевания, ни строжайшие постановления педагогических советов. Увлечение это схлынуло, как и другие, само собой и неизвестно почему, как и пришло.

Зимой 1907-08 года новое увлечение охватило Россию, но на этот раз не только малышей, но и взрослых. Этим увлечением была французская борьба и борцы. В Туле, в городе, изобиловавшем всякого рода фабриками и заводами, во главе с казёнными оружейными и патронными заводами, на которых работали десятки тысяч человек, всякие спортивные состязания, требовавшие силы и выносливости, были в большом почёте ещё с петровских времён.

Ежегодно по исторической традиции на масленице на льду реки Упы происходили знаменитые кулачные бои между оружейниками и мещанами пригорода Чулкова. Среди кузнецов, литейщиков и в особенности молотобойцев воспитывались целые поколения знаменитых силачей и кулачников, имена которых с гордостью передавались из поколения в поколение. Немудрено поэтому, когда впервые на цирковых аренах города появились борцы и начались чемпионаты русско-швейцарской и французской борьбы, спортивная натура Тулы ринулась на эти зрелища.

В эти годы обычные цирковые номера проходили при пустом зале, вплоть до конца программы, когда часам к одиннадцати вечера начиналась борьба. К этому времени цирк уже трещал от наплыва публики. Увлечение борьбой охватывало отнюдь не один рабочий люд и учащихся, но людей всех классов, возрастов и даже пола. К моменту «парада» борцов не только раёк чернел густой толпой, но сплошь были заняты и все ложи, уже не говоря о первом ряде, занятом высокопоставленными спортсменами.

Знаменитая своими силачами и кулачниками старая Тула не замедлила выделить из своей среды туземные таланты и в новой области. Первым туземцем, вступившим на цирковой ковёр, был ставший впоследствии мировой знаменитостью Иван Поддубный, кузнец-молотобоец оружейного завода. Он быстро пошёл в гору, разбогател и вскоре завёл в родной Туле собственный цирк, на арене которого впервые получили своё боевое крещение многие видные впоследствии борцы из тульских уроженцев.

Как мы с братом, так и вся семья управляющего Куликова, стали постоянными посетителями этих чемпионатов. Мы завели себе целую коллекцию фотографий борцов, и по моей просьбе мама даже нам покупала какую-то специальную борцовскую газету, где давались сведения о всех состязаниях французской борьбы в России. Братья Куликовы и

живший у них Володя Утехин сами занимались тяжёлой атлетикой и скоро в этой области достигли больших успехов, «развив» себе, как тогда говорили, целые груды мускулов. Начальство высших и средних учебных заведений в это время почему-то очень неодобрительно относилось к увлечению молодёжи атлетикой и борьбой, причисляя её, видимо, тоже к области «пинкертоновщины». Здоровые понятия о необходимости физического развития наравне с умственным тогда ещё не проникали в педагогическую среду, которая придерживалась нелепого понятия старой интеллигенции, согласно которому «культурный человек» должен был обращать всё свое внимание исключительно на развитие своего интеллекта, совершенно игнорируя физическую сторону существования.

Учитывая интерес публики к борьбе, цирковая администрация, дабы заинтересовать ещё больше местные спортивные силы, установила два раза в неделю состязания профессиональных борцов с любителями, причём победитель получал денежную награду. В эти дни цирк являл собой поистине любопытное зрелище. Знаменитые тульские силачи из крючников и молотобойцев неуклюже и грузно слезали с райка под оглушительный рёв приветственных криков галёрки и с большим или меньшим успехом показывали свои способности.

Однажды мне пришлось присутствовать при зарождении новой звезды борцовского мира. Случилось это так. На обычный вызов какого-то второстепенного борца к любителям на приз в 25 целковых с галереи под гул одобрения друзей и приятелей спустился могучий детина огромного роста в синей грязной рубашке и высоких сапогах – обычной одежде тульского молотобойца. Среди фабричных кругов он, по-видимому, был весьма популярным человеком, так как, рассмотрев его на арене при свете газовых фонарей, цирк заревел сотнями голосов: «Аксёнов! Аксёнов! Браво, Аксёнов!»

На неловко, чисто по-медвежьи, стоявшего детину и его противника, казавшегося перед Аксёновым пигмеем, несмотря на свою профессиональную массивность, судьи надели широкие пояса с ручками и громко прочли им правила русско-швейцарской борьбы. Борьба заключалась в том, что противники, держась за рукоятки поясов, должны были повалить на спину один другого, т.е. борьба эта была чисто силовая и никакой ловкости и знания приемов не требовала. По свистку арбитра Аксёнов нагнулся к своему маленькому противнику, взялся за ручки его пояса, и не успела изумлённая публика, что называется, ахнуть, как бедный профессионал, единственный раз взбрыкнув ногами, уже лежал на обеих лопатках, а смущённо улыбающийся Аксёнов придерживал его, как котёнка, на ковре.

Трудно передать тот единодушный вопль восторга и изумления, который вырвался из тысяч глоток, и тот грохот рукоплесканий и криков, которыми приветствовала публика этот неожиданный результат состязания. Десятки чёрных рабочих фигур посыпались, как из мешка, с высоты галёрки и мигом заполнили всю арену, в неистовом восторге окружив Аксёнова. Под треск нескончаемых аплодисментов и радостные крики улыбающийся герой, высоко поднятый над головами толпы, поплыл к выходу пропивать с друзьями и поклонниками так легко и быстро заработанную четвертную.

С этого дня Пётр Аксёнов стал самым популярным человеком в Туле. Его портреты печатались в газетах и на открытках, его имя и легенды, созданные вокруг него, были у всех на устах. Рассказывали, что силу он наследовал от отца и деда, в своё время знаменитых кулачных бойцов, что старик отец, с которым живёт Аксёнов и его младший брат, гораздо сильнее сына и в пьяном виде бьёт сыновей смертным боем, содержа их постоянно в Божьем страхе.

Через несколько месяцев в Тулу приехал из турне по Европе Поддубный, бывший тогда уже чемпионом мира, и после недельного пребывания на родине уехал, забрав с собой в качестве ученика и Петра Аксёнова. Через год бывший молотобоец вернулся в Тулу уже окружённый ореолом славы с грудью, украшенной медалями за свои многочисленные победы.

Тула устроила своему любимцу горячую овацию на вокзале и вечером в цирке. Пётр тоже не ударил лицом в грязь и после ряда побед на арене пригласил всю галёрку из

цирка прямо в трактир вспрыснуть его возвращение к родным пенатам. Этот демократический жест знаменитости поднял популярность Аксёнова до размеров, угрожающих общественной тишине и порядку. С этого дня на тульских аренах он стал фактически непобедимым, так как раёк под угрозой разнести цирк в щепки требовал, чтобы судьи признавали его победителем хотя бы и вопреки очевидности. Протестовать против такой «диктатуры райка» для дирекции было бы и опасно, и бессмысленно, ибо в дни, когда выступал Аксёнов, цирк был переполнен, что и требовалось доказать.

Весной того же 1908 года мне пришлось впервые увидеть и другую тульскую знаменитость, хотя, конечно, в совсем другом роде. Однажды отец, ехавший по делам за город, взял меня с собой. Выехали мы из Тулы на лошадях через Киевскую заставу и направились по Венёвскому шоссе в некое учёное садоводство, расположенное недалеко от железнодорожной станции Козлова Засека.

Подъезжая к цели путешествия, мы повстречали странную и нелепую фигуру. На кровной английской кобыле, посёдланной новеньким английским же седлом, ехал старик крестьянин в посконной рубахе и портах. Сам он был большой, бровастый, с длинной седой бородой и … босой. Странное сочетание великолепного коня и седла с босыми ногами и посконной одеждой так резало глаза, что я, схватив задремавшего отца за руку, громко закричал: «Папа! Папа, смотри скорее, мужик лошадь украл!» К моему удивлению, и отец, и кучер, вместо того, чтобы ловить вора, оба сняли шапки и почтительно поклонились странному всаднику. «Папа, кто этот мужик? Почему ты ему поклонился?!» – затеребил я отца, который, обернувшись назад, смотрел вслед удаляющемуся старику. «Тише, не кричи! – остановил он меня, улыбаясь. – Разве ты не видал его портретов? Это граф Лев Толстой».

Я был очень смущён и раздосадован тем, что так осрамился и не узнал Толстого, имя которого среди русского общества того времени произносилось с таким почтением и портрет которого висел у мамы в кабинете на почётном месте. Но кто же знал, что знаменитый писатель, граф и богатый помещик ездит босой и в таком диком виде по дорогам?.. На все мои недоуменные вопросы по этому поводу я так и не получил от мамы объяснения. В те далёкие дни авторитет Толстого стоял так высоко, что все нелепые и смешные поступки его, которых было так много к концу его жизни, не подлежали ни суду, ни критике. Лишь много лет спустя, когда были переоценены многие ценности, и художник Толстой был резко отделён от скомороха и фокусника, мне стало понятно то, что меня поразило подсознательно во время этой встречи. Теперь, когда мы имеем после Толстого другой подобный же случай в лице старого фокусника Бернарда Шоу, его нелепые выступления в целях рекламы больше никого не удивляют, а только вызывают сожаление и досаду, что такие большие писатели-художники опускаются до подобных приёмов саморекламы.

Наши учебные дела с братом в реальном училище между тем шли из рук вон плохо. Революционный угар, овладевший Россией, проходил, и начальство всех видов и родов энергично приступило к ликвидации всяких «революционных завоеваний», на которые оно было согласилось под влиянием растерянности. К числу подобных, ныне ставших «неприличными» новшеств, принадлежали и родительские комитеты, столь ненавистные начальству средних учебных заведений. В реальном оправившаяся от революционной встряски администрация стала круто нажимать на нас с братом, поставив себе целью выжить из училища и тем ликвидировать родительский комитет с его оппозицией. К весне для родителей наших стало совершенно очевидно, что в реальном училище нам с братом не ужиться. Николая поэтому было решено отдать в кадетский корпус в Ярославле, где одним из ротных командиров был кузен матери – полковник Владычек. Я же должен был перейти в самой Туле в какое-нибудь другое учебное заведение.

Весной брата оставили на второй год, а мне дали две переэкзаменовки на осень. После столь «благополучного» окончания занятий мы всей семьёй выехали в Покровское на лето, причём с нами ехал и Яша Стечкин, который в эту весну окончил реальное и поступал с осени в Московский университет.

Летом у нас в Курской губернии был необычайный урожай яблок, и сады буквально были обсыпаны «антоновкой». В так называемом «мельничном саду» был построен для охраны его огромный соломенный шалаш, в котором мы проводили весь день. Жили мы с Яковом Сергеевичем это лето не в доме, а в «амбарах», стоявших в саду около мельницы. Жили мы здесь с большими удобствами на полной свободе, посещая дом только во время обедов и ужинов.

Особенно хорошо здесь было по утрам, когда, просыпаясь, в открытую дверь амбара я смотрел на полный утренней жизнью сад. В этом огромном и тенистом саду под зелёными липами, испещрёнными солнечными бликами, среди густой зелени свистали райскими голосами иволги, под деревьями на таинственных травяных лужайках бегали озабоченные скворцы, в осыпанных росой листьях медвяным голосом ворковали горлицы. По другую сторону амбаров находились мельничные строения и пруд, в котором на вечерней заре под нависшими ивовыми и сиреневыми кустами плескались и высоко подпрыгивали, трепеща в воздухе, жирные карпы, шумно и неуклюже шлёпаясь в воду. К ночи многоголосым хором ахали и стонали лягушки. Хорошо и беззаботно спалось здесь в тёплые летние ночи, когда в открытую дверь амбара с бархатного неба смотрели прямо в душу миллионы звёзд, а из стоявшего тёмной стеной сада неслись голоса ночной жизни птиц и зверушек. Лето это промелькнуло совершенно незаметно, как и много счастливых лет и годов детства и юности в родных местах.

Перед началом занятий мать решила сама везти брата Колю в Ярославль, взяв с собой и нас с Соней с целью познакомить с Россией. Для этого мы должны были через Курск ехать в Москву и Ярославль, а оттуда спуститься по Волге до Саратова и вернуться в Тулу. Москву и Волгу мама хотела нам показать с их наиболее характерной стороны, почему в Москве мы остановились не в «Европейской», а в старой купеческой гостинице «Россия», где сохранился ещё старый московский уклад.

Огромное здание гостиницы помещалось в одном из бесчисленных узких переулков, которыми тогда так была обильна Первопрестольная. Фасад был украшен двумя Геркулесами, поддерживающими портик. В зале ресторана находилась знаменитая «машина» − старинный музыкальный инструмент вроде органа, весьма любимый купечеством. Несмотря на то, что зала была двухсветная, «машина» в ней занимала всю заднюю стену и по желанию публики ревела несусветным и дремучим басом какие-то старинные песни. Мать кормила нас специальными московскими блюдами, из которых нам с сестрой больше всего понравилась «московская солянка» – очень вкусное месиво из мяса и рыбы на сковородке.

Москва, в которую мы попали впервые, мне очень понравилась, и мама за недельное пребывание в ней доставила нам все возможности, чтобы увидеть всё интересное. Осмотрели мы весь Кремль, побывали во дворцах, Грановитой палате, в Успенском соборе и Храме Христа Спасителя. Лазили на колокольню Ивана Великого, осмотрели Царь-пушку и Царь-колокол, побывали в Торговых рядах и в храме Василия Блаженного. Могилы царей и великих князей в Архангельском соборе, полутёмном и мрачном, произвели на меня особенное впечатление, в частности гробница Ивана Грозного, которая вся была уставлена горящими свечами. Мама объяснила, что по обычаю московский люд молится у гроба грозного царя о смягчении чьего-либо гнева. Под пыльным стеклом стенной витрины мы с ужасом и отвращением видели окровавленную рубашку убитого в Угличе царевича Димитрия.

Будучи любителем старины, я подробно осмотрел как Царь-пушку, так и сотни других просто пушек, разложенных вдоль кремлёвских стен на память о нашествии Наполеона. Мама не ограничивалась историей и прошлым, и мы ходили с ней в Москве поглазеть и на достопримечательности современной культуры − в Третьяковскую галерею и модную тогда выставку «Золотое Руно», на которой были представлены в этот год творения декадентов.

С детства рисовавший карандашом и красками, я искренне был возмущён этим новым искусством. Надо правду сказать, что картины, выставленные в этом «Золотом Руне»,

были, в сущности, чистым издевательством над публикой, платившей деньги за вход. Среди всевозможной мазни и цветных пятен, про которые, как выражаются хохлы, можно было сказать: «не то яичница размазана, не то дитя сидело», – какой-то совсем бессовестный сукин сын выставил полотно, на котором был изображен аккуратный крестик и рядом кривая палочка, всё вместе это называлось … «Конфигурация».

Из Третьяковской галереи мы с матерью, оба большие любители художеств, не выходили добрые три часа, замучив до слёз сестрёнку, по малолетству в те времена к искусству совершенно равнодушную. Обидно было только смотреть на то, как чудесные произведения великих мастеров были заткнуты в крохотные полутёмные комнатёнки, точно во всей Москве не нашлось для них места побольше и светлее. Помню, что знаменитая картина Репина «Иван Грозный, убивающий сына» висела в темноте не то в проходе, не то каком-то коридорчике. Эту картину через несколько лет порезал ножом какой-то маньяк.

Брат Коля, которого удручала перспектива предстоящего корпусного заключения, потерял всякий вкус к жизни и только ревел целыми днями, обнявшись с матерью. Мы же с сестрёнкой, пользуясь этим расстройством чувств старших, блаженствовали на свободе, бывая вдвоем каждый вечер то в одном, то в другом театре. На сцене Художественного в то время почти без перерыва весь зимний сезон шла ибсеновская «Синяя птица», которой мы так разлакомились, что смотрели два раза подряд. Там же видели «Сполохи», модную драму на тему о стремлениях послереволюционной интеллигенции. С отцом я ходил даже в «Буф», куда в то время приличные дамы не ходили. Там, кроме чемпионата французской борьбы, под руководством известного в Москве «дяди Вани» шёл в то время «Король без платья» Гофмана. В соответствии с тогдашними патриархальными временами этот неприличный, по тогдашним понятиям, театр был настолько скромен, что по ходу пьесы даже раздевшийся король оказался в длинной ночной рубашке и чулках, хотя должен был быть голым. В знаменитом зале, где был зеркальный пол, ноги дам едва были видны до колен.

В Москве мы расстались с отцом, который один возвращался в Тулу, мы же выехали по железной дороге в Ярославль. Этот красивый городок, весь в зелени и садах, отзывался тогда ещё самой глубокой стариной. Кадетский корпус, куда мы везли разливавшегося рекой Колю, оказался старинным зданием, очень длинным и одноэтажным по фронтону. В своё время оно служило конюшнями для герцога Бирона. Тихий провинциальный городок на крутом берегу Волги, Ярославль был на редкость красивым местом, одним из красивейших провинциальных городов России. Луговой берег Волги за рекой весь тонул в густых лесах знаменитого по своей дикости Пошехонья. Расставанье матери с Колей заставило приуныть даже нас с сестрёнкой, весёлых и беззаботных воробьёв. После разлуки мать долго не могла успокоиться, и всё остальное путешествие плакала все ночи напролёт.

В Ярославле мы сели на пароход и двинулись вниз по Волге мимо крутых лесистых берегов, вдоль которых тянулись тогда дачные места. Мама объяснила нам, что это как раз место действия гончаровского «Обрыва» и указала дачу, где она жила. С огромным морским биноклем отца в руках я с самого выхода из Ярославля избрал себе наблюдательный пункт на верхней палубе на самом носу и сходил с него только для завтрака, обеда и сна.

Симбирск мы проехали ночью и потому первым городом, в котором мы сошли, оказалась Казань. По длиннейшей дамбе, мимо могилы павших воинов Ивана Грозного при взятии города, мы ехали на извозчике. Мама не преминула обратить наше внимание на то, что на этой самой дамбе при Елизавете Петровне Бирон, ехавший в ссылку, встретился с Долгоруким, из ссылки возвращавшимся.

В Казани ничего любопытного для нас не оказалось. Из древней татарской столицы она превратилась в заурядный провинциальный город, ничуть не лучше нашего Курска, в который, кстати сказать, тоже нужно было въезжать по дамбе. Гораздо больше города интересовала нас с сестрёнкой жизнь великой реки, и мы с глубоким интересом встречали и провожали глазами всякий встречный пароход, баржу или расшиву. Кодаком

своим я щёлкал беспрерывно направо и налево. За обедом мы изводили мать неизменным желанием есть солянку, которая в Москве показалась нам такой вкусной, что мы не желали больше никаких других блюд. Мать, хотевшая угостить нас рыбными прелестями Волги, с этим ничего не могла поделать. Паровые стерлядки колчиком нас не прельщали.

Новгородская ярмарка с её шумом и сутолокой мне не понравилась, к коммерческим выгодам моей родины я был равнодушен, а городов вообще не любил, предпочитая городской культуре леса и деревенские просторы. Старый кремль в Нижнем зато привлёк моё особенное внимание, а в историческую Коромыслову башню я-таки проник, несмотря на протесты матери и выпачканную одежду.

Жигули и знаменитый Стенькин курган были очень интересны, хотя лес с Волги мне показался жидковат, чтобы укрывать разбойников. Когда же мать объяснила, что разбойников здесь давно нет, я отвернулся с презрением от этих дутых знаменитостей. Впоследствии я слышал, что мама ошибалась: в Жигулях были ещё почти не тронутые культурой места и первобытные леса, принадлежавшие графу Орлову-Давыдову, в которых в революционное время 1905-07 года скрывались если не разбойники, то злые партии вооружённых экспроприаторов, что, в сущности, было одно и то же.

В Самаре самым замечательным, безусловно, надо признать тамошнюю пыль, лежавшую в этом городе повсюду таким толстым и бархатным слоем, что она показалась удивительной даже для щигровских уроженцев, видавших виды по этой части. Пройдя на пароходе под только что законченным тогда постройкой Александровским железнодорожным мостом через Волгу под Сызранью, соединившим Россию и Сибирь, мы рано утром подошли к Саратову – конечному пункту нашего путешествия по Волге. В Саратове Волга имеет, вероятно, самую большую ширину, так как здесь, стоя на одном берегу, другого почти не видишь. Во время весеннего разлива ширина реки не в один десяток вёрст.

На пристани нас встретил дядя Александр Евгеньевич, младший брат отца, служивший здесь инженером по углублению Волги. Подчинённые ему землечерпалки стояли против города. К себе он нас не пригласил, так как находился «в беззаконном сожительстве» с какой-то дамой, от которой уже имел ребёнка. Дядя Николай Евгеньевич, человек на язык «вредный» и ехидный, уверял, что она была наездницей из цирка. По своему характеру бедный дядя был страшно влюбчив, но чрезвычайно застенчив, и при том в денежных делах совершенный ребёнок, чем очень пользовались умелые и опытные особы. Он погиб в Саратове во время революции 1917 года при невыясненных обстоятельствах.

14 августа 1907 года мы приехали в Тулу, где нас ожидали уже все домашние. На другой день мы с Яшей отправились в реальное училище, где я должен был держать свои переэкзаменовки. Директор Карякин не отказал себе в удовольствии лично меня срезать на первом же экзамене, даже не скрывая своего удовлетворения. Арифметику, по которой я срезался, я терпеть не мог и воевал с этой проклятой наукой всю свою учебную жизнь. Отца, математика по специальности, это очень возмущало, так как родители всегда хотят, чтобы дети на них походили, чего, слава Богу, никогда не бывает, иначе Божий мир стал бы на редкость скучен.

По дороге домой я ревел телёнком от огорчения, бессильно вися на руке мрачного, как туча, Якова Сергеевича. Он, относившийся ко всему вдумчиво и строго, ещё строже был к самому себе и в этот момент, как выяснилось впоследствии, усомнился в своих педагогических способностях и делал по дороге соответствующие выводы. Дома мой провал был встречен очень спокойно, как вещь заранее ожидавшаяся. Тут же на семейном совете было решено ни в коем случае в реальном меня не оставлять, а перевести во вновь открывшуюся в этом году в Туле Дворянскую гимназию.

Через два дня мы с Яшей отправились туда для соответствующих демаршей. Оказалось, что для поступления в третий класс мне предстояло держать экзамены лишь по тем предметам, из которых у меня были переэкзаменовки в реальном училище. Оба эти экзамена я сдал тут же очень успешно, что изумило Якова Сергеевича и возвратило ему веру

в свои педагогические качества. На другой же день мама заказала мне новую форму, и я с удовольствием отряс прах реального училища со своих резвых ног.

ГИМНАЗИЯ

Тульская Дворянская гимназия и пансион при ней была расположена на самом верху Киевской улицы против знакомого мне с детства Дворянского собрания, рядом с полицейской частью, у которой мы с мамой пережили в 1905 году несколько жутких минут. Это было совершенно новое учебное заведение, открытое на средства тульского дворянства, прекрасно обставленное с материальной и учебной стороны. Как новое заведение со свежим составом воспитателей и педагогов, оно было лишено всех отрицательных сторон старых учебных заведений. На должность директора гимназии был назначен бывший крапивинский предводитель дворянства Дмитрий Дмитриевич Гвоздев, прекрасный и культурный человек. Ему несколько лет тому назад отец продал наш дом на Стародворянской улице, в котором мы провели наше раннее детство. Инспектором классов оказался наш земляк, щигровский обедневший помещик Шатилов. Так как гимназия существовала первый год, то в ней пока были открыты только три первые класса, к которым ежегодно должен был добавляться старший класс. Здание было совсем новое, только что отстроенное и удобное. Форма состояла из чёрной куртки и брюк, шинели с красными петлицами и дворянской фуражки, чёрной с красным околышем.

Состав учащихся резко отличался от старых моих товарищей по реальному училищу. Здесь учились в большинстве своём дети тульских дворян или состоятельных купцов, почему моё происхождение, за которое я когда-то безвинно пострадал в реальном, здесь никому глаз не кололо, а было как нельзя более кстати. Новые мои товарищи по классу были, как и я, переведены из разных учебных заведений или прямо поступили в гимназию из дому, все были равны и никаких «старичков-второгодников» здесь не было. В нашем третьем классе я встретил двух или трёх знакомых из бывших моих одноклассников по реальному училищу, также переведённых сюда.

С первых дней новой жизни я оказался в знакомой и привычной среде. Одноклассники мои принадлежали к более или менее одному классу общества и потому имели одни и те же стремления и вкусы, выросли приблизительно в такой же обстановке, и потому все мы скоро сошлись друг с другом. Интересы здесь, как и полагалось, были чисто мальчишеские, и нездорового и преждевременного интереса к политике никто не обнаруживал. Старших классов в гимназии не было, а стало быть, и прививать их сверху было некому. Евреев в Дворянской гимназии не полагалось, что, главным образом, и было причиной того, что гимназисты оставались в кругу полагающихся им по возрасту занятий, ни с какой стороны не толкаемые в сторону нездоровых течений.

Первое приятельство у меня началось на почве охотничьих увлечений с двумя одноклассниками. Это были коренные туляки из местных помещиков Козлов и Болотов. Первый был уже достаточно великовозрастный парень, посидевший уже не раз во второгодниках, второй бойкий, смелый и энергичный мальчик, первый по учению и последний по поведению. Приятельство это дальнейшего развития не получило и завяло в самом начале.

Среди преподавательского состава гимназии несколько человек учителей и в их числе учитель русской словесности оказались бывшими учениками деда моего Евгения Маркова, известного в семидесятых годах прошлого столетия педагога и писателя в Туле. Дед в своё время представлял собой редкое исключение среди старого педагогического мира, так как окончил два факультета, и, будучи независимым по своему состоянию человеком, служил по призванию. Он был одно время чрезвычайно популярным преподавателем и инспектором в Туле, и теперь через много лет я неожиданно воспользовался ореолом этого прошлого.

Учитель словесности скоро начал меня отличать по успехам, находя во мне литературные таланты, и однажды прочёл перед всем классом моё сочинение как образцовое, причём поставил за него пятёрку с плюсом. Пользуясь тем, что в этот день я почему-то отсутствовал, учитель заявил, что относит литературные успехи отнюдь не к моему трудолюбию, а исключительно к наследственному таланту.

Благоволил за деда ко мне и инспектор классов Шатилов, несмотря на плохое поведение. Он однажды, поймав меня на какой-то шалости и поставив под часы, битый час стоя около, рассказал мне в назидание и руководство историю рода Марковых за все пятьсот лет его существования. Он был любителем родной старины и увлекался генеалогией. Зато его родная сестра, старая дева, преподававшая у нас арифметику, где только было можно, отравляла мне существование. Из всего преподавательского состава она одна представляла собой «левый» элемент. В качестве старой «восьмидесятницы» она по принципу не терпела богатых людей. В классе она неоднократно распространялась на эту тему и всякий раз не упускала случая пройтись на мой счёт, упомянув как бы невзначай, что вот, например, ваш товарищ Марков такой образец «незаслуженных материальных благ», его каждый день возят в гимназию на лошади, «как куклу». Нападки эти впечатления в классе не производили, так как тот факт, что я ездил в гимназию, а не ходил пешком, был скорее предметом зависти, а уж никак не позора. На арифметике, в которой я был слаб всю жизнь, проклятая старуха меня всячески прижимала. Здесь в критических случаях на защиту своего ученика выступал Яков Сергеевич, который являлся к Вере Трофимовне и улаживал дело. Интеллигентному труженику, да ещё революционеру, «восьмидесятница» отказать не считала себя вправе.

Также наследственные таланты я обнаружил по рисованию, по которому скоро оказался первым в гимназии. Надо сказать, что вообще с 3-4-го класса у ребят уже начинают определяться известные склонности. У меня, например, к огорчению мамы и негодованию отца, в балльниках существовали только две отметки: или пятёрки, или тройки. Первые были по всем словесным предметам, а именно: русскому языку, истории, географии и естественной истории. Вторые вперемежку иногда и с двойками – по всем отделам математики. Чувствовал я, кроме того, большие способности и влечение к организации выступлений массового характера, рано получив вкус к общественной деятельности. За это директор Гвоздев неоднократно приглашал меня к себе на квартиру для головомойки, причём неизменно начинал её с одной и той же фразы: «Я очень уважаю твоих родителей, но тебя выгоню всё же из гимназии, если это повторится».

В середине года к нам в класс поступил новичок хохол Жадейко, мрачный и нервный мальчик, круглый сирота, с которым мы скоро сошлись. Скучая в доме своего опекуна, он однажды зашёл ко мне, ему у нас понравилось, и он стал бывать почти ежедневно. Он оказался маленьким человечком, который не позволял себе наступать на ногу, почему вскоре и занял в классе влиятельное положение. Первого силача класса Сафонова, его и меня одноклассники постоянно выбирали во всех массовых играх в руководители. Чаще всего это были игры в солдаты, во время которых брались снежные крепости, но с течением времени, когда мы стали проходить историю Древней Греции и Рима и их выборный строй нас заинтересовал, все высшие должности римского государства мы распределили между собой, причём консулом и трибунами выбирались только мы трое.

С младшим вторым классом скоро открылась упорная и длительная у нас вражда. «Трибунами» там оказались двое купцов-самоварников Баташов и Смирнов, ребята складу старокупеческого и с крепкими кулаками. Для легализации борьбы между классами был организован чемпионат, причём призами являлись пачки книжек с приключениями разных сыщиков. Первый приз состоял из 25, второй из 16 и третий из пяти подобных творений.

Как водится во всех классах и во всех учебных заведениях, у нас имелись два мальчика на незавидном амплуа «жертв». Обыкновенно это бывают дети, которые имеют несчастье физически слишком отличаться от общей массы. У нас это были два толстяка – Волков и граф Толстой. Каждый гимназист считал своим долгом, проходя мимо, их толкнуть, ущипнуть или ударить. Толстой был младшего класса и к нам относился мало,

Волков же, прострадав целый год до весны, избавился от усиленного к нему внимания одноклассников благодаря одному любопытному случаю.

Однажды учитель словесности, молодой, бравый и пользовавшийся в классе большим влиянием, заметил тяжёлую долю толстяка и в назидание нам рассказал случай из своих школьных лет. У него в классе также был один мальчик, которого товарищи преследовали безо всякой резонной причины, и он лично стал на его защиту, будучи первым силачом класса. Было рассказано всё это очень умело, с тонким расчётом на детскую психологию. Расчёт этот удался как нельзя более. Не успел после звонка преподаватель скрыться за дверями, как мы с Сафоновым, не сговариваясь друг с другом, в качестве классных коноводов заявили всем и каждому, что если с сегодняшнего дня «хоть один сукин сын тронет Волкова, то будет иметь дело с нами». Класс хорошо знал нашу силу и решительность, и преследование толстяка с этого дня прекратилось.

Закон Божий в гимназии преподавал весьма важный протоирей, наставник скучный и нелюбимый ребятами. К его науке, а в третьем классе проходилась наиболее скучная часть её − богослужение, я не имел никакого интереса. В доме у нас в церковь ходили только на Пасху и Рождество, а потому я не знал церковных служб практически, как другие мои товарищи. Поп это заметил, возмутился и стал на меня наседать. Яков Сергеевич, в качестве социалиста-революционера относившийся к религии отрицательно, на мои неуспехи в Законе Божьем также не нашёл нужным обратить внимание. Всё это, вместе взятое, окончилось большой неприятностью нам обоим. На весенних экзаменах при переходе в четвёртый класс я произвёл беспримерный в анналах средней школы скандал, получив переэкзаменовку по Закону Божию. Надо правду сказать, она была вполне заслуженной и отец протоиерей имел все основания выйти из себя и закатить мне единицу. Обнаружив полное незнакомство с церковной службой, я на дополнительный вопрос экзаменатора о том, какие праздники совпадают с днём Святой Пасхи, брякнул ему: «Чистый четверг».

Инспектор наш Семён Трофимович Шатилов, преподававший нам интересно и талантливо географию, ежегодно ездил летом для собственного образования путешествовать за границу. Для нас зимой 1907-08 года он устроил целый ряд ученических экскурсий на разные заводы и фабрики Тулы и окрестностей с той же целью. Помню особенно хорошо одну такую поездку на медеплавильный завод Мосоловых, верстах в 70 от города. Эта поездка мне запомнилась, главным образом, не из-за самого завода, которых в Туле я насмотрелся достаточно, а из-за прекрасного имения и леса, среди которых расположен был завод.

Мы вышли пешком рано утром из города, дошли до станции узкоколейки Петровского парка и в маленьком вагоне двинулись в Мосолово. Поля и леса меня тянули к себе во все времена года, почему я теперь ехал с удовольствием за город и среди зимы. Завод был расположен рядом с красивым именьем, в котором был обширный парк, примыкающий к лесу, и громадный пруд. Ночевали мы в господском доме, который стоял пустой, обитаемый только управляющим – старым холостяком. Осмотрев доменные печи, мастерские и склады и получив соответствующие объяснения от своего ментора, мы отправились на обед в усадьбу, который был всем нам предложен управляющим. На обеде, во время которого подавалось вино, один из наших одноклассников, сын тульского пробирного инспектора, или, как мы его называли, «пробирная палатка», неожиданно для всех и больше всех для нашего Семёна Трофимовича напился пьян. По приезде в Тулу по этому поводу собрался экстренный педагогический совет и «палатку» исключили из гимназии. Мальчик этот был наследственный алкоголик и потому единственный из всего класса пил вино, до которого никто из нас, ребят 13-14 лет, даже и не дотронулся.

Зимой 1907 года отца моего выбрали уездным предводителем дворянства. В то время должность предводителя была связана с известной широтой жизни, зваными обедами, приёмами и т.д. В этой области мама – светская дама, как нельзя более оказалась в своей области. Одновременно с выборами отца в уезде, а отчасти и во всей губернии, потерпела поражение партия «левых» дворян, возглавлявшихся семьёй Щекиных. Бывший

предшественник отца по должности предводителя, Андрей Аркадьевич Щекин, как и подобает всякому демагогу, окончил свою либеральную карьеру тем, что был уличён в денежных злоупотреблениях, попал под суд и был исключён из дворянского звания постановлением дворянского собрания. Таковыми же были в большинстве своём и остальные либералы, поддержавшие «щекинскую руку» с целью свободного распоряжения дворянскими и земскими капиталами. Против этой шайки вели несколько лет борьбу правые, руководимые отцом и дядей Николаем Евгеньевичем, который в том же 1907 году был избран в Государственную думу от Курской губернии. Он сразу выдвинулся среди думцев и скоро занял пост лидера крайне правых. Должность уездного предводителя дворянства, хотя и не оплачивалась и считалась почётной, фактически ставила лицо, её занимающее, в положение хозяина уезда, так как помимо того, что он являлся главой дворян-помещиков, был одновременно с тем председателем воинского присутствия и имел под своим наблюдением всю учебную и административную часть. Предводителю подчинялись непосредственно и им назначались земские начальники, от него зависела вся уездная полиция во главе с исправником. Личные связи и влияние отца ещё более поднимали эту должность в глазах населения, а властный характер и независимость его усиливали ещё больше престиж. Помнится, что туже всех от характера отца при этом страдала уездная полиция, весьма его боявшаяся и иногда поэтому перебарщивавшая в своём усердии.

Однажды я ехал уже кадетом из Воронежа домой на рождественские каникулы. В вагоне со мной рядом оказался какой-то полицейский чин, на которого поначалу я не обратил никакого внимания, пока не заметил, что это была, по-видимому, какая-то местная власть, так как персона эта держалась важно и начальственно покрикивала на поездную прислугу и даже на публику. Придралась эта полицейская фигура и ко мне, на что получила в ответ дерзость. Мы, кадеты, по военной традиции в то время «держали полицию за ничто». Полицейский страшно оскорбился, покраснел и, вынув огромную записную книжку, потребовал от меня объявить имя и фамилию и предъявить отпускной билет. Я было заупрямился, но к полицейскому скоро присоединился старший кондуктор, и мне пришлось сдаться. Под угрозой вызова жандармского офицера со станции, к которой подходил поезд, я капитулировал и предъявил свои кадетские документы. Мои враги, прочитав их, оба смутились, и кондуктор, крякнув, как человек, который большую сделал глупость, вдруг осведомился у меня ласковым голосом, не родственник ли мне председатель правления Юго-Восточных дорог. Я ответил, что председатель мой дед. Обер-кондуктор тогда совсем медовым голосом осведомился о здоровье «дедушки». Полицейский со своей стороны молча спрятал обратно в карман свою записную книжку, возвратил мне мой отпускной билет и, подождав, когда кондуктор вышел из вагона, добрым тоном спросил: «Лев Евгеньевич, дворянский предводитель, дядюшкой, стало быть, вам приходится?» − «Нет, это мой отец». На круглом лице полицейского чина вдруг расплылась приятнейшая улыбка, и он сделал попытку даже меня обнять. «Бож-же мой! Какое *ки-пре-кво* ! Какой приятный случай! Так вы сынок Льва Евгеньевича! Ну, как я рад! Позвольте отрекомендоваться со своей стороны – щигровский исправник!» – привстал он, щёлкнув шпорами. Всю остальную дорогу, забыв о неудовольствиях между нами, исправник преследовал меня своей любезностью, стараясь загладить свою воображаемую вину, хотя во всей этой глупой сцене виноват был только я, дерзкий кадет, а уж никак не он. Он довёл свою предупредительность до того, что предложил даже выпить с ним водки в буфете «на товарищеских началах». По прибытии поезда на нашу глухую степную станцию исправник вызвал в вагон станционного стражника, которому отдал строжайший приказ проводить меня до имения «его превосходительства». Стражник, на моё счастье, оказался парнем смекалистым и с большим удовольствием согласился на мою просьбу «отставить проводы» и оставаться на станции. «Новая метла-с, – объяснил он мне, – выслуживается перед вашим папашей. Они дюже строгие к ихнему брату. Старый исправник вон полетел, да и этому ужо сала за шкуру налили».

Аграрные беспорядки 1905-07 годов, охватившие всю европейскую Россию, почти

не коснулись нашего имения и близ его лежавших мест. Помнится, что за всё время так называемой первой революции у нас сгорел лишь один стог сена на дальнем лугу, да и то причины этого остались весьма спорными: не то сожгли «забастовщики», не то просто пастушата, баловавшиеся с огнём. Между тем, нахождение во главе уезда либералов группы Щекина, конечно, не могло не дать своих результатов, и в 1905 году Щигровский уезд был ареной больших революционных событий.

Местные «освободители» во главе с членом 1-ой Государственной думы Пьяных – крестьянином соседнего с нами села Липовского − успели даже, хотя и на короткое время, устроить Щигровскую автономную республику. Процесс этой «республики» через год имел место в курском военном суде и наделал в то время большой шум. Из Петербурга и Москвы наехало в качестве защитников много знаменитых адвокатов по политическим делам, о самом деле много говорилось в обществе, писалось в газетах и т.д. Процесс привлекал к себе внимание не только потому, что во главе обвиняемых стоял крестьянин – член Государственной думы, но и потому, что к обвинению было привлечено более ста человек. Пьяных и его два сына пошли на каторгу, остальные обвиняемые отделались различными сроками тюремного заключения. Кстати, любопытно отметить, что в царской России, в отличие от всех без исключения «демократических» стран мира, в представительном учреждении, каким была Государственная дума, огромное большинство депутатов принадлежало к рабочим и крестьянам, а не к представителям капитала. По сведениям из имеющейся у меня книжечки «Наши депутаты», составленной из биографий и портретов членов 4-ой Думы, наименее демократической из всех четырёх, в её составе числилось: крестьян – 109 человек, среднего сословия – 175 человек и только 150 человек дворян. У нас в доме о деле Пьяных было много разговоров среди старших, так как семья Марии Васильевны, проживавшая в Курске, принадлежала к «левой общественности» и в лице её сестры присутствовала на суде.

Имелся у нас в уезде и свой собственный экспроприатор-террорист Голощапов. Был он крестьянином села Красная Поляна и начал свою революционную карьеру в качестве деревенского хулигана, как и многие теперешние столпы «рабоче-крестьянской» власти. В 1905 году, как тогда было принято выражаться, Голощапов «стал на платформу анархизма», т.е. попросту занялся вооружёнными грабежами или, согласно всё той же революционной терминологии, «экспроприациями». Он был «анархист-одиночка», т.е. ни с кем не делился ни опасностью, ни добычей. Грабил он казённые винные лавки, почтовые отделения, винные склады и просто частных лиц, причём убивал всех ему сопротивлявшихся. Будучи хорошим стрелком, он нападал неожиданно и благодаря этим качествам за десяток лет своей плодотворной деятельности успел перебить целую кучу сидельцев, почтарей и полицейских, которые пробовали его поймать. Первые годы он оперировал в родных местах, пользуясь тем, что в наших краях сходятся границы трёх губерний – Курской, Орловской и Воронежской, что создавало для земской полиции служебную чересполосицу. Исправники, гонявшиеся за Голощаповым, каждый раз, когда разбойник переходил границу их уезда, обязаны были законом прекращать преследование и известить своего коллегу и соседа, который обязан был уже преследовать Голощапова на своей территории. Это строгое ограничение действий полиции границами своего уезда давало разбойнику возможность всегда удрать вовремя.

Среди полицейских трёх уездов у Голощапова, конечно, были и свои люди, которые своевременно предупреждали его об опасности, надо полагать, небесплатно. Всё же главной причиной его неуловимости были крестьяне, которые его укрывали и не выдавали властям. Делалось это отнюдь не по каким-нибудь идейным причинам, а потому, что в округе прекрасно было известно, что Голощапов щедро награждает тех, кто ему оказывает гостеприимство и помощь и неизменно мстит тем, кто пробовал его обмануть или предать. Немудрено поэтому, что крестьяне, в большинстве своем жадные на деньги и робкие, предпочитали помогать разбойнику, оказывая ему, хотя и против воли, гостеприимство, чем рисковать пулей или красным петухом.

Постепенно вокруг имени щигровского Кудеяра создались целые легенды о его неуловимости, хитрости и всезнании. В 1910 году Голощапов предпочёл временно скрыться из Щигровского уезда после одной распри с сообщником, приставом Землянского уезда. Труп полицейского был найден поздней осенью в пустом сарае на границе двух уездов, причём на убитом были найдены документы, по которым следствие с очевидностью установило, что покойный пытался шантажировать Голощапова, с которым много лет подряд имел связь.

В первые дни революции 1917 года Голощапов появился открыто в родной деревне. В качестве героя революции и активного борца с царским правительством его чествовали всякие комитеты и совдепы. Пожив окружённый почётом несколько недель дома, он получил какую-то видную должность в революционной иерархии, чуть ли не по милиции, на которой, разумеется, вскоре принялся за прежнее. Будучи на Кавказском фронте, я читал в газетах о том, что Голощапов был уличён в грабежах и убийствах, причём эти его действия уже не одобрялись, как при царском режиме, господами революционерами. Местные курские власти пытались его арестовать, но бандит, разумеется, оказал и им вооружённое сопротивление, как когда-то царским приставам и исправникам. О дальнейшей судьбе Голощапова мне не известно, но, принимая во внимание худосочность администрации во времена Керенского, надо полагать, что Голощапов за сопротивление властям особенно не пострадал и ныне, если только жив, то, конечно, занимает в рядах советского правительства важный пост… «по специальности».

После угара революции 1905 года Курская губерния наша постепенно не только пришла в себя и приобрела должное спокойствие, но скоро выдвинулась на политическом поприще в качестве оплота и центра правых течений. Из 16 депутатов курян, избранных в 4-ю Государственную думу, все без исключения оказались крайне правыми. Во главе их стояли такие столпы монархизма, как покойный Пуришкевич и дядя Марков 2-ой. Первый из них перекочевал к нам в Курск из Бессарабии, где у него не было уверенности пройти на выборах.

Подобная перемена политического курса в Курщине пришлась очень не по вкусу левым общественным кругам, выразителем которых являлась в те времена очень распространённая газета «Русское слово». После резких столкновений правого крыла Думы с либералами и левыми в прогрессивной печати началась ожесточённая кампания против крайне правых вообще и Маркова 2-го, в частности. По своему боевому темпераменту лидеры правых охотно приняли вызов и со своей стороны не упускали случая, чтобы так или иначе нанести моральный ущерб своим политическим противникам.

В 1908 году при обсуждении законопроекта о полиции член Государственной думы еврей Пергамент позволил себе оскорбительное выражение по адресу дяди Николая Евгеньевича. Этот последний немедленно вызвал Пергамента на дуэль, несмотря на то, что струсивший еврейчик заявил было секундантам, что он «не имел намеренья оскорбить Маркова». Дуэль окончилась ничем, но через год Пергамент был вынужден покончить самоубийством, так как состоялось постановление судебного следователя о привлечении его к уголовному суду. Дело заключалось в том, что Пергамент вместе с другим адвокатом, тоже иудеем, устроили за деньги побег из тюрьмы своей подзащитной еврейки Штейн – уголовной преступницы.

Это был громкий скандал и чувствительный удар для левой общественности, так как Пергамент являлся одним из виднейших революционных деятелей. Одессит по происхождению, он был председателем совета присяжных поверенных и гласным Одесской городской думы. В 1905 году, замешанный в «освободительном движении», он был арестован и выслан на Урал. За все эти заслуги Одесса-мама послала его в 1907 году в Государственную думу своим депутатом. Словом, по тогдашним понятиям это была «светлая личность» и яркий представитель передовой интеллигенции. Правые газеты в лице «России», «Нового времени» и «Русского знамени» не преминули воспользоваться скандалом с Пергаментом для нападок на левых депутатов, одним из лидеров которых был покойный

Пергамент. Будучи сам продажным негодяем, он ни разу не упускал случая, чтобы не бросить с думской трибуны обвинения русской администрации в нечестности.

В ответ на эту кампанию левая общественность, задетая за живое, желая в свою очередь изобличить в чём-либо лидеров правых, начала атаку в «Русском слове» против Маркова 2-ого, для чего редакция этой газеты командировала в Щигры специального своего корреспондента. Выполняя задание, г. Панкратов приехал в Щигры и, прожив здесь две недели, напечатал в своей газете ряд обличительных статей под общим заглавием: «На родине Маркова Второго». Статьи эти за неимением серьёзного фактического материала состояли сплошь из уездных сплетен, собранных «специальным корреспондентом» среди мелкого приказного и земского люда о самовластии моего отца, о том, что братья Марковы с компанией зажали в кулак не только уезд, но и всю губернию, и теперь делают в ней, что им хочется. Ничего действительно незаконного или компрометирующего Панкратов, при всём своём добром к тому желании, на родине Маркова 2-ого не нашёл, да и найти не мог. Статьи его поэтому произвели совершенно противоположное впечатление тому, которое ожидала редакция «Русского слова». Куряне очень обиделись, что их губернию назвали «марковской вотчиной» и тем, что они будто бы по указке Марковых выбирают черносотенцев в Государственную думу, что была явная неправда. Если дядя и отец и имели действительно влияние, то только в своём уезде и в близлежащих местах, что же касается остальных 15 уездов Курской губернии, то к ним они не имели никакого отношения.

Кроме дяди, представителями курян в Думе были: братья Шетохины, помещики Корочаевского уезда; В.Н. Белявцев, председатель Тимской земской управы; Н.А. Белогуров, волостной старшина; А.И. Вишневский, земец Грайворонского уезда; Я.В. Кривцов, фатежский земский деятель; В.В. Лукин, непременный член курского губернского присутствия; отец Алексий Мешковский, курский священник и секретарь местного отдела «Союза русского народа»; В.М. Пуришкевич; отец Владимир Спасский из Тима; Г.А. Щечков, путивльский предводитель дворянства – все, как выше упоминалось, люди монархического образа мысли.

Как результат последствий аграрных беспорядков 1905-07 годов, в большинстве помещичьих имений появился новый элемент в лице стражников, ведавших охраной усадеб. Несколько человек их перебывало и у нас в Покровском. В большинстве своём это были кавказские горцы или, как крестьяне их называли, «черкесы». Надо правду сказать, горцы эти своей решительностью и натиском очень быстро навели страх на все местные неспокойные элементы.

В эти суматошные годы в столицах и городах происходили периодически всевозможные съезды общественных деятелей, и в том числе два или три раза имели место всероссийские съезды дворян. На последних каждый раз выступал дядя Николай Евгеньевич с горячими и яркими речами, призывавшими дворянство к защите самодержавия, в котором он до конца жизни видел основу и оплот Российского государства. Эти выступления ещё больше вызывали против него озлобление левых кругов. Поэтому журналы и газеты того времени были переполнены всевозможными выпадами против него, статьями и карикатурами. Тётка отца, а моя бабушка Валентина Львовна Поликарпова, убеждённая монархистка и казначей местного отдела «Союза русского народа», за несколько лет собрала всю литературу, обличающую её племянника.

Осенью 1908 года мы опять всем семейством переехали на зиму в Тулу, кроме отца, который почти переселился в Курск, где жила Мария Васильевна, наезжая лишь временами в семью. Переэкзаменовку по Закону Божию я выдержал прекрасно и потому, что подготовился летом, и потому, что прежний законоучитель ушёл из гимназии и на его место поступил новый, только что окончивший Духовную академию и ещё носивший студенческий мундир перед посвящением.

В классе я нашёл кое-какие перемены: ушёл на покой по окончании трёх классов Змеев, посвятивший свой досуг деревенскому хозяйству, о котором всегда мечтал. Поступил новичок, необыкновенно толстый мальчик-подросток со странной фамилией Габиу, на

которого сразу обратились все приставания класса. Он всё сносил стоически, понимая, что к сему его обязывает положение толстяка и новичка одновременно. Учебная жизнь скоро втянулась в обычную колею, и зимний сезон 1908 года начался без каких-либо особенных событий, как в гимназии, так и у нас дома.

Мать, по-видимому, махнула рукой на свою жизнь с мужем и, пережив первый период острого горя, отдала всё своё время нам и общественной жизни. К этому надо добавить, что ввиду постоянного отсутствия отца на её руки всецело перешло и управление заводом в Туле. Куликов, а за ним и весь многочисленный персонал, пользуясь непорядками в хозяйской семье, слишком злоупотребили прошлый год отсутствием контроля, чего мать не могла не заметить. Со своей стороны мама сделала в 1908 году всё от неё зависящее, чтобы не допустить развала дела и серьёзного ущерба для состояния семьи, хотя вряд ли в этом успевала, так как управление таким большим механическим предприятием, конечно, требовало не только специального образования, но и мужской руки. Дела, видимо, шли неважно, так как день ото дня мама становилась всё озабоченнее и всё дольше засиживалась с управляющим в своём кабинете за книгами и отчётами.

Так прошла осень 1908 года, наступило Рождество, и брат Коля приехал на праздники из корпуса. Яша Стечкин по каким-то политическим причинам оставил на время университет и продолжал жить у нас. Приехал и отец, всю осень и начало зимы проживший в Покровском и Курске по причине будто бы земских дел и дворянских выборов. Население дома, кроме того, пополнила собой новая гувернантка сестры, молодая барышня фон Мантейфель. Это было её первое место службы, так как она принадлежала к обеспеченной семье и только смерть отца принудила её поступить в гувернантки. Мантейфель была дочерью калужского полицмейстера и беззаботно и весело жила среди многочисленных братьев и сестёр в Калуге, когда внезапно скончался её отец, а за ним от горя и мать. Полицмейстер оказался человеком честным, и в качестве такового семье ничего не оставил, почему дети его после смерти родителей принуждены были зарабатывать себе хлеб собственными руками. Такая резкая перемена очень подействовала на бедную барышню. Всё недолгое пребывание у нас она постоянно плакала, несмотря на то, что и мама, и мы всячески её старались развлечь и отклонить от печальных воспоминаний. На меня лично пребывание у нас гувернантки Мантейфель подействовало удручающе по следующему поводу.

Как-то в одном из своих печальных рассказов о прошлом гувернантка рассказала маме, что она предчувствовала смерть своей матери настолько, что никогда не входила в её комнату, не окликнув её, боясь всякий раз найти её мёртвой. Это как раз было то же самое ощущение, которое я испытывал сам после покушения мамы на самоубийство. Слова Мантейфель как бы подвели реальную платформу под те неоформленные ощущения, которые я подсознательно испытывал, предчувствуя против своей воли какую-то беду, которая ожидала маму. Предчувствие скорой смерти матери с этих пор приняло у меня почти физическое ощущение. К удивлению мамы, я стал входить в её комнаты только после того, как окликал её, часто в открытую дверь. Эта странная вежливость приводила мать в недоумение, но на все расспросы я упорно отмалчивался, да и что бы я мог ответить.

Мама часто ловила на себе мой пристальный и печальный взгляд, который возбуждал в ней тревожное чувство, потому что она не раз беспокойно меня спрашивала: «Что с тобой, Толя? Почему ты на меня так странно смотришь?» Я смущался, краснел, точно пойманный на чём-то незаконном, и не знал, что ответить. Только много лет позднее, уже пережив войну и революцию и вспоминая прошлое, я понял, что, будучи подростком с повышенной нервной чувствительностью, владел тогда редко встречающимся у людей «вторым зрением», которое позволяет им видеть на лицах близких их скорый конец, в особенности, если этот конец насильственный.

Масленица 1909 года приходилась на начало февраля, почему рождественские каникулы в учебных заведениях в этот год затянулись несколько дольше и брат Коля после Рождества не поехал в Ярославль. В воскресенье 8 февраля накануне отъезда брата в корпус

мать повела нас всех четырёх в кинематограф, который в эти годы ещё как новинка имел большой успех среди молодёжи.

В городе было несколько кинематографов или, как их называли «иллюзионов», и занимали они не как теперь целые здания, а скромно помещались в небольших залах, иногда на втором или третьем этаже, имея выходом единственную дверь. Таким был и *синема* , в который мы отправились в этот день, расположенный на Киевской улице перед самым подъёмом на гору. Как завсегдатай кинематографа, я имел свои собственные вкусы и навыки и поэтому терпеть не мог сидеть далеко от экрана, всегда помещаясь в первом ряду, благо места тогда ещё не нумеровались. Мама, у которой болели глаза и голова от дёргавшихся и плясавших на полотне теней, с маленьким братом Женей, которому тогда только исполнилось 7 лет, заняли места в заднем ряду в самой глубине залы.

Выходя из вагона конки перед *синема* , я, будто меня подтолкнуло какой-то неведомой силой, взглянул на мать и почувствовал, как сердце особенно тоскливо сжалось. Ощущение это быстро прошло, как только на экране начала разворачиваться какая-то кровопролитная драма из жизни краснокожих Дальнего Запада, совершенно захватившая моё воображение. Сеансы в старое время первых кинематографов шли без антрактов и продолжались около часу. Как только единственная картина окончилась и в зале зажглось электричество, публика поднялась с мест и двинулась к выходу на лестницу. Оторвавшись от только что пережитых впечатлений в прериях Америки, я вернулся к действительности и оглянулся назад, ища глазами маму. Она в этот момент шла в первых рядах публики, держа за руку Женю, одетого в синий полушубок, и подходила уже к выходной двери, ведущей на каменную лестницу.

В эту минуту сзади меня что-то грохнуло, затрещало, вокруг вспыхнул необыкновенно яркий свет и из маленького окошка будки, где помещался кинематографический аппарат, с гулом и шипеньем вырвался огромный столб пламени, забивший широким веером через всю залу. Невольно нагнувшись и закрыв лицо руками, я повернулся спиною к этому морю огня, обнявшего меня кругом. Рядом пронзительным детским криком закричала Соня, за ней многоголосым рёвом и криком отозвалась вся толпа, ещё наполнявшая залу. Затрещали и покатились по полу стулья и скамейки, заскрипели перегородки и вся ошалевшая от ужаса и непонимания происходящего толпа, опрокидывая всё на своём пути, бросилась к выходу и по лестнице вниз. Получив сильный толчок в спину, защищённую ватной шинелью, я свалился на пол и покатился в угол к самому экрану. Через минуту зала опустела и одновременно, словно по волшебству, прекратился и столб пламени, бивший сзади. Больше рассерженный, чем испуганный, я поднялся на ноги и огляделся. Зала была пуста, только на полу валялись поломанные и опрокинутые скамейки, потерянные шапки, платки и перевёрнутые стулья. Под потолком стояло сплошное густое облако белого дыма, в воздухе носился острый запах жжёного целлулоида. Рядом со мной стояла и плакала от страху совершенно невредимая сестрёнка.

Со стороны выходной двери и с лестницы слышался гул толпы и отдельные крики многих голосов. Мы бросились туда, но у самой двери натолкнулись на плотную стену людей, заполнявших весь пролёт лестницы, кричавших и плакавших. Мы с сестрой, бывшие ростом ниже других, совершенно не понимали, почему вся эта толпа толчётся на месте и не спускается вниз. После попыток безуспешно протолкаться к выходу мы остановились на самом верху лестницы сзади всех и скоро из разговоров поняли, что выходная дверь внизу забита упавшими и сбитыми с ног людьми, образовавшими живой завал, через который все оставшиеся на лестнице не в состоянии перебраться на улицу. Мамы с Женей нигде не было видно и на наши крики вниз по лестнице они не отзывались.

Между тем позади нас в зале синематографа администрация пришла в себя, и появились какие-то люди с керосиновыми лампами в руках, которые, обращаясь к задним рядам толпы, стали приглашать выйти через вторую дверь. По узкой деревянной лестнице мы с сестрёнкой одни из первых выбрались на улицу. После вонючей гари кинематографа нас охватил живительный морозный воздух. Был вечер, и в синеватом зимнем сумраке уже

зажглись первые огни. Пройдя переулком, мы выбрались на Киевскую. Вся улица была заполнена густой толпой, на мостовой перед входом в кинематограф распоряжались полицейские, стояли пожарные обозы и мелькали блестящие каски пожарных.

Выходной двери иллюзиона не было видно, кругом неё стояла кучка людей, что-то делавших. Из этой группы время от времени через улицу в аптеку напротив на руках переносили раненых. Издали мне показалось, что в руках четырёх человек, переходивших улицу, я узнал знакомое серебристое боа мамы, но с ужасом отмахнулся от этой мысли. Неожиданно к нам подошёл брат Коля, который, как потом оказалось, вылез из кинематографа по пожарной лестнице. Потолкавшись кругом с полчаса и не найдя матери, мы решились с сестрой ехать домой, чтобы известить отца о случившемся. Высаживаясь у подъезда нашего дома с извозчика, мы встретили отца, также возвращавшегося из города, и поспешили ему рассказать о происшедшем. Вместе с Яковом Сергеевичем встревоженный папа сел на нашего извозчика и они сейчас же уехали. Несмотря на мороз, всё население дома во главе с Дуняшей и Симой столпились у подъезда, взволнованно обсуждая события и делясь предположениями о странном исчезновении мамы и Жени.

Через полчаса томительного ожидания к дому подъехали извозчичьи сани, с которых сошёл незнакомый человек, державший на руках Женю. На все расспросы обступивших его обитателей дома о маме он как-то нерешительно ответил, что ничего о госпоже Марковой не знает, мальчика же ему поручили отвезти домой из аптеки на Киевской улице. Испуганный и плачущий Женя тоже толком ничего объяснить не мог, кроме того, что когда они спускались с матерью из кинематографа по лестнице, сзади них закричали люди, сбили их с ног и, когда он упал, мама, прикрыв его собой, прошептала: «Не бойся, детка… я с тобой». После этого кругом началась свалка, из которой его вытащил какой-то дядя, отвёл в аптеку и оттуда его привезли домой.

Не успели мы поделиться предположениями, как из мрака ночи к освещённому фонарём подъезду как-то особенно тихо подъехали новые санки, на которых между Яшей и отцом мы увидели маму. Мы бросились к саням и, окружив их наперебой, стали спрашивать отца и мать, где они были и что случилось. Нам отвечало гробовое молчание, заставившее в ужасе отступить. Вместо всякого ответа отец и Яков Сергеевич взяли на руки молча сидевшую в странной позе маму и понесли её в дом.

Раньше всех поняла правду горничная Серафима, заголосившая высоким голосом на всю улицу «по мёртвому», отчего у меня похолодело и на минуту словно остановилось сердце. Из-за перехватившего дыхания я отстал от других, и когда подходил через тёмную залу к ярко освещенной столовой, куда внесли маму, навстречу ударил неистовый крик Серафимы: «Матушка-барыня! Да что же это с вами сделали?!»

На большом зелёном диване, на котором мы так часто по вечерам сидели, сгрудившись вокруг матери, лежала теперь наша мама с плотно зажмуренными глазами и нахмуренным лицом, словно ставшая как-то меньше ростом и миниатюрнее. На её тонком, словно точёном лице ярко вырисовывалась между бровями тонкая вертикальная морщинка. Окружённая плачущей семьёй, она лежала беспомощно и неподвижно. Так непривычно и непохоже на неё, лежала она, не обращая внимания на наши слёзы. Коснувшись поцелуем её лица, я отшатнулся как ужаленный − прямой милый лоб мамы был холоден как мрамор. «Папа! Папа! Что с мамой?» – бросились мы к отцу, окружив его со всех сторон. Отец, стоявший с железным потемневшим лицом, залитым слезами, обняв наши головы и прижав к себе, вдруг зарыдал страшным мужским рыданьем. Глухим, жутким голосом, который я помнил потом всю жизнь, он проговорил наконец ту жуткую правду, которую мы все уже понимали, но боялись в этом признаться самим себе: «Убили, детки… нашу маму…»

Обняв ноги матери, на полу у дивана рыдала с рассыпавшейся прической Серафима. Коля, весь дрожа, принёс ручное зеркало из спальни и совал его ко рту матери, в последней тщетной надежде уловить её дыхание. В этот жуткий и тяжёлый момент моего детства больше всего я был поражён и убит тем сознаньем, что наша мама, всегда относившаяся с такой заботой и вниманием к малейшему нашему горю, теперь, когда наши

детские сердца разрываются от отчаяния, остаётся ко всему безучастной и безразличной.

Словно сквозь сон помню растерянного полного доктора, который, нагнувшись над матерью, что-то делал, потом, выпрямившись, повернулся к отцу и беспомощно развёл руками. Осматривая маму, он приподнял её густые чёрные волосы, и я с ужасом увидел между ними на голове мамы синевшее углубление-пролом с кровоподтёком. В этот момент я с острой болью ясно понял, что всё кончено, и я никогда не увижу больше мою маму живой. Прошло тридцать с лишним лет, но есть в жизни вещи, которые человеку не суждено забыть, не забуду и я никогда этого дня…

Потянулись тягостные и жуткие дни, которые всегда предшествуют похоронам близкого человека. Тело матери, одетое опухшими от слёз Серафимой и Дуняшей в белое платье, положили на длинном столе в огромной зале дома, принявшей сразу мрачный и жуткий оттенок. Ночью никто не спал и до утра рыдавшая на весь дом Сима поминутно открывала двери множеству друзей и знакомых матери, беспрестанно приезжавших к нам. Отец не отходил от гроба, никого не хотел видеть и ни с кем не говорил. На него было страшно смотреть, и я впервые увидел, какое это тяжкое зрелище, когда плачет большой и сильный мужчина. Все распоряжения по дому и похоронам взяла на себя друг мамы Жасмин, начальница Сониной гимназии.

Как впоследствии выяснилось, мать, страдавшая пороком сердца, сбитая с ног и испуганная за нашу судьбу, умерла от разрыва сердца, пролом головы был уже посмертный, так как крови не было. Одна гимназистка, бывшая одновременно с нами в злополучном кинематографе, потом нам рассказала, что видела маму, старавшуюся пробиться вверх по лестнице и повторявшую громким голосом: «Дети… дети, где вы?» После того как Женю вытащили из свалки у входа, ей удалось подняться на ноги, но при попытке вернуться в залу, чтобы нас разыскать, она была снова сбита с ног и смята толпой. В панике, начавшейся в синема из-за вспыхнувших от искры аппарата фильмов, сложенных в будке машиниста, кроме матери, погибло убитыми и задавленными в свалке ещё 26 человек, в большинстве женщин и детей, и вся Тула была потрясена этой катастрофой.

По телеграмме отца на другой день после смерти мамы из Озерны приехала бабушка Софья Карловна, которая, несмотря на горе, не потеряла головы и взяла в свои руки весь распорядок нашей разрушенной жизни. Хоронить маму было решено в Покровском, которое она очень любила, куда мы и выехали через два дня.

Для живых ужасны и тяжелы те дни, когда в доме находится близкий покойник. Я остро чувствовал, что мать навсегда ушла из нашей жизни, что с этим ужасом невозможно примириться и его пережить. Но одновременно с тем я не мог расстаться с мыслью, что то холодное и страшное, что лежит в глазетовом белом гробу на столе в зале, не есть и не может быть моей милой и нежной мамой…

Огромный поезд из сотен саней и карет растянулся на добрую версту от нашего осиротевшего дома через весь город к вокзалу. Родители наши были не только видными людьми в Туле, которых все знали, но и сама трагическая и такая нелепая смерть красавицы-женщины во цвете лет и здоровья потрясла город. Масса народа пришла провожать покойницу, огромная толпа, среди которой слышался истерический женский плач, присутствовала на вокзале на панихиде и при отправлении поезда.

В Щиграх по особому распоряжению начальника дороги поезд был задержан на целый час вместо обычных пяти минут, и новая панихида была отслужена в присутствии большого съезда родных и дворянства. Я с ужасом и щемящей тоской смотрел в открытые двери товарного вагона, среди которого стоял открытый гроб. Были жестокие морозы, и на лице покойницы лежал тонкий слой инея. Как бедной маме должно было быть одиноко и холодно в этом ужасном вагоне! От этой мысли и наплыва горя я не устоял на ногах и упал головой на колени к бабушке Варваре Львовне, тётке отца – древней старухе, много лет подряд уже не выходившей из своей спальни и привезённой на вокзал на особом кресле проводить племянницу в могилу.

На нашей станции целый обоз саней и огромная толпа крестьян из четырёх

соседних деревень ожидали поезда. Заснеженные поля почернели вокруг вокзала от народа. Вдоль деревень, через которые тронулся траурный поезд в усадьбу, стояли сплошными рядами крестьяне без шапок, провожавшие белый гроб всем знакомой и ко всем ласковой красавицы-барыни. Зная с детства деревенскую жизнь и взаимоотношения, я никогда не думал до этого дня, чтобы мать была настолько любима и популярна среди крестьян. А между тем в день её похорон это не подлежало сомнению, так как не только дворовые, нас сопровождавшие, шли с опухшими от слёз лицами, но и повсюду в деревнях я видел те же слёзы, стекавшие по бородатым мужицким лицам.

В Покровском, усадьбу которого так любила мама и в котором навсегда осталась её одинокая могилка, мы пробыли две печальные недели. Похоронили маму в ограде новой церкви в Заречье, и могила её была одной из первых на этом кладбище. Над нею поставили памятник с белым плачущим ангелом, эскиз которого покойная сама когда-то набросала, а сам памятник был отлит у нас на заводе ещё при её жизни. Погибла мама, спасая детей, отказавшись от собственного спасения, и на цоколе поместили поэтому евангельский текст: «Нет большей любви, нежели положити душу за други своя».

После похорон Яша, потрясённый смертью матери, сделал всё, чтобы нас с Колей как-нибудь развлечь, для чего водил нас почти ежедневно на охоту. Покой зимней природы, действительно, успокаивающе действовал на душу, и мы мало-помалу стали приходить в себя. Тяжелее всех приходилось брату Коле, который обожал мать, был её любимцем, но которого менее других детей любил отец. Он осунулся, похудел и плакал все ночи напролёт. Особенно его угнетало сознание, что мы все, хотя и без мамы, но всё же остаёмся в родном доме, где ещё всё полно ею, в привычной обстановке, среди родных людей, а ему предстоит возвращаться в холодные и неприветливые стены далёкого корпуса.

В Тулу мы возвратились только в марте, и с нами вместе из Щигров приехала тётка отца Валентина Львовна Поликарпова, которую отец любил больше других родных. В молодости она вышла неравным браком за земского врача, в которого без памяти влюбилась, против воли родителей. Муж её оказался по характеру самодуром, и бабка от него много перетерпела. Из ревности и по пьяному делу он запирал её в доме, уезжая в уезд, морил голодом, и до самой смерти мужа Валентина Львовна не имела собственной копейки, несмотря на то, что родители дали за ней хорошее приданое. Пережитое отразилось на ней тем, что, состарившись, она сделалась болезненно скупа, за что в Туле её немедленно возненавидела вся прислуга. Как все дети, выросшие в деревенской усадьбе, мы со всей служившей у нас дворней находились в самых дружеских отношениях и считали её принадлежащей к семье. Скупость, да ещё в отношении довольствия прислуги, была у нас до приезда бабушки вещь неслыханная, а потому экономность Валентины Львовны привела немедленно к тому, что к ней в открытую оппозицию сразу стал весь дом.

Старуха к тому же была горбатая и слюнявая, что добавочно возбуждало чувство брезгливости. Играло, конечно, роль в «неприятии» всем домом бабушки и то обстоятельство, что она стала, хотя и невольно, на роль хозяйки дома, т.е. на священное для нас место мамы, что было, хотя и подсознательно, но совершенно неприемлемо и возмутительно для детской психологии.

Главным будирующим элементом против Валентины Львовны являлась горничная Сима, которая, будучи слепо предана покойной маме, пользовалась её полным доверием в доме по части хозяйства и всем распоряжалась бесконтрольно. К Серафиме мы привыкли с детства, она за всеми нами ходила как нянька и даже купала нас с Колей лет до 14-ти. Общее горе нас с ней ещё больше сблизило, почему всякая обида Серафимы или то, что ей казалось обидой, немедленно принималось к сердцу и всеми нами. Отец скоро заметил непопулярность в семье его тётушки и, не желая навязывать сиротам неприятного им человека, пожертвовал своей любовью к Валентине Львовне, простился с ней и снова вызвал из Озерны бабушку Софью Карловну жить с нами. Эту бабушку мы не только любили, но и уважали. Она была большая и властная барыня с большим характером и твёрдой рукой. Софья Карловна сразу привела всё в порядок и поставила на надлежащее место, успокоилась

и прислуга, почувствовавшая начальство над собой. Бабушка умело и умно повела нас, внимательно следя за воспитанием, незаметно, но твёрдо борясь против нежелательных черт в характере каждого из нас. Заметив, в частности, моё равнодушие к религии и неохоту к посещению церкви, она сумела повлиять в нужную сторону, и я стал по праздникам ходить с ней в нашу приходскую церковь, где никогда раньше не бывал.

О смерти матери и катастрофе в тульском иллюзионе из газет узнала вся Россия, и это событие целый месяц обсуждалось в печати. Оно послужило причиной того, что с этого года были введены особые полицейские правила для всех кинематографов России, которые были обязаны на случай пожара иметь по нескольку запасных выходов. Театр, где нашла свою неожиданную и нелепую смерть мама, был закрыт, и долгие годы до самой революции его помещение пустовало, и никто не хотел его снимать.

В гимназии начальство и товарищи встретили меня как нельзя более сердечно после трёхнедельного отсутствия, и чтобы выразить свои симпатии, класс единогласно выбрал меня своим «консулом» до конца учебного года. На весенних экзаменах старик-архиерей долго и ласково расспрашивал меня о матери и, не задав ни одного вопроса, отпустил, поставив пятёрку.

Тяжелые воспоминания, связанные с пережитым в Туле, и трудность одновременного управления имением и заводом привели отца весной 1909 года к решению покинуть Тулу и навсегда переселиться в Покровское, куда звала его и Мария Васильевна. Завод был скоро продан компании бывших служащих его, а дом отец продал под учебное заведение. В мае, когда начался сезон экзаменов для нас с сестрой, началась и перестройка дома, в котором с осени должна была быть открыта гимназия. Первой была разрушена зала, в которой стоял так недавно гроб мамы, эта комната должна была быть соединена с другим смежным домом заводских корпусов. Последние дни перед отъездом в деревню, приходя из гимназии, мы должны были проходить под лесами, где работали каменщики и плотники. Сердце сжималось и ныло от сознанья, что в этих теперь разрушенных комнатах с видным сквозь потолок небом так недавно кипела уютная и весёлая жизнь семьи вокруг ласковой, навеки от нас ушедшей мамы…

Невеселы были последние месяцы нашей жизни в Туле. Отец только изредка появлялся в доме, постоянно находясь в разъездах. С почты на его имя почти ежедневно приходили и складывались Серафимой на письменном столе отца письма со знакомым нам и теперь таким ненавистным почерком Марии Васильевны. Однажды брат Коля, более нас, младших, понимавший жизнь, по подговору Симы распечатал один из этих конвертов, надписанный почему-то красными чернилами и поэтому привлёкший к себе особенное внимание. В письме, которое он нам всем прочёл вслух, говорилось о скором приезде Марии Васильевны в Покровское и о страстном её желании поскорее поселиться с отцом «под одной крышей». Письмо это, в негодовании порванное Николаем в клочки, вызвало у нас много слёз, глухую обиду и неприязнь к отцу.

Через неделю приехавший, как всегда, внезапно папа, не снимая пальто, прямо из передней направился к письменному столу, где стоя принялся читать письма, а затем стал строго допрашивать Серафиму, не было ли ещё одного письма. Симка забожилась всеми богами, «что она знать ничего не знает» и что все письма как есть поклала барину на стол «вот на это самое место». Отец нахмурился, ничего не сказал, но, по-видимому, догадался по нашему к нему отношению о том, что произошло.

Экзамены для нас с сестрой прошли благополучно, мы оба перешли в следующие классы. По общей нашей с сестрой просьбе отец согласился не оставлять нас в опостылевшей после смерти мамы Туле. На семейном совете было решено, что Соню отдадут в Институт в Москве, где жила с семьёй сестра отца, а меня в кадетский корпус в Воронеж, находившийся всего в 4 часах езды по железной дороге от Покровского. Яков Сергеевич должен был ехать с нами, чтобы подготовить меня для экзаменов в корпус, пока же на две недели ехал на побывку к себе в Суходол. Переезд в родные места, куда из Ярославля скоро приехал и Коля, несколько рассеял тяжёлое настроение, в котором мы все

находились под угрозой приезда мачехи, висящей над головами семьи, как дамоклов меч.

Событие это не заставило себя ждать. Однажды, недели через две после приезда, рано утром нас с братом разбудила Серафима и взволнованным голосом сообщила, что «барин ночью привёз из Курска свою стерву». По местным понятиям всякая женщина, находившаяся без брака в сожительстве с мужчиной, считалась падшей и, как бы высоко она ни стояла на социальной лестнице, в глазах деревенских баб была ничто иное, как только «стерва» или «шкура». Коля, не умываясь и не выходя в столовую к утреннему чаю, ушёл из дома в деревню, а я с крепко бьющимся сердцем стал обдумывать наше новое положение. Стоя перед зеркалом, я причёсывался, как вдруг сзади скрипнула дверь, и знакомый с детства голос тихо и нерешительно произнес: «Здравствуй, Толя». Это была Мария Васильевна, робко остановившаяся у двери. Нелегко и ей было встретиться впервые с членами семьи, в которую она теперь входила чужая и ненавидимая.

Я покраснел, что-то пробормотал вместо приветствия и, не подавая ей руки, вышел из комнаты. В столовой за самоваром на хозяйском месте сидела красная и заплаканная Соня, а на другом конце стола отец с непривычно растерянным выражением лица. Злая и надутая, как чёрт, Серафима демонстративно топотала вокруг стола, подавая то одно, то другое.

Приехав в дом, всё население которого, как она знала, было ей враждебно, в семью, где были почти взрослые дети, которые знали и не могли забыть то зло, которое она причинила их покойной матери, Мария Васильевна чутьём угадала наилучшую и, пожалуй, единственную в её положении тактику, которой она должна была держаться. С большим тактом она первое время сумела нас всех обезоружить своей кротостью и отсутствием каких бы то ни было претензий на господствующее положение в доме. Благодаря этому постепенно и незаметно она сумела без всякой ломки и драм войти в нашу семейную жизнь и со временем заняла не только положение хозяйки дома и жены, но и заботливой и даже любящей мачехи.

До самого последнего дня нашей совместной жизни она не только никогда никого из нас не притесняла, как это часто бывает с мачехами, но и безропотно переносила со стороны меня и братьев подчас очень большие дерзости и мальчишескую грубость. В отношении сестры Сони она шла ещё дальше, держась к ней в совершенно подчинённом положении, несмотря на постоянную холодность, которую к ней обнаруживала Соня.

Анализируя наши взаимоотношения теперь, много лет спустя, когда Марии Васильевны уже нет в живых, и сам я могу смотреть на прошлое гораздо объективнее, должен чистосердечно признаться, что она не только о нас всех прекрасно заботилась, но и, несомненно, любила. Это было и понятно, так как своих детей у Марии Васильевны никогда не было, а мы все выросли у неё на руках с трёхлетнего и пятилетнего возраста, уж не говоря о Жене, который и родился при ней. В общем, это была очень добродушная, простая и непритязательная женщина, прекрасная хозяйка и незаменимая подруга отца до самого своего трагического конца на чужбине, после мучительной и тяжёлой болезни, которую она сама считала наказанием за то зло, которое принесла нашей покойной матери. К памяти мамы Мария Васильевна всегда относилась с большим уважением и ежегодно служила панихиду на её могиле, причём каждый раз горячо молилась и горько плакала.

«Барыней» Марию Васильевну покровская усадьба не признавала очень долго не только в период её внебрачного сожительства с отцом, но и много времени спустя после того, как они поженились, пока старая дворня постепенно не была замещена новыми людьми, не знавшими прошлого. Сознавая фальшивость своего положения, Мария Васильевна терпеливо переносила по приезде своём в Покровское все выпады в отношении себя дворни, постепенно и незаметно вместе с тем подготовляя ликвидацию старых служащих, особенно преданных покойной матери. Делала это она довольно тонко, никогда не выступая сама на первый план и даже не подавая вида впоследствии, что она была причиной этих увольнений.

Первой жертвой нового порядка вещей в Покровском стала горничная Серафима,

мужественно не сдавшая своих позиций и демонстративно игнорировавшая присутствие новой хозяйки. Официально причиной отставки Симы послужил какой-то пустяк, причём отец по своему обыкновению сильно на неё накричал. Серафима, имевшая характер задорный и «сроду за словом в карман не лазавшая», в ответ завизжала на весь дом, что она и сама «ни за какие деньги» не останется, так как привыкла всю жизнь служить только «в честных домах».

За Серафимой один за другим стали увольняться и все её многочисленные родственники, брат приказчик Иван Фёдорович с семьёй, а за ним и старик Дементьевич, проживший в усадьбе всю жизнь и помнивший ещё крепостное право. Этого последнего отец не увольнял, он ушёл сам, не желая на старости лет оставаться в усадьбе одиноким. Уволена была и семья Овсянниковых, которые при матери заведовали коровьим двором и молочным хозяйством. Из старых дворовых осталась только наша кормилица Дуняша с сыном Яшкой, так как уволить её у Марии Васильевны не хватило ни духу, ни власти, зная привязанность к ней всей нашей семьи.

Зато, к общему удивлению, при новых порядках пошла быстро в гору семья кучера Алексея Шаланкова, моего кума и приятеля, хотя его жена Лушка, наша бывшая горничная, баба истеричная и злоязычная, не раз в первое время приезда Марии Васильевны в Покровское «срамила» её на весь коровий двор. Усадебные кумушки, истолковывая непонятную терпимость Марии Васильевны к Лукерье, шептали, что в этом случае будто бы «нашла коса на камень», так как в своё время по зимам, когда отец один наезжал в Покровское, Лушка будто бы сама пользовалась барской близостью. На этом будто бы основании языкастая жена моего кума позволяла себе не раз кричать Марии Васильевне, что она её «в упор не видит», что по местным понятиям считалось величайшим оскорблением. К чести отца надо отнести, что он никогда не позволял себе навязывать нам авторитета Марии Васильевны и женился на ней только тогда, когда мы все вышли уже из детского возраста, а сестра стала взрослой барышней, положение которой требовало в доме супругу с законной окраской.

С переездом Марии Васильевны в Покровское все наши родные, а также и все знакомые дворянские семейства перестали бывать у нас в доме. Тем фактом, что отец открыто поселил у себя в семье свою любовницу, было оскорблено всё общественное мнение и в особенности негодовало дворянство, оскорблённое тем, что их предводитель, нарушая семейные начала, игнорирует все правила приличия. Отец, конечно, об этом знал, но в наших интересах не считал возможным вступить в брак с Марией Васильевной, пока мы ещё не вышли из детских лет. Он сам в юности имел мачеху и сохранил об этом обстоятельстве самые неприятные воспоминания. По отношению к общественному мнению он поэтому держался вызывающе, не позволяя никому мешаться в свои семейные дела. Из-за этого у него вышел однажды в курском дворянском собрании крупный скандал, окончившийся большими неприятностями для обеих заинтересованных сторон.

Во время дворянских выборов в великолепном зале курского Дворянского собрания отец вопреки всем обычаям и приличиям привёл и усадил на хорах Марию Васильевну на местах, предназначенных для дам дворянства. Эти последние, неожиданно увидев рядом с собой «содержанку» щигровского предводителя, возмущённо покинули хоры, и бедная Мария Васильевна, красная, как помидор, осталась в позорном одиночестве. Подобная вещь была, несомненно, вызовом всему дворянству и издевательством над всеми традициями своего круга, но к этому времени уже характер отца стал вообще неудобен в общежитии.

С годами, живя в своей усадьбе и уезде в качестве всесильного предводителя и состоятельного помещика, независимого от каких бы то ни было местных властей, отец постепенно стал терять чувство меры и перестал ограничивать свои взгляды и желания, считаясь в своих поступках только с самим собой. Годами видя кругом беспрекословное подчинение и страх перед ним, он дал волю своему и без того резкому и властному характеру, и скоро нрав его стал очень тяжёлым для семьи и окружающих. Перед

революцией характер отца стал обнаруживать черты его предков, для которых не было другого закона, кроме собственной фантазии.

Уже не говоря об окрестном населении, с которым он обращался как с собственными крепостными, отец подчас был невозможен и с себе равными. Помню, что тётка Софья Вячеславовна Бобровская рассказывала мне однажды, что губернатор жаловался ей на невозможно вызывающий тон отца всякий раз, когда ему приходилось с ним разговаривать. Уж если с начальником губернии говорилось в таком тоне, то что же было с остальными смертными?!

По переезде в Покровское отец окончательно разделался с заводом в Туле, причём продал за бесценок, чтобы как-нибудь развязаться с ним. Покупателями оказались бывший управляющий заводом Куликов и бухгалтер Усов, которые в своё время сумели воспользоваться неурядицами в семье хозяина и, что называется, не «зевали на брасах», составив собственный капитал.

Широкая жизнь, которую отец вёл на три дома, отразилась на его материальном положении, и, переехав в деревню, папа вместе с Марией Васильевной усиленно занялся хозяйством для поправления пошатнувшихся обстоятельств. Надо отдать им справедливость, оба работали на совесть, вставая и ложась с петухами и проводя весь день в поле и на скотных дворах. Результаты сказались через несколько лет, и перед войной дела отца приняли цветущее состояние. В то время, как по всей России поместное дворянство поголовно разорялось и обезземеленное, оторвавшись от земли, переходило на положение чиновников, отец, благодаря своей энергии, упорной работе и помощи Марии Васильевны, богател, прикупал землю и перед революцией обладал состоянием больше миллиона рублей.

Летом 1909 года к нашей соседке, помещице Ломонович, приехали гостить её племянники Барсуковы. Были они из наших курских дворян, но старик Барсуков по назначению служил предводителем в Минской губернии. Дети были: барышня, московская институтка, и мальчик, кадет Воронежского корпуса, − оба наших лет. Каждый день мы с ними встречались то в имении Ломонович, то у нас в усадьбе, и проводили весь день вместе. У Софьи Евграфовны Ломонович был в усадьбе, отстоявшей от нас в двух верстах, прекрасный старый сад, в котором вся компания обычно и проводила время. Это лето прошло в усиленной верховой езде, большими любительницами которой оказались Лиля Барсукова и наша сестрёнка Сонюша. К ним скоро присоединилась и новая гувернантка сестры – Марья Григорьевна, красивая полная блондинка очень покладистого и весёлого характера, которую молодёжь скоро окрестила сокращённым именем Мося.

Барышни наши были отчаянными и неустрашимыми наездницами, уже не говоря о кавалерах, которые старались один перед другим на арене лихости – все мы были в это время в периоде первых юношеских увлечений и невинных ещё романов. Коля ухаживал за Лилей, Аполлон Барсуков за Соней, мы же с Мосей составляли необходимых в романах статистов: я по молодости лет, она потому, что была лет на пять старше всех нас. У отца с Ломонович была старинная дружба и общие дела, так как они вместе в это время строили в заречной части Покровского новую церковь. Благодаря этому в селе создался новый приход, в который перешли, к большому неудовольствию старой поповки, обе помещичьи семьи Покровского.

Надо признаться, лето это прошло очень весело и беззаботно благодаря весёлой компании. Помимо бесконечных пикников, праздников, охот и кавалькад по всем направлениям, в конце лета у Ломонович был устроен любительский театр. Для этого был приспособлен особый сарай, на подмостках которого мы играли небольшие пьески. В качестве публики, помимо населения двух усадеб, съезжались все окрестные помещики.

В день Ивана Купала был с особенной помпой отпразднован языческий праздник, а вечером вся молодёжь двух усадеб и все наехавшие гости прыгали через костры из огромных ворохов соломы, причём все были мокрые, как лягушки. Раз в неделю обязательно ездили компанией с ночёвкой на дальнюю пасеку Ломонович, которая была уютно расположена в степной балке в верстах семи от всякого жилья. На пасеке наедались до

изжоги мёдом с огурцами, чёрным хлебом и луком, которые я предпочитал всяким сладостям.

В конце лета отец неожиданно предложил мне съездить в Геленджик, который я очень любил, пользуясь тем, что туда ехал наш уездный следователь Иванов, который мог быть моим ментором. На семейном совете перед этим было решено, что зиму я пробуду дома, а экзамен в корпус буду держать только весной 1910 года прямо в пятый класс. Таким образом, спешить было некуда, и я мог пробыть на Кавказе до конца сентября, когда у следователя кончался отпуск.

Николай Иванович Иванов, которому судьба предназначала незавидную роль моего руководителя в течение двух месяцев, был и по фамилии, и по наружности, и по характеру типичный чиновник из провинциалов, робкий и слабохарактерный, высокий, тощий, с рыжеватыми усами и баками. Когда-то в годы первой революции ему пришлось вести следствие по делу «о щигровской республике», и с тех пор он был уверен, что революционеры ему поклялись отомстить, охотятся за ним и хотят убить. Трусом он был отчаянным, и потому ежеминутно ожидал покушения на себя, хотя в действительности роль его в процессе была самая ничтожная и никакие революционеры им решительно не интересовались. Впоследствии он ещё до революции умер благополучно незаметным и бесталанным товарищем прокурора в какой-то далёкой уездной дыре. В последний момент оказалось, что с нами едет и исправник Спасский, толстый старик с висячими, как у Тараса Бульбы, седыми усами. В противоположность следователю он никого, кроме начальства и Бога, не боялся, хотя по своей должности принёс немало вреда всякого рода злоумышленникам, как политическим, так и уголовным. По его собственному выражению, он «чихать хотел» на всяческих социалистов, считая их за народ жидкий и ни на что серьёзное неспособный, кроме «брехни». Против же уголовщины, с которой имел серьёзные счёты, исправник носил в кармане бульдога какого-то допотопного образца, который при этом называл «лекарством на шесть душ». В уезде среди помещиков он был очень популярен, так как был не из выслужившихся полицейских, а отставной военный и, кроме того, являлся отцом красавицы дочери, на которой впоследствии женился мой двоюродный дядя, гусарский ротмистр Лебедев. У Спасского на Тонком Мысу в Геленджике была своя дача, на которой он ежегодно проводил отпуска.

Окрестности черноморской станицы Геленджик в те времена только начинали заселяться, и большая часть Тонкого Мыса, где находилось наше имение, оставалась в первобытном состоянии, т.е. была покрыта густыми зарослями кавказской колючки, носившей за свою цепкость почётное название «держи-дерево». Большинство пустырей мыса, покрытого этой непроходимой растительностью, было в старину черкесскими кладбищами, в которых постоянно рылись археологи и просто любители, разыскивая всякого рода старые вещи. Раскопки эти давали довольно скромную добычу в виде разного рода глиняных кувшинов неизвестного назначения и обломков перержавевших и обратившихся в труху мечей и сабель. Могильная утварь поценнее в виде фарфоровых изделий редкой красоты и окраски в изобилии продавалась на геленджикском базаре за бесценок.

Кроме нас с Николаем Ивановичем и исправника, через неделю наша колония пополнилась дядей Бобровским, приехавшим с сыном Юрой. У дяди на Тонком Мысу тоже была своя дача, большая и очень оригинальной постройки, так как он, будучи инженером, сам выстроил её из пустотелого кирпича, бывшего в то время новинкой. Мы с Ивановым жили в имении отца, но не в доме, мрачном железобетонном здании крепостного вида, а в домике управляющего Ивана Григорьевича. Отцовский дом со дня его постройки стоял без всякой обстановки и мебели и в нём ещё никто не жил.

Управляющий, он же сторож и одновременно винодел нашей Евгеньевки, был старый переселенец из Екатеринославской губернии, поступивший к отцу на службу в тот год, когда впервые в имении разбили плантации под виноградники и стали строить дома. За долголетнюю службу у нас он среди местного населения совершенно утерял собственную фамилию, и всеми в окрестности назывался по даче, где жил, Иваном Марковым. С ним

жила его сожительница, здоровенная, как лошадь, кубанская казачка, а при ней состоял братишка, подросток моих лет, белобрысый, конопатый и отчаянный хлопец Сашка, непревзойдённый вор и баловник. Воровал он отнюдь не из нужды или жадности, а по призванию, и не мог, как сорока, видеть ничего блестящего, чтобы его не украсть, будь это серебряный двугривенный или простая пуговица. За два месяца моей жизни в Геленджике мы были с ним неразлучны, и Сашка просто очаровал меня своими разбойничьими достоинствами, высоко расцениваемыми в настоящем мальчишеском обществе. Впоследствии эти способности у Сашки Соколова развились в настоящую свою величину и привели его хотя и к логическому, но преждевременному концу.

В начале августа дядя Бобровский решил перед отъездом домой проехать на пароходе вдоль берега до Батума, и я увязался с ним. Желая отвязаться от беспокойного племянника, которого толстенький и мирный Бобровский прямо боялся, он составил фальшивую телеграмму от имени отца, в которой этот последний будто бы требовал моего немедленного приезда в Покровское. Шутить с отцом не приходилось, и я, не подозревая родственного подвоха, скрепя сердце поехал домой. Только по приезде в Покровское я понял адскую махинацию, которую придумали совместно дядюшка и мой кроткий Николай Иванович, обеспокоенные нашей с Сашкой вольной жизнью и бродяжничанием по горам и лесам. Надо правду сказать, их беспокойство имело под собой серьёзную почву. Экспедиции, в которых я принимал участие в Геленджике в обществе таких же отчаянных подростков, были действительно полны самыми реальными опасностями, так как мы по двое-трое суток шлялись по горам и лесу, подвергаясь холоду и голоду, рискуя свалиться в пропасть или попасться в зубы какому-нибудь дикому зверю. Дома, когда я возвращался из подобных похождений оборванный, голодный, усталый и хромающий на обе ноги, Николай Иванович, не спавший ночи в тревоге, только разводил беспомощно руками и молил Бога, чтобы скорее окончилась его ответственность за такого неудобного и опасного сожителя.

Отец, совершенно хладнокровно относившийся к опасностям и риску, связанным с вольной мальчишеской жизнью, остался очень недоволен поступком дяди, который, по его выражению, «сам давно обабился и перестал быть мужчиной». Это было не лишено некоторой правды: детей Бобровских в противоположность нам воспитывали чисто оранжерейным способом, и Юра с Ниной были настоящими салонными ангелами в бархатных платьицах и с завитыми локонами.

С возвращением в родные места осенью 1909 года начался для меня чудесный и незабываемый год, целиком проведённый в деревне на лоне природы в обстановке, с детства милой и знакомой. Эта осень как раз совпала с тем периодом, когда мне было позволено начать самостоятельную охоту всякого рода, к чему мы с братом страстно стремились с детства. Со смертью мамы отец, постаревший и отяжелевший, окончательно перестал садиться на лошадь, что привело к тому, что он охладел и к псовой охоте, которой раньше увлекался, и она целиком перешла к нам с братом в руки. Осенью и зимой 1909-10 года Коля был в корпусе, и я оставался в Покровском единоличным распорядителем всех собак, ружей и лошадей. Этому последнему обстоятельству предшествовал один трагикомический случай, явно сыгравший мне на руку.

Как и все мужчины у нас в роду, отец был очень большого роста и широкий в плечах. Располнев к сорока годам, как и все Марковы, он стал более чем громоздким мужчиной внушительного вида и веса. В упоминаемое время он весил около шести пудов, оставаясь физически вполне здоровым и крепким человеком, отнюдь не чувствующим приближения старости. Это сыграло с ним однажды плохую шутку, когда, собираясь на охоту с борзыми, папа почему-то разгорячился и совсем по-молодому вскочил в седло, не учитывая своего веса. Кабардинский конёк под ним, видная и крепкая лошадка, не ожидавшая от своего седока таких энергичных действий, не выдержал сразу придавившей его тяжести и позорно завалился на бок, придавив при этой оказии ногу отцу. Мрачный, как туча, отец поднялся с земли, прихрамывая, ушёл в дом, и с тех пор уже ни разу не садился в седло.

Кучер, кум мой Алексей, был очень доволен, что я в этот год не ехал «на учёбу» и должен был составлять ему общество на охоте вместо грозного барина. Охотничье нетерпение не позволило нам с ним дотерпеть до законного срока охоты, и мы выехали с ним впервые в поле, кода с полей ещё не были убраны копны. Надо правду сказать, вина в этом всецело лежала на Алексее, который, не выдержав искуса ожиданья, иезуитски предложил мне в конце августа поехать промять собачек, как он выразился «не то что на охоту, а так, на проездку».

Было ещё очень жарко в этот день, и мы, затравив к обеду двух зайчишек, шагом тянулись по жнивью по голому, как ладонь, полю. Собаки, высунув от жары язык, едва брели сзади без своры, как вдруг случилось весьма неприятное происшествие. Среди борзых, бывших с нами в этот день, находился могучий старый кобель Пылай, горячая и уже немолодая собака. После двух гонок он устал и страдал от палящего солнца; с унылым видом, опустив голову, шёл не во главе стаи, а плёлся сзади всех. Мы были среди глухой степи вдали от всякого жилья, когда Пылай, окончательно отставший, стал, повизгивая, ложиться на землю и наконец совсем лёг. У него отнялись задние ноги, и, несмотря на все наши совместные усилия его поднять, собака оставалась лежать, глядя на нас печальными глазами, и у неё открылся кровавый понос. Полагая, что у Пылая солнечный удар, мы с трудом взвалили его на шарахающегося коня Алексея и шагом отправились искать какого-нибудь ключа или лужи. Только через час нам удалось разыскать в овраге ручеёк, в который мы и свалили уже едва подававшего признаки жизни кобеля. Он на минуту ожил от свежести, глотнул раз или два воду, но после этого сразу вытянулся и издох. Пришлось оставить его труп на месте, где он околел, и вернуться домой, ожидая справедливого отцовского гнева. Пылай был его любимой собакой, а наша вина была очевидна, так как никто с борзыми в жару на охоту не ездит.

Дня три прошло благополучно, но на четвёртый отец хватился Пылая, которого привык сам кормить за обедами. Был немедленно вызван Алексей, и на вопрос отца, где Пылай, он с виноватым видом объяснил нахмуренному барину, что «мы с барчуком намеднись выехали на проездку, а Пылай… стало быть, стал мучиться животом и внезапно поколел-с». Отец, хотя и не мог установить истинную причину смерти Пылая, нам не очень поверил. Посмотрев на мои подозрительно опущенные в тарелку глаза, он нахмурился и многозначительно пообещал: «Смотрите, прохвосты, если что узнаю! Тут что-то не то!» Гроза однако прошла благополучно. А дело могло кончиться очень просто тем, что отцовский ремённый арапник мог прогуляться по нашим спинам. Родитель наш, как кругом говорили, «был барин большого выражения» и очень лёгок на руку как в отношении своего собственного потомства, так и всех остальных прочих своих деревенских подданных.

В этот год мне минуло 16 лет, и мы с братом уже начали сознательно относиться к людям и жизни и воспринимать не только чувствами, но и умом окружающую обстановку родной природы и деревенской жизни, знакомой и понятной с детства.

Сознание того, что в этот год я не должен был, как ежегодно в августе, ехать на учёбу в опостылевший мне город, наполняло радостью всё моё существо. Засыпая в своей комнате, пахнувшей кожей и псиной, мне было так приятно чувствовать и сознавать, что завтра и послезавтра и ещё долго-долго будут такие же светлые деревенские дни среди родных полей и садов. Особенно поэтому хороша мне казалась в Покровском ранняя осень 1910 года − первая осень в моей жизни, которую я переживал не ребёнком, а сознающим и чувствующим юношей.

Старый сад наш насквозь был полон запахом свежих яблок. У шалаша сторожа на свежей соломе лежали груды яблок краснобоких, жёлтых и матово-зелёных знаменитой курской «антоновки». На днях − праздник Спаса, и яблоки повезут в Покровское. Толпа деревенских мальчишек и девчонок, босоногих, в разноцветных рубашонках, обсела, как стая воробьёв, ворох с бракованными и прелыми яблоками-падалками. Кто из них принёс копейку, кто пяток яиц, кто отчаянно пищащего голошеего цыплёнка. Падалки поступают по обычаю в собственность сторожам сада, и все доходы с ребячьего аппетита идут в их карман.

Уже чувствуется в воздухе осень. Поредело в саду и лугах. Клён обсыпал садовые дорожки яркими звёздами своих листьев. Забурел лист и на яблонях, по густым зарослям вишняка словно брызнуло сединой. Сухо и ясно в воздухе. Никогда не выглядели так красиво сады и рощи, переливаясь всеми оттенками цветов, никогда так не бывали дороги, как этой осенью, последние запоздалые остатки замирающей природы. Красные гроздья рябины, алые ягоды шиповника, калины и барбариса горят ярким пламенем среди потускневшей осенней зелени. Наступает подлинная красная осень.

Улетают из садов птицы: иволги и горлинки. Редко увидишь уже какую-нибудь одинокую запоздалую птицу. Есть что-то трогательное и печальное в осеннем пейзаже. В пруду, на реке вода особенно чиста и прозрачна, как жидкий хрусталь. А дали… Словно это не знакомые дали родных мест − всё там туманно-голубое, мягкое, ласкающее. Видны места, которых давно не было видно за стенами зелени и листвой деревьев. Светло и широко в поле, и пусто. Курятся в жуткой дали степей дымки пастухов, по жнивьям бродят кое-где стада овец. Жизнь людей ушла с полей к деревням, огородам, гумнам.

Во время поездок по родным местам в конце лета или на охоте осенним утром, когда приходилось ехать в одиночестве по невообразимым полям, вдали от всего чужого и городского, обаяние беспредельной родной равнины, с её наружным однообразием, со всей простотой её обстановки, с её несокрушимой мощью, со всеми её горестями и радостями, владело мною неудержимо, до слёз. Чувство родины, чувство России охватывало и пронизывало насквозь душу. Нигде потом никакая красота природы не вызывала во мне ничего подобного. В безлюдье поля, в шуме осеннего ветра, в синеве бледного неба стояла перед глазами у меня вся Русь.

Мы, выросшие в усадьбах дети поместного дворянства, потомки длинного ряда предков, плотно и твёрдо сидевшие на этой земле веками, понимали здесь кругом себя каждую подробность, всякий оттенок жизни. Знал и я, откуда и зачем всё это, что там, за этой синей далью, что здесь, в омертвевшем для постороннего, но в полном жизни для меня поле. Лошадёнка встречного мужика, лохматый и пузатый «мышь», имела в моих глазах знакомую и вполне понятную с детства физиономию, её верёвочная сбруя, её соломенное брюхо, – всё смотрело своим родным и привычным. Родной казалась и телега с окаменевшей грязью на спицах, родным и знакомым был и сидящий на ней русый мужичок в армяке. Для него я был тоже давно привычный «наш барчук», как были для его дедов «своими спокон веков» мои отцы, деды и прадеды. Для моей мысли деревенского барчука не оставалось в окружающей меня среде ничего недосказанного, неуяснённого. Тепло и нежно отражался в душе невесёлый для других, родной для меня пейзаж. Он жил в душе, давно в ней укоренился, прежде чем детская мысль стала понимать и разбираться в том, что было кругом…

Псовая охота в наших местах, как, вероятно, и везде, начинается в первые дни сентября и кончается с наступлением сильных морозов, когда замерзает не покрытая снегом земля. Поэтому до начала охоты с борзыми наступает сезон ружейной охоты, которая открывается обыкновенно сейчас же после Петрова дня, т.е. 29 июня. Моим верным и неизменным спутником в этом деле был ровесник и закадычный друг, молодой крестьянский парень из Покровского Алёша Самойлов, по прозванию «календарь». С началом осени, несмотря на все побои отца и старших братьев, он немедленно бросал всякую работу и пропадал с самодельным ружьишком в лугах и полях по целым неделям.

Всякая водоплавающая дичь, как бекасы, утки, кроншнепы, водяные курочки и лысухи, водились во дни моей молодости вдоль течения нашей реки и в заливных ею лугах в изобилии. По реке Тиму на многие десятки вёрст тянулись сёла и деревни: Липовское, Заречье, Покровское, Красная Поляна, Толстый Колодезь, Карандаково и др. Каждая из этих деревень была окружена заводями и камышами, где главным образом и протекали наши охотничьи деяния. Самым добычливым и любимым местом нашим считались обширные мокрые луга между сёлами Покровским и Карандаковом, заросшие камышом и ивовыми кустами, носившие имя «Широкого места». Здесь по утренним и вечерним зорям были

утиные перелёты, а среди дня можно было, не спеша, стрелять в заводях уток и куликов, уж не говоря о водяных курочках и прочей мелочи.

Друга моего Алёшу тянуло в эти места не столько изобилие дичи или прелести природы. Здесь над уютным заливчиком реки, окружённая бахчой и огородами, стояла одинокая избушка старухи-шинкарки. Старуха, пользуясь отдалённостью своего жилища от всяких сельских и полицейских властей, тайно промышляла продажей водки, до которой мой приятель был великий охотник. В воскресные дни сюда забирались группы деревенских парней, которые выпивали у божьей старушки на вольном воздухе и проводили день и часть ночи в играх и песнях.

Старуха получала от своего незаконного промысла кое-какой доходишко, так как не только существовала на него сама, но и содержала целую кучу внучат. По старости, слабости зрения или хитрости, она никогда никого в лицо из своих клиентов не узнавала, а потому, прежде чем получить у бабуси бутылку водки, приходилось с ней всякий раз вступать в долгие объяснения, дабы доказать чистоту своих намерений. Баба незнакомых людей опасалась, подозревая в каждом новом лице тайного агента акцизного ведомства, с которым у неё были плохие отношения.

Вечером, когда солнце садилось и кончался утиный перелёт, Алёшка неизменно находил причину, чтобы наша компания оказалась недалеко от избушки этой шинкарки. После некоторых пререканий, так как мы с братом водки не пили, Алёша, добившись своего, тихо подходил к избушке на курьих ножках и стучал в окно. Из окна немедленно выглядывала бабка, и у неё начинался с Алексеем один и тот же разговор, всегда возбуждавший наше веселье.

− Бабушка, – вполголоса таинственно начинал парень, – нельзя ли нам полбутылочки?

Бабка, испуганно оглянувшись и подозрительно вглядываясь в своего собеседника, неизменно отвечала:

− Что ты, окстись, голубь! Кака така у меня водка? Окромя квасу, нету и припасу.

− А ты, бабуся, нам и дай квасу, только с красной головкой.

− Да ты что, анчибал? Шутки со мной шутишь, што ли?!

− Да ну, дай, бабушка! Аль ты меня не признала? Я же у тебя сколько разов водочкой разживался.

После этих слов бабка как будто смягчалась:

− Да ты кто такой будешь? Я что-то, сокол, тебя не угадываю.

− Да что ты, бабка, кажинный раз камедь разводишь, – сердился в свою очередь Алёшка. – Как так не угадываешь, ежели я с барчуками у тебя кажинную неделю выпиваем и закусываем, а ты − «не угадываю»!

− А ить верно баишь, яхонт мой. Верно, и выпивал, и закусывал, – смягчалась наконец бабка. − Ну, так заходите, заходите, ребятки, только на деревне глядите не сказывайте, а то стражник, чума его удави, толстая харя, и так уж на меня глазами сверкает. Ну, да что с меня старухи взять? Нечего! Да вот и барчуки, пошли им Господь здоровья, в случае чего бабку в обиду не дадут, ась?!

На бахче Алексей хлопотливо разводил костёр, бабушка нам жарила яичницу с салом и откуда-то из-под лопухов огорода таинственно под фартуком приносила полбутылки водки, которая немедленно поступала в полное распоряжение «юнкаря». Было так хорошо и спокойно сидеть у костра во мраке тёплой летней ночи и слушать её голоса и многоголосый хор лягушек, старавшихся в лугах и заводях. Здесь же у старухи мы и ночевали в уютном закутке на сене, чтобы на заре, поёживаясь от утренней сырости, встать к утреннему перелёту.

Ездили мы с братом и Алексеем за утками и на Шилов пруд. В этом случае на ночёвку всегда останавливались у старшины села Мансурова – Морозова. Дорогу в Мансуровку я особенно любил потому, что шла она сплошной безбрежной степью вёрст 15, и кругом беспрерывно, насколько хватал глаз, расстилались бесконечные поля.

Здесь начиналась древняя степь, то самое Дикое поле, которое от реки Кшени шло на юг, вглубь половецких степей. Здесь приходилось нам переезжать поперёк исторического пути. Это был тянувшийся в Крым, знаменитый, одиннадцатисаженный в ширину, обсаженный дуплистыми вербами, Татарский Шлях, по которому столько раз из степей наводняли соломенное и лыковое Московское княжество орды Батыя и Тохтамыша. Широкая полынная «проседь, истоптанная конскими копытами и всегда задёрнутая текучим маревом степи…». На этом шляху мы однажды встретили цыганский табор из десятка рваных, закоптелых кибиток, неизвестно куда и неизвестно откуда ползущих по мягкой пыли дороги. Вокруг беспорядочной толпой шли цыгане, цыганки и голые черномазые ребятишки. Оборванная красивая девка прокричала нам что-то на ходу, неразличимое за дребезжанием дрожек. И так гармонировал этот кочевой табор с древней степью и шляхом, что я ещё долго оглядывался на него, пока цыгане не скрылись в жарком мареве.

Когда в этот день уже к вечеру мы подъезжали к Мансурову, с горы открылась вся панорама долины Кшени с привольными лугами далеко вокруг, с огромным светлым прудом и крестьянскими хатами среди вётел. Собиралась гроза. На горизонте над полями палила сухая молния, редкие раскаты грома давили землю. Над камышами, раскрылатившись, парил коршун, которого с криками преследовали чайки. Туча, дыша холодом, шла вдоль реки с запада. По деревенской улице, вдоль которой бодро стучали колёса наших дрожек, поднимая пыль, хлопали ставни, на выгоне колыхался серый столб смерча. Дорогу уже засеивали первые капли дождя, когда мы подъехали к избе Морозовых.

Сам старшина стоял на деревянном крылечке в синей жилетке поверх ситцевой розовой рубашки и смотрел на нас, защитив глаза от солнца. «Вовремя, барчуки, поспели, ещё бы немножко и прихватил бы вас дожжик. Здравствуйте, милости просим!» – сказал он солидно и с достоинством, протянув нам руку. «А ты, паренёк, – обратился он к Алёше, почтительно снявшему картуз, – заводи лошадь под сарай, да приходи потом в дом». Из сенцев, прохладных и чисто выметенных, по земляному полу пахнуло навстречу запахом перекисших хмелин из бадьи с квасом, накрытой доской. С потолка свисали мохнатые хвосты полыни и богородичных трав, дававших густой и приятный дух.

По случаю приезда гостей к ужину, кроме хозяина, сели только два старших сына Морозова, парни лет по двадцати, очень похожие друг на друга и одетые в одинаковые опрятные чёрные пиджаки и высокие сапоги. Выглядели они, как и отец, сыто и независимо, чувствовалось, что Морозовы в своей среде занимают прочное и почётное положение состоятельных мужиков, которым не перед кем и не за чем заискивать. Мне всегда нравилась эта дружная и рабочая семья, несмотря на вполне достаточную жизнь, не стремящаяся оторваться от деревни.

Из-за дождя спать нас положили не в сарае, как всегда, а в самой хате на полу. Ночью я проснулся и с удовольствием убедился, что гроза прошла и утренней охоте не помешает. Хата была наполнена дыханием спящих. На полу, перерезанная крестом оконного переплёта, золотая дрёма лунного света. В углу тусклый глянец серебряных икон под расшитым полотенцем. Над детской скрипучей люлькой в соседней каморке на пологе тягучий гул потревоженного роя мух.

Охота утром оказалась удачной, и к вечеру мы приехали с пруда с целой грудой уток. Очень хотелось нам с братом провести на пруду ещё один день, но пришлось уступить просьбам Алексея, который чисто по-детски стремился домой в Покровское, где на другой день по случаю «престола» должна была быть годовая ярмарка. Традиции в нашем спутнике были настолько сильны, что на все наши недоуменные вопросы, на что ему понадобилась эта ярмарка, и даже насмешки, он заявил категорически, что в случае нашего отказа вернётся домой пешком. Этого, конечно, из чувства товарищества мы допустить не могли, пришлось уступить.

Хотя престольный праздник Покрова Богородицы был только завтра, но ярмарка была трёхдневная и потому началась накануне «престола». Когда мы к обеду въезжали в Покровское, в селе уже чувствовалась праздничная атмосфера. Над деревней со всех концов

неслись песни девок, водивших «карагоды». По обычаю мужчины в трезвом виде не должны были унижаться до песен − они в наших местах являются исключительно женской монополией. К сожалению, надо признаться, что в песнях крестьянства Щигровского уезда нет почти никакой мелодии, слова неясны и неразборчивы, и в хороводах, где всегда поют несколько голосов, слышен один сплошной ноющий напев, что-то вроде «ой-ле-ле», ведущийся очень высокими голосами. Невесел этот старинный плачущий мотив, тягучий и тоскливый, как одичавший в безлюдье, заросший подорожником степной шлях.

Пока мы узкими проулками, среди плетней и хат пробирались к деревенскому выгону, куда всеми помыслами стремился наш дурашливый Алёшка, я с удовольствием и тёплым чувством старого знакомого оглядывал с детства привычные крестьянские хаты и службы. В каждом дворе, обнесённом покосившимися плетнями, как мне казалось, шла своя, обособленная от остальных, интересная и полнокровная жизнь. Подъезжая к дому, Алексей из охотничьего хвастовства выложил себе на колени и обвешался кругом убитыми птицами. Ребятишки меж плетнями разглядывали в упор с беззастенчивым звериным любопытством барчуков и покрытого пухом «юнкаря», вслух делясь впечатлениями об утках и «ружжах».

На площади села − обширном зелёном лугу за пожарными сараями, где рассыхались с обломанными оглоблями пожарные бочки, − краснела железная крыша волостного правления, опрятного кирпичного домика, выкрашенного белой известью. На крыльце его виднелась солидная фигура старшины Лутовинова, пьяного с утра по случаю праздника и теперь важно о чём-то рассуждавшего с почётными стариками. На выгоне на горке вокруг церкви уже дыбились задранные оглобли телег, визжали злыми голосами лошади и сновал народ. Около кладбищенской ограды раскинули свои полотняные шатры и балаганы приезжие из Щигров торговцы разной мелочью и «красным товаром». Вокруг кучились оравы празднично разодетых ребятишек в режущих глаз ярких и пёстрых рубашках. Негустая ещё толпа сновала и гомонила кругом, мелькая рябью бабьих платков. На прилавках торговцев широкой россыпью были разложены ситцы самых неожиданных красок на все возрасты и вкусы, весёленькие для молодых и «сурьёзные» для стариков. Вечером из усадьбы в воздухе было слышно, как в топоте пляски гудела улица, и из Заречья и Удерева неслись звуки песен и гармошки. Только поздно ночью начало мало-помалу успокаиваться деревенское веселье, и постепенно замолкали песни на окраинах села.

В день престольного праздника мы всей семьёй во главе с отцом ездили в церковь и прошлись по ярмарке среди уже хлебнувшего народа. Отец, здороваясь направо и налево и заговаривая со знакомыми, снимавшими перед ним шапки, прошёл площадью в гости к священнику. «Отпив» чай у попа, весёлого могучего богатыря с окладистой бородой, счастливого отца двух огромных богословов, говоривших густыми семинарскими басами, он тем же торжественным порядком, весьма утешавшим Марию Васильевну в её двусмысленном положении, вернулся в усадьбу, где стояла особенная праздничная тишина.

День престольного праздника начался с того, что с «визитами», как торжественно выражалась Мария Васильевна, к ней один за другим явились поп с попадьёй, две учительницы и старик учитель Сергей Иванович, отрывавший уши у моих деревенских приятелей и теперь пришедший пешком в чёрном сюртуке и крахмальной манишке.

Мёртвая тишина, стоявшая над всегда шумной усадьбой, в праздники действовала на меня удручающей скукой. Выйдя на широкую, сплошь заросшую на два этажа диким виноградом террасу над прудом, я даже изумился безмолвием, охватившим имение. Молчала вечно стучавшая мельница, не было слышно голосов работников, не слышно было ни стука колёс, ни конского ржанья, молчали и сытые собаки, забившись по укромным местам. Тихий в полуденной дремоте лежал, не шелохнувшись, пруд в едва заметной дымке осени. В воздухе кругом, цепляясь за кусты и заросли сирени, летали длинные паутины «бабьего лета». Вдруг из воды перед верандой с шумом и плеском, нарушая звенящую тишину полдня, вырвался аршинный, словно вылитый из серебра карп, со стоном подпрыгнул вверх и ударился об воду, всколыхнув гладь пруда. У берега, где мочили свои ветки ракиты, одновременно выпрыгнули, разводя круги, два других; третий поменьше, взвиваясь в

воздухе раз за разом, бился под берегом. Тихая осенняя картина природы напомнила мне, что я остаюсь осень и зиму дома, а брат завтра едет в корпус. Мне его стало жалко, хотя нежности были у нас не в ходу.

В комнате Коли густо пахло псиной и подсохшими звериными шкурами; сеттер брата, как всегда, сидел на полу и преданными глазами следил за хозяином. На столе валялись в художественном беспорядке чехлы от ружей, ягдташи, пустые и набитые патроны и разная охотничья утварь. У двери, опершись о косяк головой, стояла горничная Маша и любящими и преданными, совсем как у сеттера, глазами молча смотрела на Николая. Брат, нахмурясь, смазывал и чистил свою двустволку, собираясь её уложить под замок до рождественского отпуска. Как заядлые охотники, мы не позволяли другим брать наше оружие и, уезжая, обязательно запирали его на ключ.

На другой день после праздника и отъезда Николая в корпус в Покровском вспыхнул сильный пожар. Огонь, несомненно, заронила где-нибудь в солому или сено пьяная рука непроспавшегося после гулянки парня. Почти всегда деревенские пожары случались в такие дни, когда с похмелья мужики тыкали непотухшие спички или цигарки куда попало. Горели окрестные деревни по нескольку раз в год. Да и не могли не гореть там, где скученно лепились одна к другой деревянные избы, крытые сухой соломой, где среди деревянных же плетней и сараев круглый год стояли соломенные и сенные скирды, где столько легко воспламеняющегося и горючего материала было сосредоточено на небольшой площади.

На случай пожара, страшного бедствия русской деревни, земство и крестьянское самоуправление при каждой волости содержали пожарные трубы и бочки, которые, как назло, в момент катастрофы оказывались, по крестьянской нерадивости к общественным делам, испорченными и рассохшимися. У нас в усадьбе на случай пожара в каретном сарае стояли всегда две пожарные машины, легко переносимые на телегу. Чтобы они не портились от бездействия летом, ими в жаркие дни поливали цветники и сирень кругом дома. Во время же деревенских пожаров эти машины, или, как их называли, «трубы» выезжали на помощь. Неписаные традиции требовали, чтобы на пожар выезжали и скакали конными и на телегах все наличные силы усадьбы, так сказать, способные носить оружие, во главе с барином и, уж конечно, с барчуками, не упускавшими подобного героического случая.

На этот раз событие началось с того, что со стороны села вдруг поплыли протяжные и тревожные звуки колокольного набата старой церкви. При первых звуках его ребятишки и мужики помоложе загремели ногами по железным крышам усадебных служб, вглядываясь в вершины деревьев, чтобы определить направление пожара. Над густой зеленью мельничного сада стоял бледно-красный при дневном свете огненный язык, тихим и прямым столбом поднимавшийся, чуть колеблясь, над заречьем.

Через пять минут пожарный обоз со звоном и грохотом копыт и колёс, с криками и ругательствами вынесся из ворот усадьбы в облаке пыли и скрылся за поворотом. Запряжённые в лёгкую телегу на железном ходу лошади, чувствуя человеческую тревогу, мчались как угорелые, и даже коренник, нахлёстываемый со всех сторон, шёл вскачь наравне с пристяжными. Сзади оглушительно тарахтели по сухой дороге три бочки и телеги с баграми, с кучей народа, уцепившегося за что попало. Человек десять верховых неслись прямо по полю, гремя вёдрами, размахивая вилами и топорами.

Когда с грохотом и звоном на хрипящих взмыленных лошадях наш обоз влетел в горящую улицу, пожар был в разгаре. В боковой улочке села с тесно набитыми друг на друга избами и дворами под сплошным соломенным морем сараев и амбаров пылал один огромный костёр, к которому страшно было подступиться близко. Кругом его был тоже только один горючий материал: солома, хворост и сухое дерево, − никаких промежутков, ни садов, ни дворов, ни полян. Один громадный костёр, составленный из сотен мелких, чтобы, как в насмешку, никому нельзя было увернуться и избежать общей участи. Жалко было видеть, как на борьбу с бедствием спешили верхами на своих клячах мужики, видевшие издали, как огонь пожирал и обращал в прах все труды их, все запасы многих поколений.

На широкую зелёную улицу перед пожарищем сыпались искры и целые шапки горящей соломы, несомой по ветру. Сползали целые пласты соломенных крыш, захваченные пламенем, телеги и сани под навесами горели как дрова. «Воды, воды, подлецы, сукины дети! – заревел ещё на ходу отец чёрной толпе народа, окружившей пожарище. – Бочки везите, вёдра! Или, мать вашу так, не видите?! Не стойте − всё село сгорит!» Толпа, ошеломлённая несчастьем, сразу очнулась от неистового барского мата и шарахнулась во все стороны, исполняя приказание.

Спасать две горящие избы было всё равно поздно, надо было не допустить огня к соседним дворам, крыши которых уже дымились от искр и близости пламени. Их-то и стали мы окатывать водой из привезённых машин. Кучки мужиков и парней, столпившихся у рукояток «труб», беспрерывно сменялись, качая воду, как бешеные. Народ, стоявший на соседних крышах с вёдрами и мокрыми веретьями, захлебнувшись под струями рукавов, весело посыпался с крыш. Отец, я и толпа рабочих и мужиков, не покладая рук, бросаясь то туда, то сюда с бочками и трубами, поливали водой и растаскивали баграми дымящиеся брёвна и целые плетни. Несколько раз приходилось всем бросать работу и отскакивать назад, спасаясь от падения горящих балок и стропил.

В тёплых клубах раскалённого дыма над деревней вместе со снопами огненных искр в просветах неба кружились обезумевшие голуби. С глухим шумом и треском провалились крыши горевших изб, и под потоками воды из чёрных обгоревших стен через зияющие окна хлынул белый густой дым затихавшего пожарища.

Оставив спутников растаскивать обгоревшие остатки погибших хат, я, закопчённый, потный и усталый, выбрался из толпы, чтобы вздохнуть чистым воздухом на выгоне. Здесь было тихо и безлюдно, горевшее село точно вымерло. На площадь в беспорядке мужики стащили всё добро из сгоревших дворов: бочки, кадки, деревянные кровати, плетушки с наседками. Около кучи вещей и какого-то тряпья была привязана на цепь белая лохматая собака. В решете, стоявшем на треногом стуле, свернувшись клубочком, крепко и сладко спал белый котёнок. Время от времени из проулка к реке с отчаянным гиком и свистом вылетали мокрые бочки, брызгавшие водой во все стороны, нёсшиеся, не разбирая дороги, через разбросанную рухлядь, опрокидывая кадки и лавки, и мчались к месту пожара. Над деревней среди затихшего гула пожара теперь яснее были слышны крики мужских голосов и причитание высоких бабьих речитативов, воющих у догоравших дворов. Пожар окончился без человеческих жертв, и только один из хозяев сгоревших двух хат сильно обжёг себе руки, спасая из пылающего дома своё добро.

Усталые и мокрые возвращались мы шагом в усадьбу, вполголоса делясь впечатлениями. Дома дамы долго и подробно расспрашивали нас о пожаре. Утром к отцу пришли двое погоревших крестьян, с которыми он долго говорил, запершись у себя в кабинете. Сам деревенский хозяин, отец считал своим долгом не только лично от себя помочь погорельцам, но и неизменно добивался для них помощи земства. У ворот погоревших мужичков встретила кормилица Дуняша и вручила им груду медной и серебряной монеты, собранной среди населения дома. Высокий, одетый, несмотря на лето, в бараний тулуп мужик с лицом угодника молча снял шапку и, спокойно взяв монеты в замотанную белой марлей руку, пересыпал их в холщовый мешочек. Лица его и спутника были спокойны и бесстрастны. «Ничего не поделаешь − Божья воля!» – вздохнул им вслед чей-то бабий голос.

С наступлением сентября, а с ним и первых осенних дождей, началась настоящая охота с борзыми. По будням отец не позволял мне надолго отлучаться от дому, так как я должен был готовиться к весенним экзаменам в корпус. Для этого был приглашён репетитор − студент Харьковского университета, грузин по происхождению. Яшу Стечкина отец, вопреки обещанию, к нам больше не приглашал, несмотря на все мои просьбы и даже слёзы. Как я подозревал, это случилось вследствие происков Марии Васильевны, которая не хотела видеть в доме человека, бывшего свидетелем её позорного изгнания.

Зато по воскресеньям и праздникам ещё в полной темноте до рассвета кучер

Алексей тихонько стучал ко мне в окно. Быстро одевшись в полушубок или поддёвку и высокие сапоги, я, стараясь не шуметь, выходил из спящего дома и, вздрагивая от сырости, шёл в конюшню. Накрапывал мелкий ровный осенний дождик, и предутренний ветер гнал по тёмному небу низкие серые тучи. Над тёмными силуэтами усадебных построек ещё стояла сырая и холодная ночь, кругом был серый мрак, и только в полуприкрытую дверь конюшни виднелся слабый свет лампы. В полутьме там двигалась длинная тень Алексея, седлавшего стучавших копытами по земляному полу, фыркающих лошадей.

В конюшне тепло и приятно пахло навозом, кожей и лошадиным потом. Из глубины её шёл ровный хруст жевавших корм лошадей. Редкие постукивания копыт по дереву и позванивания удил были единственными звуками среди ночного молчания. На огромном, до потолка конюшни, ворохе светлой соломы у входа лежали борзые, то свернувшись туго кренделем, то на боку, нежно потягиваясь. Все они нервничали, как всегда перед охотой, и следили блестевшими в темноте глазами за людьми. Поминутно какая-нибудь из собак вскакивала, садилась на четвереньки, зевала и снова укладывалась, повернувшись несколько раз вокруг самой себя. Всё это сопровождалось рычанием соседей, каждый раз прекращавшимся после окрика Алексея. С самого верха соломенной горы ко мне в три прыжка соскочила моя любимая красавица Ласка и, загремев ошейником, легко поднялась на дыбы, стараясь лизнуть в лицо.

С Алексеем мы почему-то говорили вполголоса, и только стук копыт и звон стремян были единственными звуками, доносившимися из конюшни. Сонный кучерёнок открыл перед нами ворота, и сначала я, а затем Алексей, окружённые стаей собак, выехали на двор по деревянному настилу. На улице нас охватило сразу ощущение непроглядной тьмы и мокроты холодного погреба. Не привыкшие к темноте глаза ничего не различали на вершок от собственного носа. Над мокрыми вершинами деревьев, окружавших усадьбу, едва проглядывала светловатая полоска неуютного осеннего утра. Под ногами коней тяжко захлюпал раскисший от недельного дождя жирный чернозём дороги. Пока выезжали из усадьбы в поле по широкому проезду между двумя чёрными стенами деревьев, глаза постепенно стали различать предметы и, в первую очередь, шею и уши лошади. Когда, выехав на большую дорогу, мы остановились, над полями стояла мёртвая тишина, и лишь слышался ровный шум мелкого, но частого дождя. «Ну, что ж, кум, куда сегодня поедем?» – спросил я Алексея, сошедшего с лошади и собиравшего на свору собак. «Да должно… надо возля тимского рубежа тронуться, говорили мне надысь возчики, что спирт везли, что видали они двух лисиц над оврагом».

У обыкновенного человека, почему-либо попавшего рано утром в осенние мокрые поля, сожмётся сердце от печальной и унылой картины готовящейся к зиме природы. Бесприютно и жутко в чёрном осеннем поле тому, кто его не знает. Сырой тусклой пеленой придавили тёмную мокрую землю низкие облака, скучно и близко несущиеся над головой. Едешь в степи, не глядя на небо, и тебя охватывает и наполняет лишь один шумный и неуёмный ветер осени. Гудит беспрерывно в ушах без устали, выдувая из головы все мысли и возбуждая тоску.

Не то чувствует осенью псовый охотник. Осень, грязная и мокрая, лучшая пора для охоты с борзыми, и из всех времён года я люблю именно такую дождливую и сырую осень, с которой навсегда связаны в памяти жгучие ощущения звериной травли. Укутавшись в бурку, едешь без дороги поперёк нескончаемых мокрых полей вдали от всякого жилья, и в ушах гудит несмолкаемая песня ветра, под которую вместо уныния проникаешься терпкой и суровой бодростью. Ноги коня то легко ступают по жнивью, то тяжело разъезжаются по жирной пахоте. Поматывая головами и фыркая, поднимаются кони на пригорок. На тугом натянутом ремне своры, позванивая кольцами ошейников, рысят собаки, расчётливо и легко перепрыгивая препятствия. Вдали в сетке дождя виднеется конная фигура спутника с широким серым пятном у ног лошади. Мы ищем зверя в «наездку». Охота эта заключается в том, что охотники, разъехавшись на десятину друг от друга, шагом двигаются по одному направлению, осматривая все подозрительные ложбинки, межи, кусты и бурьяны, где может

залечь заяц. Подъехав к такому месту, охотник арапником или криком заставляет зверя сняться с места и травит его затем собаками.

До оврагов мы доехали в полчаса. Алексей двинулся по верху балки, лохматой от бурьяна, я − по низу, осторожно вглядываясь в размытые вешними водами днище и бока оврага. Сквозь стальную синь голого и редкого дубняка, росшего на склоне балки, была видна мне чёткая, точно вырисованная тушью на сером фоне, фигура Алексея и его коня. «Береги!» – точно ружейным выстрелом рявкнул он и тяжело поскакал вдоль оврага. Под гору, скользя по грязи, быстро спускалась по склону буро-красная, с пушистым хвостом лисица. Легко перемахнув через промоину, она кошачьими прыжками понеслась вдоль оврага. Я закричал собакам и спустил их со своры. Сбоку по склону, охватывая широкой подковой лисицу, неслись под гору Алексеевы борзые, отрезая зверя от леса, видневшегося в конце балки. Сам кум, не спускаясь вниз, скакал по верху оврага, его конь, утопая в размокшей пахоте, далеко разбрасывал задними копытами жирные комья земли.

Лисица, вильнув под носом у собак, неожиданно выскочила из оврага и скрылась из глаз за его краем. Когда на тяжело хрипевшем Черкесе я выбрался наверх, лисичка красной полоской мелькала по пахоте. Сливаясь с землёй, плыли за ней в бурьянах собаки, а далеко сзади, полосуя арапником коня, скакал Алексей. Глаза застилали слёзы, уши резал свист рассекаемого ветра. Вспотевший конь остро вонял потом. Пока я добрался на покрытом клочьями пены Черкесе до кустов березняка, ни лисицы, ни собак уже не было видно. Земля вязко налипала на копыта, брызги грязи выпачкали с ног до головы лицо, одежду и лошадь.

Проехав шагом лесок, я, к своей радости, увидел среди жнивья спешенного кума, нагнувшегося над тесной кучей собак, звездой толкавшихся на месте. Потный и красный Алексей, ведя в поводу дымящегося коня, встретил меня с торжествующей широкой улыбкой. Он держал высоко за задние ноги затравленную лисицу с загнувшимся на сторону пушистым хвостом. Кругом лежали и стояли борзые, тяжело дыша, далеко вывалив красные языки.

Осень 1909 года, проведённая дома, оказалась добычливой, и мы редко возвращались домой без трёх-четырёх затравленных зайцев или лисицы. Лисы в наших безлесных местах живут и выводят молодых обыкновенно по степным оврагам, где на склонах на недосягаемой для вешних вод высоте роют глубокие норы. На много вёрст кругом, конечно, нам были знакомы все лисьи норы, так как они служат постоянно многим поколениям и очень редко покидаются зверем. Одна такая нора была на нашей земле в небольшом, заросшем травой и кустами, ложке верстах в трёх от усадьбы. Летом, когда в норе этой жили лисята, я, мальчиком, целыми днями мог лежать в кустах с подветренной стороны, со жгучим интересом наблюдая за тем, как у выхода норы развивались и играли малютки, милейшие существа в мире. Грация их и прелесть не поддаются никакому описанию. Мать днём по большей части была всегда в отлучке, добывая пищу своему прожорливому потомству. Надо признаться, что выполняла эту задачу она более чем успешно, так как перед жилищем этого очаровательного семейства зловонье и грязь от всяких остатков гниющей пищи была несусветная, и по этому признаку охотники безошибочно могли определить, обитаема нора или нет.

В большинстве случаев лисьи норы имеют по нескольку выходов, или так называемых «отнорков», но бывает, хотя и редко, что выход один, и тогда такая нора всегда обитаема. Дело в том, что единственная причина, которая может заставить лисицу покинуть гнездо, это гибель семьи. Норе с несколькими выходами всегда грозит опасность этого несчастья, так как мальчишки ближайших деревень никогда подобную нору не оставят в покое без того, чтобы не попытаться выкурить из неё лисенят летом. Для этого у одного из выходов они разжигают костёр из сырого горючего и дым, благодаря сквозняку в норе, проникает в гнездо. Старые лисицы и даже подростки чрезвычайно выносливы, и выкурить их из норы почти невозможно. Малютки же дыма совершенно не выдерживают и, вылезая полузадохнувшимися, попадают прямо в руки не знающих жалости ребят, или же умирают

от удушья в норе, не успев вылезти.

Однажды я, придя по обыкновению к выше упомянутой норе, чтобы порадоваться на грациозные прыжки и невинную игру лисеняток, нашел у входа их маленькие пушистые трупики и залился над ними горькими слезами. Драму, имевшую здесь место, мне восстановить было нетрудно, так как при входе в нору лежала куча пепла и обгоревшие ветки. Проклятые мальчишки из соседней Шепотьевки, очевидно, выкуривали лисят, которые держались в норе до предела своих детских силёнок и в присутствии ребят так и не вышли. Потеряв терпение, мальчишки бросили своё занятие и ушли домой, а после их ухода умирающие лисички из последних сил выбрались на воздух, где и умерли от отравления угаром.

Однажды в праздничный день Алексей-кучер повёз свою беременную жену в Щигры к доктору, я также увязался с ними, имея от отца какое-то поручение по хозяйству. Стояли ещё тёплые и сухие дни, поэтому мы выехали на телеге с железным ходом, запряжённой спокойным и сильным орловским рысаком. Путь в город шёл полями через деревни Дурновку и Михайловское и представлял собой обычную степную дорогу с колеями и выбоинами, на которых порядком растрясло нашу бабу, так что приехала она к месту назначения чуть живой.

Щигры, наш уездный городишко, представлял собой один из тех крохотных глухих городков, которых немало в чернозёмной полосе России. Несмотря на то, что он стоял уже более 20 лет на железной дороге из Курска в Киев, население его едва достигало двух тысяч человек, т.е. он был меньше многих сёл своего собственного уезда. Между тем Щигры были административным центром богатейшего уезда Курской губернии, считавшейся по качеству земли лучшей во всей России. Крохотная тенистая речушка, именующаяся полупрезрительным именем Щигорчиха, не спеша, пологим изгибом течёт по городу. Над ней – кое-где редкие, наклонившиеся к воде ракиты, на мостках, сверкая здоровенными икрами, бабы яростно бьют вальками мокрое бельё, звонко перекликаясь друг с другом. На тихой осенней воде гогочут гуси, размахивая белыми крыльями. На берегу в пыльных лопухах и крапиве мирно роются свиньи. На сваях вихрастые босоногие мальчишки удят рыбу. По пустынной широкой площади, где круглый год не просыхают лужи, бредёт красная одинокая корова и, зайдя в речку напиться, смотрит на стучащую по мостику нашу телегу, задумчиво пуская слюни.

Посередине города на площади по нескольку раз в год шумит ярмарка вокруг местной достопримечательности – огромной и глубокой лужи, по которой даже в июльскую жару плавают утки. В старые николаевские времена жители, по рассказам стариков, промышляли тем, что за хорошие деньги вытаскивали из грязи завязшие в ней помещичьи экипажи. Вокруг площади, как полагается во всех провинциях, расположены все присутственные места города и поповка. Здесь же живут по зимам представители уездной аристократии из тех помещиков, которые не покидают для столиц свои родные местности. Среди них наши родственники Рышковы, Бобровские и Шишкины. Здесь же в собственном доме зиму и лето живёт не раз поминавшаяся выше бабушка Валентина Львовна Поликарпова, в доме которой помещается канцелярия предводителя дворянства, т.е. отца.

В Щиграх нам удалось пробыть только до вечера, так как Лукерья собралась родить во что бы то ни стало и потребовала немедленного возвращения домой. Я, уже крестивший её первого сына, должен был стать вторично крёстным их ожидаемого детища, которое появилось на свет в телеге, не доезжая до дому, что не помешало ему оказаться на редкость здоровой и красивой девочкой, в чисто русском стиле. Оба ребёнка Алексея и Лукерьи, белокурые, голубоглазые и румяные, напоминали собой тех детишек, которых была такая мастерица изображать покойная художница Бем.

Осень в наших местах кончается железными сухими морозами. Застывшая в чугун грязь дороги сбивает подковы и перебивает пополам даже железные шины колёс. В это время устанавливается по дорогам так называемая «колоть», когда невозможно выехать ни на санях, ни на колёсах. На бурых полях и овсяных жнивьях начинают попадаться

необычные для русского поля фигуры верховых. Жёсткий холодный ветер, не переставая, дует с севера через пустые почерневшие поля, обивая последний лист, изгоняя последнюю птицу, наводя тоску на душу городского человека. Скотину больше не выгоняют в поле, оно опустело и безлюдно, и только серые бурьяны на межах одиноко колышутся на ветру. Высоко в холодном воздухе тянутся на юг журавли. С мирным жестяным скрипом неспешно машут они своими большими крыльями, вытянувшись друг за другом косым треугольником. По неизменной примете наших мест снег выпадет не позднее Михайлова дня, т.е. к 8 ноября. Пусть даже накануне праздника ещё ездили на колёсах, ночью под Михаила обязательно ляжет зима. Проснувшись утром, повеселевший люд в просветлевшем окне увидит густую пушистую порошу.

С сентября в уезд к нам поставили сотню казаков из 17-ого Донского генерала Бакланова полка, квартировавшего в 1909 году в Курске. Сотня расположилась в селе Красная Поляна в имении Говорухо-Отроков, владелицы которого жили в Петербурге. В помещичьем доме собственно жил командир сотни и офицеры, а казаки были размещены по службам и крестьянским хатам. Офицеры очень скучали в глухом углу и в поисках живых людей как-то сделали визит отцу. Старший из них, есаул Козлов, сухой энергичный человек лет 30, был участник и герой японской войны. Сотник Фомин, следующий по старшинству офицер, был женатый и происходил из богатых донских дворян, жену свою он к нам не привёз, ввиду неофициального положения в доме Марии Васильевны. Двое хорунжих, калмык Золотарёв и чёрный и огромный Писарев, дополняли компанию.

Казаки были очень любезно приняты отцом, который как отставной военный питал слабость к армии, и скоро стали нашими постоянными гостями, ухаживавшими без заметного успеха за нашей Мосей, единственной барышней в округе. Я, как всякий подросток, относился с увлечением к военным, да ещё кавалеристам, и скоро вошёл с есаулом на почве охоты в приятельские отношения, прожил у него в гостях целую неделю. С большим интересом впервые в жизни я наблюдал жизнь строевой казачьей части, ходил ежедневно на все конные и пешие учения сотни. Всё это, как и своеобразная жизнь казаков, мне очень понравилось, и я даже осведомился у есаула, нельзя ли мне также стать казаком. Оказалось, что хотя казаком мне стать и нельзя, но этого совсем и не нужно. По окончании корпуса я могу, если захочу, служить в кавалерии регулярной, что, по словам Козлова, было и интересней, и выгодней.

Особенно мне нравилось, когда по вечерам вся сотня выстраивалась перед конюшнями, трубач играл зорю, и казаки стройно сильными и низкими голосами пели молитвы и гимн. Один взвод помещался в нижнем этаже дома, как раз под теми комнатами, где помещались мы с есаулом, и по ночам часто нас будили шум и крик из-под пола. Тогда Козлов, ругаясь, стучал в пол сапогом, и через минуту в дверях, как ванька-встанька, появлялся усатый вахмистр, которому командир сонным голосом говорил: «Опять вы, сукины дети, всю ночь в карты дуетесь, а на ученье носами клевать будете! Прекратить немедленно, а то я тебе покажу тёткину мать!» Меня поражало и восхищало каждый раз это волшебное появление вахмистра у дверей немедленно после того, как есаул стучал в пол сапогом. Казалось, что вахмистр никогда не спит и не раздевается, а только и ждёт командирского сигнала. Всё это было ново, необычно и для меня очень интересно.

Узнав из разговоров за обедом, что у нас в усадьбе имеется псовая охота, казаки набросились на меня с просьбой послать за Алексеем и собаками и устроить охоту. На все мои возражения, что теперь стоит «колоть» и по замёрзшей земле борзые могут покалечиться, офицеры нашли доводы, и мне пришлось с двумя из них отправиться домой за охотой, благо отца дома не было.

На отчаянной тройке почти не объезженных в упряжке коней мы примчались, как угорелые, в Покровское, давя кур на деревенских улицах, причём раз пять чуть не разбились вдребезги, если бы не калмыцкая сноровка кучера-казака, который вертелся на козлах, как чёрт, стараясь сохранить равновесие саней на поворотах. Офицеры, закутанные с головы до пят в тяжёлые николаевские шубы, и в ус не дули, как будто они были не в бешено

грохотавших по откосам санях, а у себя дома, я же, сидя у них на коленях, не чаял живым добраться до дому.

Захватив собак и кума, мы тем же порядком вернулись в Красную Поляну и на утро следующего дня выехали на охоту. Выехало человек тридцать конных и в их числе жена Фомина, молодая и красивая дама. За деревней оказались голые, замёрзшие в чугун, дикие и безлюдные поля, в которых ни я, ни Алексей в жизни никогда не бывали. За первым выскочившим зайцем вся кавалькада бросилась с таким рвением и на таком отчаянном карьере, что под нами буквально дрогнула и загудела земля. Подо мной была незнакомая казачья лошадь. Она в качестве строевого коня терпеть не могла отставать от товарищей, почему захватила меня в карьер, от которого у меня слетела шапка и захватило дух. Конь попался тугоуздый и, Бог его знает, куда бы он меня занёс, если бы печальное моё положение не заметил один из вестовых, который не без труда нас догнал и остановил проклятого донца.

Собаки мои, как и надо было ожидать, побились в пух и прах, отбили себе лапы, повывернули когти и, бросив шибко уходившего от них зайца, расселись по полю в живописных позах, повизгивая и зализывая раны. Охотники этим не смутились и продолжали погоню за зайцем одни. Калмык хорунжий с двумя казаками, загнав зайца в кусты, умудрились на скаку зарубить его шашкой. Как назло, на другой день, когда мы вернулись с Алексеем домой, ударила оттепель, но мы были без собак, которые беспомощно лежали на соломе с забинтованными лапами. Пришлось ждать снега.

Ростепель держалась почти до Михайлова дня, потом снова ударили морозы и выпал снег. День ото дня холод крепчал, ещё подвалило снегу, и на пустующих огородах через занесённые по маковки плетни весёлой мережкой легли стёжки заячьих следов и аккуратная тропа лисицы. Высокими столбами стали над усадьбой и деревней дымы, и возле кучек рассыпанной по дороге золы закричали налетевшие к жилью грачи. Синей лентой протянулся через усадьбу в снежные поля санный след зимней дороги. Одиноко и серо стоял наш старый дом среди голых вершин деревьев и садов, занесённых снегом. За домом серой стеной стояли оголённые тополя и ракиты в коричневых шапках покинутых грачиных гнезд.

Помимо охоты с ружьём по пороше началась у нас в это время езда с борзыми в наездку по-зимнему. В деревенские сани-розвальни, запряжённые одной лошадью, укладывали на солому собак, и, закрыв их ковром или полостью, мы выезжали в покрытую снегом степь. Оглядывая окрестности в бинокль или простым глазом, мы ехали целиком, ища вдали на горизонте снежных полей «мышкующих» лисиц или крепко лежащих на «спячках» при морозе зайцев.

Лисица, занятая мышиной ловлей, видна простым глазом из-за своей яркой шубы на снегу за добрую версту. Чуткий и сторожкий зверь, не подпускающий к себе даже издали пешего или конного, она весьма равнодушно относится к привычному для неё виду крестьянских саней, подпуская их к себе иногда на несколько шагов. При этой охоте нужно избегать только направлять сани прямо на лисицу и приближаться к ней круговыми движениями так, чтобы сани были всегда боком к лисице, которая их при этом хотя и не боится, но всегда следит за ними. Когда сани находятся от зверя на близком расстоянии, охотники, быстро сдёргивая полость со спящих собак и указывая им на лисицу, травят её. Борзые, обыкновенно точно ветром сдутые с саней, бросаются к лисе, которая не успевает пробежать и несколько сажен, как бывает поймана на глубоком снегу.

Снежная белая пустыня, по которой ездишь при этой охоте целый день, бывает скучновата и утомительна для глаз ярким снежным блеском. Поэтому я, обыкновенно выехав из дома, укладывался в санях дремать рядом с собаками, пока Алексей не «подозревал» вдали мышкующего лиса или залёгшего зайца, на что он был большой мастер. Опыт требовал при этой почти всегда удачной охоте одного лишь условия – не брать собак на свору. Во сне они могли перепутать ремни и, соскакивая, передушить друг друга или стащить за собой самого охотника, который держит свору. Это однажды и случилось с отцом, который, заморозив пальцы, намотал ремень на локоть и был стащен собаками с

саней, несмотря на свои шесть пудов веса. Открытыми на санях собак тоже нельзя оставлять, так как от холода они никогда не будут лежать спокойно и, увидев издали зверя, не дадут возможности к нему подъехать близко, да и лисица, увидев собак, удерёт раньше времени.

Помню, однажды на Рождество в сильный мороз мы поймали лисицу на редкость удачно, подъехав к ней почти в упор. Я заснул в санях, приткнувшись к тёплой груде спящих под ковром и густо вонявших псиной собак, засунув для теплоты вынутую из валенка ногу под ляжку кроткой суке Ласке, как вдруг был неожиданно разбужен бесцеремонным толчком Алексея. Поёживаясь и вздрагивая от холода, взявшего в тиски сердце, я открыл глаза и сквозь слезинки, блещущие радужным разноцветьем, увидел холодное зимнее солнце и величественный простор безмолвной снежной степи вокруг, свинцовое серое небо над нею и на белой вершине сугроба над оврагом рыжую с огненным отливом лисицу. Она мышковала и то становилась на дыбы и прыгала вверх, то, припадая на передние лапы, рыла ими снег, окутавшись на миг сияющей пылью. Хвост её мягко и плавно взмётывался вверх и ложился на снег красным языком пламени. Алексей, как всегда в азарте, яростно зашипел на меня, чтобы я приготовил ружьё, но у меня оставался всего один патрон, снаряжённый мелкой дробью для куропаток, да и не хотелось портить великолепного меха лисы. Только тогда, когда мы подъехали к лисице на пять шагов, она оставила своё занятие и, спокойно усевшись на снег, стала рассматривать нас с любопытством, но безо всякой тревоги, склонив ушастую острую мордочку набок. Дальше ждать было нечего и, отдёрнув одним взмахом руки ковёр с собак, я заулюлюкал. Сладко спавшие в тепле борзые, взметнувшиеся от крика как на пружинах, обдали нас целым облаком снежной пыли и не дали лисице даже времени обратиться в бегство. Она успела только подпрыгнуть от изумления на месте, как была уже растянута собаками на ею же изрытом пригорке.

Волков у нас в моё время не водилось, и за ними любителям приходилось ездить в другие, более лесные уезды, зато лисиц и зайцев было изобилие. Лисьи пушистые шубы у всех нас в семье были собственной добычи. Лисы были крупных размеров и имели прекрасный цвет: тёмно-жёлтый, переходящий на спине в буро-серебристый. Зайцы тоже были очень крупных размеров, почти исключительно русаки, достигавшие до 25-30 фунтов весу. Впоследствии охотясь на Кавказе и в Турции, мне приходилось видеть тамошних лисиц, и я был поражён их мелким ростом и скверным мехом по сравнению с тем же зверем наших степных мест.

На Рождество и Крещение, когда снега становились глубокими и в степи было трудно добывать корм, зайцы и лисицы начинали жаться к человеческому жилью. Все огороды и гумна, уже не говоря о садах, покрывались сплошной сетью заячьих следов. С вечера и до рассвета русаки приходили кормиться на окраины селений к овсяным скирдам, сохранявшимся в наших местах всю зиму для корма скота. В лунные светлые ночи охотники выходили за зайцами «на заседки», т.е. садились в засаду в скирду и стреляли подходивших зайцев. Это требовало известной сноровки и опыта, а главное – умения выбрать для засады подходящее место. Таким удобным местом обыкновенно являлся одиноко стоявший в поле или на окраине гумна овсяной скирд, вокруг которого были не только свежие, но и давние заячьи следы, указывавшие на то, что зайцы привыкли к месту и являются на кормёжку сюда каждую ночь. Затем требовалось охотнику сесть так, чтобы его силуэт не рисовался на фоне неба или снега и не был виден зайцам, для чего лучше всего было садиться спиной к стогу. Нельзя, кроме того, было совершенно двигаться и даже шевелиться сидя в засаде, так как всякого движущегося предмета зайцы боятся, а звук в морозную ночь слышен зверю очень далеко. Это условие было самое трудное, так как в холодные зимние ночи, не двигаясь, легко заснуть и можно замёрзнуть во сне. Во избежание шороха соломы охотнику надо подстилать под себя какую-нибудь попонку. В самые ясные и лунные ночи даже на снегу обманчивого света всё же недостаточно, чтобы видеть мушку на ружье, и потому приходится иметь специальную светящуюся мушку или стрелять по стволу.

По вечерам у камина подвыпившие охотники любят рассказывать о разных страшных приключениях, которые с ними случались на ночной охоте «на заседках».

Большей частью это какие-нибудь таинственные явления, которые могут почудиться в обманчивом лунном свете вдали от всякого жилья в пустынном месте. Случилось это однажды и со мной, причём видение спасло меня, вероятно, от большой беды, если не от смерти.

В том же 1909 году под Крещение я, идя на заседки в далёкий луг, выпил коньяку и, придя на место, приткнувшись к стогу, стал ждать зайцев и задремал. В полусне мне почудилось, что из лунного света ко мне подплыла какая-то прозрачная белая фигура, которая тихо сказала, дотронувшись до моего плеча: «Иди домой». Почему-то в этот момент я понял, что это была моя покойная няня Марья, хотя ни голоса, ни даже лица её я не помнил. Проснулся я от ощущения, что у меня горят ладони. Было необыкновенно тихо в воздухе, и снег сверкал под луной тысячами драгоценных камней. Ружьё, несмотря на две пары тёплых перчаток, жгло холодом руки. Я положил его на колени, но стало холодно и коленям, и я почувствовал озноб во всём теле. С трудом поднявшись, со скованными движениями, я положил не имевшее погона ружьё на плечо и пошёл домой. По дороге я принуждён был бросить свою двустволку в снег, так как её буквально невозможно было держать не только за металлические, но и за деревянные части. Добравшись до дому, я взглянул на термометр, прибитый за окном в столовой, и только тогда понял, в чём дело. Пока я дремал у скирды в поле, мороз, бывший с вечера градусов 12, опустился до 24 градусов и, не разбуди меня видение няни или холод ружейного ствола, я бы замёрз насмерть.

На рождественские праздники у нас было оживлённо и весело. Приехали в отпуск Коля и сестра Сонюша, которая с осени училась в Москве в новом, только что открывшемся Институте московского дворянства. Выбор этого института отцом был сделан, во-первых, потому, что это было новое учебное заведение, построенное по последнему слову техники и удобства и прекрасно поставленное с педагогической стороны на средства дворян Московской губернии. Во-вторых, потому, что начальницей его была бывшая классная дама в орловском институте нашей мамы. Имело значение и то соображение, что в Москве жила любимая сестра отца, Екатерина Гоголь-Яновская с семьёй, к которой Соня ездила по воскресеньям. Младшая дочь Гоголей также была в институте. На Рождество мы ездили к родным в Щигры, где было много семейных вечеров и собраний.

1910 год начался скучно и тягостно. С грузином своим я засел вплотную за науки, тем более, что охота прекратилась и потянулись скучные месяцы деревенской жизни – февраль и март, когда начинаются оттепели и почерневший рыхлый снег принимает грязный и неопрятный вид. Это время – сезон распутицы, ветров и скверной погоды. Пасха наступила ранняя и мокрая. В ночь под светлый праздник небо затянулось чёрными тучами, накрапывал дождь. Сырая темнота от стаявших снегов и дождя давила окрестности. На реке с протяжным перекатистым гулом ломался лёд и с шорохом плыли льдинки. Река разлилась и затопила низы деревни, луга и сады. Из воды дико и непривычно торчали голые верхушки ракит и карагачей. Под мерные удары церковного колокола на Страстной неделе исчезли последние остатки зимы.

Отец, обычно довольно равнодушно относившийся к религии, считал своей помещичьей обязанностью являться каждый год с семьёй к заутрени. В сырой хлюпающей темноте мы на двух экипажах приехали в Заречье к церкви. В церковной ограде среди отсветов талых луж топталась и глухо переговаривалась тёмная толпа. Из церкви через настежь распахнутые обе половины двери доносились глухие звуки чтения. В решётчатых окнах, праздничный и отрадный, переливался свет многочисленных свечей.

На меня ежегодно при пасхальном богослужении возлагалась задача устройства и руководства иллюминацией, которая должна была начаться в момент выхода из храма крестного хода вокруг церкви. Всю необходимую пиротехнику для этого по обычаю доставляла Софья Евграфовна Ломонович. Ещё днём с десятком помощников из кучеров и деревенских любителей я заранее всё приготовлял и рассчитывал для того, чтобы в момент, когда из церкви появлялись первые хоругви крестного хода, сразу вспыхивала

торжественная иллюминация. Грохал залп взрывов, и далеко в тёмное небо поднимались десятки свистящих и лопающихся над толпою ракет. Во время троекратного прохождения молящихся вокруг храма вся толпа живописно освещалась попеременно то зелёным, то красным светом римских свечей под аккомпанемент торжественных звуков колоколов.

Ночью дома происходило разговение, во время которого Мария Васильевна щеголяла парадным столом, уставленным изобилием всяких сытных и тяжёлых яств деревенской кухни. Как и все помещики старого времени, отец, а за ним и мы, любили только сытные и жирные блюда, почти исключительно мясные, да ещё сдобное тесто всякого рода, тоже сочившееся маслом и жиром. Никаких овощей и лёгоньких «ордеров» за помещичьим столом не полагалось. Кипучая и густая кровь нуждалась для своего питания в обильной и плотной пище. Оттого-то и ходила она бурной волной в могучих и пузатых организмах моих отцов и дедов, разряжаясь по всякому поводу, как туча, полная грозы и молний.

Утром в день праздника всё население усадьбы считало своим долгом прийти христосоваться в барский дом. Мы с отцом добрый час без перерыва целовались с рыжими и русыми бородами, пока не получали последнего и очень слюнявого поцелуя от местного дурака Митьки. Он служил в усадьбе водовозом и почему-то считал за особую честь подойти к барину последним. Все христосовавшиеся неизменно получали от Марии Васильевны по два яйца и по стакану водки.

Не успели разъехаться после Пасхи по учебным заведениям братья и кузены, как из Ярославля пришла от директора корпуса на имя отца казённая бумага с извещением, что брат Коля по неуспешности не допущен до весенних экзаменов в шестой класс и исключается из корпуса как второгодник. По самой своей природе брат Николай принадлежал с детства к тем мальчикам, которые психологически не могли жить, а тем более учиться, вне той обстановки, где они выросли и к которой были привязаны всей своей душой. Все стремления его, все мечты с самого раннего детства были связаны с деревенской жизнью, и всякое удаление от неё, даже временное, воспринималось им как источник бесконечных мучений. Отец, суровый и не признающий никаких сентиментальностей человек, в своё время первым окончил корпус, училище и академию, а потому не понимал и оскорблялся тем, что его старший сын не успевает в учении и тяготится им. На этой почве между отцом и сыном скоро сложились ненормальные отношения, с годами перешедшие во взаимную неприязнь.

Исключение Коли из корпуса по неуспешности отец воспринял как позор и семейный скандал, для брата же это было долгожданное освобождение от проклятых казённых стен и возвращение в деревенскую, обожаемую им обстановку, где он чувствовал себя свободным и счастливым. Тайной и задушевной мечтой брата было стать даже не деревенским помещиком, живущим безбедно у себя в усадьбе, а просто зажиточным крестьянином-однодворцем, жизнь которого была для него понятна и мила, вдали от всего того, что связано с ненавистной ему городской жизнью. Отца, человека с высшим образованием, предводителя дворянства, всецело разделявшего взгляды своего сословия, подобная перспектива сына – «мужика» и недоучки – возмущала до глубины души, и он, не понимая и не желая понимать чуждую для него натуру сына, старался выбить из Николая «дурь и лень» подчас в прямом смысле этого слова.

Между тем Колю никак нельзя было назвать неразвитым человеком, а тем более тупицей. Был он великий знаток и любитель сельского хозяйства и выказывал редкую сметку и способности во всём том, что, так или иначе, касалось природы и деревни. Лошадей он знал и понимал каким-то особым чутьём, какое бывает только у цыган-барышников. Из заморенных клячонок ему одному известным способом он ухитрялся делать и бегунов, и скакунов. На этой почве Николай водил дружбу с такими же охотниками и лошадниками, не считаясь с тем, из какого круга они происходили. Охотником он был тоже особого рода: простая охота, как и вообще торные пути, его не увлекала, для всего он применял свои способы и приёмы, собственную инициативу. Зверь или птица, как и рыба, добывались им

всегда каким-нибудь особенно трудным приёмом или ловушкой, тонко рассчитанной на знании звериных привычек и психологии. Усовершенствованных многострельных ружей, к которым я питал слабость, Коля не признавал и охотился только с шомполкой, требовавшей сложной операции заряжания. Николай мало говорил, но много думал, и те немногие слова, которые им говорились, были всегда разумны и практичны. Простой в своих вкусах и поступках, он ненавидел театральность и всё показное. Обладая большим природным тактом, он повсюду и везде умел сохранять вид собственного достоинства, которое выгодно его выделяло среди всякого общества. Не занимаясь никогда специально спортом, он был прирождённый наездник и прекрасный стрелок. Все способности и таланты у него были природные, но сам он к этому относился с великолепным безразличием. Наружность Коли была совершенно исключительная: он был красив самой тонкой и породистой красотой, какую мне только приходилось видеть в жизни. Тёмный шатен с вьющимися волосами, он был очень смугл лицом, унаследовав это от матери и её южнославянских предков. Роста он был необычайного, даже для нашей на редкость рослой семьи. Во время призыва его в армию он произвёл настоящий фурор в комиссии воинского присутствия, где старый воинский начальник в восторге заявил, что за всю свою долголетнюю карьеру не запомнил такого «гвардиона». Выдавался он среди сверстников и физической силой, так что про старшего барчука в окрестных деревнях ходили своего рода легенды, не лишённые некоторого основания. Само собой разумеется, что при наличии подобных данных брат пользовался головокружительным успехом у женщин. Хотя он никогда ловеласом не был и победами хвалиться гнушался, бабы буквально вешались ему на шею. Это одинаково относилось как к деревенским красавицам, так и к изящным светским дамам, предпочитавшим общество не окончившего нигде курс брата всем своим светским кавалерам. Таким немного странным, скромным и милым вспоминается мне теперь покойный мой брат Николай, судьба которого сложилась так несчастно и жизнь которого так рано оборвалась, хотя от судьбы он хотел так немного − быть счастливым...

Весна 1910 года, вплоть до отъезда в Воронеж на экзамены, прошла у меня в усиленных занятиях. Студент-грузин в исполнении своих обязанностей оказался человеком добросовестным, хотя, являясь типичным представителем своей расы, парень он был недалёкий, добродушный и компанейский. Как преподаватель он был не только настойчив, но и как кавказский человек весьма решителен, так что без лишних слов довольно часто меня поколачивал, что при наших деревенских спартанских взглядах считалось довольно естественным, раз он был сильнее. Мне и в голову не приходило жаловаться по этому случаю на него отцу, что по мальчишеским понятиям было бы явной подлостью при наличии тех приятельских отношений, которые у нас были всегда с репетиторами, тем более, что и грузин никогда не позволял себе жаловаться на меня отцу. О Марии Васильевне не могло здесь быть и речи: по безмолвному соглашению между молодым населением барского дома, обращаться с какими бы то ни было жалобами и просьбами к ней было бы унижением и косвенным признанием её авторитета. Она, впрочем, на этот авторитет и не претендовала до брака своего с нашим отцом. Спокойная жизнь в усадьбе действовала на неё как нельзя лучше, из молодой и стройной женщины она через год уже обратилась в толстую тётку, по своим интересам и психологии мало чем отличавшуюся от любой поповны или мещанки. Отцу она была прекрасной женой, покорной и преданной чисто по-собачьи, смотрящей на всё его глазами и думающей его мыслями, что при властном и деспотичном характере папы, в сущности, и требовалось.

Зато незаурядные таланты Мария Васильевна обнаружила по хозяйству, в особенности «по коровьей части». В течение нескольких лет она развела прекрасную породу коров-симменталей и поставила молочное хозяйство не только на широкую ногу, но и на большую высоту. Алексеева жена Лукерья и сам Алексей, к которым перешло в руки это дело после увольнения старых служащих, оказались её незаменимыми помощниками. Каждую осень и весну на выставках в Курске, Харькове и Москве наши коровы получали всевозможные награды и медали, которыми Мария Васильевна скоро наполнила целый шкаф

в гостиной и которыми законно гордилась. Молочность коров она довела до каких-то совсем удивительных размеров, так что к нам в усадьбу не раз по этому поводу приезжали учёные специалисты для осмотра постановки дела. С годами, сидя безвыездно в деревне и не видя никого другого кругом, кроме мужиков да попов, Мария Васильевна скоро совсем опустилась. Она потеряла всякий лоск и перестала обращать, к возмущению сестры Сони, внимание на свой костюм и внешность, проводя дни напролёт в затрапезном капоте и высоких сапогах, в которых беспрепятственно путешествовала по скотным дворам и свинятникам. Язык её также постепенно утерял всякий интеллигентный оттенок и скоро ничем не стал отличаться от крестьянского говора.

Обширная наша родня с отцовской и в особенности с материнской стороны, зная о происходящем в Покровском, всячески хлопотала и заботилась о том, чтобы мы с сестрой и подрастающим Женей не слишком были засосаны той атмосферой, которую создала у нас в доме Мария Васильевна. Родственники добились у отца того, что все каникулы и вообще свободное от занятий время мы проводили у них – в культурном и светском обществе. На Рождество и Пасху мы с сестрой и Женей в сопровождении кроткой толстушки Моси постоянно жили то в Щиграх, то в Охочевке, то в Озерне или Александровке.

Среди многочисленной молодёжи в этих гостеприимных домах и усадьбах все были родственниками между собой, и как молодёжь, происходящая из одной и той же среды, все мы жили на редкость дружно, имея общие взгляды и вкусы. Политикой никто из нас не интересовался, хотя большинство было уже в старших классах средних учебных заведений. По традиции мы придерживались консервативных взглядов, относясь с неприязнью ко всяким революционным веяниям. Мы считали, что всякие «социализмы и анархизмы» есть удел безродных и беспочвенных разночинцев, к которым окружающая нас среда, т.е. дворяне и крестьяне, не имеют никакого отношения.

Главным родственным центром, где мы всегда собирались летом, была Александровка – имение нашего деда по отцу, умершего в 1903 году. После его смерти в Александровке каждое лето жила его вдова, бабушка Анна Ивановна, к которой по традиции съезжались все родные. Старый дом в александровской усадьбе был полон стариной: дедовскими портретами, огромными тёмными полотнами, строго смотревшими со стен на своих резвых потомков, массой миниатюр на кости и перламутре, с которых глядели давно умершие бабушки ангельского вида, в овальных и круглых рамках, старой мебелью, мастодонтами-диванами, изделием ещё крепостных столяров, затейливыми, красного дерева, шифоньерками с круглыми углами и мрачными, стоящими по углам часами-колонками, которых в детстве я почему-то очень боялся. Мне казалось, что в сумерки в них открываются таинственные дверцы и в полутёмную залу или диванную выходит кто-то страшный и таинственный.

Всякий раз при посещении нашем Александровки меня клали спать в комнате, считавшейся среди детей самой страшной в прадедовском доме. Виновником этого обстоятельства был я сам и моё мальчишеское самолюбие. Дело заключалось в том, что в кабинете – длинной, узкой и мрачной комнате – над большим диваном висели огромные, написанные масляной краской портреты предков, занимавшие всю стену. Портретов этих было четыре и изображали они отца моего прадеда с женой и родителей прабабушки: сурового суворовского генерала фон Ганн с супругой. От старости портреты почернели, и лица на них приняли самый жуткий вид. Глаза прадедов, согласно старым традициям портретного искусства, были написаны так, что смотрели всегда прямо на вас, куда бы от них ни увёртывались. Это последнее обстоятельство терпеть не могла по вечерам родственная детвора Александровки, почему всячески избегала кабинета. Мальчишеский задор и самолюбие не позволили мне открыто разделять детские страхи кузин, что было отмечено старшими, отчего я и попал в постоянные жители страшного кабинета.

Мои тайные мучения обыкновенно начинались, как только меня укладывали на диван под портретами, и я слышал, что взрослые начинали расходиться спать из соседней столовой, и дом начинал затихать. Горевшая на стуле рядом свечка, не в силах осветить всю

комнату, бросала только колеблющиеся тени на страшные лица предков, висевших, как дамоклов меч, над моей головой. Было одно спасение – отвлечься от жутких мыслей чтением книг, которые плотными рядами украшали сплошь все стены дедова кабинета в старинных стенных шкафах. Однажды это утешение сыграло со мной плохую шутку, так как точно назло мне попалась книга Фламмариона, который с большим знанием предмета на протяжении трёхсот страниц рассказывал самые невероятные истории о привидениях, покойниках, выходцах с того света и тому подобных приятных вещах. В соединении с жуткой обстановкой комнаты книги произвели на меня такое впечатление, что пришлось в спешном порядке закутаться с головой в одеяло, чтобы ничего не видеть и не слышать. Это было верное и давно испытанное детское средство. Кроме портретов, в кабинете была ещё одна неприятность в лице старой мебели и шкафов, которые от старости имели преподлое обыкновение совершенно неожиданно издавать самый подозрительный и очень громкий треск, заставлявший среди ночи человека вскакивать в ужасе на постели.

Как сам дом, так и усадьбу в Александровке построил наш грозный прадед – Лев Александрович. Сто лет назад он, покинув Теребуж – коренное гнездо нашей семьи, – решил поселиться в глухой и дикой тогда Аладьинской степи. Причиной переселения послужило то, что Теребуж после смерти отца достался прадеду пополам с братом. Не такова была натура старого помещика, чтобы делиться властью в собственной усадьбе хотя бы и с родным братом. Предоставив Теребуж в полное его распоряжение, Лев Александрович решил выстроить себе новое поместье. Выбор его пал на одно из дальних владений − не тронутую плугом степь в 10 верстах от Щигров на реке Рати. Первыми колонистами этого дикого угла здесь за многие десятки лет до постройки усадьбы являлась семья крепостного крестьянина Марковых − Ивана Мелентьева, по прозванию Губана. Он был послан сюда с двумя другими семьями при царице Екатерине, когда ещё ни одной из современных нам деревень не существовало на свете. Эти три семьи положили начало так называемым при мне Мелентьевым Дворикам, через которые мы ездили из Покровского в Александровку.

Блестящим молодым офицером Генерального штаба или, как в те времена говорили, «колонновожатым свиты его величества», прадед принуждён был в связи с событиями декабрьских дней 1825 года выйти в отставку и навсегда поселиться в деревне. Вращаясь среди гвардейской молодёжи Петербурга и вполне разделяя взгляды своего круга, Лев Александрович, не входя в число заговорщиков, поддерживал с ними приятельские отношения, и, в частности, дружил с Пестелем, бывавшим частым гостем в гостиной прабабки Елизаветы Алексеевны − дочери екатерининского генерала. После 14 декабря дед был скомпрометирован в глазах императора Николая Первого, и его блестяще начатая карьера прервалась. С годами увлечения молодости были забыты, и Лев Александрович всю жизнь оставался лояльным слугой своих государей, служил по выборам предводителем и даже занимал в 1853 году должность председателя Курской уголовной палаты. Только однажды, уже много лет спустя, по рассказам стариков, когда из Сибири вернулись участники декабрьских дней и навестили прадеда в его Александровке, старики вспомнили бурные дни невозвратного прошлого, и прабабка с большим подъёмом сыграла на рояле в честь возвратившихся друзей революционный марш Огинского.

В александровской усадьбе родился и прожил всю жизнь наш дед, родился и жил до своей женитьбы отец. В ней же по традиции каждый год вокруг своего серебряного самовара собирала бабушка Анна Ивановна и всё многочисленное потомство старого «декабриста». Бабушка Анна Ивановна была второй женой нашего деда, который женился на ней уже в весьма зрелые годы. Родом она была из Полтавской губернии и в молодости отличалась необыкновенной красотой. Во время посещения Полтавы императором Николаем Павловичем он, вопреки обычаю, весь вечер танцевал с молодой красавицей, ставшей моей бабкой, − настолько она поразила своей наружностью императора, понимавшего толк в этих вещах. В моё время бабушка, маленькая и вся белая, с точёным, как из слоновой кости, личиком, не любила говорить о своей молодости, и только тогда, когда она была в хорошем настроении, нам удавалось изредка упросить показать её портрет, написанный в то время,

когда ей было 18 лет. На овальном эмалевом медальоне она была изображена акварелью в белом воздушном платье и казалась нам совершенно райским видением нечеловеческой красоты. Старики говорили, что портрет нисколько не преувеличивал былой прелести старушки.

Родная мать отца и дяди, умершая совсем молодой в 1874 году от чахотки, была похоронена по желанию деда в саду Александровки в самом начале густой липовой аллеи, идущей к пруду. Среди тенистого сада вокруг могилы была устроена площадка с цветником. На ней летом стоял письменный стол деда, на котором он написал многие из своих сочинений. Детьми мы сторонились этого места по инстинкту живых существ перед тайной смерти. После смерти деда отец и дядя перенесли гроб матери из сада на кладбище рядом с могилой деда. При открытии могилы, когда перекладывали тело и открыли гроб, то присутствующие увидели бабушку Надежду Николаевну, лежащую в гробу как живую, в длинном розовом платье с большими перламутровыми пуговицами. Однако едва дотронулись до тела, как оно рассыпалось в прах, и только ряд пуговиц остался лежать вдоль гроба.

Рядом с Александровкой, отделённое от сада только рвом и забором, находилось имение другого нашего деда − Ростислава Львовича. В детстве нашем между дедами Евгением и Ростиславом произошла ссора, и мы, приезжая в Александровку, не имели права переходить рвы, разделявшие две усадьбы. В Александровке тогда всё было полно рассказов о грозном характере Ростислава Львовича и о его чудовищной силе, которая позволяла ему в минуту гнева делать вещи страшные. Однажды, играя в саду, мы не заметили, как подошли к решётке, разделявшей два владения, и здесь неожиданно для себя увидели стоящего, опершись о забор, деда Ростислава. В ужасе мы прыснули испуганной стайкой от него в глубину сада. Когда об этой встрече мы рассказали во время обеда, то к удивлению нашему получили выговор за своё глупое поведение и за то, что мы не поздоровались с дедом. В эту первую нашу встречу Ростислав Львович показался мне огромным и страшным, чем-то вроде Соловья-Разбойника или Ильи Муромца. Впоследствии, когда семейная ссора была улажена, я два или три раза был в доме деда Ростислава, где за хозяйку нас радушно встречала милая брюнетка тётушка Соня. Деда в эти разы я рассмотрел лучше и убедился, что ничего страшного в нём не было, хотя сложением и видом он действительно напоминал былинного богатыря. Ростислав Львович, как и его два другие брата, Евгений и Владислав, был талантливым писателем-самородком. Он сотрудничал в восьмидесятых годах с толстыми журналами, помещая в них время от времени рассказы из народной жизни. Его любовь к деревне и природе и неприязнь ко всему городскому очень напоминают мне судьбу и вкусы брата Коли, погибшего так нелепо в водовороте гражданской войны.

Александровская усадьба в течение последнего века отвоевала себе все права родового гнезда, хотя в Теребуже несколько веков подряд жили наши предки, начиная со времени грозного царя, при котором один из Марковых из мести царю стал разбойником Кудеяром и основал в Теребуже свой разбойничий стан на границе тогдашнего Московского царства.

Огромный помещичий дом в Теребуже в сорок комнат, воспоминание о котором сохранилось даже в русской исторической литературе, сгорел в начале прошлого века. На его месте был выстроен просторный господский дом, который, вероятно, стоит и теперь. Это мрачное и полное жутких воспоминаний барское жильё в семье носило, в отличие от Александровки, имя «старого дома». Как сама местность, среди которой раскинулась теребужская усадьба, так и в особенности помещичий дом в ней, пользовались среди народа дурной славой. В доме, как говорилось, «было не чисто». Теребужские господа от прежнего времени и в особенности первый его владелец страшный Кудеяр навсегда оставили висеть тень своих грешных дел над родовым гнездом. Немало пролилось человеческой крови и после Кудеяра в жестокие времена семнадцатого и восемнадцатого веков в этом глухом пограничном углу, далёком тогда от всяких властей и законов. Память народная этого не забыла, связав со старым дворянским гнездом в Теребуже много жутких легенд. Вплоть до

отмены крепостного права здесь происходили страшные вещи, о которых сохранились не только подробные воспоминания, но и многие чисто вещественные доказательства.

После государственного переворота 1762 года в свое теребужское поместье был сослан за верность императору Петру III молодой гвардеец, наш прапращур Андрей Фёдорович. Попав так неожиданно и несправедливо в немилость и очутившись вместо шумного и весёлого Петербурга в медвежьем углу, который представляло собой тогда Белгородское воеводство, отставной гвардеец, обладавший бешеным и необузданным характером, в обстановке богатства и крепостной власти над жизнью и смертью тысяч своих подданных, развернулся, что называется, вовсю и прочудил таким манером до самой смерти, не зная на себя никакой узды. Высшую власть в губернии – губернатора – он не ставил ни во что, считая его только старшим приказным. Однажды на обеде, устроенном на его именины, Андрей Фёдорович этого губернатора, бывшего в числе гостей, просто выкинул в окно за какое-то неудачно сказанное слово в присутствии всех губернских чинов. Дело об этом, однако, поднято не было, так как все свидетели и сам пострадавший были затем напоены до беспамятства и происшествие это было сочтено «не бывшим».

Будируя всю жизнь против императрицы Екатерины, которую он в своём курском углу «не признавал» законной, Андрей Фёдорович совместно с приятелем и соседом Гермогеном Сербиновым, таким же, как и он сам, самодуром, додумались до того, что на досуге стали изготавливать фальшивые деньги, делая этим конкуренцию нелюбимой ими государыне. Фабрика фальшивых рублей помещалась в имении Сербинова, соединявшимся подземным ходом с садом Андрея Фёдоровича. Под домом у Сербинова имелись обширные сводчатые погреба с «выходцами» и «оконцами» в фундаменте. В этих подземельях, как тогда было известно многим, проживало двенадцать польских жидов-фальшивомонетчиков. Вместо обоев стены главной залы дома были выкрашены чёрной краской, по которой страшно скалили зубы нарисованные белилами скелеты. Сделано это было для того, чтобы челядь не ходила по ночам в те комнаты, где совершалось то, чего посторонним людям видеть было не надо. По этим причинам о доме Сербинова ходили самые ужасные слухи в окрестности.

Эти слухи о таинственных работах в теребужских подземельях достигли однажды властей предержащих, по распоряжению которых к Сербинову нагрянуло временное отделение суда с исправником и понятыми. Однако в усадьбе не было найдено ничего подозрительного. Оказалось, что под дом не было ни входа, ни выхода, не было и никаких окошек. Впоследствии дворовые люди Сербинова в пьяном виде рассказывали следующее: «Это истинная правда, что барин наш держал под домом беглых людей из польских жидов. Людишки эти делали деньги из олова, только монета ихняя давала не тот звук, как царские рубли, и торговали господа этими «топорными деньгами» недолго. Как только пошли слухи, что суд вот-вот нагрянет для обыска и следствия, барин Сербинов в ту же ночь забрал с собой в подвал четырёх первых подлокотников и с ними перепоил водкой жидов-монетчиков. Когда они заснули, барин приказал своим людям перевязать их по рукам и ногам, забить тряпками рты, да так и бросить их посередь погреба. Выйдя из подземелья, он приказал своим крепостным каменщикам наглухо заложить кирпичами все двери и окна подвала и заново оштукатурить весь дом снаружи. Так те жиды и остались в погребе заживо замурованные вместе со станками и всеми инструментами. Исправник, заранее подкупленный, приехал с судом только для отвода глаз, чтобы оправиться перед начальством. При понятых исправник хотел обелить и Сербинова, и себя. С этим намерением он обошёл вокруг дома, спрашивая понятых: «Ну, где тут дверь в погреб? Где окна? Одна брехня всё это и больше ничего!» За это Сербинов подарил ему тройку лошадей, сани со сбруей и кучером, да ещё вечером «проиграл» в карты немало денег. Достались в карман «барашки в бумажках» и другим членам временного суда, уехали по домам они сытые и пьяные…

Та старина, те и деяния. Что же касается во всём этом мрачном деле человеческой совести, то таковую, согласно старым понятиям, полагалось иметь только лицам

должностным, почему в деле о фальшивых деньгах народная молва и винила больше всего исправника с судом, что же касается Сербинова и его людей, то это была статья особая. В крепостные времена ни раб, ни рабовладелец никому отчётом не были обязаны, первый потому, что был лишён свободной воли, второй потому, что никакого долга ни перед кем не чувствовал, кроме долга дворянского, который каждым понимался по-своему.

Доказательством этой странной философии прежнего времени может служить и другое происшествие в том же духе, имеющее прямую и непосредственную связь с предыдущим. Молодая жена Андрея Фёдоровича, кроткая женщина, нелюбимая мужем, гуляя однажды по садам Теребужа, случайно наткнулась на подземный ход. Из любопытства она вошла в него и в погребе сербиновского дома обнаружила работавших фальшивомонетчиков. Не подозревая правды, она о своём открытии в тот же день рассказала мужу. Андрей Фёдорович ответил, что всё это ей померещилось, но с этой минуты решил отделаться от опасной свидетельницы. В тот же вечер, взяв с собой несколько человек головорезов из дворни, он сказал жене, что уезжает на ярмарку в Курск. Проводив мужа, прабабка, ничего не подозревая, вернулась в дом, где её вдруг охватила необъяснимая жуть и тревога. Стараясь рассеяться, она стала молиться перед старинной иконой Божьей Матери у себя в спальне, как вдруг образ с шумом сорвался со стены и упал к её ногам. Это странное происшествие так напугало барыню, что она, забрав с собой упавшую икону, пошла к священнику, жившему в усадьбе около церкви. Старик, выслушав рассказ своей помещицы, как мог её успокоил и предложил ей переночевать в комнате попадьи, чтобы не возвращаться в барский дом, где она была одна.

Глубокой ночью Андрей Фёдорович с холопами, переряженными разбойниками, напал на собственную усадьбу, чтобы в суматохе покончить с женой. Не найдя её в доме, он по следам на снегу выследил, где она укрывалась, и явился к дому священника. Привыкший за свою долгую жизнь к тёмным делам, творившимся в усадьбе, поп сразу понял правду и, выйдя с образом Богоматери в руках, стал усовещать Андрея Фёдоровича. Злоба и досада на то, что его планы разгаданы, так подействовали на злодея, что с ним тут же на снегу сделался удар, после которого он умер через два дня, не приходя в сознание. Вдова Андрея Фёдоровича передала чудом спасшую её икону в церковь Теребужа, где она находилась до самой революции. Перед этим образом Богоматери всегда молилась последняя владелица Теребужа тётка моя, Наталья Валерьяновна Маркова, которая однажды и рассказала мне всю эту тяжёлую семейную историю, к сожалению, не подлежащую никакому сомнению.

В июле 1914 года правнук Сербинова, известный курский земский деятель, праздновал свой двадцатилетний юбилей общественной деятельности. На это торжество в Теребуж съехалось много народа, дворянство и все губернские власти. По окончании обеда предлагалось вскрыть замурованный погреб под домом, где по старому преданию в екатерининские времена были заживо замурованы жиды-фальшивомонетчики. Легенда эта неминуемо должна была получить своё подтверждение, так как предварительные разведки показали, что под домом безусловно находилось обширное пустое пространство, в которое снаружи не было входа. Но судьба распорядилась иначе. В середине обеда конный нарочный привёз спешную телеграмму губернатору Муратову, бывшему среди гостей. Телеграмма оказалась за подписью трёх министров о всеобщей мобилизации. Это случилось 19 июля 1914 года. Немедленно обед был прерван и большая часть гостей разъехалась. Открытие замурованного сто лет назад погреба так и не состоялось. Наступали грозные события, похоронившие скоро не только старые дедовские были, но и всю прежнюю Россию…

Странная судьба постигла и единственную дочь Андрея Фёдоровича Марию Андреевну, по мужу Прокудину-Горскую. Её жизнь сложилась из-за отца мрачно и не без элемента таинственности. Она умерла девушкой-вдовой и история её такова. В ранней молодости Мария Андреевна полюбила молодого и богатого тамбовского помещика Прокудина-Горского. Андрей Фёдорович почему-то категорически воспротивился их браку. Дочь беспрекословно воле отца подчинилась, но одновременно с тем твёрдо заявила, что ни за кого другого замуж никогда не пойдёт. Прошло несколько лет, и Андрей Фёдорович умер.

После его смерти молодые люди просили согласие на их брак у матери-вдовы, которая, почитая тёмную память мужа, в своём благословении им отказала. Мария Андреевна подчинилась опять и снова стала ждать. Через год после смерти матери, оставшись единоличной госпожой своей судьбы, она решила венчаться со своим избранником, который продолжал дожидаться её руки.

Свадьба была назначена в теребужской усадебной церкви в тёплое июльское утро 1778 года. В церкви от свечей и толпы молящихся было жарко, и все окна и двери были открыты настежь, отчего в храме дул сквозняк. Не успели молодые ступить на атласный плат, на котором при венчании стоят брачующиеся, как этот атласный платок порывом сквозняка был вынесен из храма и повис на одном из памятников в ограде церкви. Ко всеобщему ужасу, это была могила Андрея Фёдоровича и его супруги. Нечего и говорить, какое смятение и суеверный страх объял всех присутствующих на свадьбе. Венчание всё же было закончено, и по выходе из церкви молодые сели в карету, чтобы ехать на свадебный пир. Вместо лошадей по старому обычаю в неё впряглись добровольные крестьяне и с громкими криками и пожеланиями счастья покатили карету. Когда свадебный поезд остановился у подъезда «старого дома», дверцы её открылись и, бледная как смерть, молодая объявила замершей в ужасе толпе, что муж её скончался. Марья Андреевна на всю жизнь после этого осталась девушкой-вдовой и уже больше замуж не вышла. Ей достались после мужа многие имения в разных губерниях и в том числе знаменитая Дивеевская пустынь, в которой жил и умер преподобный Серафим Саровский.

Исчерна-смуглая огромного роста дама, Марья Андреевна сохранила величественную осанку до самой старости. Она не стала жить в своих тамбовских вотчинах, а поселилась с 1809 года в Теребуже, приняв под свою властную руку всё состояние своих племянников, оставшихся сиротами после умерших в один день от холеры родителей. До старости оставалась она необыкновенно властной барыней, которые водились лишь в давно прошедшие времена крепостного права. Она сразу забрала в свои крепкие руки и всю дворню, и мужиков, и своих многочисленных племянников, которые, даже достигнув совершеннолетия, опасались её крутого нрава и никогда не выходили из её воли.

Однажды её старший племянник Иван Александрович, лихой гусар и кутила, в один из своих наездов к цыганам в Москву мимоходом выкрал из степного купеческого дома в Замоскворечье красавицу Катю, спустив девушку на полотенцах из её светелки. В строгой тайне он поселил её в Теребуже в верхней комнате одного из флигелей, где сам помещался на холостом положении. Не такова была тётушка Марья Андреевна, чтобы не узнать того, что делается у неё в усадьбе. В один прекрасный день она под каким-то предлогом нагрянула в гусарский флигель с визитом. Посмотрев помещение племянника и убранство его комнат, она похвалила Ивана Александровича за вкус и порядок, сообразив сразу, что без заботливой женской руки здесь не обошлось. Под видом дальнейшего осмотра она поднялась в мезонин и остановилась перед запертой дверью, где скрывалась пленница. На вопрос тётки, что здесь находится, племянник, смутившись, сказал, что там свалена старая мебель, а ключ от двери потерян. Невозмутимая Марья Андреевна приказала при себе взломать дверь, за которой ею была обнаружена хорошо убранная комната, среди которой к ногам барыни упала красавица-девушка, обливаясь слезами. Тётушка девицу подняла, обняла её и приказала не знавшему, куда девать глаза, племяннику готовиться через три дня к свадьбе, на которой сама стала посажённой матерью. Ставшая так неожиданно для себя хозяйкой Теребужа, Катерина Ивановна надолго пережила своего беспутного мужа. Её хорошо помнили мой отец и дядя маленькой худенькой старушкой, всегда одетой во всё белое. Вся усадьба звала Катерину Ивановну за её голубиный нрав и ласку, с которой она относилась к людям, «теребужской радостью». В саду старого дома я сам знавал очень старую липу, посаженную прабабушкой, которая носила имя «Дерево бабушки Кати».

Возвращаясь к Марии Андреевне Прокудиной-Горской, надо упомянуть, что когда она умерла, её, согласно обычаю, положили в гроб с распущенными волосами, как девушку. Молодой женщине в наших местах убирают голову по-замужнему перед тем, как её класть в

брачную постель, на которую бедная Мария Андреевна так никогда и не попала. Много лет спустя, уже на моей памяти, когда в Теребуже был выстроен большой семейный склеп, в который были перенесены гробы всех давно умерших Марковых, лежавших вокруг церкви Теребужа среди других могил, была вскрыта и могила Марии Андреевны. Девушка-вдова лежала в гробу уже скелетом, сохранив огромные чёрные косы, символ драмы всей её жизни, которые пережили на сто лет всех свидетелей этой старой семейной истории…

В природе ничего не исчезает бесследно, и те люди, которые жили в старых зданиях, где родилось, жило и умерло несколько человеческих поколений, не могли не заметить, что в самом воздухе старых домов, мебели и обстановки несомненно чувствуются флюиды прошлого. Такое именно ощущение испытывали все те, кто жил подолгу в старом теребужском доме, где многие очевидцы пережили целый ряд таинственных явлений.

Сам я был в Теребуже только два или три раза в жизни ещё мальчиком и потому едва помню его, но тётушка наша Наталья Валерьяновна, урождённая Секерина, хранительница и любительница старины, последняя хозяйка Теребужа, знала много из хроники «старого дома», и сама много раз была свидетельницей жутких и необъяснимых явлений. Вот что она мне рассказывала по этому поводу.

В кабинете много лет подряд стоял громоздкий старый диван − древнее изделие крепостного столяра. Диван этот в семье пользовался мрачной, но вполне заслуженной славой: на нём почему-то неизбежно умирали все владельцы усадьбы, хотя всячески избегали им пользоваться. Характерный случай произошел в этой области с прадедом Николаем Александровичем, который, опасно заболев в 1868 году, зная репутацию старого дивана, распорядился устроить свою спальню в самой дальней от кабинета комнате. Умирал он тяжело и долго лежал, не в состоянии пошевелиться, совершенно беспомощный. Перед смертью он вызвал к себе из Александровки свою невестку Елисавету Алексеевну, которая стала, по приезде в Теребуж, за ним ухаживать. Отлучившись однажды из комнаты больного, она услышала его крики и увидела Николая Александровича, бегущего через весь дом из своей спальни в кабинет. Здесь он бросился на диван, которого так боялся, и через несколько минут на нём скончался.

Незадолго до смерти с Николаем Александровичем имело место странное происшествие, которое и он сам, и все его домашние сочли за предзнаменование его близкой смерти. Всю свою жизнь Николай Александрович терпеть не мог, чтобы с ним здоровались через порог. За два года до его смерти он однажды вечером сидел в кабинете, когда дверь бесшумно открылась, и на пороге показался старик-староста, который молча поклонился и протянул барину какую-то бумагу. Николай Александрович вопреки своему обычаю взял через порог эту бумагу, но, взглянув на неё, увидел, что это была «отпускная», которую дают в руки мертвецам. В этот момент прадед вспомнил, что староста этот давно умер, и понял, что к нему приходил призрак покойного предупредить своего барина о близкой смерти.

Каждый раз перед смертью владельцев Теребужа в доме появлялся и тревожил население призрак лохматого, чрезвычайно широкоплечего человека, которого не раз видели дворовые и прислуга. Незадолго до смерти Николая Александровича его племянник, а мой дед Ростислав Львович, приехавший навестить больного, увидел это привидение и после никогда больше не приезжал в старый дом, предпочитая останавливаться в 8 верстах от усадьбы, в так называемых Мещёрских выселках, когда семейные события вынуждали его посетить семейное гнездо.

Встретился Ростислав Львович с «семейным призраком» при следующих обстоятельствах. Заночевав в кабинете деда, он, человек огромного роста и необычайной силы, не принял всерьёз местных легенд. Во избежание же шуток над собой уложил на полу у двери старого лакея Африкана, крепостного лакея жены Николая Александровича Любови Михайловны Лутовиновой, приходившейся тёткой И.С. Тургеневу. После полуночи оба они услышали странный шум, похожий на то, что кто-то тяжёлый, как лошадь, но на мягких лапах, ходит по дому. Половицы буквально гнулись под его тяжестью, когда, судя по звукам, чудище обходило все комнаты дома. Холодный пот облил деда Ростислава, когда отворилась

дверь и что-то огромное вошло в комнату, перешагнув через тело неподвижного Африкана. Волосы зашевелились у деда, и он не в состоянии был поднять руку, чтобы схватить лежавший рядом пистолет, только зажмурил в ужасе глаза. Открыв их снова, он увидел при свете луны на подоконнике окна странную фигуру, точно сотканную из серых ниток, невысокую, но с богатырскими плечами. На следующее утро, когда Африкан подавал Ростиславу Львовичу умываться, он сумрачно, не вдаваясь в подробности, сказал: «Видали? Опять стал ходить…» Когда на другой день хозяйка дома стала расспрашивать об этом Африкана, он отвечал чрезвычайно неохотно, не желая пугать молодую барыню, ограничиваясь больше недомолвками: «Ну, что же в том, что ходил! Мало ли что здесь бывало!»

Один из последних хозяев Теребужа Николай Львович Марков, член Государственной думы, человек никогда и ни в какую мистику не веривший, бывая в Теребуже, никогда в старом доме ночевать не хотел, а всегда ложился спать в каменном флигеле, им самим построенном. В кабинете на страшном диване последняя хозяйка теребужской усадьбы Наталья Валерьяновна никогда и никого из Марковых на ночь не укладывала. Однажды, когда к ней съехалось по какому-то случаю много дальних гостей, и дом, и флигель оказались переполненными, она, к ужасу домашних, сама улеглась на него спать, сославшись на то, что она хотя и Маркова, но не по рождению, а по браку.

В ночь накануне смерти Николая Александровича в Теребуже помешался ночной сторож и в глухую полночь вдруг зазвонил в церковный колокол. Впоследствии поправившись, он рассказал, что сошёл с ума от страха, так как ночью, поднявшись на колокольню отбивать часы, заметил при свете луны, что на барском кладбище со смехом и гримасами из могил встают покойники, а вокруг колокольни носятся огромные чёрные птицы. Помещик Баневич, ночевавший в старом доме, слышал ночью, как в зале двигались стулья, звенели стаканы и дикие голоса кричали: «Пей! Наливай!» Покойный генерал Богданович и его невестка, светская фрейлина Евдокия Николаевна Бутовская, гостившие летом в Теребуже, часто слышали по ночам возню в гостиной, а Бутовская со страхом видела, как портреты покойного Николая Александровича и Любови Михайловны вращали и сверкали глазами.

Кухарка Арина, жившая в комнате у чёрного входа, постоянно жаловалась своей барыне, что ей по ночам кто-то не дает спать, подходит к кровати, стучит и беспокоит. Присутствовавший при этих жалобах лакей тёти Алексей Поварихин на это уверял, что всё это выдумки Арины, и в доказательство предложил один переночевать в зале, считавшейся самой беспокойной комнатой в доме. На следующее утро он торжественно заявил при всех, что, «как он и докладывал», Арина всё выдумала, и ничего ночью не произошло, хотя он не спал нарочно. Всё было тихо, и только около часу ночи прокурор Николай Яковлевич Чемодуров, ночевавший в кабинете, выходил в переднюю, открыл дверь в сад, постоял на балконе и вернулся опять в кабинет. Каково же было изумление всех присутствующих и ужас Поварихина, когда прокурор честным словом заверил, что он заснул в 11 часов вечера и ни разу за ночь не просыпался.

Приблизительно в то же время гостила в Теребуже княгиня Голицына, жена расстрелянного во время революции премьера. Ночуя в кабинете, она стала звать на помощь, так как в её комнате в темноте ходили, возились и толкали её кровать так, что она скрипела и качалась. Уже в эмиграции, будучи в Египте, я получил от тётушки Натальи Валерьяновны письмо из Парижа, где она вспоминала о теребужских ужасах в связи с её встречей в Париже со вдовой Голицына. Также тётушка получила письмо из СССР от сестры, которая сообщала, что её бывший лакей Алексей Поварихин состоит теперь важным комиссаром в Рязанской губернии, но говорит, что очень недоволен жизнью и с хорошим чувством вспоминает то время, когда служил лакеем в Теребуже. Он до сих пор хранит у себя фотографию своей бывшей барыни в придворном платье. Такова матушка-Россия, вся сотканная подчас из сплошных противоречий.

КАДЕТСКИЙ КОРПУС

Весной 1910 года отец сам привёз меня в Воронеж держать экзамен в кадетский корпус. Нас сопровождал из Покровского и мой репетитор грузин Иван Григорьевич, который ехал к себе на Кавказ, но по дороге решил задержаться в Воронеже, чтобы узнать о результатах моих экзаменов. В Воронеже и даже в кадетском корпусе мне пришлось быть уже не первый раз. Совсем маленьким мальчиком с матерью и братом я приезжал сюда, когда Коля поступал кадетом во второй класс. Мать, нежно любившая своего старшего сынишку, с большим горем отдала его в корпус и, не в силах сразу расстаться с ним, прожила со мной около трёх недель в Воронеже. Чтобы быть поближе к сыну, мама даже поселилась в одном из корпусных флигелей на квартире у её старого знакомого офицера-воспитателя полковника Ступина, семья которого в это время была в отъезде. В качестве младшего братишки я увлекался кадетским бытом и почти каждый день бывал в помещении младшей роты, куда нас с мамой допускали по знакомству.

В настоящий мой приезд в Воронеж с отцом я, таким образом, был уже несколько знаком с внутренней жизнью кадетского корпуса, что до известной степени облегчало моё положение новичка, да ещё поступающего прямо в один из старших классов. У отца в корпусе нашёлся старый товарищ, командир 1-ой роты Черников, в этот год выходивший в отставку генералом. Его заместитель, полковник Трубчанинов, также оказался однокашником папы по Орловскому корпусу.

Экзамены, начавшиеся на другой день после нашего приезда, оказались труднее, чем предполагалось, так как я поступал в пятый класс, где требовалось много математики, с которой у меня была вражда с юных лет. На экзамене Закона Божьего батюшка, видный и важный протоиерей, осведомился, не являюсь ли я родственником писателя Евгения Маркова. Узнав, что я его внук, батюшка сообщил, что он хорошо знал покойного деда, очень его любил и уважал.

Первые три дня экзаменов прошли благополучно, и только на четвёртый я неожиданно наскочил на подводный камень. Случилось это на испытании по естественной истории − предмету, везде и всегда считающемуся лёгким и второстепенным. Так об этом предмете полагали и мы с Иваном Григорьевичем, почему и обратили на естественную историю не слишком много внимания. Конца учебника по этому предмету я даже не дочитал, как раз в том месте, где дело шло о навозном жуке. Этот проклятый жук чуть не испортил всего дела! Спрошенный о строении его крыльев, я стал в тупик и ничего ответить по этому интересному вопросу не смог. Преподаватель, заслуженный тайный советник, вошёл в моё положение и не захотел резать мальчишку, благополучно прошедшего уже по всем предметам экзаменационные Сциллы и Харибды, почему назначил мне переэкзаменовку после обеда. Нечего и говорить, что я сумел воспользоваться этой передышкой и после обеда сдал экзамен без запинки.

Выдержав экзамены по учебным предметам, я был подвергнут медицинскому исследованию. Для этой цели был отведён один из пустовавших в это время классов, дверь которого выходила в коридор, переполненный родителями и родственниками, привезшими детей на экзамены. Так как вступительные экзамены в корпус держали почти исключительно ребята, поступавшие в два первых класса, то я среди них представлял единственное исключение и при том такое, о котором никто из находившихся в коридоре мамаш и не подозревал. Зная, что доктора осматривают карапузов 9-ти лет, присутствовавшие в коридоре родительницы, не стесняясь, заходили в комнату медицинского осмотра и вступали в разговоры с докторами. При их неожиданном появлении в дверях я, голый, как червяк, принуждён был дважды спасаться за ширмы к смущению обеих сторон.

В результате медицинского осмотра была забракована целая куча детишек, уже выдержавших экзамены под аккомпанемент рёва мамаш и сыновей. Зато когда в коридоре выстроили шеренгой всех прошедших осмотр и экзамены, на них было приятно посмотреть.

Это были поголовно румяные и крепкие, как орех, младенцы, годные, без всякого сомнения, вынести нелёгкую кадетскую муштру.

Как только результаты экзаменов были объявлены, отец, поздравив меня, немедленно повёл в магазин военных вещей, где купил мне кадетскую фуражку с чёрным верхом и красным околышем, которую я впоследствии и проносил всё лето при штатском костюме, являя из себя довольно странную фигуру. Этот полуштатский-полувоенный вид приводил в полное недоумение встречных кадетов и юнкеров, не знавших, как понимать мою нелепую личность. Будучи отставным кадетом, брат Коля таким видом сильно возмущался, находя, что в кадетской фуражке и при штатском костюме я имею «сволочной вид земского начальника».

Обычно суровый и неразговорчивый с нами, отец всю дорогу из Воронежа в Покровское был необыкновенно ласков. Он был доволен тем, что его сын стал на привычную и понятную для него дорогу военной службы. На балконе усадьбы, с которого было видно далеко вокруг, вся семья, нас ожидавшая, завидев издали мой красный околыш, сразу поняла, что экзамены сошли благополучно. Ради такого торжественного случая отец в этот день также надел на себя дворянскую фуражку с красным околышем, чем как бы сблизил меня со своей особой.

Свободное от опостылевших наук лето промелькнуло почти незаметно, как и много других счастливых лет юности, как незаметно и быстро проходит в жизни всё счастливое. За летние месяцы мы с сестрой и Женей объехали с родственными визитами Озерну, Александровку, Охочевку и даже Букреево. Везде нас встречали тепло и по-родственному, как это бывало когда-то в доброе старое время в привольных дворянских усадьбах.

В июле в наших местах разразилась эпидемия холеры, и на выгоне около кладбища вырос жуткий серый холерный барак из досок, который все обходили стороной. Незаметно подошёл август, с наступлением которого холера прекратилась, унёсши в Покровском около десятка человеческих жизней. К 16-му числу этого месяца мне предстояло явиться в корпус, чтобы стать настоящим кадетом, а не возбуждающей недоумение штатской личностью в военной фуражке. Отвозил меня на новую жизнь опять отец, и ехал я в Воронеж с наружной бодростью, но с тайной жутью. Принадлежа к военной семье и зная по рассказам отца и брата о кадетском быте, который и самому уже пришлось наблюдать, я хорошо осознавал, что, поступая сразу в пятый класс, должен явиться для своих одноклассников, сжившихся уже за четыре года совместной жизни, человеком чужим и во всех смыслах «новичком», у которых во всех учебных заведениях положение незавидное.

Недаром брат Николай, верный духу сурового деревенского обихода, предупредил меня злорадно и многообещающе: «Морду, брат, тебе там будут бить, как в бубен». «То есть, как морду?.. за что?» − «А так! Чтобы кадета из тебя сделать, там, голубок, «штрюков» не любят». С видом независимым снаружи, но с большим внутренним трепетом, входил я 16 августа 1910 года в просторный вестибюль кадетского корпуса в Воронеже. Усевшись на скамейку, пока отец пошёл к начальству выполнять соответствующие формальности, я стал прислушиваться к глухому шуму, доносившемуся сверху из ротных помещений, который, отдаваясь эхом по огромным мраморным лестницам и пролётам, напоминал шум потревоженного улья. Поначалу все, кто слышал этот характерный гул, принимали его за гомон кадетов, стоявший день и ночь в коридорах рот. Впоследствии пришлось убедиться, что шум этот никакого отношения к голосовым способностям кадетов не имел, а был просто эффектом центрального отопления и корпусной акустики.

От нечего делать, в ожидании отца я стал оглядывать вестибюль и всё то, что было видно со скамейки. Небольшой бюст из чёрной бронзы николаевского генерала привлёк первым моё внимание. Это оказался памятник, поставленный основателю корпуса. На белой мраморной доске цоколя стояла золотыми буквами надпись: «Генерал-лейтенант Николай Дмитриевич Чертков в 1852 году пожертвовал 2 миллиона ассигнациями и 4000 крестьян для учреждения в г. Воронеже кадетского корпуса».

Кроме генеральского бюста, ничего интересного больше в вестибюле не было. Швейцар ничем не отличался от гимназического, как и входные зеркальные двери. Кругом не было ни души, и корпус точно вымер. Мимо меня через вестибюль изредка проходили куда-то в темноту коридоров, звеня шпорами, офицеры, не обращавшие никакого внимания на мою деревенскую фигуру. Где-то недалеко, видимо, в столовой, негромко позванивала посуда. Так прошло около десяти минут. Вдруг страшный грохот барабана, как обвал, заставил меня вскочить на скамейке от неожиданности. Погремев где-то недалеко, барабан на минуту замолчал, а затем загрохотал этажом выше. Через пять минут лестничные пролёты над моей головой наполнились шумом и шарканьем сотен ног, спускавшихся по лестнице. С гулом лавины густая толпа кадетов, заполнившая пролёты, сошла сверху, и передние ряды их остановились на последней ступеньке, с любопытством оглядывая мою фигуру. Сошедший откуда-то сверху офицер вышел в вестибюль и, обернувшись к кадетам, что-то скомандовал. Ряды кадет в ногу, потрясая гулом весь вестибюль, стройно двинулись мимо меня в столовую. Рядами прошли все четыре роты корпуса, начиная с длиннейших, как колодезный журавль, кадет-гренадеров строевой роты и кончая малютками первого класса, ещё не умевшими «держать ноги». Пройдя в невидимую для меня столовую, роты затихли, а затем огромный хор запел молитву, после которой столовая наполнилась шумом сдержанных голосов и звоном тарелок. Корпус приступил к завтраку.

В этот момент ко мне подошёл офицер и, спросив фамилию, пригласил следовать за ним наверх. На площадке первого этажа он остановился перед высокой деревянной перегородкой, отделявшей коридор, и постучал. Большая дверь с надписью «Вторая рота» немедленно открылась, мы вошли, и солдат закрыл дверь за нами. По длиннейшему коридору, в который с обеих сторон выходили двери классов и огромной спальни, мы прошли в самый его конец, свернули налево в другой коридор и остановились перед дверью с надписью «Цейхгауз». Как в коридоре, так и во всех других помещениях роты стояла звенящая в ушах тишина и было полное безлюдье.

Бородатый солдат с медалями, одетый в кадетскую рубашку и погоны, носивший звание «каптенармус», по приказу пришедшего со мной офицера (как я потом узнал, это был мой ротный командир полковник Анохин) одел меня с ног до головы в кадетскую казённую одежду: неуклюжие сапоги с короткими рыжими голенищами, чёрные потрёпанные и засаленные брюки и парусиновую рубашку с погонами, чёрным лакированным поясом и тяжёлой медной бляхой с гербом. «Пригонка обмундирования», как мои мучители при этом называли моё одевание, была самая поверхностная, почему обмундирование моё было замечательно тем, что ни одна его часть не соответствовала размерам тела. Брюки, например, были невероятно широки и длинны, рубашка напоминала халат, а ворот её мог вместить две мои шеи, погоны уныло свисали, причём упорно держались не на плечах, а почему-то на груди. Но всего было хуже с сапогами: из огромной кучи этой обуви мне самому предложили выбрать пару «по ноге». Это было бы не трудно, если бы правые и левые сапоги не были перемешаны в самом живописном беспорядке, так что двух одинаковых сыскать было совершенно невозможно, и мне пришлось удовольствоваться двумя разными и потому разноцветными. На робкое замечание, что одежда эта мне кажется не совсем «по мне», каптенармус ответил, что это «пока», так как «обмундирование это повседневное и последнего срока». Здесь же в цейхгаузе меня посадили на табуретку, и появившийся парикмахер, пахнувший луком, наголо оболванил мне голову машинкой «под три ноля».

Когда я по окончании всех этих издевательств сошёл вниз к отцу проститься, он только засмеялся и покачал головой. С жутким чувством жертвы, покинутой на съедение, я расстался с отцом и поднялся опять «в роту», куда из столовой скоро пришли и кадеты. Ротный сдал меня дежурному офицеру, усатому, выступающему как гусь, подполковнику. Тот сообщил мне, что я назначен в 1-ое отделение пятого класса, помещение которого находилось рядом с входной дверью. Как я потом узнал, это было завидное назначение, так как отделение было старшим в роте.

В моё время все кадеты Воронежского великого князя Михаила Павловича

кадетского корпуса делились на четыре роты. В младшую четвёртую входили три отделения первого и три второго класса, в третью роту – одно отделение четвёртого и три отделения третьего класса, во вторую – два отделения четвёртого и три отделения пятого и, наконец, в первую роту, или строевую, − все отделения шестого и седьмого класса. Эта последняя на строевые учения выходила вооружённая винтовками и патронташами и являлась гордостью корпуса, давая ему тон. По корпусной традиции кадеты седьмого класса почему-то называли себя «дополнистами».

В верхнем этаже главного корпусного здания находились помещения двух старших рот, разделённых площадкой лестницы и двумя деревянными перегородками, в среднем этаже в том же порядке были расположены две остальные роты. В нижнем помещались столовая корпуса, кухни и квартиры офицеров-воспитателей. Кроме главного здания, расположенного на Малодворянской улице, под углом к нему стояли четыре больших трёхэтажных флигеля, где находились канцелярии и квартиры служащих. Корпус вместе с флигелями, садами и плацем представлял собой целый городок, занимавший большой квартал Воронежа.

Каждое помещение роты заключало в себе длинный коридор в виде буквы «Т», вдоль которого находилась ротная зала, спальня кадет, классы, цейхгауз и уборные. В конце спален, рассчитанных на 200 человек каждая, находились «умывалки», где вдоль стен тянулись цинковые корыта с десятками кранов. Рядом с уборной помещалась так называемая «чистилка», в которой на скамьях стояли жестяные подносы с разведённой ваксой и лежали щётки для чистки сапог и ящики с мелом для пуговиц и поясных блях.

В особых пристройках к главному зданию помещались церковь, сборный зал для всего корпуса, служивший местом церемоний, и баня. Сборная была огромная двухсветная зала с хорами, поддерживаемыми рядами белых колонн и с саженными портретами императоров в золочёных рамах, занимавших целую стену. В сборной же зале стояли по стенам большие шкафы с книгами фундаментальной библиотеки. На хорах залы, куда был вход из помещения третьей роты, в стойках стояли винтовки кадет строевой роты, составлявшие предмет гордости первой роты и зависти остальных.

Против главного здания через улицу находился кадетский плац – огромный луг десятин в пять, покрытый газоном, обсаженный с четырёх сторон аллеями деревьев и огороженный низким забором. За плацем была расположена известная в городе Сенная площадь, на редкость пыльная и постоянно засорённая сеном, которое здесь продавали.

Распорядок корпусного дня был точной копией вчерашнего дня и таким же прообразом завтрашнего. Длинную цепь этих монотонных и до тоски похожих друг на друга дней пришлось прожить в корпусе в течение четырёх бесконечно длинных лет.

В шесть часов без четверти на чугунной площадке лестницы, сперва в среднем, а потом в верхнем этаже появлялся неотвратимый, как смерть, сигнальщик-солдат, и оглушительный звук «первой повестки» наполнял дьявольским эхом пустые коридоры и спящие спальни. Дежурные воспитатели и кадеты вставали и одевались по этому сигналу. Ровно в шесть утра «по второй повестке» они приступали к своим утренним обязанностям будить и поднимать на ноги роты.

Трудно себе представить непосвященному человеку тот адский грохот или рёв, который производит утром барабанщик или трубач среди пустых и гулких коридоров своей «первой повесткой». Впервые, когда утром я услышал это в чутком утреннем сне, я в страшном испуге чуть не упал с кровати, будучи уверен, что произошло землетрясение и всё кругом меня рушится. К изумлению своему, придя в себя, я увидел, что в огромной полуосвещённой спальне ни один из двухсот спящих кадет даже не пошевельнулся. Впоследствии я сам так привык к звукам барабана и трубы по утрам, что продолжал безмятежно спать и после второй повестки, ничего не слыша.

Встать, одеться и умыться кадетам полагалось в полчаса, после чего по новому сигналу «сбор» рота выстраивалась в коридоре для следования в столовую на утренний чай. Согласно правилам, две младшие роты в строй становились по отделениям и классам, а две

старшие – по ранжиру, т.е. по росту, независимо от классов и отделений. Для этого в начале занятий осенью ротные командиры первой и второй рот производили «ранжировку» кадет, рассчитывая их «в порядке номеров». Эти порядковые номера в строю роты оставались уже на целый год личными номерами каждого кадета, и ими помечались все части его одежды и снаряжения в цейхгаузе.

Во всех ротах лучшие по успехам и строю кадеты каждого отделения назначались старшими и выполняли в строю обязанности унтер-офицеров, лучший из них назначался ротным фельдфебелем. В трёх младших ротах фельдфебели и унтер-офицеры никаких наружных знаков отличия не имели, в строевой же роте отделенные и взводные носили вокруг погона золотую нашивку, а фельдфебель сверх того ещё такую же продольную нашивку в середине погона. Из-за этого все должностные кадеты первой роты назывались нашивочными. Нашивочные были обязаны, кроме того, иметь средний балл по успехам не менее девяти при двенадцатибалльной системе.

Выстроившись в ротном коридоре по сигналу «сбор» утром, рота после команды фельдфебеля «смирно, равнение направо» мгновенно смолкала. Из дежурной комнаты подходил офицер и здоровался с кадетами, которые дружно и зычно отвечали: «Здравия желаем, господин полковник!» Воспитатели в огромном своём большинстве были в чине подполковника, который они получали в военно-учебном ведомстве, перейдя в него из полка, чрезвычайно скоро. На этом чине они останавливались уже надолго, поскольку следующий чин полковника обязательно должен был быть связан с командованием ротой. На это требовалось никак не меньше 15 лет ожидания вакансии, так как на 25 человек офицеров корпуса было всего четыре ротных командира, и покидали они свои должности, только уходя в отставку по предельному возрасту.

Поздоровавшись с ротой, офицер командовал «на молитву», и рота хором пела молитву «Отче наш», после чего следовала в строю в столовую пить чай. В столовой деревянные столы были рассчитаны каждый на 12 человек, и на них на белых скатертях уже были приготовлены белые глиняные кружки с вензелем корпуса, булки и большие медные чайники со сладким чаем. Первый от входа стол занимался самыми высокими по росту кадетами первой роты, а за хозяина на нём во главе стола садился фельдфебель. Почему-то этот стол считался почётным, и сидеть за ним, по кадетским понятиям, была большая честь, так как помимо прочих соображений, стол этот был «великокняжеский», т.е. за него всегда садился великий князь Константин Константинович − августейший генерал-инспектор военно-учебных заведений − каждый раз, когда посещал корпус. В память его посещений в столе каждый раз вделывалась серебряная дощечка с именами сидевших с князем кадет.

Выпив свою чашку чая размером в два стакана и съев по булке, кадеты тем же порядком возвращались в ротные помещения, после чего полагалась обязательная получасовая прогулка для двух младших рот в их ротных садах, для двух старших на плацу. Кадетам трёх старших рот полагалось, какая бы ни была погода, летом выходить на прогулку в рубашках, зимой в одних мундирчиках. Эта закалка ребят была прекрасным и необходимым средством для воспитания командного состава армии, которому предстояла служба в суровых условиях русского климата. Надо сказать правду, кадетские корпуса моего времени давали своим воспитанникам прекрасное как нравственное, так и физическое воспитание, готовя для армии контингенты здоровых духом и телом офицеров-кадровиков.

После утренней прогулки кадеты садились за приготовление уроков в классах – это время называлось на языке корпуса «утренними занятиями». С половины десятого и до полудня шли уроки, затем следовал завтрак, состоявший из одного блюда и чая с булкой, получасовое гуляние на большой перемене и снова уроки до четырёх часов пополудни. В четыре часа и пять минут корпус поротно шёл к обеду. Заняв свои места за столами, кадеты по команде дежурного ротного командира пели «На Тя, Господи, уповаем». Когда под сводами столовой замирали последние перекаты голосов, барабанщик, стоявший под большим образом, разом ударял палочками в барабан, все садились, и говор и звон посуды наполняли столовую. Дежурные офицеры каждой роты обедали за маленькими столиками

около своих рот. На обед полагалось по три блюда: борщ или суп, мясное и сладкое пирожное из собственной корпусной кондитерской.

Кормили в корпусах моего времени прекрасно и очень сытно. Помню, что в первое время, несмотря на хороший аппетит, я был не в состоянии съедать свою порцию и одолеть огромную кружку чая. Впоследствии, войдя в здоровую кадетскую жизнь, наполненную всякими физическими упражнениями, я не только съедал всё без остатка, но и часто требовал «добавки», что разрешалось в старших классах.

После обеда полагалась двухчасовая прогулка, с которой кадеты могли возвращаться в помещение роты произвольно, и вообще между 4 и 6 часами каждый мог заниматься тем, чем ему вздумается, на плацу или в роте. Какого только рёва, крика и рычания не неслось из ротных помещений в это время. Визг, вопли и возня четырёхсот малышей в среднем этаже и музыкальная какофония во вкусе персидского марша в верхнем покрывали все остальные звуки. В старших классах постоянно процветало увлечение духовой музыкой, и в каждом классе человек по пяти упражнялись в свободное время кто на кларнете, кто на валторне, а кто, как слон, ревел на басе. Не были, конечно, забыты и барабаны, как большой, так и маленький. Можно себе представить при этом качество и свирепое разнообразие звуков, наполнявших роты!

К шести часам звуки зоологического сада постепенно замолкали, и все усаживались за приготовление уроков, что в отличие от утренних занятий называлось занятиями «вечерними». До восьми часов вечера в классах разговаривать не разрешалось, для чего в каждом присутствовал отделенный офицер-воспитатель. В восемь часов вечера роты обычным порядком спускались в столовую к ужину, состоящему из одного блюда, булки и неизменного чая. В девять часов в младших ротах и в десять в строевой полагалось находиться в постелях, имея платье и бельё аккуратно сложенным на тумбочках в ногах каждой кровати. Над изголовьями кроватей торчали белые железные пруты с оловянными дощечками – «цыгелями», − на которых жёлтым по белому были написаны фамилии кадет. Цыгеля эти вместе с кадетами переходили из роты в роту.

В моё время кадетские корпуса имели чисто кастовое лицо, так как в них принимали только детей потомственных дворян или офицеров, других сословий в корпусах тогда не было. Начиная с 3-4 класса, все кадеты за очень редким исключением учились на казённый счёт, так как военно-учебное ведомство через два-три года переводило их на свободную казённую вакансию. Так было и со мной, хотя отец, будучи состоятельным человеком, не захотел воспользоваться для себя ни дворянской, ни казённой стипендией. Несмотря на это, меня в шестом классе перевели на казённый счёт без просьбы отца. По территориальному составу Воронежский кадетский корпус состоял почти сплошь из южан и кавказцев, большинство которых принадлежало к донским, кубанским и терским казакам − из областей, которые были по соседству с Воронежем. По этим причинам казачий и кавказский дух преобладал в корпусе, где не только половина кадет, но и большинство воспитателей и сам директор Бородин были казаки.

Полковник генерального штаба Матвей Павлович Бородин при поступлении моём в корпус только что принял директорство от генерала Соймоновича. До этого Бородин служил преподавателем военных наук в Петербурге и, в частности, воспитывал двух старших сыновей великого князя Константина Константиновича. Родом он был донец, большой, сильный и очень бравый, с небольшой окладистой бородкой. Он был хорошим и опытным педагогом, знал и любил это дело и, не имея детей, относился к кадетам чисто по-отечески. Когда я перешёл в шестой класс, директор получил чин генерал-майора и стал ещё представительней в пальто с красной подкладкой. Кадеты в большинстве своём понимали и любили Бородина, доказательством чего служило то, что все молодые офицеры после производства считали своим долгом, посещая родной корпус, сделать визит генералу Бородину, который, со своей стороны, встречал их как родных.

Инспектором класса был какой-то Гельфрейх, малозаметный рыжий и сухой полковник генерального штаба, мало касающийся кадетской жизни, так как ведал

исключительно научной частью, его фамилию я даже теперь не могу и вспомнить. Зато помощник его, подполковник Яхонтов, преподававший в старших классах космографию, маленький и кругленький человечек, был очень общительный господин, во время уроков постоянно вступавший в частные беседы с кадетами. Он окончил академию генерального штаба по второму разряду, поэтому к генеральному штабу причислен не был, что не помешало ему с началом войны сделать быструю карьеру.

Ротных командиров в корпусе у меня было двое: во второй роте – полковник Анохин, по прозванию Пуп, и в первой роте – Трубчанинов. Казак-донец по происхождению, Анохин был маленький и толстенький человек с пушистыми усами и глазами навыкате. Он был отцом многочисленного семейства, и его дочерей, высоких, могучих и черномазых казачек, знал весь корпус. Человек Пуп был добрый и к кадетам относился прекрасно. Полковник Трубчанинов, или по-кадетски Трубанёк, был совсем в другом роде. Высокий, сухой, подтянутый, всегда нахмуренный, он скорее являлся типом офицера военного училища, чем корпуса, где отношение начальства к кадетам было мягче и терпимее. Трубчанинов, кроме службы и дисциплины, ничего не признавал, и кадеты, перешедшие в строевую роту из младших классов, сразу чувствовали, что перестали быть детьми и начали службу военную. В строю Трубчанинов был строг до неумолимости и не признавал никаких человеческих слабостей, говорил он всегда отрывистым, суровым тоном и внушал к себе и страх и уважение. Он много лет до самой революции прокомандовал первой ротой и умер всё в том же чине полковника в эмиграции в Париже.

Ближе всех стоящим в корпусе к кадетам являлся офицер-воспитатель, принимавший отделение обыкновенно в первом классе и ведущий его через все Сциллы и Харибды, невзгоды и радости до самого выпуска. Таким воспитателем в первом отделении пятого класса, куда я попал, был подполковник Николай Иосифович Садлуцкий, родом из кубанских казаков, плотный брюнет с лихо закрученными молодецкими усами. Холостяк и любитель пожить, Садлуцкий был человек весёлого и добродушного нрава, весьма щепетильно относившийся к интересам и нуждам своих кадет, с которыми за четыре года он успел сжиться. Он был одним из старших кандидатов на роту и являлся очень опытным старым воспитателем. С кадетами Садлуцкий умел и любил беседовать главным образом об условиях и быте офицерства на службе, которые он хорошо знал сам на практике. Надо отдать справедливость, подполковник Садлуцкий умел внушить своим воспитанникам и любовь, и уважение к военной службе, хотя сам он от неё получил не много. В эмиграции, куда он также попал, Садлуцкий занялся хиромантией и ясновидением, чего за ним на моей памяти в корпусе отнюдь не водилось. Из других офицеров помню подполковников Завьялова, Миаковича, Мацкого, Цесарского-Даниэль, Крашенинникова, Потапова, Гельфрейха и Паренаго, о которых в дальнейшем повествовании о жизни воронежского корпуса будет сказано в своё время и в своём месте.

Учебная часть в кадетских корпусах моего времени была поставлена блестяще, хотя и с излишним уклоном в сторону математических наук. По положению, принятому в Главном управлении военно-учебных заведений, программа кадетских корпусов должна была по всем предметам соответствовать курсу гимназий, кроме математики, в области которой должна была равняться по реальным училищам. Это увлечение математическими науками в корпусе было моим несчастьем, так как это была область, которую я терпеть не мог и в которой не имел никаких способностей. В пятом классе все предметы математики преподавал чех Степанек. Как и все преподаватели корпуса, это был чиновник военного ведомства, тощий, сухой, с седой бородкой и очень нервный. Предметы свои он сушил до невозможности, и уроки его были для всех часами скуки и томления.

Русскому языку и литературе обучали нас два педагога, из которых один был сам директор Бородин, другой штатский учитель Кальницкий, ещё молодой, но уже полнеющий брюнет в пенсне, большой педант и неважный преподаватель. Генеральские уроки были много интересней и оживлённей, и кадеты тех отделений, которые имели Бородина своим преподавателем, считались среди нас счастливчиками. Как народ ехидный и пакостный, мы

часто строили каверзы, подавая одно и то же сочинение в двух разных отделениях Бородину и Кальницкому, причём балл был всегда разным. Кальницкий требовал сухости и казёнщины, директор наоборот – литературного слога и смелости мысли.

Физику преподавал чиновник в генеральских чинах, начальник Воронежского почтово-телеграфного округа инженер Пихтовников, сын которого был у меня в классе. Историю – большой и толстый русофил, патриот и монархист Тихменёв, который сразу отметил мой интерес к его науке и всячески его поощрял. Своим лучшим ученикам он позволял не отвечать поурочно, а сдавать зачёты за известный учебный период, причём ставил высшие баллы не тем, кто отвечал по учебнику, а тем, кто пользовался для сдачи отчёта посторонними источниками и обнаруживал общее знакомство с историей. Я у него был лучшим учеником в классе и только один из всех имел 11 баллов − выше этой отметки Тихменёв никому не ставил. Географию в нас внедрял капитан Писарев, небольшого роста, нервный серьёзный офицер-академик, к которому все кадеты относились с особым уважением, как к участнику русско-японской войны, носившему единственным во всём корпусе красный Анненский темляк.

Ротное строевое начальство состояло из полковника Анохина, командира 2-ой роты и шести офицеров-воспитателей, по одному на каждое отделение роты. Это были подполковники Садлуцкий, Цесарский, Гельфрейх, Завьялов, Мацкий и гусарский поручик Крашенинников, прикомандированный к корпусу до зачисления в штат. Чтобы закончить перечень начальства второй роты, надо упомянуть и о вице-фельдфебеле Войневиче. Он был таким же кадетом пятого класса, как и все мы, однако по своей должности он являлся вместе с тем нашим непосредственным начальником. Его все уважали и слушались вследствие того чувства дисциплины, которая прививалась кадетам с первых же дней пребывания в корпусе, хотя, в сущности, фельдфебели нестроевых рот дисциплинарными правами не пользовались. Войневич был мрачноватым плотным кадетом, мало разговорчивым и необщительным, впоследствии из шестого класса он перевёлся в гардемаринские классы Морского корпуса и я потерял его из вида. В строевой роте в это время фельдфебелем был Дараган, сын кавалерийского генерала и сам впоследствии синий кирасир.

Товарищи по отделению, как и следовало ожидать, встретили меня в качестве новичка с большой критикой и выжидательно. Для них, уже сжившихся друг с другом за четыре года, я был не только новым, но и чуждым штатским элементом, или на кадетском языке «шпаком». Это званье носили все штатские на военном языке и все кадеты новички, перешедшие в корпус из гражданских учебных заведений, пока они не теряли своих штатских ухваток и не приобретали военной выправки, что случалось никак не раньше пяти-шести месяцев, а то и года. В младших классах обыкновенно всех новичков сильно поколачивали, делая этим путём из них «кадетов». В пятом же классе, считавшимся старшим, это способ уже был не принят, и товарищи ограничивались в отношении меня ядовитой насмешкой и остротами крупной соли, если я делал промахи, с кадетской точки зрения.

Надо правду сказать, сделаться настоящим кадетом было не так легко, как это кажется. Надо было не только многое узнать и привыкнуть к кадетскому быту, но и изучить его язык, обычаи и традиции, словом, и физически, и морально переродиться, что было не так легко для юноши 16 лет, каким я поступил в корпус, да ещё после домашнего приволья. А сделать это было совершенно необходимо и как можно скорее, так как печальные результаты сопротивления корпоративным началам и традициям корпуса были у меня перед глазами. Во втором отделении того же пятого класса был кадет князь Дадиани, за год до меня поступивший в корпус, который жестоко поплатился за попытки пойти против общего направления. Поступив в четвёртый класс прямо из дома, он как пылкий и смелый кавказец с первых же дней стал вести себя вызывающе в отношении класса, который над ним, как над всяким новичком, стал потешаться. Обладая большой физической силой, он даже поколотил нескольких обидчиков из старых кадет. Этого кадетский коллектив потерпеть от чужака, конечно, не мог и в один печальный вечер устроил шпаку «тёмную», т.е. неожиданно накрыв

его шинелью, жестоко избил. Привыкший в своём княжеском имении в Озургетах к почёту и преклонению, бедный князёк не только оказался сильно помятым, но ему в свалке, кроме того, сломали ногу. При подобных обстоятельствах и твёрдых обычаях корпуса и мне не слишком приходилось огрызаться на приставания товарищей, памятуя поговорку, что в чужой монастырь со своим уставом не ходят.

Поначалу, как водится, новые товарищи сливались для меня в общую массу зубастых и неприязненных кадет, но мало-помалу, когда первые впечатления улеглись, я стал различать постепенно и отдельные личности. Старшим в классе был красивый и румяный брюнет Борис Костылёв, большой лентяй и сибарит, любимец подполковника Садлуцкого. Последний поблажал ему больше, чем надо, и, нарушая правила, Костылёв, бывший в четвёртой роте фельдфебелем и считавшийся в младших классах первым учеником, с четвёртого класса задурил, заленился и шёл в классе едва-едва средним учеником, почему давно не имел права оставаться старшим.

Соседа по парте, знакомство с которым должно было бы быть у меня раньше, чем с другими кадетами, у меня не оказалось, так как кадет Борогунов, которому принадлежало это место, был уже год на излечении в санатории в Аббас-Тумане после того, как в свалке ему продавили грудь. Впереди сидели два кадета, с которыми мне и пришлось познакомиться с первыми – Богуславский и Бондарев. Первый из них, голубоглазый красавец и богатырь, был лучшим учеником в классе. Он имел спокойный и на редкость добрый характер, почему на широких плечах Вани, как его все называли, выезжали все плохие ученики, которым Богуславский добровольно и, конечно, безвозмездно вдалбливал уроки. На письменных занятиях и экзаменах его всегда осаждала стая лентяев, списывавших у Вани задачи и сочинения. Сосед Богуславского, мордастый и мускулистый донец, не отличался ни способностями, ни быстротой соображения, хотя и зубрил изо всех сил. На правах соседа Бондарев больше всех эксплуатировал добродушного Ваню.

На задней парте мне долго отравлял существование маленький, совершенно квадратный казачонок Трояновский с до отказа курносым калмыцким лицом. Учился он прекрасно, но в младших классах отличался настырным и надоедливым характером. В качестве новичка я не имел права дать ему хорошей сдачи, как мне ужасно этого хотелось и к чему чесались руки, но однажды за меня его отдул совершенно неожиданно кадет Сноксарёв, которого возмутило то, что Трояновский злоупотребляет тем, что я в качестве новичка не имел права дать ему по морде. Этот Сноксарёв был солидный плечистый кадет, мечта которого была стать первым силачом класса, чему мешал его небольшой рост. Будь он потяжелей, идеал этот был бы им достигнут, но теперь на пути к нему стоял в классе опасный конкурент ингуш Хаджи Мурат Богатырёв, огромный и атлетически сложенный горец, который неизменно брал своей массивностью во всех состязаниях. Богатырёв этот, человек с лошадиным лицом и срезанным затылком, как большинство кавказцев, с трудом одолевал науку, что не мешало ему иметь большую самоуверенность.

Совершенно особо стоял в классе высокий румяный кадет Лихачёв Юрий, из известной помещичьей семьи Воронежской губернии. Его отец, в своё время богач и лихой гусар, совершенно разорил родовые имения и был взят в опеку. Братьев Лихачёвых в Воронежском корпусе было четыре и только одному старшему Ивану удалось окончить курс, все остальные покинули корпус по неуспешности, хотя были все очень милые ребята. Юрий Лихачёв был приходящим и жил недалеко от корпуса в родовом доме с огромным садом и двором, полным всяких диких и ручных зверей и птиц. Семья Лихачёвых в моё время совершенно разорилась и, как у нас говорили мужики, «сходила на нет».

На соседней от меня скамейке помещались два очень мирные кадетика Пушечников и Миллер. Первый, последний отпрыск когда-то знатного и старого боярского рода, тоже принадлежал, как и Лихачёв, к разорившейся семье, доживавшей последние дни в маленьком имении Землянского уезда. Он был очень славный и скромный мальчик, любимый товарищами, с ним я сошёлся вскоре на почве общей нашей любви к деревне и усадьбе. Сосед Серёжи Пушечникова, чёрненький немчик Миллер, сосредоточенный и

обидчивый, требовал от жизни только одного: чтобы его не трогали и оставили в покое. В классе оказался, кроме меня, и ещё один бывший «шпак», поступивший на год раньше меня из воронежской гимназии, кадет Тимофеевский, сын местного жандармского генерала, в своё время также прошедший все испытания и козни, полагающиеся на долю новичка.

Из общей массы других кадет в классе выделялась группа грузин, державшихся вместе и имевшая много общих интересов. Это были Жгенти, Накашидзе, Гогоберидзе, Амираджиби и два князя Павленова. Народ это был всё горячий и резкий, но хорошие товарищи и очень весёлые в общежитии ребята. Учились они все плохо, и курса большинство не кончило.

Первым, с кем мне пришлось сойтись по-дружески, был Коля Лабунский, любитель охоты, на почве которой мы подружились. Он был сын армейского капитана и потомок целого ряда таких же офицеров-служак, которые в старое время составляли основу и костяк русской армии. Отец моего товарища лет 15 командовал в Темрюке местной командой, и там, на берегу Азовского моря, в плавнях и камышах Коля Лабунский проводил каждый год лето на охоте. По недостатку средств он не ездил домой на Рождество и на Пасху и потому ещё больше меня скучал по полям и воле.

Оказался во второй роте у меня и старый знакомый – Аполлон Барсуков, наш спутник на пикниках в Покровском, но он был в четвёртом классе, и дружить с ним для меня по корпусным понятиям было предосудительно, как с младшим. Пятый класс, к которому я имел честь принадлежать, был старшим в роте и ревниво оберегал свой престиж, по возможности не якшаясь с «молокососами».

Самым трудным кадетским ремеслом на первых порах для всякого новичка были строевые занятия. Мои товарищи уже четыре года изучали военный строй и, конечно, знали его твёрдо, тогда как для меня это была наука совершенно новая, которую не только приходилось воспринимать впервые, но и догонять по чистоте её выполнения одноклассников. Первые недели я нарушал все строевые занятия, путая построения как истинный новобранец, что сердило офицера и возбуждало насмешки кадет. Однако с течением времени всё постепенно вошло в свою колею, и через год я знал уже строй лучше многих своих товарищей. С гимнастикой дело обстояло лучше, так как, кроме пяти-шести специалистов гимнастов, в этом деле я был не хуже других, а по прыганью, что почему-то весьма ценилось среди кадет, я даже был одним из лучших.

Была ещё одна сторона моей новой жизни, которую надо было изучить возможно скорее, это искусство иметь военный вид. Чтобы носить военное платье, нужно к этому иметь не только привычку, но и много специальных познаний, без чего человек, будь он мальчиком или взрослым, надев на себя военную форму, будет в ней всё равно казаться переодетым штатским, как это бьёт в глаза всякому зрителю в театре, когда артисты играют офицеров. Мундир, шинель, фуражку и даже башлык надо уметь носить, без чего из мальчика никогда не будет «отчётливого кадета», уже не говоря о юнкере и офицере. Именно поэтому в полках так резко отличались друг от друга офицеры, прошедшие курс кадетского корпуса и потому носившие 9-10 лет военное платье, от тех, которые окончили только военное училище, т.е. надели на себя военную форму два года назад.

Для приобретения «отчётливости» и воинского вида надо мною ежедневно трудились в течение многих месяцев не только воспитатель подполковник Садлуцкий, но и весь класс, для которого это был вопрос самолюбия. Мне пришлось заново учиться ходить, сидеть, говорить, здороваться и кланяться, словом, перестроить всё своё существо и психологию на совершенно новый лад. Надо при этом отдать полную справедливость моим товарищам кадетам, что никто из них и никогда не позволил себе отказать мне ни в совете, ни в помощи по этой части. Нигде вообще чувство товарищества и спайки так не культивировалось, как в старых кадетских корпусах, где оно достигало воистину героических размеров и полного самоотвержения во имя корпорации. Однажды в первые дни моего пребывания во второй роте я как-то подрался с одним четвероклассником, и вдруг совершенно неожиданно ко мне на выручку бросился чуть не весь пятый класс, честь

которого была этим задета, хотя пятиклассники позволяли себе вдесятеро больше того, в чём провинился передо мной бедный молокосос.

В стенах корпуса кадеты постоянно одевались в белые парусиновые рубашки с погонами и поясом и в них же выходили на прогулку в тёплую погоду. Идя в отпуск летом, надевали то же платье, но лучшего качества или, выражаясь казённым языком, «первого срока». Когда начинало холодать, осенью и в течение всей зимы на прогулку выходили одетые в чёрные однобортные мундиры с красным воротником и погонами. В таких же мундирах «первого срока», но с золотыми галунами на воротниках ходили в отпуск. В холодную зимнюю погоду, идя в отпуск, кроме того, надевали шинели, которые особым приказом по корпусу надевались, смотря по сезону, «в накидку» или «в рукава». Башлык полагался при форме отнюдь не для того, чтобы им греть уши или голову, а исключительно как принадлежность формы, а именно, плотно прилегая к спине с продетыми под погоны крыльями, которые затем перекрещивались на груди, а концы их закреплялись под поясом. Надевание поэтому башлыка на шинель являлось целым искусством, которое в совершенстве постигалось только кадетами старших классов. Франты не только заглаживали башлык по складкам утюгом, но даже пришивали к шинели, дабы он прилегал к ней безукоризненно. На шинели под поясом складки допускались только сзади под хлястиком, для чего она должна была сидеть, как влитая, что требовало сложной её переделки, так как всё обмундирование для кадет шилось на пять «ростов», т.е. размеров, собственная же одежда начальством не допускалась, за исключением фуражек, погон и блях.

Фуражки выписывались обыкновенно из Москвы, бляхи же и погоны продавались в Воронеже. Надо сказать, что каждый из тридцати кадетских корпусов, существовавших в России перед революцией, имел свои особые погоны разного цвета и с разными вензелями. Были корпуса, не имевшие шефа, как например, Одесский, у которого на погоне были поэтому только простые буквы О.К., но большинство имело особых шефов, и их вензеля, иногда весьма сложные, красовались на соответствующих кадетских погонах. Цвета также были различные, а именно: красные, синие, чёрные, белые и даже малиновый. У нас в Воронеже корпус имел белый, впадающий в синь, погон с вензелевой буквой «М» и короной нашего шефа великого князя Михаила Павловича, брата императора Николая Первого, когда-то бывшего начальником всех военно-учебных заведений.

К Рождеству полковник Садлуцкий и товарищи по отделению решили, что я более или менее принял кадетский вид, научился отдавать честь и становиться во фронт и поэтому могу быть выпущен в народ без риска «осрамить роту». Отдавание чести и в особенности постановка во фронт было наукой сложной и требовавшей известной практики. Надо было, прежде всего, твёрдо знать, кому становиться во фронт и кому только отдавать честь. По уставу полагалось делать фронт, т.е. останавливаться по форме и встречать на своём пути начальство с рукой у козырька, своему офицеру-воспитателю, ротному командиру, директору и всем генералам и адмиралам, уже не говоря о членах императорской фамилии обоего пола. В Воронеже эти последние случались, так как около города находилось имение принцев Ольденбургских. Честь просто отдавалась всем офицерам и военным чиновникам.

В царской армии прежнего времени было такое разнообразие форм, чинов и погон, что для того, чтобы в них разобраться, нужны были годы практики. Среди всех этих подробностей были многие исключения и странности, хотя и имевшие под собой исторические и бытовые основания, но сбивавшие с толку неопытных кадет, солдат и юнкеров. Так, например, гусарские полки при парадной форме ни погон, ни эполет не носили, имея вместо них жгуты, разобраться в которых было трудно. Адмиралы носили штатские крылатки, а на погонах вместо звёзд − орлы. Военные чиновники носили погоны, похожие на офицерские, дворцовые гренадеры, будучи солдатами, носили капитанские погоны и т.д. Благодаря всему этому с кадетами младших классов случались постоянно забавные истории, которые начальники, уже не говоря о самих кадетах, принимали близко к сердцу. Один кадетик, идя с матерью по Большой Дворянской, лихо стал во фронт какому-то военному фельдшеру из подпрапорщиков, сложные погоны которого его поразили, и с

презрением прошёл мимо адмирала, приняв его за акцизного чиновника. Другой, увидев на улице старичка Милютина и разобрав на нём фельдмаршальский чин, до того растерялся, что напустил в штаны, и был опозорен товарищами на всю жизнь. Я сам однажды, растерявшись, отдал честь и стал во фронт солдату кавалергарду, когда он, огромный и весь сияющий золотой кирасой и каской с орлом, неожиданно вышел из-за угла, как живой памятник военной славы.

Становиться во фронт полагалось за четыре шага до начальства, причём если кадеты шли вдвоём или больше, то выстроившись в шеренгу и одновременно. Последнее требовало большой отчётливости и глазомера, иначе задние, натолкнувшись на передних, устраивали не фронт, а некрасивую толкотню.

Выпустили меня впервые на улицу на предмет следования в фотографию, так как отец настойчиво требовал от меня снимка в военной форме. Этот снимок являлся для него вопросом самолюбия и семейной чести. Начиная с первых Марковых, весь длинный ряд их потомков, от отца к сыну и внуку в течение пяти веков без единого перерыва представлял собой «служилое сословие», нёсшее свои дворянские службы на ратных полях по старинной формуле «конно, людно и оружно». Не было ни одной мало-мальски крупной войны в России за эти пятьсот лет, в которой не участвовали бы члены нашего рода.

Жаловались они при Иване Третьем и Грозном вотчинами «за государевы ратные службы»; при Михаиле Фёдоровиче «за московское осадное сидение»; «за многие труды и раны» награждались царскими жалованными золотыми при славном царе Алексее Михайловиче. Участвовали поручиками и «цехвемейстерами» в походах Великого Петра, ходили бригадирами и майорами с Суворовым через Альпы в Италию. Генерал-лейтенант Евгений Иванович Марков решил судьбу Русско-турецкой кампании на Дунае в 1810 году; его брат, лихой конный артиллерист Александр Иванович в Отечественную войну дважды спас жизнь Александру Первому. В ту же Отечественную войну трое моих прадедов заслужили себе генеральские чины. От вывезенной из венгерской кампании лихорадки и ран погибли в 1838 году два моих прадеда. В Русско-турецкую кампанию 1855 года двое из моих дедов воевали на Дунае, причём один из них, мой тёзка по имени, отчеству и фамилии, погиб в конной атаке под Силитрией. Их третий брат юным прапорщиком, прямо со школьной скамьи, пошёл на усмирение польского восстания 1859 года. В японскую кампанию было ранено двое наших дядей. Из четырнадцати человек Марковых, вышедших в рядах Российской армии на защиту родины в 1914 году, не было ни одного, который бы не пролил своей крови за царя и Россию. В гражданскую войну все Марковы, способные носить оружие, стали в ряды белых армий. На стороне красных не осталось ни одного. Четверо из них, и в том числе мой родной брат Николай, нашли свою раннюю могилу на последних пядях русской земли. Имя одного из них, генерала Сергея Леонидовича Маркова, ныне чтит вся национальная Россия.

Среди поместного дворянства, к среде которого принадлежала всегда наша семья, военная служба рассматривалась как честь и обязанность всякого дворянина. С военной службой в нашем кругу не связывали какие бы то ни было выгоды или материальные блага. Она была лишь известным моральным долгом каждого, добровольной обязанностью по отношению к родине и государству, дававших дворянству «вольности и привилегии». Немногие помещики наших мест, уже не говоря о старых временах, оставались подолгу служить на военной службе. Большинство выходило в запас и отставку в чинах не свыше штаб-ротмистрского, т.е. они отдавали военной службе только 8-10 лет своей молодости, не гоняясь за карьерой.

«Свиты Его Величества поручик» – важно расписывался на всех бумагах мой прадед и не хотел ни за что менять этот чин ни на какой другой штатский и даже генеральский, хотя и имел на это право, служа по выборам на значительных должностях. Через сто лет после этого, когда я приехал к отцу из Петербурга после производства в офицеры, первые его слова были: «Военной службой очень не увлекайся, прослужи несколько лет и выходи в запас. Зачем тебе чины? Заменишь впоследствии меня и деда –

будешь предводителем». Сам отец тоже вышел в отставку капитаном после семи лет службы по тем же причинам. Понятно, почему папа хотел, чтобы я не нарушил старую традицию и надел погоны. С целью выполнить желание родителя я и шёл теперь сниматься, чтобы послать домой свою первую карточку в военной форме.

Не особенно надеясь на моё знание военных уставов, Садлуцкий поручил меня в городе заботам и наблюдению Костылёва, шедшего также сниматься, который по этому случаю уже в роте начал проявлять ко мне своё чисто родительское попечение. Осмотрев меня с головы до ног и поправив все складки на шинели, он почему-то забраковал башлык, заменил его своим собственным запасным, который и приладил на мне по всем правилам хорошего кадетского тона. Ввиду того, что с нами шло ещё человек пять товарищей, было заранее условлено, что в случае встречи с каким-либо начальством я немедленно занимаю левый фланг отряда, на котором будет не так видно, если я устрою какой-либо служебный «*гаф* ».

Путешествие по городу в фотографию и обратно сошло благополучно, и моя первая фотография в кадетской форме была отослана в Покровское. Впоследствии эта картинка в семейном альбоме стала моим несмываемым позором, так как, перейдя в старшие классы и став франтом, я при взгляде на неё злился и оскорблялся неуклюжей фигурой в стоявшей колом шинели, которая на ней была изображена. Кончилось тем, что я вынул и истребил эту фотографию, о чём впоследствии, конечно, очень жалел.

Перед Рождеством в роте у нас случилась не совсем обычная история. Один из кадетов нашего класса Бачинский, постоянно читавший романы, вдруг задурил и отказался учиться с упрямством, редким для мальчика 16 лет, а для кадета в частности. Несмотря на все увещевания Садлуцкого, ротного командира и даже директора, Бачинский твердил, что учиться больше не хочет, а желает ехать домой, причём причин этого странного решения никому не открыл. Применённые к нему обычные наказания в виде ареста и карцера не помогли, и на Рождество его уволили из корпуса, так как он уроков не учил и отвечать преподавателям отказывался, что создавало в классе беспорядок и вредно действовало на дисциплину кадет.

В жизни каждого мальчика обязательно бывает период, когда он без всякой видимой причины начинает так или иначе дурить, и часто из примерного по поведению и учению делается лентяем и скандалистом. Через известный срок этот период дури проходит, и мальчик снова делается нормальным и прежним. Это бывает обыкновенно в 14-16 лет, и потому этот возраст считался среди педагогического состава корпуса самым трудным и совпадал в Воронежском корпусе с возрастом кадет второй роты, почему она считалась для офицеров-воспитателей самой неприятной. У меня такой период временной дури начался несколько с опозданием, и потому прошёл особенно бурно и сопровождался неприятными последствиями.

По субботам после обеда вечерних занятий не полагалось, и вместо них все роты в строю обязаны были идти в церковь. Это обязательное стояние в церкви воинским строем для меня было чрезвычайно неприятно, так как стоять полагалось навытяжку всю службу, не шевелясь, и даже на колени надо было становиться одновременно всем корпусом. С кадетами младших классов от этого напряжённого стояния часто делались обмороки, и их в этом случае выносили из церкви в рядом расположенную спальню третьей роты, где каждую церковную службу на этот предмет дежурил фельдшер, имея при себе необходимые медикаменты. Из старших классов кадеты в обморок не падали, но тоже довольно часто покидали службу от духоты, хотя и собственными средствами передвижения. Однажды, когда у меня были непорядки с желудком, я, спросив разрешения дежурного офицера, вышел из церкви. Войдя в спальню третьей роты, я, к своему изумлению, встретил в ней весёлую и дружную компанию, которая, расположившись с большими удобствами на кроватях, очень весело проводила время, причем в весёлой болтовне принимал участие и дежурный фельдшер. Оказалось, что, воспользовавшись тем, что с двумя или тремя кадетами действительно случилась дурнота, их выносила целая группа товарищей, которая сама

больше уже в церковь не вернулась. Эта по казённому поставленная религиозная сторона воспитания в корпусе и хождение строем на церковные службы приводили к тому, что как я сам, так и многие другие кадеты терпеть не могли посещать церковные службы и всячески от них отбояривались, предпочитая зачастую пролежать целый час где-нибудь в дальнем углу спальни.

Главным виновником такой ненормальной постановки дела был корпусной законоучитель протоирей отец Стефан Зверев, не пользовавшийся ни уважением кадет, ни тем более их любовью за свой сухой и желчный характер с уклоном в казённое православие и отбывание номера. Подобное отношение к своему делу у отца Стефана, вероятно, было потому, что он был всегда поглощён такими посторонними религии вопросами, как политика и в особенности археология. В ней он был большой специалист и даже состоял в Воронеже товарищем председателя городской археологической комиссии.

Кадеты этого попа терпеть не могли, и в «Звериаде», традиционной песне военно-учебных заведений, обличающей обиды и неправды со стороны начальства, ему была посвящена одна очень непочтительная и неприличная строфа, в коей говорилось:

Кобель прельстил однажды суку,
И сука тотчас зачала,
И через год в ужасных муках
Отца Стефана родила…

На Михайлов день, т.е. 8 ноября, корпус праздновал свой престольный праздник, который по традиции был прощальным балом кадет седьмого класса, а потому – хозяев праздника. Занятия по этому случаю прекращались на три дня, а именно на 7, 8 и 9 ноября, готовились же к этому празднику всем корпусом уже месяца за два. Главным распорядителем и заведующим художественной частью праздника был много лет подряд подполковник Паренаго − безземельный офицер, воспитатель строевой роты, художник, артист и археолог, очень любимый и уважаемый кадетами, к которым он умел подходить не только как начальник, но и как старший товарищ и руководитель. Это особенно ценится мальчиками-подростками, считающими себя уже взрослыми и очень оскорбляющимися, если к ним относятся как к детям, но одновременно с тем ещё недостаточно сознательных, чтобы подчиняться настоящей военной дисциплине. По происхождению своему Паренаго принадлежал к хорошей дворянской семье Воронежской губернии. Он имел в городе большие знакомства и связи, поэтому помимо всяких кадетских произведений для украшения зала во время праздника ежегодно доставал массу декоративного материала со стороны в виде старого оружия, шлемов, лат, кольчуг и прочей военной старины, приличествующей для украшения бальной залы военно-учебного заведения. Кадеты выпускного класса являлись на балу хозяевами и распорядителями праздника, и на этом основании каждый из них располагал двумя пригласительными билетами для своих родных или знакомых. Вторая рота имела по одному билету, а две младшие на бал появлялись только до 10 часов вечера, без права приглашать кого бы то ни было.

Традиционный бал кадетского корпуса был самым большим светским событием в Воронеже, и на него всегда съезжалось всё высшее военное начальство во главе с командиром армейского корпуса, высшее дворянство губернии и масса бывших кадет, уже не говоря о родителях и родственниках учащихся. В Воронеже имелось огромное количество средних учебных заведений, в этом отношении он в моё время перещеголял все провинциальные города, и потому выбор дам был для кадет самый широкий, так как одних женских гимназий было шесть, уже не говоря о сёстрах и кузинах кадет-воронежцев. В день праздника ежегодно устраивался торжественный обед. На нём, кроме состава корпуса, присутствовали в качестве почётных гостей все приехавшие на праздник бывшие кадеты под председательством старейшего из них, обыкновенно почтенного и заслуженного генерала (так как корпус уже пережил пятидесятилетие своего основания, и я сам принадлежал к 62 выпуску).

Обед по строго соблюдавшейся традиции был один и тот же и, по выражению

кадет, состоял из «серьёзного харча». На первое полагался бульон с великолепной кулебякой, на второе – жареный гусь с яблоками и на третье – сливочный торт. На предмет неизбежных за обедом тостов каждому присутствующему полагалась бутылка мёду. Первая здравица, конечно, была за государя императора, после которой оркестр, игравший в течение всего обеда, исполнял национальный гимн, сопровождаемый хоровым пением всех присутствующих. Второй тост был за великого князя генерал-инспектора, а затем следовали по порядку здравицы за корпус, бывших кадет, директора и т.д. Каждый тост сопровождался оглушительными криками «ура». Настроение за обедом было всегда приподнятое и очень искреннее. Общая хлеб-соль кадет, по-товарищески разделяемая с заслуженными генералами и офицерами, молодевшими в стенах родного корпуса, где когда-то прошла их юность, создавала атмосферу братства и спайки между старыми и молодыми, которой была крепка и славна русская императорская армия. Много раз я переживал это хорошее и тёплое чувство корпоративного единства и неразрывной связи за кадетским обедом 8 ноября, и будучи кадетом, и позднее, приезжая в этот день в корпус офицером. Хорошее давно прошедшее и невозвратное время…

Первое Рождество, проведённое кадетом в Покровском, прошло очень приятно, отец не скрывал своего удовлетворения, что я стал на привычную для него и понятную дорогу военной службы, и был ко мне необычайно ласков. С сестрой и Женей мы провели, кроме того, неделю в Щиграх среди тёплой родственной обстановки, бывая беспрерывно на вечерах и обедах то в одном, то в другом доме родственников. После Рождества я с удовольствием и удовлетворением почувствовал перемену к себе товарищей, для которых я перестал быть чужаком. Этому способствовало и то обстоятельство, что товарищеский коллектив занялся новым чужестранным телом, которое надо было освоить, переварить и растворить в себе. Этим посторонним телом оказался кадет Естифеев, переведённый к нам из Омского корпуса. Он был у себя в корпусе фельдфебелем и имел около 11 баллов в среднем, почему был встречен с известным злорадством на новом месте и затаённой мыслью: «А ну, посмотрим, как ты себя здесь покажешь! Это тебе не Омск». Поначалу Естифеев, ярко-рыжий приземистый парень, пока не применился к новым преподавателям, учился средне, что, конечно, вызвало известное злорадство в классе, но как человек с характером и энергичный скоро справился с местными условиями и к концу года выдвинулся на место первого ученика, к посрамлению всех скептиков и злорадствующих.

Упомянув о среднем балле, считаю нужным объяснить его смысл и значение. В кадетских корпусах успехи каждого кадета определяются следующим способом. Четвертные баллы каждого по всем предметам складываются в общую сумму, которая делится на число предметов. Полученное число и составляет «средний балл», согласно которому кадет и занимает место в классе по успехам. Кадеты, имеющие один или больше неудовлетворительных баллов, т.е. меньше 6, считаются ниже всех своих товарищей, не имеющих таковых, какой бы средний балл у них не был. Кадет, не имеющий ни одной пятёрки и обладающий средним баллом 7, считается по успехам выше стоящим того, который имеет 10 в среднем, но с одной пятёркой по какому-нибудь предмету. Двенадцать в среднем на моей памяти никто и никогда из кадет не имел, хотя теоретически, конечно, это было возможно. При системе среднего балла все предметы, проходимые в корпусе, имели одинаково важное значение, и зачастую прекрасный ученик, но плохой рисовальщик, имевший по рисованию 6 или 7, портил этим себе все успехи. Большинство кадет имело в среднем 7 с половиною или 8-9, выше имевшие были уже унтер-офицерами и считались хорошими учениками.

Кроме обязательных церковных стояний, которых я не выносил, не терпел я ещё уроков танцев, к которым с детства почему-то имел отвращение, сохранив его и до седых волос. Особо нудными были эти уроки потому, что кадеты на них танцевали друг с другом, как институтки выражались, «шерочка с машерочкой», что имело очень нелепый вид. Обыкновенно на этих уроках кадеты, если отсутствовал отделенный офицер, кроме двух-трёх любителей, просто баловались, выкидывая всякие козлиные прыжки и колена.

Учителем танцев был штатский господин, отставной балетмейстер, которого мы, конечно, и в грош не ставили. Его сопровождал на уроки скрипач, крохотный господин с выпученными глазами и тончайшими тараканьими усами, про которого малыши рассказывали, что он оживший покойник.

Однажды вскоре после Рождества нашу вторую роту в неурочный час перед вечерними занятиями выстроили в ротной зале. Тут же у правого фланга стоял и корпусной оркестр, что было совсем необычайно. Все отделенные офицеры оказались налицо и стали в строй вместе с ротой. После команды «смирно» из дежурной комнаты появился торжественно полковник Анохин и, поздоровавшись с кадетами, обратился к нам с речью. Речь эта, не отличавшаяся красочностью, но замечательная по военной краткости, состояла из нескольких фраз. Пуп открыл нам давно известные истины, согласно которым заслуги награждаются, а проступки караются, после чего им был вызван из строя кадетик четвёртого класса, приговорённый педагогическим советом к «снятию погон». Наказание это в корпусе практиковалось редко и полагалось за проступки весьма предосудительные. Вызванный заранее каптенармус с огромными ножницами после объявления преступнику приговора немедленно срезал с него погоны, и обесчещенный таким образом младенец был поставлен на левый фланг роты, где он и должен был оставаться впредь до отбытия им срока наказания.

После этой экзекуции ротный командир сделал многозначительную паузу, отступил на два шага назад и, выпятив колесом грудь, торжественным тоном произнес: «Кадет Греков! Два шага марш!» Из строя вышел и остановился перед Анохиным маленький кадет-блондин. «А теперь, господа, – не спадая всё с того же торжественного тона, продолжал Анохин, – вместо товарища вашего, совершившего позорный поступок и наказанного тяжким для всякого военного человека наказанием, вы видите перед собой благородного кадета, совершившего героический поступок и спасшего с опасностью для собственной жизни своего ближнего. Сегодня я получил от Черкасского окружного атамана Войска Донского официальное письмо, в котором он меня извещает, что кадет Греков, во время своего отпуска на Рождество, спас в станице Старочеркасской провалившегося под лёд мальчика. В воздаяние за этот геройский поступок кадет Греков всемилостивейше награждён государем императором медалью за спасение погибающих на Владимирской ленте». Закончив речь, Анохин вынул из кармана медаль и приколол её к груди красного от смущения Грекова, обняв его и поцеловав. «А теперь ура в честь вашего товарища-героя!» Рота оглушительно и с искренним подъёмом заревела «ура!», оркестр заиграл туш, офицеры взяли под козырёк, а бедный маленький Греков, с медалью на груди и красный как рак от смущения, не знал, куда ему деваться.

Не успел дежурный офицер скомандовать роте разойтись, как сотни рук подняли Грекова и полковника Анохина вверх и по старому обычаю стали качать до одури под оглушительное и на этот раз уже не официальное «ура!». Услышав радостные крики, из других рот прибежали любопытные и, узнав в чём дело, помчались домой с новостью. Через пять минут все четыре роты корпуса загремели оглушительным «ура!». Этой стихийной и благородной радости за своего товарища, несмотря на то, что её выражение выходило из всех рамок корпусного распорядка, никто из улыбающихся офицеров не мешал. За ужином в столовой, куда собрался весь корпус, оглушительное «ура!» восьмисот глоток снова приветствовало не знавшего, куда девать глаза, Грекова.

Вскоре после Святок в Воронеж неожиданно приехал по делам отец с Марией Васильевной и взял меня в отпуск на два дня. Остановились они в Центральной гостинице, где много лет назад мы жили с мамой и братом, когда Коля держал экзамен в корпус. Гостиница эта была лучшей в городе и потому посещалась почти исключительно только приезжающими в город помещиками и военными. В ней был ресторан и прекрасная кухня, что для меня было самое главное, так как после шести месяцев пребывания в корпусе, вместе с другими специфическими кадетскими чертами, я приобрёл и чисто волчий аппетит. Старики мои очень этим забавлялись и дивились, как я, деревенский дичок, так скоро изменился до неузнаваемости, сменив свой вид деревенского вахлака на лихой «воинский

вид».

На Масленицу в корпусе подавали блины, которые по сравнению с домашними показались мне ужасными. Это были серые толстые лепёшки, которых съесть пару было настоящим геройством. Однако среди кадет старших классов оказались не только любители, но и даже знаменитые в своей среде «*манжёры* ». Например, кадет А. на пари съел однажды 18 штук и продолжал бы это занятие и дальше, если бы на это зрелище случайно не попал дежурный офицер, отправивший «чемпиона» из столовой прямо под арест. Вечером перед строем роты Анохин строго осудил поступок А., наказанного трёхдневным арестом, причём разъяснил нам, что кадетский корпус, где воспитываются будущие офицеры, не есть бурса, почему он не допустит в нём никаких бурсацких рекордов по поеданию блинов или каши.

Кончилась Масленица, и потянулись скучные дни Великого поста, составлявшие для меня сплошное мучение за все четыре года пребывания в корпусе. Поступив в корпус юношей 16 лет с уже установившимися привычками и вкусами, я в рот не брал ничего, приготовленного на постном масле, на котором готовилась для кадет вся пища семь недель поста. Приходилось волей-неволей жить только чаем и чёрным хлебом, отчего буквально подтягивало живот и кружилась голова.

Перед Пасхой кончалось второе учебное полугодие, а после праздников должны были начаться переходные экзамены. На наше счастье, в Главном управлении военно-учебных заведений шли большие перемены, готовились реформы, и экзамены в этот переходный период для пятого класса были отменены. Год кончался для меня благополучно, в среднем набиралось около восьми баллов, что для меня было совершенно достаточно, но мало для отца, который во что бы то ни стало желал, чтобы я шёл по его дороге, т.е. окончив корпус, шёл в инженерное училище и академию. Такая перспектива не только меня не прельщала, а прямо приводила в ужас от одной мысли посвятить всю свою жизнь общению с ненавистной математикой.

Весна 1911 года, как и всегда в Воронеже, наступила чудесная. Набухли и распустились душистые почки белой акации и черёмухи в садах корпуса. В чистом весеннем воздухе по голубому небу к задонским степям потянулись косяки перелётной птицы. Ночью в отрытые окна спальни врывались глухие крики уток и гусей, летящих к родным местам. На строевых занятиях на плацу я тоскливо следил глазами за тем, как высоко над городом в синеве неба тянут треугольники журавлиных стай. Нестерпимой болью дёргали журавлиные крики струны моего охотничьего сердца многоголосым тоскующим призывом вольной птицы. Воля!.. Какой привлекательной и заманчивой казалась она мне весной, взаперти в тесных стенах корпуса! В эти последние дни занятий перед Пасхой я делался душевнобольным, тосковал по воле, по лугам и полям, таким зелёным теперь и душистым. Ночью, ворочаясь в кровати и вдыхая одуряющий запах белой акации, гроздья которой лезли в самые окна спальни, я представлял себе как живую родную усадьбу, широкий заросший лужок перед домом, весенние зелёные сады кругом, крики по ещё не просохшим лугам всякой водоплавающей твари, мяукающие голоса павлинов на крыше ледника, борзых − всё то знакомое, родное и близкое, от чего я был насильно оторван, и мне хотелось плакать. «Что ты ворочаешься всю ночь, спать людям не даёшь?» – злились по утрам мои соседи по спальне, не понимавшие этого состояния.

Когда с радостно бьющимся сердцем я вырвался из корпуса в Покровское на Пасху, мы с Алёшкой буквально исколесили все поля и луга далеко в окружности, бессознательно радуясь возрождению жизни и природы, которой мы сами составляли неразрывную частицу. Эти две счастливые недели, проведённые дома, сгладили последний месяц пребывания в корпусе перед роспуском на лето.

В последних числах мая наступил тот счастливый день, к которому кадеты готовились задолго. Я перешёл благополучно в шестой класс, и впереди предстоял длинный ряд счастливых и свободных дней лета. С утра служители выложили каждому из нас в ногах кровати «отпускную одежду», т.е. бельё и обмундирование, которое мы должны были взять с собой на лето. Это были новая шинель, две пары таких же чёрных брюк, две рубашки с

погонами, пояс, фуражка и бельё. В «дежурке» воспитатели каждому из нас выдали по «отпускному билету» и деньги на проезд. На знакомом вокзале нас ожидал особый «кадетский» вагон третьего класса, в который, кроме кадет, никого не пускали, и мы ехали по домам под командой старшего из нас. Такие вагоны шли от Воронежа по всем направлениям в один и тот же день, а именно на Курск, Тамбов и Ростов. В наш вагон набралось человек тридцать кадет всех рот и калибров, следовавших в разные места между Воронежем и Киевом. Дорога между Воронежем и родной станцией была всего сто вёрст с небольшим и не представляла собой никакого интереса, если не считать буфета на станции Касторной, где имелись знаменитые далеко вокруг блинчатые пирожки.

С вокзала из Воронежа я послал домой телеграмму о выезде, и потому, подъезжая к станции Липовская, с удовольствием увидел среди зелени станционного садика знакомую дугу покровской тройки. Кум Алексей с довольной улыбкой встретил меня на перроне и завладел чемоданом. Потянулись знакомые ещё зелёные весенней зеленью поля и дороги. Родным и знакомым открылось с горы родное гнездо, и только при въезде в усадьбу я изумился, что наш деревенский дом и окружавшие его деревья, которые прежде мне представлялись земными исполинами, теперь стали как будто меньше.

В Покровском прожить пришлось недолго, так как отец опять предложил мне поехать в Геленджик совместно с матерью Марии Васильевны и её двумя сёстрами-курсистками. Для первого знакомства со своими новыми спутницами Мария Васильевна повезла меня в Курск, где они жили в доме, подаренном моим отцом. Семья Клевцовых в это время состояла из старухи матери и многочисленных сестёр – старых дев. Лишь одна старшая их сестра была замужем в Киеве, где её муж, левый интеллигент плюгавого вида, служил мелким чиновником в земстве. Когда-то он работал на тех же ролях в Курской губернии, но его отсюда за левизну очень быстро выжили. Левыми были и все девицы Клевцовы, и левизны своей не скрывали, как это и было в моде. Отношений у нас никаких раньше не было, и я впервые попал к ним в дом, где чувствовал себя в чужой среде.

Приехав в Геленджик, все мы поселились в холодном и совершенно нежилом доме, куда кое-как собрали необходимую мебель и кровати. Роль кухарки взяла на себя сожительница сторожа Ивана Дарья-казачка под наблюдением старухи Клевцовой. В Геленджике на своей даче в это время жила и семья моей тётки Бобровской, к которой я ходил почти ежедневно, однако никаких отношений между Бобровскими и Клевцовыми не существовало.

Скучая в обществе не интересных для меня старых баб, я скоро познакомился и сошёлся с местным охотником бельгийцем Ривьером, служившим управляющим на одной из соседних дач у очень оригинальной старой девы Гардениной, воронежской дворянки-помещицы. Женщина с высшим образованием, из хорошей семьи, она была не совсем нормальна психически и физически, носила мужской костюм и за женщину себя не признавала. В окрестностях народ её иначе не называл как «барышня в штанах». Девица эта была крайних убеждений, в своё время «ходила в народ» и к старости пришла к заключению, что человек имеет право жить только исключительно личным физическим трудом. Придя к такому выводу, Гарденина продала своё имение на Тонком Мысу, приобрела пару лошадей и коляску и сделалась извозчиком, стоя с утра до вечера на бирже в Геленджике, одетая в кучерскую поддёвку и шапку. Извозчики сперва над ней потешались, а затем, ввиду её кроткого характера и незлобия, примирились и даже выбрали её своим старшиной. В своём извозчичьем костюме, сидя на козлах, Гарденина имела самый дикий вид, походя старым морщинистым и безволосым лицом на пожилого скопца. Ривьер был у неё садовником и управляющим, пока дача не была продана, по призванию же он был бродягой и охотником, с презреньем относясь к оседлому образу жизни.

На этой почве началась и с годами окрепла наша дружба, несмотря на разницу лет. Охота в окрестностях Геленджика в те времена соединяла для меня с собой новые ощущения, так как имела место в условиях кавказской природы среди чудесных гор и лесов Черноморья. Дичь в этих местах тогда была чрезвычайно разнообразна, и охота здесь

включала в себя все виды промысла на птицу и зверя. На юг от Геленджика вдоль тянувшегося по берегу моря «голодного шоссе» сразу начинались горы, покрытые лесом, становившиеся с каждым поворотом дороги всё выше и выше. Верстах в пяти от города путник уже вступал в неописуемую красоту лесного горного царства, обступавшего его со всех сторон. Ближе к берегу среди густого первобытного леса ещё ютились редкие селенья, но вглубь к границам Кубанской области тянулись необитаемые человеком горные дебри, населённые только птицей и диким зверем. Первая шоссейная станция от Геленджика, Михайлов перевал, находилась на большой высоте над уровнем моря среди сплошного горного леса. К этому перевалу шоссе поднималось бесконечными зигзагами. От перевала дорога шла под уклон к старому черкесскому аулу Пшадам, из которого всё население выселилось в Турцию, покинув на произвол судьбы прекрасные фруктовые сады, которые такие мастера разводить черкесы. Переселенцы, заселившие покинутый аул, бывшие чины Шапсугского батальона, получив от правительства даром эти богатства и огромные земельные участки, всё это запустили и изгадили, не то из-за неумения обращаться с фруктовыми деревьями, не то по нераденью. Да и, кроме того, они, придя в горы, упорно желали сеять «хлебушко», который, конечно, в горных ущельях родиться не мог. Кончилось тем, что из земледелья ничего не вышло и сады погибли, частью порубленные, а частью одичавшие. В моё время уже никуда не годными фруктами с них питались только кабаны и медведи.

Лет за пять до войны Геленджик и его окрестности, благодаря прекрасному и очень здоровому климату летом, стал расти и участки земли дорожать с каждым годом. В 1913-14 годах цены на землю стали уже чисто спекулятивными, квадратная сажень доходила до 25 рублей золотом. Усадьба отца размером около 9 десятин достигла, таким образом, полумиллиона рублей. К этому времени всё побережье геленджикской бухты на расстоянии десятка вёрст представляло собой уже сплошной ряд дач и садов, а Тонкий Мыс, где мы жили, стал модным курортом Солнцедаром, с гостиницами, санаториями и купальнями.

После того, как Ривьеру пришлось покинуть свою опростившуюся хозяйку, он перешёл на службу к нашему соседу, приват-доценту Лесного института Славянову, который также имел усадьбу на Тонком Мысу. Здесь Ривьер женился и поселился оседлым человеком, кажется, первый раз за всю свою жизнь. В качестве друга я был крёстным отцом его первого младенца, названного в мою честь Анатолием. Как-то будучи у Ривьера, я познакомился и скоро сошёлся со Славяновым, ещё молодым человеком, едва достигший тридцати. Между нами скоро возникло, несмотря на разницу лет, приятельство. Интересы Славянова были характерны для молодого человека, и он гораздо больше интересовался ухаживаниями за барышнями, нежели я сам.

С Ривьером еженедельно мы ездили в горы на охоту дня на два или три. Из наших экспедиций помню особенно хорошо две, и обе они имели местом действия Михайловский перевал, дикая красота которого меня особенно привлекала. Приехали мы в первый раз туда вечером и остановились на ночёвку у знакомого Ривьера – служащего небольшого имения на перевале. На много вёрст вокруг этой усадьбы не было жилья, да и сама она была почти безлюдна, так как принадлежала какому-то екатеринодарцу, всегда отсутствующему. Покрытые густым вековым лесом горы здесь так близко подходили к жилью, что как будто сжимали усадебные постройки со всех сторон. Это обстоятельство создавало в ущелье такие акустические особенности, что каждый звук здесь был слышен с необыкновенной чистотой, а горное эхо его повторяло по нескольку раз.

До сих пор помню ночь, проведённую здесь на дрогах под буркой. Я лежал, тепло укрытый от сырости, с наслаждением прислушиваясь к доносившимся из леса звукам и голосам горной ночи. Крики и плач шакалов, тихое поскрипывание древесных лягушек, дальний крик кабана или медведя и тысячи других таинственных и необъяснимых звуков и голосов неслись отовсюду. Чувствовалось, что лес и горы вокруг живут сейчас полной, свободной и особенной своей жизнью, так не похожей на всё то, к чему привык городской человек.

Наутро на заре мы уже бродили по покрытому утренней росой лесу, то и дело спугивая диких коз, пасшихся то там, то здесь на волшебных лужайках и горных полянах. В тёмном ущелье, где от густого переплёта веток и сучьев не было видно травы, а только сырой чёрный, как уголь, перегной, невидимый за кустами, утробно хрюкнув, снялся испуганный кабан и понёсся в горы, хрустя сухими ветками и с треском ломая кусты. Весь день мы проходили по горным уступам, ущельям и зелёным вершинам, не столько ища добычи, сколько наслаждаясь лесным царством и великолепием горной природы. Вечером, когда из низин и ущелий стали подниматься ночные туманы, мы допоздна сидели на крутой поляне, накрывшись вдвоём одной буркой, и наслаждались звуками снова оживавшего к ночи леса.

В другой раз нас сопровождал на охоту старый геленджикский поселянин, знаменитый охотник Волшинов. Кроме него, меня и Ривьера с нами был ещё такой же, как и я, любитель природы, сын местного дачника Матвеева, бывший кадет, из охотничьей страсти бросивший учиться. На этот раз мы отправились не на перевал, а в окрестности имения принца Ольденбургского «Женэ». Урочище это только носило громкое имя, имение на самом же деле представляло собой несколько построек и небольшой домик, где жил управляющий с двумя или тремя служащими. Сам принц здесь никогда не бывал, и «Женэ» было бы совсем заброшенным лесным уголком, если бы на его земле, на берегу лесной речки не стояли так называемые «дольмены», т.е. циклопические постройки неизвестного назначения, построенные из огромных каменных плит, происхождения доисторического.

Дольмены имели вид квадратных каменных ящиков, пустые внутри, с круглым отверстием-входом. Кто их построил, когда и зачем, осталось навсегда загадкой. Были ли эти огромные постройки могилами, памятниками или жилищами, никто на это и никогда ответа дать не мог. Известно только было, что стояли они в дебрях гор очень давно, задолго до того, как поселились здесь черкесы. Как и все мусульмане, эти последние уважали всякие памятники прошлого, а тем более могилы, и никогда их не трогали, относясь с суеверным страхом к дольменам и почитая их за жилища давно умерших великанов. Не то началось с появлением на Черноморье русской власти. В 1891 году при постройке генералом Анненковым в голодный год черноморского шоссе между Новороссийском и Туапсе инженеры, разыскивая камень для его постройки, не постеснялись разрушить для этого большинство дольменов. Три последних из них уцелели только в «Женэ».

Вокруг этих памятников далёкого и исчезнувшего из памяти людей прошлого во времена моей молодости стоял густой, совершенно первобытный лес, преобладающими породами которого были дуб, чинара, ясень, граб, можжевельник, сосна, груша и яблоня. Всё это было перевитое лианами и диким виноградом и потому представляющее надёжный приют всякому зверью: медведям, кабанам, барсукам, волкам, шакалам, лисицам, зайцам и диким котам, для которых здесь был не только дом, но и всегда готовый стол. В частности, медведи наслаждались здесь до отвала мелкой одичавшей грушей запущенных и заброшенных черкесских садов, или по-местному алычой.

В этих местах старик Волошинов знал приметы постоянных медвежьих визитов, следы которых он нам и показал сразу по прибытии на место. На склоне горы, спускавшейся в глубокое и тёмное ущелье, на дне которого толстым ковром лежал перегной и догнивавшие остовы деревьев, мы увидели несколько грушевых деревьев, стволы которых были глубоко исцарапаны медвежьими когтями. Медведи здесь не стеснялись и чувствовали себя как дома. Крупные ветки деревьев были обломаны с мясом, и масса полуизгрызенных груш лежала вокруг.

Волошин и Матвеев были вооружены винтовками прежнего военного образца, так называемыми берданками, Ривьер двустволкой с жаканановскими свинцовыми пулями, а я имел лёгкую винтовочку, малопригодную для охоты на крупного зверя. Едва село солнце, как мы уселись на указанных Волошиным местах в ожидании зверя. Не успело стемнеть, как неожиданно хлынул настоящий тропический дождь, потопивший в себе все наши охотничьи надежды. Рядом с Матвеевым мы сидели на самом дне ущелья и не успели что-либо

предпринять, как по щиколотку оказались в липкой каше грязной воды и перегноя. В кромешной тьме мы не видели собственного носа, и только вспыхивавшие время от времени молнии где-то над вершинами гор изредка освещали зловещим светом наши две жалкие и мокрые фигуры, прижавшиеся друг к другу на гнилом пне. К утру дождь стих, и кругом нас засветились тысячи светляков-гнилушек.

Медведь, конечно, не пришёл, да оно и было к лучшему, так как стрелять в таком мраке всё равно было нельзя. У Волошинова от сырости разболелись его ревматизмы, и мы добрых два часа грелись у костра, распаривая его старые кости и нашу мокрую одежду. Чтобы наверстать потерянную ночь, мы заснули в лесу на вольном воздухе до полудня, и только в сумерки вернулись в Геленджик, скрывая в наступающих сумерках свою охотничью неудачу и искусанные комарами лица. До Тонкого Мыса мы от усталости с Матвеевым так и не дошли, а заночевали в доме Волошинова, который при помощи четырёх своих сыновей вёл большое хозяйство. Выспавшись и позавтракав с семьёй хозяина, евшей, как и все южане, всё с невероятным количеством перца, от которого буквально горело во рту, мы с младшим сыном старика и Матвеевым отправились купаться в море. В Геленджике в те времена ещё не было ни курорта, ни общественных купален, и всякий желающий волен был лезть в воду в любом месте берега, в чём его мать родила. Дамы при этом излишней щепетильностью не страдали и бывали совершенно удовлетворены, если откос берега или группа камней отделяли их от сильного пола. При этих условиях человек, обладавший нормальным зрением, мог увидеть много хорошего.

Плавали и барахтались мы в прохладной воде моря до тех пор, пока совсем не посинели. Молодой Матвеев, бывший года на три старше нас с Волошиновым, в это время солидничал, сидя на крутом берегу, и смотрел с презрением старого тапёра на наше ребячество. Он во всём подражал местным профессионалам-охотникам и потому, как и они, никогда в море не купался. По возвращении к себе на дачу я после мокрой ночи и холодного купанья не попадал зуб на зуб и, несомненно, схватил бы лихорадку, если бы за восстановление моего здоровья не взялся сторож Иван, отпоив меня, как телёнка, каким-то особенным «фруктовым чаем». Последний, хотя и отличался только названием от кипячёной морской воды, оказал благотворное действие.

Понемногу на дачи Тонкого Мыса съехалась летняя публика, среди которой было немало молодёжи моих лет. Увлечением этих лет среди юношества был футбол, и потому у нас была немедленно организована команда. В центре мыса на широком пустыре стоял небольшой белый домик, где помещалась земская аптека под управлением молодого фармацевта, тоже курянина по происхождению. Эта аптека стала центром и душой нашего спортивного клуба, а поле около неё стало местным стадионом. Футбольная команда составилась из студентов, кадетов и гимназистов, являвшихся представителями молодого поколения местных землевладельцев и дачников, под предводительством лицеиста Мещёрского, как самого старшего и сильного. На фармацевта Хмелевского, который мог участвовать по слабосилью в спорте только душевным сочувствием, были возложены хозяйственные обязанности по снабжению команды напитками и продовольствием, для чего им были куплены несколько бочонков фруктовой воды, так как господа футболисты под жарким южным солнцем пили как лошади. Игра велась буквально с утра до ночи, и, вспоминая это время, я теперь диву даюсь нашей тогдашней мальчишеской выносливости. «Тренинг» был чудовищный, и к концу сезона мы не только побивали всухую любую команду Геленджика или Новороссийска, но лично я легко мог обогнать на ходу любую среднюю лошадь, чем приобрёл себе среди интересовавшихся спортом барышень громкую славу. Эта популярность на футбольном и беговом поле послужила причиной того, что в это лето у меня на Тонком Мысу первый раз в жизни произошёл роман с француженкой, гувернанткой тётки Бобровской, роскошной особой лет тридцати, о которой тайно вздыхал сам дядюшка.

После одного победоносного матча, на котором присутствовала эта француженка, она предложила мне проводить её домой, и наша прогулка через лес затянулась дольше, чем

нужно, не без удовольствия для обеих сторон. Дама моя вернулась домой с большим опозданием, и у Бобровских это произвело известное впечатление.

Когда утром, как обычно, я явился в дом тётушки, то по дороге встретил дядю, который без всяких обиняков задал мне в упор прямой вопрос о цели вчерашней прогулки с мадмуазель Жаннет. Надо правду сказать, в дядином вопросе было больше чувства зависти, чем укора. Тётушка, дама самого хорошего тона, мне, конечно, ничего не сказала, но за обедом была непривычно холодна, а красивая француженка сидела, потупив глаза, с разжалобленным видом, по-видимому, после бурного объяснения с хозяйкой, не допускающей у себя в доме никаких фривольностей.

В охоте и спортивных состязаниях прошло для меня лето 1911 года – время беспечное и беззаботное. К августу всем нам, членам аптечного клуба, приходилось разъезжаться на учебную страду, и на прощальной вечеринке в белом домике, когда был допит последний бочонок лимонада, все мы дали торжественную клятву снова встретиться на футбольном поле. Увы, как и большинство клятв человеческих, эта выполнена не была. Футбольный клуб больше никогда уже не возродился. Многих из тех, кто когда-то играл со мной в мячик у белого домика аптеки, через три года уже не было в живых, как, например, милого и скромного Хмелевского, по кротости душевной бывшего счастливым чужой ловкостью и удалью, ни на что лично не претендуя. С началом великой войны он был мобилизован и убит в первых же боях. Других мне пришлось встретить через несколько лет хотя и в том же Геленджике, но при других обстоятельствах и в другой уже трагической игре, не похожей на невинное футбольное состязание.

Возвращение в корпус осенью 1911 года было полно новых интересов. Сознание того, что мы теперь составляем «строевую роту», наполняло гордостью всё наше кадетское существование. Новый класс, отведённый под наше отделение, был в самой глубине бокового коридора первой роты и потому казался нам гораздо удобнее и уютнее прежнего. В новом классе, как водится, оказалось несколько человек второгодников, и в их числе один мой старинный знакомый Измаил Шипшев, с которым мы с братом детьми играли вместе в стенах Центральной гостиницы при поступлении Шипшева и брата Коли в кадетский корпус в 1903 году. Шипшевых тогда было двое – крохотные, чёрненькие с блестящими, как мокрая смородина, глазёнками. В Воронеж на экзамены их привёз отец, важный и сердитый генерал в черкеске, окружённый почтительными нукерами. Шипшевы, родом кабардинцы, принадлежали к известной и богатой семье своих мест. Когда мы с Шипшевым встретились в первый раз в классе, то оба вспомнили прошлое. Оказалось, что отец его уже умер, умер в третьем или четвёртом классе корпуса и старший брат Каз Булат, о котором Измаил Шипшев не мог говорить без слёз. Как я потом узнал от кадет, Каз Булат зачах от тоски по родине, как вольная птичка в клетке, и скончался от скоротечной чахотки. Вероятно, немалую роль при этом сыграла и перемена климата, так как горный чистый воздух Нальчика, конечно, мало был похож на изобилующий пылью Воронеж.

Измаил сидел на парте рядом со своим земляком терцем Мигузовым, с которым постоянно пикировался по национальному вопросу, так сказать, соблюдая домашние обычаи и традиции, так как казаки вечно враждовали со своими соседями горцами на Тереке. Мигузов дразнил Шипшева «вонючим кабардинцем», а тот в свою очередь попрекал соседа узостью казачьего кругозора, показывая из двух пальцев его размер. Пикировка эта, конечно, была шуточная, и оба были добрыми приятелями. Надо вообще сказать, что в кадетских корпусах, несмотря на пестроту национального состава, как например, в Воронеже, где имелись: поляки, грузины, татары, чеченцы, черкесы, кабардинцы, ингуши и осетины, − никогда и ни при каких обстоятельствах не возникали какие бы то ни было национальные трения. Все мы были русские и собирались служить в одной и той же армии одному царю.

Как-то на первых порах моего поступления в корпус я, заинтересовавшись странными для меня фамилиями кадет, стал справляться об их национальностях. В ответ я встретил полное недоумение, оказалось, что большинство кадет даже не имели понятия, что, например, Жгенти был грузином, а Шипшев кабардинцем, и очень этому удивились, когда я

об этом сказал. Это объяснялось главным образом тем, что огромное большинство из нас принадлежало к исконно военным семьям, представители которых по нескольку поколений подряд служили в армии и с молоком матери всосали взгляд, согласно которому все служившие царю и родине принадлежат к одной общей российской семье, без различия эллина от иудея.

Перейдя в строевую роту, мы из положения старших, какими были во второй роте, сразу перешли на положение молокососов, над которыми стоял седьмой класс – господа «дополнисты», из которых состояло и всё наше кадетское начальство в лице фельдфебеля и унтер-офицеров.

Перед концом учебного года в пятом классе со мной случилось довольно приятное с кадетской точки зрения происшествие. При поступлении в корпус осенью я при ранжировке роты полковником Анохиным оказался как мальчик среднего роста приблизительно в середине ротного строя, почему и получил порядковый номер 92-ой. В течение года я стал быстро расти, и весной уже, как-то придя в роту, Анохин обратил внимание, что моя голова на целые пол-аршина торчит над строем. «Кадет Марков! – обратился ко мне ротный своим спокойным баском. – Зачем вы стали не на своё место?» «Никак нет, господин полковник! Это моё место! Только я вырос». – «А! Тогда станьте выше». Я исполнил приказание и стал на три человека выше. «А ну, ещё… ещё… ещё!» – стал передвигать меня ротный ближе к правому флангу. Кончилось тем, что я оказался почти на правом фланге роты, получив новый порядковый номер вместо 92-го 9-тый. Это происшествие, совершенно не зависевшее от меня, тем не менее, очень подняло меня в глазах товарищей, так как сила и рост весьма уважались спартанскими традициями кадетского корпуса.

С началом нового учебного года я опять оказался среди самых высоких кадет строевой роты и удостоился благодаря этому ещё в шестом классе попасть на первый «почётный» стол первой роты, что считалось до сих пор привилегией исключительно старшего класса корпуса. Чтобы больше не возвращаться к глупому вопросу о росте, упомяну, что в седьмом классе я оказался правофланговым роты во второй шеренге, т.е. вторым по длине кадетом в корпусе. Забавно прибавить, что правофланговый кадет Селихов был так горд своим званием и так ревниво относился к нему, что однажды, когда кадеты в шутку стали его дразнить, что я стал выше его, Селихов, долговязый огромный парень, разобиделся буквально до слёз.

Через неделю после начала занятий в корпусе наступил для нас долгожданный момент, когда мы фактически приобщились к настоящей военной службе. Ротный командир полковник Трубчанинов сам выстроил в коридоре оба отделения шестого класса и повёл нас в оружейный цейхгауз получать винтовки – предмет кадетских мечтаний стольких лет. На хорах сборной залы, куда мы прошли через помещение второй роты под завистливыми взглядами четвёртого и пятого класса, в длинных стойках стояли новенькие, блестящие маслом винтовки кавалерийского образца с примкнутыми штыками, на которых висели подсумки. Над каждой винтовкой на стойке были белые бумажки с фамилией кадета. С этого дня на плацу, а во время плохой погоды в ротной зале, офицеры-воспитатели шестого класса каждый со своим отделением стали заниматься строевыми занятиями по всем правилам строевого устава. Раз в неделю мы ходили, кроме того, в тир стрелять из малопульных винтовок, причём кадеты-охотники, как Лабунский и я, сразу выдвинулись в число лучших стрелков.

Усиленные строевые занятия осенью с шестым классом были особенно необходимы потому, что ко дню корпусного праздника шестой класс должен был постигнуть в совершенстве все ружейные приемы. В этот день строевая рота корпуса во главе войск воронежского гарнизона должна была принять участие в воинском параде на площади Митрофаньевского монастыря.

Второгодники, уже знавшие науку с прошлого года, в первых уроках обучения обращения с винтовкой не принимали участия, почему они все с насмешкой и видом старых

ветеранов смотрели на нашу неумелую возню с оружием через стеклянные двери залы. Среди них, кроме Шипшева, были чёрный, как жук, и тощий бессарабец Ульянов, мордатый с заячьей губой Пашка Лихачёв и просидевший четыре года в пятом классе и потому знаменитый Андреев. В сущности, никого и никогда в одном и том же классе больше двух лет не оставляли, но для Андреева было сделано это исключение по высочайшему повелению ввиду того, что он являлся правнуком основателя корпуса.

В шестом классе впервые я стал ходить в город в отпуск. По корпусным правилам кадеты могли ходить только к родственникам, если же таковых у них в городе не было, то к знакомым, но обязательно с письменного разрешения родителей. Требовалось на имя директора корпуса два заявления: одно от родителей с разрешением, другое от знакомых с согласием. Родители обыкновенно для кадет старших классов в этом отношении препятствий не чинили, а что касается «знакомых», то это устраивалось так. Кто-либо из приходящих кадет добывал от кого-либо фиктивное письмо к директору с просьбой отпускать к такому-то «имярек» кадета такого-то. Разумеется, к подобным фиктивным знакомым кадеты никогда не являлись и в глаза их не видели, а проводили время в городе, где и как умели.

Не имея в Воронеже знакомой ни одной собаки, мы с Серёжей Пушечниковым, устроившись в отпуск по фиктивным документам, проводили время в прогулках по городу и его окрестностям. Некоторое затруднение поначалу было с обедом, однако этот вопрос скоро был разрешён тем, что кадеты общими усилиями разыскали в городе некую кухмистерскую, носившую громкое название «Московской гостиницы», в которой за тридцать копеек можно было получить не только обед, но даже рюмку водки. Так как по положению кадеты без провожатых не имели права ходить в рестораны, то сия кухмистерская на этот случай имела особую секретную «кадетскую» комнату, которую не было видно ни из общей залы, ни с улицы. В этой «Московской гостинице» много выпусков подряд питались воронежские кадеты, и в ней мы провели немало весёлых пирушек, на которых бывало так весело, как ни на одном шикарном и парадном обеде, на которых мне приходилось быть в жизни.

С осени 1911 года в Воронеж приехал и брат Коля, поступивший в пятый класс частной гимназии Кричевской, где за большую плату давали возможность кончать курс среднего учебного заведения молодым людям из хороших семейств, но с плохими способностями. При этой гимназии был и пансион, где брат и поселился. Пансион числился больше на бумаге, так как в нём помещались два или три пансионера, жившие в собственном загородном доме хозяйки гимназии госпожи Кричевской. Дом этот был целой усадьбой, стоявшей на самом конце Воронежа за вокзалом среди огромного дикого сада. Брат делил свою комнату с товарищем Поповым, сыном воронежского помещика, ровесником Коли. Оба друга науками не интересовались и прибыли в гимназию исключительно, чтобы избавиться от родительских упрёков, а потому проводили время, насколько могли, приятно, ожидая исключения за неуспехи и желанного отбытия в родные пенаты. Покинув Покровское, Коля в Воронеже обнаружил большую элегантность, что при его красоте и фигуре привело к тому, что он пожинал невероятные успехи среди гимназисток, которые дали ему почему-то кличку «барона», что по местным понятиям соответствовало красоте и элегантности.

1911-12 учебный год стал для Воронежского кадетского корпуса годом многочисленных посещений его всяким высоким начальством. Не проходило буквально месяца, чтобы к нам не появлялся из Петербурга какой-нибудь инспектирующий генерал, посланный из Главного управления военно-учебных заведений. В этом последнем летом 1911 года произошли большие перемены. Начальник Управления великий князь Константин Константинович, прекрасный человек, чисто по-отечески относившийся к кадетам и много сделавший добра в деле воспитания и улучшения кадетского быта, был отстранён от дел. С именем великого князя у каждого кадета старого времени были связаны самые лучшие и дорогие воспоминания. В первые дни поступления в корпус каждому из нас выдавали от имени его высочества прекрасно переплетённое Евангелие с собственной его подписью и стихами: «Пусть эта книга священная спутница вам неизменная будет везде и всегда, в годы

борьбы и труда». Книга эта береглась старыми кадетами как святыня, и я уверен, что, даже покидая родную землю, многие из нас среди немногих вещей, взятых с собой на чужбину, не забыли её.

Отстранение великого князя от любимого дела, которому он принёс столько добра, как тогда открыто все говорили, было делом рук военного министра Сухомлинова, который давно вёл сложную интригу против великого князя, проча на его место свою креатуру – генерала Забелина, начальника канцелярии военного министра. Этого Забелина Сухомлинов, так сказать, создал и вытащил за уши из низов. Забелин, родом попович, нигде, никогда и ничем своих заслуг перед отечеством не выказал, в строю никогда не был и всю свою долгую службу не выходил из канцелярии. Путем самого низкого угодничества перед всевозможным начальством, угодничества, которому я сам был свидетелем, Забелин снискал покровительство и добился протекции. В результате сложных комбинаций великий князь был фактически отстранён от непосредственного руководства кадетскими корпусами путём его назначения на почётный, но чисто фиктивный пост генерала инспектора военно-учебных заведений. На его место был назначен глава министерских писарей генерал-лейтенант Забелин. Как всякий хам, попавший в паны, он немедленно положил ноги на стол, окружив себя величием и неприступностью, о котором и не помышлял до него скромный и великодушный внук императора. Одних генералов для поручений Забелин завёл себе с полдюжины, и каждый из них являлся в корпус для инспекции в виде мечущего молнии громовержца. Сам Забелин реял где-то в заоблачных питерских высотах, и мы, кадеты, удостаивались видеть только портреты этого великого мужа, висевшие в корпусах лишь пониже царских.

Впоследствии, попав в эмиграцию, в лагере русских эмигрантов в Тель-Эль-Кебире в самом центре Ливийской пустыни я неожиданно для себя встретил этого падшего громовержца. Несмотря на свои почтенные годы, бесчисленные ордена и чин полного генерала, Забелин, так недавно занимавший великокняжеский пост, вёл себя по отношению к коменданту лагеря, английскому сержанту из уайт-чепельских жидков, до того унизительно и подло, что возмущал этим весь лагерь. Бывший начальник военно-учебных заведений и генерал от инфантерии величайшей империи мира доходил до того, что почтительно держал под уздцы сержантскую лошадку, когда её хозяин являлся по делам в лагерь. Хуже всего было то, что в этом добровольном унижении не было никакой надобности, так как сержант никоим образом не являлся для Забелина начальством, и держать лошадку не было никакой нужды, так как для этого было сколько угодно арабской прислуги. Просто старая закваска подавать власть имущим калоши, которая вывела этого поповича в люди, сказывалась старой отрыжкой, и генерал верил, что его старание попасться лишний раз на глаза сержанту будет ему полезно по принципу, что ласковое теля двух маток сосёт.

По старой привычке уважать чины и ордена население русского лагеря часто выбирало Забелина председателем различных собраний, в которых ему, как руководителю собрания, нужно было давать делу то или иное направление. В этих случаях я с ужасом видел, что человек, которому было поручено год назад дело воспитания и образования командного состава военной империи, был круглый болван, не умевший связать толком двух слов, уже не говоря о каком бы то ни было «руководстве». Всеми действиями генерала руководила жена, бывшая старинная его любовница и экономка, без которой он не решался публично ступить шагу и которой он собственноручно стирал при всех её панталоны. Баба она была энергичная и очень обижалась, когда мы не называли её «ваше высокопревосходительство», хотя на титул этот она не имела никакого права, так как стала законной супругой Забелина только после революции, когда все титулы уже были отменены. Наблюдая с тяжёлым чувством генерала Забелина в частной жизни, я с ужасом думал, какое огромное и ответственное дело было поручено этому ничтожеству правительством, и приходилось только удивляться, каким образом Российская империя не развалилась задолго до 1917 года, если подобным людям поручались такие миссии.

Возвращаясь к старому времени «забелинско-шемякинского» правления, я вспоминаю теперь приезд в корпус генерала для поручений при Забелине некоего Лайминга. Это был очень важный и толстый начальник с тёмно-синей лентой Белого Орла через плечо. Для чего он приезжал и что инспектировал – для нас, кадет, это оставалось неизвестным. Люди же более осведомлённые по учёной части, как наш старый учитель французского языка, выразился после обзора генералом учебной части, что в генерале Лайминге самое замечательное – это его лента. Этого самого Лайминга на наше кадетское горе чёрт дёрнул написать учебник космографии, который немедленно, по приказу Забелина, был издан и введён в старших классах кадетских корпусов. Весь учебник этот состоял из одних цифр и формул, причём в нём были написаны только решения космографических задач, а как они решались и на чем основывались, было неизвестно не только нам, но и нашим преподавателям. Со дня введения этого оригинального пособия космография в корпусе перестала изучаться, и на экзаменах по этому предмету никто из кадет ничего осмысленного сказать не мог. Начальство знало причину, но тоже сказать ничего не могло, а преподаватели, имея на руках обязательный учебник генерала Лайминга, довольствовались тем, что давали списывать неведомые формулы из шпаргалок на чёрную доску. Сам генерал при посещениях корпуса на урок космографии ни разу не рискнул явиться.

С началом учебного года в корпусе по инициативе всё тех же высоких кругов была введена «сокольская» гимнастика, которая при массовом её исполнении была очень красива, но как спортивное упражнение цели не достигала, так как движения её не давали достаточной работы мускулам здорового мальчишеского тела. Поэтому понемногу массовые представления были отставлены, а для втирания очков начальству «соколами» начали называть особо отобранные команды гимнастов, которые выступали на разных спортивных состязаниях от имени корпуса под именем «команды соколов», остальные же кадеты снова вернулись к обыкновенной гимнастике и спорту. «Команда соколов» от нашего корпуса неоднократно выезжала на состязания в столицы, а также на всякие юбилейные торжества, как бородинские в 1912 и романовские в 1913 годах.

Одновременно с гимнастикой в корпусе процветал футбол. Помню неудачное для кадет состязание в футбол против сборной команды воронежских гимназий на нашем плацу. Гимназисты этой команды, великовозрастные 20-летние и старше парни, огромные и усатые, были чуть не вдвое крупнее кадет, сплошь мальчиков по 16 и 17 лет, которые, конечно, матч и проиграли. Возмущённые тем, что гимназии прислали на футбольное поле вместо игроков жирных борцов, мы, кадеты, придравшись к какому-то случаю, сильно побили победителей и в отместку поломали у них велосипеды.

В отличие от младших рот в строевой имелась особая комната, специально предназначенная для курения, так как в остальных помещениях роты курить воспрещалось. «Курилка» эта была ротной гордостью старших кадет как свидетельство того, что начальство перестало их считать детьми. Курение разрешалось с шестого класса, причём табак и папиросы покупались через отделенного офицера-воспитателя. По правилам кадеты вообще не имели права в здании корпуса держать деньги на руках и по приезде из отпуска должны были сдавать таковые офицеру. Еженедельно каждое отделение составляло список того, что кадетам нужно было купить в городе, и офицер давал необходимую для этого сумму служителю, которого отправлял в город за покупками. Курилка, кроме своего прямого назначения, имела назначение и негласного кадетского клуба, в котором обсуждались все события ротной жизни и выносились товарищеские решения. В курилку допускались по обычаю только одни «дополнисты», распорядители и хозяева роты, со стороны же шестиклассников появляться в этом месте считалось бестактностью и «нахальством».

В октябре ружейные приёмы шестым классом были достаточно усвоены. Начались ежедневные ротные строевые занятия, на которые выходила уже вся рота, т.е. в совместном строю шестой и седьмой класс. Поначалу эти занятия происходили на плацу к восторгу окрестных мальчишек, а затем начались «военные прогулки» по городу и окрестностям. Прогулки эти были небольшими походами по десятку и больше вёрст. Они были

чрезвычайно утомительными без привычки, так как, кроме строевого шага, в течение всего дня по плохим дорогам каждый из нас нёс на плече винтовку в 10 фунтов, всей своей тяжестью опиравшуюся на левую руку, которая буквально немела, отказываясь слушаться. Для того, чтобы облегчить тяжесть винтовки, кадеты придумали способ, избавлявший руку от непосильной тяжести. За пуговицу под погоном привязывалось на чёрной грубой дратве медное колечко, которое надевалось на спусковую собачку винтовки таким образом, что винтовка висела на пуговице шинели и только придерживалась рукой, это значительно облегчало задачу.

На военные прогулки с ротой следовал каждый раз духовой оркестр, игравший по дороге разные марши, и барабанщики. Попеременно то играл оркестр, то отбивали шаг барабаны. Кроме этого, рота по дороге пела военные песни, приуроченные опять-таки к солдатскому шагу. Для этого обыкновенно впереди роты выходили два запевалы, баритон и подголосок, которые начинали песню, а рота уже подхватывала напев в нужных местах. Любимым маршем корпуса был «фанфарный», который представлял собой не что иное, как переложенную на музыку кадетом полтавского корпуса песню военно-учебных заведений «Звериаду», получившую этим путём, так сказать, легальное существование. Песни, которые пели в походах, были общие песни русской армии: «Бородино», «Полтава», «Чубарики-чубчики» и казачьи «Пыль клубится по дороге», «Засвистали козаченьки», «Там, где волны Аракса шумят» и т.д. Всё это были старые песни армии, сложенные в память походов и войн прежних времён. По песням, в особенности казачьим, можно было написать всю историю войн, которые вела Россия за два последних, а то и три века.

Военные прогулки имели конечной целью какую-нибудь деревню в окрестностях Воронежа, где мы делали привал, составив ружья в козлы, варили кулеш или завтракали принесёнными из корпуса булками и котлетами. Как на привале, так и по дороге производились различные военные учения, наступления цепями, перебежки, разведка и т.д. Иногда эти манёвры имели место в лесу, и тогда некоторым кадетам удавалось под тем предлогом, что они «заблудились», удирать от начальства и являться в корпус часом позднее, промёрзшими, засыпанными снегом, но довольными, что хоть немного удалось погулять на воле.

Парады войскам воронежского гарнизона, в которых принимала участие строевая рота корпуса, происходили по большим праздникам на площади Митрофаньевского монастыря. С 1910 года при новой дислокации войск в России к нам поставили штаб армейского корпуса, которым в моё время командовал генерал Михневич, впоследствии начальник Академии Генерального штаба. В городе стояло два пехотных полка и Новоархангельский уланский – предмет восторга и поклонения кадет и всех местных девиц. Наши сердца переполнялись неописуемым восторгом и гордостью, когда, придя на парад, мы видели, что вместе с нами на площади строились уланские эскадроны, над которыми, как степной ковыль, веяли султаны и туча лёгких пик с цветными флюгерами. При парадной форме уланские офицеры зимой почти никогда не надевали пальто, предпочитали ему николаевские шубы или серые плащи-накидки, которые в соединении с уланской каской и волочащейся по земле саблей создавали полную иллюзию кавалериста наполеоновских времён, что было оригинально и очень красиво. Среди офицеров-улан было много наших бывших кадет – старших братьев и родственников воронежских и тамбовских помещиков. Многие из кадет старших классов собирались выходить в новоархангельцы, почему между полком и корпусом было много связей. В городе находился и штаб уланской отдельной бригады, так как другой уланский полк стоял по соседству в уездном городе Коротояке. Бригадным командиром был генерал Еропкин, носивший кличку «чудовища воронежского и задонского». Это был суровый и сухой, огромного роста бравый старик, напоминавший своим видом гренадера наполеоновской гвардии. Когда он, прямой, как шест, с щетинистыми усами и словно вырубленным топором выразительным лицом, неся свою блестящую саблю подмышкой, встречался с нами на улицах Воронежа, мы замирали во фронт благоговейно и с нескрываемым восторгом. Суровый старый кавалерист, видимо, знал

о своей популярности среди кадет, так как всегда отдавал нам честь с ласковым блеском в глазах и с улыбкой под рыжими подстриженными усами. Уланы его очень боялись и уважали, ценя за знание дела и блестящие качества кавалерийского начальника.

Митрофаньевский монастырь, около которого происходили парады, был расположен на конце города, в старой его части и был ещё допетровской постройки. В нём было много старины, и находились чудотворные мощи святого Митрофана Воронежского, знаменитого архиепископа, друга императора Петра Великого. По дороге к монастырю тянулись древние торговые ряды, тоже петровской постройки. Вообще Воронеж, в котором великий преобразователь строил свой флот, носил много воспоминаний о нём. Был в Воронеже недурной городской театр, куда кадет иногда водили на казённый счёт на те или иные пьесы, казавшиеся нашему начальству почему-либо полезными для юношества. Была группа кадет-любителей, которая посещала театр на собственный счёт еженедельно, для чего требовалось особое разрешение начальства, так как по уставу из отпуска надо было возвращаться ровно в 10 часов вечера. В театре обыкновенно бывала масса учащейся молодёжи, так как в городе было много учебных заведений, а именно: три реальных училища, корпус, три мужских гимназии, пять женских и даже одно высшее учебное заведение – сельскохозяйственный институт (правда, в моё время он только начинал строиться, так что аудитории и общежития студентов были временные).

В начале 1912 года, не то в январе, не то в феврале, строевая рота была взволнована из ряда вон выходящим происшествием. Наш товарищ по отделению, кадет Косов, прекрасный ученик, но очень неровный по поведению, совершенно неожиданно для всех совершил тяжкий по понятиям того времени проступок, о котором мы узнали только из уст ротного командира. Случилось это так.

Как-то ночью сквозь сон я заметил около кровати Косова, который спал рядом, какую-то возню и шум передвигавшихся тумбочек. Спали мы, кадеты, крепко, и поэтому я к утру о ночном происшествии совсем забыл бы, если бы проснувшись, не обнаружил, что из ротной спальни исчезла кровать Косова и его тумбочка, уже не говоря о самом их владельце. Такое происшествие в корпусе служило признаком самого серьёзного преступления, так как исчезновение ночью кровати кадета означало, что её владелец посажен экстренно под строгий арест, не дожидаясь утра. В карцер нас сажали за разные преступления, не выходящие из ряда вон, иной раз и надолго, но всегда только на день, выпуская ночью спать в общей спальне. Когда же вместе с кадетом в карцер отправлялась и кровать, то это значило, что начальство решило изолировать преступника от роты, в которую он больше и не возвращался, а прямо отправлялся домой исключённым из корпуса.

Всё, что мы смогли узнать от служителей, это было то, что Косов ночью выкинул какой-то номер, за который последовала быстрая кара. Когда после уроков рота на большой перемене строилась, чтобы идти к завтраку, явился полковник Трубчанинов. После команды «смирно» он, обычно молчаливый и терпеть не могущий длинных разговоров, «не соответствующих воинскому званию», неожиданно произнёс перед изумлённой ротой целую речь, правда, с мучительными паузами.

Речь, выслушанная нами при гробовом молчании, касалась дела Косова и совершённого им преступления. «Ваш товарищ, кадет Косов, – начал глухим голосом ротный, - совместно с кадетом 2-й роты Х… совершил неслыханный! Да, вот именно! Неслыханный в анналах корпуса… э-э-э… проступок! Он ночью тайно ушёл самовольно из роты, по собственному его заявлению, – здесь Трубанёк покраснел и замялся, – я скажу вам прямо, вы уже не маленькие! Ушёл к женщинам!» Последние слова полковник выкрикнул свирепым голосом. «Педагогический совет сегодня утром постановил обоих этих кадет исключить из корпуса, как паршивых овец! Вот именно паршивых, портящих всё стадо!» При последних словах Трубчанинова глухой гул пробежал вдоль строя роты. Мы никак не ожидали такой высшей меры наказания для товарищей, которые хотя и совершили важный проступок, но оба были хорошие кадеты и по поведению и по учению, чего почему-то совет не принял во внимание.

После завтрака на перемене и в особенности вечером волнение и возмущение постепенно охватило всю роту. В курилке беспрерывно заседал совет старейшин, обсуждая происшествие, причём общее мнение было, что наказание по своей строгости совершенно не соответствует преступлению. Опытное начальство заметило необычайное настроение кадет и со своей стороны стало выражать признаки нервности. Вопреки всем обычаям, после ужина в роте появились все офицеры во главе с ротным командиром. Взволнованные кучки кадет поминутно собирались то там, то здесь в ротных помещениях, явно враждебные по отношению к начальству. Косов и его компаньон по похождениям сидели безвыходно под арестом в ротном карцере и в сопровождении специально для этого назначенного офицера.

Когда открылись двери карцера, коридор, несмотря на крики и приказанья встревоженных офицеров, моментально оказался густо забитым толпой кадет, приветствовавших криком «ура» смущённых и не ожидавших такой встречи узников. Под несмолкаемые крики и свист толпа, плотно окружив их, сопровождала до дверей роты, где на прощание кадеты заорали такое громогласное «ура!», что оно загремело по всем лестницам и переходам корпуса. Растерянное такой неожиданной демонстрацией начальство сделало вид, что ничего не произошло и никаких мер против демонстрантов на другой день не приняло, хотя рота не могла успокоиться долго за полночь. Видимо, ротный командир и директор поняли, что совет несколько переборщил и опасались, что слишком перегнули палку.

Кадеты старшей роты в моё время были на редкость дисциплинированный народ, как и должно было быть в военно-учебном заведении, однако всё это было при обязательном условии, чтобы начальство относилось к ним беспристрастно и справедливо. В недавней истории корпуса бывали форменные бунты против несправедливости, во время которых имели место вещи жуткие. О последнем в корпусе бунте, имевшем место лет за пять до моего поступления, с содроганием вспоминало как начальство, так и кадеты. Расследовать это мрачное дело прибыла из Петербурга специальная военно-следственная комиссия, и тяжёлые наказания постигли как кадет, так и администрацию корпуса.

Старожилы передавали, что во взбунтовавшемся корпусе кадеты строевой роты забаррикадировали двери и засели за баррикадами, вооружившись винтовками. Для усмирения был вызван батальон пехоты, и только вмешательство всеми любимого командира четвёртой роты полковника Л. не допустило кровопролития. Директор корпуса, ротный командир и два офицера-воспитателя были уволены в отставку, а более двадцати кадет были исключены. Пострадало и несколько человек дядек-служителей, имевшихся в каждой роте по одному на каждое отделение. Эти последние в количестве трёх персон были жестоко избиты кадетами за шпионство. Служители эти все были из запасных солдат и принимались в корпус по особым рекомендациям своих полевых командиров. Старшим из них в моё время в строевой роте был дядька Муратов, солидный чернобородый мужик, во время бунта попробовавший кадетских кулаков, что его превратило из шпиона в верного кадетского наперсника. За хорошую мзду он таскал нам из города в тайне от начальства всё, что угодно, до водки включительно, хотя на этот продукт в роте было всего два любителя.

Бал 1912 года, в юбилейный год Отечественной войны, был особенно блестящим как по убранству, так и по изобилию почётных гостей, во главе которых стоял кадет первого выпуска престарелый генерал от кавалерии Винтулов, занимавший пост инспектора ремонта кавалерии. Воронежское дворянство также лицом в грязь не ударило и явилось на бал во главе со своим губернским предводителем и целым цветником дам и девиц. Залы были украшены огромными картинами, написанными талантливыми художниками корпуса Андеевым и Маркиным, сделавшими копии со всех картин Верещагина, посвящённых событиям 1812 года. На сцене были поставлены живые картины на исторические темы того времени: «Военный совет в Филях» и «Бегство французов». Я среди других кадет изображал наполеоновского гренадера.

Бал начался гимном, который был исполнен соединёнными оркестрами двух полков и двухтысячным хором кадет и гостей, потрясшим стены огромной двухсветной залы. Патриотический подъём при этом был необычайный. Внуки праздновали великие дела

своих предков. Отец Стефан Зверев не без подъёма сказал речь в память героев Отечественной войны, причём отметил, что среди воспитанников корпуса в зале находятся потомки славных деятелей 1812 года, а именно, правнук двух героев-генералов братьев Марковых кадет Анатолий Марков. Ничего подобного не ожидавший и очень смутно имевший представление об этих дедах, я, что называется, спёк рака и не знал, куда девать глаза от общего внимания.

На Рождество к Ломоновичам приезжали опять Барсуковы, и мы большой компанией в масках ездили по соседним усадьбам. У помещиков Щукиных, живших верстах в пяти от Покровского, в селе Толстый Колодезь, нас, переряженных монахами-капуцинами, приняли за переодетых экспроприаторов. На эту мысль хозяев навёл чересчур уж высокий рост монахов, необычный для наших малорослых мест. Попытка нас задержать для выяснения личностей (Щукин был земским начальником) не удалась, мы с братом и отцом разбросали тщедушную щукинскую дворню, как котят, и ускакали на санях прямо в поле без дороги.

После Масленой на Великом Посту кадеты говели по отделениям во главе со своим офицером-воспитателем. На исповедь мы пришли вечером в пустую, полутёмную церковь и выстроились небольшим взводом перед амвоном. В этот момент перед исповедью по корпусным традициям полагалось всем врагам помириться друг с другом. Каждый из нас подал руку всем товарищам и просил не помнить обид вольных и невольных. Когда пришла моя очередь исповедоваться, отец Стефан строго спросил, помню ли я, что сегодня день смерти моего деда Евгения Львовича. Этот поп положительно был осведомлён о моих семейных и родовых делах лучше, чем я сам. Отец Стефан в этот год был настроен более нервно, чем обычно, так как во время бывшей осенью в корпусе эпидемии скарлатины потерял двух маленьких сыновей, кадет первого класса. Это горе довело его до того, что он на одной всенощной, обратившись к прихожанам с речью, прямо обвинил корпусное начальство в том, что оно плохо смотрит за детьми. Нечего и говорить, какое удовольствие доставило кадетам это неожиданное нападение батюшки на начальство.

Думаю, что это выступление отца Стефана было просто жестом потерявшего от горя голову отца, так как смотрело за нами начальство совсем не плохо, и кроме этой эпидемии, унёсшей несколько детских жизней, умирали кадеты чрезвычайно редко. Я за всё моё пребывание в корпусе помню только одну смерть третьеклассника М., скончавшегося от гангрены лёгких. Случилось это потому, что бывший у него в горле пустячный нарыв прорвался ночью, и гной попал в лёгкие. В гробу он лежал с замороженным ртом, так как все дыхательные органы у него разложились при жизни и издавали зловоние.

Были, правда, на моей памяти две попытки кадетов на самоубийство, но оба случая имели под собой романтическую почву, и начальство было здесь ровно ни при чём. Первым на моей памяти стрелялся Шупинский, кадет седьмого класса, из хорошей дворянской семьи Тверской губернии. Согласно забелинской системе воспитания в корпусах, попытка на самоубийство неминуемо влекла за собой исключение из корпуса, и никакие влияния со стороны и просьбы в этом случае не помогали. Тверское дворянство, богатое и влиятельное, пустило в Питере в ход все связи и влияния, чтобы помешать исключению Шупинского из корпуса, однако ничего не помогло – Забелин остался непреклонным.

Второй случай, не лишённый некоторых комических сторон, был с моим одноклассником, донцом П., когда мы были в седьмом классе. Стрелялся П. в ротной спальне из-за отвергнувшей его девчонки часов в 11 вечера. Только несколько не спавших в это время кадетов услышали выстрел и сбежались к кровати раненого, остальные же двести человек продолжали спать, ничего не слыша, и в их числе ближайший сосед П. по кровати осетин Тох Тургаев, очень удивившийся утром тому, куда исчез его сосед. Такой крепкий сон кадет не должен удивлять, потому что все мы с детства настолько привыкли к адскому грохоту барабана по утрам, что сухой револьверный выстрел никого не мог обеспокоить.

Перед самым Рождеством из шестого класса были исключены за неуспеваемость несколько кадет. В отличие от тех, кого за то же исключали весной, таких зимних

изгнанников на корпусном языке именовали «декабристами». Из нашего отделения в их число попали грузин Жгентия и рыжий, огромного роста кадет Халяпин, много раз уже майорствовавший в младших классах. Ушёл, кроме этого, сам и притом с большим скандалом, из корпуса и Измаил Шипшев. Началось с того, что Шипшев вернулся с рождественских каникул одетым не в форму, а в штатское платье и шикарную бобровую шубу. Оставив чемодан в роте, он прямо отправился к директору корпуса и заявил, что больше не желает продолжать образование, а намерен поселиться на покое в родном Нальчике свободным от всех обязанностей человеком. Генерал вспылил, раскричался, обещал отправить Шипшева домой с жандармом, но нисколько всеми этими угрозами Шипшева не испугал. Упрямый кабардинец настоял на своём, и, будучи в качестве круглого сироты совершенно независимым от каких бы то ни было родственников, гордо удалился в свои родовые местности, несмотря на директорский гнев. Думаю, что причиной решения Шипшева покинуть корпус была тоска по родине и неприязнь к учреждению, где умер его брат.

Со второго полугодия этого учебного года начал чудить и я, для которого настал тот беспокойный и опасный период формирования, когда мальчишки, одни раньше, а другие позже, начинают дурить. На ученье это отражалось мало, зато по поведению из примерного кадета я стал самым отчаянным и скандальным в роте. Неуместная эта удаль выражалась у меня по линии самой опасной и нетерпимой в военной среде, а именно не в единоличном только бунтарстве, а в организации массовых выступлений, что сурово карается военными законами. По самым разнообразным случаям я отсидел в первое полугодие восемь раз под арестом и потерял три балла за поведение. После Масленицы, повредив на гимнастике руку и попав в лазарет, я устроил там громкий скандал.

Надо сказать, что корпусной лазарет находился в отдельном боковом здании, соединённом с корпусом полуподземным коридором. Лазарет этот был отдельным мирком под управлением старшего врача Мартиновича, добродушного и любимого кадетами старика-черногорца. Внутренним же порядком в нём ведал особый офицер подполковник Миакович. Порядок, по которому кадеты попадали в лазарет, был таков. В 8 часов утра роты обходил младший врач корпуса в сопровождении фельдшера, несущего ящик с бинтами и лекарствами для оказания амбулаторной медицинской помощи кадетам, в этом нуждающимся. Во время этих «перевязок», как на кадетском языке назывался врачебный обход, к врачу являлись больные кадеты, жаловавшиеся на настоящие и воображаемые болезни, и если таковые признавались на осмотре заслуживающими внимания, то больного отправляли в лазарет. В самом лазарете врачебный обход имел место два раза, утром и вечером, в остальное же время суток в дежурной комнате находился военный фельдшер, которых при корпусах было человек пять.

Помещение лазарета состояло из двух этажей, в каждом из которых было комнат по шесть. Верхний этаж почти всегда стоял закрытым, он предназначался только для эпидемических и заразных заболеваний, в корпусе очень редких. Зато палаты нижнего этажа были всегда наполнены слегка больными и совсем здоровыми кадетами, старавшимися всеми правдами и неправдами понежиться здесь подольше вдали от уроков и суровой ротной жизни. Сам я, несмотря на все усилия в этом направлении, за все четыре года пребывания в корпусе не смог заболеть по-настоящему ни разу и бывал в лазарете только в порядке «ловчения». В этой области кадеты при нужде были способны надуть самого опытного врача. Корпусные врачи, конечно, знали многие уловки с термометром, и строго следили за тем, чтобы претендент в больные не трогал его руками или не надувался для поднятия температуры. В старших классах корпуса были известны способы создать несуществующую температуру, и не прибегая к таким допотопным приёмам, как нащёлкивание градусника. В роте для этого имелось несколько термометров того же образца, что и в лазарете, и взыскатель лазаретной койки являлся к врачу, уже имея подмышкой градусник со столбиком ртути на 37 и 7. Стоило только уронить казённый градусник под рубашку и представить вместо него заранее приготовленный, чтобы получить все права больного. Повалявшись на

мягкой кровати в тёплом халатике несколько дней, такой «больной» уступал своё место и градусник очередному кандидату, и все были довольны.

По сравнению с пребыванием в роте, лазаретное житьё было прямо райским. Подниматься по проклятому барабану или воющей ведьмой трубе в 6 часов утра в ноябре или декабре было истинной мукой. Холод был в спальне адский, и спать хотелось до обморока. В городе в это время стояла ещё чёрная ночь, и как говорится, даже черти ещё не начинали биться на кулачки, и только длинный ряд окон корпуса светился над погружённым в сон Воронежем. Были моменты, когда, не выдержав пытки этого раннего вставания, отдельные кадеты забирались куда попало досыпать хоть несколько минут. Для этого чаще всего служила так называемая «шинельная», тёмная без окон комната, где висели шинели кадет и складывалась лишняя одежда. Единственный вход в неё был через дежурную комнату, и поэтому нелегальное проникновение сюда почти всегда обнаруживалось и каралось офицером. Тем счастливцам, которым всё же удавалось проникнуть в «шинельную», приходилось укладываться на груде одеял или шинелей, наваливая одновременно их и на себя, как для тепла, так и для сокрытия собственной особы. В этом положении слоёного пирога кадеты иногда до того долго спали, что пропускали не только чай, утренние занятия, но даже и два-три урока. Другим местом такого незаконного сна являлся уже упомянутый лазарет. В нём больные вставали не раньше девяти часов утра, к этому времени приходил со своей квартиры и заведующий лазаретом офицер, так что тому, кому удавалось прошмыгнуть мимо дежурного фельдшера, мог поспать с удобствами часа два.

Вместо холодной роты, в которой проклятые дядьки распахивали настежь утром все окна, не считаясь ни с сезоном, ни с погодой, в уютных лазаретных комнатушках всегда стоял приятный полумрак и потрескивала печка, наполняя палаты теплом. Кровати, мягкие и широкие, в полумраке манили ко сну и отдыху. Конечно, все эти попытки к незаконному отдыху по большей части кончались наказанием и взысканием, однако молодой организм подчас предъявлял такие властные требования, что во имя сна мы были готовы на какие угодно жертвы.

Было и ещё одно место для незаконного отдыха и спасения от какого-нибудь трудного урока, а именно, «музыкальная комната», где в стенных шкафах сохранялись инструменты духового оркестра. Скрываться здесь, во-первых, было дьявольски холодно, так как помещение было на холодной площадке, во-вторых, это была исключительная привилегия седьмого класса, в руках которого находился ключ.

Спасаться от уроков и письменных упражнений было много способов, из которых один был до гениальности прост, как и все великие изобретения. За всеми помещениями роты во время классных занятий тщательно следило начальство и шпионы – дядьки, запиравшие наглухо все свободные помещения. Прятаться можно было только в самом помещении класса, за которым во время урока наблюдал не изощрённый в кадетских хитростях опытный глаз офицера или дядьки, а посторонний кадетскому обиходу штатский преподаватель.

В каждом классе рядом с кафедрой учителя стоял у стены небольшой шкафчик, где воспитатели хранили запасные письменные принадлежности и географические карты. Ключ от него всегда находился у старшего в классе. Так вот, из этого шкафчика с общего согласия было вынуто всё содержимое, включая и полки, на место же всего этого ставился стул, на который садился спасавшийся от плохой отметки кадет. Изнутри к дверце был приспособлен шнурок, за который сидевший в шкафу придерживал дверцу. Долгие месяцы этот трюк был неизвестен начальству, и никому из преподавателей не приходило в голову, что в двух шагах от него скрывается преступник. Раскрыто всё это дело было однажды очень глупо и скандально при следующих обстоятельствах.

Был у нас в отделении некий Шакро Амираджиби, весёлый и беззаботный грузин, большой любитель поспать, где можно и где нельзя. Сев в шкаф, или как у нас говорили «в бест», и принуждённый сохранять абсолютную неподвижность, он неожиданно для самого

себя уснул и выпустил из рук верёвочку, за которую держал дверку. Дверца скрипнула и медленно отворилась, и перед изумлённым преподавателем предстал, как обезьяна в клетке, крепко спавший на стуле, открыв рот, бедный Шакро. Класс, остолбеневший в первую минуту, грохнул затем таким взрывом хохота, что на шум прибежал дежурный офицер, который прямо из шкафа отправил смущённого князя досыпать в карцер.

Но возвращусь к лазарету и тому, что в нём со мной произошло. Кроме обычных лёгких болезней, проходивших в два-три дня, и эпидемий, бывавших крайне редко, лазарет иногда становился сценой более или менее трагических происшествий, неизбежных там, где совместно живут сотни крепких и энергичных подростков и юношей. Случались поломанные руки и ноги, впрочем, замечательно быстро сраставшиеся, поранения ножом, стулом и кулаком в драке и т.д.

Однажды, когда я пришёл вечером в лазарет навестить больного товарища, по коридору раздался топот многочисленных ног и в дверь ворвался в окровавленной рубашке кадет старшего класса Мосолов, держась за правый глаз. За ним, взволнованные и бледные, появились несколько кадет и перепуганный офицер-воспитатель. Оказалось, что по недосмотру офицера во время урока фехтования на рапире соскочил предохранительный шарик, и фехтовавший с Мосоловым кадет проткнул остриём её не только маску, но и глаз противника. Глаз вытек и погиб, и Мосолов был принуждён по этой причине по окончании корпуса отказаться от военной службы, к которой имел большое влечение.

Другой раз при мне принесли в лазарет с двойным переломом ноги кадета Фролова, донца отчаянной жизни, наездника и гимнаста, который часто устраивал совершенно головоломные штуки, вроде того, что «восстанавливал перпендикуляр», т.е. становился на руках вниз головой на перилах лестницы или на подоконнике третьего этажа. Этот Фролов, которому всю жизнь не давал покоя его шалый темперамент, впоследствии погиб нелепо во время гражданской войны, будучи офицером лейб-гвардии Атаманского полка. В Николаевском кавалерийском училище, куда он вышел по окончании корпуса, весь Петербург съезжался смотреть на его игру «в лисичку» на сцене Михайловского манежа, в которой он показывал сверхъестественную ловкость в езде и джигитовке.

Корпусные фельдшера были молодые люди, окончившие военно-фельдшерскую школу, и считались нижними чинами унтер-офицерского звания. Это были очень франтоватые молодые люди, как все недоучки, высокого о себе мнения, считавшие себя на «офицерской линии». Подобные недоучки-полуинтеллигенты в старой России представляли собой весьма беспокойный и будирующий элемент людей, вышедших из народа, но в господа не попавших. С кадетами отношения у них были поэтому очень неровные: они то слишком нахальничали, то вели себя запанибрата.

Попав из-за больной руки в лазарет на законном основании, я как шестиклассник оказался старшим среди больных и потому обязан был по обычаю не только надзирать за младшими, но и в случае нужды постоять за кадетскую честь. На другой день после поступления в лазарет мне как раз выпало на долю стать за эту честь не на шутку. Случилось это так.

Дежурный фельдшер, пользуясь за завтраком отсутствием офицера, позволил себе грубость с маленьким кадетом, обругав его, обращаясь при этом на «ты», чего не позволяли себе даже офицеры-воспитатели. Я как старший в тот же вечер доложил о происшедшем Миаковичу. Этот последний, давно привыкший к постоянным трениям между фельдшерами и кадетами, не обратил на происшествие внимания. На другое утро в уборной лазарета под моим председательством состоялось заседание старших кадет, на котором единогласно было решено той же ночью «обставить» фельдшера. «Обстановка» кого-либо на кадетском языке значило устроить ему кошачий концерт и скандал. К 10 часам вечера, когда все легли и Миакович ушёл к себе домой, по моему сигналу начался кошачий концерт, а когда на шум явился в палаты фельдшер, его забросали подушками и сапогами. Вызванный экстренно со своей квартиры Миакович, по указанию фельдшера, отправил меня и ещё нескольких старших кадет в роты. Меня фельдшер не без основания аттестовал как зачинщика и

организатора восстания, да я по военным правилам как старший и без того являлся главным ответчиком.

На другое утро специально собранный совет присудил меня к недельному аресту в карцере и сбавке за поведение до двух баллов. При двенадцатибалльной системе это было мало и являлось своего рода рекордом, почему сам директор корпуса явился с визитом ко мне в деревянную закутку карцера, где я находился в заключении.

Он долго смотрел на меня, склонив критически голову набок, а потом медленно и многозначительно произнёс: «Был конь, да изъездился – был кадет, да испортился». Не вступая ни в какие объяснения, понимая, что моё буйство есть просто результат роста, он приказал мне написать домой отцу письмо, чтобы он меня взял домой на некоторое время. Эта оригинальная мера на корпусном языке называлась поехать «на исправление к родителям», и применялась начальством в тех случаях, когда хороший кадет ни с того, ни с сего начинал дурить. Исключить его из корпуса было жалко, так как период буйства был временным, и в то же время нельзя было оставлять в корпусе, где он мог вредно влиять на других.

Исполняя волю начальства, я написал письмо отцу, в котором откровенно изложил всё случившееся и закончил его глупой фразой, очень рассердившей папу, что «барскую просьбу надо почитать за приказ». Отец, сам бывший кадетом, сразу разобрался в обстановке и понял её, в результате чего я через три дня был уже дома. При встрече моей с родителем он с большим трудом удержался от удовольствия отодрать меня на совесть, на что имел все основания, зато не поскупился на слова. Как выражались о нём мужики, барин он был «большого выражения». Мария Васильевна, наоборот, не говорила со мною целую неделю, что, кроме удовольствия, мне ничего не доставило. Дома, по соглашению отца с директором, мне пришлось пробыть два месяца.

Коля Лабунский, с которым мы перед моим отъездом из корпуса окончательно подружились, еженедельно и очень аккуратно сообщал мне в письмах то, что происходило в классе, и я мог не отставать в учении от товарищей. На Пасху Лабунского отец в виде компенсации за труды пригласил к нам в Покровское. В день его приезда папа с Марией Васильевной неожиданно собрались и уехали в Геленджик, что привело в истинный восторг нас, оставшихся в усадьбе полными распорядителями собственной судьбы и времени.

Пасха была ранняя, и весенний разлив был в самом разгаре, а с ним вместе и перелёт всякой водоплавающей твари. Мы целыми днями с братом и Лабунским бродили по пояс в воде по разливам и заводям, и приходилось только удивляться крепости кадетского здоровья, не знавшего ни простуд, ни ревматизмов.

Коля Лабунский, попавший в первый раз в своей жизни в помещичью усадьбу, всему удивлялся в Покровском: жизни, людям, языку и обычаям. Больше всего его поражало отношение к нам крестьян, язык которых он совершенно не понимал, так как родился и прожил в городе. Смущала его и сбивала с толку и наша деревенская горничная Фёшка, девица жизни отчаянной и очень бойкая на язык, в обращении, по её собственным словам, за словом в карман «сроду не лазившая» и умевшая за себя постоять. Отношения её с барчуками, её ровесниками, были без всяких излишних церемоний, и никакие слова и выражения эту девицу в смущение привести не могли. Была она родом из знаменитой на Удеревке своей «широтой взглядов» семьи Ледовских, в которой мужчины были всегда в отсутствии, а мать семьи с тремя взрослыми дочерьми постоянно рожала детей от неизвестных отцов. Фёшка, местное сокращение от Фёклы, была старшей дочерью этого курьёзного семейства, но хотя имела очень широкое и любвеобильное сердце, своей молодостью пользовалась степенно и без доказательств. Это не мешало тому, что не раз, возвращаясь с охоты ночью, мы спугивали из её комнаты очередного вздыхателя, с шумом и сопеньем спасавшегося чёрной тенью в окно.

Фёкла эта, пришедшая нас будить утром, стала первым объектом изумления наивного Лабунского, ещё совершенно неискушённого в жизни. Он покраснел, как рак, и совершенно растерялся, когда вскочивший с кровати Коля в более чем легкомысленном

костюме шуточно обнял Фёшку. На это отчаянная девица только ухмыльнулась во всю свою курносую рожу и лениво повела плечом: «Да ну вас… охальников! Подымайтесь, што ли, люди обедать скоро будут». Взглянув на сидевшего с глупым видом на диване Лабунского, она, видимо, поняла его чувства, потому что осведомилась: «А должно, барчук приезжий? С городских будут?»

К досаде и обиде Лабунского, вся дворня, точно сговорившись, пришла к заключению, что он «не барчук, а просто хохол, который и по-русски не понимает». Наш разобидевшийся гость по этому поводу вступал не раз в спор и даже ругался, но ничего не помогало, и в глазах аборигенов покровской усадьбы его репутация раз и навсегда была определена.

Однажды, когда мы все трое ехали в церковь на Святой, конюх Давыдка начал с Лабунским шутливый разговор.

− Как же ты, господин, по-русски не понимаешь?

− Я-то понимаю, да вот ты не по-русски говоришь, а чёрт тебя знает, на каком-то кацапском языке, – сердился Лабунский.

− Ишь ты, на кацапском. А отчего же я в Воронеже был и в Курске, и все меня понимали, а вот ты не можешь? Вон, барчуки с тобой сидят, чай, почище тебя, а понимают. Значит, ты, братец мой, не русский, а хохол али молдаванин.

− Сам ты молдаванин! И как ты меня смеешь тыкать, я что тебе, товарищ? Почему ты Николая или Анатолия на «ты» не называешь?

− Вот тоже сравнил! Они наши барчуки, а ты што? Нечто ты барин?

− Конечно, барин! Кончу корпус – таким же офицером буду, как и они.

− Да ето што ахвицером! У нас вон в Заречье богатый мужик есть, так у него, брат, аж два сына ахвицерья, а всё ж он мужик, а не барин. Барин, он от природы хощ ахвицер, а хощ и так у себя в экономии живёт и на службу не ходит. Вон Михайловы – господа, сбоку от нас живут, нигде не служат, а што ш они тебе ровня, што ли?

Несмотря на то, что мы с братом пришли на помощь нашему обиженному гостю и втроём напали на Давыдку, сбить его с раз и навсегда занятой позиции оказалось невозможно. В глазах крестьян и дворовых, деды которых ещё были крепостными, ни чиновники, ни купцы, ни разночинцы, какие бы они посты не занимали и какими бы богатствами не владели, за «господ» не считались. «Барин» должен был быть в их глазах дворянином-помещиком, отцы и деды которого владели землями и людьми. Всякий другой в глазах местного населения был только «хозяином» или его именовали по имени и отчеству, но никогда не звали барином. Крестьянский говор Курской губернии также имел свои местные выражения и произношение, которые Лабунскому как городскому человеку были непонятны.

Во время жизни Лабунского у нас в Покровском произошёл и другой случай в духе местных нравов, окончившийся на этот раз очень неприятно не для него, а для нас с братом. Однажды братишка Женя, которому в это время было около 9 лет, куда-то ездил по соседству со своим другом и приятелем Яшкой – сыном нашей кормилицы. С ними был и наш общий любимец фоксик Лори. В то время, когда они проезжали через мельницу в селе Липовском, хозяин её, богатый и нахальный прасол, ни с того ни с сего притравил своими злобными и большими собаками маленького фоксика, бежавшего за экипажем брата. Собаки его сильно покусали и вываляли в грязи, пока брат с Яшкой успели вмешаться в дело. Приехав домой, дети с обидой и негодованием всё это нам рассказали, предъявив в виде доказательства своих слов искусанного и грязного Лори, повизгивавшего от боли и пережитых волнений.

Для отмщения и защиты оскорблённой чести нашей фамилии была немедленно организована карательная экспедиция. Сев верхами и взяв на своры борзых, мы с братом отправились на мельницу, с нами увязался и Лабунский, державшийся во всём этом деле в сторонке и с явной опаской. Подъехав к мельнице с луговой стороны, мы затрубили в рога и стали свистать собакам. Услышав трубный звук и увидев на лугу борзых, все собаки

мельника с яростным лаем и воем высыпали нам навстречу. Луг был местом общественным, к владениям мельника не относился и потому был избран нами ареной мести как место нейтральное.

Не успели мельниковы собаки приблизиться к нам, как мы атукнули, свистнули, и спущенные со своры борзые моментально растянули одну из дворняг, которая испустила дух, не успев даже пикнуть. Остальные, видя такой неожиданный для них поворот дела, поджали хвосты и с воем скрылись на мельнице. Когда мы собрали опять на своры борзых, у ограды своих владений появился красный и страшно обозлённый мельник, очень гордившийся лютостью и силой своих псов.

− Красиво отличаетесь, барчуки! Можно похвалить! – крикнул он. – Какое такое право имеете чужих собак травить у хозяина на дворе?!

− Врёшь! – отвечал ему брат. – Это ты травил нашу собаку на дворе, а мы стоим на общественном лугу, а не на твоём дворе, и это твои собаки на нас бросились, значит, и помалкивай. Больно ты смел стал – так это тебе окороть будет на будущее время. Мы, брат, за всё платим чистой монетой. Ты нашу собаку травил, мы твою. Что она с детьми была, так ты и смелость показал. А ты бы меня притравил, я б тебя утешил, на твоём же дворе тебя бы и в грязи вывозил бы, как сукинова сына.

Мельник сознавал, несмотря на своё бешенство, что проиграл игру, почему сразу приняв кроткий вид, ответил нам совсем другим тоном:

− Что ж с вами поделаешь? Конечно! Вы и на дворе хозяина затравите – управы искать на вас негде!

Этими словами он больше чем задел нас, превратив законную месть ему как бы в несправедливость с нашей стороны, которую мы будто бы совершили, пользуясь нашим социальным положением. Это было очень обидно нам именно потому, что было совершенно несправедливо, о чём ехидный прасол прекрасно знал. Никогда ни брат мой, ни я не позволяли себе воспользоваться в Покровском своим привилегированным положением или даже рассчитывать на него в этом столкновении. Слова мельника поэтому особенно нас задели, и домой мы вернулись как оплёванные к изумлению Лабунского, который во всём этом ничего не понял.

По возвращении в корпус после Пасхи, куда мы приехали с Лабунским, так как срок моего изгнания окончился, Садлуцкий встретил меня как нельзя лучше и с непривычной ласковостью и заботой посоветовал не слишком надрываться со сдачей пропущенного учения, а хорошенько подготовиться перед экзаменами. Я этот совет его принял с благодарностью и не стал отвечать преподавателям, отложив всё до весенних экзаменов. Это было мне тем более на руку, что у нас с Пушечниковым в это время завязались романтические приключения с некими городскими девицами, с которыми мы свели знакомство, ходя в отпуск. Оба мы были большими любителями гребного спорта, и потому всё свободное время проводили в местном яхт-клубе, где когда-то был председателем мой покойный дед Евгений Львович, барельеф которого даже висел в главной зале клуба. Здесь мы каждый отпуск брали напрокат лёгкую гоночную лодку и ехали на ней за город в пригородные луга и плавни, которые на много вёрст кругом тянутся по левой стороне реки Воронежа, вплоть до её впадения в Дон. В этих местах мы купались, гуляли и проводили весь день, радуясь тому, что избавились от тяготившей нас обоих городской обстановки. Официально мы числились ходящими в отпуск к родителям нашего одноклассника Успенского, отец которого был полковым священником Новоархангельского уланского полка. Были мы в этом доме всего один раз, чтобы поблагодарить Успенских за устройство нашего фиктивного отпуска. Других знакомых в городе у нас с Серёжей не было, да мы их и не искали, вполне довольствуясь загородными путешествиями и природой. Однажды, когда, как обычно, мы катались на лодке, с нами поравнялась другая гичка, в которой сидели две барышни. Случайно мы заговорили и познакомились, и с этого дня наши отпуска мы стали проводить уже не вдвоём, а вчетвером. Время проводилось достаточно невинно и мило, насколько позволяли нам с Серёжей наши небольшие средства и время.

Через два месяца брат Коля, знавший всех девиц города, которому я рассказал о своём знакомстве, горько меня разочаровал. Оказалось, что Надя Д., как звали мою подругу по прогулкам, была легкомысленная молодая пташка, имевшая в городе репутацию очень молодой, но уже много обещавшей… кокотки. Как ребята не искушённые в жизни, мы с Серёжей оба этим очень оскорбились и сразу прекратили с обеими подругами встречи и даже знакомство.

Перед самыми весенними экзаменами 1913 года меня ожидала большая неприятность, тем более поразившая, что она была совершенно неожиданной. После очередного заседания педагогического совета Садлуцкий с ехидной улыбкой вызвал меня в дежурную комнату и там сообщил, что советом решено ввиду несдачи пропущенного оставить меня на второй год в шестом классе, не допуская до экзаменов. Это был удар, который я никак не ожидал, да и не мог предполагать, что подполковник Садлуцкий, бывший виной моей несдачи пропущенного, мог так подвести своего кадета. Обозлённый и полный негодования на своего воспитателя, я тут же заявил ему, что желаю говорить с ротным командиром по этому вопросу. По военным положениям всякий военнослужащий, желающий сделать жалобу на своего непосредственного начальника высшему, обязан об этой жалобе предупредить того, на кого он хочет жаловаться. Разумеется, отказа в этом случае быть не может, хотя тот, на кого поступает жалоба, может, благодаря подобному порядку, принять заранее свои контрмеры.

В тот же вечер полковник Трубчанинов, мрачный, как смерть, вызвал меня в свой кабинет и спросил, в чём состоит жалоба. Я честно и откровенно рассказал ему, что, вернувшись из дома в корпус, хотел сдать по всем предметам пропущенное мною, но полковник Садлуцкий мне отсоветовал, приказав прямо готовиться к переходным экзаменам в седьмой класс. Выслушав всё это молча, ротный командир спросил, правда ли, что я самый молодой в классе.

− Никак нет, господин полковник, – отвечал я с удивлением, – я один из старших.

− Правда ли, что вы заявили подполковнику Садлуцкому, что вы не справляетесь по учению после возвращения в корпус?

− Никогда этого не было, господин полковник, да и, кроме того, вы сами знаете, что я в классе всегда стоял и стою выше середины.

− Хорошо! Можете идти.

Я повернулся налево кругом, поняв ясно из вопросов Трубанька, что в совете на меня наврал Садлуцкий. По-видимому, это была его месть за плохое поведение и за историю с фельдшером, он опасался, что и в седьмом классе я стану доставлять ему хлопоты, почему и постарался освободиться от беспокойного кадета. После вечерних занятий Трубчанинов около получаса ходил с Садлуцким по ротному коридору, и между ними происходило горячее объяснение. Трубчанинов был человек чести и долга, и для него ложь со стороны офицера-воспитателя на своего кадета была вещь недопустимая. Садлуцкий, красный, как рак, явно старался оправдаться. Окончив разговор, ротный ушёл в дежурную комнату, куда скоро вызвали и меня. Полный надежд, что правда восторжествовала, я вошёл в комнату и остановился перед сидевшим за столом Трубчаниновым, никого другого в дежурной не было. Подняв на меня свои стальные глаза, полковник сказал своим низким и спокойным голосом: «Соберите книги и… отправляйтесь под арест».

Я окаменел от неожиданности и замер на месте с широко раскрытыми от удивления глазами. Спросить «за что?» запрещалось законом и каралось как преступление против дисциплины. Не оставалось ничего другого, как повернуться и выполнить это категорическое и не оставляющее никаких сомнений приказание. Сидя, возмущённый до глубины души, в вечером в карцере, я перебирал в уме все перипетии этого памятного для меня дня и продолжал недоумевать, каким образом ротный командир, человек хотя и исключительной строгости, но безукоризненно справедливый с кадетами, мог устроить со мной подобную вещь. Только много позднее, став сам офицером и начальником, я понял, что произошло. Переговорив с Садлуцким, ротный понял, что мой воспитатель, чтобы

освободиться от беспокойного кадета, покривил душой, за что и задал ему горячую головомойку. Во имя дисциплины и поддержания авторитета начальства Трубчанинов не захотел этого показать кадетам и поощрить меня, подавшего жалобу на своего начальника. Подобное положение недопустимо на военной службе и в военно-воспитательном деле тем более, что истории этого рода почти небывалое явление в анналах корпуса. В кадетской «Звериаде» в память этой истории мои приятели составили дополнительный куплет, не лишённый известного яда:

Скорей перевернётся свет
И с неба спустится создатель,
Чем прав останется кадет,
А виноватым воспитатель…

Очень это горькая вещь – засесть на второй год в предпоследнем классе, расстаться с товарищами, к которым привык и с которыми сжился, и смотреть на то, как они через год разлетятся из корпуса по училищам вольными птицами, начав жизнь взрослого человека. В то время ты сам по-прежнему должен тянуть корпусную лямку среди малышей, входить в их жизнь и интересы, которые только вчера казались такими мелкими и канареечными.

Дома меня встретили сурово и холодно, на что обижаться не приходилось, отношение это было заслуженным, и вина моя была очевидна. В довершение семейных неприятностей той же весной навсегда окончил своё образование пятым классом и брат Николай, категорически отказавшийся возвращаться осенью в гимназию Кричевской. Он прямо заявил отцу, что его идеал и цель жизни – усадьба и сельское хозяйство, наука его нисколько не интересует и к ней он не чувствует ни охоты, ни способностей. Отец устроил целое землетрясение, но принуждён был кончить тем, что примирился скрепя сердце с непреодолимым, хотя с этого времени на всю жизнь оставался очень холодным с братом, который отвечал ему тем же.

Тягостные отношения, создавшиеся в доме вследствие этих причин, заставляли нас с братом по возможности меньше времени проводить в обществе родных, почему Николай пропадал целыми днями у приятелей в соседних деревнях, а я свёл приятельство в этот год с винокуром Шелестом. В это лето к нему приезжал и гостил некий приятель-черногорец, с которым мы на велосипедах изъездили буквально весь уезд. Маленький и рыженький Шелест, как все маленькие мужчины, был самолюбив и обидчив и влюблялся без взаимности во всех встречных девиц. Строил он куры и нашей гувернантке Мосе, которая была чуть не вдвое больше своего воздыхателя. Винокур хорошо играл на гитаре и пел украинские песни, почему, чтобы привлечь в своё общество Мосю, организовал украинский хор. В хоре этом, кроме него, черногорца, Моси и меня, принял также участие сельский учитель из бывших семинаристов, огромный мрачный детина чудовищной силы, обладавший таким низким и дремучим басом, что сам не всегда мог рассчитать силу своей глотки (часто за ужином он откашливался так, что пугал дам, и пугался сам).

В конце лета с сестрой и её гувернанткой мы на месяц съездили в Геленджик, где у нас с Мосей произошел роман, длившийся потом целые два года, пока она не вышла замуж. В нижнем этаже нашего дома на Тонком Мысу мы застали семейство некоего Прушакевича, которого мы с сестрой знали с детства. Он раньше служил по акцизному ведомству, но, как говорится, по независящим от него обстоятельствам принуждён был выйти в отставку. Отец принял в нём участие, вероятно, потому, что Прушакевич этот был мелким дворянином нашего уезда, и пристроил его в земскую управу. Человек он был уже пожилой, хорошо поживший, обладал физиономией благородного отца из публичного дома, что не мешало ему быть счастливым молодожёном. В Геленджике чета Прушакевичей проводила свой медовый месяц. Жили они скромно, но в таком согласии, что уже через месяц после свадьбы у них родился сын. Младенец этот как капля воды напоминал одновременно поросёнка и отца.

Осенью было очень неприятно для самолюбия садиться в прежний класс. В качестве второгодника я попал во второе отделение шестого класса и очень неприятно

чувствовал себя поначалу в новой среде, несмотря на почётное положение «майора». К счастью, в том же отделении оказался и Афоня Бондарев, отставший от меня в пятом классе и ныне догнавший. Мы с ним, конечно, уселись на одну парту и так просидели до окончания корпуса.

Новым офицером-воспитателем оказался подполковник Завьялов, носивший кличку «гуся», которого кадеты не любили и не уважали, а раз даже освистали всей ротой по какому-то случаю. Он был болен сердечной болезнью и часто пропускал службу, за что был у директора на плохом счету. Летом 1912 года Завьялов женился на местной помещичьей дочке, тощей и некрасивой, из семьи Китаевых. Брак этот был по расчёту, и потому кадеты, которым до всего было дело, едко и зло смеялись над четой Завьяловых. Была написана по поводу этого брака и его возможных последствий целая неприличная поэма в стихах, начинавшаяся словами: «Наш сказал однажды гусь, на Китаевой женюсь…».

Через месяц после начала занятий Завьялов однажды не явился на строевые занятия. Как на грех, в этот час роту обходил директор и, заметив в классе отсутствие офицера-воспитателя, послал за ним на квартиру служителя. Завьялов явился взволнованный, с лицом, покрытым красными пятнами, и в присутствии кадет выслушал от рассерженного генерала такую головомойку, что в тот же вечер, вернувшись к себе на квартиру, скончался от сердечного припадка.

Утром едва известие о его смерти дошло до строевой роты, как среди кадет поднялась целая буря негодования против директора. Все недостатки и смешные стороны покойного подполковника были забыты, и кадеты поголовно жалели своего воспитателя. По единогласной просьбе отделения все мы строем отправились на квартиру покойника, где старший отделения Жадановский выразил от имени класса сочувствие вдове покойного. Мы присутствовали на всех панихидах на дому и на похоронах, шли не в общем строю роты, а за гробом, неся на руках многочисленные венки. Сочувствие и симпатии кадет к умершему были так искренни, что вдова подарила классу портрет покойного, который был торжественно и не без некоторой демонстрации повешен в отделении, где провисел до окончания нами корпуса, вопреки всем правилам. Когда гроб Завьялова опускали в могилу, строевая рота дала тройной залп из винтовок.

На несколько недель осиротевший класс остался без отделенного офицера-воспитателя, но вёл себя всё это время примерно, так как в память Завьялова все обязались круговой порукой вести себя без него безукоризненно, чтобы доказать директору достоинства покойного как воспитателя. За порядком следили второгодники.

Новый мой класс или, вернее, второе отделение шестого класса состояло, как и прежнее, по большей части из кадет кавказцев и казаков. Были здесь грузины (князья Гавленовы, Накашидзе, Дадиани, Амираджиби), имеретинцы (Чикваидзе, Гогоберидзе), казаки (Янов, Бондарев, Греков, Машуков, Мигунов) и др.

С Машуковым, чёрным, как жук, и на редкость некрасивым осетином, я сошёлся с первых дней. Это был молодой человек совершенно рыцарского характера и прямо спартанских доблестей. Родом он был терец из станицы Прохладной, сын прапорщика милиции, героя русско-японской войны и георгиевского кавалера. Семья Машуковых была очень бедна, как и большинство кавказских служилых фамилий, но Митя в буквальном смысле презирал все материальные блага и ценил только честь и доблесть. Впоследствии, став офицером, он погиб героем на Кавказском фронте, утонув вместе с конём во время какой-то совершенно безумной переправы в Турции.

Сошлись со мной, кроме Машукова, и ещё два кадета, с которыми у нас оказались общие точки соприкосновения. Оба были воронежские помещики Жмурин и Прибытков. Отец первого, отставной ротмистр и известный в городе барин, имел конный завод и содержал недалеко от корпуса *манеж-татерсаль* . Молодой Жмурин собирался в кавалерию, впоследствии действительно стал кавалерийским офицером и погиб во время гражданской войны. Прибытков был последний отпрыск когда-то очень богатого дворянского рода, из поколения в поколение служившего в кавалерии. Отец его жил

настолько широко, что сыну уже почти ничего не осталось от наследия предков, и Володя, выйдя впоследствии в Николаевское кавалерийское училище, едва мог себя содержать.

Наконец, начальство обратило внимание на наше безначальное отделение, в которое и назначило нового офицера-воспитателя. С радостью мы узнали, что к нам назначается подполковник Михаил Клавдиевич Паренаго − любимец кадет и гордость строевой роты. Крепкий, бравый, с лихо закрученными усами, бородкой под Генриха Четвертого, Паренаго и наружностью своею внушал симпатию и уважение. Как воспитатель он был на высоте и умел внушить к себе не только уважение, но и любовь кадет, не прибегая ни к строгостям, ни к панибратству. Говорил он всегда медленно, с расстановкой, и мы его слушали с напряжённым вниманием. Кадетам своего отделения он отдавал много времени, и кроме корпуса и археологии, которой интересовался, никаких привязанностей не имел, так как, несмотря на солидные годы и чин подполковника, был холост и жил со старушкой матерью. Его квартира, куда он иногда приглашал кадет, была настоящим музеем предметов искусства, древностей и старого оружия.

С первых дней мы так привязались к Паренаго, что буквально ревновали его к кадетам чужих отделений, которые иногда просили его устроить им какую-нибудь прогулку или развлечение. Полковник наши чувства понимал, и в этих случаях всегда отвечал, что его время исключительно принадлежит кадетам его отделения. Нечего и говорить, что перед начальством и преподавателями он был наш постоянный ходатай и никогда не давал своих кадет никому в обиду. На свободных часах он читал нам хорошие книги или беседовал о жизни, рассказывая разные случаи из военной службы, а видел он и знал много. Каждый год Михаил Клавдиевич во время летних каникул путешествовал по России: то на Кавказ, то в Крым, то на Алтай, Сибирь или Север. Нам он не раз повторял, что Россия такая большая и интересная страна, что человеку, чтобы её узнать, не хватит всей жизни, и потому большие чудаки те, кто тратит своё время и деньги на путешествия за границу, не потрудившись познать толком свою собственную родину.

Во взглядах своих он был оригинален и никогда не говорил нам даже по службе ничего трафаретного и казённого. Был он остроумен, свою популярность среди кадет знал и даже ею слегка кокетничал, за что мы, мальчишки, подмечавшие всякие слабости начальства, дали ему кличку «обезьяна», почему в куплете «Звериады», посвящённом Паренаго, говорилось:

Из дальней варварской страны
К нам прискакала обезьяна,
Надела китель и штаны
И стала в чине капитана.

К нам, шестиклассникам, он относился как ко взрослым, что мальчишками, как известно, очень ценится. В знак того, что мы не дети, он читал нам, помнится, «Шагреневую кожу» Бальзака, чего по истории литературы тогда, конечно, не полагалось, да вероятно, тогда эта книга и считалась даже неприличной. Словом, вспоминая корпус и воспитателей, я должен положа руку на сердце сказать, что подполковник Паренаго был лучшим и самым любимым кадетами офицером корпуса в моё время. В кадетских сагах упорно ещё держалось воспоминание о ротном командире четвёртой роты полковнике Сольском, именовавшемся даже в никогда и ничего не щадившей «Звериаде» «родным отцом». О легендарной доброте и любви Сольского к кадетам корпус продолжал помнить много лет после того, как Сольский вышел в отставку и покинул службу.

Поздней осенью 1912 года на вечерних занятиях Паренаго однажды передал мне письмо из дому. Оно было от Марии Васильевны и ничем не отличалось поначалу от десятков других, которые она мне писала, так как отец лично писем писать не любил. Обычные деревенские новости заканчивались такой фразой: «Кроме этого, у нас ничего нового нет, если не считать того, что мы с папой третьего дня ездили в Карандаково, где обвенчались». Несмотря на нарочито равнодушный тон письма, в нём ясно чувствовалось, что для Марии Васильевны эта «не новость» − огромное событие в жизни, приведшее её к

тихой пристани. Свадьба отца мало что меняла в нашей семейной жизни и имела чисто моральное значение, однако я задумался над письмом, что заметил Пареного. Подозвав меня к кафедре, где он всегда сидел во время вечерних занятий, он спросил:

− В чём дело? Случилась какая-нибудь беда дома?

− Не знаю, господин полковник, как вам сказать. Случиться-то случилась, да не знаю, можно ли это назвать бедой.

Под влиянием минуты я рассказал ему тут же наши семейные отношения и всё случившееся. Полковник внимательно и с участием всё это выслушал, положил мне руку на плечо и в коротких, но дельных фразах подвёл разумный и едва ли не единственно возможный итог создавшегося положения.

− Ну, что ж! Насколько я вас понял, женщина она неплохая и безвредная, и я не вижу в женитьбе вашего батюшки для вас ничего печального. Наоборот, это выводит вашу сестру, взрослую барышню, из очень неловкого и тягостного для неё положения в доме. Отца же не вините, он прав. Я ведь его видел и говорил с ним. Мужчина ещё далеко не старый и заметный.

Чтобы больше не возвращаться к женитьбе отца, я должен сказать, что Паренаго оказался прав. Законное положение, которое приобрела Мария Васильевна у нас в доме, для нас ровно ничего не изменило в худшую сторону, наоборот, она стала как-то добрее и ровнее, успокоившись за своё будущее. Отношение же к нашему дому извне со стороны родных и знакомых изменилось совершенно. Мало-помалу в Покровском у нас появились не только семейные люди с жёнами, но и родственники с отцовской и даже материнской стороны, кроме бабушки Софьи Карловны, которая до самой своей смерти отказывалась видеть Марию Васильевну.

К Рождеству полковник Трубчанинов временно ушёл из корпуса, приняв в командование для стажа батальон стоявшего в Воронеже пехотного полка. На его место заступил Садлуцкий в качестве временного командующего первой ротой. Как ротный он был совершенно бесцветен, и хотя нельзя сказать, чтобы кадеты его не любили, однако как чуткие подростки мы чувствовали в нём себялюбца и эгоиста, почему симпатиями нашими он не пользовался. Взаимоотношения между воспитателями и кадетами их отделений имели большое значение для обеих сторон. Офицер-воспитатель составлял на каждого из кадет своего отделения аттестат, где имелись все данные об успехах кадета, его способностях физических и моральных, поведении, наклонностях, прилежании и т.д. Эти характеристики имели большое значение во время педагогических советов и даже принимались во внимание при выпуске в военные училища. С другой стороны, директор корпуса и ротные командиры считались с тем, как живёт тот или другой офицер со своими кадетами, умеет ли себя поставить, имеет ли влияние на них и т.д. От этого зависела карьера воспитателей и вся дальнейшая служба.

В большинстве случаев офицеры находились вполне на высоте порученной им задачи, так как до поступления в корпус приобрели уже достаточный воспитательный опыт с молодыми солдатами в полках. Слишком молодых офицеров раньше чина поручика в военно-учебные заведения не принимали, да и, кроме того, все кандидаты в воспитатели должны были аттестоваться своими полковыми командирами как безукоризненные в нравственном и моральном отношении.

При выпусках кадеты очень трогательно прощались со своим воспитателем и подносили ему по традиции ценный подарок, обменивались обязательно фотографиями, снимались в группе и всячески выражали ему своё внимание и признательность. Приезжая в корпус впоследствии офицерами, бывшие кадеты прежде всего шли к своему старому воспитателю, с которым встречались как с родным. Бывали, хотя и редко, неумелые и не знавшие, как подойти к кадетам, офицеры, у которых создавались совершенно невозможные отношения со своим отделением, несмотря на суровую дисциплину корпусной жизни. Таких офицеров кадеты преследовали с безжалостностью молодости и вели с ними войну не на жизнь, а на смерть. Помню, что когда я был в шестом классе первый год, одно из отделений

седьмого класса враждовало со своим воспитателем, капитаном П. При выпуске кадеты этого отделения отказались сниматься с П. в общей группе, отказались с ним попрощаться и не взяли его карточек. Всё это так подействовало на капитана П., что он психически заболел и ушёл из корпуса.

Зимой 1913 года имели место юбилейные торжества по поводу трёхсотлетия царствования дома Романовых, и делегация корпуса во главе с директором ездила в Москву. В делегацию вошли кадеты-гимнасты, так как в программу входило состязание всех корпусов России по гимнастике. Из этой поездки «соколы» наши вернулись, награждённые медалями на романовской ленте. От курского дворянства на эти торжества ездил мой отец, который также получил эту медаль, по статусу переходящую старшему в роде.

Корпусной праздник прошёл под знаком этого памятного для России юбилея, и залы корпуса были украшены картинами и портретами из трёхсотлетней истории царственного дома. Величие и мощь Российской империи в этот год дошли до своего апогея, и во всей жизни огромной страны чувствовались неисчерпаемые силы и возможности. Ничто не предвещало в эти благополучные годы ужасного и тёмного будущего, которое ожидало так скоро Россию и всех нас.

На Рождество в Покровское приехали новые знакомые – брат и сестра Еськовы, молодые помещики нашего уезда. Еськов, будучи студентом, был уже самостоятельным хозяином, сестра же его только что окончила институт и была барышня-невеста. Как можно было понять, приезд Еськовых имел под собой некоторые матримониальные планы, подготовлявшиеся со стороны наших старших родственников, и в частности, бабушки Валентины Львовны, которой Еськов также приходился внуком. Еськовы, сестра и брат, могли быть парой для брата Коли и сестры Сони, которая уже кончала институт и выровнялась в высокую, на редкость стройную блондинку с огромными карими глазами и прекрасным цветом лица. Ничего из этого проекта нелюбимой бабушки не вышло, так как ни Еськовы, ни Марковы к брачному союзу друг с другом желания не почувствовали.

Бывали у нас в гостях соседи Каменевы, усадьба которых находилась в Красной Поляне. Эта семья, с которой дружбу вели ещё наши деды, состояла в моё время из отца, маленького энергичного человечка, совершенно разорившегося отставного кавалериста, и его детей – двух сыновей и дочери. Старший из молодых Каменевых был корнетом уланского Чугуевского полка, младший – очень красивым чёрным гардемарином, пользовавшимся в Кронштадте бешеным успехом у «морских» дам. Улан, как я слышал потом, погиб перед войной от руки какого-то обманутого мужа, а моряка я потерял из виду, и никто из морских офицеров о нём ничего впоследствии мне сообщить не мог. По-видимому, красивый Михаил Михайлович погиб, как и сотни его товарищей, в первые дни революции от рук взбунтовавшихся матросов.

Знакомство с Каменевыми и Еськовыми длилось у нас до самой революции. Летом мы совместно ездили на пикники с шашлыком и крюшоном в луга и на пасеки, обыкновенно во время сенокосов, которые любит каждый деревенский житель. Черкес-стражник в этих случаях готовил шашлык из барашка, придавая этому занятию оттенок священнодействия.

После Рождества в корпус поступило три новых офицера-воспитателя. Они находились на временном испытании их педагогических способностей и потому считались прикомандированными к корпусу до перевода в штат, если начальство в будущем нашло бы их соответствующими должности воспитателя. Это были ротмистр пограничной стражи Р., гусарского Ингерманландского полка поручик Крашенинников и юный на вид гренадерский поручик Паренаго, племянник нашего Михаила Клавдиевича. Нас, кадет, очень занимала красочная форма обоих кавалеристов в тех торжественных случаях, когда корпус в парадной форме собирался в соборной зале. Особенно любопытна была пушистая маньчжурская пограничная папаха, такая странная и чужая среди киверов наших офицеров.

Пограничный ротмистр, как говорят французы, «упал очень неудачно» у нас в корпусе на первых же шагах своей военно-педагогической карьеры. По неопытности он допустил ряд ошибок в своём отношении к кадетам и жестоко за это поплатился. Как и

всякого новичка, ребята стали его испытывать, всячески поддразнивая, что надо было ему или прекратить сразу дисциплинарными мерами, или не обращать внимания как на явление временное. Ротмистр вместо этого стал фамильярничать с кадетами, стараясь заслужить у них популярность, чем испортил всё дело. Откуда-то был пущен нелепый слух, что он ночью гоняется по плацу за девочками и на этом занятии поймал известную болезнь. С этого дня слово «поймал» стало преследовать как проклятье несчастного ротмистра во всех помещениях корпуса, едва только он появлялся на глаза кадетам. Во время его дежурства, едва только рота выходила на лестницу, спускаясь к обеду или ужину, как через все три этажа, по которым растягивалось шествие, начинал греметь сплошной крик, то хором, то отдельными возгласами: «Поймал! Поймал! Поймал!» Это глупое слово скандировалось на все голоса и тона, изводя бравого ротмистра до потери сознания. На вечерних занятиях в классе, едва только сидевший за кафедрой ротмистр отвлекался чтением или письмом, из глубины комнаты слышалось неожиданно и неизвестно кем произнесенное слово «поймал», подбрасывавшее его на стуле. В коридорах роты и дортуарах его преследовали те же дальние крики. Сажал ротмистр виновников под арест, жаловался ротному и директору – ничего не помогало, прозвище утвердилось за ним твёрдо и навсегда, заменив ему в стенах корпуса имя и фамилию.

С началом учебного 1912-13 года в первый класс корпуса поступил мой младший братишка Женя, кругленький бутуз с большими чёрными глазами, имевшими всегда вид мокрых слив. Для меня это было радостью и гордостью, так как я являлся для него в корпусе не только старшим на много лет братом, но и покровителем. Два раза в неделю я навещал его в четвёртой роте с разрешения моего начальства. Любопытную картину представляла эта четвёртая рота, в особенности в первые месяцы учебного года. Офицеры-воспитатели в ней, и в том числе ротмистр «Поймал», к которому попал в отделение Женя, были здесь истинными мучениками, так как должны были исполнять обязанности не офицеров-воспитателей, а просто нянек. Назначение в четвёртую роту не в очередь считалось среди офицеров корпуса наказанием и ссылкой.

Первый месяц все сто вновь поступивших в первый класс младенцев ревели на сто разных голосов и требовали, чтобы их освободили из заключения и отправили к маме. На всех дверях и выходах бессменно целые сутки дежурили дядьки, следившие за тем, чтобы малютки не удрали из корпуса. В большинстве случаев семьи новичков жили в сотнях вёрст от корпуса, но дети с этим не считались и норовили удрать из заключения в одной рубашке и без шапки. Особенной привязанностью к родным местам отличались маленькие кавказцы, которые от тоски по родным горам первое время чахли, худели и даже серьёзно заболевали. Немудрено, что дежурный офицер выходил из роты, как из бани, так как все двадцать четыре часа дежурства был принуждён вытирать десятки носов. Однажды придя в роту, я застал в дежурной пожилого подполковника, который сидел, окружённый двумя десятками плачущих младенцев, из которых двое даже положили ему головы на колени. Не лучше было положение офицеров и позднее в четвёртой роте, когда младенцы приобвыкали к корпусу, и им уже не нужно было вытирать слёз и носов. Две сотни маленьких, живых, как ртуть, человечков с утра и до вечера звенели пронзительными дискантами в коридорах и классах, возились, дрались и давили масло друг из друга в кучах тел, иногда по двадцати человек сразу. Разнимать всю эту возню было совершенно бесполезно и не под силу одному человеку, так как возня, раз прекращённая, начиналась через минуту в другом углу огромного помещения роты.

В первый раз, когда я пришёл к брату в четвёртую роту, у меня буквально зазвенело в ушах от крика и топота по паркету маленьких ног. Обратившись к совершенно ошалелому офицеру, сидевшему в дежурке, сжимая руками голову, я, стараясь перекричать шум, попросил разрешения «повидать брата». Капитан на это только жалко улыбнулся и развёл руками. Приходилось действовать самому. Поймав около дежурки на лету какого-то мчавшегося младенца с оттопыренными, как крылышки, погончиками на крохотных плечах, я велел ему отыскать Маркова 3-его. По старому обычаю ещё николаевских времен, если в

корпусе одновременно учились несколько кадет, носивших одну и ту же фамилию, их различали не по имени, а по номеру старшинства. Я, например, как старший был Марковым 1-ым, мой однофамилец во второй роте был Марков 2-й, а братишка оказался уже Марковым 3-им. Вызвать Маркова 3-его к брату оказалось невозможным, так как в этот момент происходила в коридоре общая возня, и братишка мой находился в огромной куче кадетиков, барахтавшихся на полу.

Вытащив наугад за ногу трёх или четырёх, я поймал, наконец, и Маркова 3-его, вымазанного и перепачканного, как Мурзилка. Гуляя с ним и тремя его приятелями по коридору, причём они обнимали меня за коленку, я выслушал от них целое повествование о злоключениях бедных первоклассников, которых второгодники и второй класс всячески обижали на правах старших. Приёмы этого младенческого преследования были самые неожиданные и поражали своим разнообразием и оригинальностью. Было ясно, что выработаны они были поколениями кадет за целое полустолетие. Младенцев суровые «майоры» первого класса заставляли «жрать мух», вставляли в рот заострённую с двух концов спичку и затем «лили воду в пасть», делали на бритой головёнке «виргуля» и просто «били морду» по всякому случаю и без такового.

Пришлось тут же, не выходя из четвёртой роты, вызвать к себе нескольких наиболее свирепых преследователей первого класса и пригрозить им «оторвать головы», если посмеют тронуть пальцем Маркова 3-его и его приятелей. Перед лицом правофлангового строевой роты свирепые майоры, младенцы отчаянного вида, сплошь покрытые боевыми царапинами, струсили до того, что один даже икнул, и поклялись мне на месте не трогать моего протеже. Надо сказать, что подобная защита младшего брата была вполне в духе кадетских традиций, и старшие не шутили, если их приказания нарушались. Одновременно с Женей, но в третий класс нашего корпуса поступил наш троюродный братишка, сын кузины отца Толя Плетенёв. Его мать, урождённая фон Диц, была из балтийской фамилии, а её брат, отставной офицер, служил в Тимском уезде исправником, что было очень неприятно отцу как предводителю. Пришлось сходить в тот же день мне и в третью роту к Толе, где вызванным майорам и представителям четвёртого класса я показал кулак и пообещал их «измотать как цуциков, если…», впрочем, они, как более опытные, поняли меня с полуслова.

Классная и ротная жизнь наша шла без каких-либо происшествий с чисто корпусной монотонностью до самой Пасхи, как вдруг перед самым праздником случилось неожиданное происшествие. По инициативе кого-то из энергичных и всегда деятельных кавказцев был подобран ключ к шкафу дежурной комнаты, где хранились классные журналы. Специалисты по каллиграфии, пользуясь этим, стали переправлять неудовлетворительные баллы на «семёрки» и «шестёрки». На общем собрании в курилке было постановлено, что допустима поправка баллов и постановка новых на место несуществующих только для неуспевающих кадет, причём фальшивые баллы ни в коем случае не должны превышать «семёрку», чтобы лентяи не стали конкурировать с хорошо учащимися кадетами. Так длилось довольно долго, пока однажды кто-то из преподавателей, обладающий более острым зрением, чем другие, не заметил нашей подделки и не посоветовался об этом со своими коллегами. Кончилось это совещание тем, что большинство преподавателей повычеркнуло из журналов казавшиеся им подозрительными баллы, причём, кроме фальшивых, погибло и много самых настоящих «семёрок», добытых потом.

В числе других пострадал и я, так как преподаватель немецкого языка, на редкость упрямый немец, ни с того ни с сего вычеркнул мне честно заработанную «семёрку», а на место её вывел в четверти неудовлетворительный балл. Впав в амбиции, я стал с ним объясняться, наговорил лишнего и обозлил злопамятного старика, который за это, вопреки всем правилам, выставил мне годовую пятёрку и дал переэкзаменовку на осень. Никакие ходатайства Паренаго и даже ротного командира не помогли, и проклятый шваб испортил-таки мне всё лето. Отец, возмущённый переэкзаменовкой, недопустимой для второгодника, до того рассердился, что в наказание оставил меня на лето в корпусном

лагере, не взяв домой.

Лагери кадетского корпуса находились верстах в пяти от города в лесу на берегу реки Воронежа. В этих лагерях летом жили около двух десятков кадет, не имевших почему-либо возможности провести летние каникулы дома.

На другой день после того, как экзамены закончились, кадеты разъехались и ротные помещения опустели, мы выступили в лагерь пешим порядком. Наш небольшой отрядик, шедший в лагерь, состоял всего из пятнадцати человек, из которых старшими были три шестиклассника: князь Микеладзе, Златоустовский и я. Остальные кадеты были мелочь, не старше третьего класса. Вёл нас Паренаго, который в этом году не брал отпуска и оставался в очередь в лагере. Пройдя около пяти вёрст полями и лесом, мы к завтраку вошли в расположение корпусных бараков. В лагерной столовой, т.е. попросту под деревянным на столбах навесом, нас ожидал уже готовый завтрак. Кругом врытого ножками в землю длинного стола стояли такие же скамейки. На обширной, покрытой густой травой поляне среди леса в виде буквы «П» были расположены деревянные бараки, в которых помещались дортуары, столовая, лазарет и офицерские флигеля. С третьей стороны площадки, выходившей к реке, возвышалась высокая мачта с флагом корпуса и его вензелем. Флаг этот каждое утро поднимался и опускался с зарёй и при церемонии. В дортуаре, где мы проводили всё время, когда не были на воздухе, казённые кровати стояли прямо на земляном полу, из-за этого матрас и простыни были почти всегда влажными. Лето, как назло, выдалось на редкость дождливое, и мы исходили от скуки в этом сыром и неуютном сарае.

День начинался тем, что сигнальщик в 8 часов утра подавал повестку, по которой мы вставали, одевались и бежали умываться в особый сарай, стоявший в лесу, в котором помещались умывальни и уборные. По второй повестке мы выстраивались на плацу перед бараком, а если был дождь, то в самом бараке. Трубач играл пехотную зарю и поднимал на мачте флаг, а мы пели утреннюю молитву «Спаси, Господи, люди Твоя» и национальный гимн, после чего шли в столовую пить чай. После чая всякий делал, что хотел в расположении лагеря до завтрака. После завтрака мы строем под командой дежурного офицера шли куда-нибудь на прогулку, а если погода была тёплая, то купались в принадлежащей корпусу деревянной купальне. Возвращаясь, пили чай и тянули время до ужина, после которого ложились спать. Раза два-три в неделю ездили кататься на лодках и собирали в лесу грибы. Мы, старшие, иногда без спросу бродили по окружающему лагерь лесу, причём бывали попытки мимолетных ухаживаний за барышнями, жившими в окрестностях на дачах. Микеладзе одно время приударил, и не без успеха, за горничной подполковника Цезарского, смазливой девицей, жившей в офицерских бараках.

В скучной жизни лагеря мы радовались всяким развлечениям и от нечего делать были готовы на всевозможные риски и приключения. Был в лагере кадет Амираджиби, очень забавный грузин, привлекавший к себе все симпатии. Много лет сидевший в корпусе, он был уже в годах, и как всякий восточный человек, имел богатую растительность на лице. По уверению кадет, борода у него вырастала через час после бритья. Из-за этого Амираджиби, или, как его все звали по-приятельски, Шакро, имел всегда небритый вид, и растительность эта у него начиналась прямо от глаз. Вместе с тем, несмотря на небольшой рост, он был очень лихой кадетик, ловкий и хорошо сложенный, с добрым и незлобливым характером. Кадеты вечно придумывали о нём всякие небылицы, например, что «о щетину Шакро в Кутаиси точат кинжалы и шашки» и т.д. Но одна забавная история действительно имела с ним место и как раз именно в кадетском лагере прошлым летом. Это случилось в год, когда Греков и ещё два кадета других рот были награждены медалями за спасение погибающих, почему кадеты нашего корпуса были настроены в это время особенно героически и только искали подходящего случая, чтобы в свою очередь проявить себя. Скучая в лагере, весёлый абхазец Костя Лакербай договорился с Шакро Амираджиби, за неимением лучшего, имитировать спасение погибающих. Для этого Костя, не умеющий плавать, должен был броситься с обрыва в реку на глубоком месте, а Шакро, хороший пловец, в этот момент должен был «случайно» оказаться поблизости и вытащить погибающего. Всё было заранее

устроено, прорепетировано, и в условленный час Шакро занял наблюдательный пост над обрывом реки, взобравшись вдобавок на дерево, чтобы с его высоты одним махом оказаться на середине реки. Лакербай, раздевшись, должен был начать купаться у берега, а затем, попав на глубокое место, орать о спасении. Блестяще задуманная комбинация скандально сорвалась из-за Костиного ехидного предательства, и вместо заслуженной медали Шакро подвергся на много лет насмешкам всего корпуса.

Желая посмеяться над Амираджиби, а может быть, струсив в последний момент, Костя Лакербай, вместо того, чтобы оказаться на глубоком месте, не стал даже раздеваться, а, подождав, когда партия кадет подошла к берегу, бросил в воду с шумом и плеском большой камень и одновременно закричал о помощи. Шакро, которому из-за обрыва берега не было видно всей реки, услышав плеск и крик, как лев, ринулся со своего дерева в реку одетым и, не рассчитав высоты, перевернулся в воздухе, шлепнувшись в воду. Когда мокрый, как мышь, он выплыл на берег, кадеты во главе с предателем катались, плача от смеху. Под несмолкавший хохот Шакро, мокрый и грязный, поплёлся в лагерь, где и был посажен под арест за самовольный уход. До поздней ночи грохотал смехом кадетский барак и забавлялся происшествием весь лагерь, Шакро же Амираджиби приобрёл громкую известность не только в корпусе, но и в городе.

Мои два сверстника Златоустовский и Микеладзе, с которыми пришлось провести это лето, сильно отличались друг от друга. Первый был круглым сиротой, не имел никого на свете и все семь лет учёбы ни на минуту не покинул корпуса. Круглое сиротство нисколько не отразилось на нём, и Златоустовский был очень уравновешенный молодой человек, всегда весёлый, бодрый и энергичный. Он был великолепного здоровья широкоплечий парень, прекрасный гимнаст и спортсмен с хорошим открытым русским лицом.

Ардальон Микеладзе, красивый и стройный грузин, был одним из представителей многочисленной княжеской фамилии Кутаисской губернии, многие члены которой учились у нас в корпусе. Несмотря на многочисленность Микеладзе, все лица, носящие это имя, уроженцы и жители одного и того же местечка – Кулаши. Как говорят в Имеретии, где бы и при каких бы обстоятельствах вы не встретили князя Микеладзе, вы можете быть уверенным, что он непременно родом из Кулашей – других на свете не существует.

У меня и у Ардальона были с собой в лагере велосипеды, и за неимением лучшего мы целыми днями крутились по дорожкам лагеря, перенося в случае дождя этот занятие в барак, где приходилось ездить вокруг кроватей. От скуки и безделья мы часто шли на всякого рода глупости и шалости, одна из которых, как помню, едва не обошлась очень дорого всем участникам её.

Был в лагере кадет Григорович, мальчик лет 15, очень пакостный, плохо учившийся. Он был не по годам развит и осведомлён относительно всего того, что касалось сексуальной области, и вечно разыскивал всякие пакости. Кадеты, народ поголовно здоровый физически и морально, терпеть не могли Григоровича, и часто его били за вещи, совершенно не принятые в кадетской среде. Лез Григорович со своими обычными разговорами и к нам, старшим, за что мы и решили его проучить. Однажды вечером в пасмурный дождливый день мы, как будто невзначай, начали разговоры на тему о привидениях, покойниках и прочих страстях, уверяя, что по ночам в лесу вокруг лагеря «кто-то ходит». Григорович, страшный трус, от этих рассказов весь скрючился и робким голосом, желая успокоить самого себя, вставил замечание, что «может быть, это неправда».

Заранее подговорённые нами кадеты ответили ему, что они давно уже по ночам замечают «что-то», но опасались об этом рассказывать во избежание насмешек. Поговорив на эту тему и достаточно подготовив Григоровича в нужную сторону, мы со Златоустовским незаметно вышли из барака и спрятались в лесу рядом с уборной, строго-настрого запретив малышам выходить вместе с Григоровичем. Через полчаса ожидания мы заметили его робкую фигуру, которая, озираясь по сторонам, вошла в сарайчик. В этот момент Златоустовский ни с того ни с сего, вопреки всем нашим планам, взревел на весь лес диким и совершенно дурным голосом. Подпрыгнув в воздухе, издав какой-то заячий писк,

Григорович ничком упал на землю и остался лежать без движения. В испуге мы бросились к нему, уверенные, что он умер от страху. Он оказался живым, но до того испугался, что даже обмочился. Не меньше его испугались и мы своей глупой шутки, только чудом не обратившейся в трагедию.

К концу лета отец смилостивился надо мной и вызвал в Покровское, где я пробыл всего месяц. Осенью 1913 года, приехав в корпус, я благополучно выдержал переэкзаменовку по немецкому и перешёл в седьмой класс, став полноправным «дополнистом».

С бодрым и приподнятым настроением вошли мы, вчерашние шестиклассники и «звери», в строевую роту теперь её полноправными хозяевами. Наступал последний год пребывания в корпусе, весной мы должны были окончить курс и достигнуть той цели, во имя которой преодолели столько трудностей. В моё время кадет, дошедший до седьмого класса, мог считать себя уже окончившим курс, так как в последнем классе на второй год не оставляли, а неуспевающим к выпуску всеми правдами и неправдами «натягивали баллы». Для нас, семиклассников, оставалась одна забота – постараться, кому это было нужно, чтобы средний балл в науках при окончании корпуса мог иметь значение для выбора училища. Для большинства из нас этого вопроса не существовало, так как для выхода в пехотные или кавалерийские училища было достаточно кончить корпус с минимумом, т.е. не менее 7 в среднем. Другое дело было для кадет, выходивших в специальные военные училища.

По правилам для выхода в артиллерию, инженерное училище и морской корпус требовалось не менее 9 в среднем и столько же по всем отделам математики. Для меня вопрос о выборе дальнейшей дороги после окончания корпуса в начале года был ещё далеко не выяснен. Отец, потерявший надежду видеть меня военным инженером, теперь настаивал на том, чтобы я переходил в морской корпус, для чего требовалось опять-таки не меньше 9 из математики, на что я вряд ли мог рассчитывать. Надо правду сказать, что это меня и мало прельщало, так как никто из наших родных и знакомых во флоте никогда не служил. Дядя Николай Евгеньевич Марков 2-й, член Государственной думы и военно-морской комиссии в ней, по просьбе отца уже успел переговорить с морским министром о моём переводе, с чем, конечно, пришлось считаться. Сам я определённых планов не имел, хотя все мои симпатии были на стороне Сельскохозяйственного института в Воронеже, который мне обещал перспективы жизни в деревне и лесу. Но я знал, что отец никогда не согласится на мой переход в штатское учебное заведение, без его же согласия содержать себя в институте мне было не на что. Оставалось идти в кавалерию, если переход в моряки почему-либо не состоится, в чём я заранее был уверен. Как назло, с началом учебного 1913-14 года в седьмом классе кадетских корпусов были введены новые отделы математики, включительно до дифференциального исчисления и анализа бесконечно малых величин. Приблизились к математике и другие предметы, ранее преподававшиеся нам без излишних формул, как например, космография и механика. В результате этих нововведений на выпускных экзаменах нам приходилось сдавать испытания по следующим отделам математики: арифметике, алгебре, геометрии, аналитической геометрии, тригонометрии, механике, физике, космографии, дифференциальному исчислению и анализу бесконечно малых величин, как письменно, так и устно. При таком изобилии всяческих головоломок натянуть необходимой девятки по математике для перевода в морской корпус мне и думать было нечего.

Особенно нелепо был поставлен у нас курс по космографии, как известно, касающийся науки о звёздах. На эти самые звёзды, благодаря учебнику генерала Лайминга, мы даже не имели надобности и смотреть, так как вся наука была сведена к одним цифрам и зубрению никому не нужных формул. Единственный раз за всю зиму в одну морозную ночь мы были выведены на плац, где должны были с помощью подзорной трубы и полковника Цезарского познакомиться со звёздным небом. Этот «руководитель по небу», высокий и красивый офицер, напоминающий императора Николая Первого, среди кадет носил кличку «дракон». Урок космографии на чистом воздухе из-за этой дурацкой клички превратился в

сплошной балаган, потому что кадеты, точно сговорившись, интересовались исключительно созвездием Дракона, и в трубу смотрели только на него, в то время как остальные ржали на морозе, как лошади. Цезарский, прекрасно знавший своё прозвище, только кусал губы и наливался кровью, не имея официального повода призвать кадет к порядку. У этого красивого полковника была, кроме надоевшей ему кадетской клички, и другая обуза в жизни в лице жены, маленькой тощей женщины, не имевшей, как говорится, ни уха ни рыла, но почитавшей себя великой соблазнительницей и Клеопатрой. Поведения она была настолько громкого, что директор Бородин однажды принуждён был запретить кадету Андрееву ходить в отпуск к Цезарским, ввиду «несоответствующего поведения госпожи Цезарской».

Корпусной праздник 8 ноября, на котором мы были хозяевами не только как выпускные, но и как именинники (наш ротный праздник), прошёл на редкость удачно. Утром в день праздника в роте было торжество по случаю получения нашивок фельдфебелем и унтер-офицерами. Директор корпуса, вызвав их из строя, поздравил с производством и каждому вручил соответствующие погоны. В столовую к завтраку строевая рота вошла, имея на соответствующих местах своё кадетское начальство, блистающее новенькими нашивками.

По корпусным традициям каждый кадет, чем-либо награждённый, был обязан поднести своему отделению сотню пирожных. В день своих именин многие кадеты также делали своим товарищам этот презент, благодаря чему мы, став «дополнистами», весь год кушали пирожные, так как кроме 16 человек нашивочных, производимых в три приёма, было много кадет, получавших призы за гимнастику, фехтование, музыку, лёгкую и тяжёлую атлетику, пение и т.д. Кроме этого, ежегодно в начале занятий в сборный зал выводился в строю весь корпус, и там под звуки туша имел место годовой акт, на котором отличившиеся по учению кадеты награждались похвальными листами и прочими наградами, что им также обходилось каждому по сотне пирожных.

Вскоре после Рождества выпускной класс стал переключать все свои интересы на близкое окончание корпуса и на всё то, что с этим событием было связано. По обычаю многих лет в курилке был вывешен большой плакат на картоне, нарисованный нашим лучшим художником, с изображением форм военных училищ. Под каждой такой формой стояли фамилии в это училище выходивших кадет. Кроме того, каждый выпуск корпуса заказывал по собственному рисунку жетон с номером выпуска, наш был шестьдесят вторым. Затем все кадеты седьмого класса вместе и каждый в отдельности снимались и обменивались друг с другом фотографическими карточками. Наше отделение, заранее выспросив Паренаго о его вкусах, заказало ему в презент роскошный альбом с серебряной крышкой, на которой был изображён барельефом древний русский витязь. На крышке стояли подписи всех кадет, а внутри альбом был наполнен их карточками.

Перед выпускными экзаменами на плацу состоялись спортивные состязания, на которых оба отделения седьмого класса соперничали друг с другом призами. К сожалению, первое отделение в этот год нас победило, благодаря выдающемуся в физическом отношении кадету князю Кугушеву, который забрал почти все призы. Я тоже участвовал в состязании по стрельбе, но слишком волновался, что привело к тому, что приза не взял.

Чем ближе был выпуск, тем чаще и задушевнее говорил со своими кадетами Паренаго. Мы все при выборе дальнейшей карьеры советовались с ним по этому вопросу. Говоря долго и подробно о каждой отрасли военного дела, Михаил Клавдиевич не скрывал от нас, что если не считать исключений, то армейскому офицеру в жизни и службе не представляется ничего завидного, почему советовал тем, кто имел средства, выходить в гвардию и, в особенности, в гвардейскую кавалерию, где была обеспеченная дорога, а при желании и карьера. Таких, которые могли выполнить этот его совет, увы, среди провинциальных кадет было не много.

Несмотря на то, что мы столько и так нетерпеливо ждали конца нашей корпусной учёбы, день этот подошёл незаметно. 8 мая 1914 года для нас окончилась урочная система и начался период выпускных экзаменов. По корпусной традиции в курилке, несмотря на все противодействия начальства, был забит «мат». Обычай этот заключался в том, что

выпускные кадеты забивали в пол курилки огромный аршинный болт, сопровождая каждый удар молотка пожеланиями остающемуся в корпусе нелюбимому начальству. Так как эти пожелания обычно сопровождались матерными словами, то начальство этой традиции старалось помешать, хотя и всегда безуспешно. На плацу мы спели традиционную песню выпускников «Дети, в школу собирайтесь», тоже почему-то, несмотря на невинность её слов, запрещённую начальством.

В классах по обычаю передвинули парты, составив из них замкнутый четырёхугольник, и приступили к усиленной зубрёжке. Хотя всякий из нас, не исключая самых плохих учеников, был уверен в благополучном конце, многим требовался известный средний балл для существующей конкуренции при выходе в те или иные училища. Эта конкуренция коснулась и меня, так как к весне выяснилось, что в морской корпус мне не попасть. Было решено, что я выйду в кавалерию, и в частности, в Николаевское кавалерийское училище, известное в русской армии старого времени под именем «Славной Школы». В то время, как два других кавалерийских училища, Елисаветградское и Тверское, присылало в каждый корпус по десяти вакансий, Школа ежегодно ограничивалась присылкой одной, редко двух вакансий. Чтобы попасть в Петербург, я должен был после выпускных экзаменов иметь высший средний балл из всех кадет моего класса, выходивших в кавалерию, а таких было не менее двух десятков человек. Большинство класса, как и всегда, шло в пехотные училища, а процентов десять выпуска в специальные училища.

В отличие от прежних годов из нашего выпуска никто в морской корпус идти не захотел, в инженерное училище шёл лучший по успехам кадет Тимофеев, имевший в среднем больше 11 баллов. Из прошлого выпуска в это училище также вышел всего один – фельдфебель Естифеев, тот самый рыжий омчанин, о котором говорилось выше.

Экзаменационная пора длилась с лишком месяц и обошлась нам дорого, так как экзаменов было больше тридцати, а на подготовку к каждому давалось не больше трёх дней. Математика как самый серьёзный и трудный предмет шла первой.

К началу экзаменов в корпус неожиданно приехал великий князь и остановился, поселившись, как всегда, в своих трёх комнатах нижнего этажа. По случаю его приезда на Митрофаньевской площади 9 мая состоялся воинский парад. Огромного роста, тонкий и прямой, с седыми усами и небольшой бородкой, слегка картавящий, великий князь производил чрезвычайно импозантное впечатление и очаровывал всех. Кадеты его любили совершенно искренне и крепко верили, что он является для них ходатаем и защитником во всех бедах. Помню, как маленький кадетик Кюи, внук знаменитого генерала-музыканта, почёл однажды себя несправедливо обиженным своим отделенным офицером-воспитателем и, ища справедливости, написал очень милое, наивное письмо тому, кого весь корпус почитал своим защитником. Великий князь, тронутый таким к нему доверием ребёнка, письмо спрятал, но сам просил офицера за Кюи, не сказав этому последнему о том, откуда до него дошли вести о происшедшем. В бытность свою во главе кадетских корпусов великий князь никогда не конформировал слишком строгих приговоров советов над провинившимися кадетами и никогда не допускал губить будущее детей, как это часто стало случаться при его заместителе генерале Забелине. Во время своего пребывания в корпусе он никогда не требовал к себе никакого внимания и терпеть не мог торжественных встреч и парадов. В сопровождении директора, ротного командира, а иногда и просто дежурного офицера, он ходил по классам, столовой и спальням, наблюдая с утра до вечера жизнь кадет и беспрерывно с ними беседуя. В младших классах малыши окружали его целой толпой и гуляли с ним по коридору, держа его за руки, за китель и даже за рейтузы. Все свои нужды, все свои горести они бестрепетно несли князю, зная твёрдо, что он мягко, но настойчиво исправит все несправедливости и поможет, где только можно.

В столовой, где великий князь всегда имел свой прибор за первым столом, он часто подсаживался к малышам и вёл с ними разговоры. В этот раз он тоже, сев с самыми крошечными кадетами, заметил, что один из малышей ест яблоко, не очистив.

− Почему ж ты яблоко не чистишь? – спросил его великий князь.

− Смысла нет, – ответил, не моргнув, практичный младенец, – оно меньше станет.

С нами, гренадерами первого стола, князь вёл за столом постоянные разговоры о наших дальнейших планах, рассказывая нам об училищах, службе, расспрашивая о семье и родителях.

− Ты, Ардальон, по-грузински-то говоришь? – спросил он однажды моего соседа Микеладзе.

− Говорю, ваше высочество.

− А ну, скажи, как будет сукин сын?

− Мама-дзагла, - засмеялся Микеладзе.

− Ну, молодец, вижу, что говоришь, а вот зять мой ни одного слова по-грузински не знает, и я его за это очень стыжу. Ты его никогда не встречал?

Князь Багратион Мухранский, женатый на дочери великого князя, блестящий кавалергардский корнет, вырос в Петербурге и, действительно, не говорил по-грузински, хотя и был потомок имеретинских царей. В начале войны он почувствовал голос крови, перевёлся в пехотный полк на Кавказ и героически погиб в бою с турками.

− Какой ты, братец, однако длинный! – остановил меня в коридоре великий князь. – А всё-таки до меня тебе далеко, – продолжал он, став рядом. – А как твоя фамилия, гренадер?

− Марков 1-й, ваше высочество!

− Как же ты, Марков 1-й, приходишься Маркову 2-ому, члену Думы?

− Племянником, ваше высочество.

− А, вот как! Ну, брат, твой дядюшка на Петра Великого похож, как две капли воды, саардамского плотника без грима играть может. Постой! Так, стало быть, писатель Евгений Марков тебе, значит, дедом будет?

− Так точно!

− Знал, брат, твоего деда, знал и очень уважал и как человека, и как писателя. Даже теперь его «Чернозёмные поля» нет-нет, да и перечитываю. Мысли, братец, в них чистые, да и язык хорош.

Экзамены наши шли своим порядком. По обычаю перед каждым экзаменом кадеты сами составляли список экзаменовавшихся, причём плохие ученики всегда шли первыми, так как считалось, что комиссия «добрее», пока не устала. Одновременно с кадетами выпускного класса экзамен держали несколько человек экстернов, т.е. штатских молодых людей, сдававших экзамен за среднее учебное заведение. В их числе был некий Куропаткин, явившийся к директору корпуса с рекомендательным письмом от своего дядюшки. Все экстерны, в том числе Куропаткин, на экзаменах срезались, чем весь корпус был очень доволен, так как после японской войны имя генерала Куропаткина было одиозно в русской армии. После того как срезались экстерны, мы с Паренаго ходили всем отделением гулять за город и, возвратившись с прогулки, зашли в кондитерскую. Поедая пирожные, мы громко обменивались впечатлениями об экзаменах и при этом вспомнили неудачу куропаткинского племянника, над которым все насмехались. В это время сидевший за отдельным столиком молодой человек резко поднялся и заявил во всеуслышание, что он и есть тот самый Куропаткин, над которым мы насмехались. В первый момент воцарилось очень неловкое молчание, которое прервал полковник Паренаго, задавший Куропаткину какой-то не идущий к делу вопрос. Завязав с ним разговор, он вывел нас всех из неловкого положения и ликвидировал начавшуюся было ссору.

Надо сказать, что в моё время большинство кадет очень хромало по математике, которой так увлекалось наше начальство. На экзаменах были распространены шпаргалки, которые в обычное время строго преследовались в корпусе, на выпускных же экзаменах все офицеры смотрели на них сквозь пальцы. Письменные экзамены проводились или в сборной зале, или в ротной за отдельными столиками. Преподаватель, задав тему или задачу, обычно уходил, и в зале оставался только наблюдавший за кадетами офицер-воспитатель, т.е. свой человек, заинтересованный в успехах своих кадет, и потому ничего не видевший и не

слышавший, часто он даже сам помогал слабым по успехам кадетам.

На выпускных экзаменах приходилось сдавать весь курс по всем предметам, проходившимся в корпусе, что, конечно, было нелегко и утомительно. На экзамен по географии, предмету, который я всегда прекрасно знал, пришёл к нам в класс великий князь, сопровождаемый Трубчаниновым, который только что вернулся из командировки в полк. В то время, как великий князь спрашивал меня о Туркестане, о котором говорилось в вынутом мною билете, Трубанёк свирепо сверлил меня глазами, почему-то явно недовольный. Когда великий князь, поставив мне 12 баллов, вышел из класса при среднем сочувствии капитана Писарева, который этого балла никогда кадетам не ставил, ротный совершенно неожиданно набросился на меня со свирепым выговором. Оказалось, что во время ответа я несколько раз показывал на карту, почему повёртывался к великому князю вполоборота, что в глазах Трубчанинова было нарушением строевой службы. Старый служака считал, что выправка для военного человека важнее всяких географий и потому никаких оправданий от меня слышать не желал.

Чем дальше продолжались экзамены, тем труднее нам приходилось, так как невероятная зубрёжка буквально подрывала у нас все силы, и весь седьмой класс, исхудав, принял весьма томный вид. Конечно, действовала здесь не необходимость, а молодое самолюбие, не позволявшее стать хуже других. Весна между тем была в этот год хороша, как никогда. Когда я в день парада взглянул с высоты Митрофаньевской площади на голубые дали задонских степей и на густой ковёр белой акации, под которым побелел Воронеж, у меня сладко и тоскливо заныло на душе. В голову впервые пришла мысль, что я переживаю последние дни детства, что через неделю-другую кончатся навсегда учебные годы и наступит пора взрослой жизни, которая одновременно и пугала, и манила нас.

После благополучно прошедших экзаменов по математике начались экзамены по словесным предметам, на которые я главным образом рассчитывал для прибавки среднего балла; завершились они лучше всяких ожиданий. К концу экзаменационной страды у меня в среднем набралось больше восьми с половиной, и только два кадета, выходившие в кавалерию, имели больше моего. Это обстоятельство почти наверняка лишало меня возможности попасть в Николаевское училище, с чем пришлось скрепя сердце примириться. По обычаю при выпуске из корпуса кадеты составляли список того, куда каждый из них намерен выйти. При этом каждый должен был указать три военных училища, в которые он желает выйти в первую, вторую и третью очередь, т.е. в зависимости от имеющихся вакансий. Делается это потому, что в корпусах весной начальство ещё само не знает о числе свободных вакансий в том или ином училище, где производства в офицеры и переводы с младшего курса на старший имели место осенью, а значит только тогда и становилось известным число открывшихся свободных мест. По всем этим причинам я записался на первом месте в Николаевское, на втором в Елисаветградское и, наконец, в Тверское кавалерийское училище.

Завершился последний экзамен по истории и настал момент, когда мы почувствовали, что окончили корпус. Для меня это был один из самых жгуче-счастливых моментов в жизни, когда я вздохнул счастливым вздохом свободного человека после долгих лет труда и неволи. Когда, шатаясь от счастья и пережитых волнений, я вышел на плац вздохнуть воздухом, мне стало жаль старого корпуса, который теперь предстояло навсегда покинуть. Вспомнились и пронеслись перед глазами картины кадетской жизни со всеми её радостями и горестями, которые уже никогда не повторятся. Притихли как-то и переживали те же ощущения и двое товарищей, которые вышли со мной на прогулку, никто из нас не произнёс ни одного слова, но молчание было достаточно красноречиво.

На другое утро мы собрались в осиротевшем классе в последний раз. Паренаго раздал нам удостоверения об окончании курса и отпускные билеты. Поцеловавшись с каждым, он в коротких, но, как всегда, умных и тёплых словах пожелал нам успеха и счастья в жизни. По обычаю мы его качали и вопреки обычаю долго жали ему руку и целовали. Полковник был тронут этим взрывом искренних чувств к нему его питомцев, и на глазах у

него стояли слёзы.

В последний раз мы обошли все помещения роты, простились с шестым классом, офицерами и служителями. Эти последние в день нашего разъезда щедро получили на чай. Один за другим мы одевались в спальне, окружённые товарищами, и разлетались вольными птицами из корпуса. В воротах ещё раз постояли, пожали друг другу руки и обменялись последними приветствиями.

На вокзале меня встретил носильщик Семён, четыре года подряд носивший за мной вещи в вагон. Он тоже поздравил меня «с благополучным окончанием наук» и получил полтинник. В кадетском вагоне, где я оказался единственным из окончивших корпус, меня встретил ротмистр «Поймал», провожавший кадетиков четвёртой роты. Он до отхода поезда по-дружески беседовал со мной, давая практические советы для будущей моей училищной жизни.

Четыре часа пути до родной станции пролетели незаметно. Когда поезд подходил к ней, на перроне я увидел солидную фигуру Марии Васильевны, выехавшей навстречу. Она меня горячо поцеловала и поздравила. За неимением ничего лучшего, в буфете мы с ней распили бутылку пива, во время чего она несколько раз меня принималась допрашивать:

− Да неужели ж ты, Анатолий, совсем окончил?

− Ну, конечно.

− Совсем, совсем?

− Да будьте уверены, Мария Васильевна! Со мной даже удостоверение есть, хотя, по правде сказать, мне это как-то и самому не верится.

В Покровском, кроме братьев и сестры, уже приехавшей из института, меня встретил приехавший к нам на лето кузен Борис Гатцук, которого отец очень любил как своего крестника. Борис учился в гимназии в уездном городке Курской губернии, куда его устроил папа после неудач в другом учебном заведении, где Борис был раньше. Был он большой и сильный молодой человек огромного роста, крайне беззаботный и всеми любимый, мы с ним были очень дружны с детства. По приезде домой мы с Борисом поселились в нижнем этаже дома, имевшем отдельный выход и даже отдельную веранду, выходящую к пруду. Там мы обсуждали на все лады нашу будущую службу. Борис в следующем году кончал гимназию и тоже собирался поступить в кавалерийское училище.

Брат Коля в то время почти всегда отсутствовал дома, так как у него был серьёзный роман с соседкой-помещицей, женой молодого Ломоновича, который в это время жил в Москве. Дама была молодая и богатая купчиха из московских немцев Паленбах, приехавшая к свекрови на лето погостить. Она, очертя голову, влюбилась в красивого и оригинального деревенского барчука, потеряв при этом все границы приличия, так что этим романом даже возмутилась старуха Ломонович, смотревшая вообще довольно широко на сердечные дела. Она потребовала от невестки соблюдения известных *конвенансов* , что, впрочем, было нетрудно. Вместо дома влюбленные стали встречаться в огромном и тенистом саду усадьбы, куда Николай ездил верхом напрямик, прыгая через плетни и огороды. Тайна этого романа в Покровском была для всех секретом полишинеля, кроме, конечно, мужа.

Летом 1914 года по настоянию родных женился мой верный друг во всех охотах, Алёша Самойлов, которого отец этим браком рассчитывал остепенить и отвадить от охоты. Никаких нежных чувств к своей молодой жене Алексей не питал и венчался на ней чуть не насильно. По случаю свадьбы у них в доме, а затем в доме невесты было многодневное пьянство. Всё лето из-за женитьбы Алексея у меня пропало даром, так как

на неделе Алексей работал, а в субботу и воскресенье неизменно напивался со своими новыми родственниками.

В июле отец поехал в Теребуж, где всё дворянство Курской губернии должно было праздновать юбилей местного помещика доктора Сербинова, принадлежащего к старой дворянской фамилии наших мест, больше сотни лет дружившей с нашими дедами. На юбилейном обеде в доме Сербинова присутствовал и губернатор. Обеда окончить не пришлось: торжество было неожиданно прервано прибытием на взмыленной лошади

конного стражника с казённым пакетом. В пакете была телеграмма о мобилизации. Возвратившись в Покровское из Теребужа, отец в тот же день получил официальную бумагу из Петербурга с сообщением о том, что я принят и зачислен в Николаевское кавалерийское училище. Это была для меня неожиданная радость, так как я никак не мог рассчитывать в обычное время попасть туда по своим баллам. Через несколько дней в Покровское пришла телеграмма, вызывавшая меня в училище «по мобилизации». С крепко бьющимся сердцем попрощавшись с родными, я выехал в Воронеж, где из канцелярии корпуса должен был получить все необходимые документы для следования в училище.

Воронеж я застал в самом разгаре мобилизации, переполненным войсками и запасными. Здания корпуса ещё стояли мёртвыми и безмолвными, окружая пыльный плац с выжженной летним солнцем травой. В канцелярии корпуса, помещавшейся в одном из флигелей, о существовании которой мы, кадеты, даже и не подозревали, я встретился с целым рядом товарищей, как и я, вызванных в училища. Там мы получили объяснение того, почему многие из нас попали в лучшие училища, чем сами предполагали. Это случилось благодаря всё тому же порядку мобилизации, благодаря которому военные училища увеличили свой состав. Из Николаевского училища вместо одной вакансии прислали целых три, из коих последняя пришлась на мою долю. Сдав лишнюю одежду и бельё, мы в тот же день погрузились в последний раз в «кадетский вагон», шедший через Козлов, Тамбов и Москву в Петербург. В нём уже оказалось больше двух десятков окончивших курс кадет Тифлисского, Владикавказского и Новочеркасского корпусов, ехавших с юга, так что до Москвы нам было ехать хоть и тесновато, зато весело.

По дороге бесконечным потоком шли воинские поезда, на станциях нас провожали и встречали огромные толпы плачущего, кричащего и поющего гимн народа, повсюду чувствовался необычайный патриотический подъём. Наш вагон тоже был прицеплен к воинскому поезду, шедшему на Москву. Вдоль полотна железной дороги стояли местами сплошные массы народа – мужчин, женщин и детей, встречавших нас рёвом приветствий. Под Тверью в вагон вошли два юнкера Тверского училища, которые забрали с собой в купе второго класса всех кадет, ехавших к ним.

Под Москвой, когда потянулись вдоль пути дачные места, патриотические манифестации достигли апогея. На маленьких пригородных станциях вагоны окружались тесной толпой дачниц, которые буквально засыпали нас конфетами и шоколадом, без стеснения целовали и обнимали прямо на перроне под восторженные крики толпы. Как мы ни протестовали и ни заявляли, что едем не на фронт, а только по военным училищам, никто нас не хотел слушать, а на одной из станций за Москвой высокий генерал сказал в нашу честь целую речь, в которой заявил, что через 4 месяца мы уже будем на войне. Это заявление нам всем показалось нелепостью, и никому из нас в голову не пришло, что генерал знал истину лучше нас самих.

Нерешительной стайкой провинциалов в помятых кадетских шинелях внакидку сошли мы со ступеней Николаевского вокзала и изумлённо остановились перед величественным памятником императору Александру, сидевшему плотно и солидно на своём тяжёлом гиганте-коне. Над крышами Петербурга в сером холодном и неприветливом небе севера начинался новый день, и его заря была первой зарёй нашей новой жизни.

Детство и юность окончились, нас ожидала впереди сознательная жизнь…

СЛАВНАЯ ШКОЛА

Извозчик, взятый мною у Николаевского вокзала, не спеша тарахтел по мостовой. Несмотря на ранний час, улицы, на мой провинциальный взгляд, были полны оживления, и я, первый раз попав в Петербург, с любопытством разглядывал столицу. На вокзале немногочисленные пассажиры нашего кадетского вагона, последний раз пожав друг другу руки и расцеловавшись, разлетелись в разные стороны, многих я уже больше не встречал

никогда в жизни.

От волнения и массы новых впечатлений я совершенно забыл адрес дяди. В адресном столе, куда из-за этого мне пришлось обратиться, я немедленно получил справку, что член Государственной думы Н.Е. Марков 2-й живёт по Рыбинской улице в доме № 6. Был уже девятый час утра, когда я подъехал к дядиной квартире. Швейцар в подъезде на мой вопрос: «Дома ли Николай Евгеньевич?» − ответил, что сам он уже приехал из имения, а супруги и дочерей ещё нет. Отворивши на мой звонок дверь, горничная с удивлением окинула мою незнакомую ей фигуру и спросила: «Что угодно?» − «Скажите Николаю Евгеньевичу, что его хочет видеть племянник Анатолий».

Горничная скрылась, и сейчас же из глубины квартиры раздались тяжёлые шаги, и на пороге передней показалась огромная фигура дяди, заслонившая всю дверь.

− Здравствуй, Толя! Очень рад тебя видеть, голубчик. Раздевайся и пойдём пить кофе, я только что сел за стол, − приветливо заговорил дядя, поздоровавшись.

У меня сразу потеплело на сердце от слов дяди, его знакомого голоса и всего его вида, как это всегда бывает у детей и молодых людей, когда они в чужом и незнакомом месте встречают близкого человека из родных мест. Я снял шинель и вошёл вслед за дядей в столовую, где на столе стоял его единственный прибор. Посадив с собой рядом, он дружески обнял меня за плечи и хлопнул весело по плечу.

− Ну вот, брат, и ты в Петербурге, а мои ещё в деревне, как видишь. Ты что же, приехал сюда в училище?

− Да, дядя, в Николаевское кавалерийское. Да вот беда, не знаю, где оно находится, ведь я в Петербурге в первый раз.

− Ну, это мы сейчас узнаем, – ответил он, беря с полки толстую красную книгу «Весь Петербург». − Я, положим, и сам этого не знаю, даром, что в Питере и учился, и живу.

Училище моё по справке оказалось на Лермонтовском проспекте, что не только мне, но и петербуржцу-дядюшке ровно ничего не сказало. Напившись кофе и пообещав дяде приходить к нему в отпуск, я снова взял извозчика и дал ему адрес. Вейка почесал затылок, подумал и заявил вслух, что «то олзно коло алтиского окзала…» и зачмокал на свою клячу. Только через добрый час добрались мы с ним до большого тёмно-серого здания, бесприютно стоявшего на площади. Извозец пояснил, что это и есть Балтийский вокзал, в районе которого, по его сведениям, должно находиться училище.

После справки, наведённой у вокзального жандарма, оказалось, что училище было почти рядом, за Обводным каналом. Переехав по горбатому мосту канала, из которого на меня пахнуло совсем не столичным запахом, мы выехали на длинную и пустынную улицу, по правой стороне которой за решёткой вытянулось двухэтажное старинное здание. Над его фронтоном под распростёртым николаевским орлом с опущенными крыльями я увидел заставившую забиться сердце надпись: «Николаевское кавалерийское училище». Я был у порога новой жизни, которая одновременно и радовала, и пугала.

Прежде чем начать эту главу и перейти к воспоминаниям о своей юнкерской жизни, я должен предупредить того, кто будет читать эти записки, что жизнь кавалерийских училищ старого времени была ни на что не похожий, совершенно оригинальный и замкнутый от всего остального мирок. Всем старым кавалеристам дороги и памятны времена их юнкерской жизни, и нет ни одного из них, который не вспоминал с грустью и благодарностью своё пребывание в «Славной школе». Этим гордым именем называлось в кавалерии и всей русской армии Николаевское кавалерийское училище в Петербурге, в котором я в юности провёл несколько счастливых месяцев.

В наше время гибели всего святого и чистого особенно дороги близкие сердцу каждого человека воспоминания прежних счастливых годов, когда время изгладило из памяти всё неприятное, оставив в ней лишь светлое и хорошее. Не будем поэтому критиковать в пустой след прошлое, ибо всякой вещи своё время под солнцем, но пожалеть о том, что близко и мило в нашем прошлом, и понятно, и простительно, и кто, подобно мне, уже пережил лучшие годы жизни, тот не осудит за это пристрастие к старому. В этой главе

воспоминаний, написанной тогда, когда навсегда отошла в прошлое былая жизнь русской конницы с её красочным бытом, рыцарским духом и традициями, я хочу помянуть тёплым словом нашу старую Школу и вспомнить время, которое никогда не вернётся.

Офицерский состав кавалерийских полков царской армии в своём подавляющем большинстве принадлежал к среднему помещичьему классу и состоял из поколения в поколение почти из одних и тех же фамилий, служивших по традиции в одних и тех же полках. Нормальным образованием кавалерийского офицера были кадетский корпус и кавалерийское училище. К этой среде принадлежала и моя семья, почему поступление в Школу для меня было заранее предрешено и отнюдь не являлось случайным, а лишь заранее известным периодом учебных лет. Между тем, странное дело, о кадетском корпусе, в котором пришлось мне провести четыре года, у меня не сохранилось ни особенно тёплых воспоминаний, ни впечатлений, в то время как недолгое пребывание в юнкерах Школы до сих пор мне представляется длинным рядом светлых и беззаботных дней. И это тем более странно, что в корпусе отношение к нам начальства было всегда полуотеческим, в то время как Школа, в лице своего офицерства и старшего курса, относилась к нам не как к безусым юношам, а как к военным рядового звания.

Это пристрастие к училищу отнюдь не явление субъективное, а разделяется вместе со мной всеми кавалеристами, с которыми мне приходилось беседовать на эту тему. Очень неприятное чувство поэтому вызывают в душе всякого старого кавалериста рассуждения о «цукании» и традициях училищно-кавалерийской среды со стороны лиц, совершенно с этим вопросом незнакомых и посторонних быту кавалерии. В русской литературе характерным произведением подобных легкомысленных и необоснованных суждений является роман Куприна «Юнкера». По своей психологии господин Куприн вообще писатель глубоко штатский, лучшим доказательством чего служит то, что он не ужился в рядах армии, а потому не ему, конечно, понять дух и быт кавалерийской школы, её традиций и их глубокого смысла.

«В Александровском пехотном училище, − пишет он в своём романе, − не было даже и следов того, что в других военных школах, особенно в привилегированных, как например, в Николаевском кавалерийском училище, называется «цуком» и состоит в грубом, деспотическом и унизительном обращении старшего курса с младшим. Дурацкий обычай, перенятый когда-то у немецких буршей и обратившийся на русской чернозёмной почве в тупое, злобное и бесстыдное издевательство». Приведённая здесь цитата совершенно нелепа, и написавший её Куприн, вероятно, и сам не подозревал, как далёк он был от истины.

Да, Николаевское кавалерийское училище было привилегированным училищем, туда допускались юнкера только с законченным средним образованием и только дворянского происхождения, и жило оно своим особым строгим и замкнутым бытом, не похожим на жизнь других военных училищ. Руководился и определялся этот быт, как и вся жизнь Школы, своими традициями и старыми обычаями. Но традиции эти были свои кровные, не извне и не чужие, а выработанные особыми требованиями кавалерийской жизни и службы и потому являвшиеся обязательными для всех и не допускавшими никаких исключений. Хочешь быть юнкером Школы, живи и исполняй как все, не хочешь, считай себя выбывшим. Строго, но справедливо. Нелишним будет сказать здесь, что своеобразные обычаи, традиции и даже цук существовали и существуют до сих пор во всех старых военных школах, не исключая высших, во всех государствах Европы. Обычаи, иногда очень грубые и гораздо более дикие, чем в России, существуют в военных школах Соединенных Штатов, в знаменитой французской школе Сен-Сир, уж не говоря об английских военных училищах, из которых они перенесены даже в полки гвардии. Кто читал записки генерала Деникина, тот, вероятно, был поражён тем, что в культурной и демократической Англии в гвардейских полках провинившихся офицеров товарищи наказывают бильярдными киями.

В нашей Школе, наоборот, грубость в словах, уж не говоря о поступках, была вещь совершенно не допустимая и преследовалась она обычаями и традициями безжалостно. Где брали начало эти неписаные законы, в каких тайниках и глубинах затерялись часы их

зачатия – Господь их знает, только блюлись эти традиции ревностно и неукоснительно и были живучи и крепки, как запах нафталина в казённом цейхгаузе. Много в них было, быть может, жестокого и нелепого, ещё больше забавного, но цель их под всем этим была несомненная, и многие, казалось бы, странные вещи имели в действительности за собой большой здравый смысл, хотя и хорошо скрытый. Но было немало и такого, что вспоминается до сей поры с тёплым и хорошим чувством. Была огромная спайка, туговатая, но прочная, яркая и совершенно не похожая на другие. Без этого быта, без традиций, без своего собственного кавалерийского жаргона я Школу себе и представить не могу. Не «тупое и злобное издевательство», как пишет Куприн, а чудесное и весёлое время вспоминаю я в бытность мою юнкером «Славной школы» в дни, когда существовали в ней старые традиции, игравшие в жизни николаевских юнкеров несравненно более значительную роль, чем печатная инструкция училищного общежития.

Теперь это прошло и былью поросло, как проходит в жизни и хорошее, и плохое…

Долговязую одинокую фигуру, одетую в помятую кадетскую шинель, остановившуюся перед стеклянным подъездом Школы, охватила невольная жуть и сомнения перед неизвестным будущим. Гожусь ли я для трудной жизни кавалерийского юнкера? Выдержу ли высокую марку «Славной школы» в шкуре бедного и бесправного «сугубца», о многострадальной жизни которых было столько рассказов среди нашей кадетской братии?

Отступать было поздно и недостойно. Стукнула входная дверь, звякнул колокольчик, и я, не чувствуя под собой ног, уже стоял в вестибюле Школы – гнезде и колыбели русской конницы, откуда вылетело столько славных птенцов. Широкий темноватый вестибюль, много меньше и скромнее нашего корпусного, уходящая куда-то вверх в два марша мраморная лестница. Под ней большая стеклянная дверь в пустую залу. Держа в руке чемодан, я нерешительно остановился на месте, не зная, куда идти дальше.

– Здравия желаю, господин корнет, – раздался вдруг сзади негромкий и солидный бас.

Я обернулся на это странное приветствие и оказался перед высоким представительным швейцаром, появившимся в полумраке петербургского утра откуда-то сбоку.

– Здравствуй!

– Дозвольте штычок ваш, а то с им наверх нельзя-с, господа корнеты обижаться будут и вам-с неприятности ожидаются, – тихим, но многозначительным тоном объяснил швейцар. – А чемоданчик возьмите наверх. Это у нас так тоже полагается – традиция-с.

Как я потом узнал, прислуга Школы вся поголовно знала и строго соблюдала все неписаные законы заведения, и теперь на пороге новой жизни швейцар училища первый посвящал меня в тайны и обычаи Школы. Впоследствии я убедился, что совет швейцара на первых шагах моей юнкерской жизни был как нельзя более кстати и избавил меня от больших неприятностей. «Штычок», который я, как кадет, носил на поясе в виде холодного оружия, был в глазах юнкеров Школы символом пехотного звания и появляться с ним среди таких отъявленных кавалеристов была бы непростительная дерзость со стороны «молодого», которая вызвала бы со стороны старшего курса немедленное наказание.

Старший курс училища именовал себя «корнетами» и «офицерством», и в их полную власть и распоряжение я немедленно поступал, переступив порог Школы, как и все другие мои «сугубые товарищи», т.е. юнкера младшего курса. Именем «корнет» со стороны прислуги училища награждались вообще все юнкера училища независимо от курса, как назвал меня, например, швейцар в то время, когда я ещё не вошел даже в помещение Школы и был одет в кадетскую форму.

Сняв штык и для более свободных движений и шинель, я с чемоданом в руках направился было к лестнице, ведущей наверх, как вдруг невидимый, но очень свирепый голос заорал сверху, едва я ступил на первую ступень лестницы:

– Куд-да! Назад, молодой, назад!

Я беспомощно остановился и оглянулся. Мой покровитель швейцар

многозначительно показывал мне пальцем на другую лестницу.

– Корнетская лестница для господ юнкарей старшего курса, – донёсся до меня его осторожный шёпот.

Покорно перейдя на другую сторону, я стал подниматься по лестнице с таким чувством, что меня немедленно «возьмут в работу». Действительно, на верхней ступеньке, переходящей в так называемую «среднюю площадку», из которой направо и налево шли коридоры в помещения эскадрона, меня ожидала уже великолепная и грозная фигура. Красивый и стройный, как игрушка, стоял передо мной, загородив вход, юнкер старшего курса, с иголочки одетый в великолепно сшитый китель, синие широкие галифе и мягкие лакированные сапоги, на которых каким-то чудом мелодично звенели шпоры, хотя их владелец стоял совершенно неподвижно. Пока я поднимался, он молча, не мигая, смотрел мне в лицо, и только когда я подошёл вплотную и остановился, проговорил небрежным тоном:

− Мое имя и отчество?

− Не могу знать, г. корнет, я только что приехал.

− Как?! − возмутился корнет, и голос его наполнился искренней обидой и негодованием. − Вы уже две минуты в Школе и до сих пор не знаете моего имени-отчества?! Вы что же, молодой, совершенно не интересуетесь службой и дислокацией? Или, быть может, вы ошиблись адресом и шли в университет? − закончил он презрительным тоном.

− Никак нет, господин корнет! Я прибыл на службу в Школу сугубцем и ещё слаб по службе.

− А-а, − величественно смягчился корнет, − вы, я вижу, молодой, обещаете стать отчётливым сугубым. Это хорошо, это приятно. Пожалуйте за мной.

Круто повернувшись и не вынимая засунутых в карманы рук, он зашагал по залу. Я почтительно последовал за начальством, не выпуская из рук чемодана. К слитному гулу многих голосов, обычному для всякого общежития, нёсшегося нам навстречу из помещения эскадрона, здесь был примешан нежный металлический звон, заставивший сладко вздрогнуть моё мальчишеское сердце. «Шпоры», − мелькнула в голове радостная догадка, и на душе стало сразу тепло и весело. Это был, действительно, звук многочисленных шпор, давней мечты и идеала наших кадетских лет. Их серебряный звон был неизменным признаком «кавалерийского присутствия». Здесь в Школе этот звон был особенно густ и мелодичен благодаря знаменитому мастеру старого Петербурга Савельеву, поставлявшему шпоры всей гвардии «с малиновым звоном».

Николаевское кавалерийское училище в моё время было привилегированной военной школой, которая наряду с Пажеским корпусом поставляла офицерский состав в гвардию. Юнкерами в него принимали молодых людей не только со средним образованием и дворянского происхождения, но и обладающих известными средствами, так как, уже не говоря о том, что каждый юнкер мог выйти в гвардейскую кавалерию, само пребывание в училище требовало значительных расходов.

Училище имело два отделения: кавалерийское или «эскадрон», и казачье или «сотню». Эти две составные его части жили совершенно отдельно друг от друга, имея общего только классы и столовую, хотя даже и здесь юнкера сотни и эскадрона сидели отдельно. Всё остальное, а именно дортуары, помещения, манежи, офицерско-воспитательный состав и даже форма у эскадрона и сотни были разные. Служба, быт, строй и обучение казачьих частей и регулярной кавалерии отличались друг от друга, и потому это разделение не только было понятно, но и необходимо. Кроме того, быт и казачьи обычаи, проникнутые известной долей демократизма, совершенно не соответствовали духу и дворянским традициям офицерской кавалерийской среды, к которой принадлежали и в духе которой воспитывались юнкера эскадрона. Поэтому известный холодок классового отчуждения, впрочем довольно невинного характера, существовал между сотней и эскадроном. На языке Школы мы называли сотню почему-то «гунибами», а они нас «биржуазцами». Дружеские отношения между юнкерами эскадрона и сотни не поощрялись

училищными обычаями, хороший тон требовал лишь корректных отношений, за чем строго следил в эскадроне «корнетский комитет», верховный страж и блюститель традиций Школы.

В сотню Николаевского кавалерийского училища, или, как тогда говорили «Царскую сотню», шли в моё время исключительно кадеты из казаков. Попасть поэтому казаку в училище из корпуса было много легче, чем другим кадетам, так как эскадрон должен был распределять свои вакансии на все тридцать корпусов Российской империи, в то время как все 100 вакансий сотни приходились исключительно на одних казаков. Сотня хотя и состояла из представителей всех казачьих войск, но носила форму Донского войска, за исключением бескозырки, которая была одинаково алая, как у сотни, так и у эскадрона. Помещение сотни находилось на третьем этаже и было беднее эскадронного, и манеж её был много скромнее нашего. Ни в какие состязания с сотней в области кавалерийского искусства мы не вступали, так как слишком разны были условия строя, седловки, конского состава и прочее. Было только известно, что эскадрон превосходит сотню в искусстве манежной езды и скачек с препятствиями, а сотня лучше нас выполняла рубку, джигитовку и упражнения с пикой. Как в сотне, так и в эскадроне были свои знаменитости. У нас славился гимнаст и скакун через препятствия сменный офицер поручик Эймелеус-Эймя, у них – знаменитый рубака подъесаул осетин Тургиев, делавший чудеса своей кавказской шашкой.

Традиционное отчуждение с казаками в Школе лично мне было очень неприятно, так как, окончив наполовину казачий корпус в Воронеже, я в училище приехал со своими друзьями и однокорытниками Афоней Бондаревым, Щекотовским и другими, с которыми и рассчитывал в новом месте продолжать нашу кадетскую дружбу. Школьные предания гласили, что раньше отношения между казаками и юнкерами эскадрона были много хуже и часто выливались в открытые столкновения, особенно в день 19 февраля, когда эскадрон, намекая на демократическое происхождение казаков, ставил на площадку лестницы между двумя помещениями хлеб и соль. В моё время ничего уже этого не было, и наши отношения с казаками были вполне корректными. Единственной ненормальностью, нарушавшей даже воинский устав, было то, что мы не отдавали чести сотенному вахмистру и урядникам, а казаки игнорировали наших портупей-юнкеров и вахмистра.

Начальником училища был Генерального штаба генерал-майор Марченко, бывший конногвардеец. Его ближайшими помощниками по строевой части являлись командир эскадрона гвардии полковник Назимов и командир сотни полковник Греков. Эскадрон, как и сотня, делился на взводы, коими командовали кавалерийские и казачьи офицеры, числившиеся по гвардейской кавалерии. Всё это были отборные конники, выбранные из лучших офицеров, окончивших офицерскую кавалерийскую школу.

По учебной части помощником начальника училища являлся инспектор классов полковник Генерального штаба Сычёв. Для классных, а равно и строевых занятий, юнкера были разделены на смены, руководимые в строю сменным офицером. Ближайшими его помощниками по обучению строю являлись отделенные и взводные портупей-юнкера старшего курса. Взводные портупей-юнкера по обычаю именовались «взводными вахмистрами», а эскадронного вахмистра юнкера именовали «земным богом». Как вахмистр, так и портупей-юнкера имели право дисциплинарных наказаний согласно воинскому уставу, так как все юнкера военных училищ состояли на действительной военной службе. Портупей-юнкера спали в общих дортуарах, а вахмистр помещался в отдельной комнате.

На языке Школы, т.е. на особом жаргоне, на котором говорили между собой юнкера, всякое понятие имело своё собственное название, как и большинство предметов училищного обихода, почему первое время было нам довольно трудно понимать господ корнетов и исполнять отдаваемые ими приказания. На этом языке, например, начальник училища назывался почему-то «сто пездесят большое», командир эскадрона «сто пездесят малое», инспектор классов «сто пездесят капонирное», старший врач «сто пездесят клистирное», сменные офицеры именовались – 26, пехота называлась – «мудою», артиллерия «полумудою». Юнкера училища старшего курса именовались «благородными корнетами», младшего «сугубыми зверями». Химию и другие некавалерийские науки учили и отвечали в

белых перчатках, зато науки, имеющие отношение к конному делу, как психологию, тактику, конно-сапёрное дело и всякое строевое ученье, неглижировать не допускалось и манкирование ими строго преследовалось. Юнкера младшего курса, переведённые из корпусов, числились явившимися «из болота», окончившие штатское учебное заведение – «с вокзала».

Имелась, кроме того, особого рода «словесность», которую каждый молодой должен был в собственных интересах изучить возможно скорее. Словесность эта делилась на две части: практически необходимую для прохождения кавалерийской службы и анекдотического характера. К первой принадлежало изучение во всех подробностях и малейших деталях всего, относящегося к 72 полкам регулярной кавалерии, т.е. их названия, формы, стоянки, историю, командиров и награды. Всё это было очень сложно, но внедрялось в наши головы с такой настойчивостью и неуклонностью, что все эти бесчисленные подробности я помню и теперь через четверть века. Для быстрейшего обучения и усвоения знаний господа корнеты не стеснялись экзаменовать «молодёжь» в любой час дня и ночи и в любом месте. Будили по ночам, ловили в коридоре и уборной, в столовой, в манеже и церкви, всюду заставляли перечислять гусарские полки или объяснить, почему зелёная ветка нашита на ташке Павлоградского полка. Словом, пока молодёжь не овладевала в совершенстве всеми этими познаниями, ей не было покоя ни днём, ни ночью. Другая часть словесности, относящаяся к области анекдотов, была менее обязательна, но всё же приличествовала хорошо выправленному и отчётливому сугубцу. Часть из этих изречений была бессмыслицей, вроде того, что такое прогресс. На это полагалось отвечать, что «прогресс есть константная экзебиция секулярных новаторов, тенденция кулмеренции индивидуумов, студентов, гимназистов и прочей сволочи». Часть изречений была продукт философски-практических размышлений. Верх скупости было «закрыться с головой одеялом, навонять и никому не дать понюхать», верх рассеянности «провести приятно время с собственной женой и положить на ночной столик пять целковых», на что мог последовать верх неожиданности, а именно, «получить два с полтиной сдачи» и т.д. Корнеты числились «родившимися в школе» из пены Дудергофского озера, «молодые же и сугубые» в лучшем случае могли рассчитывать на чин «штаб-трубача через 75 лет службы, да и то при удачном производстве».

При виде корнета молодой обязан был тянуться в струнку и исполнять его приказания беспрекословно, «быстро и отчётливо». В смысле произвола старший курс был строго ограничен определёнными рамками, переходить которые было невозможно. За этим неукоснительно смотрел корнетский комитет и его председатель, власть и компетенция которого были неоспоримы. Согласно этому неписаному уставу, корнеты, бывшие в цуке неистощимы до виртуозности, не имели права под угрозой лишения корнетского звания задевать «личное самолюбие молодого» и, упаси господи, толкнуть его и вообще тронуть хотя бы пальцем. Молодой как таковой обязан был беспрекословно подвергаться всему тому, что переносили ему подобные из поколения в поколение, но имел право немедленно пожаловаться корнетскому комитету, если в обращении с собой усматривал «издевательства над личностью», а не над своим сугубым званием. Надо правду сказать, это правило никогда и ни при каких обстоятельствах не нарушалось и свято блюлось десятки лет подряд. Конфликтов в этом вопросе я не помню и даже не слышал о них.

Форма Школы была нарядна и очень красива. Эскадрон имел парадную форму, напоминающую гвардейских драгун Наполеона. Высокий лейб-драгунский кивер с тяжёлыми золотыми кистями и с Андреевской гвардейской звездой «За веру и верность». Чёрный двубортный мундир с красной грудью-лацканом, чёрно-красный пояс и длинные брюки шоссеры с красными генеральскими лампасами, покрывающие маленькие ботинки со шпорами. На мундире с правого плеча спускался жёлтый этишкет. Белый гвардейский ремень шашечной портупеи дополнял картину.

Обыденной формой, в которой мы ходили в училище и в отпуск, были: алая бескозырка с чёрным кантом, защитный китель и синие рейтузы или галифе с красным

кантом при высоких сапогах со шпорами. Шашка на белой портупее, такой же белый ремённый пояс надевались сверху кителя. Шашки были тяжёлые драгунские с гнездом для штыка. Белые перчатки сопутствовали нам при всех видах одежды.

Одевались юнкера Школы, строго придерживаясь традиций и формы, что являлось целой сложной наукой. Казённое обмундирование полагалось носить только младшему курсу и только в стенах училища. Во всех остальных случаях оно должно было быть обязательно собственным и сшитым по обычаю. Шинель должна была быть из тончайшего светло-серого сукна, и низ её должен был «закрывать шпоры», т.е. доходить до самой земли. Покрой каждой части одежды был, конечно, шикарным, но совершенно однообразным, и все портные Петербурга, шившие на Школу, знали эти правила, как «Отче наш». Этишкет, портупея и пояс обязательно должны были быть казённые, выбеленные простой белой краской, так как относились к форме гвардейской кавалерии, высочайше утверждённой, а потому фантазировать в этой области было непозволительно и неприлично, а всякие попытки «улучшения» прекращались корнетством решительно и бесповоротно. Шпоры полагались только марки знаменитого Савельева, которые, независимо от многочисленности своих видов, издавали одинаково малиновый звон, хотя и разных тонов, начиная от солидного баритона «коломенских» до нежного дисканта крошечных бальных. Словом, каждый шаг юнкера в стенах училища и вне их, каждая мелочь его быта и службы строго определялись и регламентировались обычаями и традициями. Школа в своём целом, начиная с командира эскадрона и кончая последним лакеем, подметавшим тротуар, руководилась в общежитии этими неписаными правилами, которые слагаются сами собой везде, где много людей, разнохарактерных и разномыслящих, вынужденных существовать бок о бок в одном помещении долгие годы.

Старший курс, являвшийся ближайшим и прямым начальством над младшими, в своей среде также придерживался порядка старшинства, свято соблюдавшегося в военной среде старого времени. Старшинство это базировалось на довольно оригинальном и своеобразном основании. Засевшие на второй год на курсе юнкера именовались «майорами» и считались выше корнетов, ещё выше их были «полковники» и, наконец, редкие «генералы», просидевшие юнкерами по 5 лет. Этим последним младший курс обязан был отдавать чисто генеральские почести, т.е. именовать их «превосходительством» и становиться во фронт. Все эти чины приобретались не неуспехами в науках, а по линии традиций и потому так уважались. Дело заключалось в том, что с назначением начальником училища Марченко началось с его стороны искоренение традиций под влиянием неких высоких кругов. Круги эти вмешались в наши школьные дела из-за того, что одному из молодых великих князей, попавших в Школу, очень не понравилось его положение сугубого зверя, в которое он попал, так как законы юнкерского общежития ни для кого не делали исключения, будь он хотя бы и великий князь. Я стал юнкером вскоре после того, как этот князь покинул Школу, и когда война между начальником училища и юнкерами была в полном разгаре. Жертвами её были почти всегда юнкера старшего курса, которых в наказание «отчисляли от училища» и временно отправляли в полки на известный срок. Так вот, эти борцы за традиции при мне и носили высокие чины полковников и майоров, вернувшись из изгнания.

Помимо этого, имелась в Школе особая немногочисленная категория юнкеров, так сказать, штрафных с точки зрения обычая. Это были «пассажиры» и «красные». Пассажирами могли быть только юнкера старшего курса, почему-либо не удостоенные или лишённые комитетом «корнетского звания». Это были или слишком «корявые» и «неотчётливые» юнкера, при переходе с младшего курса на старший не удостоенные «производства» или провинившиеся перед товарищами. Отношения к ним со стороны старшего курса были товарищеские, по отношении же молодёжи у них никаких «прав» не было. В этой роли я помню только двух, оба были иностранцы, плохо понимавшие по-русски. Один был финляндец Вуоде Апиала, другой – китаец принц Чань Джоу.

«Красными», или на живописном языке традиций «говном школы», именовались

те редкие экземпляры, которые, поступив в училище, хотели в чужом монастыре жить по своему уставу. Попадали на «красное положение» и такие юнкера, которые были уличены в позорных, с точки зрения товарищества, поступках. Все эти «красные» кончали печально, да иначе и быть не могло. Школа была тысячами нитей связана с жизнью всех полков русской кавалерии, и поэтому, изгнанный из товарищеской среды, юнкер не мог ни на что хорошее рассчитывать и в полку, если ему удавалось дотянуть до производства, так как в полках была та же среда и те же взгляды. Ниже я буду говорить о таких случаях, очень показательных и характерных для духа и быта старой кавалерийской среды.

Встретивший меня первым на лестнице юнкер, оказавшийся «майором» Саклинским, под ироническими взглядами других корнетов, таких же ловких и щеголеватых, проконвоировал меня до дежурной комнаты, где за высокой конторкой сидел плотный ротмистр с усами цвета спелой ржи.

Я взял под козырёк и громко произнёс уставную формулу:

− Господин ротмистр, окончивший курс Воронежского великого князя Михаила Павловича кадетского корпуса Анатолий Марков имеет честь явиться по случаю прибытия в училище.

При первых словах моего рапорта ротмистр встал и выслушал меня с рукой у козырька. Вытянулись при этом, щёлкнув враз шпорами, и столпившиеся у двери юнкера, иронически следившие за каждым моим движением. Выслушав рапорт, ротмистр опять уселся за свою конторку, принял от меня корпусные бумаги и громко крикнул в дверь какую-то фамилию. Через секунду, словно по волшебству, в дверях комнаты появился новый юнкер старшего курса, ещё шикарнее и отчётливее уже виденных мной, и мелодично щёлкнув шпорами, вытянулся в ожидании приказания.

– Вот, Курочкин, возьмите этого молодого к себе во взвод, – с усмешкой отнёсся к нему ротмистр.

− Слушаюсь, господин ротмистр! − весело ответил тот и, опять звякнув шпорами, повернулся кругом. Этот лихой юнкер и его повороты наполнили моё кадетское сердце изумлением и восторгом. Это были не грубые солдатские приёмы пехотного юнкера или кадета, с треском и грохотом грубых сапог-самомудов, а поистине целая строевая поэзия. Изящество, лёгкость и невероятная отчётливость движений в сопровождении негромкого музыкального звона савельевской шпоры. Всё это мог оценить только военный глаз, какой был у нашего брата кадета или юнкера после 7-9 лет пребывания в военно-учебном заведении.

Ошеломлённый и очарованный всеми этими примерами высшей военной марки, я вышел вслед за великолепным корнетом. Идти пришлось недолго, перейдя уже знакомую «среднюю площадку», мы вошли в другой коридор и остановились перед дверью небольшой комнаты. В дверях стояла группа юнкеров старшего курса, ожидавших нашего появления. Я сразу оказался в сплошном кольце начальства, разглядывавшего мою личность бесцеремонно и с иронией. После долгого и томительного молчания один из них повернулся к соседу и голосом, исполненным искреннего изумления, спросил:

− Это что такое?

− Гм, нечто! Весьма мохнатое и сугубое, − последовал ответ.

− Т-а-а-к, − протянул первый, − а почему же вы, молодой, не являетесь? Это, знаете ли, молодой, распущенность!

− Кому прикажете явиться, господин корнет?

− Предположим, что мне.

Я поставил чемодан на пол и взял под козырёк. Все корнеты разом вытянулись и вынули руки из карманов.

− Господин корнет, окончивший Воронежский кадетский кор…, − начал было я, но немедленно был остановлен корнетом, властно вытянувшим вперед ладонь.

− Что вы барабаните, мой друг? Ведь вы, надеюсь, собираетесь жить в Школе по традиции, а не по уставу?

− Так точно, по традиции, − поспешно ответил я.

− А раз так, то и являйтесь по традиции. Не знаете? Ну, так смотрите и учитесь у вашего более отчётливого сугубого товарища.

С этими словами он подозвал к себе пальцем выглядывавшего из двери дортуара белобрысого кадета в форме Николаевского корпуса и коротко бросил ему: «Молодой, явитесь!» Кадет вытянулся, как на виселице, и заговорил беглым голосом без единой передышки:

− Господин корнет, жалкое подобие на юнкера славной гвардейской школы, немытое, небритое и нечёсаное, без пробора на хвосте, честь имеет появиться.

Это, как я впоследствии узнал, и была формула явки «по традиции». Повторить сразу всю эту галиматью я, конечно, не сумел, после чего всё же был милостиво отпущен корнетством для представления вахмистру и взводному. В вахмистерке, т.е. той самой комнате, перед которой происходила вся эта сцена, я нашел трёх юнкеров старшего курса, из которых один имел широкую золотую нашивку поперёк погона, а двое других по три узких. Первый и был «земной бог» Школы, вахмистр эскадрона Александр Александрович Линицкий, высокий, стройный, рыжеватый, всегда спокойный и держащий себя с большим достоинством, двое других были взводные. Выслушав мой рапорт, вахмистр осмотрел меня с ног до головы и, повернувшись к одному из своих товарищей, сказал: «Персидский, возьми его к себе во взвод».

Смуглый, с восточными глазами Персидский провёл меня в одну из четырёх спален эскадрона, в которой стояло около двух десятков кроватей, разделённых высокими тумбочками, почему-то именовавшимися «пердилами». В ногах кроватей стояли другие тумбочки поменьше. Над каждой кроватью с потолка свисала электрическая лампочка с абажуром. Оказалось, что из четырёх дверей, выходивших из спальни в коридор, две были «корнетские», т.е. через них могли ходить только юнкера старшего курса, а две «звериные» для нашего брата. То же самое было и с двумя из четырёх зеркал дортуара и половиной сидений в уборной. Эти последние, кстати сказать, именовались на языке Школы «капонирами», т.е. так же, как и классы, что, вероятно, исходило из презрения к наукам. Пол уборной был выстлан красными и белыми кафелями и делился «невидимой линией», которая называлась кадетской чертой, переход за которую молодёжи был запрещён. Перед одним из сидений этого учреждения на камне был выбит полукруг, сделанный, по-видимому, шпорой. Это, по училищным преданиям, считалось творением Лермонтова и потому именовалось «лермонтовской чертой».

Вообще, в Школе, которую в 1833 году окончил М.Ю. Лермонтов, его культ очень поддерживался обычаями. Помимо музея и памятника поэту в стенах училища, школьные предания приписывали ему создание в Николаевском кавалерийском училище большинство существующих в моё время традиций. На юнкерском жаргоне он никогда не именовался иначе, как «корнет Лермонтов», и я хорошо помню, как сменный офицер, производя нашей смене пеше-учение, скомандовал: «От памятника корнету Лермонтову, по линии в цепь бегом ма-а-рш!».

Надо сказать, что все офицеры училища, сами бывшие питомцы Школы, не только не преследовали традиции, но и всячески их поддерживали, где могли, несмотря на все приказы начальника училища. Этот последний, будучи добрым и порядочным человеком, был, в сущности, очень штатской личностью, так как сам никакой военной школы не окончил и не прошёл, а потому и духа её совершенно не понимал. Митрофан Константинович Марченко был правоведом по образованию и на военную службу поступил вольноопределяющимся в лейб-гвардии Конный полк. После производства в офицеры он поступил в Академию Генерального штаба, и дальнейшая его служба протекала вне строя по военно-дипломатической части в качестве военного агента. В этой должности он оказал большие услуги правительству, выкрав план австрийской мобилизации. Прокомандовав затем очень недолго 19 Архангелогородским драгунским полком, он был назначен начальником Школы. Марченко, занимавший пост, равный командиру дивизии, имел в

Петербурге большие связи в военных и придворных кругах и был очень богат по жене. Его неудачная, но ожесточённая борьба с «традициями» испортила генералу всю последующую жизнь, так как в кавалерийских кругах его за это не любили и бойкотировали. Уже в эмиграции в Париже союз бывших «николаевцев» отказался, помня старое, принять генерала в свою среду, и он умер, до известной степени отверженный своими бывшими сослуживцами, товарищами и подчинёнными.

Придя во взвод, где на кроватях растерянно сидело несколько кадетских фигур, поднявшихся при нашем входе, Персидский приказал мне подождать, пока он справлялся по списку. Оказалось, что вышла ошибка, и я назначался не к нему, а во второй взвод к вахмистру Курочкину, который вошёл в спальню вслед за нами. Осмотрев меня со всех сторон, Курочкин приказал «отставить все церемонии» и, посадив меня и ещё трёх своих подчинённых с собой на койку, просто и по-товарищески объяснил всё необходимое, что мы должны были заучить на первых порах нашей жизни в Школе в качестве «сугубого зверья». Впоследствии, когда я ближе познакомился со своим взводным, я понял, что это был прекрасный товарищ, заботливый и справедливый начальник и благородный человек. Курочкин был лучшим ездоком и строевиком своего курса и из него вышел впоследствии образцовый офицер. К сожалению, выйдя в Черниговский гусарский полк, он в первые месяцы войны по каким-то таинственным причинам застрелился, приехав в отпуск в Тамбов. Он был из кадет Николаевского кадетского корпуса, который окончил фельдфебелем, почему и носил на своём погоне взводного портупей-юнкера добавочную продольную нашивку. Это был узаконенный обычай всех военных училищ моего времени. Николаевский корпус в прежние времена был подготовительным пансионом к нашему училищу, почему в отличие от других корпусов носил шашку и синие брюки. Большинство кадет из этого корпуса шло в Школу, которая, поддерживая старые связи, разрешала старшему классу этого корпуса обучаться верховой езде в своём манеже, почему «николаевцы» на младшем курсе ездили лучше других.

По обычаю, юнкера старшего курса покровительствовали своим однокашникам по корпусу, и потому рядом с койкой Курочкина помещались уже три кадета-николаевца, которые присутствовали при описываемой беседе. Окончив разговор, Курочкин вышел из дортуара, приказав мне «познакомиться с сугубыми товарищами». Один из них, толстенький брюнет, узнав, что я не знаком ещё со школьными обычаями, злорадно предупредил, что в таком случае мне здорово придётся «поработать». Он жестоко ошибся, так как впоследствии не мне, а ему пришлось туговато за излишнюю строптивость. Не помогло ему ни знание традиций, ни то, что он, научившийся ещё кадетом манежной езде, был у нас в смене лучшим ездоком. Кадетик этот был по происхождению персом, одним из тех многочисленных принцев Каджаров, которых столько служило в старой русской армии. Пышные титулы, которых было немало в стенах Школы, больше приносили неприятностей, чем привилегий, на которые они имели право вне училища. В стенах Школы в глазах начальства, уж не говоря о юнкерской среде, все были равны и все подвергались одинаковой муштровке и цуку, не исключая членов императорской фамилии, проходивших здесь курс.

Трудновато пришлось и всем нам в первое время пребывания в «Славной Школе». По обычаю и начальство, и старший курс «грели» молодёжь со всех сторон и по всем поводам в первые недели училищной жизни с определённой целью. Дело было в том, что каждый юнкер младшего курса имел право по желанию покинуть училище или перейти в другое до присяги, которая имела место через месяц. После же присяги все юнкера уже считались на действительной военной службе и из училища могли уйти только в полк вольноопределяющимися. Поэтому-то в интересах службы надо было до присяги сделать отбор из молодёжи, допустив до неё только действительно способных и годных к службе в кавалерии. С этой целью начальство и старший курс с его благословения были особенно придирчивы и суровы для того, чтобы заставить слабовольных и непригодных к кавалерийскому строю юнкеров добровольно покинуть Школу. Средство это старое, испытанное и верное. Каждый год из сотни поступивших на младший курс к моменту

принятия присяги оставалось немногим более половины, которые и составляли нормальный состав младшего курса Николаевского кавалерийского училища.

Ко дню присяги «молодые» должны были быть уже подготовлены как в отношении необходимой кавалерийской выправки, так и в знании всего начальства, начиная со своего отделенного и кончая инспектором кавалерии. Они должны были знать наизусть все полки кавалерии, их стоянки, командиров, боевые отличия и формы по особым альбомам, книжке о дислокации войск и полковым щитам-гербам, висящим в гимнастическом зале Школы. К числу «дислокаций», кроме того, относились у нас все имена и отчества юнкеров старшего курса, сведения, в какие полки они намерены выйти, а иногда и имена их любимых женщин. Особенно было тяжело в свободное от строевых и классных занятий время обязательное вставание при входе в дортуары корнетов, но традиция эта имела, безусловно, свою хорошую сторону. Она приучала видеть нас начальство и в своём юнкере, что потом отзывалось и в дальнейшей службе в полку, где старший по службе корнет делал необходимые замечания в строю и вне его своему же товарищу младшему корнету, и это не вызывало никаких трений. Так как мы все были приучены к дисциплине уже в училище, то корнет оставался старшим для своего зверя на всю жизнь, что не мешало им быть в отличных отношениях друг с другом.

Когда же во взвод входил эскадронный вахмистр, уже не говоря о сменном офицере, то первый, кто его замечал, командовал: «Встать! Смирно!» Всё это было трудно и утомительно, но одновременно с тем давало крепкую основу для развития правильных понятий о дисциплине и чинопочитании, так как невнимание к старшим в военной школе легко приучало бы и к недостаточному вниманию к старшим вообще. У нас же в старой Школе чинопочитание и отдание воинской чести вводилось в культ, этим, как и блестящим строевым образованием, или «отчётливостью по службе», как мы говорили на языке традиций, щеголяли и гордились, и все в это обязательно втягивались, как бы трудно ни было первое время.

Это была облагороженная и действительно доведённая до истинного аристократизма военная школа. Её марка оставалась на людях и после выхода из училища в полки. Офицеры, получившие воспитание в Школе, своим видом, манерами и духом выгодно отличались от своих однополчан, выпущенных из других училищ. Беспрерывная строевая тренировка, гимнастика всякого рода, и в особенности, та «работа», которую нас заставляли проделывать юнкера старшего курса, хотя и доводила нас почти до обморока, но зато быстро превращала из «мохнатых» и «корявых» в подтянутую и лихую стайку молодёжи. Последние остатки кадетской угловатости сходили с нас не по дням, а по часам в опытных руках «офицерства».

«Работа», которую мы были обязаны проделывать днём, а часто и ночью, была весьма разнообразна. Здесь были и классические приседания, которые приходилось проделывать на всех углах и по всем случаям, и развивающие шенкеля и ноги, и бесчисленные повороты направо и налево, которые должны были быть доведены до лёгкости и отчётливости необычайной, и многое другое. Курительная комната, дортуары и уборные, находившиеся вдали от неусыпного ока генерала Марченко, были главной ареной занятий с молодёжью. Дежурных офицеров никто не опасался, так как они всей душой понимали и сочувствовали этой системе и во время дежурства своего не выходили без особой надобности из дежурки.

Во всех этих помещениях с раннего утра и до поздней ночи можно было наблюдать картину того, как несколько человек «корнетов» и «майоров», расставив каблуки и запустив в карманы рейтуз руки, трудились над «молодёжью» во славу Школы. Такой трудящийся корнет обыкновенно начинал с того, что, разведя ноги и коротко звякнув шпорами, негромко командовал: «Кру-гом! В такт моим шпорам!» И немедленно вся комната наполнялась автоматами, чётко вращающимися в одну сторону после каждого звяканья корнетских шпор. Время от времени раздавалась команда: «Стой! Оправиться!» или «Стой! Молодой зевает». После следовало замечание провинившемуся.

Вечером после 9 часов цука не полагалось, и юнкера младшего курса могли отдыхать, лёжа на кроватях, и делать всё, что угодно, никем и ничем не беспокоемые. Это свято соблюдалось. Однако ночью, после того, как тушился свет и по уставу все юнкера должны были спать, старший курс обходил кровати младшего и проверял, как было сложено бельё и одежда. Это также была целая наука. На тумбочке в ногах должно было складываться в правильные «квадратики» обмундирование. Первым и самым большим являлся китель, за ним рейтузы, кальсоны и, наконец, самым маленьким – носки. Плохо или небрежно сложившего бельё «молодого» немедленно будили и заставляли складывать наново, и при этом в виде наказания он был обязан «страстным шёпотом» рассказать историю своей первой любви или перечислить по порядку уланские полки. Выполнив наказание, «сугубец» опять укладывался досыпать по команде «марш на подстилку».

Самые обыденные понятия юнкерского обихода имели для юнкеров младшего курса специальные названия. Так, например, китель был только у корнетов, у молодёжи он назывался «курточкой». Шпоры именовались «подковами», человеческий зад «крупом». Этот последний иногда юнкера младшего курса, ещё не приобретшие крепости посадки, набивали, и потому корнетство иронически обязывало каждого молодого, что-либо покупавшего в юнкерской лавочке, каждый раз приобретать также крошечную баночку вазелина для проблематической смазки повреждений.

Первое утро, проведённое мною во взводном «капонире», прошло почти спокойно, в Школу ещё не съехались корнеты и молодёжь, и жизнь ещё не вошла в надлежащую норму. Без четверти двенадцать раздался звук трубы, игравшей кавалерийский сигнал, и сейчас же со всех сторон заорали свирепые корнетские голоса: «Молодёжь опаздывает! Пулей, пулей! Последнему – три дежурства!»

Миг дикого галопа среди «сугубых товарищей», и я стоял уже в строю на средней площадке или, попросту говоря, в небольшом зале между двумя коридорами эскадрона. Зал этот, увешанный портретами конных императоров и членов их семей, был местом рекреаций, в нём же строился эскадрон перед тем, как идти куда-нибудь. После того, как все мы, «мохнатые и сугубые», стояли в строю, из дортуаров лениво начали появляться фигуры наших шикарных корнетов, шедших умышленно расслабленной походкой, волоча ноги и звеня шпорами. Каждый из них, подойдя к строю, считал своим долгом бросить нам то или иное замечание или просто строго выкатить глаза. Последним появился вахмистр с эскадронным списком в руках и, скомандовав «смирно», начал перекличку. Каждый раз, когда он называл фамилию кого-либо из старших юнкеров, из фронта следовало не простое «я», как отвечали все мы, а то рёв, то писк, то какой-либо другой звук самого дикого тембра. Окончив перекличку, вахмистр замер перед фронтом, и из дежурки появился офицер, который на своё приветствие «Здравствуйте, господа!» получил удививший меня дружеский возглас эскадрона: «Здравия желаем, ваше высокоблагородие!» В корпусе у нас отвечали бы не «высокоблагородие», а "господин ротмистр". Эта мысль, мелькнувшая у меня невольно, сразу наполнила всё моё сознание чувством гордости, что мы перестали быть мальчиками, а стали настоящими военными.

− Ведите, вахмистр! – небрежно бросил ротмистр, надев фуражку и идя по коридору.

− Эскадрон, напра-во! Правое плечо вперед! Ма-а-рш! − звонко и необыкновенно чётко скомандовал Линицкий. И в этой привычной моему кадетскому уху команде я опять уловил новое и радостное. «Марш» было произнесено не коротко и резко «по- пехотному», как в корпусе, а протяжно и длинно, «по-кавалерийски».

Эскадрон, отчётливо звякая шпорами в такт каждому шагу, двинулся в столовую. Пройти для этого нам пришлось через весь коридор, небольшую проходную залу, всю увешанную фотографиями выпусков молодых офицеров в пёстрых и разнообразных формах, и спуститься вниз по лестнице в полуподвальный этаж. Под лестницей на каменной площадке стояло трёхдюймовое орудие конной артиллерии, на котором юнкера обучались практически обращению с пушкой. По традиции, дабы выразить презрение кавалеристов ко

всякому другому роду оружия, младшему курсу предписывалось, проходя мимо пушки, громко чихнуть. Вообще, это несчастное орудие постоянно служило в Школе предметом самого гнусного издевательства со стороны юнкеров. Служило оно не для обучения артиллерии, которой в училище всячески неглижировали, проявляя к этой науке самое ледяное равнодушие, но исключительно для гимнастических упражнений в виде всяких «ножниц», как простых, так и двойных.

Столовая была расположена в длинном полуподвальном зале с каменным полом. Посередине залы шла колоннада, делившая его на две части. Ошую за длинными столами помещались юнкера эскадрона, одесную − сотни, которых здесь я увидел впервые. Казаки показались мне народом мрачным и солидным, ни эскадронной лихости, ни щеголеватости в них не было. Во главе каждого стола сидел портупей-юнкер, ведавший раздачей блюд и порядком. «Работа» над молодёжью не прекращалась и здесь. Между блюдами и во время еды молодёжь продолжала получать наставления по части дислокаций и словесности. За какую-то невнимательность всему составу нашего стола пришлось скрыться на две минуты под стол. Дежурный офицер, гулявший под арками, ко всему был равнодушен и делал вид, что ничего не замечает. Это было возможно только тогда, когда дежурили офицеры эскадрона, казачьи никаких обычаев не признавали и беспорядка в столовой не терпели.

Господа корнеты, к моему изумлению, были исключительно заняты воспитанием молодёжи и ничего не ели. Причиной отсутствия у них аппетита, как я потом узнал, была юнкерская лавочка, продававшая в гимнастическом зале всевозможные яства, отведав которых, юнкера ничего за столом не ели. В эту лавочку пришлось мне попасть сразу после обеда, когда большинство юнкеров спустилось в гимнастический зал. Помещался он рядом с уже знакомой швейцарской, против карцеров, именовавшихся «пердилами», и на туземном языке назывался в свою очередь «гербовым залом». Это название в противоположность всем другим имело под собой основание, так как стены этого зала были сплошь увешаны раскрашенными в полковые цвета щитами, на каждом из которых была указана краткая история какого-нибудь кавалерийского полка и его отличия в виде «серебряных труб», «георгиевского штандарта» и т.д.

В одном конце залы находились обычные гимнастические машины, в противоположном в стене располагалось маленькое окошко с полкой, вроде билетной кассы. Из этого окошка продавались всевозможные закуски, ветчина, ростбиф, пирожные, печенье, кефир, лимонад, конфеты и т.п. Заведовали лавочкой два юнкера старшего курса, из коих один был мой старый однокашник Борис Костылёв, теперь высокий, на редкость видный брюнет. С ним мы когда-то были в одном отделении корпуса, но я отстал от него в шестом классе. В Школе Костылёв был мой «дядька», что не мешало ему меня цукать не хуже других.

В «гербовом зале» каждый день юнкера наедались всякими закусками до отвала и из-за этого почти никогда не ели казённой пищи, которая была прекрасна. Здесь, как и везде, старший курс хлопотал над образованием и воспитанием молодёжи, причём наказанием за невнимательность и нерасторопность была знаменитая «скрипка». Заключалось это окаянное наказание в том, что «сугубого и мохнатого» корнет начинал угощать различными вкусными вещами, но, к сожалению, в совершенно непозволительном порядке и вариациях, которые обращали это принудительное угощение в пытку. Начинали с пирожных, за которыми следовал ростбиф, затем кильки, арбуз и кефир. Через пять минут молодой бледнел и просился выйти, что ему милостиво разрешалось. Никаких отказов и заявлений «не могу» быть не могло, ели через не могу и беспрекословно. Однажды я видел, как группа корнетов заставила съесть заупрямившегося юнца арбуз с вазелином.

В первые дни, пока не съехались юнкера из отпусков, занятий не было. Корнетство после обеда валялось по кроватям, а молодёжь под руководством «дядек» продолжала «работу». В курилке группа младших под руководством кого-то из голосистых портупей-юнкеров разучивала школьные песни. В большинстве своём это были старинные кавалерийские песни и романсы: «Кто мчится в траурной венгерке?», «Где гусары прежних

лет?», «По дороге красносельской эскадрон идёт гвардейский», «Идёт наш пёстрый эскадрон», «Взвейтесь, соколы, орлами» и «Звериаду». Эта последняя была не кадетским подражанием, а настоящей песней Школы, и её сочинение приписывали самому Лермонтову. Разучивали мы и знаменитый марш Школы, но петь его юнкера младшего курса не имели права сами под угрозой перевода на «красное положение». Это правило исполнялось чрезвычайно строго.

В спальнях в это время около кроватей некоторых юнкеров старшего курса, лежавших на своих койках, работало несколько человек молодых, которые методично приседали и выпрямлялись, держа руки фертом. Суть здесь была в том, что для тренировки слабых шенкелей, обнаруженных начальством, молодому предлагалось отправиться в «путешествие». Для этого назначался маршрут, например, из Питера в Москву с «описанием путевых впечатлений». Другими словами, молодой начинал приседать и выпрямляться, и в то же время рассказывал дремлющему на кровати шефу то, что он видел в своём воображаемом путешествии. Для сокращения пути уставший юнец иногда слишком быстро проезжал свой путь, так, например, едва выехав из Петербурга, уже начинал рассказывать о дачных местах под Москвой, тогда задремавший, казалось, корнет неожиданно открывал глаза и сонным голосом заявлял: «Молодой фантазирует. Вы не успели и половины ещё проехать, начинайте сначала!»

Вскоре после обеда меня и несколько приехавших одновременно кадет разных корпусов вызвали в цейхгауз для сдачи кадетской формы и для получения юнкерской. Там, в длинной подземной комнате, пахнувшей нафталином, нас встретил старый каптенармус, весь в шевронах и с баками времён Александра Второго. Он, быстро и вежливо поворачивая, «пригнал» нам защитные кителя, синие рейтузы и высокие сапоги, увы, без шпор. Эти последние давались младшему курсу по мере успеха в езде, месяца через два-три. Шпоры давались не всем сразу, а сначала лучшим ездокам, почему получившие в первую очередь считались именинниками, а их руководители старшего курса, «дядьки», подносили своим племянникам по традиции пару савельевских шпор. Каждый юнкер младшего курса по обычаю должен был просить кого-нибудь из старших быть его «дядькой», т.е. руководить его строевым и школьным воспитанием. Некоторые популярные корнеты имели по нескольку человек «племянников». Дядьки эти были до известной степени ответственны перед «корнетским комитетом» за своих воспитанников и всегда в случае нужды являлись за них ходатаями.

После того как я сменил форму и белые кадетские погоны на красные с галуном Славной Школы, каптенармус вручил мне шашку и кавалерийский карабин со штыком. Винтовки юнкеров помещались в стойках в коридоре, а шашка вешалась над изголовьем кровати. Чистить одежду и сапоги юнкерам, в отличие от других военных училищ, в Школе не приходилось. Для этого на каждые пять человек юнкеров имелся специальный лакей, который всем этим занимался. Каждый юнкер по обычаю должен был платить своему лакею пять рублей в месяц и столько же вестовому солдату, ходившему за лошадью.

Не успели мы переодеться, как вместе с Прибытковым, тоже бывшим кадетом моего отделения в корпусе, были вызваны корнетом Костылёвым на среднюю площадку – место официальных встреч. Он дружески нас обнял, осмотрел и сообщил, что сегодня среда – день, когда все поставщики Школы являются для получения и сдачи заказов, а потому он ведёт нас к ним для того, чтобы заказать нам всё необходимое.

В сборном белом зале мы нашли целый ряд представителей петербургских портных, сапожников и фуражников. Это были знаменитые мастера столицы, великие артисты в своём деле. Оказалось, что сапоги полагалось заказывать у Мещанинова, шинель у Паца, шпоры у Савельева, прочее же обмундирование также у специалистов по каждому предмету.

До того, как начались регулярные занятия в училище, всем нам предстояло познакомиться со своими однокурсниками, с которыми приходилось впредь жить бок о бок всё пребывание в Школе. По строго соблюдаемому обычаю мы с первого же дня обязаны

были называть друг друга на «ты». Смена, в которую я попал, когда съехались все, насчитывала 15 человек, почти исключительно бывших кадет. Помимо уже знакомого принца Каджара, ставшего вскоре для всех нас просто «Рукушей», здесь оказались кадеты первого корпуса: Скобельцын, Спечинский, Беляев, Палтов, переведённый из Михайловского артиллерийского училища Полетика, смоленец Энгельгард, ярославец Смоляков и Яковлев, владикавказцы Гамбаров и князь Султан Гирей, рыжий и конопатый, прозванный безо всякого резона «Сашкой», виленец Яблоцкий, москвичи Волоцкой и Соломахо, Прибытков, старый майор, переведённый из Елисаветградского училища Крживоблоцкий и, наконец, два совершеннейших «экзотика», два китайца – принц Ли и его адъютант Цинь Джоу. Ли был крохотный, чрезвычайно вежливый и очаровательный человечек, почти ни слова не понимавший по-русски, его адъютант – здоровый краснорожий *манза* , злой и обидчивый, причём обижался он не только за себя, но и за своего принца, который никогда и ни при каких обстоятельствах хладнокровия и выдержки не терял.

В первый вечер, когда после длинного и полного впечатлений дня я улёгся в кровать, то почувствовал, что все члены тела точно наполнены сплошным гулом невероятной усталости. Дня через два жизнь училища вошла в нормальную колею и начались учения и строевые занятия. С первых дней мобилизации стало известно, что ввиду военного времени выпуск будет ускорен, и начальство особенно приналегло на строевые занятия, так что мы были принуждены посвящать им не меньше пяти часов ежедневно, отчего к вечеру тело болело и ломило все суставы.

Сменный офицер наш ротмистр гвардии Виктор Тюрьевич Шипергсон, белобрысый швед с бесцветными холодными глазами, маленький и плотный, буквально не знал ни жалости, ни пощады. В своё время он был лихой кавалерист и, будучи в Офицерской кавалерийской школе на парфорсной охоте, сломал себе обе ноги, почему ходил, хромая сразу на две стороны. Впоследствии он был убит на войне, будучи полковником Сумского гусарского полка. Преследуя цель отобрать из нас наиболее способных к кавалерийской службе и заставить уйти из Школы непригодных, он применял разнообразные и довольно жестокие приёмы. В первый день нашей манежной езды мы, выйдя из Школы, перешли улицу и вошли на небольшое унавоженное поле, где впоследствии выстроили училищный тир. Там нас уже ожидали вестовые, держа в руках смену крупных и красивых гнедых коней. Школа в моё время, числясь в войсках Гвардии, получала свой конский состав из кирасирского ремонта, т.е. коней не меньше четырёх вершков роста (2 аршина + 4 вершка, т.е 160 см). Ротмистр скомандовал нам: «По коням!», и мы впервые разобрали лошадей. Понимая толк в лошадях, я сообразил заранее, что на высокой лошади будет трудновато при посадке и вольтижировке, и потому быстро направился к левому флангу к красивой гнедой кобылке. Однако ротмистр Шипергсон был обстрелянная и опытная птица. Едва мы выстроились в конном строю перед ним, как он, окинув взглядом смену, усмехнулся в ус и, подозвав меня к себе, пересадил на огромного пятивершкового «верблюда», поставив на правый фланг. Первая езда наша была без седла на одних попонах, подвязанных широкими подпругами. Кони были сытые и круглые, и пока смена шла шагом, всё было благополучно, но едва ротмистр скомандовал: «Рысь!», – все мы сразу почувствовали неудобство нашего положения и стали на виражах сползать с попон. Шенкелей себе, конечно, ещё никто из нас не развил, и это обстоятельство не замедлило сказаться. Двое из смены свалились на рыси, впрочем, без особенных происшествий. Следующим номером было завязать поводья на шее коня и продолжать рысь с расставленными на уровне плеч руками, держась только седалищной частью тела, или «шлюссом», как нам объявил Шипергсон. На этом деле на землю, смешанную с навозом, сползло и растянулось ещё несколько человек. Когда же солдаты принесли на поле небольшой барьер и нам по очереди пришлось через него прыгать без повода, костьми в навоз легло больше половины смены. Ротмистр, глядя на это, только усмехался, и скоро у него в руках появился манежный бич, которым он нарочно стал горячить спокойных и выезженных лошадей. С этого момента то в одном конце манежа, то в другом стали слышаться грузные звуки падающих тел, которые каждое поднимало тучу

пыли и навоза.

С одной бойкой кобылы, давшей на рыси удачного козла, лёгкой птахой сорвался и грузно уткнулся головой в навоз какой-то совершенно штатский молодой человек, прибывший в Школу в неуклюже сидевшей на нём черкеске, явно московского шитья. После падения он немного полежал, поднялся и со слезами обиды на выпачканном навозом лице с достоинством заявил ротмистру, что он больше в училище оставаться не желает, на что свирепый Шипергсон с радостной улыбкой ответил ему: «Скатертью дорога!» Московский черкес с оскорблённым видом после этого заковылял домой, потирая ушибленную задницу. К концу двухчасового урока ротмистр наш разошёлся окончательно, и его длинный хлыст засвистел по всему полю. С весёлым воплем: «Заранее извиняюсь!» – он очень ловко попадал его концом не только по разгорячённым и бесившимся лошадям, но и по юнкерским ляжкам в туго обтянутых рейтузах.

Когда мы, потные и ошалелые, с дрожащими от непривычных усилий ногами и руками, вернулись в эскадрон, то ещё пятеро юнкеров отказались от чести нести кавалерийскую службу и подали рапорты о переводе в пехоту. Особенно туго на первых порах пришлось единственному среди нас штатскому, только что окончившему петербургский университет Хабарову, маленькому светлому блондину с торчащими вверх задорными усиками. Он не имел не только никакого понятия о езде, но и совершенно не знал строя, который ему пришлось учить заново, но петербургский студентик оказался существом упорным, характер выдержал, как и все искусы, и, кончив курс младшим портупей-юнкером, вышел в лейб-драгуны.

Кроме манежной езды, ежедневно смена занималась вольтижировкой, строевым учением и учением пешим по конному, а также гимнастикой, пулемётным делом и стрельбой. Вольтижировка производилась в училищном манеже, который был разделён колоннами и ложами на две части, в каждой из которых могла ездить смена юнкеров. По стенам манежа на уровне всадника в стены были вделаны огромные зеркала, в которые мы могли проверять свою посадку. По верху над зеркалами и ложами висели гипсовые лошадиные головы, а над ними на самом верху под крышей над хорами для публики были мраморные доски с именами тех юнкеров, которые кончили Школу первыми по езде.

При входе в манеж была небольшая пристройка, в которой обыкновенно ожидали нас перед ездой коноводы с конями. Здесь также происходили и уроки вольтижировки на небольшом круге. На короткой корде солдат-вестач, которых была целая команда при училище для ухода за лошадьми, гонял коротким галопом специально выдрессированную для этого лошадь, обыкновенно толстую и спокойную, называвшуюся на кавалерийском языке «шкапой». Эта шкапа, посёдланная плоским седлом с ручками, вроде циркового, крутилась на ровном ходу по кругу. Взявшись за ручки, которых на седле было две пары − спереди и сзади, юнкер, пробежав в такт с лошадью изнутри круга, в несколько прыжков должен был вскакивать на седло, соскакивать с него и делать в седле различные гимнастические фокусы, кажущиеся непривычному человеку чудесными, но при известном опыте и навыке нетрудные. Надо было только не терять темпа галопа и не упускать из виду, что во время упражнений надо давать уклон корпусу внутрь круга, подчиняясь центробежному движенью. Поначалу, пока молодёжь не усваивала этих простых истин, много юнкеров падало, потеряв равновесие, и покалечилось. Юнкер Аргутинский нашей смены сломал себе ногу, многие повывихнули руки и ноги, и я сам во время вольтижировки, потеряв равновесие, разорвал себе связку на колене, что чувствую всю жизнь. С течением времени вольтижировочные номера производятся юнкерами не только на специальном седле и приученной лошади, но и на строевых конях при походной седловке, что требует, конечно, гораздо большего навыка и усилий, уж не говоря об опасности.

Строевое наше обучение, которому нас учили в кадетском корпусе, здесь оказалось малопригодным, так как кавалерийский строй сильно отличается от пехотного, и нам пришлось переучиваться наново. Так, например, все движения в пехотном строю производятся либо по два в ряд, либо сдвоенными рядами, т.е. по четыре, тогда как

кавалерия не знает других строев, как или по три, или по шесть, что совершенно меняет всё дело. Ружейные приёмы в кавалерийском строю немногочисленны и служат только для стрельбы. Винтовки носятся не на плече, как в пехоте, а за спиной на ремне. Кроме того, кавалерийский строй знает шашечные приёмы, не существующие в пехоте. Помимо конного строя существует строй «пеший по конному», когда, например, взвод во время учения исполняет эскадронные перестроения, и два человека, держа между собой за концы пику, изображают целый взвод.

Первые уроки владения шашкой и пикой юнкера получают в пешем строю, затем на деревянной кобыле и, наконец, уже на живых конях. Это делается во избежание ранения лошади пикой или шашкой при неумелом приёме. Даже и с соблюдением перечисленных предосторожностей лошади молодых юнкеров не застрахованы от ранения, и в Школе многие кони носили на себе следы неумелого обращения с оружием в виде отрубленных ушей и разрубленных крупов.

Рубка производится либо на лозе, либо на глине. Тяжёлые юнкерские шашки сомнительной остроты требовали от нас большой отчётливости и чистоты удара. Прут лозы, зажатый в станок, нужно было разрубить не сломав, и чем чище был удар, тем меньший кусок лозы надо было срубить. Глину рубили в Школе на дубовой стойке и в пирамиде. Гимнастика была та же, что и в корпусе, и ничего нового для нас, старых кадет, не представляла.

Строевые занятия обыкновенно начинались сразу после завтрака и шли без перерыва с полудня и до пяти вечера. Учебные занятия, или по местному «капонирные», имели место с 9 часов утра до полудня, вечером сдавались репетиции и учились разные дисциплины. Главный и самый скучный для нас предмет науки – тактику – читал нам полковник Генерального штаба Завьялов, бритый, похожий лицом на скопца, скучный офицер, весьма строго и нудно относившийся к делу. Военную администрацию читал в Школе лет двадцать подряд генерал-лейтенант Даровский, начавший свою военно-педагогическую карьеру чуть не с капитанского чина. Это был добрый старик, которого помнили два поколения юнкеров, по крайней мере, строго с нас не взыскивал, а больше острил над плавающими по его предмету, называя их «военно-административной немощью». Наука его была не трудна, и вся состояла из сведений о составе и вооружении различных родов войск. Конно-сапёрное дело − предмет, состоявший из наилучших способов в возможно краткий срок разрушить и испортить то, что другими было построено в течение долгого времени, – преподавал штаб-ротмистр Горленко с помощью двух сверхсрочных унтер-офицеров, великих док по своей части.

Скучный предмет фортификации, касающийся постройки траншей, крепостей и всякого рода укреплений, читал полковник М., всякий раз изумлявшийся взрывом хохота юнкеров, когда доходил до вопроса о крепостных «капонирах». Как только затихали раскаты смеха в классе, полковник из года в год пытался получить объяснение этому, но никогда не мог добиться ответа.

− В чём дело? − спрашивал он юнкеров. − Какая причина вашего коллективного веселья?! Ведь этот балаган, господа, происходит каждый год, едва я начинаю говорить о капонирах. Что тут смешного?!

Конечно, никто из юнкеров не брал на себя смелости объяснить бедному полковнику, что на языке Школы «капониром» называлась уборная.

Артиллерию − науку по традициям считавшуюся «сугубой» – читал нам в Школе блестящий академик, полковник барон Майдель, видный брюнет с флигель-адъютантской бородкой. Иппологию – науку о лошади − с большой любовью к делу и даже с экстазом внедрял в наши легкомысленные головы магистр ветеринарии Т., увлекавшийся своим делом. На туземном языке, увы, он назывался непочтительным именем «лошадиного клистира». Для преподавания иппологии имелся специальный класс, в котором в натуральную величину стояла деревянная прекрасно сделанная лошадь, на которой мы учились распознавать бесчисленные конские пороки и болезни. Взамен военной истории,

которая в нашем курсе была отменена, были введены два новых предмета, вызванных требованиями войны, а именно: немецкий язык и военно-санитарное дело. Помимо перечисленного, наши сменные офицеры преподавали нам всевозможные уставы и в особенности кавалерийский, который являлся основой и базой всего кавалерийского дела.

Командир эскадрона полковник Назимов был любимый юнкерами и знающий своё дело офицер, вышедший из рядов Ингерманландского гусарского полка, всецело преданный своему делу и пропитанный духом и традициями Школы, которую он окончил в своё время. Все офицеры эскадрона, также бывшие «николаевцы», в этом его всецело поддерживали. Было их всего шесть человек, а именно: училищный адъютант штабс-ротмистр Зякин, ротмистр Шипергсон, ротмистр Сиверс, штабс-ротмистр Помазанский, поручик Эймелеус-Эймя. Всё это были особо отобранные, лихие строевые офицеры, окончившие Кавалерийскую офицерскую школу с отличием и знавшие на редкость своё дело.

Приблизительно недели через две после начала занятий младший курс был собран в одном из взводов, и при закрытых дверях председатель корнетского комитета Трофимов объявил нам печальным и серьёзным голосом, что молодой Протопопов переведён на «красное положение», а потому с этого дня предаётся товарищескому остракизму. Какое преступление совершил этот Протопопов, блондин с типичным петербургским лицом и бесцветными глазами, я так и не узнал, но, очевидно, он очень сильно провинился с точки зрения обычного права, так как перевод на красное положение было максимальным наказанием, налагавшимся на юнкеров Школы товарищеским судом. С этого дня началась для «молодого» Протопопова трудная жизнь выкинутого из товарищеской среды и жестоко преследуемого человека. Чтобы дать понятие о том, как кавалерийская среда моего времени поступала с нежелательными своими членами и как их из себя выживала, я опишу здесь, что произошло затем с Протопоповым и какова была его дальнейшая судьба. Пример его был очень характерен для нравов того времени.

В день объявления приговора корнетского комитета по его делу Протопопов «строго по уставу» был поставлен «под шашку» своим взводным портупей-юнкером. Это наказание стало повторяться по три раза в день, так как всякое лыко шло в строку и всякая вина его была виновата. Всё было строго по закону, и Протопопову, нарушившему неписаные традиции Школы, пришлось сразу познакомиться с тем, каково бы в ней было жить «по уставу», а не по традициям. Через два дня по жалобе вахмистра его посадили под арест, через день арест повторился уже на три дня. Попав вторично под арест, Протопопов написал на имя командира эскадрона рапорт на девяти страницах, в котором не без лирики описал своё месячное пребывание в училище и что он за этот срок перенёс. Сочинение это называлось «Что должен пережить человек, чтобы стать кавалерийским офицером». Получив этот рапорт, полковник Назимов, бывавший за границей и знакомый с порядками не только Школы, но и кавалерийских школ за границей, рапорт порвал, а Протопопова вызвал к себе на квартиру и сказал ему коротко и ясно: «Уходите из Школы, раз не умеете ужиться с товарищами. В чужой монастырь со своим уставом не ходят».

Протопопов, желая одновременно и капитал приобрести, и невинность сохранить, всё же не захотел отказаться от карьеры кавалериста, хотя и был слишком жидок, чтобы пройти через то, через что обязательно проходили все юнкера кавалерии. Он перевёлся в Елисаветградское училище. Однако туда, ещё до его прибытия, была уже послана из Школы соответствующая телеграмма, благодаря которой Протопопова встретили там так, что он поспешно бежал в третье кавалерийское училище и на этот раз последнее – Тверское. Там повторилась та же история. Имея большие связи и средства, Протопопов, как я потом слышал, безуспешно пытался поступить вольноопределяющимся в несколько гвардейских кавалерийских полков, но неизменно получал отказ, так как его история там была уже известна. Кончилось тем, что ему-таки пришлось отказаться от мысли служить в кавалерии, и он исчез с нашего горизонта.

Второй случай такого же рода, но ещё более показательный, случился с другим юнкером училища, на это раз не с молодым и сугубым, а самим эскадронным вахмистром.

Было это за год до моего поступления в Школу, и героем этого происшествия был вахмистр выпуска 1913 года Верещинский. Объявленный на «красном положении» уже на старшем курсе, будучи вахмистром, он при выпуске взял вакансию в лейб-гвардии Гродненский гусарский полк, стоявший в Варшаве. Однако по приезде в полк общество офицеров узнало его прошлое и попросило немедленно оставить их среду. Верещинский покинул полк, прикомандировавшись к военной авиации, но продолжал носить форму гродненских гусар. Осведомившись об этом, полк послал полкового адъютанта на место службы Верещинского с требованием снять форму полка.

Через месяц жестокой дрессировки, которую были способны перенести только крепкие кадетские организмы, уже подготовленные к этому корпусным режимом, наступил для нас торжественный день присяги. За месячное пребывание в стенах Школы из младшего курса выбыло, не выдержав марки, половина поступивших, и в их числе мой однокорытник по корпусу Керстич, перешедший в артиллерию.

Подняв два пальца правой руки, стоял я в школьной церкви среди товарищей, слушая слова старинной петровской присяги на верность государю и России, которую читал торжественным медным голосом штабс-ротмистр Зякин. Почти все статьи этой присяги кончались словами «смертная казнь» и производили жуткое впечатление. Глухими голосами мы повторяли после каждого абзаца: «Клянусь! Клянусь! Клянусь!» Затем целовали крест, Евангелие и школьный штандарт, который держал штандартный вахмистр Кучин. Вечером мы впервые были отпущены в отпуск, однако не домой, а по школьной традиции в цирк Чинезелли, где в этот день юнкера Николаевского училища из года в год проводили вечер. Вдвоём с моим приятелем Колобовым мы подъехали на извозчике к ярко освещённому цирку. Весь первый ряд и ложи были заняты цветными фуражками гвардейской кавалерии и целым цветником дам, с улыбкой оглядывавшихся на третий ряд скамеек, на котором ярким маком цвёл сплошной ряд алых бескозырок Школы. Перед началом программы здесь предстояло выполнение старой традиции, о которой знал весь цирк и с любопытством её ожидал. Мы запоздали, и потому едва только уселись, как раздалась откуда-то сзади негромкая команда: «Встать! Смирно!» Весь длинный ряд юнкеров и десятки офицеров в ложах встали, как один человек. В дверях входа показалась стройная фигура вахмистра Школы, замершая с рукой у козырька. Оркестр заиграл наш марш. Это была освященная годами встреча «земного бога», в которой неизменно принимали участие все офицеры, бывшие питомцы Николаевского кавалерийского училища, и для этого специально являвшиеся в цирк в день присяги.

В этот вечер в цирке был особенный подъём настроения, так как шла патриотическая пантомима в честь войны, и на арену один за другим выезжали под звуки своих национальных гимнов все представители союзных России наций в соответствующем гриме и окружении. Поминутно весь цирк поднимался на ноги, и мы брали под козырёк при звуках союзных гимнов, когда на сцене один за другим появлялись то король Георг IV, то Пуанкаре, то Альберт I, то японский император.

На другой день с утра началась наша настоящая служба царю и отечеству, так как с момента принесения присяги мы становились уже военнослужащими действительной службы со всеми вытекающими из этого последствиями. Нужно было или кончать училище, или идти на фронт солдатами − третьего выхода больше не было. Ротмистр Шипергсон с этого дня стал ещё круче в капонире и манеже, в чём ему усиленно помогали взводный вахмистр Курочкин и портупей-юнкера Куликовский, Хан-Елисуйский, Мейнгард и Гарин, являвшиеся для нас инструкторами в трудной науке кавалерийской дрессировки. Ухо приходилось держать востро, и в лазарет отправляли юнкеров почти каждый день.

Три раза в неделю мы имели право ходить в отпуск, но право это было только теоретическим: старший курс находил нас ещё слишком «мохнатыми и сугубыми», чтобы доверить нам высокую честь представлять славный мундир Школы на улицах Петербурга. Все мы с этим фактом примирились и после нескольких неудачных попыток улизнуть в отпуск сидели смирно по дортуарам, и только наш китаец «молодой Ли» каждый отпускной

день неизменно пытался сделать визит в своё посольство, из которого каждый раз за ним являлся посольский чиновник на автомобиле. Долгое время автомобиль посольства возвращался домой пустым, так как корнетский комитет, игнорируя светские и дипломатические обязанности Ли, не считал возможным выпустить из Школы китайца, пока он не принял приличного юнкеру Славной Школы вида. Не знаю почему, но нелепая маленькая фигурка Ли держалась и ходила не так, как ходят вообще люди, а тем более «отчётливые» юнкера. Даже в строю, нарушая его, он ходил так, что его правая рука двигалась в одном направлении с той же ногой и наоборот, т.е., как в кавалерии выражаются, «иноходью». На коне Ли держался плохо, благодаря слишком коротким ногам и длинному туловищу. При малейшем толчке он легко выскакивал из седла через переднюю луку. Неустойчивость в седле Ли заменял обезьяньей цепкостью рук, так что всякий раз, вылетев из седла на барьере, он цеплялся по-обезьяньи за конскую шею, обхватив эту последнюю для крепости руками и ногами. Как бы бешено после этого лошадь его ни била передом и задом, Ли продолжал держаться в этом положении и кончал тем, что всегда благополучно сползал в навоз при общем хохоте смены. Эти полёты на барьерах Лю производил буквально каждый день, причём совершенно обескураживал горячего и легко изводившегося Шипергсона своей ангельски кроткой улыбкой в самые неподходящие и трагические моменты своих манежных неудач. В конце концов, сердитый ротмистр махнул на него рукой, тем более, что китаец был не русский подданный и по окончании курса должен был уехать к себе домой.

При своих неудачных сборах в отпуск Ли никак не мог добраться до дежурной комнаты, так как был обязан до этого подвергнуться тщательному осмотру юнкеров старшего курса, из которых первый же без всякого милосердия оставлял Лю без отпуска при первом же взгляде на него. «Молодой Ли! Остаётесь без отпуска», − неминуемо слышал он дважды в неделю в течение трёх месяцев. «Молодой Ли, остаётесь без посольства и без японского дворца», − повторяли десятки раз ему все встречные корнеты. Надо сказать, что «японский дворец», о котором шла речь, был известный весёлый дом в Петербурге, куда, как острили юнкера, в качестве дальневосточного человека стремился Ли.

Коснувшись раз этого рода учреждений, должен сказать, что юнкера Славной Школы сами были далеко не безгрешны в этом отношении. На Офицерской улице в доме № 11 проживала некая пожилая испанка мадам Инесс, державшая шикарный дом свиданий, почти всецело монополизированный юнкерами Школы. У Инесс в доме никаких дам не жило, но имелось около полдюжины уютных салонов, на столах которых лежали альбомы с фотографиями красивых женщин. Кто были эти красавицы, никто, кроме их самих и Инесс не знал, да и не старался узнать, так как это было профессиональной тайной, в которую проникать считалось не принятым, тем более, что у Инесс и сами юнкера никогда своих настоящих имён не сообщали. Подозреваю, что большинство наших весёлых подруг были маленькие танцовщицы кордебалета и разных кабаре, все они были хороши собой, молоды, прекрасно сложены и танцевали, как настоящие профессионалки. В дни отпусков, помимо николаевцев, к Инесс никто из посторонних кавалеров не допускался после одного столкновения с корабельными гардемаринами. У Инесс бывали очень весёлые вечеринки, на которых не только целовались, но и ужинали, играли в карты и просто проводили время в товарищеской компании. О новостях в доме Инесс даже объявлялось в шуточных приказах «по курилке», издаваемых периодически «корнетским комитетом».

Постепенно мы, укрепив «шенкеля», перешли с попонок на «ленчики» без стремян, а затем и со стременами. Научились приёмам пикой и шашкой, крепче уселись в седле. Часто в манеж стало приезжать высшее начальство, наблюдая из ложи сменную езду и вольтижировку. Приезжал несколько раз военный министр Сухомлинов, инспектор кавалерии генерал Вышнеградский, маленький гусар с седеющей бородкой, в малиновых чакчирах и с кривой саблей. Являлись запросто молодые великие князья, приезжал «наш» Константин Константинович, который, однажды придя в столовую, к общему изумлению и веселью на выбор называл, какого корпуса был тот или иной юнкер. Мне он дружески кивнул как старому знакомому, бросив шедшему рядом с ним генералу Марченко: «Этот

длинный географию хорошо знает. Тоже из моих, воронежец».

В конце сентября разнёсся слух, вскоре подтверждённый официально, что 1 октября старший курс будет ускоренно произведён в офицеры по случаю военного времени. Начались лихорадочные приготовления нашего «корнетства» к производству, шилось спешно офицерское обмундирование и снаряжение. Наши отношения со старшим курсом сразу приобрели дружеский характер, цук ослабел. За неделю до производства из полка, где он отбывал изгнание, явился в Школу «генерал» граф Воронцов-Дашков, три раза отправлявшийся солдатом в полк за свою преданность традициям. В последний раз он принуждён был по настоянию Марченко покинуть Школу на целый год за то, что был выбран председателем корнетского комитета, о чём Марченко узнал от вахмистра Верещинского. Несмотря на все великосветские связи, которые имел Воронцов-Дашков в качестве внука бывшего министра двора и наместника Кавказа, он полностью отбыл полагавшееся ему наказание, приехав только за неделю до производства своего в лейб-гусары.

По примеру прошлых лет, перед выпуском имел место конный праздник в манеже Школы или так называемый «конкур-иппик», на котором присутствовали генералы Сухомлинов и Остроградский (оба бывшие питомцы Школы), а также много светской публики из гвардейских и военных кругов Петрограда. Состязание началось казачьей джигитовкой, за которой следовала вольтижировка эскадрона, рубка, действие пикой и, наконец, скачка через барьеры. Первый приз за манежную езду и скачку через барьеры взял наш лихой взводный вахмистр Курочкин, прошедший все препятствия на бешеном карьере, не задев ни одного. Вахмистр Линицкий на барьере упал с закинувшейся лошади, но по уставу поводьев не выпустил, хотя конь его и протащил порядком по манежу. Поручик Эймелеус на знаменитой кобыле Жгучке показал высокий класс, взяв без передышки три барьера в два аршина с лишком. Какой-то совершенно квадратный казачий юнкер из сибирского войска привёл в восторг публику своей рубкой, срубив с необыкновенной чистотой и силой все лозы и глины. Последней на его пути оказалась деревянная стойка с глиняной пирамидой, в которую для прочности был воткнут пучок лозы. Сибиряк богатырским ударом с такой чистотой срубил всё это, что глина почти не сдвинулась с места, а от самой стойки далеко отскочил в сторону срубленный дубовый угол. Как взявший первый приз, Курочкин удостоился чести быть записанным на манежную доску и получил из рук Марченко золотой значок Школы. На «капонирную» доску, висящую над входом в церковь, куда записывались отличные «по наукам» юнкера, попал «земной бог» Линицкий, причём оказался на ней в компании своего отца и деда, также именовавшихся Александрами Александровичами.

За несколько дней до своего производства старший курс собрал нас в спальне и, облачившись в фантастические фуражки «лейб-шампанских» полков, стоявших «на седьмом небе», сшитые из разноцветных лоскутов, прочли нам приказ «по курилке», в котором мы производились в звание «корнетов Школы» и получали права юнкеров старшего курса. С этого момента мы переходили на равные права с нашими бывшими «корнетами», говорили им «ты» и получили право цука над вновь поступавшими в Школу.

Перед самым производством было несколько неудовольствий и неудач, так как не всем юнкерам удалось попасть в те полки, в которые они хотели. Красивый смуглый мальчик корнет Языков не натянул гвардейского балла и принуждён был выйти в лейб-гвардии Конный полк, куда был принят обществом офицеров с прикомандированием, надев пока форму Каргопольского драгунского, вакансию в который никто не хотел брать. Это было для него очень обидно, так как его товарищи по выпуску светлейший князь Грузинский и Грюнвальд в день производства надели не скромную форму армейского драгуна, как он, а блестящую форму гвардейской кирасирской дивизии. Штандартный вахмистр Кучин вышел в жёлтые кирасиры, Куликовский – в синие, наши отделенные портупеи Гарин и Мейнгард в лейб-драгуны, Курочкин надел красную фуражку черниговских гусар, Цветанович − жёлтую лубенских, где по традиции служили все его родственники. В день производства весь

старший курс в конном строю выехал в Царское Село, где в Александровском дворце были собраны юнкера и пажи, окончившие курс военных училищ. Государь поздравил их всех с производством, императрица раздала каждому по иконе. Шедший за государем дежурный генерал-адъютант раздал каждому по экземпляру высочайшего приказа о производстве, и новые господа офицеры, на этот раз уже без кавычек, вернулись в Школу усталые, потные и забрызганные грязью с приказом под погоном по старому обычаю, соблюдавшемуся во всех военных училищах старой России.

Едва только молодые офицеры вошли в эскадронное помещение, как через минуту все дортуары и коридоры расцветились яркими формами всех кавалерийских полков гвардии и армии. Это было поистине красивое и оригинальное зрелище. Белые колеты и каски кирасирской дивизии, краповые чакчиры гусар, цветные доломаны, уланские красные и синие лацканы, султаны всех видов и слепящий глаза блеск серебряных и золотых приборов прямо осветил все помещения Школы. Хотя по условиям военного времени все войска с объявлением войны надели походную защитную форму, все офицеры в первый день производства надели полную парадную форму мирного времени.

Посеревшие с войной и отвыкшие за последнее время от блестящих форм улицы столицы снова на несколько дней запестрели цветными фуражками и красочными формами молодых офицеров. Большинство вновь произведённых корнетов первое время оставалось в Петрограде и обмывало свои новые погоны. Не успели мы ещё привыкнуть и войти в роль юнкеров старшего курса, в которой так неожиданно оказались, как из города пришла и с быстротой молнии облетела Школу весть о том, что всеми любимый румяный и весёлый красавец Борис Костылёв, только что выпущенный в Харьковский уланский полк, смертельно ранен и скончался при таинственных обстоятельствах.

Скоро выяснилось, что драма имела место в доме мадам Инесс, где в конце весёлой пирушки, которую давал Костылёв на прощание приятелям и приятельницам, он был тяжело ранен револьверным выстрелом. По официальной версии выстрел был произведён случайно корнетом Анисимовым, который разряжал револьвер, как это и было занесено в протокол судебным следователем. Однако в Школе знали, что Анисимов только взял на себя чужую вину по просьбе умирающего Костылёва, в действительности же в последнего стреляла известная многим из нас хорошенькая танцовщица Маруся, без ума влюбленная в Костылёва. Расставаясь с ним навсегда, она решила убить и его, и себя, но после выстрела в Бориса на неё бросились офицеры и отняли оружие раньше, чем она успела в себя выстрелить. Всё училище присутствовало на похоронах так рано и так нелепо погибшего товарища на самом пороге развёртывавшейся перед ним жизни. Прибыла на похороны откуда-то с юга и мать Костылёва, единственным сыном которой был покойный Боря. Отец, артиллерийский генерал, был на фронте.

С первых дней нашего пребывания на старшем курсе каждый юнкер получил себе под седло определённого коня вместо менявшихся каждый день лошадей младшего курса. Мне, по настоянию ротмистра Шипергсона, достался самый высокий конь смены, огромный семивершковый (2 аршина + 7 вершков, т.е. 172 см) Наиб, упрямый и на редкость неудобный для манежной езды верблюд. Он был слишком велик и тяжёл, чтобы прыгать барьеры, и потому по большей части просто сбивал их грудью и валял на землю, что приводило в ярость свирепого ротмистра. Особенный разгром в манеже творил Наиб тогда, когда барьером служил для смены так называемый «конверт», состоявший из трёх свободно клавшихся на стойки реек, из которых две располагались Андреевским крестом, а третья клалась сверху. Из этих злополучных реек мой мастодонт делал каждый раз груду дров, отчего Шипергсон прыгал от ярости посреди манежа и топтал фуражку.

Садиться в седло и соскакивать с него , да ещё на ходу и при полном вьюке, как это иногда бывало, с винтовкой за спиной и болтающейся шашкой, было сплошной мукой, так как из-за огромного роста коня и узких рейтуз я с большим трудом доставал носком ноги до стремени. Приходилось прибегать к незаконной хитрости, а именно, удлинять путлища у стремени и затем уже, сидя в седле, незаметно опять их укорачивать. Кроме несуразного

роста, Наиб имел злой и очень упрямый характер и был тугоузд. В манеже он всячески исхитрялся укусить меня за колено или прижать к стене. Когда приходилось справа по одному идти на барьер, он страшно горячился и тянул. Сдержать его при этом было невероятно трудно, в особенности в конце манежной езды, когда поводья намокали лошадиным потом и скользили в руках. К этому надо добавить, что по обычаю Школы на езду мы надевали белые замшевые перчатки с раструбами, которые после команды «огладить лошадей» сразу становились мокрыми и поводья после этого скользили между пальцами. Осенью в Петербурге темнело в два часа пополудни и после завтрака во время езды зажигались газовые фонари; они светились тусклыми жёлтыми пятнами сквозь густой туман, который поднимался от конских испарений. Моментами в этом тумане ничего не было видно, кроме двух-трёх соседних всадников.

Петербургский климат производил на меня, южанина, угнетающее впечатление. Когда осенью и в начале зимы приходилось по нескольку раз в день проходить из помещения Школы в манеж и обратно, при взгляде на небо и кругом ложилась на душу тоскливая тяжесть. Низкие чёрные тучи, казалось, ползли по самым крышам, промозглый, полный сырости ветер гнал мокрую мглу по воздуху, всё кругом было серого мглистого цвета, безнадёжного и тоскливого. Я невольно вспоминал в эти минуты голубое небо и море Геленджика, зелёные горы и степи родных мест и ёжился от давящей тоски. А между тем, в этот год старый Петербург был особенно прекрасен и полон великолепия поистине императорской столицы. Когда мне впервые пришлось увидеть, выехав на извозчике из переулка, Дворцовую площадь, и перед глазами развернулась панорама величественных дворцов на необъятной площади в лёгкой дымке туманных далей, у меня дрогнуло и радостно забилось сердце. При виде этой гигантской панорамы я с гордостью и восхищением почувствовал всё могущество и величие необъятной Российской империи, сыном и плотью от плоти которой я был.

Многое и многое в эти дни интересовало меня в гордой и прекрасной столице императоров, но недостаток времени и, главное, школьные обычаи, строго запрещавшие юнкерам всякие пешие передвижения, препятствовали побродить вволю по дворцам и музеям. Из-за этого, прожив год в Петербурге, я очень мало видел в нём достопримечательностей, хотя изъездил город вдоль и поперёк.

В конце нашего пребывания в училище наше передвижение по столице несколько облегчил генерал Марченко, начавший, или, вернее, ещё больше усиливший жестокую войну против старых обычаев. Одной из главных традиций Школы было ни в каком случае не ходить пешком или ездить на трамвае, а обязательно или на извозчике, или на такси. Против этой-то традиции и ополчился Марченко в первую голову, для чего в один прекрасный день приказом по Школе запретил юнкерам в отпуске пользоваться извозчиками и автомобилями. В ответ на это распоряжение корнетский комитет приказал юнкерам или оставаться без отпуска, или же в отпускные дни проводить время вне столицы в одной из многочисленных петербургских окрестностей. Благодаря этому мудрому распоряжению мы с Колобовым каждый отпуск садились в вагон и выезжали куда-нибудь в пригород, а именно: в Ораниенбаум, Петергоф, Красное Село или Царское. Мы там исходили все парки и дворцы вдоль и поперёк и изучили все окрестности Петербурга.

К дяде мне ходить было скучновато. Кузины мои были знамениты своей необщительностью и молчаливостью, а старшая из них и единственно общительная, в это время была влюблена в молодого моряка и проводила все вечера за чтением его длиннейших писем, которыми он исписывал десятки почтовых листов. Бедняга болтался на корабле в Балтийском море и страшно скучал, запертый в своей каюте. Сам дядя, с которым я мог перемолвиться словом, был вечно занят, и у него с тётей постоянно сидели какие-то скучные люди-политики, а политика в ту пору меня совершенно не интересовала.

Наши путешествия с Колобовым были неожиданно и неприятно прекращены печальной историей, которая произошла с моим приятелем. Он однажды пришёл в Школу из отпуска вдребезги пьяным, за что с места попал под арест и через два дня был отправлен в

полк. Генерал Марченко в это время как раз для уязвления нашего кавалерийского самолюбия изобрёл новое и даже противозаконное наказание, а именно: за крупные проступки отсылал провинившихся юнкеров не в кавалерийские полки, как это полагалось по правилам, а в пехотный Свирский полк, стоявший в Ораниенбауме. Беззаботные и неунывающие корнеты этим не устрашились, и подобная командировка в пехоту получила на школьном языке скоро наименование «отправиться временно командовать Свирским полчком». Наказание это, к счастью, было временное, юнкеров из этого полка возвращали в Школу через недели две-три.

Через несколько дней после производства старшего курса в офицеры в Школу прибыли вновь поступившие на младший курс молодые люди, или на школьном языке «новый ремонт». Это был первый курс, среди которого кадет почти не было, а, следовательно, первый в истории Николаевского кавалерийского училища штатский приём. «Молодые» наши были совершенно штатская публика, набранная из гимназий, университетов и лицея правоведения. Только несколько человек из них были вольноопределяющиеся разных кавалерийских полков, да два-три кадета, почему-либо отставшие от последнего выпуска. Среди них оказались два воронежских кадета, оба мои старые одноклассники: князь Андрей Дадиани и Мершавцев. Первый, окончив одновременно со мной корпус, почему-то сразу не пошёл в военное училище, а жил эти месяцы дома, второй же, будучи в прошлом году на младшем курсе нашей Школы, заболел и теперь приехал к нам уже не «сугубцем», а «майором».

С первых дней среди младшего курса выделились выправкой и знанием военной службы вольноопределяющиеся лейб-гвардии Гусарского полка Эрдели и Конно-гренадерского Носович. Первый из них приехал с фронта и уже имел Георгиевский крест, полученный за спасение в бою великого князя Игоря Константиновича. Эрдели, перейдя на старший курс, был впоследствии вахмистром. Выделялся, кроме этих двух, среди штатской неуклюжей молодёжи ещё и «молодой Коренковский» − бывший кадет Киевского корпуса, высокий стройный блондин, ставший на старшем курсе блюстителем традиций и председателем корнетского комитета.

Вслед за переходом на старший курс из нашей среды были назначены все должностные лица юнкерского начальства, а именно: эскадронным вахмистром − Демидов, серьёзный и солидный юнкер из второгодников; штандартным вахмистром − Скобельцын, из известной военной семьи нашей губернии; взводными − Спечинский, Полетика и бывший «шпачок» Хабаров. В качестве полноправных «корнетов Школы» нам открылись новые широкие горизонты в смысле распределения свободного времени, которое на младшем курсе было всецело в руках наших «корнетов». Пользуясь этим, я в середине ноября отправился навестить в других военных училищах старых товарищей по выпуску из кадетского корпуса.

Первый мой визит был в Павловское военное училище, в стенах которого было наибольшее количество воронежцев. Мрачное казённое здание николаевских времен, в котором помещалось это училище, всем своим видом напоминало совершеннейшую казарму как по виду, так и по духу. Все коридоры и помещения были наполнены грохотом

грубых смазанных сапогов-самомудов, введённых здесь в своего рода культ. В Павловском училище, по обычаю, никто не ходил, а только маршировал и «печатал». Небольшая узкая приёмная училища, в которую я вошёл, была в этот момент переполнена юнкерами и пришедшими на свидание их родственниками. Ежеминутно то с одной стороны, то с другой стукали и грохотали сапоги, так как юнкера то и дело вскакивали и вытягивались не только перед офицерами, но и перед знакомыми дамами, подчёркивая свою строевую выправку. Эта последняя, к моему полному удовлетворению, как земля от неба, отличалась от выправки юнкеров нашей Школы и напоминала собой солдатскую угловатость, которая особенно усиливалась плохо сшитой и плохо сидевшей на «павлонах» обмундировкой.

Посидев с товарищами с час, я почувствовал себя совсем нехорошо в этом славном училище, где, правда, делали из юнкеров отлично знавших службу офицеров, но уж слишком грубо и на солдатский лад. Атмосфера грубой солдатской казармы выпирала здесь из всех

углов, в особенности благодаря густому благоуханью смазанных сапог, дегтярный запах которых наполнял всё здание. Только выйдя на улицу и вздохнув чистым воздухом, я как следует пришёл в себя от всей этой жути, и наша изящная и облагороженная Школа показалась мне ещё милее и дороже по сравнению с этим мрачным местом.

Следующий мой визит был в Михайловское артиллерийское училище, где я нашёл старого приятеля Лабунского и князя Павленова. Здесь в противоположность Павловскому училищу господствовал учёный и штатский дух. Приятели рассказали, что в училище хорошим тоном считается не ходить в ногу в строю к обеду и неглижировать, где можно, военную выправку и всё, что, так или иначе, напоминает солдатчину. Надо правду сказать, этот штатский дух Михайловского артиллерийского училища очень сказывался на артиллерийских офицерах; недаром в армии ходил анекдот, что артиллеристы к чину подполковника «теряют всякий воинский вид и носят калоши».

Пользуясь вольностями, предоставленными мне как юнкеру старшего курса, я сделал визит и Афоне Бондареву в сотню, в помещение которой попал впервые, несмотря на то, что дортуары сотни отстояли от наших всего через десять ступенек той же лестницы. Здесь меня встретила в качестве хозяев целая группа бывших воронежских кадет, с которыми мы обошли все помещения сотни. Дортуары и спальни были здесь и поменьше и попроще, чем в эскадроне, как и сами юнкера, в которых, несмотря на жизнь в столице, чувствовался степной демонический дух. По случаю перехода на старший курс юнкера сотни облачились в формы своих войск и щеголяли разноцветными лампасами: красными у донцов, синими у оренбуржцев и уральцев, малиновыми у сибирцев и жёлтыми у астраханцев и забайкальцев. Виднелось и несколько черкесок.

К концу ноября по Питеру поползли слухи, что ввиду больших потерь на фронте будет ускоренный выпуск из военных училищ, и нас произведут в офицеры к новому году. Эти слухи скоро были подтверждены начальством Школы, и наше будущее производство в прапорщики стало фактом.

Начиная с ноября мы каждую неделю стали в конном строю ездить на эскадронные учения то на пустыри за Обводным каналом, то в лагери Красного Села. Дорога в Красное шла почти полностью по шоссе, и поездки туда поздней осенью были похожи на увеселительные прогулки, если бы не постоянный дождь, нас сопровождавший. В пустующих и потому тихих и безлюдных лагерях Красного, где в мирное время располагалась на лето вся гвардия и военные училища, мы размещались в наших бараках. Там проводили только ночь, так как все дни проходили в пеших и конных учениях и на съёмках, и возвращались спать усталые, мокрые и забрызганные грязью с головы до ног. Внутри бараков все стены и даже потолок были сплошь исписаны фамилиями бывших юнкеров Школы, что было свято соблюдаемой в Школе традицией. По обычаю каждый юнкер перед выпуском должен был на стене деревянного барака написать своё имя красками полкового цвета. Конечно, выполнили этот обычай и мы все.

Постепенно каждый из нас выяснял вопрос, в какой из полков кавалерии он должен был взять вакансию при выпуске. Полки армии в Школу присылали вакансии всегда в таком изобилии, что обыкновенно никакой конкуренции баллов не требовалось и вакансии разбирались между товарищами полюбовно. Из гвардии вакансии могли быть только именные, для чего юнкера, намеревавшиеся выйти в тот или иной полк гвардейской кавалерии, должны были представиться обществу офицеров этого полка, которое и решало вопрос о принятии кандидата. Было не принято среди юнкеров заранее сообщать о намерении выйти в гвардейский полк до письменного извещения старшего полковника о том, что кандидатура принята, поэтому мы могли только догадываться, что тот или иной юнкер выходит в гвардию, когда в неурочный час кто-либо из товарищей тщательно одевался и уходил в отпуск. Это значило, что он шёл представиться приехавшим с фронта офицерам какого-нибудь гвардейского полка. Хотя отец не раз высказывал мне своё желание, чтобы я вышел в синие кирасиры, которыми командовал мой дед генерал Ганн, во времена оные я гвардией мало интересовался. В Питере ходил слух, что она вернётся с

фронта в Петербург и в войне больше участвовать не будет. Кроме того, Колобов и другие мои приятели все выходили в 12-ю кавалерийскую дивизию, прославившуюся в начале войны своими боевыми действиями под командой генерала барона Маннергейма. В эту дивизию я и хотел взять вакансию. Однако отец, почему-то предубежденный против гусаров, категорически не хотел, чтобы я шёл в ахтырцы, так что выбор мой ограничивался уланами или драгунами этой дивизии. Чтобы хоть несколько утешить отца, огорчённого, что я не вышел в гвардию, я решил взять вакансию в Стародубский драгунский полк, имевший форму одних цветов с синими кирасирами, т.е. белое с голубым. Стародубовцы, как и несколько других драгунских полков, в старину были кирасирами, а потому сохранили часть кирасирской формы, т.е. белый верх на фуражке, колет и плащ.

К концу ноября мы постепенно начали заказывать себе офицерскую одежду и покупать снаряжение. Обмундирование шили портные, мы же должны были заботиться о приобретении снаряжения и тёплой одежды, для чего почти каждый день стали ходить в огромный, знакомый всем старым петербуржцам универсальный магазин гвардейского Экономического общества. Там мы выбирали и приобретали сабли, палаши, пасеки, погоны, походные сапоги, полушубки, валенки, часы, портсигары, значки и прочую мелочь. Часть этих расходов в виду военного времени принимала на себя казна, выдав всем выпускным юнкерам особые боны в этот магазин, рублей, кажется, на двести. Кроме того, всем нам выданы были от Школы шашки, револьверы, вьюки и полная походная седловка. Всё это было самого лучшего качества и было сделано в мастерских поставщиков гвардии.

Часто бывая в Экономическом обществе по разным делам, я имел там многие встречи со старыми товарищами по корпусу, а однажды наскочил было на крупную неприятность. Зазевавшись как-то на витрину, меня заинтересовавшую, я не заметил проходившего генерала, который сердито меня окликнул. Держа под козырёк, я смотрел ему в лицо, пока он делал мне замечание за неотдачу чести, и это лицо, сердитое и усатое, показалось мне почему-то очень знакомым. Генерал был каким-то видным и важным, занимавшим крупный пост, так как, несомненно, я встречал его портреты в журналах.

− Конечно! − сердито ворчал он, − вы не заметили, по обыкновению, меня, а между тем я не так уж мизерен и незаметен.

− Помилуйте, ваше высокопревосходительство! − брякнул я наобум. − Как я мог вас не заметить, ведь вас вся Россия знает! Я просто вас не видел, занявшись витриной.

Генерала при этих словах всего передёрнуло, и он, оставив меня, круто повернулся и отошёл в сторону. Приказчик магазина, что-то переставлявший на прилавке рядом, тихо хихикнул и, улыбаясь, вполголоса проговорил:

− Ловко вы его отбрили, господин юнкер.

− Как отбрил?! − изумился я, очень далёкий от мысли, что я сказал какую-нибудь дерзость такому важному генералу.

− Да как же, помилуйте! Ведь это же генерал Рененкампф, а вы ему, мол, вся Россия знает!..

Тут только я сообразил, что, действительно, передо мной был генерал Рененкампф, которому я отмочил, сам не желая того, крупную дерзость. Он только что был уволен с поста главнокомандующего за поражение в Восточной Пруссии, и общественное мнение, т.е. «вся Россия», обвиняла его в катастрофе, происшедшей с армией генерала Самсонова. Видимо, и сам генерал не очень считал себя правым, так как не только не поднял истории из-за моей дерзости, но и вообще на неё никак не реагировал. А между тем из-за случайно сорвавшейся фразы я мог перед производством рисковать многим, так как в это время начальство с нашим братом не шутило. По всей столице ходили рассказы о разжалованном в солдаты камер-паже, который отмочил остроумную, но невероятную дерзость полицейскому офицеру. Капитан столичной полиции К. остановил этого камер-пажа на улице за неотдание чести и стал делать ему замечание, во время которого паж стоял перед ним, вытянувшись и держа руку под козырёк по уставу.

− Опустите руку! − приказал капитан.

− Разрешите не опускать! − ответил паж.

− Почему?

− А здесь на улице много моих знакомых, и я боюсь, что они подумают, что я с вами знаком.

Там же в Экономическом обществе, бродя по многочисленным этажам и отделам, я натолкнулся в каком-то укромном уголку на своего старого одноклассника Миллера, который в форме артиллерийского подпоручика примерял сапоги под руководством и надзором своей мамаши. Несмотря на офицерские погоны, эта последняя обращалась с ним, как с младенцем.

Перед выпуском в Школу неожиданно приехал генерал Остроградский и, выстроив старший курс на средней площадке, предложил желающим поступить в автомобильные и мотоциклетные части, которые только что начали формироваться при кавалерийских дивизиях. Желающих, конечно, не оказалось ни одного человека, да иначе и быть не могло, так как все мы были преисполнены кавалерийского духа и с негодованием встретили подобное, ни с чем несообразное с нашей точки зрения предложение. Не успел генерал выйти из помещения эскадрона, как весь курс разразился хохотом. Генерал Марченко этим нисколько не смутился, и сам, выбрав в тот же день нескольких юнкеров, против которых имел особенный зуб за подозрение в «цуке», приказал им обучаться автомобильному и мотоциклетному делу в саду училища. Это средство ему казалось весьма полезным, чтобы сломить непокорный дух Школы.

Время летело совершенно незаметно в усиленных занятиях в манеже, строю и по сдаче репетиций. Не успели мы и опомниться, как наступили последние числа ноября 1914 года, за которыми должен был наступить и день нашего производства в офицеры. Обмундирование и снаряжение было уже всё готово и размещено по шкафам и чемоданам в ожидании счастливого дня.

За несколько дней до производства мы были вызваны в сборный зал, где состоялся акт разборки вакансий. В Николаевском кавалерийском училище, выпускавшем ежегодно не больше 40-50 человек, официальная разборка вакансий являлась простой формальностью, так как мы уже распределили заранее все вакансии по-товарищески. Это было нетрудно: в Школу из полков присылали вакансий вчетверо больше, чем нужно, все кавалерийские полки были заинтересованы получить побольше молодых офицеров из лучшей из кавалерийских школ. Борьбы за вакансии, как это бывало в других училищах, у нас никогда не было.

До самого последнего часа было никому не известно, поедем ли мы в Царское в день производства или нет. Государь император был в постоянных разъездах по фронтам, и никому не было известно, будет ли он в этот день в столице. К общему огорчению и разочарованию, высочайший приказ о нашем производстве 1 декабря 1914 года состоялся в императорском поезде на пути в Ставку, и государь впервые за всё своё царствование не поздравил лично юнкеров военных училищ Петербурга с производством в офицеры. Вместо ожидавшейся поездки в Царское Село, к которой всё уже было готово, генерал Марченко, выстроив нас в Гербовом зале, прочёл высочайший приказ, в котором мы производились в прапорщики со старшинством с 1 августа 1914 года. Все «майоры», т.е. второгодники, получили чины корнетов, и в их числе эскадронный вахмистр Демидов, взявший вопреки традиции вакансию не в гвардию, а в гусарский Александровский полк. В гвардию вышло около трети выпуска, по большей части в кирасиры и лейб-драгуны. Мои товарищи по смене Палтов и Волоцкой вышли в конно-гренадеры. Многие портупей-юнкера взяли вакансии в Ахтырский гусарский полк, который за громкую боевую славу в боях шёл у нас первым после гвардии.

С приказом под погоном мы поднялись в эскадрон, где были радостно встречены поздравлениями молодёжи. Переодевшись, мы через несколько минут снова собрались на средней площадке, куда пришёл эскадронный командир, поздравивший и расцеловавшийся с каждым в отдельности. Он уже не скомандовал, а пригласил нас в церковь словами: «Прошу

вас в церковь, господа офицеры!»

В последний раз мы стояли в школьной церкви, но уже не строем юнкеров, а небольшой группой офицеров. В последний раз осматривал я, прощаясь навсегда, знакомые стены с белыми мраморными досками, на которых чёрными буквами были написаны имена тех, кто погиб «За Веру, Царя и Отечество» на полях брани. Невольно приходила мысль о том, что скоро многие из нас попадут на эти траурные доски родной Школы, которую мы так полюбили и к которой так привязались, несмотря на недолгий срок, который нам было суждено провести в её старых стенах. В последний раз мы поцеловали истлевший шёлк школьного штандарта, вынутого на этот случай из чехла и сиявшего над нами своим двуглавым гвардейским орлом. Как-то не верилось до этого момента, что я, вчерашний кадет, через такой короткий срок надел офицерские погоны. Выйдя из церкви, я с дежурным лакеем послал отцу в Покровское телеграмму о производстве.

В тот же вечер весёлой компанией из десятка человек мы переселились из Школы в кем-то рекомендованную гостиницу «Россия», заняв в ней несколько номеров подряд, которые сразу оказались заваленными снаряжением и обмундированием. Перед тем как покинуть Школу навсегда, по традиции снялись всем выпуском на траве перед училищем. На другой день вечером в ресторане старого Донона был выпускной бал, на котором, кроме нас, присутствовали полковник Назимов и все офицеры эскадрона, а также несколько человек из выпуска наших «корнетов», случайно оказавшихся в Петербурге. За весёлым ужином было выпито много шампанского и сказано много сердечных и искренних слов. Вековая связь между старыми и молодыми кавалеристами, крепко державшаяся в русской коннице, здесь сказалась как нельзя более ярко. В конце ужина суровый ротмистр Шипергсон, выпивший со всеми нами на «ты», прошёлся *колс* по зале. Он одновременно с нами покидал Школу и через несколько дней надевал голубую венгерку полковника Сумского гусарского полка.

Неделя, проведённая в столице после производства, осталась у меня в памяти, точно в тумане. Помню облака табачного дыма, рестораны, не сходившие со стола бутылки, певиц, цыганок и юнкера младшего курса Энгельгарда, моего «племянника», вызванного по телефону из дома и напоенного нами вдребезги. В минуту прояснения я пошёл навестить в Михайловском артиллерийском училище Лабунского и Павленова, сидевших там юнкерами старшего курса. Моя голубая с белым фуражка и звенящий палаш произвели явное впечатление на учёных юнкеров, которым приходилось ждать офицерских погон ещё добрых полгода.

Отец на радостях прислал мне телеграфом такой куш, на который я даже не смел надеяться; дядя, к которому я попал только через неделю после производства, тоже не поскупился. Был я с визитом и у деда Николая Львовича на Бассейной в его мрачном темноватом особняке, где пришлось просидеть в гостиной с томными дамами- родственницами два скучных часа.

К сожалению, как и в прошлом выпуске, наша радость по случаю производства омрачилась кровавой историей. Только что произведённый в прапорщики из юнкеров сотни кубанец Винников в нетрезвом виде застрелил нагрубившего ему городового. В Школе я знавал этого Винникова, бывшего приятелем моего друга Афони Бондарева, он был скромного вида приземистый блондин, приходивший в беспричинную ярость от крепких напитков.

Ещё не совсем пришедший в себя от весёлого времяпрепровождения в столице и массы новых впечатлений, которые пришлось пережить за такой короткий срок, я в компании Колобова и случайно встреченного в Питере моего однополчанина корнета Внукова погрузился в скорый поезд, шедший через Москву в Курск. На Николаевском вокзале ко мне с радостной улыбкой подошёл студент, которого я совершенно не узнал. Он оказался Володей Куликовым, сыном нашего бывшего управляющего заводом в Туле. Он провожал в Тулу своего кузена пехотного прапорщика, одновременно с нами произведённого в офицеры. В вагоне Колобов, ехавший в Тамбов к родным, вытащил из чемодана две бутылки шампанского, которое мы категорически отказались с ним распить,

так как нам надоела непривычная нетрезвая жизнь последней недели в Питере. Весь путь до Москвы мы провели в купе, слушая рассказы Внукова о жизни полка и войне, на которой он был с её начала. В Туле на вокзале я встретился с Куликовой, выехавшей встречать племянника, и мы успели с ней перекинуться несколькими словами о прошлом, в одно и то же время таким недавним и таким далёким.

Через сутки поезд подходил среди белого безлюдья снежных полей к родной станции. У перрона я увидел высокую фигуру брата Коли, стоявшего у товарного вагона с пленными, которых куда-то везли. Усевшись с ним рядом в широкие сани, бесшумно идущие по глубокому, в ночь выпавшему снегу дороги, я почувствовал всем своим существом, что стал взрослым человеком, для которого навсегда окончились учебные годы. Издали, сквозь заиндевевшие деревья акациевой аллеи засветился нам навстречу огонёк родного дома. Родная и близкая с детства атмосфера родной усадьбы охватила меня, и сердце приятно сжалось. Я засмеялся смотревшему на меня брату и обнял его за плечи…

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. НА ЦАРСКОЙ СЛУЖБЕ. 1914 - 1917 ГОДЫ

За Веру, Царя и Отечество

Приезд на службу. Новогеоргиевск. Полковой жид. 8-й Запасный кавалерийский полк и его состав. Служба и забавы. Жизнь в маленьком гарнизоне. Весенний роман. Перевод в Туземную дивизию. Отъезд на фронт. Галиция во время войны. Приезд в полк. Его состав и служба. Охота на кабанов. Курбан-байрам в Волковицах. Первые окопы. Кавказская туземная конная дивизия и её состав. Её типы. Фронтовые впечатления. Бой 29 октября 1915 года у селения Петликовцы Новые. Моя контузия и эвакуация. Санитарный поезд и приезд в Курск. Лазарет Курского дворянского собрания. В родных местах. Возвращение на фронт с братом. Новая эвакуация. Киев, Новороссийск, Туапсе, Сухум. Морская катастрофа. Гагры. Независимое герцогство Ольденбургское и его нравы. Абхазия и её типы. Дорога в Тифлис. Боржом, Аббас-Туман. Сумасшедший дом и жизнь в нём. Революционная пропаганда и сердечные дела. Тифлис и скандал в штабе армии. Снова Аббас-Туман. Первый роман. Последние дни перед революцией. Назначение в генерал-губернаторство областей Турции, занятых по праву войны.

Под Рождество 1914 года, после недолгой побывки в Покровском, я подъезжал к унылому и глухому полустанку Павлыш Южных железных дорог, стоявшему одиноко в голой степи. На последнем перегоне со мной произошёл очень глупый инцидент по молодости лет и из-за служебной неопытности. Поезд подходил к железнодорожному мосту через Днепр, имевшему во время войны большое стратегическое значение, почему мост усиленно охранялся. В вагоны каждый раз, когда поезда подходили к предмостной станции, ставились вооружённые солдаты, а все двери и окна закрывались.

Вагон, в котором я ехал, был почти пуст, а потому солдатик с винтовкой расположился против моего купе, единственного занятого. Солдат оказался из так называемых «крестиков», т.е. бородачом лет сорока пяти, призванным из ополчения. Военная форма мало изменила его чисто мужицкий, деревенский вид. Заметив у меня на диване газеты и журналы, страж почесал затылок и попросил «газетки».

Готовый по молодости лет обнять весь мир и, в особенности, чувствующий симпатию к солдатам, моим будущим подчинённым, я, руководствуясь этими похвальными чувствами, немедленно вручил ополченцу целую кучу всевозможных «Огоньков» и «Синих журналов». Солдатик поблагодарил и, удобно облокотившись о свою «берданку», занялся рассматриванием картинок. В это время хлопнула наружная дверь, зазвенели шпоры, и против моего купе остановился жандармский офицер.

− Ты что же это делаешь?! − строго обратился он к солдату. − Ты, борода, здесь часовым поставлен, а вместо этого… газету читаешь? Ведь ты как часовой не имеешь права и в руки её взять! Да кто тебе её дал?

− Вот… ейное благородие, − пробормотал смущённый «крестик», − они чичас издесь у купе сыдять.

Усатое лицо жандарма удивлённо заглянуло ко мне в дверь, но, увидев моё юное и явно новоиспечённое «благородие», ротмистр только усмехнулся и прошёл дальше, ничего не сказав. Я, что называется, «спёк рака» и сообразил только теперь в пустой след, что оба мы с ополченцем по неопытности грубо нарушили устав гарнизонной службы: я − тем, что дал, а он − тем, что взял газеты.

Высадившись со своими чемоданами и вьюками на полустанке, я нанял в Новогеоргиевске (или, как его называли местные жители, Крылове) странный иудейский драндулет на полозьях. Путь наш шёл 70 вёрст по голой, как ладонь, степи, с которой ветер сдул все признаки снега, так что, несмотря на декабрь, полозья гремели и визжали по замёрзшей в чугун земле.

Ещё более неуместным, чем экипаж, оказалось в этой проклятой ледяной степи моё петербургское, подбитое ветром, пальто, лёгкая цветная фуражка и в особенности лакированные сапоги. К вечеру, совершенно закоченевший от холода и весь избитый на ухабах, я был доставлен к месту назначения. Вдобавок ко всем несчастьям крохотные, как мыши, жидовские кони всю дорогу обдавали нас таким зловоньем, что я несколько раз вылезал из саней, чтобы продышаться. Жид объяснял это странное для меня явление тем, что он питал своих «коняк» ячменём, а не овсом, как в наших местах.

Новогеоргиевск в декабрьских сумерках показался мне совсем жалким и пустынным городишком, каким он и был на самом деле. Возница доставил то, что от меня осталось, к подъезду единственной гостиницы, которая тоже, как и весь город, имела совсем необитаемый вид. Кое-как устроившись в ободранном и холодном «номере», я заснул в самом скверном настроении под унылое завывание ветра за дощатой стеной.

Первое утро новой жизни началось сначала осторожным, а затем всё более смелым стуком в дверь. Недовольный прерванным сном, я крикнул: «Входите!» Дверь приотворилась и в неё боком протискалась обшарпанная штатская личность, явно еврейского происхождения. Личность вежливо поклонилась и поздравила меня «с благополучным прибытием», а затем отрекомендовалась сама коротко и внушительно:

− Каплан… полковой жид.

− Что же тебе нужно… Каплан?

− Хе-хе…− осклабился «полковой жид», − это как раз то, что я хотел спросить у вашего благородия… Я же вам доложил, что состою при полке… для усяких поручениеф…

− Мне, Каплан, много чего нужно… Но что же ты можешь для меня сделать?

− Что значит… «что»? − удивленно поднял он плечи. − Я могу сделать усё… что вам нужно по вашему офицерскому палажению… матерьял на бруки… закуску… вино… квартиру, девочкэ… одним словом, усё.

Как я убедился впоследствии, «полковой жид» нисколько не преувеличивал и мог действительно достать «усё», конечно, в пределах местных потребностей. Такие оборотистые еврейчики из поколения в поколение обслуживали прежде кавалерийские полки, стоявшие, как правило, во всевозможных дырах Западного края и Новороссии. Пока я одевался и умывался, Каплан сообщил, что я, по всей вероятности, буду назначен в четвёртый маршевый эскадрон, как и все мои товарищи по выпуску. Он был действительно в курсе всех дел полка не только хозяйственных, но и строевых. Вслед за этим Каплан провёл меня в полковую канцелярию, помещавшуюся недалеко от гостиницы, после чего тактично скрылся.

Когда одетый в походную форму, т.е. обмотанный накрест ремнями снаряжения, только что введённого и похожего на конскую упряжь, я вошёл в длинное одноэтажное здание полковой канцелярии, моё появление не произвело ровно никакого впечатления на

адъютанта, пожилого штаб-ротмистра и на дюжину писарей, скрипевших перьями. Поздоровавшись, адъютант молча указал мне на дверь, на которой значилось, что это кабинет полкового командира. Обрюзгший толстый полковник с рыжей неопрятной бородой нехотя приподнялся с кресла и выслушал казённую форму рапорта. Сев снова и не предложив мне стула, он сообщил скучающим голосом, что я назначаюсь в 4-й маршевый эскадрон.

− Господин полковник! − взмолился я. − Нельзя ли в 3-й маршевый? Я слышал, что он на днях уходит на фронт.

− Незачем-с! Нужно сначала службе поучиться, а на войну ещё успеете.

Явившись вслед затем командиру маршевого эскадрона Ульгрену, пузатому и пожилому корнету запаса, я окончательно упал духом. Первые впечатления в Новогеоргиевске, увы, были очень далеки от тех картин предстоящей мне кавалерийской службы, которые мы себе составили в Школе.

12-й Стародубовский драгунский полк, в который я вышел прапорщиком и форму которого теперь носил, был на фронте. Попасть в его ряды я мог не иначе, как с маршевым эскадроном, т.е. с пополнением, которое должно было влиться в него на место понесённых на фронте потерь. Эти пополнения формировались в Новогеоргиевске и отправлялись на войну по мере надобности. В момент моего приезда на очереди был 3-й маршевый эскадрон, а значит, следующий за ним четвёртый, в который я был назначен, мог выйти на фронт, во всяком случае, не раньше полугода.

Было обидно, что приходилось начинать службу не среди полковых товарищей в обстановке своего полка, а с чужим начальством и в среде призванных из запаса прапорщиков и давно отставших от кавалерийской службы запасных офицеров. Вся эта публика по сравнению с нами была уже в годах, давно утеряла всякий воинский дух и уж никак не подходила в товарищи нам, напичканному традициями и рвущемуся на войну «зелёному» корнетству. Офицеры запаса в большинстве своём были все солидные помещики, считавшие нас за белогубых младенцев, и годились нам в отцы. Что же касается прапорщиков запаса, или на кавалерийском языке «злостных прапоров», то это была совершенно штатская публика, ни по воспитанию, ни по взглядам не имевшая ничего с нами общего. Кадровый состав офицеров 8-го Запасного кавалерийского полка нас почти не касался, да и состоял он всего из немногочисленных ротмистров и полковников, некогда так или иначе потерпевших крушение своей карьеры и потому нашедших здесь тихую пристань.

В довершение несчастий я из излишнего служебного усердия, как оказалось, явился в Новогеоргиевск раньше всех своих товарищей по выпуску и потому в городе не нашёл никого из моих однокашников по Школе. Между тем из Николаевского кавалерийского училища в Новогеоргиевск должно было собраться немало публики, так как 8-й Запасный полк формировал маршевые эскадроны для двух дивизий, а именно: для 8-го драгунского Астраханского, 8-го уланского Вознесенского, 8-го гусарского Лубенского, 12-го драгунского Стародубовского, 12-го уланского Белгородского, 12-го гусарского Ахтырского и Крымского конного полка. В офицерских собраниях, куда я отправился в тот же вечер после официальных визитов, сидело около двух десятков совершенно незнакомых молодых офицеров, корнетов и прапорщиков чужих училищ.

Поужинав, я вернулся в самом минорном настроении в гостиницу и застал в ней, к своей радости, однокашника по Школе и смене Рыбальченко, кубанского казака, по какой-то фантазии вышедшего в уланы. На другое же утро мы вместе с ним при помощи вездесущего Каплана переселились на «квартиру», т.е. в холодную и на редкость неуютную комнату против собрания.

Рыбальченко оказался истинным малороссом по характеру, т.е. человеком поразительной медлительности, флегмы и… лени. Его одевание по утрам занимало столько времени, что в течение его можно было одеть целый балет. Попасть с ним вместе куда-нибудь к определённому часу было предприятием совершенно невозможным. Положительной стороной в характере моего сожителя было неизменное благодушие,

благодаря которому он мне всегда помогал разбавлять горький настой жизни розовой водицей оптимизма. Период нашей совместной жизни с Рыбальченко, к счастью, совпал с полным бездельем, и так как торопиться нам было абсолютно некуда, то он оказался для меня очень удобным сожителем и компаньоном. До ухода на фронт третьих маршевых эскадронов, четвёртые, куда мы оба были предназначены, числились пока только на бумаге и службы в них мы поэтому нести не могли. Всё времяпрепровождение наше по этой причине ограничивалось томительным ничегонеделанием от завтрака до обеда и ужина, служивших единственным развлечением. В довершение неблагополучно сложившейся ситуации оба мы после неумеренных празднеств в Петербурге сидели теперь без гроша. Без денег же и знакомств найти какие бы то ни было развлечения в глухом Новогеоргиевске было невозможно.

Городок этот, заброшенный в самой глуши приднепровских степей, стоял в 70 верстах от Кременчуга и являлся в то время совершенно гоголевским захолустьем. Население состояло из мелких чиновников, евреев и подгородных хохлов. До войны всё это мирное и сонное население, хотя тихо и скучно, но жило какой-то своей жизнью, с началом же военной сумятицы под бесцеремонным натиском военщины, властно захватившей всё и вся, местное население как-то слиняло, отошло на задний план и почти атрофировалось.

Стоявший в Новогеоргиевске Запасный полк с началом мобилизации развернулся в крупное военное соединение и теперь насчитывал до 10 тысяч солдат и лошадей и до двух сотен офицеров, в огромном своём большинстве − молодёжи двух последних выпусков 1914 года. Эта огромная масса военных и коней буквально затопила собой скромный степной городок и вытеснила из него всякое напоминание о мирном быте. Над городом теперь и день, и ночь стоял шум и гул солдатских голосов, крики команды, звуки песен, военной музыки и топота конских копыт. На немощёных улицах никогда не просыхала грязь, которую ежечасно месили сотни лошадиных копыт и солдатских сапог. Жидкая зелень молодых бульваров и городских скверов носила на себе вещественные доказательства воинского присутствия в лице общипанных конями листьев, порубленных шашками веток и молодых деревьев. Движение пешеходов по тротуарам было крайне затруднительно и почти прекратилось, так как отдельные всадники и целые вереницы конных постоянно звучно шлёпали по улицам, разбрызгивая грязь и не разбирая дороги. Командиру Запасного полка, являвшемуся начальником гарнизона, приходилось периодически издавать строгие и странные для свежего человека приказы, в которых говорилось о карах и запретах по поводу рубки шашками деревьев, скачек через обывательские заборы и стрельбы по уличным фонарям.

Женский элемент города, для которого молодое и богатое офицерство, разодетое во все цвета радуги, предоставляло самый широкий выбор, поголовно приняло вид дам полусвета, как по тону, так и ещё больше по поведению. Лёгкости нравов, принятых всем обществом Новогеоргиевска, особенно способствовало то обстоятельство, что для удовлетворения невиданно повысившегося спроса на помощь местным силам прибыли из близлежащих центров на гастроли целые отряды «маленьких грешниц» всякого вида и калибра. Ко времени моего приезда в Крылов городок уже вполне имел вид военного лагеря со всеми присущими последнему качествами, как положительными, так и ещё более отрицательными. Население его было ограничено почти исключительно четырьмя элементами: офицеры, солдаты, кони и… девочки, причём в этой атмосфере казарменного уюта штатская публика совершенно исчезла, по крайней мере, её нигде и никогда видно не было.

Атмосфера, в которую попали здесь молодые офицеры прямо со школьной скамьи, оставляла желать лучшего. Старшие офицеры принадлежали к составу Запасного полка и среди нас, «строевой» молодежи, авторитетом поэтому не пользовались, да они и сами нисколько не интересовались нами, как элементом для них временным и случайным. Это создавало ненормальные условия жизни для офицерской молодёжи, предоставленной самой себе без необходимого надзора и руководства.

Выпуск 1914 года, к которому мы все принадлежали, составляли почти исключительно бывшие кадеты, т.е. полудети по 18-19 лет, не имевшие никакого понятия о практической стороне человеческой жизни и взаимоотношениях. Все мы ещё смотрели на мир, по юнкерскому выражению, «с высоты птичьего полёта», т.е. попросту говоря, глазами желторотых птенцов. Глубоко обоснованные и благородные понятия об офицерском звании, чести мундира, кастовые традиции кавалерии превращались в нашем мальчишеском понятии в уродливые и карикатурные формы.

В нормальное время эти общие для всей зелёной офицерской молодёжи недостатки постепенно исчезают под руководством старших товарищей в полку, в Новогеоргиевске же как раз этих-то старших руководителей у нас и не было. Не видя перед собой образцов, с которых можно было брать пример, мы сами себе изобрели «идеал» кавалериста по романам Афанасьева-Чужбинина и других, ему подобных авторов, описывающих не без красочности давно прошедшие времена развесёлой гусарской жизни, которая кратко, но выразительно изображена в старой бурцевской песне: «Где гусары прежних лет, где гусары удалые…» Этот «гусар удалой», по Бурцеву и Афанасьеву-Чужбинину, должен был быть на редкость неудобным для окружающих существом, рубака и забияка, забулдыга и пьяница, весь досуг которого распределялся между войной и беспробудным пьянством.

Соответственно с этими «правилами» старались жить и мы, глупые и наивные ребята, которым следовало бы, по крайней мере, ещё года три посидеть на школьной скамье. Все мы в Новогеоргиевске пили или, вернее, делали вид, что пьём. Ни у кого из нас пристрастия к крепким напиткам не было по той простой причине, что его некогда нам было приобрести, ведь всего год назад мы сидели запертыми день и ночь в четырёх стенах корпуса под неусыпным надзором своих воспитателей. Лично я, принадлежа к искони непьющей семье, терпеть не мог вина, от которого меня тошнило. Однако в те времена мне и в голову не приходило признаться в этом товарищам во время попоек, я предпочитал расстройство желудка, чем отказаться от «гусарской пирушки».

В повседневном обиходе мы также всегда и везде изображали «коренных гусар». Невзирая на непролазную крыловскую грязь, мы всюду волочили за собой громоздкие и гремящие сабли и палаши, презрительно относясь к шашкам, которые если и надевали на ученье по уставу, то всегда такие, чтобы они своей кривизной напоминали сабли. Шпоры, массивные и с малиновым звоном, небрежно волочились на наших лакированных сапогах. Офицерское пальто старого сукна впадало в «чернь», темляк носился даже на шашке сабельный. Сапоги были не со стоячими «пехотными» голенищами, а мягкими, погоны были вшитыми. Избегали носить синие брюки, постоянно щеголяя в «краповых» гусарских чакчирах.

Хороший тон требовал также и того, чтобы денщики и вестовые были одеты в полковую форму своим офицером на его счёт. Словом, в нашей среде существовала масса неписаных законов хорошего тона, которые, в отличие от писаных и настоящих, никогда не нарушались. В обиходе «настоящего гусара», кроме того, полагалась азартная карточная игра, которой мы все предавались с увлечением за неимением лучшего. Женитьба считалась извинительной не ранее чина ротмистра, и в особенный образец поэтому ставилась 13-я кавалерийская дивизия, где в действительности существовало это правило. На женщину и любовь господствовал взгляд чрезвычайно легкомысленный, и все мы чувствовали себя очень весело среди «девочек», которые в Новогеоргиевске составляли обязательный элемент всех увеселений неофициального характера. На попойках происходили вещи дикие, хотя и без нанесения обид нашим временным подругам, что считалось недопустимым «хамством». Так, например, с обоюдного согласия одно время было любимым номером так называемая «выводка», устраивавшаяся каждый раз, как только в город прибывала на гастроли новая группа грешниц. «Выводкой» в кавалерии называется осмотр каким-нибудь начальством коней, которых «справа по одному» проводят перед инспектирующим или комиссией для оценки их «тела», содержания и «статей». Так вот, все эти правила выводки применялись и к вновь прибывавшим дамам, причём осматривавшая их комиссия определяла «статьи»,

«постав ног», «сбор шеи» и «общий экстерьер».

Обыкновенно начиналось с того, что «полковой жид» сообщал, что в город прибыл транспорт новых «фифок», после чего через него же молодёжь уславливалась о дне и месте «выводки». Посередине комнаты, где это происходило, ставился стол, вокруг которого усаживалась «комиссия», по стенам располагались зрители, из кухни выглядывали ухмылявшиеся физиономии денщиков. Распорядитель торжественно открывал дверь в соседнюю комнату и подавал туда команду:

− Справа по одной… первый номер… марш!

Из двери в залу появлялась мерным шагом, а иногда, в зависимости от темперамента, и с прискоком, совершенно голая девица, которая, ухмыляясь во весь рот, останавливалась перед столом. Комиссия осматривала её и давала оценку, причём употреблялись чисто технические термины, как: «коровий постав ног», «седловатая спина», «сенное брюхо» или «козинцы».

По окончании церемонии комиссия, гости и девочки садились за совместный ужин, который весело затягивался далеко за полночь. Немногочисленные полковые дамы, проживавшие со своими мужьями в Новогеоргиевске, неоднократно возмущались и жаловались командиру полка, натыкаясь подчас на совершенно «райские» картины гарнизонной жизни. Полковник наводил порядок, сажал под арест, клеймил в приказах, но это мало помогало, и никто свою службу в Новогеоргиевске всерьёз не принимал. Я сам однажды отсидел три дня на гауптвахте за то, что, развеселившись на каком-то гулянии, покатал на седле впереди себя маленькую грешницу, чем чрезвычайно оскорбилась жена полкового командира, попавшаяся нам навстречу. Кроме сиденья «на губе», пришлось ходить к ней с извинениями и выслушать нотацию о падении нравов.

В другой раз, в разгар вечеринки, когда, как говорится, веселье достигло своего апогея, неожиданно открылась дверь и перед ошеломлённым обществом предстала разгневанная супруга проживавшего на другой половине дома поручика, которому мы мешали спать. Живописная группа вокруг чайного стола замерла при этом как очарованная, и выслушала без единой реплики обличение возмущённой соседки, которая не без основания упрекнула всё общество в отсутствии того, что называется стыдом.

С Рыбальченко мы скоро расстались, так как я снял квартиру, или, вернее, две комнаты, у молодой еврейской четы. На кухне поселился мой первый в жизни денщик – запасной солдат Иван Ковальчук, родом литовец из Гродненской губернии. Человек семейный, он очень скучал по жене и детям, и по этой причине за ним уже числился один побег, т.е. самовольная отлучка свыше известного срока после отпуска, который он просрочил. Наказание за это по военным законам полагалось – дисциплинарный батальон, но отбывать его он должен был после войны, и потому это его мало беспокоило. Подобные «самовольные отлучки» и «побеги» в гарнизоне Новогеоргиевска были вещью обычной и, в сущности, являлись попросту просроченными отпусками.

С первых дней пребывания в полку мне пришлось заняться приобретением строевого коня − кардинальным вопросом для молодого офицера, начинающего службу. По условиям военного времени, нам было предоставлено право выбрать себе лошадей из всего находившегося в Новогеоргиевске конного состава, принятого ремонтными комиссиями; деньги за коня в казну при этом вносило военное училище, в которое мы внесли реверс при поступлении. После долгих выборов и советов со старшими офицерами и наездниками я остановился на видном и красивом коне завода графа Грабовского. Как и следовало ожидать, по неопытности и молодости я сделал неудачный выбор, что выяснилось только впоследствии. Мой Амур, имея очень нарядную наружность, или на языке кавалеристов, хороший «экстерьер», оказался слаб на передние ноги, почему часто падал не только на барьерах, но и спотыкался на ровном месте.

Впервые за всю мою жизнь Рождество 1914 года пришлось провести вне дома и на редкость скучно. Все мои однокашники и товарищи оказались дальновиднее и предпочли провести праздники дома, не спеша с приездом в полк, где в них, кстати сказать, и не было

никакой нужды. В день своего совершеннолетия − 28 декабря 1914 года − от нечего делать и от смертной скуки одиночества я проспал до 4 часов пополудни и спал бы дольше, если бы денщик не забеспокоился о своём барине и не вошёл в комнату, считая, что я умер. От нечего делать за первый месяц пребывания в Новогеоргиевске я прочёл от доски до доски всю библиотеку офицерского собрания.

Из Школы в Стародубовский драгунский полк из моего выпуска я вышел единственным, и потому все мои однополчане-стародубовцы в Новогеоргиевске были исключительно тверцы и елисаветградцы: корнет Тенсман и прапорщики братья Шенявские, Гижицкий и Брезгун. Все они казались мне, привыкшему к светскому лоску юнкеров Школы, провинциальными и грубоватыми. Этому впечатлению способствовало и то обстоятельство, что все они были одеты в неуклюжее платье уездного покроя, далеко уступающее творению петербургских знаменитостей, к которому мы все привыкли.

Офицеры Запасного полка, с которыми приходилось встречаться в собрании, казались ещё более чуждыми и далёкими, как по возрасту, так и ещё больше по понятиям. Командовал полком полковник Киндяков, когда-то служивший в жёлтых кирасирах, но теперь уже совсем старый и опустившийся человек, находившийся всецело в руках своей сравнительно с ним молодой супруги, которая им всецело распоряжалась, как в частной жизни, так и по службе. Эта тощая и тщедушная дама держала при себе некоего молодого и румяного корнета Гозулова, носившего яркую форму астраханских драгун, который находился по этому случаю по службе в особо привилегированном положении, за что подвергался постоянно шуткам и насмешкам товарищей.

Помощником командира полка по строевой части был полковник Козлянинов, бывший гвардеец из хорошей дворянской семьи, но потерпевший в жизни целый ряд катастроф, закончившихся тем, что он в уже очень пожилых годах стал на мёртвый якорь в глухом Запасном полку. Как говорили, Козлянинов, имевший горячий и неуживчивый характер, в молодости застрелил в споре товарища, что для него и стало камнем преткновения к дальнейшей нормальной службе. В моё время это был маленький, седой и очень желчный человек, постоянно находившийся в раздражённом состоянии и вечно кричавший на кого-либо из своих подчинённых. В собрании он ведал офицерскими занятиями, во время которых проводил совершенно архаические взгляды, возмущавшие молодёжь, только что сошедшую со скамеек новой кавалерийской школы. Особенно негодовали на него мы, когда, говоря об уходе за лошадьми, Козлянинов защищал давно сданный в архив взгляд о необходимости «сохранения тела» во что бы то ни стало. Дело заключалось в том, что в старое время командиры эскадронов и полков, желая получить благодарность начальства за хорошее состояние в их частях конского состава, старались, чтобы их кони были всегда в теле, т.е. выглядели сытыми и откормленными. С этой целью в ущерб строевой службе и тренировке коней они избегали делать конные строевые учения, от которых, конечно, лошади худели.

Этим способом командиры частей получали благодарность начальства, но от него страдала строевая служба, так как ни солдаты, ни лошади не имели достаточной подготовки и не были втянуты в работу. Кроме того, такое искусственное «тело» было непрочно и опадало с лошади при первом же серьёзном пробеге, а значит, являлось ничем иным, как втиранием очков начальству. Новая школа, наоборот, внушала нам совершенно другой взгляд на этот предмет, а именно, втягивать и людей, и лошадей в работу путём не только строевых учений, но и специальных пробегов, и что только при выполнении таких условий кавалерийская часть сможет выполнить те задания, которые на неё возлагает война. С объявлением войны теория о сохранении «тела» казалась нам ещё более возмутительной, тем более, когда её проводил Козлянинов, человек, которому предстояло сидеть в тылу, в то время как нам предстояло расплачиваться на собственной шкуре за втирание им очков начальству. Была в этом деле и ещё одна тайная сторона дела, нас особенно возмущавшая, хотя, конечно, о ней вслух говорить никто не мог. Она заключалась в том, что заведующий хозяйственной частью, придерживаясь теории о сохранении «тела», мог иметь «экономию»

от фуражных денег, так как лошадей было легче сохранить в сытом виде, если они стоят, ничего не делая, по конюшням, нежели тогда, когда потеют на строевых занятиях. Между тем одна возможность подобной «экономии» возмущала нас, воспитанных на рыцарских началах, до глубины души, мы и мысли не допускали, чтобы подобная вещь могла иметь место в рядах русской кавалерии.

Из других офицеров Запасного полка, с которыми мне приходилось сталкиваться по делам службы, должен упомянуть ротмистра Мартиновского, к которому вскоре после приезда в Новогеоргиевск я попал под начало. Это был видный и бравый офицер лет 35, спортсмен и скакун, как это и требовалось для обер-офицеров запасного полка, одной из задач которого была подъездка молодых лошадей для передачи в строевые полки. Ротмистр был строгий и взыскательный командир, хорошо знавший службу. Хотя он и испортил мне немало крови, но делал это в интересах службы.

Только после Нового года начали съезжаться мои школьные товарищи, которые скоро составили тесную компанию николаевцев. Это были ахтырцы Скобельцын, Спечинский, Беляев; белгородцы Баллод, Рыбальченко; лубенцы Стори, Тлустовский. Приехал и выпущенный в Лубенский полк «красный» Крживоблоцкий, с которым по-прежнему никто из нас не поддерживал никаких отношений.

Со Скобельцыным мы скоро сошлись более близко, вероятно, по атавизму, так как когда-то его деды очень дружили с моими, будучи соседями по имениям в Курской губернии. Вдвоём с ним мы часто делали дальние пробеги вокруг города, тренируясь сами и тренируя наших коней. Окрестности Новогеоргиевска представляли собой живописные новороссийские степи по левому берегу Днепра и луга по правую, уходившие в невероятную даль, где, словно в тумане, виднелся городок Крюков. Сам Новогеоргиевск, живописно разбросанный по обрывам и над оврагами, на три четверти представлял собой заросшую садами украинскую деревню, в которой преобладали над постройками городского типа белые хатки и вишнёвые сады. На север из города шла дорога на Кременчуг, на юг вдоль Днепра шло по историческим местам Чигиринское шоссе, вдоль которого когда-то шумели буйные ветры Хмельницщины. Недалеко от Крюкова находилось урочище «Овечьи воды», где когда-то Хмельницкий нанёс поражение польским войскам. Сам Новогеоргиевск распадался по-старинному на «Крылов польский» и «Крылов русский», так как когда-то здесь проходила старая граница Польского Королевства. За городом на юг начиналась степь, то самое «Дикое поле», по которому бежали когда-то в Сечь искавшие «воли» казаки. Острова, на которых находилась Сечь, были ниже Новогеоргиевска по Днепру верст на 50. Город, расположенный на стыке трёх украинских губерний: Полтавской, Киевской и Екатеринославской, –находился в самом центре Малороссии. В городке, как водится, имелись украинские самостийники, хотя и довольно невинного направления. С одним из них мне удалось познакомиться на почве охоты. Это был инженер-механик Добровольного флота Лихошерст, один из немногих штатских людей Новогеоргиевска, из-за войны осевший на берегу в собственном белом и уютном домике. Лихошерст был влюблён в свою «матку Украину», и дом у него был обставлен в украинском стиле чисто и очень мило. На стене в гостиной у него висела большая картина на историческую тему «Гисть с Запорожа», на которой был изображён живописный запорожец, пришедший в гости на малороссийскую пасеку и восторженно встречаемый хозяевами.

Благодаря этому знакомству пришлось побывать несколько раз на охоте в окрестностях в казённом лесничестве. Охотились на коз, причём бывший с нами мой однокашник по Школе, корнет Беляев, едва не замёрз в своём офицерском пальто и тонких петербургских сапожках. Ездить приходилось вёрст за 40 от города на «дробыне», запряжённой парой жидовских «коняк». Таких крохотных и жалких лошадёнок я ещё никогда не видел в жизни, вероятно, это какая-нибудь специальная жидовская порода. Убить мы ничего не убили, но зато ночь провели весьма приятно под гостеприимной кровлей лесничего в густом и чудесном лесу, запорошённом снегом и инеем. При луне ночью этот лес, густо обступивший со всех сторон домик лесничего, имел волшебный вид. Возвращаясь

домой, мы своей тяжестью совершенно разломали еврейскую «дробыну», которая от этого стала вдвое шире. Жид-возница не упустил случая сорвать с нас добавочную плату под предлогом, что «загублено сиротское имущество, и сам он замёрз, як пёс».

При въезде в город встретили на улице Каплана, который в числе других новостей, каковыми он был всегда напичкан, сообщил нам, что вчера вечером застрелился корнет Стародубовского полка, имени которого он не знает. Это оказался старший из офицеров- стародубовцев в Новогеоргиевске корнет Тенсман. Причина была та, что, влюбившись в молодую хохлушку-мещанку, он хотел на ней жениться, но, конечно, не получил на это разрешения. Девица по этому случаю приняла яд, а Тенсман пустил себе пулю в лоб под звуки похоронного марша, который играл его граммофон. Девица не умерла, а только проболела три дня, корнет же убил себя начисто. На похороны приехала его мать и маленькая сестрёнка лет десяти, на которых было тяжело смотреть. Похороны были торжественные с музыкой и залпами над могилой, за гробом вели коня Тенсмана в траурной попоне. Нелепая, и, как выяснилось, глупая смерть; после смерти своего возлюбленного девица очень скоро утешилась и пустилась во все тяжкие.

Службы до самой весны не было почти никакой, если не считать дежурства по дивизионным кухням, во время которых нужно было присутствовать при раздаче пищи, а в остальное время за неимением лучшего скучать в собрании, где круглые сутки подряд несколько человек вяло, как осенние мухи, стукали шарами на бильярде. В первое дежурство по дивизиону я по ошибке и неопытности присутствовал не на той кухне, за что получил выговор в приказе. Ночью меня вызвали для ликвидации скандала между гусарами и полицейским чином. Как оказалось, ахтырцы обидели еврея, забрав у него «поленья», полицейский в это дело вмешался и потребовал возвращения похищенного имущества. Солдаты оскорбились, что им что-то приказывает гражданский чин, и обложили его военными словами. Чин обиделся, в свою очередь обругал их «самозванцами» и, вытащив револьвер, пригрозил смертоубийством. Прибыв на место происшествия, я выяснил, что все заинтересованные в этом деле лица были пьяны до положения риз.

Всё свободное от занятий время, которого было около двадцати четырёх часов в сутки, наша компания употребляла по большей части на «разумные развлечения», как в Новогеоргиевске называли азартную карточную игру. Собирались обычно на квартире, где жило по несколько человек офицеров, и там резались до утра в «железку», благо, денег было много и девать их в этом медвежьем углу было некуда. На столе обед сменял ужин, за которым присутствовали «дамы нашего круга». Особенно отличался азартом в игре ахтырец Плышевский, живший вместе с однополчанином, прапорщиком запаса Булатовым, усатым и пожилым человеком с вечной трубкой в зубах. Усач этот был преподавателем Одесского корпуса, который в своё время окончил Плышевский, откуда и началось между ними знакомство. Педагог с трубкой очень возмущался нашей карточной игрой, стыдил за неё Плышевского, приводя при этом очень разумные доводы «воспитательного характера»:

− Ты, брат Плышевский, человек ещё несерьёзный… мальчишка. На эти двести рублей, что ты сегодня проиграл, можно было выписать и содержать два месяца девочку из Кременчуга.

В марте к нам прибыли молодые офицеры, выпущенные вторым ускоренным выпуском из Школы, и с ними, к общей неожиданности, наши старые товарищи, оставшиеся на второй год, Мершавцев и барон Штрик, оба в юнкерской форме. Оказалось, что они оба изгнаны генералом Марченко из Школы за «цук», с которым упрямый генерал продолжал свою безнадёжную войну. С этой целью он даже образовал в училище два эскадрона, чем отделил младший курс от всякого сношения со старшим. Встретили мы «пострадавших за убеждения» однокашников как нельзя лучше, и на торжественном обеде благодарили их за верность и преданность старине. Мершавцев был выслан в ахтырские гусары, а Штрик в Крымский конный полк. С последним мы очень подружились и стали закадычными друзьями. Родом он был из прибалтийских баронов, помещик и охотник, большой любитель конного дела, что нас очень сблизило.

Весной 1915 года с очередным эскадроном своего полка барон фон Штрик ушёл на фронт с определённым предчувствием, что с войны ему не вернуться. Предчувствие это оправдалось, и он был убит в первых же боях, не дождавшись производства в офицеры. На память он мне подарил английское охотничье седло.

Мершавцев, широкоплечий, чёрный, как цыган, брюнет, родом из Кривого Рога, поселился совместно с двумя новоприбывшими ахтырцами Базилевичем и Косигловичем недалеко от меня. Квартира трёх приятелей скоро стала для всех нас центром картежа и пьянства. К этим двум занятиям прибавилось скоро и третье – спиритические сеансы, до которых оказался большим охотником Мершавцев. Все мы, кроме него, всерьёз этих занятий не принимали, хотя, надо правду сказать, не раз получались на сеансах любопытные явления. Потешаясь над верой Мершавцева во всё таинственное, мы с Косигловичем помогали руками и ногами столику отвечать на вопросы. Благодаря этому однажды стол озлился и потребовал самым решительным образом, чтобы Мершавцев убирался из комнаты, иначе с ним случится сейчас несчастье. Испуганный спирит поспешил послушно покинуть тёмную комнату и скромно уселся в соседней столовой, где на столе стоял ужин и кипел самовар. Однако мы на этом не успокоились, и стол с окружавшими его спиритами пополз из темноты в столовую, как раз в тот угол, куда забился с круглыми от ужаса глазами Мершавцев. Медленно подвигаясь, стол зажал испуганного спирита к самому самовару, где прыгнул на него всеми четырьмя ножками, вырвавшись из наших рук. Под общий хохот одуревший от ужаса Мершавцев лихим прыжком оказался в грязных сапогах прямо на скатерти рядом с самоваром.

Нервность нашего главного спирита скоро передалась и всем нам, почему, вероятно, стол стал с каждым вечером давать всё более разумные ответы. Однажды он ответил совершенно точно, как зовут мою покойную маму, хотя никто из присутствовавших с семьёй моей никогда не был знаком, а сам я во избежание жульничества к столу не прикасался и сидел в стороне.

Во время спиритических сеансов на кухне всегда околачивались два денщика, готовивших ужин и допивавших бутылки. Следя за господским времяпрепровождением, все эти уланы и гусары также заинтересовались спиритизмом и как более неискушенные души свято поверили в чертовщину.

Весной 1915 года в мае после одного особенно удачного сеанса, когда столик превзошёл самого себя и нервы у всех были особенно взвинчены, кому-то из нас пришла в голову мысль испытать храбрость присутствующих. В Новогеоргиевске было на обрыве горы над Днепром старое кладбище, всё заросшее кустами сирени и белой акации. На самом его видном месте стоял белый памятник – бюст госпоже Энгельгардт, жене командира Орденского кирасирского полка, стоявшего в городе в старые николаевские времена. С именем покойной, очень красивой молодой женщины, была связана какая-то таинственная романтическая история, а о могиле её в городе ходили слухи, что около неё «не совсем чисто» по ночам. В лунные летние ночи белый памятник среди тёмной зелени был виден далеко кругом и действительно производил жуткое впечатление.

Так вот, тем, кому пришла в голову идея испытать храбрость товарищей, было предложено отправиться к памятнику и повернуть бюст покойной Энгельгардт спиной к Днепру. На это предложение никто не отозвался, а Мершавцев, подошедший к окну взглянуть на освещённый луной памятник, в ужасе заявил, что он умрёт на месте, если хоть один из нас выйдет из дому для этого кощунства. Видя, что из нас, офицеров, никто своей храбрости доказывать не хочет, мы вызвали из кухни трёх денщиков, которым было предложено за четвертной билет отправиться «в гости к Энгельгардт». Солдаты наши отнеслись к этому предложению с нескрываемым осуждением, а старший из них – мой Иван – перекрестился и за всех ответил, что они «никак не согласны губить свои хрестьянские души за деньги, да ещё перед тем, как идти на войну, да и всё равно никто из них до кладбища не дойдёт, а всё одно помрёт со страху».

Спиритизм сыграл с нами, как оказалось, скверную штуку, расстроив не только

барские, но и солдатские нервы. Стыдно сказать, но никто в эту ночь ни из солдат, ни из офицеров домой спать не пошёл, все остались ночевать у Мершавцева, который этому обстоятельству был рад больше всех. Впоследствии я много раз проходил ночью мимо памятника Энгельгардт без всякого неприятного чувства, а однажды в компании с одной милой девушкой просидел у его подножия до рассвета, причём оба мы были настроены соседством этой могилы поэтически.

Конечно, причиной нашего коллективного страха был спиритический сеанс, расстроивший всем нервы, а уж никак не робость, в которой вряд ли можно было подозревать кого-либо из тогдашних молодых офицеров, ещё менее согласных в этом признаться публично. Вопросы мужества и храбрости в тогдашней среде кавалерийских офицеров были вещи, с которыми шутить не приходилось, и сомнения в этом, с чьей бы то ни было стороны, была вещь недопустимая. Да и, кроме того, почти все участники сеансов у Мершавцева, как и он сам впоследствии, погибли героями во время войны…

Ранней весной 1915 года были сформированы четвёртые маршевые эскадроны, где молодёжь начала службу, по которой буквально уже истосковалась. В эскадроны поступили солдаты, снаряжение и кони из ремонта. Солдаты состояли из призванных из запаса солидных людей лет тридцати и старше, из которых больше половины отбывали службу в гвардии, почему службу все знали хорошо, но на ученья выходили неохотно. Чувствовалось, что в отличие от солдат действительной службы, их служба не интересует, войны они не хотят и все их помыслы в родных деревнях, где оставлены семьи и хозяйство.

Вахмистром оказался запасной жёлтый кирасир, бравый рыжеусый Лисун, отчаянный пьяница и наездник старой школы. На ученьях он любил показывать, как ездили в «доброе старое время», причём «чёртом» заваливался в седле назад и в таком виде брал барьеры, правда, не всегда удачно, так как уже отяжелел и хронически находился под мухой. Эскадронный командир корнет запаса Ульгрен, солидный екатеринославский помещик, напрасно старался вытрезвить своего ровесника, дикого вахмистра, в трезвом виде тот сразу скисал и терял всякую энергию.

Ко мне Лисун, кстати сказать, видный мужчина хамской красоты, при геройских усах и с оловянными глазами, почувствовал сразу симпатию и часто вёл «политичные» разговоры о солдатском житии-бытии. Как-то я ему попенял, что запасные не только не подают в качестве старых солдат пример молодым, а сами, где только могут, неглижируют в исполнении своих обязанностей. На это вахмистр мне ответил очень резонно, что «запасного с действительным равнять не приходится»; на действительной он, Лисун, «сам орлом был, а теперь омужичился и опять хохлом стал».

− Опять же сказать… равнять молодого хлопца с запасным нельзя. Ему двадцать годов, а мне все сорок. Наш брат сядет на коня, а у него мысли − дома с бабой да ребятишками. Выходит не солдат, а одно горе ходячее… Нашему брату теперя отчётливо что сделать, так над этим умереть можно… Одно слово – старики!

Слова вахмистра были будто хорошие, правильные, что не мешало Лисуну брать взятки с запасных, чтобы он не очень «нудил их службой». Вообще надо сказать, что, как правило, самые худшие начальники для солдата – это те, которые вышли из солдатской же среды, т.е. унтер-офицеры, вахмистры и подпрапорщики, они к тому же находятся день и ночь среди солдат. Какой бы строгий и придирчивый ни был офицер, он по окончании занятий уходит из казармы, а какой-нибудь взводный или отделенный остаётся рядом с солдатом все 24 часа в сутки. Большинство из этого солдатского начальства − мелкие тираны и хуже всякого настоящего начальства. Пара «лычек» на погонах меняет самого скромного на вид солдата, сразу у него появляются начальнические интонации, походка меняется, появляется апломб и самоуверенность, физиономия начинает жиреть, словом, из человека, по казарменному выражению, получается скоро «шкура». Бывают, конечно, и исключения, однако не всегда и не везде желательные, как, например, один из наших взводных – Брежнев. Он был фабричный, говорил языком полуинтеллигента, к солдатам относился без всякого начальнического давления, по-товарищески; перед офицерами же предпочитал больше

помалкивать и держать язык за зубами. Было совершенно ясно, что Брежнев, несомненно, с «красным душком» и навряд так молчалив в казарме, когда остаётся с солдатами один без свидетелей. Своих трёх нашивок он долгое время не хотел носить и надел лишь по категорическому приказанию эскадронного командира.

С момента сформирования эскадрона весь день мой оказался наполненным занятиями. Утром все младшие офицеры должны были являться на чистку и кормовку коней, которая происходила в 7 часов утра на чистом воздухе у коновязей. Затем каждый из нас, разобрав свои взводы, отправлялся с ними на какой-нибудь пустырь или площадь, которых в Новогеоргиевске, как во всяком степном городе, где не стеснялись местом, было великое множество. На пустырях этих происходила манежная езда для выправки, посадки и тренировки коней, рубка глины и лозы, приёмы пикой и колка ею соломенных чучел, прыганье через барьеры и, наконец, взводное учение, конное и пешее по конному. Так называемой «словесности» мы не касались, запасные солдаты всю эту премудрость в своё время прошли на действительной службе, а на войне она была ни к чему. Вместо томительного безделья, толкавшего нас на всякого рода глупости и мальчишества, день наш теперь наполнился содержанием и интенсивной работой, которой мы, молодёжь, увлекались, так как все попали в конницу по призванию. После обеда до сумерек следовали опять так называемые «офицерские занятия».

Одновременно с солдатами обучались и мы сами, с той разницей, что они вспоминали прошлое, а мы, зная теорию, учились теперь практике командования. Почему-то в военных школах, где нас много и тщательно обучали строевой службе, никто не заботился о том, чтобы поучить юнкеров трудному ремеслу командования. Этому приходилось уже самим учиться перед строем эскадрона или сотни, что было нелегко для людей, не имевших достаточно апломба. Нам в Новогеоргиевске пришлось в этом отношении особенно туго. Здесь отсутствовало старшее офицерство, руководившее в мирное время каждым шагом молодёжи в полку и следившее за тем, чтобы молодой не наделал перед нижними чинами ошибок, ронявших офицерский престиж. У нас же, кроме того, были в строю не молодые солдаты, не знавшие службы, а старики, практически знавшие строевое дело лучше молодого офицера. Мне лично, например, было очень трудно при эскадронных учениях с кавалерийскими сигналами, за полным отсутствием музыкального слуха. Между тем в этом случае все перестроения приходилось делать по сигналам, подаваемым трубачом издали. На помощь мне пришёл взводный, мой земляк из Щигровского уезда, знавший меня с детства. На конных учениях он всегда подсказывал мне сигналы, пока я их не заучил сам на память.

Эти первые дни своей настоящей службы я вспоминаю теперь с тёплым чувством и удовольствием. Особенно помню одно утро из этого периода жизни. Ранняя весна 1915 года. Город весь полон яркой молодой зеленью рощ и садов. Кругом, вплоть до голубого горизонта − океан изумрудной степи. В Заднепровье под лучами восходящего солнца тают последние остатки утреннего тумана. Весенний чистый воздух прозрачен и свеж, природа кажется умытой и радостной. Сам я, молодой и свежий, чувствующий в каждом движении бодрость и здоровье, иду на строевые занятия. Вместо надоевшего до тошноты, волочащегося сзади палаша, на мне лёгкая шашка и походное снаряжение. Сегодня у нас эскадронное учение, и все четыре взвода под командой Ульгрена идут за город на огромный луг, на котором в старину происходили полковые и бригадные манёвры.

На улицах по дороге в эскадрон идёт энергичная деятельность проснувшегося военного лагеря. В воздухе пахнет бодрым запахом конского навоза, пота и сена. Повсюду видны коновязи с длинными рядами коней, жующих свою «порцию». Вокруг них снуют фигуры солдат в одних рубашках с засученными рукавами. Зычно покрикивают вахмистры, суетятся взводные и отделенные, горланя и ругая солдат. На площади по растоптанному конскими копытами навозному кругу друг за другом, то шагом, то рысью крутятся всадники на манежной езде. Прыгают, брызгая грязью, через барьеры, крутятся над головами тонкие пики, взблескивают на рубке шашки.

Подойдя ближе, я увидел, что эскадрон уже стоял в конном строю, перед которым

вестовой Гладыш держал осёдланного по-походному Амура. Конь танцевал на месте от нетерпения и звенел удилами. Когда я садился в седло, он по привычке мотнул головою, делая вид, что хочет укусить меня за колено. Подъехал Ульгрен на тяжёлой рыжей кобыле, которому я скомандовал: «Смирно, господа офицеры!» На громадном плацу, уходящему в призрачную даль степей, уже сходились в атаках, окружали друг друга и обходили противника эскадроны. Ещё дальше, в широком степном овраге, было полковое стрельбище, слышались залпы, и звучала трескотня пачечной стрельбы, от которой кони тревожно пряли ушами.

Через два часа, усталые и потные, на тяжело дышавших, в мыле конях, мы возвращались в город. Ученье сошло как нельзя лучше, мы много раз подряд проделывали всевозможные заезды то правым, то левым плечом, то на рыси, то на галопе, повзводно и поэскадронно, ходили церемониальным маршем мимо стоявшего на пригорке с трубачом Ульгрена, ходили в атаку «уступами» и развёрнутым строем по тяжко гудевшему от сотен копыт полю, разбрасывая далеко кругом грязь и молодую весеннюю травку. Весёлые и усталые, мы ехали теперь впереди эскадрона, окружив Ульгрена, который на своей крупной лошади солидной помещичьей фигурой очень напоминал памятник императору Александру III у Николаевского вокзала, который так прекрасно выражает дух царствования этого поистине русского царя.

Однажды, возвратясь с ученья, я нашёл дома солидный пакет из полковой канцелярии, в котором оказалось предписание и материал для производства дознания по делу о побеге со службы драгуна Дионисия Сметыны. В число обязанностей строевого кавалерийского офицера в старое время входило и производство предварительных дознаний по разного рода военным правонарушениям, на какой предмет нам из Школы в числе других уставов была выдана и книжка «о производстве дознаний».

Пришедший в сопровождении вахмистра вечером ко мне на квартиру Сметына оказался очень симпатичным и добродушным преступником, даже и не искавшим какого бы то ни было оправдания своему преступлению. Ему предъявлялось обвинение в трёх побегах, что по законам военного времени считалось вещью очень серьёзной. «Побегом» на военно-юридическом языке называлась «самовольная отлучка» сверх определённого времени, и в Новогеоргиевске была масса солдат, повинных в этом правонарушении. Отпусков в военное время не полагалось, а потому стосковавшиеся по дому солдаты в экстренных случаях уезжали домой самовольно. Они справедливо полагали, что всё равно наказание придётся отбывать после войны, а когда она кончится, ведал один Господь, да и, кроме того, на войне могли человека убить, а с мёртвого никакое начальство взыскать всё равно ничего не сможет. Гауптвахта в Новогеоргиевске была всегда полна арестованных, «за самовольные отлучки» и «побеги» ожидающих суда, и эти преступления с течением времени приобрели чисто бытовой характер. К чести «беглецов» надо сказать, что все они после побывки неизменно возвращались в полк, за исключением таких, которые бегали не домой, а на… войну. Как это ни странно, но были и такие преступники, которые, скучая в Новогеоргиевске, не дожидаясь своей очереди, тайно уезжали с уходящим на фронт пополнением. Если таких добровольцев ловили, то сажали на гауптвахту и «подвергали» одинаковой ответственности с прочими беглецами, независимо от мотивов побега, так как военные законы не могли в мирное время предвидеть таких оригинальных преступлений.

Однажды в Новогеоргиевск приехал важный инспектирующий генерал, посетивший в числе других военных учреждений и гауптвахту. Здесь он изумился огромному числу арестованных за побеги и потребовал сведения более подробные. Было это в начале войны, когда она была очень популярна среди военнослужащих действительной службы, которые не хотели ждать своей очереди и сами стремились попасть на фронт. Оказалось, что в Новогеоргиевске на гауптвахте, за исключением двух-трёх арестованных, все преступники были этой категории. Генерал умилился их патриотизму, прослезился, поблагодарил за службу царю и родине и всех освободил… вопреки закону.

Мой подследственный Дионисий Сметына не принадлежал к этой категории

беглецов-патриотов, а трижды покинул самовольно службу и «смотался на Полтавщину» по той причине, что каждый раз «помирала» его мать. Вызванный письмом родных в первый раз, он, приехав в родную деревню, прожил дома неделю в ожидании, пока мать «преставится», но мама его «отдышалась», и он вернулся на службу. Через месяц пришло письмо, что мать опять помирает. Сметына отлучился самовольно во второй раз и с тем же результатом. Та же история повторилась и в третий раз. Мать, как говорится, не умерла, а только время провела, любящий же её сын стал из-за этого тяжким преступником.

Вскоре после Рождества 1914 года я как-то написал в Геленджик письмо сторожу Ивану, прося его выслать мне в Новогеоргиевск бочонок вина. В марте пришла большая почтовая посылка, как я был уверен, с вином. Но оказалось в ней не вино, а забытые когда-то мною в Петербурге в гостинице «Россия» вещи. Среди них было много предметов, которые можно было забыть только действительно в ненормальном виде, как например, походная шинель, шашка и бинокль. Всё это высылала мне из столицы по собственной инициативе администрация гостиницы… из патриотических чувств.

В конце марта совершенно неожиданно в Новогеоргиевск приехали папа с Сонюшей. Пробыли они у меня неделю, во время которой с большим интересом наблюдали за жизнью и бытом нашего гарнизона. Перед отъездом отец признался мне, что из всех видов военной службы кавалерия ему кажется наиболее интересной. Сестра тоже была очарована бравым видом гусар и улан и своими многочисленными кавалерами, моими товарищами, которые не ударили в грязь лицом и показали себя с самой лучшей стороны перед барышней из своего круга.

Начиная с февраля, как только сошли снега, начался для маршевых эскадронов период боевой стрельбы. Эскадроны по очереди ходили на стрельбище для упражнений в стрельбе по мишеням. Для этого с раннего утра далеко вокруг стрельбища, расположенного в широкой балке за городом, выставлялось конное оцепление, а затем назначенные для стрельбы части часов в 9 утра начинали стрельбу. Мишени, подъёмные и неподвижные, были укреплены над блиндажом, в котором сидели махальные. По окончании стрельбы они должны были показывать особым шестом с красным кругом попадания в мишень и замазывать извёсткой дыры от пуль. Сигнал, как для начала стрельбы, так и для прекращения, подавался трубой. Постреляв по мишеням вместе со своим эскадроном, мы, молодые офицеры, по очереди садились в окоп к махальным, чтобы послушать музыку пуль, проносившихся над блиндажом. Впечатление, особенно в первую минуту, прямо одуряющее, так как не только слышен свист каждой пули, выпущенной по мишеням, но и, кроме того, музыка эта весьма разнообразна, так как отдельные пули, попадая в насыпь, рикошетируют, и воют, и визжат, как ведьмы, на самые неожиданные и жуткие голоса и тоны.

Помимо обычной стрельбы пачками и эскадронными залпами, офицеры и унтер- офицеры упражнялись в стрельбе из револьверов в пешем и конном строю. Для конного строя имелись особые мишени, изображавшие скачущего всадника. По ним была самая трудная стрельба, так как многие лошади, не привычные к звукам выстрелов, пугались, метались и вставали на дыбы. Амур мой в этом отношении оказался хуже других, и всю стрельбу проходил, по выражению вестового Гладыша, «на дыбках, як тушканчик». В строю он вообще, несмотря на все усилия мои и наездников, никак не мог вести себя прилично, постоянно пугаясь барьеров, чучел и даже взмахов шашки собственного всадника. Сидеть на нём во время рубок лозы или глины была вещь чрезвычайно неудобная, так как он постоянно обносил все препятствия. В связи с этим пришлось сдать его для систематической выездки старшему наезднику Запасного полка подпрапорщику Федотенко.

Федотенко этот − фигура очень любопытная, на которого его ремесло наложило характерный отпечаток. Несмотря на свою чисто хохлацкую фамилию и происхождение, он всем своим видом напоминал не малоросса, а англичанина-наездника. Высокий, сухой и тощий брюнет, он держался необыкновенно прямо и поражал лихой выправкой. Одет он был всегда весьма шикарно и всем своим видом старого кавалериста производил импонирующее впечатление. Федотенко много лет подряд состоял на сверхсрочной службе, окончил школу

наездников при офицерской кавалерийской школе и являлся великим знатоком лошади и её выездки. В полку он пользовался большим уважением среди офицеров за прекрасное знание дела и зарабатывал хорошие деньги. Под ним самая капризная и нервная лошадь шла, как шёлковая, и выполняла все требуемые от неё манёвры. На барьерах Федотенко был неподражаем и вызывал в нас, молодых офицерах, вполне понятный восторг.

Во время выездки Амура я две недели подряд с фотографическим аппаратом в руках следил за его ездой в манеже и много раз заснимал прыжки через барьеры. По своей слабости на передние ноги Амур мой частенько спотыкался на препятствиях и падал. И всякий раз Федотенко, как кошка, оказывался на ногах, не выпуская из рук по уставу повода, хотя злосчастный Амур, случалось, переворачивался при падении через голову.

Интересовался Федотенко не только одними лошадьми и конным делом. Под предлогом осмотра и выездки моей лошади он частенько приходил ко мне на квартиру, которую в это время я снимал на Тясминской у бородатого акцизного чина. Долгое время я принимал визиты наездника за чистую монету, удивляясь его рвению и любви к делу, но скоро пришлось убедиться, что его привлекал отнюдь не мой Амур, а хозяйская горничная Фрося, красивая и стройная хохлушка, влюбившаяся в лихого наездника по уши. Этим последним обстоятельством Федотенко не преминул воспользоваться, и дело окончилось скандалом. Девочка забеременела и после отказа Федотенко на ней жениться пожаловалась начальству. Дабы выйти из неприятного положения и избегнуть ответственности, Федотенко с моими вестачами пытались безуспешно подсунуть эту девицу мне. Но при всей моей неопытности дело это не выгорело и хитрого кавалериста его эскадронный командир потянул-таки на цугундер.

И мои хозяева, и я сам приняли участие в судьбе обманутой девицы, что дало мне случай ближе познакомиться с ними. Оба старичка оказались тихими и интеллигентными людьми, скоро ставшими со мной большими друзьями. У них в доме, кроме меня, жил и другой офицер, прапорщик Астраханского драгунского полка последнего выпуска Елисаветградского училища Мамович. Происходил он из скромной провинциальной семьи и до войны учился в Александрийском сельскохозяйственном училище. Бог весть почему, пришла ему в голову идея пойти в кавалерию, к которой ни он сам, ни его семья не имели никакого отношения. Четыре месяца, проведённые в училище, не сделали из него не только кавалериста, но даже и просто военного человека. Он оставался совершенно штатским человеком, как по внешнему виду, так и по психологии, несмотря на яркую форму, которую носил. Подражая товарищам и их военному аллюру, приобретённому многими годами муштровки, он производил самое комическое впечатление и являлся какой-то карикатурой. В среде товарищей он не пользовался ни расположением, ни уважением, как элемент чуждый и случайный. Зачем пошёл он в кавалерийские офицеры и чем руководствовался в этом своём намерении, было совершенно не понятно, тем более, что никаких средств не имел, и старушка мать, у которой он был единственным сыном, выбивалась из сил, чтобы содержать его в полку.

С началом весны 1915 года в город стали всё чаще наезжать всевозможные инспектирующие генералы. Из них особенно досаждали генералы Здроевич и Винтулов. Первый был бригадным запасных полков, и целью его наездов была подготовка строевая и теоретическая маршевых эскадронов и испытание знаний в теории и практике службы молодых офицеров. Каждый свой приезд он устраивал всем нам манежную езду, которая представляла собой очень красивое зрелище, благодаря фуражкам всех цветов радуги, так как в езде участвовали офицеры обеих дивизий. Однако в смысле отчётливости езда эта оставляла желать очень многого, главным образом, из-за лошадей, которые были совершенно не объезжены и не привычны к манежному делу. Вечером генерал проверял в собрании знание офицерами уставов, причём неожиданно разгорелся опять спор между представителями старой и новой школы. На этот раз вопрос шёл о скребнице, которой по старым понятиям чистили лошадь, а по-новому полагалось чистить не коня, а щётку.

В начале 1915 года пришлось пережить много неприятного в связи с историей,

которая случилась дома с отцом. Она очень характерна для своего времени, и служит яркой иллюстрацией к тому, как левая печать предреволюционного периода не стеснялась в средствах и способах, чтобы так или иначе бросить тень на людей инакомыслящих, имевших мужество открыто принадлежать к правому лагерю.

С началом мобилизации отец по своей должности уездного предводителя дворянства был обязан присутствовать как председатель на всех рекрутских наборах и мобилизациях, как людских, так и лошадиных. В первый год войны наборы эти производились чуть не каждый месяц и отнимали у отца много времени, необходимого ему для собственных дел и хозяйства. Чтобы не привести имения в расстройство, отцу приходилось иногда отсутствовать на том или ином наборе в воинском присутствии в Щиграх, передавая председательство своему заместителю. Подобные вещи были законны и происходили по всей России, вероятно, со всеми предводителями. Однажды во время одного из таких отсутствий отца в воинском присутствии, как на грех, были представлены в набор лошади из нашего имения. Не то случайно, не то для того, чтобы, по их мнению, сделать приятное своему председателю, комиссия приняла лошадей отца по повышенной оценке, за что отец никак не мог нести ответственности, раз он даже не присутствовал при этом, да и всё дело заключалось в каких-нибудь трёх сотнях рублей.

Политические враги отца и, главное, дяди, ища возможности напакостить правым лидерам губернии, этого случая не упустили и пожелали им воспользоваться в своих интересах. Было донесено какими-то радетелями губернатору Муратову в Курск со всевозможными прикрасами об этом «вопиющем деле», и мельница заработала. Муратов, давно точивший зубы на отца и дядю, которые не ставили его ни в грош, немедленно возбудил официальное дело, которым, конечно, воспользовались левые газеты, поднявшие целую кампанию против отца, назвав её почему-то «дело о щигровских лошадках». Дело кончилось весьма скандально, как для губернатора Муратова, так и для левых кругов. Такие должностные лица, как уездные и губернские предводители, в случае служебных преступлений были по старым законам подсудны прямо Сенату, куда отец и был вызван для дачи объяснений в январе 1915 года по делу, возбуждённому против него курским губернатором.

Как и следовало ожидать, Сенат, выслушав объяснения отца, прекратил дело и сделал выговор Муратову за возбуждение дела без достаточных оснований. Этим вопрос «о щигровских лошадках» не кончился. Курское дворянство, оскорблённое за отца, зашевелило своими петербургскими связями, и Муратов был не только смещён с занимаемой должности, но и переведён даже из Министерства внутренних дел куда-то в отдел снабжений. Решение Сената по делу отца сняло у меня с плеч целую гору, так как газеты два месяца подряд склоняли фамилию Марковых во всех падежах, и меня в полку уже начали спрашивать, не родственник ли мой Марков – герой истории «о щигровских лошадках».

Вскоре после визита в Новогеоргиевск генерала Алымова с инспекторским смотром прибыл к нам инспектор ремонта кавалерии Винтулов. Он был в 1915 году самый старый генерал русской службы и принадлежал к первому выпуску нашего корпуса в Воронеже. Выстроив всех молодых офицеров двух последних выпусков на плацу, он поздравил нас с производством, причём в короткой речи, которую произнёс, прибавил, что пятьдесят лет тому назад сам пережил этот счастливый день. Затем генерал, несмотря на свой преклонный возраст, выстоял подряд четыре часа на выводке лошадей, которых подробно и добросовестно осмотрел. Вахмистры каждого эскадрона становились при этой церемонии против генерала-инспектора и громким голосом выкрикивали имена коней, которых проводили перед начальством солдаты, год ремонта и завод. По поводу лошадиных имён среди начальства было много потехи, так как имена были подчас более чем оригинальные и всецело принадлежали вахмистрскому изобретению. Вахмистров винить не приходилось: закон предписывал, чтобы кони одного и того же года ремонта носили имена, начинавшиеся на одну букву. Придумать же несколько сотен имён на одну и ту же букву было, конечно, нелегко для не очень грамотного человека, каким был вахмистр, на обязанности которого

лежало крещение коней. Немудрено, что на каждой выводке начальство помирало со смеху, когда ему представляли коня Блудократа или кобыл Чижевазелиновую и Атличную.

На масленицу я неожиданно попал в отпуск домой «по очереди», как выразился военный писарь, принёсший мне отпускной билет. Официальных отпусков в военное время не полагалось, и моя поездка в родные места именовалась «командировкой в г. Щигры за покупкой тёплой одежды».

В Щиграх, где мы с сестрой и Женей провели весёлую масленицу, тётушки и бабушки очень старались сблизить меня с некоей родственницей, кузиной матери, молодой барышней, по-видимому, с серьёзными намерениями. Барышня была очень милая, но кроме родственных чувств, между нами ничего другого оба мы взаимно не почувствовали, хотя проектируемый дамами брак как нельзя лучше гармонировал со всеми родственными и материальными соображениями.

Время прошло весело и беззаботно среди родственной молодёжи. Перед отъездом все мы снимались порознь и группами, и, между прочим, на одной оригинальной группе кузина, я и кузен Юрий Бобровский снялись рядом в косынках сестёр милосердия, так что были видны только головы. Эта фотография показывалась всем знакомым, и никто не мог догадаться, что двое из трёх сестёр − мужчины. Старый и глухой помещик, над которым потешалась молодёжь, даже заявил, что ему больше всего нравится «средняя», т.е. я.

По возвращении в Новогеоргиевск я попал в самый разгар всяческих смотров, которые шли один за другим. Начальство готовилось к скорому выступлению очередных пополнений, отпуска солдатам были прекращены и вместо занятий мы ежедневно ходили на стрельбу. На другой день приезда я попал на инспекцию эскадрона полковником Тарновским, помощником командира полка по строевой части. Тарновский, несмотря на все придирки, остался доволен и благодарил, хотя во время смотра ругался как сапожник. Взводному, у которого чуть не вырвался при выводке заигравший конь, он пустил казарменную остроту:

− Тебе, братец, не коней водить, а взвод срать.

Через два дня неожиданно приехал генерал Алымов. Этот тоже говорил не без крупной соли, причём обращался к солдатам в чисто драгомировском стиле. Офицерам рекомендовал ввиду военного времени поменьше говорить об успехах на фронте и не говорить совсем о неуспехах. Бывших в бегах обозвал скверноматерными словами, а всем вообще сказал прочувственную речь не без слезы. Полковник Киндяков, стоявший рядом с генералом, по этому поводу совсем расстроился и плакал слезами крокодила.

В вечер генеральского смотра среди ахтырцев было необычайное волнение. Проездом на войну в город заехал осмотреть молодёжь старый ротмистр Лермонтов, из коренных ахтырцев. Он был представитель одной из трёх или четырёх родственных друг другу фамилий, составлявших большинство офицеров гусарского Ахтырского полка. Это были Панаевы, Лермонтовы и Вербицкие, из поколения в поколение служащие в полку. В Новогеоргиевске имелся молодой Вербицкий, красивый мальчик с необыкновенно большими синими глазами, носивший среди товарищей кличку «Вера Холодная», тогдашней популярной синематографической дивы. Ахтырцы с началом войны приобрели огромную известность во всей России своими необыкновенными подвигами. Слава эта приобретена главным образом тремя братьями Панаевыми, которые, командуя тремя эскадронами, все погибли в конных атаках и награждены Георгиевскими крестами. Государь за доблесть сыновей наградил их мать пожизненной пенсией и орденом Святой Екатерины «за достойное воспитание сыновей».

С марта началась весна – из Кременчуга на юг прошёл уже первый пароход. Через неделю ждали утиного перелёта и открытия охоты. К сожалению, весна меня обманула. Вместо отправления на фронт, куда мы все стремились, я был переведён приказом по полку в запасной эскадрон для обучения новобранцев, это значило, что вместо войны я должен был надолго засесть в Новогеоргиевске. В первые дни от обиды я не знал, что делать, и не будь военного времени, я, наверное, подал бы в отставку.

Утром 5 марта впервые я отправился к месту новой службы. В отличие от маршевых эскадронов, размещённых на временных квартирах в городе по обывательским домам, Запасный полк был расположен за городом в каменных казармах, представляющих собой мрачные большие корпуса николаевских времён. Новый командир ротмистр Мартиновский встретил меня приветливо, но с места предупредил, что будет строг и требователен по службе. Зато команда новобранцев, поступившая ко мне под начало, произвела на меня самое отрадное впечатление. Это были молодые ребята, с полудетскими ещё лицами, старательные и прилежные, буквально смотревшие в рот начальству. Они на ученьях лезли из кожи и служили, что называется, от всей души. На войну они стремились по молодости лет не меньше меня самого, и я почувствовал с первого дня, что с ними у нас, молодых офицеров, гораздо больше общего, чем с запасными солдатами, которые всячески отлынивали от службы и явно ею тяготились.

В связи с переменой части я отделался от вестового Гладыша, ленивого и небрежного в уходе за лошадью, а на его место явился старый запасной солдат Филипп Зинченко. В первый момент я пришёл в ужас от его «старости» – Зинченко было 40 лет и его сын служил взводным в Ахтырском полку, но потом, разглядев его бравый вид, успокоился. В качестве вестового Филипп оказался лучше похвал, он сразу привёл и конюшню, и коней в картинное состояние, чего нельзя было добиться от старого вестового, доведшего лошадь до мокрецов. Кроме того, при ближайшем знакомстве Зинченко оказался весьма культурным для солдата человеком, на «действительной» он служил в Петербурге в эскадроне гвардейских жандармов и повидал свет. Родом он был из состоятельных крестьян Екатеринославской губернии.

Первый блин, однако, оказался комом. По молодости лет и по неопытности чёрт меня дёрнул за язык сказать в разговоре с Мартиновским, что я тягощусь пребыванием в Запасном полку и стремлюсь на войну, чтобы скорее попасть в свой полк и в среду товарищей, с которыми придётся провести всю службу, тогда как здесь всё чужое и малоинтересное для молодого офицера. Мартиновский, самолюбивый и заносчивый поляк, этим обиделся и начал явно придираться, сделав два раза в течение первого месяца мне письменные замечания за какие-то пустяки. К концу марта за запоздание на пять минут на учение он арестовал меня на два дня домашним арестом, прибавив, что не выпустит меня от себя очень долго, так как я должен поучиться дисциплине и терпению.

В отчаянии я пошёл посоветоваться о своём печальном положении с Косигловичем, который, числясь в пятом маршевом эскадроне, тоже терял надежду скоро попасть на фронт. Посоветовавшись, мы пришли к чисто мальчишескому решению плюнуть на всё и с этой целью тут же написали письмо генералу Марченко, начальнику Николаевского кавалерийского училища, с просьбой устроить нам перевод в Кавказскую туземную дивизию, о которой тогда писали газеты как о части, делавшей чудеса на фронте.

Выйдя из-под ареста, я усиленно предался занятиям по службе, во время которых 15 мая на вольтижировке упал с лошади и повредил колено, уже испорченное когда-то в Школе. Пришлось улечься в кровать и подвергнуться освидетельствованию комиссии, которая пришла к заключению послать… на излечение меня на одесские лиманы и выдало перевязочное свидетельство, первое, но, увы, далеко не последнее в моей жизни. Видя, что я к этому свидетельству отнёсся с явной небрежностью, старший врач внушительно объяснил, что перевязочное свидетельство имеет большое значение при пенсии и отставке. Пенсия, отставка – эти слова могли вызвать только презрительную улыбку у человека, недавно отметившего совершеннолетие и который только начинал службу.

С костылём под мышкой и с обидой и огорчением на сердце провожал я свой бывший четвёртый маршевый эскадрон, уходивший через неделю на войну. Как в насмешку, во время прощального смотра командиром полка он выстроился как раз перед окнами моей квартиры. Денщик Иван, который имел музыкальный слух ещё хуже моего, поставил граммофон на подоконник и в открытое окно завёл пластинку полкового марша Стародубовского полка. Сыграв марш раз пять, он уже по собственной инициативе поставил

уходящим похоронный марш. Обруганный «болваном», он очень удивился:

− Что ж вы обижаетесь, ваше высокоблагородие… Всё одно музыка.

Вахмистр Лисун по случаю ухода на фронт напился свыше всякого воображения и икал на всю площадь во время речи полковника. Рассерженный полковник отправил его прямо со смотра под арест, лишив должности вахмистра. Чтобы не нарушать дальнейшего хода торжества, осиротевшего коня Лисуна завели ко мне во двор, он весь благоухал самогонкой.

По случаю Троицына дня и двух дней праздника ездили весёлой компанией «освежиться» в Кременчуг. На этот предмет долгой практикой был выработан особый способ действий. Компания, решившая ехать покутить, вносила в общую кассу заранее обусловленную сумму на пропитание души, которая вручалась «полковому жиду». Каплан с момента выезда из Новогеоргиевска и до возвращения в оный был обязан платить по всем счетам. Эта должность добровольного кассира приносила нашему иудею хороший гешефт, он был готов в любой момент бросить все свои дела и ехать с офицерами в Кременчуг. С парохода мы обыкновенно отправлялись в кафе-шантан, в котором опытный в этого рода делах оркестр встречал нас полковыми маршами. Два дня мы без перерыва кружились по разным весёлым местам и до утра ужинали в каких-то садах. На рассвете однажды мы оказались с корнетом Турчановичем около тира и в полчаса расстреляли все мишени и бутылки, что вызвало в окружавшей нас публике патриотический восторг и овацию.

В середине июня мои мучения в запасном эскадроне совершенно неожиданно окончились. Из канцелярии полка мне была доставлена «служебная записка», в которой значилось о переводе прапорщика Маркова в 5-й маршевый эскадрон. Новая часть стояла в предместье Новогеоргиевска, в так называемом Закаменье. Пришлось по этому случаю расстаться с гостеприимными хозяевами-старичками, так как нужно было жить в расположении эскадрона. Новая квартира – белая украинская хатка из двух горниц, – оказалась очень удобной. Тут же во дворе помещались солдаты и кони.

С наступлением весны, когда весь городок превратился из-за обилия зелени в сплошной цветущий сад, мы все на ночь переселились с походными кроватями на свежий воздух. Густой сад сирени и вишни был и на новой квартире весь в цвету, словно облитый молоком. В этом душистом цветочном царстве прекрасно спалось.

Командиром эскадрона оказался корнет Гижицкий, молодой, но очень выдержанный и знающий службу офицер; младшими офицерами − прапорщики Страж-Якубовский, Карпов и Маршинский. Было и двое вольноопределяющихся из отчисленных из училищ юнкеров, из которых бессарабец Донико уже побывал на фронте.

С весны у меня начался поэтический роман с красивой и на редкость стройной девицей из местных интеллигенток Мотей С. Она была предметом воздыханий многих поклонников, так как считалась самой интересной барышней в городе. Мы каждый вечер с нею гуляли по лесам и рощам, которых в Новогеоргиевске такое изобилие. Весна волшебная, а нам обоим вместе нет и сорока лет.

Излюбленным местом для влюбленных парочек был обрыв над Днепром, весь в зарослях белой акации и сирени, среди которых разбросаны памятники заброшенного кладбища, и в их числе самый примечательный – юной полковницы Энгельгард, – о котором я упоминал выше. Здесь одуряюще пахло цветущей весной, и городок виднелся внизу весь в купах тёмной при луне зелени, свисавшей через заборы и плетни прямо на улицы. Тёплый весенний воздух был пронизан тысячами разных запахов, от которых хотелось беспричинно смеяться и прыгать, если бы не мешало сознание своего офицерского положения и достоинства перед интересной и юной дамой.

Внизу под городом – беспредельный разлив Днепра, за которым далеко вдали мерцают огоньки Крюкова. Днепр, зелёные весенние степи кругом, а главное – весна и молодость звали и манили куда-то, обещая впереди ураганы неизвестных радостей, в которых угадывалась еле ощутимая сладкая печаль. Зовы к большой и неизвестной жизни тревожили сердце и куда-то сладко тянули. Перед рассветом проходили по Днепру

пароходы. В утреннем тумане там и сям появлялись лодки рыбаков. На островах среди деревьев и зелени подымались тонкие дымки: рыбаки или охотники варили там свежую уху. Чудно и упоительно было жить на свете! Теперь, много лет спустя, мне кажется, что весна 1915 года была самой красивой и поэтической в жизни. Молодость, здоровье и беззаботность! Милая и любящая девушка рядом, впереди большая и интересная жизнь и ни малейшей заботы, ни малейшего признака горя на горизонте.

Как и всякое человеческое счастье, это безмятежное состояние продолжалось недолго. Едва минула весна и наступили первые дни лета, пышного золотого лета, которое бывает только на благословенной Украине, как мы с Косигловичем совершенно неожиданно получили предписание немедленно выехать в Киев «по случаю перевода в Ингушский конный полк Кавказской туземной дивизии». Это был для нас обоих очень неприятный сюрприз. Перевод, о котором мы недавно мечтали, был теперь совершенно не нужен и бессмыслен. Главная побудительная сила, толкнувшая нас на письмо генералу Марченко, теперь не существовала. Оба мы со дня на день должны были отправиться в свои части на фронт. Перевод из старых и заслуженных полков теперь в какую-то новую экзотическую часть ставил нас в неловкое положение перед товарищами. На переводы из полков молодых офицеров в те времена смотрели в кавалерийской среде очень косо и неодобрительно.

Неприятно было мне покидать так неожиданно и глупо бедную Мотю, которая привязалась ко мне всерьёз и для которой наша разлука, конечно, была окончательной. Хотя и честная девушка, она не могла по своему социальному положению стать моей невестой, что я всегда помнил и никогда не злоупотреблял её чувством.

Полковник Киндяков, который когда-то с такой холодностью отнёсся к моему желанию ехать на фронт, теперь и слышать не хотел о какой-либо задержке, и требовал нашего отъезда. На него произвело впечатление то, что телеграмма о нашем переводе была подписана великим князем.

Второго июля мы оба с Косигловичем в сопровождении Филиппа верхами выехали утром из Закаменья в штаб полка. Поднимаясь на гору, Амур мой зазевался, споткнулся и зарылся головой в пыль дороги. От неожиданности я перелетел через его голову. Это было скверное предзнаменование на первых же шагах на пути на войну. В штабе нам с необыкновенной поспешностью выдали все необходимые бумаги, и полковник, хотя и любезно, но настойчиво рекомендовал «не задерживаться» в Новогеоргиевске.

Избегая тяжёлой сцены с Мотей, я решил сообщить ей об отъезде на войну в последнюю минуту при прощании. Вечером мы сделали прощальные визиты товарищам и отправили вперёд вестовых с лошадьми. Наутро в 9 часов мы выехали на фаэтоне на пристань. По дороге я остановил извозчика у дома Моти, она сидела у окна за шитьём. Войдя в дом, я в нескольких словах объявил ей, что получил спешный приказ и еду сейчас на пристань. Она громко зарыдала и прижалась ко мне, обняв руками. Горькие её слёзы оставили на груди кителя пятно, которое никогда не сошло, да и мне стыдно было его сводить. Садясь в экипаж на улице, я ничего не ответил на едкие замечания Косигловича о «сантиментах» и «телячьих нежностях». Мужественный и циничный гусар, он не признавал женской любви, быть может, потому, что обладал уж очень неблагодарной внешностью.

Иван, мой денщик, прежде чем ехать на войну, попросился в отпуск для прощания с семьёй, на что, конечно, я дал согласие, тем более что и сам ехал на несколько дней домой. По условию мы должны были съехаться с ним в Киеве. Вестовой Филипп, выехавший из Новогеоргиевска раньше нас с лошадьми в отдельном товарном вагоне, также должен был ожидать нашего приезда на станции Киев.

В Покровском отец очень не одобрил мой перевод в Туземную дивизию, и конечно, был прав. В Щиграх на вокзале меня провожала толпа родных, набивших чемоданы всякими вязаными вещами, шоколадом и сладостями. Особенно тепло проводила тётя Софья Вячеславовна Бобровская, которая мне очень напоминала всегда маму.

В Киеве я по приезде не нашёл никого из своих спутников. После долгих поисков и справок по этапным и вокзальным комендантам с большим трудом удалось найти следы

Филиппа. По документам он в своё время прибыл в Киев, но затем выгрузил Амура из вагона и исчез бесследно. Что касается Ивана, то таковой по всем признакам в Киев не приезжал вовсе.

Пришлось потратить три дня для обследования всех комендантских управлений Киева, пока удалось разыскать лошадь и вестача. Хитрый хохол Филипп, выгрузившись из вагона, умышленно не оставил следов у коменданта станции с расчётом, что чем дольше я его буду разыскивать, тем дольше он не попадёт на войну. Надо правду сказать, за конём он это время ухаживал превосходно, но до того его раскормил, что Амур весь пошёл какими-то светлыми яблоками от жира по крупу. Пришлось нарочно два дня задержаться в Киеве, чтобы согнать с коня и вестового лишнее «тело». Как оказалось, ожирение Амура объяснялось тем, что Филипп кормил его хлебными остатками с кухни этапного пункта, которых ежедневно оставалось масса. Косиглович, как водится, тоже вовремя в Киев не приехал, и только через три дня я увидел его имя на доске приезжих в гостинице.

В Киеве мы провели неделю, и только 12 июля 1915 года выехали на фронт. Где находился наш полк, мы не знали, а ехали пока что в штаб 9-й армии, в рядах которой в этот момент находилась Туземная дивизия. Дальнейшее направление мы должны были получить в армейском штабе. На станции Киев мы погрузились в отдельный товарный вагон с большими удобствами. Вагон был любезно предоставлен комендантом не нам, а Амуру, мы же были, так сказать, в гостях у собственной лошади.

Путешествие это было одно из самых приятных, какое я только помню. С большими удобствами, лёжа на походных койках, мы на просторе любовались видами Украины в настежь открытые двери теплушки. Вагон наш был прицеплен к воинскому эшелону, состоявшему из длинного ряда теплушек, груженных войсками, лошадьми и снаряжением. Мимо открытых дверей скользила, быстро сменяясь, чужая жизнь, поля, деревни и леса. Амур сзади хрустел сеном, нервно переступая по деревянному полу. В вагоне пахло степной полынью, конским потом и сеном, на горизонте маячила далёкая прядка приднепровских лесов, голубая и нереальная.

Впоследствии я пытался вспомнить этот дальний путь на войну, как потом и многие другие такие же, но ничего связного припомнить не мог. Красные, такие одинаковые и похожие друг на друга станционные постройки, «такающие» под полом вагона колёса, запах сена и навоза, бесконечные полосы рельсов, стекавшие за последним вагоном, дым, да заглядывавшие в двери солдатские лица. На станциях при проходе эшелона – плачущие женщины, белые платки и неясные крики и говор, быстро проносившиеся, на вокзалах – толпы…

Свою удобную теплушку мы покинули на станции Проскуров, где когда-то до войны была стоянка улан Белгородского полка. Славный тенистый уголок, очень типичный для западного края. От вокзала к городу – длинное шоссе из камней валунов. Здесь у этапного коменданта мы встретили спутников: пехотного полковника и поручика артиллериста. Все четверо, покинув Филиппа с лошадью на этапном пункте, мы удобно расположились в длинном фургоне, запряжённом парой лошадок. Этот экипаж дал нам «по наряду» этапный комендант – первый из длинного ряда его коллег, с которыми нам предстояло встретиться.

Штаб армии оказался в местечке Гусятине, на самой границе между Россией и Австрией. Граница эта в то время была уже отодвинута на добрые полтораста вёрст в глубь Австро-Венгрии. Гусятин оказался очень любопытным местечком, которое небольшой речкой делилось на две части, русскую и австрийскую. Русская представляла собой самую обыкновенную малороссийскую деревушку с белыми хатками, крытыми соломой, и узкими пыльными улицами, в которых рылись куры и шла неторопливая сытая хохлацкая жизнь. Гусятин австрийский до войны был, вероятно, очень чистенький и аккуратный городок, которому мог бы позавидовать любой уездный центр России. К сожалению, от этой чистоты и аккуратности в момент нашего проезда через Гусятин оставались одни воспоминания, до такой степени он был разрушен и сожжён артиллерийским огнём. В сущности, кроме чудом

уцелевшего костёла, всё остальное представляло собой груду развалин, и только асфальтовые улицы и немецкие надписи на углах показывали, что здесь когда-то была культурная и аккуратная жизнь. В версте за Гусятином по шоссе, идущему в глубь Галиции, среди чудесного тенистого парка был расположен похожий на средневековую сказку великолепный замок графа Чортковского, бывшего министра императора Франца-Иосифа. В этом дворце и помещался штаб армии генерала Лечицкого, где мы должны были получить дальнейшее направление.

Замок Чортковского, или, как говорят галичане, «палац», был первый польский замок, который нам пришлось увидеть, и потому он произвёл на нас с Косигловичем ошеломляющее впечатление. Построенный из серого камня несколько столетий назад, он стоял на возвышении среди окружавшего его парка на искусственно выровненной площадке. На каждом из четырёх углов его высились зубчатые башни с узкими готическими окнами, которые ровными рядами шли вдоль всех трёх этажей здания. Несмотря на свои двести комнат и огромность, замок выстроен с таким изяществом, что совсем не имеет громоздкого вида, которым отличаются в России императорские дворцы. Отделка комнат, по большей части дубовая, прямо великолепна. Военный постой уже успел сильно загадить эту истинно княжескую резиденцию. Впоследствии через несколько месяцев мне опять пришлось здесь побывать, когда в замке стоял уже не штаб армии, а тыловой транспорт. Воспользовавшись этим, я обошёл все помещения и пришёл в ужас от того, что война сделала за полгода с этим бесценным дворцом. В одной из угловых башен, где помещалась курительная комната, в которой вдоль стен шёл оригинальный совершенно круглый диван, от драгоценного ковра, покрывавшего весь пол, остались только залитые какой-то дрянью и обгоревшие клочья. Огромная библиотека на польском, французском, латинском и немецком языках, насчитывавшая немало редкостных старых изданий, оказалась во второй мой приезд сюда совершенно истреблённой дико, бесполезно и чисто по-варварски. На полу её в высоту человеческого роста лежала груда в клочья порванных книг и переплётов. Кто и зачем совершил этот дикий поступок, осталось, конечно, неизвестным. Спрашивать об этом было бесполезно, да и не у кого. Замок был почти пуст, и только нижний его этаж занимали распоясанные и кудластые солдаты обоза. Владельцы покинули замок в первые дни войны, а оставшийся в имении управляющий прятался по углам и избегал попадаться на глаза завоевателям.

В старинном и тенистом парке на зелёных лужайках стояли неопрятные телеги и палатки, солдаты с криками и смехом играли в городки по аллеям. До самого вечера я пробродил по парку и на редкость красивым окрестностям, к досаде Косигловича, который никакой поэзии не понимал и злился, что я его оставил одного с пехотинцами.

Вечерело, когда я присел на полуразрушенной ограде парка. Перед глазами расстилалось жёлтое, как янтарь, только что сжатое пшеничное поле с разбросанными по нему копнами. Я замечтался и сидел неподвижно, как вдруг из задумчивости был выведен каким-то шорохом. Над оврагом между копнами молодые зайцы, которых в Галиции великое множество, устроили весёлый праздник, резвясь и гоняясь друг за другом, не обращая на мою неподвижную фигуру решительно никакого внимания. Надо признаться, это было очень милое и любопытное зрелище, которое мне пришлось видеть впервые.

Из Гусятина в Беличье, где стоял штаб 3-го Кавалерийского корпуса, мы поехали по узкоколейной австрийской дороге, построенной в своё время со стратегической целью и попавшей в наши руки через два часа после начала войны. Поезд отходил только ночью, и потому начальник станции, прапорщик железнодорожного батальона, предложил нам переночевать в вагонах. Сам он со всем персоналом жил в двух теплушках, так как вокзальные помещения были взорваны австрийцами при отступлении после боя у городка.

Вагончик узкоколейки, в котором мы расположились, весь состоял из двухместных купе, имевших выходные двери на обе стороны вагона. Со мной имелись все спальные принадлежности, включая даже запасное одеяло, которым в Покровском снабдила меня хозяйственная и заботливая хозяйка Мария Васильевна. У Косигловича же, бездомного и

беззаботного, кроме шашки и револьвера, никакого багажа с собой не было, почему пришлось распаковать все свои бебехи, чтобы дать ему возможность заснуть по-человечески.

В Бильче, куда мы добрались к вечеру следующего дня, штаб корпуса помещался в замке местного магната князя Эстергази. Замок этот был не так велик, как в Гусятине, но с ещё более роскошной обстановкой, несмотря на то, что носил наименование всего лишь «охотничьего».

На широкой в два марша мраморной лестнице стояли великолепные чучела огромных волков с оскаленными зубами. В столовой, отделанной чёрным дубом, даже днём стоял таинственный сумрак от узких окон с решётками и старых дубов вокруг замка. Стены опоясывал длинный ряд колоссальных лосиных голов с развесистыми рогами и длинными бородами. Под каждым таким трофеем на серебряной табличке значилось, кем и когда был убит покойный обладатель рогатой головы. Чудовищной величины массивный дубовый стол, покрытый тяжёлой ковровой скатертью, занимал всю середину залы. Вокруг него красовались длинным рядом стулья с такими массивными и высокими спинками, что смахивали на троны. На каждом имелся резной герб князей Эстергази.

«*Онёр де ля мэзон* » делал нам вылощенный «фазан», полковник Генерального штаба князь Манвелов. Для такого случая в столовой нам был сервирован ужин, и полковник с чисто кавказским радушием угощал нас вином и пустопорожним разговором. Старший из нашей компании, запылённый и задрипанный пехотный капитан, от непривычной для него любезности штабного чина даже растерялся. После ужина нам рядом с замком была отведена квартира, причем Манвелов подчеркнул, что это его «личная любезность», штаб же, как таковой, «квартир отводить не обязан». Дальнейший маршрут, который нам дал этот любезный человек, оказался совершенно неверным, благодаря чему мы заблудились и попали к месту назначения на полдня позже.

Ингушский конный полк, который мы, наконец, с Косигловичем разыскали, стоял в селе Волковцы и выступал на позиции через два часа после нашего приезда. В полковом штабе мы явились «по случаю прибытия в полк» командиру полковнику Мерчуле и его помощнику подполковнику Абелову. Оба они пошли на войну из постоянного состава Офицерской кавалерийской школы, из которой великий князь Михаил Александрович взял большую часть командного состава своей дивизии. Помощник великого князя – князь Багратион, командир Черкесского полка князь Султан Гирей, ротмистр Бертрен и многие другие старшие офицеры туземных полков также принадлежали к славной «смене Филисов», как в кавалерии называли учебный состав Школы. Как Мерчуле, так и Абелов оба были грузины по происхождению, как равно полугрузином являлся и другой помощник командира полка, бывший в отпуске принц Наполеон Мюрат.

Не успели мы осмотреться и познакомиться со штабом полка, как полк уже стал строиться к выступлению. Косиглович, назначенный в третью сотню, успел добыть себе временного коня. Я же в ожидании приезда Филиппа с лошадьми остался как безлошадный в Волковцах, где оставался полковой обоз и адъютант, пока поручик, Баранов со своим ординарцем вольноопределяющимся Волковским.

Оба они были довольно оригинальные типы, а именно: Баранов, являясь сыном известного нижегородского губернатора, окончил Пажеский корпус и вышел в лейб-гвардии Конный полк, уехал из него в своё время добровольцем в Трансвааль воевать за свободу буров. Был он затем в запасе и с началом войны снова стал в строй. Волковский был мой земляк, родом курянин, и за свою жизнь участвовал во всех войнах своего времени, а именно: в китайской, англо-бурской, японской и, наконец, Великой. Он в это время был уже пожилой человек с полуседой бородой. Баранов, впоследствии попав в эмиграцию, получил известность среди парижской русской колонии, как организатор «Свободной трибуны».

До возвращения полка с позиции мне пришлось поселиться в одной из хат, занятых под квартиры четвёртой сотни, в которую я получил назначение. Хата оказалась принадлежащей мужику-галичанину, злому и худому, главной бедой которого, кроме бедности, являлось то, что он был незаконным сыном местного помещика-графа, чего ни он,

ни его односельчане никак не могли забыть. Сознание своего «высокого происхождения» не давало ему покоя, и он последними словами клял своего благородного родителя, который «родив, кинув его мыкать горе по билу свиту». У него была дочка, молодая девица, тонкая и стройная, мало похожая на галицийских баб, грубых и неуклюжих, звали её в деревне насмешливо «грабянкой».

В соседних хатах жили офицерские денщики и вестовые самых разных видов и даже национальностей, как, впрочем, и все офицеры четвёртой сотни. Командиром её являлся поручик Цешковский, поляк по происхождению, младшими офицерами – корнет Шенгелай, мингрелец, прапорщик Бек-Карганов, армянин, осетин Огоев и два ингуша Ардаган Ужахов и Кагызман Дудаев. Цешковский был переведён из черниговских гусар, Шенгелай − из запасного гвардейского полка. Из корчевицких казарм в Новгородской губернии, где стоял этот полк, Шенгелай привёз с собой двух вестовых гвардейских гусар и нукера мингрельца Чуки, наглое, забавное и очень самоуверенное существо. Ходя обедать и ужинать в полковой штаб к Баранову и Волковскому, я всю остальную часть дня и ночи страшно скучал в Волковцах, где не было никого из офицеров. Поэтому я со скуки очень обрадовался, когда случайно узнал от крестьян, что в окрестностях села находится богатая графская охота на коз и кабанов.

В сопровождении шенгелаевского вестового и Чуки мы отправились на предварительные разведки в окрестности. В Волковцах части Туземной дивизии стояли уже не первый раз, а потому всё окрестное население успело испытать на себе кавказские воззрения на обращение с населением завоёванных стран, почему конных туземцев наших не только избегало, но и прямо пряталось от них.

Не успел я выехать из деревни, как с первых же шагов наткнулся на панический страх населения перед всадниками Туземной дивизии. Едва мы стали подъезжать к домику лесника, с которым я хотел условиться относительно организации будущей охоты, как к своему изумлению услышал в хате крики, смятение и топот босых ног. Под отчаянный лай и вой собак лесника мимо нас по двору сторожки промелькнули две молодые бабы – «газдыни» и, с необычайной лёгкостью перемахнув через плетень, скрылись в лесу.

На мой зов из хаты вышел с испуганным лицом лесник, молодой мужик, и поклонился в землю. По-видимому, от страха он лишился языка, так как на все мои вопросы не отвечал, а только выл каким-то жалобным и умоляющим воем. Понемногу видя, что мы не обнаруживаем никаких враждебных действий, он успокоился, замолчал, а затем, улыбнувшись, полез ко всем по очереди с протянутой лапой. На мой вопрос, почему он так испугался и куда убежали его бабы, он не ответил, а только, пожимая плечами, глупо улыбался и бормотал, что «бабы глупы, что с них спросыть». Относительно охоты он сообщил, что «диких», т.е. кабанов, «богачко, а коз побыли паны черкесы». В заключение он безропотно и покорно согласился показать нам места, удобные для засады на кабанов и их лёжки. Вёл он нас по ему одному известным признакам по самой чаще леса, указывая то там, то здесь следы свиней и их помёт. По его словам, если мы расположимся вечером в засаде по его указаниям, то «дик обвязательно пшидет, если не сього пана, так на того».

Во время лесного путешествия по зарослям Чуки, несмотря на свой геройский вид и лихо закрученные вверх усы, оказался большим трусом, так что ни за что не хотел идти по лесу отдельно и даже вызвал подобие улыбки на покорном лице лесника, когда осведомился у него, «не укусит ли… свинья». Весь день он, боясь заблудиться, шёл за мной по пятам, уверяя, что делает это в интересах безопасности: «Если твой винтовка даст осэчка, мой будет стрэлять». Однако «стрэлять» он оказался не слишком способным, и промахнулся позорно по козлу, выскочившему на нас из кустов почти в упор.

Этот проклятый козёл испортил мне настроение на весь день своим неожиданным появлением. Переходя через лесную просеку, лесник вдруг присел и зашипел отчаянным шёпотом:

− Пане! Пане, скорее! Козёл!

Чуки оглушительно выпалил у меня над ухом и, подпрыгнув на месте, понёсся

через кусты за мелькнувшей как молния козой, закрыв мне собой всё поле стрельбы. Я едва успел заметить замершего на секунду перед нами красавца козла, появившегося как тень из чащи и сейчас же исчезнувшего в лесу, мелькнув белым пятном хвоста. Австрийский кавалерийский карабин, который я держал в руках, оказался бесполезным, так как в горячке охотничьей страсти я совершенно забыл, как спускается у него предохранитель.

По совету лесника мы остались в лесу до вечера, чтобы после захода солнца сесть в засаду на свиней на месте их ежедневного купания. За час до вечерней зари мы с Чуки сели в кусты около небольшого болотца в глуши леса. Сырая земля вокруг была вся истоптана дикими свиньями и покрыта их навозом. Как назло, у Чуки вдруг ни с того, ни с сего разболелся живот, из-за чего он на весь лес стал сопеть и кряхтеть, чем, вероятно, напугал очень чутких свиней, которые в этот вечер на свои обычные «купели» не пришли. Просидев часов до 11 ночи, мы вернулись в сторожку, которую нашли, к своему удивлению, совершенно покинутой. Лесник, его жена и дочь вместе со всем имуществом и скотом, кроме забытого телёнка, бежали в соседнюю деревню.

Как впоследствии выяснилось, дело объяснялось тем, что дня за два до нашего приезда на охоту лесную сторожку посетили ночью всадники-ингуши, частенько отправлявшиеся по ночам на грабежи втайне от начальства. Ограбив сторожку дочиста, они изнасиловали сторожиху и её дочь. Самого лесника дома не было, и он узнал обо всём происшедшем только по возвращении домой. Как истинный многострадальный галицийский «газда», привыкший под польско-жидовской властью ко всякому насилию и неправде, он отнёсся к событию философски, однако, увидев снова у себя в лесу папахи и черкески, предпочёл не ждать событий, а спастись бегством от греха подальше.

Пришлось несолоно хлебавши вернуться домой. По дороге Чуки окончательно разболелся и поминутно умолял возницу ехать потише. Дома он напустился на подчинённого ему гусара за разбитую чашку:

– Дурак и мужик… Нужно глаза имэть открытыми!

В безопасной хате он опять набрался храбрости и самоуверенно стал давать всем охотничьи советы:

– Паслушайте минэ… стараго аххотника. Не ходыте на аххоту биз кинжала, свинь, мэдвэдь съест может… очень лихко.

В эту ночь, сидя в лесу, я впервые услышал дальнюю артиллерийскую стрельбу. Где-то далеко погромыхивало довольно основательно.

22-го июля, взяв с собой Чуки и 5 человек русских солдат из обоза, я снова отправился в уже знакомый лес за кабанами. Не заезжая к леснику во избежание напугать его баб, мы с Чуки прошли прямо к свиным купелям и засели около них часов в 7 вечера. На всякий случай мы приняли меры, чтобы в случае нападения раненого кабана можно было без излишнего промедления забраться на дерево.

Сидеть пришлось не шевелясь, несмотря на то, что комары, певшие вокруг нас в кустах, кусались, как собаки. Где-то недалеко за лесом слышались человеческие голоса работавших в полях галичан. Постепенно шум на полях и дорогах стал затихать. Последними звуками перед тем, как кругом наступила тишина объятого ночью леса, было мычание и блеяние возвращавшегося в деревню стада…

Часов около 9 вечера, когда нас обступила кругом густая тьма, и только вверху между сучьев деревьев чуть пробивался неверный свет всходящей луны, далеко в лесу хрустнула ветка, заставившая вздрогнуть моё охотничье сердце. Треск повторился ближе, и через минуту стало очевидно, что к нам приближается дикая свинья или какая-нибудь другая крупная тварь. Скоро треск стал сплошным и, наконец, я услышал низкое густое сопенье и похрюкивание. К нам подходило целое свиное стадо.

Чтобы при движениях не трещали сухие сучья, мы сидели на бурках, а потому удалось поднять винтовку совершенно бесшумно. Неожиданно из мрака выделился силуэт большой свиньи, которую окружали тени поменьше – подростки-поросята. Пофыркивая и повизгивая, словно беседуя на ходу, вся компания направилась прямо к купели,

находившейся шагах в десяти от меня. Я стал наводить винтовку на большую свинью, что было довольно затруднительно, так как не только мушки, но даже и самой винтовки не было видно. Вдруг сзади, где замер Чуки, треснула сломанная им ветка. Вся свиная компания сразу остановилась и замерла на месте, как по команде. Большая тень резко хрюкнула, и всё стадо повернуло в лес. Проклиная в душе своего спутника, я нажал спуск и, не ожидая результатов выстрела, одним прыжком оказался на дереве.

Под раскаты винтовочного выстрела, загрохотавшего по лесу, слышался во тьме удаляющийся шум и треск свиней, ломившихся через чащу, не разбирая пути. В невидимых кустах что-то большое ворочалось, хрипело и повизгивало. Стоны замерли, и я, забыв всякую опасность, охваченный охотничьим азартом, ринулся в лес по направлению их. Вокруг стояла кромешная тьма, в которой не было видно ни зги. Я остановился и подождал, пока ко мне подошли остальные охотники. Свиньи, в первый момент бросившиеся наутёк, теперь, судя по звукам, вернулись назад и, к нашему изумлению, кружились вокруг, невидимые во мраке, но зато хорошо слышные. Рассыпавшись цепью по кустам и держа винтовки наготове, мы двинулись через кусты по тому направлению, откуда слышался, но потом затих голос раненной мною свиньи. Не прошла наша цепь и двух десятков шагов, как один из солдат закричал из тьмы испуганным голосом:

− Стой… кажись, есть одна… берегись, ребята!

Свинья оказалась мёртвой, и мы, столпившись вокруг при свете спички, увидели огромную чёрную тушу, лежащую в зарослях. Кругом были поломаны кусты и изрыта земля. Это оказалась та самая предводительница стада, по которой я стрелял. Пуля австрийского карабина, войдя около левой задней лопатки, вышла у правого плеча, пронзив всю свинью насквозь. Все наши старания увидеть поросят, крутившихся около нас в темноте, и стрелять по ним, не привели ни к чему, молодые свиньи нас на выстрел так и не подпустили.

Четверо солдат с большим трудом вытащили убитую свинью из леса и взвалили её на телегу, которая нас ждала на шоссе. Свинья заняла весь экипаж, и нам пришлось покрыть её соломой и усесться на мёртвое тело, что очень не нравилось Чуки, который, хотя и будучи христианином, как кавказец свиней считал за несъедобную погань.

Возвращение в Волковцы с добычей произвело шумное впечатление. Утром весь состав охотничьей экспедиции был снят дедом Волковским, причём я в качестве главного героя сидел на убитой свинье, а солдаты стояли кругом. За полным отсутствием мяса в деревне, питавшейся по застарелой привычке картошкой и воздухом, мы с Волковским и Барановым дня три питались варёной кабанятиной, очень вкусной, но и очень жёсткой. Коптить окорока было некогда и некому.

Готовясь к службе в новых условиях, я от нечего делать приучал себя к новой седловке и снаряжению. С этой целью на обозных конях мы с Чуки ездили в город Борщов, недалеко от Волковцов. Горское седло напоминает казачье, однако подушки на нём выше и арчак меньше. Благодаря тому, что всадник возвышается над лошадью, сидя на подушке, простёганной в несколько слоёв, он совершенно «не чувствует» под собой коня и отстаёт от него в движениях. Прыгать на таком седле и вообще брать препятствия, конечно, почти невозможно при этих условиях, да горцы этого и не умеют. Благодаря узости арчака седельные луки настолько близко расположены одна от другой, что всадник, в сущности, не сидит, а стоит на стременах, что опять-таки не очень удобно в больших переходах. При галопе и шаге горское седло ещё туда-сюда, но при рыси оно чрезвычайно неудобно. Под такое седло лучше всего, конечно, иметь иноходца, не имеющего совсем рыси.

Утром 23 июля в Волковцы прибыл вахмистр сотни ингуш Ужахов. Эту фамилию в сотне носит человек пятнадцать – все, конечно, родственники между собой. Среди ингушей вообще всего десяток фамилий, так как народ этот не велик, родством же на Кавказе считаются чуть не в десятом поколении. Вахмистр, рыжий, тощий и на вид весьма жуликоватый, в мирное время служил письмоводителем у пристава где-то на Кавказе, что считается среди малообразованных ингушей большим административным постом. Он привёл, по его словам, из обоза лошадь под вьюк корнету Шенгелаю, однако через два часа

после его приезда в Волковцах появился местный пристав и заявил начальству, что вахмистр лошадь эту привёл не из обоза, а просто украл по дороге у работавшего в поле «газды». При разборе дела Ужахов нахальничал с полицейским, орал, что он сам 10 лет был приставом и потому «знает все права», но лошадь всё же принуждён был вернуть по моему приказанию. Хозяин коняги при этом дрожал всем телом, плакал и судорожно держал за повод украденную лошадь.

Сцена эта мне очень не понравилась, хотя по физиономиям окружавшей нас публики, состоявшей из обозной аристократии, было видно, что она на стороне вахмистра. Подобные дела в обычаях и нравах этой среды. Галицийские крестьяне или, как они себя называют, «газды», т.е. хозяева, самая несчастная здесь публика. Помещики в восточной Галиции исключительно поляки, которые смотрят на крестьян-русинов, как на низшую расу, и в глаза зовут их «быдлом». Все крестьяне в полной экономической и политической зависимости у помещиков и ещё больше у жидов, которых здесь ужасающее количество и притом самой скверной разновидности. Жиды в Галиции – арендаторы помещичьих имений – держат всю торговлю, как крупную, так и мелкую, в своих руках, уже не говоря о процветающем вовсю ростовщичестве. Приход русских войск, если бы он не разорил войной Галицию, принёс бы, конечно, много блага крестьянам-русинам при введении русских общегосударственных законов. На мой вопрос о правах крестьянства при австро-венгерской власти один «газда» ответил так:

– Права? Права, пане, були у панов, та й жидив, а у нас правов нэма.

Не оставлено, конечно, в покое поляками и православие. Все здешние крестьяне униаты.

Ночью 25 июня была слышна сильная артиллерийская канонада, так что мы думали, что наши отступают. Утром по телефону в полк был вызван поручик Баранов. Чуки по этому случаю всю ночь не спал, так как боялся, что его забудут при отступлении, а собственной лошади у него нет.

Через неделю, к моей радости, полк пришёл с позиций. Косиглович вернулся тощий, измученный и злой, так как уехал без верхней одежды, ничего с собой не имея. Как оказалось, эта его жертва была совершенно напрасна, потому что полк две недели просидел без дела под дождём в резервных окопах.

С приходом полка сотни разместили заново, причём нашей четвёртой была отведена квартира на фольварке, т.е. в имении местного помещика польского графа. В виде исключения граф этот из имения при приближении русских войск не бежал, как все ему подобные, а жил с семьёй в верхнем этаже своего дома. Нижний был отведён под нашу квартиру. В день новоселья он приветствовал нас обедом, сам развёл по комнатам и был очень любезен, но затем уже больше не показывался, предоставив нас самим себе. Дом деревенский, довольно простой по убранству и обстановке и уж никак не заслуживающий названия «палаца», как его называют крестьяне. Кровати зато в нём совершенно необыкновенные, огромные, старинные, как настоящие ковчеги, и на редкость мягкие. Спать в них − настоящее наслаждение; за всю жизнь я не встречал ничего удобнее.

На этом фольварке мы отпраздновали и праздник байрам, считавшийся нашим полковым праздником. По этому случаю в Волковцы съехалось начальство и гости из других полков дивизии. Ввиду того, что великий князь был в Петербурге, парад принимал его помощник генерал князь Дмитрий Багратион, несмотря на грузинское происхождение, курский уроженец и помещик, представительный, уже пожилой человек. С ним был наш новый бригадный, который только что сменил генерала Краснова, полковник Ветер фон Розенталь и почётные гости в лице командира Черкесского полка князя Султан-Крым-Гирея и старших офицеров черкесов, наших однобригадников.

Полк в полном составе, т.е. все четыре сотни, был выстроен на поле перед фольварком и имел хотя и живописный, но не очень строевой вид. Теоретически официальная форма состояла из серой черкески, синего бешмета и синего же башлыка, однако, редко кто из всадников её соблюдал, всякий одевался в бешмет и черкеску самых

различных цветов, то же было и с мастью лошадей.

Чтобы больше не возвращаться к форме и составу как нашего, так и других пяти полков Туземной дивизии, упомяну, что эта последняя, сформированная великим князем Михаилом Александровичем в начале войны, состояла из трёх бригад. В неё входили: первая бригада из 2-го Дагестанского и Кабардинского полков, в которых служили в первом − исключительно всадники лезгины, во втором − кабардинцы. Дагестанцами командовал сын наместника Кавказа лейб-гусар полковник И.И. Воронцов-Дашков, кабардинцами – князь Бекович-Черкасский, впоследствии при Добровольческой армии бывший правителем Кабарды. Вторую бригаду составляли полки Татарский из закавказских татар и Чеченский из чеченцев, первым командовал князь Святополк Мирский, вторым полковник Половцев. Третья бригада состояла из Черкесского и Ингушского полков, под командой Султан-Крым-Гирея и полковника Мерчуле, причём в Черкесском полку была одна сотня, составленная из абхазцев под командой ротмистра князя Султан-Гирея. Начальником штаба дивизии был полковник Юзефович, родом из литовских татар, впоследствии также сыгравший видную роль.

После парада и молитв, приличествующих этому случаю, прочитанных полковым муллой в красном халате и зелёной чалме, начались скачки на призы, причём скакали по-восточному, т.е. без сёдел и сняв с себя всё лишнее, кроме подштанников. Босые и дикие, на горбоносых задёрганных лошадёнках скакали черкесы и ингуши, болтая локтями и пятками босых ног. Весь полк ингушей и пришедшие в гости к нам черкесы расположились на корточках в две линии, образуя проход, по которому скакали человек двадцать конкурентов с криками и воплями, работая изо всех сил нагайками по лошадиным спинам. Сидящая на корточках вдоль линии скачек живописная публика тоже не оставалась равнодушной к зрелищу, а помогала всадникам воплями, жестами и криками всякого рода на таком языке, что только приходилось диву даваться, как они сами могли его понимать. На финишах эти азиатские спортсмены не стеснялись лупить нагайками по морде не только лошадей своих конкурентов, но и самих всадников. Зрелище, нечего и говорить, было оригинальное и живописное, но для строевого кавалерийского офицера малоутешительное.

Последовавшая за этим джигитовка была совсем слаба и, в сущности, состояла в сплошном издевательстве над лошадью, рубка никуда не годилась. Зрелище немного оживилось, когда началась офицерская конная игра и рубка. Здесь выделился и ездой и рубкой поручик Базоркин, хотя и ингуш родом, но окончивший вахмистром Тверское кавалерийское училище. Весьма импозантна также фигура командира абхазской сотни. Султан-Гирей – кадровый офицер Белгородского уланского полка, силач и наездник. У него атлетическая шея, невероятные плечи и тонкая, как у девицы, талия, при этом великолепная львиная голова и свирепое лицо скифского хана. Сила его, говорят, такова, что он одной рукой валит на землю любого коня. На скачках этих ему не повезло, лошадь его споткнулась, и он порядочно ушибся.

После конных развлечений князь Багратион раздавал Георгиевские кресты отличившимся в последних боях всадникам. В полку редкий из них не имеет двух-трёх крестов, это, впрочем, понятно, так как все они пошли на войну добровольцами, а не военнообязанными, и потому сплошь молодцы, или, по-кавказски выражаясь, «джигиты». Не без влияния и то, что командует дивизией брат государя, и полковое начальство имеет большие связи в Петербурге. Вахмистра второй сотни Бек Мурзаева генерал вызывал три раза, и он получил в этот день «полный бант», т.е. все четыре степени ордена Георгия. Старик Волковский также получил два креста. Был забавный случай, когда один из всадников отказался наотрез взять Георгиевскую медаль, считая, что это награда для сестёр милосердия, а не для «джигита».

Праздник закончился парадным обедом на фольварке. Играл хор трубачей, танцевали и пели «Алла Верды» и «Мравалджамиер» – традиционные застольные песни всех кавказских полков. Многие туземные офицеры подпили и орали каждый своё, не слушая друг друга; все они страстные и неудачные ораторы. Особенно неистовствовал ротмистр

Кибиров, адъютант Багратиона, громадный осетин самого зверского вида. Он кадровый офицер Дагестанского полка и известен тем, что является убийцей знаменитого разбойника чеченца Зелим-Хана. В Чеченский полк, где служит много бывших абреков, друзей и сподвижников покойного Зелим-Хана, Кибиров никогда не показывается, так как говорят, что там поклялись его убить при первой встрече. За обедом говорились бесконечные и не очень вразумительные речи, до которых кавказцы такие охотники. Русский язык при этом коверкали на все лады самым забавным образом, но на смех по этому поводу не обижались.

По окончании обеда в саду состоялись танцы; под звуки оркестра и просто зурны танцевали с большим или меньшим успехом лезгинку, причём лучшим танцором оказался корнет Сосырко Мальсагов, мой старый однокашник по кадетскому корпусу. Прекрасный и смелый офицер, он, много лет спустя, при большевиках, стал участником легендарного побега из Соловков, описанного ротмистром Бессоновым, также офицером Туземной дивизии. Фамилия Мальсаговых в Ингушском полку настолько многочисленна, что был даже проект создать из неё особую сотню; наш сотенный вахмистр также Мальсагов. Ротмистр Тупалов – кубанский казак – танцевал казачка, прапорщик Бек-Карганов не без жеманства исполнил танец тифлисских «кинто» − кинтоури. Поручик Р., бывший оперный артист, что-то спел.

С верхнего балкона дома, почти невидимые за густой зеленью, смотрели на азиатский праздник старик граф и его семья. На тонком, словно точёном лице поляка с седыми усами трудно было что-либо прочесть. Также молча и без всякого выражения сидели с ним рядом старая графиня и две некрасивые дочки. От них веяло, как говорится, «ароматом духов и чужой жизни».

Пользуясь послепраздничным отдыхом, в сопровождении своего нового вестового Ахмета Чертоева я съездил в соседний городишко за покупками. Городишко назывался Борщов и представлял собой типичное галицийское местечко, на три четверти еврейское. Иудеи здесь до того типичные, с пейсами, туфлями, ермолками и в засаленных лапсердаках, что кажутся словно нарочно переодетыми для роли Янкеля из «Тараса Бульбы».

Купец, у которого я покупал материю для черкески, говорил на забавной смеси польского, немецкого и малороссийского языков. Он пригласил меня к себе выпить квасу, так как было жарко. Игра стоила свеч, хотя квас оказался и невероятной кислятиной, но мне впервые пришлось увидеть и ещё более обонять настоящее местечковое еврейское жилище без всякого отступления от старозаветных форм.

Уже из передней нам в нос густо шибануло запахом какой-то невероятной кислятины, сообщившей всему дому жилой характер. Окна, несмотря на жаркую осень, были наглухо законопачены и, по-видимому, никогда не открывались, отчего воздух стоял, как говорится, «спёртой спиралью». Три из четырёх комнат дома представляли собой спальни, четвёртая была совершенно пустая, по-видимому, молельная. Семейные кровати, и без того высокие и широкие, как ветхозаветный ковчег, были завалены до потолка массой подушек в на редкость засаленных разноцветных наволочках из ситца. Эти ужасные подушки лежали на грязном и жирном стёганом одеяле из живописных лоскутов, от времени совсем поблёкших и приобретших благородную белёсость. Среди груды подушек шевелится в пахучих кучах многочисленное еврейское потомство, болезненное, тощее и сопливое. Младенцы постарше шныряют между ног, гортанно перекрикиваясь и время от времени получая от родителей звучные подзатыльники. На кроватях среди подушек, по-видимому, протекает вся жизнь многих еврейских поколений, здесь они родятся, живут и умирают.

Отказавшись от удовольствия «допить квасок» по приглашению хозяина, мы поспешили поскорее оставить это гостеприимное, но чересчур уж духовитое жилище, и отдышались от еврейских запахов, только выйдя на улицу. Даже мой Ахмет, как всякий восточный человек, сам не слишком «злоупотреблявший» чистотой и опрятностью, долго отплёвывался, отъехав уже довольно далеко от Борщова. Меня кислый специфический запах еврейского жилья преследовал до самого вечера, так что пришлось, чтобы от него избавиться, переодеться во всё чистое.

Утром 3 августа был получен приказ о выступлении на позицию. Накануне, отчаявшись дождаться прибытия Филиппа с конём, я купил у прапорщика Огоева рыжего четырёхвершкового кабардинца, на котором, как уверял его хозяин, когда-то Кибиров убил Зелим-Хана. Это обстоятельство ничуть не сглаживало в моих глазах недостатков коня, который, как оказалось уже в походе, был на редкость тугоузд и никак не хотел соблюдать дистанции в строю, чем порядком утомлял своего всадника.

Выступили мы из Волковцов в 5 часов вечера и шли по очень красивой и пересечённой местности, напоминавшей Западную Украину. По дороге приходилось постоянно останавливаться и пропускать вперёд по дороге то пехоту, то артиллерию, куда-то спешивших. Сами мы не торопились, так как попасть к месту назначения должны были только к ночи. В каком-то селении, где над обрывом виднелись развалины замка, мы встретились со Стародубовским драгунским полком, при взгляде на который у меня тоскливо сжалось сердце.

Любопытную картину представляют собой полки Туземной дивизии на походе. Беспорядочной вереницей тянутся сотни всадников, сидящих на лошадях всех мастей и калибров. Люди одеты кто во что горазд: кто в бурку, кто в черкеску, кто в кожаную куртку или гимнастёрку. Папахи, башлыки все разноцветные и не без фантазии. В посадке каждого, в вооружении, в манере держаться чувствуется индивидуальность, которая не видна в регулярных кавалерийских полках, где одинаковое обмундирование, седловка и выправка стирают личность и делают всех солдат похожих друг на друга.

Каждый всадник здесь носит винтовку и кинжал, как ему Бог положит на душу, направо и налево, за плечами, стволом вверх и стволом вниз, а то по горскому обычаю и притороченной к седлу, так что только кончик ствола выглядывает из груды разноцветных вьюков. В походе строй мало соблюдается, едут, где рядами, где по три, а где и просто кучками. Отдельные всадники, несмотря на запрещение, часто едут по обочине шоссе, а иногда и просто по полю. На ночёвках и просто при удобном случае многие всадники стараются отстать от полка с намерениями пограбить. С этим командование борется всеми от него зависящими мерами, но очень трудно в такое короткое время вытравить из горцев азиатский взгляд на войну.

Репутация Туземной дивизии, или, как нас зовут в Австрии, «диких *регимeнтов* », прочно установлена; встречные крестьяне-газды и даже поляки далеко обходят идущий в поход полк, стараясь вовремя скрыться за кустами и деревьями и свернуть в сторону. Ингуши таких встречных провожают волчьими взглядами. На пути видно издали, как в селениях жители с испуганными лицами бросаются загонять скот при нашем приближении, ребятишки с плачем бегут с улиц, старики крестятся, сидя у порогов домов, поспешно собирая костыли.

Часам к 11 ночи мы вошли в большое село, которое при свете луны казалось совсем разрушенным артиллерией и пожаром. В нём кое-где светились огни и, по-видимому, ещё имелось кое-какое население. На обширной площади, заваленной обгорелыми брёвнами и штукатуркой, полк спешился, и всё начальство до сотенных командиров включительно ушло в один из наиболее уцелевших домов, над которым на пике развевался какой-то значок. Это был, как говорили, временный штаб бригады.

Когда глаза привыкли к темноте, я разглядел, что с нами рядом стояла тёмная масса людей и лошадей какой-то тоже конной части. Несмотря на присутствие массы людей, на площади было тихо, и только фырканье коней и стук копыт нарушали тишину ночи. Влево за деревней, судя по звуку, в низине, изредка слышались раскатистые выстрелы наших трёхлинеек, на которые издалека лениво отвечали характерным «та-ку» австрийские винтовки.

После получасового ожидания начальство окончило своё совещание, и стало известно, что мы сейчас идём в окопы на смену 12-й кавалерийской дивизии. Без обеда и ужина, после пройденных 40 вёрст это было не очень приятное известие. В кромешной тьме под накрапывающим дождиком мы выступили из Усть-Бискупе, как называлось сожжённое

селение. Спустились под гору и пошли по длинной гати, обсаженной чёрными, как уголь в ночи, деревьями. Судя по охватившей кругом сырости, дорога шла возле Днестра. Под лошадиными копытами туповато гудела мокрая дорога. Прыскали кони, вызванивали о стремена шашки, там и сям вспыхивали красные огоньки папирос. От шедшей впереди сотни наносило конским потом и кислотным душком ремённой амуниции. Этот запах был свой, родной, только коннице присущий запах. С первых дней училищной жизни и затем долгие и долгие месяцы и годы я чувствовал его по дорогам Буковины и Галиции, в донских и кубанских степях, и он, нерушимый душок кавалерийской части, стал мне с годами близок и дорог, как запах отчего дома.

Пройдя гать, мы вышли на обширное пустое пространство – на луговой берег Днестра. По тихой, вполголоса команде спешились, сдали лошадей коноводам и чуть видной в ночи массой выстроились вдоль дороги. Как командир первого взвода, я стоял рядом с Цешковским, который суетился по обыкновению и поминутно отлучался от сотни. Оказалось, что в темноте куда-то запропастились патронные вьюки и их теперь не могли найти. Из мрака было слышно, как начальство по этому случаю слегка поругалось.

− Этот Цешковский… настоящее дитя, − послышался как всегда ленивый голос командира полка. – Цешковский! – крикнул он недовольным голосом. − Где вы там? Пожалуйте сюда!

− Здесь, господин полковник!

− Ведите вашу сотню прямо по дороге до моста. Там вас встретит проводник от 12-й дивизии… Он вас доведёт до окопов… С Богом!

Недовольный, сопящий, как лошадь, Цешковский вынырнул опять из темноты и, став рядом со мной, скомандовал злым голосом:

− Сотня! Правое плечо вперёд, за мной! Марш!

Сотня, хлюпая сотнями ног по размокшей в болото дороге, зашагала в кромешной темноте за своим командиром. Через пять минут перед нами во мраке вырисовались очертания моста. Среди крутых чёрных берегов чувствовалась близость воды. От перил отделилась и подошла к нам одинокая фигура.

− Проводник?

− Так точно, ваше высокоблагородие… Стародубовского… драгунского, − с хохлацким акцентом ответил солдат.

− Ну, веди, далеко это?

− Никак нет… через мост и… налево в горку.

Глухо простучала под ногами настилка моста, и мы круто свернули налево в поле, натыкаясь ежеминутно на всевозможные препятствия и проклиная темноту. По пояс в каких-то зарослях, по-видимому, кукурузе, мы около получаса шли, натыкаясь, падая и подымаясь среди кустов, воронок от снарядов, брошенных рогаток и всевозможной дряни, путавшейся в ногах. Кончилось тем, что мы с Цешковским оборвались одновременно в пустой окоп и чуть не поломали ноги. По дороге я успел расспросить у проводника о новостях в Стародубовском полку, который после перевода в Туземную дивизию стал мне особенно дорог и близок. Новости были скверные, почти все мои товарищи по выпуску и жизни в Новогеоргиевске выбыли убитыми и ранеными. Внуков был убит шрапнельной трубкой в лоб, Брезгун ранен, Шенявский Второй пропал без вести. На днях в полк прибыл из Новогеоргиевска 5-й маршевый эскадрон, так что, в сущности, мы с Косигловичем попали на фронт позже товарищей, а значит, наш перевод в Туземную дивизию не имел никакого смысла.

В глухую полночь мы добрались до назначенных нам окопов. Пришлось ещё около часу путаться вдоль траншей, пока мы нашли своё настоящее место. Офицерский блиндаж, в который мы забрались с Цешковским и Шенгелаем, оказался просто дырой в земле, в которой можно было только лежать, положив головы друг на друга. Покрыт он был не то камышом, не то навозом и, конечно, ни от чего решительно защитить не мог. Впрочем, окопы эти сами по себе и не нуждались ни в каких блиндажах, на этом участке фронта

австрийцы находились в двух верстах и ни днём, ни ночью не были видимы. Стрельбы настоящей в первую ночь тоже не было, лишь изредка где-то далеко впереди австрийская винтовка время от времени выговаривала свое «та-ку», и затем высоко над нами пела пуля. Окопы были долговременные, глубиной выше человеческого роста, и чтобы что-либо увидеть на стороне противника, надо было влезать на приступку. Впереди перед окопами и сзади шумело целое море кукурузы, закрывавшей от глаз весь видимый мир. На ночь секреты высылались далеко вперёд за проволочные заграждения. Вправо шёл ночной бой у деревни Колодрупки, и вся линия горизонта там обозначалась дрожащим отсветом ружейного и артиллерийского огня. Винтовочная и пулемётная стрельба в этом злополучном месте сливалась в беспорядочный треск. Глухо гудела земля от взрывов и выстрелов тяжёлой артиллерии, бившей откуда-то сзади. По небу бродили лучи прожекторов. Из австрийских окопов впереди нас то там, то тут медленно выплывали ракеты и, рассыпавшись букетом, изумлённо останавливались в воздухе, на несколько мгновений превращая ночь в день.

Вёрст на двадцать ниже по Днестру шли бои. Вот уже две недели оттуда шёл сплошной орудийный гул, по ночам далёкое фиолетовое небо резали отсветы прожекторных лучей, которые сияли тусклыми зарницами, и заражали смутной тревогой тех, кто, как мы отсюда, наблюдали за вспышками и заревами войны. В окопах, среди полей, заросших кукурузой, где мы теперь сидели вот уже два месяца, сменяя друг друга, находились Туземная и 12-я кавалерийская дивизии. Днём здесь изредка постреливали по перебегающим над окопами австрийцам, ночью спали и играли в карты. Одни часовые да секреты наблюдали за оранжевыми жуткими всплесками света − там шли бои ниже по реке.

На рассвете к нам в блиндаж забрался заблудившийся в окопах офицер-дагестанец. Стало ещё теснее, хотя и не без уютности. Голоса глухо звучали в этом подземелье; на груди, ногах, плече – всюду лежали чужие головы и ноги. Под утро кто-то выругался и ушёл, стало свободнее и удалось заснуть, хотя каждый раз, когда кто-либо из нас повёртывался на другую сторону, с крыши на головы сыпался сор и всякая сволочь.

Когда наступило утро, первое моё утро в окопах, мы вылезли из своей норы, обсыпанные землёй, как кроты. Утро было чудесное. Несмотря на голубое, без единого облачка небо и прозрачный августовский воздух, австрийских окопов видно не было, как я ни напрягал зрение. Кругом волновалось, насколько хватал глаз, зелёно-жёлтое море кукурузы. Если бы не ленивая перестрелка секретов, то ничто не напоминало бы здесь войну. В Колодрупке также всё утихло, и только далеко справа за горизонтом погромыхивало двойным звуком – стреляла какая-то батарея. Этот дальний звук орудий с первого дня войны стал сопровождать нас на фронте день и ночь, как неразлучный и постоянный спутник.

Вдоль всей линии окопов население, насколько только хватал глаз, повылезло наверх и, расстелив по кукурузе бурки, расположилось на них совсем по-домашнему. Десятки фигур с вёдрами и манерками сновали вдоль траншей за водой к Днестру. То там, то здесь виднелись сидевшие кружком горцы, в воздухе пахло жареной кукурузой и шашлыком. Эта мирная обстановка скоро не понравилась австрийским наблюдателям. Часам к 10 утра с неприятельской стороны гулко грохнуло орудие, и в воздухе стал быстро нарастать звук летящего к нам снаряда. Достигнув, казалось, предельного напряжения, звук его сразу оборвался оглушительным взрывом. Граната лопнула перед проволочными заграждениями, подняв к небу столб земли, вырванных кольев и обрывок проволоки. Комки земли посыпались в окоп, забарабанив по доскам прикрытия.

− По окопам!.. дождались таки сукины дети!.. − заревел чей-то начальнический голос. − В окоп! Я тебе говорю, не сметь наверх вылезать! − продолжало сердиться невидимое начальство.

С недовольным ворчанием, волоча за собой бурки, полезли из кукурузы в окоп горцы. Ингуши, как и все кавказцы, терпеть не могли сидеть в траншеях, считая, что земля – это убежище для мёртвых, а не для живых, почему при малейшем недосмотре начальства при всяком удобном случае покидали окопы и с чисто мусульманским фатализмом предпочитали сидеть или лежать под выстрелами, чем находиться в безопасности под

землёй. Меня эта особенность горцев поначалу очень интриговала, но на все вопросы, почему ингуши не любят окопов, я получал только неопределённые ответы, что «нехорошо там… земля в рот сыпется… грех» и т.д. За первой гранатой последовала вторая и третья, впрочем, без особо ощутимого результата. Снаряды то недоносило, то переносило, и они безвредно, но очень эффектно рвались в кукурузе.

Поначалу, пока человек не привыкнет к артиллерийскому обстрелу и не начинает улавливать привычным ухом направление полёта снаряда, он испытывает отвратительное ощущение, так как кажется, что все снаряды направляются прямо в него. Впоследствии, когда привыкнешь к позиционной войне, редкая артиллерийская стрельба не производит никакого впечатления, хотя, конечно, она далеко не безопасна.

У нас в сотне имелся мальчик-доброволец из симбирских гимназистов, бежавший на войну из дома. Этот Коля Голубев был очень весёлый и беззаботный чижик, мало сознающий и потому мало верящий в опасность войны, которая как будто не доходила до его сознания. В окопах ему сидеть было скучно, и он постоянно болтался по всей сотне, услуживая то одному, то другому из офицеров, которые его очень любили. В первый же день нашей жизни в окопах Коля рано утром отправился из траншеи в кукурузу «до ветру», что было замечено австрийцами, которые немедленно послали нам гранату из трёхдюймовки. Коле пришлось удирать назад в блиндаж, не окончив своего дела. По забавному стечению обстоятельств то же случилось с ним и во второй, и в третий раз, едва он пробовал возобновить свою попытку. Сотня потешалась над мальчонкой и дразнила его тем, что австрийцы решили запретить ему «ходить до ветру».

Первые гранаты, под которые мне пришлось попасть, как, вероятно, и на всех, произвели самое жуткое впечатление, пока я к ним не привык. Окопы наши были долговременные, и потому австрийская артиллерия имела время к ним пристреляться, так что её снаряды ложились всегда почти в самый окоп с самым незначительным для такого расстояния недолётом или перелётом. В первые дни глухой удар орудийного выстрела вдали, за которым сейчас же следовал противный звук приближающегося снаряда, заставлял каждый раз тоскливо сжиматься сердце. Эти две-три секунды, проходившие между выстрелом и разрывом, казались целой вечностью. Оглушительный взрыв гранаты в заграждениях впереди или в кукурузе сзади давал передышку вплоть до следующего выстрела, когда опять начинались терзания в ожидании нового разрыва.

К счастью, этот страх перед артиллерией у меня скоро прошёл, как только ухо стало различать направление полёта. Звуки пуль, несравненно более опасных, наоборот, не произвели на меня почти никакого впечатления. По своим субъективным впечатлениям, которые, конечно, не у всех одинаковые, должен сказать, что первые дни на войне являются наиболее неприятными и требующими наибольшего самообладания, поэтому выражение «обстрелянный» и «необстрелянный», по-моему, имеют под собой большое основание и значение.

Первый день моей окопной жизни прошёл благополучно. Днём мы разобрались в расположении нашего сотенного участка и нашли хороший офицерский блиндаж, в котором расположились. Обстрел австрийцами нашего расположения был опасен только на крайнем левом фланге сотни, где окопы упирались в реку. Со стороны неприятеля в этом месте траншеи также подходили к Днестру очень близко, почему оба противника хорошо видели друг друга. Между нами и австрийцами на берегу Днестра была расположена деревушка Самушин, покинутая жителями, куда на ночь оба противника высылали заставы, между которыми каждую ночь происходила перестрелка.

Вторую ночь в окопах я провёл с вольноопределяющимся осетином Ауиевым, высоким худым горцем, очень напоминавшим мне брата Николая. Разговорившись с ним, я узнал, что он уроженец той же станицы, что и мой корпусной друг Митя Машуков, с которым Ауиев был другом детства. В Кисловодске последним летом Ауиев познакомился с нашей покровской поповной Лизой Поповой и имел даже при себе её карточку. Мы вволю посмеялись над этим странным совпадением.

Ночью на третий день около полуночи неожиданно началась тревога по всей линии. Началось с отдельных выстрелов в секретах, перешедших в оживлённую перестрелку, затем в дело вмешалась австрийская артиллерия. Все были уверены, что австрийцы идут в наступление, но оказалось, ложная тревога по вине наших секретов. Для окопной войны ингуши не годятся совершенно, так как не любят и не понимают этой войны. Как это ни дико, но выставленные в секреты горцы, обязанность которых предупредить окопы о наступлении, целую ночь напролёт развлекались стрельбой по австрийцам. Из-за этого сидящий в окопах позади секретов полк все ночи находился в тревоге, не зная, почему линия секретов ведёт пальбу: из собственного удовольствия или по наступающим австрийцам.

Из секретов часто всадники возвращались без единого патрона в подсумках, расстреляв весь запас патронов за ночь в Божий свет, как в копейку. Все меры, предпринимавшиеся начальством против этого совершенно невозможного положения вещей, не вели ни к чему. В ответ на выговор начальника ингуш из секрета неизменно отвечал, что стрелял он потому что «австрий немножко наступал», что, конечно, проверить было невозможно. По этой причине все другие части, в особенности пехотные, где позиционная война поставлена на должную высоту, терпеть не могли быть нашими соседями по окопам.

Немудрено, что с такими подчинёнными нам, офицерам Ингушского полка, было много хлопот и беспокойства, каких не знают офицеры русских регулярных частей. Помимо идиотского поведения ингушей в секретах, у нас в полку было много чисто полковых особенностей, которые делают для Ингушского полка позиционную войну чрезвычайно трудной и, в сущности, бесполезной. В сотнях у нас временами бывало не более 45-60 человек всадников, вооружённых винтовками без штыков и не умевших в большинстве стрелять с прицельной рамкой, уж не говоря о ведении правильной залповой стрельбы. Заменяя по расписанию штабов нашим полком какой-нибудь участок окопов, перед этим занимавшийся пехотным полком, мы, в сущности, открывали противнику в этом месте фронт. В самом деле, что же могли сделать 200-300 не умевших стрелять горцев на участке, который до этого защищался 4-5 тысячами опытных пехотных стрелков?!

В пятый и последний день нашего пребывания в окопах Усть-Бискупэ мы в обеденный час не без удобства расположились в кукурузе над окопами, завтракая шашлыком. В небе на большой высоте с утра болтался аэроплан, на который мы перестали уже обращать внимание. Авиация в моё время на австрийском фронте была в зачаточном состоянии и была страшна только тылам да обозам, войска же, в особенности, сидевшие на позициях, считали появлявшиеся над нашими головами аэропланы скорее за развлечение, чем за опасный род оружия. При тогдашних возможностях лётного дела попасть бомбой в окоп было невозможно, спуститься же ниже, чтобы обстрелять нас пулемётным огнем, лётчики боялись, избегая артиллерийского огня.

В середине фестиваля, когда небольшой бурдюк с кахетинским, привезённый в окопы, уже значительно похудел, мы вдруг заметили, что вокруг нас по кукурузе что-то лопается со звуком раскушенного ореха. Только через несколько минут мы сообразили, что то, что щёлкало вокруг нас, было не что иное, как разрывные пули с аэроплана, который обстреливал нашу уютную группу из пулемёта; звуков стрельбы с такой большой высоты мы совершенно не слыхали. С проклятиями, забрав вино и шашлык, мы перешли под прикрытие, что было необходимо, так как пули уже начинали пылить на скатерть. Вспоминая этот случай теперь, мне всегда становится смешно, когда приходится смотреть фильмы с геройскими приключениями авиаторов в Великую войну. Авиация в 1914-1917 годы, увы, была оружие, над которым мы, строевые войска, порядочно потешались и уж никак не считали для себя за что-либо опасное. Страшна она была только для тылов да для самих летчиков, которые гибли в большом количестве, но не от огня неприятеля, а от недостатков собственных аппаратов. Где уж при таких условиях было им геройствовать, как об этом теперь повествуют синематографические фильмы!

В этот же день в полночь пришла нам смена в лице той же 12-й кавалерийской дивизии. Когда, пройдя через знакомый мост, мы разобрали во мраке ночи коней и, проехав

уже знакомой дорогой, вступили в Усть-Бискупэ, где должны были провести ночь, то на площади во мраке увидели странную молчаливую массу людей и лошадей. Это был одновременно с нами пришедший с другого участка окопов пограничный конный полк, только что вышедший из жестокого боя, где он потерял половину состава. Во время нашего беззаботного пикника в окопах Днестра на других участках фронта шли ожесточённые бои.

Пограничники молча и угрюмо сидели вокруг костров, подавленные морально боем и потерями. У Коли Голубева в этом полку был брат, удравший одновременно с ним из родительского дома. Подъехав к одному из костров, вокруг которого в понурённых позах сидели молчаливые фигуры, я стал расспрашивать пограничников о бое. Отвечали мне с неохотой, недавние воспоминания не доставляли им ничего приятного. По просьбе Коли я стал расспрашивать о его брате, переезжая от одной группы пограничников к другой, все отвечали незнанием, пока, наконец, какой-то голос из темноты не спросил:

− Это какой доброволец?.. Что на Волге к нам пристал?.. Серёжей звали?..

− Да, да… Серёжей… рыжий такой, в третьем эскадроне служил, − заторопился объяснять Голубев. В ответ наступило молчание, показавшееся мне очень многозначительным.

− Что ж, браток… − после томительной паузы ответил невидимый голос, – братишку твоего нынче… убили, царство ему небесное. С подпрапорщиком вместе их похоронили. За моей спиной в темноте громко всхлипнул и в голос по-бабьи завыл Коля. Сказать ему было нечего. Брала досада на этих глупых мальчишек, лезших в пекло ненужно и совершенно бесполезно. Ну, кому нужна была и для чего служила эта бессмысленная и такая жестокая смерть ребёнка?

За три дня отдыха, которые мы провели в Усть-Бискупэ, пришлось познакомиться и рассмотреть поближе полк и товарищей офицеров. Оригинальная часть была кавказская Туземная дивизия и необычная среда офицеров в ней.

Как строевая кавалерийская часть, полк оставлял желать лучшего. Конский состав был плох, и, кроме офицерских собственных лошадей, весь полк сидел на маленьких горных лошадках, жалких и несчастных. Седловка, обмундирование, уход за лошадью оставляли желать лучшего. Вина в этом лежала не на командовании, а исключительно на характере самих всадников-ингушей. Бесхозяйственный и разбойничий народ, ингуши совершенно не обращали внимания на свою наружность и были непростительно равнодушны к лошадям, на которых очень плохо сидели и ездили. Пресловутое горское «джигитство» сводилось у них к самому варварскому обращению с конём, которое не могло не возмущать всякого кавалериста. Торча, как воробей на заборе, на своём седле, горец, чтобы показать товарищам и публике свою джигитскую лихость, не находил ничего лучшего, как ни с того ни с сего начинать пороть плетью свою лошадёнку. Когда избиваемая животина поднималась от этого в карьер, всадник резким движением изо всех сил рвал её за повод. Запрокинув на спину свою многострадальную голову, лошадёнка, мучительно разинув рот, садилась на всём скаку на задние ноги, вытянув передние, дрожащие от напряжения, в виде тормоза. В этом варварском приёме и заключался весь «джигитский» номер. Меня при виде его всякий раз подмывало желание вытянуть плетью самого «джигита» за издевательство над несчастной лошадёнкой. Немудрено, что при подобных приёмах все лошади полка были совершенно задёрганы, с порванными в кровь губами и шарахались от всякого движения руки всадника, принимая таковое за удар нагайкой. На такой лошади, естественно, рубить было невозможно, так как она неизменно обносила цель, пугаясь взмаха шашки. Направить это задёрганное существо куда бы то ни было против её воли также не представлялось возможным, так как все лошади полка от приёмов горской «джигитовки» были тугоузды или же «звездочёты», т.е. при натягивании повода закидывали голову к небу и неслись вслепую, ничего не видя. Ни о каком взятии препятствий при этих условиях, конечно, говорить не приходилось, их не могли брать ни лошади, ни люди, да этого и не позволяла горская седловка, совершенно разобщавшая всадника с лошадью.

Как это ни странно звучит, но ингуши не умели… стрелять, конечно, в смысле

современного боевого огня. Их меткая стрельба на постоянном прицеле на войне была ни к чему, так как в бою такой стрельбы почти не бывает, ставить же прицельную рамку на расстояние горцы не могли, потому что в огромном большинстве не знали цифр. Артиллерии не любили и панически боялись. Словом, с подобным составом в современной войне было бы делать нечего, особенно там, где она требует от конницы одновременного знания и пехотного, и кавалерийского устава, и правил боя, если бы не было одной области, где Туземная дивизия была вполне на месте – это набеги по тылам и преследование разбитого противника. Эти операции, неизменно связанные со способами азиатской войны, грабежа, набегов и пожара, были как нельзя больше по душе ингушам, и в них они приносили, конечно, известную пользу в общем деле.

Офицерство отличалось невероятной пестротой и оригинальностью. В полках дивизии служили гвардейские офицеры, армейские кадровые кавалеристы, артиллеристы, пехотинцы и даже моряки; всем известные кавказские офицеры, рыцари и герои, но рядом с ними были и люди, которым не было бы места во всякой другой кавалерийской части. Были в полку и совсем дикие прапорщики милиции из глухих горных аулов, храбрые и достойные люди, но совершенно неграмотные, у которых офицерского была только звёздочка на погонах.

К первой категории, т.е. к хорошему кадровому офицерству, да ещё преисполненному рыцарских кавказских традиций, принадлежали целиком почти все русские офицеры, перешедшие в дивизию из кавалерийских полков гвардии и армии, и, так или иначе, связанные роднёй или службой с Кавказом. Это были кавказские и горские князья Багратион, Чавчавадзе, Султан-Гирей, Хагандоков, Бекович-Черкасский, Дадиани, Мерчуле, Юзефович, Шенгелай, Лакербай, принц Наполеон Мюрат, Гагарин, Вадбольский, Половцев, Святополк-Мирский, Ладыженский, Абелов, Жерар-де-Сукантон и др.

За ними шла категория офицеров, набранных из авантюрных элементов, которых всегда было много среди кавказских людей и русских офицеров, служивших по окраинам. Из них многие в прошлом имели более или менее тёмные истории и теперь во время войны под покровительством великого князя имели все основания рассчитывать снова выйти на нормальную дорогу службы. Среди этой категории были люди всякого рода занятий и положений, а именно: офицеры действительной службы и офицеры запаса, принуждённые в своё время покинуть полки не по своей воле, бывшие полицейские, артисты оперетки и просто господа без определённых занятий. К последней группе принадлежали всякого рода «кавказские орлы» в прямом и переносном смысле, все без исключения народ решительный и храбрый, но в культурной среде − неудобный и неуживчивый. Охарактеризовав, так сказать, общий состав дивизии, перейду теперь к частностям, описав вкратце некоторых наиболее известных и картинных типов дивизии, хотя и очень разных, как по характеру, так и по той среде, из которой они вышли. Великий князь Михаил Александрович, любивший дивизию, как им созданное детище, называл этих лиц в интимном кругу «моя коллекция».

Полковым адъютантом Ингушского конного полка был поручик Александр Николаевич Баранов. Он был сыном известного при Александре III нижегородского губернатора, от которого унаследовал решительный и крайне энергичный характер. Окончив Пажеский корпус и прослужив несколько лет в одном из лучших гвардейских полков, он вышел в запас и впоследствии участвовал уже как любитель в войнах китайской, японской и Великой. К концу этой последней он получил Георгиевский крест и все остальные награды, которые им были действительно заслужены. В Добровольческой армии Баранов в чине ротмистра командовал отдельным горским отрядом, причём проявил, как всегда, большую энергию и решительность. В Крыму при Врангеле Баранов, убеждённый монархист, дал по физиономии на пристани Севастополя только что прибывшему в Крым из-за границы Гучкову за его прежнюю вину перед государем и Россией. За это Баранов был арестован Врангелем и выслан из Крыма. В Париже, придя в русское посольство, Баранов потребовал от посла Временного правительства Маклакова немедленно открыть императорские портреты, завешенные простынями, и послу пришлось выполнить его приказ во избежание

неприятных осложнений. Впоследствии он основал в Париже известную «Свободную трибуну», игравшую роль надпартийной патриотической организации. Правительство Блюма выслало Баранова из Франции в числе других активных русских националистов. Это был и есть прекрасный офицер, патриот и воин.

Старик Волковский, вольноопределяющийся, весь увешанный, как иконостас, медалями и крестами за прежние войны, в которых он участвовал, начиная чуть ли не с испано-американской кампании, также принадлежал к благородным и достойным людям «великокняжеской коллекции». Ротмистр князь Радзивилл, бывший гвардейский офицер прусской службы, находившийся в свойстве с домом Гогенцоллернов, также был в рядах дивизии, перейдя по каким-то причинам с германской службы на русскую; это право ему давали огромные имения, разбросанные по Австрии, Германии и России.

Вольноопределяющийся Селихов-Сахалинский, бывший губернатор Сахалина во время русско-японской войны, также принадлежал к людям, не любящим сидеть дома, когда на границах его родины льётся русская кровь. Со своим отрядом, сформированным из каторжан, в 1905 году Селихов отражал японское нападение на Сахалин, где японцы пытались высадиться, пользуясь малочисленностью русского гарнизона. За этот подвиг Селихов получил к своей фамилии почётную прибавку Сахалинский. Ротмистр Кибиров, уже упоминавшийся офицер-осетин, носил сомнительно почётный титул убийцы неуловимого в своё время разбойника Зелим-Хана. Убийство это, как известно, было результатом тёмного предательства, и Кибирова, как говорили в дивизии, рано или поздно ожидала месть чеченского народа, для которого знаменитый разбойник был чем-то вроде национального героя.

Корнет Костя Лакербай, офицер абхазской сотни Черкесского полка, был человек исключительной храбрости даже среди храброго народа. На войне он показал однажды совершенно невероятный кавалерийский номер, за который по заслугам был награждён Георгиевским крестом. В конной атаке, в которой абхазская сотня потерпела неудачу и карьером отходила на прежние позиции под ураганным огнём неприятеля, под одним из офицеров была убита лошадь, и он остался на поле, что было замечено только после возвращения сотни из атаки. Лакербай, выручая товарища, в одиночку вернулся к австрийским позициям. Видя нёсшегося на них в карьер одинокого всадника, австрийские цепи прекратили огонь и, поднявшись на ноги, наблюдали любопытные Костины поступки. Подскакав к раненому товарищу, Лакербай на всём скаку поднял его на седло и помчался обратно. Это было настолько смело и необычно, что австрийские цепи вместо выстрелов вслед Лакербаю проводили лихого Костю громом аплодисментов. Необыкновенную храбрость и презрение к смерти судьба не простила Лакербаю. Он был убит в 1916 году. Абхазский народ до самой революции чтил его память, как народного, почти сказочного героя, что Костя, положа руку на сердце, вполне заслужил.

Подполковник Ладыженский, бывший офицер лейб-гвардии её величества Уланского полка, при объявлении войны был в отставке и состоял в должности елисаветпольского вице-губернатора. Он бросил свою спокойную должность и жену (сводную сестру моего отца) и пошёл с Чеченским полком на войну в качестве помощника командира полка. В один день с командиром, князем Святополк-Мирским, Ладыженский был убит, и с его смертью связан один любопытный инцидент. Когда гроб с его трупом прибыл во Львов и был поставлен в соборе, ему пришёл поклониться генерал-губернатор Галиции генерал-адъютант граф Адлерберг, также бывший царицын улан. К своему изумлению и негодованию, в ногах покойника в гробу граф увидел свернувшуюся клубком собачонку. Немедленно наряженное следствие выяснило, что собачонка принадлежала старшей сестре лазарета Туземной дивизии княгине Вадбольской, жене одного из наших бригадных командиров. Не стесняясь тем, что начальницей лазарета состояла жена великого князя − графиня Брасова, разгневанный святотатством Адлерберг выслал лазарет в 24 часа из Львова.

Ротмистр Ингушского конного полка Ивлев, седой чистый старик с благородным

лицом старого барина, служивший в штабе полка, был никто иной, как известный писатель Светлов, редактор журнала «Нива» и лучший специалист-критик русского балета. Он умер в Париже в глубокой старости несколько лет тому назад. Принц Наполеон Мюрат, «французский принц из департамента Сены», как было написано в его послужном списке, служил у нас помощником командира полка. В Карпатах «принц Напо», как его звали, отморозил себе ноги и остался на всю жизнь калекой. По-русски он почти не говорил, хотя по матери, урождённой княжне Дадиани, был полугрузин. В Мингрелии около Гагр у него было имение, которое в смятенные дни февральской революции пришли громить крестьяне под предводительством агитаторов. Безногий принц, сидя у открытого окна, встретил их выстрелами из винтовки и разогнал. Его сестра, принцесса Люси Мюрат, особа не совсем нормальная и эксцентричная, после революции ударилась в литературу, написав порнографический роман «Любовные приключения императрицы Екатерины». Роман таков, что лучше было бы его не писать.

Чеченского полка вольноопределяющийся Масальский, знаменитый петербургский цыган, был привезён в полк офицерами. Он проделал все походы, возя за плечами вместо винтовки футляр с гитарой. Военная его карьера окончилась на одной из весёлых попоек на бивуаке, во время которой лопнувшая гитарная струна выбила ему глаз. Манера пения и игры Масальского были чрезвычайно своеобразны, и самые истасканные романсы в его исполнении приобретали нечто новое и оригинальное. Пел он низким бархатным баритоном и аккомпанировал себе на гитаре, причём играл на ней, как на балалайке, всей пятернёй.

Светлейший князь Грузинский, поступивший в полк добровольцем и произведённый затем в корнеты, был до войны чиновником особых поручений при каком-то губернаторе Западного края и никакого отношения к военной службе не имел, представляя из себя совершенно штатскую фигуру. Князь, несмотря на своё происхождение от грузинских царей, совершенно обрусел, грузинского языка не знал и очень обижался, когда его не признавали за русского. Такое отступничество очень задевало грузинских офицеров, и в особенности корнета Шенгелая, который очень косо смотрел на князя и искал случая к опасной ссоре. Поручик Р., командир нашей сотни после Цешковского, в своей жизни видел многое. Был пехотным офицером, вышел в запас, служил опереточным артистом, приставом и т.д. Пёстрое прошлое ему не помешало быть смелым и хорошим офицером.

Поручик Цешковский, бывший офицер Черниговского гусарского полка, был знаменит по всей кавалерии громкой историей своей женитьбы, во время которой имели место похищения, бегство, дуэли и т.д. Обидевшись на командира полка, сделавшего ему замечание, Цешковский перешёл в Черкесский полк, где служил его брат. После революции уже в эмиграции братья Цешковские сыграли видную роль в возведении на престол Албании короля Ахмета Зоглу. Там же с ними вместе подвизался и третий мой командир сотни, впоследствии добровольческий генерал Кучук-Улагай. Вообще надо сказать, что бывшие офицеры Туземной дивизии, как-то генералы: Юзефович, Бекович, Черкасский, Султан-Гирей, Улагай, Покровский и другие − сыграли после революции видную роль в гражданской войне.

Наш сотенный вахмистр Измаил Боров, или, как он незаконно себя называл Бек-Боров, был, пожалуй, самым авантюрным типом из всех авантюристов Туземной дивизии. Будучи ашхабадским полицмейстером, Измаил Боров за чисто восточные способности драть взятки с живого и мёртвого был отдан под суд после ревизии сенатора Гарина и посажен в тюрьму. Однако такие пустяки, как тюрьма, не представляли собой затруднений для людей подобного рода, каким был Измаил Боров. С помощью земляков Боров, родом ингуш из села Базоркина Терской области, бежал на Кавказ, а затем в Персию. В этой последней в то время шла гражданская война на династической почве. Молодой шах воевал против «старого», кто-то при этом кого-то одолевал, много людей резалось и ещё больше при этом зарабатывало ловлей рыбы в мутной воде. На решительных людей с инициативой был большой спрос, и этим не замедлил воспользоваться Боров, принявший сторону «старого» шаха, по ему одному известным причинам. Скоро бывший ашхабадский

полицмейстер назначается командиром всей армии шаха и начинает кампанию в его пользу не без успеха. Найдя, по своему собственному выражению, шаха в какой-то персидской дыре «всего во вшах», Измаил в несколько месяцев собирает для него многотысячную армию из всякой «сволочи», в число которой входят многие кавказцы, и с размаха берёт шесть городов, подступив к самой столице. За все эти подвиги бывший арестант производится шахом в полные генералы персидской службы и получает все звёзды, какие можно было получить, а также ворует все деньги, которые можно было украсть. В числе своих побед Измаил Боров также считал одну, о которой он говорил шёпотом и оглядываясь. Он одержал её будто бы над персидской казачьей дивизией, которой тогда командовал полковник русской службы князь Вадбольский, в момент рассказа занимавший должность нашего бригадного командира. Его Боров будто бы разбил наголову, несмотря «на все его генеральные штабы». Своими действиями бывший полицмейстер нарушил интересы русской политики в Персии, что и положило конец его головокружительной карьере. Вмешалась дипломатия, и в результате этого вмешательства шах покинул Персию и поселился в Одессе доживать свой век, а победоносный, как лев, Измаил Боров, чтобы не быть разорванным на куски своей армией, которой не заплатили жалования, бежал через горы и пустыни на Кавказ. Это бегство было настолько поспешно, что, кроме воспоминаний, бывший главковерх успел вывезти из Персии только дивное, украшенное серебром седло, да редкостную драгоценную саблю в золоте. Даже персидский аргамак, на котором Боров проскакал 300 вёрст, спасаясь от преследования, не дожил до войны, издохнув на берегу Каспийского моря в тот момент, когда его владелец садился в лодку. Седло и шашку Боров при мне загнал в трудный момент безденежья офицерам. Вещи эти действительно были уникальны и стоили, конечно, вдесятеро больше того, что он за них получил.

На походе я жил со стариком в одной хате и часто расспрашивал его о прошлом, о котором он сохранил приятные воспоминания. Рассказывать Боров был не мастер и всё больше сбивался в своих повествованиях на хороший персидский обычай, позволявший ему жениться на молодой девушке каждые три дня. О своих кратковременных жёнах Измаил говорил кратко, но исчерпывающе: «Хорошие девочки были, только глаза велики… пол-лица занимают». В общежитии он, несмотря на столь блестящее прошлое, был неприятный и неопрятный старик, постоянно красивший в ярко-рыжий цвет свою длинную бороду по персидскому обычаю.

Перед войной Боров скрывался на Кавказе, а когда была сформирована Туземная дивизия, он выпросил себе амнистию с условием заслужить прощение за старую вину на поле брани. Подобная вещь была очень в ходу на Кавказе, и многие всадники дивизии пошли добровольцами в полки, чтобы заслужить себе прощение за разные проступки, в большинстве случаев за абречество и кровосмешение.

В моё время Боров был уже вахмистром с тремя крестами, широкоплечим, пузатым стариком лет 55, с широкой длинной бородой, из которой он выглядывал, как из багетной рамы. В полку служили офицерами его два сына: Султан − ротмистром и Заурбек − прапорщиком. Из внимания к ним старик был принят в офицерском собрании сотни и сидел как старший по годам на председательском месте, по старому кавказскому обычаю, по которому чтят годы, а не чины.

Целая плеяда прапорщиков горской милиции дополняла «коллекцию» дивизии. Это в большинстве своём были старики по 50 лет и больше, награждённые офицерским чином исключительно потому, что принадлежали к почётным людям своих аулов. В каждой сотне их было по нескольку человек. В строю они ездили «пассажирами», ничем не командовали и командовать не могли, так как строевой службы не знали и были неграмотны. У нас в четвёртой сотне их было трое, а именно: Кагызман Дударов, Мусса Аушев и Ардаган Ужахов.

Первый принадлежал к лучшей ингушской фамилии, был очень стар и служил чем-то вроде сотенного фетиша. Второй был самым ярким типом старого кавказского воина, дикого и наивного, жестокого и добродушного. Мусса Аушев был высокий, крепкий, как

старая лошадь, носатый старик без всяких признаков растительности на остром рябом лице. Он считал, что его «офицерство» накладывает на него известные культурные обязанности, для чего он носил с собой и днём, и ночью на ремне через плечо кожаную сумку для папирос, туго набитую, однако, не папиросами, а… остро отточенными карандашами. Так как при этом он был абсолютно неграмотным, то за самый обидный вопрос считал: «На что тебе карандаши?» В ответ он наливался кровью и хватался за кинжал, обещая «атрезать голову». Простота, смелость и наивность причудливо смешивались в нём с большой ехидностью и завистливым сердцем. При получении боевых наград другими Мусса явно им завидовал, находя несправедливым, что начальство его обходит. Одному адъютанту, незаслуженно получившему Владимира, он в упор задал дерзкий вопрос: «Не стыдно ли ему носить эту награду?» Другого он однажды изругал по матери за то, что тот не пустил его в кабинет командира полка. Все эти выходки Муссе прощались ввиду его преклонных лет и явной дикости.

В одну из скучных сторожёвок на берегу Днестра случилось происшествие, чуть не окончившееся катастрофой. Мусса, к своему несчастью, попал на этот раз в компанию трёх молодых офицеров, из которых один к тому же приходился ему родственником. Молодёжь, забавляясь от скуки, убедила старика, что в сегодняшнем приказе было напечатано, что царь заметил усердную и храбрую службу прапорщика Аушева и в награду назначил его комендантом Дербента. Мусса, видя кругом себя серьёзные лица, поверил всей этой ерунде, заплакал от наплыва чувств и, не слушая никаких уговоров «подождать до смены», прямо из заставы ночью отправился в штаб полка за прогонными деньгами и бумагами, чтобы следовать в Дербент.

Когда полковник Мерчуле, спавший в халупе в шести верстах от Днестра, был разбужен среди ночи и увидел перед собой взъерошенную и нелепую фигуру Муссы, он сразу понял, что старик стал жертвой какой-то каверзы со стороны молодёжи, которая постоянно смеялась над ним. Однако уговорить Аушева и доказать ему, что «назначение в Дербент» есть глупая шутка, было нелегко. Старик бушевал и орал, что «царский приказ никто отменить и скрыть не может», что он сам «такой же офицер», и потому уедет в Дербент без бумаг, а оттуда подаст жалобу царю на командира полка. «Прыказ!.. читай прыказ!..» − ревел он басом полковнику. Проснувшимся от его криков штабным с большим трудом удалось убедить Муссу, что в приказах нет ровно ничего, его касающегося. Поверив, наконец, явной очевидности, Мусса сел в угол избы, не отвечая на вопросы, посидел несколько минут, затем встал, вытянул из кобуры свой огромный пистолет времён покорения Кавказа и молча скрылся во тьме ночи.

В заставе на берегу Днестра тем временем молодёжь, вдоволь похохотав над обманутым ею Муссой, завернулась в бурки и задремала, прижавшись друг к другу. Была поздняя осень, и с Днестра тянуло пронизывающим туманом и сыростью. Австрийцы на другом берегу также спали, и ночь была поэтому на редкость тихая. Вдруг из прибрежных кустов, которые сливались с полем кукурузы, раздался треск веток, сопение и тяжёлые шаги. Что-то ломилось, не таясь и не скрываясь, напрямик, заставив офицеров и всадников заставы вскочить в тревоге и схватиться за оружие.

Треск приблизился, и из мрака ночи перед нами на фоне светлевшего неба неожиданно предстала разъяренная фигура Муссы с огромным пистолетом в руках. Вид его был настолько убедителен, что мы предпочли самый лучший в этом случае исход, а именно бегство, что ввиду темноты и кустов не представляло трудностей. Разъярённого «афыцэра» наше исчезновение не остановило, и он попёр с ругательствами и треском напролом через кусты, разыскивая своих обидчиков и поминутно стреляя из своего пистоля, грохотавшего в предрассветной тишине, как хорошая пушка.

На суматоху в кустах и выстрелы у нас на горе пробудился и зашевелился австрийский луговой берег на другой стороне Днестра. Неприятельские дозоры и секреты, ночью никогда не стрелявшие, открыли огонь, приняв шум и выстрелы, произведённые Аушевым, за попытку русских к переправе. Далеко за рекой грохнула батарея, и над

головами запели одна за другой гранаты. Глупая шутка над Муссой стала принимать неожиданный поворот, тем более что дикий старик, не обращая внимания на пули, певшие над головой, продолжал в кустах поиски своих обидчиков. Только появление в дозоре командира сотни, намылившего голову нам и отославшего Муссу в деревню, положило конец нелепой тревоге в одну из сентябрьских ночей на Днестре. Наутро меня как старшего посадили под арест, а Муссу с трудом убедили простить виновников, так как, дескать, «нельзя же ему, старому воину, считаться всерьёз с мальчишками, которым ещё надо драть уши».

Этим происшествия комического характера с Муссой Аушевым не окончились. Однажды к общей потехе, лёжа в цепи, он был легко ранен пулей в… задницу. Раны этого рода не опасны, но чрезвычайно болезненны и легко загрязняются. Мусса, отправившись в госпиталь, вернулся назад в тот же день, отказавшись от перевязки. Оказалось, что в дивизионном госпитале, который всегда следовал за Туземной дивизией, Муссу встретила и хотела перевязать старшая сестра − княжна Багратион, старушка-сестра нашего дивизионера. Аушев от её предложения сгорел от стыда и… сбежал назад в полк. Если бы не помощь фельдшера, то стыдливый горец скорее бы умер от заражения крови, чем второй раз поехал бы в лазарет. Молодёжь и тут не оставила старика в покое, уверяя, что княжна Багратион поняла его бегство так, что он на старости лет заразился венерической болезнью.

Живучи эти старые кавказцы были невероятно и боевые испытания переносили лучше и легче нас, молодых. Я помню однажды, как взрывом гранаты в цепи перевернуло и шмякнуло об землю семипудовую тушу вахмистра Измаила Борова. К общему удивлению, от этого сальто-мортале с ним ровно ничего не случилось, если не считать, что на толстом брюхе старика лопнул ремённый пояс.

Что касается нашего третьего и последнего прапорщика милиции Ардагана Ужахова, то это был маленький сухой человечек из полицейских чинов, попавший под суд и едва ли не разыскиваемый судебными властями. В полку на фронте он был пока что в безопасности от карающей десницы Фемиды, но беспокойный характер и здесь сослужил ему плохую службу. Через несколько месяцев после моего прибытия в полк с Ужаховым произошла история, после которой он из полка исчез, но об этом − в своём месте и в своё время. Что касается солдатского состава полка, то он состоял из всадников ингушей, поголовно добровольцев, так как по старым русским законам кавказские горцы военной повинности не отбывали.

Все всадники Туземной дивизии получали жалование в размере двадцати пяти рублей в месяц, довольствие, экипировку, снаряжение и оружие. Кроме ингушей, в полку было небольшое количество русских солдат, главным образом обслуживавших обозы первого и второго разряда. Большинство всадников русского языка не понимало, и потому все унтер-офицеры и вахмистры обязаны были говорить по-русски и по-ингушски. Хотя и плохо знавшие строй в начале войны, ингуши оказались очень способные и сметливые в военном деле люди, хотя имели всегда тенденции к индивидуальным способам войны.

На личную храбрость всадников, конечно, жаловаться не приходилось, и в условиях партизанской войны, где не требовались действия большими строевыми массами, полки Туземной дивизии были на высоте. В отдельных боях, где требовалась инициатива, ингуши не раз выказывали большое хладнокровие, мужество и самую беззаветную храбрость. Отношения между офицерами и всадниками в полках Туземной дивизии сильно отличались, конечно, от таковых в регулярных полках кавалерии. В горцах не было заметно ни выправки, ни раболепства перед офицером, они всегда сохраняли вид собственного достоинства во всех случаях жизни и не считали начальство за высшую расу. Благодаря тому, что ингуши, будучи очень небольшим народом, почти все находятся в родственных связях друг с другом, взаимоотношения в полку базировались не столько на чинопочитании, сколько на уважении старших по годам. Службу в полку ингуши считали за честь, и самым большим наказанием считалось увольнение из полка «в первобытное состояние». Это не мешало отдельным людям время от времени без спроса уезжать на Кавказ, оставляя за себя в полку обязательно

отца, брата или кузена. Понятия о дисциплине были также своеобразные, честь всадники отдавали только офицерам своего полка и никому другому.

В местечке Тлустэ, где стояла на отдыхе бригада, имел место однажды следующий случай. При дивизии имелась пулемётная команда, почему-то состоявшая из матросов балтийского экипажа. Эта команда всегда держалась отдельно от горцев и относилась к ним свысока. В Тлустэ в хату, занятую моряками, в этот день забрёл ингуш и по горскому обычаю, прежде всего, заинтересовался хозяйским сундуком. К сожалению, грабёж и даже разбой во время войны были нашими неразлучными спутниками, и бороться с ним было почти невозможно. Горцы иной войны не понимали и понимать не хотели.

Матросы вступились за хозяина, и произошла драка, во время которой ингуш схватился за оружие. В результате свалки он оказался раненым и в тот же день к вечеру умер. Происшествие это имело место в то время, когда всё начальство было собрано в другой половине той избы, где произошла драка, и, конечно, о ней и не подозревало. Осведомилось о событиях начальство только тогда, когда на улице неожиданно раздались выстрелы, и многоголосый хор затянул «Алл-алл-а», с которым обыкновенно горцы ходят в атаку. Бросившись к окнам, офицеры, к своему изумлению, увидели цепи ингушей, рассыпавшиеся по улице и наступавшие на хату, из окна которой балтийцы спешно выставляли пулемёты. Перепуганному начальству пришлось употребить немало усилий, чтобы предотвратить столь неожиданно возникшую междоусобицу.

В другом месте однажды были арестованы какой-то воинской частью трое горцев, пойманных на месте преступления во время грабежа жителей. Военно-полевой суд приговорил всех их к расстрелу, однако приговор этот в исполнение привести не удалось, так как по дороге к месту казни приговорённые к ней были отбиты земляками от караула и скрылись.

Полоса ближайшего к фронту тыла, приблизительно вёрст на двадцать, была всегда полна отдельными всадниками Туземной дивизии, куда-то вечно едущими с озабоченным видом, но, кажется, никому не известно, куда и зачем. Помню, что однажды в первые дни в полку я рано утром вышел к строившейся на деревенской улице сотне. Человек пятьдесят оборванцев сидело на разномастных клячах при самой разнообразной и подчас весьма живописной седловке и снаряжении. У одного совсем не было уздечки, и лошадь была привязана за шею цепью только с одной стороны. На большинстве были черкески, бешметы и бурки, но были всадники, одетые в кожаные куртки, полушубки, а один даже в женскую кофту с буфами на рукавах. Неприятно поражённый таким невоинским видом своих новых подчинённых, я с удивлением спросил вахмистра, отчего так мало людей в сотне и почему они так странно одеты.

С беззаботным смехом вахмистр ответил, что по спискам в сотне числится гораздо больше, но остальные люди в настоящий момент «в расходе». Это выражение, как я потом узнал, попросту означало, что отсутствующие находились в самовольной отлучке. Обозный вахмистр из терских казаков, относившийся, как и все казаки, с презрением к горцам, впоследствии пояснил мне, что из-за недостатка русских офицеров кавказцы не очень следят за дисциплиной. Это приводит к тому, что «какой-нибудь сукин сын наденет свою вшивую папаху и айда ночью, куда глаза глядят – попросту сказать, на грабёж».

− А как же это командир сотни допускает?

− А что ж они поделают, ваше высокоблагородие, нешто их, чертей, всех на ночь привяжешь? Нынче он, скажем, Ахмет, али Ибрагим, а завтра Магомет, ить оны все на одну морду!

В один из дней нашего отдыха в Усть-Бискупэ, не успели мы после прихода расположиться на ужин на квартире командира сотни, как вдруг над деревней понёсся протяжный женский крик:

− Рату-у-йте добры люди-и-и!..

Посланный на крик дежурный взвода привёл арестованного им ингуша и двух дрожащих от страха галицийских баб. Оказалось, что горец ломился в хату, когда его не

пустили, разбил окно. В ответ на строгий вопрос командира сотни горец, возмущённо размахивая руками и поминутно ругаясь, обиженно заявил:

− Ах, какой народ… што за народ!.. не знаит сам, чиго кирчит! Ничего взять не успел, только окно разбил, а он уже кирчит, как ишак… мать его так!

26 августа после двухдневного отдыха в Бискупэ нашу сотню отправили в полковой резерв, находившийся позади уже знакомых окопов, на фольварке Виганке. От фольварка оставался только разбитый и изщепленный артиллерийским огнём дом и развалины служб. В доме помещался командир бригады, мы же заняли позади фольварка несколько землянок, вырытых у самого Днестра, который в этом месте образовывал дугу. День прошел в ожесточённой карточной игре и тоскливом брожении по берегу реки.

Впереди в окопах шла перестрелка, справа Колодрупка опять трещала беспрерывными залпами. За рекой позади нас поднимался горный берег Днестра, на котором невидимо для глаз были расположены наши артиллерийские батареи и ещё дальше дивизион тяжёлой артиллерии. Весь день через наши головы выли и захлебывались воздухом в полёте гранаты и шрапнели, изредка, словно огромные сундуки, с хрипом, потрясая всё кругом, проносились снаряды тяжёлых орудий. Неприятель бил по окопам и изредка по фольварку. К вечеру снаряд угодил в угол дома, обвалил его и убил телеграфиста. Начальство после этого сочло полезным перейти в другое место. Часам к шести вечера над австрийскими окопами появился воздушный наблюдательный шар, именовавшийся на фронтовом языке «колбасой». Колбасу эту для нашего развлечения стала обстреливать артиллерия. Добрых два часа вокруг неё рвались и вспыхивали в сумерках бело-розовые клубочки разрывов, напоминавшие ватные шарики. Наступивший вечер, а за ним темнота не позволили увидеть, чем окончилось состязание между русской артиллерией и австрийским упрямством.

К ночи бой разыгрался не на шутку за Днестром, у многострадальной Колодрупки. Окопы австрийцев в этом месте сходились с нашими всего на две сотни шагов и занимались без смены вот уже три недели 74-ой пехотной дивизией, которую нельзя было ни сменить, ни подвезти ей кухни. Изо дня в день там шла такая жарня, что даже издали её слушать становилось жутко.

В три часа ночи к нам подвели коноводы лошадей, и мы отправились в новые места. Цешковский на все вопросы поочередно послал нас всех к чёрту и ехал всю ночь впереди сотни злой, как бес. Причиной этому было то, что он при разборе коней насмерть поругался с постоянным командиром коноводов, капитаном второго ранга Картавцевым. Этот Картавцев был прелюбопытной личностью. Переведённый в Туземную дивизию из гвардейского экипажа, этот «ротмистр флота», как мы его называли, оказался до того слабым нервами, что его никуда нельзя было назначить, где была хотя бы малейшая опасность, так как он от неё немедленно падал в обморок. Во избежание издёвок молодёжи над старым офицером Мерчуле назначил Картавцева на постоянную должность «командующего коноводами», по штату не имеющуюся в кавалерийских полках. Лошади, как известно, на войне ценятся больше людей, почему во всех опасных случаях конский состав полка отсылается в безопасное от огня место, а спешенные люди вступают в пеший бой.

В эту ночь на лугу, где мы садились, просвистало несколько пуль, отчего Картавцев занервничал и перепутал в сотнях коноводов. Цешковский, бывший с утра не в духе, наговорил ему по этому случаю много лишнего и теперь ожидал нагоняя от командира полка.

К утру мы пришли в местечко Мельницу, опередив другие сотни полка. Встретившие нас квартирьеры отвели нам квартиру в доме местного ксендза. Впервые за весь август я заснул на чистой постели, что может понять только военный человек, проведший долгие недели в окопах и походе.

Утром мы были разбужены невероятным рёвом, буквально раздиравшим уши. Оказалось, что это выступал из местечка ослиный транспорт Татарского полка, на котором татары перевозили своих раненых. Между двумя закавказскими осликами были укреплены носилки. Эта ослиная братия, по обычаю своей природы, обязательно орёт на утренней заре,

что в условиях военного времени не всегда удобно. Располагаясь близко к фронту, татары, чтобы не привлекать к себе излишнего внимания, привязывают к хвостам своих ослов кирпичи. Ослы, крича, почему-то подымают вверх хвосты, кирпичи же, держа хвосты в висячем положении, отбивают у ослов охоту к пению.

Наутро было объявлено, что полку будет произведён смотр великим князем Георгием Михайловичем, который, по поручению государя, развозил награды по фронтам. Ожидание начальства оказалось долгое, что катастрофически отразилось на стройности фронта, так как не привыкшие к пешему строю горцы утомились стоять и сели на землю, поджав калачиком ноги. В числе прочей публики на площади суетился полковой мулла в зелёной чалме и красном жалованном халате. Эта необычайная фигура возбуждала всеобщее любопытство населения местечка, собравшегося поглазеть на торжество. Любопытство перешло в ужас, когда в ответ на вопрос какой-то синеглазой паненки я в шутку сказал, что это… полковой палач. Панна не удержалась и взвизгнула от ужаса: «Матка Боска Чентстоховска!» − и немедленно сообщила эту новость другим. Имам был потом очень доволен тем вниманием и почтительностью, которые ему оказали в местечке, не подозревая об истине.

После добрых двух часов ожидания подъехал автомобиль, из которого вышли Багратион и великий князь, высокий худой человек в черкеске с типичным романовским лицом. В ответ на его приветствие полк ответил нестройным гамом. Великий князь прошёл по фронту, с большим любопытством разглядывая горцев, имевших и в самом деле любопытный вид в пешем строю. На нашу сотню князь привёз штук тридцать крестов, которые, к сожалению, были ни к чему, так как почти все всадники имели уже по одному, а третьих и вторых степеней с ним не было. После парада командир полка подозвал Цешковского, сделал ему строгий выговор за историю с Картавцевым и приказал сдать сотню. До приезда нового командира, который был в отпуске, сотню как старший принял корнет Шенгелай.

Сутки, которые пришлось провести в Мельнице на отдыхе, прошли в чистке амуниции и оружия, сильно пострадавших от сырости и дождя. Молодые паненки − племянницы ксендза, разглядывая нас, глазам своим не могли поверить, что христиане могут командовать таким «фантастичным и бардзо экзотическим вуйском», как выразилась одна из них. За горцами изо всех окон, скрываясь за занавесками, следили с интересом и жутью любопытные женские глаза. Мужчин не было видно совсем, или они благоразумно попрятались. Воображаю, в каком виде докатились сюда, в глухое галицийское местечко, рассказы о «диких *региментах* », в стольких версиях и со столькими прикрасами ходившие по Австрии и Галиции.

За обедом и ужином нам пришлось в разговоре с хозяином всячески защищаться от подозрений в дикости и кровожадности, объясняя ксендзу и его племянницам, что мы из себя представляем. Оказалось, что наши гостеприимные хозяева, несмотря на внешний лоск, имели самые дикие представления о России и, в частности, о Кавказе и Сибири. Защиту кавказских интересов взял на себя Шенгелай, я же принял на себя задачу исправить в местечке репутацию Сибири. Не помню, что именно рассказывал о Кавказе мой приятель полякам, я же не поскупился на преувеличения и, кажется, договорился до того, что в Сибири сегодняшнего дня просвещение распространено до того, что медведей уже привязывают в трактирах, а соболя желают доброго вечера охотникам.

Во время ужина быстроглазые и расторопные служанки постоянно выглядывали из дверей, рассматривая всех нас. Особенное впечатление на них производил усатый и бритый, чёрный, как жук, Огоев. Этот последний тоже частенько поглядывал на бойкую горняшку Зосю, многозначительно покручивая усы. Она, несмотря на то, что служила в доме ксендза, была, как говорят солдаты, поведения «не то, что легкого, не то, что тяжёлого, а так, серединка на половинке». Наутро, помимо Зоси, и другие служанки провожали нас со следами счастливой любви на лицах.

Выступление из Мельницы было неожиданное и по тревоге. Где-то произошёл

прорыв, пехотными частями его заткнули, а нам опять выпало на долю засесть в уже знакомые окопы у Днестра. За два месяца войны и походов у всех у нас уже сложилась привычка просыпаться в любой час дня и ночи, есть когда угодно и что угодно, болтаться на коне целыми днями, под дождём − словом, мы все вполне применились к боевой и походной жизни, чему больше всего способствовала наша молодость и здоровье.

Заняв отведённый нам участок окопов, мы только было расположились спать, как началась тревога. Вся линия секретов, невидимая впереди нас в море кукурузы, подняла жаркую стрельбу, ушедшую вдоль линии далеко вправо к пехотным частям у Колодрупки. По-видимому, австрийцы по всей линии пошли в наступление. Все замерли с винтовками и пулемётами, направленными через бруствер в сторону неприятеля. Пока не вернулись в окопы дозоры, стрелять было нельзя. Да и куда, раз перед глазами поднималась сплошная стена непроглядной темноты, лишь время от времени освещавшаяся вдали австрийскими ракетами?

Между тем, в случае нападения австрийцев мы неминуемо попали бы в самое критическое положение, так как нечего было и думать удержать позицию, которую мы занимали. Она была рассчитана на пехотную бригаду военного времени в составе 8-10 тысяч штыков, в то время как наши восемь сотен ингушей и черкесов едва насчитывали 600 горцев, не умевших вести огня. Отступать также было, в сущности, некуда, так как единственный деревянный мост через реку был под обстрелом неприятельской артиллерии. Одна надежда была на то, что начальство, посадившее нас в эти окопы, было осведомлено о положении вещей и не допустит нашей гибели.

Дело с каждой минутой становилось хуже. Через некоторое время после начала перестрелки к проволоке начали подходить люди из секретов, сообщившие, что противник пошёл в наступление. С сильно бьющимся сердцем я вглядывался в темноту впереди, крепко сжимая в руках винтовку. Рядом поминутно срывался с приступка взводный горец, огромного роста и невозмутимого спокойствия. Слева вестовой Ахмет Чертоев помогал двум вольноперам, возившимся с пулемётом. У них что-то заело в механизме и не ладилось, судя по густой матерщине, висевшей в воздухе.

Винтовочный и пулемётный огонь со стороны австрийцев нарастал с каждой минутой, и над головами у нас пел теперь целый рой пуль. При свете ракеты, на долгую минуту осветившей мрак поля, из темноты резкими тенями выступили проволочные заграждения и пылящая от пуль насыпь окопа. Не успела потухнуть ракета, как треск ружейного огня заглушили раз за разом три глухих удара, и перед окопом встали три столба пламени и красного дыма. Снаряды, угодившие между проволокой и насыпью, засыпали нас с головы до ног сырой землёй. После двух-трёх менее удачных залпов орудийный огонь вдруг смолк, а за ним постепенно прекратилась и ружейная стрельба. К общему изумлению, австрийские цепи на нашем участке не дошли до нас, зато у злосчастной Колодрупки ружейный и пулемётный огонь не прекращался всю ночь. Мы несколько раз слышали оттуда звуки взрывов и крики, которые бывают при рукопашной схватке.

Наутро Шенгелай и прапорщик Огоев решили разузнать правду о ночной тревоге и со взводом добровольцев отправились по кукурузе на разведку к австрийским окопам. Не замеченные австрийцами, они обнаружили два замаскированных пулемётных гнезда противника, выдвинутых к самой линии секретов. Об этом было доложено начальнику участка ротмистру Гудиеву, который вместо похвалы сделал обоим выговор, заметив, что если даже австрийские пулемёты и плохо охраняются, то всё же это не повод, чтобы он позволил рисковать людьми для их захвата, тем более что мы находимся в резервных окопах и нам запрещено тревожить здесь сильного и хорошо укреплённого противника.

Шенгелаю не давал покоя Георгиевский крест, полученный недавно его однополчанином по Запасному полку корнетом Павловским, и ему не терпелось заработать себе такой же. Уступив его просьбам, Гудиев разрешил Шенгелаю совместно с прапорщиком Долт-Мурзиевым попробовать захватить пулемёты. Экспедиция эта, произведённая ночью следующего дня, окончилась неудачей. Шенгелай нарвался на австрийские секреты и едва

ушёл назад с четырьмя ранеными людьми. На другой день в приказе была объявлена благодарность Долт-Мурзиеву и Огоеву, о Шенгелае же не было ни звука, что довело самолюбивого и горячего, как порох, мингрельца до белого каления. Объяснялось всё это не небрежностью начальства, а исключительной пронырливостью прапорщика Огоева, возившего донесение в штаб. Храбрый и решительный офицер этот вместе с тем был очень хитрая восточная бестия и сумел всё ночное происшествие обернуть в свою пользу.

Весь день после ночных тревог над нашими окопами кружился русский аэроплан, усиленно, но безуспешно обстреливаемый австрийцами. Вокруг аппарата несколько часов подряд стоял венок из разрывов, но лётчик не обращал на них никакого внимания: в старое доброе время не было зенитных орудий.

С наступлением следующей ночи в Самушине случилось трагикомическое приключение. Развалины деревушки по очереди занимала вторая сотня. Толстый её командир ротмистр Апарин во избежание неприятных сюрпризов заночевал в самой дальней от противника хате. Это не помешало ему в самую полночь получить австрийский снаряд прямо в дверь своей халупы.

1-го сентября нас, к общей радости, сменила 9-я кавалерийская дивизия, и мы опять попали в резерв − в уже знакомый фольварк Виганку. Две недели сильно отразились на остатках фольварка. От «господского дома» остались одни обугленные развалины, пострадали и землянки, видимо, австрийцы сообразили, что на фольварке прячется какое-то начальство. Проболтавшись в бездельном томлении сутки здесь, мы были переброшены опять в Усть-Бискупэ, где нашли своего нового командира сотни поручика Р. Он − грузин из Тифлиса, побывавший в своей жизни и актёром, и приставом, и, вероятно, многим другим. На словах весьма любезен и не скупится на обещания, которые ни к чему его не обязывают. За ужином, когда мы знакомились, он по кавказскому обычаю говорить собеседникам исключительно приятное, обратившись ко мне и Шенгелаю, воскликнул не без актёрства:

− Эх, с такими офицерами я чудес наделаю! И я не я буду, если вы по Владимиру не заработаете!

«Владимира» у него нет у самого, и этот орден предмет мечтаний поручика Р. Ужасно хочется ему также скорее получить штабс-ротмистра, погоны с четырьмя звёздочками Р. уже себе купил. Причина заключается в том, что наш новый командир переведён из пехоты и ему страстно хочется иметь «кавалерийский» чин. Вечером Р. предложил нам по жребию разобрать назначения, присланные в этот день для четвёртой сотни, а именно: двум взводам оставаться в деревне при штабе полка, одному идти в прикрытие к тяжёлой батарее и одному − для связи со штабом пластунской бригады.

Мне досталось идти в прикрытие. Выступив часов в 8 вечера из деревни, мы, поскрипывая подушками сёдел, больше часу шли переменным аллюром в тыл, дорогу показывал солдат-артиллерист. Под конец, когда с фронта перестал доноситься ружейный огонь, и только слышно было, как на горизонте погромыхивала артиллерия, я усомнился в направлении:

− Да ты дорогу-то верно знаешь?

− Помилуйте, ваше высокоблагородие! Чай, мы на этой позиции уже два месяца живём!

− Ну, брат, удобная же у вас позиция, ведь мы уже вёрст двадцать от фронта отъехали.

В полной темноте мы въехали в околицу большой деревни, живущей спокойной тыловой жизнью. У крайних хат стояли прикрытые кустами четыре тяжёлых орудия. В темноте были едва различимы их длинные стволы, торчавшие в небо. Расседлав коней, мы завернулись в бурки и улеглись на сене под навесом. По совету проводника представление командиру дивизиона я отложил до утра.

Рано утром нас разбудил пронизывающий туман, закрывший всё на земле до вершин деревьев. Взошедшее солнце прогнало его через полчаса и осветило большой огород, украшенный с трёх сторон старыми вербами, а с четвёртой − длинной хатой и службами.

Под вербами в ивовых кустах стояли попарно четыре длиннорылых пушки, закрытых с дула кожаными крышками. Тела их блестели от капель росы. Кругом у пушек и на огороде никого не было, хотя деревня уже просыпалась, и по улицам слышалось мычание коров и блеяние овец.

Заинтригованный такой мирной картиной артиллерийских позиций, я подошёл к хате, разыскивая невидимых артиллеристов. В разбитом окошке был хлебным мякишем приклеен заглавный лист журнала «Огонёк», и из-за него слышался солидный штаб-офицерский храп. Из-за угла вывернулся и отдал мне честь распоясанный и заспанный солдатик, по-видимому, денщик.

− Послушай, кавалер, а где же прислуга орудий? Начальство ваше где?

− Воны сплят ишшо, ваше благородие. Я один тут дневальный.

− Ну, брат, и удобно же вы воюете. И давно вы тут?

− Пошти што два месяца.

Горцы мои, тоже заинтересованные удобной артиллерийской службой, окружили орудия и осматривали их, перебрасываясь не спеша гортанными словами и посмеиваясь. Часов в восемь из халупы вышел растрёпанный артиллерийский капитан, лениво посмотрел на небо, потянулся и зевнул, щёлкнув по-собачьи зубами. Я подошёл к нему и представился. Капитан с большим интересом меня оглядел и ласково пригласил в хату пить чай. В душной халупе на неубранных походных койках сидело и лежало трое молодых офицеров, вставших при нашем входе.

− Вот, господа − сказал им капитан, − хорунжий прибыл к нам в прикрытие.

− Не хорунжий, господин капитан, а корнет Туземной дивизии, − поправил его я. − Только, извините, на что же вам тут прикрытие… в глубоком тылу, где вы… расположились так по-домашнему?

− Ну, всё же… неровен час…

− Простите ещё раз за нескромность, а почему же вы… не стреляете?

− Как это не стреляем… стреляем, вот только чаю напьемся и начнём гвоздить по австрийцам.

Действительно, через полчаса один из поручиков вышел к орудиям и подал две-три негромких команды стоявшим у пушек. Оглушительный грохот чуть не повалил меня на землю. Стоявшие мирно у коновязи наши кони, всхрапнув, присели на задние ноги, а крайний маштачок взводного от неожиданности испустил даже громкий звук. Выплюнув в чистое утреннее небо тучу огня и дыма, орудие откинулось телом назад и замерло. По низам, садам и огородам загремело и покатилось эхо выстрела. Поручик повернулся и молча пошёл в хату. Солдатики закрыли опять намордником свою пушку и, за исключением двух-трёх, тоже разошлись по своим делам. Следующий выстрел, как мне объяснили, «полагался через 40 минут». Как оказалось, тяжёлый артиллерийский дивизион, у которого я со взводом в 12 всадников «служил прикрытием», посылал свои снаряды на 18 верст каждые полчаса и производил этот полезный труд целыми месяцами, лишь во время сильных боев увеличивая число снарядов. Я никак не предполагал, что артиллерийская служба столь удобна и так безопасна, хотя бы и в тяжёлой артиллерии.

Через три дня после моего практического ознакомления со службой тяжёлой артиллерии пришлось познакомиться мне с другой отраслью этого оружия, а именно, с боевой работой конной артиллерии. В одно из наших бесконечных и по большей части на вид бессмысленных передвижений вдоль фронта сотня наша оказалась на одном из разрушенных хуторов горной стороны Днестра. Нагорный берег, высоко господствовавший над долиной реки, был занят артиллерийскими позициями, обстреливавшими глубоко внизу австрийские окопы другого берега. Моросил мелкий дождик − неизменный спутник галицийской осени. Мы шатались по грязным, раскисшим дорогам уже больше двух суток, вымокли до костей и устали. Бурки, не пропуская воду, напитались зато ею, как хорошие губки, и оттягивали плечи. У меня была большая грузинская бурка без плеч, в которой я мог спать, завернувшись с ногами и головой. В сухом виде я не чувствовал её веса, и когда сидел

в седле, она доходила мне лишь до половины голенища. После трёхсуточных переходов под дождём дело резко менялось. Бурка не только весила не меньше пуда, но растягивалась до того, что покрывала меня с конём целиком.

В таких намокших и лохматых одеяниях сверху и в грязи по колено снизу мы остановились передохнуть у разбитого хутора, от которого оставалась лишь одна стена и обгорелая, торчащая под дождём труба. Не успели мы вытянуть на гнилой соломе занемевшие в стременах ноги, как услышали по другую сторону стены смех и чьи-то весёлые голоса. Это оказались три офицера батареи конной артиллерии, состоявшей при 12-й кавалерийской дивизии, сидевшей в тот момент внизу в окопах Колодрупки. Надо признать, что выглядели эти два поручика и капитан много шикарнее нас, мокрых и грязных. Одеты они были все с иголочки и имели вид лихих кавалеристов гораздо больше нас, настоящих конников. Им, как и их коллегам по тяжёлому дивизиону, не приходилось маяться, как нам, грешным, в бесконечных походах из окопов в сторожевое охранение и из охранения в разведки. Всего более нас поразил не их выхоленный и мирный вид, а те ордена, которыми они были украшены. Уж не говоря о Туземной дивизии, дабы не впасть в законное пристрастие, даже офицеры 12-й кавалерийской дивизии, к которой принадлежала эта батарея, имели Георгиевские кресты и оружие разве человека три-четыре на полк. Владимира с мечами имели далеко не все эскадронные командиры. Между тем, и капитан этой конной батареи, и оба поручика щеголяли не только украшенные всеми орденами до Владимира включительно, но и... с георгиевским оружием.

За что эти господа, работавшие по самому роду своего оружия всегда в тылу у кавалерии, были столь отличены сравнительно со строевыми кавалеристами, для нас оставалось непроницаемой тайной. И Георгиевский крест капитана, и георгиевское оружие у обоих поручиков были, конечно, награды за исключительную храбрость. Где же и когда можно было оказать эту беспримерную храбрость, воюя в тылу? Впоследствии я убедился, что георгиевское оружие у офицеров конной артиллерии было нечто вроде батарейного значка и давалось за то, что они, сидя в пехотных окопах, хорошо «корректировали» стрельбу своей батареи. Как это несправедливо и обидно для строевых кавалеристов, и в особенности для пехоты, которая сидит день и ночь в этих самых окопах долгие месяцы и годы, но награждается высокой наградой, как за геройство, только случайно.

Просидев на фольварке до вечера и вдоволь налюбовавшись на стреляющую в полной безопасности от врага лихую батарею, мы здесь же, лёжа на гнилой соломе, получили новое задание. На этот раз я вытянул билетик, назначавший взводу идти для связи между Туземной дивизией и бригадой пластунов, которая наутро должна была атаковать австрийские позиции. Часа три пришлось хлюпать под дождём вдоль фронта к штабу бригады, которая занимала позиции у австрийской деревушки Выгоды. По дороге в темноте мы не заметили мортирную батарею, невидимую в сумерках у придорожных кустов, и эта проклятая батарея, грохнув нам неожиданно прямо в ухо, свалила нам наземь с перепугу двух коней и контузила всех горячим воздухом, совершенно оглушив.

Была кромешная тьма, когда мы въехали в лес, где находился штаб бригады во главе с её командиром генералом Гулыгой. При свете костра виднелись коноводы с конями и небольшая группа начальства в черкесках. Из середины её нёсся чей-то хриплый крик. На мой вопрос, где генерал, один из казаков показал мне по направлению этих воплей, прошептав почтительно: «Це… вин». Спешившись, я подошёл к группе начальства и увидел забавную и любопытную картину. Над ящиком полевого телефона прыгал и сыпал матерщиной маленький и тощий генерал в черкеске. Не зная, в чём дело, его можно было принять за буйно помешанного, так как он орал и ругался с невидимым противником. Кругом почтительно и молча стояли полукругом штабные офицеры − видимо, Гулыга был начальник, шутить не любивший.

Благоразумно дождавшись конца генеральского гнева, я подошёл и представился. Гулыга, обложив напоследок густым матом телефонную трубку, в ответ жалобно пискнувшую, протянул мне руку и буркнул: «Очень рад! Оставайтесь при штабе».

Свернувшись, «штаб» через полчаса переехал из леса в деревню, в которой не оказалось целой ни одной хаты. Генерал со своими офицерами расположился в просторном помещении школы, которая не имела крыши. Не претендуя поэтому на ночлег «в комнатах», я предпочёл лечь на крытом крыльце школы, завернувшись в свою универсальную бурку.

Пробуждение было неприятно и очень чувствительно. Генеральские ординарцы, явившиеся утром за приказаниями, наступили мне на ладонь. На свирепую ругань, с которой я обрушился на виновника − огромного казачину, пластун оправдался тем, что принял меня за спящего казака и «не чуяв», что я офицер.

− Да ты ошалел!.. А по казакам разве можно ходить ногами?!

− Та оно, конечно, так, − флегматично согласился пластун.

Генерал, вставший в хорошем настроении, пригласил меня к завтраку, который был накрыт на ящиках во дворе. Пластунские батальоны начали наступление с рассветом, и потому мы выпивали коньяк и закусывали консервами под оглушительный аккомпанемент орудийного и ружейного огня, потрясавшего окрестности. От Мерчуле приехал всадник с приказом мне высылать донесения о ходе наступления каждые полчаса. Расспросив начальника штаба о сообщениях с места боя, я написал первое донесение и, пометив его тремя крестами, отправил в полк.

Часам к восьми утра наша компания увеличилась корнетом Киевского гусарского полка М., приезжавшим для связи с 9-й кавалерийской дивизией, занимавшей позиции по другую сторону пластунов. Он был на выпуск старше меня по Школе, и мы на час занялись общими воспоминаниями. К обеду мы надоели хуже горькой редьки штабным, склонившимся над картой. Бой хотя и разгорался, но пластунские цепи только подходили к Выгоде, а потому, кроме того, что «наступление успешно развивается», нам нечего было доносить нашим нервничающим генералам. К полудню при всей моей фантазии я мог послать только одно донесение о том, что пластуны начали рукопашный бой на окраинах Выгоды. У нас в штабе Туземной бригады полагали об этом иначе, так как неожиданно появился Шенгелай с извещением, что полковник Мерчуле, слыша ураганный огонь у пластунов, нервничает и злится, что я ему не шлю донесений. Оказалось, что два моих конных нарочных заблудились и провозили мой пакет с тремя крестами до самого вечера неизвестно где. Между тем, мимо штаба по улицам тянулись без перерыва санитарные повозки с ранеными и убитыми, брели попарно и в одиночку, опираясь на винтовки, раненые пластуны, бригада несла большие потери, и генерал снова кого-то материл, прыгая над телефонной трубкой.

Сдав Шенгелаю свою беспокойную должность, я на рысях выехал назад в сотню, которую встретил, идущей навстречу. Устроив по случаю встречи привал, мы заинтересовались целой грудой оружия, которую везли на повозке горцы. Оказалось, что оборотистые ингуши во главе с шенгелаевским Чуки успели несколько раз побывать на месте наступления пластунов и запаслись там австрийскими винтовками, карабинами и револьверами. Как я сам, так и все кавказцы были страстными любителями оружия, на которое в полку всегда был большой спрос. Австрийские карабины Манлихера, как равно и их револьверы системы Стоера, ничего особенного не представляли и намного уступали немецкому оружию. Для всадников-ингушей добыча оружия имела чисто коммерческое значение, так как они умудрялись переправлять его на Кавказ в качестве военного груза, где на него имелся большой и вполне понятный спрос. Не раз жандармерия на вокзалах между фронтом и Киевом ловила такие секретные грузы и производила расследование, никогда цели не достигавшее − в дивизии своих в обиду не давали. Имея впоследствии большую коллекцию огнестрельного оружия, вывезенного с войны, я должен признаться, что лучшими карабинами (винтовками, как оружием громоздким и тяжёлым, мы не интересовались) являлись в моё время немецкие системы Маузера, как наиболее удобные в прицеле и точные в стрельбе. Таковые же были и турецкие, так как являлись сработанными той же фабрикой и имели только турецкую надпись. Эти карабины, как показывала практика, были лучшими и для охоты по зверю при условии нарезной пули. Очень легки были японские и мексиканские,

бившие на более дальнее расстояние, чем немецкие, но рана, наносимая ими зверю, была слишком лёгкой, ввиду большой силы боя и слишком малого калибра, недаром их пули назывались «человеколюбивые». Наши русские короткие карабины, которыми были вооружены пулемётные команды, к сожалению, оставляли желать лучшего в смысле точности боя, их пули всегда ложились выше цели. Из револьверов и пистолетов военного образца были лучшими «маузер» и «парабеллум», употреблявшиеся в германской авиации.

Постепенно я узнал и привык к людям своего взвода. Народ всё солидный и уже втянувшийся в военную жизнь. Взводный урядник был крупный костистый и носатый старик – ингуш лет 55, но ещё крепкий и жилистый. Он нечто вроде мусульманского религиозного начётчика и потому очень уважаем всадниками. К военным опасностям он невозмутимо равнодушен, но не потому, что храбр, а потому, что твёрдо знает, что убит быть не может, так как… он «заговорен от пуль». Сам он об этом не говорит, но все всадники сотни знают, что он был когда-то подвергнут заговору знаменитым колдуном на каком-то горном озере в Чечне и теперь совершенно неуязвим для пуль и снарядов, уж не говоря о таких пустяках, как штык или сабля.

Как офицер и самолюбивый юнец, я считал своим долгом везде и всегда быть впереди взвода при наступлении и позади при отходе, это было принято, как аксиома, в полку среди молодёжи. Однако у себя во взводе при осуществлении этой традиции я наталкивался всякий раз на молчаливое, но упорное противодействие взводного. Оспаривая у меня право опасности, старик руководствовался отнюдь не самолюбием или самопожертвованием, а исключительно практическими соображениями. Меня и любого всадника взвода могли убить, он же сам ровно ничем не рисковал. Эта твёрдокаменная вера в собственную неуязвимость меня одновременно и злила, и вызывала легкую зависть. Ведь только подумать, что только можно было наделать на войне при такой уверенности в собственной безопасности по части геройства, которое так культивировалось среди полковой молодёжи.

Однажды, находясь в сторожевом охранении на берегу Днестра, я со взводом должен был на ночь занять небольшой сторожевой окопчик у самой воды, предназначенный для секретов. Собственно, здесь было место для двух человек, остальные же люди взвода должны были обыкновенно находиться на полгоре в зарослях ивняка и кукурузы. Однако у нас в эту ночь были сведения о предполагавшейся переправе противника, а темень была такая, что я, опасаясь за переправу, посадил сюда весь взвод.

Обнаружили ли мы своё пребывание разговором, далеко слышным по воде, или австрийцы в эту ночь тоже чего-то нервничали, но только неприятельские секреты к полночи стали постреливать, причём, пристрелявшись днём по пустовавшему обыкновенно окопчику, настолько удачно, что пули сразу начали ложиться между нами. Приказав взводу рассыпаться вдоль берега, я сделал ошибку, так как шум перебежки обратил на нас ещё больше внимания австрийских секретов с того берега. К винтовкам присоединился пулемёт, который начал буквально стричь кукурузу у нас над головой. Не отвечая на огонь неприятеля, мы все уткнулись носом в землю, боясь обнаружить своё присутствие. В этот жуткий момент старик-взводный, вместо того, чтобы лежать смирно, как другие, неожиданно встал и с шумом зашагал по кустам, проверяя, нет ли раненых. Лёг он только тогда, когда я его обложил непечатным словом, невзирая на его почтенные годы. На заре, когда австрийцы успокоились, нам удалось в утреннем тумане покинуть этот чёртов окоп, после чего я первым долгом обрушился на взводного. Этот окаянный дикарь с самым спокойным видом объяснил, что он ночью гулял под выстрелами отнюдь не из молодечества, а потому, что ему показалось, что его племянник ранен, его же лично всё равно «убить не могут». Должен сказать, что при этом объяснении взвод, хотя и молчал, но, несомненно, относил мой скептицизм относительно «неприкосновенности» Али исключительно к моей молодости и глупости.

Ореол благочестия и праведной жизни, которым пользовался взводный Али Базоркин в глазах всадников, нисколько не мешал ему быть очень ловким вором, что едва ли

не составляет национальной черты ингушского народа. Воровство в их глазах отнюдь не порок, а своего рода удальство. Крали мои всадники не только у населения и других воинских частей, но и в собственной сотне друг у друга.

Помню один весьма любопытный и характерный случай. После двух дней боя мы попали на отдых и шли целым рядом галицийских деревушек на свою стоянку. Заночевать пришлось в польском местечке Бильче, где рядом с нами оказались на днёвке киевские гусары. Наши квартирьеры перепутали квартиры, а потому мы разместились вперемежку с гусарами. Заснув в конском стойле на соломе, я оставил вьюки и коня на попечение вестового Ахмета Чертоева, человека редкостной лени и беспечности. Утром, не выспавшийся и злой, я выехал из Бильче, не проверив вещей. Дорога шла вдоль реки, от которой тянуло сыростью. Потянувшись к задней луке, где была обыкновенно приторочена бурка, я обнаружил, что она исчезла. Мрачно нахохлившийся Ахмет, как мокрый воробей, трусил в первой шеренге.

− Ахмет, где моя бурка?

Ахмет оглядел меня и коня с головы до ног и решительно заявил:

− Бурка нет – значит, солдат ночью украл.

− Какой солдат?!

− Гусарский солдат… ночевал который с нами вместе… Вахмистру надо сказать, пусть назад пошлёт найти бурку.

Мало веря в действительность такой меры, я всё же вызвал Али и рассказал ему своё горе. Старик и всегда его сопровождавший племянник выслушали историю молча, повесив длинные носы, точно скворцы, а затем в один голос сказали: «Хорошо!» Хорошего было мало, и я с досадой думал, что без бурки будет мне трудно в сырой и дождливой Галиции.

Длинный утомительный день похода тянулся, как много-много других таких же одинаковых и похожих друг на друга дней. Густая грязь дороги, из которой с трудом вытаскивают со звуком вынутой пробки ноги кони, мокрые унылые деревушки, брошенные поля, голые леса, дали, покрытые синеватым туманом. Навстречу − редкие, завёрнутые в тряпьё фигуры бредущих унылых «газд», шарахавшихся от нас в сторону. Всё такое надоевшее и привычное, так похожее на вчерашнее и завтрашнее. Теперь, много лет спустя, все годы войны слились у меня в сознании, как беспрерывный поход днём и ночью, под мелким нудным дождём, бесконечно барабанящим по плечам и седлу.

Незаметно подошёл вечер, и замелькали огни в селениях. Кони передней сотни застучали копытами по деревянному настилу моста. Мокрые и громоздкие, мы сразу наполнили чистенькие комнаты «пана пробоща» грудами мокрой амуниции, запахом конского пота и кожи. Из-за дверей со страхом и любопытством мелькали чьи-то любопытные глаза. Из тёмного коридора тихие женские голоса поминали «матку боску». Я едва досидел в светлой столовой до конца ужина. Дрёма наваливалась с такой силой, что минутами я переставал сознавать действительность. Едва добрался до дивана, как меня сковал мёртвый сон. Всю ночь снился летящий снаряд, разрыва которого я никак не мог дождаться. Было позднее утро, когда я проснулся от стука в дверь. В комнату осторожно протиснулся, наполняя её запахом дождя и мокрой шерсти, взводный Али в сопровождении всё того же неразлучного племянника, нёсшего целый ворох бурок. Али осторожно взял одну и развернул передо мной: «Твоя?»

На вороте чернильным карандашом по холсту стояла чёткая надпись: «Корнет Николай Иванович Критский». За первой последовала другая, третья, пятая, замелькали написанные чернильными карандашами чины и имена.

− Да где ты их достал? − изумился я.

− Как где!.. у солдат в деревне…

− Это что же, вы мою бурку по всему полку у них искали?

− А конечно, твою… Ахмет Чертоев, вестовой твой, сказал, что фамилий твой написан карандашом, а она − указал Али на племянника, − она по-русски читать не знает.

Среди бурок, украденных племянником моего добродетельного взводного у киевских гусар, оказалась и моя. Смущённый и сбитый с толку «исполнительностью» своих подчинённых, я приказал Али отослать назад в Бильче имущество ограбленных корнетов и ротмистров, но, положа руку на сердце, далеко не уверен, что оно дошло по назначению.

Не лучше было отношение ингушей и к казённой собственности. Долгое время в полку не могли добиться, чтобы всадники не считали винтовки предметом, подлежащим купле и продаже. Пришлось из-за этого отдать несколько человек туземцев под суд за сделки с казённым оружием. В этой области также дело не обошлось без бытовых анекдотов. В одной из сотен заведующий оружием производил смотр винтовок и недосчитался нескольких штук. Зная нравы горцев, он предупредил командира сотни, что снова приедет через несколько дней, а за это время сотня должна принять меры для пополнения недостающего оружия. Сотня «меры приняла», и в следующий приезд заведующий оружием нашёл восемь винтовок… лишних. Пики, как оружие неудобное и непривычное, горцы не любили, и чтобы от них освободиться, в начале войны просто их бросали, пользуясь тем, что ночью этого начальство не увидит.

Генерал Лечицкий, командующий Девятой армией, куда входила наша дивизия, в начале войны был очень ею недоволен за грабежи и обиды, чинимые населению. Однако наличие брата императора во главе Туземной дивизии сдерживало сурового генерала до поры до времени. В сентябре 1915 года, если не ошибаюсь, великий князь получил в командование один из конных корпусов, и тогда Лечицкий решил отвести душу и посчитаться с Туземной дивизией.

Вытребованный по тревоге, полк выстроился на заре пасмурного осеннего дня на опушке леса после ночного перехода под дождём. Дождь превратил полк, одетый в лохматые бурки и ещё более лохматые рыжие папахи, в весьма непрезентабельный вид. Шершавые вислоухие лошадёнки дополняли картину. Над развёрнутым фронтом четырёх сотен на неравных промежутках торчало десятка два пик. Остальные были брошены ночью в походе. Из-за леса показалась группа конного начальства. Высокий седой Лечицкий, в генеральском пальто на жёлтой подкладке, неловко, по-пехотному сидел на коне. Он молча ехал вдоль строя, сердито и пристально вглядываясь в лица всадников. Нетрудно было себе представить, что думал в эту минуту генерал.

Старый служака, достигший высокого поста долгой строевой службой, с досадой смотрел на эту опереточную часть, нарушавшую все понятия о порядке и дисциплине в армии, которой он руководил твёрдой рукой. Эти оборванцы, полусолдаты-полуразбойники на своих лопоухих клячах долго творили всякие безобразия, оставаясь безнаказанными под крылом своего августейшего дивизионера. Но зато теперь!.. теперь генерал им покажет. Прорвало Лечицкого гораздо раньше, чем он доехал по уставу до середины полка. Завалившись назад, он резко осадил своего крупного коня. Маленький Мерчуле, изящно сидя в седле и небрежно касаясь папахи, что-то говорил генералу. Ветер относил спокойный голос полковника, но сердитый крик командующего армией прорывался через ветер.

− Безобразие!.. Навести порядок… Не потерплю больше!

Резко прервав разговор с Мерчуле, генерал дал шпоры коню и подлетел к самому фронту, ткнул в упор стеком в грудь чеченца Чантиева:

− Ты!.. − прокатился его гневный голос. − Тебе пика была выдана или нет?!

− Выдан… твоя приисходительство…, − невесело оскалил зубы Чантиев, очень довольный генеральским вниманием.

− Куда же ты её, сукин сын, дел?

Черномазая морда Чантиева окончательно расплылась в радостную улыбку:

− Нам пика не нужен… − рассудительно объяснил он, − наша ингуш, чечен имеет шашку, кинжал, винтовку, а пика… наша пику бросил к ё-ной матери! − закончил он решительно и неожиданно.

В группе начальства, несмотря на серьёзность минуты, не удержались, и кто-то засмеялся. У Лечицкого выкатились глаза и покраснело лицо, от негодования слова

остановились у него в горле. «Дур-р-ак!» − наконец, рявкнул, как из пушки, генерал и, круто повернув коня, отъехал в сторону. Свита, глухо застучав копытами, зарысила сзади. С правого фланга зазвенел серебряный звук трубы. Начался смотр.

В конце сентября, не имея никаких известий от Филиппа, пропавшего без вести с Амуром, я отпросился для его розыска. Необходимо, кроме того, было купить кинжал и кавказскую шашку, которых у меня ещё не было. Утром мы выехали с Цешковским верхами в Каменец-Подольский из Усть-Бискупэ, где опять стояли. С нами ехал и мой Ахмет, который должен был привести наших лошадей назад в полк.

Дорога всё время шла по шоссе, и через три часа мы подъезжали к Каменцу. Мне впервые пришлось быть в этом городе, и он мне очень понравился своей стариной. По улицам, в особенности, в старом городе, поминутно попадались старинные дома, помнившие ещё историю Старопольши. То там, то здесь старинные башни или костёл самого любопытного вида с выбитыми из камня фигурами святых.

Город делился рекой на три части, из которых только одна – современная, две же другие относятся к глубокой старине и называются «Замостье» и «Старый город». Они отделены друг от друга глубокой каменистой пропастью, над которой переброшен старинный каменный мост татарских времён. Под ним течёт речка Смотрич. «Замостье» представляет собой старинную польскую крепость, ту самую, в которой отсиживался и взорвался по роману Сенкевича Володыевский. В крепости в моё время находился арсенал или какое-то ему подобное казённое учреждение. Башни хорошо сохранились и имели внушительный вид. Из крепости подземный ход идёт к городу Хотину. Замок стоит на скале, в старые годы считавшейся неприступной. В общем, город был живой декорацией к польской истории, и к его стенам очень подошли бы усатые польские паны и гайдамаки Хмельницкого.

На станции Киев я столкнулся с белгородцем Имшенецким, рассказавшим новогеоргиевские новости. В гостинице «Россия» узнал о скандале, который только что в ней устроил наш полковой адъютант жандармскому офицеру, не вовремя сунувшему нос в номер дамы, интересовавшей Баранова. Оказалось, что Филипп, выехав из Киева, умудрился прежним порядком застрять и в Каменце, где я его и разыскал, и при себе отправил в обоз второго разряда, стоявший в селе Демковцы. Возвратясь в Каменец, застал там панику. Как оказывается, австрийские аэропланы ежедневно утром посещают город и сбрасывают бомбы на вокзал и железнодорожные пути, хотя и без особенного успеха. В Каменце никаких противоавиационных средств нет, и потому публика пугается.

Утром 30 сентября нас разбудили крики и беготня в коридоре гостиницы. Выглянув в окно, я услышал звук пропеллера и разрывы бомб. Это оказался очередной налёт австрийцев. Не стесняясь ночным костюмом, я взял винтовку Ахмета и патронташ, лежавшие в номере, и, выйдя в легкомысленном виде на балкон, стал расстреливать неприятельский аппарат. По городу повсюду хлопали винтовочные выстрелы и грохотали залпы, гарнизон пытался подстрелить лётчика. Не успел я выпустить обойму, как в дверь постучали, и голос жидка-хозяина заплакал из коридора:

− Господин хвицер… для ради Господа Буга! Не штреляйте! Бо ваше ружже уж дуже грохает и нас всех пужает, а мы и без того напужаны!

Оказалось, что мои выстрелы, грохотавшие в пустом коридоре гостиницы, больше пугали еврейчиков, чем жужжавший в небе австрийский аэроплан.

Из Каменца в Демковцы мы выехали на телеге, привязав лошадей за грядку. Я задремал по дороге и был разбужен очень неприятно Амуром, который, жуя сено, прихватил вместе с ним и мои волосы. Население Подольской губернии сильно отличается от своих соседей галичан. Бедность, конечно, по деревням есть и здесь, однако нет у крестьян той приниженности и рабского вида, как у «газд» Восточной Галиции. Шоссе, длинное и пыльное, ведёт к старой границе; грузовые и легковые автомобили, транспорты и санитарные повозки тянутся почти беспрерывным потоком. По сторонам дороги сплошное море кукурузы, среди которого, как зелёные островки, разбросаны хутора и деревушки. В

Демковцах уже несколько месяцев подряд стоит наш обоз второго разряда. Им командует ротмистр Сухин, высокий тощий офицер. При нём состоят старичок Светлов, корреспондент «Нивы» и её редактор, и некий прапорщик Раппопорт, из московских адвокатов. Он, несомненно, из жидков, маленький, тощий и плюгавый. Каким образом он попал в Туземную дивизию и зачем – загадка. На фронте он не бывает, больше держится при обозах, впрочем, под благородным предлогом, что не может жить без водки, которой в окопах нет.

Не успели мы приехать в Демковцы, как встретили автомобиль полкового штаба и в нём Шенгелая с вестовым. Шенгелай, горевший желанием подвига во что бы ни стало, устроил, будучи в охранении, безумную и ненужную атаку, во время которой был ранен навылет в правую руку пулей. К счастью, рана лёгкая, так как пуля костей не задела. Мерчуле, как и все в полку, любивший отчаянного корнета, немедленно отправил Шенгелая в своём автомобиле в госпиталь в Каменец. По словам Шенгелая, сотней временно командует новый офицер, хорунжий забайкалец О. Переночевав в Демковцах, мы отправились дальше, опять на подводе. По дороге к нам пристал казак-калмык лейб-гвардии Казачьего полка, с разбойной рожей, с которым Ахмет подружился в Каменце. Весь день я дремал, лёжа в телеге, и смотрел на небо. На фоне его мотался силуэт Ахмета в лохматой папахе и унылая фигура его нового друга. К вечеру стало совсем скучно, и вестовой затянул чеченскую песню, очень похожую на волчий вой.

Как только переехали границу Галиции, вдоль пути потянулись вымершие деревни с побитыми стёклами, обгорелые развалины и трубы, и далеко кругом ни одной живой души. В мёртвой тишине не слышно ни человеческого голоса, ни собачьего лая. В этой, вымершей от войны стране, ничто не напоминало о жизни, повсюду смерть и запустение.Брошенные, запылённые поля, тихие молчаливые леса и белое, уходящее за горизонт шоссе с телеграфными столбами, на которых тоскливо гудит от ветра проволока. Тишина неприятная и гнетущая, нет больше ни встречных путников, ни обозов; только глухой стук нашей телеги да топот копыт. Далеко впереди, точно из-под земли, погромыхивают пушки. Ночевали мы в какой-то деревушке, и я заснул среди груды ситцевых подушек. В хате всю ночь удушливо пахло чем-то кислым и упорным, запах был интригующий и как будто знакомый. Наутро я открыл его секрет: под кроватью стояла кадушка с… солёными огурцами.

Очень красива осень в Галиции. В это время года леса здесь самой необыкновенной окраски и колорита, начиная от чуть желтеющего листа до совершенно красного. Даже не верится, что в природе существует такая гамма красок. Леса здесь полны жизнью и, вероятно, нигде нет такой богатой и разнообразной охоты, как в Восточной Галиции. Лось, олень, дикая коза, свиньи, волки, лисицы, зайцы, кролики, фазаны, тетерева и куропатки, уж не говоря про всякую певчую птаху, − вот население этих, на вид таких тихих, лесов. Богатая фауна Галиции всецело обязана здесь тем полуфеодальным отношениям, которые существовали до войны между помещиками-поляками и крестьянами-русинами. Право охоты на всех землях помещичьих и крестьянских принадлежало только помещикам, и эти последние ревниво оберегали дичь. О ней же заботились зимой лесники и объездчики, специально нанятые хозяевами охот. Не диво поэтому было встретить в галицийских лесах стога сена, оставленные на зиму специально для корма коз и оленей.

Охотничьи хозяйства поставлены прекрасно, заботливо и рационально. В окрестностях Демковцев, например, все леса принадлежали польскому пану Журковскому, который в виде исключения не граф. Все паны лесничие и «подпанки побэрэжники», конечно, также поляки. Галицийскому «быдлу» здесь, в своей собственной стране, не было места.

Что всего хуже, это то, что польские паны в большинстве случаев не жили в своих галицийских «маетностях», пользуясь лишь доходами с имений, да являясь летом на пару недель на охоту. Свою феодальную власть над галицийским крестьянством, находившимся от них почти в крепостной зависимости, паны-графы всецело передали в руки еврейских арендаторов, которые, пользуясь этой «передоверенной» властью, зажали русинское крестьянство, что называется, в кулак. Раболепство опутанного еврейскими экономическими

сетями крестьянства перед польскими панами доходит до того, что при встречах газды целуют у поляков руку и что ещё хуже, то же самое проделывают и с грязной лапой «пана-жида» − панского фактотума.

Галицийские жиды, которыми почти сплошь населены местечки Галиции, являются самыми типичными польскими евреями, каких только себе можно представить: одетые в полную еврейскую «форму», т.е. в длинные лапсердаки, ермолки, пантуфли и пейсы, с традиционным «жонтиком» в руках. Большинство из них − болезненные, тщедушные и слабогрудые. Живя в невероятной грязи и антисанитарных условиях, они являются рассадником всяких эпидемических болезней. Осенью 1915 года свирепствовавшая в Галиции холера поражала, главным образом, еврейское население. В местечке Тлустэ в июле, например, еженедельно умирало от холеры человек по двадцати евреев, в то время как православное население этой болезнью почти не болело.

Жидки Галиции народ крайне нервный и на редкость крикливый. Из-за этого галицийские базары, где они господствуют, весь день преисполнены криком и гвалтом. Даже в простом разговоре жиды так кричат, что постороннему наблюдателю кажется, что собеседники вот-вот выцарапают друг другу глаза. При этом они с невероятной быстротою жестикулируют тощими руками. Со времени прихода русских войск в Галицию их гешефты значительно сократились, равно как и власть над «быдлом». Присмирели и сидели, поджав хвосты, и оставшиеся по имениям и замкам поляки-экономы, арендаторы и подпанки. К жидам русские военные власти относились строго, держа их под постоянным подозрением в шпионаже в пользу Австрии. Это и понятно, если принять во внимание, что ни в одной стране так не жилось привольно иудеям, как в покойной империи старого «Франца-Жозефа». «Кинчилось врімя, як жиды пановалы», − не без удовольствия говорил нам пожилой газда, у которого мы заночевали и у которого я расспрашивал про недавнее прошлое. «А уж пановалы, сучьи диты… вот як пановалы», − покрутил он седой головой.

Широко и привольно жили на даровом труде русинского крестьянства и помещики-поляки. Все их замки и палацы выстроены просторно, широко и прочно, так же, как широка и привольна была жизнь, которую они здесь вели. Замки выстроены из несокрушимого камня, и каждый из них, если не простоял, то предназначался простоять не одну сотню лет. В большинстве своём это средневековые постройки крепостного типа, возведённые три и четыре сотни лет тому назад, в те времена, когда люди не стеснялись ни местом, ни временем, ни… чужим трудом. Они отменно прочны и покойны, во вкусе умной старины, с башнями по углам, с зубцами по стенам, с дубовой отделкой и дубовой мебелью внутри. В каждом замке в нижнем этаже огромная рыцарская зала, служащая столовой. По стенам её лосиные и кабаньи головы, фамильные портреты гордых усатых панов, пожелтевшие гравюры из жизни старой Польши. Полы покрыты толстыми коврами восточных рисунков, вывезенными далёкими предками из крымских и турецких походов. Монументальные столы, стулья, напоминающие троны, широкие турецкие диваны. Всё солидно, прочно и роскошно, всё свидетельствует о старом, прочно установившемся быте и привольной жизни, которой жили здесь владельцы этих хором, ныне таких притихших и покинутых. От всей этой атмосферы веет весёлой и широкой жизнью старой Польши с её беззаботностью, бесконечными праздниками, гонором и рыцарскими нравами.

Как не похожи эти гордые польские замки на барские усадьбы нашей чернозёмной лыковой Руси! Какая разница между этими холодными залами с чудовищными каминами и нашими «комнатушками» и «боковушками» с жаркими лежанками уютного помещичьего дома! Другая жизнь − другие нравы. Особенно чувствуешь эту чужую и далёкую жизнь, когда вечером зажигают огни, и жидкий свет свечей пытается и не может разогнать мрак и жуть величественных зал. Световое пятно едва в силах кое-как осветить монументальный стол, похожий на катафалк, и не проникает в темноту огромной комнаты. Мрак проступает отовсюду, надвигаясь сверху и с боков. Жутко и неуютно; груда потрескивающих поленьев в камине не в состоянии прогнать холода и сырости. Ужиная в одиночестве в этих отдающих историей стенах, я невольно вспоминаю тёплый дом и уют родной усадьбы, теперь

далеко-далеко отсюда, занесённой снегами среди безграничных полей...

В Демковцах пришлось потерять целых три дня из-за вестового. Ахмет мой терпеть не может сидеть на месте. По приезде в обоз он сейчас же отпросился у меня назад в Каменец, будто бы за необходимыми покупками, и пропал. Решив его бросить на произвол судьбы, я уже садился в телегу, чтобы ехать в полк, когда он явился вместе со своим вновь обретенным другом-калмыком. В телегу ввалился ко мне он мрачный, как чёрт, с похмелья, а калмык поехал верхом на его лошадёнке, несчастной и многострадальной скотине, которую, по кавказскому обычаю, Ахмет гоняет без отдыха, совершенно не заботясь о её прокормлении. В дороге калмык не раз отставал от телеги или уезжал вперед. Чертоев как истинный горец, по рецепту дяди Ерошки из «Казаков», дружить с ним дружил, но оружие всегда держал под рукой, и потому всякий раз, когда калмык слишком удалялся от нас, вестач мой брался за винтовку с намерением пустить её в ход, если бы друг попытался ускакать на его кляче.

В полку, когда мы приехали в Вержбовцы, где он стоял, оказалось много перемен. Прибыли новые офицеры из военных училищ, в большинстве кавказцы, но, к сожалению, из училищ пехотных. Очередной бедой оказалось отсутствие фуража, которым нас интендантство не снабжало, выдавая только деньги на приобретение его. У жителей достать что-либо было чрезвычайно трудно, так как крестьяне по-русски понимали туго и при всякой попытке заговорить с ними о фураже считали, что их собираются грабить.

На второй день после нашего прибытия в сотню Ахмет утром мрачно доложил, что кормить наших четырёх коней нечем, но у хозяйки в запертом на ключ сарае имеются овсяные снопы, которые можно купить. Зная способ Ахметовой «покупки», я денег ему не дал, а отправился к хозяйке сам. При первых же словах газдыня заявила, что корма у неё нет. Нетерпеливый Ахмет, не дожидаясь конца наших объяснений, молча направился к сараю, баба с отчаянным воплем загородила ему дорогу, воя на всю деревню, что она «бидна сиротина, тай с малыми хлопцами». От страха и собственного крика она ничего не хотела понимать, и мне пришлось силой засунуть ей за пазуху пятирублёвую бумажку за несколько снопов овса, которыми был полон сарай. Ахмет на всю эту сцену смотрел неодобрительно и, улучив момент, дал газдыне для вразумления тычок «по потылице». Всё это, конечно, очень беспокойно и неприятно, однако кони наши без корму быть не могли, и подобные сцены постоянно происходили почти во всякой деревне, где мы стояли. Другие офицеры, наскучив бестолковостью русинов, махнули на всё рукой и, предоставив вопрос о фураже своим вестовым, которые, регулярно получая деньги, навряд так же аккуратно платили за фураж населению.

Ахмет моей щепетильности в отношении населения явно не одобряет. В назидание, желая научить меня уму-разуму, каждый вечер рассказывал о жизни у них в ауле Шали, где живут «настоящие джигиты», не позволяющие себе позорного слабодушия в отношении врагов. «Врагами» он считал всё население Австрии без различия пола, состояния и возраста. Рассказы его в большинстве случаев о битвах и всякого рода сведении счётов с «кровниками», т.е. с лицами, с которыми его односельчане находятся в кровной вражде. Институт кровомщения Ахмет не только одобрял, но считал, что он, наряду с разбоем, единственная достойная школа для воспитания молодёжи в воинском духе и традициях доброго старого времени, так как по теперешним временам настоящие войны, к сожалению, бывают редко.

Мстить кровникам можно не только лично, но и через наёмного убийцу. Мести подвергаются все мужчины от 15 до 60 лет при всяком удобном и неудобном случае, в любой час дня или ночи. Так как в их местах почти у всех горцев есть кровники, то благодаря этому является насущная необходимость всем мужчинам ходить вооружёнными, чтобы в любой момент принять бой. По этим причинам у них в горах постоянный спрос на винтовки и револьверы, чего русское начальство здесь на фронте не понимает и, мешая перевозить оружие с фронта на Кавказ, поступает как «ишак». Это не только глупо, но и жестоко, так как многих у них убили из-за этого безоружными.

Самым славным подвигом своей семьи Ахмет считает большое сражение, которое они дали своим кровникам Алихановым. С обеих сторон билось около ста человек, причём бой окончился десятками раненых и убитых. Причиной сражения было то, что Алихановы убили четырнадцатилетнего мальчика Чертоева, шедшего в школу. Получив известие об этом, все Чертоевы побросали работу в поле и бросились к месту происшествия, одновременно дав знать «по телефону» своим родственникам в соседнее селение. Местный пристав, также из туземцев, получил взятку, чтобы не мешал делу. При подсчёте потерь оказалось, что главный джигит семьи Чертоевых Султан, о подвигах которого мой Ахмет никогда не уставал врать, оказался убитым; но опять-таки убитым геройски, как и подобало богатырю. «Двадцать мест – дырка была», − с гордостью закончил Ахмет своё повествование.

При выступлении на фронт из Вержбовцев ко мне в гости неожиданно явился Косиглович, который служил во второй сотне и которого я давно не видал. И без того тощий, он теперь выглядел совсем плохо и жаловался на нездоровье. Не терпевший пьяниц трезвенник Шенгелай заметил при этом: «От пьянства всё это нездоровье у вас, молодой». Косиглович остался у нас ночевать. Ночью он начал бредить и к утру был без сознания. Его увезла в госпиталь санитарная двуколка, и только через два месяца мы узнали, что бедняга умер от тифа, не приходя в сознание, в одном из лазаретов Каменца. Шенгелай оказался прав, нетрезвая жизнь так подорвала силы Косигловича, что его ослабевший организм был уже не в состоянии справиться с болезнью.

В ночь на 28 октября 1915 года полк выступил на позиции. Переночевав на каком-то брошенном хуторе, на другое утро мы по шоссе подходили к линии боёв. У Ахмета на ночёвке заболела и захромала его кляча, и мне пришлось взять на позиции обоих моих кабардинцев, чего я всегда избегал. На фронте выяснилась совершенная непригодность для боевой работы нарядного Амура, который, кроме того, не подходил и по типу к полку, сплошь сидевшему на конях кабардинской и ногайской породы. По этой причине в помощь коню, которого я когда-то купил у Агоева, я приобрёл у Шенгелая, барышничавшего лошадьми по-любительски, вороного кабардинского жеребца-иноходца, нарядного и замечательно спокойного под седлом. Выступая в это утро с хутора, я принуждён был дать под седло Ахмету кибировского верблюда, сам сев на вороного.

Вдоль шоссе сейчас же за хутором потянулась отдыхавшая прямо на земле пехота, подошедшая ночью. Навстречу тянулись лазаретные фуры с ранеными и множество отдельных всадников-туземцев с донесениями. Звуков боя не было слышно, если не считать обычного громыхания артиллерии где-то за буграми. На подходе мы узнали, что один из наших однополчан, недавно прибывший из училища весёлый и румяный прапорщик Суткусь, был убит накануне в этих местах во время сторожёвки при попытке на свой страх и риск захватить австрийский секрет.

Как только мы выехали на гору, скоро показались в небе ватные шарики разрывов над местом нашего будущего расположения, пока скрытого ещё за пригорком. Через несколько минут, вынырнув из-за горизонта, показалась и помчалась нам навстречу вскачь полковая кухня. На козлах её, нахлёстывая и без того скакавших лошадей, сидел перепуганный повар. Подскакивая на рытвинах, кухня моталась из стороны в сторону, и из неё во все стороны брызгали щи. Поравнявшись с передней сотней, солдат придержал коней и смущённо объяснил Шенгелаю, что он удирал со своим котлом от артиллерийского обстрела:

− На гори дуже бьють с орудий… менэ чутко не вбило… кульером надо проскачивать, а то так не пройдэтэ.

Полк сошёл с шоссе и глухо застучал сотнями копыт по замёрзшему в чугун вспаханному полю. Обойдя гору, по которой била австрийская батарея, в лощине мы наткнулись у фольварка Михалполе на группу горцев, в живописном беспорядке лежавших под прикрытием стены. Это оказались всадники-черкесы, высланные сюда в летучую почту. Здесь же расположился и наш полковой штаб.

Сотни одна за другой получали назначение и расходились занимать свои участки. Нам досталась задача занять деревню Петликовцы-Новые и выставить впереди неё сторожевое оцепление в ожидании наступления неприятеля, которого ждали к вечеру. Невидимые австрийские батареи били через наши головы по шоссе, проходившему по гребню горы, дабы помешать подходу по нему подкреплений. Снарядов неприятель не жалел и бил целыми очередями по отдельным людям, появлявшимся в поле его зрения.

Не успели мы сесть на коней, как на шоссе показался бешено мчавшийся всадник. Раз за разом грохнули австрийские батареи за деревней и вокруг скачущего выросли чёрные столбы разрывов. Только промчавшись по самому опасному участку, скакавший догадался свернуть с шоссе в сторону и тем же бешеным аллюром направился прямо к нам на фольварк. Тут только мы узнали нашего добровольца Колю Голубева, который, как всегда, и здесь сумел попасть не туда, куда надо. С вылезшими на лоб глазами, без шапки, он подлетел к Шенгелаю на своей измученной и мокрой, как мышь, лошадёнке и радостным голосом сообщил, что по собственной инициативе ездил в обоз за офицерским обедом и что его сейчас чуть не убили на шоссе. Всё это мы видели и без его рассказа, и командир сотни, изругав мальчишку, приказал ему не отходить от него ни на шаг под угрозой выпороть, как сукинова сына. «Я что ж… слушаюсь, только вчера вы сами ругались, что обед не привезли», − оправдывался отчаянный гимназист.

Спустившись от фольварка к речке и переехав через животрепещущий деревянный мостик, мы попали в ещё не пострадавшую от войны деревню Петликовцы-Новые и расположились по хатам, выслав за деревню сторожевое охранение. Кроме редкой артиллерийской стрельбы по шоссе, к вечеру стихшей, австрийцы никаких враждебных действий пока что не обнаруживали. В сторожевом охранении с вечера дежурил Ужахов, и мы, остальные офицеры, отлично выспались в крайней от заставы хате. Рано утром нас разбудил присланный Ужаховым из сторожевого охранения всадник с известием, что австрийцы зашевелились и готовятся к наступлению. Одновременно из штаба прискакал всадник с приказом полковника Абелова нарядить офицера для связи с Татарским полком, расположившимся влево от нас. Жребий ехать в связь достался Сурену Бек-Карганову, к его большому неудовольствию и негодованию. Садясь в седло на дворе, он, обозлившись на упрямство коня, не хотевшего отходить от коновязи, ударил его нагайкой по голове. Конь закинулся и опрокинулся на землю вместе со своим всадником. Мы все промолчали, но, как впоследствии выяснилось, у каждого в мыслях промелькнуло, что это было для Карганова плохое предзнаменование.

Выйдя из хаты, я направился к всадникам оцепления, редкой цепью расположившимся на окраине деревни, среди пшеничного поля, между разбросанными по нему копнами и снопами. Ярко-голубое небо было точно умыто вчерашним дождём, над головами изредка посвистывали пули, но в голубой дымке горизонта не было ничего видно, кроме всё тех же пшеничных копен. Подойдя к людям своего взвода, я присел на снопы возле группы горцев, собравшихся вокруг взводного Али. Они сидели и полулежали на разбросанной соломе и вели самый мирный разговор; ничто не напоминало в их поведении, что они ожидали боя. Вынув бинокль из футляра, я долго, до слёз, всматривался в подёрнутую лёгким дымком тумана даль, но там ничего по-прежнему не было видно.

Посидев в пустопорожнем разговоре около получаса, мы заметили, что австрийская артиллерия, с утра обстреливавшая вчерашнее шоссе, перенесла свой огонь к нам ближе, и скоро усиливающийся огонь покрыл деревню и поле позади нас столбами гранатных разрывов. Чёрные фонтаны земли с грохотом и гулом стали вырастать вокруг нас то спереди, то сзади; деревня, уже сильно пострадавшая, часам к 10 утра загорелась. По улицам с криками носились бабы и ребята, нагруженные узлами и скарбом. Густая толпа беженцев потянулась через мост на гору.

Ахмет с живописными жестами и с патетическими паузами рассказывал всадникам о нашем путешествии, по временам прерывая рассказ и опасливо оглядываясь на близкие разрывы. Крупный снаряд угодил под сарай, где стояли коноводы второй сотни, как раз в

середине его повествования. Вверх полетели доски и земля. Коротко и предсмертно проржала раненая лошадь. Один из молодых всадников, сбегав на место происшествия, принёс нам весть, что под сараем убило вахмистра и трёх коней.

Артиллерийский огонь, превратившийся скоро в ураганный, обратил мирную утром деревню в один сплошной костёр, грозно гудевший за нашей спиной и трещавший под грохотом новых разрывов. Это били уже не только привычные нам трёхдюймовки, но и крупные орудия, посылавшие целые чемоданы, рвавшиеся со страшным грохотом и поднимавшие в воздух массу земли с корнями на большую высоту. Минуты две или три после взрыва с неба нам на головы продолжали сыпаться осколки и куски земли. Ахмету не пришлось докончить свой рассказ, так как становилось совсем жарко, и нас то с одной, то с другой стороны обдавало землёй и вонючим жёлтым дымом.

С утра голубое и чистое, теперь небо было всё запятнано белыми, долго стоящими в воздухе, как куски ваты, облачками шрапнельных разрывов, казавшимися по сравнению со страшным разрушением, чинимым гранатами, детской игрой. Когда грохот разрывов и гул пожара достигли своего апогея, со стороны невидимого неприятеля показались тонкие фигуры в мохнатых шапках, не спеша волочивших за собой бурки. Это подходили к нам всадники из секретов с известием, что австрийские цепи вышли из окопов и начали наступление. В штабе полка об этом узнали ещё раньше, так как из переулка горевшей деревни вывернулись и рысью подъехали к нам, глухо стуча колёсами по жнивью, патронные двуколки с «цинками». Их сопровождал Ужахов с сотенным «резервом» из десяти горцев.

Было совершенно очевидно, что наша жидкая цепочка ненадолго сдержит австрийцев перед деревней, да это и не входило в нашу задачу. Нам предписывалось только войти в «соприкосновение с противником», после чего мы должны были отходить с боем навстречу нашей пехоте, которая сделает остальное. «Смотри, перебегает… перебегает!..», − схватил меня за руку Ахмет, указывая куда-то в даль. Между копнами, ещё очень далеко на горизонте, стали видны перебегающие крошечные фигурки, казавшиеся совсем игрушечными. Подняв прицел до предела, я тщательно выцеливал одну из фигурок, когда Ужахов положил руку мне на плечо. «Брось, не глупи, чересчур далеко ещё», − спокойно сказал он и что-то крикнул по цепи по-ингушски. Из неё сорвался и побежал к нам, нагибаясь, кто-то в распахнутой бурке.

Наступавшие австрийские цепи тоже рассмотрели нас, из невидимой дали заработало сразу несколько пулемётов. «Та-та-та!» − неслась их трель по полю. «Цзынь! цзынь, цзынь!» − пело над головами. Неожиданно сразу оборвался грохот разрывов, и наступила странная тишина, нарушавшаяся только треском пожара в деревне. Через минуту артиллерийский огонь возобновился, но снаряды теперь ложились уже далеко сзади нас по окраине деревни. Неприятель освобождал место для пехотной атаки нашего редкого сторожевого охранения. Горцы в цепи прекратили стрельбу и, снимая бурки и закидывая винтовки за плечи, готовились встретить австрийцев в шашки и кинжалы.

Несмотря на то, что я всё утро ожидал появления неприятеля и напряжённо вглядывался в ту сторону, откуда он должен был появиться, вывернувшийся прямо на меня из-за копен австрийский пехотинец был сюрпризом. С бешено забившимся сердцем я, как в тумане, прицелился в него из карабина и, затаив дыхание, спустил курок. Фигурка в голубой шинели, перекрещённой белыми ремнями снаряжения, остановилась и, замахав руками, провалилась, точно сквозь землю. Был ли он убит, ранен или просто испуганный близкой пулей, лёг на землю, осталось для меня на всю жизнь тайной. Тягучий звук трубы из деревни вслед за моим выстрелом подал сигнал к отступлению. Громыхая то здесь, то там выстрелами, цепь наша стала, не спеша, отходить к деревне. Отступление это, увы, было не правильное отступление пехотной цепи перебежками, а простой и весьма неумелый приём. Горцы по звуку трубы снялись с мест все одновременно и медленно во весь рост двинулись к деревне, свёртываясь на ходу.

Не успели мы пройти и десятка шагов, как из-за крайней хаты, испугав нас

неожиданностью, с воем и криком выскочили скачущие всадники татары, местами сливавшиеся в сплошную тёмную массу. Австрийцы, только что показавшиеся на чистом поле из-за копен, дрогнули от крика татар и смешались. Промчавшись с тяжёлым храпом коней и гулом копыт через нашу цепь, татары, преследуя побежавших австрийцев, скрылись за пригорком. Уже будучи на улицах деревни, мы услышали многоголосый дальний крик атакующих татар. Это была, виденная мною лишь краем глаза, знаменитая атака татарской сотни ротмистра Трояновского, за которую он был награждён Георгиевским крестом. Атака эта отбросила австрийские цепи, смешала их и дала возможность нашим двум ингушским сотням сесть на коней и вырваться из пылающей деревни.

Татары, прорвав две австрийские цепи положивших оружие, наткнулись на резервы неприятеля, встретившие их залповым огнём. Бросившие оружие цепи тоже взялись за винтовки, и Трояновский под перекрёстным огнём понёс большие потери. Прорвавшись назад, татары всё же успели забрать пленных, из которых ни одного не оставили живого, мстя за предательскую стрельбу в спину. Трояновский был ранен, лошадь под ним убита.

Посадив сотню на коней, хорунжий карьером повёл её через горящую деревню. Мы мчались между двумя стенами огня по улицам, сплошь заваленным горящими брёвнами, под гул огня и треск пожара. Пули десятками выли над самым ухом и, скача во главе сотни, я был уверен, что нас перебьют наполовину в этом двойном аду пожара и войны. Храпя и шарахаясь из стороны в сторону, вороной подо мной прыгал ежеминутно через брёвна и развалины; сзади глухо стучала копытами сотня. Дым слепил глаза, и судорожный кашель стоял над сотней, как над овечьим стадом. Через пять минут скачки со всевозможными препятствиями мы вынеслись на площадь, где стоял пешим встревоженный Абелов, приводивший в порядок беспорядочную толпу второй сотни. Её командир, ротмистр Апарин, с белым, как бумага, лицом, стоял совершенно безучастно. Не замечая среди его офицеров Карганова, я встревожился и спросил Апарина:

− Господин ротмистр, а где же прапорщик Карганов?

− Карганов… Карганов… − повторил он бессмысленно. − Я не знаю… Ах, да, он убит!

− Что такое, как убит… где? − набросились на него все с вопросами.

− Карганов… убит? − поднял свои густые черные брови Абелов. − Какая жалость! Но что же делать – война. Хорунжий О., сводите сотню в цепь на гору! − приказал он.

Проскочив под обстрелом мост, мы поднялись в гору и в лощине спешились; коноводы забрали коней и отвели в сторону. Сотня рассыпалась в цепь, и откуда-то появившийся толстый полковник Татарского полка принял над нами команду. Стратегом он оказался плохим, так как уложил нашу цепь по хребту косогора, соблазнившись имевшимся там мелким окопом, откуда мы были прекрасно видны австрийским наблюдателям.

Этих проклятых окопов я не забуду всю жизнь. Не успели мы в них расположиться, как австрийская артиллерия открыла по нам ураганный огонь целыми очередями. Поливали нас австрияки то шрапнелью, то гранатами, и полчаса, проведённые в этом месте, показались мне длиннее года. Воздух гудел и сотрясался, осколки, как черти, выли по всем направлениям, шрапнельные трубки с воем впивались в землю у самых голов вросших в землю всадников. Ахмет, прижавшийся ко мне вплотную, дрожал мелкой собачьей дрожью, шепча мусульманские молитвы. В довершение обстановки кто-то из второго взвода хриплым и диким голосом завыл предсмертную песню, которую поют на Кавказе горские джигиты, которым уже нет спасения. В полчаса из сотни выбыло ранеными и убитыми десять всадников и прапорщик Огоев, тяжело контуженный гранатой. Весь засыпанный с головы до ног землёй, фонтаны которой сплошной стеной стояли вокруг, я тоскливо ждал конца, совершенно оглохнув и обалдев.

Тихий говор пронёсся по цепи с одного края до другого, заставивший нас с Ахметом машинально поднять головы. Вдоль всего окопа из земли торчали головы горцев, смотревших в одном направлении. Я взглянул туда же и почувствовал, как радостное чувство освобождения охватило меня. Огромное, уходящее к горизонту поле сзади нас было

покрыто, насколько хватал глаз, ровными серыми цепями нашей пехоты, идущей нам на выручку.

Медленно и спокойно двигались к нам всё ближе их серые спокойные фигуры, такие теперь близкие и родные. Не дожидаясь команды и не считаясь больше с артиллерийским огнём, точно мгновенно потерявшим для нас всю опасность, вся сотня поднялась, как один человек, навстречу подходящей пехоте. Молча, не спеша, ложась и деловито перебегая, шли вперед малорослые солдатики в серых шинелях, и я впервые со всей остротой почувствовал и понял в этот момент, что истинным хозяином войны и настоящей силой армии является именно эта скромная и незаметная пехота, многострадальная «муда», а не какой другой вид оружия, и уж, конечно, не наша декоративная, обвешанная бесполезным оружием, дивизия горцев, страшных мирному жителю, а уж никак не опытному противнику в современной войне. Видимо, не одному мне в эту минуту пришли подобные мысли. Широкий бородатый капитан, вооружённый одной тросточкой, проходя мимо нас, с нескрываемой иронией покосился на наши засыпанные землёй рваные черкески.

Присев за пригорком, где мы только что натерпелись столько страха, мы тихо делились впечатлениями. Хорунжий, лёжа на животе, писал донесение. Люди оглаживали и успокаивали обрызганных грязью, дрожащих и тяжело дышавших лошадей, подведённых коноводами. Прискакавший от Абелова всадник на тревожно храпящем коне привёз нам новый приказ.

Звеня стременами и шашками, сотня села на коней и сдержанным галопом поднялась на гору. Австрийцы прозевали наше появление на хребте, и очередь легла далеко сзади. Опять знакомый мостик, пахнуло запахом болота и тины, и сотня, мешая ряды, влетела на узкий настил гати. Сзади треснули и обвалились перила моста, захрапела испуганная лошадь, и копыта наперебой застучали по брёвнам настила. В этот момент австрийская граната разорвалась среди вступавшей в деревню пехоты. Бурый столб разрыва разметал людей, убив на месте бородатого капитана. Над воронкой тихо опадал, рассасываясь, дым. Вторая граната шлёпнулась в грязь болотца и, лопнув, обдала нас грязью и водой. Позади уходящей в карьер сотни билась рядом с мостом чья-то раненая лошадь, тщетно стараясь подняться.

Жаркий удушливый запах гари пахнул в лицо, кони прыгали через препятствия, шарахаясь от горящих развалин. Утром полная жизни, деревня теперь словно вымерла, и только на одном из поворотов чья-то жалкая фигура метнулась от тяжёлой массы людей и лошадей. По площади, где мы сдержали храпевших и мокрых коней, стреляли австрийцы. Граната большого калибра грохнула в одно из окон костёла и обвалила стену. Посыпались кирпичи, и из чёрного пролома вырвался жёлтый клуб дыма.

Перед глазами, как в калейдоскопе, мелькали отдельные картины, на которые в тот момент я не обращал внимания, но потом они всплывали в памяти и оставались в ней навсегда. Вот у сваленных на землю сломанных ворот один из горцев перевязывает товарища. Раненый, оскалив белые зубы, держит поводья обоих коней. Широкий бинт неумело ложится на голову, и из-под него по тощим впалым щекам и острой бородке текут ручьи крови. Впоследствии на перевязочном пункте я узнал этого горца. Он уже без сознания лежал на холодном каменном полу и что-то бормотал размеренно и безостановочно, махая в воздухе зажатым в кулак концом простыни.

Спешившись, сотня расположилась вдоль площади, ожидая дальнейших распоряжений. В промежутках между хатами то и дело чиркали в воздухе пули, заставляя невольно нагибать голову. С громким топотом из-за угла вынесся конный ординарец, держа в вытянутой руке над головой белый конвертик. Поскакав к командиру сотни, он сошёл с коня и подал приказание. «По ко-оням!» − раздался голос хорунжего. На рысях выйдя из деревни в уже знакомое поле, с которого нёсся нам навстречу беспрерывный рокот ружейной и орудийной стрельбы, О. остановил сотню и, вырвав из ножен шашку, скомандовал хриплым голосом: «Пики к бою… шашки вон!» Нахмурились и побледнели лица,

заколотилось сердце. «Вправо по полю… в лаву, рысью марш!» Заколебалась и двинулась сотня, раздвигаясь на ходу в ломаную линию. Зашумела под копытами кукуруза и жнивьё, навстречу засвистел ветер и запели пули.

Впереди слева направо сверкнула шашка хорунжего. Забарабанили по лошадиным телам удары плетей, и мой вороной, дрогнув всем телом, заложил уши, набирая с каждой секундой скорости. На несколько минут наша неожиданная атака ошеломила залёгших перед деревней австрийцев, и стрельба на некоторое время прекратилась. Не успели мы проскакать и сотни сажен, как навстречу длинными очередями захлебнулись и затакали сразу несколько пулемётов. Над головами злобными ведьмами завыли тысячи пуль. Шея вороного сразу вспотела, и он запрял ушами. «Высоко взяли», − мелькнула невольная мысль. Но словно отгадав её, австрийские пулемётчики, лежавшие за серыми щитками пулемётов где-то в неясном далеке, взяли прицел «с упреждением» и резанули пулемётными струями под самыми копытами. Промелькнула лужа, в которой смачно чмокали и шипели накалённые в полёте пули, брызгая в лицо тёплой грязью. С колотящимся на всё поле сердцем я почти лёг на остро пахнущую потом шею вороного. Навстречу неслась зелёная грядка межи, за которой виднелась цепь голубоватых фигурок. За спиной охала и гудела земля от дружного топота сотни, десятки лошадиных всхрапов вздыхали и хрипели сзади. Железный скрежет и вой осколков наполняли воздух, пулемётный огонь обращался в сплошной гул. В этом аду, казалось, не могло остаться ничего живого. Два или три раза горячая волна разрыва качала меня в седле. Внезапно гул в воздухе сразу оборвался, и перед глазами взметнулось огненное зарево, на фоне которого передо мной поднялась голова и шея вставшего на дыбы вороного. От сокрушительного удара задрожала земля, и я перестал чувствовать под собой коня и… самого себя.

Оглушённый падением, я приподнялся и огляделся. Сверху чёрным дождём сыпались комья земли и вывернутые корневища трав. Конь лежал в десяти шагах сзади; шея его, закиданная землей, была неподвижна, и только задние ноги и мокрый от пота круп дрожали мелкой дрожью. Со странным безразличием я смотрел на то, как на месте головы вороного по земле расплывалась красная, пузырившаяся посередине лужа. Кругом как будто никого не было, но в ушах стоял ровный непрекращающийся гул. Повернув голову назад, я в недоумении решал вопрос, куда девалась сотня, как вдруг острая боль в ноге и груди заставила закружиться землю в тошном и чёрном вихре.

«Юго-Западный фронт» − большими белыми буквами стояла надпись по зелёному полю вагонов санитарного поезда, который, мягко постукивая колёсами, вёз меня с фронта «вглубь России», как было обозначено в эвакуационном свидетельстве. Вагон тихо покачивался, и перестук колёс был убаюкивающе сонлив и уютен. От фонаря до половины вагона лежала жёлтая полоска света. Было так удобно и хорошо лежать на мягкой койке, вытянувшись во весь рост, не шевелясь и не двигая ногами, три месяца подряд днём и ночью согнутых в стременах. Лежать, не чувствуя за собой никаких обязанностей, никакой ответственности, зная, что надолго ушли от тебя опасность и смерть, постоянно, как дамоклов меч, висевшие столько времени над головой. Приятно было вслушиваться в разговор колёс, зная, что с каждым их оборотом всё дальше и дальше отходит опостылевший фронт, покинутый на законном основании и с чистой совестью, с сознанием исполненного долга.

Я лежал, наслаждаясь, вслушиваясь в эту успокоительную музыку, радуясь телом и душой заслуженному отдыху и возвращению в родные места. С лёгким стыдом вспоминал, как в передовом госпитале сестра, несмотря на протесты, выкупала меня в тёплой ванне, и теперь, чистый и довольный, я радовался свежему постельному белью, испытывая ощущение, будто снял с себя грязную и кровавую оболочку и принял снова участие в нормальной человеческой жизни. Эта удовлетворённая радость мало нарушалась даже давившей в груди и ноге болью, моментами выжимавшей невольные слёзы, которых я по своей молодости очень стыдился.

Шрапнельный стакан, снёсший голову моему покойному вороному, воздушной

волной ушиб мне грудь. Кроме того, при падении я порвал связки в правом колене. Контузия отразилась на слухе, так что первую неделю после неё я постоянно слышал гул, который поначалу принимал за дальнюю артиллерийскую стрельбу, пока не выехал из прифронтовой полосы. Иллюзия этой стрельбы была тем более вероятна, что в 1915 году над намокшей в крови Галиции день и ночь повсюду уныло погромыхивали орудия. Теперь, лёжа на койке санитарного поезда, я мысленно ещё раз переживал недавнее прошлое.

После контузии я был поднят всадниками Татарского полка, так как вестовой мой Чертоев тоже пропал во время атаки, не то раненым, не то убитым. Атака эта кончилась неудачей по вине командира сотни, который начал её со слишком большого расстояния, и кони вымотались раньше решительного удара. К вечеру в полковой околоток, где я лежал, явился и пропавший Ахмет, у которого была ранена лошадь и он, не желая её бросать, остался в деревне с пехотой. Кабардинец его, тем не менее, издох, и он вернулся в полк пешим. В этот неудачный для нас день 29 октября 1915 года мы не только были оба ранены, но и, кроме того, я потерял убитыми обеих своих лошадей.

В офицерском вагоне нас оказалось всего трое: раненный в руку поручик, ходивший на ногах, я и другой «лежачий», пожилой пехотный капитан, раненный той же самой пулей в обе ноги, но не опасно, а в «говядину», как нам сообщил ходивший за ним денщик. Капитан этот оказался того самого Свирского полка, который вывел нас в Петликовцах из скверного положения и был ранен со мной в одном бою. Он видел нашу атаку и выразился, что она была сделана «очень лихо, но и очень… глупо». Капитан был весёлым и словоохотливым человеком и подсмеивался надо мною, рассказывал сёстрам и врачам всевозможные небылицы о «Дикой дивизии», которые обычно рассказывали на фронте с лёгкой руки бульварного писателя Брешко-Брешковского, как-то раз гостившего у нас в дивизии и в благодарность написавшего о ней целую фантастическую книгу.

Чем ближе подвигался в Россию наш поезд, тем становилось холоднее. Холодно было и в вагоне, тем более что он был самого странного устройства: при выгрузке раненых на станции у него откидывается одна из продольных стен прямо на платформу. Для тех, кто выгружает, это может быть и очень удобно, для нас же, которые продолжали в вагоне находиться, эта система была крайне неприятна. Кроме того, что мороз врывался к вам на койку, было неловко служить бесплатным зрелищем для праздной публики, рассматривающей вас в упор. По этому случаю я вспомнил, что при перевозке меня на телеге к поезду в одной из деревень какая-то бесцеремонная морда нагнулась и дышала мне в рот чесноком до тех пор, пока я, не в силах двинуть руками, плюнул ей в глаза.

Молодой доктор, сопровождающий поезд, веселил нас, показывая по секрету от сестёр свой портсигар, в котором в секретном отделении имелась совершенно неприличная двигавшаяся группа. Он уверял нас, что по прибытии в Киев каждого из нас отправят на излечение, куда мы захотим. Это было очень заманчиво, так как выпавший снег манил меня в деревню на охоту.

В Киеве в поезд явились чины эвакуационной комиссии, которые действительно разрешили мне ехать в Курск, куда я просился. Из Киева я послал телеграмму отцу о своей контузии и приезде. Уже в пути на другой день в поезде была получена ответная телеграмма, что меня ждут в лазарете курского дворянского собрания. Мимо родного Черемисиново пришлось проехать ночью, да оно и было лучше, не так обидно.

Словоохотливый капитан, ехавший в Москву, развлекал нас по-прежнему всё новыми историями из своего богатого военного опыта. Между прочим, он уверял, что когда он был ранен под Петликовцами, то лежал в ожидании санитаров в кустах. В этот момент на него случайно набрёл солдат, конвоировавший двух австрийских пленных. На просьбу капитана позвать санитаров солдат взял под козырёк и ответил: «Слушаю в-вы-дие… в момент смотаюсь, а вы пока полежите и покараульте пленных». Не успел капитан ему ответить, как солдатик, передав свою винтовку австрийцу, бегом бросился за санитарами. Капитан принуждён был волей-неволей разделить копанию с пленными, опасаясь каждую минуту, что они его приколют и удерут. Австрияки мирно сидели рядом, закурили, дали

папироску и раненому, а затем, не дожидаясь своего конвоира, отнесли капитана на перевязочный пункт. Миролюбивость австрийцев, особенно тех, которые по происхождению были из славян, была часто прямо анекдотична и доходила до того, что целые роты сдавались в плен двум-трём русским солдатам, причём, идя в штаб сдаваться, несли не только собственные винтовки, но и оружие своих конвоиров, чтобы их отблагодарить.

В Курске на вокзале поезд наш был встречен огромной толпой народа, санитарными автомобилями, носилками и группой дам с цветами. К моему ужасу и смущению, вся эта публика набросилась на нас с Ахметом, единственных пассажиров санитарного поезда, сходивших в Курске. Не успел я опомниться, как был завален цветами и перенесён в автомобиль. Санитары, студенты и дамы-патронессы, которым после долгого ожидания досталась такая скромная добыча, пытались наброситься и на Ахмета, стараясь положить его на носилки. Ахмет, который был невредим и ехал со мной в качестве вестового, от этого страшно обозлился, оскалил зубы и стал поносить санитаров последними словами. Пришлось его цукнуть, чтобы прекратить эту глупую сцену. Мрачный и злой, как туча, он взгромоздился рядом со мной в автомобиль, не расставаясь с целой охапкой оружия.

Курское Дворянское собрание, в котором был открыт на средства дворянства лазарет для курских уроженцев, было большое двухэтажное здание в Александровском стиле. Среднюю часть его занимала красивая двухсветная зала белого цвета с обширными хорами. В зале стоял памятник императору Александру Второму из тёмной бронзы на сером мраморном пьедестале. На хорах в стены были вделаны 16 мраморных досок с именами курских дворян, принимавших участие в севастопольском ополчении и защите Севастополя и убитых там или умерших от ран. Среди них были и два моих деда.

В том же здании помещалась и квартира губернского предводителя князя Льва Ивановича Дондукова-Изъединова, его супруга заведовала госпиталем. Изъединовы были старинные дворяне Курщины, владевшие прекрасным и благоустроенным имением в Льговском уезде. Предок Льва Ивановича при Петре Великом был воеводой в Курске. Сам Лев Иванович в молодости служил в лейб-гвардии Гусарском полку, вышел в отставку полковником и потому носил красивый мундир этого полка. Высокий, стройный, с седеющей бородкой и закрученными в стрелку усами, он был весьма впечатляющ в своей великолепной венгерке, когда представлял в торжественных случаях благородное курское дворянство, кстати сказать, его очень любившее. Женившись на последней представительнице рода князей Дондуковых, он с высочайшего разрешения в 1907 году получил титул и фамилию князя Дондукова-Изъединова. У него был сын, также вышедший впоследствии в лейб-гусары.

В госпитале дворянского собрания не было офицерской палаты. Для меня было сделано исключение как для курского дворянина и сына предводителя, для чего отвели в моё единоличное пользование одну из зал, в которой совершенно потерялась моя одинокая койка. Столовая электрическая лампочка была не в состоянии разогнать мрак огромной комнаты, и в ней мне было хотя и очень почётно, но холодно и неуютно. Баловали меня здесь выше всяких заслуг, и дежурная сестра каждое утро являлась за справкой, что я желаю на обед и ужин. Книги, газеты и журналы собрания были в моём полном распоряжении. Впоследствии, когда я поднялся на ноги, то мог совершенно свободно уходить из лазарета в город когда угодно, днём и ночью. В Курске у меня поначалу не было никаких знакомств, кроме семьи Марии Васильевны, которой мы, по принятому в семье обычаю, избегали.

На другой же день по прибытии нашему в Курск приехал папа. Он был взволнован и тронут, увидев меня в госпитальной обстановке, но одновременно с тем я понимал: ему было приятно, что я поддержал традицию и пролил кровь за родину; в семье это повторялось из поколения в поколение. Ахмета папа одарил деньгами и подарками, пожал ему руку и благодарил за «верность и службу». Вестач был очень доволен этим вниманием и уехал на Кавказ в отпуск в полном восторге, поклявшись в верной мне службе до конца своих дней. Назад, впрочем, он не вернулся. Посетила однажды меня и бывшая наша гувернантка Мосинька, в это время уже замужняя дама, о прошлом мы с ней, конечно, не вспоминали.

Недели через три доктора позволили мне встать и понемногу выходить в город. Я этим воспользовался, чтобы немедленно заказать себе полный гардероб вместо потрёпанного и потерянного на войне. Каждый вечер я бывал в театре и вообще проводил время в своё полное удовольствие.

Однажды, обедая в «Центральной» гостинице, принадлежащей курской помещице Полторацкой, я познакомился и сошёлся с тимским помещиком и в молодости гвардейским кавалеристом Александром Ивановичем Макаровым, страстным борзятником. На этой почве мы с ним подружились, несмотря на разницу лет – Макарову было уже за пятьдесят. Как выяснилось из разговоров, Макаров был одного выпуска по Школе с моим полевым командиром Мерчуле и хорошо его помнил. Увлечённый моими рассказами о привольной и оригинальной жизни Туземной дивизии, Александр Иванович однажды заявил мне, что, пожалуй, он и сам тряхнёт стариной и поедет со мной в полк добровольцем.

− Одна беда, − почесал он в затылке. − Годы-то мои солидные, а чин несерьёзный для такого возраста.

− Почему же, если даже вы ротмистр в отставке? − начал было я.

− Где там ротмистр, это было бы прекрасно!

− Ну, всё равно, штаб-ротмистр.

− И того нету…

− Значит, поручик?

− Увы, ещё меньше… Корнет я, дорогой мой, только корнет, вот и опасаюсь, что не буду ли смешон в этом чине, да при моих солидных годах?

Я не придал серьёзного значения этому разговору, но скоро убедился, что Макаров не на шутку готовится к отъезду. Он привёл в Курск пару верховых коней, привёз сёдла, заказал себе и двум своим охотникам, выразившим желание ехать на войну, черкески и т.д. В один прекрасный день он, широко улыбаясь, предъявил мне телеграмму полковника Мерчуле, в которой командир мой писал, что он «рад видеть в полку своего старого товарища». На другой день Макаров явился ко мне в полной форме Ингушского полка с погонами корнета. Я его поцеловал и от души поздравил. Через два дня он, помолодевший и бодрый, выехал на фронт. Со своей стороны я решил, возвращаясь в полк, взять с собой на войну брата Колю и Алексея Самойлова, которым всё равно нужно было скоро идти на военную службу по мобилизации. Под моим покровительством им, конечно, было бы гораздо легче служить, да и опасностей в кавалерии было меньше, чем в пехоте, где их ждала бы, наверное, смерть. Условия службы в Туземной дивизии это позволяли сделать, так как весь полк состоял из всадников-добровольцев, и с каждым из офицеров были его близкие люди, или, как у нас выражались по-кавказски, «нукера».

К Рождеству, видя, что никакое военное начальство не заглядывает в лазарет, я по соглашению с врачами решил удрать на праздники домой. В Покровском пришлось пожить две очень приятные недели, проведённые на охоте и в поездках по родным. С сестрой и братишкой, тогда уже кадетиком второго класса, мы были в Щиграх, где в это время собралось много родных. Кроме бабушек Рышковой и Марковой, живших по зимам в Щиграх, там были Гоголь-Яновские, кузины Марковы, Люба Рышкова с матерью и Лёва Марков, наш троюродный брат, приехавший из Петербурга. Каждый день были обеды и весёлые сборища у Бобровских, где тётя Софья Вячеславовна, так напоминавшая мою покойную маму, была милой и любезной хозяйкой. Светская дама, она умела с присущим ей тактом и элегантностью соединить много ласки и родственной теплоты. Её Юра был уже молодой человек и обещал сделаться большим ловеласом. Даже за парадными обедами, сохраняя на своей розовой мордочке самый невинный вид, он умел говорить своим соседкам такие вещи, которые не всегда решился бы сказать взрослый кавалер.

Две хорошеньких, как картинки, барышни-невесты − сестра моя Соня и кузина Аля Гоголь − обращали на себя общее внимание. Первая − стройная блондинка с нежным цветом лица и с полными насмешливых искр зелёными глазами; вторая − тоненькая черноглазая брюнетка со смуглым матовым лицом. Молодёжь, как родственная, так и посторонняя,

сходила с ума, и в их числе был Лёва Марков, явно влюблённый, и не могущий этого скрыть по молодости лет, в Соню.

Чудное, далёкое и невозвратно минувшее время в старых гнёздах среди третьих поколений одного и того же корня! Огромной и задорной компанией весёлых кузенов и хорошеньких кузин мы ездили из Щигров к нам в Покровское на охоту. Много там было весёлых кавалькад, катаний с гор и на тройках в лунные ночи по снежным полям, невинных романов, весёлых ухаживаний. По примеру прошлых поколений на пруду на колесе устраивалась карусель на салазках, на которых до головокружения катали и валили в снег разрумяненных на морозе барышень. Кроме родственной молодёжи, было много соседей из помещичьей молодёжи наших мест, и в их числе молодой артиллерийский офицер Алёша Бледнов, сосед наш по Александровке. Через два года он был убит у себя в имении большевиками.

12 января 1916 года, после радостно проведённых праздников, я вернулся в Курск. В лазарете был встречен вестью о том, что туда без меня являлась казённая врачебная комиссия от комендантского управления для освидетельствования раненых и, не найдя меня, сделала выговор администрации, выписав меня в «команду выздоравливающих». Комендант города, узнав о моей самовольной отлучке из Курска, рвал и метал, по слухам, и теперь ждёт меня к себе, чтобы излить на виноватую голову гром и молнии. Эти молнии меня нисколько не пугали, так как, в конце концов, что мог сделать мне этот курский тыловой комендант, когда я в любой момент могу на него наплевать и уехать к себе в полк.

Утром следующего дня я явился в комендантское управление с заранее приготовленным планом. Едва я успел назвать свой чин и фамилию, как все адъютанты и писаря повернули ко мне головы. Видимо, по местным понятиям я считался крупным преступником. Отправившийся в комендантский кабинет поручик адъютант доложить о моём прибытии, немедленно вернулся обратно, сделав пригласительный жест к приотворённой двери. Войдя в кабинет, я остановился перед сидевшим за столом сухим полковником, по всем признакам туземным громовержцем. Не успел он сказать и одного слова, как я, щёлкнув шпорами, отрапортовал по уставу:

− Кавказской туземной конной дивизии корнет Марков имеет честь явиться по случаю отбытия на фронт.

− Как на фронт?.. ведь вы назначены в команду выздоравливающих, − изумлённо произнёс полковник.

− Так точно, но я желаю… ехать на фронт!

Заготовленная заранее грозная речь коменданта погибла у него в горле, так и не прозвучав. Он растерянно помолчал несколько минут, затем нерешительно поднялся и протянул мне руку.

− Вот это действительно по-кавалерийски! Вы, я вижу, бравый офицер, хотя и молоды. Желаю вам всего хорошего! С богом!

Выйдя из его кабинета в канцелярию, я на любопытные вопросы адъютантов презрительно ответил: «Что мне сказал комендант? Да ничего… пожал руку и пожелал счастливого пути. А что он мог мне сделать, ваш комендант? Что я, гарнизонная крыса, что ли? Еду в полк и больше ничего!» Гарнизонные поручики и прапорщики так и остались с раскрытыми ртами, изумлённо глядя вслед. Ведь для них самое большое наказание именно и заключалось в отправлении на фронт, куда я ехал добровольно, хотя и имел право отдохнуть несколько месяцев в не представляющем для меня никакого интереса Курске. Для канцелярского населения моё поведение было совершенно непонятно.

В тот же день я выехал обратно в Покровское, пользуясь тем, что оно было на пути, и тем, что ближайшее военное начальство имелось только в Щиграх. Мария Васильевна на этот раз мобилизовала всё женское население усадьбы, чтобы не задержать нас с братом снабжением тёплых вещей и белья, которые я дотла растерял в скитаниях по фронту. В сожжённой снарядом хате в Петликовцах погибло большинство моего имущества, которое при отступлении Ахмет забыл *с переляка* . Коле всё «*труссо* » готовилось заново. Оказалось,

что кроме брата и Алёши, по просьбе отца нужно было взять ещё и некоего Ивана Васильевича, сына мелкой покровской помещицы, которому угрожал призыв. Вида он был самого корявого, кривобок и в кавалерию явно не пригоден, но его слёзные просьбы и мольбы были неотвязчивы. Против Алексея, наоборот, восстал мой отец, не без основания считая его пьяницей, которого моя дружба окончательно избалует. Дабы не сердить перед отъездом отца, мы условились, что Алексей выедет из Покровского не с нами, а заранее, и мы с ним встретимся на курском вокзале, откуда поедем вместе дальше.

За неделю, проведённую дома, у меня приключился в Покровском совершенно неожиданный роман. Ещё в прошлый свой приезд я заметил, что новая горничная Дуня стала бросать на меня нежные взгляды. Я на это не обратил особого внимания, так как уже привык к тому, что в качестве молодого кавалериста, да ещё с ореолом раненого героя, производил известное впечатление на слабый пол. В этот приезд Дуня делала всё возможное, чтобы остаться со мной наедине в комнате или встретиться в тёмном коридоре, где она каждый раз задевала меня то плечом, то бедром. Лицом она была хотя и не красива, но зато на диво сложена, с высокой грудью и очень тонкой не по-деревенски талией. Несколько раз, лёжа с книгой в постели, я поздно ночью слышал какое-то царапанье в дверь, но всякий раз принимал его за кошачью возню.

Однажды часов в 11 ночи, когда весь дом спал, дверь тихо отворилась, и ко мне в комнату в одной рубашке вошла Дуняша. Это было так неожиданно, что я задал ей очень глупый и совершенно не идущий к моменту вопрос: «Что ты, Дуня, тебе нужно что-нибудь?» В ответ она залилась краской и заплакала так выразительно, что я без слов понял, зачем она пришла. Такой нежной, преданной и всё отдающей любви, которую совершенно незаслуженно ко мне питала эта милая и простая девочка, я больше не встречал в жизни.

К сожалению, как это всегда бывало в помещичьих усадьбах, наш роман с первых же дней перестал быть секретом для всех. Первой узнала о нём подруга Дуняши, наша другая горничная Маша, бывшая открыто любовницей брата Николая. На эти вещи в наших местах смотрели очень просто, и крестьянские девушки охотно и без особого стыда становились барскими любовницами, даже гордясь этим положением. Материальные выгоды в этом, надо правду сказать, не играли большой роли, т.к. по выражению деревни «барин был завсегда лучше мужика», девство же у служивших по найму крестьян ценилось в их среде очень мало. Существовала даже поговорка, что только и погулять, пока в девках. Мужья также нисколько не интересовались тем, как вела себя девицей его жена до замужества. Правда, известная лёгкость нравов в наших местах среди крестьянских девушек никогда не переходила в платную проституцию, ремесло в деревенском быту крайне редкое и всеми презираемое. Молодёжь сходилась по любви и совершенно бескорыстно, и связи эти часто переходили в брак.

Чтобы не возвращаться к этому вопросу, упомяну, что Маша, любовница брата, прожив с ним два года, родила ему дочку зимой 1916 года, когда он был уже на фронте. Рождённая от очень красивых родителей, эта девочка, которую я видел годовым младенцем, унаследовала красоту матери и породу отца и была необыкновенно нежным ребёнком с точёными чертами лица и гордым, красивого рисунка ротиком.

С легкой руки Маши о любви Дуняши к «барчуку» заговорила вся дворня, да она и сама этого не скрывала и не могла скрыть, так как её юное личико всё светилось молодым счастьем. Наша кормилица Дуняша, в своё время сама погрешившая немало в жизни и потому покровительствовавшая всем усадебным романам, не раз подсмеивалась над красневшей девочкой у себя в «поварской». Однажды утром Дуняша, покидая мою комнату, не могла открыть дверь, за которой раздался смех Николая и Маруси. Негодяи подпёрли дверь деревянными козлами, на которых у нас в передней висели сёдла.

Отъезд наш на войну был для бедной девушки большой драмой. Не будучи в состоянии сдержать своё горе, она вся опухла от слёз, что вызвало негодование Марии Васильевны, которая, не вмешиваясь в чужие романы, требовала соблюдения известных *конвенансов* . На фронте я несколько раз получал от Дуни милые и трогательные

безграмотные письма, но к стыду своему, надо сознаться, ни разу на них не ответил. Предрассудки среды были слишком крепки, и только теперь, после многих лет я об этом глубоко сожалею, как и о многом другом, что прежде казалось обычным и принятым.

Чтобы закончить эту грустную историю, я должен сказать, что судьба Дуни пошла впоследствии обычным для деревни путём. Через год, когда с фронта с каким-то моим поручением приехал в Покровское Ахмет, Дуняша сошлась с ним, вероятно, в мою «память». Мария Васильевна, терпеливо относившаяся к её роману со мной, возмутилась такой деградацией по любовной линии и уволила Дуню. Впоследствии она вышла замуж в своём селе и из стройной девушки скоро превратилась в вульгарную, совершенно бесформенную бабу, мать многочисленного семейства.

Во время этого пребывания в Покровском я много ездил верхом по соседним деревням, наблюдая за тем, как война изменила привычное лицо деревенской жизни. Сёла и выселки стояли притихшие и пустынные, большинство молодёжи было призвано в войска, остальные дожидались своей очереди. Приходившие в отпуск солдаты плохо осведомляли деревню о положении на фронте, которого они не знали и сами, так как для каждого из них личный кругозор не шёл дальше участка его роты или полка. Узнала только деревня, что теперешняя война совсем не похожа на прежние, о которых имели понятие старики. Особенно повлияли на деревенское воображение невиданные до того аэропланы и газы, о которых ходили по деревням самые нелепые и удивительные слухи. Всезнающие старухи с большим знанием дела рассказывали, что «германы неотпетых покойников кипятят в самоварах и в русскую сторону дух по ветру пущают». От этого вредного духа рыба в реках пухнет, лист на деревьях вянет, людей «берёстой сводит», лошади же, коровы и всякое дикое зверьё в лесах и болотах, и всякая живность до самого последнего подземного жука «как есть, вся мрёт на месте».

Помимо войны и немецких страшных газов, говорили в деревнях и о мужике-сибиряке Распутине, который «с царицей живёт», а царица сама немка и со своим «двуродным братом» Вильгельмом тайные планы делает, чтобы за каждого русского солдата по золотому получить. Антиправительственная пропаганда, идущая из центров, доходила до наших степных мест, перемешавшись с собственными мужицкими догадками и темнотой, и принимала совершенно уродливые и нелепые формы. А темнота народная в наших местах была ещё очень густая. Помню, однажды проезжая мимо волостного нашего правления, я был остановлен старшиной Лутовиновым, богатым, умным и всеми уважаемым мужиком, дети которого учились в университете и на высших женских курсах.

− Извините великодушно, ваше благородие, за беспокойство, − обратился он ко мне. – Может, вы нам поможете, а то мы с писарем совсем с толку сбились и в большом сомнении находимся.

− А в чём дело?

− Да вот тут мы от воинского присутствия запрос получили… относительно статистики… так вот, между прочим, там спрашивается, сколько у нас, извините за выражение… менонитов?

− Менониты – это секта такая. Они не признают военной службы и потому отказываются брать в руки оружие.

− Ну вот, скажите на милость, как оно выходит, − развёл руками старшина. − А ведь мы с писарем думали, что эти самые менониты − которые единственные сыновья у родителей.

Вспоминаю об этом, как о забавном анекдоте, но по совести надо признаться, это и не было удивительно, что покровское волостное начальство никогда не слышало о менонитах. В наших патриархальных и послушных начальству местах никогда не водилось никаких сект и раскольников, хотя, конечно, то определение, которое дали менонитам писарь с Лутовиновым, было не лишено оригинальности.

В конце января сборы наши были окончены, и мы выехали на войну большой и весёлой компанией. Из Покровского со мной ехали, кроме Коли и Ивана Васильевича,

денщик мой Филипп, приехавший из отпуска, и неожиданно для меня вернувшийся с Кавказа Ахмет Чертоев. К сожалению, Алёша Самойлов прозевал в Курске на вокзале нужный поезд и из-за этого разминулся с нами, почему его жизнь пошла под другой уклон.

Путь оказался долгим и на редкость неудобным. От Киева пассажирские поезда больше не ходили, а воинские двигались по самому фантастическому расписанию. Большую часть пути пришлось сидеть в теплушках, не считаясь с чинами. Здесь я впервые обратил внимание на то, как изменилась с начала войны солдатская масса и как она не походила на солдат прежнего времени. Причиной этого было то, что солдаты действительной службы, а равно и запасные первых сроков уже выбыли так или иначе из строя, а большинство армии теперь составляли запасные старики или ополченцы, не имевшие ничего воинского, ни по наружности, ни по духу. Это были уже, в сущности, не солдаты, а мужики, одетые в солдатские шинели. Были налицо и признаки общего падения дисциплины и распущенности везде, где только войска скоплялись. Даже в обращении друг с другом ополченцы, сами не считая себя солдатами, обращались: «Сюда, мужики!», «Слазь, мужики!». Около Проскурова в туго набитое офицерами купе протискался молодой человек в солдатской шинели, не то вольноопределяющийся, не то доброволец, судя по лицу. Он сразу обратил на себя внимание не только тонким и красивым лицом, но и большой самоуверенностью, что меня несколько покоробило. В кавалерии у нас не было принято, чтобы вольноопределяющиеся или молодые офицеры вели себя в присутствии старших развязно.

На станции Жмеринка, где поезд должен был простоять несколько часов, мы с братом вышли обедать. В ресторане на вокзале рядом с нами оказался и наш спутник, развязный молодой человек. Теперь он был без шинели в чёрной форме лётчика, причём на груди его висели совершенно необыкновенные награды: Георгиевский солдатский крест I степени, офицерский Георгий и Владимир с мечами, на кортике у него был также георгиевский темляк. Наше изумление и сомнение он разрешил сам. Это был знаменитый лётчик Орлов, командир авиационного отряда, отправившийся на войну добровольцем в 18 лет на собственном аппарате. По-видимому, его юность при чине подпоручика и такие необыкновенные награды не раз возбуждали среди офицеров сомнение, так как он нисколько не обиделся на мои расспросы и дал на них исчерпывающие и не допускающие сомнения объяснения.

Это был чрезвычайно милый, очень воспитанный молодой человек, несмотря на свою юность, много повидавший и много сделавший как лётчик, лучшим доказательством чего являлось то, что он уже был начальником отдельной авиационной части. Он был младшим сыном командира улан её величества, знаменитого генерала Орлова, усмирителя восстания 1905 года в Прибалтийском крае. Со старшим сыном генерала, лихим лейб-гусаром, я когда-то был в Школе. К сожалению, «маленький Орлов», как называла лётчика в своих письмах к государю покойная императрица, погиб через два месяца после нашей встречи в одном из воздушных боёв.

В Каменец-Подольском мы остановились на несколько дней, так как надо было обмундировать моих добровольцев, чтобы доставить их в полк в приличном виде. В городе оказался жидок-портной, когда-то шивший черкески Терскому казачьему полку, стоявшему в Каменце в мирные времена, что значительно облегчило нам дело. Обыкновенные военные портные кавказского платья шить не умеют. Было несколько трудновато пригнать бешмет и черкеску на огромную фигуру Николая, имевшего сажень без вершка росту, однако кое-как справились и с этим затруднением. Ивану Васильевичу черкеска не только не придала воинского вида, а наоборот, словно подчеркнула всю его непригодность к военной службе.

Полк мы застали на отдыхе в селе Городок. Товарищи по сотне встретили нас с братом самым радушным образом и с первого дня пригласили столоваться в сотенном собрании. В сотне к этому времени оказались все офицеры в лице поручика Р. Шенгелая, братьев князей Маршани, Ужахова, Дударова и Борова Заурбека, сына нашего вахмистра. Простояли мы в Городке около месяца, но не для отдыха, а для строевого обучения полка, которое оставляло желать лучшего. Всадники имели самое слабое представление о конном

строе и путали простые построения. Весь этот месяц пришлось употребить на строевое обучение, езду, рубку и прочие премудрости. Для моих добровольцев это было как нельзя кстати, так как дало им возможность до выхода на позиции пройти более или менее военную науку. Коля начал было лениться рано вставать на учения, но это было быстро ликвидировано тем, что я просил Шенгелая принять его в свой взвод. Корнет шутить не любил со службой и сразу Николая подтянул, что мне в качестве брата, да ещё младшего, было сделать самому нелегко.

В это время на отдыхе Шенгелай продал мне своего серого текинского жеребца, который мне давно нравился. Жеребец этот в числе других был привезён в Корчевицкие казармы в подарок от текинских владетелей гвардии и принадлежал, по словам Шенгелая, в своё время великому князю Игорю Константиновичу, убитому на войне в рядах лейб-гвардии Гусарского полка. Несмотря на нарядный и даже великолепный вид, конь этот при ближайшем рассмотрении оказался к строю не пригоден из-за слабых ног, хотя для парада лучше его в полку лошади не было. Говоря прямо, Шенгелай меня на этой покупке просто надул, что, впрочем, в кавалерийской среде того времени предосудительным отнюдь не считалось, ибо каждый кавалерийский офицер был обязан понимать сам в лошадях, а купля и продажа коней было дело любительское.

Подучивши всадников строю и теории, мы опять выступили на позиции, заново обмундировавшись и экипировавшись. Экипировки этой хватало ненадолго, ввиду удивительной бесхозяйственности ингушей, или, вернее, их страсти к купле и продаже, благодаря которой они всё хорошее с себя продавали, предпочитая оставаться в каких-то лохмотьях.

Накануне выступления, когда мы уже ложились спать, на моё имя пришло предписание из штаба полка произвести дознание по поводу скоропостижной смерти одного из крестьян той деревни, где мы стояли. На место происшествия я прибыл, уже когда была тёмная ночь и моросил дождик. Труп убитого лежал в густых и высоких кустах за деревней. К счастью, никаких признаков убийства не обнаружилось, чего в полковом штабе сильно опасались. Мужик лежал босой на одну ногу, опираясь пальцами ноги на спуск винтовки, обращённой дулом ему в голову. Пуля попала в лоб и снесла ему полчерепа. Как выяснилось из следствия, покойный был болен чахоткой, а его молодая жена славилась среди соседей лёгким поведением. Для самоубийства бедный «газда» взял винтовку своего постояльца ингуша.

Поход, который нам пришлось проделать до позиций, оказался больше 70 вёрст. Подходя к вечеру второго дня к фронту, Коля и Ванька впервые услышали грохот артиллерийской канонады, которая на каждого из них произвела своё действие. Николай подбодрился и повеселел, а Ванька ещё больше согнулся в седле, на котором он и так сидел, как кот на заборе. Вообще, насколько Николай сразу вошёл в интересы и вкус кавалерийской службы, настолько Иван Васильевич чувствовал к ней страх и неприязнь.

По приходе на место в глухую, занесённую снегом деревушку, мы тотчас же должны были начать сторожевое охранение по берегу Днестра. На ночёвке Иван Васильевич явился ко мне и со слезами на глазах просил уволить его от службы, так как он боится лошадей и ещё больше «черкесов», с которыми никак не может «сродниться». В заключение он выразил настойчивое желание вернуться в Покровское, где будет ждать призыва на службу своего «года», а затем уже идти в пехоту, где он будет служить со своими русскими, а не с «окаянными черкесюками». Мне ничего не оставалось делать, как согласиться на эту просьбу и ждать удобной оказии, чтобы вернуть Ивана на родину, или, говоря языком полковых приказов, «в первобытное состояние». Этот случай представился скорее, чем я думал.

В ночь нашего первого сторожевого охранения выпал глубокий снег, хотя и заваливший деревню до самых крыш, но зато сразу превративший размокшую за осень Галицию в приличный вид. Не успел я сходить по пороше два или три раза ночью в сторожевое охранение, как совершенно неожиданно приключилась весьма серьёзная

неприятность. Вернувшись в начале марта 1916 года утром из охранения, я почувствовал себя плохо и свалился. Полковой врач, «трижды контуженный в голову» доктор с неблагозвучной фамилией Жопахин, осмотрев меня, заявил категорически, что отправляет меня немедленно в госпиталь, так как осенняя контузия отразилась на сердце, и если это не ликвидировать госпитальным лечением, то я «сыграю в ящик».

Плюнув по молодости лет на докторские советы, я, поднявшись через три дня, продолжил службу, пока окончательно не слёг. Полковой адъютант светлейший князь Грузинский, заменивший уехавшего Баранова, принял во мне особенно горячее участие и целый день уговаривал подчиниться докторским советам и уехать в тыл. Зимняя кампания меня очень привлекала, было жаль бросать Колю одного в полку, но против рожна переть не приходилось. Николая угнетала наша разлука, тёмным предчувствием давила и мне сердце мысль, что я, оставив здесь брата, больше его не увижу.

Протянув ещё несколько дней, мы с Филиппом и с радостно улыбающимся Ванькой выехали в Кременец. Было тяжело прощаться с братом, которого я завёз в чужую и незнакомую среду. Долго, пока деревня не скрылась за поворотом дороги, я видел его высокую фигуру, одиноко стоявшую у последней хаты. Сознание сверлила мысль, что я его больше в жизни не увижу. С братом повторилось то же, что и семь лет тому назад с мамой. Предчувствие оправдалось: Колю я больше не увидел...

Дорога с фронта в Киев была невероятно долга и тяжела. На железной дороге чувствовалась неурядица, поезда ходили только товарные, и расписания никакого не было, отходили они по телеграмме, и никто никогда не знал об этом точно. Пришлось часами и сутками ехать на холодных площадках под снегом и ледяным ветром, питаться чем попало и когда попало, спать тревожно и урывками, то в холодном товарном вагоне, то на обледеневшей вокзальной скамейке. Однажды, усталый, измученный и больной, ожидая на какой-то степной станции ночью поезда, я силой ворвался в деревянный сарай и, несмотря на все протесты телеграфиста, который там проживал, лёг на несколько часов спать на его койке. В виде компенсации за это вторжение я забыл у него на койке револьвер, выпавший из кобуры, и когда через полчаса вернулся его разыскивать, телеграфист заявил, что он никакого револьвера и в глаза не видал.

В Киеве в лазарете нашей дивизии, который помещался на Фундуклеевской в здании коллегии Павла Галагана, пришлось провести два месяца. Здесь я впервые увидел своего командира великого князя Михаила Александровича. Это случилось на Рождество, когда великий князь только что получил назначение инспектором кавалерии и ехал с фронта в Петербург, покидая навсегда действующую армию. Попрощавшись на фронте со своей дивизией, он вместе с женой заехал в Киев проститься и с госпиталем, которым два года подряд управляла графиня Брасова. Заместительницей графини в лазарете в это время была уже княгиня Вадбольская, жена нашего бригадного, а старшим врачом − доктор Ладыженский, брат убитого полковника Татарского полка, женатого на сводной сестре моего отца − Познанской. Великий князь приехал в лазарет с женой и свитой, состоявшей из двух адъютантов: полковника Воронцова-Дашкова и прапорщика князя Вяземского. Все они обходили палаты, беседуя с больными и ранеными. Офицеров Туземной дивизии в госпитале в этот момент не было, кроме прапорщика кабардинца Туганова и меня. Остальные офицеры были серые пехотные прапоры. Малоинтеллигентные и неловкие, они совершенно терялись, когда Михаил Александрович к ним обращался, и ставили его этим в неловкое положение. На все вопросы они или молчали, или резали «никак нет» и «так точно». При таких условиях, конечно, разговор было наладить трудно. Оживился великий князь и его свита только тогда, когда дошли до койки Туганова, которого знали все в дивизии как лучшего исполнителя лезгинки. Меня князь, хотя и не знал, но, услышав фамилию, вспомнил, что я был переведён в дивизию по его приказанию. Как и Константин Константинович, он сказал, что знал и очень любил деда Евгения Львовича.

В это время великому князю Михаилу Александровичу исполнилось уже около 50 лет. Это был высокий и плечистый человек, производивший впечатление очень сильного,

если бы не болезненный цвет лица вследствие язвы желудка, которой он страдал. В глаза бросались его очень длинная шея и покатые плечи. Одет он был в скромную чёрную черкеску и носил оправленное в чернь с золотом оружие, поднесённое в своё время ему дивизией. Наталья Сергеевна Брасова, жена великого князя, во всё время визита скромно стояла сзади, не вступая в разговоры. Она была стройная и красивая женщина, хотя и с сильной сединой, держалась с большим достоинством. В Туземной дивизии очень любили Михаила Александровича как офицеры, так и ещё больше всадники, за простоту, доброту и надёжную защиту. Впоследствии, во время корниловского похода на Петроград в 1917 году, всадники Туземной дивизии, несмотря на все официальные версии, шли с генералом Крымовым не для защиты Керенского и Временного правительства, а затем, чтобы «посадить на престол своего князя Михако». В Киеве, смотря в грустные и добрые глаза Михаила Александровича и слушая его тихий, задушевный голос, я понял, что этот простой и милый человек, сын великого царя, действительно заслуживал и любовь, и преданность.

Садясь в автомобиль у подъезда, великий князь был атакован двумя крохотными гимназистиками, продававшими в этот день какой-то цветок в пользу Красного Креста. Дети, конечно, и не подозревали, что генерал, давший им крупную кредитку, был братом царя. Они, спокойно стоя на подножке автомобиля, разговаривали с князем и его женой, не замечая замершего у подъезда и проглотившего язык от страха пристава.

В госпитале на Фундуклеевской пришлось встретиться при печальных условиях со старым товарищем. Это был привезённый из плена корнет Коренковский, наш «молодой» по Школе, с отрезанной правой ногой. Бедный парень в первые же дни своего пребывания в полку был послан со взводом в разведку, окружён немцами и ранен в атаке при попытке прорваться. Из всего взвода спасся только один взводный, который и привёз в полк известие, что корнет со всеми людьми погиб. Коренковскому был присвоен посмертный Георгиевский крест, дававшийся, как известно, легче убитым, чем живым. В плену Коренковскому отрезали по колено ногу и через год, обменяв на немецкого пленного офицера, прислали в Россию. Как ни странно, Георгиевский крест был его единственный орден, хотя и стоивший всех других вместе взятых. В госпитале он влюбился не без взаимности в одну из сестёр милосердия и впоследствии на ней женился. Отец его, полковник генерального штаба киевской крепости, и совсем ещё молодая мать часто приходили в лазарет.

В компании сестёр госпиталя мы с Тугановым и Коренковским часто ездили в санях кататься по городу. Ездили в Дарницу и в дачные места. Киев, занесённый снегом, в эту зиму был особенно прекрасен и печален. В одну из таких поездок Коренковский сделал предложение даме своего сердца и получил согласие. Возвращаясь в город перед вечером, все мы по этому случаю были «романически» настроены.

В темнеющем перламутре зимнего неба лучились первые звёзды. За переплётом садов, за сизой дымкой Владимирской горки маячила огромная вечерняя даль − богатырские просторы снежных черниговских степей. Я смотрел на город и почти физически чувствовал, что и прекрасный древний Киев, и всех нас ждёт какой-то страшный рок. Сердце давили предчувствия…

Здоровье моё не улучшалось. Сердечная болезнь хотя и ликвидировалась молодостью, но в правом лёгком, по выражению докторов, оставались следы «травмы», для ликвидации которой врачи настойчиво советовали ехать на юг. Соскучившись в холодном зимнем Киеве по югу и солнцу, я не заставил себя уговаривать, и через три дня мы с Тугановым уже сидели в скором поезде, идущем на Ростов. Туганов ехал в отпуск на Кавказ по болезни, которой в госпитале очень стыдился перед сёстрами. Лихой джигит и танцор страдал непоэтическим геморроем.

По дороге, проезжая через центральную и южную Россию, мы тревожно наблюдали уже знакомую мне по первой эвакуации картину того, как тылы переменили свою физиономию в худшую сторону. Киев, Курск, Харьков и Ростов, как и тысячи других городов и селений необъятной страны, жили в эти тяжёлые годы войны лихорадочной и непривычной для себя жизнью. Переполненные войсками, госпиталями и всевозможными

тыловыми учреждениями, они представляли собой сплошной военный лагерь. Всё жило и существовало только войной и для войны. Не было в России ни одной семьи, которая так или иначе не имела бы отношения к военным событиям. Сыновья, отцы, братья на фронте связывали неразрывной связью фронт с городами и деревнями. Однако теперь, среди марширующих целыми днями по пустырям и площадям миллионов людей, одетых в серые шинели, совсем не было видно лиц солдатского вида и выправки. Это были две крайности: или бородатые пожилые мужики самого неуклюжего вида, или странно выглядевшие рядом с ними безусые восемнадцатилетние мальчишки последних призывов. Среди малорослого населения средней России этот досрочный призыв полудетей производил особенно тяжёлое впечатление. Неуклюже одетых и отупелых от свалившегося им на головы несчастья мужиков, тоскующих по своей хате, после двухмесячного обучения гнали на фронт эшелон за эшелоном. А там, на мокрых, растоптанных в болото чужих полях они без конца пополняли серые цепи и размокшие окопы, с каждым днём увеличивая сотни тысяч никому не известных, забытых могил.

По дороге на фронт мокрые, грязные, вонючие и вшивые, они, согнувшись под холщовыми мешками, битком набивали теплушки и площадки вагонов, заполняли своими безропотными спящими телами холодные вокзалы и заплёванные платформы. Неделями и месяцами терпеливо ожидая, топтались на дворах этапных комендантов. А между тем огромный человеческий резерв великой страны был так велик, что, несмотря на беспрерывный солдатский поток, катившийся из России на фронт, все города, городишки и селения России всё же были переполнены серой толпой этих мужиков в солдатских шинелях, неотличимых друг от друга.

Восемнадцать миллионов человек, впятеро больше того, что требовал фронт, было мобилизовано и бесполезно оторвано от земли и хозяйства. Эта огромная масса людей, достаточная, чтобы составить население средней европейской страны, поставленная бессмысленно под ружьё, обездоленная и обозлённая к концу войны против всех и вся, и составила неисчерпаемый источник недовольства и анархии, на котором сыграли свою каторжную игру тёмные руководители русской революции.

Первые признаки этой недалёкой уже грозы чувствовались в армии в начале 1916 года, когда я попал на юг. С фронта в это время шли неутешительные вести, война переходила в состязание на выносливость, обратившись в тяжёлую страду окопной жизни. Отступавшие армии северо-западного фронта, зарывшись в болотах Польши, замерли на одном месте и в одном положении на долгие месяцы. В Галиции шли «с переменным успехом» бои за Гнилую, Золотую и прочие Липы, и кто-то в двадцатый раз бомбардировал кого-то «в районе Залешиков». Снова и снова сдавали и брали какие-то городки и местечки, и весь мир давно свыкся с четырьмя привычными строчками телеграмм с фронта: «Наши части после упорного боя заняли предмостное укрепление». Только нудной жутью в памяти раненых офицеров, пригревшихся в лазаретах, шевелилась при этом сообщении тоскливая мысль о неизбежном возвращении к этому проклятому «предмостному укреплению», было забытому и снова разбуженному в памяти этим голосом из знакомых и жутких мест...

На бесконечных полях, в деревнях, обезлюдевших и тихих, плывущих мимо вагонных окон, война сделала заметные опустошения. На полях и огородах почти не видно мужиков, зато бабы приобрели сразу все права гражданства, перешедшие к ним вместе с мужской работой. На полях, гумнах, на телегах по дорогам − всюду бабы и дети. Зато мужской элемент в избытке представлен австрийскими военнопленными. Серо-голубые короткие шинели и несуразные круглые кепи стали обычным явлением в деревне. Дома у папы, как и в других помещичьих имениях, почти все сельскохозяйственные работы выполняли пленные. Эти австрийцы в большинстве славяне и очень быстро переходили на линию «братушек», сживаясь легко с русской деревней. Кучерами, конюхами и вообще на всех должностях, связанных с конским элементом, состояли мадьяры. Небольшие, курчавые и смуглые, они всегда смотрели злобно и исподлобья. Во всём их облике мне виделся чуждый и враждебный элемент. Таким же нелюдимым и отчуждённым был и конюх-венгр

Владислав, ходивший за моими лошадьми и сёдлами в Покровском. Я всегда чувствовал его неприязненный и мрачный взгляд даже за спиной.

От Курска до Харькова тянулись занесённые снегом унылые степи вперемежку с перелесками и заросшими дубняком оврагами. Мелькали запушённые снегом крыши сёл и деревень. Промелькнул засыпанный снежными заносами Харьков, и поезд загремел железным грохотом через тёмно-синий Донец с серыми пятнами льдин. За Харьковом понемногу стала показываться мокрая, чёрная, местами ещё покрытая снегом степь. На горизонте задымили трубы шахт и на полустанках появились характерные фигуры «шахтёров». Сонные и сытые хохлы неподвижно, как идолы, сидят на чуть ползущих по распутице «дробынах», запряжённых волами. Волы, равнодушные ко всему на свете, еле ползут и каждую минуту готовы остановиться.

Чем ближе к югу, тем больше чувствуется наступление весны. Снега всё меньше, земля чернее, в воздухе заметно сыреет. Под Таганрогом − ранняя весна. Пригревает солнце, грязно-жёлтая, напоминающая помои, вода Азовского моря подступает к самому полотну дороги. Ростов нас встречает неприветливо, идёт холодный дождь, из-за Дона тянет холодным ветром. Ростов − первый город на пути, где не чувствуется война, в нём почти нет солдат и лазаретов. Город-торгаш живёт прежней жизнью, всё так же оживлена набережная, подводы с товарами по-прежнему грохочут зигзагами по кривым мостовым. В качестве «эвакуированного» я явился на этапный пункт, получил приказ отправиться на станцию Кавказскую, где имеется «распределительный пункт». Переночевав в передаточном лазарете возле вокзала в совершенном одиночестве, я наутро выехал на Кавказскую. Нездоровье, усталость и контузия давали себя чувствовать: меня охватывало временами чувство полной апатии, заставляющее ко всему относиться совершенно безразлично.

Кавказской называется только станция, примыкающий к ней хутор именуется Рамановским. На редкость глухое и скучное местечко Кубанской области. Грязь, дождь, холод и удручающее безлюдье. Ночью, лёжа в холодной зале школы, отведённой под лазарет, я, слушая унылый вой не то собак, не то волков, сам чуть не завыл от тоски. В Новороссийск поезд пришёл в двенадцатом часу ночи. Сонный писарь воинского начальника с большим трудом понял, в чём дело, и направил меня в гостиницу. Оказалось, что в 11 часов ночи в Новороссийске 1916 года было невозможно найти не спящего человека. Даже вёзший меня извозчик не подавал на козлах никаких признаков жизни. Вдоль пустынных, точно вымерших улиц не было видно ни одного огня. В гостинице, лучшей в городе, едва удалось достучаться до заспанного швейцара. На мой вопрос, есть ли свободная комната, он даже обиделся, приняв его за насмешку. Оказалось, что во всей трёхэтажной гостинице были заняты только две комнаты, да и то под канцелярию какого-то военного чина.

Утром город показался мне не намного оживлённее, чем ночью; всё та же угнетающая тишина и безлюдье. Шум от редко проезжавшей пролётки был слышен через несколько улиц. Порт стоял мёртвым и безлюдным. Госпиталь, куда я попал, переехав из гостиницы, имел совершенно нежилой вид. В «офицерской палате», которую специально для меня открыли, я оказался в гордом одиночестве. От солдатской она отличалась только тем, что была не топлена. В этом госпитале, где лежало около тридцати человек раненых, местные новороссийские дамы, умиравшие зимой от скуки, образовали «дамский комитет», члены которого являлись «на дежурство» ежедневно. Все они были жёны местных чиновников во главе с госпожой Волковой, женой губернатора; частных лиц, по-видимому, в Новороссийске не было. Дежурные дамы сидели весь день в столовой, занимаясь рукоделием и развлекая раненых. По совести говоря, от их присутствия ничуть не становилось веселей.

Несомненно, Новороссийск до суматошных дней революции и гражданской войны был по зимам самым мёртвым городом в России, так как в это время в нём никто не жил, кроме официальных лиц, да крестьян-поселенцев. Во время войны с уходом на фронт местной молодёжи он стал ещё безлюднее. Выходя ежедневно на прогулку, я ходил постоянно в одиночестве по пустынным улицам под завывание норд-оста, по целым часам не встречая живого человека.

Через неделю, к моему счастью, в Новороссийск с австрийского фронта неожиданно прибыли две бригады пластунов, доставленные прямо с вокзала на огромные военные транспорты с белыми номерами. Одна из бригад была та самая, при штабе которой я когда-то служил для связи. Глазея на погрузку казаков, я совершенно неожиданно столкнулся на пристани нос к носу с генералом Гулыгой, которому обрадовался на безлюдье как отцу родному. Оказалось, что сердитый генерал вёл своих пластунов в Трапезунд, куда их перебрасывали для подкрепления Туркестанского корпуса.

С прибытием казаков Новороссийск немного оживился, насколько это было возможно при его безлюдье. Город впервые с начала войны видел настоящие строевые и боевые части, хотя лишь недавно неожиданно сам послужил центром военных событий. Случилось это во время известных «гастролей» немецкого крейсера «Гебен» по Черноморскому побережью в 1914 году. Он явился в Новороссийск в одно холодное и дождливое утро и у входа в порт встретил известный всем старым черноморцам катер «Отважный», который под громким именем парохода верой и правдой в течение двадцати лет поддерживал сообщение между Новороссийском и Геленджиком. «Отважный», совершенно неискушённый в военных делах, принял подходивший крейсер за русский и вежливо ему отсалютовал. В ответ «Гебен» поднял немецкий флаг. Перепуганный насмерть капитан катера решил, что настал его последний час, и выкинулся со своим пароходишком на берег. К счастью, «Отважный» не разбился о скалы, а сел на мель у самого берега, высадив всех своих пассажиров прямо в воду. По курьёзному стечению обстоятельств, на борту «Отважного» переезжал куда-то на юг полный состав девиц из *пансиона без иностранных языков* . Девицы эти, принимая во внимание экстренные военные обстоятельства, подобрали юбки и попрыгали в воду без излишних разговоров. «Гебен» счёл «Отважного» за слишком ничтожную для себя добычу и оставил его в покое, занявшись более серьёзными делами.

Остановившись у входа в порт, он высадил на шлюпках двух офицеров в сопровождении вооружённых матросов, которые, отправившись прямо к губернатору, потребовали от этого последнего немедленно сдать город, угрожая в случае отказа начать бомбардировку. Что отвечал перепуганный губернатор, осталось неизвестным и потому спорным. Да это и неважно, так как каким образом можно было сдать или не сдать неприятелю город, находившийся в середине России и не имевший никакого гарнизона? Да и чем мог бы занять «Гебен» Новороссийск?

История, впрочем, повествует, что немедленно после свидания с немцами губернатор со всеми гражданскими чинами бежал из города, а немцы, несмотря на это, беззащитный Новороссийск бомбардировать всё-таки не стали, ограничившись несколькими выстрелами по элеватору, радиотелеграфу и вокзалу. Корректировались эти выстрелы так хорошо, что ни один из них даром не пропал, и дело бы приняло серьёзный характер, если бы поднявшийся густой дым от загоревшейся бензиновой цистерны не закрыл собой все мишени.

Единственное военное начальство города, этапный комендант, случившийся в Новороссийске в это время, впоследствии получил Анненский темляк «за распорядительность и храбрость, выказанные под огнём неприятеля», хотя во всём этом трагикомическом происшествии негде и некогда было обнаруживать ни храбрости, ни распорядительности. Мне, например, красный темляк, данный за бой у села Петликовцы Новые, достался дороже.

Тоска и одиночество мало способствуют поправлению здоровья, почему на очередной медицинской комиссии, собиравшейся раз в неделю, я получил распоряжение покинуть Новороссийск и отправиться в Сухум. Пароходных сообщений между Новороссийском и южными портами в то время из-за действий «Гебена» и немецких подводных лодок не было, военного же транспорта ждать можно было и два, и три месяца. По этим причинам приходилось ехать в Сухум через станцию Кавказскую и Армавир на Туапсе.

Как далек был я, проезжая по сытой и спокойной Кубанской области весною 1916 года от мысли, что через два года здесь будет пылать огонь гражданской войны. Наоборот, словно в насмешку, мне казалось тогда, что в этих, таких далёких от всяких фронтов, местах только и можно быть спокойным, не опасаясь, что какой-нибудь неприятель нарушит покой этих зелёных и полных благополучия степей.

Между станцией Кавказской и Екатеринодаром видны на десятки вёрст кругом огромные, богатые, потонувшие в садах станицы. Вдоль линии железной дороги, исчезая за горизонтом, тянется ряд сторожевых курганов − живых памятников прошлого кубанского казачества. За заслуги дедов и прадедов, когда-то защищавших здесь границы России, пользуются теперь их потомки всеми этими богатыми чернозёмными местами, живя в избытке и довольстве. Только целыми поколениями сытости и воли можно объяснить себе, откуда взялось здесь это сильное, рослое и красивое население, разглядывающее на станциях и полустанках независимо и насмешливо наш поезд. Даже бабы и девки здесь бьют в глаза своим гордым и независимым видом, все они здесь рослые, стройные и красивые.

Армавир − чистенький, совсем приличный городок, полный черкесок и кривых носов. Здесь стояли запасные части Черкесского конного полка и Кавказской драгунской дивизии. Недалеко расположены черкесские аулы. От Армавира начинается новая Армавиро-Туапсинская железная дорога, законченная перед войной и соединившая Кубань с Черноморским побережьем. Дорога эта делится на две совершенно непохожие друг на друга части: первая − степная до реки Белой, вторая – горная, от Белой до моря.

Река Белая когда-то служила «линией», т.е. границей между неумолимо надвигающимися на Кавказ войсками Белого Царя и непокорными племенами шапсугов и черкесов. У неё быстрое течение, отлогие берега и песчаные отмели с мелкими голышами. За Белой местность резко повышается. Слева по направлению к кавказским склонам открывается необъятная перспектива пойменных лугов и степей Кубани, по которым причудливыми зигзагами бежит степная речушка с купами нависших над нею деревьев. С нагорной стороны синеет сплошная полоса горных лесов. «Большие леса?» − интересуюсь я у своих спутников, местных людей. «Леса громада, аж до самого моря», − с гордостью отвечает казак. Ранняя весна чувствуется в лесах, куда входит поезд, во всей своей прелести и полноте. На деревьях − яркая, молодая листва, по полянам – нежно-зелёная травка, вся в цветах, точно кто-то брызнул на неё разноцветной краской. Воздух ещё свежий, но с ясного, точно умытого неба порядком уже припекает солнце. Из ущелий и лощин поднимается утренний туман.

У откоса насыпи прямо на пузе лежат босоногие казачата и что-то весело кричат вдогонку поезду. Железная дорога здесь новинка, ей нет ещё и двух лет, что чувствуется на каждом шагу. То там, то здесь вдоль линии группы рабочих в лохматых папахах что-то роют и укрепляют. Мосты здесь временные, поезд по ним едва ползёт, путь ненадёжен и постоянно размывается горными потоками; недаром за своё недолгое существование Армавиро-Туапсинская дорога насчитывает столько крушений.

Невысокие поначалу горы становятся всё выше и выше. Чаще попадаются бетонные шлюзы, задерживающие слишком яростный напор горных речек. Дорога извивается как змея, иногда становится прямо жутко, какие закругления приходится делать поезду. В некоторых местах ход замедляется до того, что рядом с поездом идут люди. Перед окнами плывут одна красивее другой картины горной природы, поезд идёт всё время у подножья горной цепи, пробираясь по бесчисленным туннелям из ущелья в ущелье. Скоро с обеих сторон поднимаются лесные громады, вершины которых уже не видно из окна вагона. Стрелочники с зелёными флагами в нелепых позах стоят на каждом закруглении. Создается полная иллюзия какого-то синематографического путешествия по Швейцарии или горной Италии.

Три часа пути пролетают незаметно. Горы неожиданно начинают понижаться, и вдали между ними виднеется куча домишек. Это Туапсе, конечный пункт дороги. Моря пока не видно, так как это только «Туапсе-товарное». Только отъехав от него несколько вёрст, я

увидел над крышами стоявших у станции красных теплушек вместо горизонта голубую стену волшебных красок. Туапсе − маленькая, вся белая станция. Дальше предстоит путь морем или автомобилем по шоссе. Городок состоит всего из трёх-четырёх улиц и десятка греческих кофеен, остальное – дачи, в беспорядке разбросанные между невысокими лесными холмами. Дачи тонут в садах, а сады и горы кругом в сплошном цвету миндаля и абрикосов, их ароматом насыщен воздух. Море спокойно и точно застыло, какого-то необыкновенно нежно-зелёного цвета и совершенно пустынно. Даже как-то странно видеть пустым такое огромное пространство воды, на котором не на чем остановиться глазу. Война даёт себя чувствовать: в порту и на горизонте не видно ни одного паруса, ни одного дымка, мол разрушен снарядами «Гебена». Нестерпимо палящее к вечеру солнце одним краем уже купается в море. Пока я глазел на всю эту красоту, от которой уже начал отвыкать, солнце, облив напоследок небо и горы кровавым отсветом, зашло. Сразу после его захода наступила темнота – характерная черта близости юга. В большой и сырой комнате гостиницы маленький язычок пламени на железнодорожной свече, не разогнав тьмы, навёл только на грустные мысли.

Утром я явился для получения сведений о дальнейшей дороге к местному начальнику округа − пузатому полицейскому чину, в подчинении которого состояло всё, не исключая морских сообщений. Польщённый не принадлежащим ему чином «полковника», которым я его назвал, он был очень любезен и сообщил, что хотя автомобиля сегодня на Сочи и нет, но имеется пароход, на котором я могу ехать. Узнав, что я ещё не завтракал, он посоветовал мне закусить, а пока я буду есть, он «прикажет пароходу подождать». Несколько удивлённый такой широтой его власти, я после завтрака убедился, что послушный воле начальства пароход действительно меня ожидал безропотно.

Кроме целой кучи божьих старушек, ехавших на богомолье в Новый Афон, никаких других пассажиров на борту парохода не оказалось. До Сочи путь также ничего интересного собой не представлял, так как шёл вдоль берега, по которому тянулись невысокие лесные горы. В Сочи, красивом зелёном местечке, пароход простоял часа четыре, и публика сошла на берег поглазеть на новый черноморский курорт, в центре которого возвышалась многоэтажная и многобалконная гостиница «Ривьера», окружённая густой зеленью парка. Городок тонул в сплошных садах, которые незаметно переходили в горный лес. Не только порта, но даже простой пристани в Сочи не оказалось. Крепкий ветер поднял сильную волну, и для съезда на берег нужно было спускаться по трапу в прыгавшую на волнах и бьющуюся о борт парохода фелюгу. Было много шансов попасть с трапа не в лодку, а в воду, чем и не преминула воспользоваться одна из богомолок, выкупавшаяся в холодном море. Интересного весной в Сочи ничего не оказалось, город в марте пустовал, дачи стояли заколоченными, шашлычни и кофейни пустовали.

После Сочи горы к югу начали повышаться и у Адлера показались в небе первые снеговые вершины Кавказского хребта. Штатский господин, странный и нелепый в эти военные годы, облокотившись о поручни, вслух читал по путеводителю таксу сухумских извозчиков, его супруга громко восхищалась красотами природы и принимала стилизованные позы.

Проведя бессонную ночь в мрачной и узкой каюте, в которой беспрерывно слышался звук откуда-то лившейся воды, я ранним утром вышел на палубу и зажмурился от нестерпимого блеска моря, неба и солнца. Это был уже настоящий юг. Прозрачный воздух беспрепятственно позволял солнцу жечь наши отвыкшие за зиму от света лица, и надо отдать справедливость, солнце в этот день постаралось. Вечером из зеркала мне улыбнулась красная и воспалённая харя. Снежные вершины нестерпимым блеском резали глаза. В утренней дымке мимо нас проплыл Новый Афон, в который капитан решил не заходить, к ужасу и негодованию богомолок. Я с трудом узнавал знакомые места, монастырь казался издали совсем крошечным и почти сливался с окружавшим его зелёным фоном. Публика, не привыкшая к морским перспективам, не обратила никакого внимания на белую церковку вдали и спохватилась только тогда, когда показался сухумский маяк и капитан объявил, что

мы подходим к Сухуму. Прозевавшие Афон богомолки теперь отводили душу, яростно крестясь на белый столб маяка, принимая его за церковную колокольню.

С моря Сухум весьма неказист. Ни залива, ни мола нет, город кажется до смешного малым, чего нет на самом деле. На берегу бросаются в глаза развалины построек генуэзского времени и пальмы. Внутри Сухум производит совсем другое впечатление и является очень красивым и уютным городом. Поражает прежде всего воздух на набережной; хвойные деревья, густо растущие здесь, издают сильный смолистый запах и в то же время не пропускают солнечных лучей, что сохраняет на набережной постоянную свежесть. Пальмы вдоль тротуаров создают иллюзию тропиков. На скамейках у моря живописными группами по вечерам располагается местная абхазская аристократия. Могучие фигуры в черкесках местного фасона: очень длинных, с маленьким вырезом у шеи и высоко поставленными небольшими газырями, с узкими рукавами. На головах не папахи, а красиво и весьма сложно завязанные цветные башлыки. Огненные глаза в половину лица, тонкие горбатые носы, худые лица. Все похожи друг на друга, как родные братья. Маленькие изящные кинжалы, зато револьверы исполинских размеров и таких же калибров. В ресторанах висят необходимые по местным обычаям, но странные для постороннего глаза надписи: «Петь, танцевать и стрелять строго воспрещается». Запрещения эти не слишком строги, так как к часу ночи я был разбужен в гостинице музыкой, игравшей лезгинку, весёлыми криками и грохотом выстрелов. Вся эта «*тамаша* » неслась именно из того ресторана, где «строго воспрещалось» петь, танцевать и стрелять.

В Сухуме не оказалось ни того лица, к которому я должен явиться, ни того госпиталя, в который я должен был поступить на излечение. Кроме санатория доктора Смецкого за Сухумом, здесь вообще не было никаких лазаретов. Казачий полковник, он же начальник гарнизона, у которого я остановился, утешил меня, что «вероятно скоро» здесь будет пароход, на котором я смогу отправиться в Гагры, где имеется соответствующий моей командировке лазарет, пока же предложил мне пожить у него «на холостой ноге» и посмотреть Сухум.

Пароход между тем не приходил, а дни шли за днями. Я ел толстые комендантские котлеты, которые нам готовил его денщик, пил с полковником водку и проводил время в безделье и скуке на бульварных и садовых скамейках. К вечеру на набережной обычно собиралась вся сухумская публика, как туземцы, так и русские. Здесь же гуляли на редкость здоровенные гимназисты с нахальными мордами и хорошенькие, как картинки, гимназистки − мингрелки с газельими глазами. Немало было и народу, одетого в обычное городское платье, но с обязательным башлыком вокруг головы, что в Мингрелии и Абхазии считалось национальным головным убором, свято охраняемым.

Обыкновенно на скамейках важно заседали по вечерам картинные старцы величественного и строгого вида с длинными висячими усами, и одетые в чёрное сухие и носатые старушки. Вокруг них в почтительных и в то же время горделивых позах, подбоченясь, располагалась стоя молодёжь в цветных шикарных черкесках с женскими талиями. Старики вели между собой чинную беседу, молодёжь им почтительно услуживала и скромно помалкивала. В общем, это была весьма милая и патриархальная картина в духе доброго старого времени.

Через неделю пустейшего моего пребывания в Сухуме пришёл давно ожидаемый пароход. Назывался он «Король Альберт» и был маленьким пассажирским катером местного сообщения. Каюты оказались на нём разобраны заранее чуть не за месяц вперед, и несмотря на хлопоты коменданта, я оказался без места. Это была не беда, так как до Гагр предстояло ехать всего два часа, которые можно было провести прекрасно и сидя на палубе.

В стеклянном павильоне, где помещалась столовая первого класса, я поставил свой чемодан, в котором заключалось всё моё имущество. Остальные вещи я ещё из Новороссийска отправил с Филиппом в Покровское вместе с лошадьми. То обстоятельство, что каюты мне не досталось, сослужило мне в последующих событиях большую службу. События же эти разыгрались немедленно, едва «Король Альберт» отчалил от деревянной

сухумской пристани. Сев на скамейку спиной к морю, я стал смотреть на тихо плывущий мимо парохода берег. Небольшая зыбь, взявшая в оборот наш пароходишко, едва только мы вышли из порта, вызывала лёгкую тошноту. Рядом со мной на скамейке уселся словоохотливый дьякон, ехавший по службе в Новый Афон. Он был на Кавказе впервые, и его распирали новые впечатления, которыми не с кем было, кроме меня, поделиться. Остальная публика парохода были всё те же знакомые богомолки, добиравшиеся до святых мест. Их отец дьякон не считал достойными для разговора и потому с первого же момента нашего общего пребывания на пароходе стал надоедать мне своими восторгами.

Занимаясь пустопорожними дорожными разговорами, мы заметили, что пароход круто повернул и шёл на всех парах к берегу. Между тем до Нового Афона было ещё далеко, и монастырь даже не был виден вдали. Не успели мы обсудить это странное явление, о котором дьякон глубокомысленно отозвался, что «оное, вероятно, так и должно быть по морским правилам, нам не известным», как произошло нечто, увы, мне, к сожалению, очень хорошо известное. Между пароходом и берегом из воды ни с того ни с сего поднялся водяной столб, вслед за которым звук разрыва гранаты разнёсся звучным эхом по горам. Одновременно за нашими спинами раздался грохот пушечного выстрела и вскрик многих голосов.

В тревоге и недоумении я оглянулся назад и окаменел рядом с разинувшим рот и «осевшим на ноги» дьяконом. На море, совсем недалеко от нашего парохода стояло, темнея на воде, странное судно, которое я принял в первый момент за миноноску. Длинная, чуть выдающаяся над поверхностью моря сигара, посередине которой поднималась броневая будка. Из будки этой прямо на наш пароход было направлено дуло пушки, вокруг которой суетились матросы. В воздухе ещё белело, расплываясь, облачко выстрела.

Как оказалось впоследствии, капитан заметил немецкую субмарину, едва только показался её перископ, и немедленно повернул к берегу с целью выброситься на отмель и тем уйти от потопления. Лодка этот манёвр заметила и, поднявшись на поверхность, уже в надводном состоянии дала по пароходу предупредительный выстрел, чтобы он остановился. Капитан это предупреждение пропустил мимо ушей и продолжал удирать к берегу. Теперь он стоял на мостике и, размахивая руками, орал истошным голосом на пассажиров: «Вниз, господа! В каюты! Долой с палубы!». Ошалевшие от страха бабы-богомолки, скучившись, как овцы, не двигались с места, крестясь, причитая и вопя от страху. «Король Альберт» между тем во всю силу своих котлов удирал к берегу. На лодке снова задвигались замершие было фигурки, и до нас отчётливо донеслась немецкая команда: «Фэй-ер!»

Лодка грохнула выстрелом, закуталась дымом, и сейчас же вслед за этим глухой взрыв где-то внутри парохода заставил задрожать палубу у нас под ногами. Вонючий жёлтый дым повалил из входа в каюты. Снова и снова окуталась дымом выстрелов лодка, и раз за разом трясся от рвавшихся в его помещениях снарядов наш несчастный «Альберт». Один из выстрелов попал выше палубы, снаряд пронизал трубу над головой капитана, который разом оборвал свои командные крики и на четвереньках сполз с мостика. Другой снаряд оглушительно хлопнул в одну из спасательных шлюпок, из которой полетели щепки и осколки тайно везомых в ней бутылок с водкой. К счастью, пушка субмарины была мелкого калибра и её гранаты, пронизав борт парохода, рвались во внутренних помещениях, не затрагивая осколками палубы, на которой в панике носилась теперь потерявшая голову и вопящая от ужаса толпа богомолок. «Б-б-бах… б-б-ах… б-бах!» − грохотали один за другим выстрелы и разрывы под аккомпанемент топота по палубе и воплей обезумевших баб, падающих друг на друга. Сплошной вой и грохот стоял над пароходом.

Вдруг под пароходным носом что-то зашуршало, заскрипело и «Альберт» резко остановился. Все мы полетели с ног друг на друга. Поднявшись снова на ноги из-под кучи навалившихся на меня богомолок, я с удивлением увидел под самым носом парохода вспаханное поле и вдали хаты − «Король Альберт» выбросился с размаху на берег на полном ходу.

Давя друг друга и неистово вопя, толпа пассажиров бросилась, прыгая через

препятствия и скатываясь с лестниц, на нос парохода, где матросы в лихорадочной спешке спускали концы и канаты в воду. На мгновение нос покрылся густой толпой, а затем десятки людей с криками посыпались в воду. Какой-то толстяк, не то армянин, не то грек, совершенно одурев, ломился вперёд, валя на пол ударами кулаков баб на своём пути. Я сорвал на нём злобу и волнение, закатив ему оглушительную затрещину от всего сердца, и пригрозил ему револьвером. Это его сразу отрезвило, и он бросился поднимать старух, сбитых с ног.

Пригнувшись за металлической стойкой, я остановился в нерешительности. В голове мелькали отрывочные мысли: «Сегодня 18 марта, вода холодная, прыгать в воду − простудишься насмерть, да, вероятно, и лодка теперь больше стрелять не станет, всё равно ведь пароход уже на берегу». Эту утешительную мысль мне закончить не удалось. Словно в ответ на неё, грохнуло под ногами, обдало пылью, и я задохнулся на минуту вонючим дымом разрыва. Раздумывать было больше некогда, и я прыгнул за борт, как был – в полушубке и сапогах со шпорами. Холода большого сразу не почувствовал, хотя с размаху окунулся в воду с головою. Плыть было недалеко и легко, волны очень удобно поддавали под зад. Добравшись до берега, я уселся на песок и стал выливать воду из сапог.

С носа парохода продолжали сыпаться в воду, прыгая друг через друга, люди. Некоторые висели целыми гроздьями по канатам и верёвкам, свисавшим повсюду с борта парохода. Дама в каракулевом пальто опасливо сползла с борта и повисла руками на канате из мелких витых проволок. Толстый армянин в чёрном пальто с диким рёвом тяжело прыгнул ей прямо на голову, и оба оборвались в воду, оставляя кровавые пятна на канате от ободранных проволокой рук. Вокруг парохода в волнах прибоя плавали и барахтались бабы, вокруг которых пышным парашютом плавали юбки. Шляпами, сумками и верхней одеждой было усеяно море вокруг и песок берега. Лодка, давшая нам передышку на несколько минут, снова раз за разом грохнула гранатой по пароходу. Задыхаясь от отяжелевшего от воды полушубка и мокрых сапог, я побежал по вспаханному сырому полю. Вязкая глина с первых шагов облепила огромными комьями каждый сапог, отнимая всякую возможность бежать. А между тем бежать было необходимо, так как субмарина, оставив в покое лежавший на боку и дымивший всеми своими дырами пароход, стала осыпать шрапнелью покрытое бегущими людьми поле. На берегу уже лежали две убитые богомолки и толстяк-армянин с открытым ртом, которому осколком снесло полголовы. В горле пересохло и в груди не хватало воздуху. В бессильной злобе я, обернувшись к морю, выпустил всю обойму своего браунинга по направлению дымящей вдали лодки.

Едва двигая пудовыми сапогами, я добрался до какого-то дерева и свалился за него, стараясь отдышаться. Сзади на спину ко мне навалилось что-то мокрое и дрожащее.

− Господин офицер!.. спасите меня… возьмите с собой! Что надо делать?

Я оглянулся и в упор увидел худое женское личико с округлившимися от ужаса большими чёрными глазами.

− Ложитесь, барыня, и лежите. Ничего другого в нашем положении не придумаешь. Что мы с вами безоружные можем поделать с этой сволочью?

− А может быть, лучше бежать в деревню, дальше? Тут так страшно!

− Лежите смирно! Бежать хуже, они шрапнелью по нам стреляют.

Она замолчала и, прижавшись ко мне, по-детски заплакала. От берега к нам продолжали подбегать тяжело дышавшие люди и валились на землю рядом. Им всем, по-видимому, казалось, что рядом с офицером, который «понимает войну» и знает, что делать «в этих случаях», будет безопаснее.

Отдышавшись, я выглянул из-за дерева и с удовлетворением увидел, что проклятая лодка, оставив нас в покое, теперь быстро уходила вдоль берега на Сухум. Всё поле и берег далеко кругом были усеяны лежащими людьми, над которыми стояли крики и плач. По небу плыли, теряя очертания, белые облачка последних шрапнелей. Поравнявшись с маяком, лодка опять загрохотала и заблестела выстрелами, вся окутавшись дымом. Маяк, сразу окружённый дымками разрывов, словно задрожал, и на его белой колонке зазияли чёрные

точки пробоин. Погремев выстрелами две-три минуты и зажёгши на маяке пожар, подлодка скрылась за мысом.

Я поднялся на ноги и отряхнулся. Дама моя совсем раскисла, да это было и не мудрено, пока мы лежали, с наших мокрых одежд вокруг натекла целая лужа. С остановившимся взглядом она повторяла только: «Ужас! Ужас! Ужас!» Вслед за нами поднялись одна за другой и все лежавшие по полю фигуры, которых я было принял сгоряча за убитых. Все они потянулись к видневшейся вдали у подножья гор абхазской деревушке, из которой навстречу нам уже высыпали жители и бежали ребятишки. Белое платье, юбки и чулки моей спутницы на первых же шагах сползли с неё от налипшей на них глины, и теперь она, беспомощно остановившись, смотрела на меня полными слёз глазами.

− Да чёрт с ними! Бросьте всё это, − прикрикнул я на неё, опасаясь, что лодка могла вернуться назад.

− Как бросить? А юбка? − ответила она кротко и беспомощно и к тому же более чем резонно. Сбросив чулки и башмаки, она в одной нижней юбке, опираясь на мою руку, вошла в первую хату деревни. Нас встретила на пороге пожилая грузинка с испуганным лицом.

− Дайте нам во что-нибудь переодеться и обогреться, – обратился я к ней. Старуха, качая головой и причмокивая языком, усадила нас на широкую кровать и принесла ворох одежды. Оставив свою даму в компании грузинки, я забрался в каморку, где стояли комоды и на стене висела детская черкеска. Раздевшись догола, я забрался под грязное лоскутное одеяло, лежавшее в груде тряпья. Через несколько минут в комнату вошла моя спутница, одетая в широченную юбку и завёрнутая с головой в шерстяной платок. В руках она держала детские штанишки и бурку − всё, что нашлось из мужской одежды в доме.

− Слушайте! Нам надо бежать! − заговорила она торопливо. − Лодка опять возвращается.

− Не может быть! − усомнился я, но в этот момент, точно в ответ на неуместные сомнения, с моря донёсся раскатившийся по горам пушечный выстрел.

С трудом втиснувшись в детские штанишки и накинув сверху бурку, доходившую до колен, я босой вышел на крыльцо хаты. Субмарина, пока мы согревались и одевались, покончив с маяком, вернулась к пароходу и теперь стреляла по деревне.

Прячась за каменный забор у дома, стояли три солдата. «Эй, кавалер! − крикнул я одному из них. − Иди сюда, помоги барыне!». Солдаты с удивлением оглянулись на странного босого человека в детской бурке, однако, учуяв по тону моего голоса начальство, один из них подхватил под руку мою даму, и на рысях повёл её в лес. Я побежал сзади, с удовольствием ощущая под босыми ступнями нагретую солнцем пыль дороги.

С моря сзади опять грохнул орудийный выстрел, и над деревней загудел снаряд. Солдат, бросив руку дамы, пригнулся и побежал в сторону. «Эй, куда, земляк? Куда? А ещё солдат!» − пристыдил я его. Он смущённо вернулся и опять подхватил свою спутницу. Присев в придорожную канаву, мы просидели в ней около получасу, пока лодка не окончила свою бесполезную канонаду и не скрылась в наступавших сумерках. Как истинная женщина, едва успокоившись от всех треволнений, спутница моя забеспокоилась о вещах, оставленных ею на пароходе.

Мы спустились с ней к берегу, где уже весь пляж чернел от народа. Из Сухума прибыло начальство, прискакала казачья сотня, верхами и на фаэтонах появились любопытные. Казачий сотник, стоявший в группе начальства, встретил мою просьбу дать лодку для поездки на пароход недоумевающим взглядом, но, узнав, что я потерпевший кораблекрушение офицер, приказал матросам перевезти меня для розыска вещей. Взобравшись на пароход и пройдя с трудом через груды обломков и щепок от развороченной палубы на корму, я не без удовольствия обнаружил свой чемодан, стоящий целёхоньким под диваном «салона». Много хуже обстояло дело с вещами моей случайной спутницы. Пробравшись сквозь обломки лестницы вниз в помещение кают, где в «каюте № 9» должны были находиться её чемоданы, я увидел полный разгром. Гранаты, пробив борт, рвались в тесных каютах и коридоре, натворив здесь невообразимое разрушение и хаос. Разбитые на

куски чемоданы, картонки, обрывки одеял и одежды, полусожжённые и распоротые обивки диванов, куски обгорелых переборок были перемешаны в самом неожиданном и живописном сочетании с осколками снарядов и представляли собой такую кашу, что разобраться во всём этом не представляло никакой возможности. Вдобавок разбитые в щепки и сорванные с петель напором разрывов двери загораживали коридор. Найти среди всего этого разрушения вещи моей дамы, конечно, было совершенно невозможно, да если бы мне это и удалось, то они были в таком виде, что игра не стоила свеч.

Переодевшись во всё сухое, я установил, что был, вероятно, единственным из населения парохода, который материально не пострадал от крушения, если не считать выпущенных по собственной глупости шести пуль браунинга. Выбравшись с парохода на берег, я столкнулся с комендантом Сухума, который прибыл на место происшествия и оцеплял его казаками. Тут же лежали снесённые в одно место убитые, их оказалось всего шесть человек. Вопреки ожиданию, никто не утонул, что объяснялось сильным прибоем, который выбросил на берег всех не умевших плавать. Местная дама патронесса Симонова предложила нам свой экипаж, на котором я и доставил свою спутницу в Сухум, где мы с ней и распрощались. Больше я эту молодую женщину никогда не встречал и даже не знаю, кто она была. Если не ошибаюсь, её фамилия была Карпова.

В Сухуме пришлось стать опять объектом гостеприимства коменданта. Полковник состоял в этой должности в силу того, что командовал двумя сотнями донцов, составлявших весь гарнизон Сухума и располагавшихся в огромных пустых казармах пехотного полка, ушедшего на войну. Чтобы не вести бесполезную жизнь и не даром есть полковничьи котлеты, я взялся на время своего невольного заключения в Сухуме выполнять обязанности адъютанта, расписываясь на всех входящих и исходящих бумагах.

Со дня гибели «Короля Альберта» пришлась прожить в Сухуме три дня, и только 21 марта, на моё счастье, открылся путь избавления. К коменданту за каким-то делом зашёл корнет Татарского полка Мухортов, проживавший на излечении после ран в имении своей жены «Игумнове» под Сухумом, о чём я и не подозревал. По происхождению он оказался из орловских дворян, знал мою семью и слышал обо мне. В тот же день Мухортов предложил меня доставить в Гагры на своём автомобиле.

В день отъезда нашего из Сухума в городе было тревожно, на рейде стояли четыре транспорта с войсками, шедшие в Трапезунд без охраны, а по радио были получены сведения о появлении вблизи неприятельских субмарин, готовивших на них нападение. В момент, когда наш автомобиль выезжал из города, на горизонте показалось сразу несколько дымов. Что это были за суда, вражеские или свои, я так и не узнал, с облегчением покидая Сухум.

Гагры – маленький живописный курорт, раскинувшийся на узкой прибрежной полосе между морем и горами. Городок возник у подножья высоких лесистых гор всего лет за десять до войны по прихоти принца Александра Петровича Ольденбургского, или, как его называли в Гаграх за горячий характер, «принца Сумбура». Вдоль: берега идёт шоссе из Сухума в Сочи. Горы круглый год покрыты зелёным лесом и закрывают курорт от всяких ветров с суши. Посёлок делится на две части: Старые и Новые Гагры, разделённые друг от друга пустырём. В Старых Гаграх находятся дворец принца, курортные помещения, гостиница, почта и курзал. Дворец выстроен как орлиное гнездо на отвесной скале над городом, гостиница представляет собой обширное деревянное здание с множеством балконов. Она стоит среди парка, в котором имеются всякие затеи в виде пальм, искусственных озёр, беседок и фонтанов с лебедями. Здесь же расположены ванны, купальни, полицейское и комендантское управления. По желанию принца Гагры выделены были в особую административную единицу, которой управлял «начальник курорта» камергер Кавелин. Внизу у самого моря стояли перевитые плющом развалины старой генуэзской крепости. Как сам курорт, так и посёлок Гагры, совместно с прилегающим к нему имением «Евгениевкой» являлся личной собственностью принца Ольденбургского, который был здесь, разумеется, и бог и царь. На границе этого Ольденбургского герцогства стоит большой четырёхэтажный дом, выстроенный принцем до войны для гимназии и пансиона

его имени. С началом войны в нём открыли лазарет Красного Креста, эмблема которого нарисована на белом фасаде здания, выходящего к морю, по-видимому, для сведения и руководства неприятельского флота на случай обстрела Гагр.

Новый город расположен от Старых Гагр на юг вдоль шоссе, идущего в Сухум, и представляет собой туземный посёлок, населённый абхазцами, мингрельцами и самурзаканцами. Магазинов, или, вернее, армянских лавчонок очень мало, зато больше чем нужно духанов, очень уютных и всегда расположенных в тени. По склонам гор разбросано около сотни домиков одного и того же местного типа − деревянных с верандой вокруг. Сады вокруг сливаются со сплошной массой горного леса.

Самодержавным владыкой, не терпящим никакой оппозиции, является в Гаграх, конечно, принц, перед волей которого всё здесь склонялось. Губернаторы Черноморья, уж не говоря о начальниках округа, не смели и носа сунуть в ольденбургские местности. В виде администрации принцем в Гаграх поставлены и ему одному подчинялись свои собственные власти. Сам он в мой приезд в Гагры отсутствовал, занятый на фронте ответственной работой главного начальника санитарной части армии, на каковой должности он принёс большую пользу.

К числу властей, поставленных принцем в Гаграх, принадлежал и комендант несуществовавшего гарнизона – милый, всеми любимый и очень обходительный полковник лейб-гвардии Гусарского полка Скален, известный под кличкой «Куть», который напивался до положения риз с самого утра. В нескольких верстах от Гагр по реке Бзыби было расположено другое имение принца – «Отрадное», с образцово поставленным в нём скотоводством и хозяйством. За этим последним наблюдал лично сам августейший хозяин и в случае каких-либо непорядков самолично наказывал виновников толстой палкой, с которой никогда не расставался.

Патриархальная фигура старого принца, простота его обращения и энергичный характер пришлись как нельзя более по нраву местному туземному населению, которое очень любило старика. Надо сказать, что в это время по своему быту и нравам Абхазия ещё жила совершенно патриархальной жизнью, и не существовавшее юридически феодальное право осуществлялось фактически в силу старых обычаев и адатов. В то время верховным вождём и владыкой абхазского народа считался князь Александр Шервашидзе, старший из представителей этой владетельной семьи, жившей в Абхазии. Собственно говоря, был и прямой потомок абхазских владетелей − Светлейший Шервашидзе, но так как он всегда жил в Петербурге, то страна его совсем не знала.

В своей внутренней жизни и обиходе до самой революции абхазцы настолько держались обычаев старины, что русской власти в глубине страны фактически не существовало, и она больше числилась на бумаге. Вместо сложного государственного аппарата, законодательного и исполнительного, все функции государственных учреждений сосредотачивал в своих руках князь Александр, который не только решал, судил и карал, но даже… разводил мужа с женой, если было нужно. Абхазцы христианами были больше номинальными и сохраняли в своём быту много мусульманских верований и обычаев. Было немало среди абхазцев и мусульман, особенно в дальних селениях. Благодаря этому из мусульманства и христианства в горных посёлках с течением времени создалась своего рода *амальгамбра* , из-за которой случались самые курьёзные происшествия.

Сухумские архиереи, в епархию которых входила Абхазия, за полным отсутствием путей сообщения, кроме козьих троп и вьючных тропинок, не имели много лет подряд физической возможности не только объехать её, но даже побывать в наиболее значительных абхазских селениях. Где же старику-епископу было джигитовать по скалам и над пропастями верхом в совершенно первобытных условиях передвижения?! Поэтому управление епархией практически сводилось к переписке епископов со своими подчинёнными и редкими визитами этих последних в Сухум.

Священники абхазских селений в огромном большинстве своём являлись местными уроженцами и в качестве таковых всецело разделяли туземные взгляды и воззрения. В

результате этих чисто местных условий в Абхазии происходили самые невероятные вещи, которые были обнаружены только перед самой войной и то чисто случайно. Если не ошибаюсь, на Сухумскую кафедру в 1915 году был назначен сравнительно молодой архиерей с весьма решительным и энергичным характером. Прибыв в епархию, он решил лично объехать и обревизировать вверенную ему паству, для чего не убоялся трёхнедельного путешествия по горным кручам, где «на осляти», а где и по апостольскому примеру просто пешком. Результаты этой небывалой в истории края ревизии оказались самыми неожиданными: двое из самых почтенных и любимых абхазцами священников были лишены приходов и преданы суду, и больше десятка других понесли различные наказания от владычей власти.

В Сухуме это произвело большое впечатление и к суровому владыке с просьбой о смягчении гнева обратились представители общественности и дворянства, мотивируя свою защиту тем, что пострадавшие попы были известны своим долголетним служением. Владыка делегацию выслушал и не почёл возможным скрыть от общественности проступки виновных. Оказалось, что один из настоятелей в глухом горном селении в течение 20 лет регулярно получал деньги на исправление построенной им церкви, представляя ежегодно оправдательные документы на их израсходование. При посещении этого селения епископом выяснилось, что никаких поправок в церкви этот священник не производил по той простой причине, что и самой церкви никогда не существовало, деньги же на её постройку пошли туда же, куда и суммы на поправку.

Другой почтенный иерей, прослужив более тридцати лет настоятелем церкви, пятнадцать из них одновременно с тем был… муллою. Секрет заключался в том, что половина селения была православной, а другая половина мусульманами. Оборотистый поп соединил в своём кармане доходы и священника, и муллы. Немудрено, что при подобных простодушных нравах князь Александр Шервашидзе умудрялся выполнять не только функции власти исполнительной и судебной, но и некоторые обязанности Святейшего синода. Среди абхазских дворян Шервашидзе имел успех и на дворянских выборах, куда абхазцы являлись сомкнутым строем, − большинство вопросов решалось так, как этого хотел князь Александр.

Как и всякий уважающий себя кавказский дворянин, князь не раз выпивал сверх меры и однажды, находясь под влиянием винных паров, нашёл, что вёзший его извозчик по сухумским улицам едет слишком медленно. На замечание Шервашидзе не узнавший его извозчик ответил непочтительно, за что князь, не задумываясь, пырнул его в зад кинжалом. Из «кацо» кровь полилась, как из барана, и он покатился с воплем на мостовую. Получился скандал, окончившийся, как водится, протоколом. Наутро в гостиницу, где остановился князь Александр, явилась депутация сухумских извозчиков-абхазцев с глубокими извинениями по поводу той неприятности, которой подвергся «батоно князь» из-за глупости их молодого товарища. Кроме глупости и молодости, извинением «этого ишака» было то, что он не знал в лицо князя. Это, конечно, хотя и извинение, но никак не достаточное, и потому корпорация извозчиков просит простить своего провинившегося сочлена, которого она уже сама наказала. «Батоно князь» виновника милостиво простил, и тем это дело и кончилось.

В другой раз тот же князь Александр Шервашидзе подарил одному из своих знакомых живого человека. Случилось это не совсем обыкновенное даже для Кавказа происшествие так. Один из приближённых принца Ольденбургского, полковник Старосельский, при формировании Туземной дивизии получил в командование полк, в котором находилась и абхазская сотня. Перед отъездом из Гагр Старосельский получил в подарок от Шервашидзе верхового коня, которого привёл абхазский джигит. Отказ от подарка был бы равносилен оскорблению и потому, приняв лошадь и одарив джигита, хотел его отпустить домой. Здесь, однако, получилось недоразумение. Джигит ответил, что идти ему некуда, так как князь, послав его с конём, «приказал остаться при полковнике». Так это и случилось, абхазец этот оставался «нукером» при Старосельском всю войну, получив два

Георгиевских креста.

Во время революции 1905 года на Кавказе были большие беспорядки, в особенности в соседней с Сухумом Мингрелии, где революционеры жгли и грабили помещичьи имения, нападали на казначейства. Революционное настроение захватило и город Сухум, в котором в это время князь Шервашидзе занимал пост городского головы. Беспорядков в своём городе «батоно князь» не потерпел и начал с того, что в сопровождении двух лихих племянников верхом явился на многочисленный митинг, где какой-то приезжий оратор говорил зажигательную речь. Спокойно въехав в почтительно расступившуюся перед ним толпу, князь сбил нагайкой оратора с бочки и приказал остальной толпе «идти по домам», что она немедленно и исполнила. Когда впоследствии у старого князя приятели расспрашивали об этом происшествии, он отвечал со спокойной важностью: «Нельзя, дорогой! Я тогда был городским головой, а они делали беспорядок в городе. Это такой народ, что его постоянно учить надо». Кажется, на этом происшествии революционные события в Абхазии и закончились, их, как смеялись в Гаграх, «не захотел князь Александр».

Почёт и уважение, которое оказывала Александру Шервашидзе Абхазия, были вполне им заслужены, и рыцарские взгляды, которые он проводил везде и повсюду, были традиционными и наследственными у него в семье. В годину покорения Кавказа дед его наотрез отказался, по примеру других грузинских владетелей, ехать на службу в Петербург, открыто заявив, что за деньги он ни чести своей, ни родины не продаёт. Другой Шервашидзе, будучи генерал-адъютантом императора, за что-то обидевшись на государя, возвратил ему по почте свои генерал-адъютантские аксельбанты. С самим князем Александром по вопросу чести имел место следующий случай. Один немецкий путешественник, проезжая по Кавказу, посетил Абхазию, где дворянство устроило ему торжественный приём. Вернувшись домой, этот немец написал о своём путешествии книгу, в которой сдуру упомянул, что хотя абхазские дворяне его и напоили, но в то же время он был обкраден в пути. Узнав о таком публичном афронте, князь Александр приказал двум племянникам ехать в Германию и требовать от немца удовлетворения за всё сухумское дворянство. Дуэли этой помешала война.

По приезде в Гагры я явился полковнику Скалону, который по-военному и без проволочек приказал меня принять в лазарет, помещавшийся в здании гимназии. Лазаретом этим заведовал в то время тифлисский весьма модный врач по нервным болезням Монс, пользовавшийся большим успехом у дам. В лазарете лежали больные и выздоравливающие после ранений, это сообщало ему скорее характер санатория, что мне и было нужно. Потянулась обычная госпитальная жизнь в обществе трёх-четырёх офицеров и скучающих от безделья сестёр. Этих последних было больше, чем больных, и потому почва для лёгких романов была как нельзя более благоприятна.

Кроме нескольких пехотных офицеров, в лазарете лежал вольноопределяющийся Туземной дивизии Евгений Евгеньевич Норманн, имевший через свою мамашу какое-то отношение ко двору принца. Он был в приятельских отношениях с жившим в то время во дворце племянником Ольденбургского графом Зарнекау. Зарнекау, несмотря на то, что числился офицером лейб-гвардии Конного полка, постоянно жил в Гаграх без всякого дела со своей любовницей госпожой Дерфельден, что вызывало справедливые нарекания со стороны общественного мнения.

Норманн был тощий, как скелет, молодой человек из правоведов, лечившийся от злоупотребления морфием, почему первое время состоял под неусыпным надзором. О нём тогда ходили уже слухи как о человеке, связанном с немецкой разведкой, но, конечно, никто и не думал его беспокоить под самым крылом Ольденбургского двора. Как мне потом рассказывали наши общие с Норманном знакомые, слухи о связи этого последнего с немцами имели под собой самые серьёзные основания, так как, когда впоследствии немцы на короткое время заняли Гагры, Норманн появился в немецкой военной форме.

Надо сказать, что немецкая разведка работала в те времена по всему Черноморскому побережью как нельзя более успешно и энергично. Как потом выяснилось,

рядом с Гаграми на мысу Пицунда у немцев даже имелась база для подводных лодок. Условия природы, т.е. пустынные горы, заросшие лесом, всем этим предприятиям очень способствовали. С вершин гор из лесной чащи немецкие агенты вели сигнализацию для руководства субмарин путём световых сигналов, видных с моря, но совершенно незаметных с берега. Об этом было известно и много говорилось в Гаграх, но военное начальство не рисковало произвести формальное следствие, которое неминуемо бы должно было привести ко дворцу, где жило много лиц явно немецкого происхождения, вроде упомянутого Норманна. По ходившим тогда слухам, упорно державшимся в Гаграх, глубже в горах происходили вещи и похуже шпионской сигнализации.

Начиная от гагринского побережья и вплоть до самого Кавказского хребта, т.е. на несколько сот вёрст вглубь, шли горные совершенно дикие дебри, не только не заселённые, но даже не исследованные. Эти места и прилегающий к ним Баталпашинский отдел Кубанской области в районе истоков р. Белой были едва ли не самыми дикими районами Кавказа. В этих местах стараниями немцев и при содействии турецких агентов, которыми кишел мусульманский Кавказ, были, по слухам, устроены даже целые лагери дезертиров и склады оружия, на предмет восстания в подходящий момент.

Немудрено поэтому, что при наличии подобных обстоятельств немецкие подводные лодки в 1915-16 годах почти совершенно прекратили всякое сообщение по Черноморью морским путём. Отряд миноносцев старого типа, имевший базу в Батуме, едва справлялся с работой конвоирования военных транспортов, и ему было не до пассажирского сообщения. 28 мая 1916 года в трёх верстах от берега, на глазах всего населения Гагр, немецкая субмарина спокойно и не спеша расстреляла и утопила небольшой пароход «Орион», шедший из Гагр в Сухум. Лодка, став между берегом и пароходом в надводном положении, первыми выстрелами из трёхдюймовки отогнала его в море и в течение трёх часов, как на смотру, расстреляла и потопила. Всё население Гагр наблюдало эту картину, стоя на берегу, пока загоревшийся пароход не пошёл ко дну. Расположенный в Гаграх взвод артиллерии из двух трёхдюймовых пушек дал два залпа по лодке, но ввиду того, что снаряды его не долетали и на половину расстояния, конфузливо замолк. После ухода лодки из Гагр на помощь погибавшим пассажирам были высланы все имевшиеся налицо моторы и лодки, которым удалось выловить в воде и спасти около 50 человек, остальные 150, бывшие на пароходе, утонули. Море потом три недели подряд выбрасывало на гагринский пляж разложившиеся трупы. Подобные случаи на побережье случались буквально каждый день в районе от Туапсе до Трапезунда, хотя, конечно, газетам писать об этом не разрешалось.

С фронта, между тем, шли хорошие вести о разгроме Брусиловым австрийцев в Галиции. Газеты приводили астрономические цифры сдавшихся в плен австрийцев. На левом фланге армии наши кавалерийские разъезды в районе Мармарош-Сугета уже сходили с Карпат в Венгрию. Были приятные новости и с Кавказского фронта, где под Багдадом отряд генерала Баратова соединился с англичанами, шедшими с юга. Соединение, правда, имело место всего одной сотней лихого сотника Гамалия, совершившего эпический поход через вражескую горную страну на протяжении трёхсот вёрст. За этот подвиг Гамалий был награждён не только Георгиевским крестом, но, как говорили, и крестами английской Виктории и французского Почётного легиона.

Следующим военным развлечением после визита подводной лодки в Гагры было посещение побережья немецкими крейсерами «Гебеном» и «Бреслау», обстрелявшими одновременно Сочи и Туапсе. В селе Лазаревском «Гебен» смёл артиллерийским огнём замеченные им военные бараки. Из Гагр мы ясно слышали пушки «Гебена», когда он там расправлялся с пароходами, стоявшими у пристани. После этого происшествия нашей разведке удалось арестовать на месте преступления рыбаков, снабжавших бензином и провиантом неприятельские подводные лодки. При допросе они показали, что на побережье действуют 16 подводных лодок, и что база их где-то около... Гагр.

В мае в Гагры с фронта приехал принц Ольденбургский, по обычаю своему, повсюду нашедший беспорядки и распушивший всех в хвост и гриву. Он – крупный лысый

старик с лохматыми усами, носом картофелиной, широким лбом и глазами навыкате. На нашего доктора Монса за какой-то замеченный им беспорядок принц замахнулся палкой и назвал его «жидовской мордой». В «Ольгинском», где к его приезду, как назло, заболели дорогие испанские мулы, он побил костылём виновного в недосмотре и приказал при себе поставить ослам клистир из... водопровода. Мулы, конечно, подохли на месте от разрыва внутренностей, так как в местном водопроводе, идущем с гор, большой напор воды.

Доктор Чумаков, один из врачей госпиталя, московский оригинал и чудак, «личный знакомый и друг "кур"», как он себя называл, посоветовал мне закончить лечение в Аббас-Тумане, там климат и воздух менее влажные, чем в Гаграх, где я сильно страдал от жары. 30 июня я выехал через Туапсе и Армавир на Минеральные Воды, чтобы двинуться дальше в Закавказье. Филипп приехал ко мне за несколько дней до отъезда, и мы выехали из Гагр на военном грузовике, поддерживавшем движение по побережью за отсутствием других способов сообщения.

Дорога к Адлеру шла над морем, и надвинувшиеся к самому берегу горы давили её своей лесной массой. Вдоль пути изредка попадались крохотные посёлки с громкими именами, напоминающие прошлое, например: Ермоловск, Лазаревка и другие. Адлер, в сущности, представлял собой сплошной ряд кофеен, где проводило свой обширный досуг всё местное население. Дальше к Сочи, как говорят, весьма полезный, но на редкость вонючий серный курорт Мацеста. Сейчас в нём мёртвая тишина и безлюдье. Версты за три до Сочи потянулись красивые дачи вдоль шоссе, стоящие среди густого леса и садов. Автомобиль остановился у дома местного коменданта − он же ротмистр и начальник отдела пограничной стражи. Квартира его была расположена рядом с кордоном, который стоит под сплошным куполом ветвей огромных старых платанов. Ротмистр ехал с нами до Туапсе проверять свои посты и кордоны, разбросанные вдоль берега в лесу на десятки вёрст. Заставшая нас в пути ночь создавала впечатление, что грузовик наш движется по узкому коридору между двух стен чернильно-чёрных гор. Скоро взошла луна и осветила поистине дивную картину горного лесного царства. Гул мотора не заглушал звуков ночи. Миллионы сверчков и каких-то других насекомых наполняли своей трескотнёй воздух, в ущельях плакали и по-детски рыдали шакалы. Почти беспрерывно сменяя один другого в полосе света автомобильных фар, перед нами удирали обезумевшие от ужаса зайцы или взъерошенные шакалы самого жалкого вида, с мрачной решительностью мчавшиеся впереди мотора, не догадываясь свернуть в сторону от горевших глаз, гнавшихся за ними по пятам.

Не доезжая Лазаревки, автомобиль остановился, и ротмистр исчез, нырнув в тёмную чащу леса для проверки находившегося на берегу поста. В ожидании его мы вышли из машины и растянулись на лужайке. Замолчавший мотор не нарушал больше ночной жизни леса, и до нас особенно явственно доносились теперь её голоса. Два хора шакалов наперерыв старались перекричать друг друга. В невидимом ущелье озабоченно похрюкивала мамаша кабаньего семейства, которой дружно отвечал целый поросячий выводок. В зарослях горной речушки, бойко журчавшей в кустах, лягушки пели о любви и счастье. Теплота южной ночи и усталость скоро покончили с ленивыми разговорами и мы, завернувшись в бурки, заснули.

Проснулся я от утренней свежести, лягушки окончательно вошли во вкус, шакалы, чуя рассвет, орали отчаянными детскими голосами. В автомобиле, куда я перебрался, было тепло и уютно, из мрака его доносилось дыхание спящих людей. Когда вернулся ротмистр и мы тронулись дальше − я не заметил. В полусне только почувствовал, что автомобиль движется уже по какому-то селению. Сонный хозяин постоялого двора долго не хотел понять, что надо ставить самовар, и звучно чесался.

Когда Филипп, добровольно вошедший в роль метр-д-отеля, почтительно попросил нас «пожаловать к чаю», было уже часов 9 утра. После завтрака двинулись дальше, очень хотелось спать ещё, но заснуть в мотавшемся из стороны в сторону автомобиле было трудно, да и небезопасно из-за крутых поворотов.

В Туапсе мы попали прямо к отходу поезда, вечером миновали Армавир, а наутро

поезд уже шёл по равнинам Терской области. Дальние, чуть намечавшиеся в синеве неба горы, стада овец, сторожевые собаки и необъятная бескрайняя степь. Весёлые, заросшие садами терские станицы. Жара палила сухим палом, в открытые окна вагона неслись тучи серой пыли, которая хрустела на зубах и густо покрывала все предметы в вагоне. Станция Прохладная промелькнула мимо горькой насмешкой. Ночь, проведённая на скамейке вокзала Минеральные Воды, и пересадка на станцию Котляревская. В Нальчик, столицу Кабарды, которую мне хотелось посмотреть, я заехал без всякой надобности. В корпусе товарищ кабардинец Измаил Шипшев много и восторженно рассказывал о прелестях его родных мест и в особенности гор.

Крохотный жалкий вокзальчик Нальчика, а за ним голая, как ладонь, степь, полная овец и пыли, меня несколько удивили. Трясясь в пролётке, я во все стороны таращил глаза, ища горы, но не только гор, но и вообще «никакой природы» видно не было на много вёрст кругом. Извозчик на мой удивлённый вопрос о том, какие у них достопримечательности, с достоинством ответил: «Воздух, барин, у нас хорош». Оказалось, что кроме воздуха, в Нальчике есть действительно и горы, но для того, чтобы их увидеть, надо было ехать на какие-то «Голубые озёра».

− Да где же эти горы и озёра? − возмутился я безмятежной гладью кругом, видной на добрые тридцать вёрст.

− А это, барин, верстов за 40 отсюда, ежели желаете, я довезти могу.

Город Нальчик, как таковой, также отстоял от станции на порядочное расстояние и оказался самой обыкновенной пыльной и грязной станицей. Широкие, как площади, улицы, поросшие травой, кое-где лавчушки с кавказской утварью и степь, голая и безотрадная на многие десятки вёрст кругом. На горизонте чуть намечались не то облака, не то далёкие горы, под которыми виднелись кучки крохотных домиков. «Кабардинские аулы», − пояснил возница.

Я вспомнил, что Нальчик − административный центр Кабарды и столица его славного народа. Но где же, чёрт возьми, этот народ и где центр? Кругом мёртвая тишина и безмолвие, от которых буквально начинает звенеть в ушах. За весь день, проведённый в этом сонном царстве, кроме официальных властей, мне удалось увидеть только двух конных кабардинцев, проехавших мимо, гордо покачиваясь на сёдлах. Где же были остальные?

Нет ничего ужаснее и томительнее путешествия в июле в раскалённом вагоне по железной дороге в Баку. Открытые в надежде на сквозняк окна и двери вместо ветра гонят в вагон лишь струи раскалённого воздуха и пыли. По обе стороны поезда голая, жёлтая пустыня, покрытая камнями и без единой травинки. Публика в купе, на наше общее счастье, сплошь военная, что позволяет снять с себя всё, что можно, но и это мало помогает. Словно в насмешку, единственный штатский спутник наш, толстый перс в ватном халате, не обращая ни малейшего внимания на духоту, без перерыва и устали пьёт горячий чай из стоящего перед ним синего чайника, исходя потом. Мне на него даже страшно смотреть, другие, видимо, испытывают то же, так как два поручика, пошептавшись друг с другом, вдруг предъявляют кондуктору плацкарты, на основании которых перса с чайником выселяют из купе. Становится как будто легче без него, но это, конечно, моральный обман.

Проезжаем Гудермес, и вдали во всю ширину горизонта появляется лес нефтяных вышек. Мы подъезжаем к Баку. Жара всех до того разморила, что охотников смотреть на столицу нефти не нашлось, все устали от дороги и войны и мечтали только добраться до какого-нибудь угла, где можно было бы спокойно отдохнуть.

От Баку до Тифлиса едем ночью, которою пользуемся для сна, не интересуясь путевыми впечатлениями. Утром поезд влетает под раскалённый, как печка, навес тифлисского вокзала, и мы все окунаемся в духовую баню. Несмотря на ранний час, здесь сухая, удушающая жара. Тифлис летом − это громадная каменная сковорода среди жёлтых голых гор без признаков растительности. Город расположен, словно нарочно, с таким расчётом, чтобы летом никакое дуновение ветра не могло освежить невыносимого стоячего зноя, налитого на каменные дома и асфальтовые мостовые, под нависшие над ними

каменные обрывы и скаты гор. Над всем этим − раскалённое, вечно безоблачное небо.

Грузины, армяне, татары и прочие восточные человеки круглый год не снимают бараньих шапок на вате и суконной одежды, как будто не замечая, что в Тифлисе летом жарко и что люди пекутся в нём, как караси на плите. Зато весь русский Тифлис, едва наступает лето, спасается в Каджоры, Манглис, Боржом и прочие места, где можно жить и дышать. Только военные люди по службе, да по надобностям казённой формалистики, вроде меня, заехавшие сюда, принуждены мучиться в этой огненной геенне бесконечные дни и невыносимые ночи...

Дикий рёв и крик на десятке наречий сплошным гулом встретил наш поезд на вокзале. Разноязычная и разноплемённая толпа во всевозможных одеждах орала во всю глотку, не слушая друг друга. Вопя и неистово жестикулируя, она неслась по всем направлениям, толкаясь и наступая друг другу на ноги. Филипп с чемоданами, а за ним и я тоже с поклажей, едва вырвались из этой сумятицы в двери вокзала. Оглушительно стучали колёса пролёток по мостовой, рядом неистово звонил трамвай, голосили обиженными голосами ослы, кричали люди. Положительно, в этом городе жители не выносили тишины и порядка.

Тифлис − город, который я впоследствии очень полюбил, где пришлось столько пережить и перечувствовать, − в первые дни мне очень не понравился. Причиной этого была жара и больные нервы. Жаркий день сменился ещё более душной ночью, от которой напрасно ожидал я прохлады и отдыха. Неделя жизни в этих условиях может довести непривычного человека до отчаяния, до навязчивой идеи во что бы то ни стало найти прохладный уголок, в котором можно отдохнуть и обсохнуть, не чувствуя вечной тяжести мокрого от пота платья. Впоследствии в Африке, живя в Египте, я познакомился с летними жарами Каира и Ливийской пустыни, но и там никогда так не страдал от жары, как в Тифлисе летом 1916 года.

Сидеть в гостинице было невыносимо, и потому в поисках свежести я, как маньяк, за неделю исколесил весь Тифлис, обливаясь потом. Через европейский Тифлис, с его широкими проспектами, скверами и бульварами, мимо дворцов и музеев я находился вдоволь и наглазелся на старый туземный город, тесно прижавшийся к подножью древней крепости, стоящей своими полуразвалившимися башнями высоко на обнажённых утёсах под сенью Метеха над переправой через Куру. Здесь вокруг излучины реки и был настоящий грузинский «Тбилиси», старая столица Вахтангов и Давидов. Тут же были и все чтимые святыни города: Сионский и Метехский соборы – у грузин, Ванский собор – у армян и Алиева мечеть – у мусульман. Армянский собор с лабиринтом духанов и лавчонок, оригинальные «тёмные ряды» под общей крышей, грязные караван-сараи и персидский квартал, прижавшийся к самому подножью Метеха бесчисленными ступенями своих крыш. Тут, в сущности, вся Грузия и вся Азия, вся история страны, насколько она ещё сохранилась в Тифлисе.

Та же удушливая жара провожала наш поезд от Тифлиса до станции Михайловской, где была пересадка на Боржом. Только горные леса, начавшиеся по дороге к Боржому, задышали давно ожидаемой прохладой. Большая деревянная станция Боржома резкими тенями выступила под лунным освещением на фоне исполинских гор, покрытых сплошь хвойным лесом. Горы здесь поднимаются вверх совершенно отвесно и упираются вершинами в самое небо, обступая небольшой курорт до того тесно со всех сторон, что бархатное ночное небо, залитое звёздами, видно, словно из глубокого колодца. У самой станции шумит и бурлит горная речка, наполняя своим шумом ночь. Чудовищные тени гор падают друг на друга, и весь этот горный уголок напоминает собой при свете луны фантастическую и маловероятную декорацию. Громким скрипом отдаются среди ночи наши шаги по песку парка. Темнеют здания источников и курзалов, в парке пустуют скамейки и кресла. Кое-где, несмотря на поздний час, одинокие молчаливые фигуры. Чистые, белые от луны дорожки. Где-то за домами лает собака, и её лай гулко отдаётся по горам. Все звуки здесь необыкновенно гулки из-за горной акустики.

Наутро в пустом парке я попробовал боржома. Кислая барышня с кислым видом дала отвратительного тёплого пойла, стакан которого я так и не осилил. Громоздкая грязно-красная карета автобуса; из-за совершенно развихлявшегося мотора всю дорогу вырывается нестерпимая вонь, из радиатора с потерянной крышкой поднимается подозрительный пар. Дребезжат шарниры и винты, в душном кузове, упираясь коленями друг в друга, сидят на узких твёрдых скамейках среди груды узлов с десяток армян. Они совершенно одурели и разомлели от духоты и тряски и, как бараны, стукаются лбами и наваливаются один на другого на поворотах. Всё это совершенно безмолвно и равнодушно. Снаружи рядом с шофёром сидит почтальон с сумкой и шашкой через плечо, тут же удалось устроиться и мне на свежем воздухе. Свежесть, впрочем, относительная, так как мотор воняет прямо в нос и брызжет в лицо горячим маслом.

Впереди, сзади, направо и налево, внизу и вверху горы и лес. Мы едем из Боржома в Аббас-Туман. Дорога всё время вьётся у подножья лесных громад, тесно напирающих справа. Во многих местах она пробита среди гор коридором с зацементированными стенами. При выезде из Боржома налево в низине великолепное имение и дворец великого князя Александра Михайловича, которому принадлежит и курорт. Это охотничье имение с правильно поставленным охотничьим хозяйством и штатом служащих. За ним путь идёт вдоль долины Куры, где на каждом повороте открываются всё новые и новые виды, один красивее другого. На каждой скале на закруглении обязательно развалины замков. Это всё памятники древней Иверийской земли, которые народная молва все поголовно называет «замками царицы Тамары». Её царствование своим блеском настолько затмило в народном сознании всю остальную историю Грузии, что все памятники старины, в любом углу Имеретии, Карталинии или Кахетии народ обязательно относит к временам царицы Тамары, хотя даже для моего неопытного глаза совершенно очевидно, что они относились к самым различным эпохам.

Помимо памятников давно прошедшего, есть около Боржома кое-что напоминающее очень недавнее прошлое. В одном месте ввинчена в скалу рядом с шоссе металлическая доска с надписью, которая красноречиво гласит, что именно здесь в 1907 году было произведено разбойниками нападение на почту, при каковой оказии были убиты при исполнении служебных обязанностей почтальон и столько-то конвойных казаков, имена которых как жертв долга увековечены в воспоминание и назидание потомству. Через полчаса пути в другом месте опять такая же доска с описанием такого же происшествия с другой датой происшествия и с другими именами жертв. Местность, надо отдать справедливость, здесь для подобных разбойных дел самая благоприятная, как в смысле удобств местности, так и из-за близости турецкой границы.

Чем ближе мы подъезжали к Аббас-Туману, тем свежее и прохладнее становился воздух, легче дышалось и, соответственно, поднималось настроение. По дороге мы много раз останавливались на шоссейных станциях для пополнения быстро испарявшейся из радиатора воды. Первая из почтовых станций от Боржома называлась поэтическим именем «Страшный окоп». Она получила своё название в связи с какими-то жуткими воспоминаниями кавказского прошлого. На станциях чёрным по белому для утешения путников было обозначено, сколько вёрст они проехали и сколько ещё остается до конца пути. Увы, «пожиратель пространства», на котором мы путешествовали, совершенно не заслуживал этого гордого названия. Несмотря на то, что на каждой остановке в его недра вливались целые вёдра воды и бидоны бензина, он едва полз, оставляя на пути позорные следы собственной немочи, и мы сильно опасались, что он может и совсем не дотянуть до Аббас-Тумана.

Дорога, шедшая неизменно вдоль берега Куры, послушно следуя за всеми её причудливыми поворотами, была почти безлюдна. Немногие селения, попадавшиеся на пути, представляли собой с десяток-другой татарских хат и обязательный духан под тенистыми платанами, где коротало свой век всё мужское население аула. Здесь же в тени − с десяток туземных скрипучих арб, запряжённых равнодушными ко всему на свете буйволами. При

въезде в каждое селение автомобиль обязательно встречала орава черноглазых мальчишек с бритыми головёнками, которая неслась рядом, перебегала дорогу под самыми колёсами и дико визжала. Сигнального рожка в нашем автобусе не было, да его и не было нужно, так как наша колымага производила на ходу такой шум, что он вполне заменял собой всякие предупреждающие сигналы. Когда мы со звоном и грохотом проносились по улице какого-нибудь селения, всё живое, кроме ребят, в страхе прижималось к заборам, и даже в круглых глазах буйволов появлялось что-то похожее на удивление. Кроме этого, шофёр, человек очень голосистый, орал: «Хабарда! хабарда!» − поминутно и безо всякой надобности, просто от избытка энергии и горделивого сознания своего необычайного для здешних мест положения. «Хабарда! Хабарда, кепек-оглы!» − вторил ему почтальон, который тоже находился в приподнятом настроении от грохота автомобиля и быстроты передвижения.

Маленькие птички, подрыгивая тонкими хвостами, бегали по краям дороги. Пузатый и грузный армянин под зонтиком ехал на крохотном ослике, семенящем тонкими ножками. За осликом, едва поспевая, спешила беременная армянка с корзиной на голове, держа за руку маленькую босую девочку. Семейство, видимо, направлялось на базар и при одном взгляде на себя давало исчерпывающее понятие о местных семейных началах.

К середине пути горы стали как будто понижаться, лес на них стал реже, голые скалы раздвинулись в долину, в которой расположился город Ахалцых − половина нашего пути. На скалах старинная турецкая крепость, вокруг которой раскинулся чисто туземный татарский городок. Узкие его улочки полны солдатскими фигурами. Здесь стоит какой-то запасной полк, занимая казармы знаменитого Ширванского полка, имя которого тесно переплелось с историей кавказских войн. Полк этот за сражения, в которых он стаивал «по колено в крови», в качестве знака отличия получил от царя Николая Первого красные отвороты на сапоги. Туземный колорит Ахалцыха совершенно растворился среди массы защитных солдатских рубашек, превративших его в сплошную казарму.

На пыльной жёлтой площади в момент нашего приезда происходило учение. Зелёные рубашки то плавно двигались, то собирались в ровные квадраты взводов, то рассыпались в длинные цепи. На другой стороне реки, по которой неслись на брёвнах голые люди в папахах, вспыхивали огоньки выстрелов и сухо трещали залпы, много раз повторяемые горным эхом.

У обступивших нас татар с корзинами фруктов я купил десяток груш, которые, отличаясь чудовищным размером, оказались так сочны и вкусны, что я даже озадачился столь дивным даром невзрачного Ахалцыха. В этом последнем вылезли из нашего автобуса все восточные человеки, оставив внутри такую «потную спираль», что мы с почтальоном остались на прежних местах, предпочитая минеральную вонь мотора этим «живым» запахам. От Ахалцыха до самого Аббас-Тумана сплошная каменная пустыня, на которой не видно живой души, а только кладбища и мрачные мусульманские часовни. Это заставляет меня вывести преждевременное заключение.«Поганые у вас места», − поделился я без церемонии своими впечатлениями с шофёром. Шофёр и почтальон на эти слова обиделись: «Зачем так говорить... поганые? Приедешь Аббас-Туман, доволен будешь».

Это была истинная правда. На одном из поворотов совершенно неожиданно впереди нас показался тёмный массив высоких гор, покрытых густым сосновым лесом. Через минуту мы въехали словно в коридор. По обеим сторонам дороги на отвесных скалах вверху, покуда хватал глаз, горы были покрыты тёмно-зелёными прямыми, как свечи, соснами. От них в свежем, совершенно неподвижном воздухе стоял бьющий в нос сильный смолистый аромат. Ещё один поворот шоссе, и мы въехали в природные ворота Аббас-Тумана между двумя высокими скалами, поднимавшимися по обеим сторонам дороги. За ними сразу развернулась такая картина, которая может заставить забиться сердце даже человека, повидавшего на своём веку всяких красот природы.

Глубокое и узкое ущелье, по дну которого вьётся горная речка, наполняющая весь Аббас-Туман весёлым беспрерывным шумом. Справа и слева поднимаются двумя крутыми

стенами горы, густо, до черноты заросшие высокими соснами. Вершины их − сплошная щетина всё тех же сосен. На левом склоне в гуще леса развалины. Это, конечно, местный «замок Тамары». Прежде всего путника поражает в Аббас-Тумане полная неподвижность и в то же время необыкновенная свежесть наполненного запахом смолы воздуха.

Это не случайность − горы настолько плотно закрывают Аббас-Туманское ущелье со всех сторон, что в нём никогда не бывает ни малейшего ветра: ни зимой, ни летом. Кроме шума реки, никаких звуков – полная и безмятежная тишина. Для уставшего и нервного человека не может быть более идеального места отдыха. Первое впечатление от этого прекрасного горного мира, подавляющего своей мощью и очарованием, волшебное. За всю свою скитальческую жизнь по многим странам и весям мне приходилось видеть много прекрасных мест, но дикая красота Аббас-Тумана произвела на меня самое большое впечатление.

Единственная тихая улица вдоль реки с редкими прохожими, небольшой посёлок, несколько дач и санатории производят впечатление тишины и захолустья. Да это так и есть, люди сюда приезжают или отдыхать, или умирать. Как известно, Аббас-Туман − климатическая станция для туберкулёзных больных в последнем периоде.

В канцелярии этапного коменданта, кроме крепко спящего за столом писаря, никого не было. На улице уже стояла ночь, и «линейная» лампочка больше коптила, чем освещала унылое и без того помещение. Проснувшись, писарь просмотрел мои бумаги и любезно сообщил, что если я приехал помирать, то для этого предмета существует казённый госпиталь, если же чахотки у меня нету, то мне скорее надо уезжать назад или ложиться в... сумасшедший дом.

На всю жизнь я остался благодарен этому доброму человеку, давшему мне этот умный и глубоко практический совет. Как потом выяснилось, в казённом госпитале постановка дела была такова, что кто бы в него ни попадал, рано или поздно обязательно ложился в могилу, заразившись чахоткой от находившихся здесь туберкулёзных больных, так как все без исключения больные находились здесь в совершенно невозможных санитарных и медицинских условиях.

В выборе между могилой и сумасшедшим домом я долго не колебался и выбрал последний, о чём и заявил тут же писарю. «А вы, ваше благородие... рази туда предписание имеете?» − опасливо осведомился этот добрый человек. Командировка моя в Аббас-Туман не давала никакой спецификации лазарета, и потому, обсудив препроводительную бумажку, мы решили с писарем, что я без особенного риска могу толкнуться в оба госпиталя.

«Сумасшедший дом» оказался лазаретом Красного Креста для нервных больных и помещался в двух смежных дачах. На воротах красовалась многозначительная надпись «Психиатрический госпиталь Красного Креста». Однако она меня мало пугала, так как после всего пережитого, а главное, после длиннейшего и утомительного путешествия мне в Аббас-Тумане деваться было больше некуда.

Пройдя тёмным коридором, я открыл в конце его дверь и сразу очутился в большой и светлой комнате, полной весёлых людей и смеха, − по-видимому, в столовой. Из-за стола навстречу мне поднялась полная женщина средних лет и высокий молодой человек в форме военного врача. Это были заведующая лазаретом докторша Дубрович и врач Скворцов.

− Вы к нам? − спокойно спросила дама.

− Если позволите, − нерешительно проговорил я.

− Конечно, конечно, − заговорили они оба наперерыв. − У вас есть препроводительные бумаги?

− Бумаг нет, но… есть перевязочное свидетельство и эвакуационная бумажка.

Просмотрев их, докторша повеселела и радостно улыбнулась, как человек, вышедший из затруднения. «Так вы контужены? И вероятно, в голову?» − ласково осведомилась она. Не успел я ответить, как она, схватив меня за руки, затараторила: «Не волнуйтесь, не волнуйтесь! Всё это неважно!» Добрая женщина никак не подозревала, что волноваться мне если и было из-за чего, то только из-за того, что как бы меня не вышибли из

её симпатичного тёплого и светлого заведения, которое мне сразу понравилось. Решив про себя, что всеми правдами и неправдами я в нём останусь, я безропотно подчинился докторскому осмотру и отвечал утвердительно на все вопросы докторши, которая устанавливала мою ненормальность. Мои ответы удовлетворили обоих психиатров, потому что они, переглянувшись, поставили диагноз моей психической болезни и записали его в большую книгу. У меня отлегло от сердца, хотя в душе я с этого момента на всю жизнь усомнился в научной постановке вопроса о психиатрических болезнях.

После осмотра я уже на правах полноправного сумасшедшего был на славу накормлен и отведён в уютную комнату, где моментально заснул и во сне видел обступившие мою кровать сосны, которые приятными дамскими голосами уговаривали меня успокоиться.

Проснувшись, я к своему удивлению продолжал слышать слово «успокойтесь» и только через несколько минут сообразил, что это не продолжение моего сна, а действительность. Кого-то в соседней комнате взаправду просили успокоиться, а этот «кто-то» в ответ повизгивал и хрюкал. Накинув на себя халат, я только сунул было нос в соседнюю комнату, обуреваемый любопытством, как выросший, словно из земли, санитар пригласил меня к «старшему врачу». Старший врач оказался вчерашней докторшей-дамой явно еврейского происхождения, которая совместно с другим врачом меня раздела и стала подробно «исследовать», причём они совсем не обращали внимания на мои настоящие немочи, сердце и ушибленное колено, а больше интересовались рефлексами кожи и вопросом о том, бывает ли у меня меланхолия. Так как эта последняя случалась у меня всю жизнь от голоду, то я честно ответил, что да, бывает, и даже каждый день. По-видимому, это как нельзя более отвечало тому, что хотели у меня найти врачи, так как после этого записали меня на правах психического больного, которого вышибить уже было нельзя.

С этого памятного дня началась моя жизнь в Аббас-Тумане, о которой вспоминаю всегда с большим удовольствием. Отдохнуть и поправиться там можно было как нельзя лучше, а главное, что меня интересовало больше всего, кормили в лазарете на убой, что было необходимо, так как от горного воздуха аппетит здесь был прямо волчий. Приглядываясь к жизни лазарета, я постепенно выяснил, что за исключением двух-трёх настоящих «психов», живших отдельно от остальной публики, все остальные страждущие здесь были вроде меня, т.е. более или менее кривившие душой. Конечно, у всех нас после двух лет войны можно было найти при желании и рефлексы, и повышенную чувствительность кожи, и нервность, но всё это имелось и у остальных пяти или семи миллионов военных, находящихся на фронте. Что же касается признаков душевных болезней, то таковые, положа руку на сердце, изобретались неопытными в этом деле молодыми врачами, честно заблуждавшимися при добровольной и преднамеренной помощи самих «больных». Кажется мне теперь, что путал в психиатрии по неопытности один только Скворцов; что же касается Двейры Гиршевны Дубрович, то она в этом вопросе действовала сознательно и, как говорится, «с заранее обдуманным намерением». Она была революционерка, не скрывавшая своих убеждений и, несомненно, имела кое-какие партийные задания, касающиеся разложения армии. Кормили в «сумасшедшем доме» прекрасно, природа и воздух не оставляли желать лучшего, врачи и сёстры были предупредительны и позволяли больным всяческие капризы. Для того, чтобы в обращении с больными не было никакой грубости, весь персонал состоял из женщин, большинство которых были латышки, существа здоровые, как лошади, невозмутимые, как коровы, и терпеливые, как мулы.

Здоровье моё сразу пошло здесь на улучшение, чему способствовало то обстоятельство, что мы целыми днями лежали на балконе среди леса и жрали, как удавы: чудесный смолистый горный воздух нагонял нечеловеческий аппетит. В этом милом доме я провёл несколько месяцев, и время своего сумасшествия вспоминаю с удовольствием и благодарностью. Правда, было временами довольно скучновато, чувствовалось, что мы отрезаны от остального мира. Развлечения, впрочем, были, хотя и совсем буколические, как преферанс и лёгкие романы с сёстрами.

С внешней стороны об аббас-туманском психиатрическом лазарете сказать ничего, кроме хорошего, было нельзя, но зато в нём была одна внутренняя и хорошо скрытая отрицательная сторона, которую понять и оценить можно только теперь, после пережитого. Дело заключалось в том, что вдали от всякого надзора и начальства докторша Дубрович со своими двумя сёстрами и её помощник доктор Скворцов вели среди лежавших у них офицеров очень тонкую и умелую революционную пропаганду, которая не могла не действовать на офицерскую молодёжь, совершенно в те времена не искушённую в политике. Пожилой или более опытной публики среди больных умышленно или случайно не имелось. Правительственные распоряжения и война как таковая при этом явно саботировались. Врачебная комиссия, состоявшая из тех же Дубрович и Скворцова, под председательством их приятеля, ничего не понимающего в психиатрии военного врача, неизменно давала всем выходившим из их лазарета права тыловой службы, т.е. другими словами, распропагандировав офицера, снимали его с фронта. Всё это проводилось очень тонко и организованно, и официально придраться было не к чему.

Врачебный персонал обедал, ужинал и пил чай с больными за общим столом, и каждый день под умелым руководством «старшего врача» разговоры обязательно принимали политический характер. Офицерская молодёжь, сидевшая за столом, слушала, соглашалась или просто помалкивала, не возражая. В этом, к сожалению, сказывалась политическая неподготовленность офицерского корпуса к идейной защите того, чему мы все честно и по совести служили.

Теперь, уже в эмиграции, после всего пережитого, когда находятся люди, которые продолжают, как попугаи, повторять идиотскую формулу о том, что «армия должна стоять вне политики», я с ужасом думаю, что несмотря на тяжёлые уроки прошлого, за которые платится вся Россия, люди всё же ничему не научились и опять готовы повторять старые и непоправимые ошибки...

Нечего и говорить, что революционная пропаганда, которую еврейки вели среди офицеров, имела место на ещё более широких основаниях на солдатской половине. Распропагандировав солдат, комиссия после выписки не только увольняла их от строевой службы, но и прямо увольняла в чистую отставку как инвалидов. Это было тем более удобно, что постановления психиатрической комиссии не подлежали пересмотру, как это имело место в других госпиталях кавказского фронта, где комиссии работали с большой строгостью и почти никого не освобождали от фронта.

В начале октября 1916 года в лазарет к нам прибыл контуженный на фронте поручик 17-го Туркестанского стрелкового полка Ченгери с молодой женой-врачом. Он был тяжело контужен под Саракамышем в начале войны, долго лежал в госпитале и, едва оправившись, сделал предложение ухаживавшей за ним докторше. Хотя свадьба их была всего несколько месяцев тому назад, уже было видно, что семейный очаг Ченгери начинал чадить. Брак оказался неудачным. Евгения Константиновна своего молодого мужа не любила и вышла за него, сама не зная почему. Ни красоты, ни материального обеспечения у Ченгери не было, хотя он принадлежал к хорошей семье и был добрый человек. Вероятнее всего, в этом браке сыграла роль, с одной стороны, бабья жалость к покалеченному человеку, с другой стороны, преданная любовь поручика. С первых же дней приезда четы Ченгери в Аббас-Туман мы взаимно почувствовали с Евгенией Константиновной влечение друг к другу. Этому способствовало то обстоятельство, что сам Ченгери скоро уехал в Кисловодск, а я стал проводить все дни с его женой.

В ноябре, выписавшись из лазарета, я получил вторую категорию − второй разряд раненых, что означало в дальнейшем назначение на «нестроевую должность в условиях мирного времени». Уезжая из Аббас-Тумана в Тифлис в распоряжение штаба Кавказской армии, я решил больше не встречаться с мадам Ченгери, так как понимал, что роман с замужней женщиной, да ещё женой товарища по оружию, непорядочен и ни до чего хорошего довести не может. Судьба, однако, судила иначе.

Проболтавшись в Тифлисе около месяца в ожидании назначения, я ежедневно

принуждён был ходить в штаб, где назначениями заведовал полковник Генерального штаба. Там я неожиданно для самого себя устроил скандал. Полковник, которого постоянно донимали просьбами сотни офицеров, ожидавших назначения и томившихся от безделья, был очень нервным и не всегда вежливым. Мне это казалось совершенно непозволительным со стороны тылового человека по отношению к боевым и заслуженным офицерам, почему я и искал только случая, чтобы высказать полковнику моё о нём мнение. Случай этот не замедлил представиться. Однажды, когда я обратился к нему с обычным вопросом «не получено ли для меня назначение», он раздражительно огрызнулся на меня: «Оставьте меня в покое и ждите!» Все холодные и язвительные слова, которые я заранее приготовил полковнику для подобного случая, сразу вылетели у меня из головы. Кровь бросилась в голову, и я, выхватив шашку, бросился на него с яростным криком: «Ах ты, тыловая сволочь!»

Находившаяся в приёмной зале, где это происходило, публика, что называется, остолбенела на месте, но побледневший, как смерть, "фазан" успел, на своё и моё счастье, схватить стул, которым и отразил широкий клинок моей шашки. Лезвие, прорубив сиденье, выбило у него из рук стул, который покатился по паркету, полковник же очень проворно спрятался от второго удара за письменный стол. Офицеры схватили меня за локти и, уговаривая «успокоиться», отвели в угол. Выскочившие на шум и крик штабные окружили пострадавшего полковника и увели его куда-то вглубь здания.

Через пять минут адъютант именем коменданта штаба отобрал у меня оружие и пригласил к начальнику штаба Кавказской армии. Красивый видный генерал сидел в большом кабинете и встретил меня удивлённым и в тоже время любопытным взглядом. Это был генерал Болховитинов.

− Что с вами, поручик? Вы сознаёте, что вы наделали?

− Виноват, ваше превосходительство! Но я приехал с фронта и не привык, чтобы со мной в тылу разговаривали таким тоном. Я боевой офицер, сильно ранен и не заслуживаю этого.

− Слушайте, поручик, что я вам скажу, − подумав, ответил мне генерал. − По законам военного времени вы можете быть за ваш поступок приговорены к расстрелу и потому не рыпайтесь, а слушайте моего совета, я вас хочу спасти. Мне доложили, что вы только что выписаны из психиатрического лазарета после контузии, это верно?

− Так точно!

− Ну и прекрасно! Отправляйтесь туда обратно... если, впрочем, не предпочитаете идти под суд. Вы согласны?

− Так точно, ваше превосходительство! Согласен и… покорнейше благодарю.

− Ну и прекрасно! С полковником С. я объяснюсь сам, а теперь отправляйтесь немедленно в Артачалы, там есть 42-й лазарет, тоже психиатрический. Явитесь в нём старшему врачу и скажите ему, что вы прибыли по моему личному приказу. Я ему протелефонирую.

Поблагодарив ещё раз бравого генерала, так по-суворовски разрубившего завязанный было моей горячностью узел, я прямо из штаба на извозчике поехал в Артачалы. В 42-ом госпитале меня приняли немедленно, чрезвычайно вежливо и даже с оттенком некоторого страха. Видимо, здесь было уже известно о скандале, учинённом мною в штабе армии. Через два дня в особом специальном вагоне с решётками и под караулом санитаров и сестёр я опять был доставлен в Аббас-Туман, где встретился снова с... Евгенией Константиновной.

Для формальности прожив две недели в Аббас-Тумане, я был выписан снова, приехал в Тифлис уже по снежному пути. Назначение на этот раз я получил необыкновенно быстро и уже через три дня после приезда был прикомандирован к формировавшемуся в Тифлисе для Азиатской Турции этапному батальону. В штабе его я неожиданно встретился с поручиком Ченгери, который пригласил меня к себе в гостиницу, где я опять увидел Евгению Константиновну. Все мои добрые намерения при виде её пошли к чёрту, и мы оба

поняли, что нас соединяет серьёзное чувство. Как назло, сам Ченгери был как слепой и, не замечая того чувства, которое меня влекло к его жене, постоянно приглашал меня быть в их компании и даже просил развлекать в его отсутствие жену.

В январе 1917 года Евгения Константиновна, служившая врачом в Красном Кресте, получила новое назначение и уехала в Эрзерум. Проводив её, Станислав Ченгери предложил мне поселиться вместе с ним. Мы сняли две комнаты на Ольгинской улице у какой-то старушки и стали ходить на службу в канцелярию этапного батальона, к которому оба были прикомандированы в качестве ротных командиров будущих рот. Пока что весь состав батальона состоял из командира его, полковника Черноглазова, нас двоих и моего денщика Филиппа. В практической жизни Ченгери оказался очень оборотистым человеком и добрым товарищем. Нас с ним связывало и общее воспитание: оба мы были кадровыми офицерами, окончили кадетский корпус и военные училища в Петербурге.

Наше пребывание в штабе этапного батальона оба мы рассматривали как временное и случайное, и потому одновременно с тем рыскали по Тифлису в поисках какой-нибудь приличной службы. Однажды Станислав принёс известие, что в Тифлисе формируется и скоро открывает свои действия новое военно-административное управление для областей Турции, занятых русскими войсками. К этому времени фронт Кавказской армии, начиняясь у моря около Платаны, южнее Трапезунда, шёл на восток на Диарбекир и затем на юго-восток к Вану и границам Месопотамии к персидской границе. Завоёванные вилайеты Турции составляли уже огромное пространство, которым нужно было управлять. Учреждение, предназначенное для этой цели, и формировалось в Тифлисе, получив наименование «Генерал-губернаторства областей Турции, занятых по праву войны». Штаб его, или, вернее, главное управление помещалось в обширном особняке на Сололаках. Генерал-губернатором был только что назначен генерал-лейтенант Романько-Романовский, бывший военный губернатор Батума, а его начальником штаба − генерал-майор Тэрмэнг, бывший командир 80-го Кабардинского полка.

В генерал-губернаторство входило несколько военных губернаторств, разделённых в своё время на округа и участки. По штатам все должности начальников округов и участков должны были быть заняты офицерами после ранений, получивших право занимать должности в тылу. Как раз к этой категории мы с Ченгери и были причислены, а потому имели все права поступить на эту службу, обещавшую интересную и самостоятельную деятельность в новой и интересной стране.

На другой же день мы отправились «наниматься» в генерал-губернаторство и уже через неделю получили назначения на должности начальников участков: он в округ Архавэ-Сюрменэ, около Трапезунда, а я в соседний Байбуртский округ. Прежде чем ехать в Турцию, оба мы решили съездить на побывку домой: я в Покровское, он − в Ашхабад, откуда был родом.

Масленица 1917 года, проведённая в родных местах, была самой весёлой за всю мою жизнь. В Покровское съехалось множество родных, в особенности молодёжи обоего пола, и дни проходили сплошным праздником. Были веселы и старики, так как война оживила сельское хозяйство. Отец с мачехой были прекрасными хозяевами и работали в течение последних лет, не покладая рук, над нашим благосостоянием. Они привели отцовские имения в такое цветущее состояние, что Мария Васильевна по секрету как-то поделилась со мной, что их капиталы давно перевалили за миллион.

Не обошлось и без поездки в Щигры, весёлых балов, обедов и т.д. Сестра Сонюша, окончившая весной 1916 года институт с золотой медалью, с осени училась в Москве на курсах французской литературы, совместно с кузиной Алей Гоголь, которая избрала себе специальностью английский язык. В Москве сестра вращалась в литературных и художественных кругах Белокаменной, так как жила на квартире у артистки Художественного театра Книппер-Чеховой.

Несколько нарушал наше радостное настроение лишь дядя Николай Владимирович Бобровский, который в качестве председателя управы знал лучше других то, что

происходило в толщах народных. Он качал головой и шутливо говорил нам: «Смейтесь, смейтесь, весёлые потомки черносотенных зубров! Смотрите только, как бы скоро нашему брату плакать не пришлось, мужик зверем смотрит, в столицах люди с ума посходили. Ох, скоро будут резать нашего брата − вторая пугачёвщина настаёт». Мы считали эти пророческие слова дядюшки за его обычные шутки и беззаботно смеялись, не ожидая для себя ничего плохого даже и от революции, о которой повсюду говорили уже открыто.

В газетах только что появилось сообщение об убийстве Распутина в Петербурге, но в «Русском слове», которое приходило к нам вместе с «Новым временем», никаких подробностей ещё не было. Цензура постаралась, и кроме портрета «старца» да небольшой заметки о его трупе, найденном в Фонтанке, ничего другого не было. Жалеть Распутина нам не приходилось, так как, несмотря на монархические убеждения, которые в нашем кругу разделялись и старыми и малыми, положение пьяного мужика при царском дворе всех возмущало как компрометирующее имя императорской семьи и её честь.

Снявшись напоследок в бесчисленных группах и соло, я прямо из Щигров выехал на Кавказ, провожаемый на вокзале целой толпой родных. В вагонах всю дорогу среди публики шли разговоры о петербургских делах и смерти Распутина, так что, ещё не доехав до Тифлиса, я уже знал все подробности. В воздухе явно чувствовалось ожидание перемен, принимаемых повсюду и везде с радостью.

В Тифлисе я Ченгери не нашёл, он ещё не возвращался из Закаспийской области, но Евгения Константиновна была в городе и жила в «Европейской» гостинице. За проведённую совместно с нею неделю мы впервые подняли вопрос о её разводе с мужем и о браке со мной. Но вопрос остался открытым, так как без Станислава Казимировича решить его было нельзя, да и мы не знали, куда обоих нас забросит судьба.

Не разрешился этот вопрос и с возвращением Ченгери, так как Евгении Константиновне опять надо было ехать на службу в Эрзерум. Проводив её, мы опять зажили прежней жизнью, готовясь к отъезду на новое место службы. Остановка была только за приказом о нашем назначении.

Однажды, вернувшись из города, я нашёл Ченгери лежащим одетым на кровати, отвернувшимся лицом к стене. Не беспокоя его, я улёгся на кровать и занялся какой-то книгой. «Анатолий Львович! − вдруг раздался его голос. − Если я дам развод Евгении Константиновне, вы на ней женитесь?» В первый момент от неожиданности у меня не нашлось даже слов для ответа, но, сообразив, что мы с его женой ни в чём не повинны, кроме того, что полюбили друг друга, я ответил то, что единственно можно было ответить на такой вопрос:

− Мне кажется, об этом прежде всего надо спросить Евгению Константиновну. Но, во всяком случае, поручик, ни она, ни я вас никогда и ни в чем не обманули и, если мы питаем друг к другу чувство, то... согласитесь, что сердцу приказать нельзя.

Он замолчал и ничего мне не возразил, так как и сам знал, что я говорил правду. Кроме нескольких поцелуев, ничего между мной и Женей не было − чувство порядочности и корпоративной чести не позволяло нам вульгарной интрижки. Впоследствии я долго ломал себе голову над тем, откуда Ченгери узнал о нашем романе, хотя и вполне платоническом. Могло быть только два предположения: или он прочёл письма жены ко мне, которые лежали у меня в столе, или что мой денщик Филипп, от которого мы с Женей не скрывались, рассказал об этом ему. Будучи сектантом-евангелистом, Филипп не мог быть доволен тем, что он носил письма от своего барина к чужой жене, это не могло не нарушать его сектантского понятия о святости семейной жизни и брака.

Мучительный для нас обоих день первого объяснения прошёл без дальнейших разговоров по этому вопросу, хотя я был готов предложить Ченгери любое удовлетворение, если он считал себя оскорбленным. Через неделю Евгения Константиновна, неожиданно бросившая службу, приехала опять в Тифлис и имела объяснение с мужем. Сказала она ему то же, что и я; и он как порядочный человек примирился с неизбежным, считая, что то, что суждено, должно исполниться, хотя и не мог не питать ко мне неприязненных чувств.

Вероятно, полагая, что увлечение жены просто временная блажь, он вместо того, чтобы мешать нам видеть друг друга, постарался, чтобы мы все оставшиеся до отъезда в Турцию дни провели вместе. Он каждый день для этого приглашал меня идти с ними то в театр, то в рестораны. В Тифлисе в эти дни чувствовалось нездоровое оживление, напоминающее массовый психоз, выражавшийся в беспричинном веселье и всяческом прожигании жизни. В воздухе между тем чувствовалось *грозное* ...

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ. РЕВОЛЮЦИЯ. 1917 - 1920 ГОДЫ

Рождённые в года глухие,
пути не знают своего.
Мы дети страшных лет России,
забыть не в силах ничего...

А.А. Блок

Первые дни революции в Тифлисе. Отъезд в Турцию. Батум, Трапезунд и переход на миноносце. Дорога из Трапезунда в Байбурт, через перевал Зигани-Кардули. Новая служба в Байбурте. Товарищи и сослуживцы. Политика и жизнь. Охоты в горах Понтийского Тавра. Исполнительный комитет и работа в нём. Приезд жены. Развал фронта. Бегство из Байбурта. Дорога в Саракамыш. Саракамыш в угаре революции. Аул Базат и жизнь в нём. По следам отступающей армии. Снова Тифлис. Закавказье после революции. Мусульманский корпус. Отъезд в Закаталы, Старая крепость и новые порядки в ней. Гамзат и Хакки-Бей. Отъезд в Тифлис. Возвращение на родину, которой нет. Морские впечатления. Одесса при немцах. Гетманский Киев и жизнь в нём. Отъезд и путь в Добровольческую армию.

В один из последних дней февраля 1917 года поздно вечером я возвращался домой от Ченгери по Головинскому проспекту. Пройдя дворец против гостиницы «Ориент», я неожиданно натолкнулся на кучки взволнованных людей, обступившие газетных разносчиков, продававших выпуск с ночными телеграммами. Вспомнив, что по Тифлису с утра уже ходили слухи о каких-то событиях в Петрограде, я поспешил купить листок и прочёл в нём о первых беспорядках, начавшихся в столице. Утром, придя в гостиницу, где жил Станислав Казимирович с женой, я узнал о начавшейся революции. По молодости лет, не понимая ещё развертывающихся событий во всём их объёме, я радовался как всякое молодое существо, новому порядку вещей, что разделяла и Евгения Константиновна. Сам Ченгери, года на два постарше нас, наоборот, смотрел на события мрачно, тем более, что относил наше радужное настроение совсем к другому. Первые дни начавшейся революции были в Тифлисе, вероятно, такими же, как и во всей остальной России, т.е. днями восторженного настроения большинства населения. В отличие от столиц, никаких революционных «эксцессов» и беспорядков, связанных с переменой власти, в Тифлисе не было. Все прежние начальники, за исключением губернатора и полицейских, остались на местах. Отношение к ним оставалось прежнее, потому что большинство представляло собой военную власть во главе с великим князем Николаем Николаевичем, очень популярным на Кавказе среди армии и населения, особенно после того, как он по интригам Распутина был смещён с поста Верховного главнокомандующего. Его великокняжеский штандарт продолжал развеваться над дворцом наместника на Головинском проспекте. С первого дня революции многочисленные митинги начались и шли беспрерывно, один сменяя другой на всех площадях города. Вместе с Ченгери мы посетили первый из них в рабочем предместье Тифлиса Нахаловке, расположенном за вокзалом. На митинге с бочек и столов говорили рабочие, солдаты и офицеры, но все речи сводились к одному − приветствию новому

правительству и вере в будущее «свободной России». Толпа в восторге орала до хрипоты и качала всех ораторов без исключения. Впрочем, даже и на этом первом митинге имела место одна сцена, хотя в то время и прозвучавшая диссонансом среди общего подъёма и солидарности, но уже дававшая понятие о том, что вряд ли революция и в будущем пойдёт в том же буколическом духе. Произошла она после речи начальника штаба Кавказской армии генерала Болховитинова, с первого дня нового порядка положившего руль резко налево. Этот когда-то спасший меня от больших бед генерал не постыдился в своём чине и звании влезть на митинговую бочку. Сказал он то, что только и мог сказать генерал, раз уж он попал на роль митингового «орателя», а именно, что он, приветствуя новый строй, призывает свободную отныне русскую армию без различия чинов стать с новыми силами на защиту родины до победного конца. Генералу толпа похлопала, как и другим, и покричала ура. Однако не успел Болховитинов слезть с бочки, как на его место взгромоздился упитанный солдат в хорошо пригнанном обмундировании с толстыми бабьими ляжками. Перечислив все беды и лишения, которые он будто бы вытерпел на фронте, этот оратель, несомненно, из штабных писарей, не видавших в глаза окопов, закончил свою речь тем, что призвал «товарищей солдатов» не верить словам начальства, так как нет и не может быть ничего общего между «красной генеральской подкладкой и серой солдатской шинелью». Этот первый голос будущего не произвёл особенного впечатления на товарищей солдат, хотя писарю толпа тоже похлопала за его труды.

Через неделю великий князь, сдав командование Кавказской армией Юденичу, а должность наместника − сенатору Андреевскому, навсегда покинул Тифлис, получив от Временного правительства назначение верховным главнокомандующим. До фронта, как известно, он не доехал. Жёлтый штандарт с чёрным орлом был спущен и на его место подняли георгиевское знамя Кавказской армии.

С его отъездом разложение тыловой солдатчины в Тифлисе пошло усиленным темпом. Тёмные элементы подполья, первым застрельщиком которых был толстозадый писарь на нахаловском митинге, становились всё смелее, выплывая на вольную воду. По лицам шатающихся на улицах солдатских групп и по их поведению становилось ясно, что по казармам и митингам их всё больше взвинчивает кто-то против офицеров и командного состава. Сначала робко, а затем всё смелее начались аресты лиц, занимавших видные посты. Были арестованы комендант города, военный губернатор, начальник военных сообщений, арестованы глупо, грубо и совершенно незаконно собственными подчинёнными, имевшими против них зуб. Гражданская власть перешла в руки «общественности» в лице городского головы армянина Хатисова и его помощника молодого адвоката из иудеев, которого я встречал до революции в доме родственников Ченгери. По требованию новых властей были произведены гарнизонные выборы, и в Питер отбыли избранные тылом делегаты Кавказской армии в составе солдатских и рабочих депутатов. С каждым днём налёт разложения всё более чувствовался в Тифлисе. Солдатня совершенно распустилась и в растерзанном виде без поясов и хлястиков, с расстёгнутыми воротами от зари до зари шлялась по улицам, задевая прохожих и заплевав красавец-город шелухой семечек. Вместо отдания чести при встречах с офицерами только нагло ухмылялись. На этой почве всё чаще происходили столкновения. Горячий татарин корнет Визиров, адъютант командующего армией, ударом кулака вбил в рот папироску солдату, пустившему ему в лицо дым на улице. Солдатня набросилось было на Визирова, обнажившего шашку, и только личное вмешательство Болховитинова спасло его от самосуда. Наш милый старый Тифлис в эти дни стал отвратительной грязной клоакой, заплёванной подсолнухами, засорённый газетами и обрывками плакатов и переполненный злобной и наглой солдатнёй, потерявшей всякий воинский вид и дисциплину. На улицы было неприятно выходить, так как никто не был гарантирован от того, что не нарвётся на оскорбление со стороны любого пьяного солдата.

В один из первых дней нового порядка чета Ченгери и я смотрели в Театре Артистического Общества, милом ТАРТО, драму Мережковского «Павел Первый», шедшую премьерой, так как она была запрещена цензурой царского времени, а затем ужинали в

ресторане театра. В партере, переполненном военными, только у немногих молодых офицеров из прапорщиков военного времени виднелись красные банты и гвоздики, большинство же офицерства постарше глядело мрачно. Та же картина была и в ресторане, знаменитом своим кахетинским вином.

8 марта мы с Ченгери выехали в Батум, чтобы оттуда уже направиться в Турцию морским путём. Евгения Константиновна за день до этого также уехала в Батум, где получила место врача на Кварцханском заводе, оставив службу в армии. В Батуме, где мне пришлось быть впервые, мы остановились в гостинице в ожидании парохода в Трапезунд. В эти дни Батум, небольшой, тихий город, казался совсем мёртвым после шумного Тифлиса. Побывав в городском саду и на набережной с пальмами, мы убедились, что других достопримечательностей здесь не было. В Батуме, как и повсюду, в эти дни население переживало первое упоение революцией. На площадях шли митинги, на которых доморощенные ораторы продолжали переливать из пустого в порожнее. Общий тон митингов был тот же, что и в Тифлисе: «Попили нашей крови...» Проходя как-то по главной улице, я совершенно неожиданно встретил своего старого однокорытника по воронежскому корпусу, ныне мичмана Сукина. Он был прежний, такой же румяный и довольный собой, по-прежнему исходящий невероятными историями, в которые никогда не верили ни его собеседники, ни он сам. Оказалось, что он служил вахтенным офицером здесь в Батуме на миноносце «Стремительном», − как и все здешние корабли, жалкой калоше старого образца.

С места пригласив меня на свой «корабль», Сукин за стаканом вина и между воспоминаний о прошлом сообщил, что при его протекции мы сможем «дойти» в Трапезунд на миноносце, который должен туда отправиться в самое ближайшее время. Возвращаясь в гостиницу, я по дороге встретил демонстрацию растерзанных хамов в солдатских шинелях, нёсших плакаты и красные флаги. Впереди этой процессии шёл солдат, одетый в обычную форму, т.е. в гимнастёрку, штаны и фуражку, но не из защитного сукна, а из красного кумача. Даже кокарда и сапоги этого преданного революции дурака были обёрнуты красной материей. Впоследствии в других местах мне приходилось встречать таких же чучел в клоунском виде, что, вероятно, надо было понимать как яркое доказательство их революционных убеждений.

Около 10 часов вечера, едва мы улеглись спать в своём номере, как в дверь постучали, и вошедший матрос сообщил нам, что мичман Сукин приказал известить поручика Маркова, что если «воны жалають, то могуть» выйти сегодня в Трапезунд на миноносце «Сметливом», который отходит в 11 часов вечера. Спотыкаясь по сходням и на полукруглой железной палубе миноносца, Филипп под ироническими взглядами моряков перенёс наш багаж с пристани. Под конец он запутался своими жандармскими шпорами в цепях и чуть не упал в воду.

В кают-компании, похожей на птичью клетку, нас встретил командир миноносца, маленький, сухой, гладко выбритый человек. Он был похож на англичанина и, вероятно, для большего сходства не выпускал изо рта трубки. Кроме Ченгери и меня, на миноносце оказались и другие «пассажиры» − штабной поручик и полковник генерального штаба. Напившись чаю в кают-компании, где мы с трудом поместились, мы вышли на палубу. Было совсем темно. Кое-где в порту светились немногочисленные огни, отражаясь в спокойной глади бухты. Ярко светился только рядом электрических огней пароход, на котором помещался морской штаб. На мачтах его беспрерывно мигала искра радио. Сукин, пришедший нас проводить, с уверенным видом знатока объяснял, что это штаб даёт инструкции нашему миноносцу.

Город тонул в сплошном мраке: по военному положению с заходом солнца тушились все огни со стороны моря. Под ногами глухо работала машина, которую «прогревали». На тесно стоявших рядом с нами миноносцах двигались молчаливые тени матросов. Вся эта таинственная работа моряков, глухо постукивавшая машина, приказания вполголоса и темнота создавали жуткую и таинственную картину. Ночью здесь чувствовалось присутствие войны гораздо сильнее, чем днём, когда под ярким солнцем

улыбалось лазурное море, и в порту шла обыденная жизнь.

Юрий Сукин на прощание давал мне какие-то адреса в Трапезунде, называл фамилии моряков, к которым там я должен был обратиться, но я его плохо слушал, подавленный новыми ощущениями.

Коротко и резко рявкнул гудок, моряки, приходившие проводить товарищей, сошли на берег. Матросы на корме зашевелились и сняли деревянные сходни, соединявшие миноносец с молом. Зазвенели звонки в машине, и с мостика раздалась короткая команда.

− Не желаете ли пройти на мостик, поручик? − любезно пригласил меня мичман.

− Ещё бы не желать, только я думал, что этого нельзя.

− Пожалуйте, пожалуйте.

Хотя до мостика было не больше пяти шагов, но я в темноте умудрился наткнуться на что-то три раза. На площадке мостика командир миноносца и его единственный офицер надели оба тёплые на меху куртки, хотя в воздухе было очень тепло. Привыкнув немного к темноте, я с удивлением убедился, что мостик был полон народа, но все эти тёмные фигуры стояли неподвижно и внимательно глядели вперёд. «Что они здесь делают и куда смотрят?» − мелькнула любопытная мысль, но спросить было неловко. Словно угадывая мои мысли, мичман в качестве любезного хозяина объяснил: «Люди, которые здесь стоят − это сигнальщики. Сейчас мы поднимаем якорь. Слышите постукивание впереди?»

«Тихий ход вперед!» − скомандовал в трубку командир. Миноносец дрогнул, под носом у него забурлило, и огни бухты медленно тронулись и поплыли мимо.

− Сейчас будем проходить минные заграждения, − любезно сообщил мне мичман.

− Заграждения? А как же вы их ночью увидите?

− Ничего, мы привыкли, да вот они и видны...

«Хорошо видны!» – я лично не видел буквально ни зги. Батумские огни виднелись уже безотрадно далеко, с моря начинал дуть холодный ветер, и меховые куртки моряков мне сразу стали понятны.

− Скажите, а мы не можем наткнуться на мину в темноте?

− Отчего же, сколько угодно, не раз бывали случаи, − успокоил меня всё тот же любезный мичман.

Командир, бритый лейтенант, как пришёл на мостик, так и закаменел на одном месте, только огонёк его трубки говорил о том, что он не спит и распоряжается нашими жизнями. В этом положении потом он пробыл всю ночь.

− Почему командир здесь, − осведомился я шёпотом, − ведь это вы несёте вахту?

− Да, но командир в походе не имеет права покидать мостик.

Стало совсем холодно и, поблагодарив хозяев, я спустился в кают-компанию и, задевая головой стеклянную бахрому люстры, кое-как улёгся на коротком и узком диванчике. Койка оказалась настолько миниатюрной, что пришлось поднять ноги вверх и упереть их в стенку. Духота была здесь одуряющая, несмотря на то, что на палубе дул резкий и холодный ветер. Раздававшиеся наверху и в машине звонки беспокоили и казались тревожными.

Проснулся я оттого, что упал с дивана и больно стукнулся головой о ножку стола. Ченгери со взъерошенным видом сидел напротив, обеими руками держась за стойки. За тонкой стенкой миноносца что-то крепко бурлило и весь он, наклонившись на одну сторону, круто заворачивал. По лестнице загремели шаги, и к нам спустился мичман.

− Знаете, − заявил он радостным голосом, − сейчас мы чуть не угодили на плавучую мину!

Это известие, преподнесённое только что упавшему с кровати человеку, было как нельзя более неожиданно, и чтобы скрыть своё смущение, я стал расспрашивать подробности. Оказалось, что плавучая мина, оторвавшись со своего якоря, болталась по морю на пути миноносца и, не заметь её вовремя матрос-сигнальщик, все мы полетели бы к чёрту. В последнюю минуту командир успел повернуть и избежать столкновения. Мина, как говорят моряки, «прошла по борту», не задев миноносца.

Не привыкший к морским ужасам, я не успел задремать, как произошла вторая тревога. Во мраке моря мы встретили большой корабль, который потребовал «показать позывные». Эти позывные, т.е. сигнальные огни, менялись каждую ночь и были условными. Мичман, на обязанности которого было заниматься сигналами, оставил книгу в кают-компании, где, слетев как бешеный с мостика, стал её лихорадочно искать.

− Да чего вы так спешите? − спросил я его, спокойно лёжа на диване.

− Как чего? − вскинулся он. − Если мы не покажем сейчас позывных, корабль этот откроет по нам огонь и пустит ко дну!

Ну, где же мне, береговому человеку, было спать при таких тревогах! Отказавшись от мысли о сне, я, чтобы не томиться даром в ожидании очередного ужаса, предложил мичману чем-нибудь помочь в его ночной работе. Он охотно согласился и, дав мне книжку шифров, предложил расшифровать кучку телеграмм радио, лежавших на столе. Это оказалось ещё страшнее, в этих проклятых телеграммах говорилось о неприятельских кораблях, бродящих в ночи на каких-то широтах и долготах. После каждой расшифрованной мною телеграммы я нёсся на мостик к мичману в испуге, но всякий раз оказывалось, что помеченные в радио широты находились то у берегов Румынии, то в Малой Азии. Промучившись над этим всю ночь, я едва дождался рассвета, когда можно было вздохнуть и выйти из темноты и неизвестности.

Море и небо тонули в молочном утреннем тумане, миноносец наш шёл в сплошном молоке. Вода покрывала его нос на ходу и с шипом расступалась на обе стороны. Филипп, серый и небритый, сидел у стены рубки. Боцман угощал его белым хлебом и чаем из эмалированной кружки. При моём приближении денщик встал и, приняв привычно почтительную позу, щёлкнул шпорами, поднялся и матрос.

− Ну что, Филипп, понравилась тебе морская служба?

− Никак нет, господин поручик! Уж дюже опасная. Я бы с роду к ей не приобык, у нас в кавалерической лучше.

− А по мне, − пробасил улыбаясь боцман, − на море легшее! На лошади-то скорича голову сломить можно.

Ранним утром после бессонной и полной тревог ночи мы входили на рейд Трапезунда. Солнце ещё не всходило, но в воздухе уже стояла тяжёлая сырая духота − предвестница удушливой дневной жары. Трапезунд − древняя колония Понтийского Тавра − живописным амфитеатром спускался к круглой, как чашка, бухте. Восточные постройки с плоскими крышами и множеством галерей громоздились одна на другую вплоть до самой вершины гор, покрытых лесом. Склоны гор, улицы и все промежутки между отдельными домами утопали в роскошной полутропической растительности, над морем то там, то здесь поднимались высокие башни минаретов. Тихая, как зеркало, бухта была пуста, только у берега виднелись полузатопленные фелюги, да посередине застыл чёрный силуэт нашего миноносца.

Простившись с любезными хозяевами, мы сошли в шлюпку, которая через пять минут выгрузила нас на деревянной пристани. Город ещё спал, и кроме солдата-часового, небрежно разгуливавшего по набережной, не было видно ни одной живой души.

− Послушай-ка, земляк! Где бы нам тут подводу для вещей достать?

Солдат, туркестанский стрелок, уже тронутый разложением революции, не отдавая нам чести, опёрся на винтовку и, сдвинув на затылок фуражку, не спеша ответил:

–На что подводу? Вы покричите бана-бака, он вам вещи и отнесёт, а подводу здеся вы навряд найдёте.

«Бана-бак» − турецкое выражение, означающее «смотри сюда» и употребляемое, когда хотят позвать кого-нибудь. Этим словом солдаты в Турции окрестили всех носильщиков-турок. На наш тройной призыв «бана-бака» из тени кипарисов, растущих вдоль улицы, вынырнули двое носильщиков, которые, быстро разобрав вещи, взвалили их на спины не хуже знаменитых тифлисских *мушей* , и вслед за нами стали, широко расставляя ноги в ремённых лаптях, подниматься по крутому подъёму улицы.

На первых шагах всякого вновь приехавшего в Трапезунд поражает одна его характерная особенность. Повсюду между домами, в садах, на площадях − везде, где только имеется мало-мальски свободное место, оно плотно уставлено могильными плитами, стоящими по мусульманскому обычаю стоймя и покрытыми узорными арабскими надписями. Мёртвые здесь мирно сожительствуют с живыми к общему удовольствию. На каждом шагу среди домов более или менее современной постройки виднеются развалины, а то и совсем руины из почти чёрных камней, обросших мхом и, несомненно, очень древнего происхождения.

Поднявшись в город, мы оказались на широкой и очень пыльной площади, обсаженной густыми деревьями, до невозможности засорённой бумажками и подсолнечной шелухой. На деревьях, стенах домов и просто в пыли ветер трепал белые и красные афиши и плакаты, явно революционного происхождения. Около деревянной, с унылыми голыми стенами гостиницы «банабак» сгрузил свою лошадиную кладь и получил расчёт. Гостиница оказалась хотя и принадлежащей греку хозяину, но типично турецкой постройки, с деревянным балконом вокруг всего верхнего этажа и с плоской крышей. Грек отвёл нас в огромную пустую комнату, единственной обстановкой которой был стол и шедший вокруг стены сплошной не то ларь, не то деревянный диван. Окна выходили во внутренний маленький дворик, затенённый со всех сторон кипарисами и заполненный всё теми же надгробными плитами.

Напившись чаю и помывшись, мы вышли в город, но осмотреть его не пришлось, так как у этапного коменданта, к которому мы зашли, писарь сообщил, что автомобиль в Сюрменэ уходит через час. Из Трапезунда каждому из нас предстоял отдельный путь в разные стороны. Ченгери должен был ехать к месту своей службы по береговому шоссе, а я через горный перевал в Байбурт. Разлука наша была более чем своевременна, наши отношения становились с каждым днём всё тяжелее, и мы почти не разговаривали друг с другом. У него, хотя и с некоторым запозданием, начинало проявляться ко мне враждебное чувство. Сам я не чувствовал к Ченгери ни злобы, ни неприязни, как совершенно не считал себя перед ним и в чём-либо виноватым. Разлука наша поэтому была более чем прохладной.

Оставшись один в Трапезунде, я скоро убедился, что выбраться из него было не так легко. Сообщение с Байбуртом поддерживалось исключительно военными транспортами, перевозившими снабжение на молоканских арбах от этапа до этапа, когда же должен был отсюда отбыть очередной транспорт, было неизвестно. От нечего делать я занялся изучением города, тем более, что в Азиатскую Турцию попал впервые, и эта страна меня очень интересовала.

Надо отдать справедливость Трапезунду, в довоенное время, не будучи разорён и заплёван революционной солдатчиной, он представлял собой очень живописный, в чисто восточном вкусе город. Разделённый глубоким скалистым ущельем и рекой на две части, он стоит на горном плоскогорье среди богатой растительности. Чинары, платаны и тополя, представляющие обычную флору Закавказья, здесь уступают кипарисам − характерному дереву Азиатской Турции. Бывший до войны крупным торговым центром турецкого побережья, Трапезунд хорошо населён и даже теперь, после всех опустошений войны, кипел торговой деятельностью. Представителями торгового класса в нём были поголовно греки, сохранившиеся в городе в большом количестве, чего нельзя сказать о более глубокой малоазиатской провинции, где война почти уничтожила греческое население, политически ненадёжное с точки зрения турецких властей.

Гуляя вечером по городу, когда жара сменилась относительной прохладой, я видел, что бесчисленные кофейни и харчевни Трапезунда были переполнены смешанной публикой, т.е. русским военным элементом и туземными жителями. В городе стоял штаб Кавказского корпуса и многочисленные тыловые учреждения. Целые тучи мальчишек-турчат чистильщиков сапог отравляли всякое существование; они не только на каждом шагу предлагали свои услуги, не считаясь с состоянием ваших сапог, но преследовали вероятных клиентов толпами, ловили их за ноги, ложились поперёк дороги, пока не добивались своего.

Через десять шагов повторялось то же самое, и так без конца и отдыха.

К вечеру на площади в тучах пыли состоялся солдатский митинг. Из окна гостиницы была видна между деревьями серая толпа, над которой развевались красные знамёна. Филипп, ходивший туда из любопытства, с презрительной улыбкой рассказал, что ораторы здесь говорят то же самое, что в Тифлисе и Батуме, «товарищи по своей темноте кричат, а что правильно − сами не знают». После всего виденного и слышанного с начала революции он составил себе мнение, что «всё это не дело, а одна глупость и горланство». Пока что старый закал гвардейского солдата и сектанта не позволяли Филиппу поддаться революционной заразе, и он к новым порядкам относился с явным осуждением.

Жара, давившая город весь день, к ночи превратилась в тяжёлую сырую духоту, которая не позволяла заснуть. Выйдя из душной, звенящей комарами комнаты около полуночи в город, я был поражён невероятным количеством огромных жирных крыс, отправлявших все свои жизненные надобности прямо на улицах и в садах, не обращая внимания на людей. Крысы в Трапезунде являлись рассадником и распространителем чумы, свирепствовавшей в городе в течение 1916-17 годов. Чумной госпиталь, которым заведовали два брата доктора из жидов, был при этом чистой фикцией. Противочумных прививок не было, и вся борьба с эпидемией сводилась к тому, что больных и мёртвых санитары, одетые в просмолённые балахоны, каждое утро железными крючьями стаскивали в фургоны, из которых затем сваливали в заранее приготовленные ямы и сейчас же заливали извёсткой, не дожидаясь того, чтобы умирающие окончательно расстались с жизнью. Чумные крысы, с которыми начальство безуспешно старалось бороться, слонялись стаями по улицам и, издыхая, валялись в корчах повсюду. Толстые распухшие крысы, с налитыми кровью глазами были под ногами, на тротуарах, по карнизам и уступам, на могилах. Это апокалиптическое зрелище, надо признаться, было на редкость отвратительно.

Утром после проведённой без сна в кофейне ночи я встретил знакомого по Аббас-Туману прапорщика Гриневича, маленького полячка, претендовавшего без особенного успеха быть графом. Он служил здесь в автомобильной роте. С ним и его товарищами офицерами мы покатались по окрестностям и купались в порту. Автомобилисты считали, что война окончена, так как солдатская масса совершенно разложилась под влиянием революционной пропаганды, и на фронт никто больше идти не желает, несмотря на многочисленные митинги, на которых начальство пытается уговорить солдат продолжать войну. Солдатня поголовно исходит миролюбием и желает возвращения домой, причём тяга эта настолько сильна, что властям с нею уже не справиться. В гарнизонном собрании, куда я ходил обедать, пришлось убедиться, что разложение, к сожалению, коснулось не одних только солдат. Руководящую роль здесь захватили прапорщики военного времени, с огромными красными бантами на груди, демонстративно хамского вида, братающиеся с «товарищами солдатами». В собрании они громогласно и много говорили о завоеваниях революции и вели себя очень нагло в отношении старших офицеров. Кадрового офицерства почти не видно, оно умышленно держится в тени, отстранившись от всякой активной роли. Боевых офицеров также совсем не видно, по-видимому, они предпочитают фронт. Возможно, большинство офицеров в Трапезунде − представители разных тыловых и штабных учреждений. Особенно отвратительное впечатление производил малокультурный и полупьяный прапор, начинённый митинговой премудростью, пристававший ко всем в собрании. Больше всего от его наглости страдал пожилой капитан, которого этот хам во всеуслышание назвал «жандармом и врагом революции». Бедный капитан предпочитал не возражать и покинул незаметно собрание. На улице я видел этого наглого прапора в компании распоясанных солдат, с которыми, обнявшись, он горланил песни. Нудное моё пребывание в революционном Трапезунде окончилось только на пятый день. Когда утренний туман ещё скрывал верхушки гор, мы с Филиппом, сидя на молоканской арбе, покидали опоганенный и провонявший войной и революцией город.

Старая турецкая дорога из Трапезунда через перевал на Гюмиш-Ханэ в Байбурт после занятия этого района русскими войсками была превращена в хорошее шоссе.

Огромные молоканские подводы, запряжённые парой крепких закавказских лошадок, почти беспрерывным потоком ползли с пассажирами и кладью по горам и над пропастями на всём протяжении дороги между Трапезундом и Эрзерумом, т.е. поперёк всей территории, занятой русской армией.

Широкое горное ущелье, открывшееся перед нами, сразу после выезда из города по обоим своим склонам было испещрено зелёными квадратами кукурузных полей до самой границы лесов, частой щетиной покрывавших вершины гор. Большинство этих полей и разбросанных между ними хуторков под городом принадлежало грекам, уцелевшим вблизи крупных центров. Шоссе, видное здесь на протяжении десятка вёрст вперёд, узким серым червяком извивается среди зелени полей и лесов, поднимаясь бесконечными зигзагами к перевалу, пока не исчезает в облаках. От первой за городом станции Джевезлик, стоящей в ущелье перед подъёмом, дорога начинает подниматься к знаменитому перевалу Зигани-Кардули − высшей точке горного массива Понтийского Тавра. Хребет этот отделяет Трапезунд от Байбуртского горного плоскогорья. Перевал расположен на высоте шести километров, почему шоссе, извиваясь по склону, с каждым поворотом становится всё круче. Горный лес поразительной красоты, сперва лиственный, а затем хвойный, обступает шоссе с обеих сторон. За Джевезликом исчезают последние признаки человеческого жилья, и кругом только горы, лес и дикие пропасти такого мрачного вида и масштаба, что на них жутко смотреть. Чем выше поднимается дорога, тем мрачнее и более дикой становится природа, напоминая собой скорее оперную декорацию, чем действительность. У границ хвойного леса пришлось надеть шубы, так как, несмотря на жару внизу, здесь стоял собачий холод. Ещё час подъёма, и арба наша начинает ползти среди альпийских пастбищ в густом мокром тумане облаков. Кругом, насколько глаз хватает, − пропасти, дна которых уже не видно в синеватом тумане, лишь кое-где далеко-далеко внизу виднеются вершины одиноких сосен, чудом держащихся по обрывам. Там же внизу чуть видны распластанные в воздухе чёрточки горных орлов, не рискующих забираться выше.

Ещё полчаса, и в ложбинах по бокам дороги появляются снежные пятна. Леса и пропасти внизу затянулись сплошным туманом, из которого поднимаются лишь кое-где покрытые снегом вершины. За километр от перевала нас встретила снежная метель, и мы с Филиппом порядком продрогли, несмотря на полушубки и бурки. Среди метели и холода мы через пять часов после выезда из Трапезунда подъехали к этапной станции перевала. Здания этапа помещались на голой вершине среди постоянной метели и разреженного воздуха, которым трудно было дышать и от которого стучало в висках. Это было самое мрачное место, которое мне пришлось видеть в жизни. К ужасу своему я узнал, что на Зигани-Кардули, кроме этапного пункта, помещался специальный госпиталь, деревянные бараки которого чуть виднелись среди окружавшей нас мокрети. Возле бараков жались закутанные в шубы и шали сёстры милосердия. Сюда посылались на излечение с фронта заболевшие от жары и получившие солнечные удары. Здесь будто бы они скоро поправлялись и выздоравливали в холодном и разреженном воздухе. Зимой через перевал пути нет из-за непролазных заносов, и сообщение между Трапезундом и Байбуртом прекращается на три-четыре месяца в году. Ночевать в этом неуютном месте было холодно, от затруднительности дыхания болела голова. На рассвете мы с удовольствием покинули перевал, о котором потом оба вспоминали с жутью. Спуск готовил нам новые сюрпризы.

Шоссе от Зигани-Кардули стало спускаться вниз так круто и стремительно, что молоканские коняки принуждены были спасаться чуть не в карьер, чтобы унести ноги от налезавшей им на хвост тяжёлой и длинной телеги, нагруженной нашими пожитками. На крутых поворотах, а они были здесь все крутые, хомуты налезали на уши дрожащим и мокрым от пота лошадям, и дышло каждый раз угрожающе повисало с обрыва над синим туманом пропасти. Лошадёнки, чтобы не слететь вниз с подводой, тогда садились на зады, отчаянным усилием упираясь передними ногами в последние вершки дороги, ямщик ложился навзничь в телеге, натянув изо всех сил вожжи, а мы с Филиппом спускали ноги с воза, готовясь предательски покинуть возницу, имущество и лошадей в случае катастрофы.

А катастрофа эта могла наступить каждую минуту, и в этом не могли сомневаться ни мы, ни возчик-молоканин из Карса, всю дорогу молившийся богу. Сначала на наши тревожные вопросы он отвечал малоутешительной фразой: «Никто, как бог». Затем, видимо, сам ослабев духом, он попросил нас слезть с воза «от греха». Филипп последовал этому совету с непривычной его годам резвостью, не задержался на телеге и я. Едва мы сошли на землю и пошли рядком по дороге, как арба, обогнав нас, загрохотала вниз по шоссе. Грохот её жутко замолкал на полминуты на каждом повороте.

Только через полчаса хорошего хода под гору мы нагнали своего возчика. Он ждал нас на горной площадке, уперев дышлом в отвесную гору для верности свою пару потных и ещё дрожавших от напряжения коняк. Мы сели закусить и перевести дух около него, и возчик, потный, красный и злой, рассказал нам о многочисленных дорожных катастрофах, случающихся здесь ежедневно.

− Скильки тут коняк загублено! Скильки справы, так и сказать вам не хочу! − закончил он, горестно махнув рукой.

Причины катастроф понятны и всегда одни и те же: слишком узкая и крутая дорога, на которой не всегда могут повернуть вовремя длинные и тяжело нагруженные телеги. Такая подвода, сорвавшись с обрыва на крутом повороте, летит вместе с лошадьми и грузом в пропасть и погибает безвозвратно, возчики и случайные пассажиры в большинстве случаев успевают соскочить.

Спустившись ниже, мы воочию убедились в достоверности этих рассказов. На обрывах и скалах над нами, на недосягаемой сверху и снизу высоте виднелись то там, то здесь обломки телег, колёса, трупы и кости погибших лошадей. Последнее падение случилось накануне: пара лошадей с фургоном сорвались с обрыва высотой в 80 сажен. Телега, груз и одна из лошадей не долетели вниз, застряв по дороге где-то между скалами, и только вторая лошадёнка имела несчастье живой долететь до дна и упасть на дорогу. Она даже пыталась после этого подняться на ноги, но сейчас же, жалобно заржав, повалилась мёртвой. Этот спуск с перевала даже на меня, привыкшего к горным дорогам, произвёл впечатление, Филипп же из-за него дошёл до полуобморочного состояния и под конец только вздыхал и закрывал по-птичьи глаза, отвёртываясь от грозных пропастей. Где же бедному хохлу, привыкшему к мирной глади своих екатеринославских степей, было переносить все эти горные ужасы.

Спуск с перевала Зигани-Хардули в ущелье Гюмиш-Ханэ был ещё более лесист, чем подъём. Сравнительно узкое ущелье, на дне которого расположено селение Гюмиш-Ханэ, всё заросло прекрасным сосновым лесом − могучий, царственный вид. Всё дышит здесь несокрушимой и неистощимой силой совершенно неприкосновенного лесного царства.

От Гюмиш-Ханэ, являющегося крупным административным центром Турецкой Армении, горные дороги ведут на фронт, находившийся в это время в районе села Калкита, занятого частями 2-го Туркестанского корпуса. Подвоз припасов сюда был крайне затруднителен из-за полного отсутствия дорог, и потому военно-транспортное ведомство, применяясь к местной обстановке, создало в этих местах так называемые горно-ослиные транспорты из сотен и тысяч закавказских осликов, сильных и выносливых, привычных к карабканью по горным тропам и скалам. В Гюмиш-Ханэ я впервые увидел работу этих кротких и выносливых созданий, которые, тяжело нагруженные вьюками, карабкались по поднебесным высотам, бодро перебирая тонкими ножками.

Снабжение этого района фронта было далеко не достаточно, и в войсках от недостатка свежего мяса и зелени свирепствовала цинга. Главным продуктом питания войск были здесь консервы и знаменитая на кавказском фронте интендантская колбаса, до такой степени твёрдая и закаменелая, что для того, чтобы разгрызть, её надо было долго разваривать в кипятке. Куском такой колбасы один солдат на кавказском фронте убил другого в ссоре, ударив по голове.

За Гюмиш-Ханэ на пути к Байбурту окрестности принимают тот неприветливый

вид жёлтых скал и голых гор, который так характерен для всего района Турецкой Армении. До следующего этапа мы добрались только к вечеру, совершенно оголодав. Не помню теперь название этого турецкого местечка, расположенного на берегу реки в широкой горной долине, но до сих пор не забыл обед, которым нас там угостили. В этот день на этапе резали скотину, и нам дали не только великолепные щи со свежей говядиной, но и целое блюдо жареных потрохов, которые с голодухи показались мне необыкновенным яством. Вместо чая солдат, прислуживающий при «офицерской столовой», принёс нам огромную аптекарскую банку с нарзаном. Оказалось, что рядом с этапом имеются минеральные источники с газированной водой, очень похожей по запаху и вкусу на кавказский нарзан. Такие же источники я впоследствии встречал в большом количестве и вокруг Байбурта. Среди них, безусловно, были и серные, так как лезвие шашки, опущенное в их воду, через пять минут темнело, что, несомненно, свидетельствовало о присутствии в них примесей серы. Нечего и говорить, что никто в те времена этими источниками не интересовался, да и кто из учёных специалистов бывал до войны в этих диких местах. После войны Турецкая Армения, очень пострадавшая и опустошённая военными действиями, лишившись большинства населения, подверглась сильным землетрясениям и окончательно задичала.

Между Трапезундом и Байбуртом насчитывалось около десятка этапных станций, по внутреннему своему устройству очень похожих друг на друга. Этапный пункт обыкновенно помещался в каком-нибудь селении на дороге и представлял собой один или несколько двухэтажных домиков типичного для этих мест вида. Нижний глинобитный этаж дома служил сараем или конюшней, верхний же деревянный с галерейкой вокруг − жильём. Здесь на этапах помещалась квартира коменданта, его канцелярия и помещение для проезжих офицеров − две-три комнаты, из них одна − для генералов и штаб-офицеров. Воинская команда, составлявшая гарнизон, была различной в зависимости от значительности этапа, от полуроты до двух рот. Служба этапов относилась к ведению этапно-транспортного отдела армии, и части, её обслуживавшие, назывались этапными батальонами.

Обязательной и неизбежной принадлежностью этапных помещений на всех без исключения трактах Азиатской Турции и Закавказья были ужасные клопы, величины и свирепости совершенно необычайной. Звери эти водились в изобилии не только в кроватях «офицерских комнат», но и в деревянных потолках, откуда они, как львы, бросались прямо на спящих, не давая себе труда спуститься по стене. Клопы, ужасные турецкие клопы, были самым неприятным воспоминанием, вывезенным мною из путешествий по Турции. Они не боялись ни огня, ни света, ни керосина, ни гибели себе подобных сотнями в одну ночь. Из-за этой казни египетской все передвижения по Турции были чрезвычайно утомительны, так как за тяжёлым и утомительным дневным переездом по невероятным дорогам путника неизменно ожидала бессонная ночь, которую он проводил в бою с клопами.

Миновав последний этап перед Байбуртом, мы ехали по голому и бесплодному каменистому плоскогорью, очень напоминающему по своему виду окрестности Карса или Саракамыша. Только на третьи сутки после выезда из Трапезунда к вечеру, сидя на военной двуколке, мы с Филиппом въезжали в Байбурт − конечный пункт и цель нашего путешествия. Город, расположенный в горной котловине по обеим сторонам реки Чороха, весной 1917 года представлял собой на три четверти одни развалины. Окружённый голыми жёлто-серыми горами, он имел дикий и унылый вид из-за отсутствия зелени. Будучи два года тому назад ареной жестоких боев, Байбурт сильно пострадал от артиллерийского огня и, наполовину покинутый жителями, представлял собой почти мёртвый город, если бы не большой гарнизон, стоявший здесь, который придавал ему известное оживление. До войны Байбурт был значительным городом и являлся одним из административных пунктов Эрзерумского вилайета. Над городом на скале виднелись развалины старой турецкой крепости, когда-то над ним господствовавшей.

Военные двуколки, обозы, казаки конные и пешие, солдаты и офицеры, встречающиеся нам на пути, едва мы только въехали в город, смотрели на нас с удивлением и любопытством. Таким же любопытным взглядом окинули нас на мосту через Чорох и двое

встречных: маленький седой генерал с жёлтыми лампасами и высокий пехотный поручик со значком Училища правоведения. Оба они с интересом посмотрели на мои погоны, считая странным здесь присутствие кавалерийского офицера. У этапного коменданта, где мы остановились на ночёвку, я нашёл приехавшего до меня пожилого офицера с погонами ротмистра «по армейской кавалерии». Это было несколько странно в середине 1917 года, так как по военному времени чин не соответствовал его возрасту. Разговорившись за вечерним чаем я, к своему удивлению, узнал, что мой случайный сожитель по «офицерской комнате» никто иной, как известный в кавалерии ротмистр фон Браткэ, знаменитый по той истории, героем которой он был в старые годы и о которой в моё время было столько толков среди молодёжи. История эта настолько характерна для военной среды прежнего времени, что я считаю нужным о ней упомянуть.

В последние годы прошлого века в городе Проскуров Подольской губернии стоял, как и в моё время, 12-й уланский Белгородский полк, в котором служил некий корнет по имени Голиаф. Корнет этот, как это часто бывало в старину, любил выпить и в пьяном виде был буйного нрава. В день описываемой истории, проходя по улице пьяным, он был не то задет евреем, не то задел его сам. Желая ударить этого еврея, Голиаф поскользнулся и упал. Упавшего окружили евреи и, не то нечаянно, не то нарочно, сорвали с него погоны. Случайно эту сцену видел проходивший мимо вахмистр, который немедленно бросился в офицерское собрание и доложил о происшедшем находившимся там офицерам. По понятиям об офицерской чести оскорбление, нанесённое евреями Голиафу, касалось всего полка, и офицеры решили тут же ответить на такое неслыханное оскорбление самой жестокой местью. Вызванный из казарм по боевой тревоге дежурный эскадрон через полчаса зажёг еврейский квартал и начал безжалостно пороть евреев. Еврея-мельника, у которого в доме нашли погоны Голиафа, запороли насмерть, пострадали и другие. Вызванный для прекращения погрома из соседнего Меджибужья эскадрон ахтырских гусар присоединился к своим однодивизникам, возмущённый неслыханной наглостью евреев. Погром стих только к вечеру, когда были отысканы и отобраны сорванные с корнета погоны и уланский этишкет.

Следствие и последовавший за ним военный суд установил причастие к этому делу шести офицеров во главе со штабс-ротмистром фон Браткэ. Все они были разжалованы в солдаты императором Александром Третьим. Больше десяти лет фон Браткэ прослужил нижним чином в Нижегородском драгунском полку, и только по ходатайству императора Вильгельма − шефа белгородских улан − он снова был произведён в офицеры. Этим обстоятельством и объяснялось, что, имея больше 50 лет от роду, и после четырёх лет войны Браткэ был всего лишь ротмистром.

Мы провели с ним весь вечер в разговорах о прошлом, и я с удовольствием слушал его интересные рассказы о старом кавалерийском быте. По рассказам Браткэ, пребывание его солдатом в нижегородцах было для него не очень трудно, так как все знали его историю и то, что, в сущности, он пострадал, защищая полковую честь. Явившись после разжалования в Нижегородский полк, где он должен был начать службу рядовым драгуном, фон Браткэ прежде всего представился эскадронному вахмистру, старому служаке, ветерану турецкой кампании. Вахмистр, окинув его опытным взглядом, сразу понял, с кем имеет дело:

− Вы из разжалованных, как я понимаю?

− Так точно!

− За что?

− За проскуровскую историю, быть может, слышали?

− Ещё бы, ещё бы, слышал, сочувствую и одобряю, − протянул руку вахмистр и тут же пригласил к себе вспрыснуть прибытие в полк.

Теперь славный в анналах кавалерии ротмистр фон Браткэ оказался в далёком Байбурте потому, что был здесь проездом по делам службы, так как командовал в соседнем Испире конным отрядом. Утром, одевшись в служебную форму, я отправился к месту своей новой службы являться по начальству. Управление Байбуртским округом помещалось в большом деревянном доме чисто турецкой постройки, со множеством бесполезных лестниц,

переходов и тупичков. Начальником округа оказался тот самый маленький генерал на жёлтой подкладке, которого мы встретили на мосту, въезжая в город. Звали его генерал-лейтенант Левенгоф, был он бывший гвардеец, конный гренадер, милый, воспитанный старик и рыцарь. Он вышел в отставку, будучи командиром казачьего Забайкальского полка и потому носил его мундир. Вчерашний спутник генерала был тоже мой новый сослуживец поручик Юрий Владимирович Голенищев-Кутузов − призванный на службу из запаса правовед. Кроме них, в управлении был ещё и третий офицер − поручик грузин Рчеулов. Остальные сослуживцы по округу являлись военными чиновниками всех рангов и калибров.

Кроме управления округа, в Байбурте было много других тыловых учреждений и большой гарнизон, в числе которого состоял третьеочередной Горско-Моздокский полк Терского казачьего войска. Изобилие тыловых частей и обозов объяснялось тем, что фронт проходил всего в 12 верстах от Байбурта. Орудийные выстрелы были слышны постоянно, а ночью, когда затихал дневной шум, доносилась и ружейная стрельба. Гарнизон, в котором преобладала всякая тыловая сволочь в лице писарей, каптенармусов, обозных, телеграфистов и фельдшеров, был очень беспокойный и распущенный. На нём сильно отразились революционные события. Революционированию солдат здесь ещё способствовало и то обстоятельство, что в окрестностях Байбурта находилась масса всякого рода лазаретов, питательных пунктов и прочих учреждений: Союза городов, земства и Красного Креста, − переполненных скрывающимися от фронта евреями и интеллигенцией, оппозиционно настроенными как к старому режиму, так и вообще ко всякому начальству. На Кавказском фронте почему-то этот элемент поголовно состоял из иудеев самого наглого и вызывающего вида. Все эти носатые молодые люди, занимавшие должности уполномоченных, заведующих хозяйством, врачей и фельдшеров, носили военную форму, утрируя её до последней степени и отступая от закона, чтобы сделать себя и свои погоны похожими на офицерские. Помимо военной формы, вся эта публика обязательно носила шашки, полевые сумки, револьверы, бинокли, свистки и т.п. Будучи одетыми как военнослужащие, господа эти не только о военной, но и вообще о какой бы то ни было службе не имели никакого понятия, из-за чего с ними постоянно происходили не совсем приятные приключения. Помнится, однажды в одну из моих поездок с фронта в Киев в магазин офицерских вещей со мной увязался ветеринарный врач. Этот бедный «лошадиный клистир», как его называли в полку, не имел никакого понятия о форме военной одежды и потому долго носил шашку без темляка, пока не получил замечания от начальства. За этим темляком он и пошёл со мной в магазин. Приказчик выложил перед ним коробку, в которой лежали как простые чёрные, так и анненские и георгиевские темляки. Окинув взглядом коробку, ветеринар, не задумываясь, попросил ему дать георгиевский, или, как он выразился, «вот этот, рябенький», который ему приглянулся больше других. В другой раз я видел в тифлисском театре уполномоченного Союза городов, который не только сам был одет во всё защитное, но зашил в защитную материю шашку вместе с эфесом и даже свисток. Над всеми этими глубоко штатскими людьми, надевшими на себя вычурные формы, в армии и обществе много смеялись, дав им кличку «земгусаров».

Военный элемент настолько заполонил Байбурт в качестве завоёванного города, что своим бесцеремонным бытием совсем затёр местных жителей турок, оттеснив их в качестве покорённого народа куда-то совсем на задворки и окраины. Малолюдность туземного населения объяснялась, кроме того, ещё и тем, что вследствие распоряжений начальства из прифронтовой полосы, в которую входил Байбурт, все мужчины мусульмане, т.е. турки и курды от 18 до 43 лет, были выселены на Кавказ, женщины же вследствие обычая сидели по домам, резонно не желая служить предметом солдатского любопытства. Властей в городе было изобилие, как военного происхождения, так и ещё более революционного, отчего, конечно, порядка в городе не было по поговорке, что у семи нянек дитя ходит всегда без глаза. Кроме коменданта, начальника гарнизона и начальника города, в Байбурте существовал совет солдатских депутатов и его исполнительный комитет во главе с

доктором-большевиком Розановым и солдатом-иудеем Рубинштейном. Так как функции и область деятельности между властями разграничены не были, а слушаться их мало кто слушался, то «статус-кво» держалось больше потому, что солдатня, сознавая свою полную отрезанность от России за дальностью расстояния и находясь в чуждой стране среди враждебного населения, инстинктивно жалась как друг к другу, так и к своему русскому начальству. Это обстоятельство, в связи с трудностью сообщения с Россией и отсутствием агитаторов, способствовало тому, что до самого оставления фронта Кавказской армией в январе-феврале 1918 года большевизм в ней не имел успеха, как на других фронтах.

Развал, хотя и не так быстро, как в других местах, шёл и в управлении округа я застал по приезде уже открытую борьбу между офицерами и демократическим элементом в лице чиновников военного времени. Революционные тенденции, а вместе с тем и оппозицию начальству, возглавлял здесь маленький чинуша-грузин Махароболидзе, к месту и ещё более не к месту манифестировавший свою «преданность революции» и ненависть к «старому режиму».

На первом же собрании «чинов округа» по хозяйственному вопросу он ни к селу ни к городу предложил вынести «резолюцию порицания проклятому царскому режиму». Мы с Кутузовым возмутились и категорически отказались от ослиного лягания того, чему так недавно служили. На этой почве произошёл резкий конфликт между офицерами и чиновниками, спровоцированный Махароболидзе, после которого обе группы стали в очень острые отношения. Разрешился этот конфликт скоро и очень неожиданно.

Через месяц с почтой из Тифлиса прибыла официальная бумага из генерал-губернаторства об отозвании из управления округа и отправке на фронт всех лиц, служивших при царском правительстве в полиции и жандармерии. Таковых, согласно той же бумаге, у нас оказалось трое и в их числе Махароболидзе. Ларчик, как оказалось, открывался очень просто: хитрый грузин, служивший до революции где-то приставом, своим ультрареволюционным поведением просто замётывал следы своего прошлого, и вся его «краснота» была ничто иное, как защитная окраска. С отъездом Махароболидзе и до самого последнего дня существования управления Байбуртского округа отношения между всеми чинами управления не оставляли желать лучшего, несмотря на то, что много бед свалилось на нас в Байбурте за время прошумевших над нашими головами революционных бурь. Эффекты революции в Байбурте начались после моего приезда с того, что из каких-то таинственных источников руководителям Совета солдатских депутатов стало известно, что генерал Левенгоф, в бытность свою командиром казачьего полка, усмирял в 1906 году во Владивостоке матросское восстание, что ему теперь ставилось как преступление перед революцией. Какая-то «провинность» того же порядка числилась и за командиром Горско-Моздокского полка. Оба они после своего «разоблачения» принуждены были сидеть по домам, не показываясь на улицах, так как на всех митингах по нескольку раз в день всевозможные « oратели» призывали «массы» к аресту генерала и полковника и к передаче их «революционному суду». Маленький наш генерал, чистенький, вежливый и всегда спокойный, стоически переносил все эти не заслуженные им напасти. Мы с Кутузовым со своей стороны оказывали старику, как только могли, своё внимание, не оставляя его одного ни на одну минуту. Старик с большим юмором рассказывал нам о прошлом и поучал практической жизни. По молодости лет и по задорности характера я было упёрся и не захотел присягать Временному правительству, но генерал ласково, но убедительно доказал, что это мальчишество: не мне, безусому птенцу, топорщиться в этом вопросе, так как присягу эту дали по желанию государя люди постарше и поумнее меня. Он сам отвёл меня в церковь и привёл к присяге.

Александр Порфирьевич Левенгоф перед войной был уже в отставке и жил в Нормандии, откуда была родом его жена-француженка. О Франции он нам очень много и интересно рассказывал. Ему я был обязан добрыми советами и указаниями в жизни, они удержали меня от многих неразумных и опасных поступков, которые по молодости лет мы с Кутузовым могли наделать в первые сумбурные месяцы ненавистной революции. Он нас

уговорил принять революцию как совершившийся факт и не рыпаться там, где мы бессильны. Однажды он спас меня от впадения и в противоположную крайность, всех последствий которой я сначала не сообразил. Как известно, в первые месяцы революции во всех частях армии были произведены выборы в советы и комитеты. Наше управление, состоявшее исключительно из офицеров и чиновников, подчиняясь приказу свыше, также произвело выборы в Совет генерал-губернаторства областей Турции, причём избрали делегатом округа меня. Польщённый сдуру этим выбором, я уже собрался было ехать в Тифлис, когда генерал вызвал меня к себе и доказал всё неприличие для кадрового офицера, дворянина и монархиста заседать рядом с солдатами-большевиками.

Настроение в гарнизоне тем временем становилось всё более тревожным, так как агитаторы всё больше накаляли солдат против генерала. Дошло дело до того, что в интересах безопасности мы начали с Кутузовым сами просить Левенгофа плюнуть на всё и уехать к жене в Тифлис, всё равно, дескать, мы все сидели без дела, так как нам не слали из Тифлиса солдат, без которых невозможно было организовать работу на местах. Генерал долго упирался, но под влиянием казачьего командира, который уже сидел арестованный домашним арестом, решил уехать от греха из Байбурта.

Накануне отъезда он по-отечески утешал меня по поводу плохих вестей, пришедших из дому. Папу моего в первые дни революции арестовали в Щиграх и посадили в тюрьму как «сторонника старого режима», и о судьбе его я тревожился, не имея из дому вестей несколько месяцев подряд. Письма из России доходили плохо.

На другой день оба наших «без вины виноватых» покинули Байбурт нелегально на двух грузовых автомобилях под охраной казачьих офицеров. Прошло около двух недель со дня их отъезда, но несмотря на это, мы с Кутузовым не получали от генерала условленного письма о благополучном прибытии в Трапезунд. Вместо него в Байбурт пришли сначала глухие вести, а затем и подробности о постигшей генерала Левенгофа в дороге катастрофе. Как оказалось, грузовик, на котором ехал Александр Порфирьевич с казачьим полковником и двумя офицерами, поднимался на перевал Зигани-Хардули, когда вследствие горного обвала кусок скалы, упавший сверху, ударил по передним колёсам машины. От сильного толчка шофёр выпустил руль управления, и огромный грузовик с пассажирами и поклажей полетел в пропасть, глубиной, как говорили, до ста саженей. Находившимся на второй машине офицерам понадобилось три часа, чтобы спуститься на дно ущелья для розыска погибших. Разыскивать, однако, было уже нечего. В горной речке, бежавшей по дну пропасти, валялась исковерканная железная рама шасси автомобиля, в которой застрял труп шофера, проткнутый, как муха на булавке, рулевым стержнем. Остальных погибших не нашли ни живыми, ни мёртвыми, их трупы или застряли где-нибудь по пути падения, или были унесены рекой. Наш бедный маленький генерал, уцелевший на трёх войнах, нашёл свою бескрестную могилу нелепо и бессмысленно в диких ущельях турецких гор…

Вскоре после смерти Левенгофа покинул Байбурт и Юра Кутузов, с которым мы успели крепко подружиться и часто проводили вечера, лёжа на плоской крыше, вспоминая прошлое и обсуждая настоящее. Он также стал жертвой административного восторга новой власти, которая решила отправить на фронт, с которого бежали сознательные солдаты, всех офицеров, не причисленных к категории раненых. Мера эта была в то время совершенно бессмысленной, так как война уже кончалась и русская армия была побеждена не врагами, а собственной революцией. Юра на фронт не поехал, а устроился в Тифлисе в комендантском управлении. Впоследствии, как я слышал, он умер в 1920 году в Константинополе, но я уже больше его никогда не встречал.

Кутузова очень любил, и совершенно обоснованно, бывший его командир полка генерал Термэн, впоследствии ставший начальником штаба нашего губернаторства. В августе 1937 года в Египте я прочёл в газетах о смерти генерала Термэна на Балканах. Революцию 1917 года, помнится, он было принял с искренним сочувствием, как, наверное, очень немногие генералы. Он был родом из французов, и это, вероятно, и объясняло некоторую красноту покойного.

Скоро, уж не знаю, мытьём или катаньем, но местному начальству удалось сплавить из Байбурта большевистских лидеров в лице доктора Розанова и земгусара Коростелёва. После их отъезда, не имея почти никаких вестей из России, солдатня стала быстро терять вкус к митингам и речам своих доморощенных ораторов. Большинство занялось более интересующими их личными делами, и жизнь гарнизона вошла в нормальную колею. Каждый понимал, что война кончена, и вопрос о возвращении домой – дело ближайшего будущего. Этой общей апатией солдат воспользовались серьёзные элементы и офицеры, которые постепенно провели новые выборы в гарнизонный совет и исполнительный комитет, в него попали многие офицеры и старые солидные солдаты. Меня наше управление опять выбрало своим депутатом в гарнизонный совет, откуда я попал в исполнительный комитет и в товарищи председателя. Его председателем был избран для соблюдения революционных *конвенансов* солдат-артиллерист запаса, старший унтер-офицер Прокудин. Это был очень умный и хитрый тамбовский мужик, именовавший себя из уступки духу времени правым эсером и умевший складно сказать речь, приятную для солдатского уха. По существу же он был дельный и хороший человек, уважавший порядок и дисциплину и впоследствии служивший фельдфебелем в одном из полков Добровольческой армии. Как уроженец Моршанского уезда, он хорошо знал моего деда Николая Львовича, тамошнего крупного помещика и члена Государственной думы от Тамбовской губернии, почему симпатизировал и мне лично.

Исполнительный комитет в новом составе стал опорой порядка в гарнизоне и, действуя в полном контакте с военным начальством, поддерживал его было пошатнувшийся авторитет и дисциплину. Главный упор нашей деятельности мы перенесли на улаживание всяких нежелательных конфликтов и на культурно-просветительные затеи, дабы отвлечь солдат от «углубления революции». С этой целью мы создали недурной гарнизонный театр, где работала заезжая труппа актёров, клуб, библиотеку, кооперацию и гуляния. Последние большевистские агитаторы, ещё остававшиеся в Байбурте, после этого поспешили покинуть город, где, по их словам, гарнизон попал, «как бараны, в руки офицерской лавочки». Помнится, что своим отъездом Коростелёв, впоследствии сыгравший крупную роль в большевистском правительстве, попал под перекрёстный огонь на митинге, хотя и отгрызался довольно удачно и не без находчивости. В ответ на то, что я ему напомнил о его сотрудничестве в «Русском слове» до переворота, он возразил, что перемена политических взглядов вещь самая естественная, как естественно то, что человек, раз попавший ногой в лужу, не захочет и не должен залезать в неё опять.

В это время самой правой партией, существовавшей легально, была кадетская, к ней я и примкнул для соблюдения политических приличий, дабы иметь право вести антиреволюционную и антисоциалистическую работу. Надо сказать правду, нам удалось благодаря всем этим мерам до самого конца Кавказского фронта удержать гарнизон от развала и большевизма. Успехи байбуртского театра были известны далеко кругом, почему к нам однажды даже заехала студия Художественного театра во главе с Москвиным, разъезжавшая по фронту.

В одной из больших турецких кофеен и примыкающем к ней саду мы устроили нечто вроде чайной и ресторана, где по невысоким ценам продавались военным чинам еда, чай, кофе и даже печенья. Кафе это первое время охотно посещалось солдатами. Последние старались вести себя тихо и прилично, пока уже по собственной инициативе в садах вдоль Чороха солдатня не учредила для себя карточные клубы, в которых круглые сутки шла азартная игра, из-за которой были забыты все революции и резолюции. Словом, искусственно и естественно были созданы громоотводы, которые вместе с нашей полной отрезанностью от бурлившей в революции России внесли желанный покой в жизнь гарнизона.

За почти годовое пребывание в Байбурте я помню только единственное революционное выступление гарнизона. Случилось это по поводу годовщины «жертв революции». Жертвы эти были чисто местного происхождения, а именно, расстрелянные

незадолго до революции взбунтовавшиеся в Байбурте в 1916 году казаки-пластуны. Революция здесь была ровно ни при чём, так как пластуны бунтовали, не желая идти в наступление, но за неимением лучшего и они попали после переворота в народные герои. На месте расстрела, имевшего место за городом в марте 1917 года, казнённым был поставлен неуклюжий памятник с надписью: «Последним жертвам царского режима». К этому-то памятнику и было организовано торжественное шествие на предмет панихиды и произнесения соответствующих моменту речей.

В первых рядах толпы, нёсшей красные флаги и певшей «Вы жертвою пали», шёл этапный комендант капитан Иванов, командовавший взводом при расстреле и чувствовавший себя не совсем ловко по этому поводу. Надо отдать справедливость солдатам, никому из них и в голову не приходило поставить это в вину капитану, так как все они хорошо понимали, что в старое время «против приказа ничего не поделаешь». Церемония прошла довольно вяло, и, за исключением того момента, когда толпа стройно запела «Марсельезу», никакого революционного подъёма не было. Вообще, как я заметил, изо всех стихийных сил, которыми располагает толпа, чтобы захватить в своё движение личность и покорить её своему настроению, звук едва ли не самая властная из них.

По возвращении с этих поминок не знавший, куда девать руки и ноги, Иванов пытался было выразить мне своё сожаление по поводу того «тяжёлого дела», в котором ему год назад пришлось принять участие против воли. Зная меня в качестве члена исполкома, он считал меня за революционного поручика, каких в то время развелось немало. В ответ я выразил сожаление, что нам с ним приходится принимать участие в дурацкой церемонии поминок по людям, которые получили то, что заслужили. Мои слова до того поразили бедного капитана, что он даже остановился на шоссе, открыв рот.

Деятельность наша по управлению округом налаживалась туго. Главным препятствием к открытию нашей военно-административной деятельности было то, что налицо имелись все начальники участков и все «чины», за исключением полагавшихся по штату нижних чинов. Штаты генерал-губернаторства составлялись до революции и определяли каждому из начальников участка по 25 человек «конных стражников». После революции конная стража, как и все виды полиции, перестали существовать и были заменены на бумаге «милицией», которой не хватало даже в крупных центрах, уж не говоря о таких забытых богом и людьми углах, как наш округ. А между тем, не имея вооружённой воинской силы, нечего было и думать наладить хоть какой-нибудь порядок в дикой и горной местности, населённой разноплемённым и враждующим друг с другом населением. В округе шли беспрерывные разбои и резня между курдами, турками и армянами, почему даже выехать в свои участки мы не могли без вооружённой охраны. Организация гражданской власти и порядка в округе была совершенно необходима, так как вне Байбурта и двух-трёх других селений, где имелись русские гарнизоны, власти не было никакой, и жизнь и имущество жителей подвергались воле случая.

Район Байбуртского округа, как и весь бывший Эрзерумский вилайет, целиком входил в состав Турецкой Армении, в которой армяне, здесь живущие, жестоко пострадали от турецких зверств в своё время. Теперь с приходом русских войск, под защитой которых они находились, и пользуясь почти полным отсутствием мужчин-мусульман, способных к сопротивлению, армяне принялись за сведение старых счётов со своими бывшими притеснителями, грабя турецкие селения и убивая стариков, женщин и детей. В Управление округа ежедневно поступали жалобы от населения о грабежах и убийствах, мы же ничего не были в состоянии сделать, кроме просьб в Тифлис о присылке воинской силы. Вся деятельность Управления округа пока что сводилась к получению и подшивке к делам бумаг от этапных комендантов и старшин турецких селений о притеснениях и обидах, чинимых населению со всех сторон. Между тем, Тифлису, центру всего Кавказа, армии и огромного тыла, было не до нас и наших просьб, там «делали революцию» и шла борьба за власть, делилось достояние России между выраставшими, как грибы после дождя, «национальными правительствами» новых республик (Грузии, Армении и Азербайджана).

Генерал-губернаторство наше, вместо присылки людей и оружия, в чём округ так нуждался, занималось самоорганизацией и приспособлением к новым политическим условиям жизни. Все лица, имевшие административный и полицейский стаж, т.е. именно те, которые были необходимы для организации военно-народного управления в завоёванных областях, были уволены и отчислены в заштат как сторонники прежнего режима. Их место заняли или мальчишки без всякого опыта и стажа, или особы с революционными заслугами, т.е. способные создать анархию, а никак не порядок. Генерал-губернатор Романько был уволен, а на его место назначен, неизвестно почему, генерал Артамонов со званием «генерал-комиссара Турецкой Армении». Мы все, т.е. более мелкая сошка в лице начальников округов и участков, также получили звание «комиссаров». На место покойного Левенгофа комиссаром Байбуртского округа прибыл к нам старый пехотный капитан Лопухин, давно зачисленный в полные инвалиды во всех медицинских комиссиях. Он, хотя и не имел заслуг перед революцией, но зато не имел их и перед старым режимом.

Лопухин оказался очень милым и добрым человеком, но, к сожалению, от пережитых на войне и в революции впечатлений стал совершенно ненормальным. У него была самая неудобная из всех маний в это тревожное время, а именно мания преследования. Выражалась она в том, что его преследовали не люди, к которым капитан относился с неизменной благожелательностью, а духи. Днём эти духи отсутствовали по своим делам, но зато с наступлением сумерек совершенно отравляли существование бедного «капитан-комиссара». Рабочие сутки нашего начальника, таким образом, делились в управлении округа на две части: дённую, когда комиссар округа являлся бесполезным и тихим старцем, и ночную, когда ему была необходима неотлучная нянька, иначе духи его загоняли «в доску». В дни, когда окружное управление тихо бездействовало под начальством душевнобольного, мне только что исполнилось от роду 24 года, я был полон сил и энергии и горел жаждой деятельности, а потому это ничегонеделание целой кучи людей, получавших крупное содержание, меня не только бесило, но и выводило из себя.

Потеряв всякую веру в пользу переписки с Тифлисом, который молчал на все наши мольбы, я решил прибегнуть, чтобы добиться толку, к помощи «революционной печати», которой в то время на Кавказском фронте развелось в количестве невероятном. Первый раз в жизни в одной из тогдашних газет я напечатал статью «Будьте справедливы». В ней требовал внимания и справедливости к населению завоёванных турецких областей, которое вымирает с голоду, забытое и заброшенное, в то время как органы, назначенные ими ведать, даром только получают жалование и ровно ничего не делают. Для примера я привёл положение вещей в Байбуртском округе, где 20 человек чиновников целые полгода сидят без дела, в то время как население вымирает с голоду, а остатки его вырезываются безнаказанно армянскими разбойниками. В заключение в статье говорилось о том, что подобное положение вещей совершенно не соответствует выпущенной Временным правительством декларации, обращённой к народам завоёванных областей, в которой от имени «свободной России» им были обещаны справедливость, забота и сытая жизнь.

Мой первый публицистический опыт навлёк на меня неприязнь и злобу сразу двух совершенно различных источников. Первым из них явились мои коллеги по Управлению округа, вторым оказались армяне. Служившие со мной вместе чиновники поголовно были людьми солидными и семейными, которые находили своё положение в Байбурте как нельзя более удобным и спокойным и благодарили за него бога. Моя «мальчишеская», по их мнению, выходка грозила изменить это положение вещей и потому казалась им не только в высшей степени нелепой, но и нарушающей все их понятия корпоративности. С этого дня все они стали относиться ко мне с затаённой враждебностью и опаской как к человеку беспокойному и несолидному.

С другой стороны на меня озлобились армяне Байбурта во главе с неким Сепу Нерсесяном, проживавшем в городе и бывшим, по слухам, главным атаманом всех армянских шаек, оперировавших в округе. Этот Сепу во время турецкого владычества считался начальником одной из банд «комитаджей», скрывавшихся в горах и бывших

наполовину разбойниками, наполовину мстителями туркам за армянские преследования. Если верить местным армянам, Сепу скрывался будто бы в горах, ведя войну с турецким правительством в течение многих лет, вплоть до занятия Армении русскими войсками. С этого времени он проживал в округе, то появляясь, то исчезая из Байбурта по каким-то таинственным делам. Я часто встречал его в городе, всегда окружённым полудюжиной телохранителей-армян самого разбойничьего вида, вооружённых с ног до головы винтовками, кинжалами и маузерами, и перепоясанными по всем направлениям патронташами. Сам он был огромный грузный человек лет 40, усатый и черномазый, с отвратительными мутными глазами непроспавшегося убийцы. Как он сам, так и его шайка принадлежала к партии «дашнаков», которой Сепу одновременно с тем являлся представителем в округе. До революции «дашнаки» были нелегальной и запрещённой царским правительством партией, и только после переворота они выплыли на широкую воду в Тифлисе, где в это время делалась большая политика. После появления моей статьи в газетах Сепу, причисленный к лику героев армянского народа, наряду с Андроником и другими, стал моим смертельным врагом.

После отъезда Кутузова на меня, в числе других обязанностей, было возложено и председательство в местном туземном суде, действовавшим на основании старого турецкого кодекса с некоторыми изменениями. Членами суда являлись турецкий кади, городской голова и делегаты от армян и турок. Заседания имели место по субботам, и в суде я постоянно встречался с Сепу, который являлся представителем армянского населения. Так как, кроме нас двух, никто русского языка не понимал, то Нерсесян после появления моей статьи вступил по этому поводу со мной в откровенный разговор. Он начал с того, что выразил своё удивление и негодование по поводу того, каким образом я, русский офицер и христианин, могу защищать турок от справедливой им мести со стороны армян. Я ответил, что в качестве представителя в Байбурте русской администрации обязан относиться беспристрастно к населению, и для меня в этом деле безразлично, кто христианин, а кто мусульманин. Что турки раньше резали армян, я знаю, но это дело прошлое, в настоящее же время русская власть резать никому и никого не позволяет, а потому убийство турок есть уголовное преступление, за которое виновники будут отвечать по законам военного времени. Кроме того, я считаю подлостью со стороны армян резать беззащитных детей, стариков и женщин, зная, что турок мужчин нет в селениях, чтобы их защитить. Со своей стороны я обещаю ему, Нерсесяну, что как только прибудут к нам милиционеры, то я приму все меры, чтобы армянских разбойников выловить и перевешать.

На мою горячую отповедь Сепу возражать не стал, а только потемнел лицом и, посмотрев исподлобья, сказал с полускрытой угрозой: «Хорошо, господин начальник, если так, то мы посмотрим, кто проиграет. Хорошо смеётся тот, кто смеётся последний». Я вспыхнул и со зла наговорил ему много лишнего, пригрозив в свою очередь не обойти его виселицей. С этого дня Сепу со мной в разговор больше никогда не вступал, но я не раз ловил на себе его злобные взгляды. Наши отношения ещё больше обострились, когда через некоторое время был созван Исполнительный комитет из представителей туземного населения для выработки мер против разбоев. На заседании комитета в присутствии Сепу, я, как представитель округа, сказал целую обвинительную речь против армян, представив статистику разбоев и убийств, жертвами которых являлись исключительно турки. В заключение я заявил, что, по моему мнению, все эти преступления совершаются одной и той же шайкой, и данные дознания заставляют думать, что этой шайкой управляет кто-то из Байбурта. Сепу во время моего выступления сидел мрачный, как туча, не проронив ни одного слова. Заседание это кончилось, как кончались в это время все ему подобные, т.е. бесполезной резолюцией и таким же воззванием о прекращении вражды между армянами и мусульманами. Эта резолюция в числе тысяч других, таких же платонических и бесполезных, была напечатана в газетах. Подписи, Сепу и моя, стояли в ней рядом. С этого дня Сепу, вероятно, опасаясь дальнейших разоблачений своей деятельности, исчез из Байбурта надолго. Впоследствии я узнал, что он боялся не бессильной администрации

округа, а исполнительного комитета, в котором я был товарищем председателя, стало быть, в случае нужды мог употребить против него воинскую силу гарнизона.

Жизнь, между тем, требовала настоятельно, чтобы мы в качестве начальников участков что-либо предприняли в интересах населения. По существу и по инструкциям начальник участка являлся в своём районе представителем и носителем всей полноты власти административной, полицейской, юридической и даже финансовой. Вместе с приехавшим из Тифлиса новым сослуживцем, энергичным осетином, мы после долгого обсуждения положения выработали следующий план, одобренный, конечно, Лопухиным, который всегда и на всё был согласен. Оба мы по взаимному согласию к казённому содержанию в 75 рублей, полагающемуся каждому вольнонаёмному милиционеру, добавляем известную сумму из личных средств, которых нам, холостым людям, в Байбурте тратить всё равно было некуда, так как одних дровяных денег мы ежемесячно получали до 800 рублей. Сделаю в этом месте некоторое отступление, касающееся этих дровяных денег.

Правительство вместо простого увеличения жалования офицерам на время войны платило им добавочные деньги в виде квартирных, столовых и дровяных. В частности, дровяные исчислялись не в соответствии с чинами, а согласно тому, на каком уровне над морем находилось место службы, так как чем выше это было, тем, конечно, было холоднее. После революции, когда ротные комитеты стали заниматься всеми вопросами, не исключая государственных, а кухарки даже и управлять государством, эти дровяные деньги испортили много крови офицерству. На них почему-то особенно ополчились все комитеты, главным образом потому, что «офицерьё эти деньги получают, а дров не покупают, а ежели так, то почему же не платить этих денег и солдатам».

Как бы то ни было, но эти злополучные дровяные позволили нам нанять для самых насущных нужд округа два десятка вольнонаёмных милиционеров, которых мы решили набрать на Северном Кавказе среди ингушей, как известно, ещё при царском режиме поставлявших своих представителей в полицейскую стражу. Гаибов, как звали моего коллегу, съездил во Владикавказ, откуда был родом, и привёз оттуда с собой 25 человек ингушей, набранных там по вольному найму. Все они были бравые ребята, хотя и разбойного вида, что, впрочем, по здешним местам и требовалось. Старший из них, огромный костистый, как верблюд, старик Каз-Булат поселился в одном доме со мной. К нему все ингуши относились с почтением и слушались беспрекословно. Моя прежняя служба в Ингушском полку пришлась как нельзя более кстати, и они сразу признали во мне своего начальника. Каз-Булат безо всякой с моей стороны просьбы даже отрядил одного из ингушей ко мне в вестовые, когда мой Филипп уехал на родину, о чём речь будет впереди.

Приезд милиционеров дал нам возможность приступить к исполнению наших прямых обязанностей в качестве начальников участков. Поделив округ пополам, равно как и ингушей, мы с Гаибовым выехали в округ. Район, который мне достался в управление и под защиту, являлся неправильным полукругом, основой которого было шоссе Эрзерум – Трапезунд, а границей − горный хребет Понтийского Тавра, по которому шла граница округа Архавэ-Сюрменэ (где служил Ченгери). Самым крупным селением района являлась деревня В. на дороге, шедшей из Байбурта к перевалу на Оф. Около этого селения был убит во время одной из русско-турецких войн знаменитый генерал Бурцев, воспетый Лермонтовым. Заняв под свою штаб-квартиру лучший дом селения, я приступил к работе, для чего через старшину селения мною были вызваны все «мухтары» селений, входящих в отведённый нам район. Мухтары эти доставили все статистические сведения о количестве населения мужского и женского пола и его материальном положении, количестве скота, земли и т.д. С первых же шагов выяснилось, что все турецкие семьи, проживающие в районе, находятся в самых ужасных условиях полной нищеты, так как, кроме стариков и подростков, никаких работников в селениях нет. Нет и рабочего скота, за отсутствием которого старики работают в полях на бабах. Такой способ обработки земли, каменистой и неудобной, на третий год войны привёл к тому, что население быстро и верно вымирало с голоду. По случаю революционных восторгов, которые Кавказская армия переживала уже третий месяц,

интересоваться этим было некому, да турки с истинно восточным фатализмом никому и не жаловались и никого о помощи и не просили. В этом они видели волю божью, как и в военном поражении, которое потерпела Турция. То немногое, что уцелело ещё от войны и голоду, теперь у мусульманского населения грабили и отнимали армянские банды Сепу Нерсесяна, которые свирепствовали по всему району с помощью наводчиков из местных жителей. Почти каждую ночь происходили вооружённые грабежи, всегда сопровождавшиеся бесполезными и самыми зверскими убийствами. За две недели моего пребывания в В. в окрестностях случилось три убийства, на которые я выезжал для следствия. Первое из них случилось в небольшой деревушке, причём был ограблен и убит старик турок, единственный во всей деревушке сохранивший ещё от хороших времён несколько золотых турецких лир. Разбойники застали его спящим на диване и пригвоздили к нему огромным кинжалом. Этот ножище, проткнув грудь старика и диван, вошёл так глубоко в дерево рундука, что убийца его оставил на месте преступления. Одним из участников этого убийства оказался местный житель армянин, который своих сообщников не выдал, вероятно, опасаясь мести.

Второе убийство было совершенно бессмысленно и жестоко. На сук платана в поле были повешены три мальчика пастуха рядом с молодым ослёнком. Нечего и прибавлять, что дети были турчата. Убийц отыскать не удалось, так как это, видимо, была проезжая банда. В третьем убийстве мне удалось найти виновника, хотя и не сразу. Преступление это имело место в окрестностях одной горной деревни в поле. Были застрелены из винтовки две молодые турчанки, собиравшие корешки для еды. Двенадцатилетняя девочка, дочь одной из убитых женщин, спаслась бегством, хотя убийца стрелял и по ней, и оказалась поэтому ценной свидетельницей.

Выехал я на место убийства только через сутки после того, как пришел в В. мухтар с извещением о происшедшем. Мой переводчик Мавлюд, боясь мести армян, чтобы не ехать со мной, сказался больным. Поняв, что он притворяется, я обозлился и пригрозил привязать его к лошади. В селение мы приехали только к вечеру уже после захода солнца. Я хотел отложить следствие до утра, но хозяин дома и пришедшие старики попросили приступить к делу сегодня же, так как трупы в ожидании моего приезда лежат незахороненными вторые сутки, что смущает население, так как по мусульманским законам мёртвых хоронят в день смерти до захода солнца. В сопровождении двух ингушей, мухтара и переводчика я пошёл в дом, где лежали убитые женщины. Трупы лежали на полу на циновке, около них на корточках сидели плачущие бабы. Я сказал переводчику, что необходимо осмотреть ранения. Среди турчанок произошло смущение, однако я настоял на своём и, выслав из комнаты всех мужчин, осмотрел трупы, которые осторожно раскрывала одна из баб. Одна из убитых женщин была убита пулей в спину, другой пуля попала в левый сосок груди. Я спросил, нет ли ещё ранений, на что турчанка, немного помявшись, открыла живот одной из убитых, который оказался с правой стороны распорот ножом, так что вывалились кишки.

На другой день дочь убитой, черноглазое, дрожащее, но бойкое существо, рассказала нам о смерти своей матери и тётки. В то время, когда они все три собирали травы и сучья в поле за версту от селения, по тропинке, пересекавшей поле из-под горы, поднялся вооружённый винтовкой солдат в русской форме, но армянин, так как, подозвав по-турецки к себе мать девочки, в упор застрелил её из винтовки. Вторым выстрелом он положил на месте бросившуюся уже бежать тётку. Выстрелил третий раз солдат и по девочке, но не попал, пуля только сорвала у неё с ноги деревянную туфлю. Оглянувшись на бегу, она видела, что солдат подошёл к трупам, присел и что-то стал с ними делать. Оказалось, что армянин не только изнасиловал один из ещё теплых трупов, но, изрезав его ножом, ограбил обеих мёртвых, сняв у них с шеи и рук грошовые украшения.

Побывав на месте убийства, я осмотрел местность и убедился, что девочка, несмотря на страх, запомнила все подробности происшествия и очень толково их изложила. На тропинке, с которой стрелял солдат, я нашёл три винтовочные гильзы, которые и навели меня на след убийцы. Я знал, что в окрестностях Байбурта стоят исключительно части нестроевые, вооружённые винтовками бердана старого образца, в то время как найденные

мною гильзы были от трёхлинейки, а стало быть, принадлежали солдату действующего полка, командированному за чем-нибудь временно в Байбурт. Такими солдатами являлись только две команды туркестанских стрелков, присланных с фронта за сеном для полков и косивших траву около города в лугах. Посадив девочку к себе на седло, я двинулся к месту сенокоса, где работали туркестанцы. Едва съехали мы с горного плато, на котором стояла деревня, как я увидел широкую лесную долину и на ней в двух местах косивших солдат. В версте дальше мы встретили два воза с сеном, на которых лежали туркестанцы.

− Нет ли, товарищи, среди вас армян? - спросил я их.

− Есть один. Как его, Гаврильянц, что ли?

− А где он теперь?

− Да вон, возля речки чегой-то делает.

Подъехав к становищу косцов без девочки, которую я оставил за деревьями, я, подозвав Гаврильянца, стал его расспрашивать, откуда он родом. С бегающими глазами, подозрительно на меня поглядывая, он ответил, что является уроженцем Карской области и говорит по-турецки. Как он сам, так и другие туркестанцы, конечно, были вооружены трёхлинейками. Они недоверчиво и подозрительно слушали наш разговор, так как Гаврильянц, явно волнуясь, всё меня спрашивал: «А что вам надо?». Арестовывать армянина здесь было рискованно, так как он держал винтовку в руках, да и товарищи его, несомненно, могли за него заступиться просто потому, что он солдат, а я офицер, да ещё незнакомый им. Поэтому, расспросив их, куда в Байбурте они возят сено, я вернулся к своим людям, которые ничего не понимали.

Вернувшись в Байбурт, до которого было вёрст пятнадцать, я немедленно снёсся с комендантом города, и Гаврильянц, приехавший вечером с сеном, в Байбурте был арестован в тот же день. При обыске в его вещевом мешке были найдены снятые с шеи убитых женщин украшения. Очная ставка девочки с Гаврильянцем произошла в Управлении округа. Когда она вошла в комнату, в которой среди других солдат находился и Гаврильянц, девочка при первом взгляде на него схватила меня за руку и закричала: «Это он! Тот человек, который убил маму!» Убийца стоял бледный, ничего не возражая, и дикими глазами смотрел на ребёнка, который, дрожа и плача, показывал на него пальцем. Гаврильянца посадили на гауптвахту, где он должен был ожидать приезда сессии военного суда 2-го Туркестанского корпуса. Туркестанцы-солдаты остались этим недовольны и даже ходили с жалобой на меня в исполнительный комитет, говоря, что их товарищ несправедливо обвинён по оговору турецкой девчонки, но там Прокудин решительно и категорически им заявил, что комитет преступников не покрывает, будь они солдаты или нет.

Дальнейшая судьба Гаврильянца мне не известна, так как судить его должны были только в декабре 1917 года, когда развал в армии достиг таких размеров, что ни судить преступников, ни тем более приводить приговоры в исполнение было уже некому. Полагаю, что его преступление осталось безнаказанным.

В своих поездках по району в погоне за преступниками я однажды ночевал с пятью ингушами в одном селении у самого подножья хребта. Ночью нас всех разбудила сильная ружейная перестрелка где-то вдали в ущелье. На наш вопрос о её причинах хозяин-турок объяснил, что в ущелье есть два селения курдов, которые вот уже два месяца ведут друг с другом войну, так что все к выстрелам привыкли и они никого не беспокоят, так как это домашнее дело курдов. Оказалось, что курды из ущелья в долину не ходят и с турками сообщения не имеют. Не касалось курдов и прежнее турецкое начальство, руководствуясь тем принципом, что с таким беспокойным племенем лучше не связываться. Я тоже, разумеется, к курдам в их ущелье не поехал, да и что бы я там мог сделать, если не скомпрометировать русскую власть своим бессилием.

Другой раз в одном глухом горном селении мы наткнулись на целое ослиное стадо голов в пятьсот, которое мирно паслось под присмотром двух обозных солдатиков. Оказалось, что сюда какими-то неведомыми путями для отдыха и прокорма забрался ослиный транспорт под командой прапорщика запаса из щигровских уроженцев.

Познакомившись с ним, мы сосчитались папами и мамами, и он радушно угостил нас чаем. Жил он здесь вряд ли с ведома своего начальства, а скорее по вольности революционного времени, и жил настоящим помещиком, ни в чём себе не отказывая. Должность ослиного начальства была не без дохода, недаром он своих ослов называл что-то чересчур уж ласково «осликами».

Ночевал я в другой раз и у земляка-курянина, оказавшегося этапным комендантом на дороге между Калкитом и Байбуртом. Он был из прапоров военного времени и стоял со своей полуротой в глухом турецком селении, сплошь состоящем из серых глиняных мазанок, стоявших на голой каменистой степи без всякой растительности. Селение это представляло собой донельзя унылую картину даже и в без того унылой Армении. Полурота жила в каких-то подземных тёмных норах, прапорщик же с женой жил в верхнем этаже. Был он молод, деятелен и всегда весел, несмотря на годовое пребывание в этой дыре. Со своей полуротой он развёл здесь большое хозяйство, огороды, скотину и хлебопекарню для проходящих войск, и во всём этом преуспевал. С солдатами своими он был в самых простых отношениях и сам состоял председателем «этапного совета». Нечего и говорить, что «совет» этот числился только на бумаге. Всем заправлял единолично сам прапорщик, так как в таких заброшенных дырах за недостатком горючего материала революция совсем потухла и ничего не изменила во взаимоотношениях между начальством и подчинёнными. Жена у этого разбитного прапора была грузинка, довольно красивая и весьма пышная женщина. Она оказалась прекрасной хозяйкой и кормила нас необыкновенными обедами, несмотря на то, что у неё постоянно болели зубы. В то время, как мы бесстыже с её мужем поедали вкусные яства, она обыкновенно сидела в углу, держалась за щёку и, раскачиваясь, стонала: «Ой чеми дэда!.. чеми дэда!..». Бедной женщине в её земляной дыре наш унылый Байбурт казался каким-то мировым центром культуры, а наша скучная гарнизонная жизнь представлялась сплошным вихрем светских наслаждений, так как она попадала туда с мужем не чаще раза в месяц, и всякий раз тогда на сцене байбуртского театра она с большим огнём исполняла лезгинку.

Разъезжая за мной целыми днями по турецким селениям, ингуши наши мрачнели всё больше с каждым днём. Как я выяснил из их разговоров, все они, нанявшись в милицию сюда, рассчитывали на большую поживу вблизи фронта и потому мало интересовались официальным жалованием, которое было недостаточно. Наткнувшись на отчаянную нищету местного населения, они, как люди опытные, сразу поняли, что здесь на поживу рассчитывать нечего. Разочаровались они и в службе, так как она тоже не оправдала их ожиданий. Как все горцы, любящие покрасоваться на коне в ореоле власти, они рассчитывали получить здесь коней, сёдла и оружие, а вместо этого я их таскал с собой на казённой двуколке в пыли и без всякой пышности, приличествующей власти. Вместо сытой, праздной и доходной жизни стражников, с которой они были знакомы по царскому времени, приходилось плохо есть, плохо спать, постоянно переезжать с места на место, подвергаясь опасности, да ещё нести караулы. С первых же дней нашего пребывания в округе я понял, что ингуши разочарованы в нашей деятельности и с ними каши не сваришь.

Когда через месяц, объехав весь район, мы вернулись в Байбурт, появились новые осложнения. В городе, как я уже упоминал, стоял терский Горско-Моздокский полк, в котором служили казаки, родом из станиц, соседних с ингушскими аулами, с которыми у них из поколения в поколение была вражда. Вражда эта на Тереке постоянно прорывалась кровавыми столкновениями между горцами и казаками, и местные власти в области ничего с этим не могли поделать.

В первый же день нашего приезда в Байбурт, когда мы вечером вышли посидеть около дома, к ингушам подошла группа казаков и затеяла с ними разговор с явной целью начать ссору. Горцы, понимая, что их всего двадцать человек против целого казачьего полка, сдерживались и не отвечали на приставания, но, конечно, так долго продолжаться не могло. Достаточно было малейшей ссоры, чтобы началась резня, в которой казаки немедленно перебили бы моих ингушей.

Мне стоило ежедневно большого труда угомонить казаков и заставить их оставить в покое ингушей, но, тем не менее, как только эти последние выходили из дому, перед ними вырастали казачьи задиры и, приняв вызывающую позу, начинали чисто провокационные разговоры: «Так, так... стало вы, господа ингуши, суды прибыли?..». «Прибыли...», − за всех отвечал обыкновенно старик Каз-Булат. «Так... ну, а мы домой едем... к вашим бабам...».

Молодые горцы бледнели и схватывались за кинжалы, но замирали немедленно на месте после брошенного им короткого слова старика. Он один всегда оставался спокоен и удерживал их от драки. Положение ещё ухудшилось, когда до Байбурта дошли слухи о корниловском выступлении и о том, что Ингушский конный полк шёл головным в отряде Крымова на Петроград с контрреволюционными намерениями. К моим милиционерам после этого стали приставать уже не только казаки, но и солдаты. Всё это добром кончиться не могло, почему я и не удивился, когда однажды вечером ко мне явился Каз-Булат и от имени всех своих земляков попросил их отпустить на родину: «Нельзя, господин, нам тут оставаться... беда будет, домой нас пускай скорей».

Моё позволение в таком деле было простой формальностью, и о нём шла речь исключительно для приличия и красоты слога. Я просил старика только дождаться прихода уже высланной из Тифлиса команды ополченцев, назначенных нам в качестве милиции. Между тем старик был прав. Беда явно надвигалась, не только на них, но и на мою собственную голову. Служба налаживалась плохо, и в дальнейшем на улучшение условий её рассчитывать явно не приходилось: из России доходили слухи о полном развале всего государственного и административного аппарата. Я начинал всё чаще думать о том, что пора, пока ещё не поздно, выбираться из Турции, изыскав для этого более или менее легальный способ. К концу лета к моим служебным обязанностям прибавилась новая, бывшая мне как нельзя более по душе. Дело заключалось в том, что революция и сопряжённый с ней повсеместный развал очень ухудшили дело снабжения фронта, которое дошло во многих местах до того, что люди на далёких горных позициях Кавказского фронта стали голодать и в результате недоедания страдать всё больше от цинги. Чтобы раздобыть свежего мяса для своих частей вместо вредных для здоровья консервов, начальство 2-го Туркестанского корпуса решило периодически высылать охотничьи команды, имевшиеся при туркестанских полках, на охоту. Покрытые первобытным лесом и изобиловавшие зверьём горы, где должны были иметь место охоты, как раз находились в Байбуртском округе и были в моём районе. В связи с этим обстоятельством в Управление округа однажды явился со своим адъютантом полковник 19-го Туркестанского полка с предписанием от командира корпуса Лопухину о всемерном содействии охотничьим командам и командировании с ними для этого одного из чинов округа.

Лопухин, которого всю ночь преследовали духи, не только не смог дать полковнику нужных сведений, но и даже поддержать с ним простого разговора. Пришлось мне вмешаться в дело и командировать самого себя на охоту.

Полковник, как оказалось, был командирован не только от своего полка, но и от целой дивизии, почему имел в своём распоряжении четыре охотничьи команды, насчитывающие до 250 стрелков при двадцати двух офицерах. С такими силами можно было организовать более чем серьёзную охоту, даже в самых непроходимых и диких местах, которыми являлись лесные склоны Понтийского Тавра, идущего от Трапезунда к Батуму вдоль берега Чёрного моря и принадлежащего своим восточным склоном к району Байбуртского округа.

Пока команды отдыхали после перехода, мы с полковником и начальниками охотничьих команд обсудили с картой в руках способ и район предстоящих охот. Рано на заре на другой день команды со своими офицерами выступили из города по дороге к хребту с тем, чтобы заночевать на этапе перед самым перевалом, мы же с полковником, тремя офицерами и денщиками двинулись только часов в девять. Офицеры ехали в полковых двуколках, я же в сопровождении Каз-Булата и трёх ингушей верхом. Шоссе, по которому мы ехали, было только что окончено постройкой и вело из Байбурта в приморское местечко

Офа через горный перевал. Построено оно было со стратегическими целями сапёрами тотчас же по занятии русскими войсками этих мест, но воспользоваться им русской армии так и не пришлось. Революция заставила Кавказскую армию в январе 1918 года бросить фронт и турки совершенно неожиданно получили назад огромные области, завоёванные русской кровью, где казна уже успела израсходовать миллионы для постройки путей сообщения. Все те неисчерпаемые богатства, которые Россия потеряла здесь так нелепо, мог оценить только человек, поживший в этих местах. Турецкое правительство после революции получило богатое наследство, свалившееся ему на голову, и ныне с благодарностью пользуется прекрасными путями сообщения, сделанными русскими руками в непроходимой ранее Турецкой Армении...

До этапа, где мы должны были остановиться на ночёвку, дорога шла каменистым плоскогорьем типичного для этих мест серовато-жёлтого цвета, и не представляла собой никакого интереса. Этапный пункт оказался у самого начала подъёма, прижавшись к горному склону. Несколько глинобитных домиков его были обнесены, как настоящая крепость, глухой стеной. За ней почти отвесно поднималась громада гор, заслонявших собой солнце днём, так что этап круглые сутки находился в сырости и мраке. Вся этапная команда во главе с начальством из-за этого постоянно болела лихорадкой и проклинала день и час, когда судьба занесла их в эту горную дыру. Наш отряд, расположившийся огромным табором во дворе, переполнил этот тихий и унылый уголок шумом и движением, которого он доселе никогда не видал.

Ночь здесь наступила за добрый час до того, как во всём остальном мире, и мы сразу окунулись в сырой и промозглый туман, обязательную принадлежность здешних ночей. Офицерское помещение этапа, где мы расположились во главе с полковником, оказалось длинным, сырым и на редкость неуютным сараем. С закоптелых балок потолка оголодавшие от бескормицы клопы стали прыгать на нас, не дожидаясь даже того, когда потушат свет. Две свечи, не разгоняя окружавший мрак, только наводили уныние. Внизу во дворе, виднеясь через узкие окна, горели костры охотничьих команд, вокруг которых в живописных позах группировались полуосвещённые фигуры в папахах, казавшиеся в красном отсвете костров зловещими.

Перед сном поговорили по душам, причём выяснилось, что охота охотой, но, кроме того, офицеры имели и другие серьёзные резоны временно покинуть свои части под благовидным предлогом; развал делал службу на фронте всё более тягостной и ставил офицерство подчас в невыносимое положение. Полковник, например, улизнул на охоту, чтобы только не принимать в командование освободившийся полк, командование им уже никого не прельщало.

Утром после завтрака, во время которого мы истребили у бедного этапного коменданта все его запасы, тронулись дальше в прежнем порядке. Подъём, начавшийся от ворот этапа, шёл до самого довольно отлогого перевала, среди всё тех же голых скал, и только тогда, когда нас окутали пронизывающая сырость и туман, можно было догадаться, что мы поднялись на большую высоту и находились уже в области облаков. Неожиданно из-за поворота вынырнул одинокий домик, в котором только при внимательном осмотре можно было узнать этапный пункт. Стоял он до тоски бесприютно на совершенно голой и пустынной вершине, и вокруг него не было ни селения, ни каких бы то ни было служб. Вся команда этого печального этапа состояла из унтер-офицера и взвода солдат, на три четверти больных малярией. Было здесь до того неуютно и безотрадно, что никому из нас не захотелось пробыть и лишней минуты. Единогласным решением привал и завтрак были назначены дальше.

Спуск с перевала начался немедленно, и не успели мы проехать и сотни шагов, как туман, заволакивавший густой пеленой всё кругом, стал редеть, проясняться. Перед глазами через несколько минут открылась совершенно волшебная панорама красивейшей в мире горной цепи, вершин и ущелий, густо заросших прекрасным и совершенно девственным лесом. Насколько только хватал глаз, кругом виднелись вершины гор, снежно-белых вблизи

и синеющих вдали; пониже их веселящие душу изумрудные пятна альпийских пастбищ и ещё ниже зелень лесов, раскинувшихся на необъятных просторах горных склонов и ущелий. Светлая с бесчисленными оттенками зелень лиственных лесов переходила в тёмные краски хвойных, которыми тесно заросли глубокие ущелья. Всё вместе это создавало такую неземную красоту, что даже не верилось, что на земле может существовать что-нибудь подобное.

Восторгам долго предаваться не приходилось, так как внезапно сузившееся в тропинку шоссе пошло вниз так круто, что лошадям пришлось, осторожно переступая копытами, сесть на хвосты. Ещё поворот, и дорога пошла карнизом над такими жуткими пропастями, от взгляда в которые кружилась голова и тошнотно замирало сердце. Дна их не было видно в голубоватом тумане, и только кое-где в безотрадной глубине чуть намечались верхушки сосен.

В довершение неприятностей половина каравана почувствовала себя дурно от слишком быстрого перехода из разреженного воздуха вниз. Я тоже в первый раз в жизни почувствовал отвратительные признаки этой горной болезни, от которой было одно спасение – скорее спуститься вниз. Действительно, через четверть часа все страждущие, и я в их числе, почувствовали себя выздоровевшими. Шоссе под нашими ногами тем временем, к ужасу храпевших лошадей, совершало самые смелые и неожиданные петли.

Спустившись ещё ниже, мы заметили первые признаки жизни в этой лесной пустыне. Между вершинами сосен и елей в тихом безветренном воздухе из ущелья поднимался столб дыма. Это оказался лагерь военно-дорожных техников, работавших на ещё не законченном шоссе. Дорога скоро потеряла свою опасную крутизну и через час пути, пройдя по дну глубокого ущелья, в котором шумела и спешила горная речушка, мы вышли на простор широких, дающих большую видимость горных долин. Теперь по склонам гор уже кое-где виднелись турецкие селения характерного для этих мест типа. Каждой группе деревянных домиков у подножья гор соответствовала такая же другая из бревенчатых построек высоко на горах, у границы горных пастбищ, так называемые «яйлы». Объяснялось это тем, что местные горцы, в летнее время спасаясь от лихорадок, свирепствующих в низинах, вместе со скотом переселялись снизу наверх на горные пастбища, где в чистом воздухе нет никаких болезней.

Среди сплошной массы лесов, почти не тронутых рукой человека, виднелись кое-где по дороге светло-зелёные площадки возделанного поля, отвоёванного от леса путём тяжелого труда. И обязательно везде, где только виднелся подобный квадратик, посередине его неизменно торчала на высоких столбах какая-то вышка. Проводники турки, которых я спросил о назначении этих вышек, несказанно обрадовали своим ответом наши охотничьи сердца. Оказалось, что помосты эти были устроены для того, чтобы во время созревания кукурузы с них пугать диких свиней. «Тунгусов», как их называли турки, в здешних лесах такое множество, что они являются истинным бичом земледелия, пожирая и растаптывая в пух и прах кукурузные поля. Чтобы спасти результаты своих тяжёлых трудов, горцы сажали на ночь на вышку караульщиков, которые шумом, криком, а иногда и огнём отпугивали свиней. Пороха и патронов местное население почти не имеет и бережёт на крайний случай, для защиты от разбойников-курдов, и не станет тратить этот дорогой припас на поганую скотину, которую мусульмане не только не едят, но и считают грехом даже до неё дотронуться. Те же проводники сообщили нам, что кроме диких свиней, леса полны медведей, оленей, коз и в особенности волков, которые очень беспокоят население, истребляя скот, почему местные люди будут довольны и благодарны нам, если мы поубавим в их горах всю эту чересчур расплодившуюся животину. Особенно турки были сердиты на свиней, которые за последнее время обнаглели сверх меры и, не довольствуясь полями, каждую ночь, не стесняясь собак, лезут даже в деревенские огороды.

Все эти сведения, которыми поделился с нами проводник, были как нельзя более приятны, и на первой же ночёвке после перевала мы составили нечто вроде военного совета, дабы выработать план охотничьей экспедиции. Как представитель местной власти, я должен

был взять на себя всю распорядительную часть охоты и в первую голову для этого мобилизовать в ближайшем селении необходимых для оклада загонщиков. Вызванные в тот же вечер «мухтары» двух ближайших деревень взялись к утру доставить к нам всех свободных мальчишек, которым было обещано за день работы по пяти копеек, цена на местный масштаб неслыханная. Рассыпать всю эту турецкую молодёжь в цепь и руководить ею во время облав должен был по жребию один из офицеров с десятком солдат помощников. Были сделаны тем же вечером и другие необходимые приготовления технического характера. Каждый из охотников приготовил себе по две обоймы разрывных пуль. Для этого с обыкновенных патронов трёхлинейной винтовки, которыми были вооружены все туркестанцы, напилком спиливалась никелевая оболочка пули на её остром конце, пока не показывался наполнявший её свинец. Такая пуля со спиленным кончиком при попадании разрывается и производит страшную рану, необходимую при охоте по крупному зверю. Недостаток такой самодельной «дум-дум» тот, что она немедленно разрывается при первом соприкосновении после выстрела с любым предметом, будь это простая ветка или даже прутик. Это обстоятельство при лесной охоте, когда часто приходится стрелять сквозь кусты и заросли, весьма неудобно, но выбора у нас не было. Тут же на этапе мы сделали пробу этим спиленным пулям, действия которых многие офицеры ещё не видели. Результаты превзошли все наши ожидания: от небольшой тыквы, служившей мишенью, по которой я стрелял, осталось буквально только мокрое пятно на стенке сарая, так её разнесла в брызги крохотная трёхлинейная пулька со спиленным концом. Спиливать надо было весьма осторожно, так как если кончик пули был спилен косо, то она получала неправильное направление при выстреле.

Наутро, едва над вершинами гор забрезжила заря, огромная толпа голосистых турецких мальчишек под предводительством мухтаров уже шумела у нас на дворе. Утренний туман ещё заволакивал подножья гор, когда мы выступили целым войском, растянувшимся на полверсты, с этапного двора. На предварительном обсуждении охоты с мухтарами и местными охотниками был выработан следующий план.

Человек двести стрелков, офицеров и солдат, должны были расположиться вдоль вершин горной цепи на яйле у опушки леса, прикрывшись кустами, на расстоянии двадцати шагов друг от друга. Все мальчишки, мухтары и около двадцати солдат-туркестанцев должны были, раскинувшись широкой цепью у подножья гор, по данному сигналу начать наступление на лес снизу вверх, делая при этом елико возможно больше шуму. В горах, как правило, зверь по тревоге обязательно идёт в гору, и таким образом всё зверьё, находившееся в лесах захваченного облавой района, должно так или иначе выйти у яйлы на цепь наших стрелков.

Поёживаясь от утренней сырости, мы через полчаса стояли перед густо заросшей лесной чащей, откуда должен был начаться подъём людей, назначенных в стрелковую цепь. Здесь же должна была развёртываться в цепь и ждать нашего сигнала вся мальчишеская армия.

Выполняя приказание начальства, турецкие селения с чисто восточной покорностью выслали в наше распоряжение всё своё подрастающее поколение, одетое в самые живописные лохмотья. Целая армия быстроглазых и черномазых ребят, вооружённых всякого рода дрекольем и пустыми жестянками от консервов, по одному слову мухтара уселись на корточки, разглядывая нас блестящими глазёнками со жгучим любопытством, но одновременно со скромностью, что так выгодно отличает детей Востока от их европейских собратьев. Среди сотен мальчиков было и несколько маленьких, закутанных с ног до головы в тряпьё, девочек, явившихся на облаву добровольцами в надежде заработать несколько копеек.

Когда вслед за проводниками мы начали подниматься по чуть видной тропинке в гору, в лесу ещё стояла ночь. Приходилось карабкаться чуть не по отвесной стене, и только кусты и деревья делали этот подъём возможным, хотя заросли и корни в то же время служили немалым препятствием. На первых же шагах оказалось, что многие из охотников

впервые попали в условия горной охоты и совершенно не умели ходить по горам, так как, оступаясь и неловко задевая камни, обрушивали на головы ниже идущих целые лавины земли и камней. Пришлось всех этих новичков отправить в хвост колонны, растянувшейся по горной тропе на добрую версту. Лесная чаща, покрывавшая весь склон гор, перевитая лианами и густо заросшая кустарником и заваленная упавшими и гниющими деревьями, была местами до того густа, что небо было совершенно невидимо среди густого переплёта уходящих в небо сосен и лиственниц. Когда мы с полковником, шедшие впереди колонны, выбрались из лесной чащи на яйлу, вершины гор розовели от восходящего, но ещё не видного нам солнца.

Я развёл по «номерам» стрелков вдоль хребта, выбрав каждому какое-нибудь прикрытие и преподав несколько необходимых советов. Как люди неопытные, большинство из них стремилось выбрать место с хорошим обстрелом, не заботясь о прикрытии для самого себя, не подозревая того, что при охоте на крупного зверя охотник сам может попасть на положение дичи при неудачном ранении кабана или медведя. Когда всё было окончено и я, вытирая со лба пот, стал на своё место, едва переводя дух от усталости, было около 8 часов утра, и взошедшее солнце, разогнав утренний туман, освещало великолепную картину необъятного горного царства, видимую с яйлы с высоты птичьего полёта.

Думаю, что никто из нас, жителей равнин, теперь в немом очаровании застывших на горных вершинах Тавра, до конца дней своих не забыл этой величественной и дикой красоты. Прошло три десятка лет после этого дня, но каждую минуту его я помню до сих пор и, вероятно, буду помнить до самой смерти, настолько необыкновенная красота этого глухого и далёкого горного угла поразила моё воображение. Горные леса дикой и невыразимой красоты широко раскинулись на богатырских просторах, сбегали лестницами, толпились огромными террасами, взбирались одиночными соснами и кедрами на пики и обрывы. Выше, на вершинах, травяные степи яйлы поднимались к самым облакам.

После долгого и трудного подъёма по дебрям и скалам, переправ через потоки и водопады, лазания по карнизам и утёсам в зелёной мгле лесной чащи, здесь под яркими лучами солнца чувствуешь себя в какой-то волшебной атмосфере. Воздух необыкновенно чист и свеж, он весь пропитан благоуханием горных трав и цветов. Грудь жадно дышит им и никак не может надышаться вволю. Простой процесс дыхания здесь необыкновенное удовольствие, о котором я раньше не имел никакого представления. В этом химически чистом и душистом воздухе мне казались невозможны никакие болезни, человек должен жить здесь вдвое дольше; здоровье, которое входит в лёгкие, чувствовалось почти физически, оно наполняло всё ваше существо. Воздух точно звенел и пел, пели горы и скалы и сам синий воздух. На душе был такой мир и такое восхищение божьим созданием, что жалко было думать до слёз о том, что неминуемо придётся из этого горного рая уходить в ничтожный земной мир, далеко внизу...

Сплошные, безвыходные и бесконечные леса заполняли необъятный, терявшийся в далёкой синеватой дымке горизонт. Внизу ярко-зелёные, выше темноватые и, наконец, совсем чёрные у меня под ногами, лохматые, ощетинившиеся соснами, точно грива вокруг причудливых лугов хребта. Кишмя кишели птица и зверь в этих недоступных человеку вольных приютах. Ушастые рыси, барсы, медведи и дикие кошки жили в чащах. Внизу в болотистых ущельях «свинота» хрюкала по ночам, как в добром хлеву, а повыше по вершинам, по заоблачным травяным лугам яйлы жили стада диких коз, оленей и сайгаков.

Роскошная южная растительность заполняла ущелья до того густо, что местами человеку было буквально невозможно проложить себе путь. Лавры, кровавые цветы гранатника, орех, айва, смоковница – всё это сплошь наполняло лесную дичь ущелий, рядом с каштаном, грабом, сосной, елью и господь ещё знает, какими растениями и деревьями. Плющ и дикий виноград переплетали этот естественный сад ползучими лианами, преграждая путь человеку. И вся эта красота и богатство погибала здесь и гнила, никому неведомая и невидимая, в то время как в других странах люди принимали за красоту природы жалкую и тщедушную растительность, лишённую даже самой скромной доли этой роскоши.

Теснота и гуща лесов Понтийского Тавра такова, что, бродя по ним, нога не может отыскать почвы. Ступаешь не на землю, а на переплёт упругих ветвей, на сплошной ковёр перегноя и листьев, на гниющие колоды и пни. Дерево здесь не допускает человека до земли, здесь повсюду только лес, и вверху, и внизу. Случайный охотник, вроде меня с товарищами − здесь единственный и мало понимающий ценитель, единственный исследователь, посетивший эти дебри.

Опершись спиной о небольшое дерево, стоявшее на полянке у самой границы леса, круто спускавшегося вниз, я вернулся мыслями к охоте и действительности. Рядом, в качестве телохранителя, «нукера» и денщика, сопел Ибрагим, подозрительно и неуверенно посматривая в лесную чащу. «Номер» наш был как нельзя более удобным. Вправо и влево, шагах в двадцати от нас, скрытые в кустах и потому невидимые, стояли два офицера-туркестанца: адъютант полковника и поручик Чаплыгин, высокий красивый шатен из известной туркестанской фамилии. Его родственники и однофамильцы были чуть не во всех полках туркестанского корпуса, и даже его командир носил ту же фамилию. Ещё дальше, в компании с двумя вестовыми и горнистом, на сломанном дереве не без удобства сидел полковник.

Осмотрев свой турецкий карабин и оглядевшись кругом, я по старому охотничьему обычаю перекрестился и крикнул: «Готово, полковник!» В ответ из кустов оглушительно грохнул и раскатился многократным эхом по горам винтовочный выстрел, сигнал для начала облавы. Далеко внизу лес в ущелье сразу ожил и загудел множеством голосов, звонких детских криков, стуком палок по деревьям и гулкими выстрелами загонщиков. Горное эхо подхватило и понесло по горам и ущельям всю эту какофонию. Подобной музыки эти глухие, привыкшие к тишине места, вероятно, не слыхали с сотворения мира. Ошеломлённый таким неожиданным эффектом горного эха, я даже растерялся в первую минуту. Было несомненно, что перепуганное население лесов немедленно начнет ломиться к нам через лесную чащу гораздо скорее, чем это предполагалось.

И действительно, с первых же минут загона, несмотря на то, что сами загонщики были далеко внизу и в сущности почти не сдвинулись с места, лес точно ожил. Глухой шум и далёкий треск внизу я заслышал уже через минуту-другую. Это испуганная насмерть невиданным шумом «свинота» пёрла через лес, не разбирая дороги, с хрюканьем, утробными вздохами и повизгиванием. Свиные стада, привычно спавшие по сырым и тёмным ущельям, снялись с лёжек и стремились уйти как можно скорее от непонятной, надвигавшейся на них опасности через хребет, где мы стояли.

Первой вестницей потревоженного лесного царства из чащи, как лёгкая ласточка, вынеслась прямо на нас коза, самое грациозное и прекрасное создание на свете. Кругом нас словно всё ожило и заговорило от появления этой пары красивых чёрных глаз и трепетных упругих ножек. Изумительно лёгким и изящным прыжком мелькнула она между тёмными стволами и белый пушок её хвоста исчез снова в чаще.

«Тах-х-х!.. тах-х-х!..» − грянули и покатились раскатами наши два выстрела безо всякого вреда для испуганной насмерть козы. Вместо сожаления о промахе на душе стало хорошо, что я не стал убийцей этого чудесного создания.

Наши выстрелы точно дали сигнал, так как по всей линии стрелков загрохотали, повторяясь эхом по ущельям, характерные выстрелы трёхлинеек. Снова лёгкий треск снизу, и прямо на нас, высоко прыгая через кусты, закинув рогастую голову на спину, как птица, вылетел козёл. Длинный раскат выстрела – и козёл, с треском ломая кусты, упал через голову. Полетели листья, затрещали сучья, и он забился на земле в кустах, невидимый. С места сойти было нельзя − это опасно как для нас, так и для соседей. Не успел затихнуть в кустах убитый козёл, как где-то справа с нарастающим гулом и храпом, невидимо для нас пронеслось целое свиное стадо, по которому раз за разом захлопало несколько выстрелов. Видимо, свиньи свернули и пошли вдоль стрелковой цепи.

Вслед за ними из лесу посыпал всякий зверь, так как по всей цепи стрелков загремели частые, как горох, выстрелы. Постепенно выстрелы хлопали всё реже и реже и,

наконец, стрельба совершенно стихла; зверь весь вышел из лесу и проскочил цепь. Снизу стали доноситься всё ближе охрипшие и потому ещё более дикие вскрики ребячьих голосов, загонщики поднимались в гору.

Загон кончился и, кроме двух коз, мы ничего не видели. Ибрагим недовольно ворчал, вероятно, думая то же самое, так как, спуская затвор на предохранитель, громко щёлкнул им на всю поляну. Я упорно вглядывался в лесную чащу под ногами, тая надежду на охотничью удачу хотя бы в последнюю минуту.

Солнце стояло над головой, нежно зеленели деревья внизу, за краем нашей лужайки лес уходил круто вниз и там, в зелёном сумраке, проступали среди горной заросли стволы деревьев. Вдруг мы оба замерли на месте... Из тёмных кустов внизу послышался такой треск и сопение, что я почувствовал настоятельную потребность оглянуться назад на дерево. Было похоже на то, что кто-то тащит, ломая лес, сквозь чащу какую-то тяжесть, кусты так и валились во все стороны. Не успел я дотронуться до затвора, как справа один за другим оглушительно грохнули два выстрела. И сейчас же из затрещавших кустов что-то взревело дурным и басистым рёвом боли и злобы. Из лесной чащи над обрывом поднялся по пояс из кустов огромный медведь и, ещё раз взревев густым болезненным басом на весь лес, опрокинулся навзничь и исчез в пропасти. Затрещал и загудел лес, гул и грохот обвала повторило эхо...

Далеко внизу, покрывая шум обвала, взвизгнул и закричал звонкий голос. Опомнившись, мы бросились к обрыву. Внизу в лесу затихал шум сорванной падением медведя лавины. Звонкий мальчишеский голос испуганно и уже радостно кричал снизу: «Аю!.. Аю!.. Аю!..»

Не разбирая дороги, прыгая с обрывов, мы бросились вниз. Срываясь с круч, хватаясь на лету за ветки и деревья и увлекая за собой лавину камней, земли и сухих листьев, мы как буря свалились прямо на головы столпившимся под скалою солдат и мальчишек. У подножья скалы, уткнувшись острой мордой в лужу крови, лежал большой чёрный медведь. Кругом с весёлыми и оживлёнными лицами толпились и делились впечатлениями охотники. Сверху продолжали лететь камни, и трещал под ногами лес: на помощь пострадавшим ломились сквозь чащу стрелки с яйлы.

К счастью, пострадавших, кроме убитого медведя, не оказалось. По счастливой случайности обрушившийся в пропасть медведь вместе с кучей сорванных им по дороге камней, ударившись о скалу, перелетел через неё уже мёртвый, описав дугу, и рухнул у её подножья. Под скалой как раз в этот момент стоял один из мальчишек загона, который таким образом избежал двойной опасности попасть в лапы раненому медведю или быть задавленным его тушей. Испуганный до смерти пронёсшейся над его головой растопыренной медвежьей тушей, он прижался к земле и заорал о помощи, которая немедленно прибыла со всех сторон.

Когда по сигналу горниста к убитому медведю собрались все стрелки и загонщики, оказалось, что охота была удачной. Кроме медведя и убитого мною козла, стрелки уложили пять диких свиней и бесполезного для них волка. Выпив и закусив «на крови», мы двинулись домой на обед. Шествие открывал полковник в сопровождении адъютанта, вестовых и горниста, за ним на длинных слегах, продетых через связанные ноги и лапы, несли трофеи охоты. Здоровенные солдаты-туркестанцы оказались никуда не годными носильщиками по горным дорогам, и вместо них за дело переноски дичи взялись мухтары. Каждого убитого зверя, как муравьи, облепили тучи мальчишек, которые со смехом и весёлыми криками помчали свои ноши под гору. Тяжёлые солдаты в своих пудовых сапогах, неся одни собственные винтовки, едва поспевали за этой босоногой и ловкой командой горных младенцев. Несмотря на сравнительно лёгкую дорогу, до этапа мы добрались только к четырём часам дня. Окончательно вымотавшиеся и едва передвигавшие ноги, мы являли довольно печальную картину по сравнению с турецкими ребятами, которые, проходив весь день по горам и принеся на своих детских плечах убитых нами скотов, не только вовсе не имели утомлённого вида, но накормленные обедом и довольные, принялись за весёлую игру

и беготню по двору.

При свете костров охотники столпились живописными группами вокруг убитых зверей, разглядывая их и делясь впечатлениями. Дикие свиньи, длиннорылые с длинной щетиной на спине и высокие на ногах, не производили на солдат впечатления, так как многие туркестанцы охотились на них и дома. Зато убитый медведь привлекал всеобщее внимание. К нашему приходу на дворе был уже готов приготовленный кашеварами обед. Для офицеров был устроен походный стол из досок и бочонков на свежем воздухе. Полковник в «холостом дезабилье», т.е., попросту говоря, в одной рубашке и подштанниках, председательствовал не только по праву старшего, но и как лучше всех умевший выпить и закусить. Он оказался очень милым хозяином и собутыльником. После нескольких тостов за успехи на охоте разведённым спиртом его здоровенный бас заглушил все голоса, тучная фигура заслонила соседей, а обширное чрево не знало конца аппетиту и выпивке. Этот весёлый ужин после удачной охоты заставил нас всех на время забыть и фронт, и революцию, и неясное будущее, которое нас всех ожидало.

После ужина при свете костров турок-охотник освежевал дичь. Медвежья туша, после того, как с неё сняли шкуру, производила впечатление человеческого трупа. Поражали огромные мускулы передних лап и точно женская грудь. Пулевых ранений на теле медведя нашли два и оба смертельные: одна в грудь, другая в позвоночник. Пуля, попавшая в грудь, разорвавшись, произвела чудовищные разрушения: оба легких и сердце представляли собой порванные в мелкие клочья ошмётки. Медведь, конечно, был убит на месте, и с обрыва упал уже только его труп. Шкуру для просушки повесили на ворота этапного двора, приколотив передними лапами к дереву. К утру она, вытянувшись от собственной тяжести, достигла сажени. По приговору суда, состоявшего из меня и двух старших офицеров под председательством полковника, медведь был признан трофеем поручика Чаплыгина, так как он стрелял со своего «номера», адъютант же бросил своё место и пришёл к нему в гости.

Ночью, потревоженные охотой, горы угостили нас концертом. Едва только зашло солнце, как из всех ущелий начался концерт взволнованных событиями шакалов. Сотни голосов плакали по-детски и рыдали вперемежку с дикими воплями погибших без покаяния душ. Изредка недовольные медвежьи голоса покрывали густым басом эту собачью свадьбу. К полночи, едва стали затихать шакалы, загудел богатырский рог. Я уже слышал его однажды на Кавказе и потому смог объяснить повскакавшим с постелей офицерам, что это ревел олень. Был конец сентября − сезон оленьего гона. Заинтересованная этими необычайными звуками публика, забыв о сне, вышла на балкон. Олень постепенно вошёл во вкус и ревел теперь всё слышнее и шире; звуки его голоса подхватывались в несколько приёмов эхом ущелий. В холодном редком воздухе горного леса раскаты этого волшебного рога достигали по временам силы грома. В нём тяжёлое густое мычание быка смешивалось с грозным рёвом дикого зверя.

Не успели стихнуть раскаты этого рёва, как с другой стороны из какой-то жуткой пропасти ему ответил другой такой же бешеный и громовой. К двум голосам скоро присоединился и третий, на этот раз из уже чисто сказочной дали.

Всю ночь до рассвета продолжался олений концерт, все давно спали, и только мы вдвоём с Чаплыгиным молча сидели на деревянных перилах, захваченные этими волшебными звуками. Уже когда утренний туман скрыл от нас серой пеленой ночную панораму гор, Чаплыгин бросил докуренную папиросу и встал. «Никогда не забуду эту охоту и эту ночь, − сказал он взволнованным голосом, пожимая мне руку, − спасибо вам за это!..» Вспоминать эту ночь бедному поручику пришлось недолго, через месяц его убили на фронте.

Утром туши зверей разделали, посолили и с взводом солдат отправили прямо через горы в полк. После их отъезда, распрощавшись с мухтарами и этапным комендантом, мы двинулись дальше к морю. Шоссе, спускавшееся теперь бесконечными зигзагами с гор, находилось в ремонте. Чины Земгора предводительствовали целой оравой турок, взрывали скалы. На нашу просьбу подождать со взрывами, пока спустимся, земгусары гордо отвечали, что ждать не могут, потому что имеют «стратегическое задание», мы же можем, если хотим,

спускаться вниз на свой страх и риск, так как они не ручаются, что после взрыва камни не обрушатся на наши головы. Полковник и пехотные офицеры отнеслись к этому равнодушно, а я, будучи верхом на горячей лошади, пугавшейся собственной тени, вышел из себя и выругал земского чина по матери. Месть за это не замедлила последовать. Едва мы спустились на три или четыре зигзага, как над головой грохнул взрыв, и с горы к нам на головы посыпались камни и земля. Лошадь моя встала на дыбы и повернулась вокруг себя, чуть не сбросив меня в пропасть. Доведённый до бешенства такой подлостью со стороны земского чина, я выхватил револьвер и разрядил всю обойму маузера по направлению смотревших на нас сверху рабочих. Красные фески метнулись врассыпную, побросав работу, и дальнейший путь мы совершили без всяких сюрпризов. Оказалось, что работу можно было прекратить, пока мы спускались, и стратегия от этого не пострадала. Полковник на такие мои резкие поступки только покачал головой, но промолчал. Революционное время приучило его ничему не удивляться, а решительные люди в то время были в моде.

На последнем этапе перед Офом мы сделали днёвку, собираясь на другое утро организовать здесь новую облаву. Грузин комендант этапа после обеда пригласил меня на рыбную ловлю, которая здесь производилась динамитом. На этапе стояла для работ на шоссе военно-дорожная команда, начальник которой имел с собой запас динамита. Кусок его с капсюлем и зажжённым бикфордовым шнуром бросали где-нибудь под обрыв горной реки и ждали результатов. Пока горел шнур, из воды поднимался тонкой струйкой в воздух дымок. Взрыв поднимал вверх столб воды, ила и камней, после чего нам оставалось только вылавливать из воды убитую и оглушенную сотрясением форель, всплывавшую на поверхность. За час такой ловли мы наловили к завтраку штук двадцать крупной форели. В горных речках она, в отличие от морской, не в синих, а в красных точках и много вкуснее.

К сожалению, этой рыбной ловлей закончились наши охоты в горах Понтийского Тавра, так как вечером из Байбурта полковник получил телеграмму, вызывающую его немедленно в полк по важному делу. Пришлось отставить приготовления к завтрашней охоте и спешно двинуться в ту же ночь обратно.

В Байбурте нас застали большие события. На двери исполнительного комитета была вывешена известная телеграмма Керенского, начинавшаяся словами: «Товарищи солдаты, Верховный главнокомандующий генерал Корнилов…» В далёкой России начиналась гражданская война, здесь же солдаты ходили хмурые и, ничего не понимая в происходивших событиях, ждали разъяснений от растерявшегося начальства. Приготовление к выборам в Учредительное собрание я застал в полном ходу. Мне, как делегату округа и члену исполнительного комитета, было по этому случаю поручено съездить в Трапезунд за избирательными бюллетенями. Этой поездкой я хотел воспользоваться также, чтобы достать перед выборами какой-нибудь агитационной литературы против крайностей и стадного голосования за социалистические партии в Учредительное собрание.

Не буду описывать дорогу в Трапезунд, которая была повторением уже описанного путешествия. Из Трапезунда в Батум я опять, как говорят моряки, «шёл на миноносце». В Батуме, кроме командировки, была у меня и другая цель, сердечного характера. Из писем Жени я знал, что она с мужем в Батуме и ждёт меня туда, чтобы так или иначе разрешить вопрос о разрыве с Ченгери. Встретившись с Женей и проведя с ней неделю в Батуме, я понял, что наше взаимное чувство не только не погасло, но увеличилось от разлуки и упрочилось. Ченгери смотрел мрачно, однако встречался со мной ежедневно, вероятно, предпочитая, чтобы я виделся с его женой у него на глазах, чем втайне. Мне он казался нелепым и жалким человеком.

В Батуме я побывал в местном комитете кадетской партии, где молодые люди снабдили меня соответствующей литературой для выборной кампании. На Кавказском фронте кадеты шли в бюллетене под № 1 и были единственной не социалистической партией, к которым у меня было чисто физическое отталкивание. Приходилось из всех зол выбирать наименьшее и голосовать за кадет, во главе которых тогда шли Набоков и Милюков.

Перед своим отъездом в Байбурт я в разговоре с Женей поднял вопрос о дальнейшем, находя настоящее наше положение совершенно неприемлемым для обеих сторон. Она отвечала, что готова оставить мужа и согласна стать моей женой. Очень хотелось мне этому верить, но уехал я из Батума всё же без особой веры в окончательность её решения. Судьба, однако, решила иначе.

В этот свой приезд в Батум я имел время и возможности его хорошо осмотреть и познакомиться. Город живописно, если смотреть с моря, рисуется на зелёном фоне невысоких гор. Выглядит он, как и все приморские города, довольно интернационально. Как все жители восточных портов, население его имеет общелевантийский вид. Все похожи друг на друга и с первого взгляда по их лицам даже и не разберёшь, где, собственно, находишься – в Бейруте, Бриддизи или в Батуме. Грек здесь похож на итальянца, армянин на турка, сириец на египтянина. Две-три мечети, как и два-три христианских храма в Батуме, незаметно тонут в общем пейзаже портового города, не придавая ему ни русского, ни восточного характера. Полукруглая каменная дамба порта, чёрные лапы каменных пристаней протягиваются от города к порту. Этот последний мёртв и безлюден ещё больше, чем в первый мой приезд сюда. Полдюжины миноносцев, низко чернеющих трубами у самого берега, да два пассажирских парохода, где помещаются на мёртвом якоре морские учреждения, вот и всё. На всём видимом просторе моря ни одного паруса, ни одной лодки...

Единственная достопримечательность города – это его обсаженные пальмами улицы, что придает Батуму совсем тропический вид. В конце длинного бульвара − городской сад, полный всевозможных тропических и полутропических растений: индийских, яванских и японских, которые здесь растут без всяких затруднений. Плохо только, что сад этот стоит на болоте и является рассадником комаров и малярии.

В Байбурт я возвратился в самый разгар выборов в Учредительное собрание, в которых мне пришлось принять деятельное участие. Моя предвыборная агитация за кадетскую партию и её литература, разложенная по всем клубам и читальням города, успеха явно не имели. Прокудин, считавший себя эсером, над этой неудачей добродушно и не без ехидства подсмеивался, так как солдатня поголовно тянулась за партией социалистов-революционеров, обещавшей народу «волю и землю». Обещания эти были тем привлекательней, что их подтверждало и правительство в лице его председателя Керенского.

Накануне выборов старик Каз-Булат пришёл ко мне и от имени всех своих земляков спросил меня:

− За кого голосовать?

− Это дело совести… голосуйте за кого хотите, − попробовал я увернуться от такого ребром поставленного вопроса.

− Ты наш начальник... как скажешь, так и будет.

− В таком деле не может быть начальников, вы люди свободные.

− А ты сам за кого билет подашь?

− Я за кадетов, список №1.

− Ну, значит, и мы тоже... спасибо, начальник. Спокойной ночи.

На другой день вечером, когда члены избирательной комиссии пересчитали вынутые из урны бюллетени, Прокудин с хитрой улыбкой протянул мне тоненькую пачку бюллетеней №1.

− Пересчитайте сами, господин поручик, верен ли счёт... двадцать шесть... вы сами и ваши ингуши!

К моей досаде и конфузу, он был прав, из всего многотысячного гарнизона Байбурта, кроме меня самого и двадцати пяти моих ингушей, ни один человек не подал голоса за кадет. В утешение надо сказать, что и «пролетарская» партия большевиков собрала немногим больше, потерпев на выборах в Байбурте оглушительный крах. Как и по всей России, тогда огромное большинство голосов было подано за эсеров: все хотели земли и воли...

Выборы в «учредилку» были последней вспышкой революционной энергии в

Байбурте. Солдаты явно устали от митингов, им надоели речи и революционные вопли ораторов, все они теперь единодушно и поголовно хотели одного − кончать опостылевшую всем войну и ехать по домам делить и пахать подаренную Керенским землю.

Дезертирство перестало быть преступлением и превратилось в обыденный факт. Все ночи напролёт через Байбурт молча шли угрюмые взъерошенные фигуры в серых шинелях, злобно огрызавшиеся на вопросы. Все они тянули на север к Эрзеруму и Саракамышу и дальше в Россию, «по хатам и куреням». В городе гарнизон также заметно редел, и когда-то шумные читальни и клубы стояли теперь пустыми. Мой Филипп, неразлучно сопровождавший меня во всех скитаниях три года подряд, помрачнел и явно стал меняться в худшую сторону. Он, правда, в качестве старого гвардейского солдата, видавшего свет и людей, долго не поддавался революционной пропаганде, но теперь в нём заговорила чисто мужичья жадность на даровщину, которая сама, как ему казалось, плыла в руки. Крестьянская неуёмная жажда к земле нанесла первую брешь в его мировоззрении. Походив на митинги, он вынес оттуда твёрдое убеждение, что в качестве крестьянина он имеет законное право получить отнятую у помещиков землю. Её, согласно словам ораторов, должна ему была дать никто другой, как партия социалистов-революционеров, к которой он поэтому немедленно почувствовал симпатию. Однажды, вернувшись с митинга с беспокойным огнём в глазах, он, по привычке щёлкнув шпорами, молча протянул мне какую-то брошюру.

− Что это за книжка?

− А вот... прочтите сами... в ей самая правда описана.

Взглянув внимательно на книжонку, я заметил, что она была не разрезана и оказалась программой партии социалистов-революционеров.

−А ты сам-то, Филипп, эту правду читал?

−И читать нечего... добрые люди и так всё разъяснили, − отвечал он не без задора.

Я знал, что Филипп был богатым екатеринославским крестьянином, владел полусотней десятин земли, был сельским судьёй и вдобавок сектантом, а потому, зная, что по новым понятиям он является «кулаком», предупредил его о том, что как бы эта «правда» ему не вылезла боком. Он не поверил и даже обиделся.

− Ну, уж нет никак... это вам, господин поручик, опасаться её надо, а я природный хрестьянин, мне ишшо земли дадут...

На этом наш разговор об аграрных реформах и закончился. Через неделю Филипп настоятельно запросился в отпуск, так как из дому пришло письмо, что его односельчане собираются делить землю местного помещика графа Воронцова-Дашкова, и мой вестач очень опасался, что его при этом дележе обделят.

Из отпуска он вернулся очень скоро и мрачнее тучи, со мной стал изысканно почтителен и услужлив, как в прежние, дореволюционные времена. В довершение перемены декорации он стал меня титуловать по-старинному «вашим высокоблагородием». Перемена эта меня удивила и несколько озадачила, и я даже попросил его не называть меня так, ввиду существующего декрета новой власти. Оказалось, что Филиппу «на новую власть наплевать», а революцию он считает «за одну глупость». Поражённый такой переменой фронта, я его стал расспрашивать, и оказалось, что дома вместо прирезки Филиппу «воронцовской земли» какие-то «сукины сыны», под которыми надо было понимать местную власть, отрезали у него, как у «сытой буржуи» 14 десятин луга. Это моего денщика так возмутило, что он сразу отказался от всех революционных завоеваний и теперь желал возвращения «старого режиму, когда был твёрдый порядок и не было никакого смутьянства».

− А как же та правда из книжечки, которую ты: мне показывал? - не утерпел я его кольнуть.

− Голову заморочили сукины дети... темнотой нашей пользуются чёртовы оратели, ваше высокоблагородие!

Верность Филиппа «старому режиму» продолжалась недолго. Через некоторое

время революционные перспективы, при которых было «всё можно», опять сбили его с толку. Как всякий крестьянин, он был большой стяжатель, а потому быстро заразился развившейся после переворота в тылах эпидемией хищения казённого имущества, которое некому уже было преследовать. Особенно на этом поприще отличался унтер-офицерский состав по хозяйственной части, тащивший кто во что горазд. Так вот, чтобы добиться такого питательного поста и погреть около него руки, Филипп задумал и стал проводить в жизнь очень сложную и неумную комбинацию. На смену уехавшим после корниловского выступления «от греха» ингушей из Тифлиса к нам прислали в качестве милиции пешую команду.

Команда эта состояла из мужиков-ополченцев, так называемых «крестиков», топтавших лаптями землю уже пятый десяток лет. Почему-то все они были уроженцами Ставропольской губернии, бородаты, приземисты, диковидны и похожи на что угодно, только не на солдат. К общему изумлению, эти обросшие по пояс дикие землееды оказались где-то по дороге в пух и в прах распропагандированными. Не имея никакого понятия о военной службе и дисциплине, они были переполнены всевозможными претензиями и требованиями, подчас совершенно неожиданными и всегда нелепыми. Скоро стало ясно из их постоянного галдежа, что и в Байбурте их кто-то волнует, вбивая в их лохматые и тёмные головы, что начальство ворует и всячески их старается «обойти».

Через две недели они устроили нам настоящий бунт, требуя каких-то «приварочных», бог весть где-то им недоданных по дороге из Ставрополя в Байбурт. Через день новая история, гвалт и угрозы «покидать начальство штыками», если оно немедленно не выдаст им «одёжи и обувки». Все эти скандалы были совершенно нелепы и бессмысленны, так как в распоряжении округа не было ни цейхгауза с обмундированием, ни денежного довольствия для ополченцев, так как и то, и другое они должны были получать при этапном управлении. Эти, казалось бы, совершенно очевидные вещи наших чабанов не останавливали и каждый новый день приносил с собой новый митинг, выносивший требования одно нелепее другого. Мы буквально ломали себе головы в догадках, кто и зачем мутит наших мужиков? В один из последних дней сентября к Лопухину явилась делегация бородачей и заявила ему, что команда выбрала себе в «фильтфебели» Филиппа Зинченко.

Ларчик, как оказалось, открывался просто. Мой вестач был тем самым таинственным агитатором, который бунтовал ополченцев, пользуясь их дикостью и революционным запалом, с которым они явились в Байбурт. Агитировал он их чисто из личных целей, дабы, добившись их доверия, пролезть в фельдфебеля и получить доступ к казённому имуществу. С этой целью Филипп врал мужикам, что он бывший вахмистр, разжалованный будто бы в денщики при царе «за народ», что он знает все ходы и выходы, в особенности по хозяйственной части, в области которой теперь начальство обворовывает солдат. Чтобы уличить воров и охранить интересы ополченцев, Филипп рекомендовал ставропольцам избрать его своим фельдфебелем, на что будто бы им дала право революция. Став же фельдфебелем, Филипп брался всё начальство вывести на чистую воду.

Когда вся эта история была выяснена во всех подробностях, я понял, что с Филиппом мне необходимо расстаться, и чем скорее, тем лучше. Позвав его в канцелярию и закрыв дверь, я с глазу на глаз без свидетелей назвал его «старой сволочью», опозорившей звание гвардейского солдата, и приказал ему немедленно убираться из Байбурта, куда ему угодно, пригрозив в противном случае отправить его в исполнительный комитет, где сам расскажу, что он не «разжалованный за правду вахмистр», а бывший жандарм, которого за провокацию я прошу отослать на фронт. Он сразу струсил и в тот же вечер скрылся из Байбурта, украв у меня на прощание почти всё бельё. Через два дня после его отъезда я обнаружил, совершенно случайно, что в подвале дома, где я жил, Филипп с двумя сообщниками курил самогонку, которой тайно торговал, несмотря на запрещение её как войсковыми приказами, так и распоряжением исполнительного комитета.

Ни с чем не сообразное поведение Филиппа, серьёзного и пожилого солдата, видавшего свет и лучше других разбиравшегося в событиях, с несомненностью показывали,

что революционное брожение «освободило» народные массы от всяких сдерживающих начал, и так продолжаться дальше, конечно, не могло. Если старый гвардейский солдат, солидный мужик, верующий в бога, мог позволить себе такие номера, то что же было ждать от пехотного михрютки, ничего, кроме своего деревенского хлева, в жизни не видавшего?... Надо было, как говорили в корпусе, «сматывать удочки» и уезжать в Россию, так как фронт всё равно должен был не сегодня, так завтра рухнуть и покатиться назад, со всеми из этого вытекающими печальными последствиями.

В начале ноября я неожиданно получил письмо из Трапезунда от Жени, что она бросила мужа и едет ко мне в Байбурт. Не успел я обдумать как следует это известие и изобрести какой-нибудь способ, как добраться до Трапезунда, как однажды, придя в исполнительный комитет, был удивлен известием, что меня там ожидает какая-то дама. Это оказалась Евгения Константиновна, только что приехавшая из Трапезунда на случайном автомобиле.

Это имело место 6-го ноября 1917 года, и с этого дня я стал женатым человеком, о чём никогда и ни на одну минуту не пожалел. Нам, видимо, в жизни было суждено вынуть счастливый жребий. Прошло больше двух десятков лет после этого дня и я могу, не кривя душой, теперь сказать, что в семейной жизни был всегда счастлив. Наши вкусы, наши взгляды, стремления и политические убеждения одни и те же, мы оба счастливые родители, не голодаем, чего же нужно ещё на земле для истинного человеческого счастья?

В середине ноября Байбурт совсем опустел и, полузанесённый снегом, принял вид покинутого и разорённого города. Все тыловые учреждения и штабы его уже покинули, оставались только этапные части и технические учреждения. По эрзерумскому шоссе весь день тарахтели железными колёсами двуколки и фуры отходивших в Россию частей. Однажды утром мимо дома, где мы одиноко жили с Женей, потянулся, стуча и гремя железом колёс и дышел, артиллерийский полк. Его зелёные ящики и двуколки ничем не отличались бы от сотен других, виденных мною на своём веку, если бы на каждом из них рядом с ездовым не сидела, укутанная с головой, женская фигура явно турецкого происхождения.

Как потом выяснилось из расспросов, этот полк долгое время стоял в турецком селении, где, как и во всём округе, почти не было мужчин. Голодные женщины, которых в каждом уважающем себя турецком доме азиатской Турции насчитывается по нескольку штук, скоро перезнакомились с солдатами, а затем, пригревшись у ротных кухонь, стали временными подругами скучавших по своим бабам артиллеристов. Теперь солдаты, получившие приказ об эвакуации в Россию, по вольности, предоставленной им революцией, забрали с собой и турчанок. В Байбуртском округе, как, вероятно, и в остальных местах завоёванных областей, «смешанные» временные браки между русскими военными и туземными женщинами получили постепенно право гражданства в глазах турецкого населения.

У нас это началось с лёгкой руки стоявшего в Байбурте Горско-Моздокского полка, в котором было несколько офицеров-мусульман из осетин и кабардинцев. Эти последние по соглашению с многосемейными отцами семейств, оставшимися без куска хлеба, вступили в браки с молодыми турчанками. Эти первые русско-турецкие браки были совершены по закону у кади, хотя и носили временный характер, что не играло большой роли ввиду лёгкости развода у мусульман вообще. В случае отъезда муж мог по желанию взять жену с собой или развестись с ней, уплатив её отцу известную сумму. Постепенно, с усилением голода среди турецкого населения и вместе с тем привычки к русским людям, отцы многочисленных дочерей становились всё меньше и меньше щепетильными в отношении формальностей брака, и красивые молодые турчанки стали обычным украшением офицерских квартир. Различие религий уже больше в расчёт не принималось, и эти союзы устраивались без больших затруднений и к обоюдному удовольствию всех сторон. Через специальных посредников заключалось условие, по которому отец девицы получал выговоренную сумму, с обязательством уплаты дополнительных денег в случае «развода». И

родителей и девиц подобная комбинация часто буквально избавляла от голодной смерти. Что касается самих турецких невест, то, как только по турецким селениям стало известно о хорошем обращении русских офицеров с их «жёнами» и о тех условиях, в которых они содержатся, охотниц до смешанных браков стало достаточно. Вместо голодной и холодной жизни и лошадиной работы до самой смерти в доме отца или мужа проданные русским девицы проводили свою жизнь, по их понятию, в роскоши и катались, как сыр в масле. Надо сказать, что у мусульманского населения азиатской Турции в моё время все домашние и полевые работы, до самых тяжёлых включительно, исполнялись исключительно прекрасным полом, в то время как мужчины проводили весь день по кофейням и чайханам, ничего не делая и важно перебирая чётки. Во время своих поездок по округу и на охоте я постоянно встречал целые караваны турецких баб, голов в 20-30, которые под руководством и надзором старика на собственных плечах и головах носили лес на топливо из приморского района через горы.

В противовес такому положению дел в родных деревнях турецкие девы, которые жили у русских офицеров на ролях временных жён, черпали из сосуда земных удовольствий полной чашей, живя сытно, беззаботно, разодетые как куклы. Надо сказать правду, они отнюдь не имели вида несчастных затворниц, проданных против их воли.

Среди пёстрых диванов, ковров и подушек такая гурия обыкновенно добровольно помещалась, свернувшись красивым котёнком у ног своего мужа и господина. Закутанная в пёстрые тряпки, она уже не закрывала личика и с весёлым любопытством разглядывала гостей. Огромные, чёрные и блестящие глаза у этих девиц занимали обыкновенно чуть не половину смуглого и тонкого личика и были полны любопытства и задора, а уж никак не стыда или горя. Мордочки этих пленниц всегда выражали самое полное довольство, как жизнью, так и в особенности мужем, на которого время от времени бросался взгляд, полный благоговейной преданности и любви. Наоборот, сам хозяин обыкновенно конфузился своего «семейного положения» перед приятелями и только смущённо поглаживал огромной лапой чёрную головку своей Шехеразады, которая норовила эту лапу каждый раз облобызать.

Помнится, однажды, придя по делу к этапному коменданту, я застал такую семейную картину. Поручик сидел за письменным столом и что-то писал, а на ковре у его ног, прижимаясь щёчкой к его колену, примостилась стройная, как берёзка, курдянка, обняв сапог поручика. Из-под стола она смотрела на своего властелина собачьим преданным взглядом, как на какого-то полубога.

Насколько я знаю, большинство таких турецких жён уехало со своими мужьями в Россию. Одна, разведённая, вернулась к отцу с приданым, но, не выдержав разлуки со своим сотником, покончила с собой, бросившись ночью в Чорох.

С началом революции солдаты, получившие все права гражданства, завладели и офицерской привилегией временного брака с турчанками. Здесь дело уже обстояло много хуже, так как после того, как был брошен фронт и армия хлынула через Закавказье в Россию, солдатня начала торговлю своими турецкими жёнами наравне с оружием и обмундированием. Один артиллерист, который вёз с собой турчанку, имел по этому поводу со мной откровенный разговор.

− Ну куда ты её везешь, ведь ты же, наверное, женат?

− Верно, господин поручик, женатый, а только... я её очень жалею и нипочём не согласен бросить. То есть и объяснить не могу вам, до чего девочка она хорошая... и обед сготовить и бельишко тебе простирает... завсегда на всё согласная и сроду я слова от неё поперёк не слыхал! Эхвеидием зовёт и, даже не поверите... руки целует. А моя законная-то дома... стерва... ей слово, а она тебе десять... Нет, дорогой товарищ, с нашими бабами турецких не сравнить. Пусть что будет, то будет, а я её домой в Рязань повезу... Таперя ить свобода, что мне жена могёть сделать?..

Зима и сковавшие землю морозы застали Байбурт сплошной развалиной. Все свободные дома, а таких было большинство, пошли на топливо оставшимся жителям и проходившим войскам. Стужа в турецких домах стояла звериная, так как печек по турецкой

архитектуре в них не полагалось. Мы жили с женой на отшибе в одной комнате пустого и заброшенного квартала. Несмотря на ковры, войлоки и паласы, которыми были завешаны стены и застелен пол, дуло со всех сторон. Железная печка, получившая впоследствии имя «буржуйки», помогала мало, так как она быстро нагревала комнату до банного состояния, но так же быстро и остывала, не сохраняя тепла, почему каждое утро у двери лежал иней. Ночью было жутковато в пустом разорённом городе, где делали, что хотели пьяные и распущенные солдатские банды. В темноте в морозном воздухе гулко грохали шальные винтовочные выстрелы.

За время революции мы все так привыкли к этой тревожной и полной угроз обстановке, что спали совершенно спокойно без серьёзных запоров, полагаясь в случае нападения на целый арсенал карабинов и револьверов, развешанных на коврах. Будучи всю жизнь любителем оружия, я собрал в Турции обширную коллекцию огнестрельного и холодного оружия и в том числе редкостную по качеству шашку. Купил я её у одного молодого казачьего офицера, который не знал в этом толка. Этот клинок венгерского происхождения времён крестовых походов был, несмотря на свою широту, необыкновенно лёгок. При рубке лозы шашка пела, как музыкальный инструмент и, тронутая за лезвие ногтем, издавала мелодичный серебряный звук. Она, как и всё остальное оружие, предназначенное было украсить мой кабинет в родном Покровском в качестве боевых воспоминаний, погибла в водовороте гражданской войны и революции, как и многое другое, ещё более ценное...

Скоро пришли вести, сначала глухие, а потом и официальные, что на место Кавказской армии, покидающей фронт «самотёком», для продолжения войны с турками должны прийти армянские добровольческие части, формировавшиеся в Закавказье. Параллельно с этим стало известно, что в округа Турецкой Армении будут назначены комиссарами видные руководители армянского национального движения. Служба под армянским начальством для меня была недопустима, как для русского офицера, так и как для человека, а потому, посоветовавшись с женой, мы решили двинуться из Байбурта в первых числах декабря. Окружного управления уже фактически не существовало: Лопухин уехал в Тифлис и в Байбурте, кроме меня, оставались только несколько человек маленьких чиновников, вся деятельность которых сводилась к выписке самим себе ежемесячного жалования.

Безошибочное чутьё надвигающейся опасности, которое не раз сослужило мне в жизни службу, начинало мне властно подсказывать, что в Байбурте мы не должны больше терять времени. Ни отставок, ни отпусков больше не было, каждый, как умел и как мог, устраивал свою дальнейшую судьбу...

Морозным декабрьским утром в глубине огромного молоканского фургона, утонув в груде ковров и подушек, мы покинули навсегда занесённый снегом Байбурт, в котором мне пришлось провести 10 памятных месяцев. Не успел город скрыться за поворотом дороги, как перед нами потянулось на многие сотни вёрст, через долины и ущелья, среди оснеженных белых гор эрзерумское шоссе. Далёкий и трудный путь предстояло нам сделать на колёсах и по глубокому снегу через два заоблачных перевала.

Дорога, по которой отступала с фронта вот уже два месяца Кавказская армия через Байбурт на Эрзерум к Саракамышу и дальше в русские пределы, представляла собой в декабре 1917 года ту же картину, как и Смоленская дорога при отступлении Наполеона из Москвы. На изрытом колёсами, засорённом навозом и сеном снежном шоссе в живописном беспорядке валялись поломанные двуколки, фургоны и телеги, окаменелые на морозе, промёрзшие насквозь оскаленные и раскоряченные трупы мулов, клочья рогож, щепки, ящики, пепел костров по краям дорог. И над всем этим спокойное серое небо в рамке сверкающих на солнце снежных гор. Закутанные в шубы и меховые полости, мы поначалу чувствовали себя спокойно и удобно. Это блаженное состояние, к сожалению, продолжалось недолго, а именно, всего лишь до первого этапа, где мы заночевали.

На дворе горели костры и толпились вооружённые солдаты и подводчики,

смотревшие на нас и наш багаж с нескрываемой враждебностью. Ночью в глубине тёмного и полного таинственных закоулков этапа я наглухо запер и забаррикадировал нашу дверь. Эта предосторожность оказалась далеко не лишней, так как за ночь несколько раз кто-то подходил к ней и пытался открыть, но всякий раз, когда я громко предупреждал, что буду стрелять, таинственные посетители нас оставляли в покое.

Перегон за этим этапом был началом наших дорожных испытаний. Здесь начинался подъём, идущий к перевалу, и лошади, выбиваясь из сил, едва тащили тяжелогружёный фургон, поминутно оскальзываясь нековаными копытами на обледенелой дороге, останавливаясь каждые полчаса с дрожащими от усталости ногами. А такого пути нам между тем предстояло сделать больше 300 вёрст.

К полудню, не успели мы сделать и трети пути, как обнаружилась новая беда: нестерпимый блеск снега под солнцем в разреженном горном воздухе настолько резал глаза, что буквально слепил людей и лошадей. Наш возчик, карский армянин Саркис, как и все армяне, оказался никуда не годным кучером и со своими лошадьми обращался вопреки всем законам логики и здравого смысла. Когда несчастные коняги останавливались, выбившись из сил, чтобы перевести дух, открыв рты и тяжело вздымая худыми рёбрами, Саркис слезал не спеша на дорогу и, став перед лошадиными мордами, начинал их пороть по головам. Для чего он это делал и чем при этом руководствовался – была его тайна. Утомившись, он вынимал кисет и начинал крутить самокрутку. Так проходило минут десять и полчаса.

–Саркис!.. – терял я, наконец, терпение, – почему мы стоим?

– Ничиго не могу поделатъ, дарагой... сам видишь, лошади нэ идёт. Бью его, как собаку, а она только головам критит!..

– Да подгоняй их сзади, зачем же ты их по морде бьёшь?

– Ц-ц-ц!, – чмокает Саркис, – это тебе не русская лошадь, она так не понимает...

Глухой ночью, спускаясь с первого перевала, воз наш застрял в глубоком снегу и совсем остановился. Кругом, по слухам, было много волков, и я приготовил винтовки, чтобы в случае их нападения дать сражение, но всё обошлось благополучно, и часам к десяти утра нас подобрал проезжавший военный грузовик, доставивший в Эрзерум. По дороге в горах мы встречали на шоссе горных куропаток, любопытных птиц вроде небольших курочек с характерным оперением на лапках, напоминающим штанишки. Пару из них я застрелил.

Эрзерум зимой 1917 год был грязен и отвратителен. В нём свирепствовали в это время холера и тиф, улицы были полны замёрзшей грязью, развалинами и переполнены пьяной и растерзанной солдатнёй, потерявшей всякий человеческий вид и облик.

Перед рассветом под окнами этапного помещения, где мы ночевали, бацнул выстрел, все повскакали, хватаясь за оружие. За окнами сыпала и горела перестрелка. Прогремела несущаяся в карьер по обледенелой мостовой двуколка. Кто-то заливисто и испуганно простуженным басом орал: «В ружьё, в ружьё!.. вашу мать!..»

Стрельба так же неожиданно стихла, как и началась. Утром стало известно, что солдаты нападали на вещевой склад и были отбиты караульными. Кто они были, никто не доискивался и не интересовался.

Часам к двенадцати дня мы с женой вышли в город, перепадавший снежок крыл небо тусклой унылой поволокой. Тяжёлая холодная дрёма стояла над горными заснеженными пустынями кругом и мрачным разрушенным городом, затаившимся по-звериному. Проходя по площади, мы услышали винтовочный выстрел, на звук которого бросилось несколько солдат. За углом угрюмо и молча стояла группа лохматых и распоясанных «товарищей». У их ног на обледенелой мостовой поперек узкой улочки навзничь лежал труп только что убитого старого турка с седой бородой в грязноватой размотавшейся чалме. Из головы его, перемешавшись с мозгами, расплывалась брызнувшая на аршин в сторону лужа крови. Мимо, не глядя на убитого и солдат, торопливо проходили офицеры, чиновники и сёстры. Никто никого ни о чём не спрашивал, никто не интересовался только что совершившимся убийством. Всё было понятно и без слов...

Путь между Эрзерумом и Саракамышем, исторический путь переселения народов,

был не только ареной недавних боёв, но и местом прежних русско-турецких кампаний; по нему когда-то проезжал и его описывал Пушкин. Древний Кипрекейский мост, перекинутый арками через Чорох, помнил Александра Македонского, которому предание приписывает его постройку. В одном селении мы проехали, не останавливаясь, через бушующую толпу солдат, окружившую прижатого ими к стене сарая пожилого полковника, который что-то кричал срывающимся голосом.

«Туркестанцы, – не повёртывая к нам головы, пояснил шофёр, – бросили, сукины сыны, фронт и вот теперь тут третий день митингуют». Полугрузовичок наш нёсся птицей, и не успели мы опомниться, как оказались на Зивинском перевале, знаменитом в истории всех войн между Россией и Турцией. По дороге радиатором автомобиля мы несколько раз разгоняли неохотно снимавшиеся с места стаи куропаток, угнездившихся от холоду на самой дороге. Милые кургузые птички в забавных панталончиках. Голая, унылая, без всяких признаков растительности снежная пустыня тянулась до самого Саракамыша, и мы радостно вздохнули, когда вдали показались зелёные от еловых лесов горы Саракамыша.

Уже стемнело, когда мы въехали в город. Огромное зловещее зарево многочисленных костров трепетало над городом, кругом стоял гул и крики многотысячных солдатских скопищ, расположившихся разбойным табором вокруг железнодорожной станции. Здесь в течение уже многих недель бросившая фронт солдатня жила в ожидании поездов в Россию, заполонив город и образовав пробку на железной дороге. Первые эшелоны, прибывшие с фронта в Саракамыш с оружием в руках, силой захватили и угнали в Россию все имевшиеся налицо железнодорожные составы Закавказья. Под угрозой самосуда и расстрела на месте, одуревшие от бессонницы и насмерть запуганные машинисты принуждены были вести эти составы по требованию своих вооружённых пассажиров вопреки всем расписаниям, куда им только было угодно.

Для прибывших во вторую очередь с фронта полков Туркестанского и Кавказского корпусов подвижного состава больше не было, и город сразу попал в полную власть потерявшей всякое человеческое лицо, голодной, замерзшей и озверелой солдатчины. Не хватало ни квартир, ни провианта, поезда больше не приходили. Ночью Саракамыш принимал зловещий вид захваченного и разграбленного ордами Тамерлана селения, чему способствовало множество костров, горевших на всех улицах и площадях. Власти в городе не было никакой, офицеры или бежали, или скрывались переодетыми. В комендантском управлении под охраной пулемётов день и ночь заседал большевистский ревком, «явочным порядком» объявивший себя хозяином Саракамыша. На вокзале, где вповалку прямо на полу и перронах лежали и спали тысячи людей в солдатских шинелях, зло огрызавшихся друг на друга, на наших глазах толпа без всякого видимого повода убила самосудом двух человек, про которых кто-то крикнул сдуру, что они карманные воры. Удивляться здесь ничему не приходилось, по диким мордам, потерявшим всякий человеческий вид, было видно, что с минуты на минуту надо ожидать общей бессмысленной свалки и резни...

У жены в Саракамыше были знакомства среди медицинского персонала, и она, беспокоясь за мою безопасность, решила не мытьём, так катаньем приютиться на ночь в местном психиатрическом лазарете, где старший врач был наш общий знакомый по Аббас-Туману. Выбравшись благополучно с вокзала, мы наняли подводу и отправились на поиски сумасшедшего дома, который не раз уже выручал меня из трудных положений. Вдоль дороги потянулись остатки пожарищ, обугленные телеграфные столбы, дымящиеся кучи мусора. Дальше шоссе было изрыто снарядами, заборы повалены и разбиты, на телеграфных столбах обрывки проволоки, мостовая усыпана битыми стёклами, посредине улицы лежала лошадь с высоко задранной закаменевшей ногой. Повсюду на улицах попадались солдаты в расстёгнутых шинелях без хлястиков, с заломленными на затылок картузами и папахами, с винтовками, перекинутыми через плечо. С треском из-за угла, перепугав лошадей, вырвалась мотоциклетка, от которой с проклятьями отскакивали в сторону прохожие... На площади, на перекладине телеграфного столба, высоко над землёй покручивался чей-то труп в одном белье. Мы проехали низкий каменный дом

комендантского управления, на крыльце которого стояли два раскоряченных пулемёта и расхаживали часовые с красными бантами. Время от времени сюда подкатывали автомобили, из которых выскакивали и бодро вбегали по ступенькам молодые еврейчики из земгусаров. Толпа пьяных и растерзанных солдат, обступив комендантское, орала и материлась страшным матом, густо висевшим в воздухе, грозилась кому-то, с руганью лезла на крыльцо, обрывалась и шарахалась в темноту. Два прожектора ползали белыми лучами по тёмным окнам домов замершего в ужасе города, выхватывая из ночи отдельные, куда-то бегущие фигуры.

После долгих поисков по городу, мы уже глубокой ночью нашли искомый лазарет, одиноко и глухо стоявший на отшибе, на самом краю города. В окнах не было ни одного огня, и мы долго стучали, пока нам не открыл заспанный и лохматый молодой человек, оказавшийся студентом-медиком Илюшей Шустером, по условиям революционного времени занимавший должность старшего врача. Это был весьма оборотистый и юркий еврейчик, с первых дней революции сразу выплывший на широкую воду и теперь в Саракамыше пылавший большевистской анархией, чувствовавший себя как рыба в воде, состоя членом всех местных комитетов и ревкомов.

Нас он встретил приветливо, как и его помощница женщина-врач, тоже иудейка. Главноначальствующий Красного Креста на Кавказском фронте сенатор Голубев почему-то евреям особенно покровительствовал, поэтому все учреждения этой организации были переполнены иудеями и не только на должностях медицинских, но и в качестве уполномоченных. Госпиталь оказался почти пустым, в нём, кроме десятка сумасшедших солдат, никого больных не было. Репутация сумасшедшего дома сохраняла свой престиж и во время революции, являясь своего рода защитой против вторжения бушующих стихий, не считавшихся ни с чем и ни с кем.

Поселившись здесь, мы с женой не выходили из этого тихого острова, лишь из окон наблюдая проявления «революционной воли масс». Массы эти, против своей воли плотно закупоренные в Саракамыше, исходили между тем злобой против всего мира и словоблудием на митингах, буквально лезли на стену от тоски и безделья. Самые дикие сцены происходили ежедневно у всех на глазах среди белого дня. Однажды под вечер я сидел в столовой лазарета и что-то писал. На улице был большой мороз и в тихом воздухе разносился каждый звук, каждый шаг редкого прохожего.

Издали заскрипел снег под ногами двух идущих людей, и до меня донеслись сначала неясные, а потом отчётливые звуки пьяного разговора. Собеседники остановились под самым окном, и мне был слышен каждый звук.

– М-ми-шша!.. – тянул один. – Миша! Так-то ты другу… отвечаешь…

– Так!..

– Стало, Миша… ты со мной нейдёшь… Миша?

– Н-не йду… к чёрту!..

– М-миша… это твоё последнее слово?

– Н-не йду!..

– Так-то ты, ссукин сын… а ещё друг… твою мать! Н-ну, держись!..

За окном неожиданно оглушительно грохает выстрел, заставивший меня подскочить на стуле. За ним жуткое молчание, и опять первый голос нерешительно спрашивает:

– М-миш… ты чего? Ты спишь… Миша, аль нет?

Скрипят по снегу неверные шаги и затем в лазаретную дверь внизу слышится грохот приклада. Кто-то дверь открывает и слышно, как тот же голос, но уже отрезвевший, начинает возмущённо орать:

– Ты санитар?.. ну, значит, и должон забрать больного солдата!.. Мёртвый, говоришь?.. Ну, значит, убили земляка... буржуи окаянные... под такую вашу мать!..

Жить при таких условиях в лазарете было тревожно и скучно. Пьяная солдатня не раз ломилась сюда по ночам, разыскивая спрятавшееся будто бы «офицерьё». С докторской

компанией, собиравшейся у Шустера по вечерам, мы с женой не сходились, всё это были почти поголовно евреи, люди чуждых понятий и среды. Особенно было уныло и одиноко по вечерам, когда мы с женой сидели в холодной и неуютной палате, прислушиваясь к звукам внешнего враждебного мира. Мучила полная неизвестность, будущее было совершенно неясно. Однажды, зайдя в канцелярию к Шустеру, я застал там одетых в черкески горцев. Оказалось, что это были приехавшие из соседних аулов осетины по каким-то торговым делам. Разговорившись с ними, я узнал, что в окрестностях Саракамыша находится несколько осетинских аулов, выселившихся сюда после покорения Кавказа. Они, узнав, что я бывший офицер Туземной дивизии, немедленно пригласили нас с женой к себе в гости.

Аул Базат, куда мы приехали через два дня в гости, очень нам с женой понравился. Он жил своей собственной отдельной жизнью, не имевшей ничего общего ни с революцией, ни с саракамышской анархией. Это было идеальное место для отдыха от всего пережитого, так как здесь жизнь была построена на старых обычаях и адатах, таких далёких, и потому милых, от современной жизни.

Через два дня после нашей поездки в Базат под окнами лазарета ночью разыгрался целый бой между бандой солдат и караулом, охранявшим военные склады. Это происшествие окончательно толкнуло нас на решение, пока не схлынет солдатская волна с фронта и не восстановится железнодорожное сообщение с Закавказьем, переждать в Базате. Такому решению способствовало и то обстоятельство, что в Саракамыш начали прибывать с Кавказа первые отряды армянских добровольцев во главе со своим командующим Андроником, которого Временное правительство не известно за какие услуги России произвело в чин генерала. Армяне явились в Саракамыш с необыкновенной помпой и с видом заправских вояк. Обвешанные целым арсеналом кинжалов и бомб, перекрещённые пулемётными лентами по всем направлениям, они целыми днями маршировали в торжественных процессиях по улицам, заранее хвалясь разбить турок в пух и прах. На фронт, впрочем, они выступали неохотно, а он, между тем, неудержимо катился к российским границам, обнажённый и брошенный русскими солдатами. Пленные турки, жившие в Саракамыше в числе нескольких сотен человек, с прибытием армян сразу попали в трагическое положение. Армянские воины, не оказавшие большой прыти в боях на фронте, оказались весьма свирепыми в тылу, и занялись поэтому на досуге убийством пленных при всяком удобном и неудобном случае.

Буквально не проходило дня, чтобы на улицах и, в особенности, на окраинах Саракамыша не валялось несколько изуродованных турецких трупов. Сознавая свою обречённость после ухода русских войск из Саракамыша, пленные, пользуясь отсутствием надзора, стали десятками бежать из лагерей, ища спасения и убежища в мусульманских аулах. Базат являлся главным пунктом беглецов из Саракамыша, которых затем осетины ночью переправляли дальше в Турцию. Армянские добровольцы это знали и на дорогах по ночам устраивали на турок засады, почему вокруг города повсюду лежали расклёванные воронами и полузанесённые снегом жертвы армянской мести в ожидании Божьего суда...

В конце декабря мы с женой переселились окончательно из Саракамыша в Базат в дом богатого осетина Ахмета Хасанова. Аул, расположенный в речной долине, занесённый снегом и зарывшийся своими саклями наполовину в землю, был почти невидим издали и заметить это довольно большое селение зимой можно было только с самого близкого расстояния. Осетины, хотя и вели с солдатами в Саракамыше небезвыгодную коммерцию, но относились к ней с недоверием и презрением, почему в аул к себе не пускали ни под каким предлогом, для чего на окраинах селения день и ночь держали вооружённые караулы. За время войны и революции аул сильно разбогател, так как поставлял до революции в армию скот и продукты, а после переворота скупал за бесценок у проходивших с фронта полков снаряжение, обмундирование и оружие, вплоть до пулемётов и пушек включительно. В смутные дни осени и зимы 1917 года в Саракамыше можно было купить всё, что угодно, у солдат, торговавших оптом и в розницу казённым имуществом. Как говорили тогда, какой-то предприимчивый армянин даже умудрился купить у ревкома и заключить купчую крепость

на огромные казармы Елисаветпольского полка, занимавшие в Саракамыше целый квартал города...

Семья Хасановых жила в обширном полуподземном доме, со множеством служб и внутренних крытых дворов и закоулков под общей плоской крышей, покрывавшей чуть не половину селения.

Кроме Ахмета и его жены с детьми, в том же доме жили его три брата, отец и два дяди с семьями. Младшему из стариков было 96 лет. Жена Ахмета по библейскому обычаю была раньше женой его двух старших уже умерших братьев, от которых она к нему перешла, так сказать, по наследству.

Несмотря на свои 30 лет, баба эта имела уже взрослую дочь. Род занятий и жизнь Хасановых были не менее сложны, чем их семейные отношения, и были чрезвычайно таинственны. Ахмет и его братья пропадали по целым суткам, возвращаясь всегда поздно ночью в сопровождении тяжело нагруженных подвод и вооружённых всадников. От нечего делать гуляя по их скотным дворам и конюшням, переполненным лошадьми и скотом, я постоянно натыкался на всё новые и новые подземные помещения, скрытые во мраке, могущие вместить целые табуны лошадей совершенно незаметно и предназначенные, по-видимому, для не совсем чистых целей, так как хозяева очень неодобрительно относились к моему любопытству. Не подлежало ни малейшему сомнению, что до войны аул Базат, расположенный у самой русско-турецкой границы, являлся одним из центров контрабанды, и в этом ремесле семья Хасановых была не последняя.

Как и среди кавказских осетин, среди базатцев было много христиан, которые теперь, ввиду приближения турок и падения русского влияния, снова вернулись к вере предков. Религия осетин и на Кавказе представляет собой такую амальгамбру язычества, христианства и ислама, что, в сущности, ни к одному из этих верований не относится.

Кормили нас с женой очень вкусно и сытно какими-то особенными слоёными пирогами с мясом и другими редкостями осетинской кухни. Впоследствии за всё это гостеприимство пришлось довольно дорого заплатить наличными. Связь с Саракамышем мы держали через неких молодых людей из военно-технической части земгусарского учреждения, стоявшего в городе. Там укрывались от военной службы несколько молодых московских купчиков и декадентских поэтов со связями. Мы к ним ездили в гости и игрывали в карты. В условиях революционного времени это была весьма приятная молодёжь, главным образом потому, что напоминала нам милое прошлое и потому, что они, как и мы с Женей, чувствовали себя чужими среди происходивших событий. Кроме нас, в Базате пережидал трудное время некий врач лезгин по происхождению, делавший среди мусульман в эти дни большие деньги практикой. Жену также несколько раз вызывали на эпидемию скарлатины в соседние аулы и татарские селения.

В середине января солдатские банды постепенно очистили Саракамыш, частью выехав по железной дороге, частью отправившись пешим порядком на Карс и Тифлис. Этим воспользовалась администрация госпиталя, которой удалось получить в своё распоряжение два вагона, чтобы эвакуировать больных в Тифлис, так как фронт подошёл уже к самому Саракамышу. Накануне нашего отъезда, когда мы уже были погружены в вагон и стояли на запасных путях, провожать нас явились приятели из Земгора, носившие собирательное имя «Андалузия», которые и обыграли нас с женой, как липку. В Тифлис мы выехали на другой день, имея в кармане сотню рублей всего капитала.

«Сумасшедший поезд», хотя и с большим запозданием, доставил нас благополучно в Тифлис почти следом за отступавшей или, вернее, бежавшей с фронта Кавказской армией. Только два дня назад из Саракамыша на Карс и Тифлис прошли последние эшелоны. Мы собственными глазами видели ещё совсем свежие следы этого шествия диких и совершенно потерявших всякий человеческий облик солдатских скопищ, всего несколько месяцев тому назад бывших стройными боевыми полками.

Огнём и мечом по линии Саракамыш – Карс двигались многотысячные таборы, оставляя на своём пути горы трупов и груды дымящихся развалин. Население Карской

области – татары и армяне, защищая свою жизнь и родные селения, с боем встречали и провожали каждый воинский эшелон. Сожжённые станции, поломанные, с порванной проволокой телеграфные столбы, разбитые в щепки вагоны, трупы людей и животных повсюду среди дымящихся и обугленных развалин селений по обеим сторонам железной дороги – как нельзя более красноречиво говорили о вчерашнем дне.

Крупная железнодорожная станция Евлах представляла собой особенно яркую иллюстрацию того, что имело здесь место. На вокзале и в прилегающем к нему посёлке произошёл бой солдат друг с другом или с местным населением. От вокзала остались лишь курящиеся развалины, среди которых торчали одни трубы. Небольшая рощица у станции не только пострадала от пожара, но и была центром ожесточенного ружейного и пулемётного огня, так как обугленные стволы деревьев, как кружева, светились насквозь пулевыми отверстиями; патронов здесь не жалели. Далеко вокруг, насколько хватал глаз, виднелись сожжённые и разбитые артиллерийским огнём аулы.

Приблизительно то же, что и в Закавказье, в то же время происходило и в других прифронтовых районах России. Миллионы мужиков, бородатых и рваных, потерявших всякий воинский вид, стихийно валили с фронта домой в деревни, в степи, в родные леса и болота. В вагонах с выбитыми стёклами, сломанными дверями они набивались вплотную друг к другу, простаивая так долгие часы и сутки. Ехали в теплушках, классных вагонах, на паровозах и бензиновых цистернах, на буферах, крышах и сцеплениях. Замерзали и гибли сотнями под колёсами, свалившись с площадки, проломив голову о железные арки мостов и просто опившись насмерть самогонкой...

В сундуках и мешках везли всё, что попадалось под руку. Керенки из разграбленного полкового ящика, пулемёты и ручные гранаты, ценности и барахло, снятое с убитого офицера, граммофоны, бильярдное сукно и куски кожи, срезанной с вагонного дивана. Бесконечные составы красных теплушек и ободранных классных вагонов, заплёванных, поломанных и потерявших свой когда-то лакированный вид, ползли по бесконечным российским равнинам с фронта. Часами и целыми днями стояли у разграбленных станций солдатские толпы. Матерным рёвом встречали эшелоны встречные поезда и вокзалы. Рвущими воздух залпами палили по холодным, заглохшим паровозам, с которых давным-давно бежали машинисты и кочегары. Монгольским нашествием прошлись фронтовые эшелоны по всей России, оставляя позади себя разорённые вокзалы, разбитые составы, разгромленные города…

А когда схлынули солдатские волны и миллионы серых шинелей рассосались по огромной стране, затлели постепенно и первые искры гражданской войны, запылавшей в начале 1918 года ярким пламенем. Уже глубокой осенью жуткого семнадцатого года по сёлам и хуторам впервые заскрипели напильники. Деревня, хлебнувшая хмеля безначалия и анархии, учуяла скорый возврат пугачёвских времён и готовила себе обрезы на защиту земли и вольного крестьянского житья «без начальства и податей».

Закавказское правительство, сидевшее в Тифлисе с весны 1917 года, не вдаваясь в излишний самообман, заранее учло и сообразило, чем должна была кончиться революция на фронте, и потому задолго до отступления армий приняло свои меры. Дабы рано или поздно хлынувшая с фронта солдатская лавина не смела бы на своем пути столицу Кавказа, в спешном порядке была построена специальная обходная ветка, передававшая воинские поезда, прибывающие с Карса, непосредственно на Баку через Навтлуг в обход Тифлиса. Это мудрое распоряжение спасло город от участи быть сожжённым и разграбленным, чему он не раз уже подвергался за свою долгую и трудную жизнь.

Тифлис, такой знакомый и близкий, почти родной, за короткий срок нашего отсутствия резко изменился, приняв теперь облик нерусского города. Нерусский характер столиц Кавказа в 1918 году было самое характерное явление, которое бросалось в глаза. Русские штабы, канцелярии, офицеры, солдаты и чиновники куда-то исчезли, как исчезло и стушевалось в Тифлисе всё то, что связывало Кавказ с Россией. Туземный элемент, придававший раньше лишь известный колорит тифлисским улицам, теперь властно вышел на

первое место, совершенно завладев городом и всей жизнью.

Черномазые, носатые и усатые люди с самоуверенным видом, грузины, армяне и татары теперь являлись хозяевами здесь и распорядителями всех судеб. Разбойные фигуры со свирепыми лицами, обмотанные пулемётными лентами, увешанные кинжалами и с винтовками в руках, снуют по улицам с озабоченным видом, сидят, как живые арсеналы, в ресторанах и кафе, мотаются конные и пешие по всем направлениям. Тревогой и неуверенностью точно наполнен весь воздух, так как власти, в сущности, нет никакой. В кривых улицах и тёмных переходах базаров и туземных кварталов гремят выстрелы, льётся на камни мостовой армянская и татарская кровь. Кавказ, предоставленный самому себе, с ушедшими войсками, потерявший последнюю связь с Россией, пылал теперь никем и ничем не сдерживаемыми национальными распрями. Армяно-татарская вражда, воспитанная сотнями лет и десятками поколений, открыто вышла на улицу. Все государственные соображения опереточных правительств Азербайджана и Армении, все их добрые намерения и планы о мирном сожительстве потонули в этой взаимной ненависти, которая их совершенно поглотила. Наскоро сформированные армянские и татарские полки, представлявшие военную мощь новых республик, вместо поддержания порядка только подливали масла в огонь, сами принимая участие в этой резне. Армянский квартал Авла-Абар в Тифлисе вёл *правильную* войну с татарскими Ардачалами, перестреливаясь день и ночь через разделяющую их Куру. Бархатные тифлисские ночи были полны гулкими звуками дальних и ближних выстрелов. Из дому никто не выходил без оружия, и город превратился в лагерь сплошь вооружённых людей. В кафе, садах, театрах посетители сидели, обнявшись с винтовкой, с револьверами у пояса. Власти не чувствовалось никакой и каждый понимал, что сам должен защищать свой карман и жизнь. Городской милиции, на обязанностях которой теоретически лежала поддержка порядка в городе, население опасалось больше всего. Весь Тифлис знал о том, что в её рядах состояла целиком вся шайка местной знаменитости разбойника Шакро. Сдерживающая сила в лице русской государственности сошла со сцены, и заменить её в этом разноплемённом, кипящем национальным и политическим раздором крае было нечем. Во дворце наместника Кавказа на Головинском проспекте сидели сразу три правительства в лице национальных кабинетов Армении, Грузии и Азербайджана, власть их была призрачна и дальше дворца не простиралась.

В этих благоприятных условиях разбой, никогда не прекращавшийся в Закавказье, теперь расцвёл махровым цветом. Огромное количество оружия, брошенного и проданного армией, разошлось по рукам охочего до него населения, в результате чего разбойничьи шайки завладели всеми трактами и дорогами, прекратив всякое нормальное сообщение. Смутное, тяжёлое и жуткое время...

По приезде нашем в Тифлис санитарные грузовики доставили нас с вокзала в 52-й госпиталь Красного Креста, помещавшийся на Михайловской улице во дворце великого князя Александра Михайловича, на берегу Куры. Несмотря на то, что лазарет этот предназначался для нервнобольных, население его в тогдашнее суматошное время далеко не походило на обычный состав подобных учреждений. В большинстве своём здесь нашли временное убежище здоровые офицеры, отсиживавшиеся от революционной неразберихи. Всё это были уроженцы России, и деваться им пока что, как и нам с женой, было некуда.

На всех железнодорожных узлах с Кавказа в Россию сидели в эти дни, как соловьи-разбойники, разные большевистские, анархистские и просто уголовные «комиссары», занимавшиеся грабежом поездов и вылавливанием офицеров, которых расстреливали на месте неизвестно почему и за что. Тифлисские газеты каждый день приводили десятки имён офицеров, убитых на узловых станциях солдатчиной и комиссарами. Так, например, в первый день нашего приезда в Тифлис я прочёл о расстреле на станции Армавир моих товарищей по корпусу, трёх братьев Чемодановых, пытавшихся пробраться переодетыми с фронта на родину.

Революция в начале 1918 года вступила в самую кровавую свою фазу, период так

называемого «военного коммунизма», когда повсюду свирепствовал безмотивный террор, во время которого выпущенные из тюрем и с каторги уголовные элементы осуществляли, по терминологии того времени, «власть на местах». Эта кошмарная власть тогда царствовала в Крыму, Одессе, Новороссийске и Владикавказе, словом, по всем тем пунктам, через которые можно было пробраться из Закавказья в Россию.

Для русского офицерства на Кавказе, благодаря такому порядку вещей, оставалось лишь два выхода: отсиживаться в Тифлисе, если были деньги, если же таковых не имелось, «наниматься» на службу к одной из трёх закавказских республик, которым для формирования «национальных армий» не хватало офицеров-туземцев, почему они с большой охотой принимали русских офицеров.

Правда, имелся в это время в Тифлисе и так называемый штаб Русского корпуса из каких-то энтузиастов, мечтавших восстановить Кавказский фронт против турок и вербовавший для этого добровольцев. Предприятие это было явно безнадёжное, так как солдат-добровольцев совсем не было; а небольшие же группы офицеров, отправляемые время от времени на фронт, хотя и геройски, но совершенно бессмысленно погибали, брошенные в одиночестве на позициях панически удиравшими от турок армянскими частями, сменившими на фронте Кавказскую армию.

Эти армянские части, имевшие в тылу такой бравый и боевой вид, оказались совершенно небоеспособными и отступали, почти не принимая боёв, почему фронт был уже около Карса. Да и какой смысл был нам, русским, защищать границы чужих республик, раз Закавказье уже не принадлежало России и в нём с такой неприязнью относились ко всему русскому.

Много разговоров и принципиальных споров было среди офицерства лазарета по этому поводу. Разные были здесь мнения, но зато все они без исключения сходились на одном – отрицательном отношении к революции и неприятии большевизма. Скверно было и на Кавказе, где местный шовинизм с каждым днём начинал принимать всё более уродливые и нелепые формы. Лучше других к русским относились армяне, но зато к этому народу менее всего склонялись симпатии офицеров, как людей военных. Дело заключалось в том, что армяне, слывшие всегда на Кавказе народом мирным и робким, не носившим даже никогда оружия, после революции вдруг поголовно стали проявлять необыкновенную воинственность в условиях мирного времени. По тифлисским улицам на общую потеху разъезжали теперь армянские кавалеристы, которых в шутку прозвали «гусарами Святого Карапета». Смелое сочетание оранжевого цвета с красным их формы в соединении с неумением держаться в седле вызывали шумное веселье тифлисцев. Надо правду сказать, что это гордое дефилирование в конном строю разряженных, как клоуны, авлаабарских лавочников действительно представляло забавное зрелище.

В противоположность армянам грузинские части, в которых было много своих офицеров, представляли собой очень приличный воинский вид, но зато грузинский шовинизм и претензии шли дальше всех, что не могло нас не отталкивать. Кроме того, во главе грузинского правительства стояли партийные социалисты Гегечкори и Чхеидзе, имена одиозные для русского человека после революции.

Мусульманский корпус, формировавшийся в Тифлисе третьей закавказской республикой в лице Азербайджана, привлекал к себе больше всех мои симпатии. Как это ни странно, мусульманское население Закавказья, исторически больше всех потерпевшее от русской государственности, теперь было наиболее лояльным к России и наименее склонным к принятию революционных идеалов. Особенно это было заметно среди их высшего класса, где в противовес грузинскому дворянству татарские и горские ханы и беки явно симпатизировали России, не скрывая своих монархических убеждений. К этому надо добавить, что ввиду сравнительно небольшого числа офицеров мусульман в полки мусульманского корпуса охотно принимались русские и отношение к ним, как со стороны начальства, так и со стороны сослуживцев, было прекрасное.

Сидя в Тифлисе без денег, я не имел возможности долго раздумывать, потому скоро

остановил свой выбор на одном из конных полков мусульманского корпуса, тем более, что уже привык к горцам за время своей предыдущей службы и составил в их среде себе обширные знакомства и связи.

В то время, когда население нашего госпиталя совещалось по текущему моменту и дискутировало, по соседству случилось небольшое происшествие, как нельзя лучше характеризирующее тогдашнюю тифлисскую жизнь.

Разбойник Шакро что-то не поделил с руководителями городской милиции и «отозвал» своих людей из её состава. После ссоры с милицией Шакро обосновал свой штаб на небольшом острове Куры, как раз против нашего лазарета. Однажды в глухую полночь, когда уже все спали, под самыми окнами дворца началась стрельба. Привыкнув к этим обычным для того времени звукам, мы пробовали снова заснуть, но это оказалось невозможно, так как перестрелка, всё оживляясь, скоро превратилась в настоящий бой. Как можно было понять, кто-то обстреливал остров правильным огнём, с острова в ответ также неслись залпы. Несколько пуль залетело и к нам во дворец, обсыпав штукатурку на лепных карнизах. Бой продолжался с полчаса, после чего стрельба постепенно затихла. Утром выяснилось, что вновь назначенный начальник милиции в доказательство своего служебного рвения атаковал Шакро в его логове. Атаман со своим штабом, пользуясь ночным временем, всё же удрал, и на острове победительница милиция нашла только двух убитых. Дело окончилось ничем, если не считать шумовых и световых эффектов, до которых такие охотники кавказские человеки.

В первые дни приезда в госпиталь на Михайловской улице я обратил внимание на необычайное пятно на фоне сплошной военщины в лице молодого человека в хорошо сшитом штатском костюме. Это оказался военный моряк лейтенант Георгий Георгиевич Коллен. Он лечился здесь от нервного потрясения, которое пережил в первые дни революции в Гельсингфорсе в дни избиения там морских офицеров. Сам он был тяжело ранен пулей в живот и едва вырвался из рук озверелой матросни. Из его рассказов я впервые узнал о том, что убийства офицеров Балтийского флота были заранее организованы по определённому плану германской контрразведкой, почему большинство убийц даже не принадлежали к составу флота. Впоследствии, будучи уже за границей, я получил и документальные данные этого факта.

Георгий Георгиевич после пережитого страдал манией преследования в лёгкой форме, почему носил штатское платье и подозревал всех лиц, одетых в морскую форму, в том, что они по поручению матросских комитетов следят за ним, Колленом. Однажды, когда мы были с ним в театре, он оттуда сбежал в середине пьесы из-за того, что среди публики обнаружил какого-то морского кондуктора. Чтобы не оставлять его одного ночью, пришлось покинуть театр и мне, так как в Тифлисе в это время после захода солнца ходить одному не рекомендовалось, а тем более через Верийский мост, по которому лежал наш путь. На этом мосту чуть не ежедневно происходили вооружённые грабежи и убийства, после которых трупы спускались в Куру. Возвращаясь каждый день в лазарет ночью, мы с Коленом постоянно встречали на мосту у перил неподвижные молчаливые фигуры, почему всегда проходили мимо них, держа револьверы в руках и всем своим видом показывая готовность к отражению нападения. Престиж военных людей стоял тогда ещё высоко в Тифлисе, на нас ни разу не напали, несмотря на то, что мы не раз встречали на мосту явных профессионалов.

В этот период нашей жизни в Тифлисе я имел две странные встречи, и оба раза со старыми своими товарищами по кадетскому корпусу. Первая имела место на Михайловской улице с моим старым другом детства Лабунским, когда-то гостившим у нас одну Пасху в Покровском. Он был одет в солдатскую шинель без погон, шофёрскую кожаную фуражку и имел подчеркнуто демократический вид. После первых слов встречи я заинтересовался, почему Николай – поручик артиллерии – так странно был одет. Лабунский на это смутился и отвечал, что он больше не артиллерист, а состоит в автомобильных частях. Дальнейший разговор он скомкал и поспешил проститься под предлогом спешного дела. Впоследствии наши общие с ним знакомые по Тифлису рассказали мне, что Лабунский совсем «принял

революцию», братался с солдатами и вёл себя совершенно по-большевистски.

Другая встреча была ещё загадочнее. Как-то днём, идя по Верийскому спуску, я перегнал шедшую впереди меня пару: мужчину и девицу. Он был плотный и широкий в плечах человек среднего роста, одетый в штатское, она маленькая, худенькая, стриженая. Говорили они друг с другом на каком-то странном жаргоне, вроде воровского «блатного» языка. К изумлению своему я узнал в штатском своего одноклассника и товарища по корпусу Колю С., знаменитого гимнаста и силача своего времени. Мы поздоровались, разговорились, и я рассказал, почему живу в Тифлисе. С. в свою очередь сообщил, что его старший брат убит на войне, о себе же самом не сказал ни одного слова. На мой вопрос, почему он в штатском, я ответа не получил, так как спутница Коли, неприязненно слушавшая наш разговор, дёрнула его при этом за рукав, после чего они поспешили распрощаться. Я с недоумением смотрел им вслед, ничего не понимая. Что всё это значило? Ведь никто из военных в Тифлисе в то время формы не снимал, да и зачем?.. От кого и почему скрывался С., почему он не хотел ничего сказать о себе, и причём тут была эта стриженая девица?..

Так минуло две недели, по истечении которых наше положение с женой не только не выяснилось, но ещё усложнилось. От своих я не имел из дома никаких известий, да и не мог иметь, так как почта почти не ходила. В Москве и других крупных центрах власть как будто находилась в руках большевиков, на юге пылала полная анархия. Приходилось на неопределённое время застрять на Кавказе, и жена в предвидении этого съездила в Батум за своими вещами. По дороге она встретила в поезде генерала Ляхова, её старого начальника и приятеля. Генерал ехал в Батум на постоянное житьё, так как на Зелёном мысу у него было собственное имение. В этом имении он и был убит осенью того же года аджарцами.

Первыми шагами для установления контакта с мусульманскими кругами было моё посещение дворца наместника, где в то время находилось временное правительство Закавказья. Зная, как и всякий тифлисский житель, дворец снаружи, я никогда не был в нём внутри и был очень удивлён лёгкостью доступа в него теперь.

По узким деревянным лестницам и внутренним переходам я попал в обширную залу – приёмную, увешанную прекрасными картинами из времён завоевания Кавказа. В этой зале я сразу нашёл нужных мне людей. Оказалось, что мои статьи из Байбурта и Саракамыша в защиту мусульманского населения завоёванных областей здесь были известны, и потому я встретил самый любезный приём. Через полчаса должно было состояться заседание мусульманского комитета, в котором участвовал и командир Мусульманского корпуса генерал Али-Ага-Шихлинский, которому мне следовало представиться. Через залу, в которой я сидел, один за другим прошли в комнату заседания все видные лидеры мусульманства Закавказья, и в их числе тогдашний председатель комитета доктор Султанов, огромного роста и атлетического сложения татарин, лидер партии «Мусават». Он через несколько месяцев уже на посту губернатора Елисаветполя был застрелен на улице армянами. Как только закончилось совещание, меня пригласили в залу заседания. Доктор Султанов, поднявшись навстречу, пожал мне руку и, обращаясь к сидевшему за столом среди других членов широкоплечему генералу в черкеске, сказал: «Поручик Марков, друг мусульман и журналист, очень тебе его рекомендую». Генерал, оказавшийся командиром корпуса, любезно пожал мне руку и пригласил немедленно вместе с ним отправиться в штаб, чтобы оформить моё назначение. Все встали, и пока обменивались последними словами, некоторые из присутствовавших осведомились, не родственник ли я Льву Львовичу Маркову, популярному среди кавказцев директору Тифлисской гимназии. Узнав, что я его внук, они стали ещё ласковее и нашли, что симпатии к мусульманскому населению у меня наследственные. В автомобиле с генералом мы доехали до штаба корпуса, который помещался на одной из спускавшихся к Куре улиц. Обширное помещение, бывшая гостиница, было полно военного люда, в русской форме и в черкесках. Генерал предложил мне вступить офицером в формирующийся в Закаталах Лезгинский конный полк, на что я дал своё согласие. На мою просьбу принять врачом в корпус и мою жену, Али-Ага ответил

категорическим отказом, так как считал, что это противно мусульманским традициям и обычаю. При этом, чтобы смягчить свой отказ, он рассказал случай из своей собственной жизни, когда он, будучи во время русско-японской войны командиром батареи, чуть не погиб от заражения крови, не желая раненым обращаться за помощью к сестре милосердия.

Со своим адъютантом генерал после этого отправил меня к командиру Лезгинского полка, канцелярия которого находилась в том же здании. В небольшой комнате я нашёл группу офицеров во главе с командиром полка подполковником принцем Хосро Каджаром. Принц, как и большинство офицеров Лезгинского полка, служил в рядах драгунского Северского полка, который как бы и составил кадры лезгинов. Помощником его был старый нижегородец, ротмистр князь Джоржадзе, брат которого был моим сослуживцем по Туземной дивизии и погиб на войне. Хозяйственной частью ведал ротмистр Давыдов, происходивший из известной кавказской семьи. Кроме них, в комнате были молодой штабс-ротмистр из калмыков в форме астраханских драгун, нижегородец корнет Старосельский и плотный немолодой горец с длинными усами. Знакомя меня с ним, кто-то из офицеров сказал: «Гамзат-Бек – отец народа».

Представившись официально командиру полка, я от него уже официально получил извещение, что принят в ряды Лезгинского конного полка и должен в ближайшие дни выехать с эшелоном в Закаталы. Вместе со мной туда же должны были ехать Гамзат-Бек и поручик Муртазали Галаджев, родом закатальский лезгин, почему он и попал в полк, несмотря на то, что был пехотным офицером.

С этого дня я каждый день стал ходить в штаб корпуса в ожидании отправки эшелона, знакомясь с товарищами по полку и будущими сослуживцами. Все они по своей прежней службе являлись русскими кавалерийскими офицерами, таковыми и оставались и теперь, и потому относились к своей новой службе без всякого воодушевления, принимая её как необходимость. Из настоящих лезгин в полку было всего три офицера, из которых двое уже находились в Закаталах.

С первых дней моего пребывания в полку в глаза не могла не броситься странная фигура и роль Гамзата Халилова. Он в теории являлся как бы связывающим звеном между полком и закатальскими лезгинами. На практике же он был довольно тёмная личность, явочным порядком и не будучи никем уполномоченным, взявший на себя роль народного представителя. На эту роль он ни с какой стороны не имел и не мог иметь права, так как был самого скромного происхождения и до революции работал машинистом на железной дороге. Типы этого рода в Закавказье всплыли на поверхность после революции натуральным манером, как в мутной воде наверх всплывает всегда навоз. В штабе, где весьма смутно знали положение вещей в Закатальском округе, с Гамзатом весьма считались, на каком основании он уже сам себе присвоил титул Гамзат-Бека. Много в те суматошные времена болталось около власти всяких инициативных проходимцев и авантюристов, для которых российская смута являлась временем золотым и долгожданным. Болтаясь по помещениям штаба корпуса, мне пришлось здесь встретить многих знакомых и старых товарищей. Однажды промелькнул здесь и опять исчез куда-то мой однополчанин по Ингушскому полку корнет Измаил Боров, на ходу сообщивший много печальных вестей о смерти наших общих товарищей, погибших не столько от оружия врага, сколько от рук «революционной» солдатни. Встретил неожиданно старого своего однокашника по корпусу Владимирова, который, несмотря на «пехотное происхождение», сумел поступить в конный Татарский полк. Отец его также оказался здесь корпусным интендантом. Владимиров зазвал меня однажды даже в гости к своей невесте, которая оказалась дочерью полковника Черноглазова, бывшего несколько месяцев тому назад моим временным командиром по этапному батальону. Черноглазов с начала войны сформировал и привёл на Кавказский фронт особую конную сотню из разведчиков-охотников Уссурийского пограничного корпуса, в котором сам служил до войны. Черноглазов сотню эту называл «тигрятниками», так как в большинстве своём это были охотники на тигров. Сам полковник был милый и очаровательный старик, очень напоминавший великого князя Константина

Константиновича, как лицом, так и по фигуре.

В тех же коридорах штаба однажды пришлось встретиться и с фигурой уж совсем необычайной в кавалерийской среде, а именно с Юрой Сукиным – мичманом и старым однокорытником, который тоже теперь болтался в Тифлисе. Он был всё тот же весёлый, крепко сбитый и по-прежнему вравший напропалую, смотря честно и прямо в глаза собеседнику своими светло-голубыми глазами.

Постепенно пришлось заново обмундироваться в форму полка, что было нетрудно, так как черкески у меня уже имелись, приобрести же нужно было лишь красный полковой башлык да пару погон. Эти последние оказались в соответствии с духом времени и с соблюдением национальных тенденций, а именно вместо русских букв на них стояла половина названия полка арабскими иероглифами. В остальном погон ничем от русского не отличался.

Настал день отъезда к месту новой службы. Галаджев, как и я, ехал в Закаталы с женой, да ещё и с грудным младенцем. Мы условились с ним выехать из города вместе. Погрузка эшелона и имущества, которое мы везли в полк, должна была иметь место на вокзале Навтлуг за городом, и путь туда на извозчике был добрых шесть-семь вёрст. Под мелким нудным дождём мы кое-как доехали до вокзала и разместились в одном из купе третьего класса, из каковых вагонов состоял весь состав поезда. Кроме нас в том же «офицерском» вагоне ехали Гамзат с сыном, мальчишкой лет 15, и курд Нури из пленных турецких офицеров. Как уже в дороге выяснилось, почти половина Лезгинского полка состояла из пленных турецких солдат, зачисленных в мусульманский корпус в качестве единоверцев и союзников.

Исламистские круги Закавказья в это время готовились к тому, что турецкая армия займёт Кавказ, и на этом строили всю свою политическую игру. К присоединению Кавказа к Турции готовило мусульманские народы Кавказа и магометанское духовенство, бывшее всегда в толще народной турецкими политическими агентами. Не только в Закавказье, Азербайджане и Баку, но даже в Дагестане и Чечне в это время муллами велась усиленная пропаганда в пользу присоединения к Турции. Турецкая военно-политическая миссия летом 1918 года, прибывшая в Тифлис для осуществления этих планов, даже посылала своих отдельных членов в горы Дагестана, но весь план рушился благодаря англичанам, которые осенью заняли Баку и не допустили турецкую армию на Кавказ. Нури поэтому был первый из турок-однополчан, с которым пришлось встретиться. В полку ему при поступлении дали чин прапорщика, и он теперь носил на своих русских погонах одну звёздочку. Собой он представлял весьма любопытную и очень характерную фигуру. Родом он был из Моссула, худ, тощ, кривобок, с длинным не то перебитым, не то просто кривым носом. В соответствии со своей новой ролью «прапорщика Нури» он был одет в невероятно грязную и помятую черкеску грязно-коричневого цвета, сидевшую на нём совершенно несуразно. Зато она была обшита по всем швам широкими золотыми галунами и нелепой бахромой. Шашка, кинжал, револьвер и пояс были также неумеренно и безвкусно отделаны золотой насечкой. На руках, грязных и с поломанными ногтями, было столько колец и перстней, что ему приходилось ходить с растопыренными пальцами, так как руки в кулак не сжимались. В довершение великолепия его внешнего вида на ногах были надеты калоши, а на них огромные жандармские шпоры.

Помимо полусотни пленных турок, над которыми Нури был старшим, с нами ехали человек сорок лезгин-закатальцев. Обмундирование, надетое на всём этом сброде, было получено из остатков тифлисских складов и состояло из рваных и сальных ватных курток. Оружие было представлено в виде винтовок и револьверов всех систем и калибров, какие только нашлись в архивах арсеналов, и в том числе какие-то флинты доисторического происхождения, вряд не заряжавшиеся с дула. В общем, эшелон представлял собой очень живописную и красочную банду, меньше всего похожую на воинскую часть, хотя бы и революционного времени.

Кроме нас и будущих «всадников» Лезгинского полка, набранных с бору по

сосенке, в соседнем вагоне ехала группа офицеров Татарского конного полка, которые должны были сойти на станции Шамхор, где стоял их полк. Во главе их был мой старый знакомый, бывший ротмистр, а ныне полковник Трояновский, герой конной атаки при Петликовцы-Новые в Галиции. Будучи уроженцем Елисаветпольской губернии, с детства привыкший к татарам и проведший с ними всю службу, Трояновский после революции принял мусульманство и совсем состарился. С ним были три молодых офицера: два брата Бек-Эдигаровы и корнет Думбадзе, сын ялтинского градоначальника, все трое бывшие офицеры Крымского конного полка. Они всю дорогу пили и шумели, чему способствовало присутствие в их вагоне некой девицы или дамы, одетой в форму вольноопределяющегося и державшейся более чем развязно. С началом революции этот тип «женщины-добровольца» получил право гражданства, а с началом гражданской войны стал почти непременным персонажем всякой добровольческой части. Не в укор и не в осуждение будет это сказано тем немногим исключениям из среды женщин-солдат, кои погибли геройской смертью. Исключение, как говорят, подтверждает правило, а правило это было таково, что девять десятых этих женщин являлись, в сущности, полковыми проститутками. Да и как могло быть иначе, когда женщина принуждена была дни и ночи проводить в среде молодых и здоровых мужчин, живущих в постоянной атмосфере смерти и крови, когда всякие границы между тем, что «можно» и чего «нельзя» потеряли своё значение. Одновременно с этим, живя в условиях грубой и жестокой жизни, всякая женщина, как существо более слабое физически и морально, неминуемо почувствует потребность в любви, защите и ласке, заложенной в её натуру самой природой. Выбор же кругом неё самый широкий, на все требования и вкусы. Какая же женщина сможет устоять перед всеми этими условиями, толкающими её на падение, а падение это неминуемо, стоит только начать и упасть однажды... Недаром же Оскар Уайльд, тонкий знаток женской психологии, сказал: «Я знал много женщин, у которых не было ни одного любовника, но не знал ни одной, у которой был бы только один». (Вообще-то это 73-й афоризм Ларошфуко. – Прим. ред.)

Жалкий и отвратительный образ этих женщин-доброволиц, набросивших свою тень на и без того жуткую память гражданской войны, настолько отразился у меня в памяти, что я никогда уже в жизни не смогу без отвращения смотреть на женщину, одетую в мужские панталоны. Практика революционного времени с жестокой и беспощадной убедительностью доказала на наших глазах всю неуместность женщины в рядах войск, с оружием в руках. Не может и не должна она, самой природой созданная для того, чтобы быть матерью, источником жизни, способствовать смерти, насильственно отнимая жизнь у других. Жестокая расплата ждёт всегда тех, кто так или иначе нарушает незыблемые законы природы, и мне кажется, что печальная судьба женских батальонов и сотен женщин-одиночек, свихнувшихся на фронте, есть справедливое наказание Божие за нарушение Его законов…

Часов около восьми утра нас разбудил шум и крик многих голосов, доносившихся снаружи. Поезд стоял на станции Шамхор, и ехавших с нами татарских офицеров на вокзале встречали однополчане под музыку и звуки зурны. По кавказскому обычаю в вокзальном буфете шла по этому случаю попойка. Я оделся и сошёл на вокзал поздороваться со знакомыми. Пришлось выпить со всеми и пожать полсотни рук. Большинство офицеров было знакомо мне по австрийскому фронту, так как кадры теперешнего Татарского полка составил прежний полк того же имени, входивший в состав Кавказской туземной дивизии. Жизнь поэтому здесь была уже налаженная с прочными отношениями, установившимися за время войны. Это сильно отличало татар от Лезгинского полка, заново формирующегося из чуждых друг другу и разнородных элементов. От Шамхора нам предстоял дальше трудный и сложный путь. По линии железной дороги Тифлис – Баку, как и в Карской области, всё было сожжено по дороге и ограблено отступавшей армией Кавказского фронта. Местные татары, население воинственное и независимое, при начале отступления армии с фронта сорганизовались, и многие эшелоны туркестанского и кавказского корпусов, пытавшиеся здесь повторить грабежи и бесчинства, которые они устроили по дороге с фронта в Тифлисе,

были вынуждены после жестоких боёв с татарами разоружиться и сдать им всё своё оружие. Вдоль пути ещё оставались окопы и даже блиндажи, из которых татары вели обстрел воинских поездов. Как рассказывали мне очевидцы этих боёв, воинские составы, попадавшие в таких местах под перекрёстный огонь, оказывались в безвыходном положении, не имея прикрытия от огня, так как пули низали деревянную обшивку теплушек насквозь. Масса отобранного таким образом от солдат оружия разошлась по рукам местного населения, которое немедленно пустило его в дело, как против армян и грузин, так в особенности против пассажирского сообщения, представляющего заманчивую добычу в виде багажа и почтовых отправлений. Елисаветполь, переименованный в прежнее своё звание «Ганджи», ставший после революции официальной столицей Азербайджана, оказался вследствие такого положения вещей совершенно отрезанным от остального мира, чем и объяснялось то, что правительство татарской республики предпочитало жить в более безопасном Тифлисе.

Наш поезд был случайным и на свой собственный страх и риск шёл в Елисаветполь, с которым в это время уже почти не было железнодорожного сообщения из-за постоянных нападений. С раннего утра все площадки вагонов и даже крыши были заняты вооружёнными людьми, и мы, офицеры, не выпускали винтовок из рук, ожидая каждую минуту нападения и обстрела. На паровозе в знак дружественных намерений и специального назначения поезда развевались зелёные флаги азербайджанского правительства.

Кура всё время провожала нас слева, то приближаясь к линии железной дороги, то убегая от неё своими изгибами. Трудно было себе представить, что поезд шёл по области, которая только вчера принадлежала России. Нигде ни одного русского лица, ни одного русского слова, хоть бы случайно где промелькнуло русское селение. Кругом сплошная татарва, в лохматых шапках грибами из рыжих овчин, и татарва самая сквернейшая из всех татар, обитающих на территории Российской империи. Они и в прежнее мирное время были разбойниками, а теперь, конечно, и говорить не приходилось. Здесь разбойничьи шайки, прекрасно вооружённые и правильно организованные, взимают с путешественников постоянную дань и берут в плен поезда, торгуясь потом за выкуп пленных. Природа соответствует населению – гнусная, голая и безотрадно-жёлтая пустыня. На глинистой бесплодной почве никакой растительности, на которой можно было бы отдохнуть глазу, ничего, кроме колючей травы и бурьянов... Изредка вдали лишь грязное кочевье или кусок засеянного поля, да одинокие фигуры что-то высматривающих всадников. В общем, унылая и дикая картина, от которой тоскливо сжимается сердце. В редких селениях у станций несколько длинных одноэтажных домов местной характерной постройки с плоскими крышами и галерейками, всё это серое, каменное или глиняное. Гамзат явно тревожится и уверяет нас, что татары обязательно устроят где-нибудь по дороге на нас нападение, так как ещё в Шамхоре у него спрашивали, правда ли, что мы везём оружие?

На этом основании он требует, чтобы мы не сидели в вагоне, а расположились на площадках, с которых можно скорее соскочить в случае нападения. Женя, услышав это, также желает стоять на площадке рядом со мной, что для меня и неудобно, и неловко. Два или три раза поезд останавливается, так как с паровоза замечают на пути каких-то людей, и мы выставляем цепь впереди поезда. Гамзат и Нури в сопровождении группы турок выходят для переговоров, долго машут руками и кричат, пока дело не разъясняется, и мы двигаемся дальше. Ночью мы останавливаемся на какой-то станции и идём пить чай в соседний духан. Духан переполнен татарами, они пьют чай и кофе и что-то едят. Все вооружены, как на войну, винтовками, револьверами и кинжалами и потому при слабом освещении керосиновой лампы, мигающей под потолком, трактир напоминает пещеру разбойников, а не мирный приют. На что им столько оружия и что они с ним будут делать, кого тут можно грабить? Или это больше для декорации, на которую так падки все восточные человеки?

На другой день к вечеру после многих тревог и воображаемых опасностей, прибываем, наконец, в Ганджу. Город весь тонет в садах и огромных тенистых платанах, растущих вдоль улиц. Вокзал совершенно пуст, поезда здесь редкость. Гамзат часами сидит на телеграфе и ведёт таинственные переговоры с какими-то властями о нашем дальнейшем

следовании.

Как оказывается, накануне нашего приезда в Ганджу здесь произошло очередное сражение татар с армянами, почему город как бы на военном положении. Властями, какими именно, осталось для меня загадкой, запрещено после захода солнца ходить по улицам, и только татарская вооруженная до зубов стража перекликается в темноте среди пустых улиц. Это не помешало мне в ночь прибытия отправиться в город за продовольствием, так как в эшелоне был съеден последний кусок хлеба. В сопровождении трёх лезгин и милицейского чина, присланного из города в качестве проводника, мы выехали с вокзала на двух арбах. Широкие и пыльные улицы города тонут в густой тени платанов и чинар. Луна, кое-как освещая середину улицы, оставляла в густой чернильной тени тротуары, сады и дома. От угла до угла нас провожали стражники, гортанно перекрикиваясь, и судя по их поведению, ожидавшие каждую минуту выстрела из-за угла. Процедура подобного путешествия поэтому оказалась чрезвычайно сложна. Усадив из предосторожности нас в арбы, милицейский чин, дойдя до угла, свистел. В ответ из аспидной тьмы платанов доносился ответный свисток, после чего следовали переговоры, и навстречу нам выходили две-три настороженные фигуры, которые устанавливали наши личности и только после всех этих церемоний разрешали двигаться дальше до следующего угла, где та же процедура начиналась снова. Только после добрых двух часов такого путешествия по мёртвому, без единого огня городу, среди оперной обстановки, мы достигли цели путешествия – городской хлебопекарни. Булочная эта, помещавшаяся в каком-то подземелье, чуть освещённом коптилкой, как и все пекарни на свете, работала ночью, и в ней, как черти в аду, двигались голые пекари, не снимая с головы лохматых шапок, несмотря на страшную жару. Хлеба были в печи, и ждать пришлось долго. Присев в углу на мешки и обнявшись с винтовкой, неразлучной спутницей русского человека в эти тревожные времена, я задремал. Стражники, увешанные оружием, как музейные идолы, голые пекари и душное подземелье, уставленное мешками с мукой, постепенно смешались в какой-то нереальный полусон...

Разбудил меня лезгин Ибрагим, немного говоривший по-русски и потому с самого Тифлиса назначивший сам себя ко мне в вестовые. Арбы были уже нагружены свежим хлебом, и всё готово к возвращению. На улице похолодало, луна зашла, и кругом стоял непроницаемый предрассветный мрак.

Пронзительный скрип колёс закавказской арбы в состоянии разбудить мёртвого, и наше путешествие обратно на вокзал доставило много тревоги затаившимся во тьме стражникам. Кому, кроме совсем отчаянных и разбойных людей, пришло бы в голову кататься на арбе в такой час ночи по полусожжённому и затаившемуся в тревоге городу. Такое путешествие, с точки зрения местных людей, было далеко не безопасно, так как и проводник, и Ибрагим беспрерывно вертели во все стороны головами, всматриваясь во мрак, но меня сморил такой крепкий сон молодости, что я, лёжа на тёплых хлебах, заснул, как младенец. Вероятно, так мирно я и проспал бы до самого вокзала, завернувшись в бурку, если бы не был разбужен взрывом свистков, гортанных криков и прочих признаков туземной тревоги. Не успел я разобрать со сна, в чём дело, как Ибрагим, щёлкнув затвором винтовки, с шумом обрушился с арбы во мрак и, видимо не совсем благополучно, так как снизу раздались его заглушённые проклятия. Присмотревшись, я увидел впереди поперёк дороги на фоне огней вокзала ряд фигур с винтовками в руках. Из тьмы нас окликнули, в ответ возле арбы ответило сразу несколько голосов. Арба качнулась и опять двинулась вперёд. Снизу на неё, громко сопя, опять влез Ибрагим.

– В чём дело?

– Ничего, усе благополучно... это наши вышли встречать. Вот только ногу зашиб, когда с арбы прыгал...

Как оказалось, на вокзале наше долгое отсутствие вызвало тревогу, и навстречу был выслан на розыски взвод, который мои спутники было приняли за разбойников. Как это часто бывает с декоративными кавказскими вояками, Ибрагим и моя стража, увидев вооружённые фигуры на дороге, побросали арбы и своё начальство и удрали в кусты,

справедливо считая, что абрекам нужны груз и поклажа, а не их жизни. В поезде, конечно, больше всех волновалась Женя, считавшая, что разбойникам не найти большего сокровища, чем её муж.

На другой день Гамзат объявил нам, что его переговоры с Тифлисом и местными властями закончены и привели к тому, что дальнейший путь между Ганджой и Закаталами нам придётся сделать походным порядком, выгрузив всю поклажу из вагонов на подводы.

К полудню вокзал был окружён целым табором туземных арб, с огромными скрипучими колесами, каждая запряжённая двумя буйволами. На этих ноевых экипажах, двигающихся только шагом, нам предстояло пересечь всю Тушетию и, переправившись через Алазань, выйти в Закатальский округ, т.е. пройти около 75 верст. Едва только началась погрузка, как засеял мелкий весенний дождик, неспешный, но упорный, который уже не прекращался за всё время нашего путешествия, обратившись под конец в божье наказание.

Поместив наших дам, младенца и пожитки на одну из арб, мы с Галаджевым соорудили над всем этим кибитку из ивовых прутьев и брезента. В том же цыганском экипаже, кроме нас и возчика, примостился и пленный турок Мамиш, увязавшийся за нами с женой с самого Саракамыша, мужичонка малорослый, крепко сбитый и добродушный.

Тронувшись в путь, обоз наш заскрипел и завыл колесами, как сорок тысяч чертей, и этот нудный и беспрерывный скрип, как проклятие, преследовал нас без перерыву до самых Закатал.

Глинистая холмистая долина, переходящая в голые невысокие горы Тушетии, от дождя скоро раскисла, и окрестности от этого казались на редкость унылыми и безотрадными. Длинной, теряющейся вдали за частой сеткой дождя колонной растянулся обоз. Размытые дождём колеи дороги, унылые мокрые лощины, серые холмы кругом начали наводить на нас отчаяние уже к вечеру первого дня. Дамы начали злиться и нервничать. Нудный, ни на секунду не смолкающий скрип разномастных колёс, казалось, наполнял собой весь мир. Качаясь как маятник на арбе бесконечные часы этого путешествия, мы постепенно теряли представление о реальной жизни и действительности. Мне стало казаться на второй день, что глухой шум дождя по брезенту, скрип и тоскливая мокрая пустыня есть единственная реальность, и вне её нет ничего другого. Первую ночь мы провели в голом поле, составив из повозок нечто вроде каре, на случай всяких непредвиденностей. Оружие и обмундирование, которое мы везли, могло привлечь к себе внимание местных энергичных людей, а тушины были ничуть не лучше и не хуже других народов Закавказья. Наш неповоротливый обоз, скрипевший всеми своими колесами вот уже вторые сутки по их земле, конечно, давно был замечен, кем следует. Ночь прошла благополучно, но на рассвете часовые наши заметили на соседних высотах многочисленные фигуры явно местного происхождения. Молчаливые личности в мокрых и мохнатых шапках торчали повсюду группами и в одиночку, окружая весь наш лагерь. Забеспокоившийся Гамзат выслал к тушинам делегацию, которая и вступила с ними в переговоры. Оказалось, что туземцы никаких агрессивных намерений по отношению к нам не питали, а просто обнаруживали законное любопытство по поводу того, что по их земле путешествует такой большой и вооружённый караван. Получив исчерпывающие ответы на все свои вопросы и удовлетворив своё любопытство, тушины постепенно один за другим растаяли в тумане.

Второй день путешествия по Тушетии, как на фотографии, напоминал собой предыдущий: мокро, сыро и уныло. К вечеру мы добрались до первого селения в этой серой пустыне и остановились на ночёвку в доме богатого нухинского татарина – приятеля Гамзата. Собственно в самом доме остановились только Гамзат с сыном и мы, а остальные наши спутники расположились живописным лагерем на площади селения. Это был татарский аул на берегу Алазани, через которую нам предстояла наутро переправа. К вечеру тучи временно разошлись, небо прояснилось, и под лучами заходящего солнца мы впервые увидели огромную тёмно-синюю стену гор Дагестана с ослепительно блестевшими снеговыми вершинами. Татарское селение лепилось на обрывистом берегу Алазани, к которой здесь круто спускалось тушетское плоскогорье. Длинные одноэтажные дома с

галереями вокруг были разбросаны безо всякого порядка, окружённые садами и осенённые широкими шапками чинар и платанов. Неподвижные, как идолы, фигуры татарок и ребят торчали статуями на всех крышах, наблюдая наш караван, как редкое зрелище.

Дом нашего хозяина, кроме невидимого для нас гарема, состоял из трёх небольших и голых комнат кунацкой, на полах которой лежали жиденькие паласы и ковры. Восточные восьмиугольные столики составляли всю обстановку, и с дороги не на чем было толком отдохнуть. Как назло, проклятые татарки добрые три часа томили нас голодом, приготовляя плов. В ожидании ужина мы тянули пустопорожний вежливый разговор с хозяином о никому не интересных вещах и зевали наперерыв, благо согласно восточным понятиям о приличии это не считается невежеством. В довершение несчастья, когда нас пригласили, наконец, к столу, в плове оказалось гораздо больше риса, чем мяса, да и это последнее оголодавший Рамадан, сынишка Гамзата, слопал сразу всё, забыв почтение к старшим. После ужина из стенных ниш, скрытых в стенах, для нас были вынуты тюфяки, подушки и великолепные шёлковые одеяла самых пестрых рисунков. Все эти прелести, разложенные прямо на полу, представили собой на редкость приятные постельки. Не знаю, как другим, а мне нигде так хорошо не спится, как на полу, к чему я очень привык и полюбил за два года жизни в Закавказье и Турции.

Перед тем, как заснуть, у нас вышел любопытный разговор с Гамзатом по поводу настоящего и будущего. Бывший в Тифлисе покладистым и даже заискивающим перед офицерами человеком, он по дороге очень изменился, заважничал и уже вёл себя настоящим начальством. Видимо, временная власть, которую он получил над эшелоном своих земляков, начинала разъедать ему губу. По поводу его будущей роли в Закаталах у нас и произошёл разговор. Оказалось, что Халилов предназначал себя ни более, ни менее как на пост владетеля Закатальским округом, причём принц Каджар, командир Лезгинского конного полка, должен был быть при нём не более, как помощником по строевой части. В ответ на мои сомнения в возможности такого положения вещей Гамзат с большой уверенностью и спокойствием бросил: «Сам увидишь... кто будет хозяином в Закаталах».

Было ясно, что в качестве земского человека он чувствовал под собой прочную почву. Какова была эта почва и на чём была основана уверенность Гамзата в том, что это он будет правителем Закатал, для меня пока было не ясно. Но то, чего не знал я, по-видимому, хорошо знали турки и лезгины нашего эшелона, так как подчинялись во всём Гамзату совершенно беспрекословно, а Нури даже при всяком удобном случае брал ему под козырёк. Какую-то странную линию при этом вёл и Галаджев, намеренно стушевываясь в течение всего путешествия в пользу Халилова, хотя официально это он был начальником эшелона, а не кто-либо другой. Размышляя над всеми этими странными вещами, которые мне очень не нравились, я заснул.

Поднялись мы очень рано, и в это утро у меня произошло первое столкновение с новым порядком вещей, с которым впоследствии пришлось волей-неволей примириться. Пока мы завтракали на открытой галерее, турки-солдаты в ожидании приказа о переправе разместились на ступеньках вокруг. Откуда-то появилась зурна и бубен, занывшие несложный восточный мотив. Аскеры захлопали в такт, и танцоры в ремённых лаптях закружились на месте, выделывая неуклюжие выверты. Нури-эффенди, пивший с нами чай, что-то сказал одному из солдат вполголоса по-турецки. Солдаты засмеялись, и музыка, оборвавшаяся было на полутоне, вдруг зазвенела новый бодрый и весёлый мотив явно военной песни. Аскеры дружно и весело запели. По-видимому, слова песни имели какой-то смешной для момента смысл, так как солдаты и сам Нури усмехались и ядовито на меня поглядывали. Хозяин-татарин сидел молча, опустив глаза, как обычно делают восточные люди, когда при них кто-нибудь позволяет себе бестактность или неприличие.

Вдруг в словах песни я уловил имена «Энвер-паша» и «Николай» и вспомнил сразу, что уже где-то слышал эту песню, сложенную турками во время войны. В ней говорилось, что с помощью Аллаха неверная Россия будет побеждена Энвером, а побеждённый царь Николай будет горько плакать, как плачут все побеждённые исламом.

Теперь здесь эти вчерашние пленные своей песней напоминали мне, русскому офицеру, что предсказание это исполнилось, царь Николай плачет, а они, аскеры Энвера-паши, едут победителями в сердце Кавказа принимать побеждённые народы под власть падишаха.

В молодости я был горяч и лёгок на руку, и потому первой мыслью, которая пришла мне в голову, была разбить немедля морду улыбающемуся Нури. Видимо, он понял эту мысль по моим глазам, потому что вскочил на ноги и грозно закричал на музыкантов, делая вид, что они запели эту песню против его желания. Эта сцена сильно меня взволновала и в соединении с накопившимся за дорогу раздражением зарядила меня впрок зарядом злобы, которая только искала случая, чтобы вылиться.

Так как нам предстояло переправлять обоз через Алазань на единственном имевшемся здесь плоту, на котором помещалось не более чем две арбы, то надо было ожидать, что морока эта протянется весь день, почему было решено, что Гамзат, Галаджев и дамы отправятся вперёд, а у переправы останемся мы с Нури.

Дождь перестал, и утро было ясное и прохладное. Берег крутым обрывом спускался к реке, широкой и мутной. В едва уловимой для глаз дали чуть намечались леса закатальских предгорий. В дымке утреннего тумана тонули подножья хребта, и только снеговые вершины ярко блестели на солнце.

Неуклюжий полуразвалившийся плот, раскачиваясь и черпая краями воду, переправлял первые подводы. У воды чёрной массой толпились лошади, буйволы и телеги. Мычание, ржание коней, человеческие крики и скрип колёс, сливаясь в общий гул, далеко разносились в утреннем воздухе. У песчаной отмели человек тридцать лезгин и турок совершали утренний намаз, издали длинный ряд их кланяющихся фигурок очень напоминал сусликов далёких русских степей...

С криком, проклятиями и ругательствами возчики колотили палками буйволов, устанавливая в очередь неуклюжие и неповоротливые арбы. Равнодушные ко всему на свете буйволы, почуяв воду, с мычанием неудержимо лезли в реку. Разноплемённая и разноязычная толпа наполняла воздух неистовым шумом и гвалтом. Нагайка Нури без отдыха щёлкала по буйволиным спинам и по головам возчиков. Подойдя ко мне, охрипший и потный от бесплодных усилий навести хоть какой-нибудь порядок, он злобно бросил на траву свой карабин и рухнул с ним рядом.

– Ффа, какой глупый народ... к-какой глупый народ, никакой плеть не понимает!

Он с досадой хлопнул себя по колену и протянул мне серебряный портсигар.

– Кури, пажалста... драбезонский табак... ах-ах какой глупый народ! – повторил он с досадой и, помолчав, глубокомысленно добавил: – Табак даже хороший не имеет.

Опершись на локоть и сбив на затылок папаху, он со злобой смотрел на переправу, над которой стоял рёв и гул голосов. Видимо, он искренно считал себя здесь носителем культуры, которую он, Нури-эфенди, вёз в дикий и бестолковый край, которым он отныне призван повелевать и властвовать. Улёгшееся было раздражение опять начало мне подкатывать клубком к горлу при виде этого самодовольного и наглого дикаря... Погода, как и настроение, тоже стала портиться, опять заморосил дождик, и за его частым переплётом скрылись горы и закатальский берег, с реки понесло сыростью и холодом. Я встал и начал разыскивать среди обоза свою подводу и вещи. Разыскав телегу, я, к изумлению своему, обнаружил на моих вещах какую-то закутанную в ковёр бабу. Чауш Ибрагим, один из пленных турок, стоял около неё и, видимо, имел ко всему этому какое-то отношение.

– Что это за баба и кто тебе позволил её посадить ко мне на арбу?

– Кто позволил? – с вызовом отвечал он, – Нури-эфенди позволил, она мой начальник.

– Я здесь начальник... турецкая собака, а не Нури-эфенди, – заорал я на него, задохнувшись от негодования. – Сейчас сними свою бабу к чёртовой матери!

Чауш растерялся от моего крика, вбитая в него годами дисциплина приучила его бояться всякого начальства, но, оглянувшись на других турок, он, хотя и весь бледный от

волнения, решился возражать:

– Моя турка, – начал он было неуверенным голосом, – Нури-эфенди наша коменданта... твоя лезгинская начальник, нет... турецкий.

Хлёсткий удар по зубам не дал ему окончить фразы и разом выбил из сознания всякую мысль о дальнейшем сопротивлении. Баба сама, тихо взвизгнув, скатилась с телеги, а Ибрагим, вытирая кровь, с видом побитой собаки отошёл от телеги в кучу своих земляков, хранивших мрачное молчание. Среди многозначительного молчания я забрал с арбы бурку и, надев её, не оглядываясь, вернулся на обрыв над рекой. Откуда-то вывернувшийся Нури распорядительно выскочил из-за телеги и, грозно что-то закричав туркам, стал рассыпать удары нагайки направо и налево, срывая злобу. Турки, глухо ворча, точно оправдываясь, стали расходиться.

Вечером вольноопределяющийся лезгин Осман, присевший ко мне на арбу, рассказал, что с самого Тифлиса Нури подговаривал турок отказаться от подчинения русским офицерам в полку и сегодня чауш Ибрагим неудачно сделал со мной первую пробу. Осман предупредил, что ночью мне надо быть осторожнее, так как Нури очень зол на случившееся и может сам или приказать кому-либо из своих людей пустить мне пулю в спину. Когда около полуночи переправа была кончена и моя арба тронулась позади обоза, Осман с двумя приятелями всю дорогу дежурили у меня на возу, охраняя начальство от вражеских покушений.

Наутро турки были как шёлковые и уже, не ссылаясь на Нури-эфенди, исполняли все мои приказания на рысях. Видимо, они считали, что раз человек бьёт по морде турка в толпе его соотечественников, значит, имеет на это право и чувствует за собой силу.

К обеду мы прибыли в Лагодехи, первое селение Закатальского округа, где нашли остальных своих спутников. Поговорив с Галаджевым о странном поведении Нури и Гамзата, мы решили дальнейший путь ехать отдельно от эшелона, так как ни он, ни я не желали больше иметь историй, да и всё равно эшелон должен был, чтобы дать отдохнуть буйволам, остановиться на днёвку, которая нас не устраивала, так как сидеть в грязи и сырости в Лагодехах, всего в 15 верстах от Закатал, не было смысла. Забрав одну из конных арб, мы погрузили в неё жён и багаж, и на свой страх и риск, под тёплым весенним дождём двинулись в Закаталы. Галаджев, уроженец закатальского округа, хорошо знал дорогу, оба мы были хорошо вооружены и, кроме дождя, не видели на пути никаких препятствий. Весь путь дождь лил как из ведра, и моя кавказская шуба, набухши от дождя, вытянулась до самых пяток. Весь день и половину ночи мы шли рядом с арбой, хлюпая по колено в воде, и только к полуночи достигли небольшого селения, где заночевали в холодной комнате с земляным полом. Суша ночью одежду и обувь у очага, я задремал, положив снятые сапоги поближе к огню. Утром, к своему ужасу, пришлось убедиться, что сапоги от огня сгорели и в голенище невозможно было больше просунуть ногу. Пришлось спешно доставать, чтобы не оставаться босым, купленные в Тифлисе ноговицы из ярко-жёлтого сафьяна, немилосердно жавшие ногу. К счастью, дождь прекратился, и мы въехали в Закаталы перед вечером пятого дня пути на арбах. Как в насмешку над нашими мучениями, четверо суток подрядливший дождь перестал и больше не шёл ни разу за всё наше существование в Закаталах. Галаджевы сошли перед домом его родителей, а мы с женой остановились в пустом доме знакомого Галаджеву армянина. Дом этот был расположен на самом краю города и примыкал вплотную к лесным предгорьям. Лесная зелёная стена сразу поднималась от самого забора вверх с перевала на перевал, теряясь в вершинах Дагестанского хребта, круто подступавшего к Закаталам.

Жилище наше представляло собой длинный двухэтажный деревянный сарай, вдоль которого по верхнему этажу тянулась в виде узкого балкона деревянная галерея. Это было неуютное строение Востока того типа, который встречается повсюду, начиная с Закавказья и кончая Порт-Саидом.

Наскоро поужинав сухими продуктами, я занялся разборкой вещей, развешивая по стенам привезённые из Турции ковры и оружие. Жена, успевшая уже завести знакомства с

местным бабьём, отправилась с ними в баню, помещавшуюся по соседству. Стемнело, я зажёг большую керосиновую лампу и, разбирая чемоданы, думал о новом этапе жизни, предстоявшем нам здесь в пёстром калейдоскопе последних лет.

Вдруг в только что заколоченную мною с веранды дверь сильно постучали. Уверенный, что это посланный из штаба полка, где уже знали о нашем приезде, я, держа в руках лампу, открыл дверь. Два вооружённых винтовками лезгина в лохматых папахах вошли в комнату и, ослеплённые ярким светом, быстро и исподлобья осмотрели комнаты. Один из них неожиданно схватил меня за локоть и отстранил от выходной двери. Другой, с растерянным и в то же время изумлённым видом, продолжал осматривать раскрытые чемоданы на полу и груду вещей и одежды на стульях. Не выпуская моего локтя, первый из них, глядя мимо, глухо спросил на ломаном русском языке:

– Ты... кто?

– Как кто?.. Новый офицер-поручик Марков, только что приехал, а вы что, из полка ко мне присланы?

– Из полка?.. Нет, мы не из полка... – мрачно отвечал он.

Тут только впервые смутное подозрение стало закрадываться мне в душу при виде странного поведения и странных слов этих неожиданных гостей.

– Послушай, господин... а где армянин, хозяин этого дома?

Я сообразил, что лезгины были, попросту говоря, разбойники, к счастью, явившиеся не ко мне, а к хозяину-армянину, только в этот день перебравшемуся в соседнюю квартиру. Моё появление в квартире армянина было совершенно неожиданно для абреков, и этим и объяснялось их смущение первой минуты. Наступила довольно неприятная для обеих сторон пауза.

– Ну, вот что, господин... – нарушил тяжёлое для меня молчание один из разбойников. – Мы абреки, и... вышла ошибка. Туши лампу и не выходи на балкон, а то тебе плохо может... случиться.

Я не заставил себя просить, потушил лампу, и разбойники вышли на балкон. Осторожные их шаги по галерее скоро затихли у двери армянина, и затем я услышал их громкий стук к нему в дверь. Видимо, хозяин мой был человек опытный в этого рода делах, так как немедленно после стука грохнул выстрел, и вслед за ним громкие крики и плач многих голосов. Абреки, наткнувшись на сопротивление, уже не скрываясь, бежали мимо меня назад и застучали сапогами вниз по лестнице. Не успел я как следует прийти в себя от всей этой неожиданной и крайне глупой сцены, в которой я сыграл столь нелепую роль, как с улицы стал нарастать гул голосов и крики, и по лестнице снизу затопали десятки ног. По галерее быстро прозвучали женские каблучки, опередившие всех, и не успел я открыть дверь, как у меня на шее повисла Женя с мокрыми распущенными волосами. За ней в комнату ввалилась пёстрая, кричавшая по-русски и по-татарски, толпа мужчин и женщин. Как оказалось, хозяин наш армянин, как и все закатальские армяне, вообще каждую ночь ждал нападения разбойников и резни, почему и был постоянно готов к этой операции. Визит абреков в этот вечер не застал армянское семейство врасплох, и оно при первых попытках разбойников взломать дверь подняло крик, в то время как сам армянин выстрелил из винтовки в окно, чтобы дать тревогу.

Нападение это заранее было известно лезгинскому населению. Едва раздался выстрел, как бабы-татарки, мывшиеся в бане с женой, сообщили ей, что разбойники напали на наш дом; это заставило её, мокрую и полуодетую, сломя голову броситься домой мне на «выручку». Пока приводили в чувство упавшую в обморок Женю, в комнаты набилось довольно много горцев самого мрачного типа, как капля воды похожих на моих бежавших абреков. Они с любопытством, не внушавшим большого доверия, бегающими воровскими глазами осматривали наши вещи и оружие до тех пор, пока я их не выставил вон, вопреки правилам туземного гостеприимства. Разбоем и покушением на грабёж встретили нас Закаталы в первый же день приезда. Такое начало не предвещало в будущем ничего хорошего, что дальнейшие события полностью и оправдали.

Глухой угол Закавказья, отрезанный от остального мира с одной стороны Дагестанским хребтом, с другой рекой Алазанью – Закатальский округ, – и при царском правительстве считался диким урочищем. Ввиду трудности доступа в него, округ был выделен в особую административную единицу. Население его в этнографическом отношении представляло невероятную смесь рас и наречий. Преобладающим и подавляющим элементом в округе являлись мусульмане, представлявшие смесь и сочетание трёх рас, а именно татар, лезгин и грузин. Это население носило название джарских лезгин, но по существу не имело ничего общего ни по характеру, ни по обычаям с честным и благородным лезгинским народом. Как и все метисы, джарцы умудрились унаследовать от трёх различных рас, от которых вели своё начало, лишь одни отрицательные их черты. Закатальцы были самым беспокойным, вероломным, диким и продажным народцем среди всего пёстрого населения Кавказа. Эти черты заставляли всех соседей джарских лезгин, населявших соседние Дагестан, Кахетию и Тушетию, с ненавистью относиться к закатальцам и яростно отрицать какую бы то ни было кровную и расовую связь с ними.

После революции и исчезновения русской администрации из округа положение в Закаталах было кошмарное, анархия цвела махровым цветом, что в сочетании с выше указанными чертами характера населения делало пребывание русских людей здесь крайне неприятным. Власть в округе захватили явочным порядком в свои корыстные руки разные проходимцы вроде Гамзата Халилова, которые, подобрав себе шайку сообщников, делали здесь, что хотели.

В округе, кроме окружного административного центра в лице города Закатал, находились три больших селения Талы, Джары и Бедоканы, не считая отдельного Елисуйского ханства, находившегося на западном склоне хребта. Елисуй было малодоступное горное гнездо, сыгравшее видную роль в своё время в истории кавказских войн. Оно славилось горячими минеральными источниками и дикой красотой природы, но было малоизвестно, благодаря трудности доступа и отдалённости от всяких центров. Сам город Закаталы, расположенный вокруг крепости, занимавшей центральное и господствующее положение, состоял из двух-трёх сотен одноэтажных и двухэтажных домов обычного кавказского типа. Зато старая крепость представляла собой живой памятник, насквозь проникнутый памятью кавказских войн.

Гору, на которой стояла крепость, с трёх сторон окружал город, с четвёртой было ущелье, по которому шумела горная речка. Сразу за ней начинался густой лиственный лес, поднимавшийся со склона на склон к самому хребту. По красоте своей природы – дикой и могучей – Закаталы были совершенно райским уголком, редким даже для Кавказа, где красотами природы никого не удивишь. Покрытые густым и прекрасным лесом горы, подступая к самой крепости, поднимались гигантской стеной к небесам на страшную высоту. Из самих Закатал этого нельзя было заметить, и только отъехав от города на добрый десяток вёрст, можно было охватить взглядом всю эту гигантскую природную стену, поднимавшуюся ослепительными снежными вершинами высоко над облаками. Крепостные стены, сильно тронутые временем, но ещё высокие и крепкие, замыкали прямоугольником вершину плоскогорья. В центре его на крепостной площади, крытой каменными плитами, в недавнем прошлом помещались все административные и военные учреждения округа – церковь, казначейство, дом коменданта, управление округа, казармы и две тюрьмы. Одна из них, носившая название «новой», ещё исполняла своё назначение, и в ней сидели разбойники, другая, «старая», была заброшена и пустовала с первых дней революции.

Историки русской революции, вероятно, когда-нибудь займутся прошлым этой тюрьмы и заключённых когда-то в ней людей. Это мрачное каменное здание составляло часть крепостной стены и состояло из ряда низких сводчатых казематов, стены которых были настолько толсты и массивны, что тюремные окна с решётками, выходившие в ущелье реки, имели подоконники невероятной ширины. Эта средневековая тюрьма имела постояльцев в самом недавнем времени, так как на стенах виднелись выцарапанные гвоздём надписи свежего происхождения, как, например, какого-то горемычного «матроса 1-ой

статьи», томившегося, по его собственному выражению, здесь «осьмнадцать месяцев» в 1909 году.

Из расспросов старожилов мне удалось с грехом пополам установить, что в старой закатальской тюрьме были заключены секретные военно-политические преступники, совершившие тяжкие преступления, в большинстве участники восстания во флоте в 1905-07 годах. Точно в насмешку над гнившими в этой каменной дыре людьми, из узких тюремных окон открывался редкий по красоте вид на горы, реку и вольное лесное царство...

Какой желанной и какой соблазнительной должна была казаться свобода заключённым в сыром и тёмном погребе по сравнению с божьей благодатью и красотой за окном. Хотя бы здесь и отбывали наказание тяжкие преступники, лишённые всяких человеческих прав, всё же на земле не должно существовать такого изощрённого и жестокого наказания. Смертная казнь по сравнению с ним много гуманнее.

Мы осматривали эту тюрьму в компании весёлой и беззаботной молодёжи, но нашу весёлость как рукой сняло, едва мы переступили порог этих жутких казематов, которые видели столько человеческих страданий. Когда кто-то в шутку захлопнул за мной тяжёлую дверь камеры, и я остался один в сыром и душном мраке, понадобилось нешуточное усилие воли, чтобы не крикнуть от жути, которая меня охватила здесь.

Кроме тюрьмы в крепости, имелся и другой, не менее беспристрастный свидетель прошлого. Это было крепостное кладбище, расположенное вокруг чистенькой белой церкви типичной николаевской постройки. Оно являлось настоящей летописью старой крепости и памятником её славных дел и дней забвения. Среди сотни однотипных крестов над забытыми солдатскими могилами стояли с десяток памятников комендантам и офицерам. На большинстве из них надписи гласили о том, как старые кавказские майоры и подполковники александровских и николаевских времён честно клали свои седые головы на царской службе, отстаивая честь и существование вверенной им крепости, отбиваясь от «скопищ горцев», не раз осаждавших её в течение долгих и кровавых недель, пока не приходила, наконец, помощь «забытой крепости» из Кахетии или Дагестана. Не её ли прошлую жизнь описал певец кавказских войн В.И. Немирович-Данченко в героической эпопее, которую он озаглавил «Горе забытой крепости», воспевая давно прошедшие времена и давно умерших людей.

Кроме памятников героям прошлого, в большинстве своём относившимся к сороковым и пятидесятым годам прошлого века, имелись на крепостном кладбище могилы и недавнего прошлого, также говорившие о человеческих драмах, хотя и без поэтического налёта. Это были могилы людей, ставших жертвами революционного времени в 1905-07 годах. Двое из комендантов крепости лежали здесь под каменными плитами, убитые в эти сумбурные годы. В Закаталах была ещё свежа память об этих событиях, и мне показывали места, где произошли убийства.

Кроме кладбища и тюрьмы, остальные присутственные места, расположенные в крепости, ничем особенного внимания не привлекали, если не считать их типичной постройки, характерной для эпохи. Красивы зато были входные ворота, помещавшиеся в сторожевой башне, и спуск из них в город, обсаженный столетними платанами, из густой зелени их и был застрелен в 1906 году один из комендантов.

Офицерский состав Лезгинского конного полка, который я застал в Закаталах, был невелик. За старшего здесь был ротмистр князь Георгий Джоржадзе, из известной грузинской семьи Кахетии. Адъютантом являлся нижегородец штабс-ротмистр Магрурыбал Хан-Елисуйский, мой старый «корнет» по Школе. Первым эскадроном командовал в теории так и не приехавший никогда в Закаталы гродненец принц Риза Каджар, его же фактическим заместителем был северец Червинов; вторым эскадроном командовал бывший турецкий офицер, окончивший Сен-Сирскую школу, Хакки-бей. Из младшего командного состава налицо были нижегородцы князь Меликов третий, Каджар Ибрагим и два брата Старосельские, пехотный поручик Бахметьев и несколько туземцев лезгин, а именно, прапорщики Магома Абакарилов, Хан-Тальшинский, Муртазали Галаджиев и два турка Судык и Асаф.

Из турок наиболее интересным человеком являлся Хакки-бей, великолепный образец получившего образование восточного человека. Это был стройный, среднего роста, хорошо сложенный человек лет тридцати, полный сил, огня и энергии. Мать его была арабка, почему лицом он был смуглее, чем обыкновенно выглядят турки. Появление его и пребывание в Закаталах было малообъяснимо и связано с какой-то тайной, о которой никто в полку, кроме командира, не имел никакого представления. Нам было только известно, что Хакки тяжело раненым был взят в плен и после революции освобождён, как и все пленные турки. Почему он, образованный офицер, принадлежащий, кроме того, к генеральному штабу, теперь сидел в Закаталах, а не ехал в Турцию, в которую дорога была свободна, никто не понимал. Сам же Хакки был не такой человек, к которому можно было соваться с неуместным и нескромным любопытством, в особенности в деле, о котором он сам предпочитал молчать. Военное дело он знал прекрасно, был хороший кавалерист и не по летам серьёзен. К нам, русским офицерам и вообще к интеллигентным людям, он относился с большой симпатией и по-дружески, гораздо лучше, чем к своим соотечественникам туркам, уже не говоря о горцах, которых третировал свысока и явно презирал за некультурность и дикость. Кроме небольшой группы турок во главе с прапорщиком Асафом, державшихся по отношению к Хакки-бею с большим почтением и выражавших ему преданность, остальные его компатриоты были с ним холодны. В полку, где в сущности никто серьёзно не занимался службой, да и не мог заниматься, Хакки являлся начальником учебной команды, которую сам подобрал из интеллигентной молодёжи, и на диво её выдрессировал. В его команде были и три молодых русских вольноопределяющихся в лице двух юнкеров Елисаветградского училища и кадета Орловского корпуса князя Долгорукова. Этот последний был ещё очень юн и своими тонкими чертами лица и румянцем скорее напоминал девушку, чем мальчика. За девицу-добровольца я его было и принял, когда впервые увидел в собрании, где он обедал. Вообще, как нетрудно было заметить с первых дней пребывания в Закаталах, в полку собрались люди случайные, решившие в этом глухом углу так или иначе переждать грозу, и потому смотревшие на службу в Лезгинском полку, как на явление временное. При таких обстоятельствах излишнее любопытство и расспросы были совершенно неуместны и нетактичны, надо было принимать факты, как они были, не вдаваясь в излишний анализ.

При таких обстоятельствах все мы жили довольно дружно, как люди, принадлежавшие к одной и той же кавалерийской среде. Однако в полку не было и не могло быть той спайки и единодушия, которые существовали в регулярных полках, где жизнь была давно устоявшаяся, со своими обычаями и традициями. В Закаталах на каждом шагу чувствовалось, что всё здесь ненастоящее, временное и не имеющее никакого будущего.

Солдатский состав полка состоял из местных туземцев-лезгин и пленных турок. Вместо предполагавшихся при формировании полка четырёх эскадронов удалось с большим трудом набрать всего два, да и то насчитывающих едва по 40-50 человек в каждом. Одеты наши солдаты, или, как их называли, «всадники», были в какое-то допотопное тряпьё, найденное на складах бывшего в Закаталах дисциплинарного батальона, лошадей у «всадников» не было совершенно. Люди обоих эскадронов жили в двух больших казармах, но никакой дисциплины не признавали и уходили к себе в аулы, когда хотели, часто не ставя в известность своё начальство. Русского языка почти никто из них не понимал и потому командным языком в полку был татарский, официальный язык Азербайджанского «государства». Надо честно сказать, и этого последнего никто не знал, за исключением, конечно, турок и двух-трёх туземных офицеров. Правда, слова команд были нами заучены по литографированным листкам, но тем не менее из редких учений в пешем строю ровно ничего не выходило, так как между офицерами и всадниками не было общего языка, как не было его и между солдатами одного и того же эскадрона. Все наши люди были родом из различных селений, говоривших на местных лезгинских диалектах, которыми, как известно, так богат Дагестан. После нескольких безуспешных попыток навести некоторый порядок в полку, достать лошадей и приличную одежду людям, мы махнули на всё рукой и зажили личной жизнью. Жизнь эта была в крепости на редкость монотонна и проходила почти целиком в

четырёх стенах. Обедать и вообще столоваться в собрании я скоро перестал, так как жена не могла там бывать ежедневно. Принц Каджар на вторую неделю нашей жизни в Закаталах предложил мне, единственному семейному офицеру в полку, занять комендантское помещение, для чего из него надо было выселить священника, который поселился там явочным порядком.

Квартиру эту мы с Женей украсили дёшево и сердито в восточном вкусе коврами, подушками и диванами, дополнив всё это медвежьими шкурами, продававшимися в Закаталах за бесценок. По стенам я развесил свою коллекцию оружия и купленные женой турьи рога, отделанные в серебро. Рога эти, кроме украшения, служили также и посудой: в каждом из них при нужде помещалось до трёх бутылок вина. Эти оригинальные кубки придуманы на Кавказе не без задней мысли, так как, не имея подставки, их нельзя ни положить, ни поставить, пока вино не выпито. Однако пить из них тоже надо иметь сноровку и привычку, иначе всё содержимое может попасть не в рот, а на колени.

Спать пришлось также чисто по-восточному, расстилая на ночь тюфяк на полу. Я этот способ спанья предпочитаю всякому другому. Удобство его ещё и в том, что тюфяк и одеяла на день прячутся в шкаф, не загромождая, подобно кровати, комнаты.

С первых дней переселения в крепость нашими постоянными гостями стали Хакки-бей и Асаф, с которыми я скоро свёл приятельство. О Хакки я уже упоминал выше, что же касается Асафа, то на нём стоит остановиться. Дружба с ним началась с того, что однажды он объелся шашлыку до того, что ему грозила смерть. В качестве единственного врача в городе Женя пришла ему на помощь и спасла от позорной кончины. С этого дня Асаф объявил себя её сыном, несмотря на то, что был лет на пять старше своей названной матери, а меня своим братом. На правах названного родственника он и посещал нас, не требуя к себе абсолютно никакого внимания, почему был всегда у нас удобным гостем, не беспокоящим своих хозяев.

Обыкновенно после ужина он таинственно отлучался в прихожую, откуда приносил заранее припасённую им для себя четверть кахетинского, усаживался один за стол и в одиночестве вытягивал всю бутыль, тихонько мурлыкая под нос заунывные аджарские песни. Вскоре после ужина мы с женой уходили спать, а он, закончив часа через два-три свою четверть, никого не обеспокоив, уходил из дому. Был он большого роста, толстый красавец в чисто восточном стиле, наивное соединение детской непосредственности с дикостью первобытного человека. В прошлом, насколько можно было понять из некоторых недомолвок, у него, как и у Хакки, было что-то не совсем благополучно, так как на родину он возвращаться, по-видимому, не собирался.

В Закаталах Асаф, как и мы все, очень скучал и потому просил жену найти ему невесту среди закатальских девиц. В городе он было присмотрел одну по своему вкусу, однако это сватовство не удалось, так как девица за турка выйти побоялась. Принадлежала она к местной русско-лезгинской семье Караахметовых, в которой глава семьи был крещёный лезгин, а мать русская полька. С началом революции Караахметовым пришлось опять вернуться в ислам. Местный шовинизм отличался резко религиозным фанатизмом, и изменники мусульманской веры были однажды на народном собрании, или по местному "джаамат", под угрозой немедленной казни возвращены в лоно отеческой религии.

Административная власть в Закатальском округе в эти смутные дни теоретически была сосредоточена в руках комиссара округа – толстого и мрачного лезгина самого разбойного вида. Кто он был сам и кем был поставлен на эту должность, оставалось покрытым мраком неизвестности, да этим никто и не интересовался. Власть комиссара и его двух помощников являлась чисто эфемерной, и сами они ничем не занимались, кроме устройства своих личных делишек не совсем чистого характера и запаха. Да и что они могли бы сделать в округе со своими двумя десятками милиционеров, когда всё лезгинское население округа, включая сюда и комиссарскую родню, занималось разбоями и сведением старых счётов с врагами.

Старое русское законодательство было отменено революцией, новых законов

создано не было, и потому население, предоставленное самому себе и состоящее на 90 процентов из мусульман-горцев, вместо движения по «светлой дороге социализма» и цивилизации сразу одичало и вернулось ко временам средневековья. На народных собраниях, на которых по обычаям горцев руководящую роль играли муллы и почётные старики, закатальские лезгины постановили вернуться к старым обычаям времен Шамиля и ввести средневековые законы шариата. Блюстителями старых адатов и шариатскими судьями стали, как и надо было ожидать, почётные люди народа, т.е. опять-таки муллы и старики-фанатики. Эти горящие религиозным фанатизмом дикари, попав к власти, поспешили немедленно ввести в жизнь уже полузабытые народом обычаи и адаты, один нелепее другого, и повели одновременно с тем политическую линию в пользу присоединения округа к Турции.

Под влиянием этих «почтенных» лиц округ постепенно охватил ещё невиданный до этого в Закаталах фанатизм и шовинизм. Два-три раза в неделю на городской площади у мечети происходили «джааматы» для решения местных дел. На этих собраниях муллы и всякие истерические старцы, объятые религиозным трансом, вопили истошными голосами о покаянии правоверных, о священной войне против гяуров и о близком приходе войск падишаха, который расправится со всеми неверными и изменниками ислама. Заканчивались все эти радения всякий раз тем, что наэлектризированная фанатиками толпа свирепо ревела, потрясая оружием, обещая расправиться с врагами ислама, и клялась в верности падишаху. Единственный немусульманский элемент города и округа – армяне – переживали в это время жуткие дни, ожидая со дня на день поголовной резни. Всё русское немногочисленное население города давно покинуло Закаталы, уехав в Тифлис и ближе к центрам, мы, несколько человек офицеров, были единственными представителями здесь русского народа. Владевшие до революции всей торговлей, армяне теперь принуждены были не только закрыть свои лавчонки и магазины, но и сидели по домам неотлучно, так как армянина на улице без всякого повода мог зарезать или застрелить совершенно безнаказанно любой мусульманин. Через неделю после нашего приезда, например, была вырезана лезгинами целая армянская семья по доносу прислуги за то, что будто бы эти армяне имели на полу небольшой коврик, на котором была изображена мечеть. Без папахи, являвшейся отличительным головным убором здесь всякого мусульманина, нельзя было показаться на улице без риска быть убитым, так как в городе только одни армяне носили фуражки и не имели права надеть шапку. Наш полковой врач не только мусульманин, но и лезгин, был тяжело ранен кинжалом в голову каким-то проходившим мимо лезгином только потому, что на нём была военная фуражка, привезённая с фронта. Армяне в Закаталах, являвшиеся единственным немусульманским элементом округа, были при этих условиях заранее обречены в жертву фанатизма, так как их из города не выпускали и вопрос об их поголовном истреблении был лишь вопросом дней.

В эти трагические для несчастных армян дни большую роль играл среди них их священник, высокий, как уголь чёрный и весь заросший от самых глаз бородой человек, неунывающий весельчак, поддерживавший своей жизнерадостностью совсем упавший дух своих робких соотечественников.

В месяц Рамазана, который в 1918 году пришёлся весною, руководившие шовинистским движением муллы провозгласили нечто вроде террора против всех тех, кто хоть несколько отступал от тщательного соблюдения поста. Старики-фанатики и просто добровольцы весь день шпионили по дворам с целью изловить преступников, рискнувших до захода солнца взять что-либо в рот. Всё население Закатал из-за этого голодало и томилось от жажды, как проклятое, в ожидании, когда вечерний сумрак, по слову Корана сделает чёрную нитку неотличимой от белой. Когда, наконец, раздавался вечером долгожданный голос с минарета, возвещавший разрешение на хлеб и воду, все правоверные города, как дикие звери, набрасывались на заранее приготовленные яства и к утру обжирались до того, что десятками отдавали Аллаху свои праведные души. Именно после такого ритуального обжорства Жене и пришлось однажды спасти от позорной смерти Асафа, а также и отца его

проблематической невесты – старика Караахметова. Этот последний объелся до того шашлыком, что на него уже не оказывали никакого действия человеческие слабительные медикаменты. Видя, что старик всё равно умирает, жена дала ему несколько капель кротонового масла, слабительного, которое употребляют только в ветеринарии, да и то в применении к очень крупным скотам не меньше лошади. Это звериное средство спасло старика, который после освобождения от тягости забыв, что он вернулся в мусульманство, искренно и широко перекрестился.

При этих условиях все местные жители, которые при русской власти давно отстали от мусульманства и приняли учение Христа, вроде Караахметовых, принуждены были опять волей-неволей вернуться в ислам, и чтобы засвидетельствовать свой окончательный разрыв с цивилизацией, на виду у всех предавались посту и молитве. Даже среди армянского населения оказались люди, не выдержавшие угроз и изменившие вере. Одним из таких был местный фактор и большой проходимец, известный в городе под презрительной кличкой 688.

Нас, немногочисленных русских офицеров, подобная атмосфера угнетала, хотя прямых угроз никто проявлять не смел, ограничиваясь косыми взглядами и проклятьями за спиной. Было, тем не менее, досадно и обидно попасть из положения господствовавшей расы на линию элемента бессильного и бесправного.

На православную Пасху, когда в крепостной церкви шла служба и присутствовали все русские и грузинские офицеры полка, лезгины несколько раз бросали камни в окна и раз даже пытались ворваться в храм.

Отношения наши с женой с местным населением скоро испортились, несмотря на то, что Женя в качестве единственного врача в округе была очень популярна и не брала денег с бедных. Причиной этого было следующее обстоятельство.

В Закаталах, несмотря на то, что это был совсем дикий горный угол, всё же имелось некоторое, по местным понятиям, «общество», состоявшее из двух-трёх семейств туземных интеллигентов, во главе которых стоял лезгин, елисаветпольский адвокат Шахмалиев, женатый на молодой и красивой русской женщине Марии Николаевне.

«Муся» была родом из Тифлиса, мужа не любила и страшно скучала, тяготясь тем, что при новых условиях, как жена мусульманина, принуждена была постоянно сидеть дома. Шахмалиев, как известный человек, принуждён был соблюдать *конвенансы* и считаться с мнением своих соотечественников. С нашим приездом Мария Николаевна ожила. Их дом стал посещаться офицерами, и главное, с появлением в Закаталах Жени Муся перестала быть в городе единственной европейской женщиной. Обе они скоро подружились и стали бывать друг у друга на приятельской ноге. Сам Шахмалиев почти всегда отсутствовал, уезжая в Ганджу, где у него были дела, и его молодая супруга, пользуясь известной свободой, скоро завела роман с Хакки-беем, который в свою очередь влюбился в Марию Николаевну, как может влюбиться только восточный человек, со всем пылом своего темперамента.

Встречались оба влюблённые как в доме Шахмалиевых, так и у нас, что дало пищу городской молве в том смысле, что жена моя способствовала этому роману. Сплетню эту изобрёл и распустил местный фельдшер из мести Жене, которая своим приездом испортила его монопольную практику. Слух о романе жены дошёл через прислугу до ушей Шахмалиева, который в один из приездов из Елисаветполя устроил жене бурную сцену и запер её под замок.

К этому времени влияние, которое получили над народом муллы и старцы, уже сильно им раздуло губу, и они стали себя считать в округе не только религиозными руководителями, но и настоящей властью, вмешиваясь буквально во всё, не исключая даже наших полковых дел. Всякий местный старик, имевший седую бороду и высокую папаху, уже именовал себя «моллой», что по местным понятиям являлось почётным званием. Эти старики, по выражению Тэффи, «седые как лунь и глупые как пень», стали путаться и совать свой нос буквально повсюду, чему способствовало то обстоятельство, что командир полка и начальник гарнизона принц Каджар, видимо, также поставил карту на Турцию и в

отношении Гамзата Халилова и «почётных стариков» впал в явное и непозволительное попустительство.

С утра каждый день на крепостной площади у штаба полка живописными группами стали толпиться «моллы», вмешиваясь в распорядок полковой жизни и расстраивая и так уже развалившуюся строевую службу. Вмешались «почётные старики» во главе с Гамзатом и в семейную драму Шахмалиевых, которая их ни с какой стороны не касалась. Дело вследствие этого начало принимать скверный оборот, так как старики сильно накалили население против Хакки-бея и нас, обвиняя в нарушении священных «адатов» и призывая самого Шахмалиева к казни неверной жены и мести. В число прочих милых обычаев шамилевского времени в Закаталах был снова введён и узаконен, каравшийся при русской власти, обычай кровавой мести, теперь угрожавшей не только Мусе и Хакки-бею, но и нам с женой, попавшим как кур во щи.

Убийства «кровников» в округе благодаря этому неразумному законодательству процветали самым пышным цветом, и мести с увлечением предавались и старые и малые. Однажды жене пришлось вынимать пулю из живота сапожника, который был ранен выстрелом из винтовки среди белого дня, мирно сидя у дверей своей лавчонки. Стрелял в него из окна напротив мальчишка 12 лет, мстя «по обычаю» за какого-то родственника, убитого много лет тому назад братом сапожника.

В самый разгар страстей, вызванных историей в семье Шахмалиевых, в Закаталах разнёсся слух, получивший скоро официальное подтверждение, что из Тифлиса через наш округ направляется в Дагестан турецкая военная миссия на предмет принятия под высокую руку турецкого султана кавказских горцев.

При этой новости были временно забыты все местные злобы, и население округа стало лихорадочно готовиться к торжественной встрече «послов падишаха». Особенно горячую деятельность обнаружил по этому случаю Гамзат Халилов, не скрывавший больше, что имеет от турок специальное задание. Турки-солдаты приняли торжественный вид и заходили по крепости и городу с гордым видом завоевателей. Их офицеры, и в частности Хакки-бей и Асаф, наоборот, приуныли, и у них начались таинственные совещания по ночам с небольшой кучкой преданных людей, в большинстве своём аджарцев. Однажды вечером Асаф, придя по обыкновению к нам ужинать, вина пить не стал, долго молча сидел, опершись на ладонь, а затем, печально глядя на нас бараньими навыкате глазами, рассказал о своих терзаниях. Задуматься ему действительно было над чем.

Оказалось, что в старое время перед войной он служил в «заптиях», т.е. жандармах в Стамбуле и сильно проштрафился на службе. За это в наказание он с началом войны был послан на фронт, нашкодил и там что-то, и во избежание «секим башки», спасая свою грешную шкуру, перебежал к русским.

Хакки-бей со своей стороны, будучи замешан в заговоре против Энвер-паши, был осуждён, бежал и скрывался. Будучи в какой-то перестрелке раненным, он попал в русский плен, где из мести Энверу стал шпионом в пользу России. По этим причинам оба они с Асафом теперь должны были бежать из Закатал до прихода турецкой миссии. Предательская их деятельность в отношении Турции была хорошо известна в штабе оттоманской армии, и в случае, если они попадут в руки турецких властей, их песенка была бы спета.

В ту же тёплую майскую ночь 1918 года Асаф бежал из Закатал в Тифлис через Лагодехи и Кахетию. Что же касается Хакки, то несмотря на опасность, возраставшую для него с каждым днём в Закаталах, он не хотел уезжать без Муси, которая, хотя и дала своё согласие на бегство, но ещё колебалась. Перед отъездом Асаф просил нас с женой не терять с ним связи и ехать совместно потом в Россию, для чего он нас будет дожидаться в Тифлисе. На другой день после его отъезда из Закатал поздно ночью к нам постучали и лохматый мрачного вида туземец передал мне записку от Асафа из Лагодехи, в которой тот писал, что добрался до Кахетии благополучно. Хакки-бей ещё два дня прождал свою Мусю, которая продолжала тянуть, и только под влиянием наших уговоров согласился переехать из Закатал в Джары, где хотел ожидать свою возлюбленную. Наутро после его отъезда, как только в

городе стало известно, что турецкие офицеры скрылись, осиным гнездом заворошились и зашумели «моллы», и Гамзат приступил к следствию, стараясь выяснить, кто помогал туркам бежать. Следующей ночью замотанный с головой в башлык всадник привёз нам ночью записку Хакки из Белокан с известием, что он отказывается покинуть Закатальский округ без Марии Николаевны. Эта последняя, несмотря на отсутствие мужа и все предоставленные ей к бегству способы, не то колебалась, не то боялась преследования и выехать не решалась. На следующее утро мы с женой были разбужены криками и стуком множества подков по каменной мостовой крепостной площади, расположенной у нас под окнами. На мой вопрос о том, что случилось, наш вестовой турок Мимиш с нескрываемым злорадством на своей рыжей морде сообщил, что Гамзат Халилов с «моллами» ночью арестовал в Белокане Хакки-бея и привёз его связанного в крепость, чтобы передать назавтра приезжающей в Закаталы турецкой миссии. Как оказалось впоследствии, Гамзату удалось перехватить письмо Хакки к Шахмалиевой и, зная о прошлом Хакки-бея, он решил выслужиться перед турецким правительством.

В штабе полка, куда я бросился за новостями, я застал в сборе всех офицеров, вполголоса обсуждавших ночное происшествие. По приказу командира, действововавшего в согласии с Гамзатом, Хакки был арестован и заперт в одной из комнат штаба, к дверям и окнам которой был приставлен вооружённый караул. С первой же минуты своего приезда из Джар Хакки заявил присутствовавшим, что не дастся живым в руки турок и покончит с собой. Гамзата и прочих отцов народа он ругал последними словами, отказался с ними разговаривать и обозвал «грязными горскими свиньями». Вечером в собрании у нас царило подавленное настроение, всем было тяжело, и разговоры не клеились. Дежурный по полку князь Меликов очень возмущался выпавшими на его долю обязанностями караулить собственного товарища в интересах турецкого правительства. К Хакки в комнату пропускали всех, и к нему по очереди мы все входили и беседовали. Кроме меня, никто не понимал причин его ареста.

С тяжёлым сердцем я с ним распрощался и ушёл домой спать с уверенностью в том, что Хакки живым в руки турок не попадёт. Это предчувствие оправдалось на другое же утро. Выйдя часов в 9 из дому, я по дороге в штаб встретил своего Мимиша, который со злым блеском в глазах объявил мне, что «собака Хакки убился». В штабе у дверей комнаты Хакки толпились «моллы» и молчаливые офицеры. Труп Хакки лежал на спине в кровати, прикрытый до груди одеялом, со спокойным и сосредоточенным выражением лица. Небольшая красная ранка на правом виске была едва заметна.

Как оказалось, ни наружные часовые, ни часовой, сидевший на стуле в комнате рядом с кроватью, по их словам, ничего не слышали, и смерть Хакки была обнаружена только утром, когда в комнату арестованного вошёл Меликов. Всё это было более чем странно, вся обстановка самоубийства возбуждала многие сомнения, но так как смерть Хакки улаживала многие затруднения, то никто никого ни о чём не расспрашивал. К чести Каджара, он даже не спросил у дежурного офицера, каким образом у арестованного оказался револьвер.

Хакки-бей оставил на имя командира полка письмо, которое он нам прочёл, как только Гамзат и моллы очистили сцену. Письмо было адресовано «дорогим товарищам по полку» и написано было, по словам Каджара, прекрасным литературным турецким языком.

«Мои дорогие друзья, русские офицеры, – начиналось это письмо, – я имел счастье узнать вашу великую родину и русских людей и полюбить вас всех горячо. Я страшный преступник перед моей родиной и моим народом, погубивший из личной мести правительству тысячи невинных турецких солдат, но перед Россией, которой я служил последнее время, и перед вами, моими русскими товарищами, я чист и потому прошу простить меня за те неприятности и осложнения, которые может доставить вам моя смерть. Пусть меня судит Бог за грехи перед родиной, правительство которой причинило мне столько вреда. Прошу похоронить меня так, чтобы никто не знал места моей могилы, и чтобы память обо мне исчезла вместе со мной».

Перед вечером я снова зашёл в штаб, где шли приготовления к завтрашней встрече миссии. О Хакки уже никто не говорил. У ворот канцелярии на корточках сидела какая-то фигура с закрытым башлыком лицом. Окликнув сидящего, я узнал в нём одного из преданных покойному Хакки аджарцев, служившего ему вестовым. Он молча провёл меня в сарайчик, где на голых досках лежал труп того, кто был вчера энергичным и полным сил человеком. Хакки лежал здесь в ожидании бедного погребения, всеми забытый и никому больше не нужный. Спокойно было его нахмуренное лицо, на стройном, с высокой грудью, сухом теле виднелись следы и шрамы многих ран. Я вытер слёзы и пожал молча руку аджарцу, на которого больно было смотреть, его мужественное с резкими чертами лицо было сама скорбь...

Этого сильного и незаурядного человека, прожившего короткую, но полную жгучих впечатлений жизнь, нелепо и жестоко погубила страсть к глупенькой и пустой женщине, которая даже вряд ли его и любила. Её нерешительность и колебания стали роковыми для бедного Хакки, который из-за этого пропустил все возможности к спасению и пошёл на верную смерть. Шахмалиева, как и надо было ожидать, оказалась пустой и эгоистичной бабой. Узнав об аресте и смерти возлюбленного, она не выразила особого огорчения и больше волновалась о том, как она уладит свои дела с мужем.

С утра следующего дня всё население округа высыпало на улицы и живописно расположилось в своих пёстрых одеждах по обеим сторонам дороги, ведущей из Закатал на нухинское шоссе. Весь состав полка во главе с командиром выстроился у въезда в город в качестве почётного караула. Оживлённая толпа, вооружённая с ног до головы, шумно и радостно гудела, все крыши рябили от женских платьев и головных уборов. Гамзат с двумя муллами, комиссары и почётные старики важно стояли отдельной группой, отставив ногу и положив руку на кинжалы. От этой группы народ держался на почтительном расстоянии.

Около 10 часов утра дальние крики и выстрелы возвестили нам о приближении «посланников падишаха». Из-за поворота дороги показалась и запылила к городу коляска извозчичьего фаэтона, в которой сидели одетые в серую форму и лёгкие чёрные шапки два сухих и подтянутых турецких офицера. Против них на передней скамейке жалась толстая фигура окружного комиссара, на крыльях фаэтона и на подножках стояли вооружённые стражники. Едва коляска въехала в город, как загрохотала вдоль улиц оглушительная пальба сотен револьверов и винтовок, сопровождаемая восторженными криками народа. Полк взял на караул, и командир встретил с рапортом сошедшего из коляски турка. После этого делегаты султана уже пешком направились на городскую площадь, окружённые стариками и начальством. Здесь под крики толпы и рвущие воздух залпы винтовок турок произнёс речь, встреченную новыми выстрелами и оглушительными криками.

Я в строй стать не захотел, потому что, как и другие русские офицеры, считал, что Россия продолжает войну с Турцией и не нам приветствовать султанских делегатов, почему вместе с женой и Шахмалиевой мы присутствовали при этом торжестве в качестве простых любопытных. По окончании «джаамата» гости приехали в крепость и остановились у нас в собрании.

К обеду все офицеры по приказанию Каджара должны были собраться в столовой, куда явились в сопровождении полковника и турки. Старший из них оказался полковником генерального штаба Али-беем, получившим, как и большинство турецких штабных, образование за границей. Он ничуть бы не отличался от любого хорошо воспитанного иностранного офицера, если бы не турецкая форма. При его входе мы встали и молча поклонились в ответ на его приветствие по-французски, после чего принц каждого из нас представил турку.

После сладкого, когда все мы сидели за стаканами вина, Али-бей попросил разрешения командира обратиться к нам с речью. Говорил он по-турецки, Каджар же переводил его слова нам по-русски. «Господа русские офицеры, – сказал Али-бей, – я уполномочен его величеством султаном, моим повелителем, передать вам следующее. Султан считает, что если бы в его армии были турецкие солдаты и русские офицеры, то эта

армия была бы непобедима. Его величество счастлив, что война закончилась и вы свободны теперь от ваших обязательств в отношении вашего правительства. Если вы пожелаете, все вы будете приняты на турецкую службу с повышением в чине и с двойным против прежнего жалованием».

Переводя последнюю фразу, принц Каджар заметно смутился и покраснел. Как только Али-бей закончил свою речь, мы все разом оглянулись на ротмистра Джоржадзе, старшего из нас и, по кавалерийской традиции, поэтому исполнявшего роль делегата офицеров во всех случаях жизни. Джоржадзе встал и в коротких вежливых словах поблагодарил Али-бея за лестные его слова о русских офицерах, после чего вежливо, но решительно дал ему понять, что не в традициях русской армии поступать на иностранную службу, да ещё турецкую, в то время как война не закончена и наши союзники продолжают сражаться.

Турок вежливо выслушал наш ответ, ещё вежливее поклонился и, поблагодарив нас за гостеприимство, ушёл в свою комнату. После его ухода принц сообщил, что турок просил нам передать, что другого ответа он «от русских офицеров и не ждал».

Сам же Каджар чувствовал себя не в своей тарелке, так как его планы были несколько другие; после того, как русская армия перестала существовать, он рассчитывал послужить хотя бы и Турции, где благодаря своему происхождению он мог рассчитывать на быструю и видную карьеру.

Через два дня, откланявшись любезно нам и холодно простившись с Каджаром, Али-бей под крики и выстрелы толпы выехал в той же коляске в Дагестан. Он спешил, так как до Закатал уже давно доходили глухие слухи о наступлении большевистской армии с севера на Темир Хан Шуру. Точно никто ничего не знал, так как ни с Тифлисом, ни тем более с севером у нас не было никакого сообщения.

Не прошло и недели после отъезда турецкой миссии, как у нас в собрании оказался новый гость в лице пожилого седеющего человека в штатской черкеске без погон. Это был генерал Халилов, бывший командующий войсками дагестанского правительства, потерпевший неделю назад поражение от большевиков под Темир Хан Шурою и теперь бежавший горными дорогами из Дагестана в Закавказье. Цель его приезда была просить помощи у Азербайджана против Красной армии, наступавшей медленно, но верно на Баку. Генерал не имел представления, что вся азербайджанская армия состояла из фиктивных и совершенно небоеспособных полков. Приезд в Закаталы побеждённого большевиками дагестанского военачальника послужил и для нас как бы символом конца.

Первым уехал из Закатал ротмистр Червинов, строевое сердце которого не выдержало отсутствия дисциплины и беспорядка, царившего в полку. На все его старания навести у себя в эскадроне хоть какой-нибудь порядок он не встретил сочувствия Каджара, а только вызвал к себе недоброжелательство Гамзата, который вечно надоедал нам чепухой о кавказских обычаях и революционной дисциплине, которая будто бы должна была заменить в полку настоящую. Вторым покинул полк Магома Абакарилов, славный усатый прапорщик, милый и вежливый, родом из «настоящих» аварских лезгин, искренно презиравший закатальскую неразбериху и местных людей. Он сам вызвался съездить в Дагестан для связи и, как человек, знавший туда горные пути, взял на себя командование отрядом, который должен был установить связь. Недели три мы не имели от них никаких вестей, а затем пришёл слух, что вся экспедиция погибла в горах при нападении разбойников, причём Магому подвел автоматический маузер, в котором патрон пошёл наперекос и лишил его возможности защищаться. Окончательный конец полку вскоре после этого положил Гамзат своим вызывающим по отношению к нам поведением, и попустительство совсем потерявшего логику полковника Каджара.

Выведенные из себя вмешательством в полковые дела Гамзата и молл, офицеры в полном составе представили через Джоржадзе ультиматум командиру удалить Халилова и стариков от всякого вмешательства в дела полка, или принять нашу коллективную отставку. В протесте приняли участие все без исключения офицеры, в том числе и племянник

полковника корнет Ибрагим Каджар. Выслушав Джоржадзе, принц вышел в столовую, где мы все собрались, и не поднимая глаз заявил, что он удалить Гамзата не согласен, что же касается нас, то мы можем все уходить из полка, если желаем.

После такого ответа положение стало совсем ясным и весь вопрос для каждого из нас заключался лишь в том, куда, когда и как выехать из Закатал.

Мы с женой решили немедленно, распродав вещи и обстановку, ехать в Тифлис через Белоканы и Кахетию. 23 апреля я отпраздновал свои именины, на которые явились в полном составе все офицеры полка, за исключением принца и Джоржадзе, с которым у меня были холодные отношения. Это был для нас всех прощальный праздник, так как все мы через несколько дней собирались покинуть Закаталы навсегда. За обедом было много выпито всеми, но героем дня в этом отношении оказался поручик Бахметьев, который на пари выпил один целый турий рог до последней капли, вместимостью в три с половиной бутылки.

На другой день после именин я был дежурным по полку. В этот день в Закаталы приехал делегат Армении для примирения мусульман с армянами, так как по всему Закавказью в это время полыхала уже татаро-армянская резня. Собрание, на котором должен был выступать этот делегат, имело место на обширном лугу возле крепости, прекрасно видном с одной из стен. Мы с женой и вольнопером Долгоруким Колей наблюдали это зрелище с крепостной стены.

Приезжий делегат явился в фаэтоне, плотно окружённый местными старшинами. Толпа, собравшаяся на лугу, и знать не хотевшая ни о каком примирении с армянами, встретила его грозными криками, насмешками и угрозами. Став на козлы, армянин снял фуражку и обратился, с речью к толпе на татарском языке. Не успел он произнести первую фразу обращения «Кардашим!» (Братья!), как немедленно перешёл на русский язык, призывая армян и мусульман совместно и мирно воспользоваться благами свободы, которую принесла закавказским народам русская революция, оставив вражду и братоубийство. Не успел он закончить и первых фраз своей речи, как толпа угрожающе загудела, надвинулась на экипаж и окружила его. Делегат, поперхнувшись на слове, вдруг закричал по-заячьи в предсмертной тоске. Старшины, не желая допустить народ к убийству, плотно окружили фаэтон. Началась свалка, замелькали в воздухе шашки и кинжалы.

Положение и жизнь делегата совершенно неожиданно спасли турецкие аскеры, присутствовавшие на митинге почему-то в строю. Они быстро развернулись в цепь вокруг армянского фаэтона и угрожающе защёлкали затворами винтовок. Толпа лезгин, ещё бывшая под обаянием турецкой власти и могущества, сразу отхлынула, успокоилась и стала расходиться. Под конвоем турок делегат смог благополучно добраться в город и ночью покинуть Закаталы.

Это была последняя попытка спасти в Закатальском округе обречённое и каждодневно ожидавшее смерти армянское население. Уже будучи в Тифлисе, мы узнали, что после нашего отъезда армян в Закаталах перебили поголовно самым зверским образом. Весёлого армянского священника отца Сурена, не потерявшего присутствия духа до самого конца, зарезали, предварительно выколов ему глаза.

Последние дни перед отъездом атмосфера в городе и в полку стала настолько тяжела, что я почти не выходил из дому, проводя целые дни в гамаке, висевшем в садике около дома среди цветущих деревьев белой акации. Весна в Закаталах была необыкновенно хороша, и соловьи пели напролёт все ночи в окружавших старую крепость лесах. В открытые окна горный ветер нёс аромат цветов и леса. А кругом, в этом райском углу природы, бушевали грязные человеческие страсти и лилась кровь.

После долгих хлопот и переговоров был назначен день нашего отъезда. Мы должны были ехать на лошадях через Белоканы, Лагодехи и Алазань в Кахетию, где на станции Цнорис-Цхади садились в поезд, шедший в Тифлис. В виде охраны от разбойников с нами ехал участковый комиссар с пятью конными милиционерами. Перед отъездом пришлось даром раздать мебель и вещи знакомым. Когда чемоданы уже были сложены и я пошёл в штаб прощаться с товарищами, в дом к нам почти ворвались, напугав жену, «моллы» с

алчными глазами, за поиском, не оставили ли мы чего-нибудь по ошибке. По всему видно было, что уезжать мы собрались как нельзя более вовремя.

Чудесным майским утром в коляске, перегруженной всяким барахлом, мы покидали Закаталы, самое прекрасное по природе место, которое я только видел, населённое самыми скверными людьми, с которыми мне пришлось встретиться. На козлах сидел комиссар с винтовкой, за коляской рысили вооружённые милиционеры, и сам я не выпускал из рук карабина. Ворота и спуск из крепости в город... Месяц назад поздней ночью мы возвращались здесь с Хакки из города и весело смеялись, натыкаясь в кромешной тьме, какая бывает только на Кавказе, на кусты и деревья. Хакки всё это забавляло, как ребёнка...

По выезде из города дорогу сейчас же справа и слева обступили непроходимые заросли и развесистые платаны. В засаду здесь можно было посадить совершенно незаметно сотни людей. Две недели тому назад в этих местах был обстрелян возвращавшийся в город поручик Галаджев с женой. В одном из разбойников он узнал всадника своего эскадрона... Признаться сказать, выехав из Закатал, я опасался не столько разбойников, сколько комиссара и стражников, нас сопровождавших. Уж слишком с большим интересом они осматривали перед отъездом наши ковры и чемоданы.

К счастью, комиссар слез в Белоканах, и беспокоивший меня конвой дальше не поехал. В благодарность «за охрану» я подарил комиссару патронов для его революльвера, которых он нигде не мог достать. Только миновав совершенно тонувшие под сплошным шатром платанов и чинар Лагодехи, я вздохнул свободнее. Здесь у Белокан кончался закатальский округ, и население уже было не из лезгин, а из татар, грузин и русских поселенцев, которые не позволяли своим разбойным соседям нарушать их границы.

В Лагодехах мы провели нашу первую ночь под русским кровом в доме местного ветеринарного врача, много лет тому назад переселившегося сюда из Курской губернии. Он знал моих дедов и в их память принял радушно и нас с женой.

На другое утро к обеду, подъезжая уже к Алазани, мы неожиданно встретили огромную арбу, на которой из Кахетии возвращались человек пять наших офицеров. Мы остановились и сердечно со всеми распрощались. Среди них был Елисуйский, который на прощанье признался, что ему надоела военная служба, и он мечтает теперь поступить в сельскохозяйственный институт в Воронеже и потому надеется, что в России он ещё с нами увидится. Его военная карьера была всё равно кончена: в Персии в рядах Нижегородского драгунского полка он был ранен в кость правой руки разрывной пулей. Попав в рукоятку револьвера, который он в этот момент держал в руке, пуля вогнала осколки рукоятки в кость, и он навсегда потерял свободу движения правой кисти.

Лес неожиданно кончился, и мы выехали к мосту через Алазань, по другую сторону которого перед нами открылась грандиозная панорама кахетинской долины. Я вздохнул полной грудью с облегчением. Накануне, что я, конечно, скрыл от жены, Джоржадзе предупредил меня быть осторожным в дороге, так как Гамзат не мог простить нашу роль в деле Хакки-бея и клялся не выпустить меня живым из Закатал. Теперь всякая опасность миновала: Закаталы и Гамзат остались в прошлом...

Переехав шагом длинный железный мост, ямщик наш остановил лошадей передохнуть у духана, расположившегося на самом берегу Алазани. Закавказский духан милая и удивительно бытовая особенность местной жизни. В этом характерном учреждении сказывается, как ни в чём другом, чувство человеческого достоинства и потребность к общению кавказского человека. Духан – не русский трактир и уж никак не кабак. Остановиться в нём путнику – истинная отрада и удовольствие. Внутри его всегда прохлада, полутьма и простор, хотя бы даже его постройка была из простой плетушки, вымазанной глиной. В нём есть всё, что надо наголодавшемуся и утомившемуся жаркой дорогой путешественнику. Вам здесь сжарят при нужде на камнях очага бараний бок, на шампуре шашлык или осетрину, приготовят быстро и вкусно специальное кавказское блюдо цыплёнка «табака», сплющенного между двумя камнями, но всего главней в духане вы освежитесь настоящим и совершенно свежим вином. Его вам здесь нальют бесхитростно прямо из

бурдюка, но зато это вино будет чистым и не разбавленным водой, вместо баранины не зажарят кошку и не станут сильно заглядывать во все щели чужих карманов...

Здесь же в прибрежном духане, стоявшем в благословенной долине Кахетии, кроме того, оказалась и свежая рыба, прямо из Алазани, пойманная как раз в то время, когда мы переезжали мост. Мы ели с женой не только эту, три минуты назад ещё живую форель, но и вынутую перед нашими глазами из другой рыбы свежую икру, которую нам самим пришлось и посолить. О чудесном кахетинском не приходилось, конечно, и говорить. Стоила вся эта роскошь, несмотря на революционное время, какие-то копейки...

Сейчас же за духаном перед глазами открывалась широкая долина Кахетии, вся в зелени лугов и виноградников. Сплошным роскошным садом кажутся у подножья тоже зелёных холмов зелёные виноградники, сады и огороды. Посередине долины тянется тонкая линия узкоколейной железной дороги, соединяющая страну вина с Тифлисом. По обеим сторонам железнодорожного пути, словно ковры, сотканные из золота и зелени, поля ячменя и пшеницы. Через полчаса езды мы остановились у маленькой железнодорожной станции Цнорис-Цхали, где отпустили извозчика, так как дальше наш путь лежал в культурной обстановке железнодорожного вагона...

Над станцией на горе, подпёртой утёсами, виднелись старые стены города. Это был Сигнах, один из самых красивых и оригинальных городков Закавказья, когда-то служивший передовым оплотом Грузии против набегов горцев. Темя утёса, на котором расположен Сигнах, увенчано старинной зубчатой крепостью с башнями на всех углах. По обрывам скал, по крутым скалам холмов пониже крепости лепится сам городок. Сигнах по-грузински значит «убежище», несомненно, почётное и осмысленное историей название.

В гостинице за станцией, где мы остановились на ночёвку в ожидании поезда, мы встретили Галаджева, возвращавшегося с женой из Тифлиса. С ним были верховые лошади, на которых он предложил мне съездить осмотреть Сигнах. Утомлённый физически и морально от всего пережитого, я отказался, но моя неугомонная супруга приняла предложение и умчалась с Галаджевым в город. Улёгшись спать в маленькой комнате гостиницы с дощатыми, продуваемыми насквозь стенами, я спал плохо. Снились неприятные сны и ещё более неприятные морды Гамзата и его сыновей, длинная процессия белобородых молл и тому подобные гадости.

Утром Галаджев с женой проводили нас в Тифлис, причем Галаджева, расставаясь с Женей, горько плакала, так как в её лице уезжала из Закатал единственная русская женщина. В семье мужа лезгина бедной женщине было холодно и неприветливо, свекровь и золовки-горянки её не любили и не могли простить ей русского происхождения.

Маленький вагончик понёс нас всё дальше и дальше к милому Тифлису, вдаль от кавказских приключений, опостылевших нам за эти месяцы выше головы. В Тифлис на этот раз я ехал с твёрдым намерением покинуть надоевшую мне азиатчину, со всей её неразберихой и дикостью. Немногочисленные в поезде пассажиры-грузины были все веселы и пьяны, и каждый из них вёз с собой вино в бурдюке или бутылках, поминутно и с большим радушием угощая себя и соседей. Поезд наш пришёл поэтому в Тифлис, как и все поезда из Кахетии, совершенно пьяным...

Тифлис весною 1918 года – столица новорождённой Грузии – по возвращении нашему из Закатал представлял собой очень неприятную картину для русского человека. Грузинский «кукурузный» шовинизм пёр изо всех щелей и принимал с каждым днём всё более угрожающие размеры. Для русских людей в столице Кавказа больше не было места. Все русские учреждения к этому времени были закрыты, чиновники и служащие разъехались. Уж не говоря о русских чиновниках и офицерах, которые представляли собой прежнюю государственную власть. Даже для простых обывателей грузинская администрация ставила такие препоны, что не только посторонний Кавказу элемент, как мы с женой, но даже старые кавказцы, родившиеся и прожившие всю жизнь в Тифлисе, ликвидировали свои дела и выехали на север. Кроме, так сказать, официальных гонений на всё русское, на каждом шагу встречались и чисто обывательские неприятные стороны жизни в столице

«освободившейся Грузии».

Демократические основы и прочие революционные способы, которые были приняты в основу формирования нового государственного аппарата, давали, увы, очень слабую иллюзию права и порядка. По городу с наступлением ночи постоянно трещали выстрелы, по временам переходившие в очень оживлённую перестрелку. Грабили в домах и на улицах ночью и среди дня. По улицам повсюду сновали не внушавшие ни малейшего доверия личности, вооружённые с ног до головы. Осведомлённые люди пытались утверждать, что это городская милиция, другие, не менее осведомлённые, уверяли наоборот, что это разбойники. На чьей стороне была правда – сказать трудно, но вернее всего, обе стороны были правы, так как в эти смутные дни милиция мало чем отличалась как по виду, так и по деятельности от грабителей...

Когда-то оживлённый город, в котором жизнь била ключом, опустел, обеднел и погрязнел. На базарах почти ничего не было из продуктов. В обращении ходили деньги трёх союзных закавказских республик с надписями на трёх языках: грузинском, татарском и армянском. Для русского места на этих бумажках не нашлось, так как великая грузинская республика давно перестала считаться с такой мелочью, как Россия. Тяжело и обидно было смотреть на всю эту нелепую и неумную комедию, отдающую оффенбаховской опереткой…

Нам с женой при этих условиях на Кавказе делать было нечего. Печальный опыт службы азербайджанскому правительству был налицо, и больше в подобных предприятиях участвовать мы не хотели. Приходилось думать об отъезде и изыскивать способы для этого, но здесь перед нами возникал кардинальный вопрос – куда ехать?.. В Тифлисе в 1918 году он возник перед нами впервые, но, увы, в последовавшие годы стал повторяться часто.

Насколько можно было судить по отрывочным сведениям, доходившим в Тифлис, вся Россия в это время была охвачена полной анархией и находилась во власти всевозможных банд и авантюристов, всплывших наверх в необыкновенном количестве из мутной воды революции. Правда, где-то в центрах, не то в Москве, не то в Питере, как будто существовало какое-то большевистское правительство, однако, его власть дальше столиц не простиралась и провинция жила во власти анархии и слепого случая. Вся Терская область по-прежнему, включая Армавир, Минеральные Воды и Владикавказ, ходила под властью всяких прохвостов, сидевших на узловых станциях и занимавшихся грабежами и убийствами всех тех, кто не сморкался двумя пальцами. В Новороссийске хозяйничало «черноморско-кубанское» правительство из кочегаров Черноморского военного флота, и о тамошнем житье-бытье было хорошо слышно на Кавказе. Было известно и то, что в этом порту матросами были взорваны и потоплены боевые корабли флота во славу революции, на немецкую пользу. Всё это были вещи, не подходящие для меня, так как ещё со времён Байбурта и Саракамыша мне стало ясно, что пока во мне теплится жизнь, я останусь смертельным врагом всяких социалистических и пролетарских революций и всего того, что с ними связано, а потому нам с женой надо было искать иные места, чем Северный Кавказ и Черноморье с его развесёлой матросской властью...

Оставался, таким образом, единственный возможный для нас путь в Россию – через Одессу. В Малороссии, или, как потом стали её именовать, Украине, судя по газетным сведениям, только что пала какая-то очередная республика и образовалось независимое от большевиков «государство» во главе с гетманом. Что это было за «государственное образование» и какова в нём была власть, было не совсем ясно, но кое-какие утешительные сведения по этому поводу у меня уже имелись. Бывшие земгусары, обосновавшиеся в «украинском гуртке» в Тифлисе, выполнявшем роль украинского консульства, приглядевшись ко мне, осторожно сообщили, что власть гетмана заслуживает некоторого доверия, так как благодаря ей на Украине опять можно жить, и на головах там больше не ходят.

Внушала доверие к себе и личность Скоропадского, хорошо известного генерала в кавалерийской среде. В те времена большевиствующих генералов не водилось и о предательстве Гутора, Бонч-Бруевича и Брусилова мы ещё не слыхали. Офицеры и я в их

числе ещё верили в своих начальников, и потому имя свитского генерала Скоропадского рассеивало в нас последние сомнения. Было решено, что мы с женой едем через Одессу в Киев, где дальнейшее будет уже зависеть от событий и обстоятельств на месте. Быть может, оттуда нам удастся проникнуть к генералу Корнилову, который по слухам где-то на Дону начал борьбу с большевиками.

Приняв это решение, я явился для получения пропуска на Украину в «гурток», но там мне неожиданно заявили, что для получения места в эшелоне необходимо быть не русским, а «украинцем». Я без всякого стеснения тут же попросил мне объяснить, что это значит? Оказалось, что согласно завоеваниям революции украинцами следует считать всех жителей южной России с половины Курской губернии до моря. Это сразу подняло во мне дух, и я на месте объявил себя украинцем. Как доказательство своего иностранного происхождения я предъявил послужной список, в котором чёрным по белому значилось, что я происхожу «из потомственных дворян Курской губернии». При этом я совершил ренегатство, отказавшись от родных Щигров в пользу Путивля, уезд которого, как самый южный, был наверняка отобран Украиной от России. Измена родине не принесла мне желательных плодов, так как дежурный украинец потребовал принести ему письменное удостоверение моего путивльского происхождения.

Единственное место, куда я мог обратиться за выдачей удостоверения, был штаб мусульманского корпуса, где как раз в это время находился приехавший из Закатал принц Каджар.

– Но послушайте, поручик… что это за нелепость? – изумился он, выслушав мою просьбу.

– Ваше сиятельство, мне эта бумажка нужна, чтобы уехать в Россию, а вам, я думаю, совершенно безразлично, где я родился…

– Положим, – усмехнулся он, и через пять минут я стал обладателем самого нелепого документа, который когда-либо имелся на белом свете. В нём с надлежащими подписями и печатями значилось: «Командир Лезгинского конного полка принц Каджар сим удостоверяет, что поручик вверенного ему полка Анатолий Марков действительно родился в Путивльском уезде Курской губернии».

Взамен этой нелепости я на другой день получил из «гуртка» другой не менее оригинальный документ – временный украинский паспорт, в котором значилось, что я «дисно громодянин Украинской Народовой Республики Анатолий Маркив, с дружиной Евгенией».

Бумага эта за право исковеркать нам имена и фамилию дала возможность занять через день два места в отходящем из Тифлиса в Поти «украинском эшелоне», на три четверти состоявшем из таких же украинских патриотов, как и мы с женою.

Перед отъездом мне пришлось познакомиться с тифлисскими родственниками из семьи деда Льва Львовича, бывшего в конце прошлого века популярным директором тифлисской гимназии, которого очень любили и всегда помнили старые кавказцы. Родственники эти были: Лидия Львовна, его дочь, вышедшая впоследствии за князя Сумбатова и умершая в 1930 году в Швейцарии, и жена её брата Бориса Львовича – София Михайловна. Они обе не имели никаких вестей от своих мужей, застрявших где-то в Персии. Накануне отъезда совершенно неожиданно встретился на Головинском проспекте с Асафом, который был в самом минорном настроении по случаю того, что в Тифлисе находилась турецкая военная миссия, знавшая о его пребывании в городе. Турки жили в гостинице «Ориент», чего Асаф не знал, почему зайдя туда однажды по какому-то делу, нос с носом столкнулся с пашой, который сейчас же и узнал Асафа. Турки в Закавказье в этот момент были как у себя дома, имели многочисленных друзей и агентов, и мой толстый друг не без основания теперь беспокоился о своём здоровье. По этим причинам он находил, что тифлисский климат ему будет вреден, почему, провожая нас на поезд на другой день, очень подробно расспросил меня о путях с Кавказа в Россию и в заключение поклялся с нами встретиться там, как только покончит свои дела в Тифлисе. Дела эти, насколько я понял,

заключались в том, что он успел уже завести здесь какую-то тёмную коммерцию, чуть ли не оружием, на которое на Кавказе во все времена спрос не падал.

Простившись на другое утро с плачущим, как младенец, Асафом, мы с женой погрузились в стоявший на запасных путях «украинский эшелон». Как только поезд тронулся, публика начала знакомиться друг с другом, и скоро с очевидной ясностью выяснилось, что среди едущих не только не было считавших себя украинцами, но даже и имевших какие бы то ни было документы, доказывавшие их украинское происхождение. Большинство, узнав какими-то путями об отходе эшелона,: просто забралось в вагон, никого не спрашивая. Публика состояла поголовно из штатской и полуштатской публики, обслуживавшей тылы кавказской армии и теперь, после ухода войск, поневоле застрявшей в Тифлисе.

В Поти, где мы простояли в вагонах двое суток, ожидая погрузки на пароход, мы через моряков впервые ознакомились с положением вещей там, куда ехали. Оказалось, что «независимую Украину» занимают германские войска под командой маршала Эйхорна, которые и посадили Скоропадского для соблюдения известных *конвенансов* . Общий дух и направление нового государства: никаких революций и никаких социализмов. Это последнее как раз было то, что нам требовалось, остальное были неинтересные детали, так как свою судьбу с Украиной мы связывать не собирались.

Пароход, на который погрузился наш эшелон, оказался старым и грязным угольщиком, насквозь провонявшим какой-то мерзостью, которую он перед этим перевозил. Шёл он теперь через Ялту в Одессу, что обещало нам несколько дней пути.

Стояли первые дни мая, и с ясного весеннего неба южное солнце жгло немилосердно. Оставаться в душном и пахучем трюме, среди гадящих под себя младенцев и орущих баб, было неинтересно, почему мы с женой перебрались на палубу, где на корме парохода публика помоложе и поэнергичней расположилась на свежем воздухе, устроив из ковров и одеял подобие цыганского табора. Рядом с нами расположился угрюмый чернобородый и мешковатый пехотный капитан самого демократического вида, ехавший с фронта. Остальные соседи, которых нам было видно невооруженным глазом, сплошь принадлежали к интеллигенции, хотя, учитывая революционные обстоятельства, и приняли ультрадемократическую окраску в одежде и наружности.

Буфета на пароходе не было, не было у нас и с собой съестных припасов, так как в Поти, вопреки ожиданиям, никаких продуктов купить было нельзя, да оно было и к лучшему, так как денег у нас с женой тоже не было. Ехали мы поэтому все голодные и весёлые, хотя никому не было известно, сколько это может продолжаться; время прибытия в Одессу определялось формулой «своевременно, а может быть и несколько позднее…».

Серьёзная семейная публика, а также мамаши с детьми, на палубу не показывалась и предпочитала, несмотря на духоту, сидеть по трюмам во избежание простуды. В отличие от прежнего благополучного времени пассажиры ни на порядки, ни на администрацию не жаловались, а вели себя тихо и скромно без всяких претензий, сознавая свою принадлежность к угнетённому революцией классу, которого революционные бури били и жаловаться не позволяли.

Отойдя от Поти, пароход наш скоро потерял берег из виду и теперь шёл в открытом море. Кругом была сплошная лазурь моря и неба, от которой болели глаза и некуда было спрятаться. От жары и духоты в трюмах на второй день путешествия начали помирать младенцы, в большинстве своем грудные. Этих маленьких покойников ежедневно набиралось два-три, и вечером публика, столпившись на корме, довольно равнодушно смотрела на то, как маленький трупик, завёрнутый в белое, легко соскальзывал с доски в море и медленно тонул в синей глубине. Вся эта процедура была до того проста и так мало напоминала похороны, что не производила почти никакого впечатления, несмотря на рыдания молодых матерей. Все мы за последние месяцы столько насмотрелись на вещи гораздо более жуткие, что эти игрушечные похороны забывались через пять минут.

К концу второго дня пути с лица у нас у всех полезла от солнца кожа, и все стали

походить на индейцев. У киевского студента, «жившего» с нами рядом, лицо облезло пятнами, и он походил не то на леопарда, не то на прокажённого. С другой стороны на ящике помещался тихий белый кадетик Коля Янжул, ехавший теперь в Киев к отцу, которого он не видел больше года. Беззаботные кадетские годы вспоминались мне, когда я смотрел на него.

На капитанском мостике, в служебных каютах капитана и его помощников ехали весёлые дамы, и там шло беспробудное пьянство. Кроме капитана, на борту находился в качестве «коменданта» немецкий лейтенант и с ним два сержанта. Их присутствие ни в ком из пассажиров враждебных чувств не вызывало, так как было известно, что команда парохода настроена по-большевистски, и по ходившим на пароходе слухам, намеревалась всю «буржуазную сволочь», т.е. нас, пассажиров, вместо Одессы доставить в Новороссийск на матросскую расправу. Присутствие немцев матросов сдерживает, и их команда явно боится. Лейтенант весь день покрикивает то там, то здесь, и его, хотя и с ворчанием, но слушаются. Зато к нам, пассажирам, команда относится не только враждебно, но и вызывающе. Особенно в этом направлении отличается один старый и постоянно пьяный матрос, которого товарищи называют Костей. Костя этот, с заходом солнца вдребезги пьяный, шатается каждый день по палубе, переполненной лежащими и сидящими людьми, натыкаясь на верёвки, чемоданы, ноги и руки. Он обрывает палатки и занавески, пачкая грязными сапогами одеяла и подушки, падает и беспрерывно ругается затейливой матерной бранью, мерзкой и отвратительной, как и он сам. Присутствие женщин его при этом не только не смущало, а наоборот, заставляло изощрять свою импровизацию. Пакостный старикашка этот всех возмущал, зудели руки дать ему хорошую оплеуху, но приходилось сдерживаться, так как старик выпущен командой с провокационной целью и десятки глаз следят за ним из матросского кубрика. Команда только ждёт случая, чтобы начать бунт и вместо Одессы свернуть в Новороссийск. Уже несколько раз были случаи саботажа машин, и два раза пароход останавливался ночью из-за порчи рулевого управления. Оба раза все три немца с проклятиями проверяли рулевую цепь, наступая на сонные тела. Оба раза было обнаружено злоумышление: в звенья цепи чья-то таинственная рука вкладывала кусок железа.

На четвёртый день в полдень мы встретили небольшой пароход, который тащил за собой на буксире огромную фелюгу, битком набитую греками – беженцами из Трапезунда. На баржу эту было страшно смотреть, до того она была перегружена. Греки буквально стояли на ней плечо к плечу, ни сесть, ни тем более лечь не было возможности из-за тесноты. По бортам сидела молодёжь, свесив ноги наружу. Когда мы, таща эту баржу, подошли на уровень Новороссийска и далеко вдали засерели вершины цементных гор, задувший с берега норд-ост развёл сильную волну. От качки парохода баржу с греками стало заливать водой, и беженцы враз завыли многоголосым хором. На их беду, ветер усилился и из-за буксира сильно груженный марганцем пароход стал ложиться на бок.

На мостике между капитаном и немцами начался говор, скоро перешедший в крик. Немец требовал для спасения парохода и своевременного прибытия в Одессу бросить баржу с беженцами на произвол судьбы и идти дальше без них. Капитан на это не соглашался, и тогда все три немца, оборвав разговор, спустились с мостика и, держа револьверы в руках, явились к нам на корму. Несмотря на угрожающее ворчание столпившейся у кубрика команды, немцы собственноручно обрубили буксирный канат. Как только буксир, хлестнув по волнам, упал в воду, на барже раздался отчаянный вопль брошенных на произвол судьбы греков. Как приморские жители, они понимали, что их покинули на верную смерть. Перегруженную баржу сильная волна должна была неминуемо или унести в открытое море, или же разбить о береговые скалы. Пароход, сразу прибавив ходу, скоро потерял из виду фелюгу, и проклятья греков затихли вдали. Через десять минут новороссийские горы скрылись в вечернем сумраке, и мы повернули в открытое море, держа направление на Крым. Наутро стало известно, что немецкий комендант, спешивший в Одессу с военным грузом, получил по радио сведения, что на наш пароход готовилось нападение со стороны новороссийской матросской республики. Поэтому он и не позволил капитану приблизиться к

берегу для выгрузки греков, хотя капитан предупредил его, что беженцы неминуемо погибнут в море без весёл и паруса. Впоследствии, через несколько месяцев попав в Новороссийск, я узнал, что судьба трапезундских беженцев в точности совпала с предсказанием капитана. Их баржа вдребезги разбилась о береговые скалы у Кабардинки, и из двухсот греков спаслось только четверо…

В розовой прозрачной дымке майского утра мы подошли к Ялте. Красавец-город только что освободился от большевиков и на пароход к нам село несколько человек офицеров, спасшихся от резни. Они много порассказали нам о последних завоеваниях революции в этом несчастном городе. У конца мола на наших глазах ещё работала команда водолазов, вылавливающая из моря трупы расстрелянных, к ногам которых матросы привязывали по местному революционному обычаю чугунные колосники. Город поражал своей пустотой и отсутствием на улицах прохожих. Наш немецкий комендант в одиночестве похаживал по молу. У нас на пароходе оказалось двое ялтинцев, сбежавших в Батум в разгар резни, и теперь их встретила вдали кучка родственников. Из этой группы до нас доносились радостные голоса и женский плач, видимо, не все вернулись, кого ожидали…

Красавица Ялта, спящая и тихая, лежала перед нами, как на фотографии. Кое-где повыше к горам на белых стенах дач виднелись чёрные дыры и трещины, жуткие воспоминания недавнего прошлого. На улицах, когда-то оживлённых, не было видно ни прохожих, ни извозчиков – город точно затаился. На пароходе весь день шли рассказы очевидцев о расстрелах, пытках и зверствах, пережитых населением от матросской банды, несколько месяцев подряд владевшей городом. Когда вечером мы отходили от Ялты и тихо шли вдоль зелёных гор и белых дач, в необычайной тишине кругом чувствовалось только что пронёсшееся над этим райским углом кровавое и полное жути прошлое…

Снова небо и море кругом, снова бесконечная лазурь впереди, на которой не на чем остановиться глазу. За весь переход от Ялты до Одессы мы не встретили ни одного паруса, ни одной лодки... Чёрное море ещё не оправилось от недавно пережитого.

Старика рулевого, который не был похож на своих оголтелых и наглых товарищей, я много и долго расспрашивал о недавних событиях. По поводу моего опасения, что большевики могли выслать за нами вдогонку военное судно, он выразился коротко и решительно:

– Не вышлют... там у них ни одного корабля в исправности не осталось, всё потопили и изгадили, сволочи... ихней матери.

– А вы не знаете, зачем они военные корабли топили?

– А зачем, ты мне скажи, они дома жгут, людей убивают и мучают, и всякие безобразия делают... Революция, стало быть... ну вот палки на них больше и нету, а без палки простой русский человек свинья... сам под себя гадить начинает... своё же и губит безо всякого смысла.

Разговорились мы от скуки и с соседом капитаном, во время всего путешествия угрюмо сидевшим на своём месте и избегавшим всяких разговоров. К моему удивлению, он не только разговорился, но даже разгорячился, когда я случайно упомянул, что служил в мусульманском корпусе. Капитан служил у армян и считал их не только угнетённым несправедливо народом, но и заслуживавших всяких похвал. В дальнейшем разговоре выяснилось, что замухрышистый капитан интересуется вопросами, весьма далёкими от уровня армейского пехотного офицера. Укладываясь спать, капитан совсем по-светски поцеловал у жены руку и отрекомендовался нам. К совершенному нашему изумлению, он оказался коренным офицером стрелков императорской фамилии – гвардии капитаном князем Димитрием Святополк-Мирским. Теперь он ехал к себе в имение под Харьковом, которое гетман Скоропадский ему возвращал из рук захвативших его мужиков. Чудак князь, имевший вид старообрядческого начётчика и ездивший за каким-то чёртом воевать за армян на Кавказ, впоследствии в эмиграции стал одним из основателей евразийства и кончил тем, что стал большевиком-возвращенцем. Несомненно, он был человеком не совсем нормальным и с очень большими странностями ещё в России, задолго до «перемены вех».

На мостике пароходное наше начальство допилось, в конце концов, до того, что вместо Одессы мы очутились у берегов Аккермана, в самом центре минных заграждений. На мостике по этому случаю поднялся крик и пререкания. Чей-то осипший от пьянства бас на весь пароход оправдывался перед начальством, настаивая в особенности, что он в настоящий момент «не пьян», а только «выпивши». На наше счастье, откуда-то вывернулся небольшой пароходишко, который очень уверенно стал перед нашим носом делать самые неожиданные выкрутасы на свободной воде. Как наконец сообразило наше пьяное командование, пароход этот знал расположение мин и проходил таким путём заграждения. Выяснив этот вопрос, наш угольщик ринулся вслед за этим мудрым судёнышком, в точности повторяя за ним все повороты, что и помогло нам выйти из неожиданной беды. Через два часа хода вдоль берега вдали показалась долгожданная Одесса-мама. Мы проследовали торжественно через совершенно пустой порт к самому берегу и здесь пароход наш, шедший всю дорогу безо всякого флага, вдруг поднял на флагштоке что-то очень пёстрое, во вкусе покойной мадам Помпадур. На моё, вслух выраженное по этому случаю, изумление чей-то недовольный бас разъяснил на плохом малороссийском наречии, что мы подняли «жовто-блакитный прапор» Украинской Народной Республики, к которому иностранцам надлежит относиться с уважением. Поражённый провозглашением меня «иностранцем» в своей собственной стране, я в дальнейшем из того же источника узнал, что Украина отнюдь не новая республика, возникшая как пузырь от дождя, а древнее государство, которое всегда существовало, но его не было раньше заметно, потому что украинский народ был угнетён «москалями».

Немцев в Одессе не было, зато в ней оказались мои старые знакомые австрийцы. Несмотря на свою полную беспомощность во время войны и на то, что мы их били всё время, как посуду, они себя чувствовали настоящими победителями и держали себя в Одессе именно как таковые. Огромные усатые и упитанные австрийские жандармы производили своей выправкой и достоинством прямо-таки приятное впечатление, по сравнению с только что оставленным нами расстёгнутым и распущенным стадом, в которое революция обратила русское христолюбивое воинство. Порядок и чистота в городе царили образцовые, и не только на улицах, но и в порту. Босяки и грузчики, составлявшие когда-то классическое население этих мест, исчезли совершенно, и кроме пассажиров нашего парохода и австрийских часовых в голубых шинелях, на пристанях и дебаркадерах порта никого не было видно.

Мало-помалу пассажиры стали разъезжаться, и на пристани, кроме нас с женой да ещё нескольких человек, имевших много багажа, никого не оставалось. Куча ковров и багажа, которые жена тащила с собой к моему сугубому отчаянию, подвели нас и тут. Совершенно неожиданно мирно стоявший до этого, опираясь на винтовку, австрийский солдат подошёл к нам и на плохом русском языке заявил, что по распоряжению его начальства мы все должны оставаться на месте вплоть до «дальнейшего распоряжения». Никакие доводы, что мы свободные украинские граждане, приехавшие к себе домой на законном основании и только случайно отставшие от других пассажиров, не помогли. Проклятый австрияк словно окаменел и на все наши наскоки на него только мотал отрицательно головой и поднимал кверху грязную ладонь.

В довершение несчастий к нам подошёл жандарм и, окинув намётанным взглядом наш багаж, сразу заинтересовался длинным свёртком, в котором скрывался мой винчестер. Обнаружив ружьё, хотя и охотничье, он меня немедленно арестовал и попросил следовать за собой. От злости и обиды, что меня арестовывают иностранцы на моей собственной родине, я неожиданно для самого себя заговорил по-немецки, хотя как будто никогда толком этого языка не знал. Эту неожиданную способность объясняться по-немецки я сохранил и потом вплоть до того времени, пока мы не покинули Украину и надобность в этом минула. С этой минуты я снова немецкий язык забыл, и надеюсь, больше его вспоминать не буду.

Проклятый жандарм очень долго меня водил по всевозможным казармам и канцеляриям с явным расчётом, что мне всё это надоест, и я просто плюну на ружьё, которое останется в его руках. Но я держался упорно, и в пятой по счёту канцелярии шикарный

лейтенант с любезной улыбкой объяснил, что ружьё мое конфисковано, и что вернуть его назад будет совершенно «*унемеглих* ». Это мудрое решение было мне сообщено ровно через три часа после того, как я покинул в порту жену, сидящую на чемоданах, и начал своё путешествие с жандармом. За этот срок голодная и встревоженная Женя успела оплакать своего погибшего мужа, предполагая, что я уже посажен в тюрьму или расстрелян.

Прождав совместно с другими пассажирами ещё час в порту, мы имели удовольствие увидеть, что за нами приехали две громадные военные фуры, запряжённые великолепными австрийскими битюгами. На эти телеги нас всех погрузили и куда-то повезли.

Путь показался нам бесконечным, сперва мы ехали через город, затем последовали загородные и дачные места, или, как их называют в Одессе, «фонтаны», за ними потянулись уже совсем глухие предместья и, наконец, голое поле, посреди которого стояли мрачные казармы с выбитыми стеклами. Здесь нас совершенно безмолвно разгрузили и подводы уехали.

Растерянная, ничего не понимающая и сбитая с толку публика осталась стоять среди казарменного двора вокруг груды чемоданов, не зная, что ей делать дальше. Через полчаса томительного ожидания появился австрийский сержант, который знаками и улыбками пояснил нам, что мы можем ложиться спать. На все вопросы и протесты беженцев, которые не желали ночевать под открытым небом, он только пожимал плечами и разводил руками. Гвалт и крик возмущения, которые мы подняли, достиг ушей начальства, в окнах казармы замелькали огни, и на дворе появился офицер в сопровождении нескольких солдат. В качестве знатока немецкого языка я ему объяснил, как мог, что мы не преступники, а «украинцы», приехавшие к себе на родину «из-за границы» и что сажать нас под арест в пустые казармы совершенно незачем. Немец держался другого взгляда на этот предмет и заявил, что мы должны здесь оставаться на ночь, но он разрешает мне и двум или трём другим проехать в город и выяснить наше юридическое и правовое положение перед властями.

Предводительствуемая мною делегация немедленно села на извозчика и отправилась к гетманским властям с протестом и просьбой освободить нас от австрийского плена. Как оказалось, высшей украинской властью в Одессе являлся бывший московский градоначальник генерал фон Модль, к которому мы и направились.

Запылённые и грязные от двухнедельного валяния по заплёванным палубам и трюмам, мы после долгих розысков явились в приёмную градоначальника, где нас встретил и усадил в ожидании начальства чиновник особых поручений, очень вылощенный молодой человек с дипломатическим пробором и в хорошем штатском костюме, от которого я уже давно отвык в оказарменной за войну России.

Минут через пять открылась боковая дверь и через приёмную, позвякивая шпорами, прошёл солдат-гусар Ахтырского полка в форме мирного времени с медалями и крестами. Я не поверил своим глазам, глядя на него, но вовремя очнулся и бросился на него как лев.

– Ты откуда и зачем здесь?

Солдат окинул меня удивлённым взглядом, но сообразил по фигуре и выправке, что я офицер, подтянулся и, щёлкнув шпорами, «доложил»:

– Так что вестовым при поручике фон Эллиат...

При этом имени я сразу вспомнил милый Новогеоргиевск и молодого корнета Эллиата, приехавшего после выпуска из Пажеского корпуса за месяц до моего отъезда на войну. Несомненно, он должен был меня так же помнить, как старшего офицера.

Действительно, не успел вызванный в приёмную своим вестовым Эллиат войти в комнату, как судьба наша приняла сразу быстрый и благоприятный уклон. Оказалась, что ахтырский поручик так же, как и молодой человек с пробором, «состоял» при градоначальнике Одессы и потому принадлежал к кругу людей в городе власть имущих.

Когда в приёмную к нам явился и генерал Модль, оба его подчиненные так его атаковали, возмущаясь поведением австрийского командования, что добрый старик,

расспросив меня обо всём, немедленно командировал Эллиата в собственном автомобиле вместе с нами в австрийский штаб.

Уже через десять минут я получил из рук натянуто улыбавшегося австрийского лейтенанта моё ружьё, возвращение которого теперь оказалось «*меглих* », несмотря на то, что он его уже повесил в своей комнате над кроватью. Через час освобождённая нами из заключения толпа «украинцев» в восторге выбрала меня своим предводителем и ходатаем на весь дальнейший путь, и с этого момента и вплоть до приезда в Киев я иначе не именовался ими, как «пане комысаре». В этой новой и почётной должности мне сразу повезло, так как наутро очень легко удалось выхлопотать у коменданта станции целый вагон под «украинский эшелон», отправлявшийся в Киев.

В избытке благодарности спутники наши по несчастью предоставили нам с женой целое отделение вагона. Утром следующего дня мы покинули Одессу-маму, оказавшуюся для нас мачехой, а вечером уже подъезжали к длинному деревянному зданию «временного» киевского вокзала, который в этом виде просуществовал до самой революции добрый десяток лет, так и не превратившись в постоянный.

Киев уже спал, и площадь перед вокзалом была совершенно безлюдна. Чистота и порядок в вокзальных помещениях были разительные, у всех дверей и выходов стояли немецкие часовые в походном снаряжении и в касках. Ни обычной толкотни, ни шума, привычного на русских вокзалах, не было совершено: немцы никого из «серой» публики ни в помещение первого класса, ни на перрон не впускали. Ошеломлённый такой волшебной переменой декорации, я, обойдя вокзал, вышел на площадь и сразу уразумел всю суть дела. У входа на вокзал по обеим сторонам дверей, раскорячив тонкие ножки, стояли два пулемёта «максимки». Меры, принятые немцами для введения права и порядка в столице Украины, были очень радикальны и решительны и, несомненно, достигли полностью поставленной цели, так как нигде больше не было видно вещественных воспоминаний о революционном прошлом в лице растерзанных товарищей, семечек, матерщины и прочих «достижений». В зале третьего класса серая публика также вела себя тихо и благопристойно. Распущенность и «сознательность» с неё сдуло, словно ветром, и нам оставалось только ходить по вокзалу и умиляться, с уважением поглядывая на бывших врагов, которые сразу навели здесь порядок.

В Киеве у Жени имелись родственники, которых мы и отправились разыскивать прямо с вокзала по старому адресу. Там нам сообщили, что они съехали два года назад неизвестно куда. К половине ночи родственники были отысканы, но от их посещения мы получили чисто платоническое удовольствие, так как ночевать у них было явно невозможно. После революции сестра жены и её муж занимали крохотную каморку, и почтенный родич мой за потерей всех других ресурсов занимался сапожным ремеслом.

Денег у нас не было ни копейки и потому, когда поздно ночью мы заняли комнату в гостинице, то, кроме неопределённых надежд на будущее, никакими другими средствами не обладали. К счастью, благодаря упрямству Жени мы протащили с собой через все Сциллы и Харибды несколько турецких ковров, которые и было решено обменять в Киеве на местную валюту.

Утром я вышел в город попытать почву и на разведку. Город жил оживлённой и лихорадочной жизнью и очень напоминал Киев военного времени. Была только одна перемена, но зато очень характерная. На улицах совершенно не было русских военных. Собственно, их было никак не меньше половины населения, но все они гуляли без погон и кокард, хотя и сохранив всё остальное обмундирование. На всей огромной территории Российской империи только на Украине в это время офицеры могли себя чувствовать в относительной безопасности, не ожидая ежеминутно тюрьмы и расстрела, однако при непременном условии не носить русской формы, которая здесь рассматривалась как «иностранная». Национальной формой в Киеве, судя по всему, почиталась только немецкая, так как украинских воинов совершенно не было видно. В городе почти не встречались вывески на русском языке. Повсюду красовались свежие надписи на обезображенном малороссийском языке, именующемся теперь «державной мовою». Впервые попавшие в это

время в Киев русские люди немало потешались над некоторыми надписями, в которых недостающие в малороссийском крестьянском языке слова были заменены наспех изобретёнными. Так, например, кофейня и молочные именовались «кафарней и молочарнями», магазин дамских шляп – «крамарней жиночьих капелюх», а корсетная мастерская называлась уже совсем неприлично – «крамарней жиночьих пидсисникив». По этому поводу по городу ходила масса анекдотов о том, как «щирые украинские самостийники» пополняют государственный язык, который, в сущности, никогда ничем не был, как только местным крестьянским диалектом, слишком устарелым и бедным для современной культурной жизни, уж не говоря о науке и технике. Серьёзно к кукольной комедии украинской самостийности, кроме сельских учителей и фельдшеров, никто не относился, и население Киева, в огромном своём большинстве иногороднее, принимало гетманщину лишь как средство обеспечить в Малороссии безопасность и человеческое существование. Ко всяким же нелепостям и выкрутасам революционного творчества за год «свободы» все уже давно привыкли.

Нечего поэтому и говорить, что весь город продолжал объясняться на русском языке, и только в некоторых магазинах да в казённых учреждениях «прохали розмовляты на державной мови». «Мову» эту, кроме профессора Грушевского да нескольких фанатически настроенных хохликов из мелкой интеллигенции, никто не знал, и на этой почве было немало курьёзов. Так, например, во время переговоров Украинской директории с большевиками перед приходом к власти Скоропадского один из членов делегации, бывший профессор Киевского университета, потребовал переводчика, так как он «не понимал» будто бы русского языка. Оказалось, что большинство прибывшей в Киев от большевистского террора публики, вроде нас, грешных, не имело никаких средств, и принуждено было зарабатывать себе на жизнь и кров, причём это делалось не всегда способами благовидными. Хотя большинство и занималось честным трудом – мастерством, мелкой торговлей и службой в частных предприятиях, но были и такие, которые не брезгали работать в ночных клубах и притонах, расплодившихся здесь в невероятном количестве. Конечно, посетителями и клиентами всех подобных учреждений были всякие тёмные личности, жиды-спекулянты и всякий подозрительный люд, почему обслуживать всю эту сволочь русскому офицеру, хотя бы и в качестве крупье, было неприлично.

В больших ресторанах и кафе повсюду важно восседали немецкие офицеры с надменным видом, и для них на вокзалах и в буфетах даже стояли специальные столы с надписью «только для немецких офицеров». Особенно было гнусно наблюдать картину того, как некоторые малокультурные прапорщики, и без того уже уронившие во время войны офицерское звание, сняв погоны и надев ливрею, служили лакеями по ресторанам, не гнушаясь получать «на чай» от своих вчерашних врагов. Гетман повсюду заявлял о своей нежной дружбе с немецким народом, снимался рядом с Вильгельмом на потсдамском балконе, марка стоила полтинник, словом, майоры и лейтенанты германской армии имели полное право ходить с поднятыми носами в стране, которая сама себя победила и сделалась добровольным лакеем Германии... Своей собственной армии у гетмана не имелось и иметься не могло при наличии германской оккупации, если не считать нескольких офицерских дружин, которые под именем «державной варты» несли карательно-полицейскую службу. Варта эта не столько поддерживала порядок на Украине, что было обязанностью немцев, сколько утирала слёзы разграбленных крестьянами помещиков, т.е «вартовые» усиленно занимались поркой крестьян-погромщиков и выколачиванием из них шомполами всех убытков от разорения и «иллюминаций» помещичьих имений. Само собой разумеется, при такого рода деятельности, да ещё безо всякого контроля, справедливость соблюсти было трудно, так как обе тягавшиеся стороны, в сущности, были неправы и слишком озлоблены друг на друга, почему расправы эти и были очень жестоки. Служба «вартовых» отрядов главным образом и стала одной из причин непопулярности гетманской власти среди украинского крестьянства. В некоторых важных случаях, когда с крестьянами не могла справиться варта, вызывались германские войска, которые действовали более планомерно и

решительно, и всегда достигали цели, так как мужичьё, побывавшее в немецкой переделке, потом боялось и думать о неподчинении властям.

Между самими украинскими самостийниками существовали различные группы всевозможных оттенков, начиная от сторонников украинской монархии во главе с немецким принцем, называвшимся по этому случаю почему-то «Василием Вышиванным» и кончая бродячими шайками различных атаманов, целью которых была борьба со всякой властью и грабёж в его чистом виде. Петлюровское движение на Украине в гетманские времена почти замерло, так как сам «бухгалтер» сидел в это время в лукьяновской тюрьме.

Среди всей этой неразберихи и туманных перспектив в будущем из газет в Киеве мы с женой узнали и хорошие вести. Оказалось, что корниловская армия продолжала существовать и вела на Дону борьбу с большевиками. Это была как нельзя более приятная для нас весть, так как перед отъездом из Поти мне попалась в руки местная газета, в которой, очевидно, из большевистских источников сообщалось, что в марте 1918 года генерал Корнилов был убит, а остатки его армии погибли в кубанских плавнях. Здесь было известно совершенно точно, что хотя Корнилов и был убит при атаке Екатеринодара, однако армия его осталась цела и теперь под командой генерала Деникина продолжает его дело. В киевских газетах даже ежедневно печатались сводки о положении дел на добровольческом и большевистских фронтах. Сводки эти с несомненностью доказывали, что успехи Добровольческой армии продолжают развиваться.

В Киеве в военных кругах поговаривали о Доне, но никто определённо не знал, как туда проехать, так как было известно, что из Киева немцы на Дон офицеров не пропускают.

Жена, как человек экспансивный, с первых же дней нашего пребывания в Киеве загорелась желанием немедленно ехать к Деникину. Однако практически это было очень сложно, а главное, я совершенно не знал тех целей, которые преследовали добровольцы в своей борьбе с большевиками, и побаивался, что эта борьба идёт в пользу каких-нибудь «завоеваний революции» вроде Учредительного собрания или какой-нибудь другой говорилки в этом духе.

Для начала надо было выяснить политическую обстановку, для чего я зашёл в один из «вийсковых штабов» разузнать, как обстоит дело с войсковыми формированиями на самой Украине. Оказалось, что хотя на бумаге формирование армии и производится, но ввиду отсутствия денег всё ограничивается пока назначением полковых командиров в будущие полки. Единственная часть, которая действительно формируется, это «сердюкская дивизия», играющая роль гвардии генерала. Она состоит из трёх родов оружия, и я, если хочу, могу попытать счастья в Сердюкском конном полку, штаб которого находится на Львовской улице.

Посетив на другой день штаб «конных сердюков», я узнал, что их командиром является полковник конной артиллерии Павленко-Останкович, весьма щирый украинец. Среди офицеров было много моих однокашников по Школе, в большинстве бывших офицеров гусарского Лубенского полка, который послужил основой нового формирования. Задачей сердюков было стать опорой гетманской власти, для чего выдвинувшая Скоропадского группа «хлеборобов» послала в сердюки в качестве солдатского состава сыновей состоятельных крестьян хлеборобов, владевших не менее, чем 50 десятинами земли. Само собой разумеется, как гвардия сердюки должны были пользоваться известными привилегиями по службе и имели особую форму. Конный сердюкский полк даже получил, не в пример прочим, фантастические кунтуши старого времени по образцу костюма Богдана Хмельницкого на киевском памятнике. Из десяти офицеров, которых я застал в штабе полка, не было и половины украинского происхождения, и никто не принадлежал к самостийникам. По секрету мне было сообщено, что из всех офицеров полка только один адъютант может писать по-украински. Между тем, всё делопроизводство велось по-украински, чего требовал командир, заядлый и злостный самостийник. Чины в полку также были новые, а именно: командиры эскадронов именовались «сотниками», а все младшие офицеры «значковыми».

Когда я беседовал обо всём этом в штабе, туда явился «наниматься» широкий

плотный ротмистр с Георгиевским крестом и нерусским лицом. Он оказался ротмистром Поповым, болгарином по происхождению и известным героем войны. Упоминаю об этом, чтобы показать, насколько состав офицеров-сердюков был пёстрым, случайным и не имеющим ничего общего с самостийными бреднями.

В конце моего визита в штаб сердюкского полка меня отвёл в сторону товарищ по школе Попов и, глядя прямо в глаза, спросил:

– Неужели ты хочешь наниматься в эту лавочку?

– А что же делать? Домой я ехать не могу, там большевики...

– Знаешь что... я, конечно, не берусь тебе советовать, но, по-моему, нам с тобой здесь не место, надо ехать к своим... в Добровольческую армию.

– Я, брат, и сам ищу туда путей, да где их найти, вот в чём вопрос.

– Найдём... ты не думай о нас плохо, мы все здесь в этих дурацких сердюках только, чтобы время провести, пока путь туда откроется...

Выйдя на улицу, я задумчиво шёл по городу, размышляя над нашим разговором с Поповым, когда ко мне подошёл молодой человек в полувоенной форме.

– Простите, – сказал он вполголоса, – вы не хотите ли поехать на Дон?

Этот вопрос, отвечавший моим мыслям, был так неожидан, что я вздрогнул и насторожился.

– А вам зачем это нужно знать?

– Ради бога, – заторопился молодой человек, – я только хочу вам сказать, что если вы захотите пробраться в Добровольческую армию, то обратитесь к полковнику К... Он живёт в гостинице «Лондон», в номере 13-ом... Моя фамилия поручик Слепцов.

Проговорив всё это одним духом, он поклонился и скрылся в толпе.

Посоветовавшись с женой, я на другой день пошёл разыскивать гостиницу «Лондон» и полковника К. На всякий случай я осведомился у швейцара, кто остановился в комнате № 13. Швейцар подтвердил, что комнату эту занимает действительно полковник К.

На мой стук дверь открыл высокий плотный человек в штатском. Я решил действовать напрямик, тем более, что ничего незаконного в моём желании ехать бороться с большевиками не видел, и в Киеве подобное намерение считаться преступным никак не могло.

– Простите, господин полковник... один неизвестный мне офицер, назвавшийся поручиком Слепцовым, сказал мне, что в случае моего желания ехать в Добровольческую армию, я могу обратиться за содействием к вам... Так ли это?

Полковник явно изумился и развёл даже руками.

– Ничего не понимаю... и никакого поручика Слепцова не знаю.

– Простите, господин полковник, за нескромность... к Добровольческой армии вы имеете какое-нибудь отношение?

– Ровно никакого... Я служу в политическом отделе здешнего штаба.

Мне оставалось после такого заявления только извиниться за беспокойство и откланяться в полном недоумении. Кто был этот поручик Слепцов и для чего он устроил всю эту мистификацию, я так и не знаю до сих пор. Была ли это провокация, ловушка или просто глупость? Но для чего и для кого? Следил ли кто за мной или сомневались в полковнике? Думаю, что последнее всего вернее, так как моя скромная личность и намерения в те времена ещё никого не интересовали.

Вернувшись как-то раз из города, я застал у нас в гостинице маленькую женщину с измученным лицом и печальными синими глазами. Вся её маленькая фигурка поражала своей миниатюрностью и хрупкостью. Это была старшая сестра моей Жени – Мария Константиновна. В ранней юности, будучи гимназисткой, она приняла участие в революционных организациях, и выйдя замуж, вместе с мужем попала на каторгу по процессу социалистов-революционеров, а затем в ссылку, из которой освободилась только в марте 1917 года. Теперь она со своим вторым мужем состояла в киевском отделе партии левых эсэров, которые только что убили в Москве фельдмаршала графа Мирбаха и

покушались здесь на Эйхорна. По этим причинам муж её отсутствовал из Киева, а Мария Константиновна жила нелегально в Киеве, ежедневно меняя квартиры и скрываясь от гетманской и немецкой полиции.

Я никогда не принимал всерьёз женщин, занимающихся политикой, и потому не мог рассматривать Маню, как своего политического врага, да и кроме того, пока что левые эсеры стреляли немецких генералов, к которым у меня не было никаких симпатий. К тому же Маруся была любимой сестрой жены и имела такой несчастный и замученный вид, что у меня ни на минуту не шевельнулось к ней враждебного чувства. Кроме того, в глубоких синих глазах этой маленькой, печальной женщины светилась такая чистая душа, что при первом взгляде на неё было очевидно – она свято верит в свою убогую идею и готова за неё отдать жизнь, бестрепетно и не допуская никаких сомнений.

Как оказалось, за домом, где она жила последнее время, уже следили, и потому жена предложила Мане ночевать у нас в номере. В городе было тревожно, шли какие-то забастовки, и полиция была начеку.

Среди ночи мы проснулись от отчаянного крика, раздавшегося из коридора. По всей гостинице топали тяжёлые шаги многих людей, звенели шпоры и слышались возня и сопение. Кто-то время от времени вскрикивал захлёбывающимся заячьим криком.

Вскочив с постели, я выглянул в коридор, к своему ужасу увидел наряд «державной варты», обходивший с обыском комнаты гостиницы. Двух бледных мужчин в одном белье уже держали за руки в коридоре четверо полицейских.

С минуты на минуту должны были войти и к нам. Тогда, конечно, неминуемо арестовали бы не только Маню, но и нас, как сообщников, что, конечно, повлекло бы за собой самые печальные последствия, так как у нас в Киеве не было ни знакомых, ни защитников, которые могли бы вмешаться в нашу пользу. Каким-то чудом всё окончилось благополучно, и гетманская полиция к нам не вошла. Оказалось, что варта являлась в гостиницы не по политическим делам, а для ловли евреев-спекулянтов.

Ночная тревога не прошла даром для моей бедной революционерки – с нею случился нервный припадок, и она долго плакала. По всему было очевидно, что ни её здоровье, ни её нервы никуда не годятся и давно сдали от тюрьмы, ссылки и скитальческой, чисто собачьей жизни подпольного революционера.

Познакомившись впоследствии с Марией Константиновной ближе, я убедился, что это был человек удивительно светлой души, живший исключительно отвлечёнными идеями, совершенно неприменимыми к жизни. Попав с юности в революционные кружки, она свято уверовала в эсеровские прописи и непогрешимость партийных брошюр, совершенно не зная ни жизни, ни людей. Революция, во имя которой она погубила свою молодость и здоровье, доставила ей много горьких разочарований, так как жизнь совсем не улеглась в партийную программу, в мудрость которой Мария Константиновна так верила. Когда я видел её в последний раз в 1919 году, это был уже совершенно разбитый физически и морально человек, понявший умом, что её жизнь погибла даром, принесённая в жертву обману, но примириться с этим сердцем у неё уже не хватало сил. Да и много ли на свете таких сильных и мужественных людей, которые признали бы, что вся их жизнь была ошибка, а работа, которую они вели с верой и любовью, была преступление перед родиной и русским народом. При последнем прощании с Маней мне было бесконечно жаль эту несчастную и очень хорошую женщину.

Наутро после тревоги мы порылись в своём богатом бумажном архиве и разыскали для Мани старый паспорт Жени, на имя её первого мужа Ченгери. Лояльности от нас ни Украина, ни, тем более, германское правительство требовать не имели никаких оснований…

Засиживаться нам в Киеве ни из-за политических, ни из-за материальных соображений не было никакого смысла, почему мы решили перед отъездом ликвидировать как лишние вещи, так в особенности и лишнее оружие, составлявшее в те времена неудобный и опасный багаж. В числе проданного в спешке я по недосмотру «загнал», к сожалению, и небольшой револьвер жены, подарок генерала Ляхова, о котором она потом

очень жалела.

К этому времени из газет выяснилось, что район действий Добровольческой армии находился в районе Ростова и Новочеркасска, и наша задача сводилась к тому, чтобы пробраться в один из этих городов не мытьём, так катаньем. Порядок в Киеве в это время был таков, что без немецкого пропуска из города выехать было нельзя, да и, кроме того, из-за забастовки не действовали железные дороги. Нам оставался единственный путь по Днепру до Екатеринослава, откуда была надежда перебраться через украинскую границу на Дон. В немецкой комендатуре я застал длинный, но очень стройный хвост, по которому можно было заключить, что весь он состоял из офицеров. Нетрудно было догадаться и то, куда вся эта публика стремилась. Стоя в очереди, я постепенно добрался до стола пропусков, за которым заседали два немецких лейтенанта и украинский писарь. Стоявшие передо мною два молодых человека явно офицерской выправки, просившие пропуска один в Новочеркасск, а другой в Ростов, оба получили отказ. Я ясно слышал в ответ на их просьбу короткое, но решительное «*нэйн* » лейтенанта. Приходилось так или иначе что-либо спешно изобретать, чтобы в свою очередь не получить отказа в пропуске. Подойдя к столу, я заявил желание получить право выехать в Екатеринодар. Я знал, что в это время столица Кубани находилась в руках большевиков, и потому назвал этот город, чтобы немец не подумал, что я еду к добровольцам. Эффект получился больший, чем я ожидал, так как лейтенант замялся и, по-видимому, вспоминал, где именно находится Екатеринодар. Мельком взглянув на карту Украины, висевшую рядом на стене, он спросил:

– Дас ист ин дер Украин?

– Натюрлих, – нагло ответил я, указывая на карте вместо Екатеринодара Екатеринослав.

Немец, взглянув на карту во второй раз, успокоился и шлёпнул печатью по заранее мною заготовленному пропуску. Не помня себя от радости, я вышел из комендатуры, ожидая, что меня каждую минуту могут вернуть обратно, если немец поймёт обман. Этого не случилось, и мы с Женей в тот же день сели на отходящий из Киева вниз по Днепру пароход.

Весной берега Днепра, покрытые густой молодой зеленью, были особенно красивы, и путешествие на чистом белом пароходике было как нельзя более приятным. На пароходе публика не столько интересовалась красотами природы, сколько вспоминала и рассказывала друг другу недавнее прошлое тех мест, мимо которых шёл пароход. Аскольдова могила и Владимирская горка с крестом в память Крещения Руси возбуждали в пассажирах не исторические воспоминания, а свежую память о недавнем и кровавом прошлом. Здесь, над обрывами реки, «рабоче-крестьянская» власть два месяца тому назад расстреляла сотни ни в чём не повинных людей под предлогом защиты Советской Украинской республики от контрреволюции. За Аскольдовой могилой справа потянулся нагорный берег Киева, весь в густых садах и дачах. Ещё ниже пошли знакомые места, где я когда-то провёл первые месяцы военной службы.

Подходя к Кременчугу, пароход долго шёл среди заросших лозой и камышом островов, где мы когда-то с Лихошерстом охотились на уток. Тихую деревянную пристаньку Новогеоргиевска мы прошли, не останавливаясь. Около неё стояла одинокая бричка, и не было помину когда-то бывшему оживлению. С грустью смотрел я на знакомый городок, белевший двумя колокольнями на высоком берегу Днепра. Ещё так недавно, всего три года назад, он кипел и бурлил молодёжью и весело пестрел яркими цветами фуражек и погон, день и ночь стояло над ним заливистое конское ржание... Медленно проплывал мимо нас, скрытый берегом, чуть видный в утренней дымке город. Что-то там теперь? Как изменила тихую жизнь этого уголка революция?

В Екатеринославе – городе широких тенистых бульваров и пыльных улиц, спящем среди зелёных весенних степей, мне пришлось быть впервые. В первые месяцы революции судьба пощадила Екатеринослав, и все ужасы террора и первого большевизма прокатились над ним, почти не затронув. Зато в последующие годы он стал ареной страшных событий, и на его долю выпало сыграть роль своего рода центра, в степном бреду русской Мексики.

Именно в окрестностях Екатеринослава и в самом городе зародились и оперировали уголовно-стихийные силы, которые в середине 1919 года вылились в крестьянское движение, возглавляемое «батькой» Махно, под кровавый разгул которого одни только анархисты не постыдились подвести свою политическую платформу.

В поезде, отходившем из Екатеринослава к пограничной станции Харцыск на границе Донской области, нам пришлось выехать в большой и своеобразной компании. Вагоны были переполнены мужчинами не старше сорока лет, не оставлявшими ни малейшего сомнения в том, что это были переодетые офицеры. Все они, как и мы с Женей, всеми правдами и неправдами сумели просочиться сюда через большевистские кордоны и немецкие заставы, пережив тысячи опасностей и приключений.

Вся эта публика, поначалу очень сдержанная и неразговорчивая, по мере приближения поезда к границам Дона становилась всё оживлённее, и имя Добровольческой армии стало всё чаще повторяться по вагонам.

В Харцыске поезд застоялся свыше срока, и паровоз, попыхтев на запасных путях, ушёл обратно в Екатеринослав. По вагонам сразу поползли тревожные слухи, что немцы закрыли границу и вернут нас обратно. Это не только противоречило нашим чаяниям, но и ставило многих в безвыходное положение, так как на Украине нам нечего было делать.

После короткого, чисто военного совещания, на котором все понимали друг друга с полуслова, было решено отправить делегацию к немецкому коменданту станции, чтобы выяснить обстановку. Делегаты наши скоро вернулись сияющими и сообщили, что всё обстоит благополучно. Комендант не имел определённых инструкций, но как военный понимал наши чувства и, выслушав делегацию, ответил:

– Не надо много говорить… Я сам офицер и дворянин, через полчаса вам будет другой паровоз. Желаю вам всем успеха и удачи!

Увы, как далеки были в своём благородстве наши враги – немцы – от поведения союзников – англичан, как многим из нас пришлось убедиться впоследствии…

ГЛАВА ПЯТАЯ. РУССКАЯ ВАНДЕЯ. 1918 - 1920 ГОДЫ

Новочеркасск в июне 1918 года. Наше поступление в Добровольческую армию. Бессмертный корнет и Вася. Степной путь. Первая добровольческая дивизия. Офицерский конный полк. Первый бой с большевиками. Второй Кубанский поход и добровольцы. Армия главковерха Сорокина. Бой и взятие Екатеринодара. Первый парад. Станица Крымская. Взятие Новороссийска. Прошлое Черноморско-Кубанской республики. Комендантское управление и служба в нём. Поручик Ахметов. Командировка в Геленджик. На старых местах в новой роли. Перевод в пограничную стражу. Служба на геленджикском посту. Тревожные дни. "Зелёная армия". Мой перевод в Управление внутренних дел. Отъезд из Киева. Бровары. Нападение большевиков на Киев 1 октября 1919 года. Возвращение домой. Тиф и нападение "зелёных" на Геленджик. Новороссийская агония. Отъезд за границу.

Не успел наш поезд тронуться от Харцыска, провожаемый молчаливым лейтенантом, взявшим в последнюю минуту под козырёк, как весь наш вагон превратился в сплошную швальню. Все пассажиры с лихорадочной быстротой извлекли из разных потаённых мест свои потемневшие от времени и невзгод боевые погоны и начали их пришивать на кителя и гимнастёрки. Сколько пар их за этот перегон между двумя станциями пришила моя плачущая от радости Женя, знает лишь она одна.

Маленькая степная станция на границе Донской области было первое место, где мы после двух лет революции увидели вместо опостылевшей красной тряпки трёхцветный флаг России. Чистенькая платформа была почти пуста, но зато посередине её, как символ твёрдой власти и порядка, высился величественный жандарм с аксельбантами и с пушистыми старорежимными усами. Этот жандарм как-то особенно успокоительно подействовал на моё сознание, как вещественное доказательство того, что на этом рубеже кончается царство

разнузданного хама, втоптавшего в кровавую грязь и заплевавшего семечками великую страну.

Маленькие трёхцветные ленточки, нашитые на рукавах у военных, здесь волновали нас до слёз, как символ рыцарского ордена − борьбы за всё святое, к которому мы стремились так долго присоединиться и наконец достигли этой цели.

Новочеркасск, в который мы приехали тихим летним вечером, мало чем напоминал политический и военный центр нового государственного формирования. Как и прежде, в мирные дни, он напоминал собой глухую провинцию пыльными улицами, тенистыми бульварами и скромным «дворцом» своих атаманов. Холмы, на которых стоял город, заставляли почти все улицы Новочеркасска то карабкаться, то спускаться вкривь и вкось. От вокзала к центру города шла крутая улица, в центре которой стоял памятник Бакланову: на скале накинутая бурка и на ней казачья папаха с булавой. За памятником открывалась пустынная площадь и кафедральный собор. Около него шёл крутой спуск к Дону, с которого вдаль на огромное расстояние виднелись бескрайние, как море, степи. Зелёные задонские степи были видны из столицы Дона в любом пункте города, по крайней мере, в какой бы части его я ни находился, всегда над крышами домов в синеватой дымке степных горизонтов виднелись дымки далёких станиц.

До выяснения нашего дальнейшего направления мы с женой поселились в предместье города у железнодорожного полотна. Как оказалось, предместье это было населено так называемыми иногородними, т.е. не казаками, а пришлыми из России новосёлами. Во время большевизма эти иногородние поголовно примкнули к большевикам, и потому теперь у казаков были в сильном и законном подозрении.

Большевизм неказачьего населения Донской области объяснялся тем, что не принадлежащие к казачьему сословию иногородние не имели гражданских прав и в судьбах области поэтому не принимали до революции никакого участия. Казаки презирали «мужиков», считая себя высшим сословием и хозяевами Дона, на землях которого поселились эти незваные и непрошенные гости. Неказачье население области, со своей стороны, ненавидело казачью заносчивость и считало себя обойдённым правами и законом.

Немудрено поэтому, что как только большевизм докатился до казачьих областей, всё иногороднее население, жившее в вечной обиде, бесправное и оскорбляемое, почти поголовно пошло в Красную армию. Само собой разумеется, что при этом были сведены старые счёты и отомщены прежние обиды. Казакам в этот период, в свою очередь, пришлось туго от неожиданно попавших к власти иногородних. Всё это, конечно, выкопало ещё большую пропасть между теми и другими, и к моменту освобождения Дона и Кубани от большевизма Добровольческая армия столкнулась с уже установившимся фактом того, что большевистским элементом как на Дону, так и на Кубани является поголовно русское неказачье население. Революция посеяла в казачьих областях семена национальной розни между казаками и «русскими», растила и холила их, и семена эти гнали богатые всходы. Много в степях пролилось из-за этого крови и мужицкой, и казачьей. Во время Добровольческой армии положение ещё больше обострилось, ибо в отместку за большевизм всё более тяжёлые повинности по развёрстке и реквизициям станичные власти накладывали на иногородних. В конечном итоге всё это послужило одной из главных причин почти полного истребления казачества в Советской России. К концу Гражданской войны казаки окончательно отделили себя от «вонючей Руси», перенеся свою неприязнь с иногородних на всю неказачью Россию.

Впоследствии, уже находясь в рядах добровольцев, я порой диву давался, до каких геркулесовых столбов нелепости мог доходить этот «станичный шовинизм». Взять хотя бы того же бравого и усатого генерала Мамонтова, рейд которого по тылам Красной армии заслуживает войти в военную историю, но уж никак не заслуживают того же его несравнимые телеграммы, посланные им из рейда донскому правительству. «Везу донской казне 90 миллионов, а донскому митрополиту утварь с 40 церквей». Чьё же это иностранное государство грабил и чьи иноверческие церкви разорял этот донской вояка? Этот вопрос и в

голову не приходил Мамонтову. Здесь, как на ладони, вся казачья психология. Воронежская и Тамбовская губернии, где свирепствовал этот завоеватель, и православные церкви там были не населением и не храмами его родины, а чужое и «иногороднее».

Поселившись в мужичьей слободе в Новочеркасске, мы скоро убедились, что хозяева наши были определённые большевики, хотя были скрытны и умели держать язык за зубами. Времена были крутые, и при первом намёке на сочувствие красным или за лишнее сказанное слово любой житель слободы мог легко угодить под расстрел. У всех здесь был ещё на памяти расстрел казаками какой-то бабы за то, что она при большевиках выдала красногвардейцам скрывавшегося у неё раненого донского атамана Назарова. По этим причинам хозяева наши держались постоянно начеку, чтобы не проболтаться, однако их вражда к «кадетам» и казакам всё же проскальзывала, и я не раз слышал на кухне ворчание старухи, проклинавшей без всякой видимой причины «казачьё и офицерьё».

5 июня 1918 года я вошёл в вербовочное бюро Добровольческой армии, помещавшееся на Платовском проспекте в какой-то гостинице. Его начальником был в то время генерал Эльснер. Просмотрев мой послужной список и представленные ему документы, генерал обратил внимание на то обстоятельство, что почти вся моя служба протекала в строю туземных частей и на Востоке. Это дало ему повод предложить мне поступление в формировавшийся черкесский полк. Это предложение встретило с моей стороны самый категорический протест, так как восточная экзотика до такой степени мне надоела, что я напрямик заявил удивлённому Эльснеру, что предпочитаю идти рядовым в русский полк, чем служить офицером в черкесском. Одновременно, только в другом отделении, Женя моя записалась врачом. Первой нашей заботой после получения удостоверения о службе в Добровольческой армии было купить и нашить на рукав трёхцветную ленточку − знак ордена защиты родины, к чему мы так стремились и для чего преодолели столько препятствий и затруднений.

В погонах, при шашке и с нашивкой на рукаве, чувствуя себя опять человеком, а не бесправным парием, я через полчаса входил с женой в помещение штаба армии, чтобы узнать о времени отправки в армию первого эшелона. В угловом доме с колоннами, где временно помещался штаб, мы застали целое столпотворение: густая толпа офицеров, юнкеров и вольноперов вперемешку с сёстрами и молодыми людьми в студенческой форме весело и оживлённо гудела в колонном зале, где в мирные времена помещалось Дворянское собрание. Чувствовался в этой толпе молодёжи, собравшейся сюда со всех концов России, огромный моральный подъём, который являлся характерной чертой первого периода добровольческого движения. Вся эта бодрая, самоотверженная и готовая на все жертвы во имя родины молодёжь, из которой тогда сплошь состояла Добровольческая армия, была настолько преисполнена самых светлых идей и настолько горела жертвенным стремлением умереть за правду, что в душе всех этих юношей и молодых женщин не оставалось места ни для чего личного и эгоистичного. Это был светлый и незабвенный для старых добровольцев период Белого движения, ничего не имевший общего с тем посленовороссийским временем морального упадка и гибели всех надежд и упований...

Добровольческая армия ростовского и новочеркасского периода шла от победы к победе, да и не могла не побеждать при том настроении, которое тогда было в среде добровольчества. Многими и сложными причинами историки объяснят потомству неудачу Белого движения, но, несомненно, немалую роль в поражении Добровольческой армии сыграли причины морального порядка. Первый удар духу и безукоризненной морали Белого движения нанесла обязательная мобилизация в армию, впервые объявленная после взятия Новороссийска. Вместо идейной молодёжи, добровольно шедшей умирать за светлый образ Великой России, армия сразу наполнилась людьми, хотя и носящими погоны, но отнюдь не по своему желанию и призванию.

С этим моментом совпадает крах на Украине гетманской авантюры, что повлекло за собой то, что вся накипь и муть гражданской междоусобицы, копившаяся за два года революции в Южной России, хлынула на территорию уже окрепшей и выходившей на

большую московскую дорогу Добровольческой армии, почувствовав, что здесь в широких тылах запахло всяческой поживой. В расплодившихся, как грибы, штабах и управлениях сотнями засели офицеры Генерального штаба, о которых в тяжёлых боях первого периода совсем не было слышно. Всё это была публика с крупными аппетитами, отнюдь не склонная жертвовать собственными интересами в пользу общего дела.

Мобилизация, со своей стороны, наполнила поредевшие ряды славных добровольческих полков случайным и в большинстве случаев отрицательным элементом. Хотя после Новороссийска победы Добровольческой армии продолжались несколько месяцев, это объяснялось исключительно тем, что Красная армия была дезорганизована, и Троцкий ещё не успел воссоздать её заново. После взятия Харькова можно смело сказать, что Белое дело уже утеряло и сердце, и идею и только по инерции шло за белым знаменем, на котором, увы, ничего не было написано...

Всё это случилось много позднее, в дни же нашего пребывания в Новочеркасске в июне 1918 года мы не заглядывали так далеко вперёд, и на душе у нас было хорошо и светло. Далеко позади оставались кошмарные дни Саракамыша и Закатал, впереди была ясная и прямая дорога, по которой нам предстояло идти со спокойным сознанием выполняемого долга. В шумной толпе в вестибюлях новочеркасского Дворянского собрания я неожиданно натолкнулся на старого товарища по Славной школе − ротмистра Семенцова, которого ещё в училище за его преждевременную лысину и солидность называли «папашкой». Как оказалось, «старик» подвизался в Доброармии уже несколько месяцев, и как «разбитый на ноги» теперь был прикомандирован к штабу. В качестве местного человека он в полчаса посвятил нас с женой во все тайны и подробности жизни армии, перезнакомив со всеми более или менее интересными лицами. Здесь мы впервые увидели руководителей Доброармии в лице генералов Казановича, Романовского, Лукомского, Экка, Келича, Султан Гирея и других. В одной из скромных канцелярий он нас познакомил с молодой дамой с тёмным нерусским лицом, которая оказалась дочерью покойного Корнилова, впоследствии вышедшей замуж за ротмистра Шапрон де ля Рэ. От словоохотливого и любезного «папашки» мы узнали, что пока что вся Добровольческая армия, помимо казачьих частей и недавно присоединившегося к ней отряда полковника Дроздовского, состоит всего из одной дивизии, в которую входят три пехотных полка и один кавалерийский, развернувшийся на днях из офицерского эскадрона полковника Глазенапа. Старшим полком считался Корниловский, созданный ещё на германском фронте полковником Нежинцевым и приведённый им на Дон. После смерти своего первого командира под Екатеринодаром им теперь командовал полковник Кутепов. Вторым полком был пехотный офицерский, названный после смерти на днях под Торговой генерала Маркова его именем и теперь воевавший под командой полковника Тимановского. Третьим был Кубанский стрелковый под начальством его сформировавшего полковника Тунеберга. Конный офицерский полк, в который я был назначен, состоял пока что всего из трёх эскадронов малого состава, его полковым командиром после Глазенапа был только что назначен полковник Колосовский.

Маленькая армия эта, составлявшая в общей сложности едва ли дивизию мирного времени и бедная артиллерией, представляла для большевиков грозную силу. Добровольческие полки на 80% состояли из офицеров, прошедших не только военные школы, но и имевших за собой весь опыт Великой войны. Это была армия матёрых вояк-профессионалов, из которых каждый во время боя знал, что именно и в любой обстановке он должен был делать. Вряд ли в военной истории был другой пример такой военной части, стоявшей на подобной высоте по духу, опыту и качеству. Благоприятствовало победам Доброармии и то обстоятельство, что её противником этого периода были хотя и многочисленные, но неумело управляемые части красной гвардии, плохо дисциплинированные и без специалистов. Советские главковерхи времён «военного коммунизма», с которыми воевали искусные и опытные генералы, были писари, портные и просто штатские авантюристы, игравшие в маленьких наполеонов, но по существу не знавшие даже азбуки военного дела. Все они, кроме того, интриговали и боролись

по-звериному за власть друг с другом, предательски истребляя один другого, совершенно не считаясь с интересами центральной власти в Москве. Так, например, Таманской красной армией, которая в настоящий момент была главным противником добровольцев на Кубани, командовал главковерх Сорокин, пьяный и шалый ротный фельдшер, убитый впоследствии самими большевиками за бунт. А между тем этот Сорокин почитался среди советских стратегов одним из самых талантливых «полководцев».

Территориально Добровольческая армия с севера была обеспечена Донской областью, которой управлял атаман Краснов. Донская армия под командой Денисова, хорошо снабжённая и дисциплинированная, держала фронт у станции Зверево и на восток до Царицына. Западные границы района Доброармии были ограждены Украиной или, вернее, германскими войсками, её занимавшими. Благодаря такому положению вещей добровольцы, подвигаясь через Кубань на Северный Кавказ, могли без помехи со стороны очистить этот район от красных. Снабжение армии через немцев и из старых армейских запасов доставлял добровольцам атаман Краснов. С немцами, занимавшими Украину и державшими свои отряды кое-где у донской границы, у генерала Деникина отношения были странными. Несмотря на то, что Краснов держался определённой германской ориентации, считая, что немцы представляют на Юге России реальную силу, штаб Доброармии с этими последними не желал иметь никаких отношений, считая себя правопреемником государственной власти Российской империи в союзе с Антантой. По этой причине немцы не пропускали к Деникину офицеров с Украины и держали по отношению к добровольческому движению нечто вроде вооружённого нейтралитета, хотя немецкое командование на местах лично очень содействовало делу борьбы с большевиками, как это всем нам неоднократно приходилось убеждаться, хотя бы на станции Харцыск.

В день отправки очередного эшелона в армию мы с женой явились на вокзал, где комендант нам выдал «прогонные деньги» в размере 9 рублей, которые и составили весь наш наличный капитал. Вещи свои мы оставили у Семенцова и выезжали из Новочеркасска налегке. Здесь надо отметить ещё одну чрезвычайно симпатичную черту первых времён добровольчества, впоследствии совершенно исчезнувшую из обихода. Это − совершенную бессеребреность добровольцев. Все мы жили и питались в полках из общего котла, не имея по месяцам буквально ни копейки в кармане. Жалования в армии не то не платили, не то не хватало денег, да ими никто и не интересовался. Между тем, в этот период в Доброармии абсолютно не было грабежей мирного населения, от чего впоследствии так страдали жители. Это было поистине светлое время рыцарей тернового венца, орденом которого впоследствии были награждены участники Кубанского похода.

Мы с женой, поступив в Доброармию в июне, получили первое жалование только в октябре и все эти месяцы, не имея ни копейки, чувствовали себя как нельзя лучше, хотя ходили чуть ли не в отрепьях. Во взятый нами с бою Новороссийск мне пришлось войти и торжественно дефилировать среди восторженно приветствовавшей нас толпы в одной штанине, другая осталась на каком-то сучке под станцией Тоннельной во время ночного боя. Тогда это никого не смущало, так как приблизительно в том же виде были и все мои товарищи, полуголые и нищие, но зато богатые духом…

Эту моральную ценность добровольцев сознавало и местное население, которое встречало и провожало нашу маленькую армию, как своих спасителей и избавителей, радостными манифестациями, а не выстрелами в спину, как в «московский» период Белого движения.

У стоявшего на запасных путях новочеркасского вокзала эшелона теплушек, когда мы подошли к нему с Женей, весело гомонила и перекликалась молодая толпа из полутора сотен офицеров, юнкеров и сестёр милосердия. В открытых дверях вагонов, свесив ноги наружу, сидели весёлые группы, перекликались друг с другом, оживлённо беседуя. Все скоро перезнакомились и разбились по котлам. Многие, как оказалось в пути, ехали в армию уже не первый раз, а возвращались из отпусков или после ранений. Таких «ветеранов» засыпали вопросами о жизни в армии и боях и искренне им завидовали. Героем эшелона

оказался корнет Самолётов, известный в армии под именем «бессмертного корнета». Судьба его действительно была замечательна даже в это необычайное время. На войне он был дважды ранен и потому перед революцией получил назначение в охранную часть, стоявшую в Гельсингфорсе. В первые же дни «великой и бескровной», когда началось избиение матроснёй офицеров, в канцелярию, где занимался Самолётов, ворвалась банда вооружённых матросов. Двумя ударами шашки он положил на месте двух первых, в то время как остальные открыли по нему огонь из револьверов и винтовок. Раненный шестнадцатью пулями в голову и грудь, корнет упал. И здесь в него, уже лежавшего на полу, один из матросов, приставив винтовку к затылку, выстрелил последний раз. Бесчувственное и окровавленное тело Самолётова матросы в остервенении выбросили на мостовую с третьего этажа. По счастливой случайности, жестоко израненный, но ещё живой, корнет упал в сугроб снега и потому не только не разбился, а от снежной ванны пришёл в себя. Будучи крепкого и сильного сложения, Самолётов нашёл в себе достаточно силы, чтобы после этого подняться на ноги. Окровавленный и изуродованный, он был настолько ужасен, что матросы разбежались от него во все стороны. Прохожие помогли раненому добраться до родственников, у которых он жил, и финский профессор-хирург, немедленно сделав операцию, совершил над Самолётовым настоящее чудо хирургии, вынув раздробленное нёбо и вставив на его место серебряную пластинку. Остальные раны, хотя и тяжёлые, зажили на «бессмертном корнете» сами, «як на собаце». Пробравшись после выздоровления с большими трудностями из Петрограда на Дон, Самолётов дал клятву отомстить большевикам, и в рядах Доброармии не переставал гореть к «товарищам» беспощадной местью, которую ничто не могло удовлетворить. Впоследствии, служа с ним в одном полку, я понял, что он был не совсем нормален, у него в глазах горел постоянно какой-то странный огонёк, разгоравшийся в настоящее пламя, когда ему в руки попадали красногвардейцы, в особенности матросы, с которыми Самолётов творил вещи неописуемые даже для тех жестоких времён. Захваченных им в бою «товарищей» он буквально резал на куски, не спеша и, видимо, наслаждаясь местью. На все вмешательства начальства и товарищей по этому поводу он неизменно отвечал одно и тоже: «Вы можете заставить меня забыть то, что я испытал от большевиков?.. Нет? Тогда идите к чёрту со своим нежным сердцем». Не довольствуясь теми красными, которые ему попадались в руки, он после боя платил казакам по двадцати пяти рублей за каждого пленного, которого к нему приводили…

Разбившись для удобства пути и «харчей» на небольшие группы, мы попали в компанию, состоявшую из пехотного поручика «Васи», артиллериста штабс-капитана Ковальчука-Ковалевского, юриста по образованию, и Самолётова. Вася, молодой и здоровенный помещик, терпеть не мог пехотной службы и ехал теперь в армию с твёрдым намерением поступить в кавалерию. Он был добрый товарищ и офицер, с ровным и весёлым характером. Ковальчук, высокий худой брюнет, был сдержан и неречист. Он возвращался к себе в корниловскую батарею из отпуска. Все трое, как и вообще весь эшелон, были милые и приятные спутники, сохранившие все принципы русской интеллигентной среды. Присутствие Жени среди нас, делившей наряду с мужчинами военно-походную жизнь, заставляло их всех держаться подтянуто и с оттенком рыцарства, что ещё облагораживало наш поход.

Далеко поезд наш не пошёл. У станции Аксай, не доезжая Ростова, эшелон выгрузился и пересел на пароход, который должен был доставить нас по Дону до станицы Старочеркасской, откуда дальнейший путь уже лежал на подводах в направлении на Великокняжескую.

Старочеркасская − старейшая станица Дона, вся тонула в садах и зелени, раскинувшись по низкому берегу реки так широко и привольно, что стоила любого провинциального городишки. Посреди станицы высился старинный приземистый собор, главный храм всей Донской области, в котором присягали атаманы и хранились их старинные булавы и всевозможные реликвии Донского войска в лице старых знамён и перначей, начиная со времён Ермака и Стеньки Разина. В воспоминание об этом последнем в

соборе для назидания потомству висят его цепи, годные сковать до полной неподвижности не только человека, но целого слона.

Принимая во внимание, что в нашей группе была дама, станичное начальство отвело нам лучшую квартиру в доме местного протопопа, который накормил нас сытным и обильным ужином. Дружеский разговор затянулся за полночь, чему особенно способствовало цимлянское вино и обильные воспоминания о прошлом каждого из нас. Эти жуткие рассказы как-то не вязались здесь с тихим вечером и сытой мирной станицей, такой далёкой от шумных и тревожных событий революции.

В поповском деревянном доме карнизы оказались такой невероятной ширины, что я ими соблазнился для ночёвки под открытым небом, несмотря на все протесты жены, убеждённой, что я свалюсь на землю. Однако в доме ночью оказалось так душно и блошисто, что в середине ночи половина наших спутников с недовольным ворчанием перебралась ко мне, волоча за собой перины и подушки.

В розовой дымке утреннего тумана мы выступили из Старочеркасской длинным обозом из трёх десятков телег напрямик через степные просторы к границам Кубанской области, где проходил фронт. Степные великолепные дали, раскинувшиеся сразу за станицей, уходили в такую бесконечность, что глаз уже не улавливал линии горизонта, сливавшегося с небом в неясном мираже. Позади нас оставались за станицей дымки паровозов у Аксая и красные квадратики станционных построек. Вольный разгул тёплых ветров тёк кругом по гребням и балкам. Далёкие и близкие хутора и выселки с дымками труб над ними... Степь... Беспрерывной цепью поднимаются навстречу и тонут сзади сторожевые курганы. Всё безграничное пространство, видимое глазом, покрыто травами. Это были исторические места, половецкое старое раздолье, в котором зародилось когда-то на границах русской земли, выросло и воспиталось вольное казачество, на свою, особую стать, со своим особым бытом, жизнью и обычаями. До самого вечера двигался наш растянувшийся по степи обоз по несказанным просторам Старочеркасского юрта, одного из тех немногих на Руси мест, где сохранилась непаханая и никогда не тронутая плугом целина с татарских и половецких, уходящих в тьму веков, времён. Долгие часы мягко постукивали в пыли наши телеги, а из дымной дали всё продолжали плыть навстречу новые и новые шири, и казалось, что им нет конца и краю... В небе звенели жаворонки, клокотали орлы и копчики, словно застывшие в голубой выси. Становилось всё жарче в воздухе, а кроме одиноких степных хуторов, отстоявших друг от друга на многие вёрсты, кругом ничего не было видно.

Уже за полдень, истомившись от солнца и жара, мы решили на свой страх и риск самовольно свернуть в ближайшую балку, откуда виднелись верхушки садов хутора. От явного изобилия плодов земных и благорастворения в воздухе всё население хутора было сонное и ленивое. Огромные и солидные, полные достоинства волы, жирные овцы и спавшие в пыли куры не обратили на наш приезд никакого внимания. Даже собаки, лениво брехнув, не потрудились вылезти из-под сарая. Зато заспанные и опухшие от дневного сна хозяева встретили нас тепло и радушно, как в те времена повсюду на Дону и Кубани встречали добровольцев. За столом, выставленном под яблоньки и накрытом белой скатертью, мы до отвалу наелись жареной курятиной, каймаком и мёдом, и после этого до самого вечера благодушествовали за самоваром, отмахиваясь от ос, которые в этом сытом и ленивом хуторе одни обнаруживали необыкновенную энергию и деятельность. В самый разгар чаепития к хутору подъехала ещё одна повозка обоза, которую хозяева встретили с не меньшим радушием и немедленно стали питать и поить чаем. Уступив за столом место голодным спутникам, мы поблагодарили хозяев, наотрез отказавшихся взять плату за угощение, и двинулись дальше.

Часа через три, уже к вечеру цепь курганов надвинулась ближе к дороге, и из-за них показались купы зелени вдоль степной речки. Осмотревшись кругом, Самолётов неожиданно заявил, что узнаёт знакомые места, по которым он проходил в первом Кубанском походе. Он очень одобрял окрестности, которые, по его выражению, были точно созданы специально для кавалерийских атак и разведок. «Пошлют тебя на разведку, а её и делать нечего.

Выедешь с разъездом на курган, а с него и видно на тридцать вёрст кругом. Зато уже, не дай бог, в этих местах под артиллерийский огонь попасть... никуда от него не спрячешься».

На вечерней заре, зажёгшей кровавым заревом сзади нас весь горизонт, мы въехали на широкую пыльную площадь какой-то станицы, и сразу попали словно на ярмарку. Как сама площадь, так и все прилегавшие к ней переулки были сплошь запружены подводами прибывших сюда двух эшелонов, причём всё это перепуталось, сцепилось и неистово ругалось, наполняя скрипом колёс, криком и лошадиным ржанием всю станицу. Этапный комендант, красный и потный, с вылезшими на лоб белыми глазами, осипшим сорванным голосом материл извозчиков, и на все наши расспросы только отмахивался руками. У каменного белого дома станичного правления на длинных деревянных столах были расставлены чаны и миски с дымящимся борщом, мясом, яйцами и молоком. Около столов важно стояли и расхаживали чисто одетые казачьи «деды», наряженные угощать и чествовать добровольцев выставленным от станицы угощением. Оглядевшись, Самолётов заявил, что имеет в станице связи в лице старой казачки, у которой он ночевал во время прежних походов. Всей компанией мы отправились её разыскивать, но оказалось, что самолётовская знакомая куда-то выехала, и в отсутствие её нам пришлось обратиться за гостеприимством в местный пункт «Белого Креста», который нас и устроил на ночёвку.

После утомительного второго дня путешествия по степным просторам в пыли и жаре мы к вечеру добрались до одного из хуторов Ягорлыцкой станицы, на котором и заночевали. Хутор оказался не казачьим, а иногородним, и мы это сразу почувствовали. Хозяина не было, он ушёл с Красной армией, хозяйка же встретила нас, окружённая злыми собаками и под аккомпанемент их лая без излишних церемоний заявила, что, так как мы гости для неё незваные, то и не должны рассчитывать на её гостеприимство. Хотя по условиям военного времени такой приём нас и не смутил, однако поставил перед дилеммой – лечь спать голодными, так как хозяйка больше в разговор не вступала и куда-то скрылась, или самим позаботиться о себе. Поместившись в сарае, мы, в качестве новичков гражданской войны, приступили было к обсуждению вопроса, прилично ли будет зарезать без спроса пару хозяйских кур, когда Самолётов, как более опытный воин, не дожидаясь резолюции, стал гоняться с шашкой за пеструшкой, с воплями летавшей по двору. Мы смущённо и неодобрительно наблюдали за этой охотой, мучась совестью и полагая, что подобные поступки «смахивают на большевизм». Наивное доброе время...

Не успел Самолётов закончить свою охоту, как появилась рассерженная хозяйка и потребовала за убитую курицу «синюю бумажку». Мы беспрекословно заплатили и с этой минуты сразу потеряли всякое уважение хозяйки. Подобное нелепое поведение пяти здоровых и вооружённых мужчин никак не укладывались в её большевистском сознании. Ночью вся компания наша расположилась на соломе в большом прохладном сарае. Сквозь сон я слышал скрип колёс и незнакомые голоса, среди которых по временам как будто различал голосок моей Жени. Утром, как я узнал, в хуторе, кроме нас, заночевали ещё две подводы, на одной из которых находился больной холерой военный чиновник, и Жене пришлось с ним провозиться до самого утра, к возмущению Самолётова, который сердился, что «военная дама» не спит и ухаживает за какой-то «штатской сволочью».

К полудню третьего дня мы подъехали к железнодорожным зданиям станции Великокняжеской, около которой была расположена станица того же имени, служившая административным центром Сальского округа. Станции, собственно, уже не существовало, так как, кроме двух огромных железных пакгаузов, от вокзала оставалось только две разрушенные стены да труба, полуразбитая артиллерийским огнём. В то время, как мы выгружали свой багаж из телег, к станции подошёл воинский поезд. Из вагонов его высыпали приехавшие, всё сплошь офицерская молодёжь. Новоприбывшие и наши спутники заинтересовались друг другом, и скоро около поезда образовалась густая толпа. Я поленился вылезать из прохладного пакгауза и, лёжа на своих вещах, смотрел на происходящее. Тихий говор толпы, окружавшей пришедший поезд, стал усиливаться и скоро перешёл в угрожающий многоголосый крик. Из нашего сарая на шум стали выскакивать и подбегать к

вагонам всё новые любопытные. В толпе явно разгоралась ссора. Я не выдержал и подошёл к кричавшим. Оказалось, что происходила ссора между двумя течениями русской Вандеи, так как прибывший поезд вёз через Великокняжескую пополнение в сформировавшуюся в астраханских степях так называемую «Астраханскую армию» князя Тундутова, также работавшего против большевиков, но на немецкие деньги. На этой почве и загорелся между двумя эшелонами принципиальный спор, перешедший в ссору, которая могла вылиться каждую минуту в вооружённое столкновение, так как уже раздавались крики: «К оружию, господа офицеры!.. Не пропускать дальше эту сволочь!» Несколько человек с решительными и нахмуренными лицами бросилось было за винтовками, а корнет Самолётов, с обнажённой шашкой в руках, лез через толпу на защиту интересов Добровольческой армии. К счастью, кто-то из начальства астраханского эшелона догадался дать сигнал к отправке. Заиграла труба горниста, астраханцы бросились по вагонам, и паровоз засвистал. Добровольцы с глухим гулом отхлынули от поезда, и он тихо тронулся мимо нас. Замелькали, ускоряя движение, двери вагонов, промелькнул красный фонарь на последней площадке, и толпа офицеров, возмущённо переговариваясь, разошлась по сараям, обсуждая происшествие.

Большинство возмущалось тем, что астраханцы продались немцам за деньги, позарившись на большое жалование, которое платил Тундутов. В действительности это было не совсем так, кроме денег, астраханский атаман имел и идеологическую приманку в виде ярко-монархической цели своей организации, что многих к нему привлекало. Предприятие это впоследствии успеха не имело, как и другое, ему подобное, в лице «Южной армии», сформировавшейся в Воронежской губернии генералом Ивановым. Немцы, хотя денежно и помогали обеим этим организациям, но лишь в целях ослабления Доброармии, державшейся союзнической ориентации.

Часам к двенадцати ночи подали состав и для нашего эшелона, которому предстоял путь до станции Тихорецкой, где шли бои. Такое путешествие кружным путём тогда объяснялось тем, что большевиками между Ростовом и Екатеринодаром был взорван железнодорожный мост, и пополнение в армию принуждено было идти таким сложным способом. Утром мы уже выгружались в Тихорецкой, где на запасных путях стояли вагоны штаба командующего армией. Отсюда мы должны были быть направлены в полки. Для меня, как кавалериста, этот вопрос был заранее предрешён, для Васи же, который стремился в кавалерию, ожидались затруднения. Волновалась и Женя, которой хотелось попасть врачом в один со мной полк. Через час после приезда все эти вопросы были разрешены. Женя, к моему удовлетворению, несмотря на все её протесты и писки, была назначена врачом в армейский лазарет, стоявший в Тихорецкой, Ковальчук оставался там же для формирования тяжелого дивизиона, а мы с Самолётовым и Васей должны были отправляться в распоряжение штаба 1-й дивизии. Нам с Женей приходилось расставаться и притом впервые, что было нелегко, так как приходилось сдерживать чувства перед товарищами. Когда мы, разместившись по теплушкам, ждали отходного сигнала, из степи донесся далёкий артиллерийский гул. Все сразу подобрались и повеселели. Когда резко прозвонил станционный колокол, Самолётов высоким голосом запел старую юнкерскую песню «Взвейтесь, соколы, орлами», подхваченную сотней молодых голосов. Под её бравурные звуки мимо поплыл вокзал, на перроне которого одиноко стояла маленькая родная фигурка, махавшая нам жалким, мокрым от слёз платочком...

Ехать пришлось всего два перегона. На маленьком степном полустанке, окружённом морем зелёных степей, чувствовалась уже настоящая война. На перроне стояли часовые с белыми перевязями на папахах, отличительным признаком добровольцев в степной войне, где часто два разъезда, встретившись, не могут отличить врага от союзника. Командующего дивизией генерала Казановича, высокого худощавого старика с острой бородкой, мы отыскали здесь же на станции в обществе его начальника штаба. Этот последний напоминал своим видом скорее запорожца, чем полковника Генерального штаба. Одетый в сибирку и широкие, «як море», шаровары, лысый и с длинными висячими усами, он встретил нас не как подчинённых, а как старый студент своих молодых коллег. Штабным

духом канцелярии бумажного производства здесь и не пахло. Запорожец этот, оторвавшись на минуту от карты, над которой пыхтел трубкой, сделал надпись на наших «препроводительных» бумажках и, пожелав нам доброго пути, опять уткнулся в карту. К восторгу Васи, он по невнимательности определил нас обоих в конный полк. Самолётов, дожидавшийся нас на улице, с места посоветовал нам проситься в первый эскадрон и пояснил резоны для этого. Оказывается, весь этот эскадрон состоял исключительно из офицеров, а взводными там были старые полковники. Служба рядовым поэтому всем улыбалась, так как избавляла от ответственности, которую имел за своих подчиненных каждый из нас на командной должности. Это стремление всех поступающих попасть в первый эскадрон было замечено начальством, и к нашему приезду в полк уже состоялся приказ о расформировании офицерского эскадрона, так как в других не хватало взводных командиров. Немудрено поэтому, что по приезде нашем в полк мрачный старый полковник в казачьей форме с жёлтыми лампасами − командир полка Колосовский – с недовольным видом выслушав нашу просьбу о назначении в первый эскадрон, ответил довольно нелюбезно: «Незачем... там и так офицеров девать некуда... да и права на это не имею, эскадрон расформировывается. Будете служить в третьем... Имею честь».

Чтобы выслушать этот суровый ответ, нам с Васей пришлось из дивизии долгие два часа тарахтеть на телеге по полевым дорогам среди кукурузы и пшеницы богатейших кубанских степей, и я даже под конец начал опасаться, не завёз бы нас наш возчик к большевикам, так как фронта определённого ещё не было и добровольческие части были зачастую в тылу у красных и наоборот. Мужичок, хотя и из иногородних, оказался человеком лояльным, и мы, в конце концов, достигли полкового штаба, расположенного на хуторе, утонувшем в вишнёвых садах. Здесь же на хуторе, на наше счастье, и был расположен третий эскадрон, куда мы оба попали. Командиром его оказался полковник Борисов, фигура очень характерная для первого периода добровольчества. Был он не кавалеристом, а пехотным офицером, но по образу толстовского Долохова сорганизовал где-то под Козловом конный партизанский отряд, с которым на свой страх и риск открыл военные действия против большевиков. Отступая на юг под давлением красной гвардии, Борисов прослышал о Добровольческой армии, появившейся на Дону, и после бесчисленных стычек с красными и многочисленных приключений к ней присоединился. Это обстоятельство Борисов всегда подчёркивал в разговоре со всеми и потому считал себя и свой эскадрон на особом положении. Партизанская деятельность отразилась на психологии бравого полковника, и он, привыкнув действовать самостоятельно, с большим неудовольствием подчинялся некоторым распоряжениям начальства. Особенно действовало на его самолюбие то обстоятельство, что как пехотинец он не знал строевой кавалерийской службы и потому часто за это получал замечания. Как мужественный человек независимого и решительного характера, Борисов никогда не шёл по течению, и потому будучи по своим убеждениям непоколебимым монархистом, совершенно не считался с официальной «непредрешенческой» позицией Доброармии, в которой сам он со своим эскадроном продолжал службу его императорскому величеству. На политической почве у него поэтому не раз были столкновения с начальством, во время которых Борисов совершенно не считался ни с чином, ни с местом. В армии всем было хорошо известно его столкновение с покойным генералом Марковым, который позволял себе слегка либеральничать. Будучи однажды по делам в штабе армии, Борисов с генералом имел по какому-то поводу политический разговор, поссорился и назвал Маркова «большевиком». Верность свою принципам монархии полковник Борисов проводил везде и всегда неукоснительно, и как сам, так и все его партизаны, составлявшие ядро третьего эскадрона, не на шутку воевали «за Веру, Царя и Отечество». Флаг прежнего партизанского отряда, в моё время ставший эскадронным значком, был не трёхцветным национальным, как во всей Добровольческой армии, а романовским: чёрно-жёлто-белым. И в строю, и на отдыхе мне не раз приходилось слышать, к глубокому моему удовлетворению, как командир за какую-нибудь провинность орал густым басом на кого-либо из своих людей: «Болван!.. статуй!.. ты не достоин служить его

императорскому величеству!»

По происхождению своему Борисов был из хорошей дворянской семьи Тульской губернии, и из разговоров с ним я узнал, что его сестра была большой приятельницей моей покойной мамы в нашу бытность в Туле. В обозе на особой повозке Борисов возил свою любовницу, смазливую бабёнку из мещанок, которая, будучи прекрасной хозяйкой, вела всё хозяйство лихого полковника и сделала с ним оба Кубанских похода.

Кроме Борисова, в эскадроне мы с Васей застали четырёх младших офицеров, а именно: штаб-ротмистра павлоградца Заворотько, моего «корнета» по Славной школе, и трёх поручиков военного времени. Все они были дельные и боевые офицеры, прошедшие с Доброармией первый Кубанский поход.

В день нашего приезда полк, разбросанный по хуторам у станицы Коренёвки, был в резерве у пехоты, которая в это время вела наступление где-то близко, так как ружейная и пулемётная стрельба трещала почти рядом. Это шёл бой за станицу Коренёвскую, на которую вёл наступление Марковский офицерский полк. Забравшись с Васей и Заворотько на высокое дерево, мы стали наблюдать за боем, и были свидетелями того, как чёрные издали марковские цепи наступали во весь рост, почти без перебежек, неся винтовки на ремне и равняясь, как на параде. Это было необыкновенное, поразившее всех нас зрелище, тем более, что надо отдать справедливость, и большевики держались в бою под Коренёвкой довольно крепко. Красный главковерх Сорокин в этот день даже пробовал сделать обходное движение, но, конечно, неудачно, так как не рассчитал того, с каким противником имел дело: все его усилия разбились о необычайную стойкость и выдержку офицерских частей. Качества врагов были слишком неравны − с одной стороны, набранные с бору по сосенке красногвардейцы, плохо дисциплинированные и ещё хуже управляемые, с другой – опытный, испытанный и закалённый в боях командный состав... Несмотря на присутствие в Коренёвке «красы и гордости революции» в лице отряда кронштадских матросов, которыми так гордилась красная гвардия, большевики в этот день, как и раньше, не смогли выдержать атаки чёрной марковской цепи, неуклонно, как судьба, надвигавшейся на станицу, несмотря на ураганный огонь.

К вечеру наш эскадрон посадили на нерассёдланных с утра коней, и мы до вечера продолжали доканчивать работу пехоты, преследуя и рубя отступавших товарищей. На рысях мы прошли взятую Коренёвку и только в наступавших сумерках вернулись в неё обратно. Здесь мы узнали, что командир корниловцев Кутепов назначен командиром Добровольческой бригады, а на его место стал Скоблин. Бедный мой Вася, так давно и так страстно стремившийся стать кавалеристом, в день нашего первого боевого крещения так в строй и не попал. За неимением свободной лошади его временно прикомандировали к трофейному пулемёту кольта, который вместо пулемётной двуколки поставили на тавричанскую тачанку и отдали под его команду. Кольт оказался безнадёжно испорченным и ни в этот день, ни в последующие никакой деятельности проявить не смог, несмотря на все тяжкие усилия и страшные проклятия бедного Васи.

С первого же дня нашего приезда в полк судьба дала нам удовлетворение принять участие в наиболее блестящем периоде успехов маленькой армии добровольцев, которая в эту пору творила буквально чудеса. Надо отдать справедливость, что этот период войны был лишён тех неприятных сторон и тягот, с которыми обыкновенно связаны войны, и походил скорее на военную прогулку, не лишённую известных приятностей. Начать с того, что второй Кубанский поход, в отличие от первого, «ледяного», имел место в весенние и летние месяцы, когда вся Кубанская область находится в полном цвету. Богатые, многолюдные и сытые станицы Кубани с восторгом встречали добровольцев, как освободителей от ненавистного казачеству большевизма, кормили на убой, не знали, куда посадить, и ухаживали, как за родными. Кругом на необъятном просторе расстилались весёлые цветущие степи, кукурузные и пшеничные поля, среди них здесь и там синели среди садов хутора и отдельные курени, в которых можно было всегда отдохнуть, переодеться и поесть.

Неумелый, панически настроенный противник не мог оказать серьёзного

сопротивления и катился к Екатеринодару, отступая и сдавая позиции при первом коротком ударе, несмотря на то, что во много раз превышал нас численностью. Ежедневно мы брали всё новые и новые станицы, быстро продвигаясь к столице Кубани. Эти ежедневные бои были очень похожи друг на друга по своим условиям и обстановке. Обыкновенно утром, часов в шесть, наши эскадроны выступали из занятой накануне станицы, где была ночёвка. Пройдя пехотные заставы, выставленные на ночь в сторону противника, полк рассыпался лавой по обе стороны железнодорожного полотна, идущего на Екатеринодар, и вёл шагом наступление «до соприкосновения с противником», бежавшим накануне и утерявшим с нами соприкосновение. На уровне лавы по железной дороге медленно продвигался с нами бронированный поезд, то уходя вперед, то отставая. Впереди, насколько хватал глаз, расстилалось зелёное море кукурузы, среди которого кое-где виднелись купы деревьев и соломенные крыши одиноких куреней. Кукуруза, почти созревшая, доходила уже до седла и наполовину скрывала в себе фигуры всадников, были видны только из густых зарослей лошадиные головы и люди с маячившими пиками.

Впереди предательская тишина, в которой где-то близко затаился невидимый пока враг. Эта звенящая тишина нарушается только пеньем жаворонков в далёкой синеве неба, да шорохом кукурузы под ногами коней. Вдоль лавы, растянувшейся на многие вёрсты, то и дело фыркают кони, позвякивают шашки о стремя или пику... Медленно, содрогая своей тяжестью землю, мимо нас, опережая, проходит бронепоезд и, тяжело вздыхая, скрывается за небольшим леском. Среди кукурузного моря нам на пути попадаются брошенные бахчи с недозревшими арбузами. Казаки и добровольцы нанизывают их на пику и едят, не сходя с седла и не останавливаясь.

Сзади лавы, шагах в двухстах, в сомкнутом строю двигается резервный взвод, с которым в сопровождении ординарца и трубача следует Борисов. От него к нам скачет всадник с приказанием. Трубач подаёт сигнал остановки, и офицеры, подняв правую руку кверху, останавливают лаву. Длинный ряд конных замирает, неподвижно маяча тоненькими линиями пик на зелёной равнине. Зачем мы остановились − никто не знает, и спросить не у кого... Со стороны неприятеля из-за леса снова показывается наш бронепоезд, бодро постукивая колёсами на стыках рельс. Он подходит к лаве задним ходом и тоже останавливается, попыхивая паровозом. Сзади гулко и неожиданно раздается вскрик многих голосов: это подъехал к резервному взводу и поздоровался с людьми командир полка со своим штабом и конвоем, над которым развивается полковой значок. Знамён и штандартов в Доброармии ещё нет.

Скоро непонятная для нас остановка получает очевидное для всех объяснение. От Коренёвки к нам тихо подходит паровоз с единственным классным вагоном. Из окна его выглядывает полный генерал с седой бородкой клинышком и что-то кричит ближайшим к полотну дороги всадникам. Это, как мы все знаем, сам командующий армией генерал Деникин, неизменно лично руководящий наступлением. К поезду после этого широким махом, шумя по кукурузе, скачет командир полка со всей своей свитой. Пока начальство совещается, из станицы к нам подтягивается артиллерийская казачья батарея. Звеня и гремя по кочкам и межам, прямо по полю, без дороги идут два орудия, окружённые конной прислугой. Пушки разворачиваются и снимаются с передков, плотная масса коней и ездовых рысцой отъезжает в сторону. У пушек распоряжается невысокий плотный офицер, лицо которого мне кажется знакомым. Приглядевшись, я в нём узнаю старого товарища по корпусу фон Озаровского, кубанского казака, несмотря на чисто немецкую фамилию. Не успеваем мы с ним перекинуться несколькими словами, как Борисов издали начинает кричать: «На место, ротмистр!.. на место!..» Я, повернув коня, подъезжаю к командиру, который вместе со своим ординарцем что-то рассматривает в бинокль. «В чём дело, господин полковник?» Полковник, занятый со своим биноклем, не отвечает, но вместо него отвечает вполголоса вестач.

− Так что, ваше высокоблагородие... ихний броневик суды идёт...

− Где?

− А вот извольте взглянуть… поправее лесочка, − указывает куда-то пальцем зоркий казачина.

Мы впиваемся глазами в синеватую дымку горизонта, и я действительно замечаю, что над вершинами далёких деревьев тает лёгкий светлый дымок.

− Ну, ротмистр... к сотне пожалуйте, сейчас товарищи стрелять начнут, − говорит встрепенувшийся Борисов.

− Плохая ихняя стрельба, − ухмыляется подающий ему повод вестач.

− Ну, это не скажи... раз на раз не приходится...

Когда я карьером, шурша по кукурузе, подскакал к лаве, всадники, поднявшись на стременах, пристально вглядываются вперёд и перекликаются друг с другом. Кто-то в дальнем конце лавы, опираясь на пику, торчит стоя на седле.

− Идёт!.. Матвеич, − кричит кому-то этот добровольный наблюдатель.

− Сичас садить начнёт, − солидно усмехается соседний со мною казак, − и, скажи на милость, господин есаул, нюжли ж у него снарядов без счёта... кажинный день садит, не есть числа и... всё даром!

− А чего ему не стрелять?.. кои не расстреляет, всё одно мы заберём, − смеются соседние казаки.

Гулкий, словно подземный, удар разом заглушает смех и разговоры. Свист снаряда над притихшей лавой, и в полуверсте сзади нас поднимается чёрный столб разрыва. Все поворачивают головы назад. Кто-то, презрительно свистнув, негромко обкладывает большевистских горе-артиллеристов густым матом.

Выстрелы красного бронепоезда следуют один за другим без перерыва, и скоро вся степь кругом застилается чёрным дымом разрывов. Снарядов товарищи, действительно, не жалеют. Впереди нас неожиданно светлым и весёлым дневным пламенем вспыхивает одинокая хатка среди бахчей, в которую угодил большевистский снаряд.

Лава снова выходит из неподвижности и медленно и осторожно начинает продвигаться вперёд. Зелёное поле кукурузы впереди, шуршащее под ветром, затаило в себе где-то совсем близко заставы красных, которые за нами наблюдают, невидимые, и мы каждый момент ожидаем от них обстрела из засады. На горизонте продолжает дымить высоким чёрным столбом и грохочет безвредными выстрелами большевистский бронепоезд.

До слёз от напряжения вглядываемся в зелёную стену впереди. Становится с каждым новым шагом более жутко, так как мы всё больше приближаемся к невидимому, затаившемуся врагу. Он где-то здесь, совсем близко, быть может, за этим кустом, за этой группой зелени... Но деревья, медленно приближаясь, остаются сзади благополучно, и внимание снова устремляется на следующую группу зарослей.

Огонь броневика переносится с лавы на линию железной дороги, где завязывается бой двух бронепоездов друг с другом. Наш стреляет редко, но благодаря близости своей к нам, звонко и совершенно оглушительно, так что после каждого залпа в ушах начинает звенеть. Несмотря на напряжённое состояние и ожидание залпа, я всё же невольно вздрогнул, когда впереди, дальше, чем мы ожидали, перебивая друг друга и захлёбываясь, оглушительно затрещало сразу несколько пулемётов. Длинными невидимыми хлыстами захлестали пули по воздуху. Глухо охнула земля под множеством копыт, и я едва успел подобрать поводья, как конь подо мной, захваченный общим движением, рванулся вперёд и понёсся по кукурузе, набирая скорость. Среди ринувшейся в атаку лавы откуда-то появился Борисов, что-то кричавший и размахивавший шашкой. Навстречу неудержимо неслись кусты, и межи внезапно появлялись под самыми копытами коня. Где-то справа многие голоса взвыли протяжным хриплым криком, который перенесло по всей линии атаки. Это мы наскочили на пулемётную заставу, которую стоптали и порубили на месте. Сквозь режущий свист ветра в ушах как-то сразу понеслись навстречу хлопки винтовочных выстрелов. Пули резали верхушки кукурузы, слали над головой визг и поднимали на мелькавших прогалинах ватные хлопки пыли. Я с трудом сдержал коня и, оглянувшись кругом, увидел отдельных всадников и целые группы разбившейся лавы, искавших, кто где мог, прикрытия от

стального дождя, которым нас поливали засевшие впереди большевистские цепи. Мимо с тяжёлым лошадиным сопением пронёсся юнкер и, кубарем скатившись с седла, присел за копну, держа повод в руке. «Слезайте, ротмистр, скорей!.. прячьтесь за копну!.. убьют!» − закричал он мне хриплым и испуганным голосом.

Действительно, поющие в воздухе струны вдруг зазвенели у меня над самым ухом настолько убедительно, что через секунду я уже сидел за копной рядом с сопевшим юнкером. Сзади над нами, дёргая за повод и толкая друг друга, храпели испуганные кони, инстинктивно прижимаясь к людям. Спешенный вахмистр, у которого убили лошадь, что-то, перекрикивая трескотню выстрелов, кричал сзади. По расстроенной, спешенной лаве металась одуревшая лошадь без всадника, другая на прогалине между деревьями прыгала на трёх ногах, вокруг неё дымились, то удаляясь, то приближаясь, фонтанчики пыли.

Атака наша захлебнулась и остановилась, напоровшись на крупные силы противника, с которым мы таким образом и вошли «в соприкосновение». Оглядевшись кругом, мы решили с юнкером подаваться влево по цепи, так как справа большевики вели особенно жестокий огонь, и канава над межой недалеко от нас вся дымилась от пуль. Ведя коней в поводу и пригибаясь в кукурузе, мы побежали вдоль цепи. Повсюду за прикрытиями, прижимаясь к копнам и кустам, виднелись спешенные казаки и офицеры. Неудавшаяся атака среди опытных в боях добровольцев не вызвала никакой паники, и теперь спешившись, лава ожидала дальнейших приказаний, так как наступление вперёд в конном строю было невозможно.

К нашей группе, приютившейся у кустов, сзади на храпевшем и мокром от пота коне подскакал казак.

− Господин есаул, − обратился он ко мне взволнованным голосом, − гляньте, пожалуйста, не ранен ли у меня конь. Чтой-то он на заднюю ногу припадает...

Я окинул взглядом его рыжего статного кабардинца и увидел, что из мускула ноги повыше колена коня бьёт вверх фонтанчик густой вишнёвой крови.

− Да, ранен... в правую заднюю, но кажется не в кость, а в мясо.

− Ах ты, боже мой, вот наказанье, − загоревал казак, − ведь весь поход коня берёг, а вот теперь под самым Екатеринодаром и ранили!

− А вам, господин есаул, отступать командир приказал... ведите лаву назад, − вдруг вспомнил он то, зачем был прислан.

Отведя коней назад, мы посадили эскадрон, и лава, сдерживая горячащихся коней, стала отходить к станице. Едва мы стали отступать, как стрельба большевиков разом смолкла, из-за высокой кукурузы они нас сразу утеряли из виду. «Короче повод!.. короче повод!..» − покрикивали вдоль по цепи голоса офицеров, видя, что кони из рыси то там, то здесь переходят в неприличный галоп. Это было нелегко, люди с трудом удерживали лошадей, чувствующих опасность.

За нашими спинами вслед за пулемётами и винтовками смолк скоро и бронепоезд красных, подбитый во время боя снарядом нашего «Добровольца», и его дым скрылся за горизонтом. Зелёная кукурузная степь снова приняла свой мирный вид, и опять зазвенели над ней умолкшие было жаворонки. Только чёрные ямы разрывов да догоравший хутор говорили теперь о том, что здесь так недавно носились смерть и разрушение...

Едва мы стали подходить к станице, как навстречу нам надвинулись не спеша, деловито переговариваясь на ходу, пехотные цепи, шедшие выбивать красных из кукурузы и дальше из занятой ими очередной станицы. На пути мы догнали отходившую конную батарею и примазавшуюся к ней тачанку, на которой трясся злой и потный Вася, обнявшийся со своим бесполезным «кольтом», не сделавшим ни одного выстрела, несмотря на все усилия своего командира. Сзади пулемёта на тачанке лежали накрытые буркой две неподвижные фигуры убитых казаков.

От батареи отделился и подъехал ко мне улыбающийся Озаровский. Скаля зубы и сверкая глазами на белобрысом лице, он рассказал, что пулемётный огонь большевистских застав угодил прямо по батарее и по конвою командира полка, стоявшему рядом.

– Знаешь!.. Земля так и закипела кругом. Я думаю, ну какая же из этих пуль моя. Ан вот видишь, и жив, и здоров оказался!..

– Что ж, у вас много народу перебило?

– Нет... из батарей троих, да вашего казака из конвоя, что полковой значок возил. Прямо в сердце пуля угодила... Он, что называется, и не пикнул... Ну, конечно, и лошадей переранило.

Описанный выше утренний бой, или вернее столкновение с большевиками, являлся типичным эпизодом наступления Добровольческой армии на екатеринодарском направлении. Каждое утро, в течение двух недель, мы неизменно входили «в соприкосновение с противником», и ежедневно происходило с небольшими вариациями приблизительно то же самое, если не считать большего или меньшего количества раненых и убитых в этих столкновениях. Серьёзный бой, в котором мы приняли участие, произошёл только при взятии самого Екатеринодара в так называемых «садах», т.е. в окрестностях самого города, представляющих собой сплошные сады и огороды.

Красная армия главковерха Сорокина в неудачных боях потеряла сердце и одновременно с тем все возможности для защиты Екатеринодара. Все военные операции до этого сводились лишь к тому, что ежедневно добровольцы занимали новую станицу вдоль пути на Екатеринодар, неся при этом сравнительно небольшие потери. Под самим городом Сорокину удалось задержаться около трёх дней, во время которых значительная часть его армии успела переправиться через Кубань, взорвав за собой железнодорожный мост. А в это время по зелёным степям Кубани к Екатеринодару и морю упорно надвигались добровольческие отряды, среди которых, помимо военных шинелей, мелькали гимназические и студенческие пальто или штатские костюмы. В строю, конном и пешем, рядовыми шли солдаты, юнкера, офицеры и даже генералы. Так, например, Казанович, перед тем, как получить дивизию, лежал в цепи с винтовкою в руках как простой солдат. В обозах на многочисленных подводах двигались за армией многочисленные беженцы, почти сплошь интеллигенция в лице солидных людей в городских пальто и калошах. Немало и женщин месило густую кубанскую грязь, идя около своих подвод и экипажей...

Громадное четырёхэтажное здание екатеринодарского института, в котором расположился весь конный полк, в числе других частей занявший Екатеринодар, стояло на высоком берегу Кубани.

Бесконечные коридоры, дортуары и классы с беспорядочно стоявшими в них детскими партами были сплошь засорены и завалены сеном, соломой, обрывками обмундирования, рассыпанными по полу патронами и всевозможным оружием, что всё вместе производило впечатление какого-то мамаева нашествия. В коридоре и дортуарах у стен сплошные ряды винтовок и пулемётов; на полу и в чистеньких девичьих кроватках, поставленных вкривь и вкось, лохматые и громоздкие фигуры добровольцев, лежащих в полном снаряжении и грязных сапогах со шпорами. Гулко громыхают сапоги и звенят шпоры по всем переходам, громкий бесцеремонный смех и низкие голоса наполняют весь институт непривычным для него шумом.

Немногие институтки и часть персонала, не успевшие разъехаться по домам, переселились в подвалы и стали невидимы, предоставив всё остальное помещение под нужды армии. Лишь однажды, проходя вечером по коридору, мне удалось издали увидеть промелькнувшую на лестнице, как белую мышку, институтскую пелеринку, нёсшую чайник.

Городской сад и весёлые оживлённые улицы вот уже второй день наполнены радостным шумом и движением. 3 августа 1918 года Добровольческая армия после трёхдневного боя заняла Екатеринодар, восторженно приветствуемая населением. Ехавшего на традиционном белом коне генерала Эрдели и идущие за ним войска засыпали цветами, как истинных освободителей.

Сегодня столица Кубани второй день праздновала своё освобождение от чуждой и ненавистной московской власти, и праздновала от всей души. Голубое, умытое небо в этот день было точно специально заказано для празднества. Общую радость и веселье нисколько

не нарушало то обстоятельство, что город ещё обстреливался большевиками из-за Кубани, и снаряды крупного калибра оглушительно рвались в институтском саду.

Лёжа на койке, я смотрел в окно, где виднелась небесная синь и верхушки тополей сада, в которых время от времени поднимались бурые столбы разрывов, от которых дружно дребезжали стёкла и с потолка сыпалась извёстка.

На душе было как никогда ясно и спокойно, и будущее казалось радостным и светлым. Это ощущение решительной победы над большевиками разделялось и всеми меня окружающими, так как вся огромная зала, в которой мы только что провели ночь, весело гудела молодыми голосами и смехом. Большевистские чемоданы, летевшие из туманной дымки закубанских степей и рвавшиеся с оглушительным грохотом под окнами, никого не беспокоили, а только придавали воинственный аккомпанемент всеобщему ликованию.

Утром я вышел в город, который в этот час приветствовал радостными криками и цветами генерала Деникина, производившего у собора парад войскам, занявшим Екатеринодар. Я стоял на площади, когда по окончании молебна из войскового собора повалила толпа загорелых офицеров. Среди них не спеша шли всем известные теперь генералы в опрятных гимнастёрках с орденами и строгими лицами. Высокий стройный Эрдели с фуражкой набекрень и красивой раздвоенной бородкой, широкий бородатый Кутепов, курносый с медвежьими глазами Богаевский и, наконец, Деникин с красивым и умным лицом. Серебряная его бородка и вся фигура внушали сыновье почтение. В сопровождении нелюбимого в армии генерала Романовского Деникин пересёк площадь и, встреченный командой «смирно», стал обходить выстроенные войска.

По пыльной немощёной площади, обсаженной тощими деревьями, пошли церемониальным маршем немногочисленные войска: дежурный эскадрон нашего полка в потрёпанном обмундировании, дроздовцы, марковцы, кубанские стрелки…

Запылённые, загорелые, оборванные, но с ясными лицами и весёлыми глазами, пылили мимо нас кавалеристы, звеня саблями о стремена, дружно отбивала шаг пехота.

Я невольно вспомнил, что вчера у этой площади при вступлении первых разъездов в Екатеринодар какая-то пожилая дама в трауре с исплаканным лицом бросилась прямо под копыта и, прижавшись к моему запылённому сапогу, судорожно зарыдала от радости, в то время как кругом на наши головы, несмотря на трескотню пулемётов, летели из окон и с балконов цветы, раздавались радостные крики и женский плач. Эта неожиданная встреча добровольцев в столице Кубани никогда не исчезнет у меня из памяти…

Хорошо и просто сказал речь своей маленькой армии генерал Деникин. Плотно и грузно сидел он на небольшой лошадке, и в простых и тёплых словах, которые он нам говорил, чувствовалась вся его немудрая и честная душа…

Конечно, ни он сам, как никто и из нас, добровольцев, не подозревал, что парад у войскового собора Екатеринодара был последним актом самого светлого и героического периода Белого движения, его лебединая песня…

Правда, после взятия Екатеринодара начался период головокружительных успехов, открылся широкий путь на Москву, когда Добровольческая армия перестала быть кучкой странствующих идеалистов и вышла на путь великодержавия. Здесь, на высоком берегу Кубани и дальше у Чёрного моря умер её рыцарский дух, дух первых добровольцев, бестрепетно умиравших во имя белой мечты. Отошёл и отдалился от армии с этого времени и сам Деникин, к чему принудили его новые обстоятельства и более широкие перспективы. Армия с этого времени стала развёртываться в серьёзную силу, организация разрасталась и требовала новых людей и методов. После Новороссийска и Екатеринодара эти новые люди пришли и принесли с собой свои методы, в новых условиях постепенно забылось старое, успехи кружили головы, идея изменялась, тускнела и, наконец, совсем погасла… С нею погибла Добровольческая армия и само белое дело.

В наших рядах постепенно редел и, наконец, совсем исчез старый тип офицера-добровольца, идеалиста и рыцаря; на его смену пришёл офицер новой формации – ремесленник и специалист гражданской войны. Вместо бескорыстного служения родине и

идее в армию он принёс стремление к карьере и наживе. Взамен Корнилова, Маркова, Нежинцева и Дроздовского первую роль стали играть Мамонтов, Шкуро и тысячи никому не известных до того людей, безвозвратно погубивших и загрязнивших всё чистое и светлое, что было положено в основу белого дела его основоположниками.

Кто знает, может быть, это было и к лучшему. Вряд ли зародившийся в донских и кубанских степях рыцарский орден белых идеалистов-воинов мог удержать и направить взбаламученную, истерзанную и опьяневшую от крови страну своим мученическим примером. История человечества не знает таких примеров…

Через два дня после взятия Екатеринодара Марковский полк праздновал свой полковой праздник. Весело и бодро звучал оркестр, и офицерская молодёжь от всей души праздновала этот двойной праздник. В Екатеринодаре полку предстоял давно заслуженный отдых от тяжёлой боевой страды, в которой он участвовал с самого основания Добровольческой армии.

После нескольких дней отдыха в Екатеринодаре части Добровольческой армии разделились, преследуя отступающего противника. Главные силы двинулись по направлению Армавир – Ставрополь для освобождения Северного Кавказа, часть пошла на Тамань – очищать Таманский округ от остатков большевистских шаек, бригаде же полковника Кутепова, в которую входил наш полк, выпало на долю преследовать разбитую армию Сорокина по линии Крымская – Новороссийск. Это последнее обстоятельство, как нельзя более, соответствовало моим планам, так как по всем соображениям логики надо было полагать, что если отцу удалось спастись из тюрьмы, то он почти наверное должен был скрываться в Геленджике, где его мало кто знал.

Отдых мой в Екатеринодаре был испорчен тем, что Вася, ездивший в отпуск, привёз известие, что моя Женя заболела воспалением лёгких и спешно вызывает меня к себе. Приехав в Тихорецкую в тот же день, я, к счастью, застал жену уже выздоравливающей и через два дня вернулся в полк, который пришлось догонять за Екатеринодаром. В день отъезда мне пришлось наблюдать на вокзале приезд генерала Алексеева, назначенного в это время приказом по армии её верховным руководителем.

На полупустом, очищенном от посторонних перроне прохаживались в ожидании поезда генералы Деникин, Романовский, Эрдели и Лукомский. Здесь же выстроился почётный караул из офицерской полуроты, участников Ледяного похода. Под звуки музыки поезд подошёл к перрону, и из него вышел Алексеев. Это был глубокий старик с худым измождённым лицом. За последний год жизни он состарился на добрые десять лет. На здоровье его, конечно, отразились тяжёлые условия похода и ответственная работа, которую старик выносил на своих плечах в труднейший период жизни Армии. Но сводило его в могилу тяжёлое моральное состояние, в котором постоянно находился Алексеев после революции, в которой он сыграл известную роль. Это моральное наказание он нёс как кару за недавнее прошлое, за те исторические минуты, которые не простили ему ни история, ни он сам. Люди, хорошо знавшие генерала Алексеева, а таковых в Армии было немало, передавали, что старик, вспоминая о том, что в тяжёлый момент он не поддержал государя, говорил: «Этого я себе никогда не прощу!..»

Не успел Алексеев сойти с подножки вагона, как Деникин, теперь его подчинённый, подошёл к нему с рапортом, держа руку у козырька. Алексеев обнял его, поцеловал, и оба генерала заплакали. Мёртвое молчание стояло при этой сцене на вокзале. Дамы и многие мужчины плакали, не стесняясь окружающих. Даже у офицеров, державших под козырёк, дрожали руки. Какой-то штатский господин в пальто, не выдержав напряжения, восторженным плачущим голосом вскрикнул: «Христос Воскресе!..» − что, видимо, относилось к его воскрешению из большевистской могилы.

На хвосте у большевистских отрядов, отступавших в панике к морю, мы через три дня после выступления из Екатеринодара вошли почти без боя в большую богатую станицу Крымскую. Восставшие при нашем приближении казаки редкими выстрелами провожали последние разъезды красных, замыкавшие арьергард Сорокина. На рассыпавшихся в горах

красноармейцев местное население организовало целые облавы, охотясь на них, как на волков. Красногвардейцы, и в особенности комиссары, награбившие большие деньги, рассыпались по всем лесам и по так называемым «плавням», т.е. заросшим камышом и ивой болотам реки Кубани. Казаки как на промысел ходили в плавни на охоту за комиссарами, которых убивали как диких зверей, отбирая деньги в свою пользу. Дело это было весьма прибыльное, и охотников было хоть отбавляй, как в Екатеринодаре, так и по станицам. Повсюду ходили рассказы о том, как тот или иной казак принёс «из плавней» огромные суммы.

Со времени очищения Кубанской области от большевиков Добровольческая армия увеличилась почти вдвое благодаря казачьему пополнению, и по выходе из Екатеринодара полк наш принял полуказачий характер. Одновременно с этим ранее неизвестные в Армии грабежи приобрели права гражданства в соответствии с казачьим взглядом на всякую войну, как на поживу. Поначалу пожива эта ограничивалась ловлей всевозможных комиссаров и красногвардейцев, но с течением времени привычка к лёгкой наживе осталась в Армии, а любители её перешли на практику и другого рода.

В Крымской, где мы остановились на днёвку, произошёл неприятный инцидент. Нас догнал приказ по Армии о немедленном переводе всех офицеров в части по их специальности. Благодаря этому не только Васе, но и полковнику Борисову приходилось покинуть полк и ехать на службу в пехоту. Возмущённый такой «несправедливостью», горячий Борисов решил этому приказу «не подчиняться» и, забрав с собой человек пятьдесят преданных ему партизан и всех пехотных офицеров, служивших в полку, бросил полк и походным порядком отправился к своему другу, генералу Глазенапу, только что назначенному губернатором Ставрополя, с надеждой, что этот последний его не выдаст. Само собой разумеется, что вслед взбунтовавшемуся полковнику полетели телеграммы о его задержании, разоружении и тому подобное, но все они не достигли цели, так как я впоследствии слышал, что Борисов Ставрополя благополучно достиг и даже командовал при Глазенапе какой-то маргариновой конной частью.

Бунт против распоряжения начальства полковника Борисова был, если не ошибаюсь, первым случаем открытого неповиновения в Добровольческой армии, но, увы, впоследствии неповиновение приняло довольно широкие размеры и отчасти даже вошло в традиции добровольчества. Взять, например, хотя бы существовавший впоследствии порядок назначения начальников в так называемые «цветные части», т.е. марковские и корниловские полки, куда штаб мог назначать только командиров, вышедших из рядов этих полков, а никак не со стороны. Только благодаря такому положению вещей и мог попасть малообразованный и неопытный по службе прапорщик военного времени Скоблин в генералы и начальники дивизии, когда ему не было ещё и 30 лет.

В уютном казачьем домике в станице Крымской, окружённом густым садом, мы поместились вчетвером: Заворотько, оставшийся после ухода Борисова за командира сотни, я, разлапый и добродушный кубанский хорунжий и приставший к нам где-то на походе весёлый вольнопер граф Шиле, на котором нисколько не отразились тяготы двух Кубанских походов.

Станица была в первом упоении своего освобождения от большевиков, и всё население её находилось в сплошном ликовании. В станичном управлении взявший снова в свои руки власть атаман в окружении стариков степенно разбирал вороха жалоб и претензий, с которыми неизменно связывается всякая перемена политического режима. Тихая в обычное время и заросшая густыми купами тополей и ракит станица теперь бурлила страстями вокруг станичного правления. Толпы пеших и конных казаков в черкесках и бурках наполняли площадь, спешно формируя сотню для поддержки добровольцев.

К вечеру суматоха улеглась, и станица по наружности приняла тихий и безлюдный вид мирного жития. Как-то не верилось мне в этот тихий вечер, что среди мирных белых домиков, зелёных плетней и заборов и заросших садами улиц кипят страсти, совершается насилие и льётся кровь. Казалось, что синее глубокое небо над головой, зелёные, покрытые

лесом горы кругом, важные спокойные казаки и степенные казачки с медленной речью и уверенными движениями живут прежней спокойной и сытной жизнью вдали от всяких политических бурь и революции. В первую же ночь, которую нам пришлось провести в Крымской, мне пришлось убедиться, что под наружным покоем и здесь кипит ненависть и сводятся кровавые счёты и обиды.

Старый казак, накормив нас сытным ужином, уложил спать на полу среди куреня на ворохе пахучего горного сена. Духота, стоявшая в маленькой комнатке, гудящей роем мух, и пережитые впечатления мешали заснуть, мы переговаривались друг с другом, пока хозяева убирали со стола чайную посуду. В открытую на улицу дверь пахло влажной пылью и сеном, была тихая лунная ночь. Вдруг неподалеку сухо прогремело несколько револьверных выстрелов, через минуту ряд таких же выстрелов послышался в другом краю станицы. Там, где во время гражданской войны стояли войска, эти звуки настолько обычны, что никто из нас не обратил на эти выстрелы никакого внимания. Поздно ночью, проснувшись от духоты и переворачиваясь на другой бок, я опять услышал отдалённый выстрел, вслед за которым из-за деревянной перегородки, где спали хозяева, раздался смешок и шёпот.

− Кто это у вас стреляет по ночам? − окликнул я хозяина.

− Ничего... спите... это свои ребята, − послышался довольный и весёлый голос старика.

− Кто свои?

− Да наши... казаки...

− Чего же они ночью стрельбой забавляются?

− А это, стало быть, они наших домашних большевичков... кругом теперь на них охота идёт.

За перегородкой на его слова тихо засмеялась баба.

− Откуда же у вас тут большевики?

− Да тутошние... иногородние.

Утром, позабыв про ночной разговор, я в ожидании выступления пошёл побродить по станице. На одной из тихих пыльных улиц у забора, через который свешивались ветви сирени, над чем-то толпилось несколько мальчишек. У ворот напротив визгливо переговаривались казачки. При моём приближении мальчишки опасливо отошли в сторону, а бабы скрылись в воротах.

У забора лицом в густой пыли ничком лежал труп человека средних лет, одетый в серый пиджак и высокие сапоги. Мертвец лежал, вытянув вперед руки, видимо смерть застала его на бегу. Затылок был совершенно раздроблен выстрелом в упор, и часть черепной коробки с волосами свисала на сторону. Вокруг лужи крови и беловато-серых мозгов над ней вилась стая мух. Кровь уже почернела и впиталась в землю, очевидно,труп лежал здесь уже несколько часов.

Ребятишки молча и равнодушно стояли кругом, казачки опять возобновили своё щебетание о каких-то совершенно посторонних предметах. Кругом в станице стояла невозмутимая тишина, так не вязавшаяся с этим окровавленным трупом, до которого никому не было дела.

− Чей это труп?.. кто его убил? − спросил я у баб.

− А кто его знает... мы не знаем, иногородний какой-то, − последовал неохотный ответ.

− Почему же его не уберут? Почему он здесь валяется?

− Та его баба приходила утром, побачила, та й каже... на шо вин мени тепер, шо я с ним буду робить?.. та й пишла соби...

Во всех этих объяснениях и ответах казачек была какая-то недоговорённость, и в тоне ответов враждебность, свойственная казакам по отношению к иногородним.

Возмущённый всей этой странной сценой, я пошёл в станичное управление, где уже знакомый мне атаман важно заседал за покрытым зелёным сукном столом и что-то кричал на

толпившихся у дверей казаков.

− Слушайте, атаман... там, на улице с ночи валяется труп, который никто не хочет убрать, почему вы не примете к этому мер?

В станичном управлении после моих слов сразу наступила странная тишина, казаки, стоявшие у дверей, переглянулись друг с другом.

− И где это, господин есаул? − с явным притворством спросил атаман.

− Да тут же у вас за углом, около станичного правления.

Атаман понимающе посмотрел на писаря, который вполголоса сказал:

− Неделков это должно... из слободки

− Какой это Неделков, − продолжал притворяться атаман.

− Да председатель совета... вы же знаете!..

Атаман сразу заторопился и словно засеменил на месте.

− Не извольте беспокоиться, господин есаул... сичас прикажу убрать... а только убитый етот, большевик, как изволите видеть. Их, стало быть, нынче ночью арестовывали, ну и... вышел грех, потому казачки оченно на них серчают.

При словах атамана я сразу вспомнил ночные выстрелы, поведение моих хозяев, их довольный смех, и, взглянув на лица атамана и казаков, всё понял. Здесь в станице, как и везде в казачьих областях, в большевики пошли исключительно иногородние, и казаки в первую же ночь свержения советской власти свели с ними кровавые счёты. Моё невольное вмешательство в их станичные дела было принято недоброжелательно и рассматривалось казаками весьма неодобрительно по принципу «свои собаки дерутся − чужая не мешайся», да и, кроме того, с их точки зрения, я и сам был для них «иногородним». Их беспокойство было напрасно, новая кубанская власть, ставшая на смену советской, истребление местных большевиков кустарным способом, хотя и негласно, но одобряла…

Как это теперь не кажется невероятным, но город Новороссийск был взят 13 августа 1918 года кавалерийской частью и в конном строю. Бой за овладение городом начался несколькими орудийными выстрелами со стороны железнодорожного вокзала, и к четырём часам дня наш полк в составе трёх эскадронов справа по три вошёл в город со стороны вокзала. Красная Таманская армия при первых звуках боя хлынула в панике по шоссе на Геленджик и Туапсе, не принимая сражения и не защищая своего тыла.

От вокзала путь в город идёт узким проходом между казённых зданий среди лабиринта корпусов новороссийского элеватора и через широкий двойной туннель выходит в порт.

От вокзала, который мы заняли без сопротивления, впереди полка двинулся наш броневой автомобиль «Корниловец». Медленно продвигаясь, он, пыхтя, осторожно шёл по мертвенно пустым и неприветливым улицам предвокзалья. За ним почти вплотную в конном строю, справа по три, шли первые ряды полка.

Кое-где на углах «краса и гордость революции» в лице растерзанных матросов пробовала оказывать сопротивление, но после десятка беспорядочных выстрелов удирала при первой пулемётной очереди броневика. На перекрёстке после этого оставалось два-три трупа, и мы после минутной остановки двигались дальше.

В туннеле в одну из круглых отдушин под потолком чья-то невидимая снизу рука бросила ручную бомбу, которая на счастье не разорвалась. Это происшествие задержало нас на полчаса, пока обстреливалась крыша туннеля, и вылавливали спрятавшихся там матросов. За туннелем новое происшествие: из-за угла навстречу броневику полным ходом вылетел и удивлённо остановился большой чёрный автомобиль под красным флагом. Два дула пулемётов «Корниловца», смотревшие по сторонам, быстро повернулись и взяли его на прицел.

Явно комиссарская фигура в коже и с портфелем под мышкой приподнялась на сидении, вытянула шею и с начальственной ноткой в голосе гневно закричала:

− Это что ещё за безобразие! Какая это часть?..

По первым рядам кавалеристов волной пронёсся смешок, настолько комиссарский

крик был нелеп и неожидан.

− А ты кто же сам-то будешь? − спросил насмешливый голос из броневика.

− Да что вы, товарищи, одурели, что ли?.. Не видите сами, что я военный комиссар, − продолжала горячиться фигура в автомобиле.

На момент наступила изумлённая тишина, вслед за которой грохнули по мостовой копыта нескольких коней, и побледневший и испуганный насмерть комиссар сразу оказался окружённым казаками и офицерами. Разглядев погоны, он с вытаращенными глазами безмолвно остался сидеть на подушках сиденья, неспособный пошевелиться. «Слезай, товарищ комиссар... приехали, − раздался чей-то холодный и зловещий голос. Комиссар безропотно поднялся и, путаясь в собственных ногах, сошёл на мостовую с серым лицом. Звонко щёлкнула нагайка, и фуражка с красной звездой покатилась среди конских копыт.

Через пять минут военком, мелко перебирая босыми ногами, рысил по камням мостовой, привязанный за шею к седлу командирского ординарца. С бледного лица его не сходило удивлённое выражение.

В автомобиле, важно развалившись и довольно покручивая седые усы, ехал полковник Колосовский. За рулём, рядом с вооружённым ординарцем, замер, как каменный, бледный шофёр-красногвардеец, ещё не пришедший в себя от такой быстрой перемены своих пассажиров. Как впоследствии стало известно, неожиданное пленение военного комиссара Черноморско-Кубанской республики, попавшего нам в руки, как кур в ощип, объяснялось следующими обстоятельствами. Город Новороссийск за два года развесёлой матросской власти настолько привык ко всякого рода шальной стрельбе, что в нём власти и население уже не обращали внимания на ружейную и пулемётную стрельбу, имевшую место чуть не каждый день по случаю любой матросской пьянки. О взятии Добровольческой армией Екатеринодара, конечно, в Новороссийске знали, но никак не предполагали, что «кадеты» в такой короткий срок могли оказаться у ворот города. Поэтому, когда раздались первые орудийные выстрелы, а за ними ружейная перестрелка, многоопытное и видевшее виды население заперлось в домах и замерло в ожидании очередной резни, а местное начальство отнесло всю эту суматоху к бунту или восстанию какой-либо части гарнизона. Военный комиссар республики, которого это происшествие больше всех касалось, был на пикнике в удельном имении «Абрау-Дюрсо» за городом. Будучи вызван по телефону для ликвидации беспорядков, сильно рассердился на нарушителей своего праздника, и, помчавшись их карать, попал так по-дурацки в плен. Под сиденьем его автомобиля оказался целый ряд бутылок с шампанским, которые и были распиты в тот же вечер в штабе в честь занятия города.

Неожиданное пленение военного комиссара у вокзала было единственным комическим эпизодом дня, непосредственно за этим начались вещи глубоко трагические. Кроме командования Таманской армией во главе с Сорокиным и его красной гвардии, драпанувшей по сухумскому шоссе, все остальные представители власти Черноморско-Кубанской республики не только оставались в городе, но многие даже и не подозревали, что добровольцы вошли в город.

Все бесчисленные военные отделы и секции рабоче-крестьянской власти Черноморья продолжали сидеть в особняке бывшего губернаторского дома и марать бумагу, справедливо полагая, что ликвидация беспорядка и стрельбы в городе лежит на обязанностях военной власти. Город невелик, и потому не прошло и получаса после пленения комиссара, как все части города были нами заняты.

На долю третьего эскадрона как раз достался тот район, в котором находился бывший дом губернатора, на крыше которого почему-то торчал, распустив крылья, каменный орел. Этому булыжному орлу пришлось в памятный день 13 августа увидеть жуткие вещи. Вся власть Черноморской республики была нами захвачена в полном составе, за весьма редким исключением, почти без сопротивления, настолько большевики растерялись от неожиданного налёта.

Всё, что пришлось пережить за полтора года революции самим офицерам от

красной власти, все муки, страдания и издевательства над ними самими, над их жёнами, детьми и всем тем, что нам было дорого, всё нашло своё возмездие в этот день на улицах злополучного Новороссийска и в особенности в стенах губернаторского дома.

Когда утихли страсти и жизнь начала входить в норму, потребовалось три дня, чтобы смыть с полов, лестниц и стен следы этой ужасной мести. Только немногих наиболее важных комиссаров удалось спасти начальству для суда и следствия из рук остервенелых добровольцев. В одной из комнат этого дома была захвачена нами целая секция «анархистов-террористов» со своим чёрно-красным знаменем, на котором стояла надпись «война дворцам − мир хижинам». Не знаю, были ли при этой оказии представители дворцов, представители же хижин в лице казаков-кубанцев отплатили анархистам полновесной монетой. Знамя было разложено поверх анархистов и в полчаса нагайками и шомполами превращено вместе с анархистами в кашу из окровавленного мяса и тряпья...

Одному из комиссаров-матросов удалось как-то прорваться с маузером в руках из дворца на улицу. Погоня настигла его у дверей городского театра, куда он вскочил, успев запереть за собой дверь. Когда дверь взломали, красный воин уже висел, раскачиваясь на верёвке, повесившись в одной из лож, чтобы только не попасть живым в руки «кадет».

Чтобы объяснить всю ту лютую ненависть, которую питали казаки и офицеры к большевикам и ту жестокую расправу с комиссарами, которые попали нам в руки в Новороссийске, надо вернуться на несколько месяцев назад, ко временам первого большевизма.

Осенью 1917 года, как город Новороссийск, так и вся Кубанская область попали в руки матросов Черноморского флота. Флот, пока он находился под командованием адмирала Саблина, несмотря на революцию, вёл себя более или менее прилично. С отозванием из Чёрного моря Саблина матросская удаль под влиянием большевистской пропаганды развернулась вовсю. Была объявлена Черноморско-Кубанская независимая республика, во главе которой стала «семёрка» под председательством кочегара миноносца «Керчь» Соколова. Начались немедленно расстрелы, террор и невероятные жестокости, затопившие кровью всё Черноморье. Приведу лишь несколько эпизодов этого жуткого времени для иллюстрации.

С Кавказского фронта через Трапезунд в Новороссийск прибыли транспорты, на которых находились четыре батальона Варнавинского пехотного полка, возвращавшегося на родину. Полк прибыл в порядке с полным офицерским составом. В день прибытия первого транспорта варнавинцев матросы потребовали у солдат выдачи всех офицеров для расстрела. Солдаты наотрез в этом отказали, не желая предавать на верную смерть своих офицеров, с которыми они пережили всю военную страду. Дабы не связываться со стоявшим в Новороссийске флотом, варнавинцы решили уйти на тех же транспортах в Крым.

Едва транспорт со штабом полка и первым батальоном вышел из порта, как его догнал миноносец «Керчь» и потребовал под угрозой своих орудий выдачи офицеров для немедленной казни. Солдатам ничего не оставалось другого, как выдать вопреки своей воле весь командный состав. Офицеры были доставлены на миноносце в Новороссийск, где их после невероятных издевательств и пыток перебили, выкинув трупы в море. Казаков матросская власть избивала и расстреливала по малейшему доносу иногородних, возглавлявших в станицах советскую власть. Пыткам и издевательствам подвергали большевики и семьи казаков, заподозренных в неприязни к большевизму. В станице около Новороссийска семью одного казака, бежавшего к белым, местный большевик-иногородний с помощью прибывших в станицу матросов сжёг живьём в хате, предварительно изнасиловав казачку с двумя дочерями. Когда после этого добровольцы взяли станицу, и в числе местных большевиков был захвачен и этот иногородний, казак, отец и муж погибших женщин, потребовал от командира добровольческого отряда выдать ему этого пленного на расправу. Получив в свои руки пленного комиссара, казак заперся с ним в сарае, единственном уцелевшем от его усадьбы после пожара, и отплатил за погибшую свою семью и родную хату. По словам соседей, большевик этот у него кричал в сарае всю ночь до утра, «як

поросёнок». Казак, как оказалось, сжёг его на медленном огне...

Начальство Добровольческой армии, при всех своих добрых намерениях, бороться с местью красным со стороны пострадавших от большевистского террора было не в состоянии, и все издаваемые в Армии по этому вопросу приказы не вели ни к чему. Младшему же начальству или старшим товарищам во время боевой суматохи вмешиваться в расправы с большевиками было прямо опасно, и такого непрошенного защитника гуманизма могла ожидать пуля от собственных товарищей. Те времена, те и деяния…

Из числа большевистских зверств в Новороссийске в это время было одно дело, к которому я имел некое косвенное отношение. В окрестностях города имелось, да вероятно и теперь существует, урочище, носившее название «балки Адамовича». Здесь при большевиках на своей даче продолжал жить с большой семьёй отставной генерал. У генерала была собака французский бульдог Трильби. В июне 1919 года жители балки обратили внимание на то, что в течение трёх суток подряд на генеральской даче, стоявшей в отдалении, слышен собачий вой. На стук в двери никто не отозвался, а когда они были сломаны, то было обнаружено, что бедная Трильби, со стоящей дыбом шерстью, воет среди восьми окровавленных и изуродованных трупов. Все члены генеральской семьи вместе с кухаркой и горничной были перебиты. При этом соседи вспомнили, что два дня тому назад в балке пьянствовала, безобразничала и всю ночь напролёт стреляла матросская шайка, приехавшая из Новороссийска. Покойников похоронили, собаку взял к себе кто-то из соседей, и о происшествии скоро забыли, так как мало ли народу погибло в эти суматошные дни.

По приходе в Новороссийск добровольцев осиротевшая Трильби, переходя из рук в руки, попала, наконец, ко мне и я впоследствии взял её с собой в Геленджик, куда был переведён на службу. Приглядевшись поближе к бульдогу, я скоро убедился, что собака после пережитого была психически больна. Она не только панически боялась выстрелов, что было понятно после пережитой ею трагедии, но кроме этого совершенно не выносила темноты, среди которой ей, вероятно, мерещились призраки. Оставшись одна в тёмной комнате, она приходила в дикий ужас и начиняла выть самым ужасным образом. Это, несомненно, имело связь с убийством её прежних хозяев, но для меня было совершенно непонятно. Что видела во мраке двух жутких ночей бедная Трильби среди трупов, знала она одна…

Бедный пёс прожил у нас недолго. Боясь одиночества, она постоянно ходила за мной по пятам. Однажды, пробуя на пограничном посту новый пулемёт, я совершенно не обратил внимания на то, что из дому со мной пришла не выносившая выстрелов Трильби. При первой очереди из пулемёта она подпрыгнула, завизжала и в диком ужасе бросилась в лес. Назад она уже не вернулась, вероятно, бедную больную собаку порвал в горах какой-нибудь зверь или она сама в своём слепом беге сорвалась в пропасть.

После взятия Добровольческой армией Новороссийска командованием была назначена специальная следственная комиссия для расследования дела о потоплении в Новороссийском порту военных судов Черноморского флота. Комиссия работала несколько месяцев, но настоящих виновников этого тёмного дела так до конца и не выяснила; уж очень много вокруг этого было замешано разнообразных людей и интересов.

В общих же чертах дело сводилось к следующему. Когда в самом конце 1917 года Новороссийску стали угрожать немцы, пьяную и разнузданную матросню, владевшую в это время эскадрой, стали агитировать со всех сторон всевозможные тайные и явные агенты, большевистские, немецкие и английские. В результате этой агитации, после раздачи матросам каких-то тёмных денег и бесконечных митинговых ораний, моряки разделились на две части: одни стояли за то, чтобы отвести суда в Севастополь и не сдавать их немцам, другие за то, чтобы во избежание захвата врагами кораблей в Новороссийске затопить их собственными руками. Как водится на революционных митингах, обе стороны ни до чего не договорились, и каждая поступила по-своему. Часть флота ушла в Крым, а другая во главе с дредноутом «Свободная Россия» была взорвана и затоплена своими командами на внешнем

рейде. До самых последних дней Добровольческой армии, т.е. до середины марта 1920 года, в Новороссийске со дна моря против Кабардинки торчали мачты погибших миноносцев и в воде были видны их трубы. От огромного дредноута не оставалось и этого, он был взорван на большой глубине против маяка Дооб.

До новороссийского периода Добровольческая армия в буквальном смысле была «бедным рыцарем», и материальная её часть была более чем не обеспечена. Что касалось вопроса фуража и людского довольствия, дело пока что улаживалось в этот период тем, что армия шла походом по Донской и Кубанской областям, в которых казачество, сытое и обеспеченное, будучи бесконечно благодарным добровольцам за избавление от большевиков, снабжало и питало армию бесплатно и очень охотно, категорически отказываясь брать за это плату. Для таких обширных и богатых областей содержать маленькую армию, представлявшую собой по численности едва бригаду мирного времени, и не представляло никаких трудностей.

Зато в отношении обмундирования нам приходилось туго. Одежда и обувь в походе буквально горели, а купить новые вещи было и негде и не на что; жалования мы тогда не получали вплоть до Новороссийска. Поэтому единственным источником приобретения боеприпасов и одежды для нас являлся противник, т.е. красногвардейские части, с которыми мы вели войну. После взятия Екатеринодара, а затем Новороссийска, красные стали для нас не только интендантами, но и своего рода кассой, из которой при известной удаче можно было заполучить очень хороший куш. Зажатая в это время между морем и горами, Таманская армия агонизировала, и в первую голову из неё, как всегда, стали спасаться еврейские комиссары с награбленными во время революции и гражданской войны богатствами. Те деньги, которые мы захватили в Новороссийске на пленных комиссарах, пришлись как нельзя более ко времени, так как к этому моменту многие мои однополчане успели до того обноситься, что напоминали собой форменных оборванцев.

Я чувствовал себя очень неловко в день взятия города, когда толпа жителей, состоявшая наполовину из молодых женщин, устроила нам на площади овацию с поднесением цветов. Конфуз мой был вполне законным, так как на мне была исправна только одна штанина, половина же другой погибла безвозвратно на каком-то плетне в станице Крымской во время сутолоки боя. Приблизительно в таком же малоприличном для воинов и победителей виде были и остальные, и в особенности некий развесёлый вольнопер граф Шиле, гулявший буквально в одних подштанниках. Впрочем, этот последний имел слишком своеобразную точку зрения на современную жизнь и о своём внешнем виде не особенно беспокоился. Во время уличного боя в день взятия Новороссийска ему попался в руки на редкость питательный комиссар, удиравший с чемоданом, в котором оказалось девять миллионов рублей в царских бумажках, тогда ещё полноценных. Шиле, немедленно пустив комиссара «в расход», добытыми миллионами распорядился весьма оригинально, а именно, совместно с приятелями пропил их до последней копейки за неделю стоянки нашей в Новороссийске. Когда, выступая из Новороссийска, я заметил графу, что ему следовало бы вместо пьянства на пропитые деньги прилично одеться, он не без пафоса ответил: «Как дворянин, я считаю позорным для себя воспользоваться этими грязными деньгами, другое дело... их пропить!..» Надо правду сказать, в этой гомерической пьянке, устроенной на деньги погибшего позорно комиссара, принимал участие, кроме Шиле, и почти весь остальной эскадрон, причём пили то, что было под рукой в городе, а именно где-то разысканное французское шампанское, которое закусывали шоколадными конфетами, стоившими в то время, конечно, безумные деньги. Меня от этого благородного времяпрепровождения тошнило потом дня три.

Принял нас Новороссийск весьма радушно и расквартировал лучше не надо. Нам, офицерам и двум вольноопределяющимся третьего эскадрона, пришлось поместиться в доме очень милого и гостеприимного старика-поляка Якубовича, одного из старых пионеров и колонизаторов Черноморья. Он был один из руководителей и совладельцев винного кооператива «Мысхако», имевшего в окрестностях города большие виноградники. Он много

и интересно рассказывал нам о жизни Черноморья под властью матросской республики. Сам Якубович от красной власти пострадал мало, так как считался «иностранцем», но материально большевики его, как и всех, сильно хлопнули по карману, так как сторожа кооператива и соседних с ними дач захватили имение и виноградники в свою собственность, и «Мысхако», или, вернее, его погреба, стали любимым местопребыванием местных матросских властей.

Якубович хорошо знал моего деда и отца, которые также были пионерами по колонизации края, и потому особенно хорошо ко мне относился. Ночевали мы у него в доме, располагаясь на перинах прямо на полу, а то и просто на пушистых коврах его гостиной.

В первый же вечер занятия нами Новороссийска мне пришлось, к сожалению, стать свидетелем одного происшествия, которое впервые заставило многих задуматься над целесообразностью официального «непредрешенства» Добровольческой армии, которое могло явиться впоследствии причиной многих недоразумений, и, в сущности, скрывало за собой политическую безыдейность нашей борьбы.

Случилось это так. В городском саду шло оживлённое гуляние, в котором принимали участие как представители вошедших в город добровольческих частей, так и гражданское население. На открытой летней сцене играл оркестр духовой музыки из моряков, а сам сад, как и прилегающие к нему улицы, был переполнен публикой, находившейся в приподнято-радостном настроении.

Среди военных преобладали чины офицерского конного полка и кубанские стрелки, которые вошли в Новороссийск через два часа после нас. После всяких вальсов и полек, сыгранных оркестром, кем-то из сидевших у сцены офицеров музыкантам был заказан национальный гимн. При первых его звуках вся толпа, наполнявшая сад и прилегавшие улицы, поднялась на ноги и замерла в благоговейной тишине, которая сменилась чисто стихийно громовым «ура» и рукоплесканиями, громом прокатившимися над городом.

Не успела стихнуть эта чистосердечная монархическая демонстрация натерпевшихся под большевиками людей, как у ворот сада начался шум и крик. Оказалось, что полупьяный есаул кубанец, несмотря на уговоры товарищей, требовал от музыкантов, в виде протеста против царского гимна, исполнить «Марсельезу». Вырываясь из рук товарищей, есаул кричал на весь сад: «Пусть!.. Наплевать!.. Я желаю, я требую!»

Капельмейстер, замерший в нерешительности с палочкой в руках, как гусь, поворачивал голову то вправо, то влево, и наконец приняв решение, взмахнул рукой, оркестр послушно грянул первые такты «Марсельезы». Публика, в большинстве своём в музыке неискушенная, не обратила особого внимания на новый мотив и продолжала фланировать по дорожкам сада. Вероятно, всё бы этим и ограничилось, и революционные вкусы кубанского есаула остались бы без всяких последствий для окружающих, если бы в этот момент в воротах сада не показалась группа моих однополчан офицеров, среди которых находился юный корнет князь Долгорукий, самый молодой офицер в полку.

Услышав звуки «Марсельезы» и увидев в оркестре матросов, её исполнявших, князёк остановился совершенно ошеломлённый, но затем, придя в себя, бросился к сцене, требуя прекращения революционного гимна, да ещё иностранного. За шумом музыки его голос музыкантами услышан не был, что окончательно вывело нервного молодого человека из себя, и он, выхватив револьвер, стал палить из него в музыкантов. В дикой панике матросня побросала свои трубы и кинулась спасаться, попрыгав со сцены прямо в сад. Ничего не подозревавшая военная публика, гулявшая в стороне от сцены, услышав выстрелы, насторожилась, а затем, увидев бегущих моряков, решила, что происходит облава на всем ненавистных матросов, стала преследовать бегущих. Загремели выстрелы из винтовок и револьверов, и вдоль уже тёмных дорожек сада началась охота за матросами.

У рампы открытой сцены между тем происходила другая, не менее нелепая картина. Пьяный есаул, заказавший «Марсельезу» оркестру, лез с кулаками на Долгорукого, который, в свою очередь, лез на казака, размахивая наганом. С обеих сторон спорщиков уговаривали однополчане, хватая за локти и оттаскивая назад. Кучка военных вокруг

спорщиков росла с каждой минутой, и скоро вокруг сцены зашумела и заволновалась целая толпа офицеров.

− Не желаю!.. Довольно царей... нам только Кубань освободить, а там мы вам... покажем!.. − орал есаул.

− А, сволочь... большевик, я тебе покажу «Марсельезу»... мать твою так и расстак!.. − неслось ему в ответ.

Вдруг дикий крик есаула покрыл все голоса, потеряв совсем голову, он кричал уже слова команды:

− Кубанцы!.. ко мне... в цепь!..

Многоголосый крик после этого сразу оборвался, и толпа, словно расколовшись на две части, отхлынула на две стороны. Защёлкали затворы винтовок, затрещали кусты, в которых бегом рассыпались и ложились в цепь казаки и офицеры. Ещё минута, и между сторонниками «Марсельезы» и поклонниками царского гимна завязался бы форменный бой, если бы я не вспомнил внезапно устава военного общежития, согласно которому старший в чине разрешает все возникшие в офицерской среде недоразумения.

Этим старшим, к ужасу своему и смущению, оказался мирно дремавший на скамеечке отставной интендантский генерал, которого мы бесцеремонно и вытащили из тёмного угла в самую середину разгорячённой и озлобленной толпы. Генерал-майор Мошков, с которым мы три года спустя встретились в английском кампе Египта и вспомнили этот эпизод, не имел в себе ровно ничего военного, кроме формы, всю жизнь занимался счётом солдатских сапог и подштанников, и потому оказался до того перепуганным перспективой стать арбитром в этот жуткий момент, что буквально онемел. Его дёргали во все стороны, требовали суда и справедливости, орали каждый своё, делая широкие жесты, отчего чуть живой от старости, щуплый генерал совсем оробел и только всхлипывал по-птичьи, беспомощно воздевая руки к небу.

Среди невероятного крика и гвалта он, совершенно растерявшись, только лепетал какие-то отдельные слова:

− Ради бога!.. Господа!.. Я ничего не знаю!.. Давно в отставке... пожалуйста, господа!.. отпустите меня, ради бога...

Однако «господа» вокруг настолько разъярились, что никто не хотел ничего слушать, а тем более отпускать генерала.

Традиции офицерской среды, хотя и пошатнувшиеся при революции, сидели ещё крепко в присутствовавших, и генерал, несмотря на весь комизм его фигуры, всё же разрядил атмосферу. Вмешались офицеры постарше, и шум постепенно стал стихать. Страсти, так неожиданно вспыхнувшие, поуспокоились, и кубанцам удалось увести из сада пьяного есаула, после чего публика стала расходиться.

На другой день в штабах двух полков произошли соответствующие объяснения, вмешалось высшее начальство, и виновники происшествия в городском саду понесли наказания. Официально дело это было ликвидировано. Однако оно послужило поводом к тому, что не я один задумался о дальнейшем, и в результате у нас в полку произошла на другой же день определённая политическая манифестация, во время которой офицерство дало понять начальству те политические идеалы, во имя которых мы вели свою борьбу с большевиками. Произошло это, как и полагается в военно-офицерской среде, вполне корректно и при подходящих обстоятельствах, но тем не менее эффект получился полный.

Причиной этого нового происшествия послужило то, что на первом офицерском собрании, созванном командиром полка, обсуждался вопрос о похоронах убитого при взятии Новороссийска поручика. На вопрос Колосовского, какую надпись желали бы господа офицеры поместить на венке убитому однополчанину, последовал единодушный ответ: на венке должна быть надпись «За Веру, Царя и Отечество». Это был не только прямой ответ на вопрос командира, но и, несомненно, косвенный на вчерашнее происшествие в городском саду, из которого высшее начальство Добровольческой армии могло вывести соответствующее заключение.

Коснувшись вопроса о политических симпатиях казаков-кубанцев, должен сказать, что в рядах Добровольческой армии они представляли собой наиболее левый и наименее симпатичный элемент, заражённый всевозможными видами самостийности и социализма, с которыми командованию приходилось много бороться. Большевистская агитация в среде кубанских заправил привела к тому, что под влиянием Рады кубанцы бросили фронт и погубили белое дело. В отличие от донских и других казаков, кубанское войско вполне заслужило ту долю, которая ему выпала от советской власти...

Самоуверенность и нахальство кубанцев в отношении нас, добровольцев, также выпирали на каждом шагу. В том же Новороссийске в день его занятия я немного заблудился и не мог сразу найти расположение своего полка. В этот момент из-за угла улицы навстречу мне показалась в конном строю какая-то власть. Я обратился к ехавшему во главе сотни кубанскому есаулу с вопросом, не знает ли он, где здесь расположен офицерский конный полк.

Есаул покосился на мои не казачьи погоны и нехотя ответил:

− Не знаю... мы только что вошли в город... да такого полка и нету...

− Как нету? − возмутился я, − а кто же Новороссийск взял сегодня?

− А мы, кубанцы, его взяли... а то кто же ещё? − ответил, проезжая, казак.

Это было прямо великолепно! Они, кубанцы, взяли город, вступая в него только вечером, в то время как добровольцы находились в нём с утра. Эпизод этот похож на анекдот, но зато весьма характерен.

Отдыхая и отъедаясь в Новороссийске, мы понемногу приводили в порядок эскадрон для дальнейшего похода. Люди эскадрона были расположены рядом с нашей квартирой на широком дворе. По городу ещё шлялось и скрывалось под разными масками много всякого сброда, отставшего нечаянно или умышленно от красной гвардии и ныне принявшего защитную окраску. Однажды под вечер, когда кавалеристы, убрав коней, сидели вокруг костра, на котором грелся чайник, во двор зашёл китаец, одетый в защитную гимнастёрку и такие же брюки. Увидев военных, он отступил назад, на лице его выразился явный испуг. Люди, из которых большинство было кубанцы, замолчали и наблюдали за гостем, который замер неподвижно в воротах.

− Тебе что? − мрачно нарушил молчание вахмистр.

Китаец расплылся в заискивающей улыбке и, приседая, что-то забормотал, но что именно, я не разобрал. Казаки поняли, видимо, его лепет, так как с ругательствами вскочили и окружили китайца. Подойдя ближе, я спросил, в чём дело.

− Да вот, господин есаул, послушайте, что этот раскосый говорит. Ясное дело, он, сукин сын, из китайского отряда Сорокина!.. Говорит, родную Кубань, вишь, защищает!

Эта фраза о защите «родной Кубани», во времена занятия Кубани и Черноморья добровольцами, равнялась смертному приговору для отставших от красной гвардии китайцев. Дело было в том, что в армии Сорокина имелся сформированный из китайцев отряд «особого назначения», исполнявший исключительно палаческие функции над казачьим населением. Для большего издевательства над кубанцами большевики выучили не понимавших по-русски китайцев произносить фразу, что они будто бы «защищают от белых родную Кубань». После поражения красной гвардии разбежался и китайский отряд, члены которого затем бродили по Черноморью, стараясь затеряться среди многочисленных китайских рабочих, выписанных сюда военным ведомством во время войны. Незнание русского языка губило бывших казачьих палачей, так как фраза о защите «родной Кубани», которую они говорили на все расспросы, немедленно вела их к аресту. Обыкновенно таких защитников Кубани казаки убивали на месте, запарывая шомполами до смерти за прошлое. По-видимому, та же участь ожидала и нашего гостя. Мрачный и потемневший лицом вахмистр молча взял китайца за плечо и, бегло окинув взглядом двор, повёл его к сараю. Нехорошо усмехавшиеся казаки и кавалеристы толпой последовали сзади. У меня даже и мысли не мелькнуло вступиться за китайца, настолько казачья месть казалась мне законной.

− Иди, ходя!.. Я тебя поблагодарю сейчас за защиту Кубани, − многозначительно

пообещал по дороге вахмистр, − будешь, голубь, доволен!..

− Стойте, вахмистр, − не без колебания посоветовавшись с собственной совестью, вмешался я, − что вы хотите с ним сделать?

− Убить гадину... господин есаул.

− Нет, это не годится, теперь... комендант города запретил самовольные расправы, сдайте его, если так, в комендантское.

Люди недовольно и враждебно замолчали, смотря исподлобья. Мое приказание им казалось явной несправедливостью и поблажкой большевикам.

−Что ж, господин есаул, и по жопе его погладить, стало быть, не разрешите?.. За всё про всё? − недовольно спросил вахмистр.

− Нет, это можете... вкатите ему шомполов, сколько влезет, чтобы помнил!

Повеселевшие кавалеристы, все как один, отдали честь и, ухмыляясь, повели китайца в сарай на расправу. «Ходя», видимо, чувствовал за собой вину, так как, придя в сарай, сам стал на колени и поднял руки вверх, ожидая заслуженного конца.

Услышав короткую команду «ложись», он, видимо, успокоился и покорно улёгся носом в навоз. Казаки в моём присутствии с чувством и от всей души выпороли китайца нагайками, что называется, на славу, причём манза кричать громко не посмел, а только тихонько повизгивал по-собачьи, понимая, что дело могло окончиться для него гораздо серьёзнее. Вести его казаки к коменданту не стали, и китаец после порки, обрадованный, долго кланялся, пятясь задом к воротам, в которые и скрылся. Надо полагать, что по китайским понятиям он никак не ожидал такого «счастливого» исхода.

С первых дней занятия Черноморской губернии добровольцами в Новороссийске началась работа по организации новой власти и порядка, что было для командования армией отнюдь не лёгкой задачей. Для создания полностью сложного государственного аппарата у нас не было ни времени, ни людей, ни возможности, почему в Черноморье, как и во всех других местах, занятых белыми армиями, пока что вся исполнительная и законодательная власть оказалась сосредоточенной в руках военных учреждений.

Приказом главнокомандующего командир бригады полковник Кутепов был назначен военным губернатором Черноморья и его штаб, таким образом, являлся в Новороссийске высшей правительственной инстанцией. Комендантское управление и начальник гарнизона должны были выполнять все остальные правительственные функции.

На третий день нашего пребывания в Новороссийске совершенно неожиданно для меня я попал в ряды местной, вновь формируемой, администрации. Случилось это просто и быстро, как и всё то, что происходило на военной службе старого времени. Однажды утром я был вызван к командиру полка, от которого получил приказ о назначении старшим адъютантом, или, как в старину говорили, «старшим плац-адъютантом» комендантского управления. Через четверть часа после беседы с командиром полка я уже являлся своему новому начальству в лице временно исполняющего должность коменданта города подполковника Якутина.

Кроме нас двоих, никого из штата управления не было, и нам поэтому предстояло заняться, прежде всего, формированием самого управления и организацией службы. Помещение для комендантского управления было уже отведено в доме упразднённого революцией банка на Серебряковской улице, и когда я в него вошёл, там была уже полудюжина писарей, строчивших перьями.

Два дня назад в этом помещении проживал со своим окружением "красный комендант" Новороссийска − матрос Отроблянко, почему все комнаты носили живописные следы этого пребывания. Полы густо заплёваны, подоконники и двери замызганы и вымазаны кровью, углы завалены обрывками кумачовых плакатов, пустыми бутылками и грудами заржавленных винтовок и патронов. Прежде всего всё помещение надо было очистить, вымыть и дезинфицировать, на что понадобилось добрых два дня.

Покончив с чисткой и меблировкой, мы занялись с Якутиным созданием необходимого штата, для чего в штаб военного губернатора была написана соответствующая

бумага. На другой день к нам стали прибывать один за другим командированные в распоряжение коменданта офицеры и солдаты.

Среди многочисленных сослуживцев по комендантскому управлению Новороссийска вспоминаю лучше других, кроме начальства, капитана Миляшкевича, поручика Головань и сотника Ляха. Все трое были заслуженные и много раз раненые офицеры – участники Великой войны и Ледяного похода.

Головань был местным уроженцем и до войны получил известность на всю Россию как знаменитый пловец-рекордсмен, плававший из Новороссийска на Дообский маяк и обратно, что равнялось расстоянию не менее 12-15 вёрст. Революция застала Голованя в родном городе, куда он приехал лечиться от ранения. Вместо лечения в период матросской Черноморско-Кубанской республики он был арестован и... расстрелян в числе двух десятков других офицеров. Получив в грудь восемь пуль из пулемёта, согласно порядкам того времени, он замертво упал в общую могилу, и на него свалилось несколько трупов. Ночью он пришёл в себя, выбрался из-под мертвецов и нашёл в себе достаточно сил, чтобы добраться домой. Вся верхняя часть груди у него над ключицами была покрыта неровной линией тёмно-красных пятен от пуль, идущей от одного плеча к другому. Пережитое наружно мало отразилось на характере этого бравого спортсмена, и он везде и всюду сохранял хорошее настроение, несмотря на плохие обстоятельства.

Миляшкевич, как и Головань, был старый корниловец и носил на рукаве своего чёрного мундира восемь нашивок, по числу полученных ран на Великой и гражданской войне. Здоровье его оставляло желать лучшего, и он часто болел.

Сотник Лях, кубанский казак, носивший на своей чёрной черкеске золотой значок Славной школы, принадлежал к известной в городе культурной семье, глава которой много лет подряд был директором реального училища в Новороссийске, за что и был расстрелян большевиками в 1917 году. Старший сын погибшего, студент-юрист, был искалечен на войне и вскоре умер от паралича позвоночника, а младший, мой сослуживец, покинув впоследствии службу в комендантском управлении, ушёл добровольно на фронт, где был зверски зарублен красными во время неудавшейся атаки.

Впоследствии, уже за границей, расспрашивая знакомых о судьбе своих сослуживцев по Новороссийску, я узнал, что и все другие во главе с подполковником Якутиным, так или иначе погибли к концу Добровольческой армии, хотя судьба и была к ним милостива в Великую войну...

Якутин пробыл на своём временном посту недолго, скоро его сменил полковник Васьков, к которому он поступил помощником. Васьков, старый воинский начальник из Симферополя Кавказского, был пожилой и очень мрачный человек, с тяжёлым и нелюдимым характером. Он терпеть не мог, как старый военный, канцелярии, не знал её, почему возложил всё это на мои плечи. Это была нелёгкая для кого бы то ни было задача, даже и в мирное время, а тем более для той суматошной эпохи, которую мы тогда переживали. В тех условиях, в которых протекала жизнь на территории Доброармии, комендантское управление являлось учреждением, в котором, волей или неволей, сосредоточивалась вся жизнь города и его окрестностей. Так как никаких гражданских и полицейских организаций в те времена в Новороссийске не было и в ближайшем времени не предвиделось, то вся административная, полицейская, карательная, исполнительная и отчасти законодательная работа лежала на нашем управлении. За полгода службы в нём я прошёл здесь солидную школу администратора, карателя, посредника и даже политика.

Положительно не было ни одного вопроса жизни, для разрешения которого население города не шло бы в «комендантское». Работая по 15 часов в сутки, я едва справлялся со своими обширными обязанностями и, по-видимому, не без успеха, так как просители, к моему отчаянию, увеличивались в числе в чисто геометрической пропорции.

Дело дошло до того, что однажды комендант прислал мне в кабинет двух чиновных дам, которых он сам постеснялся выгнать; они явились за советом, «как им улучшить своё материальное положение». Кроме разных обязанностей по управлению, на мне лежала

задача и по наблюдению порядка в городе, и надзор за поведением господ офицеров и нижних чинов гарнизона. Каждое утро по этой линии я должен был являться с докладом, помимо коменданта, ещё и к начальнику гарнизона − командиру Кубанского стрелкового полка полковнику Тунебергу.

Как этот последний, так и моё непосредственное начальство в лице Васькова, – оба они по своему характеру были самодержцы и очень мало считались друг с другом, тем более, что взаимоотношения между ними были довольно неопределёнными. Получая зачастую от этих двух инстанций приказания совершенно противоположные, я должен был напрягать все свои дипломатические способности, чтобы без ущерба для самого себя выйти из всех этих затруднений.

Зато комендантские офицеры, мои подчинённые, именовавшиеся «младшими адъютантами», поистине блаженствовали и отдыхали на новой службе от похода. Кроме дежурств по управлению, всё остальное время они бездельничали в городе, где все их обязанности сводились к бесплатному посещению театров и всяких других увеселительных мест, дабы пресекать и ликвидировать все могущие произойти недоразумения между военными людьми и гражданскими лицами. Кроме «младших адъютантов», которых было не меньше дюжины, в управлении имелись более солидные офицеры, из которых каждый заведовал каким-нибудь отделом канцелярии, и десяток писарей, занятых круглые сутки.

Помимо этого обширного штата, к управлению, впредь до определения на должности по армии, было прикомандировано много штаб-офицеров и даже генералов, которые впоследствии, как, например, генерал Репьев, заняли видные посты.

Для ликвидации остатков большевистской власти в лице захваченных красных комиссаров всевозможных калибров, а также для суждения военных преступлений, совершаемых чинами армии, при комендантском управлении был организован приказом военного губернатора военно-полевой суд, заседавший два раза в неделю. Эта мера была необходима для того бурного и полного разбушевавшихся страстей времени. Как это всегда бывает там, где одна власть ушла, а другая не успела ещё сорганизоваться, в Новороссийске 1918 года было много таких дел, которые по условиям боевого времени являлись подсудными военно-полевым судам − строгим, скорым и не всегда справедливым.

Грабежи, или, вернее, расхищение брошенного на произвол судьбы имущества, как частного, так и казённого, в первые дни занятия нами города происходили повсюду. Помню, что на Серебряковской улице почти напротив комендантского управления, тогда ещё не существовавшего, находился гастрономический магазин или кооператив, из которого целые вереницы солдат и казаков день и ночь таскали бутылки и свёртки, и никому из начальства не было времени этим заинтересоваться и принять против расхищения необходимые меры.

Через неделю после очищения города от красных, когда начало работать комендантское управление и жизнь более или менее начала входить в норму, власти стали принимать суровые меры против грабежей и расхищения частного имущества, уж не говоря о казённом. Полковник стрелкового Кубанского полка Кржановский, назначенный председателем военно-полевого суда, шутить не любил, и его репутация скоро стала известна всем любителям лёгкой наживы.

Одним из первых чинов Добровольческой армии, преданным этому суду за бесцеремонное пользование чужим имуществом, оказались два мои однополчанина – вольноопределяющиеся граф Шиле и Сукин, оба молодые люди из хороших семей. Проживавший в Новороссийске отставной пьяница-есаул взял их с собой в винный склад, где они под его руководством должны были «добыть» вина для кутящей компании и были арестованы проходившим патрулём.

Суд немедленно приговорил есаула к расстрелу, и та же кара висела уже над головами двух глупых юнцов, если бы не моё вмешательство. Выступив их защитником, я доказал, как мог, что вся вина лежала исключительно на пьяном скандалисте есауле, вольноперы же в избытке служебного рвения лишь слепо исполняли его приказания, совершенно не думая о последствиях своего поступка и не интересуясь сами вином, так как

оба были непьющие. С грехом пополам суд нашёл возможным, принимая во внимание молодость ребят, их оправдать. Дабы отучить их рассчитывать на чужую снисходительность, я через коменданта устроил им недельный арест при управлении.

Приблизительно через две недели после падения Новороссийска суд приступил к рассмотрению дел большевистских комиссаров, арестованных при занятии города. В числе этих последних фигур, более или менее заметных, не помню, если не считать некую госпожу уже средних лет по типу идейной большевички из интеллигенции. Баба эта занимала в покойной Черноморско-Кубанской республике должность комиссара народного просвещения и отличалась при этом необыкновенной распущенностью нравов в матросской компании. Приговорили её, насколько помню, к тюремному заключению, но впоследствии освободили по каким-то немощам. Однажды в числе других арестованных в арестном помещении суда я встретил молодого человека, лицо которого мне показалось очень знакомым. Он меня тоже узнал и со слезами бросился обнимать, вырвавшись из рук караула. Это оказался Григорович, сын новороссийского воинского начальника и бывший кадет воронежского корпуса, с которым мы когда-то в лагере сыграли злую и опасную шутку. Он был исключён из четвёртого класса, и с этого времени проживал без дела у отца в Новороссийске. При наступлении революции, а затем учреждении в Черноморье матросской республики этот Григорович из любви к приключениям и по собственной глупости примазался к компании местных комиссаров, с которыми водил приятельство, и участвовал в кампании против местных буржуев. После бегства из Черноморья Таманской армии он вернулся в Новороссийск, где был кем-то из жителей опознан и арестован как большевистский лидер. Не видал я его лет шесть, и за это время Григорович успел вытянуться в здоровенного румяного парня, что не мешало теперь ему от страха реветь, как белуга. Он знал, что хвост у него замаран, и потому ожидал расстрела. Среди слёз и криков он несколько раз старался вытащить у меня из кобуры револьвер, чтобы застрелиться, становился на колени и всячески молил меня за него заступиться и спасти от смерти. В память прежнего я его пожалел и подал в суд заявление, что желаю дать показания в пользу обвиняемого Григоровича. Вызванный в заседание, я чистосердечно, не кривя душой, заявил, что знаю Григоровича с детства и могу засвидетельствовать, что в умственном и нравственном отношении он был дефективным ребёнком, по каковой причине исключён из кадетского корпуса, и в настоящее время он, несомненно, ненормален и не может всецело отвечать за свои поступки. Суд принял мое свидетельство во внимание и вместо расстрела, который грозил Григоровичу, приговорил его к тюремному заключению, которое, конечно, в те времена являлось чистой фикцией, так как отец его имел все возможности выхлопотать сыну впоследствии помилование.

Вечером после заседания Кржановский, весьма ко мне благоволивший, зашёл в управление и недовольным тоном спросил:

− Откуда это у вас, ротмистр, неожиданная нежность сердца?.. Чего хлопотали сегодня за этого сукинова сына?

− Нельзя, господин полковник, он мой старый однокорытник по корпусу. Я его даже однажды по мальчишеской глупости чуть на тот свет не отправил…

− А вы какого корпуса?

− Воронежского…

− Да ну!.. Вот так история, ведь я тоже воронежец выпуска 1910 года…

− Ну, вот видите… Значит, и вы, хотя и против воли, помогли выручить из беды однокорытника, тем более, что он, уверяю вас, господин полковник, не большевик, а просто дурак.

− Ну, чёрт с ним, его счастье, а так вообще не рекомендую вам эту сволочь миловать, не в таком мы с вами положении, чтобы их жалеть…

Как показали последующие события, полковник Кржановский был глубоко прав. Жалеть противника в гражданской войне не приходилось. Самого полковника судьба не пожалела: два месяца спустя он погиб под Армавиром.

Высшей властью в крае осенью 1918 года являлся военный губернатор полковник Кутепов, вскоре произведённый в генералы. Его начальником штаба в этот период был офицер генерального штаба полковник Де Роберти, много лет спустя в эмиграции сыгравший предательскую роль в отношении своего прежнего начальника. Как известно, Де Роберти кончил очень плохо в Добровольческой армии и ещё хуже у большевиков. В начале 1919 года следствием было установлено, что начальник штаба губернатора тайно торгует разрешениями на вывоз из Новороссийска в Грузию хлеба, которого недоставало армии и населению Юга России. Судом, перед которым предстал Де Роберти, было установлено, кроме того, что он подделывал на разрешениях подпись генерала Кутепова… Разжалованный в солдаты, Де Роберти был приговорён, как уголовный преступник, к 10 годам тюрьмы и посажен для отбывания наказания в тюремный замок, откуда большевики его освободили в марте 1920 года после падения города.

Помощником Кутепова по гражданской части являлся бывший вице-губернатор Черноморской области Сенько-Поповский. Это был бывший лицеист, маленький, хорошо воспитанный господин со сдержанными манерами. Половину лица у него занимало огромное родимое пятно. Не поладив с военными людьми, Поповский вскоре вышел в отставку, был избран городским головой и возглавил в Новороссийске штатскую оппозицию, будировавшую против военщины. Впоследствии он эмигрировал в Грецию, где принимал энергичное участие в общественной жизни эмиграции. В 1928 или 1929 году он умер в Афинах, всеми уважаемый и оплакиваемый.

Следующим по старшинству административным начальством в Новороссийске являлся начальник Новороссийского округа капитан Леонтович. Это был старый земский и общественный деятель из семьи старых черноморцев, занимавший эту должность ещё при царском правительстве. Он, несмотря на военный чин, также несколько будировал против командования и принадлежал к штатской партии.

Начальником гарнизона в Новороссийске осенью 1918 года был командир кубанских стрелков Тунеберг. Он был из офицеров какого-то военного училища и сохранил в строю все характерные черты этой категории военных людей. Высокий, сухой, бритый, с головой, всегда откинутой несколько назад, Тунеберг был известен в армии как прекрасный оратор, хотя и несколько в специальном стиле, так как свои поистине талантливые и вдохновенные речи пересыпал крупной солдатской солью, т.е. был, как говорят мужики, «господином большого выражения». Его ораторские таланты командование часто использовало для агитаторских выступлений, преимущественно, когда надо было произносить речь перед аудиторией демократического состава, а именно, казаками, рабочими или крестьянами, которая всегда шумно приветствовала ораторские выступления лихого полковника. Свой полк Тунеберг держал строго и твёрдо, как когда-то юнкеров; он был хороший офицер и начальник. К сожалению, этот недюжинный человек кончил плохо, благодаря ненормальной слабости к молодым людям, что сыграло для него роковую роль и положило конец блестящей военной карьере. Во время пребывания полка стрелков в Сочи в 1919 году с Тунебергом произошла скандальная история в этой области. Приказом главнокомандующего он был отрешён от командования и до конца белого движения оставался без дела в резерве чинов. Попав затем в Константинополь, он не пожелал оставаться в эмиграции, сменил знамёна и возвратился в СССР.

В бытность Тунеберга с полком в Новороссийске кубанцам приходилось нести очень трудную по силам полка караульную службу, для которой подчас просто не хватало людей. Однажды караул при арестантском помещении в комендантском управлении не получил смены в течение целых суток. Комендант приказал мне об этом доложить на утреннем рапорте Тунебергу. Не успел я докончить ему своего рапорта, как Тунеберг, налившись кровью, свирепым голосом спросил:

− Смена караулов разве входит в обязанности комендантского адъютанта?

− Нет, господин полковник, но комендант города приказал мне вчера обратить на это ваше внимание…

− Ах вот как!.. В таком случае потрудитесь передать вашему коменданту, что мой полк не презерватив, который можно растягивать на любой рост. Да смотрите, передайте это в тех же выражениях, в каких я вам это сказал!

Это было легко сказать, но трудно сделать, так как мой непосредственный начальник-комендант также был человек, имевший «свой характер». Он терпеть не мог длинных разговоров и требовал от всех в разговоре с ним, уж не говоря о докладах, чисто суворовской лаконичности. Всех любителей поговорить и в особенности женский пол, являвшихся к нему по разнообразным делам, он неизменно обрывал стереотипной фразой:

− Довольно-с, имею честь кланяться!

Перебитый на полуслове собеседник, с разгона останавливался и изумлённо спрашивал:

− Что-с?

− Имею честь кланяться! − возвышал голос свирепый комендант, и под гул его мрачного баса испуганный проситель вылетал ошеломлённо из кабинета.

Одновременно с этим из кабинета полковника слышался звонок, на который являлся я. «Выслушайте этот граммофон, ротмистр, узнайте, чего он просит, и доложите мне в кратких словах. Это всё-с! Имею честь кланяться!»

Раза два или три мне приходилось в качестве представителя комендантского управления ездить на ликвидации бандитов и мелких большевистских шаек, скрывавшихся в горах в окрестностях города и грабивших население. Однажды старик Якубовский от имени кооператива виноделов Мысхако выпросил у коменданта командировать меня туда ловить скрывавшихся по дачам большевиков, отставших от сорокинской армии и теперь при содействии сторожей терроризировавших местных буржуев. В сопровождении начальника милиции капитана Макарова и взвода казаков я отправился на Мысхако в какой-то праздничный день, когда управление не работало. Мы с Макаровым ехали впереди на легковой машине, сзади следовали на грузовике казаки. Верстах в девяти от Новороссийска на берегу моря в сторону Анапы среди густого леса были разбросаны дачи, виноградники и сады кооператива. Облава, умело организованная по дачам, дала до десятка арестованных, не оказавших почти никакого сопротивления и сдавшихся после первых выстрелов. Среди них было трое, несомненно, матросов, судя по сложению, рукам в смоле и татуировке на теле. Местные *нотабли* при предъявлении им арестованных подтвердили, что все арестанты им известны как бандиты и вымогатели, скрывавшиеся днём по пустым дачам, а ночью грабившие поселенцев.

К вечеру мы вернулись в Новороссийск и сдали всех, захваченных облавой, военному следователю. На другой день Якубовский явился ко мне на квартиру с корзиной вина, которую виноделы преподносили мне в благодарность за избавление от бандитов. К сожалению, корм оказался не по коню, так как я в те времена в рот не брал вина, и редкие напитки эти распили комендантские писари.

Странная вещь человеческая психология. В дни успехов Добровольческой армии, когда перед жидкими полками «кадетов» бежали целые красные дивизии, в каждом из нас было такое чувство непобедимости и уверенности в себе, что по ночам мы, заняв станицу, почти не выставив охраны, безмятежно спали, твёрдо уверенные в том, что большевики, ночевавшие от нас в двух верстах, и не подумают напасть ночью.

То же самое ощущение было у меня и в первые месяцы после занятия Черноморья, в тот период, когда Добровольческая армия продолжала победоносно наступать на всех фронтах. Во время экспедиции на Мысхако, ночью возвращаясь вдвоём с Макаровым по лесной дороге, вооружённые одними револьверами, мы и мысли не допускали, что нас могут атаковать красные, которыми кишели леса кругом, и костры которых мы видели на горах. Видимо, то же ощущение было и у красных в этот период, глазевших из леса на проезжавший мимо автомобиль с начальством.

То же самое было и впоследствии в первые месяцы 1919 года, когда я служил в Геленджике. В сопровождении одного-двух солдат я совершенно спокойно ездил в

Новороссийск верхом по шоссе, тридцать вёрст идущем среди горного леса. Ездил и ночью, и ни разу не подвергся нападению, несмотря на то, что каждому ребёнку в округе было известно, что в горах между Туапсе и Новороссийском на положении «зелёных» скрываются сотни бывших участников Таманской армии.

Это положение и наша самоуверенность совершенно изменились через год, когда Белая армия стала терпеть неудачи на фронтах, и началось наше отступление. Большевики, скрывавшиеся в горах, сразу подняли голову и осмелели, в то время как нас стала одолевать непривычная до того робость. Не только поездки в Новороссийск по шоссе, но даже вечерняя прогулка за город стала грозить серьёзной опасностью. Вместо уверенности в себе и презрения к красным я стал ощущать вокруг себя нарастающую опасность, и вместо прежней беспечности никогда не забывал принять необходимые меры к тому, чтобы эта опасность не застала меня и моих людей врасплох. Прежде трусливые и невидимые, «зелёные» к этому времени набрались уже такого куража, что их можно было видеть и невооружённым глазом не только ночью, но и днём.

А между тем, в сущности, ни в Черноморье в общем, ни в Геленджике в частности, ровно ничего не изменилось, так как фронт, где переменилось военное счастье, по-прежнему отстоял от нас на добрую тысячу вёрст.

Однако всё это случилось много позднее, и потому, чтобы не забегать вперёд, возвращусь к последовательному изложению событий. Дабы окончательно умиротворить население и вернуть его к обычным занятиям, приказом коменданта, который у меня сохранился до сегодняшнего дня, население обязывалось немедленно сдать всё имевшееся на руках оружие под страхом ответственности по законам военного времени. После опубликования этого приказа всё помещение управления было немедленно завалено чуть не до потолка грудами винтовок, револьверов, и даже пулемётов всех марок и калибров. Приходилось только диву даваться, какая страшная масса оружия скопилась в период революции и гражданской войны в руках населения. Всё это оружие немедленно сплавлялось нами в полки и, конечно, мой конный при этом дележе отнюдь не пострадал.

В середине сентября стоявшие в Новороссийске части, город взявшие, выступили на юг, и мне пришлось навсегда расстаться с товарищами по полку.

В первые же дни занятия Новороссийска в городе обнаружились мои родственники, о которых я не имел ни малейшего представления. Началось это знакомство с неизвестными родными с того, что в первую ночёвку в городе, когда едва окончился уличный бой, один из офицеров моего эскадрона, занимавший со своим взводом какую-то окраину, познакомился там с двумя барышнями, которые оказались будто бы «вашими родственницами, господин ротмистр». После долгих розысков по туманным указаниям сотника, где-то на Штандарте я обнаружил особняк, и испуганная горничная на мои вопросы сообщила, что её барыня в девичестве носила фамилию Марковой. В особняке, как выяснилось затем, проживала бежавшая от большевиков из Питера семья Николая Николаевича Лазарева, женатого на кузине моего отца Наталье Николаевне. Семья эта, кроме названных лиц, состояла из сына, молодого человека лет двадцати, и дочери, девочки пяти лет. Таинственные две барышни оказались дочерями генерала Верховского и никакого отношения ко мне не имели, хотя и проживали у Лазаревых.

Лазаревы до революции были очень богатыми людьми, как сами по себе, так и по отцу Натальи Николаевны − члену Государственной думы Николаю Львовичу Маркову 1-ому, имевшему многомиллионное состояние. После занятия Новороссийска, где они скрывались, добровольцами они ожили, тётка Наталья Николаевна, отойдя от красного террора, даже пыталась создать иллюзию прежней жизни, организовав у себя нечто вроде политического салона, в котором бывали генерал Кутепов, его штабные офицеры, Сенько-Поповский и другие, знакомые Лазаревым ещё в старое время. При содействии Кутепова, которого они знавали в Питере молодым преображенским офицером, Николай Николаевич скоро связал свою судьбу с Добровольческой армией. Он поступил на службу секретарем Особого совещания при главнокомандующем, на что ему давало право

образование в Училище правоведения и служба в Сенате. В этой должности он и умер в 1919 году от сыпного тифа в Новороссийске. Почти одновременно в доме Лазаревых скончался и отец Наталии Николаевны, мой дед Николай Львович, приехавший к дочери незадолго перед тем из Кисловодска, где он проживал после революции.

Наталья Николаевна, дама с твёрдым характером, мужественно пережив эту двойную потерю, не растерялась, но сама поступила каким-то чином в Особое совещание, где и пробыла до самой эвакуации за границу. Сын её Юрий вскоре приобщился к Добровольческой армии, и сам вызвался поехать с секретным поручением в Москву через большевистский фронт. Он не только благополучно добрался туда, но и вернулся летом 1919 года обратно в Новороссийск, выполнив задание штаба армии. Во время этого путешествия ему пришлось пережить много приключений, побывать в плену у Махно, болеть тифом и т.д.

Лазаревы, проживавшие в Новороссийске во время Черноморско-Кубанской республики, рассказывали мне много интересного об этом времени, и в частности много подробностей о потоплении в Новороссийске осенью 1917 года Черноморского флота, деле, которое так и осталось не вполне освещённом для истории.

По их словам, помимо иностранных агентов, приложивших здесь руку, были и люди, действовавшие по патриотическим соображениям, как например, их знакомый капитан лейб-гвардии Семёновского полка Квашнин-Самарин, скрывавшийся в Новороссийске. Это он один из первых на митинге подал матросам мысль потопить военные суда, дабы избежать того, чтобы они попали в руки немцев, уже занявших Крым и Украину. Его выступления сыграли, по словам Лазаревых, решительную роль, но впоследствии большевикам удалось выяснить личность Квашнина, и они начали за ним охоту. Чудом спасшийся, он бежал из Новороссийска в горы и скрывался с раздробленной рукой около Михайловского перевала без пищи и питья, питаясь ягодами. К моменту занятия Черноморья Добровольческой армией он дошёл уже до такого состояния, что в ране у него завелись черви. После занятая Новороссийска Квашнин-Самарин долго лечился, а затем был назначен Кутеповым заведующим губернаторским гаражом, так как изувеченная рука мешала ему нести строевую службу. Как гвардейский капитан, он был в Доброармии переименован в полковники, и было немного странно видеть его в штаб-офицерских погонах, в то время как он ещё был очень молод, его тонкое породистое лицо носило юношеский румянец. Автомобильное дело он прекрасно знал и любил, до революции, будучи богатым человеком, был известен как один из лучших в России спортсменов-автомобилистов.

В первые дни после взятия Новороссийска мною овладело странное чувство, что где-то близко должен был находиться отец, с которым мы виделись последний раз в Покровском накануне революции. По письмам Марии Васильевны мне было известно, что он сидел в тюрьме, но эти вести относились к лету 1917 года, после чего утекло много воды. Если отцу, так или иначе, удалось спастись из красных лап, то логически он должен был находиться нигде в другом месте, как в Геленджике. Как только этот последний был занят нашими войсками, на другой или третий день после взятия Новороссийска, я немедленно запросил тамошние власти через комендантское управление, кто именно в настоящий момент проживает на даче Марковых на Тонком Мысу. Ответ, пришедший по телефону, не обманул моих ожиданий: отец и Мария Васильевна жили там. Вызвав по телеграфу папу в Новороссийск, я одновременно с этим просил по телефону Женю оставить службу врача совсем и приехать ко мне, чтобы, наконец, зажить более или менее оседлой жизнью. К этому были основательные причины, так как жена в этот период почувствовала себя беременной. В Екатеринодаре, где она проживала, обосновался армейский госпиталь, с которым она приехала из Тихорецкой.

Женя приехала в Новороссийск на два дня раньше отца, с которым она встретилась впервые. К её приезду я уже обосновался на квартире из четырёх комнат у богатых армян. Встреча папы с Женей была самая тёплая, они друг другу понравились. К сожалению, впоследствии семейное согласие было нарушено благодаря Марии Васильевне, начавшей с первой встречи пикироваться с Женей.

Папа прожил у нас два дня и рассказал обо всём том, что он и наша семья пережили со дня начала революции. В начале марта в день, когда в Щиграх были получены первые сведения о перевороте, папа председательствовал в качестве предводителя дворянства в комиссии по рекрутскому набору. Во время заседания врач комиссии, объявивший себя комиссаром Временного правительства, во главе группы молодых людей из писцов воинского присутствия арестовал папу и посадил в местную тюрьму, где уже сидели арестованные в тот же день все представители местной власти во главе с дядей Н.В. Бобровским, занимавшим должность председателя земской управы. Здесь отцу пришлось просидеть недолго и в сносных условиях, начальник тюрьмы всячески старался облегчить судьбу павшего начальства. Из Щигров отца перевели в курскую тюрьму, не предъявляя никакого обвинения, кроме «сочувствия старому режиму». Как предводитель дворянства, отец не мог считаться чиновником правительства; должность эта была выборная и как почётная, не оплачивалась содержанием, а стало быть, никакого основания, кроме «революционного», не было для того, чтобы держать его в тюрьме без всякой вины. Через два месяца наша семья потеряла терпение и решила принять энергичные меры к освобождению своего главы. Так как мужские представители семейства в лице моём и брата в это время находились на фронте и с ними не было сообщения, а младший брат Женя учился ещё в корпусе, то за дело с присущей ей во всех действиях энергией взялась сестра Соня, в это время бывшая в Москве на курсах. Она отправилась в Петроград и, явившись в Зимний дворец к Керенскому, устроила ему бурную сцену, во время которой заявила растерявшемуся министру, что ни в одной стране мира, которая почитает себя культурной, не держат людей в тюрьме без всякой вины и без предъявления им каких бы то ни было обвинений, что должно господину Керенскому, как адвокату, быть известно лучше, чем кому бы то ни было. Керенский этим объяснением был очень сконфужен, обещал немедленно освободить отца и при сестре послал телеграмму в Курск губернскому комиссару. В Курске распоряжался уже не комиссар Временного правительства, а «власти на местах» в лице местных хулиганов в солдатских шинелях, которые на телеграмму «душки Керенского» не обратили никакого внимания, и отец продолжал сидеть в тюрьме по-прежнему. Видя, что ничего хорошего из такого положения вещей ожидать было нельзя, так как «революционная законность» существовала только на бумаге, да и то лишь в Петрограде, отец с мачехой решили плюнуть на легальные пути, как ими пренебрегали господа революционеры. При помощи знакомств и в особенности денег, отцу был организован побег из тюрьмы, после чего он с Марией Васильевной тайно приехал в Покровское. Собрав необходимые вещи и деньги, папа с помощью нашего кучера Алексея Шаланкова, оказавшегося преданным человеком в беде, выехал через маленькую степную станцию на фронт, рассчитывая переждать трудное время при штабе Ингушского полка, где в это время служил брат Николай и племянник отца Борис Гатцук. Во время пересадки в Курске папа случайно попал в толпу солдат, среди которых оказался бывший наш приказчик Иван Федорович Зубков, выгнанный отцом несколько лет перед тем за нечестность. Узнав папу, Зубков натравил на него толпу, крича на весь вокзал, что отец «по злобе забрил ему лоб», т.е. взял его на военную службу в качестве председателя рекрутской комиссии. Услышав его крики, отец задней дверью скрылся с вокзала и спрятался среди деревянных лавок и киосков, из которых состоит базар прилегающей к вокзалу Ямской слободы. Солдатня, разыскивающая отца, чтобы его убить, ходила почти рядом с местом, где прятался папа, но к счастью, его не нашли, благодаря наступившей темноте.

Вместе с Ингушским полком отец пробыл на австрийском фронте до окончательного развала армии, и вместе с ним прибыл во Владикавказ, где полк демобилизовался. Из Владикавказа папа приехал в Геленджик и вызвал туда по телеграфу Марию Васильевну. С этой последней революция также сыграла скверную шутку. Проживая в Курске в то время, как отец сидел в тюрьме, она ездила два раза в неделю к нему на свидания. Трамваи в эти времена были переполнены пьяными и совершенно разложившимися солдатами, один из которых и столкнул Марию Васильевну в качестве

«буржуйки» с трамвая на ходу. Ударившись об тумбу, она настолько сильно повредила себе правую ногу, что её пришлось отрезать ниже колена. В Геленджик мачеха приехала уже калекой, имея правую ногу в деревянном протезе.

Местные геленджикские большевики во главе с кочегаром-матросом Сашкой Соколовым, племянником нашего сторожа Ивана, дважды арестовывали отца и водили его на допрос в местный Совет. Там среди других заседала в качестве секретаря наша землячка по Курской губернии − Милица Шилова, младшая дочь либерального нашего соседа. Каким образом «товарищ Шилова» оказалась в Геленджике, это её тайна, однако вела она себя в Совете Тонкого Мыса довольно прилично и, узнав, конечно, при допросе отца, не выдала как его, так и его прошлое, местным большевикам неизвестное. То, что она умела держать язык за зубами, послужило и ей на пользу. После занятия добровольцами Геленджика она продолжала проживать на Тонком Мысу, и ни я, ни разведка, охотившаяся на деятелей советского режима, её не тронули.

Главарь геленджикских большевиков Сашка Соколов был во время оно другом моего детства. Каждый раз, когда кадетом я приезжал на лето в Геленджик, он был моим неразлучным спутником и адъютантом. Много бычков переловили мы с ним на бетонной пристани Тонкого Мыса, много самых смелых и рискованных авантюр пережили вместе в горах и на море. В юности Сашка был вдохновенный вор и совершенно не мог видеть равнодушно никакой блестящей вещи, чтобы её не украсть, будь она самой скромной ценности вроде пуговицы от моей кадетской рубашки. Родители и старшие бесконечное число раз ловили Сашку на месте преступления, пороли и били его, как сукинова сына, но ничего не помогало, парень продолжать красть всё, что ему попадалось под руку. Качества будущего революционера-большевика были им всосаны с кровью матери и родились вместе с Сашкой. Попав, как крепкий и широкогрудый парень, во флот, Соколов к моменту революции оказался кочегаром на одном из миноносцев, стоявших в Новороссийске, и после его потопления прибыл на родину в Геленджик для учреждения принципов революционной собственности, которые он проводил всю свою недолгую жизнь.

Явившись к отцу на дачу во главе группы местных хулиганов, революционный матрос остался верным сорочьей слабости своего детства к блестящим вещам, потому что первым долгом осведомился: «А где твои ордена, товарищ Марков?» Отец ответил, что этот вопрос запоздал, так как его ордена уже украдены раньше другими революционными деятелями, что Сашку очень опечалило.

Революция застала меня, как и большинство кадровых офицеров, что называется, врасплох. По условиям той среды, в которой я вырос и жил, я, хотя и относился отрицательно ко всяким революционным и социалистическим теориям, но в борьбу политических партий и их программ никогда не входил. Этому мешала не только моя служба кавалерийского офицера, но и молодость лет, когда интересы направлены в другую плоскость. Несмотря на всё это, оппозиционное настроение последних лет перед революцией, охватившее всю Россию по отношению к правительству, захватило даже и ту глубоко консервативную среду поместного дворянства, к которому принадлежала наша семья. В имении у нас за несколько лет перед революцией газету «Новое время», которую много лет подряд выписывал отец, сменило «Русское слово», орган тогдашней оппозиционной интеллигенции. Поэтому в первые дни переворота я, как и большинство офицерства, почувствовал известный подъём, который испытывала буквально вся Россия в надежде на перемены к лучшему. Скоро этот подъём сменился самым энергичным отрицанием революции и всего того, что с ней было связано. Должен сказать совершенно честно, что моё неприятие революции отнюдь не имело под собой каких бы то ни было материальных соображений, так как я, никогда не испытывавший нужды, почувствовал её отнюдь не в первые годы после переворота, а много позднее, и то лишь в эмиграции. Причины крылись совсем в другом, и это другое не имело ничего общего с материальной стороною жизни.

Мы, русская интеллигентная молодёжь дореволюционного периода, а тем более

военно-дворянская, ставили моральные и нравственные ценности гораздо выше материальных, и потому ближайшее знакомство с революцией и её деятелями немедленно бросило меня в ряды самых яростных контрреволюционеров.

Практика русской смуты, а затем гражданской войны, впервые открыли передо мною истинное лицо социальных революций, низменные побуждения которых люди заинтересованные стараются представить в поэтических формах, и подвести под скотские побуждения, которыми руководствуется чернь, какую-то идеологическую программу.

Люди испокон веков пытались объяснить свои самые низменные побуждения высшими целями, и грязные дела всегда стремились прикрыть высокими словами. Когда крестьянин стремится отобрать в свою пользу помещичью землю, или рабочий захватить завод, принадлежащий фабриканту − это совершенно естественно и понятно, как всем понятен поступок собаки, отнимающей у другой лакомую кость. Совершенно незачем это чисто скотское вожделение к чужой собственности объяснять высшими соображениями права и справедливости, которых в мире не существует и не может существовать, это только свидетельствует о людском лицемерии.

Имущественное неравенство есть и всегда будет прямым следствием неравенства людей вообще, т.е. закона природы, против которого бороться невозможно и бессмысленно. Имущественное равенство, нигде и ни при каких обстоятельствах, немыслимо на земле. Собственность с неба не падает, её необходимо приобрести, т.е. употребить известные усилия, произвести известные действия. Если два человека, один умный и энергичный, а другой ленивый и глупый, будут поставлены в совершенно равные условия для приобретения имущества, то первый станет, конечно, через известное время богаче, чем второй, а разве можно при этом сказать, что такой результат несправедлив? Имущество родовое и наследственное так же законно и естественно, как и имущество благоприобретённое. Здесь совершенно неуместно говорить о несправедливости. Энергичный и трудолюбивый человек приобретает имущество, которое он оставляет своим детям. Положим, что эти дети никакого участия в приобретении полученного ими имущества не принимали. И всё же это гораздо справедливее и логичнее, если плодом труда отца или деда будут пользоваться их дети или внуки, кровь от крови их, плоть от плоти, чем люди, совершенно посторонние. Даже совершеннейший бездельник больше имеет права на своё наследственное имущество, чем те, которые разевают на это имущество рот на том единственном основании, что у них разыгрался аппетит на «чужбинку». Рассуждение о том, что несправедливо, чтобы один владел сотнями десятин, а другой всего одной, также относится к области человеческого лицемерия. Вопрос земельный составляет лишь составную часть вопроса об имущественном неравенстве вообще. Утверждение, что земля должна принадлежать тому, кто её обрабатывает, бессмыслица. Почему работой должно приобретаться право собственности только на землю? Если крестьянину принадлежит помещичья земля, на которой он работал батраком, то дом должен принадлежать также тому, кто его строил, т.е. каменщикам, плотникам, столярам, а не владельцу; обед − повару, фабрики − рабочим, и т.д. Это, конечно, бессмыслица, так как результат работы может принадлежать работнику только в том случае, если материал, из которого работа сделана, принадлежит ему, иначе он только наёмник для выполнения данного труда, и только. Нелепое утверждение, что земля должна принадлежать тому, кто на ней работает, есть только один из наиболее ярких случаев, когда заведомая нелепость провозглашается аксиомой только потому, что она соответствует желаниям толпы и настроению момента.

Что касается социал-марксизма во всех его видах и преломлениях, то его теория и в особенности практика, сфабрикованная по образцу каторжных тюрем, навевают на меня просто ужас и возмущают до глубины души. При рае на земле, нарисованном этим иудейским пророком и осуществлённом ныне в СССР Лениным и Сталиным, несчастный гражданин марксистского государства осуждён на работу, которая является не радостью, как она должна быть, и удовлетворением, а проклятьем. При той системе, когда человек работает, как вьючный скот, не ради собственного интереса и пользы, а для блага системы,

нет больше людей, а есть только числа, нет ни честолюбия, ни надежды, ни страха, а только работа автоматов, направляемых правительством.

Настоящая, а не «марксистская» цивилизация, должна опираться не на нелепую теорию, а на нацию и общество, которые относятся к человеку не как к номеру, а как к личности, по его заслугам и по той ценности, которую он приносит обществу и государству. Чем больше ты создаёшь для общества, чем ты полезнее для государства, тем оно больше о тебе заботится. Ни общество, ни тем более государство не могут и не должны заботиться об одинаковом вознаграждении всех своих граждан. Их задача поощрять умы и таланты, а не принижать и не равнять их по бездарностям. Ещё более возмутительна теория о диктатуре пролетариата, т.е. рабочего класса. Человек, работающий мускулами, т.е. простой рабочий, для человечества не многим полезнее, скажем, быка или лошади. Поэтому общество и государство и должно относиться к нему, как к низшей силе. Но лишь только этот чернорабочий начинает, кроме мускулов, работать ещё и головой, он превращается уже в мастера и ремесленника, и его фонды должны подниматься в обществе, благосостояние расти, так как он стал полезнее, чем был раньше.

В высококультурных государствах люди так и думают, почему марксизм в Западной Европе дальше теории и не пошёл. Попытки его осуществления имели место только в России, стране, населённой народом, ещё не догнавшим на дороге культуры своих западных соседей. Культурный слой старой России, витавший всегда в эмпиреях, жил исключительно теориями и во имя их осуществления не пожалел ни своего народа, ни своей страны. Недаром же когда-то Бисмарк сказал, что для осуществления социализма на земле нужно, прежде всего, найти такую страну, которой «не жалко»…

Рассказывая о недавно пережитом, отец между прочим сообщил мне, что как сам Геленджик, так и ещё более Тонкий Мыс, где жил в своём имении отец с Марией Васильевной, несмотря на занятие этих мест Добровольческой армией, кишит большевиками, как местными, так и отставшими от Таманской армии, скрывающимися по лесным дачам, надеясь на уединённое положение этих мест. Как от своего, так и от имени местных жителей, папа просил меня заняться этим вопросом и, если можно, приехать в Геленджик для основательной чистки его окрестностей от нежелательных и опасных для общественного спокойствия элементов. Местные антибольшевистские силы уже приготовили списки наиболее опасных большевистских деятелей, и властям только остаётся арестовать всю эту публику по заранее известным адресам и передать их судебному следователю.

Подобная поездка в родные места был для меня прекрасный и вполне законный случай отдохнуть от сумасшедшей работы в комендантском управлении, и я решил просить своё начальство дать мне эту командировку. Однако перед тем как перейти к изложению этой поездки, должен в хронологическом порядке упомянуть об одном эпизоде, который имел место перед нашим отъездом в Геленджик.

Женя, приехав по моему вызову из Екатеринодара по «выходе в отставку», поселилась со мной в квартире богатых армян Хачиковых и, хотя имела все права перейти из «строя в тыл», не особенно была этим довольна. Находясь в первых месяцах беременности, она начала скучать в безделье. Судьба нам с ней в этот момент послала развлечение, которого мы никак не могли ожидать в Новороссийске. Обедая однажды с женой и двумя сослуживцами в небольшом грузинском ресторане, я обратил внимание на то, что среди расположившейся рядом компании восточных людей в штатском мелькнуло знакомое лицо. Не успел я сообразить, кому оно принадлежало, как владелец его, большой и толстый человек восточного типа, с шумом опрокинув два стула, бросился мне на шею с радостным воплем: «Толия… кардаш… это ты!..» К нашему изумлению и радости, это был Асаф Бей, наш старый друг и «брат» по Закаталам и Тифлису, одетый в штатский костюм и поэтому совершенно неузнаваемый.

Как оказалось после обмена поцелуями и приветствиями, Асаф, резонно опасаясь своих соотечественников и мести турецкого правительства, покинул Тифлис и, сдержав

данное нам когда-то обещание, с фальшивым греческим паспортом через Батум приехал в Новороссийск с целью навсегда поселиться в России.

Мы были искренне рады этой встрече, такой необыкновенной и счастливой в те времена, и я немедленно занялся устройством дальнейшей судьбы Асафа. В Новороссийск он приехал только вчера и не имел никаких планов на будущее. Тут же в ресторане было решено, что Асаф переезжает к нам, что было нетрудно для него, так как беглец продолжал проживать на том самом турецком паруснике, который привёз его из Батума.

Здесь же в ресторане был мною истреблён и его фальшивый паспорт, чтобы Асаф мог начать свою жизнь в России законно и легально, под своим настоящим именем.

На другое же утро мы отправились с ним в штаб военного губернатора, где я его представил Кутепову и Де Роберти, чистосердечно рассказав им историю наших общих приключений на Кавказе. В тот же день Асаф приказом военного губернатора был зачислен в ряды конного дивизиона, формировавшегося в городе, под именем Асафа Ахметова.

Через три дня поручик Ахметов, приехавший в Новороссийск с порядочными деньгами в золотой валюте, обмундировался, экипировался и превратился в шикарного, хотя и тяжеловатого кавалерийского офицера, которого скоро полюбили за простоту души и детскую наивность, как товарищи, так и начальство. По своему характеру он был настоящее дитя природы, но дитя в чисто восточном стиле; в нём была удивительная смесь детско-наивного с чисто звериной жестокостью и беззастенчивостью. Нас с женой он любил искренно и бескорыстно, и я ему отвечал тем же чувством.

Уже через неделю после того, как он надел русскую форму, Асаф, с большой лёгкостью сводивший знакомства, заболел своей старой манией − во что бы то ни стало жениться. На брак он смотрел чисто по-турецки, т.е. единственные требования, которые он предъявлял к своей будущей жене, это чтобы она была красивая и толстая. Начал он свою матримониальную кампанию с небольшой предварительной хитрости, а именно, заявил нам с Женей, что, решив поселиться в России, он хочет стать «совсем русским», и с этой целью намерен креститься и просить жену быть его крёстной матерью.

Через неделю хлопот крещение это состоялось, причём восприемниками нового христианина были моя Женя и комендант города. Ровно через два дня после этого события Асаф заявил своей «маме», как он стал называть жену, бывшую на пять лет его моложе, что он желает жениться и уже имеет невесту. Предметом его увлечения оказалась при ближайшем расследовании некая весьма видная и недурная собой брюнетка в восточном стиле, к сожалению, более чем легкомысленного поведения. С нею Асаф, как выяснилось, встретился на какой-то холостой пирушке и с места воспылал страстью. Несмотря на все уговоры и категорический отказ Жени присутствовать на свадьбе, влюбленный турок ничего не хотел слышать, и этот нелепый брак состоялся при пьяном участии его сослуживцев по Черноморскому дивизиону, причём вся компания до того набралась, что двое из них заснули на полу в церкви. Мы с женой на свадьбе не присутствовали, к искреннему огорчению Асафа.

Как и следовало ожидать, «Аничка», как он называл свою супругу, оказалась большой стервой, и бедный турок впоследствии испытал много неприятностей в семейной жизни. Насколько я мог понять из путаных рассказов Анички о её прошлом, она была уроженкой какой-то глухой украинской дыры, и несмотря на молодость, успела в жизни много испытать. Перед браком с моим упрямым другом она была не то певичкой в кабаре, не то просто шлющей девицей. Дальнейшая судьба этой оригинальной пары будет изложена в порядке повествования в своё время и в своём месте.

Выполняя просьбу геленджикских обывателей и своё собственное желание, с казённой командировкой в кармане на предмет ликвидации местного большевизма, я выехал вместе с женой в середине сентября 1918 года в Геленджик, в котором не был три года.

Комендантским управлением в моё распоряжение было назначено в качестве воинской силы пять человек офицеров-кубанцев, по словам их начальства, уже имевших опыт в такого рода делах, так как во время большевизма на Кубани они состояли в тайном

контрреволюционном «Союзе спасения Кубани». За принадлежность к этой организации все они в своё время сидели в Чека, а один хорунжий был за это не только приговорён к смерти, но и смертный приговор был над ним выполнен. Среди других приговорённых к казни он был отвезён чекистами на знаменитый остров, находившийся на реке Кубани против города, вырыл сам себе могилу, над которой и был «полит» пулемётной очередью. Легко раненный, он упал в яму среди других расстрелянных, которых никто не потрудился закопать, и ночью выбрался с острова, скрывался в камышах два месяца, вплоть до взятия Екатеринодара Добровольческой армией. Немудрено поэтому, что как этот хорунжий, так и трое других, горели лютой злобой против красных и только искали случая, чтобы свести с ними счёты.

Перед отъездом в Геленджик все четверо внимательно выслушали от меня изложение местной обстановки, причём в ответ на моё сетование, что комендант не имеет свободной команды, чтобы её с нами послать, заметили, что это нисколько их «не затрудняет», если только им выдадут необходимое оружие. К моему удивлению, господа хорунжие категорически отказались взять с собой винтовки, а удовольствовались двумя наганами на каждого и солидным запасом патронов. Так как вид у них был очень серьёзный и решительный, то я не возражал и только просил их не задерживаться в Новороссийске. Я сам с женой и случайным спутником однополчанином – корнетом Диким, выезжал вперёд на легковом автомобиле.

Ранним осенним утром, свежим и бодрящим, сильное торпедо Русско-Балтийского завода быстро помчало нас по «голодному шоссе» в Геленджик. Мимо мелькали знакомые и любимые с детства места: дачи пригорода, Дообский маяк, Кабардинка, и дорогу обступил густой горный лес. Через два часа пути вдали раскинулась голубая бухта, вокруг которой широким полукругом растянулся Геленджик, или, как его называют местные жители, «Зеленчукская станица». По улицам её взад и вперёд оживлёнными группами и в одиночку сновали конные и пешие фигуры Офицерского конного полка, стоявшего здесь на отдыхе перед тем, как выступить в дальнейший поход на Туапсе и Сочи.

Комендантом Геленджика оказался совсем молодой полковник лейб-гвардии Павловского полка, стройный и смуглый, встретивший меня очень любезно и предупредительно. Запершись со мной в своём кабинете без свидетелей, он детально объяснил мне обстановку района, которую хорошо знал, так как при большевиках скрывался на цементном заводе, где служил бухгалтером.

Оказалось, как и говорил отец, что по пустым дачам и в лесу по горам скрывается много бежавших из Новороссийска и не пожелавших уйти с красной гвардией большевиков, которые, пользуясь отсутствием в Геленджике постоянного гарнизона, по ночам нападают на изолированные дома, грабят и убивают жителей. Бандитов этих информируют и снабжают необходимым местные большевики, их поимённо и в лицо знает комендант Тонкого Мыса ротмистр Константинов, к которому мне и надлежит обратиться и войти с ним в контакт для дальнейших совместных действий.

Раскланявшись с полковником Чистяковым, как звали коменданта, и попрощавшись с Диким, который здесь догнал свой эскадрон, мы выехали на Тонкий Мыс. Сердце радостно сжималось при взгляде на родные места, среди которых проходили годы детства и юности. Женя тоже волновалась; хотя она и познакомилась с отцом, когда он приезжал в Новороссийск к нам, но Марию Васильевну должна была встретить впервые, а по моим рассказам о нашем детстве она составила себе о ней не очень лестное мнение.

Промелькнули пустые теперь и заброшенные купальни доктора Платонова, нашего соседа, его санатория, и из-за зелени виноградников показалась зубчатая башня «Евгениевки».

Отец и мачеха нас не ожидали, и мы застали их в домашнем виде и за самым демократическим занятием. Предводитель дворянства со своей супругой, за неимением средств и служащих, собственноручно занимались виноделием, и в момент нашего приезда в большой зале дома давили виноград ручным прессом. Вид у них был самый затрапезный, оба они были обуты в туфли на босу ногу, что очень умилило мою Женю. Мокрые и одетые в

какое-то отрепье, старики смутились перед нами, точно делали что-то неприличное, и совершенно напрасно, так как я не знал, куда глаза девать со своим автомобилем и серебряными аксельбантами перед родителями, которые так мужественно и бодро сумели круто переменить свою жизнь, когда этого потребовали обстоятельства.

Жалкий вид стариков, голые стены дома и полное отсутствие какой бы то ни было обстановки, кроме деревянной кровати и пары продавленных стульев, впервые заставили меня задуматься над тем, что для нас настала в жизни пора материального недостатка. Над этим я ещё ни разу не думал, так как военно-походная жизнь и война не оставляли времени, а материальные соображения в моём сознании не играли никакой роли в вопросе борьбы с большевизмом.

На другой день отец познакомил меня с комендантом Мыса – ротмистром Константиновым и его «штабом». Константинов был старый офицер запаса, лет 45, бывший на фронте в рядах полка Офицерской кавалерийской школы. С ним жила чрезвычайно красивая и на редкость стройная девушка дочь. «Штаб» состоял из двух человек: вольноопределяющегося автомобильных частей Бориса Юрьевича Филимонова, племянника местной богатой помещицы Фирсовой, и юнкера Инженерного училища Андрея Ольдерогге. Этот последний был сыном профессора Военно-медицинской академии и, будучи в стенах своего училища, принимал участие в его знаменитой защите против большевиков в 1917 году.

Местные красные не оставили в покое семью профессора и в Геленджике, где Ольдерогге имели небольшую дачу. Старика так замучили обысками и допросами, что он от всех преследований и волнений умер. Вся его вина была в том, что в качестве действительного статского советника профессор имел на шинели красную подкладку, почему местные головотяпы решили, что он «не доктор, а генерал». После смерти отца семья, состоявшая из вдовы, сына и двух девочек-подростков, стала голодать, и чтобы спасти семью от голодной смерти и скрыть своё прошлое, о котором дошли слухи до Геленджика, Андрей Ольдерогге поступил в местный «совет» платным секретарём, так как там требовался «письменный человек», необходимый малограмотным местным вождям. Перед приходом добровольцев Андрей Ольдерогге выкрал в совете списки местных большевиков, которым, как людям надёжным с точки зрения красной власти, было перед отступлением выдано оружие, дабы они могли в тылу у белых вести тайную работу. Список этих диверсантов Андрей доставил добровольческому командованию, как только Геленджик был нами занят.

На совещании в комендантском правлении при участии четырёх хорунжих, прибывших на другой день нашего приезда, было решено прежде всего приступить к аресту тех пятнадцати человек местных большевиков, которые стояли в списке Ольдерогге.

С этой целью от имени комендатуры всем этим лицам были разосланы повестки, в которых они вызывались в управление Тонкого Мыса для сдачи выданного им советской властью оружия за такими-то номерами.

Наутро назначенного дня для сдачи оружия в комендантском управлении были сделаны соответствующие приготовления. Для ареста нами пятнадцати человек, а главное, для дальнейшей их охраны у нас не было ни воинской силы, ни арестного помещения, сколько-нибудь надёжного, поэтому всё должно было произойти по возможности тайно и без огласки. Мы понимали, что скрывавшиеся в лесах красные могли ночью напасть на нас и легко освободить арестованных. Из этих затруднений мы вышли следующим способом, возможным только в условиях гражданской войны, когда противника не щадят и не милуют. Из кабинета Константинова шёл узкий коридорчик, под углом выходивший в маленькую комнату, на полу которой имелся люк в подвал. В этом подвале и должны были быть заключены арестованные большевики до отправления их в Новороссийск в распоряжение суда.

Наша осведомлённость о снабжении оружием местных «активистов» произвела соответствующее впечатление, и в назначенный день они почти все явились в комендантское для сдачи оружия, рассчитывая этим отделаться от дальнейших неприятностей.

Ольдерогге принимал оружие в приёмной комнате и затем разоружённых красных впускал по одному в кабинет, где сидели мы с Константиновым и проверяли имена по списку, после чего мы приглашали каждого из них пройти в коридорчик. У входа в него, скрытый в тени, стоял один из хорунжих «спасения Кубани», на следующем углу коридора другой и над открытым люком погреба третий. Не успевал активист войти в коридор, как первый хорунжий ловким пинком передавал его следующему, тот в свою очередь третьему, и не успевал арестованный раскрыть рот, как уже сидел в погребе. Кубанцы производили эту операцию до того отчётливо и быстро, что мы с Константиновым, сидя в кабинете, только слышали раз за разом звуки двух оплеух, за которыми следовал глухой шум падения в погребок, после чего опять наступала тишина. Ожидавшие своей очереди в приёмной большевики и их друзья, конечно, не слышали даже и этих звуков, а только видели, что вызываемые один за другим скрываются в кабинете и больше не возвращаются.

Так как Константинов лично отмечал в списке арестованных, то я только сидел в кабинете, активно не принимая никакого участия во всей этой операции вплоть до момента, когда в кабинете из приёмной появился некий тип, которого я не только знал лично, но и был осведомлён о том, что это именно он вместе с Сашкой Соколовым арестовывал моего отца, причём позволил себе издевательство над стариком. Этому типу я по собственной инициативе задал головокружительный мордобой, после которого просил Константинова его освободить, по принципу, что с «одного вола двух шкур не дерут», чем и спас ему жизнь, как выяснилось впоследствии. Вытащив, с согласия коменданта, этого гуся на крыльцо, я при всей честной публике, ожидавшей в приемной, дал ему ещё последнюю, заключительную затрещину, после чего ударом ноги в зад спустил со ступенек на все четыре стороны…

Вечером состоялось совещание, на котором было решено на другой день отправить всех арестованных под конвоем хорунжих в Новороссийск в распоряжение коменданта города вместе со всем материалом об их деятельности. Судьба, однако, решила иначе, и наши арестованные в Новороссийск не попали. Ночью охранявшие арестованных хорунжие решили по-другому и один из них, в своё время расстрелянный большевиками, вспомнив свои старые счёты с ними и пережитые страдания, решил немедленно всех арестованных перебить. Остальным кое-как удалось его уговорить, но, оставшись во время своего дежурства ночью один, он вошёл в соглашение с одним из них, местным хулиганом Беликовым, парнем лет 25, согласно которому этот последний должен был получить возможность бежать, если, отпустив его на десять шагов, хорунжий даст по нему промах из нагана.

От крыльца комендантской дачи начинался обширный двор, вокруг которого был густой лес. Беликов, отчаянный и дерзкий бандит, отравлявший жизнь всем жителям Тонкого Мыса со дня революции, на эту комбинацию согласился, понадеясь на то, что подвыпивший казак в темноте по нему промахнётся. В своих, казалось бы и правильных, расчётах Беликов ошибся, так как не знал того, что хорунжий был знаменитым стрелком и бил из нагана на любое расстояние и по любой цели без промаха.

Утром, когда я пришёл в управление, Константинов встретил меня новостью, что арестованных вместо 12 человек осталось всего только одиннадцать, а двенадцатый лежит холодный на дворе, пуля нагана положила его на месте, как раз на опушке леса.

Отобрав у мрачного, как туча, хорунжего его два револьвера, я отправил его под арест в Геленджик, решив с Константиновым, что арестованных, дабы не привлекать внимания населения, мы отправим в Новороссийск ночью.

К полудню этого памятного дня от Чистякова пришла секретная телефонограмма о том, что на одной уединённой даче Тонкого Мыса скрывается сам председатель Черноморско-Кубанской республики – Соколовский. С целью его поимки Чистяков прислал нам на помощь сотника Арцыбашева с пятью казаками.

Забрав с собой все наличные силы, т.е. двух вольноперов и двух хорунжих, мы оставили на карауле при арестованных третьего «спасателя Кубани», которому были даны инструкции – ни в каком случае живыми арестантов не выпускать, в случае нападения или

попытки их освобождения. Спасатель, коротко буркнув «не извольте беспокоиться!», надвинул на трап тяжёлый сундук, на котором и уселся с револьвером в руке, положив рядом две ручные бомбы.

Окружив дачу, стоявшую в лесу, мы постучали в дверь. Только что проснувшийся Соколовский, мрачный и тяжёлый матрос, сам открыл дверь и побледнел, как смерть, под наведёнными на него дулами винтовок. Сдав его под охрану Арцыбашеву, мы с Константиновым вошли в дом, где застали жену Соколовского, молодую бабёнку мещанского вида, одетую почему-то в матроску. В комнате, где жил отставной председатель республики, в двух толстых портфелях мы обнаружили много интересных документов, относящихся к деятельности Черноморско-Кубанской республики, и в том числе подлинный протокол решения о потоплении Черноморского флота.

Рассматривая эту историческую бумажку, я вздрогнул от отчаянного крика Соколовской, которая, пока мы рассматривали бумаги её мужа, стояла у окна. Вслед за её криком на дворе раз за разом грохнули два выстрела. Выскочив на балкон, мы увидели Соколовского на земле в углу двора, дрыгавшего ногами в луже крови. Против него с винтовкой в руках стоял Амфитеатров, на наших глазах со звоном выкидывая из неё дымящуюся гильзу.

− Что вы, ошалели, что ли, чёрт вас возьми! − накинулся я на него, − ведь это председатель советской республики… его показания важны для суда.

− Ладно, и без суда обойдёмся. А то чёрт его знает этот суд, возьмёт да и оправдает, а он, вы знаете, сколько человеческой крови, стерва, выпустил. Так оно вернее, собаке собачья смерть!

Забрав с собой документы и оставив труп на попечение вдовы, мы вернулись в комендантское управление, где нас уже ждала новая история, виновником и героем которой оказался оставленный нами с арестованными «кубанский спасатель» номер второй.

За неимением гарнизона на Тонком Мысу, ротмистр Константинов установил для дежурства при комендантском управлении надёжных местных жителей, которые по очереди исполняли обязанности часовых, для них на этот предмет имелась одна винтовка с патронами.

В числе таких мобилизованных был некий поэт-декадент Эльснер, тщедушный и плюгавый молодой человек. Во время нашей поездки для ареста Соколовского он в качестве часового стоял у комендантского управления. В наше отсутствие в гости к охранявшему арестантов хорунжему явился местный отставной урядник, уволенный ещё при царском режиме за пьянство, и носивший поистине полицейскую фамилию Свистун-Ждановича. Этот последний, застав скучавшего в одиночестве хорунжего, любезно предложил «смотаться» за вином, которое и было двумя собеседниками по-братски распито. Подвыпив, урядник вспомнил старое, в нём заговорили прежние инстинкты. Заметив у крыльца дома на часах дежурившего Эльснера, с которым у Ждановича были старые счёты, он решил над ним посмеяться, для чего, выйдя на балкон и подойдя в упор к поэту, подбоченился и начал вызывающе ухмыляться. Эльснер в ответ на эту глупую демонстрацию повернулся к нему спиной.

− Слушай, ты... часовой! − тогда обратился к нему Свистун-Жданович, − сбегай-ка, братец, принеси мне стакан воды...

В ответ на наглость поэт, который, несмотря на свою плюгавость, был человек с амбицией, резко ответил, что он находится здесь для несения караульной службы, а не для того, чтобы служить прислугой для «всякой пьяной сволочи».

− А, так я, по-твоему, сволочь? − окрысился в свою очередь отставной *альгвазил* , − ну ладно, подожди же, сукин сын, я тебе сейчас покажу…

С этими словами он опять отправился к изнывавшему в одиночестве хорунжему и, пользуясь тем, что того уже порядочно развезло, стал его убеждать, что те большевики, которые сидят в подвале, отнюдь не самые вредные, а главный «анархист» не только по-прежнему на свободе, но ещё и стоит в настоящее время с винтовкой у ворот

комендантского управления.

− Как вы, господин есаул, присланы сюды наивысшим начальством, штоб здешних большевиков покончить, то обязательно вам надлежит застрелить этого самого анархиста, как собаку, немедленно, пока он не смотал удочек и не утёк к чёртовой матери...

Так как подвыпивший хорунжий ещё сохранял здравый смысл и на подобное предложение Ждановича не соглашался, то урядник принёс ещё вина, которым окончательно напоил казака. Пьяный в дым хорунжий, наконец, внял увещеваниям и поддерживаемый под руку урядником, заплетаясь ногами, вышел на балкон, чтобы казнить «анархиста».

Сразу вспотевший от страха Эльснер нашёл в себе достаточно самообладания, чтобы задержать свою казнь, прося хорунжего выслушать его перед смертью. Трепетным голосом он начал защитительную речь, надеясь оттянуть время, пока кто-нибудь из трезвых людей явится к нему на выручку.

Надежда его не обманула, в самый критический момент мы с Константиновым вошли во двор управления после экспедиции к Сокольскому и буквально остолбенели от той картины, которую увидели. Белый как смерть Эльснер, только что закончив свою речь, стоял, прижимая бесполезную в его руках винтовку, а против него, расставив ноги циркулем, стоял поддерживаемый Ждановичем хорунжий и целился в Эльснера из нагана. В пьяную голову кубанца почему-то внедрилась мысль, что Эльснера надо убить обязательно в «правый глаз», однако этому мешали осы, которые вились вокруг вымазанной мёдом рожи хорунжего и не давали ему хорошо прицелиться. Ос надо было отгонять, почему рука с наганом описывала всякие зигзаги, что и спасло жизнь Эльснеру.

Нам пришлось быстро и энергично навести порядок. Хорунжий был немедленно обезоружен и заперт в спальне Константинова, пока не проспится, а полицейского мы спустили с лестницы при помощи того же Эльснера, запретив ему навсегда вход в комендантское управление. Дрожащего от пережитых волнений поэта сменили раньше срока другим, ещё более нелепым часовым в лице скульптора барона Рауш фон Траубенберга, ставшего на часы в соломенной дамской шляпе.

Вечером мы решили с Константиновым отправить арестованных в ту же ночь в Новороссийск, так как запрошенный нами Чистяков заявил, что никакого конвоя дать не может и не имеет никаких средств для перевозки из Геленджика в Новороссийск наших арестантов. Под конвоем четырёх кубанцев наши большевики должны были пройти ночью тридцать вёрст пути, не обращая на себя внимания населения. Часов в 9 вечера, отправив эту экспедицию, я ушёл домой спать очень довольный, что наконец развязался с этим беспокойным делом, а главное, освободился от более чем неудобных сотрудников в лице четырёх «спасателей Кубани». Для облегчения пути с арестованными был отправлен на линейке, запряжённой парой лошадей, и юнкер Ольдерогге.

Утром около 10 часов, напившись чаю, я пошёл купаться в купальню Платонова. Едва войдя в неё, я наткнулся на четыре голых тела, жарившихся на осеннем солнце. К моему несказанному изумлению, это были мои кубанцы…

− Почему вы здесь?.. Зачем вернулись?.. Где арестанты?! − набросился я на них с вопросами.

− Так что всё благополучно… не извольте беспокоиться… всё сделано, − ответил, вскочив на ноги, один из них.

Оказалось, что они, взявшись конвоировать большевиков в Новороссийск, и не думали в действительности выполнить эту задачу. Как они полагали по своей прежней «практике», Константинов и я, отправляя с ними арестантов, в действительности хотели негласно и без шума ликвидировать где-нибудь на пути арестантов, чтобы не возбуждать в Геленджике излишних разговоров. Исходя из этих соображений, хорунжие в пяти верстах от Геленджика свернули в лес и там в одной из горных балок перебили арестованных из револьверов самым жестоким и безжалостным образом… Ольдерогге, не бывший в курсе их намерений и ждавший с повозкой на шоссе, услышав выстрелы и поняв, в чём дело, упал в обморок.

При таких обстоятельствах делать было нечего. Поругавшись насмерть с казаками и пообещав им военный суд, я приказал им немедленно выехать в Новороссийск, сам решил остаться в Геленджике, чтобы, посоветовавшись с Чистяковым, доложить о происшедшем Кутепову, которого сюда ждали через два дня.

Чистяков во времена большевизма лично знал всех расстрелянных и о смерти их отнюдь не сожалел, хотя, как и я, полагал, что Кутепов на всю эту историю может посмотреть косо.

Как и следовало ожидать, история расстрела восьми комиссаров в тайне не осталась и имела свои последствия. Перебив арестованных, кубанцы трупов не похоронили, да и не могли этого сделать за неимением лопат, а потому только забросали покойников ветками и сухой листвой. Шакалы, которыми полны вокруг Геленджика все горные леса, трупы нашли и вытащили из-под листвы. Мальчишка пастух, пасший в горах коз, набрёл на обглоданные зверями и птицами трупы и дал знать в селение. Собравшиеся к месту происшествия поселяне покойников похоронили, причём все они, как местные люди, были опознаны.

Надо сказать, что северная часть Черноморской области уже с конца прошлого века была облюбована левой интеллигенцией, как место отдалённое от всякой администрации, для практического проведения коммунистических, толстовских и всевозможных сектантских и изуверских теорий и бредней. В окрестностях в изобилии проживали как раскольники всех толков, так и всякие тёмные людишки, искавшие правду, или делавшие вид, что её ищут. Вся эта интеллигентная, полуинтеллигентная и совсем дикая накипь дореволюционной русской жизни целиком «приняла революцию» как долгожданное и желанное явление, долженствовавшее усыпать небо бриллиантами, а большевизм ими был встречен как чрезвычайно интересный социальный опыт, от которого может им очиститься много хорошего. Всю эту публику во время своей первой власти в Черноморье большевики не тронули, занятые исключительно ловлей и ущемлением буржуазии и истреблением офицерства, почему почитались в Геленджике и его окрестностях если не совсем «своей властью», то, во всяком случае, «попутчиками».

Местная большевистская головка, так неожиданно выпущенная в расход нами, всем этим «народам» была хорошо известна, почему её ликвидация встретила со стороны местного «общественного мнения» негодование и протест. Городской голова Геленджика Ломоносов, происходивший из каких-то «искателей истины», для выражения общественного негодования даже выехал специально в Новороссийск, чтобы там изложить события, происходящие на Тонком Мысу.

Глупее всего было то, что даже тонкомысские буржуи, в своё время жестоко пострадавшие от ликвидированной нами большевистской головки и ходатайствовавшие перед Кутеповым о присылке в Геленджик карательной экспедиции, под влиянием общественного мнения, а больше из трусости, забыли о прошлом, и теперь пускали слюни, как истинные слезливые и слабодушные интеллигенты.

«Народная писательница» Клавдия Лукашевич и княгиня Шаховская, которым буквально отравлял жизнь убитый Беликов, теперь надоедали моему отцу просьбами «смягчить жестокость» сына.

Как командированный военным губернатором сюда для ликвидации большевизма и старший в чине, я юридически и по смыслу дисциплины был, конечно, ответствен за всё то, что наделали на Тонком Мысу оголтелые и кипевшие неутолимой местью к большевикам четыре кубанца. На общественное мнение слабодушных и слезливых интеллигентов я мог с чистой совестью просто плюнуть, однако, я далеко не был уверен в том, как посмотрит на всё это дело Кутепов, с которым шутить не приходилось.

В большой тревоге провели мы с Константиновым те несколько дней, которые нас отделяли от приезда в Геленджик военного губернатора.

Тонкий Мыс, на котором я когда-то провёл столько хороших дней детства и юности, как и все родные места после революции, показался мне глухим, тоскливым и заброшенным. Большинство когда-то оживлённых и полных весёлой молодёжью дач стояло

теперь пустыми и заколоченными, их владельцы, если они остались в живых, были далеко. Обширные виноградные сады, которыми гордился Мыс, были давно заброшены и теперь погибали из-за недостатка ухода. Немногочисленное население Мыса было исключительно пришлым, смотрело угрюмо и запуганно.

Управляющий наш, большой мой приятель Иван Григорьевич, за долголетием службы у нас утерявший среди местных людей собственную фамилию и называвшийся «Иваном Марковым», с наступлением революции круто изменился, и после резкого столкновения с отцом покинул имение. При большевиках он являлся в местный совет, где требовал передачи ему в собственность марковского имения. Совет признал его притязания законными и подарил ему имение; вводу во владение помешал приход добровольцев. Иван, хотя и продолжал теперь жить на Тонком Мысу в роли сторожа пристани, меня всячески избегал, да и я не стремился с ним возобновить прежнее приятельство. Похоронена была, и притом в буквальном смысле, и ещё одна моя детская дружба в лице Сашки Соколова, который был в числе расстрелянных хорунжими комиссаров.

Ривьер, мой кум и старый приятель по охоте, ещё до революции покинул Геленджик и переселился куда-то на север России. Аптекарь Хмелевский, когда-то участник нашей ребячьей футбольной команды, погиб на фронте в Великую войну. Из всех старых знакомых налицо был только один из семьи Попковых, превратившийся теперь из гимназиста в молодого врача. Изредка как метеор появлялся на Мысу Виктор Матвеев, успевший побывать за эти годы и контрабандистом, и пожарным, а теперь щеголявший в новенькой форме прапорщика. Годы войны и революции почти не оставили на нём следа, он был всё тот же высокий и худой загорелый парень, чем-то неуловимо напоминавший мне брата Николая.

Старики мои жили совсем плохо и едва перебивались. Запущенные виноградники, дававшие в хорошие годы до 1000 вёдер вина, в 1918 едва натянули 80 вёдер какой-то никуда не годной кислятины.

Жить с молодой женой в нашем, гудящем, как колокол, от норд-оста, железобетонном доме с чугунными рамами было на редкость неуютно и уныло, угнетало полное отсутствие обстановки и хотя бы самой необходимой мебели. В особенности было скверно ночью, когда вся каменная громада дома гудела гулкой и беспрерывной металлической нотой. Никакие одеяла не помогали, осенний норд-ост проникал всюду своим ледяным дыханием. Женя, как всякая молодая женщина при первой беременности, нервничала, капризничала и пикировалась с Марией Васильевной, что также не способствовало житейскому уюту.

Кончилось тем, что мы переехали из отцовского дома на дачу к Константинову, которая была деревянной и гораздо лучше обставленной, ибо в ней хозяева жили каждое лето и она сохранила обстановку мирного времени, в отличие от нашего дома, в котором с самой его постройки никто и никогда не жил оседлой жизнью.

Было неудобно перед стариками и немного жалко отца, который был задет этим переездом, но выбора не было. Мы с женой поселились в верхнем этаже дома, где Константинов с дочерью занимали нижний этаж.

Кутепов запоздал из-за начавшегося норд-оста, и дни тянулись длинно и томительно. Норд-ост есть истинное проклятье севера Черноморья, где он достигает невероятной силы. Кроме своей мощности и сухости, доходящей до того, что он палит, коверкает и уничтожает всю растительность, он характерен своей длительностью, так как дует по три, по шести, а иногда и по девяти дней без перерыва. От этого ветра нет нигде спасения, он проникает буквально повсюду. Качаются и трещат деревья, скрипят окна и двери, звенят и дребезжат стёкла, стон стоит в лесу и горах, хаос происходит в бухте, из которой мелкие брызги солёной воды несутся по воздуху через весь мыс, губя фруктовые завязи.

Нервный человек от черноморского норд-оста рискует сойти с ума, пустить себе пулю в лоб. Сон бежит от вас, и вы прислушиваетесь невольно всю ночь напролёт к гулу и

вою бури за стенами дома.

Зимой этот ветер приобретает такую стужу, что никакой мороз не сравнится с ним в лютости, летом он жаркий и пышет, словно из раскалённой печи. На открытых местах, не защищённых естественными преградами, этого ветра не выдерживает никакая культура, кроме винограда, поэтому в окрестностях Новороссийска и Геленджика вся растительность малорослая и кривая, с наклоном в одну сторону. Зато, и в этом надо отдать ему полную справедливость, норд-ост там, где он дует, делает климат на редкость здоровым из-за необыкновенно чистого воздуха. После периода ветра наступает тишина, когда нет ни комара, ни мошки, все вредные испарения и микробы унесены далеко через море. Именно после норд-оста в этих местах бывают необыкновенные по красоте дни и ночи.

Объясняется научно эта метеорологическая аномалия Черноморья тем, что где-то в складках гор у границ Кубани ветер проходит через какое-то ущелье, образующее естественную трубу, из которой, спускаясь к морю, ветер приобретает невероятную силу.

Несомненным предвестником норд-оста является длинная и толстая гряда облаков, появляющаяся на вершинах гор. Гряда эта начинает спускаться с вершин, а за ней неизменно следует и ветер. В Новороссийске зимой, где норд-ост особенно силён, не только пешеходы, но и экипажи и даже вагоны рискуют быть снесены в море с набережной. Пароходам, уже не говоря о более мелких судах, грозит немалая опасность от ветра; если они стоят в бухте, то рискуют быть выброшены на берег, и часто, стоя на двух якорных цепях, пароход принуждён идти полным ходом против ветра, оставаясь, тем не менее, на одном месте.

В открытом море палуба и оснастка судов быстро покрываются при этом ветре льдом от водяных брызг, и под его тяжестью небольшие суда рискуют перевернуться и потонуть. Поэтому, чтобы избавиться от норд-оста, единственное верное средство для всех судов — это отойти подальше от берега, где в открытом море его не существует.

Отец, будучи военным инженером, строил свой дом в Евгеньевке, как крепость, с расчётом на его несокрушимость, но не принял во внимание местного условия в лице этого проклятого ветра. Дом способен простоять и, вероятно, простоит сотни лет, однако, его железобетонная гулкость куда как мало привлекательна для жизни в нём.

В день приезда в Геленджик генерала Кутепова я стал на левый фланг представлявшихся военному губернатору чинов. Дойдя до меня, Кутепов высоко поднял брови и спросил:

— Что вы тут делаете?

— В командировке для ликвидации большевизма, ваше превосходительство.

— А... так это вы здесь дров наломали? В таком случае имею с вами разговор.

После представления генерал ушёл в кабинет Чистякова, где принял от него подробный доклад, в том числе и о нашем деле. Не прошло и десяти минут, как туда же пригласили меня и Константинова. Чистяков уже поставил Кутепова в курс событий, так как генерал не стал нас расспрашивать о подробностях, а прямо объявил свою резолюцию.

— Не в том дело, господа, что вы выпустили в расход десяток прохвостов, они этого, конечно, заслуживали, однако этого рода вещи, хотя бы и во время гражданской войны, надо делать легально и гласно, чтобы не возбуждать нежелательных толков и не создавать фальшивых мучеников в глазах обывателя... У нашей либеральной интеллигенции, которая руководит общественным мнением, уж так психология устроена — против большевистских расстрелов не смеют и пикнуть, а нам каждое лыко ставят в строку!.. Во всяком случае, ваши карательные действия прекратите немедленно, а вы, ротмистр Марков, сейчас же отправляйтесь к месту вашей службы и… смотрите, как бы я вас самого не приказал расстрелять!

Кто из нас четырёх в этот момент мог предполагать, что сам Кутепов, требовавший от нас законности и гласности в деле борьбы с большевиками, через двенадцать лет сам будет ими убит подло, из-за угла, в глубокой тайне, которая вряд ли когда-нибудь будет открыта.

Не успел я вернуться в Новороссийск и приступить к исполнению своих

многочисленных обязанностей, как однажды утром ко мне явился пожилой полковник генерального штаба Стратанович с просьбой помочь ему в организации местного отдела контрразведки, начальником которого он только что был назначен. Ко мне, по его словам, он был направлен штабом военного губернатора, как к человеку не только местному, но и уже занимавшемуся очисткой окрестностей от большевиков. Подумав, я назвал полковнику несколько лиц из жителей Новороссийска и Геленджика, которые, по моему мнению, могли быть ему: полезны, в том числе и юнкера Андрюшу Ольдерроге. Полковника это не удовлетворило, так как, записав фамилии и адреса, он после небольшой паузы спросил:

— А сами вы, ротмистр, не согласились бы принять личное участие в этом деле?

— Нет, господин полковник... благодарю вас за доверие, но я решительно отказываюсь, этого рода служба... мне не нравится…

Стратанович таким ответом остался не только недоволен, но и явно задет, и я понял, что целью его визита было отнюдь не собеседование в интересах дела, а просто приглашение меня к нему в помощники. Старая закваска, взгляды и традиции дворянско-офицерской среды ещё крепко во мне сидели, и я почитал, как и несколько лет тому назад в Тифлисе, всякую секретную службу как нечто недостойное для офицера.

Мне, как и многим, понадобилось пройти через долгий искус революции, гражданской войны и эмиграции, чтобы, много пережив и ещё больше передумав, отказаться от многих нелепых взглядов и переоценить многие фальшивые ценности, привитые врагами России исподволь и злонамеренно старой русской интеллигенции.

Только теперь, после многих лет, я осознал и понял, что очень большой ошибкой было с моей стороны отказаться от службы в разведке, как в 1916 году в Тифлисе, так и в 1918 в Новороссийске. На этой службе я, конечно, мог бы принести несравненно больше пользы родине, чем оставаясь строевым или штабным офицером в другом месте.

В октябре в Новороссийск с фронта было прислано человек двести пленных красноармейцев для занятия нестроевых должностей. Это были сплошь серые деревенские парни, совершенно не разбиравшиеся в политической обстановке, мобилизованные в красную гвардию. Одного из них, парня лет 20 по имени Афонька, я взял себе в вестовые. Денщиком он оказался усердным и старательным, но солдатского лоска в нем не было совершенно, и на каждом шагу от него отдавало деревней. Толком рассказать о своём прошлом Афонька, при всём своём желании, был не в состоянии. Можно было только понять, что его за последние два года мытарили и мобилизовали всевозможные «власти», начиная с царской и кончая чисто уголовной, вроде «батьки» Махно. Как и тысячи других ему подобных, Афоня покорно «мобилизовался», безропотно месил грязь и снег в каких-то походах, рассыпался в цепи, стрелял; два раза был ранен, трижды попадал в плен, но абсолютно не понимал, кому он служил и за что проливал свою крестьянскую кровь.

Физически он производил впечатление недоразвившегося и был очень жалок нам с женой, почему вопреки всем правилам и положениям я через месяц отпустил этого «военнопленного врага» с чистой совестью домой в его екатеринославскую деревушку на полный покой. Вопрос только в том, долго ли его оставили в покое и через сколько месяцев он был мобилизован очередной властью, свалившеюся на его многострадальную голову.

По должности старшего «плац-адъютанта» мне довольно часто приходилось усмирять и ликвидировать всевозможные скандалы, чинившиеся в городе господами офицерами, если с ними не могли справиться «младшие адъютанты» и обстановка требовала вмешательства более серьёзных чинов.

Пережитые испытания за время войны и в особенности революции сильно расшатали нервную систему у большинства офицерской молодёжи. Немудрено поэтому, что многие, чтобы забыть хоть на время тяжёлую действительность, искали утешение в вине и даже наркотиках. Многие люди, казавшиеся в трезвом виде совершенно нормальными, под влиянием алкоголя становились невменяемыми и представляли собой опасность для окружающих. Этими качествами, к сожалению, особенно отличались части формировавшегося в Новороссийске Черноморского конного дивизиона, который после

ухода на фронт старых добровольческих частей являлся единственным гарнизоном города. Состояла эта, более чем оригинальная, часть из элементов самых разнообразных и подчас совершенно неожиданных. Были здесь гвардейские офицеры, кавалеристы и пехотинцы, казаки всех войск, чеченцы, ингуши и черкесы, какие-то совсем тёмные типы, вряд ли небольшевистского происхождения, и, наконец, совершеннейшие «антики», вроде моего незабвенного приятеля, «поручика Ахметова».

Командовал этой живописной частью гвардейский полковник Грязнов, офицер не то Измайловского, не то Семёновского полка. Дивизион делился на два эскадрона, причём одним из них начальствовал мой товарищ по Школе – гвардейский улан Новиков, а другим – Терского казачьего войска есаул Малахов.

Этот последний, я думаю, был едва ли не одной из самых достопримечательных и красочных фигур гражданской войны. Это был саженного роста, широкоплечий, тощий, с необыкновенно длинными руками алкоголик и кокаинист, психически совершенно ненормальный. Ни в какие другие времена и ни в какой другой части подобный тип, да ещё на командной должности, конечно, был немыслим.

В сопровождении целой армии прихлебателей и собутыльников эта орясина с мутными сумасшедшими глазами каждый вечер шаталась по всяким злачным местам, устраивая невероятные скандалы. В компании Малахова неизменно находился «его личный друг» — молодой медведь, всегда в полупьяном виде. Бедный зверь на потеху дуракам был споен Малаховым и тянул водку не хуже своего хозяина. В пьяном виде медведь дико орал и скандалил, к ужасу посторонних людей. В кабаках и ресторанах, где вся эта сволочь устраивала свои дебоши, они ставили всё вверх ногами, били встречных и поперечных, стреляли в зеркала и люстры. Мишка во всём этом имел определённую, раз и навсегда установленную роль, а именно, он сгребал со стойки первые попавшиеся бутылки, выпивал их и затем, качаясь на ногах, с рёвом бил своей широкой, как лопата, лапой мраморные столики, разлетавшиеся от одного его удара на куски.

Несмотря на то, что с момента своего появления в Новороссийске Малахов сидел еженедельно на гауптвахте, он не только не унимался, но наоборот, его дебоши принимали всё больший размах. К моменту моего отъезда из Новороссийска в декабре 1918 года по городу поползли уже слухи, что всадники Черноморского дивизиона, не без ведома своего есаула, попросту занимаются по ночам вооружённым грабежом. Насколько эти слухи имели под собой почву, тогда было трудно судить, так как убийства и грабежи, случавшиеся в Новороссийске и его окрестностях, довольно часто, за неимением полиции, оставались в большинстве случаев нераскрытыми, и авторами их могли быть с одинаковым вероятием как скрывавшиеся в горах «зелёные», так и малаховские «джигиты».

Однажды поздно вечером в конце сентября, когда по обыкновению я сидел у себя в кабинете, заканчивая спешные дела, ко мне вошёл дежурный офицер поручик Головань и доложил, что меня кто-то спешно требует к телефону по делу большой важности.

Оказалось, что телефонировал мичман из местного кафе-шантана «Аполло», где, по его словам, находился в этот момент есаул Малахов с большой компанией. После попойки он вошёл в особенный «кураж» и собирался теперь со своей бандой отправиться в порт, чтобы сорвать с немецкой канонерки флаг и водрузить на его месте Андреевский штандарт.

Надо сказать, что осенью 1918 года германские военные суда стояли во многих портах Чёрного моря, хотя отношения немецкого командования с Добровольческой армией были самые неопределённые, если не сказать двусмысленные. Теоретически немцы продолжали считаться нашими врагами, раз армия в лице генерала Деникина провозгласила в своей политической программе «верность доблестным союзникам». Однако это было только в теории и на бумаге, находясь в одних и тех же местах, немцы и добровольцы делали вид, что друг друга не замечают. Это положение вооружённого нейтралитета строго соблюдалось обеими сторонами, и отношения всё время у нас с немцами оставались корректными, что было совершенно необходимо тогда при создавшейся на юге России обстановке.

Однако в этот осенний вечер с таким трудом налаженный нейтралитет из-за пьяного есаула Малахова мог превратиться совершенно неожиданно для обеих сторон в самую настоящую войну, если бы ему удалось осуществить свою дикую мысль. Германские военные корабли, стоявшие в Крыму и в Керчи, конечно, при первом известии о нападении на канонерку в Новороссийске должны были явиться сюда, и через час от столицы Черноморья осталась бы груда развалин, под которыми могла погибнуть и вся едва оперившаяся Добровольческая армия…

Всё это я хорошо сознавал и буквально похолодел, держа в руках телефонную трубку. Необходимо было помешать Малахову напасть на ничего не ожидавших немцев, и помешать как можно скорее, а между тем в моём распоряжении не было ни одного солдата, кроме караула в комендантском управлении, который охранял арестованных, и который снять я не имел права. Между тем, мичман протелефонировал, что малаховская компания, вооружившись, забрала с собой оркестр музыки и уже вышла по направлению к порту. На мой звонок к коменданту города его денщик ответил, что «полковник выбывши» неизвестно, куда. Из штаба губернатора, к счастью, ответили, что хотя губернатор и не у себя, но им известно, что он в городском театре.

Колотя ножнами шашки извозчика, я, как угорелый, помчался в театр. Кутепов, как всегда, сразу понял положение вещей и принял решение. «Немедленно берите мой конвой и отправляйтесь в порт! Приказываю, под вашу личную ответственность, не допускать никого к канонерке. Если не будет другого способа, открывайте огонь и перестреляйте всю эту сволочь. Отправляйтесь и… на рысях!»

В тёмном и безлюдном порту стояла мёртвая тишина, когда мы, задыхаясь от бешеного бега, подбежали к воротам каботажной пристани. Немецкая канонерка огромной чёрной массой стояла у самой стенки, слабо освещённая немногими огнями, и казалась совершенно безлюдной. Однако не успел гулкий топот казачьих сапог нарушить покой ночи, как на корабле, словно по волшебству, всё ожило. Зазвенели тревожно звонки, палуба осветилась, и у орудий замерли тёмные неподвижные фигуры, после чего судно опять погрузилось во мрак. Немцы, очевидно, хорошо разбирались в русской действительности и были начеку. Рассыпав взвод казаков в цепь перед воротами, я сталь ждать. Кругом была ночная тишина, и только дальний лай собак отзывался эхом в горах. Не прошло и пяти минут, как издали сначала чуть слышно, а потом всё явственнее послышались вздохи духового оркестра. Медные звуки нарастали и скоро заполнили тишину ночи. Из-за угла улицы на набережную при свете луны как-то сразу высыпала и заполнила мостовую густая чёрная толпа.

Я выступил вперед на ярко освещённое месяцем место и поднял руку. Оркестр вздохнул в последний раз и замолк на полутакте. Наступила звенящая тишина, которую через мгновение нарушил хорошо знакомый густой и хриплый бас Малахова, отделившегося от черневшей толпы.

— А... это вы опять на моём пути, господин ротмистр?.. Чем на этот раз мы обязаны честью вас видеть?

— Вот что, господин есаул, — прервал я его, — бросим комедию там, где дело пахнет драмой. Ваши намерения известны, и по приказанию военного губернатора я предлагаю вам и всем, здесь находящимся, немедленно покинуть порт, так как я прислан сюда с казаками для того, чтобы ни в каком случае не допустить вас напасть на немцев. Если вы не послушаете слов, тем хуже и для вас и для меня, я должен буду открыть по вам огонь!

— То есть как это... огонь? — изумился Малахов. — Стрелять по русским офицерам, защищая… немцев?.. И вы всерьёз будете стрелять?!

— Буду, господин есаул! А потому, чтобы не ставить меня в эту необходимость, прошу вас всех немедленно покинуть порт и разойтись.

После этих слов, сказанных соответствующим тоном, толпа позади Малахова глухо загудела, и из общего говора я расслышал несколько голосов, которые уговаривали других. «Довольно, господа, всё равно не удалось... приказание Кутепова!.. В другой раз!.. Они от

нас всё равно не уйдут!» Заметив, что моё дело, очевидно, выгорает, я воспрял духом. Зато окончательно обеспокоились всей этой непонятной сценой немцы. На канонерке зазвенели опять электрические звонки, послышались короткие команды, на палубу высыпала команда, и пушки канонерки откровенно повернулись в нашу сторону.

Надо было кончать. Я опять поднял руку.

— Внимание, господа офицеры!

Когда шум голосов затих, я умышленно громко спросил Малахова:

— Скажите, есаул, вам известно, что в Керчи стоят немецкие миноносцы?!

— Известно…

— А вам известно, что если вы сегодня нападёте на канонерку, то завтра немецкие корабли будут здесь и разнесут город к чёртовой матери. Вы этого хотите?.. Так тогда вы не офицер, а большевистский провокатор и наш враг!

— Что вы сказали? — заревел Малахов и угрожающе двинулся ко мне. Но теперь уже обозлился я. Обернувшись к молча стоявшим сзади казакам, я скомандовал им прерывающимся от злобы голосом:

— Взвод… по бунтующей сволочи… пальба залпом!

Щёлкнули затворы винтовок, и в ответ толпа позади Малахова, глухо охнув, сразу поредела и стала таять. Тёмные фигуры одна за другой зашмыгали в переулки, стараясь быть незамеченными. Остановился, несмотря на всю свою привычную наглость, и Малахов, для него тоже стало ясно, что мне стоит бросить последнее слово команды, и произойдёт непоправимое.

Видя, что дело проиграно, он, словно в раздумье, медленно повернулся, бормоча проклятия, и окружённый группой своих друзей волочащейся походкой медленно скрылся за углом улицы. Беспорядочной толпой, стуча сапогами, за ним потянулся и оркестр, тускло поблёскивая медью.

— В чём дело, *римайстер* ? — послышался вдруг сзади меня чей-то голос с сильным иностранным акцентом. Я обернулся, как ужаленный, и оказался лицом к лицу со знакомым немецким офицером, который незаметно для нас сошёл с канонерки.

— Ничего, господин лейтенант... просто маленькое недоразумение… сюда приходили пьяные солдаты…— смущённо пытался я объяснить ему положение.

— О-о да… да… я понимаю, — протянул он, — во всяком случае… мы вас благодарим... ссориться нам ведь не нужно?

Я пожал его протянутую руку и ничего не ответил. Было всё ясно без слов и очень обидно. Немцы всё видели и всё понимали.

На другой день по приказу генерала Кутепова Малахов был арестован и на неделю посажен на гауптвахту. К сожалению, этим вся история для него и ограничилась, так как он был участником Ледяного похода и носил на груди меч в терновом венце из шиповника, а эта категория людей в Добровольческой армии была на особом, привилегированном положении. Кутепов, тоже участник похода, не только эту привилегию признавал, но и где можно поддерживал, далеко не всегда в интересах дисциплины.

Полковник Сукин, занимавший до революции должность начальника Новороссийского отдела пограничной стражи, в сентябре был назначен на ту же должность при Добровольческой армии. Будучи благодарен мне за защиту его сына, преданного военному суду, о чём речь была в своём месте, и зная, что я хотел бы служить в Геленджике, он предложил мне должность начальника геленджикского отряда. Перспектива быть самостоятельным начальником в родных и знакомых местах теперь, ввиду беременности жены, мне особенно улыбалась, почему я и дал Сукину своё согласие.

Комендант города, которому я изложил мотивы своего перевода, мрачно согласился, как мрачно он делал всё в жизни. Официальный перевод также не представлял никаких затруднений, и через неделю приказом по Добровольческой армии я был переведён в Особый пограничный отдел.

Сдав дела своему заместителю, я, прежде чем окончательно переселиться с женой в

Геленджик, решил сначала выехать туда один, чтобы разведать условия службы и подыскать квартиру, так как в нашем имении на Тонком Мысу жить ввиду его неустройства явно не приходилось.

В знакомой мне с детства геленджикской гостинице Лазаря Пасхалидиса, теперь холодной и пустой, как гробница, я оказался единственным постояльцем. Полковник Чистяков, скучавший в глухом и безлюдном в то время городишке, встретил меня как нельзя любезнее и, видимо, был искренне рад свежему человеку, так как весь его «штаб» состоял из полудюжины серых и малокультурных прапоров.

В царской России служба пограничной стражи была одной из наиболее хорошо организованных, как в смысле строевом, так и в особенности хозяйственном. Пограничные посты, или кордоны, представлявшие собой казармы пограничных войск, были разбросаны в десятке вёрст друг от друга по всем необъятным границам Российской империи. Каждый кордон представлял собой не только казарму для солдат пограничников, но также и квартиру офицера, канцелярию поста или отряда. Рядом с постом находились хозяйственные постройки, конюшни и амбары кордона, так как всё довольство и хозяйство поста, иногда вмещавшего до полуроты солдат, отряд вёл сам. Пограничники старого времени отличались большой хозяйственностью, имели огороды, бахчи и даже посевные поля, уж не говоря о том, что на постах имелись коровы, свиньи, овцы и домашняя птица. Пограничные офицеры жили настоящими помещиками и прекрасно оплачивались, так как известный процент с задержанной контрабанды шёл пограничникам, её задержавшим. Все помещения пограничных войск были построены прочно и солидно, из камня и кирпича, и издали напоминали собой помещичьи усадьбы или, во всяком случае, богатые хутора. В Черноморской губернии, где граница шла вдоль берега моря, служба пограничной стражи была, благодаря прекрасному климату и красивой горно-лесной природе, особенно приятна, и я ещё в первое моё посещение Черноморья в 1916 году имел намерение перевестись со временем сюда на службу, где охота и природа меня особенно привлекали.

На предоставленном в моё распоряжение Чистяковым моторном катере я на другой же день после приезда в Геленджик предполагал осмотреть район будущего моего отряда и привести в ясность то, что после революции сохранилось на постах. Постов этих в Геленджикском отряде было четыре, из которых один в селении Кабардинка находился на север от Геленджика, второй в самом городке и два других в сёлах Фальшивый Геленджик и Береговое — на юг по дороге в Туапсе.

От красивого пограничного хуторка, стоявшего среди луга в самом Геленджике, после всех революционных бурь, пронёсшихся над его головой, осталось не много. Правда, все здания поста более или менее сохранились в целости, так как были выстроены из прочного кирпича, однако, кроме стен и отчасти крыш, в них ничего не было, были выворочены даже двери и окна, уж не говоря о внутреннем убранстве. Приходилось не только заново заводить всё хозяйство, но требовались большие суммы на ремонт и отделку помещений. Спешить со всем этим особенно не приходилось, так как в Особом отряде пограничной стражи не было ещё ни одного солдата. Формировать отряд предполагалось из черноморских жителей, мобилизация которых в Добровольческую армию планировалась в ближайшее время. В обязанности моей командировки в Геленджик входила также задача подобрать, если возможно, из местных молодых людей пограничников-добровольцев. В Кабардинке, которую я посетил после Геленджика, я нашёл помещение самого кордона и службы в заброшенном состоянии, а двор — густо заросшим высокой сорной травой. Та же приблизительно картина была и в Фальшивом Геленджике, с той разницей, что здесь лес, подступавший близко к кордону, за два года революции покрыл не только крыши, но даже земляные полы всех помещений густой молодой порослью деревьев и лиан.

В Береговом зато меня ожидал совершенно неожиданный сюрприз. Едва только наш катер подошёл к деревянной полусгнившей пристани кордона, как из двери поста появилась мне навстречу бравая фигура унтер-офицера пограничника в полной форме мирного времени. Солдат отчётливо взял под козырёк и спокойным голосом отчётливо

отрапортовал: «Ваше высокоблагородие, на посту Береговом всё обстоит благополучно, происшествий не случилось!» Дикими глазами я смотрел на этот призрак недавнего прошлого и… ровно ничего не понимал. А солдат с двумя аккуратными нашивками на зелёных погонах продолжал стоять передо мною, такой простой и в то же время такой необыкновенный, держал по уставу руку под козырёк и спокойно и ясно смотрел мне прямо в глаза, как будто и в действительности над нашими головами не пронеслось ни революции, ни гражданской войны и на заброшенном кордоне по-прежнему всё обстоит «благополучно и без происшествий».

Придя, наконец, в себя и убедившись в том, что это действительность, а не бред, я расспросил этого чудесного пограничника и только тогда понял положение вещей. Оказалось, что война и революция, стерев с лица земли императорскую Россию и её армию, уничтожила с нею и пограничную стражу, но этот солдатик, которому некуда было деваться со своей бабой и детишками, продолжал жить, всеми забытый, на кордоне, вдали от всех бурь и треволнений, имея в своём горном углу дело не с людьми, а исключительно с птицами и зверями.

Сегодня он, по какой-то *пантофлевой* почте узнав о приезде вновь назначенного начальства, почёл, что все беспорядки окончились, всё вернулось на своё место, а потому, обрядившись снова в старую форму, он «по долгу службы», как последний из могикан, верный традициям, и явился встречать начальника. Своим несложным, но непоколебимым мировоззрением он меня не только изумил, но прямо растрогал, тем более, что благодаря его заботам кордон был в совершенной исправности и даже весь казённый инвентарь был налицо.

Здесь, в этом тихом лесном углу, даже нелепая формула о том, что всё «обстоит благополучно», имела, пожалуй, свой смысл, так как вокруг кордона стояла полуденная звенящая тишина, которая бывает только в горных лесах, а на покрытом зелёным газоном лужку беззаботно ходил белогубый телёнок и пара овечек.

Вернувшись в Геленджик, я после шумного Новороссийска стал скучать. Единственными людьми, с которыми можно было перекинуться словом, были Чистяков и его штаб, состоявший из совершенно случайных людей, захваченных здесь революционной бурей. Был здесь нижегородский корнет Попов, прапорщик инженерных войск Кустодиев, брат известного художника, прапорщик запаса из шкиперов Ульбрих и какой-то штатский, весьма таинственный брюнет, одетый во все чёрное, явно столичного типа. Носил он здесь имя Петров, но никто не сомневался в том, что звался он иначе. О прошлом этого господина, как и о его настоящем имени знал один лишь Чистяков, хотя и были догадки, что человек в чёрном являлся в своё время одним из руководителей петербургского охранного отделения.

Через несколько дней после моего приезда в Геленджик прибыл вновь назначенный на эту должность начальник округа Леонтович, явивший собой первого представителя гражданской власти в Черноморье. Его приезд дал Чистякову идею совершить инспекторскую поездку по округу для ознакомления начальства с подведомственным ему районом. Каждый из нас троих, т.е. Чистяков, Леонтович и я, представляли собой руководителей отдельных частей управления одного и того же района, а именно власть военную, гражданскую и пограничную. В объезд мы выехали на большом легковом автомобиле в сопровождении корнета Попова и двух казаков.

Первое селение, которое мы посетили, было большое село Береговое, стоявшее верстах в пяти от берега моря и двадцати верстах от Геленджика в широкой горной балке. Всё население встретило нас при въезде во главе с комендантом поручиком артиллерии Когеном. Этот Коген, много лет подряд живший в Береговом, представлял собой очень любопытную фигуру. Лет сорок до описываемого времени в район Берегового приехала и поселилась группа интеллигенции, образовавшая коммуну последователей толстовского учения. Колония эта, состоявшая из двадцати человек «опростившихся» интеллигентов, купила на коммунальных началах у казны участок земли и начала на нём хозяйство, работая как простые крестьяне. Колония скоро стала известна всей читающей России под именем

«интеллигентной толстовской колонии Криница». Во главе всего предприятия стояла молодая барышня из семьи князей Дондуковых-Корсаковых, которая отдала на это дело всё, что имела, включая сюда и самоё себя. На коммуну эту было затрачено много душевных сил и ещё больше денег, уж не говоря о физическом труде, но, как и надо было ожидать, ничего из этого не вышло, как не вышло из коммунального хозяйства ничего путного и в более широких размерах полсотни лет спустя. Через несколько лет члены коммуны, насмерть поругавшись друг с другом на почве финансового кризиса и общих неудач, землю поделили и зажили частным хозяйством. Этот первый разумный шаг колонии сразу изменил положение вещей. Сделавшись собственниками, колонисты поправили свои дела и скоро стали состоятельными поселянами, преуспев в деле виноделия и культуре табака.

Коген был незаконным сыном Дондуковой-Корсаковой, прижитый ею от одного шведского единомышленника. Как наследник княжны, он при дележе получил больше других и к описываемому моменту являлся состоятельным помещиком, владельцем прекрасной дачи, плодовых садов и виноградника. Во время Великой войны Коген был призван как прапорщик запаса в артиллерию и после революции вернулся в Береговое поручиком. После занятия Черноморья Добровольческой армией он опять надел погоны и был назначен в Береговое, как единственный здесь проживавший офицер, комендантом. Выслушав доклад Когена о местных делах, Чистяков осведомился у него о ходе только что объявленной первой мобилизации в армию.

Оказалось, что мобилизация прошла в Береговом не совсем благополучно, так как несколько парней отказались идти на военную службу и скрывались частью в селении, частью в лесу. Относительно лесу, по моему мнению, Коген пересолил. Совершенно очевидно, что дезертирам туда бежать было ни к чему, и они спокойно могли оставаться дома, так как никаких властей, кроме самого Когена, человека своего и местного, в Береговом не было.

Услышав путаный и сбивчивый рассказ Когена об уклонявшихся от военной службы парнях, Чистяков, человек молодой и горевший желанием проявить свой административный пыл, решил показать на месте, что с новой властью шутить не приходится. Строгим голосом он приказал немедленно собрать к сельскому управлению, где мы в этот момент находились, сход поселян. Так как встречать нас вышло чуть не всё население, то это распоряжение не представляло труда, и через полчаса глухо гудевшая толпа поселян собралась перед управлением. Выйдя к народу в сопровождении всех нас, Чистяков начал с того, что поздоровался с мобилизованными, выстроенными в шеренгу, поблагодарил их за службу родине, а затем, переменив тон, обратился к сходу, которому в кратких, но энергичных выражениях объяснил, что дезертиров он рассматривает, как «большевистскую сволочь» и предателей родины, которые будут расстреляны тут же, как только попадут ему в руки. Закончил свою речь он тем, что пообещал немедленно показать, как новая власть расправляется с врагами за измену и сопротивление ей.

— Вызвать вперёд отцов дезертиров! — приказал он бледному, как смерть, Когену. Коген замялся на месте, а затем, словно сорвавшись, бросился в толпу, шёпотом в чём-то уговаривая крестьян.

Через несколько минуть семь человек стариков вышли из толпы и понуро остановились перед разгневанным начальством. Оглядев их, Чистяков побагровел и крикнул сорвавшимся голосом:

—За ваших мерзавцев сыновей... ответите вы, зачем воспитали своих сыновей большевиками!.. Поручик Коген, распорядитесь немедленно выпороть этих сукиных детей...

Толпа при этом приказании словно дрогнула, и по ней прошёл гул. Двое из стариков повалились в ноги, прося о прощении.

Коген побледнел ещё больше и неживым голосом, переступая словно ватными ногами, тихо ответил:

— Господин полковник... я такого приказания исполнить не могу... это против моих убеждений…

— Как! — взревел диким голосом Чистяков, — что вы сказа-али!.. это против ваших убеждений!.. а вы забыли, что вы находитесь на военной службе и я вас расстрелять могу!.. Сволочь вы!.. Рвань интеллигентская, а не офицер. Корнет Попов, арестовать его немедленно!

Попов, смущённо опустив глаза, принял от Когена его шашку, после чего они оба ушли с площади в волостное управление, которое по условиям минуты должно было стать арестным помещением для Когена.

— Казаки! — продолжал свирепствовать Чистяков, обращаясь к нашим конвойным, — разложить их! — указал он опять на покорно стоявших стариков.

При мёртвом молчании, воцарившемся на площади, три старика один за другим покорно легли носом в пыльную траву, где и получили по нескольку ударов шомполом. Казаки действовали, что называется, «с совестью», и мужики были наказаны больше символически, чем физически. Поддерживая штаны, они, кряхтя, встали и скрылись в толпе.

— Видали?! — снова обратился бравый полковник к молча стоявшей толпе, — так будет со всяким отцом, у которого окажется сын дезертиром. А самих дезертиров расстреляют на месте, как только они будут пойманы.

Подавленные и смущённые всей этой нелепой сценой, вернулись мы с Леонтовичем с площади в правление, где нас ожидал Коген. Я полагал, что здесь Чистяков позволит себе с ним ещё более резкую выходку и уже готовился вмешаться, как вдруг, к искреннему нашему изумлению и ещё более смущению, Коген, как ни в чем не бывало, обратился к полковнику самым спокойным тоном: «Господин полковник, позвольте просить вас всех ко мне на ужин и ночлег». Старый «непротивленец» остался верен самому себе, и то, что он носил офицерский мундир, ровно ничего не изменило в его психологии. Как мне ни было при этом стыдно за Когена, ещё стало стыднее, когда услышал в ответ не менее спокойный ответ Чистякова: «Благодарю вас, поручик... с удовольствием».

Вечер, проведённый за ужином, в гостеприимной, но необидчивой семье толстовцев, совершенно не соответствовал той бурной сцене, свидетелями которой мы были два часа назад на площади. Чистяков, словно ни в чём не бывало, вёл приветливую беседу с хозяином и его семьей, которой не могло не быть известно то, что случилось у волостного правления. Леонтович и я чувствовали себя неловко и почти не участвовали в разговоре.

Ночь я провёл в очень уютной маленькой каморке в верхнем этаже, хотя долго не мог заснуть, вспоминая этот богатый событиями день. Утром, распростившись с хозяевами самым приветливым образом, мы выехали в следующее селение. Никто, кроме семьи Когенов, нас провожать не вышел. Береговое, через которое мы проезжали, выглядело пустынно и неприветливо. Когда последние дома скрылись за лесной чащей, Чистяков подмигнул глазом и не без самодовольства спросил: «Ну что, как вы всё это находите?» Я ничего не ответил, а нахохлившийся Леонтович всем своим видом выражал неодобрение поступков своего молодого начальника. Старый и опытный администратор, он понимал лучше нас последствия наделанных Чистяковым глупостей, и это его возмущало.

Михайловский перевал, места моих юношеских переживаний, мы проехали, не останавливаясь, и к обеду достигли селения Пшады верстах в пятнадцати за перевалом, в котором я ещё никогда не был.

Пшады, как и многие другие селения Черноморья, был старый черкесский аул, брошенный горцами после покорения Кавказа. Черкесы, выселяясь в Турцию, покинули всё своё хозяйство и в том числе прекрасно содержавшиеся плодовые сады. Русские переселенцы из рядовых бывшего Шапаугского батальона, поселённые на их местах начальством, оказались никуда не годными хозяевами. Большинство фруктовых садов было заброшено и, задичав, стало добычей многочисленных в местных лесах медведей, диких свиней и птиц, нашедших в этом покинутом наследстве себе неисчерпаемый корм. Немудрено поэтому, что в окрестностях Пшад лучшая охота на медведей и кабанов.

К нашему приезду местное начальство уже собрало сход, к которому Чистяков обратился с места в карьер с речью в самом патриотическом духе. Мужики молчали, как

проклятые, и только потели, до них, несомненно, уже дошли вести о деятельности нового начальства в Береговом. Пообедав в доме священника копчёным медвежьим окороком и борщом со свининой, мы перед вечером тронулись в обратный путь, как говорится, «с чувством исполненного долга». На перевале мы попали в самый разгар горной грозы, сопровождаемой страшным ливнем. В первые же пять минут мы промокли в своём открытом автомобиле буквально до нитки. В довершение бед машина наша, пережившая все испытания гражданской войны и революции, стала давать перебои и затем совершенно ослепла на оба фонаря, погрузив нас на самом крутом спуске в совершенную темноту. До Геленджика оставалось, по самому скромному подсчёту, добрые двадцать вёрст, и потому с фонарями или без них, но ехать приходилось дальше волей-неволей.

В непроглядной тьме, среди чудовищных пропастей мы двинулись наугад по извивавшейся с высоты дороге. Это было, конечно, безумие, но мало ли какие безумия делались в эти суматошные годы. За последние годы войны и революции все мы настолько привыкли к смертельным опасностям, что теперь никто из нас четверых не принимал всерьёз такого пустяка, как автомобильное крушение.

Двигались мы по крутому спуску, что называется, на честное слово, и только блиставшие изредка молнии освещали белым светом извивы мокрого шоссе и чисто апокалиптические пропасти со всех сторон. Вдруг в одну из более долгих пауз между двумя вспышками машина наша резко дрогнула, наклонилась и куда-то стремглав понеслась. Страшный толчок бросил нас друг на друга, и мы осознали, что падение наше в неизвестность сразу окончилось. Осмотревшись при помощи ручного фонаря, мы убедились, что только чудо спасло нас от смерти. Наш шофёр, потеряв в темноте ориентировку, пропустил поворот и направил машину прямо в пропасть под прямым углом к шоссе. К счастью, падая по отлогому спуску, автомобиль наткнулся и упёрся в две сосны, росшие над обрывом, и застрял между ними, что всех нас и спасло.

Перепуганный шофёр заявил, что машина попортилась, да это было и лишнее, так как вытащить её назад на шоссе всё равно не представлялось возможности. Чертыхаясь и проклиная всё на свете, мы тронулись в дальнейший путь пешими под проливным дождём, не перестававшим ни на минуту.

Предстояло проделать ночью по горам около двадцати вёрст, шлёпая при этом чуть не по колено в воде. Бросив на произвол судьбы живописно застрявший над пропастью автомобиль, мы, взявшись под руки для крепости, бодрым военным шагом двинулись в дорогу. Через три часа, мокрые до костей, усталые и голодные, мы вошли в спящий город, где уже не светилось ни одного огня.

Хуже всего пришлось из всей компании мне, не имевшему с собой ни запаса белья, ни лишней одежды, хотя Чистяков со своей стороны сделал всё возможное, чтобы облегчить эту печальную участь, прислав в гостиницу со своим адъютантом бутылку коньяку, тёплый халат и два одеяла.

На другой день, ещё в сырой от дождя одежде, я выехал в Новороссийск на «Отважном», который, несмотря на годы безвременья, неизменно продолжал поддерживать связь с Геленджиком.

Серия неприятностей, начавшаяся в Береговом, продолжалась и после приезда моего в Новороссийск. Здесь меня встретила крупная и скверная новость. Оказалось, что Сукин, под влиянием своего помощника подполковника Кокаева, не сдержал слова и, вместо назначения меня на должность начальника отряда назначил всего лишь начальником геленджикского поста, т.е. всего-навсего на должность младшего офицера. Выходило, что, оставив службу в комендантском, я добровольно пошёл на снижение.

Объяснялось это переназначение, как выяснилось впоследствии, тем, что как Сукин, так и Кокаев, были старыми пограничниками, везде и всюду тянувшие из корпоративного чувства своих прежних сослуживцев, независимо от их качеств и способностей. На предложенное ранее мне место начальника геленджикского отряда был назначен ротмистр Пелёхин, хотя и непригодный совершенно к военной службе вообще, но

зато служивший в царские времена пограничником.

Протестовать было поздно, да и бесполезно, оставалось примириться с неизбежным. Приехали мы с женой на службу в Геленджик в самое скверное время года в этих местах, а именно в конце сентября. Норд-ост свирепствовал здесь вовсю, и городишко казался совершенно вымершим. Квартирный вопрос в это время в Геленджике обстоял одновременно и очень просто, и очень сложно. Три четверти всех домов и дач совершенно пустовали, и в порядке военного постоя я мог занять с женой любую дачу в любом месте. Однако затруднение при этом заключалось в том, что все эти дачи предназначались при постройке исключительно на летний сезон и были совершенно не пригодны для жизни в них зимой. С большим трудом я отыскал небольшой флигелёк в четыре комнаты, где имелись печи, но, увы, при ближайшем рассмотрении оказалось, что в нашем новом жилище были никуда не годные окна и двери. Несмотря на то, что печи топились круглые сутки, холод во флигеле стоял звериный, так как норд-ост проникал во все щели, и к утру у дверей надувал грудку белого инея.

Мебели оказалось достаточно, но мы столкнулись с затруднениями хозяйственного характера. Оказалось, что моя Женя, несмотря на полтора года семейной жизни, совершенно не знакома с тем, как люди готовят обед. До этого военно-походная жизнь избавляла нас от этой заботы, теперь же она себя начинала обнаруживать.

Повторилось почти то же самое, что тридцать лет тому назад произошло с моими родителями в далёком Туркестане. Ни жена, ни привезённый из Новороссийска с нами Афонька ровно ничего не понимали в кухонном деле. Женя до этого занималась исключительно кухней латинской, Афоня же вообще ни в чём, кроме своего узкого крестьянского дела, не понимал. Был он типичным представителем тех миллионов крестьян, которых насильно оторвали от земли и дома и именем которых вот уже двадцать лет подряд оперируют разные мечтатели во вкусе Чингисхана и Торквемады.

Сколько тысяч и тысяч таких несчастных Афонек погибло в страшные годы войны и революции в холоде, вшах и ужасе, страшно и подумать. Безропотно ложились они головами на все четыре стороны по всей огромной стране, поливая горячей кровью чужие поля в Белоруссии, в Галиции, в степях Дона и Кубани… Ветер разнёс их имена и стоны.

Если красноармейский Афонька оказался как две капли воды схожим со своим туркестанским коллегой тридцать лет тому назад, то нельзя сказать, что три десятка лет не отразились на психологии русской барыни. Врачиха оказалась в нужный момент гораздо догадливее и практичней институтки старого времени. Приготовленный женой по поварской книге обед оказался почти съедобным, хотя его приготовление и заняло весь день с утра до шести часов вечера. На это были свои и весьма серьёзные резоны. Опасаясь, что мяса могло не хватить на нас троих, хозяйка приобрела для обеда… одиннадцать кило филе. Это количество сохранялось на нас двоих и впоследствии, когда был нанят повар-армянин. Он долгое время ставил в счёт 10 кило мяса ежедневно, и молодой хозяйке это количество казалось нормальным на основании её первого кухонного опыта.

Глухое и унылое время были осень и зима 1918-19 годов в Геленджике. Городок представлял собой полную пустыню; кроме местных немногочисленных жителей, в нём никого не было, и огромное большинство домов стояло заколоченными.

Служба моя ограничивалась ежедневной прогулкой на пустой и полуразрушенный кордон, так как из Новороссийска нам солдат не присылали, а проект формирования отряда из местных жителей окончательно провалился. После инспекторской поездки полковника Чистякова в Береговое и тамошней экзекуции не только добровольцев не оказалось, но и мобилизованные предпочитали бежать в горы, чем служить такой власти. В горах, благодаря такому положению вещей, скоро образовались целые отряды дезертиров, к которым присоединились большевистские агенты и остатки антоновских банд. Всё это вместе взятое положило начало так называемой «зелёной армии», которая через два года сыграла решающую роль в гибели Добровольческой армии. В лесу «зелёные» пребывали в минуту опасности и преследования их воинскими частями, в остальное время проживая спокойно по

домам по горным селениям и хуторам, малодоступным добровольческому начальству.

К весне 1919 года «зелёные» осмелели и начали понемногу нападать не только на отдельных солдат, но и на небольшие части добровольцев в районе Туапсе – Геленджик. Так как Геленджик не имел никакого гарнизона, то Чистяков весной затребовал к нам роту Партизанского полка, которая поселилась в пустом курзале, рядом с моим кордоном. Этот последний на деньги, отпущенные из отдела, а также на чисто местные средства мне удалось отремонтировать, и весной в нём поселилось около дюжины пограничников-добровольцев, почти исключительно вольноопределяющихся, родители которых предпочитали видеть своих сыновей на тыловой службе, чем пустить на фронт под большевистские пули. Надежды эти, как и большинство человеческих надежд, не оправдались: наш тихий и сонный Геленджик скоро превратился в самый настоящий фронт, едва ли не более опасный, чем под Орлом и Курском.

Наличие в горах, со всех сторон обступивших город, «зелёных» с лета 1919 года стало причиной постоянных ночных тревог в Геленджике, при которых весь гарнизон каждый раз принимал меры к защите местечка.

Обычно с вечера или даже позднее из комендатуры в части сообщалось, что, по сведениям контрразведки, ночью предполагается нападение «зелёных». Немедленно патрули партизан и все наличные офицеры занимали караулы на перекрёстках и на пулемётных заставах. В большинстве случаев тревоги эти оканчивались ничем, и мы только даром промучивались ночи напролёт без сна.

Контрразведка в Геленджике работала из рук вон плохо, как и вообще везде в Добровольческой армии. У нас она была представлена уже упомянутым раньше таинственным Петровым, прапорщиком Ульбрихом и длинным и тощим, как колодезный журавель, следователем Кващевским. В качестве «осведомителей», кроме того, работали старый всем известный отставной жандарм Семёныч и мальчишка-доброволец из местных жителей Колька. Вероятно, у разведки имелись и другие агенты, но это дела не меняло, так как за всё своё существование в Геленджике это учреждение ничем себя не обнаружило, и существование её было совершенно бесполезно. Все сведения, сообщаемые ею в порядке осведомления коменданту, никогда не соответствовали истине и были лишь причиной бесполезных тревог. Женя, находившаяся в это время в последних месяцах беременности, переживала эти тревоги в особенности тяжело. К лету положение вещей в Геленджике ещё более ухудшилось, так как стоявшая в нём партизанская рота под командой боевого и дельного капитана ушла на фронт, а взамен её были присланы три второочередные сотни пластунов.

Увы, пластуны Добровольческой армии, как небо от земли, отличались от лихих вояк Великой войны, с которыми мне когда-то привелось встретиться в бригаде генерала Гулыги.

«Куркули», как называли кубанцев, присланные в Геленджик, по наружному виду были как будто те же бравые казаки в черкесках и папахах, как прежде, но боевой дух их безвозвратно улетучился за годы революции.

Днём пластуны собирались на лужку рядом с нашей дачей и «спивали» прекрасным хором сильных мужских голосов старые казачьи и запорожские песни; ночью же плотно запирались в своих казармах, обставлялись пулемётами, и вытянуть их из укреплённого убежища было очень трудно. Казачки явно не хотели воевать и праздновали откровенного труса перед «зелёными». Несомненно, это отчасти происходило оттого, что казаки в Черноморье чувствовали враждебное к ним настроение населения, и на их психику не могло не действовать сознание того, что невидимый враг повсюду, быть может, скрывается за любым деревом окружавшего нас леса. Такая партизанская война требовала навыка, знания местности и охоты, которых у кубанцев явно не было.

К весне команда моя пополнилась. В добавку к имевшимся уже добровольцам из Новороссийска были присланы человек тридцать солдат, поголовно немцев-колонистов Екатеринославской и Таврической губерний. Все они в своё время приняли участие в

восстании против большевиков и были народ решительный и серьёзный. Как культурные люди и прежде состоятельные хозяева, эти колонисты ненавидели большевиков, и всё, что с ними было связано. По образовательному уровню это были редкостные солдаты, так как не только все поголовно получили среднее образование, но и, кроме того, половина из них были студентами высших учебных заведений. Двое моих тонкомысских приятелей, Андрей Ольдерроге и Юрий Филимонов, также поступили ко мне добровольцами.

С таким составом отряд мой принял солидный вид, и я имел возможность начать правильную службу, в которой была большая нужда, так как контрабанда по вывозу в Грузию и за границу хлеба, а также по ввозу беспошлинных товаров из Турции, процветала в это время по всему побережью.

К сожалению, старый бюрократический аппарат пограничной стражи продолжал действовать и при новом порядке вещей, что нарушило все мои планы и проекты. Я уже стал забывать о том, что являюсь только временным начальником отряда, как вдруг из Новороссийска неожиданно прибыл назначенный Кокаевым официальный командир, старый, уже представленный за выслугу лет в полковники, ротмистр Пелёхин. Он оказался из новороссийских уроженцев и принадлежал к известной в столице Черноморья выродившейся и ненормальной семье Пелёхиных.

Психически больным оказался при ближайшем рассмотрении и сам мой новый начальник, причём пункт его помешательства был как нельзя более неудобен в условиях переживаемого времени. Оказалось, что этот изумительный офицер считал войну и военную службу вообще за большой грех и был решительный противник пролития человеческой крови. Оружия в руки он принципиально не брал и не считал возможным для своих убеждений носить даже простую шашку, полагавшуюся по форме.

Нечего и говорить, как неудобен и нелеп был подобный начальник в атмосфере гражданской войны и ожесточённой политической распри. Сам он, хотя ни во что не вмешивался и ничем не командовал, самим своим присутствием в Геленджике связывал меня по рукам и ногам, без его официальной санкции я ни в чём самостоятельно действовать не мог. Получить же от него эту санкцию было почти невозможно, так как Пелёхин придерживался теории непротивления злу и всецело полагался на волю божью.

В одну из первых ночных тревог после его приезда, когда по уставу он должен был принять командование и распоряжаться отражением возможного нападения, я совершенно случайно наткнулся на своего начальника, одиноко сидящего на табуретке за постовой конюшней и не принимавшего ровно никакого участия в судьбе отряда. Он кротко слушал раскатисто гремевшие по горам выстрелы и покорно… ждал смерти. Возмущённый его поведением, я сгоряча налетел на него с упрёками, но в ответ услышал какой-то евангельский текст, произнесённый кротким голосом. Видя, что я имею дело с сумасшедшим, я попросил его отправиться домой, чтобы не смущать солдат, и взял всё дело в свои руки. С этой ночи ротмистр Пелёхин почти не выходил из дома, проводя дни и ночи в посте и молитве. Только однажды я посетил его в его келье, когда на посту обнаружились заболевания сыпным тифом, и в Новороссийск надо было послать телеграмму о вызове доктора с дезинфекционным материалом. Это было моё последнее служебное обращение; в ответ Пелёхин ангельски спокойным тоном заявил, что жизнь человеков в руках Господа, а потому дезинфекция и вызов доктора совершенно излишни, «ибо без воли божьей волос не упадёт с головы человека». Кротко вздохнув на моё проклятье, он вернулся к прерванным молитвам. К несчастью, в тревожные времена, которые мы тогда переживали, пелёхинское непротивление злу и пассивный фатализм были более чем опасны для всех его подчинённых, жизнь которых он ставил постоянно в опасность, предоставляя всё на волю божью.

Его юродство послужило прямой причиной гибели моего друга Андрея Ольдерогге, убитого «зелёными» по вине Пелёхина. Юнкер Ольдерроге был одним из тех лиц, благодаря которым нами были арестованы, а затем расстреляны 8 комиссаров Тонкого Мыса. Этого ему, разумеется, местные большевики не простили и вели за ним правильную охоту. Я, конечно, об этом знал, как знали все у нас в отряде, почему Андрюшу никогда и ни при

каких обстоятельствах одного не наряжали в опасные командировки.

В начале лета 1919 года я принуждён был по делам службы выехать в Новороссийск, где пробыл дня три. И туда и обратно я ехал на пароходе, к этому времени дорога между Геленджиком и Новороссийском была совершенно непроходима из-за «зелёных», державших нас в осадном положении. Вернувшись из командировки и явившись на кордон, я в числе других служебных новостей узнал, что в моё отсутствие Пелёхин послал Ольдерогге в Новороссийск верхом… отвезти почту, которая задержалась из-за норд-оста. Ни для кого в отряде не было ни малейшего сомнения, что юнкер был послан совершенно бесполезно на верную смерть, но из ложного самолюбия, чтобы не подумали, что он боится, он всё же поехал. В ответ на мой бешеный натиск Пелёхин ответил опять каким-то текстом. С большим трудом удержавшись от того, чтобы дать волю рукам, я в отчаянии вернулся домой, не сомневаясь в том, что больше не увижу Андрюши.

Так и случилось, наутро из Кабардинки была поручена телефонограмма о том, что на шоссе обнаружен труп юнкера с погонами пограничника и убитая лошадь. Это был Ольдерогге. Как потом выяснилось, его подстерегли «зелёные» у самого выезда из Геленджика, видимо, заранее предупреждённые, и расстреляли в упор. Обезображенный труп привезли к вечеру, и на другое утро вместе с доктором и следователем мы его освидетельствовали. «Зелёные» стреляли в упор, так как от винтовочного выстрела в голову было снесено всё лицо, такие же страшные раны были в грудь и живот.

Солдат-фельдшер небрежно и равнодушно перебрасывал бедное тело с одного бока на другой, как мясную тушу, пока следователь записывал в никому не нужный протокол свидетельство доктора.

Кладбище, где мы хоронили Андрюшу, было за городом и потому, во избежание нападения «зелёных», было окружено цепью пластунов. Вопреки уставу, мы отдали погибшему нелепой смертью товарищу офицерские почести. Все три залпа над могилой были направлены в сторону хутора, где погиб Ольдерогге.

С Пелёхиным с этого дня я перестал разговаривать, потребовав официальным рапортом от штаба отдела его медицинского освидетельствования. Корпоративные чувства пограничников по-прежнему преобладали над всем, и полковник Кокаев сумел настолько оттянуть дело, что комиссия собралась приехать в Геленджик тогда, когда не только уже погиб весь геленджикский отряд, а и самого Пелёхина не было в живых. Но это уже другая печальная история, о которой речь будет в своём месте.

Организация службы пограничного отдела между тем шла своим порядком, и в начале 1919 года штаты были не только выработаны, но и пополнены. В общем, организация пограничной стражи Черноморья сводилась к следующему. Во главе стоял командир отдела, полковник Сукин с двумя помощниками, по строевой и хозяйственной части, из коих один был уже упомянутый выше Кокаев, проживавшие в Новороссийске. Отдел состоял из четырёх отрядов: Новороссийского, Геленджикского, Туапсинского и Сочинского. Каждый отряд, в свою очередь, делился на четыре офицерских поста, на которых, кроме полуроты солдат, имелось по два офицера. Кроме того, на каждом центральном посту каждого отряда имелся специальный офицер, ведающий моторным пулемётным катером.

У нас в отряде, кроме Пелёхина, меня и моего младшего офицера, поручика Дули, из прапорщиков военного времени, начальниками постов были: в Кабардинке − только что вернувшийся из немецкого плена молодой поручик Голиков, в Фальшивом Геленджике − гвардии капитан К., живший на посту с маленьким сыном, так как был вдовцом, и в Береговом − старый пограничник штаб-ротмистр Ростов.

Ко времени их назначения «зелёная армия» настолько размножилась, что в сущности владела уже всем Черноморьем, за исключением крупных селений и городов, так что сообщение по береговому шоссе между Анапой и Сочи возможно было только с «оказией», как в давние кавказские времена, т.е. посредством вооружённого обоза под сильным конвоем. Посылать при таких условиях одиноких офицеров с горсточкой случайных и далеко не надёжных солдат на заброшенные в горном лесу кордоны было,

конечно, чистым безумием. Будь на месте Пелёхина не свихнувшийся человек, а настоящий начальник отряда, надо было все эти посты просто бросить, тем более, что пребывание на них пограничников к середине 1919 года было совершенно бессмысленным, ибо посты находились в постоянной осаде «зелёных», и ни о каком окарауливании границы или постовой службе по берегу моря не могло быть и речи.

Было ясно, что избиение пограничников на кордонах, расположенных вдали от Геленджика, было лишь вопросом времени и офицеры на них были люди, заранее обречённые. Хуже всего было то, что их неизбежная гибель была никому не нужна, а делу Добровольческой армии вредна.

В марте или апреле полковник Чистяков был назначен комендантом Новороссийска, а на его место в Геленджик прибыл боевой офицер и Георгиевский кавалер, бывший командир корниловской батареи полковник Шмидт. Он сразу понял создавшуюся обстановку, и мы с ним начали работать в полном контакте и согласии. Из коменданта района ему пришлось превратиться в начальника немногочисленного геленджикского гарнизона, и все его обязанности сводились к защите города и его населения от «зелёных», наседавших со всех сторон. «Зелёные» почти поголовно происходили из местных жителей, отказавшихся идти в Добровольческую армию, и как таковые не только имели постоянную связь с населением, но и кормились им, а потому «зелёная армия», кроме чинов Доброармии и лиц с нею связанных, рассматривалась в Геленджике как друзья, а не враги. В «зелёной армии» туземное население видело плоть от плоти своей и кровь от крови своей, которая выступила на защиту свободной и независимой крестьянской власти, без начальства и налогов, без всякого на них посягательства. Враждебной силой для населения являлась одна только Добровольческая армия, тем более, что Геленджик в период первого большевизма от него не пострадал, за краткостью его власти. Первые расстрелы и жестокости гражданской войны геленджикцы увидели не от большевиков, а от добровольцев.

Никакое сотрудничество при таких условиях между добровольческими властями и населением было немыслимо, пока существовала «зелёная армия». Об этом полковник Шмидт, ознакомившись с положением, и доложил по начальству. Результатом доклада была присылка в Геленджик специального карательного отряда для борьбы с «зелёными» в последних числах мая 1919 года. До прихода же этого отряда нам посоветовали «обойтись своими средствами».

Это было очень трудно, так как гарнизон наш состоял едва ли из сотни людей. Этого количества едва хватало для несения караульной службы при комендантском управлении, казначействе и электрической станции, а между тем на ночь необходимо было по всем окраинам города выставлять секреты на случай нападения «зелёных». Положение ещё ухудшалось географическим положением Геленджика, который растянулся на добрые семь вёрст узкой полоской вокруг бухты. Улицы в нём существовали только в центральной части, остальной посёлок представлял собой беспорядочно разбросанные среди леса между морем и горами дачи. А между тем летом 1919 года городок, прежде пустынный и тихий, превратился в густо населённый курорт благодаря съехавшимся сюда со всей территории Юга России приезжим, главным образом, семьям высших и средних чинов Добровольческого командования.

В это время здесь жили семьи генералов Алексеева, Эрна, Романовского, а также вдова генерала Маркова с двумя детьми. Она вела приятельство с моей женой и часто у нас бывала. Ещё молодая и красивая женщина, она происходила из морской семьи князей Путятиных. Сироты покойного героя Доброармии были в то время десятилетними детьми. Жил в Геленджике одно время и командир гвардейской дивизии генерал Штакельберг с семьёй. Как товарищ и однополчанин брата Жени – полковника Эггерта, генерал и его жена хорошо относились к нам. В нижнем этаже той дачи, которую мы с женой занимали, поселилась семья командира Александрийского гусарского полка полковника Глебова. Кадры этого полка некоторое время стояли в Геленджике и их приход послужил для меня большим сюрпризом по следующему поводу.

Однажды, выйдя среди прочего начальства встречать на пристань пароход, пришедший из Новороссийска, я, к своему невероятному изумлению, увидел на носу стоявшего одетого в старую кадетскую форму моего однокашника по классу и выпуску − Колю Янова. Не поверив собственным глазам, я даже протёр их, считая, что мне просто почудилось. Каким образом мог оставаться Янов кадетом через 6 лет, после того, как мы с ним кончили корпус?.. Кадет Янов сошёл на берег и, увидев меня, с криком радости бросился мне на шею. Оказалось, что Янов был отнюдь не кадетом, а штаб-ротмистром Александрийского гусарского полка, в походную форму которого и был одет. Белая рубашка, чёрные брюки и фуражка с красным околышем и чёрным верхом являлись точной копией нашей кадетской формы, что и ввело меня в заблуждение. Янов приехал в Геленджик квартирьером своей части, представлявшей кадры трёх полков, а именно, Гродненского гусарского, уланов его величества и александрийцев. Через три дня, когда они прибыли, я нашёл среди офицеров много старых товарищей и однокашников, в том числе: бывшего моего вахмистра по Школе А.А. Линицкого, «зверя» Осоргина и барона Бодде, брата известной девицы-кавалериста, убитой в Кубанском походе. Янов прожил у меня два дня, причём ни на минуту не снимал высоких лакированных сапог, ибо надеть их, снявши, было бы уже нельзя без особых приспособлений, забытых им в Новороссийске.

Первого мая 1919 года у нас в семье произошло большое событие. Жена родила нашего первого ребёнка − девочку, которую в честь матери назвали Евгенией. Это имя было очень принято в семье Марковых. Не говоря уже о давних временах, на моей памяти Евгением назывался мой дед, два брата, дядя и один из кузенов. Евгенией были моя жена и одна кузина. Роды прошли благополучно, но из-за небрежности акушерки была занесена инфекция, и только благодаря присутствию в Геленджике профессора-акушера Харьковского университета Шмидта жена избегла родильной горячки. В эти тревожные для меня дни у нас гостили приехавшие подруги и сослуживицы жены по Добровольческой армии сёстры милосердия Яновская и Яфф, несколько дней ухаживавшие за Женей. Как только опасность миновала, они обе уехали обратно в Екатеринодар и больше мы их никогда не встречали.

Перед отъездом барышни потащили меня к гадалке-ясновидящей, о которой много говорили дамы в Геленджике как об удивительной провидице. Нашли мы её в темноте на чердаке, она в свете, впрочем, не нуждалась, будучи слепой от рождения. Старуха начала с того, что предупредила нас о том, что она просто ясновидящая, а не гадалка и потому не берётся объяснять те картины, которые она увидит в нашем будущем, равно как не может определить, когда всё это исполнится, завтра или через десять лет.

Барышни мои, которых она приняла по очереди, вышли от старухи взволнованные и не стали особенно распространяться о том, что им было предсказано. Яновская только упомянула, что старуха видела её далеко на севере ухаживающей за ранеными. Впоследствии я слышал, что действительно она была сестрой в армии Колчака.

Когда я в свою очередь вошёл к старухе, она предупредила, что сильно устала от напряжения воли и потому долго заниматься со мною не может. Взяв за пульс мою правую руку, она, плавно поглаживая её, медленно и с расстановкой стала описывать то, что видит из моей будущей жизни. Таких картин она рассказала мне три. Первая − я вхожу в комнату, в которой стоит кровать, на ней лежит женщина в белом. Подойдя к ней, я протягиваю женщине маленькую белую коробочку. Это несложное видение исполнилось сразу же по возвращении моём домой, так как я купил жене в городе папирос. Уже после того, как я отдал их жене в точно описанной обстановке, я вспомнил предсказание. Вторая картина также получила своё исполнение через несколько дней. Она заключалась в том, что я ехал с солдатами по морю в лодке, «не имевшей кормы, а с обеих сторон два носа», к обрывистому берегу, шёл по лесной тропинке к каменному зданию с зубчатой крышей и был встречен на пороге его хромой женщиной. Лодка «без кормы» был наш кордонный вельбот с потопленного матросами в Новороссийске броненосца, дом с зубчатой крышей был отцовский дом на Тонком Мысу, а хромая женщина – моя мачеха Мария Васильевна. Третья картина заключалась в том, что я в волнении ходил по комнате, раздумывая, принять или не

принять мне предложение, изложенное в письме за «пятью красными сургучными печатями», лежавшем на столе. Через месяц я действительно получил такой нелепый конверт с предложением от коменданта быть членом военно-полевого суда, от чего я имел право отказаться и отказался.

Была и четвёртая картина, предсказанная гадалкой, которая не исполнилась до сегодняшнего дня. Состояла она в том, что я верхом во главе конного отряда стою перед дымящимися развалинами, но кто знает, что нас ждёт впереди, а дымящихся развалин будет, вероятно, достаточно и в будущем.

Через несколько дней после отъезда барышень и треволнений, связанных с появлением нового члена семьи, я отправился на Тонкий Мыс, чтобы объявить старикам о рождении дочери и звать папу в крёстные отцы первой его внучки. Отец радостно улыбнулся новости и только пожалел, что родилась девочка, а не мальчик.

− Это почему, не всё ли равно, мне наследник, что ли, нужен? Что ему по нынешним временам наследовать?

− Всё-таки лучше... мальчику жить на свете легче.

В крёстные матери я пригласил, там же на Тонком Мысе, нашу соседку по имению барышню-художницу Ландшевскую, которой это предложение не очень понравилось, она предпочитала, чтобы я был её поклонником, а не кумом.

Узнав во время крещения, что у нас не имеется ещё свидетельства о браке, отец пустился в неуместные разговоры, поддержанные мачехой, но я решительно попросил оставить эту тему, что очень задело Марию Васильевну, которая стала больше прежнего возбуждать отца против Жени. Это нас трогало мало, так как жили мы разными домами, я был совершеннолетним и самостоятельным человеком, и прошлое нашей семьи было таково, что не отцу с мачехой было читать мне нотации и ставить себя в пример.

Священник, совершавший крещение, оказался менее щепетильным в вопросах законности нашего союза с Женей и удовольствовался бумажкой о нашем гражданском браке, выданной в своё время Тифлисским городским комиссаром.

Однажды вечером к воротам нашей дачи подъехал городской парный фаэтон из Новороссийска, из которого грузно вылез Асаф в сопровождении своей супруги. После первых приветствий и поцелуев выяснилось, что Асаф привёз свою жену к нам на временное жительство, так как должен её оставить на неопределённый срок, ввиду того, что Черноморский конный дивизион, в котором он служил, назначен в карательную экспедицию в горы против «зелёных», и дня через три пройдёт через Геленджик дальше. В партикулярном разговоре «поручик Ахметов» наедине объяснил мне начистоту, что поведение его Милочки оставляет желать, к сожалению, лучшего, и каждый раз, когда он отлучается из дому, по возвращении узнаёт весьма неприятные для его чести вещи. Следуя по этой причине хорошей турецкой пословице, гласящей «не верь коню в поле, а жене в доме», он меня просил, как «друга и брата», не только приютить Милочку у себя, но и… иметь за ней глаз.

Бедный турок при всём этом щекотливом для него разговоре имел чрезвычайно смущённый вид и страдал от своего трудного и неприятного положения. Я искренне его успокоил, обещал неусыпный надзор за его женой, и он, удовлетворённый, уехал в тот же день обратно. Милочка при всех этих переговорах, наоборот, вела себя совершенно невозмутимо и приняла распоряжение мужа на свой счёт равнодушно. Это была крупная и пышная брюнетка, с восточной точки зрения могущая сойти за красавицу, видевшая в жизни всякие виды.

Уезжая, Асаф отозвал меня в сторону и как бы услуга за услугу предложил одну дружескую комбинацию. По его словам, в настоящий момент в Новороссийском порту стоит гружённая табаком большая фелука из Стамбула, одного турецкого купца, которого хорошо знает он, Асаф. На днях этот купец, продав товар, отправится домой и будет идти мимо Геленджика. По проекту Асафа, я должен с «верными людьми» выехать в море навстречу турку, перебить на фелуке весь её экипаж и забрать деньги, которые мы должны поделить

«по-братски». О моменте выхода из Новороссийска фелуки он меня известит телеграммой.

Моим отказом от этого блестящего и доходного предприятия Асаф был несказанно обижен и огорчён; по его сведениям, это должно было нам с ним принести не меньше трёх миллионов. Восточная его психология никак не могла вместить того, что я отказываюсь по причинам морального порядка, и он уехал огорчённый, полагая, что я отказываюсь из-за того, что нет под рукой «верных людей», на которых можно было бы положиться, так как после революции «русские солдаты стали сволочами».

Милочка осталась жить у нас, жуя, как корова, целый день какие-то вонючие конфеты, привезённые ею целым мешком. Скучала она невыразимо в непривычной для неё обстановке и откровенно зевала во всю свою розовую пасть. Ежедневно я выводил гулять её на берег моря для проветривания, что скоро повлекло за собой нежелательное любопытство. В таком маленьком городке, как Геленджик, появление видной и красивой бабы, да ещё носившей на себе несомненное «*кашэ* » её прежней профессии, не могло не обратить на себя внимание понимающих в этих делах людей.

Уже через два дня после появления Милочки на берегу моря меня остановил в городе сам бравый полковник Шмидт и с военной простотой приступил сразу к делу.

– Что это за брюнетку вы у себя скрываете, ротмистр?

Я объяснил, кто эта брюнетка и почему она находится у меня в доме. Полковник всем этим очень заинтересовался, навёл кое-какие справки и получил сведения. При следующей нашей встрече с подкупающей откровенностью старого солдата он перешёл в решительное наступление.

– Послушайте, ротмистр, – с дружеским упрёком сказал он, – ну, что вы дурака валяете?.. Ни себе, ни людям. На кой дьявол вы её караулите, пустите погулять одну, а об остальном мы уже позаботимся. Ведь я же знаю – это Милка Шпингалет из новороссийского «Шато де флёр».

– Это дело прошлое, господин полковник, теперь она жена офицера.

– Да будет вам!.. Какая там жена, я вас прошу, отпустите её одну.

– Не могу, господин полковник, слово дал товарищу.

– Да плюньте… не я первый, не я последний, ей наплевать, а мне… удовольствие.

Удовольствия этого бравый полковник так и не получил, так как скоро развернулись у нас в Геленджике неожиданные и драматические события, в которых бедный наш Асаф сыграл не последнюю роль, а полковнику Шмидту было уже не до любовных похождений.

До этого Асаф успел ещё раз примчаться из Новороссийска в Геленджик на два дня, чтобы повидать свою Милочку и предложить мне новую комбинацию в виде компенсации за охрану жены от посторонних покушений.

В Геленджике во времена добровольчества снова появились турки-рыбаки, занимавшиеся здесь до войны ловлей дельфинов. Ещё мальчишкой я досадовал на этих «кардашей», разводивших при выварке дельфиньего жира невероятную вонь на всех пляжах.

С этими своими земляками, смотревшими почему-то на Асафа весьма почтительно, он свёл скоро дружбу, вошёл с ними в таинственные переговоры и кончил дело тем, что предложил мне «поймать контрабанду». Отказываться на этот раз не было никакого резона, так как это было моё прямое дело, как пограничника, и мы приступили к делу.

Весь план захвата контрабанды составил сам Асаф, и мне не оставалось ничего другого, как его осуществить. По указаниям турецких информаторов мы непроглядной ночью засели в засаду с Асафом и пятью солдатами-немцами в одном из самых глухих углов залива, у задней стены общественных бань. Темнота была такая, что мы не видели друг друга. Около полуночи со стороны моря мы услышали звуки, обычно сопровождавшие подход небольшого парусного судна. Вскоре можно было ясно различить скрип уключин и плеск вёсел. Контрабандисты-греки начали выгрузку товара. По инструкции, данной нам Асафом заранее, мы не должны были подавать признаков жизни до того момента, пока он сам не даст нам сигнал.

Часа через полтора, показавшихся мне вечностью, из тьмы раздался быстрый шёпот Асафа: − Стреляй, Толя… стреляй скорее!

− Куда стрелять?.. − изумился я, не видя перед собой ничего, кроме мрака.

− Стреляй, ради бога, скорее!.. Всё равно куда, только стреляй!..

Не расспрашивая дольше, я сразу разрядил всю обойму своего маузера в невидимое небо. За нашей спиной, всколыхнув тишину ночи, грохнул залп моих пограничников, гулко покатившийся эхом по горам.

− Беги за мной… беги скорее! − заорал из мрака голос Асафа, едва смолкли в дальних ущельях отзвуки выстрелов. Асаф, как ночная птица, видел в темноте, потому что, таща меня за рукав, бежал куда-то, но куда именно, я, знавший Геленджик, как свой карман, всё же определить не мог. Тяжело дыша, он остановился перед стоящим на самом берегу моря длинным и низким зданием. В окне мелькнул и пропал огонёк.

− Здеся, − прошептал, задыхаясь, Асаф и замолотил рукояткой своего нагана в дверь.

На наш яростный стук никто не ответил, и дом молчал, как могила. Потеряв надежду войти легально, я приказал солдатам выломать двери. Дом из многих комнат, казалось, пустовал, и только в самой дальней мы обнаружили грека хозяина и его жену, притворявшихся спавшими.

В спальне сильно пахло коньяком, и когда солдаты, сбросив на пол вслед за хозяевами тюфяки, обнажили деревянную кровать, на ней оказался ряд коньячных бутылок, уложенных в аккуратные ряды. В других комнатах также было найдено около десятка бутылок того же напитка греческой фирмы «Метакса». Однако всё это Асафа не удовлетворило, и он продолжал настаивать на том, что где-то в этом доме спрятано большое количество контрабанды. При тщательном обыске мы наткнулись на крохотный сарайчик для дров, в котором без всякой видимой причины стоял острый коньячный запах. Убрав с пола дрова, мы обнаружили люк, спустившись в который, Асаф радостно заржал.

Чистый и прекрасно оборудованный цементный подвал был устроен под домом с таким расчётом, что одна его стена выходила прямо в море. Потолок его несколько выступал и служил пристанью, очень удобной для незаметной выгрузки товаров, и снабжённой каменной лестницей, опускавшейся прямо в воду. Не подлежало сомнению, что и дом, и подвал были построены в прежние времена исключительно для контрабандных целей.

Утром при составлении протокола выяснилось, что контрабанда, состоявшая из коньяку, табаку и одеколону, а равно и удобный домик, принадлежали местному богачу и общему приятелю Лазарю Пасхалидису, который и заплатил полагавшийся с него помимо конфискации товара штраф, не моргнув глазом. Контрабанда в Геленджике считалась честным трудом и отнюдь не предосудительным занятием.

Больше всех был доволен Асаф, с которым мы заработали по нескольку тысяч, полагавшихся нам по закону за задержанную контрабанду. В тот же день он, погрозив со свирепым видом пальцем жене, но ничего ей не сказав, отбыл в Новороссийск.

Было благоухающее летнее утро, какие бывают только на берегу Чёрного моря, когда мы с полковником Шмидтом и его штабом вышли для встречи подходящего из Новороссийска Черноморского конного дивизиона. Издали, с уходящего в горы шоссе, слышались странные звуки, оказавшиеся при приближении мелодией своеобразного походного оркестра из зурны и бубнов. Через минуту из-за поворота дороги вывернулась и с шумом потекла к нам пёстрая толпа, напоминавшая цыганский табор. При ближайшем рассмотрении это и оказался ожидаемый нами Черноморский дивизион, следовавший в порядке, который именуется в кавалерии «справа бардачком». Впереди всех ехал есаул Малахов, восседая верхом на крохотной лошадёнке, которая настолько не соответствовала огромному росту своего всадника, что Малахов, сидя на ней, время от времени свободно переступал по дороге ногами, обутыми почему-то в туфли. За этой более чем странной фигурой в живописном беспорядке валила толпа конных и пеших людей, одетых и вооружённых с большой фантазией. Были здесь одетые как солдаты регулярной кавалерии,

но сидевшие на казачьих сёдлах, были пешие в кавказских черкесках с пиками, но пешие были какие-то полуштатские фигуры, сплошь замотанные пулемётными лентами и, наконец, горцы самого разбойного вида, обвешанные всевозможным холодным и огнестрельным оружием до ручных бомб включительно. Всё это галдело, ругалось, пылило и шумело, производя впечатление дикой орды, не будь среди них нескольких фигур, одетых в офицерское платье.

Подъехав к нашей, потерявшей от изумления речь, группе, Малахов натянул поводья, завалился назад и, подняв вверх длинную, как дышло руку, заорал диким голосом:

− Дивизион, сто-о-й!..

Пёстрый табор остановился и постепенно замолк. Переступив ногой в туфле через голову своего коня, Малахов неверной походкой, волоча ноги, подошёл к Шмидту и, небрежно ткнув руку к козырьку, ещё небрежнее пробормотал:

− Э-э... честь имею явиться с дивизионом… в ваше распоряжение.

Шмидт, всегда подтянутый строевой офицер, от изумления онемел, но затем, встрепенувшись, жестом пригласил Малахова в комендантское управление, где на столе уже лежали карты предстоявшей кампании против «зелёных».

− Сейчас я вас познакомлю, есаул, с местной обстановкой, − говорил полковник, шагая рядом с великаном, − и объясню вам диспозицию, которую мы тут выработали в интересах дела…

− Что?.. диспозицию! − вдруг захохотал Малахов, остановившись посреди улицы и громко икнув. − Н-нет, господин полковник... никаких диспозиций! − замотал он головой, вихляясь всей своей длинной и нескладной фигурой. − Ведь мы с вами, полковник, с-старые добровольцы, з-зачем нам диспозиции?

Мы все остановились, ошеломлённо глядя на Малахова во все глаза. Меня поразило в этот момент его лицо, ещё молодое и тонкое, с признаками несомненного вырождения. Оно совершенно не соответствовало глазам, мутно-голубым, старым и тяжёлым глазам непроспавшегося убийцы…

Было очевидно, что он, Малахов, был совершенно пьян, вряд ли отдавал отчёт в своих поступках и держался на ногах только по привычке. Круто повернувшись, он вдруг заорал, обращаясь к своему эскадрону:

− Дивизион, садись!

Затем, подойдя к своей кляче, пошатнувшись, влез на неё и, сделав полукруглый жест рукой отряду, молча двинулся по дороге из города. Мы окаменели на месте и опомнились только тогда, когда мимо повалила с гулом и звоном пёстрая толпа дивизиона. В хвосте её насмешливо дребезжала старая двуколка, на которой среди поклажи выглядывали швейная машина и граммофонная труба, блестевшая на солнце…

Когда вся процессия скрылась за поворотом, и, как говорится, «шум в отдалении затих», комендант, крякнув, пошёл в управление. Я вошёл за ним.

− Чёрт знает что! − возмущённо заговорил Шмидт, нервно шагая по своему кабинету. −Этот Малахов просто пьян и… сам не понимает, что делает!.. Ну, куда его теперь чёрт понёс с его оравой? − развёл он руками.

− Я как раз сам вас хотел спросить об этом, господин полковник.

− А вы думаете, я знаю?.. Понятия не имею. Ведь я ему должен был дать инструкции… указания. Но позвольте, ротмистр! − загорячился он. − Ведь вы с ним знакомы лучше меня, объясните же, что всё это значит? Наконец, где же ваша хвалёная кавалерийская дисциплина?..

−Она здесь ни при чем… Малахов казак, а не кавалерийский офицер, и кроме того, допившийся до белой горячки и не отвечающий больше за свои поступки.

Прошло несколько дней, в течение которых я несколько раз заходил к коменданту за новостями, но Шмидт сам ровно ничего не знал, кроме того, что малаховский дивизион ушёл по направлению Михайловского перевала и затем словно провалился...

Так прошло ещё несколько дней, когда, наконец, "отыскался след Тарасов…"

В базарный день 23 июня баба поселянка, проживавшая около перевала, первая привезла в город вести о есауле Малахове и его дивизионе. Вести эти были настолько необычны даже для того необычного времени, что всё население базара, побросав свои дела, собралось вокруг плачущей бабы ошалело гудящей толпой.

Баба рассказывала, что пока она доехала с перевала до "станицы", она чуть не померла с перепугу, так как по обе стороны шоссе на всём его двадцативёрстном протяжении на деревьях и телеграфных столбах висели трупы повешенных, причём все они были в таком виде, что бабу дважды "вдарила поморока". Баба добавила к этому, что по слухам, дошедших до них из-за перевала, Малахов карал там всех и вся огнём и мечом, вешая и расстреливая всех, попадавшихся под руку, так что население, чтобы избежать этого тамерланова погрома, в ужасе побросало дома и хозяйства, попрятавшись в горах.

К ужасу и смущению нашему, привезённые на геленджикский базар поселянкой вести оказались не только совершенно справедливыми, но и далеко не полными. Малахов, как настоящий восточный завоеватель, шёл по весям и сёлам, предавая железу и пламени всё живое на своём пути. Спасая свою жизнь и уже не думая об имуществе, всё способное ходить и двигаться побросало жилища и бежало в горы к «зелёным». Засев на горном хуторе, Малахов пировал и пьянствовал в сплошном кольце сожжённых им деревень.

Было одно только странно, что в Геленджик доходили лишь частные вести об учинённом черноморцами погроме, между тем официальных донесений от сельских властей и в особенности коменданта этого района поручика Когена совершенно не поступало. Коген сидел в Береговом и по своим старым связям не только мог не опасаться «зелёных», но поддерживал, как это было всем известно, с ними самые лучшие отношения.

В те нелепые времена были и такие парадоксы. Был, например, у нас в Геленджике один гвардейский генерал, бывший командир Сводно-Гвардейского полка. Он имел возле города в горах небольшой хутор, в котором продолжал жить и во времена «зелёных», пока они не попали под руководство большевистских агитаторов. Генерал этот повсюду и везде своим генеральским баском бубнил:

– Чепуха это всё… ничего не выйдет из Добровольческой армии, просто банда… нужна, чтобы восстановить Россию, железная дисциплина. И нечего дальше дурака валять… нужно скорее царя ставить.

И вот при всех этих монархических словах, которых так боялись руководители Доброармии, опасаясь, что их обвинят в реставрационных планах, генерала поселяне уважали и верили, как никому. И это, конечно, вполне понятно, так как мужик хорошо понимал, что если генерал хромает на левую ножку и говорит разные демократические слова, ему верить нельзя – это подвох. А если говорит то, что генералу и говорить полагается, значит, человек на совесть и без лукавства.

Однажды у него на хуторе поздно вечером подрались рабочие. На шум драки из кустов вдруг вылетели «зелёные» на защиту генерала с винтовками в руках: «Где? Кто? Генерала нашего грабить!»

Генерал на шум тоже вышел из дому и, успокоив «зелёных», поблагодарил их за добрососедские отношения. Воспользовавшись случаем, генерал сел на брёвнышко и попробовал агитнуть, какого, мол, чёрта вы, ребята, в горах высиживаете и на что надеетесь, раз добровольцы, вон, к Орлу уже подходят?

«Зелёные» на это ответили, что будут в горах ждать прихода большевиков, а если те не придут, то «пусть уж лучше царя ставят настоящего, а кадетам всё равно служить не пойдём!»

На языке простого народа под словом «кадеты» подразумевались не только офицеры и добровольцы, но и вся интеллигенция, словом, всё то, что «не народ». «Кадетов» при этом народ почитал виновниками революции, а никак не себя. Ходячей формулой было, что «не мы, а господа царя продали». Это была несколько упрощённая, но святая правда...

Первым достоверным вестником событий в горах явился к нам в Геленджик Асаф, привёзший одновременно и разгадку того, почему молчал поручик Коген.

Поздно ночью кто-то бешено заколотил к нам в ворота. Я схватил всегда стоявшую наготове винтовку и приготовился стрелять в первого, кто ворвётся в дом. Положение к этому времени было такое, что был опубликован приказ коменданта, дававший право каждому стрелять в ответ на стук в дверь после захода солнца. Стрелять не пришлось, так как знакомый голос Асафа загудел за дверью. В комнату он вошёл с видом настоящего победителя, обожжённый солнцем, запылённый и увешанный оружием. Небрежно поздоровавшись с Милочкой и расцеловавшись с нами, он заявил, что приехал на одну минуту, так как командирован за вином Малахову.

− Ты постой с вином, расскажи лучше, что вы там делаете, тут вон люди говорят, что вы деревни жжёте и людей даром режете?

−А конечно, жжём… и режем сволочей-большевиков, мы затем сюда и приехали…

− Что ты плетёшь? Вы на «зелёных» посланы, каких же вы большевиков в горах могли разыскать?

− Как каких? − загорячился Асаф. − Там, брат, все большевики… даже офицеры, одного я сам секир башка сделал.

− Это, брат, ты что-то заливаешь, − заинтересовался я, − Какие в горах могут быть большевики, да ещё офицеры?

− Ничего не заливаю, − продолжал упорствовать Асаф, − настоящий офицер был, с погонами… две пушки крестом… и жид.

− Слушай, Асаф, − встревожился я, − это не в Береговом ли было? Офицера не Когеном звали?

− Вот, вот... Когеном, я тебе говорю, что жид, а ты не веришь.

− Дура ты этакая, да ведь Коген не жид совсем, а, кроме того, ведь он комендант в Береговом, назначенный от добровольческого командования, как же ты его посмел убить?

Асаф при этих словах побледнел и захныкал, как нашкодивший младенец:

− Толья, друг!.. я ничего не знаю... я плохо по-русски говору. Командир Малахов велел, возьми его, говорит, Асаф, и чтобы без шума.

− А ты, как баран, и послушался? И расстрелял?

− Нет, Толя… я не расстрелил... мы его шашком, как приказал командир, сам понимаешь… дисциплина!..

− Да ведь тебя, дурака, самого за это под суд отдадут и расстреляют. Ты понимаешь ли, что сделал? − возмутился я.

Испуганный моим тоном, Асаф, ещё больше побледневший, заревел, как младенец, крупные слёзы катились по его толстому и красному лицу.

− Толя, друг... я ничего не знаю... я дурак, конечно… только ведь командир приказал мне… Как так я могу ослушаться?

− Ну вот что, Асаф, ты можешь попасть в очень скверную историю, но я вижу, что тобой воспользовались, как пешкой, поэтому, чтобы тебя вытянуть из этой грязной истории, говори мне всю правду, а если наврёшь, сам на себя потом пеняй.

Немного успокоившись, Асаф в тот же вечер рассказал мне всё, что учинил в Береговом, Пшадах и в других селениях полоумный зверь Малахов со своим разбойничьим дивизионом. Скверное это было дело. Сожжённые древни и хутора, бессудные казни, порки правых и виноватых.

Коген, который по долгу службы и по совести восстал против всех этих безобразий, пригрозил Малахову и его банде, что немедленно отправляется в Новороссийск к Кутепову, чтобы доложить ему лично о том, что творят черноморцы. Выехать из Берегового ему не пришлось. В ту же ночь Коген был арестован и Асаф с двумя черкесами по приказу Малахова его зверски зарубили шашками. На раздетом догола трупе потом нашли 18 ран. По восточному обычаю, сам Асаф не только забрал себе оружие убитого им поручика, но и всё его платье и даже бельё. Маузер Когена в серебряной оправе, равно как и его шашку, я узнал сам на Асафе.

От чего он, впрочем, и не думал отрекаться... Больше того, он щеголял в зелёных

артиллерийских рейтузах покойника. По отъезде Асафа жена нашла у нас в шкафу пару мужского белья, мне не принадлежавшего. Мы долго не могли понять, откуда оно взялось, и только впоследствии я сообразил, что перепуганный моими словами турок незаметно сунул за шкаф бельё убитого им Когена...

Не добыв вина для Малахова, за которым он приезжал в Геленджик, Асаф плюнул на свою нелепую командировку и, забрав Милочку, сбежал в Новороссийск. Наутро полковник Шмидт, которому я доложил о судьбе злосчастного Когена, долго не хотел мне верить, пока не запросил по телефону старшину села Берегового, который подтвердил ему жестокую правду.

По категорическому приказу военного губернатора Черноморскому дивизиону было приказано немедленно вернуться в Новороссийск, прекратив какие бы то ни было операции в горах. Однако решительного есаула не так-то просто было принудить к исполнению приказа.

Вместо Новороссийска черноморцы дошли только до Геленджика, где и застряли надолго. Наш тихий город с их прибытием сразу принял вид завоёванного неприятельского селения, отданного победителям на поток и разграбление.

В первый же день черкесы и прочие горцы, составлявшие основу малаховской вольницы, разгромили все лавки на базаре, а затем начали систематический обыск домов в поисках вина. К вечеру группа черноморцев пыталась взломать замок на сарае при кордоне, где у нас временно хранился конфискованный контрабандный коньяк. Часовой у кордона, заметив это, подал тревогу, на которую выскочил весь пост с ручным пулемётом и винтовками. Черкесы, привыкшие к покорности, испугались и разбежались. Утром ко мне явился Ольдерроге с забинтованной головой и доложил, что вчера, когда он гулял по бульвару с барышней, на него без всякой причины напал горец из Черноморского дивизиона и нанёс по голове удар шашкой, скользнувшей, к счастью, по черепу. Это окончательно вывело меня из себя, и я отправился лично объясняться с Малаховым. Оказалось, что ночью прибывший из Новороссийска командир дивизиона полковник Грязнов сменил Малахова, отрешив его от командования по приказу Кутепова.

Малахова я всё же разыскал и вступил с ним в более чем горячее объяснение. Сидя в крохотном номере гостиницы, всколоченный и босой, на грязной со сбитым на пол одеялом койке, есаул не только был пьян, но и продолжал наливаться какой-то жёлтой мутной жидкостью, по-видимому, прокисшим белым вином. На все мои негодующие речи он только мычал и беспомощно размахивал руками. «Мм!.. бросьте, ротмистр!.. начхать на всё… выпейте лучше со мной».

Плюнув на него, я отправился отыскивать следующего по старшинству командира, который мог бы взыскать с разбойничавшего горца. К изумлению моему, таковым оказался мой товарищ по выпуску из Школы, блестящий гвардеец улан Новиков. Застал я его в той же гостинице в обществе другого гвардейца и улана ротмистра Фермора. Оба они были подтянутые, вылощенные и воспитанные, и представляли разительный контраст со своим диким командиром.

Поздоровавшись, я попросил ротмистров объяснить мне действия их удивительной части и их собственное участие в этих деяниях. Закончил я свою негодующую речь фразой:

− Простите, господа, но ведь вы не можете не понимать, что такие действия, как ваши, губят всё дело Добровольческой армии.

− Добровольческой армии? − любезно переспросил Фермор. − Но мы, дорогой ротмистр, откровенно говоря между своими людьми, просто плюём на Добровольческую армию.

− То есть как это плюёте?

− А так, − всё тем же ровным и корректным тоном продолжал развивать передо мною свои мысли Фермор, при несомненном сочувствии своего коллеги.

− Мы, как, вероятно, и вы сами как дворянин, и офицеры-монархисты как таковые, стараемся показать мужичью, каково им живется без царя, пусть хорошенько это

почувствуют, если не душой, то хоть поротой задницей. Наше дело поэтому карать их и карать, а миловать пусть их будет государь император!..

Что было возражать против этой оригинальной точки зрения, да ещё проводимой так последовательно и упорно?

С Фермором много лет спустя мне пришлось ещё раз встретиться в жизни. Было это уже не в России, а в далёком Египте в городе Порт-Саиде, куда мы оба попали проездом. Он ехал в отпуск в Европу из Абиссинии, где служил инструктором кавалерии у *раса* Тафари. Там он и умер незадолго до итало-абиссинской войны.

Под командой полковника Грязнова черноморцы пробыли в Геленджике ещё неделю с целью по возможности замести следы своей горной экспедиции. Заметание это заключалось в том, что некоторая часть горцев и казаков из Геленджика неизвестно куда скрылась. Бежали ли они на Кубань или просто перешли к «зелёным», осталось неизвестным. Полагаю, что последнее больше похоже на правду, так как в рядах Черноморского дивизиона имелось немало тайных большевистских агентов, определённо провоцировавших добровольческое командование и старавшихся всеми силами восстановить против добровольцев население. Уже после гибели белого дела выяснилось, что большевистские агенты-провокаторы сидели не только в добровольческих разведках и многих частях, но даже и самых высоких штабах, как, например, известный адъютант генерала Май-Маевского − Макаров, написавший о своей провокаторской работе при большевиках целую книгу.

По прибытии Черноморского дивизиона в Новороссийск мы узнали, что над ним было наряжено особое следствие по причине не только тех безобразий, которые он натворил в горах, но и тех, которые произошли за время его пребывания в гарнизоне Новороссийска. Следствие и последовавший за ним суд обнаружили совершенно кошмарные факты. Оказалось, что дивизион во главе со многими офицерами был попросту настоящей разбойничьей шайкой, занимавшейся систематическими грабежами. Главные виновники во главе с Малаховым успели скрыться. Когда эта тёплая компания узнала, что им не избежать расстрела, она покинула Новороссийск и под вымышленными именами отправилась на фронт. С ними отправилась и часть всадников, но в Екатеринодаре эта банда была задержана казаками по приказу из ставки и разоружена. Бросив своих подчинённых и приверженцев на произвол судьбы, Малахов с несколькими близкими друзьями, и в их числе Асафом, сбежали неизвестно куда.

Чем я больше раздумываю, вспоминая прошлое, тем мне всё более кажется вероятным, что Малахов был не есаулом Терского войска, а просто большевистским агентом. Это тем более правдоподобно, что в нём не было абсолютно ничего того, что отличает офицера, даже переодетого в штатское платье.

По уходе черноморцев «зелёная» стихия окончательно захватила Геленджик. Если до «карательной экспедиции» были в среде местного населения остатки кое-каких симпатий к добровольцам, то после неё об этом уже говорить не приходилось, мы были окружены сплошным вражеским морем и отрезаны от остального мира. Оставалось одно: защищать собственную жизнь и мстить за погибших товарищей, которых становилось с каждым днём всё больше.

На Филимонова, который в своё время принимал участие в ликвидации большевизма на Тонком Мысу, велась систематическая охота, и два раза в него уже стреляли из-за кустов, хотя и неудачно. Покушение на него в третий раз окончилось тем, что его родной брат, живший инвалидом Великой войны у своей тётки помещицы Фирсовой на Тонком Мысу, был тяжело ранен. Он был очень похож лицом и фигурой на Юрия и был принят «зелёными» за него, за что получил пулю из нагана в спину.

Хотя сам я уже перестал ездить на Тонкий Мыс ввиду той опасности, которой подвергался по дороге, но отец и мачеха продолжали жить у себя в «Евгениевке», заканчивая работу по сбору винограда и изготовлению вина. Жили они совершенно одни в доме, и я очень боялся, что «зелёные» отомстят отцу за меня. Весной 1919 года, по протекции тётки

Лазаревой, Кутепов предложил отцу важный административный пост, нечто вроде министра почт и телеграфов, но отец, не желая бросать хозяйство, от него отказался. Закончив в августе все работы и продав вино, папа переехал на жительство в Новороссийск, где получил место городского инженера при управлении главноначальствующего Черноморской областью, уже после отъезда Кутепова получившего в командование Белую армию. Отъезд стариков снял у меня камень с души и развязал руки.

Дело заключалось в том, что смерть бедного Андрюши Ольдерогге лежала у меня на совести, так как ни я, ни мои немцы её не могли простить убийцам. Было известно, что роль провокатора в этом деле сыграл один поселянин, хозяин хутора, на котором был убит Андрей. Народная молва во всех деталях осведомила нас о смерти Ольдерроге. Хуторянин, хорошо знавший покойного, был в связи с «зелёными», знал, что они ищут случая, чтобы Ольдерроге попал им в руки и потому, увидев проезжающего мимо юнкера, зазвал его к себе под каким-то предлогом. Пока Андрей Юрьевич сидел в хате, извещённые об этом «зелёные» окружили избу и в упор расстреляли беднягу. Лошадь убили уже потом, бросив оба трупа на шоссе, чтобы отвлечь подозрение от хутора.

На тайном совете мы решили, что в одну из тёмных ночей вахмистр с двумя людьми проберётся лесом к хутору и они выпустят в расход виновника смерти нашего товарища. Убийство будет отнесено на счёт «зелёных» и, быть может, испортит их отношения с местным мужичьём. Накануне предполагавшейся экспедиции в Геленджик по дороге в Сочи пришёл на ночёвку батальон Кубанского стрелкового полка. Командир батальона и его штаб заночевали у нас в нижнем этаже, служившем квартирою для проезжих офицеров.

Настала душная августовская ночь. Снарядив своих людей в экспедицию, в которую они, как по частному делу, отправились переодетыми в штатское, я приказал на посту известить меня немедленно, как только они возвратятся, в каком бы это часу ни было. Я вернулся к себе на квартиру, где застал гостей, доктора Гутовского с женой, которые пришли к нам на обычную партию преферанса. Сели играть в карты мы на веранде, выходящей на море, и так как хутор, нас интересующий, отстоял по прямому направлению не больше двух вёрст, я был уверен, что по морю до нас донесутся выстрелы.

Ночь выдалась на редкость тёмная и тихая, и только крики шакалов в горах изредка нарушали тишину. Не прошло и получаса после того, как я пришёл, когда вдали грохнул выстрел, другой и затрещала оживлённая перестрелка, в которой, судя по выстрелам, участвовало не меньше десятка винтовок. Это обстоятельство меня смутило и обеспокоило; выстрелы слышались как раз с той стороны, куда направились мои люди. Потрещав минут пять, стрельба разом оборвалась, и наступила тишина. Прошло минут с десять, как вдруг с моего кордона, находившегося саженях в трёхстах от дачи, хлестнул и загрохотал выстрел, за ним другие. Во мраке было ясно видно, как пять раз подряд блеснула огненная иголка из винтовки часового в небо. Это был заранее условленный на посту сигнал тревоги.

Проснувшиеся от выстрелов кубанцы застучали сапогами по деревянному балкону, и полковник крикнул мне снизу:

− Что случилось?.. Почему стрельба?

− Тревога, господин полковник… Это часовой пограничник её сейчас подал.

Внизу застучали бегущие ноги, замелькали огни и через несколько минут, судя по засветившимся во тьме огонькам папирос, у дачи стала строиться с глухим говором дежурная сотня.

По деревянной лестнице наверх забухали солдатские сапоги, и меня окликнул знакомый голос одного из пограничников-немцев.

− В чём дело, Герман Германович, что такое случилось?

− Беда, господин ротмистр, с нашими, что… пошли на хутор сегодня.

Оказалось, что при самом выходе из Геленджика вахмистр и его спутники нарвались на заставу «зелёных», расположившуюся рядом с шоссе. «Зелёные», даже не окликнув, сразу открыли стрельбу залпами по дороге. Немцы под дождём пуль бросились в

лес и врассыпную повернули назад. На кордон вернулся один вахмистр, который и приказал часовому подать тревогу.

К счастью, не прошло и часа, как один за другим вернулись оба пропавших, раньше, чем мы успели организовать экспедицию для их розыска; оба были невредимы. Так неудачно закончилась задуманная нами месть за юнкера Ольдерогге...

Через два дня после этого происшествия окончательно прекратилась всякая сухопутная связь Геленджика с Новороссийском и Михайловским перевалом. До этого дня перевозка почты и редкое пассажирское движение поддерживались два раза в неделю военными грузовиками под охраной взвода пластунов, вооружённых пулемётом. 30 августа 1919 года грузовик с казаками вёз почту с перевала в Геленджик. В одном месте дороги, где горы нависали над шоссе, автомобиль подвергся ураганному огню «зелёных», засевших в лесу и скалах. Пластуны, не успев выскочить из машины, были перебиты, и из всех, находившихся на грузовике, чудом остался в живых один шофёр, соскочивший при первых выстрелах прямо в лесную пропасть и добравшийся к вечеру в город. Почта была захвачена «зелёными», а автомобиль облит бензином и зажжён. Через два дня высланный на место происшествия броневик из Новороссийска привёз в Геленджик десять трупов и на буксире полусожжённый грузовик, залитый кровью и превращённый пулями в решето...

Через несколько дней после этой горной драмы началась «ликвидация» «зелёными» кордонов пограничной стражи. Первым подвергся нападению пост в Фальшивом Геленджике, причём нападение произошло настолько неожиданно, что начальник поста, капитан Г., в этот момент купавшийся в нескольких шагах от кордона вместе с маленьким сыном, был убит голым. Пограничники, оставшись без офицера и застигнутые врасплох, сдались почти без сопротивления и были «уведены в горы «зелёными», как тогда было принято выражаться в официальных донесениях, в действительности же просто присоединились, как местные уроженцы, к «зелёной армии», с которой и раньше поддерживали связь.

Второй жертвой из офицеров нашего отряда стал бедный мальчик − поручик Голиков. Он всего только несколько месяцев тому назад вернулся из плена, в который попал в начале войны после самсоновской катастрофы в Восточной Пруссии. Отпущенный на родину, как заболевший туберкулёзом, он немедленно опять поступил на военную службу и был назначен начальником поста в Кабардинку. Начальствовал он там не больше месяца, когда на его кордон, расположенный вдали от селения и окружённый со всех сторон лесом, ночью напали «зелёные». Голиков со своими солдатами до рассвета отбивал нападающих, но под утро пограничники были принуждены под огнём нескольких пулемётов покинуть изрешечённую пулями казарму и сдаться. Голикова в ожесточённом рукопашном бою зверски закололи штыками.

После гибели Кабардинки во всём отряде, кроме моего, остался единственный пост в селе Береговое, самый отдалённый от всех центров, но зато находившийся под командой опытного боевого офицера штаб-ротмистра Ростова, жившего там с молодой женой. К счастью, среди его солдат было несколько уроженцев Берегового, откуда было много «зелёных». Это до поры до времени служило известной протекцией всему кордону. Так долго продолжаться не могло, к концу лета 1919 года «зелёная армия» была уже организована и распропагандирована большевистскими эмиссарами и имела чисто военную организацию и разработанный план действия, как и объединяющее все группы командование в лице некоего Вороновича, бывшего полковника гвардейской кавалерии.

К счастью для Ростова, как раз в этот момент Пелёхин заболел и уехал в Новороссийск, а я вступил в командование отрядом. К этому времени уже не подлежало сомнению, что Черноморье, за исключением двух-трёх крупных центров, окончательно потеряно для Добровольческой армии, почему я немедленно телефонировал Ростову выехать в Геленджик морем со всеми находившимися в его распоряжении солдатами и имуществом. Эвакуация эта прошла совершенно благополучно, и на другой же день Ростов с женой и со всем своим отрядом на двух больших парусных фелюгах прибыл в Геленджик и занял дачу

рядом с нашей.

В начале сентября наступил конец и Тонкому Мысу. К этому времени он был уже покинут всем не сочувствующим большевизму населением и людьми, так или иначе имевшими отношение к Добровольческой армии. По беспечности властей там оставался только санаторий с больными и ранеными добровольцами под управлением доктора Алисова, человека полубольшевистских взглядов. В этом санатории лежал и контрразведчик Петров, о котором упоминалось выше, с обострившимся туберкулёзом. Однажды утром отряд «зелёных» напал на санаторий и вырезал в нём поголовно всех больных офицеров. Петрова шашками изрубили буквально на куски...

В середине августа в Геленджик с пароходом в сопровождении Кокарева явился для инспекторского осмотра командир отдела полковник Сукин. Характер у него был отвратительный и раньше, при создавшейся же кругом обстановке сделался совершенно невозможным. Никто и никогда от него не слышал доброго слова, разносы же и выговоры в приказах он раздавал более чем щедро, совершенно не считаясь с тем временем, которое мы переживали, и условиями службы. Для него как будто всё оставалось по-прежнему.

Я его по долгу службы встретил на пристани, и мы все вместе отправились на пост. В воротах Сукин столкнулся с моим вахмистром, который вышел из кордона и, увидев подходящее начальство, замер, как полагается. За то, что вахмистр вышел без пояса, Сукин накинулся на него с грубой матерщиной и на месте приказал его разжаловать в рядовые.

Осматривая помещения и службы поста, полковник явно желал к чему-нибудь придраться и, наконец, нашёл к этому случай, заметив мне, что умывальник для солдат стоит не на кухне, а на дворе. Каждым своим шагом Сукин старался показать, что для него ровно ничего не изменилось с мирного времени, и он продолжает взыскивать, как и прежде, с подчинённых за каждую мелочь. Это меня взорвало и я в вежливой, но решительной форме заявил ему, что как он, вероятно, знает, я принял кордон полуразрушенный и имевший в целости одни стены, и если теперь всё выглядит прилично, то благодаря исключительно мне и моим людям, не жалевшим своего труда. Что касается лично меня, то я для восстановления разрушенного погибшего казённого имущества не пожалел своих собственных средств; если же господин полковник всем этим недоволен, то я ему представлю для уплаты все фактуры, а сам покину эту службу, где начальство вместо благодарности за работу, теперь придя на всё готовое, строит гримасы. Сукина, привыкшего к раболепству, это очень раздосадовало. Производя затем строевое учение моим пограничникам, он изумился, что они обучены кавалерийскому, а не пехотному строю, что уже было явной придиркой, так как он знал прекрасно, что я был кавалерист, а не пехотинец.

Когда после инспекции я доложил ему о наших потерях и ожесточённой партизанской войне, которую нам приходится вести, Сукин демонстративно мой доклад игнорировал, дав понять, что всё это его мало интересует, за что судьба ему немедленно дала хороший урок.

К себе я ни его, ни Кокаева не пригласил, и требовательное начальство заночевало на пароходе, уходившем наутро в Новороссийск. Около полуночи «зелёные» устроили очередной налёт на Геленджик, была обычная перепалка, и пароход попал под серьёзный обстрел. Сукина и Кокаева, никогда не слыхавших звука пули, ночное происшествие сильно обеспокоило, и они поспешили покинуть наши беспокойные места.

После этой инспекторской ревизии я потерял всякую охоту дальше служить в пограничном отделе, подвергаясь ежечасной опасности погибнуть вместе с женой и ребёнком, и за свою службу и старания получать вместо благодарности выговоры какого-то ископаемого начальства. Съездив в Новороссийск, я попросил тётушкиной протекции о переводе на фронт в какой-нибудь хороший кавалерийский полк. Тётушка захлопотала и известила скоро меня, что дело налаживается в отношении лейб-гвардии Конного полка, где у неё имелись знакомства. Перевод этот не состоялся, так как из Геленджика мне удалось выбраться скорее, чем я думал.

Совершенно неожиданно ко мне из Новороссийска приехал отец и, точно отвечая

на мои мысли, сказал, что сидеть здесь мне бессмысленно и опасно. Армия подходит к Москве, и командование в настоящее время занято организацией гражданского управления на освобождённой от большевиков территории. В Ростове и в Новороссийске, где собралось много земских и общественных деятелей, есть группа курян во главе с губернским нашим предводителем князем Дондуковым-Изъединовым.

Куряне решили принять участие в организации власти на местах, и в частности, администрации. Как отца, так и меня они выдвинули на административные посты, и мне остаётся только дать своё согласие на перевод в управление внутренних дел, на что я имею право. Если это меня устраивает, то на днях к нам приедет только что назначенный тамбовским вице-губернатором наш курянин Шетохин, бывший член Государственной думы, который окончательно переговорит со мной о назначении к нему в губернию.

Шетохин приехал через несколько дней, прожил у нас двое суток, в течение которых рассказал много интересного. Оказалось, что целью той группы общественных деятелей, к которой он принадлежал, является наметить на более или менее влиятельные посты в будущей России честных людей правого направления, имевших крепкие связи с прошлым. Аргументация, выдвинутая Шетохиным и папой, как нельзя более отвечала моим взглядам и чаяниям, почему я немедленно и дал согласие на перемену службы, хотя мне как военному человеку и не особенно улыбалась штатская служба.

В Екатеринодаре, куда я приехал, взяв отпуск, жизнь била ключом. Переполненная штабами и управлениями когда-то тихая столица Кубани теперь была совершенно неузнаваема. Остановился я на квартире у тётушки Лазаревой, которая после смерти мужа служила при канцелярии Особого совещания, игравшего при Деникине роль совета министров. Она была не только в курсе моего перевода, но и принимала в нём самое горячее участие. Выслушав тётушкины наставления и инструкции, я отправился от неё в управление внутренних дел, которое, к изумлению моему, оказалось в каком-то временном, до лучших времён, и потому чисто сарайном помещении. Пожилые и высокие чины этого учреждения отнеслись с некоторым недоверием к моим молодым годам, но ознакомившись с послужным списком, успокоились, увидя, что я являюсь «старым администратором». В полутёмном коридорчике, заставленном ящиками, я представился своему будущему начальнику, вновь назначенному тамбовскому губернатору, который оказался не на много старше меня, хотя для солидности и носил длинную бороду. Это был тульский помещик Пётр Николаевич Лопухин, перед войной окончивший университет и успевший только несколько лет послужить членом Земской управы. Это, если не ошибаюсь, был его единственный служебный стаж. Впрочем, высокий рост, борода и генеральские нотки в голосе давали ему некоторое подобие настоящего губернатора.

Не выходя из управления, я получил назначение помощником начальника Козловского уезда, коего начальник был два дня тому назад назначенный некий Завалиевский, штабс-капитан запаса, бывший до революции где-то земским начальником. Остальные «чины» управления Тамбовской губернии были в том же роде, навербованные с бору по сосенке. Настоящих администраторов, из более или менее крупных, командование Добровольческой армии опасалось, избегая обвинения в реставрационных намерениях. Поэтому, кроме бывших земских начальников, не было почти никого из старых царских чиновников. Большинство губернаторов было назначено безо всякого административного и служебного стажа, благодаря или протекции, или принципу «на безрыбье и рак рыба», вроде нашего Лопухина. О более мелких чинах и говорить не приходилось, так, например, одним из начальников уезда «нашей губернии» был назначен некий Миша Савойский, в прошлом микроскопический акцизный чиновник при имении великого князя Михаила Александровича, знаменитом «Брасове». Он без всякого на то права немедленно надел университетский значок, а впоследствии в эмиграции объявил себя инженером и отставным губернатором.

Административное управление территорией, занятой войсками Юга России, как стала именоваться в 1919 году Добровольческая армия, в общем было следующее.

Начальником Управления внутренних дел при Особом совещании, т.е. министром внутренних дел, был сенатор Носович, известный в своё время прокурор по делу генерала Сухомлинова. У него в подчинении было несколько главноначальствующих областями, соответствующими прежним генерал-губернаторам; у этих последних в подчинении были губернаторы со своими губерниями, делившимися на уезды. Как области, так губернии и уезды были и по названиям, и по территориям те же, что и прежде, до революции. Во главе уездов стояли их начальники со своими помощниками, одним из которых стал теперь и я. По новому положению начальники уездов в своих уездах пользовались теми же правами, что и губернаторы в своих губерниях, т.е. полнотой власти над всеми частями управления. Полицейские обязанности несла так называемая «государственная стража», во главе которой в каждой губернии стоял штабс-офицер, подчинённый непосредственно губернатору. В уездах, в свою очередь, имелись уездные начальники стражи обер-офицеры, в строевом отношении подчинённые губернскому начальнику стражи, а в административном отношении непосредственно начальнику уезда.

Всё это, конечно, было очень стройно на бумаге и в теории, но далеко не на практике. Военные власти на местах и даже просто этапные коменданты очень мало считались со штатским начальством, распоряжаясь вполне самовластно в своих районах, уж не говоря о проходивших воинских частях, начальство которых считалось только с самим собой и собственной фантазией.

Какова была деятельность деникинской гражданской администрации, распространяться особенно не приходится, так как она слишком была кратковременна, а большинство «губернских управлений» так никогда своих губерний и не увидело, числясь только на бумаге до самой эвакуации за границу. К подобному проблематическому начальству принадлежал и весь состав управления Тамбовской губернии, к которому я имел честь принадлежать.

Дело было в том, что быстрое продвижение добровольческих частей на север весной 1919 года возбудило преувеличенные надежды командования, которое поторопилось с назначением администрации в такие губернии, которые или только начинали заниматься добровольцами, или вовсе не были заняты, как, например, Курскую, Тамбовскую, Орловскую и даже Тульскую. Из Тамбовщины Добровольческой армией был занят только один из южных уездов, да и то на несколько дней, так что выехать нам на «место службы» так и не пришлось. Ещё в более нелепом положении оказались другие губернские уездные управления, которые всю свою «службу» от момента назначения и до эвакуации за границу просидели в поездных составах, получая жалование «по должности».

Как причисленный ко второй категории раненых, я имел все права на службу в нестроевых частях, но, тем не менее, должен был от своего военного начальства получить приказ об отчислении и назначении в управление внутренних дел. Получив в Екатеринодаре соответствующие бумаги, я выехал с ними в Таганрог, где находилась тогда ставка генерала Деникина и штаб армии Юга России.

В Таганроге пришлось побывать впервые, хотя мимо я проезжал не раз. Маленький и на редкость глухой городок теперь был превращён в настоящий военный лагерь. Мутное и грязное море, стоявшее тихой лужей, здесь поражало своим сходством с помоями, тем более что в довершение иллюзии у берега плавали в изобилии арбузные корки и яичная скорлупа.

Управление дежурного генерала Экка помещалось в большом жёлтом доме остро казённого образца. Первым человеком, с которым я встретился, поднявшись по лестнице, оказался блестящий адъютант в яркой форме белорусского гусара. При ближайшем рассмотрении он оказался моим товарищем по смене и выпуску из Школы Смеляковым. Он ни на йоту не изменился за эти годы и по-прежнему выглядел весёлым и бравым юнкером. Как водится, мы расцеловались, поделились новостями о живых и погибших друзьях, после чего он немедленно уладил все мои дела. Не задерживаясь в неинтересном для меня Таганроге, я выехал в тот же вечер в Новороссийск.

На вокзале в Ростове я совершенно неожиданно натолкнулся на великолепную и

величественную фигуру огромного нижегородца, внушительно гремевшего саблей мирного образца по перрону. Это был младший Старосельский, бывший юнкер и вольноопределяющийся Лезгинского полка в Закаталах. В коротком разговоре в ожидании поезда он рассказал то, что знал о наших общих сослуживцах. Принц Каджар, как и надо было ожидать, остался в Азербайджане, Джоржадзе в Грузии, остальные тем или иным путём пробрались в Добровольческую армию, из них Червинов успел быть тяжело раненным в шею и теперь лежит в госпитале. Самого Старосельского несколько дней назад произвели в корнеты, чем и объяснялось его необыкновенное сегодняшнее великолепие.

Приехав в Новороссийск, я не без внутреннего удовольствия и злорадного удовлетворения вошёл утром в канцелярию полковника Сукина, зная, что его мой перевод сильно раздосадует. Как старый формалист и рутинёр, он донельзя был поражён тем, что мой перевод состоялся без всякого его участия и даже согласия, почему пробовал протестовать, ворча, что он меня не отпустит. Привезённая мною из ставки бумага была настолько ясна и категорична, что не оставляла места сомнениям и делала все его протесты совершенно бесполезными. Все остальные пограничные ископаемые во главе с Кокаевым также имели весьма кислый вид из-за подобного «нарушения правил». Был нескрываемо доволен один командир Новороссийского отряда Богуславский, который, будучи за заслуги, а не за «выслугу лет» назначен на занимаемую им должность личным приказом Кутепова, особенно подвергался из-за этого придиркам со стороны Сукина и его окружения. Между тем, не было ничего более справедливого, чем назначение Богуславского на эту должность. Он не только был боевой офицер во время Великой войны, но и участник двух Кубанских походов, заслуживший своей кровью, чтобы командование принадлежало ему подобным, а не каким-то старым тыловым крысам, просидевшим всю войну по тёплым дырам и теперь, когда дело было выиграно нашими руками, вылезших с претензиями на «старшинство».

В Геленджике, где мне предстояло ликвидировать свои личные и служебные дела, я нашёл много нового. Все мои сослуживцы и приятели по посту, узнав, что я покидаю службу, решили, пока не поздно, сматывать отсюда удочки. В одно прекрасное утро Филимонов, а за ним и все немцы, пренебрегая рутиной, сбежали на фронт, так что после их исчезновения в команде остались только солдаты из местных жителей, да пленные красноармейцы, присланные в пополнение. Публика эта была более чем ненадёжная, так что даже геленджикская слабосильная разведка заподозрила, что в пограничном отряде дела нечисты, и арестовала одного парня из геленджикских жителей, служившего моим вестовым при лошади. Его обвиняли в том, что в моё отсутствие он по ночам разъезжал на оставленном ему на попечение собственном моём коне, стрелял по проходящим в одиночку офицерам. Обвинение было основательно, так как подтверждалось многими свидетелями, и вестач был уже отправлен в распоряжение военного суда. Меня это не особенно удивило, ни для кого не было секретом, что в отряде находились большевистские шпионы, имевшие связь с «зелёными».

Простившись с женой и дочуркой и ликвидировав дела, я выехал в Новороссийск, где должен был продать лошадей. Это оказалось делом нелёгким: все покупатели желали приобрести упряжного коня, а мои кони были верховыми и в упряжке не шли, несмотря на все усилия. Выручил некий любопытный тип, носивший чин корнета, но служивший в городской управе в качестве начальника санитарного обоза. Этот представитель такого оригинального «рода оружия», несомненно, скрывался от фронта, занимая хотя и малопочтенную, но зато безопасную должность. Он очень любезно устроил мне через управу продажу коней в своих собственных интересах, проча моего иноходца под собственное седло. По его мнению, командующий говночистами должен был быть в конном строю.

На городском базаре в Новороссийске я встретил шатающихся без дела и распоясанных нескольких своих прежних солдат, бывших в Геленджике. Весной 1919 года по приказу Сукина был выделен из отдела особый отряд для борьбы с «зелёными». Когда я получил приказ командировать в него несколько человек из отряда, я, конечно, отправил туда самые ненадёжные элементы, в их число вошли и эти, встреченные мною теперь, люди.

По их рассказам, отряд, в который они попали, заночевал однажды в селении Архипо-Осиповка на кордоне и был окружён «зелёными». Пулемётным огнём «зелёных» была перебита половина людей, но ротмистр осетин Кубалов всё же отбился и дождался прихода выручки из Туапсе. Теперь, по словам солдат, они состоят в Новороссийском отряде, находятся в отпуске, что вряд ли соответствовало правде, судя по их общипанному виду и бегающим лживым глазам. Вернее всего, они уже давно «состояли» в «зелёных» и пришли на базар за продовольствием. Такие вещи в Новороссийске в это время были уже обычным явлением.

На вокзале в Новороссийске меня встретила телеграмма о том, что я должен прибыть уже не в Екатеринодар, а в Ростов, куда ввиду успехов армии было переведено Управление внутренних дел.

По приезде в Ростов я отправился в «Центральную» гостиницу, которая была занята тогда под управление Особого совещания, чтобы повидать тётку Лазареву и узнать у неё новости. В соответствии с улучшением и упрочнением дел Добровольческой армии, Особое совещание теперь почти совершенно напоминало собой настоящее министерство, что отражённым светом сказалось и на служащей в нём Наталье Николаевне. Она не только приняла свой прежний вид величественной светской дамы со связями, но и заметно важничала. В её тоне при разговоре стали проскальзывать нотки покровительства, даже в разговоре со мной, что было очень забавно, если принять во внимание, что всего несколько месяцев назад в Новороссийске она сама искала моего покровительства и защиты. Незадолго до переезда тёти из Екатеринодара у неё скончался от сыпного тифа муж, милейший и добрейший Николай Николаевич, которого она горячо любила. Эта потеря заметно не отразилась на железном характере тётушки; старая светская выправка не дала ей раскиснуть. С нею в «Центральной» же гостинице жил её сын Юра Фёдоров, незадолго до этого вернувшийся из своей опасной командировки в Москву. Командировка была связана с каким-то политическим поручением ставки, но тайной причиной этого страшного риска, которому подвергался во всём подчинявшийся матери Юрий, был её приказ выручить во что бы то ни стало запрятанные в Москве её бриллианты на большую сумму.

У тётки в это время мне впервые пришлось встретиться с кузиной Кисой Марковой, оставшейся после гибели добровольческого движения в СССР, и удравшей впоследствии из коммунистического рая посредством фиктивного брака с персидским подданным.

Управление внутренних дел я нашёл уже не на задворках, как в Екатеринодаре, а в красивом особняке, который мог сделать честь любому министерству. Несмотря на расширившиеся перспективы к лучшему, духа великодержавности и атмосферы крупного государственного учреждения, которыми отличались департаменты и министерства прежнего времени, здесь совершенно не чувствовалось.

Через несколько минут после моего прихода сюда, к подъезду Управления подкатил военный автомобиль, из которого вышел хорошо одетый господин в штатском с бородкой и портфелем, прихрамывая на одну ногу. Казак вестовой, дремавший на стуле у дверей, зевнул и лениво привстал.

− Кто это приехал? − спросил я у него.

− А здешний главный... Носович, што ли, − неохотно ответил опять развалившийся на стуле станичник. Он, как и я, чувствовал здесь атмосферу «невсамделишности».

Поднявшись по широкой мраморной лестнице и походив по коридорам и полупустым канцеляриям, я ещё больше осознал, что здесь то, да не то. В одной из больших комнат канцелярии сидел молодой человек-инвалид в шапочке и две дамы. Старшая из них что-то исправляла в лежащей перед ней на столе отпечатанной стопке бумаги. Невольно я увидел первые отчётливо напечатанные строки этой рукописи, по-видимому, воспоминаний. Начинались они фразой: «Утром 1-го марта 1917 года был арестован муж мой, министр юстиции Добровольский...». На мой вопрос об этой странной тройке, сидевшей без дела в пустой комнате, кто-то из проходивших сослуживцев ответил, что это вдова и дети расстрелянного министра...

Явившись Лопухину и Завалиевскому, я узнал, что, так как Тамбовская губерния пока не занята Добровольческой армией, то всё её управление командируется временно в Черниговскую губернию, вплоть до пополнения штатов этой последней.

Отъезд наш был назначен только через несколько дней, и я, не имея никаких занятий, все эти дни бродил по городу, в котором был неоднократно и который, как и все знакомые места, после революции совершенно изменился. Теперь здесь сосредоточилась вся культурная Россия, которой удалось вырваться из большевистских лап всеми правдами и неправдами. На каждом шагу встречались знакомые лица прошлого, начальники, товарищи, сослуживцы и знакомые.

На первых же шагах по Садовой улице я встретил «папашку» Семенцова, о котором не имел вестей с Новочеркасска. Лысый дед был всё тот же, что было неудивительно, так как он по-прежнему по своим немощам околачивался при штабах, а ныне состоял в отделе пропаганды при пресловутом «Осваге».

Семенцов встрече обрадовался и, узнав, что я пробуду несколько дней в Ростове, пригласил меня жить у него. Его квартира оказалась очень кокетливой гарсоньеркой, заставленной и заваленной всякой бабьей дрянью. На ковре с явным умыслом была «забыта», с целью создать «настроение», крохотная дамская туфелька, находившаяся, по моему мнению, здесь лишь с целью поднять в глазах приятелей ослабевшие акции «деда». О своей службе Семенцов рассказывал, как о приятном и необременительном времяпрепровождении в хорошей компании литераторов, художников и артистов. Служба к тому же прекрасно оплачивалась. От нечего делать я с дедом сходил в его любопытное учреждение и убедился, что старый мой приятель отнюдь не хвастал.

«Осваг», приобрётший впоследствии столь печальную репутацию, действительно служил убежищем для ничего не делавших людей, уклонявшихся от военной службы. Помимо настоящих людей пера и кисти, весьма немногочисленных, здесь были сотни молодых людей, околачивавшихся совершенно зря. Огромные средства, ассигнуемые командованием на дело пропаганды, выбрасывались на ветер, так как сотнями тысяч печатавшиеся плакаты и афиши отличались удивительной бесталанностью и никоим образом не могли служить целям пропаганды против большевиков. Брошюры, издаваемые «Освагом» для той же цели, были ещё хуже плакатов и не выдерживали самой дружеской критики ни с литературной, ни с идейной стороны.

Заведовал этим странным учреждением небезызвестный полковник Энгельгардт, бывший член Государственной думы и комендант Таврического дворца в первые дни революции. Его левое направление при этом ни для кого не было секретом. При Энгельгардте в качестве советников состояли «люди искусства», в большинстве типа совершенно бесполезного, вроде наших соседей и приятелей по Тонкому Мысу − скульптора К.К. Рауша фон Траубенберга и его энергичной супруги.

Между прочим, в «Осваге», центре осведомления армии, очень удивились, выслушав от меня изложение о положении дел в Черноморье, о котором здесь не имели ни малейшего понятия и даже не поверили в части, касающейся «зелёной армии», сочтя это за явное преувеличение. Старый наш приятель поэт-футурист Эльснер также находился здесь в числе служащих литераторов. Он поспешил познакомить меня с весёлым и нетрезвым бородачом купеческой складки, который оказался знаменитым художником Билибиным. Знакомство наше продолжалось пять лет, и окончилось весьма неприятно. Билибин, будучи в Египте, под влиянием жены – художницы Щекотихиной-Потоцкой впал в большевизм и, переехав не без моей помощи в Париж, окончательно сменил вехи, и ныне пребывает в лоне советских "освагов".

Эшелон, увозивший в Киев «чинов управления Тамбовской губернии» для начальствования над Черниговской, состоял из одного классного вагона и четырёх теплушек. В классном вагоне поместились «чины», а в теплушках имущество и солдаты, набранные в государственную стражу из бывших полицейских, стражников и жандармов. Путешествие затянулось на целую неделю, так как железнодорожное сообщение, расстроенное

гражданской войной, хромало на обе ноги и было далеко не безопасно из-за повстанческих банд и неисправности пути. Однажды, например, загорелись у нас буксы, и пламя охватило всю стенку вагона. Из-за товарных теплушек, следовавших непосредственно за паровозом, было невозможно дать знать машинисту, чтобы он остановил поезд, и под угрозой заживо сгореть мы принуждены были поднять стрельбу в окна, в надежде обратить внимание если не машиниста, то хоть стрелочников.

Где-то за Харьковом я услышал из купе Лопухина доносившийся знакомый голос. Открыв дверь, я не поверил своим глазам, увидев, что говоривший с губернатором был никто иной, как бывший тогда помощником инспектора классов в Воронежском корпусе подполковник Яхонтов. Он за прошедшие годы нисколько не изменился, только из подполковника превратился в генерал-лейтенанта. Где и когда он успел выйти в такие большие чины, спросить было неудобно.

По приезде в Киев эшелон наш остановился на запасных путях «временного» вокзала, а мы все отправились в город. Киев всего только две недели как был занят Добровольческой армией и ещё переживал радость своего освобождения. Большевики на этот раз успели в нём хорошо похозяйствовать, и теперь шла ликвидация советского наследства и подводились итоги. В день нашего прибытия на Липках разрыли братскую могилу при чрезвычайке, и запах трупного разложения отравлял несколько кварталов. День и ночь густая толпа жён и матерей погибших здесь людей стояла кругом в надежде опознать труп близкого человека. Надрывающие душу плач и рыдания стояли над толпой.

От встреченного на улице офицера кегсгольмца я узнал, что брат Жени полковник Эггерт, недавно вернувшийся из немецкого плена, ведает в Киеве базой полка и живёт в гостинице на Фундуклеевской. Я явился к нему, мы познакомились, и он мне предложил поселиться пока что у него в номере. Бедный полковник далеко ещё не оправился от плена и семейной драмы, которую он только что пережил, и был в весьма подавленном состоянии, почему я не стал надоедать ему своим присутствием и целые дни продолжал бродить по городу, возвращаясь в гостиницу только ночевать.

Губернатор Лопухин, а с ним и весь его штаб в лице исполнявшего обязанности вице-губернатора Михайлова и двух чиновников для поручений поселились в барской квартире на Институтском спуске. Там и открыли временное Управление Черниговской губернией, так как Чернигов был занят большевиками и в руки добровольцев так никогда и не попал. Из его 12-ти уездов только три были в наших руках. В ближайший к Киеву Остёрской уезд, начинавшийся за Днепром сразу за Цепным мостом, назначили меня с Завалиевским. В следующий за ним, Козельский, отправили Михайлова Второго, бывшего земского начальника, который по примеру Лопухина отпустил совершенно неприличную рыжую бороду, из которой выглядывал, как из багетной рамы.

Через несколько дней мы с Завалиевским получили распоряжение выехать в уезд и обосноваться временно в селении Броварах, первом от Киева заднепровском селе. В эти Бровары из Поварской слободы у Цепного моста вела не то конка, не то диковинка вдоль черниговского шоссе, тянувшегося через леса, в которых были когда-то лагеря Киевского гарнизона.

Не доезжая до Броваров, мы наткнулись на брошенный при отступлении большевиками у откоса шоссе броневой автомобиль, наклонившийся под самым опасным углом в сторону рва. Вдоль шоссе вообще здесь и там виднелись следы поспешного большевистского отступления в виде брошенных и поломанных двуколок, походных кухонь, дохлых лошадей, соломы, щепок и всякого хлама.

Бровары, как большинство украинских мест, чем-то напоминали собой уездный городишко российской чернозёмной полосы. В момент нашего появления в нём село было безлюдно и безгласно, так как население, привыкшее к частым сменам властей и наученное горьким опытом, предпочитало на первых порах о себе не напоминать без излишней надобности.

Расположились мы со всем штатом в двухэтажном белом доме у станции конки при

самом въезде в городок. Дом оказался еврейским, и хозяева, опасаясь погромов, охотно нас приняли, отдав под жильё оба этажа.

Состав уездного управления, приехавший в Бровары, состоял из следующих лиц: Завалиевского, меня, начальника уездной государственной стражи поручика П., его помощника поручика Мяча, чиновника для поручений, огромного роста молодого человека из маминых детей, и нескольких военных чиновников, заведующих разными отделами. В их числе был муж Жениной сестры, которого я представил и рекомендовал в Киеве Лопухину, − Крохалёв. Этот Крохалёв, родом сибирский казак, служил в царское время на китайской границе в консульстве, а после революции приехал в Киев, где при большевиках и Петлюре под видом сапожника заметал своё прошлое, так как во время оно являлся где-то председателем отделения «Союза русского народа». При добровольцах он принял «защитную окраску», т.е. изображал собой умеренного либерала, так как по самой своей натуре был опытный хамелеон.

По соглашению с поручиком П. – начальником стражи, который поселился от нас отдельно, мы должны были столоваться у него. Супруга П., родом хохлушка, была замечательная хозяйка и кормила нас действительно такими чудесами малороссийской кухни, каких я ни до того, ни после нигде не ел.

В Броварах, кроме нас, оказалось некое начальство в лице дряхлого, но энергичного полковника, воинского начальника и этапного коменданта, прапорщика, имевшего в своём распоряжении роту солдат. Ввиду своего малого чина этот последний вёл себя скромно; несмотря на штатскую службу, оба мы с Завалиевским имели военные чины старше его.

Деятельность наша административно-государственная в первое время протекала исключительно в налаживании связи через старшин с сёлами и деревнями района и канцелярской переписки по этому поводу. Писали мы, конечно, и приказы для местного населения, которые расклеивались на углах, никем не читались и смывались первым же дождём. Фронт проходил верстах в 50 от Броваров на север по Днепру и Десне около уездного города Остра, по которому большевистские посты с противоположного берега часто открывали ружейный и пулемётный огонь. Эта перестрелка носила несерьёзный характер, так как оба противника, разделённые рекой, не имели ни сил, ни намерения переправиться. Такое положение продолжалось три месяца, и к нему обе стороны скоро привыкли, и время от времени обменивались даже остротами во вкусе гражданской войны. Иногда с большевистского берега поднималась комиссарская фигура, которая, взмахнув руками, орала: «По белогвардейской сволочи… залпом, пли!» В ответ с нашего берега следовала команда: «По жидо-большевистской рвани... пли!» − и следовал залп.

В общем, фронт в окрестностях Киева был очень запутанный, благодаря тому, что кроме регулярных большевистских войск, в лесах по Днепру скрывалось много повстанческих и просто разбойничьих шаек, особенно в лесном треугольнике, образованном на север от Киева реками Десной и Днепром. Это был знаменитый с давних времён район непроходимых болот и лесов, известный своей охотой на диких коз и кабанов. На север от Остра верстах в 25 проходил фронт со стороны Чернигова, а в Заднепровье, где фронта не было, действовали партизанские отряды и отрезанные от своих части Красной армии.

На Киев, почти не имевший гарнизона во время нашего пребывания в Броварах, несколько раз было нападение со стороны большевиков. Днепром с севера обыкновенно подходили катера с партизанами и обстреливали город и железнодорожный мост.

Однажды, когда мы с Завалиевским были на охоте, мы услышали, как со стороны Днепра под городом загремела сильная артиллерийская и пулемётная стрельба. Оказалось, что это от Чернигова подошёл по реке большевистский главковерх матрос Ян Полуян, напавший на пригород. Мы в тревоге вернулись домой и до вечера просидели у телефона, по которому полицейский чин из Поварской слободки рассказывал о том, что происходило на Днепре.

Недели через три после этого происшествия нам пришёл приказ произвести мобилизацию пяти лет для призыва в Добровольческую армию. Завалиевский с половиной

управления выехал для этого в Остёр, а меня с остальными «чинами» оставил в Броварах. Уезд для удобства призывных был разделён на две части.

После соответствующего уведомления населения через сельских властей я открыл в помещении Управления в Броварах заседание воинского присутствия. Как помощник и заместитель начальника уезда, я по закону председательствовал в нём, несмотря на то, что воинский начальник был старше меня и по чину, и по годам. Кроме нас двоих, в присутствии участвовали членами: начальник мобилизационного отдела Управления и два врача. Старик-полковник был задет тем, что новое положение отвело ему второе место, и потому не без ядовитости называл меня «господин председательствующий».

Присутствие, длившееся около недели, открывалось обыкновенно утром и заканчивалось часов в десять вечера. К моему удивлению, процент уклонившихся от набора был очень невелик и полностью относился к прифронтовым деревням. Через несколько часов после начала присутствия мы начинали задыхаться от недостатка воздуха и разнообразных запахов, приносимых мужичками. Отдыхать было нельзя, так как крестьяне явились из дальних мест, побросав семьи и хозяйства, и ждать не могли. Несмотря на большое еврейское население уезда, ни один иудей на призыв не явился. Было всего единственное исключение в Остре, где на медицинский осмотр предстал еврейчик, не имевший ни одного зуба, и потому к призыву наверняка не годный. Вся остальная еврейская молодёжь или ушла с Красной армией, или попряталась. Это было очень характерное и очень красноречивое явление. На Украину добровольцы явились впервые, никаких погромов или преследований евреев ещё не было и потому ссылок на зверства и погромы белых быть не могло. В выборе между белыми и красными евреи сразу стали на сторону большевиков, и по сей день это не изменилось.

Старик-полковник с первых дней работы присутствия обратил внимание комиссии на этот факт, который его очень озлобил и разволновал. С течением времени он всё больше свирепел, и всякий раз недовольно ворчал на всякого члена комиссии, который, не выдержав духоты и вони, выходил на несколько минут подышать чистым воздухом. Сам он всю неделю просидел за столом, ни разу не выйдя, как проклятый. Многолетняя служба воинским начальником приучила его ко всяким запахам.

В дни мобилизации в Броварах был задержан известный петлюровский деятель профессор Одинец, куда-то нелегально пробиравшийся. Его посадили в кутузку под охрану государственной стражи, что не помешало «щирому» профессору удрать в первую же ночь.

Из Геленджика нежданно-негаданно явился ко мне с письмом от жены солдат пограничник, единственный оставшийся верным из всего состава поста Кабардинки. Он рассказал, что приехал служить со мной, потому что в Черноморье дела становятся всё хуже, и он опасается мести «зелёных». Я его взял в государственную стражу и назначил быть вестовым при Управлении.

Жизнь в Броварах между тем становилась всё скучнее. Начались осенние дожди, холода, и приходилось сидеть весь день дома, так как сослуживцы мои были народ серый, у нас не было ничего общего. Каждое утро ко мне являлся для бритья местный парикмахер, огромный грузный мужчина, молчаливый и точно настороженный. У него я с большим трудом вытягивал местные новости.

Дела на фронте между тем значительно ухудшились. Армия, несколько месяцев победоносно подступавшая к самой Москве, теперь терпела неудачу за неудачей, и фронт откатился назад. В тылу было ещё хуже, здесь не только был полный моральный развал, но и поголовное восстание против Добровольческой армии, которую все ждали, но которая ничего с собой никому не принесла и не оправдала ничьих надежд и ожиданий.

На Кавказе восстали горцы, на Черноморье и Кубани воевала «зелёная армия», в Новороссии пылало, возглавляемое Махно, крестьянское повстанье, на Украине действовали отряды разных «батек», которым сочувствовало и которых поддерживало местное население. Наставали тяжёлые времена, и не было уверенности в будущем…

Из Остра, закончив мобилизацию, приехали Завалиевский с Мячом и привезли

известие, что нам надо скоро ждать смены, так как уже назначены черниговский губернатор и его заместитель. 30 сентября 1919 года Завалиевский послал меня с очередным докладом в Киев к губернатору. Выехал утром и уже к полудню был в Киеве, но так как доклад я должен был сделать на другой день утром, то пошёл побродить по городу, оставив свои бумаги в гостинице у Александра Константиновича. Зашёл с визитом к дяде матери Александру Ильичу Рышкову, который служил в это время в Киеве по судейской части. Его дочь когда-то родные прочили мне в жёны, но это дело разошлось, так как мы друг к другу ничего, кроме родственных чувств, не питали. В разговоре Рышковы спросили меня, правда ли, как ходят по городу слухи, командование собирается сдать город большевикам, а дела на фронте очень плохи. Я возмутился и категорически опроверг подобный слух, зная, что фронт проходит очень далеко от города. «Смотри, Анатолий, правду ли ты нам говоришь, − усомнился дед, − а то ведь, ты сам понимаешь, можешь нас очень подвести, если мы своевременно не успеем выбраться».

Вечером того же дня я побывал на Подоле у Мани – сестры жены, которая проживала здесь нелегально у Крохалёвых. Как я уже упоминал выше, она была с юных лет в подполье, как левая эсерка, пережила каторгу и ссылку и со времён гетмана застряла в Киеве. Это была добрая и простая женщина, верившая в партийные программы и брошюрки слепо и без всякой критики. Ни большевикам, ни добровольцам она в это время не сочувствовала и сидела, как говорится, между двух стульев, в очень для неё опасном положении. В разговорах мы с ней держались позиции двух вражеских офицеров, встретившихся на нейтральной почве, и в политические споры не вступали, зная всю их бесполезность. На этот раз Мария Константиновна прямо сказала, что положение добровольцев в Киеве очень непрочное по её сведениям и намекнула, что в случае катастрофы она готова мне оказать приют и защиту. Я засмеялся и самоуверенно её поблагодарил.

Прежде чем идти спать в гостиницу, часов в 10 вечера я зашёл в гарнизонное собрание, где застал множество офицеров всех родов оружия, занятых обычными развлечениями или ужином. Пройдя в читальню, я застал в ней двух капитанов, внимательно рассматривающих карту. Просматривая газеты, я краем уха вдруг поймал их разговор, который привёл меня в смущение. Один из собеседников, по-видимому, только что прибывший с позиций, объяснял приятелю на карте «прорыв» под Святошином и то критическое положение, в которое попал Киев. Я вмешался в разговор и заметил им, что только сегодня видел карту фронта в штабе и что положение его совершенно прочно. На мои слова офицеры переглянулись, и один из них неопределённо пробормотал: «Да, вы думаете? Что ж... тем лучше».

Из собрания я пришёл к Александру Константиновичу с мыслью, что всё это пустые страхи и что везде и всегда есть паникёры. Эггерт подтвердил, что никаких тревожных сведений из полка, находящегося на позициях, он тоже не получал.

Утром 1-го октября в день праздника Покрова я проснулся рано от непрерывных звуков. Сначала показалось, что это стучит плохо прикрытая форточка, но потом у меня зародилось сомнение, не есть ли разбудившие меня звуки орудийные выстрелы? Шурин ещё спал.

− Александр Константинович! − окликнул я его.

− А-а…

− Послушайте, как будто артиллерийская стрельба слышна...

Он высунул голову из-под одеяла, вслушался и опять опустил взлохмаченную голову на подушку, проворчав:

− Какая там стрельба… это окно стукает…

Заражённый неясной тревогой, я не мог больше заснуть, оделся и вышел на подъезд. Пока шёл по пустым коридорам гостиницы и спускался по лестнице вниз, мне стало ясно, что по городу бухает самая настоящая артиллерийская стрельба, а открыв дверь на улицу, я услышал оружейный и пулемётный огонь. Как всегда в уличных боях, пулемёты

казались совсем близкими, точно стреляли где-то за углом.

Улицы были непривычно пустынны, и только кое-где, прижимаясь к стенам домов, пробегали отдельные фигуры с узелками и чемоданами в руках. Не подлежало никакому сомнению, что в город ворвались большевики, и бой идёт уже в самом Киеве. Разбудив безмятежно спавшего Эггерта, я бросился на Институтскую, где находилось моё начальство, однако не застал там уже никого. Все двери в подъезде и в квартире стояли нараспашку, порванные бумажки валялись на полу вместе с опрокинутыми стульями, и настежь распахнутые шкафы красноречиво свидетельствовали о том, что начальство моё спешно сбежало. Вверх по Институтской и вдоль Липок к мосту через Днепр неслись автомобили, коляски, извозчики, бежали запоздалые пешеходы. Со стороны Святошина гремели пушки и пулемётная стрельба, на которую в ответ откуда-то с Дарницы или ещё дальше, через правильные промежутки времени оглушительно грохотали, потрясая воздух, тяжёлые орудия.

Как назло, я несколько дней тому назад повредил больную ногу и теперь едва мог ходить, опираясь на палку. Не зная, куда деваться и что с собой делать, я шёл по улице без всякой цели, когда наткнулся на военный автомобиль, стоявший у дверей гостиницы. У стоявших у входа часовых я узнал, что здесь временно помещается командующий гвардейской дивизией генерал Штакельберг со своим штабом. Я вошёл в подъезд и, увидя в зале гостиницы группу штабных, окружавших знакомую усатую фигуру, обратился к ближайшему полковнику с просьбой взять меня с собой на фронт, так как я не имею куда обратиться с предложением своих услуг, как офицер. Обернувшийся на наш разговор Штакельберг меня узнал, поздоровался и, извинившись в том, что не может меня принять к себе, так как сейчас уезжает, посоветовал обратиться в комендантское управление, где сейчас нуждаются в способных носить оружие.

На моё счастье, едва я вышел из гостиницы, не зная, что с собой делать дальше, так как разыскивать комендантское управление в огромном городе во время уличного боя было более чем нелепо, как увидел поднимавшийся в гору грузовик, битком набитый офицерами. Я замахал им рукой и костылём, и когда машина остановилась, сел рядом с шофёром. Как оказалось, автомобиль этот был послан одним из районных комендантов по городу собирать офицеров для защиты Киева, потому что гарнизона в нём почти не оказалось. По дороге спутники объяснили, что оторвавшаяся и отрезанная от своих часть Красной армии неожиданно под Святошином прорвала фронт и ворвалась неожиданно в город, ничего подобного не ожидавший. Оказывается, местное начальство, подобно мне, строило все свои расчёты на том, что фронт далеко и бояться за Киев нет никаких оснований, из-за чего город попал в трагическое положение. Районное комендантское управление оказалось на Липках и было битком набито офицерами и солдатами всех чинов и родов оружия, в большинстве своём или ранеными, или выздоравливающими от ран. Я со своей хромой ногой оказался не только наиболее боеспособным, но и одним из старших в чине. Разобрав наваленные в кучу в углу винтовки и подсумки, мы выстроились в длинном и тёмном коридоре.

Вышел комендант, невзрачный полковник, и, обратившись к нам с короткой речью, пояснил, что Киев под угрозой с минуты на минуту быть занятым большевиками, гарнизона в нём нет, а потому наш долг сделать всё возможное для его защиты, пока с фронта не подойдёт спешно вызванное подкрепление.

Вызвали вперёд старших в чинах, и в том числе меня, и распределили начальствовать взводами. Я получил задачу со своим отрядом из двадцати офицеров и вольноопределяющихся занять угол Институтской и Крещатика и действовать «по усмотрению».

Расположившись за лимонадной будкой и раскорячив ножки пулемёта в направлении Крещатика, мы стали ожидать дальнейших событий. Как Крещатик, так и все прилегавшие к нему улицы в этот момент напоминали собой безлюдную пустыню. Все дома стояли мёртвыми с наглухо закрытыми дверьми и ставнями; единственным признаком жизни была стрельба, тарахтевшая совсем недалеко. Прошли томительные полчаса. Команда моя

глухо покашливала, нервно куря папиросу за папиросой. Начинал накрапывать дождик, и кругом потемнело.

Вдруг пулемётчик, лежавший за щитком немного впереди всех, завозился и, обернувшись к нам, почему-то шёпотом проговорил:

− Смотрите, господа... кажется, товарищи показались.

Действительно, в неверном свете дождливого осеннего дня в конце Крещатика показалась чёрная плотная толпа, над которой виднелись не то штыки, не то дреколья. Было только странно, что она подвигалась вперёд сплочённой массой и без единого выстрела.

− Стрелять, господин капитан? − спросил, повернув ко мне голову, пулемётчик.

− Подождите!.. Надо же выяснить, что это такое, почему они не стреляют, идут кучей и все в чёрном? Это на военную часть не похоже...

Вдруг, точно чтобы рассеять наше сомнение, над странной толпой поднялся и развернулся во всю свою ширину трёхцветный флаг. У меня сразу отлегло от сердца. Офицеры, уже рассыпавшиеся привычными движениями в цепь, стали подниматься, отряхиваясь.

Через минуту к нам подошли три человека, одетые в штатское, но с винтовками и патронташами, игравшие роль разведчиков, и объяснили, что они рабочие арсенала, идущие во главе со своим начальником, инженером Кирста на защиту Киева от большевиков. Стало сразу понятно, почему их толпа имела такой странный и необычайный для войска цвет. Все рабочие были одеты в штатское пальто чёрного цвета, чем очень напоминали недоброй памяти красную гвардию первых месяцев революции. «Кирстовцы», как они впоследствии назывались, остановились около нашей заставы, и я послал с Кирстой одного из своих людей к коменданту, в распоряжение которого, как оказывается, они и прибыли.

Через несколько минут с горы медленно сполз автомобиль, в котором сидел генерал со свитой. Поговорив с рабочими, он вышел из машины и подошёл к заставе.

− Какой вы части, ротмистр? − спросил он меня, глядя на погоны, которые я носил «по армейской кавалерии».

Я ответил. Генерал засмеялся и заметил:

− Так вы, в сущности, совершенно штатское начальство, несмотря на форму. Что же вы здесь делаете и почему не в своих Броварах?

Я объяснил, в чём дело, и он, продолжая улыбаться, приказал мне сдать заставу и любезно предложил довезти в своём автомобиле до Дарницы, куда ехал.

Мы проехали переполненную беженцами и обозами Поварскую слободку, мост и свернули направо по лесной дороге в Дарницу. Огромные составы классных и товарных вагонов далеко кругом обложили дарницкий вокзал на многие вёрсты. Целый город беженцев занял весь посёлок и прилегающие к нему рощи. У вокзала стоял мощный автомобиль, в котором сидела странная пара: важный лысый генерал без фуражки с запорожскими усами и белобородый толстый архиерей. Это были только что прибывшие из Киева главноначальствующий областью генерал Драгомиров и митрополит киевский Антоний.

У железнодорожного моста стояла батарея тяжёлых орудий, поминутно тяжким грохотом своих выстрелов сотрясавшая всё кругом. От города через реку доносился слитный гул боя и трескотня пулемётных и ружейных выстрелов. Ян Полуян, услышав бой под Киевом, опять выполз из лесов Десны и теперь обстреливал железнодорожный мост, не давая эвакуировать город. Время от времени из города под конвоем вооружённых офицеров проводили кучки штатских и одетых в солдатские шинели. Как говорили в толпе кругом, это были захваченные на месте преступления большевистские агенты, или, как теперь принято выражаться, «пятая колона».

Огромная толпа штатская и военная молча стояла вокруг вокзала и по полотну дороги, наблюдая, как рвались шрапнели и гранаты над Владимирской горкой. Сплошной поток подвод и пешеходов с узелками тянулся беспрерывно через Дарницу на черниговскою сторону.

Соединившись по телефону с Броварами, я сообщил Завалиевскому о том, что происходит в Киеве, и получил от него приказание: не заезжая в Бровары, где шла эвакуация, ехать в Борисполь, куда уже уехал Лопухин. По словам Завалиевского, у него в Броварах с утра сидел помощник главноначальствующего Киевской областью Тверской, в панике удравший из Киева одним из первых, что было совершенно простительно штатскому человеку.

Присев на одну из проходящих подвод, я сразу вошёл в общий поток беженцев, катившийся из Дарницы по дороге в Борисполь, уездный городок Полтавской губернии, находившийся верстах в 12 от Киева. При выезде из посёлка в небольшом леске я увидел очень характерную для тех лет картинку. В голых осенних кустах лежал скелет человека, сохранивший на себе рваные штаны. Над ним толстый ствол сосны был расщеплен и ободран осколком артиллерийского снаряда. Не оставляло никакого сомнения, что этот безвестный труп, а затем и скелет лежал здесь уже не один месяц, никого не интересуя, всего в сотне шагов от железной дороги и посёлка. Кто был этот убитый и бог весть, в какой забытой деревушке России его оплакивала осиротевшая семья...

В Борисполь с едва двигающимся потоком беженских обозов мы добрались только к вечеру. Городишко, имевший вид простой деревни, оказался переполненным, и только по счастливой случайности, заметив погоны кегсгольмцев, я нашёл у них пристанище. В обозе полка, стоявшем здесь, Александра Константиновича не было, но его ждали каждую минуту, так как было известно, что он хотел вывезти из Киева свою жену, хотя в это время уже разошёлся с нею. Молодая и красивая женщина, она за время нахождения шурина в плену, не надеясь больше на его возвращение, сошлась с другим…

Всю ночь я ворочался без сна в душной маленькой комнатушке, где меня приютил знакомый офицер-кегсгольмец. Со стороны Киева до утра доносился глухой гул орудий. Хозяин мой тоже не спал и несколько раз выходил проверять посты, так как имелись сведения, что банда повстанцев какого-то местного «батьки» предполагала воспользоваться случаем и напасть на лагерь беженцев-буржуев.

Наутро, подходя к станции, я встретился со своими сослуживцами, расположившимися на двух подводах под открытым небом. С ними был и старик воинский начальник, который на свой собственный страх и риск перед тем, как удрать из Броваров, приказал стражникам расстрелять всех арестованных большевиков, и в их числе задержанного накануне моего парикмахера, оказавшегося в прошлом видным коммунистом и председателем комитета бедноты.

Завалиевский мне рассказал, что Лопухин, удравший из Киева утром, теперь очень смущён, что поддался общей панике, и чтобы выйти перед подчиненными из не совсем ловкого положения, при встречах всех разносит в пух и прах.

Действительно, едва я встретился с губернатором на станции Дарница, куда мы выехали из Борисполя, как Лопухин принял совсем генеральский вид и налетел на меня петухом с грозным вопросом, как я смел оставить без разрешения «место службы». Слушать мне, боевому офицеру замечания от этого штатского господина не приходилось, почему я его сразу прервал вопросом:

− Простите, Пётр Николаевич, где и когда я оставил место службы без разрешения?

− Вы... вы, ротмистр, самовольно уехали из Киева...

− Простите, Пётр Николаевич, но это вы служите в Киеве, а не я. Приехал в Киев я позавчера для доклада вам, но когда вчера утром явился в ваше управление, то нашёл там только брошенные бумаги и... ни одного живого человека. Что касается того, почему я не в Броварах, а здесь, то это произошло по прямому приказу моего непосредственного начальника Завалиевского, который здесь присутствует и может подтвердить мои слова. Да и кроме того, я вижу здесь всё управление Черниговской губернии во главе с вами, а стало быть и моё место здесь.

Лопухин, выслушав всё это, покраснел, но не возразил ни одного слова. Дальнейшие объяснения были для него невыгодны, и он понимал, что я офицер, а не

бессловесный чиновник, и не стану слушать выговора только потому, что у начальства плохое настроение.

Винить Лопухина в бегстве из Киева, конечно, тоже не приходилось. Из города в общей панике бежало, куда глаза глядят, всё начальство, как военное, так и штатское, да этому последнему и не было никакого смысла оставаться в Киеве, наполовину уже занятом большевиками. Другие поступили ещё хуже. Тверской, например, удрал чуть ли не в Остёр, а вновь назначенный черниговский губернатор даже в Полтаву.

Орудийная и ружейная стрельба гремела вокруг Киева с неослабевающей силой, и вести, приходящие из города, были самые неутешительные. Только к вечеру, когда со стороны Чернигова подошёл известный своей храбростью и еврейскими погромами Волчанский отряд, перевес перешёл на нашу сторону. К вечеру из Борисполя и Дарницы тронулись и тихо поползли обратно к Киеву длинные составы. Из окон вагонов выглядывало много знакомых лиц...

Мы с трудом влезли в один из тихо идущих поездов и тоже двинулись в обратный путь. На подъезде к Дарнице, когда состав остановился у небольшой сосновой рощицы, послышался крик, загомонили громкие голоса, грохнул одиночный выстрел. Я соскочил с площадки, подошёл к группе офицеров, толпившихся у чего-то, лежащего на земле. На мокром истоптанном песке лежал труп молодого еврея, только что убитого, лужа крови, в которой плавала его голова, ещё пузырилась.

− Кто это такой? В чём дело? − спросил я.

− Жид… большевистский агент…− не оглядываясь, ответил мне кто-то из группы.

Рядом с трупом лежал большой кожаный портфель и студенческое пальто. Среди разных бумажек украинского и советского происхождения я нашёл студенческий билет Киевского университета на имя слушателя 3-го курса Моисея Спивака.

Когда, окончив осмотр документов, я оглянулся, чтобы спросить, кем и почему был застрелен Спивак, кругом уже никого не было. Очевидно, меня приняли за начальство и, не желая объяснений, поспешили удалиться.

Когда поезд тронулся, и мимо окон медленно поплыло помятое тело убитого, лежащее рядом с полотном, я высунулся из окна и ещё раз внимательно осмотрел труп. Щёки его уже затянула мёртвая синева, мокрые от дождя волосы слиплись на лбу. Кругом никого не было, и только низко в воздухе над мертвецом уже кружилось несколько ворон, они громко каркали в сыром воздухе и шумно хлопали крыльями…

В Дарнице мы пересели на двое саней, приведённых суетившимся приставом, и двинулись в Бровары. Пока рассаживались и грузили ящики с казённой поклажей, я подошёл к берегу Днепра и прошёл несколько десятков шагов в лес. За деревьями скрылись дорога и обозы, смолк шум колёс и говор толпы, кругом меня обступила тишина осенней природы и покой. Здесь такой далёкой и ненужной показалась мне вся человеческая жизнь, полная суматохи, грязи и крови…

Между Подолом, синевшим вдали, и заливными лугами черниговского берега была так спокойна и неподвижна тёмная броня Днепра, зелёный Труханов остров и лимонные языки отмелей. Из этого тихого уголка так не хотелось возвращаться к тяжёлой действительности. По черниговскому шоссе и по просёлкам, выходящим на него, сплошным потоком тянулись обратно в Киев обозы, двуколки, экипажи и артиллерийские упряжки. В народе говорили, что в городе сегодня начался еврейский погром, так как киевское еврейство, не рассчитав как следует, слишком поспешило выразить свой шумный восторг ворвавшимся в город большевистским войскам. Это не укрылось от глаз русского населения, и теперь оно при содействии волчанцев приступило к мести.

По запруженному сотнями подвод шоссе мы добрались до Броваров только к вечеру. Всю дорогу гудел уныло ветер в телеграфных столбах, разгуливая по безмолвным осенним полям.

В наше отсутствие проходившие через местечко войска учинили погром. Над местечком, несмотря на дождь, стояла густая белая туча пуха из распоротых перин, в

которых волчанцы искали денег и спрятанных евреями драгоценностей.

Выломанные двери на еврейском базаре лежали в живописном беспорядке поперёк улицы, и всё кругом было усыпано битым стеклом и засорено какими-то тряпками. К счастью, ни убитых, ни раненых евреев не оказалось, зато ограбили казачки местное иудейство на совесть.

Утром 5 октября я отправился со служебным поручением от Завалиевского в Киев и узнал, что только в этот день утром в город вернулся Драгомиров со всем остальным начальством, и таким образом, столица Украины целых два дня находилась в состоянии безвластья и уличной войны. Ничего хорошего от такого положения вещей ожидать было нельзя, и я приготовился ко всяким сюрпризам. Печальная действительность не заставила себя ждать. Не успела наша лошадка, мягко постукивая копытами по занозистому и пыльному настилу Цепного моста, дотащить нашу двуколку до половины моста, как мы уже наткнулись на очень характерную сцену. На отмели под мостом лежал у самой воды синий и худой мертвец. На совершенно голом его теле виднелись многочисленные раны. Группа горожан рабочего вида и баб равнодушно рассматривала труп, лениво обмениваясь впечатлениями.

− Что это за покойник? − задал я вопрос стоявшему рядом крестьянину с сивыми усами.

− Який там покойник?.. − криво усмехнулся он, − так, жидовское падло, а не покойник!..

Поднимаясь на Владимирскую горку, мы почти на каждом повороте видели такие же небольшие группы горожан-простолюдинов, стоявшие над такими же голыми и изуродованными трупами. Всё это были молодые евреи, убитые, по словам очевидцев, за то, что, встретив красных на Подоле, они водили их из квартиры в квартиру, указывая «контрреволюционеров» и не сочувствовавших большевикам.

Как впоследствии оказалось, отрезанная первым наступлением добровольцев от своих главных сил, красная бригада не успела переправиться на правый берег вместе с другими и долго бродила по Заднепровью. Извещённые своими агентами из Киева, что в городе почти не осталось войск, большевики 1-го октября ворвались в Киев. Наскоро сколоченные отряды из случайно находившихся здесь офицеров вместе с подошедшими на выручку волчанцами после двухдневного боя выбили красных и спасли Киев. Не подлежало никакому сомнению, что еврейское население города поголовно сочувствовало красным, как это было и по всей остальной России, и помогало им по мере сил и возможностей. Но всё же, по-моему, нельзя было верить всем тем рассказам, которые ходили по Киеву по поводу участия евреев в событиях первых октябрьских дней 1919 года... Утверждали, как достоверное, что не только навстречу большевикам Подол выслал целую роту евреев-коммунистов, вооружённых и обмундированных заранее, но и что с ними в распоряжение советского командования было передано несколько броневиков, будто бы спрятанных до того на еврейских дворах Подола.

В эти суматошные дни всё было возможно, и самое невероятное в другое время здесь случалось на каждом шагу. Судьба принимала самые неожиданные уклоны, и там, где жизнь человеческая потеряла всякую ценность, тысячи людей вольно и невольно гибли без смысла и толку. Характерным примером этого положения вещей может служить печальная судьба начальника тюрьмы Козельска, по соседству с нашими Броварами. Он по делам службы выехал на близлежащую станцию и… исчез. После долгой и сложной переписки с военным начальством этих мест нам удалось установить его судьбу. Пришедшая от какой-то военной части небольшая бумажка спокойным канцелярским языком нам сообщила, что «имярек» по ошибке расстрелян там-то. На этом всё и закончилось, времена были критические, и некому было и незачем производить суд и следствие.

В Броварах после киевских событий пробыть нам пришлось недолго. В середине ноября выпал снег, и зима стала неторопливо раскладывать свой белый ковёр над полями Украины. На севере уже играли мглистые вьюги, гудели ветры, близился холодный острый

декабрь. Кончался страшный год братоубийственной войны, смятения и крови...

В конце месяца мы получили приказ сдать дела прибывшим заместителям и готовиться к отъезду на юг. В зимние сумерки первых чисел декабря мы выехали навсегда из Броваров. Через замёрзшее поле на нескольких гружённых до верха подводах двинулись к глухой железнодорожной станции, задуваемые снежной метелью и порывами буйного ветра.

Все молчали, тоска надвинулась холодно и угрюмо. Лошади с трудом вытягивали ноги из сугробов. Уныло шумел голый лес у дороги. Вдали в деревне лаяли собаки. Затаённая горечь и бескрайняя обида сжимали сердце. Ночь наступала с жестоким холодом, дул острый ветер, нагибая к сугробам деревья станционного садика... Что-то загадочное залегло в спящих окрестностях, сквозь обрывки серых туч прорывался синеватый лунный блеск на снежных неприветливых полях.

В вагонах слабо дрожали огоньки. Внутри вагонов, закончив погрузку, одни играли в карты, другие пили чай и самогонку, третьи, сбившись у деревянных нар, в тысячный раз спорили о политике...

Брезжил холодный рассвет, когда поезд наш тронулся; в ближайших сёлах звонили к заутрене. Печально надрывая душу, по заснеженным голым полям разливался звон...

Последнее время в Броварах меня угнетало какое-то неясное чувство надвигавшейся опасности. Врождённое с детства это ощущение за годы войны и революции особенно обострилось и теперь действовало безошибочно, как, вероятно, и у многих других в эти страшные годы. Не обмануло это предчувствие меня и теперь. На другой день после того, как мы выехали из Броваров, железнодорожный путь между Киевом и Полтавой был перерезан повстанцами позади нашего поезда, и фронт надвинулся к самому Днепру. Через две недели после этого гарнизон Киева и разбросанные по всем углам Украины отряды спешно и неорганизованно принуждены были отступить на юг к Одессе, хотя фактически столкновений с Красной армией ещё не было…

За войну и революцию русские люди не только привыкли, но и прямо сжились с товарными вагонами, в которых всем нам пришлось провести столько бесконечно длинных дней и ещё больше тревожных ночей. Немудрено поэтому, что три теплушки, в которых расположилось наше уездное управление, показались нам как нельзя более удобными и уютными. В этих невзрачных, но крепких и поместительных красных ящиках провела свои последние дни Добровольческая армия, в них же она пережила и жуткие дни своего конца...

Красные и разбитые эти товарные вагоны, предназначенные для перевозки скота и грузов, а теперь попавшие на роль человеческих жилищ, заполняли тогда все бесчисленные пути России. На всех них, точно в насмешку, стояли таблички «срочный возврат», хотя все сроки для них уже давно миновали. Чего только не пережили эти многострадальные вагоны за годы войны и революции. Целыми составами, со всем их живым содержимым сбрасывали их под откосы, обращая в щепы и обломки, низали насквозь ружейным и пулемётным огнём, обращали в кладбища сыпнотифозных и рефрижераторы для перевозки мороженых трупов. Взлетали они в огненных взрывах под самое небо, и их остатки только ленивый не растаскивал на заборы и скотные дворы, и только бог весть каким чудом уцелевшие из них от огня войны и революции пришли, наконец, и стали на ржавые пути для ремонта...

Один за другим потянулись для нас дни и ночи бесконечного и трудного пути по разбитым революцией и войной дорогам, запруженным составами и войсками. Под Полтавой мы попали в положение совсем скверное, так как повстанцы пропускали лишь один поезд из пяти без того, чтобы путешественникам не приходилось выдержать с ними серьёзного боя. Особенно было опасно на подъёмах, где тяжёлый состав принуждён был замедлять ход и плестись черепашьим шагом. На этих подъёмах, особенно если путь шёл лесом, обстрел поезда был обеспечен. Невидимые в ночи повстанцы сидели в лесных окопах в полной безопасности и низали беззащитный поезд пулями, делавшими подчас из вагонов настоящее решето. На одном из перегонов в Харьковской губернии, если не ошибаюсь, около Изюма, мирно заснув, я проспал спокойно всю ночь и только утром обнаружил в стенке вагона над своей головой две светящиеся пулевые дырочки.

До Ростова пришлось ехать две недели, причём до последнего момента не было уверенности, что мы достигнем цели, так как наш состав передавали с дороги на дорогу и два раза возвращали на несколько станций назад. Жизнь проходила нудно и томительно на вагонных, наскоро сбитых из грязных досок нарах, кишевших насекомыми, в грязи и духоте. Топился вагон самодельной железной печкой, вонявшей углём и наполнявшей теплушку угаром, от которого постоянно болела голова. От тоски и безделья мы целые сутки проводили за жестокой карточной игрой, единственным занятием, способным заставить людей забыть сон, пищу, войну и революцию. Куча пёстрых и донельзя засаленных бумажек, составлявших весь наличный капитал чинов управления, несколько раз перешёл из рук в руки, пока, наконец, мы попали в Ростов, одичалые, грязные, вшивые и небритые. Тиф-сыпняк, неизменный спутник гражданской войны, под какими бы широтами она ни происходила, царил в эти дни повсюду. На станциях воинские поезда вместо солдат выгружали прямо на перроны сотни мороженых трупов, которые при выгрузке издавали совершенно металлический звук. От тифозных вшей, переполнявших вокзалы и вагоны, не было возможности спастись, и на них давно уже никто не обращал внимания.

Ростов к моменту нашего приезда имел вид города накануне катастрофы. Красные взяли уже Харьков, и тётушка Лазарева, неизменно отражавшая в своей особе настроения верхов, была в самом минорном настроении и открыто собиралась за границу.

В той же «Центральной» гостинице, где продолжала жить тётка, я встретил однажды в коридоре М.М. Маркову, которая на другой день уезжала за границу на английском военном корабле.

Печально раздумывая о нерадостном будущем, я в день приезда шёл по Садовой, когда неожиданно столкнулся нос к носу с… Асафом. Он был всё такой же красный, усатый и в новой с иголочки офицерской шинели мирного времени. Его сопровождали две телеги, невероятно гремевшие на всю улицу каким-то железом. Асаф, как всегда, бурно обрадовался и, целуя, вымочил меня всего слезами радости. Оказалось, что после бегства из Новороссийска он много пережил, ещё больше путешествовал и теперь с женой обосновался в Ростове в цыганской слободке возле скакового поля.

В интимной беседе со мной Асаф откровенно рассказал, что после своего исчезновения из Екатеринодара он вместе с женой пробрался на Урал, где служил в войсках генерала Дутова. Там его Милочка, пока он был на фронте, жила на вольных казачьих хлебах, и по этой ли, или по какой другой причине, оказалась в интересном положении, чем Асаф нескрываемо гордился. К тому счастливому моменту, когда это событие окончательно определилось, дела уральских казаков пошли, как говорится, раком, и Асаф, учуяв это, как человек опытный во всякого рода переделках, вместе со своей половиной опять подался поближе к морю. Став трижды дезертиром, Асаф после многих приключений добрался до Ростова, где окончательно обосновался вот уже два месяца. Теперь, по его словам, он здесь нашёл «верных людей» и занимается торговлей лошадьми и… другими делами, о которых он не нашёл нужным распространяться.

Побывал я у него и на квартире, где встретил распухшую до чудовищных размеров Милочку, ставшую по случаю своего положения злой и капризной, а также и многое другое. Это «другое» являлось целой цыганской колонией, сгруппировавшейся вокруг моего турка, который среди всех этих черномазых человеков играл роль шефа. Для меня не подлежало сомнению, что вся эта компания вела не совсем легальную жизнь. Хорошо, если они были только честными конокрадами и барышниками, но могло быть и хуже… Жила вся эта странная компания во главе с Асафом очень далеко за городом на пустынных окраинах. Ночью в этих местах ходить в те времена не рекомендовалось, так как прохожих грабили и убивали.

Это была наша последняя встреча с Асафом в России. Слышал я потом от людей, его знавших, что во время эвакуации Ростова его видели вместе с женой в общем потоке беженцев, хлынувшем на юг, но что сталось с этой оригинальной парой дальше, мне неизвестно. По словам очевидцев, Асаф с женой ехал в городских щегольских санках на

рысаке, которым сам управлял. Дальнейшие шаги моего друга с тех пор теряются. Впрочем, я не теряю надежды, что ещё встречусь с Асафом Ахметовым.

В Ростове мы с Крохалёвым получили отпуск и выехали в Геленджик, куда из Киева раньше к сестре уехала его жена. Я сильно тревожился за своих, так как давно не имел о них вестей, почта в эти времена, в сущности, не существовала, и получить письмо из Новороссийска в Киев было настоящим чудом.

В Геленджике мы застали настроение, именующееся паническим. «Зелёные» вплотную обложили город, отрезав Геленджик от всего остального мира. В дни норд-оста, когда пароходы местного сообщения не ходили, сообщение с Новороссийском прерывалось на целые недели.

От тоски и потерянной веры в белое дело застрелился в Геленджике комендант, назначенный на место опять ушедшего на фронт Шмидта. После захода солнца городок замирал и затаивался, живя на осадном положении с наглухо закрытыми дверьми и ставнями. Под завывания норд-оста в беспросветной тьме ночи жутко грохотали выстрелы патрулей.

Прожить нам с семьями здесь пришлось недолго. Из Ростова от Завалиевского была получена телеграмма, спешно вызывающая нас обоих назад. На фронте что-то случилось, что косвенно отразилось и на нашем управлении. Когда я на пристани прощался с женой и розовой малюткой дочкой, грозные облака клубами лежали на вершинах гор, предвещая бурю. Сердце тоскливо сжималось за близких, и я долго стоял на корме парохода, пока Геленджик не скрылся в синеватой дымке тумана…

На пароходе оказался едущий в Новороссийск адъютант коменданта поручик Крамер. Он происходил из известной семьи и был дачевладельцем в Фальшивом Геленджике. «Зелёные» принудили его, как и всех других, бросить на произвол судьбы дом и хозяйство, и теперь он, переселившись с семьёй в город, дал против «зелёной армии» ожесточённую кампанию. Крамер ехал по поручению коменданта Геленджика к главноначальствующему Черноморьем с просьбой послать к ним хотя бы небольшой гарнизон на смену, так как стоявший в Геленджике отряд совершенно обессилел за последнее время от постоянных тревог и беспрерывных нарядов. «Еду в последний раз, − сказал он мне с горечью, − не помогут в Новороссийске – придётся погибнуть. Что ж, не мы первые, не мы последние».

В Ростове мы с Крохалёвым узнали, что Тамбовское губернское управление расквартировано в Аксайской станице, куда мы и должны отправляться. На фронте дела были хуже, чем можно было предполагать: Харьков был сдан, и красные находились уже недалеко от Ростова. Ни для кого не было сомненья, что если на днях не наступит перелома на фронте, участь Добровольческой армии будет предрешена…

Перед посадкой на поезд на ростовском вокзале я стал невольным свидетелем важного совещания руководителей Добровольческой армии. К пустынному до этого перрону, охраняемому жандармами и выстроенным для встречи почётным караулом от корниловского полка, подкатил блестящий свежим лаком поезд из нескольких вагонов первого класса. Заиграла музыка, послышалась короткая команда и из поезда вышла кучка генералов, встреченная приехавшими из города генералами Шкуро, Сидориным, Романовским. Все они, поздоровавшись друг с другом, вошли в вагон-салон на совещание.

Приглядевшись к высокому красивому атаману с аксельбантами, одиноко шагавшему вдоль вагонов, я узнал в нём своего однокорытника по корпусу Мельникова Первого. Блестящий есаул также меня узнал и посвятил тут же во все служебные тайны. Поезд, по его словам, принадлежал атаману войска Донского Богаевскому, у которого сам Мельников состоял личным адъютантом. Богаевский экстренно приехал в Ростов для совещания с руководителями Добровольческой армии и для выработки общих мер, дабы остановить волны красного наступления.

Генерал Врангель, только что сменивший окончательно спившегося Май-Маевского на посту командующего Добровольческой армии, требовал принятия

решительных мер против развала тыла и армии. Вопрос теперь шёл о том, чтобы под станцией Дебальцево дать большевикам решительный бой, долженствующий решить судьбу фронта.

Приехав в Аксай, я убедился собственными глазами, что новости, сообщённые мне Мельниковым, похожи действительно на правду. Через станицу на север день и ночь тянулись войска всех родов оружия, были даже какие-то части, сидевшие на верблюдах.

Через несколько дней томительного и совершенно бесполезного пребывания в Аксае были получены нами сведения, что ввиду новых неудач на фронте начальством решено очистить Ростов и его окрестности от гражданских учреждений, которые должны были эвакуироваться на юг. Мне и сотнику Мячу было поручено по этому поводу отправиться квартирьерами в Ейский отдел Кубанской области, где в станицах Ново- и Старомишской мы должны были найти помещения для Тамбовского губернского управления.

Утром 20 декабря мы выехали из Ростова на юг, где на одной из станций, не доезжая Екатеринодара, должны были пересесть на узкоколейку. По инструкции в станице Старомишской я должен был явиться в распоряжение орловского губернатора, который будто бы уже в этой станице расположился со всем управлением, и ждать приезда своих сослуживцев.

Пересев в вагон узкоколейной дороги, мы двинулись к Ейску. Здесь я никогда не бывал и с интересом осматривался кругом. Дорога шла голой степью, на которой на многие десятки вёрст не было видно ни одного дерева. Публика в вагонах была исключительно казачья, и все разговоры вращались вокруг войны. Однако в казачьих разговорах слышались теперь новые нотки, и станичники не скрывали своего недовольства командованием Добровольческой армии, которое будто бы «защищает панов и не хочет дать земли крестьянам». Я не выдержал этих, уже набивших за революцию оскомины, разговоров и, вмешавшись, спросил, как они собираются поступить с казачьими землями? Оказывается, кубанцы, хотя и стоят за то, что помещичью землю надо поделить между крестьянами, но отнюдь не собираются сделать того же самого с богатейшими казачьими степями. Никаких резонов в защиту своего мнения они не приводят, но все единогласно готовы казачью землю защищать от «России» с оружием в руках.

В Старомишской орловского безработного губернатора мы, конечно, не нашли, и никто здесь о нём даже не слыхал. В станице этой мы прожили с Мячом наиутомительные две недели моей жизни, но на отведённые нами квартиры так никто и не приехал. Квартиры, которые мы осматривали при содействии и по указаниям станичного атамана, все без исключения оказались в домах неказачьего населения станицы, так называемых «иногородних», переселившихся из России на Кубань крестьян, хотя и живших здесь десятки лет, но не пользовавшихся, несмотря на это, гражданскими правами, как казаки. Не без основания считая «иногородних» сочувствующими большевикам, местные власти облагали их всеми трудовыми повинностями взамен казаков.

Однажды поздно ночью с железнодорожной станции, с которой я держал связь, мне дали знать, что там ожидают прихода поезда какого-то губернатора, но неизвестно какого по имени. Я бросился на вокзал в надежде, что, наконец, едут наши сослуживцы, но, войдя в вагон, с первых же шагов натолкнулся на папу и Марию Васильевну. Оказывается, это был эшелон Орловского губернского управления во главе с губернатором Д.Д. Свербеевым, который эвакуировался из агонизировавшего Ростова.

Папа после моего отъезда получил назначение начальником одного из уездов Орловской губернии, и теперь вместе с Марией Васильевной странствовал, как и мы, вдали от своей губернии. Старики рассказали мне много новостей, и в том числе то, что они на севере Харьковской губернии встретили брата Колю с женой, отступавших из Курска в общем потоке беженцев. Николай по дороге поступил в тяжёлую дроздовскую батарею, где состоял фейерверкером. Со слезами на глазах Мария Васильевна рассказала, что у брата, женившегося на крестьянской девушке из Шепотьевки, недавно на одной из ночёвок в

нетопленой избе замёрз грудной ребенок. От горя и лишений у Коли, которому едва исполнилось 25 лет, выросла длинная полуседая борода. Бедняга пробирается на юг, где надеется разыскать меня. К сожалению, приехав в Новороссийск, брат меня не разыскал в творившейся там сутолоке и, не желая ехать за границу один, решил остаться в России. Добравшись до родного Покровского, Коля заболел подхваченным по дороге тифом и умер от отсутствия ухода. Об этом уже за границу написала нам с папой сестра Соня из Москвы. Она узнала о смерти брата от нашей кормилицы Дуняши, которая после смерти брата в марте 1920 года приехала к сестре. Старуха осталась совсем одинокой, так как её родной сын Яшка пропал без вести в Красной армии.

Вдова Николая, простая баба, целовавшая при встрече Марии Васильевне руку и называвшая её «матушкой-барыней», скоро вышла замуж во второй раз за шепотьевского крестьянина Николку Шаланкова, брата моего кума Алексея. Старуха Дуняша не захотела жить в Москве у сестры и вернулась скоро на родные могилы в Покровское, где, как были о ней последние вести, нянчит детей Николки…

Поговорить с отцом и мачехой мне пришлось всего минут десять, так как их поезд уходил дальше. Фронт у Дебальцева был прорван, и конница Будённого подходила к Таганрогу.

Просидев после отъезда отца в станице ещё два дня, мы, посоветовавшись с Мячом, решили плюнуть на всё и ехать через Крымскую в Новороссийск, пока путь был свободен.

На Крымской творилось что-то совершенно невозможное. Бесчисленные эшелоны шли без перерыва на юг по линии железной дороги, а рядом с полотном её, уже без всяких дорог, по бескрайним снежным полям дни и ночи двигались санные обозы, автомобили, пешие и конные толпы народа, удручённые, одетые в шинели и штатское пальто, с мешками на плечах, с винтовками и шашками. За ними, неизвестно куда и почему, тянулись, гремя по замёрзшим колеям, орудия, обозы с пулемётами, разведочные команды, стражники и походные лазареты. Измученные и обозлённые переходами и тифом люди часто падали в снег и замерзали. Никто ими не интересовался и не заботился об их судьбе…

Армия, совершенно очевидно, потеряла веру в победу, и теперь стихийно двигалась сама, не зная куда, лишь бы подальше от неумолимо надвигавшегося врага… Особенно много было среди отступавших казаков кубанцев, мрачных и бородатых, с туго набитыми вьюками, которые сотнями пробирались домой, бросив фронт и свои части. «Кубанская Рада», начавшая открытую кампанию против добровольческого командования и вошедшая в негласную связь с большевиками, сделала всё возможное, чтобы разложить фронт. По деревням и станицам отступавшие пили самогонку, окончательно губящую и без того обречённую армию…

Глухая и безотчётная тревога давила и гнала всё дальше и дальше от севера все эти многомиллионные массы, потерявшие веру в самих себя и в дело, за которое они столько месяцев лили свою кровь. Среди этой массы скученных в вагонах и станицах людей свирепствовал, как бич Божий, сыпняк. Господь карал этим последним проклятьем залитую кровью, истерзанную в звериных схватках Россию 1919 года, карал по заслугам русских людей за нечеловеческую жестокость, забывших совесть и Бога, за их совершенное презрение ко всем Божьим и человеческим законам, за то, что люди перестали быть людьми по обеим сторонам фронта, безразлично, как красные, так и белые. К началу 1920 года фронты настолько морально разложились, настолько потеряли человеческое лицо, что все стали одинаково отвратительными. Шкуро и Слащёв стоили Махно, а Махно в свих действиях ничем не отличался от любого комиссара или чекиста. Тиф ещё более уравнял это звериное царство, не щадя никого, ни генерала, ни банкира, ни барынь в обезьяньих мехах, ни оторванную от домов и земли народную массу, завербованную насильно в Белую или Красную армию. Нигде и никогда эта проклятая болезнь не получала такого развития, как на страдном пути отступления к Новороссийску Добровольческой армии и в последние дни агонии этого многострадального города.

Мёртвых и умирающих было столько, что трупы некогда было убирать, и в

составах вагонов, на вокзалах, и в заброшенных госпиталях на окраинах бросаемых один за другим городов неделями лежали мертвецы в уборных, под лестницами, на нарах, чердаках и вагонных крышах…

Валяясь сутками на вшивых полках теплушек, я был уверен, что рано или поздно, как и все, должен заболеть тифом, и что это только вопрос времени, а потому всеми силами стремился скорее доехать до Геленджика, чтобы, заболев, не попасть где-нибудь больным в руки красных. Видимо, уже заразившись, я сосредоточением воли на этой мысли превозмог болезнь до самого приезда домой.

В Новороссийске, куда наш поезд дополз после обстрела его на станции Тоннельная, мы узнали, что всё наше управление живёт в вагонах Каботажной пристани. Чувствуя сильную головную боль, я на другое утро выехал домой в Геленджик вместе с одним из сослуживцев Писаревым, старым моим корпусным товарищем. Было решено, что если положение в Геленджике не особо угрожающее, то мы с ним должны были там подыскать квартиры для всего управления.

Встреча векового 1920 года останется для нас с женой памятной на всю жизнь. Втроём мы встречали этот год в маленьком домике, окружённом лесом, на окраине города. Здесь сняла квартиру моя Женя в наше отсутствие и жила в ней с ребёнком и молодой нянькой, петербургской мещанкой, видевшей лучшие времена. Часам к 11 вечера, когда уже был готов стол для встречи Нового года, начался дождь, а затем разразилась гроза, перешедшая в целую бурю. Ровно в полночь, когда мы подняли стаканы с вином, чтобы поздравить друг друга, страшный удар грома, точно залп из орудий, раздался над нашими головами, встряхнув весь дом. Жена взволнованно опустила свой стакан и заметила, что, вероятно, в этом году нас ждёт что-то ужасное, напоминающее эту бурю. Подавленные, мы разошлись после этого спать со смутной тревогой перед неизвестным будущим.

Утром я не мог встать с постели. Вызванный женой наш приятель доктор Негребицкий, не задумываясь, констатировал сыпной тиф. В тот же день по городу поползли слухи о неминуемом нападении «зелёных» на Геленджик. Писарев, испуганный моей болезнью и терроризированный этими слухами, несмотря на просьбы мои и жены, позорно сбежал в Новороссийск 3-го января.

В день его отъезда я окончательно потерял сознание, во время болезни оно возвращалось ко мне промежутками. Нервное напряжение, в котором мы все находились годы подряд, сказалось на характере болезни, и она протекала с буйным бредом. Бедная Женя моя совсем измучилась и потеряла голову в этой обстановке, но с редким мужеством и энергией взялась за лечение. В бреду я беспрерывно мучился сознанием того, что должен защищать семью от «зелёных», причём ждал этого нападения обязательно ночью, поэтому каждый раз сходил с ума с наступлением сумерек. Наступавшая за окнами темнота давила и угнетала меня, и я в жару изыскивал тысячи способов для того, чтобы остановить приближение ночи.

Пользуясь отсутствием в комнате жены или её сестры, я сто раз в день вскакивал голым, чтобы бежать в соседнюю комнату, где висело моё оружие, для защиты от воображаемого нападения. Однажды дамы не уследили, и мне удалось схватить со стены заряженный пистолет маузера, но, к счастью, я свалился без сознания раньше, чем успел открыть его затвор. Никого почти не узнавая, я бил кулаками всех и всё, и, выбившись из сил, Женя попросила коменданта прислать для ухода за мной санитара после того, как хотя и связанный, я сломал кровать.

Толстое благодушное лицо этого санитара я помню до сих пор. Он терпеливо и ласково убеждал меня, что никакого нападения нет, и мне беспокоиться нечего. Я ему, как и всем окружающим, в этом вопросе не доверял, считал, что все они продались «зелёным» и меня нарочно обманывают. Больше всего, помнится, угнетала меня та мысль, что даже моя Женя, моя жена, верный друг и товарищ, и та хитрит и скрывает правду. Бедной женщине эта дикая мысль больного мозга стоила большого синяка на лице, за который мне стыдно до сих пор…

К сожалению, всё то, что мне мерещилось в тифозном бреду, скоро исполнилось и наяву. 9-го января 1920 года на рассвете «зелёная армия» напала с трёх сторон на Геленджик и после короткого боя овладела городом. Все офицеры, из которых большинство было захвачено врасплох, были зверски перебиты, и только несколько человек во главе с комендантом заперлось в гостинице. Целый день шестьсот человек «зелёных», имевших в своём распоряжении около десятка пулемётов, обстреливали гостиницу. К ночи, пользуясь тем, что большинство осаждавших разошлось для грабежа по городу, офицеры незаметно пробрались через тайный проход к пристани, где стоял небольшой моторный катер. Захваченный врасплох, караул «зелёных» сдался без сопротивления, и полковник с пятью офицерами под выстрелами опомнившихся разбойников умчался в Новороссийск.

Как впоследствии оказалось, гарнизон Геленджика, среди которого большинство составляли пленные красноармейцы, заранее сговорился с «зелёными» и сопротивление оказал больше для вида, предав всех своих офицеров. Все они были уведены «зелёными» в горы и там, конечно, погибли. В числе уведённых оказался мой нелепый начальник ротмистр Пелёхин, сдавшийся без малейшего сопротивления, и поручик Крамер, которого захватили спящим. Пелёхина убили по дороге, а Крамера привезли в Фальшивый Геленджик, где на дворе его собственного имения сожгли живым. Ротмистр Ростов, которому, уезжая из Геленджика, я сдал отряд, чудом спасся на большом чердаке своего дома, где просидел двое суток.

К нам в дом «зелёные» явились со списком в руках, в котором одним из первых стояло моё имя. Спасло меня то обстоятельство, что «зелёные» не знали о моём возвращении домой и то, что болезнь изменила моё лицо до неузнаваемости. Предводитель шайки долго расспрашивал Женю, кто я такой, и, узнав от неё, что я отставной военный чиновник Марочкин, не очень этому поверил, и хотел для верности всё-таки застрелить. Жена загородила собой мою кровать и заявила «зелёным», что если убьют меня, то пусть убивают и её. Из-за её решительности и, вероятно, из-за того, что на Руси лежачих не бьют, я остался жив. Не подлежит ни малейшему сомнению, что будь я здоров в момент нападения «зелёных» на Геленджик, меня постигла бы судьба Крамера, если не хуже, так как, конечно, я бы без боя им не сдался, погибла бы при этом и жена с ребёнком.

Три дня «зелёная армия» владела городом, и много раз подряд в эти жуткие дни под обстрелом моя храбрая маленькая Женя, презирая все опасности, бегала по городу, раздобывая нам питание и лекарства. В эти дни она показала, на что способна великая душа русской женщины, и на какую высоту она во имя любви может подняться…

За время пребывания «зелёных» в Геленджике проблески сознания были у меня несколько раз, но только раз я осознал жуткую правду, увидев перед собой фигуру какого-то оборванца, перепоясанного по всем направлениям пулемётными лентами и допрашивающего моего санитара, вертя перед его лицом револьвером. Несколько раз в полусознании я слышал голос жены, спорившей с «зелёными». Это, как впоследствии я узнал, она отстаивала мою жизнь, так как «зелёные» не очень верили в то, что её муж больной чиновник, и несколько раз пытались со мной покончить. Одна из посетивших нас шаек, зайдя в гостиную в поисках ценных вещей, наткнулась неожиданно для них на мою коллекцию оружия, занимавшую целую стену. За время войны и революции я, как любитель оружия, собрал до тридцати экземпляров карабинов, револьверов, шашек и кинжалов. Всё это дорогое для меня воспоминание «зелёные» похватали с жадностью, и в том числе мою ценную шашку в серебряной оправе, со старо-венгерским клинком большой стоимости. Жене не удалось вовремя припрятать её, хотя два револьвера она всё-таки скрыла в помойном ведре. Захватив оружие, «зелёные» с добычей поспешили покинуть дом, не поинтересовавшись даже хозяином.

Только в последний день власти «зелёных» в Геленджике я окончательно пришёл в себя. Часов в 9 утра в комнату на цыпочках вошла Женя и шёпотом радостно сообщила, что на море показался большой корабль, идущий из Новороссийска. Чуть живой от страха, мой санитар весь просиял от этой вести. Жена, нянька Катя и старуха-хозяйка замерли с этого

момента у окон, наблюдая развертывавшиеся события, принявшие стремительный характер. Из своей кровати я слышал их голоса, принимавшие в соответствии с происходящим снаружи всё более радостный оттенок.

Неожиданно грохнул, потрясая окрестности, орудийный выстрел с моря, сопровождаемый радостным визгом Кати, за ним другой и третий… При первых же выстрелах корабля, который оказался вспомогательным крейсером «Буг», пришедшим нам на выручку, «зелёные», бросив город, в панике кинулись бежать в горы. Через час после первого выстрела в Геленджике не осталось ни одного «зелёного» воина. Не встречая никакого сопротивления с берега, «Буг» высадил десант из 300 человек под командованием полковника Мышлаевского, начальника высланной из Новороссийска экспедиции. Штаб его немедленно занял гостиницу Лазаря Пасхалидиса, расположенную у пристани, и одновременно центральную часть города, огородив этот район рогатками с колючей проволокой.

Так как наш дом был вдали от центра, почти на окраине города, и «зелёные», опомнившись, могли опять нам нанести визит, то жена обратилась к Мышлаевскому с просьбой послать людей, чтобы перенести меня под защиту десантного отряда. Мышлаевский был очень любезен и немедленно выполнил её просьбу, послав несколько человек санитаров с носилками. Поселились мы с женой, нянькой и ребёнком в комнатушке рядом с гостиницей, в которой дуло из всех дыр и стоял адский холод. Через три дня, едва я мог подняться на ноги, меня перевели в гостиницу, где дали койку в одной из комнат, занятых штабом отряда. Гостиница была битком набита прибывшими из Новороссийска с отрядом офицерами, в числе которых оказались полковник Кокаев и спасшийся чудом Ростов. Первая проведённая здесь ночь оказалась очень тревожной. Несколько раз тухло электричество, что по условию должно было обозначать сигнал тревоги, «зелёные» пробовали то поджечь город, то захватить электрическую станцию. Всю ночь гостиница по этому поводу не спала, играла в карты и делилась впечатлениями о пережитом. Из разговоров выяснилось, что «зелёные», заняв Геленджик, в первый же день перебили не только всех попавшихся им в руки офицеров, но и всех поселян, известных своими симпатиями к Добровольческой армии. Расстреляли они и священника, который говорил в церкви речи прихожанам о поддержке белого движения. Застрелили сектанта Бровке за то, что он говорил на сходах против «зелёных», зарубили зверски полицейского пристава, мирного человека, остававшегося на своей должности при всех режимах.

Сгоряча в первые часы высадки немало бед наделал и отряд Мышлаевского. За отказ сдать свой маузер был расстрелян на месте лезгин Муртузали, содержатель почтовой станции, человек вполне лояльный.

Воспользовались сумятицей, неразрывно связанной со всякой сменой власти, и тёмные элементы. Погибла старуха семидесяти лет, мать доктора Негребецкого, жившая одна на даче с прислугой девушкой лет 17, из местных поселянок. Ночью эта девица без всяких сообщников собственноручно зарезала и ограбила свою хозяйку, после чего отправилась спокойно спать к своим родителям, жившим по соседству. Через полчаса после того, как было обнаружено преступление, девку эту, конечно, арестовали, причём она и не думала отрицать свою вину. Убить «буржуйку» она как будто считала не только своим правом, но и до некоторой степени своей обязанностью. «Для примера» потомству Мышлаевский распорядился повесить убийцу на базарной площади на суку старой чинары, видавшей ещё черкесов… Вскоре рядом повис на узловатой верёвке и один из «зелёных», захваченный патрулём ночью во время грабежа.

Выздоровление моё среди всех этих милых картин шло быстрее, и я скоро стал ходить с палочкой, хотя долго ещё чувствовал, что ноги у меня не из костей и мускулов, а из ваты. Особенно это было неудобно, когда приходилось подниматься по лестнице. Жена между тем спешно и за бесценок распродавала лишние вещи и обстановку, готовясь к переезду в Новороссийск при первой возможности. Возможность эта пришла в виде случайного пароходишки, зашедшего в Геленджик с каким-то грузом в середине января. По

особым пропускам, выданным Мышлаевским, в трюмах «Дооба» покидали город оставшиеся в живых буржуи, а также больные и раненые. В большинстве своём всё это были знакомые нам с женой пожилые штатские люди с семьями, и в их числе наш сосед, отставной генерал Шкинский, «народный» писатель Наживин и другие.

Наживин, впоследствии не один раз переменивший свою политическую платформу, был весьма характерным для русской революции типом, на котором не грех остановиться. При царском правительстве он, несмотря на своё миллионное состояние, по его собственным словам, «стоял на крайне левых позициях». Революция освободила Наживина от имущества, несмотря на крестьянское происхождение, которое он во всех удобных и неудобных случаях выставлял на первое место. Поселившись после этого в своём имении в окрестностях Геленджика, Наживин – «народный писатель» – потерял всякий вкус к левым позициям и, поступив в «Осваг», стал всячески ругать революцию. Когда «зелёные» выгнали его из имения, то Наживин, наконец, оценил монархию и стал её горячим сторонником. Однако слишком быстрые и белыми нитками шитые перемены наживинских политических симпатий никого не обманули, и командование Добровольческой армии отклонило все его предложения о сотрудничестве.

Попав за границу, Иван Наживин остался в эмиграции таким же себялюбивым карьеристом и прохвостом, каким он был всю свою жизнь. В надежде сыграть заметную роль, он несколько раз перекидывался и здесь из одного политического лагеря в другой, писал гнусные книжонки, оплёвывал сегодня то, чему поклонялся вчера, и кончил тем, что всеми презираемый и забытый, умер где-то, никому не нужный.

На каботажной пристани, где пристал наш «Дооб», я среди кучи встречающих увидел и папу. Он уже не первый раз выходил на пристань в надежде узнать от публики приходивших пароходов о моей судьбе. С момента взятия Геленджика «зелёными» в Новороссийске не было вестей о судьбе геленджикцев, и их родные и родственники в Новороссийске уже всех считали погибшими.

Папа меня обнял и сообщил, что ни он, и никто из сослуживцев уже не надеялись больше видеть нас в живых после тех вестей, которые привёз сюда Писарев. Недалеко от пристани, как оказалось, помещался в теплушках весь состав управления «Тамбовской губернии», кроме Лопухина, жившего с семьёй в городе.

Здесь, в арестантском вагоне третьего класса с решётчатыми окнами, нам с женой отвели купе из четырёх деревянных облезлых скамеек. Рядом жили Савойские и Михайлов-рыжий, изображавший за отсутствием старших вице-губернатора.

После недолгих расспросов и ахов все успокоились быстрее, чем это позволяло приличие, и на нас перестали обращать внимание. В тесноте, холоде и голоде потянулись дни и ночи новороссийской агонии. Ребёнка Женя скоро с Катей устроила к Хачиковым, богатым армянам, у которых я жил в бытность плац-адъютантом. Скука в вагонах царила непередаваемая. Всё наше занятие сводилось к ожиданию обеда или ужина, карточной игре и ругани, неизбежной там, где живёт скученно много бездельных людей.

Недели через две, к счастью, когда отношения настолько обострились, что можно было уже ожидать рукопашной драки, начальство отыскало для нас занятие. По протекции Тверского мы «всем управлением» вошли в состав эвакуационной комиссии при английском военном командовании. Комиссия эта работала в сарайном помещении по Серебряковской улице в № 33. Здесь, в густой толпе, с утра до вечера гомонившей на морозе, пребывала вся оставшаяся в живых старая Россия, начиная от великих князей и кончая самым маленьким чиновником, не желавшим оставаться у большевиков. Все, кто из Новороссийска попал за границу, прошёл через это учреждение, и таким образом, до некоторой степени через наши руки.

Было много интересных встреч и знакомств. Сидя в полушубке и папахе, не поднимая головы, я заполнял однажды регистрационные листки для какой-то дамы. Об её имени и фамилии я спросил по привычке, не глядя, и в ответ услышал произнесённое тихим голосом: «Романова… Елена Павловна, великая княгиня»… В замешательстве я вскочил,

опрокинув чернильницу, но великая княгиня на мои извинения, улыбаясь, заметила, что не видит с моей стороны никакой вины и только просит одного – не обращать на неё внимание публики.

По моей просьбе начальник комиссии полковник Кокс отменил для Елены Павловны все анкеты и формальности, и она в тот же вечер вместе с великим князем Кириллом Владимировичем покинула Новороссийск на британском крейсере.

С полковником Коксом, добродушным, налитым бурой кровью здоровяком, у нас вышла забавная история. К концу эвакуации Новороссийска нам нужно было подумать и о себе, т.е. позаботиться о собственной эвакуации. Не подлежало ни малейшему сомнению, что в последние дни, когда город будет уже под обстрелом советских батарей, последние места на пароходах будут заниматься с оружием в руках отступающими военными частями, и мы все, т.е. состав эвакуационной комиссии, отправив за границу других, рискуем сами остаться в большевистских лапах. С целью заранее урегулировать этот щекотливый вопрос, мы поручили полковнику Воропанову, начальнику «тамбовской губернской стражи», говорившему по-английски, пригласить Кокса на организуемую нами вечеринку для соответствующей обработки.

Кокс очень охотно пришёл в ресторан, где мы его ожидали, ещё охотнее выпил и в подпитии замучил оркестр просьбой повторения «Гайда тройка», которая особенно пришлась ему по вкусу.

В конце вечера Воропанов от имени всех присутствующих приступил к самому главному, а именно внушению полковнику мысли выдать нам эвакуационные свидетельства заранее, не ожидая паники последних дней. В порядке изложения своих мыслей Воропанов начал с того, что стал говорить о дружбе, которую мы все чувствуем к англичанам – просвещённым мореплавателям, и тому подобную чушь, какую говорят в таких случаях и на всех подобных банкетах. По мере развития воропановского красноречия Кокс становился всё мрачнее и, наконец, в самом патетическом месте прервал оратора неожиданным для нас заявлением:

− Вы говорите, что англичане культурный и гуманный народ? Я с вами совершенно не согласен… я очень не люблю англичан!..

Мы все замерли с открытыми ртами, ничего не понимая, пока Кокс не пояснил, что он не англичанин, а… ирландец.

Странное и страшное зрелище представлял собой город Новороссийск в феврале 1920 года. Как будто по-прежнему без изменений нависали над ним лесистые горы вокруг синей чаши моря, но в этой красивой рамке из голубого неба и зелёных гор тянулись вдоль берега грязные казённые сараи, среди которых бесприютно бродили группы диких, обросших бородами солдат в лохматых вшивых папахах, похожих больше на опереточных бандитов, чем на военных.

Вдоль пристаней и берега бесконечными рядами тянулись сотни разбитых и загаженных вагонов, вокруг которых кипела походная жизнь сотен тысяч беженцев, составлявших живое население этого города на колёсах. В пассажирских и товарных вагонах здесь жило всё то, что успело бежать из сдавшихся большевикам городов и крупных центров бывшей территории вооружённых сил юга России… В грязи, тесноте, холоде и голоде тянулись для них бесконечные дни и ночи…

Между путями в проходах между красными стенами теплушек бродили тощие поросята и взъерошенные куры, бездомные одичавшие псы рылись и грызлись в кучах мусора, едкая белая пыль, чахлая растительность, запустение и мерзость… По набережным, подымая тучи цементной белой пыли, ползли грузовики и громыхали железом подводы. Резко и хрипло посвистывали на путях покрытые копотью и ржавчиной паровозы.

К наступлению морозов бесснежная зима железом сковала гудящую, как чугун, землю. Полы месяцами стоявших без движения вагонов наглухо примёрзли к огромным кучам человеческого кала, живописными пирамидами скопившимися под уборными. Никто не заботился их убрать, все давно привыкли и стали равнодушны ко всему.

По дебаркадерам пристаней, по улицам, платформам вокзала и пригородам слонялись густые толпы полувоенной, полуштатской публики. Все одеты в фантастические формы, грязные и помятые, всевозможных цветов и потерявших всякий цвет, но обязательно у каждого на голове защитная фуражка или папаха.

В середине главной Серебряковской улицы, как раз против комендантского управления, кафе «Махно» – центр спекуляции и чёрная биржа. «Чёрная» она не только по названию, но и по наружности. Все спекулянты на крови армии – сильные брюнеты. Преобладали, конечно, иудеи, которых совсем не было на фронте, но были и армяне, греки и чёрт знает какие ещё восточные хари. В кафе «Махно» каждый день устанавливались цены на иностранную валюту, на товары и всевозможные ценности. С ним даже считались новороссийские банки, и в местных газетах котировки чёрной биржи печатались под скромным заголовком «в кафе».

Электричество у «Махно» часто тухло, как и во всём городе, и тогда при свете огарков, воткнутых в бутылки, это окаянное место принимало совсем зловещий вид пещеры пирующих разбойников. Сверкающие белки, жесты рук и живописные костюмы создавали для этого полную иллюзию. Кафе «Махно» скупало и продавало всё, что только можно было купить и продать, но больше всего, конечно, здесь продавалась и покупалась человеческая совесть, впрочем, совершенно обесцененная годами революции…

Валюта, золото, драгоценности и сахар, хлеб, мануфактура, английское обмундирование, купчие на дома, землю, имения, оставленные в Тамбовской и Тверской губерниях, акции железных дорог и акционерных компаний, разрешение на ввоз и вывоз товаров из Новороссийска, плацкарту на Ростов, билет за границу, целые поезда и отдельные вагоны, предназначенные для военного груза на фронт, медикаменты и всё то, чего недоставало фронту, что он бесплодно ожидал месяцами, голодный и раздетый, вымерзая целыми полками под Харьковом, с ранами, перевязанными случайным тряпьём, − всё здесь находило спрос и предложение.

Я сам, два года служивший в Добровольческой армии, несмотря на все усилия, протекции и бессильные бумажки, так и не мог до самого отъезда за границу получить из ломившихся от обмундирования складов Новороссийска шинель и френч, в то время как вся «зелёная армия» по горам Черноморья была сплошь одета в английское обмундирование, купленное в тех же складах.

Выведенный из терпения безнадёжными хождениями по интендантским канцеляриям, я кончил тем, что по совету знакомого осважника просто купил у какого-то интендантского мерзавца за большие деньги то, что мне было нужно. Не мудрено, что при таких порядках приехавшие с фронта оборванные и обовшивевшие офицеры довольно часто громили и разбивали в Новороссийске склады с обмундированием, избивая при этом до полусмерти их смотрителей и заведующих. Однажды я был свидетелем подобного погрома, и признаюсь, ничего, кроме удовлетворения, не почувствовал, когда, потеряв терпение в надежде чего-нибудь добиться, грозно загудела толпа офицеров, затрещали ворота, и заведующий складом по-заячьи закричал о пощаде.

Надо полагать, что те же чувства к спекулирующему и заворовавшемуся за спиной фронта тылу испытывал не я один, так как часто против кафе «Махно» собирались кучки загорелых, оборванных и вооружённых до зубов добровольцев, приехавших в командировки или по ранению в Новороссийск. Эти люди с ненавистью молча смотрели на сытые фигуры спекулянтов, а затем начинали вслух обмениваться впечатлениями, не стесняясь в выражениях. В такие минуты густое население кафе, шумевшее за столиками, быстро начинало таять и исчезать, боязливо оглядываясь. В Новороссийске хорошо знали о существовавшей в это время в армии тайной офицерской организации, объявившей войну не на жизнь, а на смерть разлагающемуся тылу и продажности штабов. Члены этой организации без большого шума перестреляли к концу Белого движения много тыловой сволочи и спекулянтов на крови фронта, нередко занимавших крупное положение и имевших высокие чины. Кроме тыловой гнили, организация эта имела и политические задачи, и к её

деятельности надо отнести смерть начальника разведки в Одессе Кирпичникова, кубанского златоуста Быча в Ростове и генерала Романовского в Стамбуле.

Первая наша ночь, проведённая в Новороссийске, не принесла с собой, как я ожидал, ни отдыха, ни успокоения после тревожных дней Геленджика. Чёрная южная, вся сияющая звёздами, она вселяла какую-то новую неуверенность. Я не мог заснуть и несколько раз выходил из духоты вагона на площадку. В потёмках среди полуосвещённых улиц и домов, примыкающих к порту, какие-то тени жутко жались вдоль стен, и что-то хищное и враждебное затаилось в тишине и мраке. Изредка из центральной части города вырывались волны далёкой музыки и криков. Кто-то праздновал свой пир во время чумы…

Глухой ночью перед рассветом нас разбудила беспорядочная стрельба. Палили как будто со всех сторон, то поодиночке, то целыми залпами. Где-то далеко ухнул орудийный одинокий выстрел и тысячекратным эхом раскатился по горам. Стрельба не прекращалась до самого рассвета. Утром у ворот порта лежал, раскинувшись, мёртвый кубанский казак и смотрел неживыми глазами в небо. Мимо равнодушно шли рабочие в депо, офицеры с винтовками за плечами и десятки беженцев. На мёртвого не обращали решительно никакого внимания. Я спросил стоявших около вагонов наших стражников о причинах ночной стрельбы.

− А это у нас здесь каждую ночь происходит, − отвечал один из них, равнодушно сплёвывая в сторону, − «зелёных» пугают… намедни, вон, бак с бензином продырявили, спасибо ещё вовремя увидели, а то так бы и ушёл весь бензин. А казак этот, должно, с контрразведки… они что-то вчера искали здесь по вагонам… я его знаю, беспокойный был человек…

− Это ишшо што! Вот третьего дня одного здесь у порту в отхожем месте нашли, так у его… весь цел, а головы нэма. Что ж вы думаете, господин ротмистр, голову только через сутки нашли совсем в другом месте. Кругом теперь «зелёные». Ничего с ними не поделаешь… За дровами вон части ездють, и то с собой пулемёты берут. А в сами горы и ходить невозможно… Да нешто «зелёные» только в горах?.. Ими теперь весь город полон. Они и тут возля станции не хуже нас в вагонах живут, ишшо со стражей вокзальной вместе и вино пьют…

Действительно, нельзя было не заметить, что город был переполнен подозрительными типами, которые никоим образом не могли принадлежать к составу армии. На пустырях между портом и вокзалом днём на кучах мусора постоянно валялась подозрительная рваная публика; как говорили в городе, вновь возродившееся племя вокзальных воров с их подругами. Ночью с этих пустырей часто неслись совершенно бесплодные призывы о помощи и выстрелы, иногда слышались до утра стоны и вопли недобитых… Никто к ним не шёл на помощь и не обращал внимания на призывы, все огрубели и стали эгоистами. Ночью в кромешной тьме февральских ночей, когда кругом бестолково гремела перестрелка, весь город на колёсах был озарён зловещим светом тысяч окон и полуоткрытых дверей. Всюду шёл беспросветный картёж, единственное развлечение, способное заставить забыть неприглядную действительность и безнадёжное будущее…

К середине февраля продуктов в городе почти не было, и цены на них возросли до астрономических размеров. Деньги потеряли всякую ценность, и то, что стоило вчера одну цену, через два дня нельзя было купить уже и с надбавкой в 50%. За английские фунты к концу новороссийской эпопеи платили уже по 25 тысяч добровольческими и донскими бумажками.

В конце Серебряковской у подножья гор существовал в городе базар, называвшийся «привозом», куда из окрестных кубанских станиц привозили всякие деревенские продукты. Среди моря жирной и глубокой грязи, в которой по ступицу тонули колёса высоких казачьих арб, толпились казаки, добровольцы и горожане. На арбах были навалены по большей части только большие зелёные тыквы и картофель. Статные голубоглазые казачки в мужских сапогах с нескрываемой насмешкой поглядывали на городских барынь, тонущих в грязи тонкими ножками в ажурных чулках, с захлёстанными цементной грязью подолами коротких

модных юбок. Барыни безнадёжно искали продуктов и чуть не в драку вступали из-за каждой тощей курицы. Казаки долго и подозрительно разглядывали донские кредитки с расплывавшимися картинками Ермака и Платова и со вздохом прятали их за голенища.

А кругом под хмурым неприветливым небом, моросящим частой сеткой дождя, стояли грязно-серые с облупившейся штукатуркой дома предместья, вплоть до ржавых крыш заклеенные плакатами «Освага». Эти всем опостылевшие плакаты изображали то добровольческих генералов с их изречениями о скором занятии Москвы, теперь звучащими горькой насмешкой, то Троцких в красных фраках и с рогами, сидевших на стенах Московского Кремля. Переполненный до отказа беженцами город начинал голодать и агонизировать. Госпиталей не хватало, да и всё равно попасть в них было равносильно верной смерти. У нас на глазах около порта был один такой тифозный лазарет, всем своим видом характеризовавший агонию белого дела. Это было длинное казарменное здание с выбитыми стёклами во всех окнах, несмотря на жестокий зимний норд-ост. Из всех его зияющих дверей и окон несло таким трупным запахом, что кружилась голова, и людей рвало от отвращения. В огромных залах на поставленных в ряды койках сотнями лежали тифозные больные пополам с умершими. Всё это были умирающие и уже умершие от тифа, страшного бича и наказания всех побеждённых…

Несмотря на моё сопротивление, жена, истосковавшаяся от вагонной жизни, поступила врачом в один из тифозных госпиталей. Поступок, накануне эвакуации и при наличии на руках крохотного ребёнка, совершенно нелепый, но мы все давно потеряли в этой жизни и смысл, и логику. Малейшее недоразумение в вагоне каждый раз грозило перейти в свалку, до такой степени все изнервничались и потеряли контроль над самим собой… Стыдно сказать, но я сам серьёзно думал застрелить из лежащего у меня над головой в вагонной сетке маузера одного очень надоевшего мне поручика сожителя, казавшегося невыносимым, и только искал для этого подходящего случая…

Хуже всего было то, что над всем этим развалом и анархией, несмотря на присутствие в Новороссийске бесчисленного начальства и генералитета, не было никакой власти и… никакого закона. Единственной острасткой и пугалом оголтелого населения города являлась контрразведка, принявшая в свою очередь к концу Доброармии, как и всё остальное, чудовищно кошмарное лицо.

Надо сказать, что к началу 1920 года, т.е. к концу белой эпопеи, на юге России контрразведка чудовищно разрослась за счёт строевых частей, стала не только многообразной, но и многогранной. Она получила множество различных наименований, разветвилась на многие секции, но имела при всём при этом одно, для всех своих учреждений общее, а именно, она делала, что хотела, и при этом служила верным прибежищем для большевистских агентов и провокаторов.

Несомненно, советский генеральный штаб пользовался добровольческой разведкой, как вернейшим средством скомпрометировать в глазах населения белое дело. Контршпионаж и контрразведка на войне являются учреждениями, куда труднее всего попасть на службу рядовому офицеру. Там по принципу должны служить наиболее идейные, способные и достойные элементы офицерства. Так обстояло и обстоит до сих пор это дело в английской, немецкой и других европейских армиях. В России – стране парадоксов, как во время войны, так и задолго до неё, среди интеллигенции и кадрового офицерства всякая служба правительству, связанная с секретным розыском, считалась за нечто позорное и недостойное порядочного человека, а офицера в особенности, безразлично, будь это служба в полиции, жандармерии или военном шпионаже.

До самой революции, заставившей переоценить многие и многие фальшивые ценности, принадлежа по духу и рождению к военно-дворянской среде, я сам всецело разделял эти вредные и с умыслом привитые врагами России убеждения. Как и вся офицерская молодёжь, я с презрением смотрел на жандармских офицеров и их деятельность, не допуская даже мысли, что я могу когда-нибудь оказаться в их среде. Весь офицерский корпус императорской России так же смотрел на этот вопрос, доказательством чему служило

то обстоятельство, что двери офицерских собраний были наглухо закрыты для офицеров отдельного корпуса жандармов, и их жизнь протекала из-за этого в своём, строго замкнутом жандармском кружке, отделённом ненавистью или презрением от всего остального мира, с которым у жандармов были только официальные сношения. В полках, в особенности среди офицерской молодёжи, как нечто похвальное и заслуживающее подражания, передавались рассказы о том, как в той или иной части был третирован тот или иной жандармский офицер, часто с тяжким нарушением воинского устава, дисциплины или чинопочитания. Помню ходивший в нашей юнкерской Школе рассказ, имевший под собою фактическую почву, о некоем заслуженном жандармском генерале, занимавшем пост помощника командующего войсками Варшавского военного округа, которому в частях ротные и полковые командиры не желали отдавать строевые почести по чину и должности, так что бедному старику во избежание скандала приходилось на все парады являться в одной коляске с генерал-губернатором, чтобы избежать афронта.

Выше в своих воспоминаниях я уже рассказывал, как во время Великой войны я принял сделанное мне предложение поступить в контрразведку. Эту дерзкую и глупую сцену, устроенную мной, глупым и нахальным мальчишкой, заслуженному жандармскому полковнику, я теперь считаю одной из позорных страниц своего прошлого и воспоминание о ней заставляет меня мучительно страдать от стыда за себя до сегодняшнего дня.

Немудрено, что при таком поголовном отношении к жандармской службе всего офицерского корпуса в царской России, в Отдельный корпус жандармов, ведавший всей политической охраной империи, шёл из полков почти исключительно порочный элемент, или лица, для которых материальное обеспечение стояло выше всяких других соображений. С началом войны служба контрразведки в большинстве случаев также попала в руки жандармских офицеров, как специалистов розыскного дела, занимавшихся и в мирное время этим при штабах западных военных кругов. Таким образом, одна из важнейших функций в аппарате действующей армии оказалась в руках наихудшего по нравственным и моральным качествам элемента русского офицерства.

Не приходится поэтому удивляться, что во время военных действий могли иметь место такие случаи, как известное дело полковника Мясоедова – измена в армии генерала Самсонова, и недавно ставшая известной в подробностях сдача Порт-Артура.

Недопустимые с точки зрения строевого офицера вещи прочно укоренились на службе жандармского корпуса, руководимого им охранного отделения, а затем и в контрразведке.

Добровольческая армия, являвшаяся плотью от плоти и кровью от крови армии императорской, переняла от этой последней её обычаи и традиции, как положительные, так и ещё более, отрицательные. Немудрено поэтому, что с первых же дней добровольчества в контрразведку, за редким исключением, не пошёл никто из идейных людей, съехавшихся со всех концов России на борьбу с большевизмом. И опять я сам, являясь представителем идейного добровольчества, ответил отказом на предложение полковника Стратановича помочь ему в организации в Новороссийске контрразведки.

В результате подобного отношения к службе контрразведки, это учреждение, столь необходимое и важное в условиях гражданской войны, с первых же дней добровольчества наполнилось самым отрицательным элементом, который только отыскался в армии. Как не пошли в разведку кадровые офицеры из-за своих кастовых взглядов, так же не пошла туда и русская интеллигенция в лице людей со средним и высшим образованием, надевших во время войны офицерские погоны, приблизительно по тем же соображениям.

В результате большинство чинов контрразведки в Добровольческой армии, за исключением её главных начальников из среды офицеров Генерального штаба, состояло из недоучек, бывших полицейских, жандармов, писарей, фельдфебелей и сыщиков, ни по психологии, ни по взглядам не имевших ничего общего с русским офицерством.

Гражданская война и революция, понизившие нравственный уровень населения вообще, освободили от последних сдерживающих центров эту среду, почувствовавшую себя

теперь не только у власти, но и совершенно безнаказанной. К концу правления генерала Деникина добровольческая разведка превратилась в ни с чем не сообразное, бесчестное, пьяное и беспутное сообщество, которое ни перед чем не останавливалось и ничем не стеснялось. Главное командование армией, несмотря на все принимаемые им меры, ничего фактически не могло поделать с этой шайкой провокаторов и профессиональных убийц, крепко пустившей корни по всем тылам.

Как губили идею белого дела эти люди, и какие вещи происходили в подвалах бесчисленных контрразведок, здесь рассказывать я не берусь. В своё время этот вопрос, вероятно, будет освещён историками гражданской войны. Но можно сказать уже и теперь, что наша контрразведка мало чем уступала чрезвычайкам, свирепствовавшим по всей остальной России в период военного коммунизма. Приведу лишь несколько фактов, характерных для деятельности этого учреждения. После занятия Ф. большевики расстреляли одного жившего там военного врача. Вскоре красным пришлось очистить город, в который вошли добровольцы. Вдова расстрелянного указала командиру отряда на убийц своего мужа, не успевших скрыться; их арестовали и «выпустили в расход» на месте. Когда большевикам снова улыбнулось счастье, и они снова заняли Ф., вдову, отомстившую за мужа, убили, а её двух взрослых дочерей посадили в Чеку, где «национализировали». Опозоренные девушки в свою очередь твёрдо решили отомстить за родителей и себя и, как только добровольцы явились опять в Ф., они указали им на одного из участников насилия. Избитого проходящими большевика отправили в контрразведку. Через два дня барышни опять его встретили в городе, причем он нагло им улыбнулся и раскланялся…

Оказалось, что контрразведка выпустила большевика за хорошую взятку. Жалобы по начальству не привели ни к чему, в штабе отряда девицам посоветовали забыть приключение в тюрьме и… не ссориться с разведкой – так как это очень опасно: «мы ведь уйдём отсюда на фронт, а они останутся здесь с вами…"

Новороссийская разведка по чьему-то доносу, вряд ли не большевистскому, упорно несколько раз подряд пыталась арестовать моего юнкера Андрея Ольдерогге. И всякий раз при всех связях и знакомствах мне стоило большого труда добиться, чтобы его не трогали.

Осенью 1919 года и весной 1920 контрразведкой в Новороссийске называлось несколько учреждений, и в том числе уголовный розыск. Была, кроме того, разведка, выдававшая пропуски, портовая, городская, для борьбы с «зелёными» и т.д. Где кончалось одно учреждение и начиналось другое, было совершенно непонятно, тут всё перепуталось и перемешалось.

Главная контрразведка и кажется, подлинная, помещалась на краю города рядом с тюрьмой у подножья гор, где начинались владения «зелёных». По ночам отсюда неслись стоны и вопли, хлопали отдельные выстрелы и залпы. Попасть в это страшное место, а оттуда в могилу всякому гражданскому лицу, т.е. не принадлежавшему к чинам армии, было чрезвычайно легко. Для этого стоило только кому-нибудь из агентов разведки обнаружить у кандидата достаточную, по его, агента, понятиям, сумму денег. Агент мог после этого просто пристрелить гражданина в укромном месте, а мог и арестовать, сунув в карман какую-нибудь компрометирующую фальшивку. Согласно правилам разведки, при этой операции агент получал 80% из суммы, найденной на «большевике».

Население всё это очень хорошо знало и готово было заплатить всё, что угодно, лишь бы избавиться от привязавшегося агента, не доводя дела до «отделения». Этой сговорчивостью контрразведчиков больше всего пользовались большевистские агенты, жившие в Новороссийске, платя определённую мзду разведке…

Создавалось оригинальное положение вещей: вся обывательская масса, а именно, всё население Черноморья, не служившее в Белой армии, было огулом взято под сомнение в политической благонадёжности, что, конечно, имело отчасти под собой почву, после двух лет сплошных *гафов* , совершаемых добровольцами. Вне досягаемости разведки стояли только штабы и фронтовое офицерство. Его очень боялись господа разведчики, так как фронт жгуче ненавидел «тыловую сволочь», к которой в первую очередь принадлежала

контрразведка, и при малейшем недоразумении с ней офицеру стоило только крикнуть своим «корниловцам» или «марковцам», находившимся поблизости, чтобы лихие фронтовики немедленно взялись за винтовки и разнесли в пух и прах любое «отделение».

Нечего, конечно, и говорить, что разведка была в полном единении и постоянном контакте со всеми шайками спекулянтов, грабителей и «зелёных» в округе. Это проклятое учреждение я считаю одной из главнейших причин гибели всего белого дела в Черноморье.

Попав впоследствии за границу, господа бывшие контрразведчики составили наиболее аморальный и продажный элемент русской эмиграции, став советскими шпионами и провокаторами.

Помимо контрразведчиков и бесчисленных штабов, расплодившихся в Новороссийске за счёт сокращения фронта, вся тыловая накипь армии и по праву, и ещё более без всякого права, носила английские шинели и подобие погон. Ходило всё это по городу, вооружённое с головы до ног и пускало в ход нагайки, револьверы и шашки по всякому поводу. Даже глубоко штатские люди из «Освага» заразились общим духом и ходили с револьвером за поясом, вряд ли умея им пользоваться, вроде моего осважного приятеля, кривобокого футуриста Эльмера.

К двадцатым числам февраля трагедия Добровольческой армии стала подходить к своему логическому концу. Были один за другим сданы Ростов, Новочеркасск и Екатеринодар, фронт с каждым днём приближался к Новороссийску. Англичане, готовясь к неминуемому концу, сосредоточили в порту целую эскадру военных судов во главе с огромным красавцем дредноутом «Квин Мэри», грозно стоявшим под адмиральским флагом за молом.

Каждые три-четыре дня за границу отходили переполненные беженцами транспорты. Командование делало последние героические усилия, чтобы задержать стихийно отступавшую армию на последних рубежах. Но что могли поделать отчаянные воззвания генерала Деникина, когда пьяный генерал Шкуро плясал среди улицы с бутылкой в руках, призывая хватать прохожих женщин, как во времена половецких набегов…

Что могли поделать жалкие картинки «Освага», когда Екатеринослав был отдан на поток и разграбление солдатам генералом Корвин-Круковским, когда население Харькова столько месяцев подряд имело счастье лицезреть потерявшего от пьянства человеческий облик генерала Май-Маевского, когда всё население территории Юга России, ограбленное, разорённое и униженное, не могло дождаться ухода диких озверелых банд, в которые превратились когда-то стройные полки Добровольческой армии, когда никто не мог быть уверенным, что его не убьют и не ограбят без всякого основания и объяснения?

Постепенно начинала разрастаться в Новороссийске откровенная паника и связанная с ней жестокая и кровавая бестолочь. Каждый день разносились слухи, что тот или иной важный чиновник или генерал скрылся за границу, бросив всё. У нас на Серебряковской по распоряжению командования на стене вывесили длинный список ответственных лиц, коим не разрешался выезд за границу без особого на то разрешения. Всё это были громкие имена, руководители крупных учреждений, и в том числе знакомый наш по Тонкому Мысу скульптор и меценат Рауш фон Трубенберг, видимо, причисленный к лицу власть имущих в качестве осважного начальства.

Командование теряло веру в своих ближайших сотрудников. Величественное здание, созданное большими патриотами Корниловым, Марковым, Алексеевым, рушилось на наших глазах и падало, грозя похоронить под своими обломками и правых, и виноватых.

20 февраля я заметил, что жена, по-видимому, заразилась на службе сыпным тифом, у неё уже три дня держалась высокая температура. Надо было действовать быстро и решительно. Если бы она свалилась теперь, то мне пришлось бы или оставить её в руках большевиков, наступавших на город, или оставаться вместе на верную смерть. Через Лопухина я в тот же день выправил необходимые документы для эвакуации нас обоих за границу на транспорте «Саратов», отходившем 22-го февраля. Наутро я поехал проститься с отцом и мачехой, которые оба тоже успели переболеть тифом и жили на Стандарте. В

большой холодной даче отец занимал с мачехой отгороженный ширмой угол; в другом за ситцевой занавеской находился с семьёй Солнцев, в прошлом тоже предводитель дворянства и очень богатый человек. С ним была жена и юноша сын, парализованный после контузии на фронте.

Со слезами на глазах и сжимавшимся от тоски сердцем я обнял отца и Марию Васильевну, с которой мне суждено было увидеться в последний раз… За их судьбу в Новороссийске можно было не беспокоиться, так как папа служил в управлении главноначальствующего областью, и как служащего центрального учреждения его в Новороссийске бросить не могли.

Утром 21-го марта на подводе, заваленной вещами, мы подъехали к огромному «Саратову», стоявшему на Стандарте у здания английской военной миссии. Женя, уже совсем больная, едва передвигала ноги, проходя через формальности паспортного и карантинного контроля. Осматривали поверхностно и пропускали всех, у кого не было тифозной сыпи. Вся наша задача поэтому заключалась в том, чтобы не показать контролю, что она больна, так как это значило бы остаться в Новороссийске навсегда…

Наконец все формальности были окончены, последний часовой англичанин, взглянув на пропуск, откинул винтовку и пропустил нас на лестницу парохода. Дочурка ему улыбнулась во весь свой рот с тремя зубами и протянула ручку к блестящему штыку. Отказавшаяся в последнюю минуту ехать с нами за границу Катя махала снизу платком, вытирая слёзы. Через железную, гудящую под ногами палубу мы прошли к трюмной лестнице, по которой один за другим исчезали во мраке вошедшие раньше нас люди. По длинной железной лестнице, ступени которой ускользали из-под ног, одной рукой держа ребёнка, другой помогая жене, я спустился в глубокий и тёмный трюм, огромное помещение с голыми железными стенами и с таким же полом. Среди сваленных здесь в беспорядке по всем направлениям корзин и картонок, сундуков и узелков копошились, казавшиеся крошечными в этой громаде, человеческие фигурки. Дамы в каракулевых *саках,* старушки с собачками, генералы, штатские и военные на костылях, мамки с ревущими младенцами, – всё это металось, перегружалось с места на место, перекликалось, плакало и грозило кому-то и на что-то жаловалось…

− Сюда, сюда, Нютечка, Жора!.. Маруся! Занимайте скорее места, чего вы рот разинули!

Жора и Муся послушно бросались «занимать места» кульками и пакетами. На всех более или менее пустых местах уже сидели плакавшие младенцы, лежали чемоданы без хозяев, сидели дрожащие взъерошенные собачонки…

Над трюмом стоял сплошной гул криков, плача, пререканий и ругани.

− К чёртовой матери собак! − кричал чей-то хриплый начальственный голос, − детей положить негде.

− Ступай сам к чёртовой матери! − быстро отозвался бойкий голос владелицы собачонки. − Хулиган… большевик!

− Мадам… думайте, что говорите, я не большевик, а корпусной командир…

− Я сама полковница!..

− Барыня!.. барыня! − надрываясь, орала в углу чья-то нянька. − Смотрите, что делает… родимые, Неличку за ногу ухватил… ах ты, каторжник!

К вечеру погрузка закончилась, и трюм начал принимать понемногу домашний уют. Появились гамаки и ковры, заколыхались простыни и ситцевые занавески. Дамы достали кокетливые чепчики, капоты и пеньюары. По всем направлениям лежали и сидели затихшие, успокоившиеся люди. В полумраке трюма вспыхивали десятки папирос. Матери и няньки забегали с горшочками вниз и вверх по лестнице, выплескивая их содержимое прямо за борт.

Обессиленная погрузкой Женя лежала, закрывшись с головой, у неё начался сильный жар, который счастливо для нас просмотрел карантинный надзор, рядом с ней спала, разметавшись, дочурка; вещи в беспорядке стояли вокруг.

В висках стучало, томительное чувство неуверенности, что нам почему-либо уехать

не удастся, не покидало меня весь день. Не в силах заглушить неясную тревогу, я поднялся на палубу.

Был серый и ветреный вечер. По небу неслись разорванные ветром клочья серых туч, голубой луч прожектора то ложился по морю, то скользил по горам. Со стороны Тоннельной тяжко бухали орудия. Свирепевший с каждой минутой ветер свистел в снастях. За молом длинным рядом огней светился дредноут. Порт был полон белых электрических огней на военных судах. Бок о бок с «Саратовом» глубоко внизу стоял английский миноносец, палуба которого была видна до мельчайших деталей.

Впереди предстояла полная неизвестность… Никто на пароходе, не исключая капитана, не знал, куда идёт и куда везёт свой живой груз «Саратов»; о порте назначения должны были узнать от британских военных властей в Стамбуле. Но что бы ни случилось, хуже того, что было пережито и что ожидало Новороссийск в ближайшем будущем, быть не могло…

Последний год, проведённый день и ночь в постоянной тревоге, с оружием в руках, в ежеминутной готовности защищать близких и себя от грозивших со всех сторон опасностей, совершенно истрепали нервы, и теперь мучительно хотелось одного покоя и отдыха. Тиф и «зелёные» нас доконали окончательно, и я чувствовал, что больше уже ни на что не годен. Печальные мысли эти были прерваны раскатистым выстрелом на берегу, вслед за которым заработал где-то пулемёт и затрещала оживлённая перестрелка. В глубине тёмного моря вспыхнула яркая молния, и потрясая окрестности, загрохотал орудийный выстрел с военного корабля, за ним другой, третий… Из мрака ночи высоко над морем загорелся и взлетел зелёный огонь, за ним такой же красный…

Миноносец рядом, теперь не видимый во мраке, словно ожил. Затрещали сигнальные звонки, загорелись огни, забегали фигуры матросов. Несколько отрывистых команд, и дула длинных пушек повернулись к городу. Высоко на мачтах вспыхнули белые искры радиопередачи. Внизу на моле, где у трапа одиноко гулял часовой, вразброд застучали тяжёлые сапоги, закачалась лестница, и на борт один за другим поднялось несколько человек английских солдат с короткими винтовками в руках. Быстро и без суеты они заняли все выходы и трапы.

Стрельба между тем понемногу стала затихать и прекратилась, замирая далеко в горах. Ночь кончалась, когда я стал спускаться в душный спящий трюм. Кругом всё больше серело, над горами показалась розовая полоска зари. Из мрака ночи постепенно стал выступать невидимый раньше миноносец; всё на нём матово блестело от росы. У орудий застыли в пушистых бушлатах неподвижные фигуры вахтенных с серыми усталыми лицами. На рубке мягко вспыхивала трубка офицера…

Через час, ещё в предрассветной мгле, «Саратов» отдал концы и тронулся вдоль пристани. Город, едва видимый в тумане утра, спал, и только кое-где в нём горели огни. Внизу глухо постукивала машина, рядом со мной в группе серых неразличимых фигур кто-то всхлипнул. Один за другим плыли мимо борта военные и товарные корабли с желтевшими при утреннем свете огнями.

Последним приветом России промелькнул часовой в мокрой лохматой папахе на конце мола. Рядом кто-то плакал навзрыд. С востока навстречу «Саратову» надвигалась серая мгла тумана и… неизвестности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Прошло более двадцати лет с того памятного дня, как участники белой Вандеи покинули родину. За эти долгие годы я много и мучительно думал о том, в чём кроются причины и корни того, что Белое движение потерпело неудачу, в результате которой Россия на десятки лет попала в руки сумасшедшим и преступникам, а три миллиона русских патриотов надолго, если не навсегда, покинув землю отцов, принуждены скитаться на

чужбине.

Теперь, когда прожитые годы угасили страсти и заглушили обиды, а пережитые нами события отошли на суд истории, я попытаюсь проанализировать прошлое, подвести итоги, признав все те ошибки вольные или невольные, в которых виновен как я сам, так и все мне подобные люди, принимавшие активное участие в белой эпопее.

Прежде всего, как мне кажется, противобольшевистское движение в России началось слишком рано, когда большинство русского народа не испытало на собственном опыте всей прелести коммунистического рая, и ещё верило в большевистские посулы и широкие обещания.

Первый большевизм 1917-18 годов пронёсся по русским равнинам слишком поверхностно, не задев, в сущности, толщи народной. В этот период были на Руси такие места, и их было немало, куда большевизм или не дошёл, или не оставил после себя чувствительных следов, и поэтому первые бедствия от гражданской войны там населению пришлось испытать не от большевиков, а от... добровольцев. Обиды, грабёж, унижение и террор военного коммунизма 1917-18 годов коснулись в огромном большинстве не простого народа, а главным образом имущих классов, и в особенности офицерства. Незаслуженно оскорблённое, униженное и перетерпевшее подчас нечеловеческие муки, офицерство почти исключительно составило в 1918 году кадры всех антибольшевистских движений. Кровавые раны и тяжкие обиды, нанесённые ему, были настолько свежи и так болели, что мы не могли в то время всецело отдаться идее борьбы за Россию, откинув от себя элемент личной мести. У меньшинства это чувство только существовало, у большинства оно преобладало над идеей, а в некоторых случаях являлось единственной причиной того, что человек стал в ряды Белого движения.

Сведение личных счётов с большевизмом во вред делу Белого движения сыграло большую роль в непопулярности добровольцев среди населения. Народ зачастую видел в добровольцах не людей, борющихся за спасение родины, а только офицеров или помещиков, мстящих солдатам и крестьянам за старые обиды.

Белая армия, кроме того, состояла из самых противоположных элементов с политической точки зрения, тянувших кто в лес, а кто по дрова. В ней были люди, исповедовавшие самые различные политические убеждения, начиная с мечтающих о социалистическом рае на земле и кончая крайними монархистами, видевшими спасение в восстановлении без всякого изменения старого режима. Пока речь шла о том, чтобы бить общего врага − большевиков, дело более или менее шло, но как только на сцену стал вопрос о строительстве государства на освобождённой от красных территории, начался полный разнобой, так как каждый понимал это строительство по-своему и тянул в свою сторону. Разнобой этот был тем более ярким, что руководящие круги Белого движения в лице командования официальной политической точки зрения не имели и до самого конца так её и не установили, отделываясь общими, никого не удовлетворявшими фразами.

4-го августа 1918 года во время первого парада Добровольческой армии в Екатеринодаре, первом крупном центре, попавшем в руки белых, насторожившаяся толпа народа с недоумением и явным разочарованием переглянулась, когда раздались звуки Преображенского марша.

Уже в эмиграции мне в руки попал случайно номер одного советского журнала, в котором неизвестный автор, описывая свою подпольную работу в Белой армии, высказывает на основании того, что он наблюдал, одну очень дельную мысль. Этот большевик видит одну из причин неудачи добровольческого движения в том, что оно не имело своего гимна. Гимн, действительно, является выразителем той или иной идеи в политической борьбе, почему коммунисты имеют свой «Интернационал», социалисты – «Марсельезу», монархисты – «Боже, Царя храни», а Добровольческая армия – ничего, кроме полкового марша.

На белом знамени действительно ничего не было написано или, вернее, каждый писал на нём, что хотел. Между тем народ был вправе ожидать и ждал от Белого движения определённой цели, хотел знать, куда оно его ведёт, к какой цели стремится и, конечно, не

мог удовлетвориться тем, что борьба с большевиками ведётся только во имя этой борьбы…

Белое движение было первой стычкой креста с пентаграммой в мире, и являлось первым этапом этой борьбы, которая через несколько лет возобновилась в других странах мира и продолжается до сих пор. В ряды первых добровольцев вошёл цвет России, лучший отбор нации. Белые военачальники и белые воины проявляли чудеса храбрости и своею смертью дали бессмертные примеры отречения от личности во имя родины. Однако против честной стойкости воина большевиками были пущены хитрые интриги политики. Против большевистской демагогии и основанной на ней красной пропаганде добровольцы оказались беззащитны, так как ими не было выброшено для народа точных социальных лозунгов, способных преодолеть советскую пропаганду. Наша борьба шла инерцией погибшей империи, мы же на своих штыках должны были нести не только инерцию прежней России, но и животворящую идею новой.

Мы дрались за ВЕЛИКУЮ И НЕДЕЛИМУЮ РОССИЮ, т.е. за одну целую идею государства, не думая о том, что эта голая государственная идея при разрушении самого государства повисла в воздухе, а новой живой и органической идеи государства-нации мы в себе не имели. Отсутствию этой социальной идеи мы и обязаны, главным образом, своим поражением.

Неудача Белого движения наглядно показывает, что борьба с большевизмом возможна только при наличии разработанной социальной идеи, противопоставляемой большевистской демагогии, при широкой её пропаганде для привлечения симпатий трудовых масс народа. Эта идея должна отражать в себе требования масс и, прежде всего, крестьян и рабочих, должна быть выразительницей их чаяний и стремлений.

Участники Белого движения были объединены лишь отрицанием большевизма и совершенно не предрешали будущего социального устройства России, не давали никакого ответа на вопрос, что они несут русскому крестьянину и рабочему. Своим полным невниманием к социальным вопросам они оттолкнули от себя массы, которые поэтому пошли не за белыми патриотами, а за красными демагогами и тем обеспечили этим последним победу.

Отсутствие какой бы то ни было социальной программы не давало возможности руководителям Белого движения развернуть в широких масштабах антибольшевистскую пропаганду. Белые армии боролись только штыками, в то время как у большевиков главным средством борьбы являлась пропаганда, т.е. разложение белых тылов путём коммунистической агитации. Уроки Белого движения были учтены впоследствии лидерами антибольшевистской борьбы на Западе, которые на русском опыте поняли и учли все гибельные последствия непредрешенства, и большевистской пропаганде противопоставили идею корпоративного строя, марксисткой агитации – другую, более сильную и жизненную.

Говоря о непредрешенстве и программе, не надо связывать эти понятия с вопросами о форме правления. В этом отношении руководители Добровольческой армии были, конечно, правы. Форма правления в настоящее время не имеет существенного значения для жизни государства, так как важна его социальная сущность, социальная природа государственного строя, а не его форма.

Важно гарантировать всем слоям населения участие в государственной власти, и совсем не важно то, как внешне будет оформлен высший орган этой власти, какое звание будет носить глава государства. Ведь государства могут иметь одну и ту же форму правления, но по своему внутреннему существу и содержанию могут одновременно с тем представлять собой два совершенно различных типа. Например, возьмём Англию и Италию, в обеих этих странах существует конституционно-монархическая форма правления, однако Италия является корпоративным государством, а Англия представляет собой либерально-капиталистическое государство.

Пути Господни неисповедимы, и быть может, Россия должна возродиться именно после того, как русский народ на своём собственном опыте и ошибках научится находить правильный путь к своему национальному счастью. В число этих ошибок, вольных и

невольных, войдут и те, которые были совершены нами в Добровольческой армии. Лично я никогда не перестану верить, что русскому народу предстоит великое будущее и что однажды настанет для него счастливый день, когда миллионы русских людей почувствуют час своего освобождения, и в Москве снова, как и много лет тому назад, раздадутся слова: «Осени себя крестным знаменьем, русский народ, и призови Божье благословение на свой свободный труд…»

1940 год, Александрия, Египет